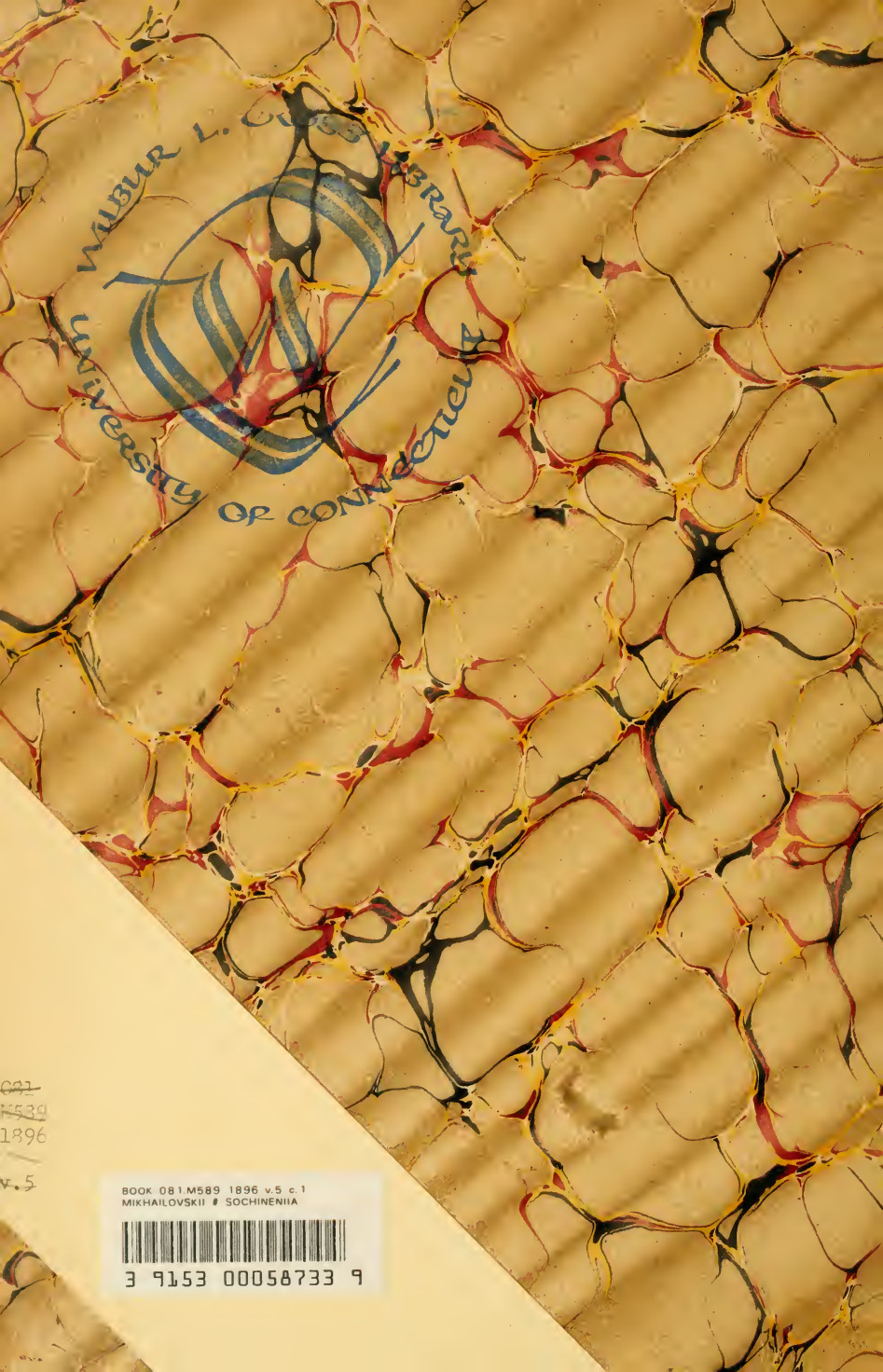

081
M589
1896
v.5

BOOK 081.M589 1896 v.5 c.1
MIKHAILOVSKII # SOCHINENIIA

3 9153 00058733 9

СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Жестокій талантъ (1882 г.).—2) Г. И. Успенскій (1888 г.).—3) Щедринъ (1889—1890 г.).—4) Герой безвременья. — 5) Н. В. Шелгуновъ.—6) Записки современника (1881—1882 г.).—7) Письма посторонняго въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ» (1883—1884 г.).

Изданіе редакціи журнала «Русское Богатство».

ЦѢНА 2 РУБЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія Б. М. Вольфа. Разъѣзжая ул., 15.
1897.

081
M589
1896
v.5

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строчка.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
58	22 снизу	ачѣмъ	зачѣмъ
93	13 сверху	тѣхъ	этихъ
96	5 „	возбуждающій	побуждающій
116	7 „	сосредочивъ	сосредоточивъ
120	27 „	обѣлоручками	бѣлоручками
148	2 „	удялялась	удалялась
162	28 „	себя	себѣ
181	11 „	увидитъ-то	увидѣть-то
203—204	1 снизу	бланамѣренное	благонамѣренное
275	23 „	стоятъ	стоять
320	3 сверху	имѣетъ	умѣетъ
335	19—20 снизу	Пыпиныимъ	Пыпинымъ
341	16 сверху	Wcil	Weil
„	18 „	Scbritte	Schritte
349	22 „	горадо	гораздо
364	26 „	нало	мало
374	24 „	произвести	произнести
392	5 „	были оыли	были
403	22 сверху	захочочетъ	захочетъ
413—414	заголовокъ	(8181—1882 г.).	(1881—1882 г.).
437	3 сверху	кѣсъ	вѣсъ
„	26 „	горе	горѣ
450	32 „	окудную	скудную
„	34 „	совѣсть	повѣсть
469	26 „	каъ	какъ
476	15—14 снизу	выразитетя	выразителя
487	25 снизу	обзорѣ	образѣ
488	28 сверху	созвать	совать
490	8 снизу	идалы	идеалы
„	2 „	соблазнясь	соблазняясь
520	2 сверху	Itudien	Studien
523	6 „	Слабостей	слабостей
524	30 снизу	пѣлый	цѣлый
525	12 „	„пустыння“	„пустыня“
526	15 сверху	больбѣ	борьбѣ
540	10 снизу	„инлеллигенція“	„интеллигенція“
547	5 сверху	совершенно	совершено
570	1 „	cohfrére	confrère
„	17 „	moh	mon
575	8 „	идеаломъ	идеаламъ
„	29 „	мысли	Мысли
604	16 „	человтѣчеству	человѣчеству
607	22 „	М. К. Катковъ	М. Н. Катковъ

Стр.	*Строчка.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
„	24 снизу	различность	различать
614	13 „	честными	частными
629	9 „	природа	порода
636	23 „	цѣнности	цѣнности
641	14 „	и слояхъ	слояхъ
647	26 сверху	обсужденію	осужденію
650	3 снизу	которою	которую
653	2 „	накъ	какъ
661	2 „	твовавшихъ	дѣйствовавшихъ
„	1 „	лизкихъ	близкихъ
668	30 сверху	духоврыми	духовными
673	26 „	и	а
677	11 снизу	запѣла II: faut que je vaus	запѣла: Il faut que je vous
685	3 сверху	равно	ровно
„	13 „	идетъ	ищетъ
698	22 „	не	ни
„	26 „	Не	Но
703	11 снизу	по	но
708	30 „	некончался	не кончился
709	16 „	вышей петербурской	высшей петербургской
„	23 „	Порокуроръ	Прокуроръ
715	21 „	„Московскихъ Бѣдомостей“	„Московскихъ Вѣдомостей“
716	15 сверху	введены	взведены
717	9 „	Вероховный	Верховный
728	10 „	que'elle	qu'elle
734	23 „	Авсѣнко	Авсѣенко
750	23 снизу	н	не
775	30 „	водворепію	водворенію
786	7 сверху	въ общественной	въ общественный
788	14 „	на капиталистическое	разсчетъ на капиталистическое
811	20 „	Карамзовыхъ	Карамазовыхъ
818	19 „	Щигировскаго	Щигровскаго
822	6 „	тургенева	Тургенева
830	4 снизу	Дѣлъ	Дѣло
851	27 сверху	начинаетъся занимать	начинаетъ заниматься
852	17 снизу	а	и
„	28—27 снизу	„Волховской барышни“	„Волхонской барышни“
853	11 „	печорина	Печорина
859	4 сверху	въ	съ

ЖЕСТОКІЙ ТАЛАНТЪ *).

(Полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго. Томы II и III. Спб. 1882).

Человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ. *Достоевскій* („Игрокъ").

Тиранія есть привычка, обращающаяся въ потребность. *Достоевскій* („Дядюшкинъ сонъ").

Я до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать. *Достоевскій* („Записки изъ подполья").

Странная вещь, эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять-десятыхъ сталъ съ нимъ друженъ изъ злобы.

Достоевскій („Крокодилъ").

I.

Опять Достоевскій **).

Да, опять Достоевскій, и, можетъ быть, это повторится еще не разъ. Не то чтобы Достоевскій представлялъ собою одинъ изъ тѣхъ центровъ русской умственной жизни, къ которымъ критика должна волей-неволей часто возвращаться, въ виду бьющаго въ нихъ общаго пульса. Есть люди, которые желали бы сдѣлать изъ него нѣчто подобное; но, не смотря на старательность этихъ людей, принимающихся за свое дѣло съ терпѣніемъ дятла, ничего какъ-то изъ ихъ усилій не выходитъ. Одинъ г. Орестъ Миллеръ чего стоитъ! Онъ именно подобенъ дятлу, когда въ своихъ статьяхъ и публичныхъ лекціяхъ, имъ же нѣсть мѣры и числа, восхваляетъ Достоевскаго, воздаетъ хвалу Достоевскому, восторгается Достоевскимъ, благовѣститъ о Достоевскомъ и восклицаетъ: о, Достоевскій! Правда, этими склоненіями и ограничивается роль г. О. Миллера, какъ пропагандиста и комментатора, но, всетаки, подумайте, сколько тутъ вложено труда! А гдѣ результатъ? Болѣе стремительный Владиміръ Соловьевъ дѣйствуетъ наскокомъ. Мнѣ попалась какъ-то литографированная рѣчь или лекція г. Соловьева о знаменитомъ покойникѣ. Она была построена приблизительно такъ: въ мірѣ политическомъ данной страной управляетъ всегда, въ концѣ-концовъ, одинъ человѣкъ; то-же самое и въ мірѣ нравственномъ: здѣсь всегда есть одинъ духовный вождь своего народа; этимъ единымъ вождемъ былъ для Россіи Достоевскій; Достоевскій былъ пророкъ божій! Я ручаюсь за слова «пророкъ божій» и за конструкцію этихъ размышленій, если можно назвать размышленіями переправу по жердочкамъ и граціозные прыжки съ одной жердочки на другую безъ всякой мысли о томъ, чтобы какъ-нибудь укрѣпить ихъ и связать. Во всякомъ случаѣ, переправа выполнена, г. Соловьевъ на томъ берегу, и торжественно и побѣдоносно кричитъ: вотъ пророкъ божій! Гдѣ же результатъ? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашеннаго имъ пророка. Какіе-то совсѣмъ другіе люди занимаютъ сцену, а «пророка божія» не поминаютъ въ

*) 1882 г., сентябрь, октябрь.

**) См. ниже, гл. II „Записокъ Современника".

своихъ молитвахъ даже тѣ, кто, такъ или иначе, хотѣлъ примазаться къ имени Достоевскаго на его свѣжей могилѣ. Погибе память его съ шумомъ. Шуму было много, это правда, но, въ сущности, шумомъ все и кончилось. Шумъ составился изъ двухъ теченій. Во-первыхъ, всегда есть плакальщики, люди особенно умиленно настроенные или настраивающіе себя, которые вмѣсто того, чтобы серьезно и трезво отнестись къ потерѣ, начинаютъ, по простонародному выраженію, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазаный. Это бы еще ничего, конечно, потому что вѣдь, можетъ быть, покойникъ и въ самомъ дѣлѣ такой - сякой. Но надо всетаки же объ этомъ хоть съ приблизительною точностью дать себѣ отчетъ, а не разбрасывать сокровища своего умиленія, что называется, зря. А то придется по прошествіи нѣкотораго времени умиляться по новому поводу и притомъ такъ, что о предъидущемъ не будетъ даже помину. Такъ именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевскаго. Но кромѣ такихъ умиленныхъ, которыхъ собственно мамка въ дѣтствѣ ушибла, почему съ тѣхъ поръ отъ нихъ и отдаетъ умиленіемъ, а чѣмъ и какъ умиляться—это имъ безразлично; кромѣ, говорю, этихъ, есть еще разные болѣе или менѣе тонкіе политиканы. Такіе не зря умиляются, а примазываются къ умиленію и тоже въ грудь себя колотятъ, и тоже ризы свои раздираютъ, но единственно въ тѣхъ видахъ, чтобы «поймать моментъ». А прошелъ моментъ, прошла и нужда. Достоевскій въ послѣднее время передъ смертью изображалъ изъ себя какой-то оплотъ оффиціальной мощи православнаго русскаго государства въ связи (не совсѣмъ ясной и едва-ли самому Достоевскому понятной) съ нѣкоторымъ мистически народнымъ элементомъ. Ну, кто пожелалъ, тотъ въ этихъ направленіяхъ и примазался къ имени крупнаго художника, въ самый моментъ смерти загорѣвшемуся такимъ, казалось, яркимъ огнемъ. Прошло нѣсколько времени, и гдѣ же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иныхъ слѣды ихъ стенаній и раздранныхъ на могилѣ Достоевскаго ризъ? Гдѣ тѣ поученія, которыя они черпаютъ въ трудныхъ случаяхъ изъ твореній столь прославленнаго учителя? Я, впрочемъ, отнюдь ихъ въ этомъ не виню. Они виноваты только въ томъ, что раздули или старались раздуть значеніе талантливаго художника до размѣровъ духовнаго вождя своей страны («пророка божія»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведетъ ихъ, то это вполнѣ натурально.

Для наглядности, припомните, что происходило какой-нибудь мѣсяцъ тому назадъ. Умеръ генералъ Скобелевъ. Умеръ внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумѣется, явились плакальщики (впереди всѣхъ, какъ водится, г. Гайдебуровъ въ должности церемоніймейстера) и политиканы (впереди всѣхъ г. Аксаковъ, расчищая мѣсто генералу Черняеву и графу Игнатьеву поближе къ траурному катафалку Скобелева). Пройдетъ нѣсколько времени, и если нашу родину постигнетъ скорбь войны, всѣ не разъ вспомнятъ «бѣлаго генерала», даже тѣ, кто по справедливости считалъ безтактными и дѣтскими его парижскіе ораторскіе опыты: дескать, вотъ бы тутъ Скобелева нужно! или: былъ бы Скобелевъ живъ, такъ было бы то-то и то-то! Конечно, будь бѣлый генералъ живъ, можетъ быть, ему и счастье измѣнило бы, и разное другое могло случиться, но вѣрно, что, въ случаѣ войны, его имя будетъ часто поминаться. Укажите же тѣ трудные случаи, въ которыхъ сами плакальщики и политиканы, не говоря о простыхъ смертныхъ, вспомнили какъ бы съ вѣрою и надеждою о Достоевскомъ: онъ бы выручилъ, онъ бы научилъ, показалъ свѣтъ! Ничего подобнаго не было, а со смерти Достоевскаго прошло только полтора года или, пожалуй, *уже* полтора года. Это время слишкомъ короткое, чтобы забыть духовнаго вождя и божія пророка, и слишкомъ продолжительное, чтобы не было случая со скорбнымъ вздохомъ вспомнить о помощи, которую пророкъ оказалъ бы, еслибы былъ живъ. А припомните-ка, какіе это были полтора года — волосы на головѣ дыбомъ встанутъ!

Но Богъ съ нимъ, съ этимъ вздоромъ о роли Достоевскаго, какъ духовнаго вождя русскаго народа и пророка. Этотъ вздоръ стоило отмѣтить, но не стоитъ заниматься подробнымъ его опроверженіемъ. Достоевскій просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательнаго изученія и представляющій огромный литературный интересъ. Только такъ изучать его мы и будемъ.

Тотчасъ послѣ смерти Достоевскаго, мы представили читателю бѣглую характеристику литературной физіономіи покойника, предполагая съ теченіемъ времени возвратиться къ болѣе подробному развитію нѣкоторыхъ частностей. Между прочимъ, было упомянуто, что къ тому страстному возвеличенію страданія, которымъ кончилъ Достоевскій, его влекли три причины: уваженіе къ существующему общему порядку, жажда личной проповѣди и *жестокость таланта*. Этой послѣдней чертой мы и предлагаемъ читателю теперь заняться.

Второй и третій томы полнаго собранія сочиненій Достоевскаго представляютъ для этого прекрасный поводъ. Здѣсь собраны небольшія повѣсти и разсказы, изъ коихъ нѣкоторые большинство читателей едва-ли даже помнятъ, но которые, однако, для характеристики Достоевскаго представляютъ огромный интересъ. Во второй томъ вошли: «Бѣдные люди», «Двойникъ», «Господинъ Прохарчинъ», «Романъ въ девяти письмахъ», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и мужъ подъ кроватью», «Честный воръ», «Елка и свадьба», «Бѣлыя ночи», «Неточка Незванова», «Маленькій герой»; въ третій томъ: «Дядюшкинъ сонъ», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдотъ», «Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ», «Записки изъ подполья», «Крокодилъ или необыкновенное событіе въ пассажѣ», «Игрокъ». Все это вещи весьма различной художественной цѣнности и весьма различной извѣстности. Кто не знаетъ «Бѣдныхъ людей»? Ну, а, напримѣръ, разсказъ «Чужая жена и мужъ подъ кроватью» едва-ли многіе читали. И по всей справедливости не читали: разсказъ плохъ. Но для нашей цѣли этотъ ничтожный разсказъ можетъ оказаться очень полезнымъ и важнымъ. Въ этихъ мелочахъ Достоевскій остается всетаки Достоевскимъ со всѣми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышленія. Въ нихъ, въ этихъ старыхъ мелочахъ можно найти задатки всѣхъ послѣдующихъ образовъ, картинъ, идей, художественныхъ и логическихъ пріемовъ Достоевскаго. И было бы въ высшей степени интересно совершить эту операцію вполнѣ, отъ начала до конца; то-есть прослѣдить всю, такъ сказать, литературную эмбріологію Достоевскаго. Но этой задачи мы на себя не беремъ и посмотримъ только на тѣ черты повѣстей и разсказовъ, вошедшихъ во второй и третій томы, которые оправдываютъ заглавіе предлагаемой статьи: жестокій талантъ.

Прежде всего надо замѣтить, что жестокость и мучительство всегда занимали Достоевскаго и именно со стороны ихъ привлекательности, со стороны какъ бы заключающагося въ мучительствѣ сладострастія. По этой части въ его мелкихъ повѣстяхъ и разсказахъ разсыпано множество иногда чрезвычайно тонкихъ замѣчаній. Примѣры ихъ приведены у насъ въ эпиграфѣ. Простая выписка ихъ могла бы наполнить цѣлыя страницы; особенно если заимствовать ихъ не изъ старыхъ только мелочей Достоевскаго, а изъ его позднѣйшихъ вещей, когда въ его творческой фантазіи мелькалъ образъ Ставрогина («Бѣсы»), который «увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою штукой и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы жертвою жизнью для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія». Впрочемъ, и ниже, вовсе не касаясь послѣднихъ и крупныхъ произведеній Достоевскаго, мы увидимъ великолѣпные образчики того пониманія и того интереса, которые онъ вкладывалъ въ свои изображенія мучительскихъ поступковъ, и жестокихъ чувствъ. Конечно, художникъ на то и художникъ, чтобы интересоваться и понимать: ему «звѣздная книга ясна», съ нимъ «говоритъ морская волна». И хотя въ звѣздной книгѣ едва-ли что-нибудь написано о жестокости, мучительствѣ, злости, да и морская волна о нихъ не говоритъ; но разъ эти вещи существуютъ и играютъ важную роль въ человѣческой жизни, художникъ долженъ интересоваться ими и понимать ихъ. *Долженъ*—это, впрочемъ, немножко сильно сказано. Платонъ изгналъ изъ своей идеальной республики поэта, «особенно искуснаго въ подражаніи и способнаго принимать множество различныхъ формъ». Платонъ понималъ величіе такого художника и предлагалъ украсить его вѣнками и облить благовоніями, но, вопреки прославленной многосторонности античнаго духа, всетаки выпроваживалъ его изъ республики, на основаніи «несовмѣстности нѣсколькихъ занятій въ одномъ лицѣ». Мы, конечно не потребуемъ такой узкости и спеціализаціи поэтическаго творчества. Напротивъ, чѣмъ шире художникъ, чѣмъ больше струнъ души человѣческой онъ затрогиваетъ, тѣмъ онъ намъ дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэтъ съ одинаковою силою и правдою изобразилъ ощущенія волка, пожирающаго овцу, и овцы, пожираемой волкомъ. Которое нибудь изъ этихъ двухъ положеній ему ближе, интереснѣе для него, что и должно отозваться на его работѣ.

Мнѣ попался очень удобный, по наглядности, примѣръ, и я думаю, что никто въ русской литературѣ не анализировалъ ощущеній волка, пожирающаго овцу, съ такою тщательностью, глубиною, съ такою, можно сказать, любовью, какъ Достоевскій, если только можно въ самомъ дѣлѣ говорить о любовномъ отношеніи къ волчьимъ чувствамъ. И его очень мало занимали элементарные, грубые сорты волчьихъ чувствъ, простой голодъ напримѣръ. Нѣтъ, онъ рылся въ самой глубокой глубинѣ волчьей души, розыскивая тамъ вещи тонкія, сложныя—не простое удовлетвореніе аппетита, а именно сладострастіе злобы и жестокости. Эта спеціальность Достоевскаго слишкомъ бросается въ глаза, чтобы ея не замѣтить. Не смотря, однако, на то, что Достоевскій далъ въ сферѣ этой своей спеціальности много крупныхъ

и цѣнныхъ вещей, онъ какъ бы нѣсколько противорѣчитъ другой, обыкновенно усвоиваемой дѣятельности Достоевскаго чертѣ. Останавливаясь на нашей метафорѣ, иной скажетъ, пожалуй, что Достоевскій, напротивъ, съ особенною тщательностью занимался изслѣдованіемъ чувствъ овцы, пожираемой волкомъ: онъ вѣдь авторъ «Мертваго дома», онъ пѣвецъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», онъ такъ умѣлъ розыскивать лучшія, высшія чувства тамъ, гдѣ ихъ существованія никто даже не подозрѣвалъ. Все это справедливо и было еще болѣе справедливо много лѣтъ тому назадъ, когда оцѣнка Достоевскаго впервые отлилась въ ту форму, которая и донынѣ господствуетъ. Но принимая въ соображеніе всю литературную карьеру Достоевскаго, мы должны будемъ ниже придти къ заключенію, что онъ просто любилъ травить овцу волкомъ, причемъ въ первую половину дѣятельности его особенно интересовала овца, а во вторую— волкъ. Однако, тутъ не было какого-нибудь очень крутого поворота. Достоевскій не сжигалъ того, чему поклонялся, и не поклонялся тому, что сжигалъ. Въ немъ просто постепенно произошло нѣкоторое перемѣщеніе интересовъ и особенностей таланта: то, что было прежде на второмъ планѣ, выступило на первый, и наоборотъ. Добролюбовъ былъ въ свое время правъ, говоря объ относительной слабости таланта Достоевскаго, и о «гуманическомъ» направленіи его художественнаго чутья. Однако, и тогда уже были крупные задатки того большаго, но жестокаго таланта, который такъ пышно развернулся впослѣдствіи. Второй и третій томы сочиненій Достоевскаго какъ нельзя лучше свидѣтельствуютъ объ этомъ.

Это цѣлый тщательно содержимый звѣринецъ, цѣлый питомникъ волковъ разнообразныхъ породъ, владѣлецъ котораго даже почти не щеголяетъ своей богатой коллекціей, а тѣмъ паче не думаетъ объ извлеченіи изъ нея прямой выгоды; онъ такъ тонко знаетъ свое дѣло и такъ любитъ его, что изученіе волчьей натуры представляетъ для него нѣчто самодовлѣющее; онъ нарочно дразнитъ своихъ звѣрей, показываетъ имъ овцу, кусокъ кроваваго мяса, бьетъ ихъ хлыстомъ и каленымъ желѣзомъ, чтобы посмотрѣть на ту или другую подробность ихъ злобы и жестокости — самому посмотрѣть и, разумѣется, публикѣ показать.

II.

Начнемъ съ того отдѣленія звѣринца, которое называется «Записки изъ подполья».

Подпольный человѣкъ (будемъ для краткости такъ называть неизвѣстное лицо, отъ имени котораго ведутся «Записки изъ подполья») начинаетъ свои записки нѣкоторыми философскими размышленіями. Приэтомъ, среди безразличныхъ для насъ въ настоящую минуту, но не лишенныхъ блеска и оригинальности мыслей, онъ выматываетъ изъ себя передъ читателемъ душу, стараясь дорыться до самаго ея дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблаченіе происходитъ жестокое и именно въ томъ направленіи, чтобы предъявить публикѣ «всѣ изгибы сладострастія» злобы. Это уже само по себѣ производитъ впечатлѣніе чего-то душнаго, смраднаго, затхлаго; истинно, точно въ подпольи сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимаетъ передъ тобой одну за другой грязныя тряпки съ своихъ гноящихся, вонючихъ язвинъ. Затѣмъ, разоблаченіе постепенно переходитъ изъ словеснаго въ фактическое, то есть идетъ разсказъ о нѣкоторыхъ подвигахъ героя.

Разныя мелочныя и вздорныя обстоятельства, среди которыхъ онъ не перестаетъ злиться и искать новыхъ и новыхъ поводовъ для злобы, приводятъ подпольнаго человѣка въ веселый домъ и оставляютъ его тамъ ночевать. Здѣсь онъ заводитъ съ своей случайной, минутной подругой длинный и мучительный для нея разговоръ съ спеціальною цѣлью ее поучать. Онъ ее въ первый разъ въ жизни видитъ, ничего, собственно говоря, противъ нея не имѣетъ и имѣть не можетъ. Но въ немъ заговорили волчьи инстинкты. «*Болѣе всего меня увлекала игра*», вспоминаетъ онъ. Дѣло удается не сразу. Волкъ пробуетъ подойти къ намѣченной жертвѣ то съ той, то съ другой стороны, чтобы вѣрнѣе вонзить зубы. «Въ тонъ надо попасть, мелькнуло во мнѣ; сантиментальностью-то не много возьмешь»... «пожалуй, и не понимаетъ, думалъ я, да и смѣшно—мораль»... «картинками вотъ, этими картинками-то тебя надо!—подумалъ я про себя». Такъ поощрялъ себя подпольный спеціалистъ жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою жертву. Онъ началъ съ разсказа о видѣнныхъ имъ похоронахъ публичной женщины, похоронахъ печальныхъ, бѣдныхъ, жалкихъ, какія, дескать, и тебѣ предстоятъ; потомъ заговорилъ о судьбѣ публичныхъ женщинъ вообще, злорадно тыкая въ больныя мѣста и ища какихъ-нибудь уже готовыхъ ранъ, которыя было бы удобно бередить. Потомъ пошли картинки противуположнаго свойства, розовыя картинки семейнаго счастія, котораго слушательница лишена. Между прочимъ, система мучительства и жестокости вкладываютъ сюда еще одну ленту, разумѣется, въ соотвѣтственной случаю окраскѣ. «Въ первое то время, говоритъ подпольный человѣкъ:—

даже и ссоры съ мужемъ хорошо кончаются. Иная сама, чѣмъ больше любитъ, тѣмъ больше ссоры съ мужемъ заварпваетъ. Право, я зналъ такую: «такъ, вотъ, люблю, дескать, очень и изъ любви тебя мучаю, а ты чувствуй». Знаешь-ли, что изъ любви нарочно человѣка можно мучить?» Простому сердцу несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее видимо понимаютъ, и подпольный человѣкъ такъ и сыплетъ ими, точно хлыстомъ хлещетъ ими свою жертву, уже прямо начиная предсказывать ей ея мрачную будущность, и болѣзнь, и смерть, и похороны, и все это выходитъ такъ безотрадно, такъ мучительно. Жертва пробуетъ сопротивляться, оттолкнуть отъ себя эти назойливыя, непрошенныя видѣнія недоступнаго счастія и неизбѣжнаго несчастія. Но подпольный человѣкъ увлеченъ «игрой» и умѣетъ вести ее. Однако, такъ какъ онъ только играетъ въ волки и овцы, даже въ помышленіи не имѣя «изъ мрака заблужденья горячимъ словомъ убѣжденья» и т. д., то... Но пусть онъ самъ разсказываетъ.

«Теперь, достигнувъ эффекта, я вдругъ струсилъ. Нѣтъ, никогда, никогда еще я не былъ свидѣтелемъ такого отчаянія! Она лежала ничкомъ, крѣпко уткнувъ лицо въ подушку и обхвативъ ее обѣими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тѣло ея вздрагивало какъ въ судорогахъ. Спершіяся въ груди рыданія тѣснили, рвали ее и вдругъ воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнѣе приникала она къ подушкѣ; ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь здѣсь, хотя одна живая душа, узнала про ея терзаніе и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою въ кровь (я видѣлъ это потомъ), или, вцѣпившись пальцами въ свои распутавшіяся косы, такъ и замирала въ усиліи, сдерживая дыханіе и стискивая зубы».

Этого подпольный человѣкъ не ожидалъ и растерялся, а растерявшись, ни съ того-ни съ сего далъ Лизѣ (такъ звали публичную женщину) свой адресъ и пригласилъ ее къ себѣ. Понятное дѣло, что на другой же день подпольный человѣкъ сталъ злиться и на себя, и на Лизу. Не за то, что, безъ нужды и цѣли, а собственно ради «игры» измучилъ ее, а за то, что пригласилъ къ себѣ. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что, можетъ быть, она и не придетъ, что ее «мерзавку», не пустятъ. Иногда ему приходило въ голову самому съѣздить къ ней, «разсказать ей все» и упросить ее не приходить. «Но тутъ, при этой мысли, во мнѣ поднималась такая злоба, что, кажется, я бы такъ и раздавилъ эту «проклятую» Лизу, если-бы она возлѣ меня вдругъ случилась, оскорбилъ бы ее, оплевалъ бы, выгналъ бы, ударилъ бы!» Прошелъ день, прошелъ другой, Лиза не шла. Подпольный человѣкъ началъ-было уже успокоиваться, какъ вдругъ, на третій день Лиза является и, вдобавокъ, застаетъ нашего героя въ самой непригляднойобстановкѣ и въ ссорѣ, чуть не въ дракѣ съ лакеемъ. Онъ «стоялъ передъ ней убитый, ошельмованный, омерзительно-сконфуженный и, кажется, улыбался, всѣми силами стараясь запахнуться полами своего лохматаго ватнаго халатишка». Послѣ нѣкоторыхъ истерическихъ прелюдій, ломаній и вывертовъ, подпольный человѣкъ предложилъ Лизѣ чаю, и вотъ какъ онъ объ этомъ вспоминаетъ:

— Пей чай! проговорилъ я злобно. Я злился на себя, но, разумѣется, достаться должно было ей. Страшная злоба противъ нея закипѣла вдругъ въ моемъ сердцѣ; такъ бы и убилъ ее, кажется. Чтобы отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить съ ней во все время ни одного слова. «Она же всему причина», думалъ я. Молчаніе наше продолжалось уже минутъ пять. Чай стоялъ на столѣ, мы до него не дотрогивались: я до того дошелъ, что нарочно не хотѣлъ начинать пить, чтобы этимъ отяготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Нѣсколько разъ она съ грустнымъ недоумѣніемъ взглянула на меня. Я упорно молчалъ. Главный мученикъ былъ, конечно, я самъ, потому что вполнѣ сознавалъ всю омерзительную низость моей злобной глупости и въ то же время никакъ не могъ удержать себя.

А затѣмъ пошли въ ходъ уже настоящіе волчьи клыки. Подпольный человѣкъ разразился длиннымъ монологомъ, прямо разсчитаннымъ на то, чтобы въ конецъ заколотить званную, но не желанную гостью; въ ту памятную для нея ночь, онъ вралъ, смѣялся надъ ней, издѣвался; онъ пріѣхалъ, чтобы отомстить одному человѣку, а такъ какъ этого человѣка на лицо не оказалось, а подвернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нея никакого дѣла не было и нѣтъ, и т. д., и т. д. Но разсчеты подпольнаго человѣка оказались невѣрными или, по крайней мѣрѣ, эффектъ его монолога оказался совершенно для него неожиданнымъ. Изъ всей его злобной рѣчи Лиза поняла только, что онъ несчастливъ, бросилась къ нему, обняла и зарыдала. Подпольный человѣкъ на минуту смутился, но тотчасъ же въ сердцѣ его «вдругъ тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство—чувство господства и обладанія». Подпольный человѣкъ поступилъ съ своей гостьей, какъ съ публичной женщиной, грубо, оскорбительно, такъ что она ощутила оскорбленіе, и сунулъ ей на прощанье въ руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла—оставила на столѣ). Онъ прибавляетъ въ этомъ мѣстѣ своего разсказа, что сдѣлалъ эту жестокость,

то-есть сунулъ бумажку, «со злости». Дѣвушка ушла и тѣмъ «Записки изъ подполья», собственно говоря, и кончаются.

Я очень бѣгло изложилъ содержаніе этой повѣсти, минуя множество чрезвычайно тонкихъ подробностей. Вся повѣсть представляетъ какое-то психологическое кружево. Но я думаю, что и изъ тѣхъ грубыхъ очертаній, которыми передана повѣсть у меня, видно, какъ глубоко интересовался Достоевскій явленіями жестокости, тиранства, мучительства, и какъ пристально онъ къ нимъ приглядывался. Можетъ быть, самое интересное въ «Запискахъ изъ подполья» это—безпричинность озлобленія подпольнаго человѣка противъ Лизы. Вы не видите причинъ его озлобленности вообще. Человѣкъ является на сцену сорокалѣтнимъ мужчиной, вполнѣ готовымъ, и что въ его жизни такъ изломало его—остается, говоря слогомъ Кайданова, покрыто мракомъ неизвѣстности. Точно вся его гнусность какимъ-то самозарожденіемъ должна объясняться или даже никакого объясненія не требуетъ. На этотъ счетъ въ повѣсти есть только общія фразы, лишенныя опредѣленнаго содержанія,—вродѣ того, напримѣръ, что подпольный человѣкъ отвыкъ отъ «живой жизни» и прилѣпился къ жизни «книжной». Но положимъ, что авторъ просто такъ и хотѣлъ готоваго злеца и мучителя изобразить, и, во всякомъ случаѣ, это—его, автора, дѣло, а не черта характера подпольнаго человѣка. Гораздо любопытнѣе то обстоятельство, что подпольный человѣкъ начинаетъ мучить Лизу въ самомъ дѣлѣ рѣшительно ни съ того, ни съ сего: просто, она подъ руку подвернулась. Ни причинъ для злости противъ нея нѣтъ, ни результатовъ никакихъ подпольный человѣкъ отъ своего мучительства не предвидитъ. Онъ предается своему занятію единственно изъ любви къ искусству, для «игры». Съ этою ненужною жестокостью мы еще встрѣтимся. А теперь замѣтимъ только, что самая постановка картинъ жестокости въ рамки ненужности свидѣтельствуетъ о цѣнѣ, которую давалъ Достоевскій этому сюжету. Герой могъ бы мучить Лизу съ благою цѣлью наведенія ея на путь истины; могъ бы мстить ей за какую-нибудь обиду, насмѣшку и т. п. Картина потрясенной души во всѣхъ этихъ случаяхъ была бы на лицо. Но Достоевскій отвергъ всѣ внѣшніе, посторонніе мотивы: герой мучитъ, потому что ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цѣли тутъ нѣтъ, да вовсе ихъ, по мысли автора, и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость an und für sich, и она-то интересна.

По этой или по какой другой причинѣ, но довольно трудно сказать, какъ относится Достоевскій къ своему герою. Въ двухъ-трехъ заключительныхъ строкахъ онъ называетъ его отъ себя безразличнымъ въ нравственномъ отношеніи именемъ «парадоксалиста». Что касается умственнаго багажа подпольнаго человѣка, то здѣсь можно найти очень различныя вещи; между прочимъ, и такія философскія размышленія (напримѣръ, о свободѣ воли), которыя не имѣютъ ровно никакого отношенія къ жестокости, а также такія, которыя очень родственны самому Достоевскому. Въ «Запискахъ изъ подполья», напримѣръ, впервые, еще въ неясной и вопросительной формѣ, является одна изъ излюбленнѣйшихъ мыслей послѣднихъ лѣтъ дѣятельности Достоевскаго. Подпольный человѣкъ пишетъ: «И почему вы такъ твердо, такъ торжественно увѣрены, что только одно нормальное и положительное, однимъ словомъ, только одно благоденствіе человѣку выгодно? Не ошибается ли разумъ-то въ выгодахъ? Вѣдь, можетъ быть, человѣкъ любитъ не одно благоденствіе? Можетъ быть, онъ ровно настолько же любитъ страданіе? Можетъ быть страданіе ему ровно настолько же и выгодно, какъ благоденствіе? А человѣкъ иногда ужасно любитъ страданіе, до страсти—это фактъ». Если читатель припомнитъ, какъ впослѣдствіи Достоевскій страстно проповѣдывалъ страданіе, какъ онъ видѣлъ въ страданіи интимнѣйшее требованіе духа русскаго народа; какъ онъ возводилъ въ перлъ созданія острогъ и каторгу; если читатель припомнитъ все это, то можетъ быть удивится, встрѣтивъ ту же мысль въ запискахъ жестокаго звѣря. Но въ томъ-то и вопросъ—звѣрь ли еще подпольный человѣкъ съ точки зрѣнія Достоевскаго. Мнѣнія подпольнаго человѣка о самомъ себѣ на первый взглядъ поражаютъ безпощадностью: всякую, повидимому, мерзость человѣкъ готовъ разсказать. Но, всматриваясь въ эту странную исповѣдь нѣсколько ближе, вы видите, что подпольный человѣкъ очень не прочь не только порисоваться своей безпощадностью къ самому себѣ, а и оправдаться до извѣстной степени. Прежде всего, онъ вовсе не считаетъ себя уродомъ, человѣкомъ исключительнымъ по существу. Онъ, правда, полагаетъ себя дѣйствительно исключительнымъ человѣкомъ, но только по смѣлости мысли и ясности сознанія. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Что же собственно до меня касается, то вѣдь я только доводилъ въ моей жизни до крайности то, что вы не осмѣливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразуміе, и тѣмъ утѣшались, обманывая сами себя». Въ другомъ мѣстѣ, пространно толкуя о «наслажденіи въ зубной боли», подпольный человѣкъ утверждаетъ, что *всякій* «образованный человѣкъ девят-

надцатаго столѣтія» на второй, на третій день зубной боли стонетъ уже собственно не отъ боли, а отъ злости. «Стоны его становятся какіе-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по цѣлымъ днямъ и ночамъ. И вѣдь знаетъ самъ, что никакой себѣ пользы не принесетъ стонами; лучше всѣхъ знаетъ, что онъ только напрасно себя и другихъ надрываетъ и раздражаетъ; знаетъ, что даже и публика, передъ которой онъ старается, и все семейство его уже прислушались къ нему съ омерзѣніемъ, не вѣрятъ ему ни на грошъ и понимаютъ про себя, что онъ могъ бы иначе, проще стонать, безъ руладъ и безъ вывертовъ, а что онъ только такъ, со злости, съ ехидства балуется. Дескать, «я васъ безпокою, сердце вамъ надрываю, всѣмъ въ домѣ спать не даю. Такъ вотъ не спите же, чувствуйте и вы каждую минуту, что у меня зубы болятъ. Я для васъ ужъ теперь не герой, какимъ прежде хотѣлъ казаться, а просто гаденькій человѣкъ, шенапанъ. Ну, такъ пусть же! Я очень радъ, что вы меня раскусили. Вамъ скверно слушать мои подленькіе стоны? Ну, такъ пусть скверно; вотъ я вамъ сейчасъ еще скверпѣй руладу сдѣлаю»... Не понимаете и теперь, господа? Нѣтъ, надо, видно, глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять всѣ изгибы этого сладострастія!»

Такимъ образомъ, разница между подпольнымъ человѣкомъ и большинствомъ образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія состоитъ только въ томъ, что онъ яснѣе сознаетъ истекающее изъ злобы наслажденіе, а пользуются-то этимъ наслажденіемъ всѣ. Такое обобщеніе значительно смягчаетъ самобичеваніе подпольнаго человѣка. На людяхъ и смерть красна. Не очень уже, значитъ, скверенъ подпольный человѣкъ, если всѣ таковы; онъ даже выше остальныхъ, потому что смѣлѣе и умнѣе ихъ. Пусть же кто-нибудь изъ «образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія» попробуетъ бросить въ него камнемъ.

Кромѣ этого смягчающаго или даже возвышающаго обстоятельства, подпольный человѣкъ рѣшился бы, можетъ быть, выставить еще одно. Читатель видѣлъ, что въ числѣ розовыхъ картинъ, которыми подпольный человѣкъ мучительски ущемлялъ душу Лизы, былъ абрисъ женщины, мучающей своего мужа изъ любви. А затѣмъ слѣдовало обобщеніе «знаешь ли, что изъ любви нарочно человѣка можно мучить?» О себѣ же подпольный человѣкъ прямо говоритъ: «любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не могъ даже себѣ представить иной любви и до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоитъ въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать. Я и въ мечтахъ своихъ подпольныхъ иначе и не представлялъ себѣ любви, какъ борьбою, начиналъ ее всегда съ ненависти и кончалъ нравственнымъ покореніемъ, а потомъ ужъ и представить себѣ не могъ: что дѣлать съ покореннымъ предметомъ?». Если разумѣть дѣло такъ, что вотъ, дескать,—уродъ, даже любви никогда не ощущавшій, то, конечно, нужно много смѣлости и искренности, чтобы сдѣлать такое заявленіе. Любовь, кажется,—чувство достаточно общедоступное и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь особенной умственной или нравственной высоты, и должно быть въ самомъ дѣлѣ жалкій, скудный уродъ тотъ, на языкѣ котораго любовь и тиранство однозначущи или, по крайней мѣрѣ, всегда сопутствуютъ другъ другу. Это такъ. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувствъ—совсѣмъ не уродство, а только глубина «проникновенія» въ душу человѣческую? Что если душа, ну, положимъ, хоть не человѣка вообще, а только образованнаго человѣка девятнадцатаго столѣтія, такъ ужъ устроена, что любовь и тиранство въ ней неизбѣжно цвѣтутъ рядомъ? Простому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любуется на красоту красиваго лица, а ученый человѣкъ подойдетъ съ микроскопомъ, да и увидитъ въ этомъ красивомъ лицѣ цѣлую сѣть очень некрасивыхъ морщинъ, рытвинъ и пр. Также и тутъ. Тонкіе психологи, вродѣ подпольнаго человѣка и самого Достоевскаго, могутъ находить въ душѣ такія вещи и такія сочетанія вещей, которыя намъ, простымъ смертнымъ, совершенно недоступны. И если въ самомъ дѣлѣ любовь и тиранство растутъ, цвѣтутъ и даютъ плоды рядомъ, даже переходя другъ въ друга; если это нѣкоторымъ образомъ законъ природы, то опять-таки кто изъ образованныхъ людей девятнадцатаго столѣтія посмѣетъ бросить камнемъ въ подпольнаго человѣка? Камень неизбѣжно отскочитъ отъ него, какъ отъ стѣны горохъ, и поразитъ самого метальщика. И, значитъ, подпольный человѣкъ опять оправданъ и даже возвеличенъ. Вѣдь ужъ не о себѣ лично, а въ видѣ общаго наблюденія, онъ говоритъ: «знаешь ли, что можно изъ любви нарочно мучить человѣка?»

Такое скептическое отношеніе къ лучшимъ или вообще благожелательнымъ чувствамъ едва-ли ограничивается въ подпольномъ человѣкѣ одною любовью. Эпиграфомъ къ разсказу о встрѣчѣ съ Лизой (онъ имѣетъ отдѣльное заглавіе «По поводу мокраго снѣга») взяты стихи Некрасова: «Когда изъ мрака заблужденья, горячимъ словомъ

убѣжденья, я душу падшую извлекъ» и т. д. Въ устахъ подпольнаго человѣка эти слова—чистѣйшая иронія, потому что хотя Лиза, дѣйствительно, «стыдомъ и ужасомъ полна», «разрѣшилася слезами, возмущена, потрясена», но этого результата подпольный человѣкъ вовсе не имѣлъ въ виду и, какъ мы видѣли, занимался просто «игрой» въ волки и овцы. Но не даромъ же поставленъ такой эпиграфъ, и отъ скептическаго ехидства подпольнаго человѣка можно ожидать самыхъ обобщенныхъ киваній на Петра: дескать, если бы такой казусъ съ кѣмъ-нибудь изъ васъ, господа, произошелъ, такъ вы не преминули бы продекламировать стихи Некрасова и имѣть при этомъ чрезвычайно душеспасительный и даже геройскій видъ, ну, а я знаю, какъ эти дѣла дѣлаются, знаю, что если даже, дѣйствительно, вы о спасеніи падшей души думали, то все-таки тутъ примѣшивалось много желанія помучить человѣка, потерзать его; я знаю это и разсказываю про себя откровенно, а вы за высокія чувства прячетесь...

Справедливо это объясненіе или нѣтъ, но достовѣрно, что въ подпольномъ человѣкѣ каждое проявленіе жизни осложняется жестокостью и стремленіемъ къ мучительству. И не случайное это, конечно, совпаденіе, что самъ Достоевскій всегда и вездѣ тщательно разглядывалъ примѣсь жестокости и злобы къ разнымъ чувствамъ, на первый взглядъ не имѣющимъ съ ними ничего общаго. Въ мелкихъ повѣстяхъ, собранныхъ во второмъ и третьемъ томахъ сочиненій Достоевскаго, разсыпаны зародыши этихъ противоестественныхъ сочетаній, зародыши, получившіе впослѣдствіи дальнѣйшее развитіе.

Въ «Крокодилѣ» намѣчено сочетаніе дружбы со злобой («странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятыхъ былъ съ нимъ друженъ изъ злобы»). Ниже мы встрѣтимся съ чрезвычайно своеобразнымъ выраженіемъ этого сочетанія въ «Вѣчномъ мужѣ».

Въ «Игрокѣ» есть нѣкая Полина—странный типъ властной до жестокости, взбалмошной, но обаятельной женщины, повторяющійся въ Настасьѣ Филипповнѣ,—въ «Идіотѣ» и въ Грушенькѣ—въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Этотъ женскій типъ очень занималъ Достоевскаго, но въ разработкѣ его онъ во всю жизнь ни на шагъ не подвинулся впередъ. Пожалуй, даже первый абрисъ — Полина яснѣе послѣдняго — Грушеньки. Но и Полина напоминаетъ собой какое-то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться въ вполнѣ опредѣленную форму, вытягивающееся то въ одну, то въ другую сторону. Между этой Полиной и героемъ «Игрокомъ», существуютъ чрезвычайно странныя отношенія. Она его любитъ, какъ оказывается, впрочемъ уже очень поздно, а между тѣмъ третируетъ какъ лакея, и даже хуже чѣмъ лакѣя. Въ каждой подробности ея отношеній къ «Игроку» сквозитъ «что-то презрительное и ненавистное». Игрокъ ее тоже любитъ, и она знаетъ объ этомъ и именно поэтому всячески издѣвается надъ нимъ, приказываетъ дѣлать разныя глупости, мучитъ намѣренною циничностью и пошлостью своихъ разговоровъ. Правда, что въ ней это, кажется, фатально. По крайней мѣрѣ, въ отношеніи ея наружности встрѣчается одна очень курьезная и характерная черта: «слѣдокъ ноги у нея узенькій и длинный—*мучительный, именно мучительный*». Что же ужъ тутъ подѣлаешь, коли слѣдокъ ноги мучительный! Въ свою очередь, и герой хорошенько не знаетъ, дѣйствительно - ли онъ любитъ Полину или, напротивъ, ненавидитъ. По одному случаю онъ записываетъ: «И еще разъ теперь я задалъ себѣ вопросъ: люблю ли я ее? И еще разъ не съумѣлъ на него отвѣтить, т. е. лучше сказать, я опять, въ сотый разъ, отвѣтилъ себѣ, что я ее ненавижу. Да, она была мнѣ ненавистна. Бывали минуты, что я отдалъ бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы возможно было медленно погрузить въ ея грудь острый ножъ, то я, мнѣ кажется, схватился бы за него съ наслажденіемъ. А между тѣмъ, клянусь всѣмъ, что есть святого, если бы на Шлангенбергѣ, на модномъ пуантѣ, она, дѣйствительно, сказала мнѣ: «бросьтесь внизъ», то я бы тотчасъ же бросился, и даже съ наслажденіемъ».

Въ повѣсти «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичокъ Ежевикинъ, играющій роль шута, на видъ очень добродушный и всѣмъ желающій угодить, а въ сущности очень ядовитый—прототипъ цѣлаго ряда старыхъ шутовъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ Достоевскаго. Дочь Ежевикина, бѣдная гувернантка, находящаяся въ особенно трудномъ положеніи, полагаетъ, что отецъ представляетъ изъ себя шута *для нея*. По ходу повѣсти, это предположеніе очень вѣроподобно, но самъ Достоевскій рѣшительно его отрицаетъ. Онъ говоритъ, что Ежевикинъ «корчилъ изъ себя шута просто изъ внутренней потребности, чтобы дать выходъ накопившейся *злости*»...

Впрочемъ, въ «Селѣ Степанчиковѣ» есть лица, гораздо болѣе интересныя, чѣмъ злобный старый шутъ Ежевикинъ.

III.

Владѣлецъ села Степанчикова, Егоръ Ильичъ Ростаневъ, отставной гусарскій пол-

ковникъ, есть настоящая овца, смирная и благодушная до глупости. Всякій охочій человѣкъ можетъ на немъ ѣздить, сколько душѣ угодно, оскорблять его, тиранить, и онъ же будетъ считать себя виноватымъ передъ своимъ тираномъ и просить у него прощенія. Таковы именно его отношенія къ матери, вдовѣ-генеральшѣ, несносиѣйшей по глупости и наглости женщинѣ, которая, живя на шеѣ у сына и терзая его на всякія манеры, все находитъ, что онъ эгоистъ и недостаточно къ ней внимателенъ. Но тиранство матери совершенно блѣднѣетъ передъ тѣмъ, что терпитъ полковникъ Ростаневъ, да и всѣ обитатели села Степанчикова отъ нѣкоего Ѳомы Ѳомича Опискина. Это чрезвычайно любопытный экземпляръ волчьей породы. Объявился онъ сначала въ домѣ покойника-мужа генеральши, «въ качествѣ чтеца и мученика», попросту приживальщика, много терпѣвшаго отъ генеральскаго издѣвательства. Но на дамской половинѣ генеральскаго дома онъ разыгрывалъ совершенно другую роль. Генеральша питала къ нему какое-то мистическое уваженіе, которое онъ поддерживалъ душеспасительными бесѣдами, снотолкованіями, прорицаніями, хожденіемъ къ обѣднѣ и заутренѣ и проч. А когда генералъ умеръ и генеральша перебралась къ сыну, Ѳома Опискинъ сталъ рѣшительно первымъ человѣкомъ въ домѣ. Изъ прошлаго Ѳомы съ достовѣрностью извѣстно только, что онъ потерпѣлъ неудачу на литературномъ поприщѣ и потомъ множество обидъ отъ своего генерала. И онъ, значитъ, былъ овцой, по всей вѣроятности, злобной, паршивой и вообще скверной, но во всякомъ случаѣ униженной и оскорбленной овцой по своему общественному положенію. А теперь вдругъ получилась возможность разыграться его волчьимъ инстинктамъ. «Теперь представьте же себѣ, говоритъ Достоевскій:—что можетъ сдѣлаться изъ Ѳомы, во всю жизнь угнетеннаго и забитаго и даже, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ битаго, изъ Ѳомы, втайнѣ сластолюбиваго и самолюбиваго, изъ Ѳомы — огорченнаго литератора, изъ Ѳомы — шута изъ насущнаго хлѣба, изъ Ѳомы—въ душѣ деспота, не смотря на все предыдущее ничтожество и безсиліе, изъ Ѳомы—хвастуна, а при удачѣ нахала, изъ этого Ѳомы, вдругъ попавшаго въ честь и славу, возлелѣяннаго и захваленнаго, благодаря идіоткѣ покровительницѣ и обольщенному, на все согласному покровителю, въ домъ котораго онъ попалъ, наконецъ, послѣ долгихъ странствованій?»

Дѣйствительно, можно себѣ представить, какая оберъ-каналья должна была получиться при такихъ условіяхъ! А, впрочемъ, если читателю покажется, что подобную каналью представить себѣ очень уже легко, то онъ ошибется. Легко-то, легко, но не ему, простому, хотя бы чрезвычайно проницательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй волѣ во всѣ извилины мрачныхъ лабиринтовъ пакостной человѣческой души. Легко—знатоку и любителю, каковъ Достоевскій. Достоевскій, однако, пожелалъ почему-то на этотъ разъ предъявить своего звѣря въ нѣсколько комическомъ освѣщеніи—капризъ художника, который можетъ всегда вернуться опять и опять къ своему сюжету и перепробовать на немъ всевозможныя освѣщенія. Тѣмъ болѣе, что комическій колоритъ при этомъ только сдабриваетъ впечатлѣніе, заставляя васъ время отъ времени улыбнуться; но, спустивъ улыбку съ губъ, вы тотчасъ же понимаете, что передъ вами во всякомъ случаѣ злобный тиранъ и мучитель.

Вотъ образчикъ мучительства Ѳомы Опискина.

— Прежде кто вы были? говоритъ, напримѣръ, Ѳома, развалясь послѣ сытнаго обѣда въ покойномъ креслѣ, причемъ слуга, стоя за кресломъ, долженъ былъ отмахивать отъ него, свѣжей липовой вѣткой, мухъ.—На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронилъ въ васъ искру того небеснаго огня, который горитъ теперь въ душѣ вашей. Заронилъ ли я въ васъ искру небеснаго огня или нѣтъ? Отвѣчайте: заронилъ я въ васъ искру или нѣтъ?

Ѳома Ѳомичъ, по правдѣ, и самъ не зналъ, зачѣмъ сдѣлалъ такой вопросъ. Но молчаніе и смущеніе дяди (полковника Ростанева) тотчасъ же его раззадорили. Онъ, прежде терпѣливый и забитый, теперь вспыхивалъ, какъ порохъ, при каждомъ малѣйшемъ противорѣчіи. Молчаніе дяди показалось ему обиднымъ, и онъ уже теперь настаивалъ на отвѣтѣ.

— Отвѣчайте же: горитъ въ васъ искра или нѣтъ.

Дядя мнется, жмется и не знаетъ, что предпринять.

— Позвольте вамъ замѣтить, что я жду, замѣчаетъ Ѳома обидчивымъ голосомъ.

— Mais répondez donc, Егорушка, подхватываетъ генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горитъ въ васъ эта искра или нѣтъ? снисходительно повторяетъ Ѳома, взявъ конфетку изъ бонбоньерки, которая всегда ставится передъ нимъ на столѣ. Это уже распоряженіе генеральши.

— Ей-богу не знаю, Ѳома, отвѣчаетъ, наконецъ, дядя, съ отчаяніемъ во взорахъ:—должно быть что-нибудь есть въ этомъ родѣ, и, право, ты ужъ лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь...

— Хорошо! такъ по вашему я такъ ничтоженъ, что даже не стою отвѣта. Вы это хотѣли сказать? Ну, пусть будетъ такъ, пусть я буду ничто.

— Да нѣтъ же, Ѳома, Богъ съ тобой! Ну, когда я это хотѣлъ сказать?

— Нѣтъ, вы именно это хотѣли сказать.

— Да клянусь же, что нѣтъ!

— Хорошо! пусть буду я лгунъ! пусть я, по вашему обвиненію, нарочно изыскиваю предлога къ ссорѣ; пусть ко всѣмъ оскорбленіямъ присоединится и это—я все перенесу...

— Mais, mon fils! вскрикиваетъ испуганная генеральша.

— Ѳома Ѳомичъ! маменька! восклицаетъ дядя въ отчаяніи:—ей-богу же я не виноватъ! Такъ развѣ, нечаянно, съ языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Ѳома: я вѣдь глупъ, самъ чувствую,что глупъ.

И т. д. Конечно, Ѳома смѣшонъ, мелокъ и глупъ съ своими приставаніями; но чтобы быть жестокимъ тираномъ, вовсе не требуется величавой и трагической физіономіи. Вообще, мучителямъ дѣлаютъ слишкомъ много чести, представляя ихъ себѣ непремѣнно какими-то гигантами. Напротивъ, при кровопійственномъ комариномъ жалѣ, они обладаютъ большею частью и комаринымъ ростомъ. Примѣръ — Ѳома Опискинъ, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако, можетъ отравить жизнь слишкомъ деликатнымъ, или слабымъ людямъ своимъ мелочнымъ, но назойливымъ и наглымъ жужжаніемъ. Взвѣсьте муки, доставляемыя какимъ-нибудь сильнымъ острымъ страданіемъ, и сравните ихъ съ тѣми мелочами, что́ хронически терпитъ человѣкъ, осужденный на сожительство съ Ѳомой Опискинымъ, и еще неизвѣстно, которая чашка вѣсовъ перетянетъ. Вы видите, что несчастная овца-полковникъ совершенно забитъ, запуганъ тою деревянною пилою, которою Ѳома неустанно пилитъ его изо дня въ день. Полковникъ готовъ дать своему мучителю какой угодно выкупъ, унизить себя, назвать дуракомъ, провалиться сквозь землю, вывернуться наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиленіе. Но Ѳомѣ Опискину никакого выкупа не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алканіе ненасытно: пусть полковникъ еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и, когда мучитель, наконецъ, устанетъ, онъ оставитъ свою жертву до слѣдующаго раза. Только усталость и можетъ положить конецъ подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здѣсь сытости и быть не можетъ. На какія бы уступки жертва ни шла, каждый ея шагъ даетъ только новый поводъ для терзаній; все равно какъ каждое движеніе рыбы на на удочкѣ неизбѣжно терзаетъ ея внутренности. Ѳома не добивается никакого опредѣленнаго результата, достиженіе котораго положило бы конецъ его операціи; для него самый процессъ мучительства важенъ, процессъ самодовлѣющій и, слѣдовательно, самъ по себѣ безостановочный.

Разъ полковникъ предложилъ Ѳомѣ пятнадцать тысячъ, чтобы онъ только убрался тихимъ манеромъ изъ дому. Ѳома разыгралъ трагическую сцену съ этими, какъ онъ выразился, «милліонами», расшвырялъ деньги по комнатѣ, надругался надъ полковникомъ всласть, заставилъ его просить у себя прощенія и, въ концѣ-концовъ, не взялъ денегъ, но и изъ дому не ушелъ. Нѣкто Мизинчиковъ отзывается объ этомъ случаѣ такъ: «Отказался отъ пятнадцати тысячъ, чтобы взять потомъ тридцать. Впрочемъ, знаете что: я сомнѣваюсь, чтобы у Ѳомы былъ какой-нибудь разсчетъ. Это человѣкъ непрактическій, это тоже въ своемъ родѣ какой-то поэтъ. Пятнадцать тысячъ... гм! Видите-ли, онъ и взялъ бы деньги, да не устоялъ передъ соблазномъ погримасничать, порисоваться». Впослѣдствіи, когда по одному, совершенно особенному случаю, полковникъ, наконецъ, поступилъ съ своимъ мучителемъ физически и буквально вышвырнулъ его за дверь, Ѳома смирился. Онъ даже устроилъ счастіе полковника, конечно со всякими вывертами и ломаніями. Но, тѣмъ не менѣе, Мизинчиковъ правъ: Ѳома человѣкъ непрактическій — ему нужно ненужное.

Трудно, разумѣется, положить границу между нужнымъ и ненужнымъ. То, что вовсе не нужно, напримѣръ русскому мужику, можетъ быть необходимо англійскому лорду, а по прошествіи нѣкотораго времени и русскій мужикъ потребуетъ вещей по теперешнему ненужныхъ. Вообще, кромѣ прямаго удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей въ воздухѣ, пищѣ, кровѣ, одеждѣ, все теперь нужное было когда-то совсѣмъ ненужно. Бываетъ и наоборотъ, что потребности упраздняются, нужное отходитъ въ область ненужнаго. Иногда это дѣло измѣнчивой моды, иногда — коренного измѣненія условій жизни. Но если такимъ образомъ между нужнымъ и ненужнымъ нельзя установить безусловную границу, то въ извѣстномъ обществѣ, стоящемъ на извѣстномъ уровнѣ, уловить границу условную вовсе уже не такъ трудно. Запутанность подробностей или пристрастіе изслѣдователя могутъ, конечно, затемнить дѣло и поставить подъ сомнѣніе даже такой, напримѣръ, вопросъ, какъ: нужна-ли свобода русской печати или это ненужная роскошь? Но въ принципѣ тутъ всетаки никакой трудности нѣтъ. Тѣмъ болѣе, что въ крупныхъ, по крайней мѣрѣ, вещахъ, условная, историческая граница между нужнымъ и ненужнымъ отмѣчается, обыкновенно, или большими общественными непорядками, или присутствіемъ крупныхъ, выдающихся личностей, новаторовъ, которые ищутъ чего-то по общему мнѣнію ненужнаго, но долженствующаго стать, можетъ быть, завтра же нужнымъ. Не будемъ спорить о самой механикѣ процесса; не будемъ говорить о томъ, отдѣльныя-ли выдающіяся личности создаютъ новую потребность или упраздняютъ старую, или наоборотъ, они своею дѣятельностью только подводятъ итогъ

разрозненнымъ и непродуманнымъ стремленіямъ массы. Для насъ этотъ вопросъ безразличный, который притомъ же отвлекъ бы насъ далеко въ сторону. Такъ-ли, сякъ-ли, но достовѣрно, что въ большихъ и малыхъ дѣлахъ, въ области отвлеченной теоріи и житейской практики, отъ времени до времени являются особенно требовательные люди, которые не довольствуются нужнымъ, которымъ нужное даже противно, а дорого и важно ненужное. Для нихъ томительна пріѣвшаяся сфера нужнаго, того, что всѣмъ требуется и безъ чего никто уже не можетъ жить. Они требуютъ отъ жизни, если не неизвѣданнаго и еще загадочнаго новаго по существу, то, по крайней мѣрѣ, какой-нибудь приправы къ прѣсному нужному...

Вы ждете, конечно, разговора о тѣхъ представителяхъ человѣчества, которые ищутъ новыхъ истинъ, новыхъ формъ справедливости, и цѣною страшныхъ усилій, страданій, а иногда самой жизни своей переводятъ ихъ изъ области ненужнаго въ область нужнаго, обращаютъ во всеобщую потребность; о тѣхъ людяхъ, про которыхъ сказано, что никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ; о тѣхъ, кого соотечественники и современники далеко не всегда встрѣчаютъ съ распростертыми объятіями, а напротивъ, слишкомъ часто гонятъ, чтобы потомъ, черезъ много лѣтъ, потомки задали себѣ безустанно повторяющійся въ исторіи вопросъ: какъ это можно было гнать и распинать тѣхъ людей? и какъ можно было считать ненужнымъ то, чего они добивались?

Да, эти люди сюда относятся. Но не о нихъ пойдетъ у насъ разговоръ, потому что насъ ждетъ Ѳома Опискинъ, который тоже сюда относится. Не смущайтесь этимъ сопоставленіемъ «пальца отъ ноги», по выраженію Менениія Агриппы, съ красой и гордостью людскаго рода. Оно только на первый взглядъ кажется оскорбительнымъ для человѣческаго достоинства. Дѣло въ томъ, что двери ненужнаго очень широки и черезъ нихъ входятъ въ жизнь добро и зло. Римская чернь, временъ упадка Рима, орала «хлѣба и зрѣлищъ»! Но не всегда же «зрѣлища» были такъ же нужны, какъ хлѣбъ, а тѣмъ паче тѣ жестокія, кровавыя зрѣлища, которыми наслаждались выродившіеся римляне. Кто-то когда-то сдѣлалъ эти зрѣлища равными насущному хлѣбу. Кто сдѣлалъ—сильныя-ли своимъ нравственнымъ вліяніемъ или оффиціальною мощью личности или же сама проголодавшаяся и развращенная чернь, это опять-таки для насъ въ настоящую минуту безразлично. Но достовѣрно, что особенное раздраженіе нервовъ, даваемое кровавыми зрѣлищами, прежде ненужное, стало потребностью, и что первые, кто ощутилъ эту потребность, вводили въ жизнь ненужное и были своего рода новаторами, требовательными натурами, недовольствующимися нужнымъ, хлѣбомъ. Такимъ образомъ, не совсѣмъ правъ король Лиръ, говоря: «дай человѣку то лишь, безъ чего не можетъ жить онъ—ты его сравняешь съ животнымъ». Это правда, но неполная правда, полуправды. Другая же половина правды состоитъ въ томъ, что и ненужное, безъ чего жить очень и очень можно, обращаясь въ нужное, равняетъ иногда человѣка съ животнымъ. Все дѣло въ свойствахъ того ненужнаго, къ которому стремятся требовательныя натуры, и въ степени ихъ вліянія на своихъ соотечественниковъ и современниковъ. Ненужное можетъ быть возвышенно и даже превышать человѣческія силы и способности; но оно можетъ быть и низменно до скотства. И въ томъ и въ другомъ случаѣ его можетъ усиливаться ввести въ жизнь слабосильное ничтожество и дѣйствительно крупная сила. Понятно, какія различныя комбинаціи могутъ выходить изъ этихъ четырехъ данныхъ.

Возвращаясь къ Ѳомѣ Опискину, надо будетъ признать, что онъ слишкомъ мелокъ, чтобы положить печать своего образа и подобія на сколько нибудь значительный кругъ людей. Но представьте себѣ, что онъ обладаетъ какою-нибудь внутреннею силою; представьте себѣ, напримѣръ, что онъ не неудачникъ-литераторъ, а обладаетъ, напротивъ того, большимъ и оригинальнымъ дарованіемъ, оставаясь въ то-же время Ѳомой Опискинымъ по натурѣ.

Впрочемъ, покончимъ сначала съ портретомъ Ѳомы, тогда дѣло будетъ виднѣе.

По теперешнимъ условіямъ нашей жизни, курицу къ обѣду зарѣзать или быка убить нужно, но мучить приэтомъ быка и курицу, растягивать ихъ агонію, отрубать имъ предварительно ноги, колесовать—не нужно. Это зрѣлище ужъ, конечно, не скраситъ вашего обѣда, а развѣ испортитъ его. Ѳомѣ, напротивъ, важно какъ-разъ именно это ненужное. Онъ нарочно протянетъ убійство курицы, чтобы опоздать съ обѣдомъ, все время злиться и съ удвоенною жестокостью слѣдить за судорожными вздрагиваніями жертвы. Это стремленіе къ ненужному доходитъ въ Ѳомѣ до совершенной глупости, которая была бы сама по себѣ смѣшна, если бы отъ нея не страдали люди. Былъ, напримѣръ, въ селѣ Степанчиковѣ дворовый мальчикъ Ѳалалей, очень красивый, очень наивный, глупый и всеобщій баловень, а этого послѣдняго было совершенно достаточно, чтобы Ѳалалей сталъ предметомъ завистливой злобы Ѳомы. Но главнымъ покровителемъ Ѳалалея была сама генеральша, которая наряжала его, какъ куклу, да и любила,

какъ хорошенькую куклу. Этого препятствія Ѳома не могъ преодолѣть на проломъ, а потому избралъ окольный, но вѣрный путь. Онъ самъ пожелалъ быть благодѣтелемъ Ѳалалея и началъ свои благодѣянія съ обученія мальчугана «нравственности, хорошимъ манерамъ и французскому языку». «Какъ! говорилъ Ѳома:—онъ всегда вверху, при своей госпожѣ, вдругъ она, забывъ, что онъ не понимаетъ по-французски, скажетъ ему, напримѣръ: donne mua монъ мушуаръ—онъ долженъ и тутъ найтись, и тутъ услужить!» Но Ѳалалей оказался глупъ на всѣхъ діалектахъ, къ книжному же обученію, тѣмъ паче французскому, совсѣмъ неспособенъ. Отсюда источникъ его мученій. Допекалъ его Ѳома, допекала и дворня прозвищемъ «француза». Вдругъ Ѳома узнаетъ, что камердинеръ полковника, старикъ Гаврила, осмѣлился выразить сомнѣніе въ пользѣ французской грамоты. А Ѳома тому и радъ, радъ тою злобною радостью, которая хватается за всякій случай приложить къ дѣлу особливо ненужное, виртуозное надругательство: въ наказаніе онъ засадилъ за французскій языкъ самого Гаврилу. А затѣмъ происходитъ такая, напримѣръ, сцена. Въ присутствіи цѣлаго общества онъ обращается къ старику камердинеру:

— Эй ты, ворона, пошелъ сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьичъ! Это, вотъ видите ли, Павелъ Семеныичъ, Гаврила; за грубость и въ наказаніе изучаетъ французскій діалектъ. Я, какъ Орфей, смягчаю здѣшніе нравы, только не пѣснями, а французскимъ діалектомъ. Ну, французъ мусью шематонъ—*терпѣть не можетъ, когда говорятъ ему: мусье шематонъ*, знаешь урокъ?

— Вытвердилъ, отвѣчалъ, повѣсивъ голову, Гаврила.

— А парлэ-ву-франсе?

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе...

Разумѣется, всеобщій хохотъ веселой компаніи; старикъ обижается; поднимается страшный скандалъ, за которымъ мы ужъ слѣдить не будемъ. Насъ еще несчастный Ѳалалей ждетъ. Обратите только вниманіе на эту злостную черту: Ѳома, издѣваясь надъ Гаврилой вообще, не упускаетъ случая всадить ему еще спеціальную шпильку мусью шематона, чего тотъ *терпѣть не можетъ*. Этого-то Ѳомѣ и нужно. Онъ тщательно изучаетъ, по мѣрѣ своихъ силъ и способностей, что кому не нравится, именно затѣмъ, чтобы, при случаѣ, отточить изъ собранныхъ матеріаловъ ядовитую шпильку.

Такъ какъ Ѳома обучаетъ Ѳалалея, кромѣ французскаго языка, еще нравственности и хорошимъ манерамъ, то однажды предъявляетъ его публикѣ подъ такимъ соусомъ.

— Поди сюда, поди сюда, нелѣпая душа; поди сюда, идіотъ, румяная ты рожа!

Ѳалалей подходитъ, плача, утирая обѣими руками глаза.

— Что ты сказалъ, когда сожралъ свой пирогъ? повтори при всѣхъ!

Ѳалалей не отвѣчаетъ и заливается горькими слезами.

— Такъ я скажу за тебя, коли такъ. Ты сказалъ, треснувъ себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, какъ Мартынъ мыла!» Помилуйте, полковникъ, развѣ говорятъ такими фразами въ образованномъ обществѣ, а тѣмъ болѣе въ высшемъ? Сказалъ ты это или нѣтъ? говори!

— Сказалъ! подтверждаетъ Ѳалалей, всхлипывая.

— Ну, такъ скажи мнѣ теперь: развѣ Мартынъ ѣстъ мыло? Гдѣ, именно, ты видѣлъ такого Мартына, который ѣстъ мыло? Говори же, дай мнѣ понятіе объ этомъ феноменальномъ Мартынѣ!

Молчаніе.

— Я тебя спрашиваю, пристаетъ Ѳома:—кто именно этотъ Мартынъ? Я хочу его видѣть, хочу съ нимъ познакомиться. Ну, кто же онъ? Регистраторъ, астрономъ, пошехонецъ, поэтъ, кантенармусъ, дворовый человѣкъ—кто-нибудь долженъ же быть. Отвѣчай!

— Дво-ро-вый че-ло-вѣкъ, отвѣчаетъ, наконецъ, Ѳалалей, продолжая плакать.

— Чей? чьихъ господъ?

Но Ѳалалей не умѣетъ сказать,—чьихъ господъ. Разумѣется, кончается тѣмъ, что Ѳома, въ сердцахъ, убѣгаетъ изъ комнаты и кричитъ, что его обидѣли: съ генеральшей начинаются припадки, а дядя клянетъ часъ своего рожденія, проситъ у всѣхъ прощенія, и всю остальную часть дня ходитъ на цыпочкахъ въ своихъ собственныхъ комнатахъ.

На другой же день послѣ исторіи съ мартыновымъ мыломъ, Ѳалалей, какъ ни въ чемъ не бывало, подавая утромъ Ѳомѣ чай, разсказалъ ему, что видѣлъ сонъ «про бѣлаго быка». Ѳома пришелъ въ ужасъ, распушилъ полковника, а Ѳалалея подвергъ, кромѣ того, наказанію—стоянію въ углу на колѣняхъ. Причину же такого гнѣва можно усмотрѣть изъ слѣдующаго реприманда: «Развѣ ты не можешь, говорилъ Ѳома Ѳалалею:—развѣ ты не можешь видѣть во снѣ что-нибудь изящное, нѣжное, облагороженное, какую-нибудь сцену изъ хорошаго общества, напримѣръ, хоть господъ, играющихъ въ карты, или дамъ, прогуливающихся въ прекрасномъ саду?» Ѳому бѣлый быкъ возмущалъ, какъ доказательство «грубости, невѣжества, мужичества вашего неотесаннаго Ѳалалея». Ѳалалей обѣщалъ исправиться, но, увы! и на слѣдующій и на третій день, и подрядъ цѣлую недѣлю видѣлъ во снѣ все того же бѣлаго быка, хотя даже молился на ночь, чтобы его не видать. Соврать же онъ по глупости и правдивости своей не догадывался. Все въ домѣ трепетало отъ ярости Ѳомы, Ѳалалей даже исхудалъ, и сердобольныя бабы уже спрыснули его съ уголька, какъ вдругъ исторія кончилась сама собой, изморомъ, потому что Ѳома былъ отвлеченъ другими дѣлами.

Довольно, кажется. Мы можемъ пренебречь другими подвигами Ѳомы, которыхъ еще много, и всѣ они въ томъ же родѣ. Ѳома есть одинъ изъ любопытнѣйшихъ экземпляровъ волчьей породы, въ этомъ не можетъ, конечно, быть никакого сомнѣнія—всѣ его дѣйствія и даже слова запечатлѣны самою свирѣпою жестокостью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, по вѣрному опредѣленію Мизинчикова, непрактическій человѣкъ и, пожалуй, «въ своемъ родѣ какой-то поэтъ»—всѣ его вышеизложенные поступки поражаютъ своею ненужностью. Словами «ненужная жестокость» исчерпывается чуть не вся нравственная физіономія Ѳомы, и если прибавить сюда безмѣрное самолюбіе при полномъ ничтожествѣ, такъ вотъ и весь Ѳома Опискинъ. Онъ никакой выгоды изъ своей жестокости не извлекаетъ, онъ предается мучительству по непосредственному требованію своей волчьей натуры, что называется, *такъ*. Онъ—чистый художникъ, поэтъ злости и тиранства, безъ малѣйшей утилитарной подкладки. И чѣмъ вычурнѣе, необыкновеннѣе осѣнившій его голову проектъ мучительства, тѣмъ для него пріятнѣе. Дайте Ѳомѣ Опискину внѣшнюю силу Ивана Грознаго или Нерона, и онъ имъ не уступитъ ни на одинъ волосъ, «удивитъ міръ злодѣйствомъ». Дайте же ему какую-нибудь внутреннюю силу, произойдутъ вещи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе любопытныя.

Представьте себѣ, какъ уже выше было сказано, что Ѳома Опискинъ не бездарность, потерпѣвшая фіаско на литературномъ поприщѣ, а напротивъ — большой талантъ. Прежде всего, большой талантъ, конечно, смягчитъ въ Ѳомѣ Опискинѣ каррикатурно-грубыя черты физіономіи. «Геній и злодѣйство несовмѣстны», говоритъ Пушкинъ устами своего Моцарта. Это неправда—очень совмѣстны. Но всетаки съ крупнымъ талантомъ несовмѣстны такія дурацкія формы, въ какія облекается тиранство Ѳомы: талантъ придастъ имъ извѣстное изящество, красоту, привлекательность, такъ что даже далеко не всякій догадается, что имѣетъ дѣло съ мучителемъ по призванію натуры. Затѣмъ, такъ какъ передъ нами литературный дѣятель, то мы должны имѣть въ виду главнымъ образомъ именно эту его дѣятельность, а до частной его жизни намъ, пожалуй, и никакого дѣла нѣтъ. О подлинномъ Ѳомѣ Опискинѣ, то - есть о томъ, который показывается въ звѣринцѣ Достоевскаго, одни полагали, что онъ высокой и святой жизни человѣкъ, другіе были совершенно противнаго мнѣнія. Относительно *нашего* Ѳомы не можетъ быть даже и разговора на этотъ счетъ. Намъ только интересно знать, какъ отразится въ крупномъ литературномъ талантѣ ненужная жестокость, освободившись отъ глупости, грязи и ничтожества Ѳомы Опискина.

IV.

Жестокій талантъ, который при этомъ получится, выберетъ, преимущественно, темою для своихъ произведеній страданіе и будетъ заставлять страдать и своихъ дѣйствующихъ лицъ, и своихъ читателей. Конечно, это можетъ сдѣлать и самый мягкій, даже приторный талантъ. Совершенно натурально, что на темѣ страданія построено многое множество литературныхъ произведеній, потому что литература есть только отраженіе жизни, а въ жизни страданія слишкомъ довольно. А разъ за обработку этой темы берется настоящій талантъ, то опять-таки натурально, что онъ вызоветъ у читателя слезы сочувствія или негодованія, вообще заставитъ его перестрадать извѣстное страдательное положеніе. Но отличительнымъ свойствомъ нашего жестокаго таланта будетъ ненужность причиняемаго имъ страданія, безпричинность его и безцѣльность. Нашъ жестокій талантъ будетъ именно вышеупомянутою требовательною натурою, которой нужное совсѣмъ ненужно, для которой нужное слишкомъ прѣсно. Формальнымъ образомъ, на архитектурѣ романа или повѣсти это отразится непомѣрными и совершенно не художественными длиннотами, вводными сценами, отступленіями, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ соблазнъ мучительно пощекотать нервы читателя или подвергнуть жестокому воздѣйствію кого-нибудь изъ персонажей. При этомъ, внутренняя сторона всѣхъ этихъ отступленій и вводныхъ картинъ не будетъ вызываться теченіемъ романа, не будетъ соотвѣтствовать жизненной правдѣ, не будетъ имѣть нравственнаго смысла, не будетъ шевелить въ читателѣ мысль. Все это условія или требованія нужнаго, и все это жестокій талантъ презритъ и повергнетъ къ подножію ненужнаго страданія. Просто для того, чтобы помучить какого - нибудь, имъ самимъ созданнаго, Сидорова или Петрова (а вмѣстѣ съ нимъ и читателя), онъ навалитъ на него невѣроятную гору несчастій, заставитъ совершить самыя вычурныя преступленія и терпѣть за нихъ соотвѣтственныя угрызенія совѣсти, проволочитъ сквозь тысячи бѣдъ и оскорбленій, самыхъ фантастическихъ, самыхъ невозможныхъ. Житейское, обыденное, нужное онъ оставитъ безъ вниманія или удѣлитъ ему таковое въ самомъ ничтожномъ размѣрѣ. За то каждый мельчайшій штрихъ, каждую микроскопическую подробность ненужнаго страданія разовьетъ съ тщательностью виртуоза. Понятное дѣло, что если бы такую работу представила жесто-

кая бездарность, то, конечно, ничего, кромѣ насмѣшки, въ вознагражденіе не получила бы, потому что тутъ нарушены всѣ общепризнанныя и основательно общепризнанныя условія литературнаго творчества. Но вѣдь мы имѣемъ дѣло съ талантомъ, а талантъ имѣетъ привилегію влагать душу живу во все, за что онъ принимается. Онъ такъ предъявитъ вамъ свое ненужное, невозможное, невѣроподобное, уродливое, фантастическое, что вы не оторветесь, и не до насмѣшки вамъ будетъ, потому что вы, дѣйствительно, перестрадаете предъявленное вамъ страданіе. Онъ отуманитъ вамъ голову своими образами и, картинами, заставитъ усиленно биться сердце, и развѣ въ тѣ lucida intervalae, когда во время самаго чтенія найдетъ на васъ трезвость, вы спросите себя: и за что онъ этого Сидорова или Петрова такъ мучитъ? за что и меня вмѣстѣ съ нимъ такъ мучительно щекочетъ? за что и зачѣмъ? Совсѣмъ вѣдь это не нужно. Ни въ какомъ смыслѣ не нужно? Это какой-то испанскій бой быковъ происходитъ. Слѣдя съ напряженнымъ вниманіемъ за перипетіями этого отвратительнаго зрѣлища, я вмѣстѣ со всѣми зрителями, ощущаю приливъ и отливъ различныхъ чувствъ, я увлеченъ, я весь превратился въ зрѣніе и слухъ. Но развѣ нужно, чтобы быкъ распоролъ брюхо лошади, посадилъ на рога пикадора и получилъ ловкій смертельный ударъ отъ матадора?

Развѣ нужно? Въ томъ-то и дѣло, что нужно, если цѣлая масса людей любуется на эти мерзости; нужно въ смыслѣ ощущеній, ставшихъ потребностью, хотя никакихъ иныхъ оправданій они, разумѣется, за себя представить не могутъ. Вѣрнѣе будетъ, однако, сказать, что *было* нужно, потому что испанцы, кажется, начинаютъ отставать отъ этого, какъ говорится на нашемъ политическомъ жаргонѣ, самобытнаго развлеченія. Но, во всякомъ случаѣ, сравнительно еще очень недавно, всѣ путешественники по Испаніи описывали восторгъ и увлеченіе, съ которымъ публика, со включеніемъ прекраснаго слабаго, нѣжнаго пола, апплодировала быку, сажающему на рога пикадора, и матадору, вонзающему шпагу въ быка. Было, однако, и въ поэтической Испаніи время, когда бой быковъ былъ вещью ненужною, когда онъ просто даже совсѣмъ не значился въ числѣ самобытныхъ испанскихъ удовольствій. Эта потребность привилась не вдругъ, какъ не вдругъ теперь упраздняется. Можно поэтому думать, что раздумье, въ которое впадаютъ по временамъ читатели и почитатели жестокаго таланта, съ теченіемъ времени будетъ постепенно ослабѣвать и ослабѣвать, пока наконецъ возбужденіе, опредѣляемое ненужною жестокостью автора, станетъ потребностью, столь же сильною, какъ испанская потребность въ боѣ быковъ и римская потребность въ зрѣлищахъ. Конечно, для такого результата нужно совпаденіе довольно сложныхъ обстоятельствъ. Первымъ дѣломъ жестокій талантъ долженъ быть, дѣйствительно, большимъ и оригинальнымъ талантомъ, способнымъ «глаголомъ жечь сердца людей». Но и за всѣмъ тѣмъ онъ можетъ промелькнуть падучей звѣздой, если въ окружающей и читающей его средѣ не будетъ на лицо подходящихъ условій. Если, напримѣръ, общество будетъ имѣть передъ собою какую-нибудь широкую задачу или цѣлый рядъ задачъ, достаточныхъ для поглощенія его вниманія, то жестокій талантъ просуществуетъ безслѣдно, хотя его, разумѣется, будутъ читать. Можетъ быть, спустя долгое время, при совершенно иныхъ условіяхъ жизни, его вспомнятъ и упьются имъ до опьянѣнія, особливо, если явятся подходящіе продолжатели, подражатели, толкователи. Такъ не разъ случалось въ исторіи мысли и творчества. Какой-нибудь Шопенгауеръ, напримѣръ, умъ геніальный, въ свое время не произвелъ впечатлѣнія, какого заслуживалъ, а черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ воскресъ въ Гартманѣ, мыслителѣ очень ловкомъ, но развѣ достойномъ только развязать ремень у сапога Шопенгауера. Понятное дѣло, что если читающій людъ окажется на мели, то-есть будетъ сидѣть безъ дѣла, безъ настоящаго, увлекающаго дѣла, и только заниматься дѣлами, да обдѣлывать дѣла, то жестокій талантъ примется съ распростертыми объятіями: отъ бездѣлья и то рукодѣлье. Тутъ надо, впрочемъ, оговориться. Дѣла у людей, собственно говоря, всегда довольно, слишкомъ довольно, и нѣтъ такого ни времени, ни племени, передъ которыми не стояли бы задачи, достаточно широкія, чтобы заниматься ими, а не упиваться боемъ быковъ. Для признанія такого простого положенія совсѣмъ не требуется быть узкимъ ригористомъ, и считать, что «печной горшокъ всего дороже» на свѣтѣ, ибо «въ немъ пищу мы себѣ варимъ». Нѣтъ, есть вещи, несравненно болѣе дорогія, чѣмъ печной горшокъ, но ужъ навѣрное это не бой быковъ. И однако, не смотря на это постоянное присутствіе задачъ, достойныхъ всецѣлаго вниманія общества, и даже какъ разъ въ пору ихъ особенной настоятельности, жестокій талантъ можетъ стать героемъ своего времени, прибѣжищемъ для общественнаго вниманія, ищущаго куда бы ему приткнуться. Это тогда можетъ случиться, когда общество поставлено къ лежащему передъ нимъ дѣлу въ такое-же отношеніе, въ какомъ лисица стоитъ къ винограду въ баснѣ Крылова.

Если дѣло есть и для всѣхъ это ясно, потому что дѣло выросло изъ самыхъ нѣдръ исторіи, но постороннія обстоятельства не позволяютъ его дѣлать, то взбудораженная энергія, не находя себѣ правильнаго исхода, обращается къ разнымъ низменнымъ ненужностямъ наркотическаго свойства. Въ числѣ ихъ могутъ быть и тѣ ощущенія, которыя даются произведеніями жестокаго таланта. При такихъ условіяхъ читатель покорно, даже съ нѣкоторымъ восторгомъ, пойдетъ на тѣ ненужныя мученія, какимъ подвергаетъ его, вмѣстѣ съ своимъ Сидоровымъ или Петровымъ, жестокій талантъ. Выдуманная, и не только выдуманная, а прямо-таки совсѣмъ ненужная мука станетъ потребностью, для удовлетворенія которой явится цѣлая фаланга подражателей и продолжателей нашего жестокаго таланта. Понятно, что и въ самой жизни, въ «живой жизни», говоря словами подпольнаго человѣка, эта потребность въ ненужныхъ мученіяхъ и эта привычка къ нимъ должна отразиться различными трудно опредѣлимыми, но ужъ, разумѣется, не хорошими послѣдствіями. Надо помнить, что мученія эти имѣютъ отраженный характеръ. Не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ читателя въ три кнута били. Нѣтъ, бьютъ на его глазахъ Сидорова или Петрова, бьютъ ни съ того, съ сего, человѣка ни въ чемъ неповиннаго, но бьютъ вмѣстѣ съ тѣмъ такъ художественно, что читателю становится любо смотрѣть на это отвратительное зрѣлище; просто любо, безъ малѣйшаго участія другихъ чувствъ и мысли.

Все это я говорю въ томъ предположеніи, что жестокій талантъ есть поэтъ, беллетристъ. И, кажется, все это само собой естественно вытекаетъ изъ основной характеристической черты нашего очищеннаго и преображеннаго Ѳомы Опискина — ненужной жестокости. Гораздо труднѣе вывести всѣ послѣдствія ненужной жестокости, если формой литературной дѣятельности ея носителя будетъ публицистика. Оно, пожалуй, на первый взглядъ даже и нетрудно, особенно намъ, русскимъ, имѣющимъ въ букетѣ своей публицистики такую благоуханную розу, какъ Катковъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое классическое дѣтоубійство, столь назойливо проповѣдуемое на Страстномъ бульварѣ, въ Москвѣ, какъ не точный сколокъ съ водворенія французскаго языка Ѳомой Опискинымъ въ селѣ Степанчиковѣ: вуй, мусью, же ле парль эн-пе—и отъ этихъ магическихъ словъ нравы смягчаются. Очень похоже, это правда, но всетаки это только родственная черта, а не черта тождественности. Родственныхъ чертъ можно найти еще довольно много, потому что жестокость Каткова и его склонность къ насилію совершенно чрезвычайны. Но, въ качествѣ публициста, онъ преслѣдуетъ всетаки извѣстныя практическія задачи, добивается извѣстныхъ результатовъ. Мотивы его дѣятельности, вѣроятно, очень разнообразны. Тутъ, надо думать, есть и дѣйствительное убѣжденіе, и упрямство, и самодурство, и растерянность публициста, много лѣтъ пользовавшагося небывалымъ у насъ вліяніемъ и видящаго въ концѣ-концовъ, что ничего путнаго онъ изъ своего вліянія не сдѣлалъ. Но, такъ или иначе, по тѣмъ или другимъ побужденіямъ, а Каткову нужно, напримѣръ, какъ Марату, сто тысячъ головъ—онъ ихъ и требуетъ; нужно, чтобы, кромѣ него, въ печати никто не смѣлъ слова пикнуть—онъ этого и добивается; нужно, чтобы всѣ читали Гомера и Виргилія въ подлинникѣ—онъ и пропагандируетъ. Ѳомѣ Опискину никакихъ такихъ результатовъ не надо. Онъ, вѣроятно, подалъ бы руку Каткову и почтилъ бы его дѣятельность своимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, но ему лично нуженъ только самый процессъ мучительства. Онъ, напримѣръ, былъ бы очень счастливъ, если-бы имѣлъ возможность пилить своей словесной пилой сто тысячъ человѣкъ изо-дня въ день, но не до умерщвленія, а такъ, чтобы они неустанно корчились отъ душевной боли, а онъ бы ихъ все попиливалъ, да потыкивалъ, да поджаривалъ. Спрашивается: какъ же вмѣстить эту безпричинность и безрезультатность мучительства въ публицистику, имѣющую непремѣнно дѣло съ причинами и результатами? Очень трудно вмѣстить и придется, пожалуй, рѣшить дѣло такъ, что чистымъ публицистомъ нашъ жестокій талантъ совсѣмъ и быть не можетъ. Онъ можетъ по временамъ дѣлать экскурсіи въ эту область, но центръ тяжести его дѣятельности долженъ непремѣнно лежать въ художественной сферѣ, гдѣ у поэта, какъ говорится, своя рука владыка. Вызвалъ изъ мрака небытія Сидорова и тѣшься надъ нимъ сколько душѣ угодно: художникъ вѣдь не обязанъ предъявлять доводы и аргументы, почему, зачѣмъ, за что пьетъ Сидоровъ такую горькую чашу. Наконецъ, область искусства допускаетъ одинъ пріемъ, представляющій переходъ къ публицистикѣ. Стоитъ только автору вложить одному изъ дѣйствующихъ лицъ свои собственныя мысли. И можно, кажется, предвидѣть, что жестокій талантъ будетъ прибѣгать къ этому пріему довольно часто, растягивая притомъ монологи своего подставного *я* до совершенно нехудожественной длинноты. Оборотъ для жестокаго таланта очень удобный. Темою для его разсужденій въ публицистической формѣ должно остаться все то же ненужное, безпричинное и безрезультатное страданіе. Но здѣсь она должна получить

видъ уже не безнужно страдающихъ образовъ, а видъ практическаго требованія. Ну, а какъ-же такъ-таки прямо отъ своего имени требовать мученій для людей? Гораздо удобнѣе вложить это требованіе въ уста какого-нибудь «парадоксалиста», какого-нибудь эксцентрическаго человѣка. А впрочемъ, мы сейчасъ увидимъ, что жестокій талантъ можетъ, въ концѣ-концовъ, придумать форму для прямого требованія страданія отъ своего собственнаго лица, обставляя, разумѣется, дѣло разными каріатидами и другими яко-бы поддерживающими зданіе украшеніями.

Но читатель, пожалуй, усомнится въ самой возможности такихъ безнужно жестокихъ людей. Онъ слыхалъ, что люди мучатъ людей изъ мести, корысти и т. п. И когда страсть отуманитъ голову, жестокость, если не извинительна, то, по крайней мѣрѣ, понятна въ пылу одури. Но такъ мучить, ради одной игры фантазіи, ради одного художественнаго созерцанія мученій—бываетъ ли это? Къ сожалѣнію, несомнѣнно бываетъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ исторія, знающая Ивана Грознаго, Нерона и другихъ жрецовъ чистѣйшаго и утонченнѣйшаго искусства мучительства. Объ этомъ свидѣтельствуетъ историческій же фактъ удовольствія, которое иногда въ теченіи цѣлыхъ длинныхъ періодовъ доставляютъ людямъ звѣрскія зрѣлища. О томъ же свидѣтельствуютъ разныя житейскія мелочи, если вы захотите къ нимъ приглядѣться. Объ этомъ же свидѣтельствуетъ психологическая наблюдательность такого крупнаго художника, какъ Достоевскій, который, не говоря о послѣдующихъ его произведеніяхъ, создалъ хотя бы только подпольнаго человѣка и Ѳому Опискина. Достоевскій удостовѣряетъ, что «человѣкъ — деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ»; что есть люди, находящіе въ мучительствѣ сильнѣйшее и напряженнѣйшее наслажденіе — сладострастіе; что можно съ наслажденіемъ мучить не только ненавистнаго, а и любимаго человѣка. И какъ же намъ не повѣрить, наконецъ, этому, ну, хоть не пророку божію—это ужъ г. Соловьевъ въ забвеніи чувствъ хватилъ—но во всякомъ случаѣ чрезвычайно тонкому наблюдателю? Тѣмъ болѣе, что, независимо отъ представленныхъ имъ поэтическихъ образцовъ ненужной жестокости, Достоевскій самъ былъ однимъ изъ любопытнѣйшихъ ея живыхъ образцовъ. Онъ былъ именно тотъ жестокій талантъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь...

Если бы картонные мечи умиленныхъ плакальщиковъ, хитроумныхъ политикановъ и такъ-себѣ пустопорожнихъ людей, уже давно полу-извлеченные изъ ноженъ, могли рубить и колоть, то, конечно, я былъ бы въ эту минуту поверженъ множествомъ ударовъ. Какъ! Достоевскій—звѣзда русской литературы и едва-ли не правило вѣры и образъ кротости, уличается въ жестокости, да еще совершенно ненужной, сравнивается съ такимъ дряннымъ ничтожествомъ, какъ Ѳома Опискинъ! Только узкое пристрастіе лагеря, партіи можетъ довести до такой дерзости!

Въ такомъ родѣ что-нибудь скажутъ умиленные плакальщики, хитроумные политиканы и такъ себѣ пустопорожніе люди, а не скажутъ, такъ подумаютъ, съ прибавкой, конечно, еще многихъ и разнообразныхъ нелестныхъ для меня вещей. До этихъ господъ мнѣ рѣшительно никакого дѣла нѣтъ. Но я боюсь, чтобы кто-нибудь и изъ благомыслящихъ читателей, сбитый съ толку елейной репутаціей Достоевскаго, не предъявилъ не то что этихъ возраженій, потому что какія же это возраженія?—а этихъ попрековъ. Это было бы огорчительно. Дѣло въ томъ, что лагерное, партійное отношеніе къ Достоевскому невозможно. Ни къ какой опредѣленный партіи онъ не принадлежалъ, а тѣмъ паче не оставилъ послѣ себя школы. Можно только сказать, что въ чисто литературномъ отношеніи нѣкоторые наши молодые беллетристы, къ сожалѣнію, соблазнились примѣромъ Достоевскаго и пытаются заниматься безнужнымъ мучительствомъ, предполагая, вѣроятно, что въ этомъ и только въ этомъ состоитъ психологическій анализъ. Затѣмъ, къ различнымъ намѣтившимся у насъ политическимъ партіямъ Достоевскій былъ однѣми сторонами ближе, другими дальше и просто не обладалъ тѣмъ, что можно назвать политическимъ темпераментомъ. Онъ былъ прежде всего художникъ, радующійся процессу творчества, и потомъ проповѣдникъ, имѣющій дѣло исключительно съ личностью и ея судьбами. Политическую же жизнь и ея формы онъ не то что понималъ правильно или неправильно,—это бы еще подлежало обсужденію, а просто не интересовался ими. Совсѣмъ онѣ были чужія ему, всѣми своими вкусами влекомому къ разбирательству интимнѣйшихъ личныхъ дѣлъ и дѣлишекъ. Оттого, когда подъ конецъ разныя случайныя обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случалось проговариваться нелѣпостями, которыя казались бы колоссальными, если бы онѣ не были такъ комичны. То вдругъ брякнетъ, что крѣпостное право само по себѣ нисколько не мѣшаетъ идеально - нравственнымъ отношеніямъ между господами и крѣпостными. То изречетъ пророчества, что мы возьмемъ въ самомъ скоромъ времени Константинополь, а турки пойдутъ торговать халатами и мыломъ, какъ будто бы было съ татарами послѣ

взятія Казани. Понятное дѣло, что политиканы, мечтающіе о возрожденіи крѣпостного права въ обновленной и юридически совершенно правильной формѣ, а также пустопорожніе люди, желающіе прибить свой щитъ къ вратамъ Цареграда, были рады этой косвенной поддержкѣ со стороны крупнаго литературнаго таланта. Понятно также, что люди, имѣющіе нѣчто противъ крѣпостного права, даже чрезвычайно и по новѣйшей модѣ разукрашеннаго, и полагающіе, что мы можемъ пока обойтись и безъ Константинополя, не могли съ радостнымъ чувствомъ слышать эти пустяки изъ устъ писателя, который пользовался обширною и заслуженною извѣстностью, хотя и совсѣмъ по другой части. Изволь еще тамъ, разбирай по какой части: *Достоевскій* говоритъ, и это уже очень и очень важно для многихъ. Отсюда радость однихъ и огорченіе другихъ. Но никогда ни одни, ни другіе не считали мало-мальски серьезно Достоевскаго политическимъ дѣятелемъ или опорою партіи. А потому, повторяю, партійное пристрастіе не имѣетъ по отношенію къ Достоевскому никакого raison d'être, особливо теперь, послѣ его смерти.

Вся политика и публицистика Достоевскаго представляетъ сплошное шатаніе и сумбуръ, въ которомъ есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, безпричинная, безрезультатная жестокость. И если я сопоставляю Достоевскаго съ его же созданіемъ, Ѳомой Опискинымъ, то, конечно, очень хорошо понимаю, что первый уменъ и талантливъ, а второй глупъ и бездаренъ. О житейскихъ отношеніяхъ Достоевскаго намъ ничего не извѣстно, да, пожалуй, и не надобно знать, ибо мы хотимъ только видѣть, какъ житейская ненужная жестокость Ѳомы Опискина отражается въ *литературной* дѣятельности Достоевскаго.

Начнемъ съ конца, то-есть съ публицистики, потому что тутъ дѣло стоитъ проще и яснѣе всего, хотя довольно и трудно, едва-ли даже возможно говорить о публицистикѣ Достоевскаго, не касаясь его беллетристики.

Катковъ негодуетъ на слабость приговоровъ суда присяжныхъ и требуетъ «строгихъ наказаній, острога и каторги». Достоевскій тоже негодовалъ на слабость приговоровъ суда присяжныхъ и требовалъ строгихъ наказаній, острога и каторги. Но разница вотъ въ чемъ. Негодованіе и требованіе Каткова стоятъ на чисто утилитарной почвѣ: онъ ратуетъ за расшатанную «дисциплину», требуетъ, чтобы вообще обитатели земли русской, недостаточно «подтянутые», были, наконецъ, подтянуты въ удовлетворительной степени. Достоевскій стоялъ въ своемъ требованіи внѣ всякихъ утилитарныхъ соображеній. Самый вопросъ: зачѣмъ строгія наказанія, острогъ и каторга? — не существовалъ для него, хотя ему поневолѣ приходилось въ публицистической своей дѣятельности вертѣться около этого вопроса. Однако, и тутъ онъ больше сворачивалъ на другой, собственно говоря необыкновенно странный вопросъ: кто хочетъ строгихъ наказаній и проч.? кто хочетъ страданія вообще? Понятно, что такая постановка чрезвычайно удобна для человѣка, не умѣющаго, не желающаго мотивировать свое требованіе, принужденнаго почему-нибудь скрывать свои истинные мотивы или наконецъ просто плохо сознающаго ихъ. (Послѣднее случается гораздо чаще, чѣмъ, можетъ быть, думаетъ читатель: сплошь и рядомъ человѣкъ всю жизнь не отдаетъ себѣ отчета въ истинныхъ мотивахъ своей дѣятельности.) Чрезвычайно удобно, вмѣсто всякой аргументаціи по самому существу дѣла, сослаться на какой-нибудь могущественный въ данномъ случаѣ авторитетъ: дескать, онъ, авторитетъ, хочетъ. Ну, а авторитету этому можно и собственное хотѣніе подсунуть. Достоевскій перепробовалъ, кажется, всѣ подобные авторитеты. Мы видѣли, что уже подпольный человѣкъ говоритъ о желаніи людей страдать, о томъ, что они «любятъ до страсти» страданіе. Затѣмъ, въ послѣдующихъ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ, Достоевскій съ особенною любовью останавливался на тѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, когда человѣкъ въ самомъ дѣлѣ ищетъ страданія, пожалуй, именно любитъ его, въ искупленіе когда-то совершеннаго имъ грѣха. Съ этою цѣлью онъ заставляетъ своихъ дѣйствующихъ лицъ совершать вычурныя, фантастическія преступленія или, по крайней мѣрѣ, питать того же сорта мысли, чтобы потомъ они могли страдать, страдать, страдать. Достойно вниманія, что человѣкъ иногда бываетъ готовъ идти на страданіе по совершенно инымъ мотивамъ, но Достоевскій не признавалъ ихъ законными, и если вводилъ въ свои произведенія, то непремѣнно въ язвительномъ тонѣ. Сейчасъ мы увидимъ, въ чемъ тутъ дѣло. Во всякомъ случаѣ, человѣкъ самъ хочетъ и любитъ страдать, а это авторитетъ въ данномъ случаѣ достаточно высокій; ужъ если самъ хочетъ страдать, такъ не зачѣмъ и разсуждать о причинахъ и цѣляхъ страданія, — пусть себѣ страдаетъ. Но Достоевскій не удовольствовался этимъ авторитетомъ, основательно, можетъ быть, соображая, что не всякій повѣритъ такой любви человѣка къ страданію. Съ теченіемъ времени онъ прибавилъ авторитетъ самого Бога, а затѣмъ авторитетъ русскаго народа, и около этого послѣдняго столба

собственно и вертѣлась вся его политика и публицистика, излагавшаяся отъ его собственнаго имени въ «Дневникѣ писателя» и отъ имени дѣйствующихъ лицъ романовъ: «Идіотъ», «Бѣсы», «Братья Карамазовы». При ближайшемъ разсмотрѣніи, открылось, видите-ли, что не человѣкъ вообще любитъ и хочетъ страдать, а именно русскій человѣкъ. Французскій, нѣмецкій, турецкій и всякій другой иностранный человѣкъ остается по этому пункту даже какъ бы въ сильномъ подозрѣніи. Коренная же черта русскаго человѣка, особливо сохранившаяся въ народѣ, состоитъ въ неудержимомъ стремленіи къ страданію. Изъ этого центра идутъ въ разныя стороны радіусы въ видѣ весьма, впрочемъ, немногочисленныхъ теоретическихъ и практическихъ выводовъ. Типическимъ образчикомъ едва-ли не всѣхъ ихъ въ совокупности можетъ служить такое разсужденіе. Адвокаты, прокуроры, судьи и, подъ вліяніемъ ихъ присяжные засѣдатели (а если присяжные принадлежатъ къ такъ называемой интеллигенціи, то и совершенно самостоятельно), въ качествѣ людей, оторвавшихся отъ національной почвы, не понимаютъ потребности русскаго народа въ страданіи; они оправдываютъ преступника-мужика, тогда какъ онъ самъ хотѣлъ бы попасть на каторгу и даже преступленіе-то совершилъ именно, можетъ быть, затѣмъ, чтобы потомъ пострадать отъ угрызеній совѣсти или въ острогѣ, или на каторгѣ.

Странныя, дикія, невозможныя размышленія, но Достоевскій ихъ высказалъ цѣликомъ. И, конечно, одною жестокостью ихъ объяснить нельзя. Къ жестокости таланта, которою мы теперь заняты и которая, натурально, должна прорѣзываться главнымъ образомъ въ беллетристикѣ, въ настоящемъ случаѣ прибавлялись еще другіе элементы, упомянутые въ замѣткѣ по поводу смерти Достоевскаго: уваженіе къ существующему общему порядку и склонность къ личной проповѣди, вообще къ постановкѣ всѣхъ вопросовъ на личную почву. Этихъ элементовъ мы теперь касаться не будемъ и отмѣтимъ только слѣдующее обстоятельство.

«Человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ», говоритъ Достоевскій устами «Игрока». «Человѣкъ до страсти любитъ страданіе», говоритъ тотъ же Достоевскій устами подпольнаго человѣка. Мучить или мучиться, или и мучить и мучиться вмѣстѣ—вотъ, значитъ, не только судьба человѣка, а и глубокое требованіе его природы. Какъ въ экономіи природы существуютъ волки и овцы, такъ въ экономіи взаимныхъ людскихъ отношеній существуютъ и должны существовать мучители и мученики. Спрашивается, какъ же съ мучителями-то быть? какъ къ нимъ относиться? Вы скажете, можетъ быть, что поступать съ ними надо такъ же, какъ съ волками, то-есть просто гнать и бить ихъ. Отнюдь нѣтъ. Волки человѣку неугодны и неудобны, оттого онъ ихъ и бьетъ, а тутъ самъ человѣкъ любитъ быть мучителемъ и самъ же любитъ страдать—двойное оправданіе для существованія мучителей. Поэтому общій порядокъ вещей, создающій мучителей и мучениковъ, представляетъ собою нѣчто священное и неприкосновенное, и Достоевскій на разнообразныя манеры преслѣдовалъ всѣхъ, кто словомъ, дѣломъ или помышленіемъ посягалъ на этотъ неприкосновенный общій порядокъ. Только въ своей рѣчи на пушкинскомъ торжествѣ Достоевскій согласился признать ихъ право на имя русскихъ людей.

Но если общій порядокъ вещей неприкосновененъ, то изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, разумѣется, что столь же неприкосновенны отдѣльныя личности мучителей. Нѣтъ, тутъ надо разбирать. Есть формы мучительства грубыя, аляповатыя, какими, напримѣръ, пробавляется Ѳома Опискинъ. Такое мучительство заслуживаетъ всяческаго посмѣянія и всяческой кары. Оно и понятно: мало-мальски тонко развитый художникъ или даже просто человѣкъ, обладающій нѣкоторымъ художественнымъ чутьемъ, будетъ, конечно, непріятно оттолкнутъ подобнымъ безобразіемъ. Но есть и другія формы мучительства, болѣе изящныя, болѣе интересныя, которыми при случаѣ можно даже пококетничать, открыто заявляя, что я, дескать, люблю помучить людей, но посмотрите-ка насколько я, въ самоосужденіи и самоуниженіи своемъ, всетаки выше простыхъ смертныхъ. О! такого интереснаго и красиваго мучителя можно взять подъ свое покровительство; можно назвать его не какимъ-нибудь браннымъ словомъ, котораго онъ вполнѣ заслуживаетъ, а мягкимъ и интереснымъ именемъ «парадоксалиста»; можно вложить ему свои собственныя мысли и, слѣдовательно, какъ бы даже отождествить его съ собой... По крайней мѣрѣ, такъ любезно поступилъ Достоевскій съ подпольнымъ человѣкомъ.

V.

Пора, однако, намъ заглянуть въ другіе повѣсти и разсказы, вошедшіе во второй и третій томы сочиненій Достоевскаго. До сихъ поръ мы наглядно убѣдились только въ томъ, что Достоевскій чрезвычайно интересовался различными проявленіями жестокостей и необыкновенно тонко понималъ то странное, дикое, но несомнѣнно сильное наслажденіе, которое нѣкоторые люди находятъ въ не-

нужномъ мучительствѣ. Собственно же образчиковъ жестокости его таланта еще не видали.

Вотъ повѣсть или «петербургская поэма», какъ она почему-то называется—«Двойникъ».

Жилъ-былъ титулярный совѣтникъ Яковъ Петровичъ Голядкинъ. Обыкновеннѣйшій былъ человѣкъ неопредѣленной масти, и если чѣмъ отличался отъ многихъ другихъ регистраторовъ, секретарей и совѣтниковъ, такъ развѣ только полнымъ отсутствіемъ каких бы то ни было мажорныхъ качествъ и необыкновеннымъ обиліемъ качествъ минорныхъ—трусости, мнительности, уступчивости и т. п. На первыхъ же страницахъ «петербургской поэмы» Голядкинъ, поднимаясь по лѣстницѣ къ доктору за медицинскимъ совѣтомъ, долженъ «переводить духъ и сдерживать біеніе сердца, имѣющаго у него привычку биться на всѣхъ чужихъ лѣстницахъ». Кромѣ этой запуганности, съ первыхъ же опять-таки страницъ повѣсти, обнаруживается значительный непорядокъ въ головѣ Голядкина, такъ что даже необыкновенное обиліе минорныхъ качествъ находится, повидимому, въ прямой зависимости отъ этого непорядка. Повѣсть оканчивается тѣмъ, что Голядкинъ окончательно свихивается и его увозятъ въ сумасшедшій домъ. Слабость воли полупомѣшаннаго человѣка прослѣжена съ замѣчательною тщательностью на множествѣ мелочей, которыя даже утомляютъ читателя своею скученностью. И утомленіе это нисколько не смягчается юмористическимъ тономъ, котораго авторъ держится въ разсказѣ о похожденіяхъ своего героя. Напротивъ, онъ подъ конецъ прибавляетъ къ утомленію еще нѣкоторое изумленіе. Въ самомъ дѣлѣ, что же тутъ достойнаго насмѣшки, что какой-то несчастный титулярный совѣтникъ сходитъ съ ума? Положимъ, онъ птица не важная, но, по человѣчеству, всетаки скорѣе пожалѣть можно «господина Голядкина», какъ неизмѣнно называетъ его авторъ. А еще лучше, пожалуй, было бы совсѣмъ оставить господина Голядкина въ покоѣ. Простой фотографъ, и тотъ, работая не по заказу, а по собственному выбору, снимая, напримѣръ, виды, выбираетъ мѣстности почему-нибудь характерныя, или очень красивыя, или въ другихъ отношеніяхъ замѣчательныя. А тутъ талантливый художникъ беретъ какую-то, ни мало не интересную букашку—Голядкина, сводитъ его съ ума, да еще при этомъ издѣвается надъ нимъ.

Но читатель, пожалуй, замѣтитъ, что авторъ совсѣмъ не сводитъ съ ума господина Голядкина, господинъ Голядкинъ самъ сходитъ съ ума подъ вліяніемъ разныхъ обстоятельствъ, авторъ же только разсказываетъ, какимъ образомъ этотъ процессъ дошелъ до своего апогея.

Нѣтъ, это не совсѣмъ такъ и даже совсѣмъ не такъ. Исторія застаетъ господина Голядкина уже въ разстроенномъ видѣ, благодаря которому онъ терпитъ весьма достаточное количество воображаемыхъ оскорбленій и огорченій и дѣйствительныхъ непріятностей. И тѣ, и другія совершенно естественны въ жизни человѣка, страдающаго психическою болѣзнію. Но Достоевскому показалось мало этихъ непріятностей и оскорбленій, вызываемыхъ обыкновеннымъ теченіемъ болѣзни. Онъ устроилъ для «господина Голядкина» слѣдующій, совершенно необыкновенный и невѣроятный сюрпризъ. Послѣ одной непріятности, особенно огорчившей Голядкина, онъ, возвращаясь ночью домой, встрѣтилъ своего двойника, который даже вмѣстѣ съ нимъ къ нему на квартиру вошелъ и на его кровати расположился. Все это пока еще очень просто. Но на другой день, проснувшись, успокоившись, Голядкинъ отправился на службу, и тамъ, къ величайшему ужасу своему, встрѣтилъ уже настоящаго, реальнаго своего двойника, въ видѣ новичка-чиновника. Этого только-что поступившаго чиновника звали, какъ и нашего героя, Яковомъ Петровичемъ Голядкинымъ; какъ и герой, онъ былъ титулярный совѣтникъ, и, по внѣшности своей какъ двѣ капли воды, походилъ на героя; вдобавокъ начальство посадило его за однимъ столомъ съ героемъ, какъ разъ противъ него! Отсюда новый обильный источникъ обидъ, огорченій, непріятностей для господина Голядкина, и безъ того несчастнаго, и безъ того Богомъ убитаго. Эти непріятности совсѣмъ не входятъ въ бюджетъ обыкновеннаго умственнаго разстройства. Онѣ введены авторомъ искусственно и, спрашивается, зачѣмъ? Правдѣ вещей онѣ не соотвѣтствуютъ, потому что обусловливаются такимъ страннымъ совпаденіемъ обстоятельствъ, которое хотя и удобно для водевиля съ переодѣваніемъ, но въ дѣйствительной жизни не вѣроятно. Художественными требованіями ихъ оправдать нельзя, потому что эти два титулярныхъ совѣтника, двѣ капли воды, два Якова Петровича Голядкина, сидящіе другъ противъ друга—грубая пошлость. Нравственнаго смысла въ страданіяхъ господина Голядкина тоже нѣтъ никакого. Зачѣмъ же понадобился второй господинъ Голядкинъ? Единственно за тѣмъ, чтобы построить для Голядкина второй этажъ мученій, вычурныхъ, фантастическихъ, невозможныхъ, и мучительно пощекотать ими нервы читателя. Единственно ради игры фантазіи. Единственно по жестокости таланта Достоевскаго. Какъ подпольный человѣкъ

единственно для «игры» и по ненужной жестокости мучитъ Лизу; какъ Ѳома Опискинъ совершенно безкорыстно, только въ силу потребности видѣть мученія, терзаетъ все село Степанчиково, такъ и Достоевскій безъ всякой нужды надбавилъ господину Голядкину второго Голядкина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высыпалъ на него цѣлый рогъ изобилія безпричинныхъ и безрезультатныхъ страданій. Въ своемъ родѣ этотъ второй Голядкинъ такое же фантастическое и дикое орудіе пытки для «господина» Голядкина перваго, какое французскіе вокабулы составляютъ для стараго Гаврилы и малаго Ѳалалея. Что будете дѣлать: «человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ»! А съ другой стороны, человѣкъ «до страсти любитъ страданіе». Отчего же титулярному совѣтнику Голядкину не получить лишнюю, сверхсмѣтную порцію страданій?

Вы скажете, можетъ быть, что это невѣроятное объясненіе, потому что у кого же поднимется рука на такую жалкую козявку, какъ Голядкинъ? Но въ томъ-то и вопросъ, почему выдумываются фантастическія терзанія для козявки, и безъ того истерзанной дѣйствительнымъ теченіемъ жизни. Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, не одинъ Голядкинъ подвергается ненужнымъ терзаніямъ. Подвергаются имъ и читатели или, по крайней мѣрѣ, есть разсчетъ на эти отраженныя терзанія читателей, долженствующихъ пережить муки господина Голядкина. А читатели — это цѣлый легіонъ. Въ-третьихъ, наконецъ, что-жъ такое, что козявка? Алексѣй Петровичъ («Игрокъ») замѣчаетъ: «удовольствіе всегда полезно, а дикая, безпредѣльная власть, *хоть надъ мухой,* вѣдь это тоже своего рода наслажденіе». Вотъ ради этого-то наслажденія Достоевскій своимъ Голядкинымъ № 2 и попиралъ истину, красоту и справедливость, ту знаменитую троицу—le vrai, le beau et le juste—съ которою носились тридцатые и сороковые годы — годы, между прочимъ, и Достоевскаго...

Пойдемъ дальше и употребимъ на этотъ разъ пріемъ сравнительный.

Обидно-ли будетъ для памяти Достоевскаго сравненіе съ Шекспиромъ? Я думаю, нѣтъ. Оно было бы обидною насмѣшкою для какой-нибудь бездарности. Но талантъ такого роста, какъ Достоевскій, не допускаетъ возможности подобной насмѣшки. Онъ не Шекспиръ, конечно, и я не думаю мѣрять его съ Шекспиромъ. Я хочу только сравнить нѣкоторые художественные пріемы того и другого при разработкѣ одной и той же темы.

Вы помните «Отелло». Психологическая драма, образная разработка личной страсти—ревности—не можетъ идти дальше. И если искать тайну этой необыкновенной глубины, то придется увидѣть ее именно въ отсутствіи ненужнаго мучительства, не смотря на мучительность темы. Разъ данъ характеръ и положеніе Отелло — все остальное, всѣ мельчайшія подробности его страданій вытекаютъ сами собой. На двѣ стороны драмы желалъ бы я обратить особое ваше вниманіе. Во-первыхъ, фабула чрезвычайно проста: подъ вліяніемъ наговоровъ Яго родится и ростетъ ревность, «чудовище съ зелеными глазами, съ насмѣшкой ядовитой надъ тѣмъ, что пищею ей служитъ». Дойдя до извѣстнаго предѣла, ревность завершается убійствомъ, и такъ какъ Дездемона оказывается невинною, то измученный, разбитый Отелло, своими руками разбившій свое счастіе, не хочетъ жить и закалывается. Вотъ и все. Затѣмъ Отелло почти глупъ, когда довѣряется Яго; Отелло грубъ, когда ругаетъ и даже бьетъ Дездемону; Отелло, наконецъ, безумный убійца, и никто ему не повѣритъ, что онъ все сдѣлалъ «изъ чести» и ничего «изъ злобы». И, не смотря на все это, вы нигдѣ, на всемъ протяженіи драмы, не замѣтите руки автора, желающей унизить, придавить героя, доставить ему какую-нибудь скорбь или униженіе сверхъестественной въ его положеніи смѣты.

Теперь посмотрите, что сдѣлалъ съ этой же темой Достоевскій. На мотивъ «чудовище съ зелеными глазами» у него есть двѣ вещи: одна шуточная и очень плохая — «Чужая жена и мужъ подъ кроватью», другая—серьезно задуманная, въ своемъ родѣ превосходно выполненная и для таланта Достоевскаго въ высшей степени характерная—«Вѣчный мужъ» *).

Шутка рѣшительно не удавалась Достоевскому. Онъ былъ для нея именно слишкомъ жестокъ, или, если кому это выраженіе не нравится, въ его талантѣ преобладала трагическая нота. Шуточныя вещи онъ пробовалъ писать не разъ. Но или шутилъ надъ тѣмъ, что ни въ какомъ смыслѣ шутки не заслуживаетъ («Двойникъ»), или же шутка напоминала — да позволено мнѣ будетъ это сравненіе—кошачью игру: кошка совершенно незамѣтно раздражается процессомъ игры и переходитъ съ него на дѣйствительное, злобное царапанье и кусанье. Разница, однако, въ томъ, что Достоевскому не доставало граціи кошки: онъ сплошь и рядомъ вводилъ въ свои шутки грубѣйшіе и отнюдь

*) «Вѣчный мужъ» не вошелъ ни во второй, ни въ третій томы сочиненій Достоевскаго, но если не ошибаюсь, вышелъ недавно отдѣльно новымъ изданіемъ.

не граціозные эффекты («Дядюшкинъ сонъ», «Крокодилъ» и др.). «Чужая жена и мужъ подъ кроватью»—«происшествіе необыкновенное»—принадлежитъ именно къ разряду этихъ грубыхъ и вовсе не граціозныхъ шутокъ.

Дѣйствіе открывается тѣмъ, что пожилой «господинъ въ енотахъ» останавливаетъ на улицѣ вечеромъ молодого «господина въ бекешѣ» разспросами о какой-то дамѣ, которая должна быть гдѣ-то по близости; такъ не видалъ-ли ея молодой господинъ въ бекешѣ? Изъ дальнѣйшаго объясненія оказывается, что господинъ въ енотахъ ищетъ свою жену, подозрѣваемую имъ въ невѣрности. Но онъ конфузится сказать это откровенно и плететъ какую-то чепуху насчетъ «чужой жены». Онъ чрезвычайно взволнованъ и все говоритъ о своемъ «униженіи». Еще дальше, и оказывается, что молодой человѣкъ есть какъ разъ любовникъ этой самой «чужой жены», которая, однако, и его надуваетъ, что и обнаруживается. Обнаруживается съ такой ясностію, что для мужа не можетъ быть никакихъ сомнѣній. Но онъ все еще хочетъ «ловить». Случай представляется на другой же день. И мужъ и жена были въ оперѣ. Мужъ сидѣлъ въ креслахъ, жена въ ложѣ съ знакомой семьей и какими-то молодыми людьми. Вдругъ на почтенную и обнаженную, то - есть отчасти лишенную волосъ, голову ревниваго, раздраженнаго Ивана Андреича слетѣлъ такой безнравственный предметъ, какъ любовно раздушонная записка». Иванъ Андреичъ тотчасъ сообразилъ, что авторъ этой записочки его жена, а такъ какъ въ цидулкѣ было назначено свиданіе тотчасъ послѣ спектакля, то онъ и помчался по указанному адресу прямо изъ театра. Но уже на мѣстѣ, на самой лѣстницѣ, Ивана Андреича обогналъ какой-то франтъ и, какъ показалось оскорбленному мужу, вбѣжалъ въ ту самую дверь, которая была обозначена въ записочкѣ. Иванъ Андреичъ за нимъ. «Онъ хотѣлъ» было постоять передъ дверью, благоразумно пообдумать свой шагъ, поробѣть немного и потомъ ужъ рѣшиться на что-нибудь очень рѣшительное». Но въ эту минуту загремѣла подъѣхавшая къ подъѣзду карета, на лѣстницѣ послышались чьи-то тяжелые шаги, Иванъ Андреичъ инстинктивно ворвался въ дверь, пробѣжалъ двѣ темныя комнаты и очутился въ спальнѣ молодой, прекрасной дамы, совершенно ему незнакомой. А тяжелые шаги, поднявшись по лѣстницѣ, все раздавались слѣдомъ за Иваномъ Андреичемъ. «Боже! это мой мужъ! воскликнула дама, всплеснувъ руками и поблѣднѣвъ бѣлѣе своего пеньюара». Испуганный Иванъ Андреичъ полѣзъ подъ кровать. Но тамъ его ждало новое приключеніе: тамъ ужъ сидѣлъ какой-то человѣкъ, разумѣется, встрѣтившій его недружелюбно. И вотъ между прекрасной незнакомкой и ея только-что прибывшимъ мужемъ начинается семейная бесѣда, а подъ кроватью идетъ усиленная возня, напряженный шопотъ, взаимныя пререканія Оказывается, что Иванъ Андреичъ и его подкроватный сосѣдъ оба ошиблись дверью, что имъ обоимъ надлежало быть этажемъ выше, вслѣдствіе чего Иванъ Андреичъ догадывается, что подкроватный сосѣдъ есть любовникъ его жены: новыя мученія, новые толки объ «униженіи», новые вздохи—«за что я такъ наказанъ»? Долго бы еще возились подъ кроватью мужъ и любовникъ, но у прекрасной незнакомки, кромѣ дряхлаго мужа, была еще задорная собачонка Амишка. Заслышавъ возню подъ кроватью, Амишка бросилась туда съ лаемъ, Иванъ Андреичъ, изъ самосохраненія задушилъ ее, прекрасная незнакомка упала въ обморокъ, подкроватный сосѣдъ воспользовался минутой смятенія и убѣжалъ, а Иванъ Андреичъ бывъ вытащенъ изъ-подъ кровати, очутился одинъ передъ разгнѣванной незнакомкой и ея не менѣе разгнѣваннымъ мужемъ. Цѣною разныхъ унизительныхъ объясненій, просьбъ, обѣщаній Ивану Андреичу удалось кое-какъ успокоить гнѣвныхъ хозяевъ и получить свободу. Онъ бѣжитъ домой, а тамъ жена, давно пріѣхавшая изъ театра, встрѣчаетъ его градомъ упрековъ за отсутствіе и подозрительность. Смущенный Иванъ Андреичъ полѣзъ-было въ карманъ за платкомъ, «затѣмъ, что не доставало ни словъ, ни мысли, ни духа». И вдругъ вытаскиваетъ, вмѣсто платка, трупъ Амишки, который, въ порывѣ отчаянія, затолкалъ себѣ въ чужой квартирѣ въ карманъ! Супруга накидывается на него по этому поводу съ новыми допросами и упреками...

Я нарочно разсказалъ подробно эту пустяковину, чтобы читатель могъ лучше оцѣнить всю ненужность этого обилія злоключеній Ивана Андреича. Въ два дня столько событій, столкновеній, встрѣчъ, и все унизительныхъ и мучительныхъ! Но Достоевскому все еще было мало. Онъ заканчиваетъ разсказъ слѣдующими словами: «Здѣсь мы оставимъ нашего героя до другого раза, потому что здѣсь начинается совершенно особое и новое приключеніе. Когда-нибудь мы доскажемъ, господа, всѣ эти бѣдствія и гоненія судьбы. Но согласитесь сами, что ревность — страсть непростительная, мало того: даже несчастіе!».

Неужели для этого вывода стоило такъ бить глупаго Ивана Андреича, такъ таскать его за волосы и плевать на него? Неужели это не бой быковъ, предпринятый един-

ственно изъ ненужной жестокости? Допустимъ, что Иванъ Андреичъ — быкъ очень смѣшной, но тѣмъ неумѣстнѣе весь этотъ арсеналъ направленныхъ противъ него бѣдъ, весь этотъ персоналъ раздражающихъ, колющихъ и убивающихъ его бандильеросовъ, пикадоровъ и матадоровъ. (Надо еще замѣтить, что мучительные для Ивана Андреича разговоры на улицѣ и подъ кроватью необыкновенно растянуты.) Вспомните опять-таки «Отелло» съ немногосложностью его фактическаго содержанія и строгою умѣренностью *количества* унижающихъ и оскорбляющихъ героя обстоятельствъ...

Но что же и сравнивать простую шутку, положимъ, и грубую, и неудачную, со звѣздою первой величины?

Повторяю, что я вовсе не думаю мѣрять Достоевскаго съ Шекспиромъ, а хочу отмѣтить пріемы ненужной жестокости Достоевскаго Весьма любопытно, что эти пріемы господствуютъ и въ шуткѣ, которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль бездарнѣйшаго поставщика этого рода произведеній, если бы не эта растянутость мученій героя и не эта заключительная перспектива дальнѣйшихъ терзаній Ивана Андреича. Водевиль благодушенъ и кончается всегда всеобщимъ успокоеніемъ...

Обратимся къ «Вѣчному мужу».

Павелъ Павловичъ Трусоцкій, разбирая, послѣ смерти горячо любимой жены, ея переписку, открываетъ, что она много лѣтъ надувала его, развратничая съ разными любовниками, и что единственная его дочь Лиза—не его дочь. Жена Трусоцкаго была, по отзыву одного изъ ея любовниковъ, «типъ страстный, жестокій и чувственный». «Она любила мучить любовника», но съ мужемъ обращалась внѣшнимъ образомъ хорошо, заботилась о немъ, только подъ башмакомъ держала. Послѣ ея смерти, Трусоцкій, обогащенный свѣдѣніями насчетъ своего рогатаго положенія, поѣхалъ въ Петербургъ, забравъ съ собою Лизу. Поѣхалъ онъ хлопотать о перемѣщеніи въ другую губернію, но самъ свое дѣло затягивалъ, потому что интимною цѣлью его поѣздки въ Петербургъ было, по всѣмъ видимостямъ, посмотрѣть на двухъ проживающихъ тамъ любовниковъ жены—Багаутова и Вельчанинова. На нихъ посмотрѣть и себя имъ показать, ихъ помучить и самому, глядя на нихъ, помучиться. Надо замѣтить, что съ обоими ими Трусоцкій находился въ наилучшихъ пріятельскихъ отношеніяхъ, а къ Вельчанинову питалъ даже не совсѣмъ обыкновенную любовь и уваженіе. Другой на его мѣстѣ, правда, очень трудномъ и скверномъ, подрался бы съ своими оскорбителями, выругался, вызвалъ на дуэль, отомстилъ какъ-нибудь, или же, посмотрѣвъ на дѣло болѣе философскимъ взглядомъ, могъ бы оставить свои мученія при себѣ, постараться всю эту исторію забыть и даже, можетъ быть, никогда съ тѣми господами не видаться; вообще, такъ или иначе, кровавымъ (какъ Отелло) или безкровнымъ путемъ, но поскорѣе кончить. Но созданія Достоевскаго такъ просто не поступаютъ, имъ конецъ-то, результатъ-то именно и не нуженъ, имъ нуженъ процессъ. Они должны придумать что-нибудь болѣе утонченное, жестокое, вычурное, чѣмъ простая месть. А какой процессъ имъ нуженъ, — это явствуетъ изъ двухъ основныхъ свойствъ человѣческой природы: 1) человѣкъ — деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ, 2) человѣкъ до страсти любитъ страданіе. И вотъ на этихъ двухъ клавишахъ Трусоцкій и разыгрываетъ свою пьесу: оскорбителей своихъ мучитъ и самъ мучится. Впрочемъ, онъ ничего въ этомъ смыслѣ не *придумываетъ*, онъ просто слѣдуетъ инстинктивнымъ требованіямъ своей (или вообще человѣческой?) души. Съ Багаутовымъ онъ поступаетъ такъ. Въ теченіи трехъ недѣль онъ каждый день заходитъ къ нему, но его тамъ не принимаютъ, потому что Багаутовъ боленъ. Наконецъ, приняли, но приняли уже къ покойному — Багаутовъ умеръ. Трусоцкій страшно озлобленъ. И когда другой любовникъ его жены, Вельчаниновъ, спрашиваетъ его, что съ нимъ случилось, завязывается такой разговоръ:

— Да вотъ-съ, все нашъ Степанъ Михайловичъ чудеситъ... Багаутовъ, изящнѣйшій петербургскій молодой человѣкъ-съ, высшаго общества съ.

— Не приняли васъ опять, что-ли?

— Н-нѣтъ, именно въ этотъ-то разъ и приняли, въ первый разъ допустили-съ и черты созерцалъ... только у покойника!..

— Что-о-о! Багаутовъ умеръ? ужасно удивился Вельчаниновъ, хотя, казалось, и нечему было ему-то такъ удивляться.

— Онъ-съ. Неизмѣнный и шестилѣтній другъ. Еще вчера чуть не въ полдень померъ, а я и не зналъ! Я, можетъ, въ самую-то эту минуту и заходилъ тогда навѣдаться о здоровьѣ. Завтра выносъ и погребеніе, ужъ въ гробикѣ лежитъ-съ. Гробъ обитъ бархатомъ цвѣту масака, позументъ золотой... отъ вервной горячки померъ-съ... Допустили, допустили, созерцалъ черты! Объявилъ при входѣ, что истиннымъ другомъ считался, потому и допустили. Что-жъ онъ со мной изволилъ теперь сотворить, истинный-то и шестилѣтній другъ—я васъ спрашиваю? *Я, можетъ, единственно для него одного и въ Петербургъ ѣхалъ!*

— Да за что же вы на него-то сердитесь? засмѣялся Вельчаниновъ:—вѣдь онъ не нарочно же умеръ!

— Да вѣдь и я сожалѣя говорю: другъ-то драгоцѣнный: вѣдь онъ вотъ что для меня значилъ-съ.

И Павелъ Павловичъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, сдѣлалъ двумя пальцами рога надъ сво-

имъ лысымъ лбомъ и тихо, продолжительно захихикалъ. Онъ просидѣлъ такъ, съ рогами и хихикая, цѣлыя полминуты, съ какимъ-то упоеніемъ самой ехидной пагости, смотря въ глаза Вельчанинову. Тотъ остолбенѣлъ, какъ бы при видѣ какого-то призрака. Но столбнякъ его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновеніе; насмѣшливая и до пагости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губахъ.

— Это что же такое означало? спросилъ онъ небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-съ, отрѣзалъ Павелъ Павловичъ, отнимая, наконецъ, свои пальцы отъ лба.

— То есть... ваши рога?

— Мои собственные, благопріобрѣтенные! — ужасно скверно скривился опять Павелъ Павловичъ.

. . . . . .

(Трусоцкій предлагаетъ выпить шампанскаго).

— На радость веселой встрѣчи-съ, послѣ девятилѣтней разлуки, ненужно и неудачно подхихикивалъ Павелъ Павловичъ. Теперь вы, и одинъ уже только вы у меня остались истиннымъ другомъ-съ! Нѣтъ Степана Михайлыча Багаутова...

— Вы мнѣ вотъ что скажите: если вы такъ прямо обвиняете Степана Михайлыча, то вѣдь вамъ же, кажется, радость, что обидчикъ вашъ умеръ: чего-жъ вы злитесь?

— Какая же радость-съ? Почему же радость?

— Я по вашимъ чувствамъ сужу.

— Хе, хе, на этотъ счетъ, вы въ моихъ чувствахъ ошибаетесь-съ, по изрѣченію одного мудреца, *„хорошъ врагъ мертвый, но еще лучше живой“*, хи-хи.

. . . . . .

— Слишкомъ понимаю, для чего вамъ нуженъ былъ живой Багаутовъ и готовъ уважить вашу досаду, но...

— А для чего нуженъ былъ мнѣ Багаутовъ, по вашему мнѣнію?

— Это ваше дѣло.

— Бьюсь объ закладъ, что вы дуэль подразумѣвали-съ...

— На какой же чортъ послѣ этого надо было вамъ живого Багаутова?

— Да хоть бы *только поглядѣть на дружка-съ*... Вотъ бы взяли съ нимъ бутылочку да и выпили вмѣстѣ.

Въ концѣ-концовъ, для вящшаго мучительнаго самоуслажденія, Трусоцкій ѣдетъ на похороны Багаутова и провожаетъ его трупъ до могилы. Какъ видите, человѣкъ до страсти любитъ страданіе. Но замѣтьте, сколько шипящей злобы въ добровольческомъ страданіи Трусоцкаго; сколько тутъ искренняго озлобленія на Багаутова, своею смертью поставившаго точку къ мучительному процессу мучительства! Дѣло въ томъ, что человѣкъ не только любитъ страданіе, а любитъ и другихъ заставлять страдать, любитъ быть мучителемъ. Поэтому, за оставшихся жить Лизу и Вельчанинова Трусоцкій принимается съ удвоенною энергіей. Лизу онъ мучитъ сравнительно просто—«щиплетъ». Но и для нея имѣется гастрономія потоньше: Трусоцкій грозитъ при ней повѣситься и объясняетъ, что повѣсится «отъ нея»: ругаетъ ее позорнымъ именемъ; приводитъ къ себѣ на ночь, при ней, публичную женщину.

Что касается Вельчанинова, то о характерѣ отношеній къ нему Трусоцкаго можете отчасти судить по вышеприведенному разговору о Багаутовѣ. Павелъ Павловичъ все время терзаетъ Вельчанинова разными намеками и прямымъ разсказомъ о томъ, какъ онъ узналъ о своемъ рогатомъ положеніи; то щекочетъ его ревность воспоминаніями о другихъ любовникахъ жены, то будитъ его совѣсть соображеніями объ ихъ старинной дружбѣ, то держитъ въ напряженномъ состояніи, намекая, что ему извѣстны отношенія Вельчанинова къ женѣ, то отпускаетъ эти возжи, притворяясь ничего не знающимъ. Вельчаниновъ, человѣкъ желчный и раздражительный, поддается на всѣ эти удочки и волнуется, смущается, злится. Съ особенною же стремительностью лѣзетъ онъ на слѣдующую удочку. Трусоцкій, ничего не говоря прямо и даже прикидываясь ничего не знающимъ, намекаетъ, что Лиза—дочь Вельчанинова. Тотъ, въ страшномъ волненіи, хватается за эту мысль, беретъ на себя заботы о Лизѣ; но когда потомъ бѣдная дѣвочка умерла, Павелъ Павловичъ прямо, и уже безъ всякихъ подвоховъ, объясняетъ, что отецъ Лизы не онъ, Вельчаниновъ, а хорошо имъ обоимъ извѣстный «артиллеріи прапорщикъ»...

Въ извѣстномъ лагерѣ, охотно причисляющемъ Достоевскаго къ «своимъ», часто раздаются сѣтованія на такъ называемую отрицательную литературу, что она, дескать, рисуетъ все только мрачныя картины и тѣмъ обнаруживаетъ свое неуваженіе къ родинѣ, въ которой, вѣдь, и свѣтло-розоваго, и небесно-голубого очень много. Не будемъ останавливаться на этой пѣснѣ, которая еще со временъ Гоголя поется глупцами и лицемѣрами. Но, спрашивается, что же сказать о писателѣ, берущемъ чисто индивидуальнаго человѣка, безъ вниманія къ какимъ бы то ни было общественнымъ изъянамъ, и въ немъ, въ душѣ человѣческой вообще водружающемъ такія два знамени, какъ: 1) человѣкъ любитъ быть мучителемъ, 2) человѣкъ до страсти любитъ страданіе? Не подкопъ ли это подо все, что только есть на свѣтѣ свѣтло-розоваго и небесно-голубаго? Не подкопъ-ли это подъ всѣ лучшія воспоминанія и подъ всѣ надежды на лучшее будущее? Пусть объ этомъ хорошенько подумаютъ лицемѣры и глупцы, а мы пока посмотримъ на исторію Трусоцкаго, какъ на частный случай, по тѣмъ или другимъ причинамъ заинтересовавшій художника.

Если отрѣшиться отъ мысли объ общихъ законахъ человѣческой природы, съ двухъ противоположныхъ сторонъ, требующихъ для

человѣка мученій; если посмотрѣть на поведеніе Трусоцкаго, напротивъ, какъ на исключительный случай, даже какъ на уродство, то нельзя не признать «вѣчнаго мужа» произведеніемъ чрезвычайно замѣчательнымъ. Неистовая, но сама себя питающая злоба, не вырывающаяся наружу ни громкимъ крикомъ, ни рѣшительнымъ дѣйствіемъ, а только шипящая, ползающая, подкрадывающаяся, разработана превосходно. Это, безспорно, одна изъ лучшихъ вещей Достоевскаго. Однако, только до того момента, до котораго мы довели свой пересказъ. Казалось бы, и Достоевскому можно было кончить на этомъ моментѣ, то-есть на смерти Лизы и «артиллеріи прапорщикѣ». Типъ Трусоцкаго ясенъ, въ утонченности злобной мести идти дальше некуда. Если бы мы имѣли дѣло съ человѣкомъ вродѣ Отелло, то есть съ человѣкомъ, желающимъ, такъ или иначе, свалить бремя съ своей души и чѣмъ-нибудь кончить, то этотъ искомый имъ конецъ былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ и концомъ драмы. Трусоцкому никакого конца не нужно, онъ хотѣлъ бы цѣлую вѣчность поджаривать на медленномъ огнѣ и Багаутова, и Лизу, и Вельчанинова. Но вѣдь если идти въ этомъ направленіи за Трусоцкимъ, такъ и повѣсти не пришлось бы никогда кончить. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, безъ конца тянуть визиты Трусоцкаго къ Вельчанинову и эти поджаривающіе, ядовитые разговоры. Смерть Лизы, въ связи съ «артиллеріи прапорщикомъ», просто даже въ техническомъ отношеніи выводитъ автора изъ затрудненія.

Но, какъ и всегда, Достоевскому мало тѣхъ мучительныхъ сценъ, которыя опредѣляются естественнымъ ходомъ вещей и условіями техники искусства. А кромѣ того, для него слишкомъ еще просты чувства Павла Павловича Трусоцкаго. До сихъ поръ мы видѣли только, что когда-то Вельчаниновъ былъ предметомъ любви и уваженія для Трусоцкаго. Когда-то вѣдь и Багаутовъ былъ его пріятелемъ, а теперь онъ только потому жалѣетъ о смерти бывшаго пріятеля, что эта смерть вырвала у него изъ рукъ жертву его своеобразной мести. Можно бы было думать, что таковы же его отношенія и къ Вельчанинову. Разсказывая Вельчанинову о смерти Багаутова, Трусоцкій со страстнымъ порывомъ говоритъ, что вѣдь теперь только онъ, Вельчаниновъ, остался для него одинъ на свѣтѣ. Потомъ въ другомъ подобномъ же разсказѣ, онъ, въ еще болѣе страстномъ порывѣ, цѣлуетъ руки у Вельчанинова. Все это, конечно, варіаціи на ту же тему самопитающейся злобы, которая даже любитъ предметъ своей ненависти, какъ точку исхода неустанно текущей мести. Это противоестественное сочетаніе, этотъ, если позволено будетъ такъ выразиться, гермафродитизмъ чувства, Достоевскій пожелалъ довести до высшей возможной точки напряженія.

Павелъ Павловичъ задумалъ опять жениться. Случилось это очень скоро послѣ смерти Лизы и всего три мѣсяца послѣ смерти его жены—Достоевскій вообще всегда очень торопилъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и любилъ толкотню событій, загоняя ихъ въ невѣроятномъ количествѣ въ самые короткіе сроки. Задумалъ Павелъ Павловичъ жениться на пятнадцатилѣтней дѣвочкѣ, еще посѣщающей гимназію. Свадьба, впрочемъ, предполагалась черезъ девять мѣсяцевъ, чтобы вышелъ годовой срокъ траура, да и невѣста чтобы подросла. Въ одинъ прекрасный день Трусоцкій неожиданно сообщаетъ объ этомъ своемъ рѣшеніи Вельчанинову и, кромѣ того, проситъ его ѣхать немедленно, сейчасъ же вмѣстѣ съ нимъ въ семейство невѣсты. Вельчаниновъ, разумѣется, пораженъ этой просьбой, отказывается съ отвращеніемъ, но Трусоцкій настаиваетъ, умоляетъ, съ величайшимъ жаромъ объясняется въ любви, и Вельчаниновъ, наконецъ, уступаетъ. Не будемъ слѣдить за тѣмъ, что произошло у Захлебининыхъ (фамилія невѣсты). Скажемъ кратко, что невѣста терпѣть не могла Павла Павловича и что Вельчаниновъ совершенно нечаянно поспособствовалъ окончательному разрушенію мечты «вѣчнаго мужа» о новомъ семейномъ очагѣ. Возникаетъ вопросъ: зачѣмъ Трусоцкій возилъ съ собой Вельчанинова къ невѣстѣ? Самъ Павелъ Павловичъ сначала объясняетъ, что возилъ просто какъ друга, но потомъ открываетъ, что хотѣлъ «испытать» невѣсту нѣкоторыми блестящими качествами Вельчанинова. Вельчаниновъ же приходитъ, въ концѣ-концовъ, къ тому заключенію, что Трусоцкій возилъ его ради хвастовства и вызова: дескать, ты былъ любовникомъ моей жены, такъ вотъ же тебѣ, смотри, я опять буду счастливъ, и ничего ты тутъ ужъ не испортишь! Вельчаниновъ, однако, испортилъ, хотя и совсѣмъ нечаянно. Понятно, что злобныя чувства къ нему Павла Павловича должны усилиться. Къ удивленію, однако, Павелъ Павловичъ въ ту же ночь, когда они вернулись отъ Захлебининыхъ, обнаруживаетъ необыкновенную нѣжность къ Вельчанинову. Тотъ заболѣлъ, и Павелъ Павловичъ ухаживалъ за нимъ, какъ за роднымъ братомъ, такъ что даже растрогалъ Вельчанинова. Но, успокоивъ боль Вельчанинова разными припарками, за которыми бѣгалъ самъ на кухню, Павелъ Павловичъ въ ту же самую ночь бросился на спящаго Вельчанинова съ бритвой... Вельчаниновъ спасся только случаемъ—во-время проснулся.

Вельчаниновъ на другой день размышля-

етъ: «Неужели, неужели правда была все то, что этотъ... сумасшедшій натолковалъ мнѣ вчера о своей любви ко мнѣ, когда задрожалъ у него подбородокъ, и онъ стукалъ въ грудь кулаками? Совершенная правда!.. Онъ слишкомъ достаточно былъ глупъ и благороденъ для того, чтобъ влюбиться въ любовника своей жены, въ которой онъ въ двадцать лѣтъ *ничего* не примѣтилъ! Онъ уважалъ меня девять лѣтъ, чтилъ память мою и мои «изрѣченія» запомнилъ— Господи, а я-то не вѣдалъ ни о чемъ! Не могъ онъ лгать вчера! Не любилъ ли онъ меня вчера, когда изъяснился въ любви и сказалъ: «поквитаемся»? Да, *со злобы* любилъ, эта любовь самая сильная»...

Въ заключеніе Павелъ Павловичъ доставилъ Вельчанинову письмо, изъ котораго явствовало, что Лиза, дѣйствительно, его, Вельчанинова, дочь, а вовсе не артиллеріи прапорщика...

Кажется, теперь-то ужъ конецъ, самый окончательный конецъ? Отнюдь нѣтъ. Чрезъ два года Вельчаниновъ сталкивается на желѣзной дорогѣ съ Павломъ Павловичемъ, который опять женатъ, ужасно боится, чтобы Вельчаниновъ къ нему не зашелъ въ гости и не испортилъ его семейнаго счастія, а между тѣмъ состоитъ подъ башмакомъ у жены и не замѣчаетъ, что уланскій офицерикъ, съ которымъ они разъѣзжаютъ втроемъ, есть любовникъ его жены...

VI.

Если бы мы разрѣшили себѣ пользоваться для предлагаемой статьи *всѣми* сочиненіями Достоевскаго, то задача наша количественно была бы, конечно, труднѣе. Потребовалось бы гораздо больше времени и мѣста, чтобы пересмотрѣть и предъявить читателю хотя бы только крупнѣйшіе изъ образцовъ ненужной жестокости въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Достоевскаго. Эти позднѣйшія произведенія, начиная съ «Преступленія и наказанія», и особенно самыя послѣднія — «Бѣсы», «Братья Карамазовы»—переполнены ненужною жестокостью черезъ край. Но именно по этому критическая задача была бы много легче въ качественномъ отношеніи. Въ тѣхъ старыхъ произведеніяхъ Достоевскаго, съ которыми мы имѣемъ дѣло, по крайней мѣрѣ, во многихъ изъ нихъ, еще сильно пробивается струя «гуманическаго» направленія, какъ назвалъ его Добролюбовъ въ извѣстной статьѣ «Забитые люди». Теперь мы должны съ этой струей считаться, тогда какъ въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Достоевскаго она постепенно убываетъ и подъ конецъ совершенно изсякаетъ въ пустынѣ слащавыхъ и худосочныхъ сентенцій о любви къ ближнему. Понятное дѣло, что подобныя сентенціи стоятъ очень дешево—ихъ и Ѳома Опискинъ въ большомъ количествѣ произносилъ—и выдѣлить ихъ изъ живой массы художественныхъ образовъ и картинъ не представило бы никакого труда. Теперь же намъ предстоитъ операція нѣсколько болѣе сложная.

Кромѣ того, мы должны еще взглянуть на внѣшнюю сторону литературной карьеры Достоевскаго. Говоря о жестокомъ талантѣ, который могъ бы выработаться изъ Ѳомы Опискина, если бы онъ не былъ такъ глупъ и грубъ, мы видѣли, что степень его успѣха и вліянія зависитъ, во-первыхъ, отъ размѣра дарованія, а во-вторыхъ,— отъ условій среды, а именно, главнымъ образомъ, отъ того, есть у этой среды настоящее насущное дѣло или нѣтъ. Эти два пункта намъ и нужно теперь обсудить по отношенію къ Достоевскому.

Въ концѣ-концовъ, мы должны обратиться къ статьѣ Добролюбова. Въ этой статьѣ съ величайшею тщательностью разработано «гуманическое» направленіе Достоевскаго, а кромѣ того—она надолго опредѣлила тонъ и характеръ ходячихъ сужденій о пѣвцѣ «униженныхъ и оскорбленныхъ» и, слѣдовательно, можетъ служить какъ бы показателемъ степени вліянія Достоевскаго на современниковъ.

«Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, наконецъ, даже не въ правѣ быть человѣкомъ, настоящимъ, полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку»— вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и партіальныхъ воззрѣній, повидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то a priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры». Такова основная мысль статьи Добролюбова, поскольку онъ занимается собственно Достоевскимъ, а не «забитыми людьми». Надо еще только прибавить оцѣнку художественнаго дарованія Достоевскаго. Въ этомъ отношеніи Добролюбовъ цѣнилъ его чрезвычайно низко: онъ прямо объявилъ его «ниже эстетической критики», находилъ у него «бѣдность и неопредѣленность образовъ», «необходимость повторять самого себя», «неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобы хоть сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія» и т. д.,

и т. д. Читатель видитъ, что эта оцѣнка діаметрально противоположна нашей. Мы, напротивъ, признаемъ за Достоевскимъ огромное художественное дарованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ не только не видимъ въ немъ «боли» за оскорбленнаго и униженнаго человѣка, а напротивъ—видимъ какое то инстинктивное стремленіе причинить боль этому униженному и оскорбленному. Если бы эти оцѣнки исходили изъ двухъ противоположныхъ литературныхъ лагерей, то легко, конечно, было бы свалить дѣло на пристрастіе, недобросовѣстность. Вотъ, напримѣръ, я помню въ «Русскомъ Вѣстникѣ» чрезвычайно занимательную статью г. Страхова, въ которой доказывалось съ свойственною этому критику обстоятельностью, что г. Стахѣевъ есть настоящій и большой художникъ, а Некрасовъ и Щедринъ—такъ себѣ, пустопорожнее мѣсто. Ну, а еслибы мнѣ пришлось проводить такую странную параллель, то... то я бы никогда не сталъ ее проводить—до такой степени для меня безапелляціонно ясно, гдѣ именно находится пустопорожнее мѣсто. И весьма вѣроятно, что кто-нибудь изъ насъ, то - есть либо г. Страховъ, либо я, руководствуемся недобросовѣстнымъ пристрастіемъ. Но въ настоящемъ случаѣ ничего подобнаго сказать нельзя, и спрашивается: откуда же эта рѣзкая разница въ сужденіяхъ о писателѣ, несомнѣнно яркомъ?

Дѣло объясняется очень просто. На первый взглядъ даже слишкомъ просто. Статья Добролюбова написана въ 1861 году, а у насъ теперь 1882 на исходѣ. Изъ этого на первый взглядъ еще ровно ничего достойнаго вниманія не проистекаетъ, потому что не обязательно же для насъ каждыя двадцать лѣтъ выворачивать на изнанку свои мнѣнія о крупныхъ представителяхъ русской литературы. Напротивъ, оцѣнка, сдѣланная рукою такого мастера, какъ Добролюбовъ, должна бы, кажется, пережить не двадцать, а хоть двѣсти лѣтъ. Это такъ, конечно. Но дѣло-то въ томъ, что никакого выворачиванія мнѣній на изнанку тутъ нѣтъ, а есть вотъ что. «Униженные и оскорбленные» — послѣднее изъ произведеній Достоевскаго, бывшихъ въ рукахъ у Добролюбова. Не только «Бѣсы» или «Братья Карамазовы», а и напримѣръ, «Записки изъ-подполья», «Вѣчный мужъ» были ему неизвѣстны. Мы же, хотя и не касаемся теперь самыхъ крупныхъ изъ произведеній Достоевскаго, но все-таки знаемъ ихъ. Знаемъ — слѣдовательно, что со времени «Униженныхъ и оскорбленныхъ» талантъ Достоевскаго выросъ необычайно. Онъ, правда, до конца дней своихъ не отдѣлался вполнѣ отъ указанныхъ Добролюбовымъ недостатковъ; нѣкоторые изъ нихъ съ теченіемъ времени даже еще болѣе опредѣлились, какъ напримѣръ, архитектурное безсиліе, неспособность обойтись безъ длинныхъ отступленій, нарушающихъ гармонію цѣлаго. Не смотря на это, талантъ Достоевскаго, если можно такъ выразиться, отточился, получилъ блескъ и остроту, какихъ и въ поминѣ нѣтъ въ «Бѣдныхъ людяхъ» или «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Отточился и—ожесточился. Или, можетъ быть, наоборотъ: ожесточился и отточился. Во всякомъ случаѣ, съ нашей точки зрѣнія процессъ былъ двойственный, развитіе таланта шло рядомъ съ его ожесточеніемъ. Дѣло могло происходить такъ, что, сознавъ свою спеціальную силу художественнаго мучительства, Достоевскій увлекся «игрой», какъ увлекся ею подпольный человѣкъ въ эпизодѣ съ Лизой, и чѣмъ дальше, тѣмъ искуснѣе сталъ ущемлять сердца своихъ героевъ и читателей. А, можетъ быть, и такъ, что жестокій по натурѣ или по условіямъ своего воспитанія талантъ, перепробовавъ себя на разные манеры, попалъ наконецъ—случайно или руководимый инстинктомъ—въ свою настоящую сферу, гдѣ и развернулся со всѣмъ блескомъ, на какой только былъ способенъ. Предлагаю слѣдующій опытъ. Возьмите первую повѣсть Достоевскаго—«Бѣдные люди», которая такъ восторженно была встрѣчена Бѣлинскимъ и къ которой, впрочемъ, уже Добролюбовъ отнесся несправедливо сдержаннѣе, и сравните съ послѣднимъ романомъ — «Братья Карамазовы», далеко не лучшимъ изъ произведеній второго періода. «Бѣдные люди» проникнуты «гуманическимъ» направленіемъ; но, читая ихъ теперь, послѣ всего того, что мы получили отъ Достоевскаго, послѣ всего, что мы вообще за послѣдніе годы пережили, — вы не найдете въ нихъ ни одной высокохудожественной страницы, а мѣстами такъ даже получите такое приблизительно впечатлѣніе, будто васъ насильно манной кашей кормятъ: кушанье, очень любимое дѣтьми, но рѣдко нравящееся взрослымъ. Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», напротивъ, не смотря на инквизиторскій характеръ основной тенденціи, не смотря на ненужную жестокость множества подробностей и вводныхъ сценъ, картинъ и образовъ, не смотря даже на томительную скуку почти всего, что относится къ старцу Зосимѣ и младенцу Алешѣ,— вы найдете отдѣльныя мѣста необыкновенной яркости и силы. И напрасно я такъ говорю: *не смотря* на инквизиторскій характеръ, *не смотря* на ненужную жестокость. Скорѣе, напротивъ, *благодаря* жестокости, потому что именно въ сферѣ мучительства художественное дарованіе Достоевскаго и достигло своей наивысшей силы. Только

онъ портилъ дѣло излишествомъ, пересаливалъ, слишкомъ ужъ терзалъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и своихъ читателей.

Такимъ образомъ, съ памяти Добролюбова должна быть совершенно снята ошибка слишкомъ низкой оцѣнки таланта Достоевскаго. Для своего времени эта оцѣнка была очень вѣрна, и если мы теперь видимъ нѣкоторую ея ошибочность или даже, собственно говоря неполноту, такъ только потому, что мы знаемъ «Вѣчнаго мужа», «Преступленіе и наказаніе» и проч., которыхъ Добролюбовъ не зналъ. Знаемъ мы и еще кое-что, чего Добролюбовъ не зналъ и не могъ знать— въ двадцать лѣтъ много воды утекло, и пусть бы въ это время только вода текла!..

Кажется, все это очень просто. Но есть сторона вопроса болѣе сложная и болѣе любопытная. Сказано было, что и въ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго были уже крупные задатки жестокаго таланта, и мы видѣли ихъ образчики. Мы видѣли также, что «человѣкъ—деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ» и что «человѣкъ до страсти любитъ страданіе». Какъ же это Добролюбовъ не только не замѣтилъ этого, а еще утверждалъ, будто «человѣкъ долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другому, какъ человѣкъ къ человѣку»? Мы въ прошлый разъ на каждомъ шагу встрѣчали у героевъ Достоевскаго волчьи инстинкты: злость и мучительство, злость простую, злость квалифицированную, въ сочетаніи съ любовью, съ дружбой. У Добролюбова же во всей статьѣ есть только два замѣчанія объ этомъ предметѣ. Во-первыхъ, его поразила обработка характера князя Валковскаго (въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ»). «Всматриваясь въ изображеніе этого характера, говоритъ Добролюбовъ, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица. Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя передъ вами полнаго человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывныя мерзости,— этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности, ни возненавидѣть ее тою высшею ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа, противъ извѣстнаго разряда явленій. И вѣдь хоть бы неудачно, хоть бы какъ нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ, ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серьезно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣритъ? А если ничему не вѣритъ, если душа у него совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ обстоятельствахъ произошелъ этотъ процессъ?» Затѣмъ, говоря о томъ, что фигурирующіе въ повѣстяхъ Достоевскаго оскорбленные и униженные люди являются въ двухъ типахъ—кроткомъ и ожесточенномъ, Добролюбовъ замѣчаетъ о послѣднемъ: «Видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, — попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ не удается выдержать характеръ и оттого они вѣчно недовольны собой, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.».

Вотъ и все. Какъ будто Достоевскій совсѣмъ не тонкій знатокъ и аналитикъ злобы, мучительства, какимъ мы его знаемъ! О собственныхъ же мучительскихъ опытахъ Достоевскаго надъ своими героями и читателями у Добролюбова нѣтъ буквально ни одного слова. И едва-ли есть возможность объяснить эти пробѣлы незнакомствомъ критика съ позднѣйшими, характернѣйшими образчиками творчества Достоевскаго. Добролюбовъ во всякомъ случаѣ зналъ «Село Степанчиково» и «Двойника». И вотъ что, между прочимъ, мимоходомъ говоритъ онъ о герояхъ этихъ двухъ повѣстей: у Достоевскаго «есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, Ѳому Ѳомича». Такимъ образомъ, Ѳома Ѳомичъ, терроризующій обитателей села Степанчикова, и Голядкинъ, безнужно истерзанный самимъ Достоевскимъ, оказываются стоящими подъ одной рубрикой. Спора нѣтъ, что оба они могутъ подъ эту рубрику умѣститься, потому что у обоихъ, дѣйствительно, до болѣзненности развиты самолюбіе и подозрительность. Но не гораздо ли важнѣе этого сходства то различіе, что одинъ—мучитель, а другой—мученикъ? Какъ же это критикъ отмѣтилъ такую ужъ слишкомъ общую, расплывающуюся черту сходства и просмотрѣлъ такую спеціальную, рѣзкую, яркую разницу?

Въ высшей степени любопытно объясненіе, придуманное Добролюбовымъ для «идеи» «Двойника». Голядкинъ, видите-ли, мучается и сходитъ съ ума «вслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ оффиціальными требованіями его поло-

женія». Его оскорбляютъ, и онъ къ этому уже привыкъ, самъ себя готовъ считать за букашку, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ еще копошатся какіе-то обрывки мыслей о «правахъ» и о человѣческомъ достоинствѣ. «И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются: онъ уже не знаетъ, что же онъ— вправѣ или не вправѣ... Онъ чувствуетъ только одно, что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми врагами и недругами, — все не удается, характера не хватаетъ. И приходитъ онъ къ idée fixe, къ пункту своего помѣшательства: что жить въ свѣтѣ можно только интригами, что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подличаетъ, другихъ обижаетъ. И вотъ у него является рѣшимость тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать. Но гдѣ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... И господинъ Голядкинъ, вообще наклонный къ меланхоліи и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвояется, самого себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейскиловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходитъ въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатки гдѣ-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуютъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаетъ ему «двойника». Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно-ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, въ разъясненія ея не хотѣлъ забираться далѣе того, что «герой романа—сумасшедшій». Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, разсказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ, тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собой сложилось у меня въ головѣ при *перелистываніи* этой повѣсти (*всю ее сплошь я, признаюсь, одолѣть не могъ*)».

Все это чрезвычайно тонко и умно; но если бы Добролюбовъ имѣлъ терпѣніе не перелистывать, а читать «Двойника», то, конечно, отказался бы отъ своего объясненія. Дѣло въ томъ, что Голядкинъ № 2, «двойникъ», не есть только плодъ разстроеннаго воображенія Голядкина № 1. Если бы это было такъ, то объясненіе Добролюбова было бы не только умно, а и вѣрно или, по крайней мѣрѣ, вѣроятно, мы имѣли бы дѣло просто съ особымъ и чрезвычайно интереснымъ видомъ умопомѣшательства. Но Голядкинъ № 2 есть не только галлюцинація, а и реальное дѣйствующее лицо повѣсти. Правда, галлюцинація и реальное лицо въ теченіи повѣсти сплетаются и расплетаются, такъ что мѣстами даже разобрать нельзя, кто передъ вами: живой человѣкъ съ плотью и кровью или же только созданіе фантазіи больного человѣка. Однако, въ повѣсти есть прямыя указанія на дѣйствительное существованіе Голядкина № 2. Такъ напримѣръ, одинъ изъ сослуживцевъ героя, разговаривая съ нимъ, удивляется поразительному сходству двухъ титулярныхъ совѣтниковъ Якововъ Петровичей Голядкиныхъ, сидящихъ другъ противъ друга за однимъ столомъ.

Нельзя, конечно, не удивляться такой странной игрѣ природы и позволительно даже сомнѣваться, чтобы это природа играла. Положимъ, что она бываетъ иногда очень игрива, и, играючи, выпускаетъ изъ своихъ нѣдръ разныя диковинки, но только въ предѣлахъ своей компетенціи, въ предѣлахъ естества. Табель о рангахъ не ея дѣло и титулярныхъ совѣтниковъ не она создаетъ. Исторію тоже нельзя обвинять во всѣхъ злоключеніяхъ «господина Голядкина». Исторія создала табель о рангахъ и весь тотъ общій порядокъ, горячій протестъ противъ котораго представляетъ вся статья Добролюбова. Поэтому вините исторію, поскольку злоключенія Голядкина въ самомъ дѣлѣ происходятъ отъ «неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его человѣчности съ оффиціальными требованіями его положенія». Пусть изъ этого разлада проистекаетъ главная струя психическаго разстройства Голядкина со включеніемъ фантастическаго представленія двойника, какъ это изображено у Добролюбова. Но въ живомъ, реальномъ двойникѣ Голядкина, появленіе котораго безмѣрно увеличило мученія несчастнаго титулярнаго совѣтника, не виноваты ни природа, ни исторія, а виноватъ исключительно авторъ. Допустимъ, что все остальное въ повѣсти «Двойникъ» жизненно и правдиво, что такъ именно идутъ дѣла на грѣшной землѣ. Оно, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ такъ, въ общемъ, конечно, а не въ многочисленныхъ подробностяхъ, полныхъ виртуозной игры на нервахъ читателя. Пусть же исторія Голядкина есть исторія типическая, характерная для большого круга явленій русской-ли жизни въ частности, или духовной жизни человѣка вообще. Но согласитесь съ тѣмъ, что въ двухъ титулярныхъ совѣтникахъ, которыхъ обоихъ зовутъ одними и тѣми же именами, отчествами и фамиліями, которые, какъ двѣ капли воды, другъ на друга похожи, которыхъ, наконецъ, канцелярскій фатумъ усадилъ другъ противъ друга за однимъ столомъ,—согласитесь, что

во всемъ этомъ нѣтъ уже ровно ничего типическаго. А между тѣмъ обстоятельство это играетъ чрезвычайно важную роль въ повѣсти. И отвѣтственность за причитающуюся долю мученій «господина» Голядкина нельзя валить на жизнь, сдва-ли когда-нибудь создававшую такую комбинацію. Отвѣчать долженъ авторъ, жестокая фантазія котораго сдѣлала изъ до невозможности исключительнаго случая источникъ мученій для человѣка, безъ того несчастнаго. И спрашивается, зачѣмъ же второй Голядкинъ понадобился? Я думаю, что этотъ вопросъ совершенно законенъ, а это уже плохой знакъ для художественнаго произведенія. Самая возможность его показываетъ, что тутъ есть какой-то изъянъ по части жизненной правды. Художникъ можетъ и долженъ имѣть свои цѣли, можетъ и долженъ ихъ преслѣдовать путемъ искусства, но вмѣстѣ съ тѣмъ его отношенія къ читателю должны допускать только одинъ вопросъ относительно той или другой подробности произведенія, именно вопросъ—почему? Напримѣръ: почему господинъ Голядкинъ сошелъ съ ума? Потому-то и потому-то, читайте повѣсть «Двойникъ»—и получите полные отвѣты. Но если въ умѣ читателя возникнетъ вопросъ: зачѣмъ? напримѣръ, зачѣмъ явился Голядкинъ № 2?—такъ это значитъ, что для появленія этого лица нѣтъ никакихъ удовлетворительныхъ резоновъ въ томъ уголкѣ жизни, которую повѣсть «Двойникъ» изображаетъ. Оно введено авторомъ насильственно, вопреки жизненной правдѣ. Но это еще не бѣда была бы, а только полбѣды, потому что нельзя же требовать отъ художественнаго произведенія совершенства. Многое пишется наскоро, второпяхъ, а извѣстно, что Достоевскій именно всегда такъ писалъ, гдѣ же тутъ каждое лыко въ строку ставить! Наконецъ, область искусства допускаетъ, даже въ величайшихъ своихъ созданіяхъ, множество условностей и, слѣдовательно, искуственности. Если, напримѣръ, имѣть въ виду только требованія жизненной правды во всей ихъ полнотѣ и неумолимости, то видимая зрителями тѣнь отца Гамлета окажется совершенной безсмыслицей. Попробуйте устранить всѣ подобныя условности, и во всѣхъ отрасляхъ искусства камня на камнѣ не останется. Очень забавны тѣ новаторы «реалисты» и «натуралисты» разныхъ мастей, которые требуютъ, чтобы художникъ — поэтъ, беллетристъ, музыкантъ, живописецъ — копировалъ природу; чтобы, напримѣръ, беллетристъ съ точностью разсказалъ сколько разъ въ день его герой высморкался; чтобы оперный оркестръ гнусящими звуками изображалъ гнусный характеръ поющаго на сценѣ злодѣя и т. п. Какъ будто это возможно! У насъ, напримѣръ, одно время музыкальные новаторы, во имя жизненной правды, гнали собственно пѣніе и возводили на пьедесталъ речитативъ. Оно, конечно, въ жизни такъ не бываетъ, чтобы умирающій человѣкъ пѣлъ сладкозвучнымъ голосомъ, или чтобы какіе нибудь три заговорщика въ самую важную для ихъ дѣла минуту занимались пѣніемъ, и притомъ непремѣнно одинъ басомъ, другой баритономъ, третій теноромъ. Этого не бываетъ, но вѣдь и речитативомъ тоже никто не говоритъ въ жизни...

Итакъ, нѣкоторая искусственность или насильственность со стороны автора, въ ущербъ жизненной правдѣ, можетъ быть допущена. Но если уже она есть, если въ умѣ читателя возникъ вопросъ—зачѣмъ? то необходимо пріискать отвѣтъ и затѣмъ судить произведеніе, а можетъ быть и автора, съ точки зрѣнія этого отвѣта. Зачѣмъ тѣнь отца Гамлета, будучи галлюцинаціей наслѣдника датскаго престола, разгуливаетъ по сценѣ, разговариваетъ, какъ живое, реальное лицо? Затѣмъ, чтобы эта галлюцинація датскаго принца стала какъ бы коллективной галлюцинаціей зрителей (коллективныя галлюцинаціи — достовѣрный психическій фактъ), проникнутыхъ сочувствіемъ къ несчастному положенію принца. Зачѣмъ двойникъ, галлюцинація господина Голядкина, находитъ себѣ точную копію въ жизни, въ лицѣ настоящаго, живого Якова Петровича Голядкина № 2?—не знаю, и читатель тоже не знаетъ... Однако, благодаря Достоевскому, благодаря его «проникновенію» въ разныя мрачныя глубины человѣческаго духа, мы съ читателемъ можемъ догадываться: Голядкинъ № 2 насильственно введенъ въ повѣсть затѣмъ же, ачѣмъ Ѳома Опискинъ вводитъ французскій языкъ въ село Степанчиково, зачѣмъ онъ зоветъ Гаврилу «мусью шематономъ», зачѣмъ подпольный человѣкъ рисуетъ Лизѣ мучительно раздражающія «картинки», зачѣмъ Трусоцкій сверлитъ Вельчанинова—для «игры», для жестокой игры на нервахъ. Если Достоевскій не разъяснилъ намъ окончательно эту мрачную сторону человѣческой души, вполнѣ достойную и научнаго изслѣдованія, и художественнаго изображенія, то, всетаки, очень много сдѣлалъ для нашего въ этомъ отношеніи просвѣщенія. Онъ далъ намъ такіе живые образчики этого дикаго чувства, такіе яркіе портреты носителей его, что, по крайней мѣрѣ, въ самомъ фактѣ спеціальной мучительской наклонности не можетъ уже быть никакого сомнѣнія. Достовѣрно, что есть люди, мучающіе другихъ людей не изъ корысти, не ради мести, не потому, чтобы тѣ люди имъ какъ-нибудь поперекъ дороги стояли, а для удовлетворе-

нія своей мучительской наклонности. Эта наклонность проявляется и въ искусствѣ, въ жестокихъ талантахъ, каковъ самъ Достоевскій.

Возвращаясь къ статьѣ Добролюбова, надо будетъ всетаки сказать, что однимъ недосмотромъ нельзя объяснить ея неполноту, или ошибочность. Положимъ, что онъ просмотрѣлъ истинную роль Голядкина № 2 въ повѣсти «Двойникъ». Но такой проницательный критикъ могъ бы и при этомъ условіи, касающемся собственно частности, хотя и очень характерной, уловить тотъ общій духъ мучительства, которымъ дышетъ творчество Достоевскаго. А между тѣмъ онъ ея не только не уловилъ, а еще усвоилъ Достоевскому «гуманическое» направленіе. Мало того, не замѣтилъ или, по крайней мѣрѣ, не отмѣтилъ разницы между мучителемъ Опискинымъ и мученикомъ Голядкинымъ. И того мало, Добролюбовъ такъ скомбинировалъ картины, сцены, характеристики, образы Достоевскаго, что изъ всего этого вышло какое-то не совсѣмъ опредѣленное, но во всякомъ случаѣ отрицательное отношеніе къ тому общему порядку вещей на Руси (тогдашней), который создаетъ униженныхъ и оскорбленныхъ, принижаетъ личность до тупой покорности или какого-то не то жалкаго писка, не то безумнаго бреда, исправляющаго должность протеста. Въ этомъ, собственно, состоитъ весь смыслъ статьи Добролюбова. А между тѣмъ уже въ «Идіотѣ» (1868 г.) Достоевскій, устами одного изъ дѣйствующихъ лицъ, рѣзко и опредѣленно выразилъ одну изъ своихъ завѣтныхъ мыслей, впослѣдствіи много разъ имъ развитую, а именно: кто у насъ нападаетъ «на существующіе порядки вещей», тотъ нападаетъ «на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію».

Повидимому, одно изъ двухъ: или Добролюбовъ грубо ошибался, или Достоевскій съ теченіемъ времени рѣзко измѣнился. Въ сущности, однако, не было ни того, ни другого: ни *грубой* ошибки съ одной стороны, ни *рѣзкой* перемѣны съ другой.

VII.

Въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» Достоевскій разсказываетъ:

«Я прочелъ имъ (семейству Ихменевыхъ) мой романъ въ одинъ присѣстъ. Мы начали сейчасъ послѣ чаю, а просидѣли до двухъ часовъ по полуночи. Старикъ сначала нахмурился. Онъ ожидалъ чего-то невообразимо высокаго, такого, чего бы онъ пожалуй и самъ не могъ понять, но только непремѣнно высокаго; а вмѣсто того вдругъ такіе будни и все такое извѣстное, вотъ точь въ точь, какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается. И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой, или изъ историческаго что-нибудь, въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, забитый и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицъ-мундирѣ обсыпались, и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать, ни взять какъ мы сами говоримъ... Страшно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергѣича и даже немножко надулась, точно чѣмъ-то обидѣлась. «Ну, стоитъ, право, такой вздоръ печатать и слушать, да еще и деньги за это даютъ», было написано на ея лицѣ. Наташа была вся вниманіе, съ жадностью слушала, не сводила съ меня глазъ, всматриваясь въ мои губы, какъ я произношу каждое слово, и сама шевелила своими хорошенькими губками. И что-жъ? Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы. Анна Андреевна искренно плакала, отъ всей души сожалѣя моего героя и пренаивно желая хоть чѣмъ-нибудь помочь ему въ его несчастіяхъ, что понялъ я изъ ея восклицаній. Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ: «Съ перваго шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; такъ себѣ, просто разсказецъ; за то сердце захватываетъ, говорилъ онъ:—за то становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ; за то познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой!» Наташа слушала, плакала и подъ столомъ, украдкой, крѣпко пожимала мою руку. Кончилось чтеніе. Она встала; щечки ея горѣли, слезинка стояла въ глазахъ; вдругъ она схватила мою руку, поцѣловала ее и выбѣжала вонъ изъ комнаты».

Извѣстно, что въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ», въ той части похожденій Ивана Петровича, которая касается его литературныхъ занятій, Достоевскимъ введено нѣсколько автобіографическихъ чертъ: говорится о критикѣ Б. (Бѣлинскомъ), восторженно встрѣтившемъ первый романъ Ивана Петровича, разсказывается примѣрно содержаніе «Бѣдныхъ людей», сообщается манера писанія Ивана Петровича, весьма сходная съ манерой самого Достоевскаго, и проч. И можно думать, что Достоевскій и самъ переживалъ нѣчто въ родѣ тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя достались Ивану Петровичу въ только что приведенномъ разсказѣ о чтеніи перваго романа въ кругу близкихъ и чуткихъ людей. Конечно, тутъ дѣло не въ подробностяхъ, созданныхъ авторской фантазіей въ видахъ завязки и развязки романа, не въ своеобразныхъ, напримѣръ, отношеніяхъ Ивана Петровича къ семейству Ихменевыхъ вообще и къ Наташѣ въ особенности. Но мы знаемъ, что Достоевскому была лично знакома та гордая радость, которую долженъ былъ испытывать Иванъ Петровичъ при видѣ слезъ Ихменевыхъ и горячаго поцѣлуя Наташи. Если въ его жизни и не было совершенно аналогичнаго эпизода, что въ сущности и не важно, то эпизодъ этотъ образно и вмѣстѣ съ тѣмъ

какъ бы схематически изображаетъ пріемъ, оказанный читающимъ русскимъ людомъ первому роману Достоевскаго. Въ статьѣ Бѣлинскаго можно найти отраженіе Наташинаго страстнаго поцѣлуя и слезъ сочувствія Ихменевыхъ. Словомъ, Иванъ Петровичъ, Достоевскій тожъ, на первомъ же шагу на поприщѣ литературы получилъ такое трогательное, осязательное и подмывающее одобреніе, какое вообще рѣдко достается писателю. Иванъ Петровичъ Достоевскій тожъ, во-очію убѣдился въ мощи своего слова, позналъ на опытѣ, что можетъ «глаголомъ жечь сердца людей». Моментъ, въ высшей степени важный въ исторіи всякой не чисто стихійной, а способной къ самосознанію силы. Въ этотъ моментъ Достоевскій находился въ такомъ же положеніи, въ какомъ находится женщина, впервые убѣдившаяся въ обаятельной силѣ своей красоты; въ какомъ находится школяръ, въ первый разъ успѣшно сразившійся съ товарищемъ и понявшій, что онъ уже не «новичекъ», который долженъ терпѣть всякія издѣвательства, а что у него самого кулаки есть; въ какомъ находится трибунъ послѣ первой рѣчи, которая произвела сильное впечатлѣніе; полководецъ, впервые увидавшій, что стройныя массы солдатъ не только формально повинуются ему, двигаясь направо и налѣво, а встрѣчаютъ его съ искреннимъ, неподдѣльнымъ восторгомъ. И т. д., и т. д. Я прибавилъ бы, пожалуй, сравненіе съ тигренкомъ, впервые послѣ материнскаго молока лизнувшимъ крови, но это сравненіе идетъ къ дѣлу только въ отрицательномъ смыслѣ. Изъ тигренка долженъ вырости кровожадный тигръ по непреложнымъ законамъ естества, и потому можно любоваться его мощной граціей, можно описывать его, можно убить, но судить его нельзя—суда такого нѣтъ; у тигровъ промежъ себя можетъ быть и есть подходящій судъ, но намъ до него дѣла нѣтъ; по нашему, тигръ просто подлежитъ смертной казни, безъ суда и слѣдствія. Иначе стоитъ дѣло относительно другихъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Дѣвушка, сознавшая силу производимаго ею обаянія, можетъ направить ее къ той или другой, непостыдной или постыдной цѣли, сообразно которой и подлежитъ оцѣнкѣ. Изъ разныхъ комбинацій, какія тутъ возможны, для насъ особенно интересна та, когда цѣлью становится самое средство, орудіе, самая, такъ сказать, игра мускуловъ красоты. Простите это несообразное выраженіе, но, разъ оно сорвалось съ языка, позвольте ужъ заодно говорить и о мускулахъ мысли, о мускулахъ творчества и т. п. Все это орудія и напряженіе ихъ должно бы представлять только средства для достиженія извѣстныхъ цѣлей. Но бываетъ такъ, что, по условіямъ чисто личнаго свойства или же по условіямъ обстановки, обладатель силы ставитъ себѣ цѣлью самую игру мускуловъ. Въ такихъ случаяхъ изъ женщины выходитъ кокетка, безпредметно заигрывающая со всякимъ мимоходящимъ и обращающая свою силу въ источникъ мученій; изъ трибуна и полководца—честолюбцы, способные, ради своихъ прекрасныхъ глазъ, натворить множество бѣдъ и уложить въ могилу тысячи людей. Великое дѣло—первыя пробы силы или власти. Можно сказать даже, что вы не знаете человѣка, пока онъ не попробовалъ власти, да до тѣхъ поръ и самъ онъ едва-ли себя знаетъ. Мало-ли людей, искренно клянущихся посвятить себя, добравшись до власти, на благо родины или человѣчества, а потомъ упивающихся властью для нея самой: дескать, могу расшибить, могу и помиловать. Нѣтъ никакого резона утверждать, что въ моментъ своихъ горячихъ клятвъ такой человѣкъ былъ непремѣнно канальей, что онъ лгалъ, чтобы разсчистить себѣ путь къ тому наслажденію, которое дается властью надъ такъ называемыми ближними. Можетъ быть, и лгалъ, и былъ канальей, но очень можетъ быть, что онъ просто не зналъ самого себя, не предвидѣлъ обаятельности того наслажденія, которое дастся ему «дикою, безпредѣльною властью, хоть надъ мухой». Конечно, это ужъ не первый сортъ человѣка, но онъ могъ всетаки быть вполнѣ искрененъ въ началѣ своей карьеры.

И вотъ передъ нами писатель, впервые убѣдившійся въ своей силѣ. Онъ и прежде сознавалъ ее въ себѣ, потому что иначе не принялся бы за работу, но сознавалъ смутно, и не разъ горькія сомнѣнія чередовались въ его душѣ съ гордыми надеждами. Теперь конецъ всѣмъ этимъ колебаніямъ: присутствіе силы засвидѣтельствовано произведеннымъ ею впечатлѣніемъ. Писатель убѣдился, что онъ властный человѣкъ и можетъ двигать сердца своихъ читателей или слушателей. Но какъ и куда двигать? Передъ нимъ, какъ передъ сказочнымъ богатыремъ, разстилаются три дороги, съ тою, однако, разницей, что ни на одной изъ нихъ онъ ни коня не потеряетъ, ни самъ не погибнетъ. Какія тутъ потери, какая гибель! Нѣтъ, молодая, сознавшая себя сила, играючи, преодолѣетъ всѣ препятствія, перелетитъ черезъ всѣ барьеры, и тамъ, гдѣ-то въ туманной, невѣдомой дали, водрузитъ знамя побѣды! Хорошее время, веселое время...

А дороги-то всетаки предстоятъ разныя, и надо выбирать. Одна изъ нихъ намѣчена простодушными восторгами старика Ихме-

нева: «Знаешь, Ваня, это хоть не служба, а всетаки карьера. Прочтутъ и высокія лица. Вотъ, ты говорилъ, Гоголь вспоможеніе ежегодное получаетъ и за-границу посланъ. А что если бы и ты? а? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Такъ сочиняй, братъ, сочиняй поскорѣе! Не засыпай на лаврахъ. Чего глядѣть-то! ...Или вотъ, напримѣръ табакерку дадутъ... Что-жъ? На милость вѣдь нѣтъ образца. Поощрить захотятъ. А кто знаетъ, можетъ и ко Двору попадетъ: или нѣтъ? или еще рано ко Двору-то?... Камергеромъ, конечно, не сдѣлаютъ за то, что романъ написалъ: объ этомъ и думать нечего; а всетаки можно въ люди пройти, ну, сдѣлаться какимъ-нибудь тамъ аташе. За-границу могутъ послать, въ Италію, для поправленія здоровья, или тамъ для усовершенствованія въ наукахъ что ли; деньгами помогутъ».

Конечно, если бы нашъ богатырь захотѣлъ идти по этой дорогѣ, то разныя табакерки, вспоможенія, камергерскіе ключи посыпались бы на него, какъ изъ рога изобилія. Но онъ по этому пути не пойдетъ. Не тѣ времена ужъ, когда для писателя габакерки были желанны и возможны. За то тѣмъ желаннѣе и возможнѣе иной путь, тотъ самый, за одинъ шагъ по которому Наташа страстно припала къ рукѣ Ивана Петровича и облила ее слезами умиленія и сочувствія. Одобреніе, полученное Иваномъ Петровичемъ, кромѣ трогательной осязательности формы, имѣло и вполнѣ опредѣленное содержаніе. Оно давалось за «простоту» разсказа, въ связи съ его «гуманическимъ» направленіемъ: «Познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой». Опять и опять также просто и душевно описывать радости и горести забитаго человѣка; опять и опять будить въ душѣ читателя струны сочувствія къ униженному и оскорбленному; пробрать силою своего творчества не только благодушныхъ стариковъ Ихменевыхъ, не только страстную и благородную Наташу, а и тѣхъ, кто забиваетъ забитыхъ; пробить ихъ толстыя кожи и добраться до самаго ихъ сердца—вотъ путь, по которому пойдетъ Иванъ Петровичъ.

Заманчивый путь, но и трудный путь. Не потому только трудный, что есть на свѣтѣ внѣшнія препятствія и воздѣйствія или, такъ называемыя, «независящія обстоятельства», категорически побуждающія молчать, когда хочется говорить, и ѣхать, когда хочется сидѣть дома. Это само собою разумѣется. Но избранный Иваномъ Петровичемъ путь переполненъ иными опасностями, изъ которыхъ главная состоитъ въ близости и соблазнительности третьей дороги—дороги кокетства въ обширномъ смыслѣ слова, игры мускуловъ творчества и ненужнаго мучительства Одна, въ самомъ дѣлѣ, очень близка и соблазнительна, эта третья дорога.

Хорошо плачетъ Наташа! Хорошо видѣть плачущею эту ясную дѣвушку при сознаніи, что вѣдь это я, Иванъ Петровичъ, вызвалъ эти слезы, и вызвалъ не обидой или оскорбленіемъ, а тѣмъ, что тронулъ ея сердце болью за болящаго, страданіемъ за страждущаго. А если припомнить, что въ ясной дѣвушкѣ отражаются и критикъ Б., и все, что есть мыслящаго и чуткаго въ читающей Россіи, такъ и подавно хорошо. Очень соблазнительно, для пущаго эффекта, усилить тонъ, надбавить униженному еще немножко униженія и оскорбленному еще немножко оскорбленія: тогда вѣдь и ясная дѣвушка, и все, что въ ней для Ивана Петровича олицетворяется, будутъ еще больше тронуты. Очень это естественное соображеніе, а между тѣмъ — отсюда идетъ наклонная плоскость въ сторону отсутствія «простоты», за которую получено одобреніе, и присутствія ненужнаго мучительства, одобренія отнюдь незаслуживающаго. Съ теченіемъ времени Иванъ Петровичъ со второй дороги можетъ совсѣмъ перебраться на третью; первоначальная цѣль—возбужденіе сочувствія къ забитому человѣку можетъ постепенно отойти совсѣмъ на задній планъ и уступить свое мѣсто тому, что было сначала только средствомъ—игрѣ мускулами творчества. Можетъ, словомъ, произойти точное воспроизведеніе двухъ первыхъ моментовъ гегелевской формулы діалектическаго развитія: положеніе перейдетъ въ свое отрицаніе, сочувствіе въ мучительство. Разные люди при разныхъ обстоятельствахъ разно покатятся по этой наклонной плоскости. Какъ это вышло у Ивана Петровича—намъ неизвѣстно, да и не интересно нисколько. Что же касается самого Достоевскаго, то онъ покатился столь быстро, что уже Бѣлинскій, при всей своей восторженности отъ «Бѣдныхъ людей», долженъ былъ назвать послѣдующія произведенія Достоевскаго «нервической чепухой» («даже сильнѣе», прибавляетъ г. Пыпинъ въ извѣстной книгѣ о Бѣлинскомъ). «Нервическая чепуха», это вѣдь именно и значитъ отсутствіе простоты и присутствіе ненужнаго мучительства. Конечно, не такъ просто, не такъ вдругъ совершилась эта метаморфоза, и первоначально оба теченія довольно долго боролись другъ съ другомъ. Одолѣвало то или другое, смотря по обстоятельствамъ...

Спрашивается, какія же это обстоятельства, какія условія сдерживаютъ или усиливаютъ раскатъ по вышеозначенной на-

клонной плоскости? Прежде всего задерживающія или, напротивъ того, усиливающія условія могутъ заключаться въ прирожденныхъ личныхъ свойствахъ писателя: «таланты отъ Бога». Жестокость таланта, какъ и всякая другая жестокость, можетъ быть результатомъ несчастнаго сочетанія стихійныхъ силъ. Если, напримѣръ, у Полины, жестоко терзающей «игрока», «слѣдокъ ноги узенькій и длинный, мучительный, именно мучительный», то, значитъ, ей такъ на роду написано быть мучительницей. Въ писателѣ, однако, прирожденная жестокость таланта можетъ сдерживаться другими, отчасти прирожденными же, стихійными, а отчасти разумными элементами. Въ художникѣ на первомъ планѣ стоитъ здѣсь чувство мѣры, которое у тонко-развитыхъ въ художественномъ отношеніи натуръ играетъ, примѣрно, такую же всеконтролирующую роль, какъ такъ называемый тактъ у свѣтскихъ людей. Свѣтскій человѣкъ, будучи, напримѣръ, большимъ негодяемъ, въ силу присущаго ему такта, не обнаружитъ своего негодяйства. Тотъ же тактъ не позволитъ свѣтскому человѣку сдѣлать какую-нибудь неприличную публичную сцену, хотя бы у него въ душѣ цѣлый адъ кипѣлъ. Такъ и въ художникѣ,—чувство мѣры подавляетъ и контролируетъ его личныя поползновенія. У Достоевскаго это чувство было чрезвычайно слабо. Талантъ — чрезвычайно неровный: онъ то потухалъ до совершенной безцвѣтности и томительной скуки, то разгорался сильнымъ и яркимъ огнемъ, но никогда не зналъ мѣры. За исключеніемъ «Мертваго дома» и двухъ-трехъ мелкихъ разсказовъ («Бѣлыя ночи», «Маленькій герой», «Кроткая»), вполнѣ законченныхъ въ смыслѣ гармоніи и пропорціональности, все остальное, написанное Достоевскимъ, не поражаетъ насъ своею нескладностью, растянутостью, безмѣрностью (если можно такъ выразиться) только потому, что мы ужъ очень привыкли къ его манерѣ писанія. Мы представили въ прошлый разъ образчики этой безмѣрности въ видѣ рога изобилія несчастій и обидъ, обрушивающихся на героевъ,—въ видѣ толкотни событій, которыхъ у него въ одинъ день совершается столько, сколько другому хватало бы на цѣлый годъ, — въ видѣ ненужныхъ надстроекъ, вставокъ и отступленій. Если въ нѣкоторыхъ изъ этихъ случаевъ чувство мѣры оказывается безсильнымъ для обузданія жестокости таланта, то оно было столь же безсильно и тогда, когда Достоевскій изображалъ благожелательныя чувства. «Бѣдные люди», напримѣръ, трудно читать безъ нѣкоторой тошноты отъ чрезмѣрнаго обилія всякихъ «маточекъ» и «голубчиковъ моихъ». А въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ» Иванъ Петровичъ столь чрезмѣрно пылаетъ самоотверженіемъ, что не только безропотно уступаетъ свою Наташу первому встрѣчному шалопаю, а еще играетъ роль сводни; словомъ, столь безмѣрно благороденъ, что даже гнусенъ.

Итакъ, чувство мѣры, будучи въ Достоевскомъ крайне слабо, не могло его сдержать въ движеніи по наклонной плоскости.

Есть еще одно обстоятельство, которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта, могло бы спасти Достоевскаго отъ ненужнаго мучительства, а его читателей и дѣйствующихъ лицъ отъ ненужныхъ мученій. Не помню, кто изъ героевъ Эжена Сю, будучи отъ природы въ буквальномъ смыслѣ слова кровожаднымъ человѣкомъ, но, попавъ подъ вліяніе нѣкотораго добродѣтельнаго и умнаго руководителя, становится совершенно несчастнымъ человѣкомъ. Стихійныя силы натуры влекутъ его къ кровопролитію, а вліяніе добродѣтельнаго и умнаго руководителя не допускаетъ до кровопролитія. Наконецъ, дѣло разрѣшается очень просто: добродѣтельный и умный руководитель помѣстилъ кровожаднаго героя на бойню мясникомъ. Тутъ герой могъ удовлетворять своимъ жестокимъ наклонностямъ, дѣлая вмѣстѣ съ тѣмъ общеполезное дѣло. Это, конечно, не болѣе какъ грубоватая иллюстрація къ теоріи Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенные въ человѣка природой, какъ бы онѣ не были, повидимому, безобразны, нуждаются только въ извѣстномъ приспособленіи, чтобы сослужить обществу полезную службу. Намъ здѣсь нѣтъ дѣла ни до остроумной теоріи Фурье, ни до грубой иллюстраціи Сю. Но она, эта иллюстрація, можетъ быть, именно вслѣдствіе своей грубости, если не разрѣшаетъ нашего вопроса, то наглядно рисуетъ возможность его разрѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнутъ съ лица земли и пусть на ихъ могилахъ пышнымъ цвѣтомъ расцвѣтаетъ любовь. Чего лучше! Но Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. И доколѣ нѣтъ «на землѣ мира и въ человѣцѣхъ благоволенія», самый любвеобильный человѣкъ допуститъ, что возможна и даже обязательна «необузданная, дикая съ лютой подлостью вражда». А всякая вражда требуетъ иногда людей жестокихъ (не мучителей, конечно, которые ни для какого дѣла не нужны). Вотъ и пусть бы Достоевскій взялъ на себя въ этой враждѣ роль, соотвѣтственную его наклонностямъ и способностямъ, которыя нашли бы себѣ такимъ образомъ опредѣленную точку приложенія. Все равно какъ нашли себѣ таковую кровожадныя наклонности героя Сю. Но у героя этого былъ добродѣ-

тельный и умный руководитель, столь добродѣтельный, умный и притомъ могущественный, что въ дѣйствительной жизни такого, пожалуй, не встрѣтишь. Да и сомнительно, чтобы Достоевскій, самъ человѣкъ властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководительству. Руководителемъ для него могло бы стать только что-нибудь безплотное, идеальное, передъ чѣмъ самому гордому и властному человѣку не стыдно склониться и вмѣстѣ съ тѣмъ такое, чтобы оно не въ облакахъ гдѣ-нибудь носилось, а стояло всегда тутъ, близко, постоянно охватывая собою человѣка. Люди смирные и слабые могутъ довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личнымъ руководительствомъ или велѣніями заоблачныхъ началъ. Люди же сильные, властные, сами умѣющіе такъ или иначе управлять сердцами людей, не надѣнутъ на себя ярма личнаго руководительства. Знакома имъ (не всѣмъ, конечно), и «съ небомъ гордая вражда». Но властные люди могутъ—и это не только теоретическое соображеніе, а и многократный историческій фактъ — склоняться передъ идеальнымъ началомъ, въ созданіи котораго они сами принимали участіе, въ которое они вложили частицу самихъ себя, своей мысли, чувства, воли; а такимъ началомъ можетъ быть только опредѣленный общественный идеалъ. Будь такой идеалъ у Достоевскаго, онъ не допустилъ бы его заниматься ненужнымъ мучительствомъ и безпредметною игрою мускуловъ творчества, а направилъ бы его жестокія наклонности въ какую-нибудь опредѣленную сторону. Но у Достоевскаго такого идеала не было...

Говорю не въ качествѣ человѣка партіи. Весьма вѣроятно, что общественный идеалъ Достоевскаго, если бы онъ у него былъ, оказался бы чѣмъ-нибудь въ родѣ утопіи г. Каткова—безотрадной, безбрежной пустыней, гдѣ только изрѣдка, среди всеобщаго безмолвія раздаются крики: «караулъ!» «держи!» «ура!» Съ моей скромной личной точки зрѣнія, равно какъ и съ точки зрѣнія того великаго Бога, которому я молюсь, тутъ нѣтъ равно ничего хорошаго и есть очень много сквернаго. Но, не говоря уже о томъ, что Достоевскій могъ быть и счастливѣе въ выборѣ своемъ, даже въ этомъ случаѣ, онъ былъ бы избавленъ отъ безпредметной «игры» на нервахъ читателей. Но, повторяю, никакого сколько-нибудь опредѣленнаго общественнаго идеала у Достоевскаго не было. Почему не было?—это вопросъ особый, и для разрѣшенія довольно трудный. Мы и не будемъ имъ заниматься, въ виду отсутствія нужныхъ біографическихъ данныхъ. Намъ важенъ только самый фактъ. Если же кто въ этомъ фактѣ усомнится или попробуетъ сложить какой-нибудь общественный идеалъ изъ тѣхъ обломковъ личной морали славянофильской доктрины, которыми пробавлялся Достоевскій въ особенности въ послѣднее время, то такому скептику я предложу вложить персты свои въ язвы гвоздиныя.

Разсуждая о нѣкоторой теоріи общественныхъ отношеній (по всѣмъ видимостямъ соціалистической), подпольный человѣкъ, между прочимъ, пишетъ:

«Тогда-то—это все вы говорите—наступятъ новыя экономическія отношенія, совсѣмъ уже готовыя и тоже вычисленныя съ математическою точностью, такъ что въ одинъ мигъ исчезнутъ всевозможные вопросы, собственно потому, что на нихъ получатся всевозможные отвѣты. Тогда выстроится хрустальный дворецъ. Тогда... Ну, однимъ словомъ, тогда прилетитъ птица Коганъ. Конечно, намъ нельзя гарантировать (это уже я теперь говорю), что тогда не будетъ, напримѣръ, ужасно скучно (потому что что-жъ и дѣлать-то, когда все будетъ расчислено по табличкѣ), за то все будетъ чрезвычайно благоразумно. Конечно, отъ скуки чего не выдумаешь! Вѣдь и золотыя булавки отъ скуки втыкаются *), но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что, чего добраго, пожалуй и золотымъ булавкамъ тогда обрадуются. Вѣдь глупъ человѣкъ, глупъ феноменально. То-есть онъ хоть и вовсе не глупъ, но ужъ за то неблагодаренъ такъ, что поискать другаго, такъ не найти. Вѣдь я, напримѣръ, нисколько не удивлюсь, если вдругъ ни съ того, ни съ сего среди всеобщаго будущаго благоразумія, возникнетъ какой-нибудь джентльменъ съ неблагородной или, лучше сказать, съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей, упретъ руки въ боки и скажетъ намъ всѣмъ: «а что, господа, не столкнуть-ли намъ все это благоразуміе съ одного раза ногой, прахомъ, единственно съ тою цѣлью, чтобы всѣ эти логарифмы отправились къ чорту и чтобы намъ опять по своей глупой волѣ пожить». Это бы еще ничего, но обидно то, что вѣдь непремѣнно послѣдователей найдетъ: такъ человѣкъ устроенъ. И все это отъ самой пустѣйшей причины, объ которой бы, кажется, и упоминать не стоитъ: именно оттого, что человѣкъ всегда и вездѣ, кто бы онъ ни былъ, любилъ дѣйствовать такъ, какъ хотѣлъ, а вовсе не такъ, какъ повелѣвали ему разумъ и выгода; хотѣть же можно и противъ собственной выгоды, а иногда *положительно должно* (это ужъ моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотѣнье, свой собственный, хотя бы самый дикій капризъ, своя фантазія, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествія: вотъ это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни подъ какую классификацію не подходитъ и отъ которой всѣ системы и теоріи постоянно разлетаются къ чорту. И съ чего это взяли всѣ эти мудрецы, что человѣку надо какого-то нормальнаго, какого-то добродѣтельнаго хотѣнія? Съ чего это непремѣнно вообразили они, что человѣку надо непремѣнно благоразумно выгоднаго хотѣнія? Человѣку надо только *самостоятельнаго* хотѣнія, чего бы эта самостоятельность ни стоила и къ чему бы ни привела».

*) Передъ тѣмъ шла рѣчь о наслажденіи, которое Клеопатра испытывала, втыкая золотыя булавки своимъ невольницамъ въ груди.

И т. д., и еще нѣсколько страницъ такого же затѣйливаго изложенія той же незатѣйливой мысли. Лѣтъ за тридцать передъ тѣмъ, какъ ее изложилъ подпольный человѣкъ (1864 г.), эта мысль, будучи, въ качествѣ критики тогдашнихъ соціалистическихъ теорій, столь же незатѣйливою, была, однако, до извѣстной степени умѣстна и даже справедлива. Только одного не приняли въ соображеніе представители либеральной европейской буржуазіи, сдѣлавшіе изъ развиваемой подпольнымъ человѣкомъ мысли своего любимаго конька; а именно того, что эта мысль можетъ быть направлена рѣшительно противъ всякаго общественнаго идеала, въ томъ числѣ и противъ либерально-буржуазнаго. А о другихъ прочихъ и говорить нечего. Намъ здѣсь не приходится, разумѣется, разсуждать о томъ, какъ и въ какой мѣрѣ возможно примиреніе личной самостоятельности съ какимъ-либо общественнымъ порядкомъ. Но дѣло въ томъ, что возраженіе подпольнаго человѣка можетъ быть предъявлено, собственно говоря, только такимъ субъектомъ, у котораго у самого нѣтъ никакого общественнаго идеала. Если ссылаться на свойства человѣческой природы, то надо помнить, что коли человѣкъ создалъ себѣ какой-нибудь идеалъ, самый хотя бы мечтательный и нелѣпый, такъ ужъ его такими пустяками изъ сѣдла не выбьешь, ибо тамъ, въ этомъ мечтательномъ идеалѣ, все это уже предусмотрѣно и разрѣшено. Взять хоть бы ту же утопію безконечной равнины, на которой раздаются только крики: «караулъ!» «держи!» «ура!» Кажется, что можетъ быть мечтательнѣе и нелѣпѣе? А попробуйте-ка запугать г. Каткова «джентльменомъ съ неблагородной или, лучше сказать, съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей», который вдругъ «упретъ руки въ боки» и предложитъ все это благополучіе «отправить къ чорту». Ни мало не запугаете, потому что для такого джентльмена въ утопіи есть мѣсто и даже не мѣсто, а мѣста—весьма и не весьма удаленныя. Въ другого рода утопіяхъ джентльменъ съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей тоже предусмотрѣнъ. Предполагается именно, что осуществленіе утопіи внесетъ въ жизнь столько свѣта и счастія, что еслибы джентльменъ и объявился и даже увлекъ за собой кое-кого, то количество этихъ увлеченныхъ будетъ примѣрно три съ половиной человѣка, которые будутъ играть роль такихъ же рѣдкостныхъ уродовъ, какъ теперь двухголовые соловьи, очень маленькіе карлики и очень большіе великаны. Пусть это мечта, но такова ужъ человѣческая природа, что смущаться и другихъ смущать джентльменомъ съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей могутъ только люди, никакого собственнаго идеала не имѣющіе. Таковъ подпольный человѣкъ, который въ шаблонномъ либерально-буржуазномъ возраженіи сдѣлалъ только ту странную поправку, что дескать, не заботьтесь очень о благополучіи-то—человѣкъ страдать любитъ. Точно этого добра мало въ жизни! Но подпольный человѣкъ не просто подпольный человѣкъ, а до извѣстной степени самъ Достоевскій. По крайней мѣрѣ, въ ту часть «Записокъ изъ подполья», откуда заимствовано нами разсужденіе насчетъ джентльмена съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей, Достоевскій несомнѣнно вложилъ много своего личнаго, собственнаго...

Это не доказательство! перебьетъ меня читататель. Конечно, не доказательство, а только соображеніе, основанное на сходствѣ нѣкоторыхъ теоретическихъ идей Достоевскаго и подпольнаго человѣка и ихъ практическихъ пріемовъ мучительства. Доказательство же могло бы уже просто въ томъ состоять, что Достоевскій никогда своего общественнаго идеала намъ не показывалъ. Но этого мало. Припомните странную мысль Достоевскаго - странную, но отнюдь не одиноко стоящую въ его описаніяхъ, что Коробочка и ея крѣпостные, оставаясь въ томъ же соціальномъ положеніи, могли бы явить міру высокій образецъ взаимныхъ нравственныхъ отношеній, если бы были проникнуты истинно христіанскимъ духомъ. Никто не сомнѣвается въ возвышенности христіанской морали, но въ этой выходкѣ сквозитъ такое страшное презрѣніе ко всякому общественному идеалу или такая почти непостижимая скудость мысли и чувства въ этомъ направленіи, что поневолѣ вспомнишь джентльмена съ ретроградной и насмѣшливой физіономіей. На этотъ разъ фантастическій джентльменъ долженъ бы былъ, «уперевъ руки въ боки», сказать: а давайте-ка, господа, столкнемъ къ черту все, что выработано и выстрадано человѣчествомъ по части общественныхъ идеаловъ: не все-ли, собственно говоря, равно—крѣпостное право, теперешній, завтрашній порядокъ? все это чепуха, ибо во всякомъ положеніи можно быть высоко нравственнымъ человѣкомъ.

Слабость художественнаго чувства мѣры, которое могло бы контролировать проявленіе жестокаго таланта, отсутствіе общественнаго идеала, который могъ бы ихъ регулировать,—вотъ, значитъ, условія, способствовавшія или сопутствовавшія движенію Достоевскаго по наклонной плоскости отъ «простоты» къ вычурности, отъ «гуманическаго» направленія къ безпричинному и безцѣльному мучительству. Чѣмъ дальше, тѣмъ ярче объявлялась въ немъ потребность играть на нервахъ читателя разными страшными чудищами и духъ

захватывающими диковинками. И, не смотря на всю его по этой части изобрѣтательность, ея всетаки не хватало для удовлетворенія его ненасытной потребности: онъ долженъ былъ повторяться. Такъ, напримѣръ, въ «Вѣчномъ мужѣ» Трусоцкій изъ ненависти къ Вельчанинову любовно цѣлуетъ у него руки; искренно, съ любовью ухаживаетъ за нимъ, за больнымъ, а два-три часа спустя хочетъ его зарѣзать бритвой. Казалось бы, въ самомъ богатомъ собраніи «монстровъ и раритетовъ» одного такого чудища было бы достаточно. У Достоевскаго же, не говоря о безчисленныхъ варіаціяхъ на тему любви-ненависти вообще, этотъ самый эпизодъ въ частности почти буквально повторяется въ «Идіотѣ»: Рогожинъ братается съ княземъ Мышкинымъ, мѣняется съ нимъ крестами, и въ тотъ же день бросается на него съ ножомъ. Изображеній простой, обыденной типической жизни, которыя такъ тронули сердца Ихменевыхъ, нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, все вычурно, необыкновенно, случайно, чудно. Достоевскій и самъ, наконецъ, обратилъ на это вниманіе. По крайней мѣрѣ, въ предисловіи къ «Братьямъ Карамазовымъ» есть, между прочимъ, слѣдующія строки: «Не только чудакъ не всегда частность и обособленіе, а напротивъ—бываетъ такъ, что онъ-то пожалуй и носитъ въ себѣ иной разъ сердцевину цѣлаго, а остальные люди его эпохи, всѣ, какимъ-нибудь наплывомъ вѣтромъ, на время почему-то отъ него оторвались». Это—попытка оправдаться въ выборѣ чудныхъ, особенныхъ, рѣдкостныхъ людей, положеній, чувствъ. Сказаны эти слова по адресу Алексѣя Карамазова, который, можетъ быть, и оказался бы такимъ «сердцевиннымъ» чудакомъ. Но бѣда въ томъ, что Алексѣй Карамазовъ своей сердцевинности въ романѣ не обнаруживаетъ и самъ тонетъ въ цѣломъ океанѣ разныхъ необыкновенныхъ людей и положеній, которыхъ и самъ авторъ не рѣшается выдавать за сердцевинные. Тутъ старикъ Карамазовъ, развратный до того, что находитъ наслажденіе въ любовномъ сношеніи съ грязной идіоткой Лизаветой Смердящей. Тутъ Дмитрій Карамазовъ съ цѣлымъ рядомъ необыкновенныхъ похожденій. Тутъ мятущаяся, фантастическая Грушенька, эпилептики, отцеубійцы, юродивые, святые, словомъ—цѣлая кунсткамера. «Чудакъ» Алеша оказывается самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ въ этой коллекціи чудищъ. А читатель знаетъ, что «Братья Карамазовы» отнюдь не составляютъ въ этомъ смыслѣ исключенія. «Преступленіе и наказаніе», «Идіотъ», «Бѣсы» переполнены всякаго рода рѣдкостями, исключительными явленіями, чудищами. И если сердца читателей всетаки трогаются и даже въ своемъ родѣ, можетъ быть, сильнѣе трогаются, чѣмъ въ свое время сердца Ихменевыхъ, то во всякомъ случаѣ на совершенно другой манеръ; сочувствіе къ забитымъ, униженнымъ, оскорбленнымъ замѣняется совсѣмъ другимъ отношеніемъ къ нимъ. Взять хоть бы тѣхъ же рогоносцевъ Ивана Андреевича и Трусоцкаго. Это—истинно несчастные люди, которыхъ жестокая судьба унижаетъ и оскорбляетъ жестокими руками Достоевскаго сверше всякой мѣры и безо всякой съ ихъ стороны вины: ничѣмъ они не виноваты ни передъ женами своими, ни передъ ихъ любовниками. Напротивъ, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ, Трусоцкій, былъ весь внимательность и любовь. И, тѣмъ не менѣе, никакого сочувствія къ этимъ субъектамъ въ читателѣ родиться не можетъ: одинъ смѣшонъ и глупъ, какъ пробка, другой низокъ и отвратительно золъ. Тутъ ужъ никакъ нельзя повторить слова старика Ихменева: познается, что самый забитый человѣкъ есть тоже человѣкъ и называется братъ мой. Весь психическій процессъ, происходящій въ душѣ читателя, сводится къ какому-то неопредѣленному трепетанію нервовъ, совершенно безучастному и къ оскорбленной и къ оскорбляющей сторонѣ, но настолько всетаки, благодаря таланту автора, сильному, чтобы читатель втянулся и нѣкоторое время жилъ этимъ безпредметнымъ мучительнымъ трепетаніемъ.

VIII.

Ничего этого Добролюбовъ не засталъ. Если же и въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго задатки мучительскихъ наклонностей были уже на лицо, то во-первыхъ, это были всетаки только задатки, нѣчто, относительно говоря, слабое, невыяснившееся. А во-вторыхъ, духъ времени, когда довелось работать Добролюбову...

Впрочемъ, позвольте сначала маленькое отступленіе.

Въ «Запискахъ изъ подполья» есть одна фраза, которая въ устахъ подпольнаго человѣка играетъ роль просто фразы, общаго мѣста, но въ которую можетъ быть, однако, вложено чрезвычайно важное и обширное содержаніе. Подпольный человѣкъ говоритъ именно, что онъ оторвался отъ «живой жизни» и прилѣпился къ жизни «книжной». Что это такое значитъ? Возьмемъ не мрачнаго «парадоксалиста», кокетничающаго своею мерзостью, а настоящаго «книжнаго» и притомъ хорошаго человѣка. Представьте себѣ прекраснаго юношу, одолѣваемаго жаждою научныхъ знаній и мечтающаго приложить эти добытыя усиленнымъ трудомъ знанія къ практической жизни, на благо родины. Пред-

ставьте себѣ далѣе, что эта святая для него родина предоставляетъ ему мирно и безмятежно пріобрѣтать знанія, а затѣмъ настежь отворяетъ передъ нимъ двери практической жизни: иди и работай. И родина въ барышахъ—у нея лишній работникъ, имѣющій прекрасную цѣль и владѣющій средствами для приближенія къ ней; и личная судьба юноши устраивается превосходно, «струны натянуты, звени на весь міръ», какъ говоритъ тургеневскій Шубинъ въ «Наканунѣ». Къ сожалѣнію, это случай очень простой въ теоріи, но довольно рѣдкій на практикѣ. Бываетъ такъ, что родина, ослѣпленная разными тяжелыми обстоятельствами и мутной водой, въ которой ловкіе люди ловятъ рыбу, встрѣчаетъ юношу, самое можетъ быть дорогое свое дѣтище, съ недовѣріемъ. Допустимъ, что она не мѣшаетъ ему пріобрѣтать знанія, какія ему угодно и сколько ему угодно (а бываетъ вѣдь такъ, что и этого не бываетъ). Но предоставляя нашему прекрасному юношѣ учиться, ослѣпленная родина оставляетъ ему только ничтожную щелку для прохода въ «живую жизнь» и приложенія знаній. Юноша объ этомъ уже на школьной скамьѣ слышитъ, а затѣмъ и воочію, самолично убѣждается, что его золотыя мечты, розовыя надежды, голубые идеалы, всѣ эти яркіе, блистающіе цвѣты жизни должны «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней». Если эта натура кипучая, которой практическая дѣятельность въ «живой жизни» нужна, какъ рыбѣ вода, то его ждутъ многіе и разнообразныя приключенія во всякомъ случаѣ невеселаго свойства, до которыхъ однако намъ здѣсь дѣла нѣтъ. Если же это натура, могущая довольствоваться теоретическими сферами, то изъ него легко можетъ выйдти виртуозъ въ той отрасли знанія, которою онъ занимается. Для этого нужно только, чтобы взамѣнъ отрубленной обстоятельствами цѣли, блага родины, на первый планъ выступило средство—знаніе. Въ самомъ дѣлѣ, онъ занимался, напримѣръ, философіей и съ наивностью, свойственною юношамъ, особливо хорошимъ, мечталъ благодѣтельствовать родину тѣми этическими и соціологическими выводами, которые онъ добудетъ упорнымъ занятіемъ философіей. Оказывается, что его родинѣ не нужны его этика и соціологія; у нея есть свой отвердѣлый кодексъ морали, свои отвердѣлыя понятія объ общественныхъ отношеніяхъ, и она ревниво отстраняетъ все, что можетъ эту отвердѣлость потревожить. Юноша, побившись нѣкоторое время, какъ рыба объ ледъ, прощается съ своими практическими идеалами и удаляется въ область логическихъ, онтологическихъ, діалектическихъ и метафизическихъ тонкостей. Здѣсь онъ можетъ свободно строить хотя бы вавилонскую башню, никому ненужную, ни для кого не опасную, никого не радующую.—Юноша занимается исторіей. Онъ думаетъ вывести собственные оригинальные или провѣрить чужіе историческіе законы съ тѣмъ, чтобы приложить ихъ къ судьбамъ родины и доказать съ математическою точностью и ясностью, что въ настоящую минуту для родины нужно то-то и то-то. Нѣтъ, ослѣпленная, родина не хочетъ даже и слышать объ этихъ «то-то и то-то», она налагаетъ печать молчанія на уста юнаго историка, и онъ зарывается въ архивы, отечественные, а можетъ быть и иностранные, чтобы добывать тамъ мелкіе факты и фактики, упиваться этимъ познаніемъ историческаго сора и навсегда оторваться отъ «живой жизни»... И т. д. Біологъ утонетъ въ безбрежномъ морѣ видовъ какихъ-нибудь насѣкомыхъ; статистикъ кинется въ омутъ познанія всякаго рода чиселъ. Все это будутъ виртуозы, оторванные отъ «живой жизни», или, лучше сказать, отброшенные ею. Одни пустятся въ эту виртуозность, въ эту игру мускулами мысли послѣ нѣкоторой борьбы и съ болью, съ душевнымъ надрывомъ; другіе втянутся въ нее незамѣтно, постепенно, можетъ быть съ нѣкоторымъ весельемъ и чрезвычайно высокимъ мнѣніемъ о себѣ и своей дѣятельности.

Да не подумаетъ читатель, что я съ насмѣшкою, презрѣніемъ или другимъ какимъ-нибудь видомъ отрицанія отношусь ко всѣмъ упомянутымъ почтеннымъ спеціальностямъ. Напротивъ. Безспорно, что всякій виртуозъ плодитъ много такихъ ненужностей, которыя во вѣки вѣковъ останутся ненужностями. Но если кто-нибудь хочетъ познавать всякаго рода числа или считать «пески морей, лучи планетъ», такъ пусть его. Мнѣ только жаль тѣхъ прекрасныхъ юношей, которые совсѣмъ не того хотѣли, вступая въ жизнь, и принялись за всякаго рода числа и погреблись въ архивахъ только потому, что живая жизнь ихъ отъ себя оттолкнула. Простительное сожалѣніе, я надѣюсь. А вѣдь это еще все лучшіе случаи оторванности отъ жизни. Бываетъ много хуже. Бываетъ такъ, какъ, можетъ быть, было съ подпольнымъ человѣкомъ. Кто его знаетъ! Можетъ быть, сознавъ свои выдающіяся способности вообще и спеціальную силу «донимать» людей «картинками», онъ думалъ великія дѣла обломать, мечталъ горами ворочать и «донять» дорогую родину такими «картинками», чтобы она содрогнулась и отъ всей своей скверны очистилась. Но ослѣпленная родина не пожелала его услугъ, живая жизнь оттолкнула его; можетъ быть, крайне грубо, больно, оскорбительно и безповоротно оттолкнула.

И вотъ то, что было лишь средствомъ для достиженія высокой цѣли—донимающія картинки—стало самою цѣлью подпольнаго человѣка. Сила-то вѣдь осталась, она только потеряла первоначально предположенную точку приложенія и разбрасывается поэтому зря, безъ смысла. Увидѣлъ подпольный человѣкъ несчастную Лизу и давай ее донимать картинками, то-есть мучить безъ причины, безъ цѣли, безъ нужды.

Что касается средствъ, которыя «живая жизнь» пускаетъ въ ходъ, чтобы оторвать отъ себя работниковъ, то, я полагаю, распространяться о нихъ нечего. Читатель знаетъ, что средствъ этихъ много и что они разнообразны. Достоевскій испыталъ на себѣ самыя страшныя изъ нихъ. За невиннѣйшее участіе въ дѣлѣ Петрашевскаго, онъ испыталъ всѣ ужасы и весь позоръ каторги и солдатской лямки. Его били, сѣкли... его, испытавшаго уже наслажденіе высшей власти, какая только можетъ быть на землѣ—власти надъ сердцами людей...

Теперь можно, кажется, обратиться и къ «духу времени».

Духъ времени въ значительной степени характеризуется количествомъ отверженныхъ и неотверженныхъ живою жизнью работниковъ. Не однѣ вершины, не только сильные, большіе, властные, а и слабые, малые, смирные хотятъ участвовать въ живой жизни, справедливо разсуждая, что тутъ всѣмъ найдется вдоволь работы; и они, а — значитъ — все общество можетъ оказаться отверженнымъ живою жизнью или припущеннымъ къ ней. Понятное дѣло, что духъ времени будетъ въ первомъ случаѣ совсѣмъ не тотъ, что во второмъ—иные интересы будутъ у людей, иначе будутъ они на вещи смотрѣть. Во времена Добролюбова, у насъ на этотъ счетъ въ нѣкоторомъ родѣ весна была: ледъ таялъ, цвѣты расцвѣтали, весеннія птицы весеннія пѣсни пѣли. Говоря безъ метафоръ, общество, послѣ томительно-долгаго бездѣйствія, получило, наконецъ, нѣкоторую возможность принять участіе въ живой жизни. Добролюбовъ былъ слишкомъ уменъ и требователенъ, чтобы приходить въ телячій восторгъ (какъ приходили тогда многіе) отъ этого, во всякомъ случаѣ, перваго, неувѣреннаго, колеблющагося шага. Но и на немъ сказался духъ времени. Такъ, напримѣръ, хоть въ той же статьѣ о забитыхъ людяхъ, не смотря на ея общій грустный и протестующій тонъ, пробивается оптимистическая струйка, совершенно, конечно, оправдываемая тогдашними обстоятельствами. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, могъ тогда предвидѣть, что мракъ и хаосъ наступятъ такъ быстро, послѣ того какъ «солнце встало» и «горячимъ свѣтомъ по листамъ затрепетало»! Тотъ же оптимизмъ побуждалъ часто Добролюбова, какъ и другихъ, считать побѣжденнымъ то, что въ сущности было вовсе не побѣждено, а только съежилось и пригнуло голову. Между прочимъ, именно, какъ къ побѣжденнымъ, Добролюбовъ относился къ формуламъ виртуозности: наука для науки, искусство для искусства. Оно и понятно. Живая жизнь, настоящее дѣло, настолько стали общедоступными, а въ недалекомъ будущемъ развертывались такія широкія перспективы, что, казалось, кому же придетъ охота промѣнять настоящую жизнь на ея отраженіе, цѣль на средство; наука и искусство, конечно, сами пойдутъ на службу къ живой жизни. Такъ оно и было въ общемъ тонѣ, но вовсе не такъ въ подробностяхъ. Надѣляя при случаѣ, мимоходомъ, пресловутое искусство для искусства какимъ-нибудь презрительнымъ толчкомъ, Добролюбовъ относился ко всѣмъ разбираемымъ имъ крупнымъ явленіямъ литературы такъ, какъ будто и сомнѣнія не могло быть въ томъ, что это продукты сознательнаго служенія живой жизни. Ему и въ голову не приходило, что то или другое крупное литературное явленіе родилось *такъ*, спроста, какъ роза цвѣтетъ, какъ соловей поетъ. По этой части происходили даже не лишенные пикантности анекдоты. Такъ напримѣръ, въ статьѣ «Когда же настанетъ настоящій день?».—Добролюбовъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ въ отвѣтъ на вопросъ, почему Инсаровъ болгаринъ, а не русскій, и почему русскій не могъ увлечь Елену. При этомъ предполагалось, что Тургеневъ намѣренно выбралъ такого героя, именно въ такихъ-то и такихъ-то видахъ. А по прошествіи нѣкотораго времени, Тургеневъ откровенно разъяснилъ, что никакихъ такихъ видовъ у него не было, а что онъ просто воспроизвелъ дѣйствительное происшествіе, героемъ котораго былъ именно болгаринъ. Точно также и относительно Достоевскаго. Добролюбовъ и представить себѣ не могъ, чтобы можно было мучить, напримѣръ, «господина Голядкина» *такъ*, ни съ того, ни съ сего, ради «игры». Не то чтобы у него для этого не хватало проницательности или критическаго таланта. Нѣтъ, самая возможность такого дикаго явленія была далека отъ его мысли. И вотъ онъ придумываетъ для злоключеній Голядкина жизненное объясненіе, тонкое и умное, которое, однако, никуда не годится. Само собою разумѣется, что это ни мало не отнимаетъ цѣны у статьи Добролюбова, потому что и посвящена-то она, собственно говоря, не столько Достоевскому, сколько забитымъ людямъ, а забитые люди будутъ, конечно, поважнѣе Достоевскаго...

И въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, Добролюбовъ былъ настоящимъ выразителемъ духа времени. Все читающее общество было какъ-то безсознательно увѣрено въ невозможности литературы *такъ*. Оно допускало, разумѣется, исключенія для разной мелочи и шелухи, но крупный талантъ представлялся въ ту весеннюю пору непремѣнно работникомъ живой жизни, и читатель именно въ этомъ направленіи искалъ объясненія произведеніямъ Тургенева, Островскаго, Гончарова, Достоевскаго.

Понятное дѣло, что при такихъ условіяхъ Достоевскій съ своими мучительскими наклонностями и неокрѣпшимъ еще талантомъ не могъ играть видной роли. Независимо отъ относительной слабости дарованія, аудиторія-то была просто неподходящая. Тогдашній читатель, все равно умный или глупый, эстетически развитый или неразвитый, былъ подобенъ той пчелѣ, о которой въ нѣмецкой баснѣ разсказывается, будто она высасываетъ изъ цвѣтовъ только сладость, а ядъ оставляетъ. Слишкомъ онъ былъ занятъ живою жизнью, чтобы находить наслажденіе въ безпредметномъ трепетаніи нервовъ, и просто не замѣчалъ мучительской стороны огромнаго дарованія Достоевскаго, пропускалъ ее мимо ушей.

Совсѣмъ другое дѣло въ послѣдній періодъ дѣятельности Достоевскаго, особенно подъ самый конецъ его жизни. Все сложилось для того, чтобы поднять его популярность до необыкновенной высоты. Правда, онъ пустился въ публицистику и, какъ публицистъ, былъ просто путаница, которую всѣ такъ и признали бы путаницей, если бы не политиканство однихъ и не холопское умиленіе другихъ. Но за то беллетристическій талантъ его отточился до блеска и остроты ножа. Да и читатель былъ уже не тотъ. Не то, чтобы самъ читатель измѣнился, а его обстановка — онъ былъ оторванъ отъ живой жизни. Тамъ, въ живой жизни происходили событія огромной важности, небывалыхъ размѣровъ и почти сказочнаго характера. Но читатель былъ тутъ не причемъ. Онъ былъ зритель, и только и могъ, что трепетать нервами...

Ну, вотъ что, читатель. Мы съ вами такъ истрепетались нервами за это тяжелое, страшное время, что о немъ надо либо на чистоту, по душѣ говорить, либо совсѣмъ не говорить. А чтобы по душѣ говорить, надо *весны* подождать, чтобы опять ледъ таялъ, цвѣты расцвѣтали, весеннія птицы весеннія пѣсни пѣли...

Г. И. УСПЕНСКІЙ *).

Литературная характеристика.

I.

Глѣбъ Успенскій—одинъ изъ любимѣйшихъ современныхъ русскихъ писателей. Кромѣ огромнаго и вполнѣ оригинальнаго таланта, который общепризнанъ, онъ милъ и дорогъ своему читателю еще чѣмъ-то другимъ, что труднѣе уловить и указать, чѣмъ талантъ.

Успенскій появился на такъ называемомъ литературномъ поприщѣ въ шестидесятыхъ годахъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими талантливыми молодыми писателями. Явились они какъ-то вдругъ, цѣлымъ гнѣздомъ, и сначала не легко было строго опредѣлить индивидуальныя особенности каждаго изъ нихъ. Ихъ до извѣстной степени объединяли и содержаніе ихъ писаній, и манера изложенія. Интересовались они больше такими слоями общества, которые мало или вовсе не привлекали къ себѣ творческаго вниманія беллетристовъ предъидущаго поколѣнія: мужикъ, рабочій, дьячекъ, мѣщанинъ, мелкій чиновникъ—вотъ кто ихъ почти исключительно занималъ. Какой-нибудь угодливости этому мелкому люду, какого-нибудь желанія прикрасить его и поставить выше излюбленныхъ персонажей предъидущаго періода беллетристики,—не было. Напротивъ, въ такую намѣренную идеализацію часто впадали старые беллетристы въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда брали свои сюжеты изъ среды мелкаго сѣраго люда. Молодые же беллетристы, о которыхъ идетъ рѣчь, нерѣдко грѣшили противоположною крайностью. Вообще же они желали писать просто правду, какою она имъ въ данную минуту представлялась, не руководствуясь никакими сторонними сообра-

*) 1888 г.

женіями. Опредѣленная тенденція всей группы состояла только въ томъ, чтобы привлечь вниманіе общества къ такимъ сферамъ, которыя дотолѣ едва смѣли показаться въ литературѣ. Это было какъ-разъ во-время, въ виду результатовъ крымской войны и послѣдовавшихъ за ней реформъ, долженствовавшихъ кореннымъ образомъ обновить весь нашъ общественный строй. Не мудрено, что упомянутая группа беллетристовъ имѣла большой успѣхъ — она вполнѣ соотвѣтствовала житейскому моменту, была костью отъ кости и плотью отъ плоти его. Не мудрено также, что общество прощало этой литературѣ разные ея изъяны. А прощать было что! Во-первыхъ, эта молодежь наносила оскорбленіе дѣйствіемъ всѣмъ традиціоннымъ, привычнымъ формамъ беллетристики: недосказанные разсказы, незавершенныя сценки, начала безъ конца и концы безъ начала, бѣглыя отмѣтки, еле очерченныя лица, отсутствіе «выдумки», какъ говорилъ Тургеневъ, то-есть сколько-нибудь стройной фабулы, и т. д. Это было большою дерзостью, объ которой мы по теперешнему времени даже судить не можемъ, ибо тогдашнее старшее поколѣніе беллетристовъ, въ лицѣ Тургенева, Гончарова, Островскаго, давало высокіе образцы вполнѣ правильнаго въ архитектурномъ смыслѣ и вполнѣ законченнаго творчества. Но дерзость литературной молодежи на этомъ не останавливалась. Уже то могло казаться дерзостью, что центръ тяжести литературныхъ интересовъ передвигался изъ помѣщичьихъ усадебъ съ аллеями густолиственныхъ кленовъ, гдѣ такъ поэтически гуляли влюбленныя пары при лунномъ свѣтѣ; изъ гостинныхъ, заваленныхъ кипсеками и альбомами, гдѣ происходили такіе изящные разговоры; изъ бальныхъ залъ, сверкающихъ обнаженными дамскими плечами, брильянтами, мундирами—въ одноглазые мѣщанскіе домишки, въ кабаки, мужицкія избы, постоялые дворы, комнаты «снебилью». Но все это было еще, пожалуй, что называется, въ духѣ времени, ибо періодъ реформъ открывалъ, казалось, двери новой жизни, и натурально, что въ нихъ хлынулъ разный сѣрый мелкій людъ, давая свою окраску и литературѣ. Но дерзость литературной молодежи не останавливалась и передъ оскорбленіями самого этого духа времени. Только что освобожденный, только что признанный созрѣвшимъ для усвоенія гражданскихъ правъ мужикъ вдругъ являлся въ какомъ-нибудь очеркѣ Николая Успенскаго или Слѣпцова совершеннымъ дубиной, стоящимъ чуть не на уровнѣ какого-нибудь папуаса. Только что введенная судебная реформа вызывала у Гл. Успенскаго сцену въ окружномъ судѣ (въ «Разореньи»), которая оканчивалась безсмысленнымъ, хотя и невольнымъ издѣвательствомъ представителей правосудія надъ несчастной старухой. И все это прощалось, потому что подо всѣмъ этимъ былъ духъ жизни и правды. Въ воздухѣ носились радужныя надежды и ликованія, даже до приторности, и самая эта приторность должна была внушать подозрѣнія и опасенія людямъ, проницательнымъ или просто чуткимъ...

Къ нашему времени изо всей этой шумной группы молодыхъ беллетристовъ, начавшихъ свою литературную дѣятельность въ шестидесятыхъ годахъ, сохранился одинъ Глѣбъ Успенскій. Кое-кто умеръ на полъ-пути, кое-кто засохъ живой, кое-кто, наконецъ, утратилъ типическія черты той группы. И вотъ что замѣчательно. Четверть вѣка работаетъ Успенскій, работаетъ въ настоящемъ—высокомъ и вмѣстѣ тяжеломъ—смыслѣ этого слова, работаетъ подъ грозой собственной усталости и не менѣе страшной грозой появленія новыхъ читателей, иными условіями воспитанныхъ и потому чужихъ ему по духу. При этомъ самъ онъ не только не поступается ни единою изъ тѣхъ типическихъ чертъ, съ которыми пришелъ въ литературу, но еще усугубляетъ ихъ. Прежде онъ занимался разнымъ мелкимъ городскимъ людомъ—теперь спустился еще ниже, въ мужицкую избу, почти не выходитъ оттуда и подчасъ бранчиво отстаиваетъ свою позицію. Прежде онъ писалъ оборванные, но, по крайней мѣрѣ, цѣльно задуманные очерки, а теперь не только продолжаетъ это оскорбленіе беллетристики дѣйствіемъ, но еще допускаетъ въ свои писанія широкую струю прямо публицистики. Прежде онъ, во имя духа жизни и правды, говорилъ дерзости духу времени, а теперь доходитъ въ этомъ отношеніи до того, что вызываетъ грозные окрики: «до чего договорился Глѣбъ Успенскій!» И не смотря на эти окрики, впрочемъ, не изъ тучи гремящіе и все затихающіе, не смотря на очевидные и несомнѣнные изъяны въ его литературной манерѣ, симпатіи къ нему читателей все ростутъ. Изъ «подающаго надежды» онъ сталъ яркимъ, характернымъ фактомъ исторіи русской литературы, навсегда занявшимъ въ ней оригинальное и почетное мѣсто.

Бываютъ совершенно неправильныя физіономіи, которыя однако вамъ больше нравятся, чѣмъ писаные красавцы. Бываетъ и такъ, что какая-нибудь завѣдомая неправильность въ лицѣ любимаго человѣка, какой-нибудь очевидный изъянъ въ немъ, становится особенно дорогимъ вамъ, именно потому, что это — особенность любимаго человѣка, одна изъ чертъ, которыя отличаютъ его, дорогого, отъ всѣхъ прочихъ, безразличныхъ или непріятныхъ. Вы отлично понимаете, что это изъянъ, и на другомъ лицѣ этотъ изъ-

янъ произведетъ на васъ, можетъ быть, даже прямо отталкивающее впечатлѣніе, но тутъ онъ какъ-то у мѣста, и объясненіе этой умѣстности лежитъ частью въ васъ самихъ, который любитъ, частью въ общемъ выраженіи любимаго лица, въ которомъ отразилось то, что васъ заставило полюбить.

Тѣмъ не менѣе изъяны остаются изъянами и, говоря объ Успенскомъ, мнѣ съ нихъ именно приходится начинать.

Успенскій началъ свою литературную дѣятельность отрывками и обрывками, и не только не отдѣлался отъ этой юношеской манеры, но съ теченіемъ времени точно укрѣпился въ сознаніи законности и необходимости этого рода литературы. Во «Власти земли» онъ, между прочимъ, съ такими словами обращается къ читателю: «Вы вотъ все жалуетесь, что нѣтъ изящной словесности, все только о мужикѣ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имѣете ежемѣсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикѣ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачѣмъ вы читаете объ этомъ мужикѣ и, главное, зачѣмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнѣе въ оглавленіе, и тамъ сказано: «замѣтки», «отрывки»... Какая-же это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью вѣроятно надобно покуда повременить».

Такимъ образомъ для Успенскаго обрывочность его писаній какъ-то логически связывается съ характеромъ ихъ темы. Но такой логической связи очевидно нѣтъ. Причемъ тутъ собственно «мужикъ», это мы увидимъ впослѣдствіи. А теперь замѣтимъ только, что самъ по себѣ мужикъ можетъ быть, и во всѣхъ литературахъ, въ томъ числѣ и въ нашей, дѣйствительно, бывалъ предметомъ воспроизведенія въ драмѣ, романѣ, повѣсти, вообще «изящной словесности» въ ея законченныхъ формахъ. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на романъ Зола «La terre» или на драму Толстого «Власть тьмы», но вѣдь это во всякомъ случаѣ не отрывки и очерки. Да и почему бы, въ самомъ дѣлѣ, драма, романъ, повѣсть изъ мужицкаго быта невозможны? Очевидно, дѣло въ этомъ случаѣ отнюдь не въ мужикѣ, а въ самомъ Успенскомъ. И надо же себѣ объяснить, почему это такъ выходитъ, почему человѣкъ такого большого таланта и такой искренней вдумчивости не овладѣлъ законченностью формы. Казалось бы, законченность эта совсѣмъ ужъ пустое дѣло при наличности художественнаго дарованія. Посмотрите кругомъ—и вы увидите, что люди, въ которыхъ есть только микроскопическія крупицы таланта, а иной разъ и тѣхъ нѣтъ, десятки разъ прекрасно справляются сначала съ первой главой первой части, потомъ пишутъ вторую главу и т. д., и наконецъ твердою рукою подписываютъ: «конецъ такой-то и послѣдней части». Должно быть, это штука не хитрая. Не думаю, чтобы нашелся человѣкъ, отрицающій талантъ Успенскаго; но возьмемъ самаго въ этомъ отношеніи строгаго и придирчиваго судью, какого вы только себѣ представить можете. Всетаки же онъ не уравняетъ его съ авторами безчисленныхъ, вполнѣ законченныхъ романовъ и повѣстей, сотнями появляющихся въ литературѣ и тѣмъ же числомъ немедленно погружающихся въ море забвенія. И, однако, эти авторы могутъ написать законченное произведеніе, а Успенскій не можетъ. Любопытно вѣдь это.

Далѣе, съ какой стати высоко даровитый беллетристъ занимается публицистикой? Дѣло здѣсь не въ формальныхъ подраздѣленіяхъ литературы, не въ департаментахъ какихъ-нибудь или министерствахъ, съ присвоенными каждому изъ нихъ особыми мундирами, а въ экономіи и естественномъ распредѣленіи литературныхъ силъ. Публицистикой можемъ заниматься и мы, лишенные творческой способности. Конечно, было-бы очень хорошо, если-бы каждый публицистъ обладалъ и поэтической силой, которая была-бы подспорнымъ средствомъ высокой важности, а каждый художникъ, я думаю, даже долженъ быть публицистомъ въ душѣ. Вообще, чѣмъ богаче и разностороннѣе внутренняя природа писателя и его средства воздѣйствія на общество, тѣмъ, разумѣется, лучше. Пусть писатель будетъ одинаково богатъ и творческою силою, и силою логическаго анализа, пусть онъ даже предъявляетъ плоды той и другой силы на бумагѣ. Мильтонъ написалъ «Потерянный рай», но онъ же написалъ и «Защиту англійскаго народа»; въ нашей литературѣ авторъ романа «Кто виноватъ?» былъ публицистомъ и т. д. Подобныхъ примѣровъ можно привести довольно много. Но когда читателю предлагается смѣшеніе публицистики съ беллетристикой въ тѣхъ пропорціяхъ, какія усвоилъ себѣ въ послѣднее время Успенскій, то читатель, можно навѣрное сказать, находится въ относительномъ проигрышѣ. Назначеніе логическаго анализа—разрѣзать, расчленять живыя явленія; назначеніе поэтическаго творчества, напротивъ—возсоздавать ихъ именно въ ихъ живой цѣльности. Оба эти процесса могутъ имѣть мѣсто въ головѣ одного и того же богато одареннаго писателя, но въ исполненіи на бумагѣ, въ одномъ и томъ же произведеніи, имъ очень трудно ужиться рядомъ, не нанося другъ другу ущерба. Послѣднія произведенія Успенскаго имѣютъ

безспорно большую цѣну, что уже видно изъ того обилія разговоровъ, которые вызываетъ почти каждая его статья. Но нельзя всетаки не пожалѣть, что онъ не даетъ простора своей огромной художественной способности.

Я вовсе не думаю читать наставленія, да наставленіями ничего и не подѣлаешь. Когда писатель намѣренно употребляетъ тотъ или другой невыгодный для него самого и для читателя пріемъ, то, конечно, можно попытаться убѣдить его. Но въ данномъ случаѣ никакой намѣренности нѣтъ, разумѣется; просто такъ выходитъ такъ пишется, полоса такая нашла. Но если бы можно было добраться до подкладки этой полосы, подкладки, можетъ быть, неясной самому писателю, то мы имѣли-бы, по крайней мѣрѣ, разъясненное явленіе, а это вовсе не мало.

Въ предисловіяхъ къ первымъ двумъ томамъ перваго изданія своихъ сочиненій Успенскій разсказываетъ исторію своихъ писаній. Она очень поучительна и многое объясняетъ какъ въ этихъ томахъ, такъ, если я не ошибаюсь, и во всей послѣдующей литературной дѣятельности этого писателя.

«Нравы Растеряевой улицы», занимающіе значительную часть перваго тома, начали печататься въ «Современникѣ» 1866 года. Но «Современникъ» былъ какъ разъ въ этомъ году закрытъ, и продолженіе «Нравовъ», приготовленное для этого журнала, авторъ перенесъ въ «Лучъ», сборникъ, изданный редакціей «Русскаго Слова». Дальше пусть разсказываетъ самъ авторъ: «При этомъ все, что имѣло «связь» съ очерками, напечатанными въ «Современникѣ», надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть, для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» другая обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи разсказовъ печаталось въ журналѣ «Женскій Вѣстникъ», такъ какъ тогда (1866 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть «Растеряева улица» съ своими пьяницами, «сапожниками и мастеровщиной», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу*! При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣе, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-же было дѣлать? Я ихъ умылъ и пріодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше. Наконецъ, очень много матеріала, приготовленнаго для «Растеряевой улицы», было разбросано въ видѣ очерковъ и сценокъ по всевозможнымъ газетамъ и листкамъ».

Примѣрно то-же самое читаемъ и въ предисловіи ко второму тому, относительно другого, широко задуманнаго, но разбитаго на клочки произведенія—«Разоренія». Но это только внѣшняя сторона дѣла: «обстоятельства чисто личнаго характера» и неприглядныя случайности судьбы. Ими не ограничивается исторія писаній Успенскаго. Многіе «очерки и сценки» изъ числа тѣхъ дребезговъ, на которые разбились «Нравы Растеряевой улицы», не вошли въ настоящее изданіе. Авторъ ихъ отвергъ, презрѣлъ, и вотъ на какомъ основаніи: «Все это было продуктомъ тогдашней литературной безпріютности. Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели — ничего тогда на лицо не было. Все удручало васъ и дѣлало одинокимъ. А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы—и имѣло на это право — многосложной и внимательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновляющая жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи, дѣлали то, что незначительная способность написать, «разсказецъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда и вслѣдствіе этого матеріалъ обработывался плохо, кой-какъ, появляясь въ видѣ отрывковъ безъ начала и конца».

Повидимому, это объясненіе отрывочности и оборванности не мирится съ приведенными выше изъ «Власти земли» словами, какъ-бы узаконяющими эту отрывочность въ связи съ самой темой писаній Успенскаго. Теперь, избравъ своимъ сюжетомъ мужика, онъ увѣренъ, что худо-ли, хорошо-ли, но онъ дѣлаетъ настоящее дѣло, то именно, которое особенно нужно обществу, и во многихъ мѣстахъ горячо и прочувствованно доказываетъ это; и *именно поэтому*, думаетъ онъ, онъ пишетъ очерки и отрывки, а не «произведенія изящной словесности». Въ началѣ своей литературной дѣятельности онъ напротивъ сомнѣвался въ пользѣ и надобности того, что онъ дѣлаетъ, и *именно поэтому* выходили очерки и отрывки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что писатель теряется въ объясненіяхъ причинъ, по которымъ дѣятельность его приняла тѣ или другія формы. Со стороны дѣло виднѣе.

Успенскій началъ писать очень рано, въ томъ почти юношескомъ возрастѣ, когда внѣшнія вліянія особенно сильно дѣйствуютъ

на неокрѣпшую еще манеру писанія и надолго, а иной разъ и навсегда, кладутъ на нее свою печать. Если-бы тѣ печальныя обстоятельства, о которыхъ разсказываетъ нашъ авторъ въ предисловіяхъ, постигли его позже, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ его выхода на литературное поприще, мы, можетъ быть, имѣли-бы не такого Успенскаго, не до такой степени отрывочнаго и незаконченнаго. Я вовсе не думаю все сваливать на внѣшнія условія. Я говорю только, что они сыграли тутъ важную роль и до извѣстной степени просто *принудили* Успенскаго выработать пріемъ разбиванія нѣкотораго художественнаго цѣлаго въ дребезги. Сначала ему было вѣроятно очень трудно совершать эти операціи, но затѣмъ онѣ вошли въ привычку, которая укрѣплялась и другими «обстоятельствами чисто личнаго характера». Время появленія Успенскаго въ литературѣ было вообще необыкновенно тяжелое. Съ него начался тотъ скорбный листъ русской литературы, который и до сихъ поръ не завершился ни окончательною смертью, ни окончательнымъ выздоровленіемъ. Правда, и до этого времени литературѣ случалось выносить многія и многія тяжести, не помѣшавшія однако образованію, такъ называемой, «плеяды», группы блестящихъ талантовъ сороковыхъ годовъ, давшихъ длинный рядъ цѣльныхъ художественныхъ произведеній. Но какъ-бы ни были мрачны тѣ времена въ цѣломъ, а позднѣе наступили времена, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе тяжкія. Литературные труженики сороковыхъ годовъ никакъ уже не страдали тѣмъ «одиночествомъ», на которое жалуется Успенскій. Это была цѣлая группа, тѣсно сплоченная общностью интересовъ, одинаковостью возраста, развитія, общественнаго положенія и т. д. Каждый изъ нихъ опирался на всѣхъ остальныхъ и въ живомъ общеніи съ ними находилъ поддержку въ трудныя минуты сомнѣній, колебаній, душевной немощи. Если на людяхъ и смерть красна, такъ жизнь, хотябы и очень тяжелая, и подавно. Притомъ-же тѣ блестящіе беллетристы, за немногими исключеніями, вовсе не были литературными тружениками, работниками въ настоящемъ смыслѣ слова. Тогда могъ серьезно приниматься къ свѣдѣнію и вѣроятно къ исполненію фантастическій по нынѣшнему времени совѣтъ Гоголя переписывать «сочиненіе» семь-восемь разъ съ значительными промежутками. Литературная профессія, строго говоря, почти не существовала; занимавшіеся литературой «господа», за нѣкоторыми исключеніями, имѣли достаточно досуга, чтобы, набросавъ свое произведеніе, поѣздить по Европѣ, послушать лекціи въ германскихъ университетахъ, искупаться въ волнахъ Гвадалквивира, а потомъ, съ новымъ запасомъ силъ и обновленными горизонтами, вернуться къ произведенію для окончательной его отдѣлки или предварительной передѣлки. Литература, какъ профессія, со всѣми розами и шипами профессіи, явилась позже, когда всколыхнувшаяся послѣ крымской войны Россія выдвинула изъ себя новыя, уже чисто литературныя силы. Вторгнулись эти новыя силы съ большимъ шумомъ, съ свѣтлыми надеждами, широкими замыслами и большою самоувѣренностью. Но не долго тянулся этотъ праздникъ, и къ тому времени, когда юноша Успенскій окончилъ свои «Нравы Растеряевой улицы», отъ праздника оставалось уже развѣ только похмѣлье, а тамъ и великій постъ приспѣлъ. Тяжесть, особенная, спеціальная тяжесть положенія состояла въ томъ, что были выдвинуты новыя силы, а точки приложенія для нихъ были убраны прочь; былъ накрытъ столъ, блестѣвшій бѣлизною скатерти и сверканіемъ новой посуды, былъ возбужденъ аппетитъ, а обѣдъто вдругъ куда-то совсѣмъ въ другое мѣсто унесли. Я знаю, что не о единомъ хлѣбѣ живетъ человѣкъ и не о хлѣбѣ говорю. Однако и хлѣбъ дѣло не послѣднее, если его надо зарабатывать и нѣтъ возможности не то что семь разъ переписать повѣсть, а даже иной разъ просто перечитать написанное, или-же нѣтъ возможности пристроить задуманную вещь и приходится дѣлать тѣ вивисекціи, которыя производилъ надъ своими литературными чадами Успенскій. Притомъ-же хлѣбъ въ самомъ прямомъ и жестокомъ смыслѣ этого страшнаго слова въ этомъ случаѣ тѣснымъ образомъ связывался съ духовнымъ хлѣбомъ, съ идеей. Хлѣбъ, заработанный литературнымъ служеніемъ обществу, былъ именно новой и заманчивой идеей. И не въ томъ только было дѣло, что тотъ или другой даровитый юноша голодалъ на литературномъ поприщѣ. Нѣтъ, въ немъ была разбужена духовная жажда и, казалось, все обѣщало удовлетвореніе этой жажды, а чаша-то, полная чаша, уже приставленная къ губамъ и дразнящая своею близостью, вдругъ и прошла мимо. Такое мучительное ощущеніе едва-ли было знакомо писателямъ сороковыхъ годовъ, которые были для этого слишкомъ равномѣрно и безпросвѣтно отягощены. Напримѣръ, разсказываемый Успенскимъ трагикомическій (я не могу назвать его просто комическимъ, объ этомъ скажу еще подробнѣе) эпизодъ съ «Женскимъ Вѣстникомъ» никакимъ образомъ не могъ имѣть мѣста въ сороковыхъ годахъ, потому что и самый «Женскій Вѣстникъ» былъ тогда немыслимъ. Спеціальный органъ «жен-

скаго движенія» или «женскаго вопроса», какимъ былъ по задачѣ этотъ журналъ, самъ былъ продуктомъ и вмѣстѣ выраженіемъ пробужденія новыхъ силъ и розовыхъ надеждъ. Онъ неудовлетворялъ, правда, своему назначенію и былъ вообще плохъ, но это уже другое дѣло. Можетъ быть, и плохъто онъ былъ потому, что явился, когда розовымъ мечтаніямъ «женскаго движенія» пришелъ конецъ. Но капризною волею судьбы, этотъ журналъ обращается вмѣстѣ съ тѣмъ въ единственное пристанище для начинающаго талантливаго юноши, который, однако, для входа въ это пристанище долженъ «умыть и пріодѣть» своихъ немытыхъ героевъ. Изъ всего этого выходитъ цѣлая сѣть недоразумѣній, неудобствъ, основной элементъ которой можетъ быть выраженъ въ трехъ-четырехъ словахъ: потребность разбужена, а средства для удовлетворенія ея сокращены или совсѣмъ удалены. На попытки приспособленія къ такому непереносному положенію вещей и ушла значительная часть дѣятельности Успенскаго въ ту молодую пору, когда его талантъ еще складывался, еще не отлился въ прочныя, неподатливыя формы.

Повторяю, я не хочу объяснять всю исторію развитія какого-нибудь писателя одними внѣшними условіями. Думаю, что необходимость разбивать широко задуманную вещь въ дребезги и потомъ искусственно придавать имъ внѣшній видъ законченности—должна была самымъ рѣшительнымъ образомъ повліять на манеру писанія; но отнюдь не думаю, чтобы дѣло вполнѣ объяснялось такъ чисто механически. Тѣмъ болѣе, что сами эти вивисекціи не были простой механической операціей: самъ авторъ указываетъ на сопровождавшіе ее психическіе моменты—гнетущее чувство нравственнаго одиночества и неувѣренность въ своихъ силахъ. О, если-бы это была простая механика, такъ мнѣ не зачѣмъ было-бы писать настоящую статью, потому что тогда и Успенскій не былъ-бы Успенскимъ. Спросъ на законченныя-формы беллетристики, т. е. на романъ, повѣсть, драму, такъ великъ (и это вполнѣ естественно), что могъ-бы, пожалуй, съ теченіемъ времени, сыграть такую-же принудительную роль. А разъ это не только механика, нельзя и въ объясненіи ея довольствоваться механикой. Нужно не только отмѣтить внѣшнюю манеру письма, но и заглянуть въ душу писателя, насколько это возможно и прилично въ разговорѣ о живомъ человѣкѣ, т. е. насколько матеріалы для такого разговора даются самими произведеніями писателя, а не какими-нибудь интимными біографическими данными.

Читая любую страницу Успенскаго, вы прежде всего замѣтите ея содержательность. Тутъ много недодѣланнаго, недоговореннаго, оборваннаго, много можетъ быть съ вашей точки зрѣнія невѣрнаго, но нѣтъ ничего лишняго. Ни длиннѣйшихъ описаній природы или внѣшней обстановки, которыми беллетристы часто разбавляютъ свои произведенія, подобно тому, какъ разсчетливыя или бѣдныя хозяйки разбавляютъ и безъ того жидкій чай кипяткомъ; ни непомѣрнаго размазыванія психологическихъ тонкостей, которыми иногда страдаютъ даже высокоталантливые художники, ни множества вводныхъ и для хода разсказа совершенно излишнихъ лицъ, которыя толкутся на страницахъ иныхъ беллетристовъ совершеннно неизвѣстно для чего. Разсказъ Успенскаго всегда сжатъ, даже черезъ чуръ сжатъ, почти схематиченъ; мысли автора, когда онъ говоритъ отъ себя, опять-таки изложены скорѣй слишкомъ кратко, чѣмъ слишкомъ пространно. Это, если позволено будетъ кулинарное сравненіе,—очень крѣпкій бульонъ, который можетъ приходиться по вкусу однимъ и не нравиться другимъ, но ужъ навѣрное не разбавленъ водой. Успенскій есть художникъ аскетъ, отвергнувшій всякую роскошь, все, не ведущее прямо къ намѣченной цѣли.

Чтобы оцѣнить эту особенность Успенскаго, представьте себѣ, что на одну изъ темъ его разсказовъ взялись писать, напримѣръ, такіе беллетристы разнаго роста, какъ Достоевскій, г. Боборыкинъ и г. Эртель. Возьмите для этого мысленнаго опыта маленькій разсказъ «Про одну старуху», характерный уже самымъ заглавіемъ своимъ. Жила-была старуха, одинокая, изуродованная своимъ прошлымъ—она бывшая дворовая — и настоящимъ, въ которомъ у нея нѣтъ ничего и никого, кромѣ собаки Дурдилки, такой-же, какъ и она, жалкой и одинокой. Вслѣдствіе несчастнаго стеченія обстоятельствъ старуха попадаетъ въ часть, потомъ въ больницу, а Дурдилка познаетъ безъ нея прелести любви и семейнаго счастія—у нея щенята, и она знать не хочетъ своей хозяйки. Это приводитъ въ неописанную ярость старуху, которая сжилась съ мыслью, что по крайней мѣрѣ ея «легковѣрная слуга» Дурдилка ей безусловно предана и такъ-же несчастна, какъ она; а тутъ вдругъ у Дурдилки щенята и старуха еще болѣе одинока... Это всего нѣсколько страницъ. Но г. Эртель растянулъ-бы ихъ, по крайней мѣрѣ, на два печатныхъ листа, потому что разъ пять вышелъ-бы изъ конуры старухи на улицу для изображенія выходящаго и заходящаго солнца, голубого неба и неба, покрытаго свинцовыми тучами, начи-

нающагося, продолжающагося и прекращающагося дождя и т. д. Г. Боборыкину потребовалось-бы еще больше мѣста, потому что онъ съ точностью вымѣрялъ-бы высоту и длину конуры, сгонялъ-бы раза три старуху въ лавочку, причемъ читатель былъ бы поставленъ въ извѣстность и относительно размѣровъ лавочки, и относительно сорта купленнаго старухой фунта хлѣба, обратилъ-бы г. Боборыкинъ вниманіе и на брюнетку или блондинку, которая въ соломенной или какой другой шляпѣ проходитъ по улицѣ во всѣхъ смыслахъ мимо старухи, и т. д. Наконецъ Достоевскій истерзалъ-бы читателя количествомъ можетъ быть мастерскихъ страницъ, посвященныхъ изображенію мученій старухи въ частн, въ больницѣ, при встрѣчѣ съ измѣнницей Дурдилкой, да и ввелъ бы, кромѣ того, множество побочныхъ эпизодовъ, въ которыхъ не обошлось бы безъ благолѣпнаго старца Зосимы или замышляющаго преступленіе атеиста. А у Успенскаго, повторяю, весь разсказъ занялъ нѣсколько страницъ, въ которыхъ, однако, задуманное драматическое положеніе уложилось полностію.

Очень любопытно, что у Успенскаго, можно сказать, совсѣмъ отсутствуетъ пейзажъ. Отсутствуетъ онъ, напримѣръ, и у Достоевскаго; но тамъ ему нѣтъ мѣста не только по нерасположенію автора къ этого рода живописи, а и по чисто техническимъ соображеніямъ: дѣйствіе происходитъ у Достоевскаго обыкновенно въ городѣ, въ комнатѣ и много что на улицѣ. Совсѣмъ иначе у Успенскаго, который имѣетъ дѣло главнымъ образомъ съ деревней и съ дорожными впечатлѣніями. Казалось бы, здѣсь на каждомъ шагу неизбѣжны описанія того, какъ «отъ луннаго свѣта зардѣлъ небосклонъ», какъ «волнуется желтѣющая нива», какъ дождь мороситъ, громъ гремитъ, стволы березъ бѣлѣютъ и т. п. И, однако, Успенскій необыкновенно скуденъ по этой части. Это не значитъ, чтобы онъ не чуялъ природы, не понималъ ея красотъ. Но онъ аскетически строгъ въ своихъ требованіяхъ отъ пейзажа. Въ «Поэзіи земледѣльческаго труда» вкрапленъ маленькій, но очень остроумный разборъ извѣстнаго стихотворенія Лермонтова «Когда волнуется желтѣющая нива». Успенскому не нравится это стихотвореніе, потому что поэтъ является въ немъ «случайнымъ знакомцемъ природы, съ которою у него нѣтъ кровной связи». Нашъ авторъ оскорбленъ тою изысканностью, съ которою въ стихотвореніи собраны и размѣщены разные лучшіе дары природы, и считаетъ себя въ правѣ заподозрить искренность поэта: если-бы поэтъ, приходя въ общеніе съ природой, дѣйствительно, «въ небесахъ видѣлъ Бога» и «постигалъ что такое счастіе», то онъ не сталъ бы искать въ природѣ непремѣнно «отборныхъ фруктовъ» вродѣ «малиновыхъ сливъ» и т. п., а довольствовался бы болѣе простымъ, не сочиненнымъ пейзажемъ. Успенскій противопоставляетъ въ этомъ отношеніи Лермонтову Кольцова, у котораго «и природа, и міросозерцаніе человѣка, стоящаго къ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое». Пейзажъ самъ по себѣ, отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣетъ цѣны для Успенскаго: въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное «міросозерцаніе», то, что его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности. Вотъ для образца одно изъ крайне рѣдкихъ у Успенскаго описаній природы въ «Письмахъ съ дороги»: «Кавказскій хребетъ, подходя къ Черному морю, какъ будто смиряется и затихаетъ въ своемъ бунтовствѣ: довольно онъ намудрилъ и напугалъ человѣка тамъ, въ глубинѣ Кавказа; довольно онъ тамъ намучилъ его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высовывающимися изъ облаковъ, ревущими рѣками и пропастями бездонными. Довольно онъ надивилъ, настращалъ и навосхищалъ васъ тамъ, «въ своихъ мѣстахъ», теперь—будетъ! Тамъ, въ своихъ то мѣстахъ, онъ широко развернулся, самому небу доказалъ, на какія онъ способенъ чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И приближаясь къ Черному морю, точно къ дому, откуда ушелъ гулять по бѣлу свѣту, онъ какъ будто отдыхаетъ отъ своихъ чудовищныхъ подвиговъ; идетъ онъ ровнымъ шагомъ и тихо улыбается вамъ, встрѣчному прохожему, мягкими живописными очертаніями ничѣмъ не пугающихъ горъ, живописныхъ долинъ» и т. д. И сейчасъ же, непосредственно за этой попыткой нарисовать пейзажъ, является «грѣховодникъ капиталъ» въ видѣ нефтепровода, который всю эту, очень, впрочемъ, слегка намѣченную красоту разными способами испакоститъ.

Успенскій понимаетъ или пожалуй чуетъ, что такого единенія съ кавказской природой, какое онъ видитъ и цѣнитъ у Кольцова по отношенію къ нашей сѣверной природѣ, у него, Успенскаго, быть не можетъ. Онъ—«случайный знакомецъ этой природы, съ которой у него нѣтъ кровной связи». Для него вонъ и самое-то слово «ущелье»—«какое скучное!» А вѣдь тамъ, на мѣстѣ то, конечно, есть люди, которые такъ же цѣльно и проникновенно стоятъ лицомъ къ лицу съ этой природой, какъ у насъ Кольцовъ къ своей. Они и опишутъ ее вполнѣ

искренно, безъ фальшиваго набора красотъ, со вложеніемъ души, «міросозерцанія». Успенскій этого не можетъ, а между тѣмъ съ его точки зрѣнія это единственный законный пейзажъ: пейзажъ, какъ украшеніе, какъ фонъ или рамка—ненужная роскошь, пустяки, которыми не стоитъ, да и некогда заниматься. И вотъ, если ужъ поразило его въ природѣ что-нибудь до такой степени, что надо, необходимо надо занести это впечатлѣніе на бумагу, такъ запись выходитъ, во-первыхъ, очень короткая, бѣглая, а во-вторыхъ, природа въ ней прямо и просто очеловѣчивается: Кавказскій хребетъ оказывается ни больше, ни меньше, какъ огромнымъ и чудовищно-сильнымъ человѣкомъ, который вышелъ погулять, да и натворилъ на гуляньѣ чортъ знаетъ что, но, возвращаясь домой, отдыхаетъ, успокоивается и тихо улыбается. Однако — и въ этомъ особенная особенность—дома - то его ждетъ что-то не ладное, «грѣховодникъ» уже строитъ свои каверзы. И тутъ же пейзажъ не то что обрывается, а прямо переходитъ въ дѣйствіе, сливается съ картинами каверзъ грѣховодника и размышленіями объ нихъ.

Я назвалъ этотъ пріемъ или эту черту «особенною особенностью» Успенскаго. Это не lapsus. Собственно очеловѣченіе природы—полное очеловѣченіе, а не только отдѣльныя живописныя метаморфозы, заимствованныя изъ человѣческой жизни, встрѣчается изрѣдка у разныхъ писателей. Не выходя изъ предѣловъ Кавказа, мы можемъ припомнить великолѣпный Лермонтовскій «Споръ», гдѣ очеловѣчены Эльбрусъ и Казбекъ. Но тамъ вы имѣете рядъ картинъ, поражающихъ блескомъ и роскошью красокъ и связанныхъ чисто художественно — представленіемъ огромности Казбека. Съ высоты своихъ шестнадцати-семнадцати тысячъ футовъ Казбекъ видитъ и соннаго грузина, льющаго въ тѣни чинары пѣну сладкихъ винъ на узорные шальвары, и Богомъ сожженную, базглагольную недвижимую страну у ногъ Іерусалима, и вѣчно чуждый тѣни желтый Нилъ, моющій раскаленныя ступени царственныхъ могилъ, и цвѣтные шатры бедуиновъ и проч., и проч. Могучая фантазія поэта взлетѣла на высоту шестнадцати тысячъ футовъ, осмотрѣла и намъ показала что̀ оттуда видно, и въ этомъ созерцаніи обширнаго кругозора, переполненнаго яркими и пестрыми картинами, нашла себѣ удовлетвореніе. Такой изумительной роскоши пейзажа мало найдется во всѣхъ литературахъ всѣхъ временъ и народовъ, и потому не было бы ничего достойнаго примѣчанія въ томъ, что ея нѣтъ у Успенскаго. Можно наоборотъ спросить: у кого она есть? Два-три штриха—и передъ вами видъ Палестины; еще два-три—Египетъ... И однако, силачъ Лермонтовъ дѣлаетъ здѣсь въ сущности то же самое, что обыкновенно дѣлаютъ люди гораздо менѣе сильныя и даже совсѣмъ безсильные. Изъ подъ яркости и пестроты картинъ, открывающихся съ вершины Казбека, вы еле различаете ту мысль, которою въ началѣ стихотворенія Эльбрусъ пугаетъ своего собрата и которая, пожалуй, очень сродни каверзамъ «грѣховодника»: «желѣзная лопата въ каменную грудь, добывая мѣдь и злато, врѣжетъ страшный путь». У другихъ беллетристовъ и поэтовъ пейзажъ не поглощаетъ, не заслоняетъ до такой степени мысль произведенія, потому что они лишены такой страшной, всеувлекающей фантазіи и не имѣютъ въ своемъ распоряженіи такихъ могучихъ красокъ. Но припомните, напримѣръ, пейзажи Тургенева (надъ которыми, мимоходомъ сказать, такъ злобно и ядовито насмѣялся въ «Бѣсахъ» чуждый пейзажу Достоевскій), и вы увидите, что они стоятъ совсѣмъ отдѣльно, сами по себѣ, производятъ и въ намѣреніи автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатлѣніе. Вы можете оторвать, напримѣръ, длинное «пейзажное» вступленіе къ «Бѣжину Лугу», и увидите, что художникъ такъ долго держалъ васъ на лонѣ природы (буквально съ самаго ранняго утра и до поздней ночи) не потому, что это въ какомъ-нибудь смыслѣ нужно для приготовленія читателя къ ночной встрѣчѣ съ ребятками—что собственно составляетъ содержаніе разсказа—а просто потому, что ему нравится писать пейзажъ независимо отъ всего прочаго. И такъ у всѣхъ беллетристовъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда пейзажъ находится въ гораздо болѣе органической связи съ содержаніемъ разсказа, чѣмъ вступленіе къ «Бѣжину Лугу» съ самымъ «Бѣжинымъ Лугомъ». Болѣе или менѣе, пейзажъ вездѣ играетъ самостоятельную роль, хотя бы въ качествѣ аксессуара или обстановки. У Успенскаго этого нѣтъ ни болѣе, ни менѣе. Строго говоря, у него нѣтъ пейзажа даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ есть, потому что нельзя же назвать пейзажемъ набросокъ Кавказскаго хребта, которому не предоставляется мѣста ни фона, ни рамки, ни аксессуара и который прямо вводится въ разсказъ въ качествѣ дѣйствующаго лица.

Таково отношеніе Успенскаго не только къ пейзажу, но и ко всему, что можетъ урвать часть его вниманія и вниманія читателей и отклонить его куда-нибудь въ сторону отъ единственнаго пункта, признаваемаго въ данную минуту важнымъ и значительнымъ. Возьмите, напримѣръ, разсказъ «Неизлѣчимый», очень невыдержанный въ техническомъ отношеніи, но въ которомъ, осо-

бенно въ началѣ, есть по истинѣ превосходныя страницы. Суть его состоитъ въ непереносныхъ душевныхъ мукахъ нѣкоего дьякона, къ которымъ прикосновенны двѣ женщины—жена дьякона и учительница. Самое содержаніе разсказа очень характерно для Успенскаго, но намъ пока до него дѣла нѣтъ. Главная задача автора состоитъ въ изображеніи душевнаго состоянія героя и взаимныхъ отношеній его и обѣихъ женщинъ. Эта задача такъ всецѣло овладѣваетъ мыслью Успенскаго, что онъ не утруждаетъ себя описаніемъ наружности тѣхъ женщинъ. Мы узнаемъ только, что когда дьяконъ порѣшилъ жениться, то «не понравились ему у невѣсты лицо, глаза, но стали нравиться мясистыя плечи, шея бѣлая и толстая». Объ учительницѣ узнаемъ изъ разсказа дьякона, что она была «фигурка изъ себя довольно поджарая, хлябковатая»—и только. Этихъ скудныхъ данныхъ совершенно достаточно для характеристики животнаго отношенія жениха къ невѣстѣ и къ женщинамъ вообще, а больше Успенскому ничего не нужно. Голубые или черные глаза были у невѣсты, бѣлолицая она была или смуглая, курносая или горбоносая, даже вообще красивая или некрасивая—это безразлично: главное въ томъ, что глаза и лицо дьякону не понравились, а понравились мясистыя плечи и бѣлая и жирная шея. Все безразличное, неимѣющее непосредственнаго отношенія къ дѣлу, представляется Успенскому уже лишнимъ, да и не то что представляется лишнимъ, а просто онъ ничего этого не видитъ, потому что никуда по сторонамъ не смотритъ. Намѣтивъ себѣ какую-нибудь цѣль, онъ торопливо идетъ къ ней, пропуская мимо ушей всякіе «звуки сладкіе», которые могъ-бы услышать по дорогѣ, закрывая глаза на всякіе пейзажи и т. п.

Понятно, что это сосредоточеніе вниманія на главномъ и существенномъ должно придавать извѣстную силу образамъ Успенскаго, но понятно также, что художественная воздержность, доведенная до степени аскетизма, должна играть немаловажную роль въ отрывочности и незаконченности его писаній. Въ разсказъ «Неизлечимый» втиснуть богатѣйшій матеріалъ для драмы, романа, повѣсти, вообще произведенія «изящной словесности». Но ничего подобнаго не вышло, потому что всякую архитектурную стройность Успенскій всегда готовъ заклать на алтарь занимающей его мысли. Ему не дорога никакая художественная подробность, если она не ведетъ прямо къ цѣли; онъ безъ всякой жалости на нее наступитъ, смажетъ ее и сдѣлаетъ это такимъ пріемомъ, какой попадется подъ руку: просто умолчитъ, или обойдетъ словами «отъ себя», публицистической экскурсіей. Сколько мастерства потратилъ бы другой художникъ на полное объективированіе хотя бы тѣхъ же двухъ женскихъ фигуръ въ «Неизлѣчимомъ», и какое дѣйствительное мастерство могъ бы онъ при этомъ обнаружить, и сколько эстетическаго наслажденія доставить читателю. Успенскій даже не замахивается на что-нибудь въ этомъ родѣ. Подобно неофиту въ извѣстной бѣгунской пѣснѣ, удаляющемуся въ пустыню, онъ отвергаетъ «цвѣтное платье» и «свѣтлую палату», черная схима ему дороже цвѣтнаго платья. Расходъ красокъ и линій онъ сокращаетъ до послѣдняго minimum'а, довольствуясь если не схимой, такъ схемой (простите невольный каламбуръ), ибо все остальное—лишняя роскошь...

Мы видѣли, что въ предисловіи къ первому изданію своихъ сочиненій Успенскій объясняетъ необработанность и отрывочность своихъ писаній неувѣренностью въ серьезной надобности того дѣла, которое онъ дѣлалъ,—дескать «все это не то!» А во «Власти земли» онъ, напротивъ, вполнѣ увѣренъ, что дѣлаетъ настоящее дѣло, и однако, именно изъ этой увѣренности почерпаетъ нѣкоторое презрѣніе къ формѣ и потому остается при той же необработанности и отрывочности. Досужій человѣкъ легко можетъ найти не одно такое противорѣчіе въ многочисленныхъ писаніяхъ Успенскаго. Можетъ онъ также выхватить изъ нихъ какую-нибудь страницу и на ней построить собственную вавилонскую башню, за которую, однако, самъ Успенскій никакъ не будетъ отвѣтственъ. Но читатель вдумчивый и отзывчивый не будетъ заниматься подобными кляузными дѣлами. Такой читатель увидитъ и оцѣнитъ въ собраніи сочиненій Успенскаго не собраніе словъ и фразъ и даже не только результатъ двадцатипятилѣтней работы, а и самый процессъ ея. Работа писателя измѣряется не только количествомъ листовъ исписаной имъ бумаги, а и тѣми «кровью сердца и сокомъ нервовъ», по выраженію Бёрне, которые онъ тратитъ, влагая ихъ въ свой трудъ. И едва-ли найдется много писателей, которые, при такой плодовитости, расходовали бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не «сочиняетъ», а живетъ съ перомъ въ рукахъ. Читатель воочію видитъ, какъ писатель ищетъ чего-то — сегодня въ русскомъ мужикѣ, завтра въ Венерѣ Милосской, сегодня въ Сербіи, завтра въ Новгородской, въ Самарской губерніи, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Сибири, сегодня въ только что прочитанной книгѣ, завтра на крестьянской свадьбѣ—ищетъ, надѣется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищетъ, тутъ же дѣлясь съ вами тѣми житейскими впечатлѣніями, подъ которыми сложились его обра-

зы, картинки, размышленія. И эта наглядная, сквозящая жизненность работы не умаляется съ теченіемъ времени, а едва-ли даже не успливается. Я, къ сожалѣнію, не могу говорить лично объ Успенскомъ, какъ человѣкъ, его давно и, кажется, хорошо знающій. Къ сожалѣнію—потому, что много яснѣе было бы читателю все, что я имѣю сказать объ немъ, какъ о писателѣ, и много легче была бы моя работа, если бы я могъ привести въ связь собственно критику съ чертами живого лица, въ высшей степени оригинальнаго. Но отъ этого приходится отказаться. Я позволю себѣ только одну маленькую подробность. Много разъ приходилось мнѣ слышать отъ Успенскаго разсказы о томъ или другомъ поразившемъ его случаѣ, о полученномъ имъ впечатлѣніи, о навѣянной на него мысли, которыя тутъ же, чуть не въ тотъ же самый день записывались на бумагу, а исписанная бумага отправлялась въ типографію клочками, по мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ. И никогда не пытался я предложить ему подождать, дать впечатлѣнію улечься, отойти отъ него хоть на малое время, чтобы оно могло отлиться въ законченный образъ, картину. Я зналъ, что это было бы совершенно безполезно, потому что не можетъ онъ, органически не можетъ, что называется, «вынашивать» свои произведенія и «обставлять» ихъ. Они льются изъ него, какъ жидкость изъ переполненнаго сосуда. Льются необработанныя, но съ явственными слѣдами породившей ихъ жизни. Я не говорю, что это хорошо или худо, я говорю только, что такъ есть. И въ этомъ заключается послѣдняя и, можетъ быть, самая важная причина своеобразной формы писаній Успенскаго, всѣхъ этихъ отрывковъ и обрывковъ, вдоль и поперекъ изрѣзанныхъ публицистикой. Несчастныя условія литературы, въ которыхъ началась его дѣятельность и въ которыхъ онъ какъ бы воспитался, въ связи съ «обстоятельствами чисто личнаго характера», имѣли, конечно, очень большое значеніе: но сами по себѣ они едва-ли осилили бы изъ ряду вонъ выходящую изобразительную способность Успенскаго и соотвѣтственные позывы къ творчеству. Да и наконецъ, если бы неблагопріятныя внѣшнія условія осилили его талантъ, такъ онъ просто погибъ бы и во всякомъ случаѣ не могъ бы стать такъ дорогъ и близокъ читателю. Онъ пріучилъ насъ къ выработанной имъ формѣ полу-бедлетристическихъ, полу-публицистическихъ очерковъ и отрывковъ, конечно, не потому, что это форма нескладная, убыточная, а потому, что въ ней есть нѣчто, само по себѣ, по крайней мѣрѣ, не дурное. И эта сторона нескладной, убыточной формы его писаній опредѣляется не внѣшними вліяніями, а нѣкоторыми коренными свойствами его таланта и даже всего его духовнаго склада. Таковъ, во-первыхъ, его художественный аскетизмъ, возбуждающій его расходовать какъ можно меньше красокъ и линій и довольствоваться схимой-схемой вмѣсто приличествующаго художнику «цвѣтного платья». Такова, во-вторыхъ, его чрезмѣрная отзывчивость и связанная съ нею лихорадочная торопливость въ передачѣ читателю своихъ впечатлѣній и ихъ комбинацій. «Волнуясь и спѣша», какъ выразился Некрасовъ о Бѣлинскомъ, нельзя, даже при полномъ желаніи, отойти отъ «людей и нравовъ» (одно изъ заглавій Успенскаго) на такое разстояніе, чтобы они отлились въ законченную художественную форму, безъ явственныхъ слѣдовъ крови сердца писателя. Брызги крови развѣ только по какой-нибудь особенно счастливой случайности могутъ расположиться симметрично или вообще съ тою правильностью, какая нужна для законченности формы...

Спрашивается, изъ-за чего же льется эта кровь сердца? изъ-за чего волнуется этотъ человѣкъ и то мыкается по всему бѣлому свѣту, то забирается чуть не въ пустыню? Какое это такое дѣло, ради котораго онъ надѣлъ вериги аскета, безжалостно давитъ въ себѣ все цвѣтное, яркое, и не даетъ воли своему огромному художественному дарованію?

Я, можетъ быть, удивлю васъ отвѣтомъ. Общій принципъ, къ которому могутъ быть сведены всѣ волненія Успенскаго, есть принципъ гармоніи, равновѣсія. Я знаю, что это звучитъ парадоксомъ: столько тревоги и волненій изъ-за какого-то отвлеченнаго начала, холоднаго и далекаго, какъ всякое отвлеченіе; столько аскетическихъ подвиговъ и жертвоприношеній на алтарь метафизическаго принципа! Да еще у Успенскаго, во-первыхъ, наименѣе уравновѣшеннаго изъ всѣхъ крупныхъ русскихъ писателей, а во-вторыхъ, человѣка, пустившаго такіе глубокіе корни въ живую жизнь, жизнь впечатлѣній, что его оттуда и выдернуть нѣтъ никакой возможности! Однако это такъ. Но понятно, что отвлеченіе привадлежитъ мнѣ, критику, а не критикуемому писателю.

II.

Не смотря на весь свой аскетизмъ, на самое щепетильное обереганіе себя и читателя отъ всего лишняго, Успенскій всетаки нашелъ у себя самого кое-что лишнее. Просматривая его сочиненія, я не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое хорошо помню, а то и цѣлой картинки. Эти

пропуски интересны. Вычеркнуты главнымъ образомъ «смѣшныя» вещи. Признаюсь, нѣкоторыхъ изъ нихъ мнѣ было жалко, потому что онѣ не просто «смѣшны», а въ разныхъ смыслахъ очень удачны. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что самъ авторъ пожелалъ для отдѣльнаго изданія еще болѣе сжаться въ своемъ художественномъ аскетизмѣ. Я не буду пытаться реставрировать эти пропуски, но мы и безъ нихъ можемъ выяснить себѣ характеръ «смѣшного» въ Успенскомъ.

Я прошу васъ перевернуть нѣсколько страницъ назадъ и перечитать вышеприведенный разсказъ о томъ, какъ «Нравы Растеряевой улицы» урѣзывались и прикрашивались для «Женскаго Вѣстника». Читая эти строки, вы, вѣроятно, улыбнетесь и, во всякомъ случаѣ, усмотрите улыбку на лицѣ самого автора. Между тѣмъ, въ существѣ вещей вамъ предъявлена серьезнѣйшая, глубокая драма. Въ самомъ дѣлѣ, всякому свое дорого и не трудно себѣ представить, какія скорбныя чувства одолѣвали молодого писателя, когда онъ, подъ напоромъ разныхъ надвигавшихся на него житейскихъ случайностей, придѣлывалъ голову и хвостъ къ своему обрывку и умывалъ своихъ неумытыхъ героевъ. Онъ и теперь съ понятною горечью вспоминаетъ, что отъ этой операціи герои «стали только хуже, а правды въ нихъ меньше». Нашему брату, писателю, это драматическое положеніе автора, конечно, ближе и понятнѣе, чѣмъ читателю; но и онъ, надо думать, безъ особеннаго напряженія фантазіи можетъ себѣ представить, чего стоитъ отцу калѣчить свое дѣтище въ видахъ жертвоприношенія какому-то нелѣпому идолу житейскихъ случайностей. И если о себѣ самомъ, о своей собственной скорби писатель разсказываетъ съ улыбкой, такъ улыбка эта получаетъ совсѣмъ особенное значеніе: она должна быть чѣмъ-то опредѣляющимъ, характернымъ вообще для внутреннихъ отношеній писателя.

Дѣйствительно. Возьмемъ для образчика разсказъ «Нужда пѣсенки поетъ» и остановимся на немъ немного подольше.

Къ автору является неизвѣстный человѣкъ и предъявляетъ бумагу, въ которой изложено слѣдующее: «Господинъ Ивановъ пиро-и-гидро-техникъ, на короткое время прибывшій въ г. N., честь имѣетъ доложить высокопочтеннѣйшей публикѣ, что, имѣя искусство въ египетской, арабской, эѳіопской, индѣйской, халдейской и другихъ магіяхъ и состоящей изъ новыхъ фантастическихъ опытовъ и призраковъ тайной и натуральной увеселительной магіи, что, давая оныя представленія въ высокоблагородныхъ домахъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ аппаратами и безъ аппаратовъ, попурри изъ міра чудесъ, кабалистика и чревоувѣщаніе по весьма сходнымъ цѣнамъ; также индійское эскамотированіе, гирлянда розъ, невозможность въ дѣйствіи, обезглавленіе головы, носа и другихъ частей тѣла и проч., и проч., и проч.» Внизу прибавлено: «льстя себя надеждою...» и красовалась подпись: «Пиро-и-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ».

Смѣшно, не правда-ли? Смѣшны всѣ эти «чревоувѣщанія по сходнымъ цѣнамъ» и «обезглавленія головы, носа и другихъ частей тѣла?» Но подождите, дальше будетъ еще смѣшнѣе. Господинъ Ивановъ, пиро-и-гидро-техникъ, разсказываетъ автору разные эпизоды изъ своей жизни. Передавать ихъ всѣ было-бы слишкомъ долго, но одинъ изъ нихъ я сообщу. Пришло дѣло такъ, что Капитону Иванову надо идти въ солдаты; нанять за за себя «вольника» не на что,—одинъ было попался, да надулъ. Капитону Иванову, столь искусному въ индійскомъ эскамотированіи и обезглавленіи носа, ужъ и лобъ забрили. А дальше произошло вотъ что:

„Ревемъ мы съ бабой, какъ ребята малые: чисто-на-чисто пропадать приходится... И что-жъ, вы думаете, вышло? На другой день къ вечеру, наканунѣ, значитъ, быть походу, стало мнѣ легче! Вѣдь вотъ чудо-то какое! Легче, легче и совсѣмъ повеселѣли! „Маша, говорю, семъ я къ господину откупщику схожу, фокусовъ сыграть, и можетъ быть, между прочимъ, Господь мнѣ поможетъ?“ Дѣло было на маслянцѣ, надѣваю я, для забавы, турецкое челмо и этакой балахонъ; туркой наряжаюсь. Смотритъ на меня супруга и говоритъ: «Семъ, говоритъ, Иванычъ, я и себѣ челмо надѣну? Можетъ быть, говоритъ, господинъ откупщикъ сжалятся надъ нами, когда увидятъ, что мужъ и жена однимъ мастерствомъ живутъ; можетъ, онъ и не захочетъ, говоритъ, насъ разлучить»?—«Матушка моя, говорю, ты въ такомъ теперича положеніи (она въ то время въ этакомъ положеніи была-съ), ты, говорю, въ такомъ положеніи, для чего тебѣ натруждать себя»?—«Ну, говоритъ, за одно! Либо, говоритъ, жизнь, либо смерть»! Надѣваетъ она на себя челмо турецкое, шаль (платокъ этакой ковровый-съ), шаль эту черезъ плечо, по цыгански. Пошли!.. Идемъ, идемъ, да какъ заплачемъ оба, въ челмахъ-то этихъ! Идутъ люди, глядятъ на насъ и говорятъ: «Съ чего это два турка плачутъ»? Приходимъ къ откупщику. «Какъ объ васъ доложить»?—Ивановъ, говорю, съ супругою».—«Принять». Входимъ мы въ залу, гости... Страсть гостей! Откупщика, Родивонъ Игнатьича, я зналъ, и онъ меня тоже зналъ. «А, говоритъ, ну дѣлай»! Начинаю я дѣлать фокусы, сердце такъ и стучитъ: завтра въ солдаты! Дѣлаю фокусы, господа смѣются, довольны. «А это кто же съ тобой?» Родивонъ-то Игнатьичъ говоритъ.—«А это-съ, говорю, жена моя, супруга».—«Что же, говоритъ, и она по этой части?» Я молчу. «Можете вы, душенька»? (у жены спрашиваетъ). —«Могу-съ», говоритъ... (Вижу бѣлая вся!)— «Такъ пройдитесь, говоритъ, «По улицѣ мостовой». Маша сейчасъ голову къ низу, руки надъ головой согнула и поплыла.. Да вѣдь какъ-съ? Откуда что взялось!... Барышня по фортопьянамъ ударила, а она-то плыветъ, извивается...

Ахъ! замерло у меня сердце! Тутъ зачали господа трепать въ ладоши. «Приотлично, кричатъ, превосходно! еще! еще!» А она и еще того лучше... Не удержался я, такъ у меня слезы-то полились, полились, капъ, капъ... Родивонъ Игнатьичъ кричитъ: «Это что? на масляницѣ-то? у меня въ домѣ?» Я—въ ноги... Маша, гдѣ плясала, тутъ на колѣни и повалилась. «Что, что? Какъ, какъ?» Разсказали ему: «одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дѣти».—Не робѣй, говоритъ. Вотъ тебѣ... И выноситъ 200 серебромъ! «Поминай на молитвѣ». Чуть я въ то время съ ума не сошелъ... Бѣжимъ мы по улицѣ, ровно угорѣлые. Люди идутъ: вотъ, говорятъ, турки набѣжали. Эко у насъ, ребята, турокъ развелось тьма-тьмущая. Это, говорятъ, плѣнные (А это мы съ супругой весь городъ обѣгали). Бѣжимъ, земли не слышимъ... Исторія было случилась на дорогѣ, въ другой разъ въ полицію бы потащилъ, а тутъ только шибче побѣгъ».

На вопросъ автора: въ чемъ состояла «исторія», пиро-и-гидро-техникъ разсказалъ:

«Такъ-съ, свинство, необразованность... Бѣжимъ это мы съ женой, какъ я вамъ докладывалъ. Попадаются двое пьяныхъ, прямо противъ насъ уставились. Одинъ подходитъ ко мнѣ: «въ какомъ вы, говоритъ, правѣ турецкія челмы носить?» Я ему шуткой въ отвѣтъ: «А потому, говорю, какъ мы турецкаго нарѣчія». —«А въ какой вы, говоритъ, землѣ находитесь, въ православной или какой!» — «Мы, говорю, здѣсь плѣнные».—«А когда, говоритъ, вы наши плѣнные, то...» Да съ этими словами ка-а-акъ! вотъ въ эту самую кость! (Гость показалъ на собственный високъ). Мы съ женой во всю мочь! Ну, вотъ-съ и все!»

Дальнѣйшій разсказъ пиро-и-гидро-техника не менѣе интересенъ, но пусть читатель обратится за нимъ къ подлиннику, а съ меня достаточно и приведеннаго. Потому достаточно, что и въ этомъ отрывкѣ съ полною ясностью выражается наиболѣе характерный для Успенскаго пріемъ художественнаго творчества. Мнѣ не хочется употреблять избитое, истрепанное, многосмысленное и потому самому мало говорящее выраженіе «смѣхъ сквозь слезы». Но если эта избитая формула означаетъ способность и склонность съ улыбкою разсказать страшную драму и притомъ такъ, что глубина драмы отъ этого не только не утрачиваетъ своей силы, а напротивъ—оттѣняется, то я не знаю во всей русской литературѣ никого, кто-бы умѣлъ такъ смѣяться сквозь слезы, какъ Успенскій. Нечего говорить, что это не безпредметное зубоскальство, довольствующееся смѣшными положеніями или даже смѣшными словами:—ни одного просто смѣшнаго положенія вы у Успенскаго не найдете. Но это и не рѣзкіе удары сатирическаго бича, и не капризныя, кокетливо истерическія арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бываютъ у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне. Это совсѣмъ особенное, оригинальное, лично Успенскому принадлежащее, сочетаніе комическаго и трагическаго.

Вы видите рядъ комическихъ подробностей: пиро-и-гидро-техника съ «чревоувѣщаніями», «обезглавленіями головы и прочихъ частей тѣла», «индійскими эскамотированіями» и проч.; потомъ еще другія подобныя смѣшныя мелочи, которыя я, краткости ради, въ своемъ пересказѣ пропустилъ; потомъ «турецкое челмо» и проч. Но, по мѣрѣ того какъ эти комическія черты скопляются въ достаточномъ количествѣ, вы чувствуете, что вступаете въ кругъ вещей, совсѣмъ не смѣшныхъ и не мелкихъ. Вамъ становится жутко, вы ощущаете въ себѣ какой-то сложный и все болѣе усложняющійся процессъ, достигающій своей предѣльной точки въ тотъ моментъ, когда Маша пускается въ плясъ. Въ салонѣ господина откупщика, передъ толпой полудикихъ гостей, беременная женщина, наряженная въ «турецкое челмо», и въ «шаль по-цыгански», пляскою «по улицѣ мостовой» принимаетъ участіе въ «индійскомъ эскамотированіи для спасенія мужа отъ солдатчины... Необыкновенная сложность этого маленькаго событія особенно замѣчательна тѣмъ, что въ немъ трагическое положеніе соткано изъ комическихъ подробностей. Турецкое челмо очень смѣшно, возгласъ «приотлично!»—которымъ ободряли Машу откупщикъ и его гости, тоже смѣшонъ, но вѣдь вы не смѣялись, когда Маша плясала. Художникъ самъ продѣлалъ надъ вами нѣчто вродѣ «опыта тайной натуральной магіи», смѣшилъ, смѣшилъ и подъ конецъ изъ самыхъ этихъ смѣшковъ выстроилъ нѣчто такое, отчего вы чуть не заплакали.

Скажутъ, можетъ быть, что этотъ эффектъ могъ бы быть достигнутъ и другимъ путемъ; зачѣмъ собственно эти комическіе аксессуары трагическаго положенія? Но дѣло въ томъ, что вопросъ «зачѣмъ?» бываетъ часто относительно художественнаго творчества лишенъ всякаго смысла. Другой большой художникъ, съ инымъ складомъ творчества, съумѣлъ бы иначе поставить дѣло, довольствуясь, можетъ быть, однимъ трагическимъ элементомъ. Но у Успенскаго—и въ этомъ состоитъ характернѣйшая его, какъ художника, черта—всѣ эти «челмы» и «невозможности въ дѣйствіи» не только не излишни, а напротивъ—необходимы именно потому, что оттѣняютъ драматизмъ положенія. Не только изъ нихъ таинственнымъ, «магическимъ» путемъ сложилась драма, но, благодаря имъ, вы съ особенною ясностью видите пошлость и дикость той среды, которую призванъ развлекать пиро-и-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ. Чтобъ пронять ее, Капитонъ Ивановъ неизбѣжно долженъ былъ

и самъ явиться въ шутовскомъ видѣ, и Маша должна была сдѣлать именно то, что она сдѣлала, и именно такъ, а не иначе. Передъ рѣшеніемъ явиться въ салонѣ откупщика, пиро-и-гидро-техникъ исчерпалъ всѣ обыкновенные рессурсы: просьбы самыя трогательныя хлопоты самыя энергическія. Ничего не вышло Не вышло бы ничего и тогда, если бы Маша проявила возвышеннѣйшій героизмъ безъ «челмы» и не въ составѣ «индійскаго эскамотированія». Авторъ ни однимъ словомъ не осудилъ откупщика и все его общество, онъ даже предоставилъ откупщику совершить благодѣяніе, но при небольшомъ сосредоточеніи вы можете поистинѣ въ ужасъ придти отъ броненосности и толстокожести жителей города N.

Для полной оцѣнки эпизода въ салонѣ откупщика мнѣ бы хотѣлось припомнить что-нибудь параллельное у другихъ беллетристовъ. Но не могу ничего вспомнить, кромѣ эпизода изъ одной юношеской или даже мальчишеской повѣсти (безъ названія) Лермонтова. Тамъ красавица Ольга, пріемышъ нѣкотораго звѣрообразнаго помѣщика, по требованію его пьяныхъ гостей, пляшетъ «русскую». Ольга-красавица пляшетъ съ изумительной граціей; одѣта она не въ челмо какое-нибудь и цыганскую шаль, а въ нарочито сшитый шолковый сарафанъ; дѣло происходитъ во времена Пугачевщины, отдаленный грохотъ которой доносится и до Ольги; сама она исполнена неясныхъ, но возвышенныхъ чувствъ. Словомъ, ни одной комической черты въ разсказъ не введено, кругомъ все мрачно и страшно или возвышенно и прекрасно. И, въ концѣ-концовъ, никакого участія къ красавицѣ Ольгѣ и никакого раздумья о звѣрообразности тогдашней помѣщичьей среды не получается. Получается только то непріятное ощущеніе, которое всякая фальшь всегда вызываетъ въ мало-мальски чуткомъ человѣкѣ. Вы понимаете, что я не Успенскаго съ Лермонтовымъ сравниваю, да и не великая еще это была бы честь понимать мѣру вещей лучше, чѣмъ ее понималъ 15—16-лѣтній мальчикъ, хотя бы онъ и назывался Лермонтовымъ. Но даже мальчишескія произведенія такихъ колоссальныхъ талантовъ поучительны. Не говорю я также, что комическій элементъ обязательно нуженъ для полноты трагическаго впечатлѣнія (хоть это, можетъ быть, до извѣстной степени справедливо). Я только пробую съ разныхъ сторонъ освѣтить художественные пріемы Успенскаго и проникнуть, по возможности, въ тайну того необыкновенно пріятнаго чувства, которое ощущаетъ читатель въ общеніи съ этимъ писателемъ. Я совершенно увѣренъ, что если бы Успенскій вздумалъ обставить свой эпизодъ съ Машей на тотъ манеръ, какъ обставленъ эпизодъ съ Ольгой у Лермонтова, то вышла бы вещь безобразная, фальшивая, «сочиненная» въ зазорномъ смыслѣ этого слова. Но онъ этого никогда не сдѣлаетъ и сдѣлать органически не можетъ. Сплошной напыщенный трагизмъ для него такъ же недоступенъ, какъ и противоположный полюсъ—безпредметное зубоскальство.

Доведя скопленіе комическихъ подробностей до того момента, когда изъ нихъ сама собой сложилась высокая драма, авторъ спускаетъ читателя съ этой трагической высоты по той же лѣстницѣ, по которой ввелъ его туда. Супруги Ивановы вполнѣ счастливы тѣмъ, что ломались не даромъ. Оно и понятно. Дѣло не только въ томъ, что бѣда миновала. Пиро-и-гидро-техникъ долженъ питать, кромѣ того, острое, нѣжное чувство къ героической Машѣ, а сама она должна чувствовать нѣкоторую вполнѣ законную гордость. Счастье такъ велико, такъ полно и сложно, что супруги ужъ не гонятся за тычкомъ. Какая-то пьяная скотина оборвала шуточную бесѣду о турецкихъ плѣнныхъ ударомъ «вотъ въ эту самую кость»; супруги—ничего, только прытче домой побѣжали. И читатель, послѣ того напряженія скорбнаго чувства, которое онъ сейчасъ только испыталъ, готовъ раздѣлить это благодушное презрѣніе супруговъ Ивановыхъ, онъ тоже не гонится за тычкомъ и не чувствуетъ ни гнѣва, ни негодованія на пьяную скотину, хотя она занимаетъ свое очень опредѣленное мѣсто среди «жестокихъ нравовъ нашего города». Не только общепринятый кодексъ приличій, но и непосредственное нравственное чувство подсказываетъ, что лежачаго не бьютъ и плѣнныхъ не обижаютъ. А пьяная скотина говоритъ: «коли вы наши плѣнные, то вотъ вамъ въ эту самую кость!» Мерзость великая, но въ данную минуту она до такой степени тонетъ въ счастливомъ возбужденіи супруговъ Ивановыхъ, что сами они ея почти не замѣчаютъ, а вы опять готовы улыбнуться, отнюдь, однако, не забывая, какъ не забываетъ и Капигонъ Ивановъ, что это — «свинство, необразованность».

Такова еще одна особенность Успенскаго. Онъ разсказываетъ подчасъ возмутительныя, ужасающія вещи, но почти никогда не возбуждаетъ въ читателѣ гнѣва или негодованія. Грустное раздумье—вотъ наиболѣе обыкновенный осадокъ, остающійся на душѣ читателя сочиненій Успенскаго. Достигается этотъ результатъ разными путями, но онъ почти всегда на-лицо. И грусть эта опять-таки не безпредметная, а напротивъ—съ совершенно опредѣленнымъ характеромъ.

Иной читатель, можетъ быть, не совсѣмъ ясно сознаетъ, отчего это ему показали настоящій фейерверкъ комическихъ чертъ и черточекъ, а ему въ концѣ фейерверка стало грустно; разсказали ему ужасный случай возмутительнаго насилія, но онъ не гнѣвается, а опять-таки груститъ.

Причины этого выяснятся, я надѣюсь, ниже сами собой. А теперь я прошу читателя взять какой-нибудь разсказъ Успенскаго и прочитать его такъ, какъ мы вмѣстѣ только что прочитали разсказъ «Нужда пѣсенки поетъ», то-есть наблюдая за собой, за смѣной ощущеній и впечатлѣній, переживаемыхъ при чтеніи. Почти безразлично, что именно выбрать для этого опыта, но я бы особенно рекомендовалъ, напримѣръ, «Неизлѣчимаго», или «Захотѣлъ быть умнѣй отца», или «Дохнуть некогда», или «Обстановочку». Эффектъ будетъ, я увѣренъ, одинъ и тотъ-же: сначала улыбка, другая, потомъ смѣхъ, иногда почти неудержимый, потомъ, тотчасъ вслѣдъ за вящшимъ скопленіемъ комическихъ подробностей—болѣе или менѣе горькое чувство, разрѣшающееся въ концѣ концовъ грустнымъ раздумьемъ. По-видимому, этотъ результатъ достигается чисто формальнымъ пріемомъ даровитаго художника. Но принимая въ соображеніе постоянную повторяемость этого пріема, принимая въ соображеніе почти неотдѣлимость у Успенскаго формы и содержанія, мы должны предположить, что эта формальная черта имѣетъ свое соотвѣтствіе въ самомъ міросозерцаніи автора, во всемъ его духовномъ складѣ. Забѣгая впередъ, укажу другой случай такого соотвѣтствія. Аскетическое отношеніе Успенскаго къ пейзажу, къ физіономіямъ дѣйствующихъ лицъ и т. п. есть дѣло формы, но она вполнѣ соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ аскетическимъ чертамъ въ самомъ содержаніи его писаній. Облекаясь въ «черную схиму», какъ художникъ, онъ и какъ публицистъ и мыслитель нерѣдко зоветъ насъ вродѣ какъ въ пустыню. Такъ и тутъ. На днѣ каждаго разсказа или очерка Успенскаго лежитъ глубокая драма. Изъ этого, въ связи съ нѣкоторыми дурно понятыми обобщеніями его (объ нихъ потомъ), иные считаютъ себя вправѣ вывести заключеніе объ его пессимизмѣ. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе. Успенскій не прячетъ ни отъ себя, ни отъ людей зла, которое видитъ на каждомъ шагу. Но пессимизмъ, какъ мрачная философія отчаянія, какъ увѣренность въ окончательномъ торжествѣ зла, ему совершенно чуждъ, уже просто въ силу стихійныхъ свойствъ его таланта, складывающаго драму изъ комическихъ чертъ. Для безъисходно мрачнаго взгляда на жизнь, слишкомъ великъ запасъ смѣха, которымъ онъ владѣетъ. То особенное сочетаніе трагическаго и комическаго, которое ему свойственно, даетъ ему какъ-бы двѣ точки опоры въ пространствѣ и одинаково гарантируетъ его и противъ плоскаго оптимизма, и противъ ноющаго пессимизма. Спрашивается, не есть-ли это счастливая способность видѣть вещи одновременно съ двухъ сторонъ, трагической и комической, эта стихійная гарантія противъ односторонней роскоши комизма и трагизма,—не есть-ли она драгоцѣннѣйшій задатокъ именно внутренней гармоніи, равновѣсія писателя? Фактическій отрицательный отвѣтъ, къ сожалѣнію, слишкомъ очевиденъ. Но этимъ отрицательнымъ отвѣтомъ нельзя удовлетвориться. Пусть печальныя внѣшнія условія помѣшали гармоническому развитію писателя, пусть этому способствовали нѣкоторыя природныя его свойства,—сложная штука душа человѣческая и разныя, прямо враждебныя другъ другу теченія въ ней сталкиваются. Но человѣкъ, такъ счастливо поставленный относительно комическаго и трагическаго элементовъ жизни, долженъ, по крайней мѣрѣ, дорожить гармоніей и равновѣсіемъ, жадно и страстно искать ихъ кругомъ себя, оскорбляться отсутствіемъ ихъ, радоваться ихъ присутствію. Эта лихорадочная работа будетъ, можетъ быть, тѣмъ интенсивнѣе, когда въ самомъ-то писателѣ есть богатые задатки уравновѣшенности, но приэтомъ онъ по собственному мучительному опыту знаетъ, какъ тяжело отсутствіе стройнаго порядка въ душѣ. Можно думать, что такой счастливый и вмѣстѣ съ тѣмъ несчастный писатель именно сюда направитъ всѣ свои силы, именно здѣсь будетъ искать и своего идеала и своей мѣрки добра и зла. Такъ оно и есть у Успенскаго.

Старинное дѣленіе (Сенъ-Симона) историческихъ эпохъ на органическія и критическія можетъ и теперь быть защищаемо. Несомнѣнно, что есть эпохи, въ которыя всѣ общественныя отношенія и принципы находятся въ органической связи между собой, и разныя столкновенія между людьми и группами людей, хотя бы и очень бурныя, не выходятъ за извѣстныя, болѣе или менѣе строго опредѣленныя рамки, общія для всѣхъ ихъ. Худы или хороши эти рамки, широки или узки, но живется въ нихъ людямъ сравнительно покойно. Разумѣю покой душевный, потому что за жизнь, за кусокъ хлѣба людямъ всегда приходится безпокоиться. И въ органическія эпохи люди могутъ подвергаться величайшимъ насиліямъ и оскорбленіямъ или подвергать имъ своихъ такъ называемыхъ ближнихъ, но приэтомъ не шевелится совѣсть насильниковъ и оскорбителей, не возмущается честь насилуемыхъ и оскорбляемыхъ. Общіе принципы эпохи допускаютъ, мало того—освящаютъ такія дѣйствія. При-

помните для иллюстраціи ну хоть, напримѣръ, «Двухъ помѣщиковъ» Тургенева (въ «Запискахъ охотника»). Тамъ одинъ помѣщикъ, человѣкъ очень добрый и любезный, велитъ высѣчь на конюшнѣ буфетчика Васю, который съ «такими большими бакенбардами ходитъ»; и потомъ, попивая чай на балконѣ въ прекрасный лѣтній вечеръ, прислушивается къ звукамъ ударовъ и съ улыбкой приговариваетъ въ тактъ: «чюки-чюки-чюкъ, чюки-чюки-чюкъ». А Вася съ большими бакенбардами, въ свою очередь, послѣ экзекуціи съ не меньшимъ спокойствіемъ гуляетъ по деревнѣ и грызетъ подсолнухи. На вопросъ о поркѣ, онъ отвѣчаетъ, что этотъ баринъ даромъ не накажетъ и что такого барина и днемъ съ огнемъ не сыщешь. Совершилось безобразное дѣло, но обѣ стороны по совѣсти и чести признаютъ его законнымъ. Понятно, что въ органическія эпохи совершаются не только одни безобразія. Напротивъ, здѣсь возможны и высокіе подвиги самоотверженія и любви. Мало того, вся жизнь иного человѣка въ такія эпохи можетъ быть сплошнымъ подвигомъ терпѣнія и преданности, и никто даже этого не замѣтитъ, если подвигъ не выходитъ изъ рамокъ, опредѣляемыхъ господствующими принципами. Всѣ существующія отношенія, въ своихъ общихъ и коренныхъ чертахъ, находятся въ полной гармоніи съ ходячими нравственными понятіями. Противорѣчія, существующія въ нравственномъ складѣ такого общества, могутъ быть усмотрѣны со стороны; но для сознанія огромнаго, подавляющаго большинства они просто не существуютъ. Буфетчикъ Вася съ большими бакенбардами подвергается позорному наказанію—уже одно это грамматически правильное предложеніе заключаетъ въ себѣ, повидимому, цѣлый рядъ непримиримыхъ противорѣчій: какъ это можно—пороть человѣка «съ большими бакенбардами»? какъ можно пороть человѣка и въ то же время называть его ласкательнымъ и уменьшительнымъ «Вася»? какъ можно называть Васей, а то и Васькой, человѣка съ большими бакенбардами, который вамъ не братъ, не другъ, не сынъ? Но этого мало. Если, напримѣръ, этого обезчещеннаго позорнымъ наказаніемъ Васю сдадутъ въ солдаты, то потребуютъ отъ него военныхъ подвиговъ и смерти за честь родины, и онъ, дѣйствительно, предъявитъ эти подвиги и приметъ смерть съ тѣмъ спокойнымъ героизмомъ, который характеризуетъ русскаго солдата. Но ни Вася съ большими бакенбардами, ни его баринъ, и никто другой не замѣчаютъ этихъ противорѣчій и живутъ съ спокойной совѣстью и невозмущенной честью.

Можетъ быть, я и ошибаюсь, конечно, но мнѣ кажется, что еслибы Успенскій получилъ свое литературное воспитаніе и началъ работать въ подобную органическую эпоху, изъ него вышелъ-бы писатель болѣе спокойный и упорядоченный, и мы имѣли бы рядъ его романовъ, повѣстей и проч., и стоялъ бы онъ не въ сторонѣ отъ большой дороги беллетристики, а тамъ же, гдѣ стоятъ Тургеневъ, Толстой, вообще крупные таланты предшествовавшаго поколѣнія. Это не значитъ, конечно, что онъ примирился бы съ тѣмъ равновѣсіемъ, удовлетворился бы тою гармоніей фактическихъ отношеній и нравственныхъ понятій, какая предъявляется каждой органической эпохой. Напротивъ, онъ занялся бы, можетъ быть, и даже по всей вѣроятности, раскрытіемъ противорѣчій, открывающихся въ той гармоніи для взгляда со стороны. Но именно посторонимъ-то зрителемъ ему не довелось быть, и выступать на литературное поприще ему пришлось не въ органическую эпоху, а въ критическую.

Вотъ какъ говоритъ Успенскій о нашихъ трудныхъ временахъ:

«Освобожденіе крестьянъ, то-есть одно только понятіе объ освобожденіи сразу внесло невозможный для разслабленныхъ семей, но великій идеалъ жизни—жизни, основанной на честномъ трудѣ, на признаніи въ мужикѣ брата; вся прошлая жизнь была именно полнымъ, безпощаднѣйшимъ и безцеремоннѣйшимъ нарушеніемъ этого смысла—и вотъ настала гибель... И въ эту минуту явились люди, воспитанные въ самой густотѣ неуваженія чужой личности, въ самыхъ затхлыхъ, разлагающихъ понятіяхъ,—напримѣръ, что не думать легче и лучше, чѣмъ думать, что не работать лучше, чѣмъ работать, что работать должны мужики, а я выросту большой, женюсь на богатой, поѣду за границу и т. д. Этому-то поколѣнію, воспитанному въ образцовой школѣ безсовѣстности, пришлось лицомъ къ лицу стоять съ суровой русской дѣйствительностью... Началась съ этой минуты на Руси драма; понеслись проклятія, пошли самоубійства, отравы... Послышались и благословенія» («На старомъ пепелищѣ»).

Въ другомъ мѣстѣ, въ очеркѣ «Хочешь-не хочешь», Успенскій развиваетъ ту же мысль нѣсколько пространнѣе, причемъ выражаетъ увѣренность, что «среди такой массы глубокихъ сердечныхъ страданій несомнѣнно долженъ родиться могучій талантъ», который все это изобразитъ. «Большого художника, съ большимъ, въ два обхвата, сердцемъ ожидаетъ полчище народу, заболѣвшаго новою, свѣтлою мыслью, народа немощнаго, изувѣченнаго и двигающагося волей-неволей по новой дорогѣ и несомнѣнно къ свѣту. Сколько тутъ фигуръ, прямо легшихъ пластомъ, отказавшихся идти впередъ; сколько тутъ умирающихъ и жалобно воющихъ на каждомъ шагу; сколько бодрыхъ, смѣлыхъ, настоящихъ, сколько злыхъ, оска-

лившихся отъ злости зубовъ! И все это, рвущееся съ пути, разбѣшонное, немощное, все это рвется съ дороги только потому, что—это новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не можетъ и не хочетъ помириться съ новой мыслью. Словомъ, все это скопище терзается или радуется и смѣло идетъ впередъ потому только, что надо всѣмъ тяготѣетъ одна и та же болѣзнь сердца, боль вторгнувшейся въ это сердце правды, убивающая и мучащая однихъ и наполняющая душу другихъ несокрушимой силой».

Этими словами хорошо характеризуется то, что Успенскій считаетъ центральнымъ пунктомъ русской жизни за послѣднія десятилѣтія: «болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти». Но они же хорошо характеризуютъ и самого писателя—направленіе его мысли и страстность его отношенія къ дѣлу. Болѣзнь сердца, болѣзнь мысли, болѣзнь совѣсти, это—нарушенное равновѣсіе духа. Успенскій не скорбитъ объ этомъ нарушеніи, потому что вѣритъ въ величіе и правоту новой мысли, которая его произвела. Но онъ скорбитъ о тѣхъ мятущихся душахъ, которыя являются жертвами рокового столкновенія стараго съ новымъ, скорбитъ именно объ томъ, что они такъ много и болѣзненно мятутся, а мятутся они такъ потому, что душевное равновѣсіе въ нихъ нарушено. Надо бы имъ подняться на высоту новой мысли всѣмъ существомъ своимъ, и тамъ, на этой высотѣ, достигнуть новаго равновѣсія. Но они этого не могутъ. Что то тянетъ ихъ къ низу, какъ многопудовая гиря. Le mort saisit le vif — наслѣдіе добраго стараго времени не уступаетъ своего мѣста новой мысли. Лѣтописцемъ или иллюстраторомъ этой мучительной неуравновѣшенности и сталъ Успенскій. Однако не сразу. Въ его раннихъ произведеніяхъ еще отсутствуетъ спеціальная «болѣзнь сердца», совѣсти. Но уже тамъ намѣчена та почва, на которой она выросла. Оглядываясь теперь назадъ, мы безъ труда увидимъ, что обособляло Глѣба Успенскаго среди той группы молодыхъ талантливыхъ беллетристовъ, которая разомъ объявилась въ шестидесятыхъ годахъ. Первоначально мы видимъ только общую всѣмъ имъ склонность къ изображенію людей и нравовъ низшихъ общественныхъ слоевъ, и Глѣбъ Успенскій выдѣляется лишь своею манерою слагать драму изъ комическихъ подробностей—манерою, только изрѣдка и слабо проявлявшеюся у Николая Успенскаго и совершенно отсутствовавшею у Левитова, Слѣпцова, Рѣшетникова. Но уже въ «Разорены» Успенскій, сохраняя типическія черты всей группы, спеціализируетъ и содержаніе своихъ писаній. Съ этихъ поръ его занимаетъ почти исключительно столкновеніе «новой мысли» съ дореформеннымъ порядкомъ. Для примѣра остановимся на одной фигурѣ изъ этого періода его литературной дѣятельности.

Чиновникъ Павелъ Ивановичъ Печкинъ (въ «Наблюденіяхъ Михаила Ивановича») ходилъ себѣ на службу, строчилъ разныя бумаги, бралъ взятки, вытягивался передъ совѣтникомъ и продѣлывалъ все это «съ тѣмъ же спокойствіемъ, съ какимъ люди убѣждаются, что солнце свѣтитъ, что подъ ногами земля, а надъ головой небо; объ этомъ даже и не думаютъ. Павелъ Ивановичъ дѣлалъ все это исправно и жилъ поэтому весьма счастливо до тѣхъ поръ, пока время не пошатнуло этого міросозерцанія. Съ нѣкоторыхъ поръ стало оказываться, что взятка—вещь гнусная и что Павелъ Ивановичъ—подлецъ, тогда какъ онъ считалъ себя честнымъ человѣкомъ. «Развѣ я что укралъ?» говорилъ онъ въ подтвержденіе этого. Начальство, которое прежде только распекало, которое прежде отличалось опытностью и дряхлостью, стало замѣняться какими-то щелкоперами, которые носили пестрыя брюки, курили въ присутствіи сигары, не брили бородъ, выгоняли вонъ безъ суда и слѣдствія, не желали видѣть доказательство честности въ безпорочной пряжкѣ. Все это и множество другихъ либеральныхъ реформъ, похожихъ на снисхожденіе къ пестрымъ брюкамъ, вломилось въ умственный міръ Павла Ивановича и произвело въ немъ потрясеніе... Какъ человѣкъ набожный, онъ возлагалъ большую надежду на помощь Божію, надѣясь, что всѣ эти брюки, честности и бороды «прейдутъ», ибо посылаются въ наказаніе народамъ за беззаконія и блудную жизнь, но, въ сущности, это были только самые легкіе удары начинавшагося землетрясенія. За бородами пришли времена, когда вдругъ мужики перестали давать взятки... Затѣмъ пошли новые суды, неповиновеніе въ народѣ (а въ томъ числѣ и въ кухаркѣ), и все это вмѣстѣ внесло въ душу Павла Ивановича множество самыхъ непримиримыхъ вещей».

Въ результатѣ получился нелѣпѣйшій брюзга, у котораго неустанно льется съ языка «сердитая чушь». Очень смѣшная фигура, какъ помнитъ или какъ увидитъ читатель въ подлинникѣ, но только смѣшная. Драма, по обыкновенію, есть и здѣсь, но она располагается *около* Павла Ивановича, который своей «сердитой чушью» дѣлаетъ жизнь окружающихъ непереносною. Самъ Павелъ Ивановичъ только смѣшонъ; авторъ не удостоиваетъ вниманіемъ ту всетаки же драму, которая внутри самого этого нелѣпаго брюзги происходитъ. Онъ просто

отмѣчаетъ ее, не удѣляя ей ни малѣйшаго сострадания: туда, дескать, этому чучелѣ и дорога. Молодой авторъ, очевидно, до извѣстной степени раздѣлялъ еще не остывшія во время писанія «Разоренья» веселыя ожиданія и розовыя надежды русскаго общества. Оглядываясь теперь на это странное время, можно удивляться той необузданности надеждъ, тому розовому довѣрію къ будущему, которымъ мы были тогда переполнены. Казалось, историческая дорога лежала передъ нами такою ровною, гладкою скатертью, что только посвистывай да возжами потрогивай. Въ ненавистномъ прошломъ не было, кажется, уголка, не оплеваннаго съ полнѣйшею и безповоротною искренностью. Все весельемъ, надеждой дышало. И каждый встрѣчный на улицѣ подходилъ къ вамъ и говорилъ:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ,
Разсказать что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листамъ затрепетало..

Какъ видно изъ всего «Разоренья» и въ особенности изъ главной его фигуры—Михаила Ивановича, Успенскій отнюдь не былъ охваченъ такимъ оптимизмомъ; но всетаки по крайней мѣрѣ путь къ свѣтлому будущему казался настолько яснымъ, что рѣшительно не стоило придавать серьезное значеніе какимъ-нибудь ничтожнымъ мукамъ ничтожнаго Печкина, не съумѣвшаго придти въ равновѣсіе съ «новой мыслью». Чортъ съ нимъ!

Позже, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, Успенскому пришлось иначе отнестись къ жертвамъ нарушеннаго равновѣсія; пришлось написать вышеприведенныя строки о «болѣзни сердца». Оказалось, что душевное равновѣсіе не такъ-то легко достигается въ житейскомъ морѣ, взбаломученномъ новою мыслью, и что безпомощно мятутся не одни дряни вродѣ Павла Ивановича Печкина. Въ этомъ удостовѣряетъ вся группа очерковъ и разсказовъ, соединенныхъ подъ общимъ заглавіемъ «Новыя времена, новыя заботы».

Мы все еще въ провинціальномъ городѣ, гдѣ имѣютъ мѣсто и «Нравы Растеряевой улицы», и «Разоренье», и другіе мелкіе разсказы перваго періода, а не въ деревнѣ, куда насъ поведетъ Успенскій потомъ. Но въ этомъ городѣ нашего автора занимаютъ уже не вообще нравы и люди, а спеціальная черта болѣзни совѣсти. Его поражаетъ прежде всего общая физіономія современнаго губернскаго города—«нѣчто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, не смотря на это, дѣлающихъ безплодныя усилія ужиться вмѣстѣ». Прежде «гармонія была во всемъ полная. Тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и проч.—все это было пригнано и прилажено все къ тому же невѣжеству, тряпью, хрюканью и дикости и стало-быть *не могло не только поражать вашъ глазъ, но даже ни на волосъ не обижало его.* Теперь не то. Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пришествіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ вылѣзаетъ прямо въ лужу грязи, грязи непроходимой, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть, потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, гдѣ отъ роду не было ни народу, ни дорогъ».

И т. д. Я не стану выписывать дальнѣйшія подробности и обращаю вниманіе читателя только на то, что глазъ художника «обиженъ» зрѣлищемъ нарушенной гармоніи, ему «досадна» эта «путаница», хотя онъ знаетъ, что гармонія невѣжества, тряпья и дикости слагается всетаки изъ дикости, тряпья и невѣжества, а слѣдовательно вовсе не привлекательна и не желательна. Это нечаянно сорвавшееся съ пера слово «глазъ обиженъ» очень замѣчательно. Успенскій оскорбленъ отсутствіемъ гармоніи въ физіономіи губернскаго города. Тѣмъ паче оскорбленъ онъ внутреннею, душевною жизнью обитателей этого города, въ которой онъ главною чертою считаетъ «больную совѣсть», нарушенное новою мыслью равновѣсіе.

Вотъ, напримѣръ, порожденный этой жизнью мѣщанинъ Б—въ (въ «Хочешь-не-хочешь»). Онъ несетъ «чушь» въ своемъ родѣ не хуже Павла Ивановича Печкина, но уже не «сердитую» и пустопорожнюю, а покаянную и содержательную. Онъ вспоминаетъ о блистательности своего положенія, когда у него было «панталоновъ однихъ лѣтнихъ шесть паръ отъ Корпуса» и когда ему предлагали мѣсто на Невскомъ у Пеструхина съ жалованьемъ въ семьдесятъ пять рублей. Но ему «тьфу!» на все это. «Мѣста, панталоны... Господи, очисти живота отъ всего, отъ этого». Его тянетъ куда-то въ высоту, объ которой однако онъ ничего путнаго сказать не можетъ, и рѣшаетъ умереть, и дѣйствительно застрѣливается. Не смотря на смѣшныя подробности монолога Б—ва, вы видите здѣсь настоящую драму, состоящую въ томъ, что какія то неизвѣстныя обстоятельства ввели въ слабую голову Б—ва массу новыхъ мыслей, не уживающихся съ прежнимъ ея содержимымъ. Онъ радъ бы рѣкой разлиться, весь міръ залить своимъ стономъ, и ничего изъ этихъ неимовѣрныхъ усилій не выходитъ: онъ все вертится около какихъ-то шести паръ лѣтнихъ панталонъ отъ Корпуса, которыя самъ глубоко презираетъ. Въ его мозгу копошится нѣчто без-

конечно высшее, чѣмъ всѣ эти лѣтнія панталоны и «мѣста», но это нѣчто бьется, какъ птица въ клѣткѣ, ища и не находя выхода, ища и не находя словъ для своего выраженія. Истинно «тьфу!» всѣ эти панталоны и мѣста. Никто ихъ не презираетъ въ такой степени, какъ этотъ самый мѣщанинъ Б—въ. А между тѣмъ они назойливо лѣзутъ въ голову, нѣтъ возможности согнать ихъ съ языка, нѣтъ возможности добраться сквозь нихъ до того святилища души, гдѣ точно въ сказочномъ ларцѣ за семью печатями лежитъ таинственное зерно какой-то высокой мысли, изгнавшей Б—ва изъ рая душевнаго равновѣсія.

Вотъ Вѣрочка («На старомъ пепелищѣ»). Она знаетъ «новую мысль» въ ея словесныхъ выраженіяхъ, знаетъ слова «трудъ», «равноправность», «независимость», даже цѣнитъ ихъ, но соотвѣтственныя мысли не могутъ пробить толстую кору, наслоенную на ея сердцѣ наслѣдіемъ прошлаго. А когда наконецъ эти мысли пробились до сердца, Вѣрочка не выдержала и отравилась.

Вотъ дьяконъ («Неизлѣчимый»), спокойно жившій съ своимъ «свинымъ элементомъ» въ душѣ, пока новая мысль не разрушила этого гармоническаго существованія. Дьяконъ, вкусивъ отъ плода древа познанія добра и зла, созналъ въ себѣ «свиной элементъ», но ничего съ нимъ подѣлать не можетъ и мучительно раздумываетъ: «возможно-ли какимъ либо манеромъ фундаментально излѣчить и душу и тѣло? тѣло, напримѣръ, возстановлять медицинскими спеціями, а душу одновременно чтеніемъ?»

И проч., и проч. Это ужъ не Павлы Ивановичи Печкины, на которыхъ можно было только плюнуть. Этихъ людей авторъ уже даритъ своимъ участіемъ и состраданіемъ, признаетъ ихъ мучениками, а не мучителями, видитъ драму въ нихъ самихъ, а не около нихъ. Но неужели-же такъ-таки нѣтъ просвѣта? Неужели «новая мысль» безсильна создать новую, высшую гармонію на мѣсто той «свиной», которую она разрушила, а ветхій человѣкъ рѣшительно неспособенъ облечься въ новаго и разстаться съ своимъ «свинымъ элементомъ»? Какъ бы оно тамъ ни было въ дѣйствительности, но Успенскій слишкомъ «обиженъ» зрѣлищемъ дисгармоніи, слишкомъ страдаетъ отъ него, чтобы не искать хоть какого-нибудь успокоенія оскорбленному глазу. При всей своей безпорядочности и неуравновѣшенности онъ слишкомъ богатъ *задатками* гармоніи, чтобы отказываться отъ мечты найти ее, гармонію, хоть гдѣ нибудь. И онъ ищетъ, ищетъ до сегодня, и я не знаю ничего трогательнѣе той лихорадочной страстности, тѣхъ порывистыхъ усилій мысли, съ которыми онъ совершаетъ эти поиски. Онъ съ грустью раздумываетъ о судьбѣ Б—ва, Вѣрочки, дьякона и прочихъ, заболѣвшихъ «сердцемъ», «совѣстью», но какъ-бы ни были мрачны и безотрадны изображаемыя имъ картины, онъ никого не ведетъ къ отчаянію, къ «складыванію ненужныхъ рукъ на пустой груди». Должна гдѣ нибудь быть эта такъ желанная гармонія, или въ настоящей дѣйствительности, или въ будущемъ, которое можно однако теперь-же опредѣлить. Но на бѣду нашъ авторъ очень требователенъ. Въ разсказѣ «Прогулка» фигурируетъ очень либеральный и образованный акцизный чиновникъ. Онъ слѣдитъ за литературой, говоритъ, что «Одинъ въ полѣ не воинъ» Шпильгагена — превосходная штука», одушевленно ведетъ благороднѣйшій разговоръ о необходимости народнаго образованія, близко принимаетъ къ сердцу интересы европейской политики, неизмѣнно вѣжливъ съ низшими, строго исполняетъ свои обязанности. Словомъ, это продуктъ ужъ конечно не дореформенной эпохи. Но вотъ этотъ гуманный и вполнѣ современный человѣкъ отправляется производить дознаніе о безпатентной продажѣ водки. Дорогой онъ прихватываетъ свидѣтеля-солдата и сговаривается съ нимъ, какъ имъ накрыть виновника. Дознаніе произведено, протоколъ составленъ и все это устроилось такъ, что присутствующій при этомъ посторонній молодой человѣкъ размышляетъ: «какъ назвать, какъ опредѣлить эту гуманность, образованность, которая повсюду вноситъ съ собой унынie и грусть?.. Вотъ съ измученной совѣстью сидитъ на крыльцѣ солдатъ... Вотъ вздыхаетъ цѣлая семья, видя передъ собою голодъ... Бабы перестали пѣть, ушли». «Да что-же это такое?» спрашиваетъ онъ чиновника. «Порядокъ!» категорически отвѣтилъ чиновникъ и продолжалъ дорогу молча, срывая васильки и собирая изъ нихъ букетъ для жены». Не этотъ «порядокъ», конечно, можетъ послужить просвѣтомъ для мечты сердца, жаждущаго гармоніи. Это даже и не «порядокъ», не смотря на то, а отчасти можетъ быть именно потому, что чиновникъ соблюдаетъ при составленіи протокола всѣ формы вѣжливости, а соблазнивъ солдата на предательство, рветъ васильки. Или вотъ разсказъ подъ названіемъ «Умерла за направленіе», въ которомъ, благодаря огромности и сложности общественнаго механизма, человѣкъ, возымѣвшій очень крупные надежды и планы, постепенно ихъ съуживаетъ и приходитъ наконецъ даже къ совершенно неожиданному результату. Разсказчика спрашиваютъ, къ чему онъ это разсказалъ. Онъ отвѣчаетъ: «Какъ къ чему? Да просто такъ сказалъ... Потому сказалъ

что поглядишь, поглядишь, и не знаешь — что такое творится на бѣломъ свѣтѣ? Вотъ почему.—Тоска!»

Нельзя-ли съ тоски-то съ этой кинуться въ міръ фантазіи и тамъ, на свой собственный страхъ и рискъ, создать пріятную фигуру «новаго человѣка», который воспринялъ бы новую мысль во всемъ ея объемѣ и всѣмъ существомъ своимъ, вообще создать образецъ высокаго, честнаго, сильнаго, правдиваго и не мирящагося съ наслѣдіемъ прошлаго, но при этомъ и неуязвленнаго больною совѣстью? Можно. Это дѣлали многіе беллетристы, въ литературѣ нашей существуетъ цѣлая коллекція романовъ, въ которыхъ фигурируютъ «новые люди» и которые производили въ свое время извѣстную сенсацію, но нынѣ почти забыты. Успенскій посвящаетъ этой литературѣ любопытную страницу въ очеркѣ «На старомъ пепелищѣ». Онъ вполнѣ признаетъ ея историческую законность. Въ томъ обществѣ, которому казалось, что оно вдругъ разорвало всякую связь съ своимъ прошлымъ, необходимо долженъ, былъ явиться запросъ на изображеніе совершенно новой жизни и новыхъ людей, и чтобы все въ этихъ людяхъ было добро зѣло, какъ въ первые дни творенія. Взволнованная крымской войной, затѣмъ освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами, общественная совѣсть требовала великаго, сильнаго, честнаго, въ противоположность тому постылому прошлому, отъ котораго оно только что отвернулось. Романисты удовлетворяли этой потребности. Все это такъ. «Но, говоритъ Успенскій, между этими крайностями, то - есть между недавнимъ, безпримѣрнымъ нравственнымъ паденіемъ и безпримѣрною жаждою новаго и возвышеннаго, есть третья черта, черта подлиннаго состоянія общественной души, забытая авторами, и старыми, и новыми: эта черта—страданіе. Новый авторъ, рисуя для пробужденной совѣсти образцы, въ которые должно бы облечься это пробужденіе, но не говоря ни слова о страданіяхъ, о борьбѣ съ самимъ собой, страданіяхъ и борьбѣ, которыя неизбѣжно должны были обрушиться на всякаго обезсиленнаго нравственно человѣка, поставленнаго въ необходимость быть нравственно сильнымъ—авторъ дѣлалъ большой промахъ: онъ предоставлялъ измученному представителю толпы биться, какъ рыба объ ледъ, и давалъ полную возможность врагамъ своихъ идеаловъ во все горло хохотать надъ ошибками, безсиліемъ, недомысліемъ человѣка, торопившагося перебраться съ одного берега на другой, торопившагося отъ неправды, безсовѣстности уйти къ совѣсти и правдѣ во всемъ».

Труденъ путь общественнаго обновленія. Трудно прилаживаются къ новой мысли люди, въ теченіи вѣковъ воспитывавшіе въ себѣ, по выраженію нашего автора, «свиной элементъ». Новая мысль «жертвъ искупительныхъ проситъ»: она, какъ женщина, въ болѣзняхъ родитъ чадъ. Даже успѣхи ея, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ или тотчасъ послѣ перваго розоваго и не особенно надежнаго настроенія, должны выразиться мучительнымъ сознаніемъ неуравновѣшенности, больной совѣсти. Чѣмъ ярче свѣтъ новой мысли, тѣмъ, при условіи полной искренности, сильнѣе освѣщаетъ онъ потаенные закоулки души, гдѣ гнѣздятся остатки прошлаго. Надо въ концѣ истребить въ себѣ эти остатки и тогда получится новая, высшая гармонія, взамѣнъ разрушенной. Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей, какъ сказалъ древній мудрецъ. Разъ увидѣвъ свѣтъ, никто не захочетъ вернуться къ тьмѣ. Разъ заболѣвъ совѣстью, мудрено вернуться къ прежнему душевному равновѣсію, еще не обезпокоенному острыми иглами совѣсти, но эти иглы производятъ боль, и надо искать выхода.

Герой очерка «Хочешь не хочешь», нѣкій Петръ Васильевичъ, нашелъ выходъ. Казнокрадъ, буянъ, развратникъ, онъ уже старикомъ получилъ «просіяніе своего ума», какъ выражается другой герой Успенскаго. Получилъ просіяніе и «покаялся»: отказался отъ семьи, отъ всѣхъ выгодъ и удобствъ своего положенія, ушелъ изъ дому и, проживая въ своей бывшей деревнѣ тайно отъ жены, которой нѣкогда надѣлалъ много непріятностей, и изрѣдка, тайкомъ же, взглядывая на своего сына, сталъ, какъ умѣлъ, лѣчить крестьянъ и, какъ могъ, учить крестьянскихъ ребятишекъ. Этимъ путемъ онъ достигъ душевнаго равновѣсія. Каясь за свое прошлое, онъ не имѣетъ чѣмъ упрекнуть себя въ настоящемъ и спокоенъ и свѣтелъ, какъ дитя. «У меня вотъ шляпа поярковая, говоритъ онъ, коровьимъ составомъ я ее вымазалъ, запекъ въ печи—она у меня на двѣсти лѣтъ, а тамъ, въ вашихъ-то мѣстахъ (т. е. въ «господской» средѣ), отдай пять да десять... да невѣдомо сколько другого причендалу потребуется хоть бы къ одной къ одежѣ... Не надо этого... Стыдно! Вотъ ребятишки иной разъ листа бумаги ждутъ по полугоду, а я буду въ лорнетъ смотрѣть?»

Такъ вотъ какъ достигается душевное равновѣсіе.

III.

«Болѣзнь сердца», «болѣзнь мысли», «болѣзнь совѣсти», это у Успенскаго синонимы.

Мысль и чувство, безжалостно и неподкупно сверлящія душу, принимаютъ для него почти исключительно форму совѣсти, то-есть сознанія виновности и жажды соотвѣтственнаго искупленія и покаянія. Но совѣсть — не единственная сила, способная сверлить душу. Человѣкъ, охваченный угрызеніями совѣсти, стремится наложить на себя эпитимію и всячески урѣзать свой жизненный бюджетъ. Для себя ему ничего не нужно. Напротивъ, заморить грызущаго его червяка онъ только и можетъ лишеніями, и потому онъ не только готовъ принять всякія оскорбленія даже до мученическаго вѣнца, а самъ ищетъ ихъ. Препятствія для этой работы совѣсти могутъ найтись только въ самомъ субъектѣ, въ его «свиномъ элементѣ», если таковой сохранится, а внѣшняя обстановка съ такимъ человѣкомъ ничего не можетъ сдѣлать: для него лично, пожалуй, даже—чѣмъ хуже, чѣмъ лучше. Взять хоть бы того же Петра Васильевича; чѣмъ больше холода и голода на него обрушивается, чѣмъ униженнѣе его положеніе, тѣмъ онъ свѣтлѣе душой. Но въ такомъ чистомъ видѣ работа совѣсти встрѣчается рѣдко, хотя бываютъ цѣлыя историческія эпохи, ею окрашенныя. Обыкновенно же коррективомъ его является работа чести, которая столь же способна нарушать гармонію «свиного элемента», только съ другого конца, и точно такъ-же можетъ стать мотивомъ глубочайшей драмы. Работа совѣсти и работа чести отнюдь не исключаютъ другъ друга. Между ними возможно практическое соглашеніе, онѣ могутъ уживаться рядомъ, поспѣшая одна другую. Но онѣ всетаки типически различны. Совѣсть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни и потому въ крайнемъ своемъ развитіи успокоивается лишеніями, оскорбленіями, мученіями; честь, напротивъ, требуетъ расширенія личной жизни и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями. Совѣсть, какъ опредѣляющій моментъ драмы, убиваетъ ея носителя, если онъ не въ силахъ принизить, урѣзать себя до извѣстнаго предѣла; честь, напротивъ, убиваетъ героя драмы, если униженія и лишенія переходятъ за извѣстные предѣлы. Человѣкъ уязвленной совѣсти говоритъ: я виноватъ, я хуже всѣхъ, я недостоинъ; человѣкъ возмущенной чести говоритъ: передо мной виноваты, я не хуже другихъ, я достоинъ. Работѣ совѣсти соотвѣтствуютъ обязанности, работѣ чести—права. Повторяю, исключительные люди совѣсти, какъ и исключительные люди чести составляютъ большую рѣдкость, обыкновенно мы видимъ смѣшеніе этихъ двухъ началъ въ той или другой пропорціи. Но въ данную минуту герой драмы можетъ находиться подъ исключительнымъ вліяніемъ того или другого элемента. И ясно, что болѣзнь чести имѣетъ полное право стоять рядомъ съ болѣзнью совѣсти. Ясно, что драма оскорбленной чести можетъ быть столь же сложна, глубока и поучительна, какъ и драма уязвленной совѣсти.

Успенскій, сосредоточивъ свое вниманіе на драмѣ совѣсти, почти совсѣмъ въ сторонѣ оставляетъ драму чести. Говорю—почти совсѣмъ, потому что нѣкоторые намеки въ этомъ направленіи у него есть. Самый крупный изъ нихъ — фигура Михаила Ивановича въ «Разорены». Ѣдетъ Михаилъ Ивановичъ въ Петербургъ, полный самыхъ радужныхъ надеждъ, что, добравшись тамъ до сильныхъ людей, онъ имъ разскажетъ, какъ обижаютъ и притѣсняютъ простого человѣка, который однако не хуже другихъ. На желѣзной дорогѣ онъ пріятно пораженъ въ своемъ настороженномъ чувствѣ чести тѣми «вы», «пожалуйте», «сдѣлайте одолженіе», съ которыми къ нему обращаются. Вмѣстѣ съ случайнымъ дорожнымъ знакомцемъ, пьяненькимъ мужикомъ, они дѣлаютъ разные опыты для удостовѣренія, что они не хуже другихъ. Все удается: съ ними неизмѣнно вѣжливы, желѣзнодорожныя правила примѣняются къ нимъ совершенно въ той же мѣрѣ, какъ и къ пассажирамъ «изъ господъ». Но вотъ на одной изъ станцій Михаилъ Ивановичъ, обнявшись съ мужикомъ, подходитъ къ буфету съ намѣреніемъ выпить и закусить, подобно прочимъ.

— Бутенброту!—грозно восклицаетъ мужикъ, врываясь въ толпу у буфета, но увидавъ господъ, пугается, снимаетъ шапку и бурчитъ:

— Дозвольте бутенброду, васкбродіе!..

Михаилъ Ивановичъ обиженъ такимъ поведеніемъ мужика и тотъ самъ чувствуетъ свою вину. Это пустяки конечно, но солнце отражается и въ малой каплѣ водъ. «Новая мысль» преломилась въ головахъ Михаила Ивановича и его спутника въ формѣ чести, но они не приладились къ ней, но привели въ равновѣсіе свое прежнее содержаніе и новую мысль. Отсюда это нелѣпое «грозное» восклицаніе мужика и быстро слѣдующая за нимъ трусость. Этотъ мотивъ не разработанъ въ сочиненіяхъ Успенскаго, частью, можетъ быть, по внѣшнимъ условіямъ, но частью и по самымъ свойствамъ его таланта и его умонастроенія. Онъ часто рисуетъ разныхъ насильниковъ, обидчиковъ, тирановъ, но комическія черты въ этихъ рисункахъ расположены такъ, что весь этотъ людъ, хотя и много зла дѣлающій, оказывается пустопорожнимъ и ничтожнымъ. Таковъ, напримѣръ, Павелъ Ивановичъ Печкинъ. Такова въ разсказѣ «Захотѣлъ быть умнѣй отца» мрачная фигура глодѣя-отца.

Повидимому, это не только мрачная, но и очень большая сила; но всей этой силы только на то и хватило, чтобы загубить сына, что вовсе не трудно было. Въ сущности, какая-же это сила? Это что-то злое, мимолетно торжествующее, но ничтожное до смѣшного, и завтра-же можетъ быть отъ него не останется ни праху, ни памяти. Поэтому сына этого смѣшного и ничтожнаго злодѣя Успенскій не счелъ нужнымъ даже показать намъ, а между тѣмъ драматическое положеніе этого сына коренится, конечно, не въ уязвленной совѣсти, а въ оскорбленной чести, которая такимъ образомъ и остается за кулисами. Сверхъ того къ анализу именно больной совѣсти, даже въ ущербъ всему прочему, Успенскаго влечетъ родственность его художественнаго аскетизма съ асктеизмомъ житейскимъ. Самъ онъ съуживаетъ свои права, какъ художника, до послѣдней возможной степени и отказывается отъ всякой роскоши красокъ, линій, образовъ. Поэтому и въ жизни ему симпатичнѣе или по крайней мѣрѣ интереснѣе то возстановленіе душевнаго равновѣсія, которое достигается со стороны совѣсти, то-есть при помощи лишеній и отказа отъ всего яркаго и цвѣтного. Какъ-бы то ни было, но это большой пробѣлъ въ дѣятельности Успенскаго. Мы еще встрѣтимся съ этимъ обстоятельствомъ ниже, а теперь, возвращаясь къ прерванному разговору о покаявшемся Петрѣ Васильевичѣ («Хочешь не хочешь»), я замѣчу слѣдующее. Аскетизмъ Петра Васильевича, на которомъ отдыхаетъ наконецъ глазъ художника, оскорбленный зрѣлищемъ неуравновѣшенности, отнюдь не имѣетъ созерцательнаго характера. Это не тотъ аскетъ, который залѣзаетъ на столбъ или удаляется въ лѣса и болота и тамъ, никого не видя, только сокрушается о своихъ грѣхахъ. Онъ—аскетъ дѣятельный, постановившій себѣ задачей служить ближнему дѣломъ: онъ лѣчитъ больныхъ и учитъ ребятъ. Это важно замѣтить для дальнѣйшаго.

Какъ бы ни было успокоительно для глаза, ищущаго гармоніи, зрѣлище того душевнаго равновѣсія, котораго достигъ Петръ Васильевичъ, но это во всякомъ случаѣ исключительное явленіе. Это, пожалуй, тоже своего рода «новый человѣкъ». Правда, указанъ и названъ путь, которымъ онъ добрался до своего пьедестала — путь страданія. А всетаки Петръ Васильевичъ на пьедесталѣ стоитъ, на возвышеніи, недоступномъ большинству. Глазъ, оскорбляемый неуравновѣшанностью, можетъ на немъ только временно отдохнуть и затѣмъ по необходимости долженъ перейти къ явленіямъ болѣе обыденнымъ, и опять оскорбляться, и опять искать гармоніи.

Успенскій отправился съ своими поисками въ деревню. Это какъ разъ совпало съ усиленными литературными толками о народѣ, въ которыхъ Успенскій занялъ совершенно оригинальную позицію. Онъ ушелъ въ деревню все съ той же преслѣдующей его мечтой найти отдыхъ глазу, оскорбленному неурядицей, безтолковостью и противорѣчивостью явленій жизни. При этомъ была очевидно и надежда, что тамъ, въ деревнѣ, гдѣ жизнь сравнительно не сложна, гдѣ поярковая шляпа, вымазанная коровьимъ составомъ, до которой едва дострадался Петръ Васильевичъ, есть вещь вполнѣ обыкновенная; что тамъ легче найти равновѣсіе между нравственными понятіями и фактическимъ строемъ жизни, между потребностями и способами ихъ удовлетворенія, между словомъ и дѣломъ. Разное, однако, ожидало его тамъ, и онъ съ свойственною ему нервною торопливостью и искренностью предавалъ тисненію все, что онъ видѣлъ, думалъ, чувствовалъ. Тутъ были и разочарованія, и радости. Не разъ сбѣгалъ онъ изъ деревни то въ Европу, чтобы его тамъ «выпрямила» Венера Милосская, то въ ту-же Европу, чтобы посмотрѣть какъ живутъ люди, хорошо-ли, худо-ли, но вполнѣ сознательною жизнью, то къ далекимъ кавказскимъ сектантамъ, то къ измученнымъ русскою болѣзнью совѣсти добровольцамъ въ Сербію, но всетаки возвращался все въ ту же деревню, и опять искалъ тамъ, и мучился, и радовался. Такъ какъ одно время литературные толки о народѣ вызвали было въ обществѣ нѣкоторое движеніе въ направленіи къ деревнѣ, то Успенскій и эти попытки сближенія съ народомъ ввелъ въ кругъ своихъ наблюденій и размышленій. Люди искренней мысли всегда высоко цѣнили деревенскія впечатлѣнія Успенскаго, ибо онѣ, по своей необыкновенной правдивости, всегда заслуживали по крайней мѣрѣ быть принятыми къ свѣдѣнію, при обсужденіи живого дѣла. Но ко всякому живому дѣлу пристраиваются разные узколобые доктринеры и кляузники, стремящіеся омертвить его и тѣмъ низвести до своего уровня. Такимъ не могла нравиться дѣятельность Успенскаго, слишкомъ для нихъ живая и смѣлая. Они рѣшительно терялись—какой собственно ярлыкъ на него навѣсить, а ярлыковъ собственнаго изобрѣтенія у нихъ было много: не то «народникъ», не то только «народолюбецъ», не то еще какой-то, и даже «презрительно и высокомѣрно относится къ народу». Это не было скромное и естественное «недоумѣніе нулей къ какой пристать имъ единицѣ». Нѣтъ, нули, круглые нули комически негодовали, что къ нимъ не пристаютъ дѣйствительные величины. Успенскій оставался конечно все тѣмъ же Успенскимъ и шелъ своей мучительно трудной

дорогой. Я не буду слѣдить за всѣми перипетіями его поисковъ идеала въ деревнѣ и остановлюсь только на нѣсколькихъ крупныхъ чертахъ.

Между прочимъ, Успенскій пришелъ къ парадоксальному, повидимому, выводу, что въ народной средѣ (а можетъ быть и не въ ней одной) улучшеніе матеріальнаго положенія не только не ведетъ къ дѣйствительному благосостоянію, а напротивъ, губитъ людей, опустошая ихъ нравственно, а затѣмъ приводя къ вящшему разоренью. Мысль эта его очень занимаетъ: онъ развиваетъ ее и въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ очеркахъ (напримѣръ, «Перестала», «Взбрело въ башку» и проч.), и въ единственномъ своемъ болѣе или менѣе законченномъ произведеніи «Власть земли», и въ статьяхъ «Безъ своей воли», «Изъ разговоровъ съ пріятелями», составляющихъ какъ бы послѣсловія къ «Власти земли». Отсюда, на поверхностный взглядъ, могутъ быть сдѣланы нѣкоторыя крайне удивительныя заключенія, отнюдь не мирящіяся съ общимъ характеромъ дѣятельности Успенскаго. Но приглядѣвшись ближе, увидимъ прежде всего, что Успенскому не до эффектныхъ парадоксовъ. Онъ пристально вглядывается въ поразившее его явленіе, ищетъ его смысла и производитъ эту операцію не въ кабинетѣ, въ тиши котораго можно расположить свои наблюденія и выводы въ стройную систему, а, такъ сказать, на людяхъ: вы видите не только результаты работы, а и процессъ ея. Объ этомъ, впрочемъ, уже говорено выше, и если я теперь возвращаюсь къ этому обстоятельству, такъ только для того, чтобы имѣть право, для объясненія истиннаго смысла вышеприведеннаго парадоксальнаго вывода, по своему распологать разныя отдѣльныя мѣста сочиненій Успенскаго.

Въ очеркѣ «Безъ своей воли» записаны разговоры трехъ пріятелей. Одинъ изъ нихъ, только что вернувшійся изъ какой-то поѣздки, передаетъ, между прочимъ, слышанный имъ разсказъ о томъ, что народился антихристъ. Народился онъ не у насъ, а въ «какомъ-то особомъ царствѣ». Вотъ какъ будто-бы было дѣло.

Нанялся къ нѣкоему князю поваръ и тотчасъ же началъ всячески угождать и дѣлать добро остальной прислугѣ. Слухи объ его добротѣ стали распространяться и дошли до самаго князя, который полюбилъ его, а этою любовью поваръ воспользовался опять таки на благо разныхъ обращавшихся къ нему за помощью бѣдныхъ, простыхъ людей. Со всѣхъ сторонъ валилъ къ нему черный народъ съ своимъ горемъ и нуждой, и всѣ получали помощь, всѣмъ онъ выхлопатывалъ у князя—кому что нужно. Такъ дѣло и теперь стоитъ: поваръ все благодѣтельствуетъ и помогаетъ простому бѣдному люду. Но лѣтъ примѣрно черезъ двадцать произойдетъ слѣдующій случай. Надо замѣтить, что благодѣтельный поваръ никогда не снимаетъ съ рукъ бѣлыхъ перчатокъ. И вотъ князь созоветъ къ себѣ въ гости «прочихъ всѣхъ китайскихъ и эфіопскихъ князей» и будетъ имъ служить поваръ въ бѣлыхъ перчаткахъ. Гости—«князья и разные султаны»—заинтересуются этимъ и попросятъ князя-хозяина, чтобы онъ приказалъ повару снять бѣлыя перчатки. Князь прикажетъ, но поваръ дважды откажется исполнить приказаніе и, только когда князь въ третій разъ съ гнѣвомъ прикажетъ, поваръ съ гнѣвомъ же сорветъ бѣлыя перчатки. Тогда всѣ князья и султаны увидятъ, что поваръ есть антихристъ: на одной рукѣ у него окажется копыто, на другой—когти. Всѣ князья и султаны въ ужасѣ разбѣгутся, въ томъ числѣ и хозяинъ. Народъ, помня благодѣянія повара, выберетъ его княземъ, но вмѣсто ожидаемыхъ милостей онъ съ перваго же дня обнаружитъ необузданную жестокость. Въ особенности плохо придется тѣмъ, у кого руки окажутся «чистыми, нѣжными, безъ мозолей, т. е. безъ этихъ копытъ и когтей». Чтобы спастись отъ гибели, всѣ бѣлоручки начнутъ хвататься руками за землю, начнутъ рыть ее, и всетаки будутъ гибнуть. А такъ какъ и у мужиковъ мозоли будутъ проходить (отъ хорошей жизни, которую антихристъ устроилъ имъ, будучи поваромъ), то вслѣдъ за обѣлоручками, уничтоженными по повелѣнію антихриста, станутъ уничтожать и бѣлорученныхъ мужиковъ. Потомъ начнется пожаръ земли, воскресеніе мертвыхъ, страшный судъ.

Одинъ изъ собесѣдниковъ, выслушавъ этотъ разсказъ, замѣчаетъ, что «эту легенду объ антихристѣ онъ на своемъ вѣку слышалъ несчетное число разъ, антихристъ всегда является въ ней въ разныхъ видахъ, но всегда рѣшительно, во всякой изъ легендъ, онъ ознаменовываетъ свое пришествіе добрыми дѣлами. Онъ всегда завоевываетъ симпатіи народа, дѣлая ему пріятное, облегчая ему жизнь... Почему же зло, гибель, несчастіе и вообще послѣдніе дни, кончину міра народъ полагаетъ послѣ того, какъ будутъ необыкновенно легко исполняться всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы?»

Признаюсь, я никогда не слыхалъ такой русской легенды объ антихристѣ. Полагаю, что она не кореннаго русскаго происхожденія. Она невольно напоминаетъ слѣдующее иранское сказаніе. Послѣ тысячелѣтняго царствованія Іема, въ теченіе котораго люди были такъ счастливы, что не знали даже голода и жажды, на престолъ вступилъ не-

честивый Дахакъ. Самъ Ариманъ поступилъ къ нему на службу въ видѣ *повара*. Поваръ этотъ сталъ постепенно пріучать Дахака къ мясной пищѣ. До тѣхъ поръ люди питались только растительной пищей, а тутъ стали ѣсть сначала яйца, потомъ птицъ, потомъ говядину. Дахакъ былъ очень доволенъ гастрономическими нововведеніями, но когда однажды поваръ Ариманъ поцѣловалъ царя въ оба плеча, то изъ тѣхъ мѣстъ, куда пришлись поцѣлуи, выросли двѣ змѣи, а поваръ исчезъ. Змѣй отрѣзали, но онѣ опять выросли, и опять, и опять. Тогда поваръ вновь появился, но уже въ видѣ врача, и посовѣтовалъ кормить змѣй человѣческимъ мозгомъ. И т. д. Исторія кончается благополучно—низверженіемъ Дахака и торжествомъ добра.

Я не знаю, родственно-ли это сказаніе съ легендой объ антихристѣ, приводимой Успенскимъ, фактически. Но они родственны по содержанію; и не только потому, что тамъ и тутъ воинствующее злое начало — антихристъ и Ариманъ—принимаетъ обличье повара, а и потому, что тамъ и тутъ поваръ является источникомъ удовольствія, наслажденія, которое оказывается однако пагубнымъ. Но въ иранскомъ сказаніи двусмысленный характеръ благодѣяній злого начала раскрывается яснѣе. Дѣло не въ благодѣяніяхъ вообще, а спеціально въ предоставленіи новыхъ наслажденій, дотолѣ народу неизвѣстныхъ, причемъ можетъ быть имѣетъ значеніе и то, что наслажденія эти низшаго порядка—гастрономическія. Иранское сказаніе видитъ торжество зла не въ томъ, что «будетъ необыкновенно легко, исполнятся всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы», а въ томъ, что водворится роскошь, люди захотятъ лишняго, того, что прежде было имъ даже неизвѣстно. Это гораздо проще и понятнѣе; но можетъ быть та же мысль лежитъ и въ основаніи легенды объ антихристѣ, только замаскированная. Если бы это послѣднее могло быть доказано, то стало бы вмѣстѣ съ тѣмъ понятно, что постоянно звучащей въ Успенскомъ аскетической струнѣ симпатична легенда объ антихристѣ: въ ней вѣдь та же струна звучитъ. Но, какъ уже было замѣчено выше, близкій сердцу Успенскаго аскетизмъ отличается дѣятельнымъ характеромъ. Онъ самъ слишкомъ впечатлителенъ и дѣятеленъ, чтобы другимъ рекомендовать и себѣ позволить спокойное созерцаніе, хотя бы возможность его и была достигнута отрѣшеніемъ отъ всего «лишняго» и отъ всякаго грѣха, съ этимъ «лишнимъ» связаннаго. А это обстоятельство вноситъ въ аскетическую программу такую огромную поправку, что въ извѣстномъ смыслѣ она даже перестаетъ быть аскетическою.

Въ очеркѣ «Перестала!» Михайло говоритъ, что «намъ свою мужицкую силу нельзя по вѣтру распускать, намъ нужна запряжка, *чтобы дохнуть некогда было*. Это Михайло говоритъ умудренный горькимъ опытомъ и получивъ «просіяніе своего ума» отъ калашницы Артамоновны, которая вновь наладила его разбитую было семейную жизнь. Артамоновна вотъ какъ допекала Михайлу и его жену: «Глупый ты, безбожный и безразсудный балбесъ! До чего ты довелъ свою жену и до чего самъ себя произвелъ? Не дуракъ-ли ты: хотѣлъ прожить съ женой весь вѣкъ за самоваромъ; думалъ ты, дуракъ, что будетъ она тебѣ *благодарна, ежели ей только чай съ сахаромъ пить, а никакого безпокойства не имѣть?* Куда-жь она силу-то свою дѣнетъ, подумалъ-ли ты? Вѣдь у ней у жены-то твоей, на четырехъ бабъ силы-то хватитъ, а ты думаешь чаемъ ее отпоить?.. И этакую-то золотую бабу ты, балбесъ, думалъ на всю жизнь оставить безъ затрудненія? *Почему же ты не дѣлаешь ей въ жизни затрудненія? Вѣдь она всего хочетъ, понимаешь-ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваромъ хочешь отбояриться?*» Жена Михайлы тоже получаетъ отъ Артамоновны наставленіе: «А ты-то, балалайка безструнная, что думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, такъ и то бы тебѣ *потруднѣй* было, *повеселѣй*. Ахъ, вы глупые, безсовѣстные! Задумали безъ крестьянскаго хомута вѣкъ вѣковать!»

Итакъ, между словами «потруднѣй» и «повеселѣй», выражающими, повидимому, такія рѣзко отличныя понятія, можетъ быть поставленъ знакъ равенства. Итакъ, на человѣка должно быть навалено столько работы, чтобы ему «дохнуть некогда» было. Тогда, и только тогда настанетъ миръ въ его душѣ, но не на почвѣ отреченія отъ радостей жизни; напротивъ, тутъ-то и достигнется настоящая радость, и человѣкъ, который «всего хочетъ», которому «все нужно», «все» и получитъ. Михайло и его жена въ очеркѣ «Перестала!» не исключительныя какія-нибудь явленія. Совершенно какъ у Михайлы, у Ивана Босыхъ во «Власти земли» разстройство матеріальное, разстройство семейной жизни и всякое другое пошло «отъ легкой жизни». Такъ и народъ понимаетъ дѣло, какъ видно изъ легенды объ антихристѣ. Нуженъ трудъ, ужасно много труда, такъ, чтобъ «дохнуть некогда» было, по выраженію Михайлы.

Какъ разъ подъ этимъ заглавіемъ «Дохнуть некогда» у Успенскаго есть превосходный очеркъ, одно изъ лучшихъ его произведеній по яркости фантазіи, по богатству юмора, по ясности мысли, по рѣдкой для него художественной законченности. Мнѣ

въ высшей степени пріятно отмѣтить, что этотъ превосходный очеркъ былъ напечатанъ въ журналѣ всего три года тому назадъ (въ 1885) и что, слѣдовательно, не смотря на все усиливающуюся привычку разрѣзать публицистикой свои образы, Успенскій до днесь сохранилъ свое художественное дарованіе во всей его свѣжести. Въ этомъ очеркѣ усиленный трудъ, трудъ почти каторжный и во всякомъ случаѣ такой, что «дохнуть некогда», представляется уже въ совершенно другомъ освѣщеніи. Онъ является здѣсь источникомъ не мира душевнаго, а напротивъ, вѣчной тревоги. Михайло, Иванъ Босыхъ и другіе подходятъ къ самому краю пропасти или ввергаются въ нее «отъ легкой жизни», и спасеніе ихъ въ трудѣ до предѣла «дохнуть некогда». Судебный приставъ Апельсинскій, исправникъ, Арапкинъ, смотритель маяка и другіе, фигурирующіе въ очеркѣ «Дохнуть некогда», становятся героями мучительныхъ драмъ, напротивъ именно потому, что заглавіе очерка приходится имъ по шерсти; ихъ гибель именно въ *не легкой* жизни, они ужъ никакъ не поставятъ знака равенства между словами «потруднѣй» и «повеселѣй». Значитъ, есть трудъ и трудъ; трудъ благотворный для трудящагося и трудъ губительный; трудъ, прекращающій мучительную драму всяческаго разстройства, и трудъ — источникъ этой драмы. Постараемся разсмотрѣть эти два типа драмы отдѣльно; постараемся, потому что Успенскій самъ часто ихъ сопоставляетъ, не легко обойти эти авторскія сопоставленія.

Въ деревнѣ происходятъ разные непорядки. Это ни для кого не тайна. Благонамѣренные люди разныхъ оттѣнковъ знаютъ и причины этихъ непорядковъ, лежащія въ экономическихъ условіяхъ. Знаетъ ихъ и Успенскій, знаетъ, конечно, лучше многихъ, разсуждающихъ объ этомъ предметѣ. Но его интересуетъ главнымъ образомъ не эта сторона вопроса. Magenfrage, какъ сказалъ бы нѣмецъ, поднимается для него до степени Seelenfrage, или, какъ выражается онъ самъ, вопросъ «народнаго брюха» до степени вопроса «народнаго духа». «Земля» есть не только источникъ мужицкаго пропитанія, но и главнѣйшій факторъ, опредѣляющій все міросозерцаніе крестьянина и весь его житейскій обиходъ. «Бракъ, семья, народная поэзія, судъ, общественныя работы и т. д., и т. д.» — всѣ стороны народной жизни проникнуты вліяніями земледѣльческаго труда. И эта-то «власть земли», какъ всеопредѣляющій факторъ, установляетъ гармонію въ народной жизни, гармонію, до которой намъ, разрываемымъ на части и собственною совѣстью, и внѣшними условіями своего существованія, какъ до звѣзды небесной далеко. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы все было благополучно въ народной средѣ.

Я видѣлъ гдѣ-то такую каррикатуру: лежитъ мужикъ, полураздавленный подобіемъ земного шара («земли»), а Успенскій изо всѣхъ силъ толкаетъ этотъ шаръ впередъ, на мужика, съ очевидною цѣлью окончательно его расплюснуть. Каррикатура имѣетъ свои условныя права, и въ данномъ случаѣ можетъ быть она и не вышла за предѣлы этихъ правъ. Но надо всетаки понимать, что для Успенскаго «потруднѣй» значитъ «повеселѣй», по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ мужику. Не раздавить мужика трудомъ хочетъ онъ, а напротивъ, предоставить ему весь просторъ жизни, который, дескать, наилучше обезпечивается земледѣльческимъ трудомъ. Нѣкоторымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ Успенскій разрѣшаетъ говорить на эту тему вещи, съ извѣстной точки зрѣнія абстрактно справедливыя, но фактически нѣсколько рискованныя. Въ очеркѣ «Овца безъ стада» одинъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ» съ азартомъ утверждаетъ, что мужикъ есть счастливѣйшій изъ людей, потому что онъ, благодаря характеру своего труда, живетъ полною и вполнѣ уравновѣшенною жизнью. «Участь мужика - крестьянина не только не печальна, но рѣшительно отрадна сравнительно съ безчисленными профессіями, на которыя раскололся родъ человѣческій». Мужикъ дѣлаетъ «все самъ» и потому «все самъ знаетъ, рѣшительно все... просто таки все знаетъ, да и шабашъ!» И т. д. и т. д. Все это говоритъ «молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ». Собесѣдники же находятъ, что это лишь талантливая «иллюстрація къ мужику», что мужикъ тутъ «хорошо разрисованъ», хотя признаютъ, что кое-гдѣ, изрѣдка и отдѣльными чертами, эта «иллюстрація» осуществляется и въ дѣйствительной жизни. Въ «Разговорахъ съ пріятелями» Протасовъ утверждаетъ уже не такъ рѣшительно, какъ упомянутый «мальчикъ»: «Уравновѣшенность духовной и физической дѣятельности, встрѣчающаяся въ нашемъ крестьянствѣ, *въ счастливыхъ случаяхъ*, въ полной чистотѣ и совершенствѣ, дѣлаетъ его поистинѣ образцомъ того, къ чему долженъ стремиться такъ называемый прогрессъ». А когда Успенскому, какъ во «Власти земли», приходится говорить лично отъ себя, то онъ выражается еще скромнѣе и трезвѣе. Онъ, напримѣръ, пишетъ и подчеркиваетъ: «Въ строѣ жизни; повинующейся законамъ природы, несомнѣнно и особенно плѣнительна та *правда* (не *справедливость*), которою освѣщена въ ней самая ничтожнѣйшая жизненная подробность». Успенскій знаетъ и

отъ людей не скрываетъ, что въ народной средѣ совершаются возмутительныя по своей жестокости вещи, но онѣ совершаются съ чистою, спокойною совѣстью: «всѣ онѣ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбѣжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби».

Можетъ-ли глазъ, оскорбленный дисгармоническими явленіями и жаждущій видѣть хоть какую нибудь гармонію, успокоиться на этой, какъ говоритъ самъ Успенскій «зоологической», «лѣсной», «звѣриной» «правдѣ»? Она вѣдь представляетъ полную уравновѣшенность понятій и поступковъ, въ ней нѣтъ мѣста «больной совѣсти» и другимъ болѣзненнымъ продуктамъ нарушенной гармоніи?—Отдохнуть глазъ можетъ, но успокоиться—нѣтъ. И вотъ почему: «Такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ законовъ природы, то и жизнь его (мужика) гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой *своей* мысли. Вынуть изъ этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнить своей человѣчьей волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!»(«Безъ своей воли»). Значитъ, уже тѣмъ нехорошо зоологическое, лѣсное равновѣсіе, что оно неустойчиво. Оно можетъ непоколебимо простоять сотни лѣтъ, но можетъ и рухнуть въ одинъ день, если изъ него будетъ вынута хоть капелька, хоть песчинка. А разныхъ случайностей, способныхъ вынуть эту песчинку, не оберешься. Вотъ, напримѣръ, исторія, разсказанная въ очеркѣ «Не случись». Просто весна ранняя встала, «никогда старики такой ранней весны не видывали». Вслѣдствіе этого и весеннія работы необычно рано кончились, и пришлось передъ Петровымъ днемъ двѣ недѣли необычнаго досуга, котораго рѣшительно дѣвать некуда. Разыгрались люди, да въ игрѣ-то и убилъ человѣкъ нечаянно родного отца, а потомъ и острогъ, и обнищаніе, и сестра отъ нищеты «гулять» пошла. Цѣлая огромная драма. Есть и другія случайности, которыя уже ни въ какой связи съ явленіями и законами природы не состоятъ, а между тѣмъ, благодаря имъ, «народная масса поминутно выдѣляетъ изъ себя массу хищниковъ, кулаковъ, міроѣдовъ» («Изъ деревенскаго дневника»). Благодаря частью этимъ хищникамъ, а частью бѣдамъ стихійнымъ вродѣ сибирской язвы, погибъ и Иванъ Босыхъ во «Власти земли». Сунулся было Иванъ служить на желѣзную дорогу, и отлично, казалось бы, вышло: тридцать пять рублей въ мѣсяцъ жалованья,а работы мало, да и то «легкой». Но эта то «легкая жизнь» и вынула песчинку изъ гармоническаго мужицкаго существованія. Тамъ работа тяжелая, но въ ней душа участвуетъ: человѣкъ дѣлаетъ дѣло ему близкое, надобность котораго ему совершенно понятна; онъ живетъ въ своемъ трудѣ, а не добываетъ только при помощи его средства къ жизни; онъ связанъ съ этимъ трудомъ всѣмъ существомъ своимъ. Всей этой полноты и гармоніи существованія Иванъ Босыхъ не могъ, конечно, найти на желѣзной дорогѣ, гдѣ онъ былъ лишь однимъ изъ колесъ огромнаго механизма, до цѣлей и смысла котораго ему не было никакого дѣла. Вслѣдствіе этого и его собственная жизнь потеряла всякій смыслъ, онъ сталъ пьянствовать, безобразничать, и и все отъ «легкой жизни»...

Совокупность подобнаго рода драмъ отъ легкой жизни и приводитъ къ легендѣ объ антихристѣ и къ общему тезису, что въ мужицкомъ быту облегченіе существованія ведетъ къ гибели. Тезисъ, повидимому, глубоко пессимистическій. Но, поставленный въ надлежащія рамки, онъ не заключаетъ въ себѣ рѣшительно ничего пессимистическаго. Онъ только ставитъ передъ нами новый вопросъ: какъ сохранить гармонію мужицкаго существованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ поднять зоологическую, лѣсную правду до степени правды человѣческой и тѣмъ самымъ создать равновѣсіе устойчивое? Для этого очевидно надо отнюдь не «капельки» и «песчинки» вынимать изъ лѣсной правды, а сразу поднять ее на высшую ступень, сохраняя ея гармоническій строй. Въ старину это дѣлали святые угодники. Не отрывая человѣка отъ земледѣльческаго труда, не нарушая его многосторонніхъ связей съ землей, они, проповѣдуя истины христіанской нравственности, старались поднять зоологическую правду на степень божеской справедливости. Нынѣ эта высокая обязанность лежитъ на интеллигенціи, ибо и святые угодники были интеллигенціей своего времени. Мы должны ихъ взять за образецъ для своей дѣятельности. Они, не нарушая коренныхъ основъ земледѣльческаго быта, не боялись внесть въ неприготовленную повидимому среду лучшее, высшее, до чего додумалось и дострадалось человѣчество — христіанскую истину. Они не думали, что людямъ, которые «звѣринымъ обычаемъ живяху», надо «пережить весь смрадъ развалившагося міра, прежде чѣмъ вкусить христіанство» — они знали, что «звѣриному обычаю не зачѣмъ переживать всевозможныя благообразныя измѣненія этого обычая, разъ ужъ есть нѣчто лучшее, высшее всего этого звѣринскаго благообразія. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человѣческое сердце, взяли христіанство, и при-

томъ въ самомъ строгомъ, неподслащенномъ видѣ». Такъ и мы должны поступать. Коренныя основы земледѣльческаго быта, гармонія земледѣльческаго труда должна быть для насъ неприкосновенною; но мы должны внести въ нее свѣтъ разума, свѣтъ истины, лучшей, высшей, несомнѣннѣйшей, какую мы знаемъ или можемъ знать. Но бѣда въ томъ, что, независимо отъ недостаточности нашего сходства со святыми угодниками въ смыслѣ самоотверженія и преданности идеѣ, мы еще «роемся въ какомъ-то старомъ національномъ и европейскомъ хламѣ, въ европейскихъ и національныхъ мусорныхъ ямахъ».

Для поясненія этихъ послѣднихъ словъ читатель найдетъ во многихъ мѣстахъ сочиненій Успенскаго иллюстрированныя размышленія о европейской и русской жизни и параллели между ними. Успенскій одинаково чуждъ и національнаго мистицизма и самохвальства съ одной стороны и преклоненія предъ Европой — съ другой. Это тоже одинъ изъ пунктовъ, передъ которымъ съ разными вывертами недоумѣнно останавливаются узколобые доктринеры и кляузники. Успенскій, вмѣстѣ съ многими благомыслящими и любящими свою родину людьми, вѣритъ, что въ нашей жизни есть задатки великаго историческаго будущаго и великаго счастія. Но это только задатки, представляющіе случай неустойчиваго равновѣсія и потому требующіе оплодотворенія сознательной идеей. Предоставленные на волю стихійныхъ историческихъ силъ въ качествѣ «національныхъ особенностей», они съѣдятъ сами себя и разовьются именно въ тѣ европейскіе порядки, которые такъ презрѣнны и ненавистны мистикамъ націонализма. Это уже и дѣлается теперь, и чѣмъ дальше, тѣмъ быстрѣе. Европейскіе-же порядки, полные всякаго блеска и красоты, но и глубочайшихъ страданій должны быть для насъ, въ смыслѣ руководящихъ началъ, только готовымъ, даровымъ резервуаромъ историческаго опыта. Мы имѣемъ полную возможность черпать изъ этого резервуара безъ всякаго пристрастія въ какую-бы то ни было сторону, то-есть безъ нелѣпыхъ восторговъ передъ всѣмъ европейскимъ и безъ столь-же нелѣпаго презрѣнія ко всему европейскому. Намъ не зачѣмъ продѣлывать весь скорбный и трудный опытъ европейской исторіи, разъ ужъ онъ тамъ продѣланъ и разъ сама европейская мысль, признавъ ошибки прошлаго, додумалась до чего-то лучшаго и высшаго, чѣмъ наличные европейскіе порядки. Но эту выстраданную Европой мысль мы должны чтить и именно ею оплодотворить тѣ стихійные задатки величія и счастія, какіе у насъ имѣются. «Смотри въ оба» — такъ можно-бы было формулировать эту точку зрѣнія, одинаково свободно относящуюся къ европейскимъ и русскимъ порядкамъ. Смотри въ обѣ стороны, ибо и тамъ и тутъ есть нѣчто цѣнное, и смотри въ оба, ибо въ огромной сложности общественной жизни легко затерять это цѣнное, что должно быть дороже зеницы ока...

IV.

Я стараюсь слѣдить за разбросанною по сочиненіямъ Успенскаго мыслью независимо отъ разныхъ случайныхъ ея уклоненій. Уклоненія эти опредѣляются свойствами впечатлѣній, получаемыхъ авторомъ. Надо помнить, что онъ своими боками отдувается за каждый свой идейный шагъ. Непосредственныя впечатлѣнія, то радостныя, то мрачныя, носятъ его по волнамъ житейскаго моря. При его склонности торопливо, тутъ-же на мѣстѣ, теоретизировать эти впечатлѣнія, и именно въ направленіи ихъ гармоничности или негармоничности, конечно возможны разныя ошибки: онъ иногда радуется тому, что оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи фикціей или иллюзіей, и приходитъ въ отчаяніе отъ того, что вовсе уже не такъ страшно. Но въ общемъ мысль его всегда удивительно вѣрно направлена къ добру и правдѣ. Никогда не впадаетъ онъ, напримѣръ, въ тѣ заблужденія принципіальнаго характера, которыя свойственны многимъ и многимъ, бездарнымъ и даровитымъ, крылатымъ и безкрылымъ писателямъ, удѣляющимъ свое вниманіе народу. Еще недавно у насъ много писалось о народѣ. До такой степени много, что стали даже раздаваться негодующіе голоса, что, дескать, «отъ мужика въ литературѣ проходу нѣтъ». Оцѣнкѣ этого негодованія Успенскій посвятилъ очеркъ «Наконецъ нашли виноватаго», очень злой и раздражанный. Съ его точки зрѣнія, народу удѣлялось не слишкомъ много, а напротивъ, слишкомъ мало вниманія. Если зарожденіе и распространеніе «новой мысли» связано съ освобожденіемъ крестьянъ, то понятно, что эта новая мысль повелительно требуетъ нарочитаго вниманія къ судьбамъ народа. Если многомилліонная масса русскаго народа несетъ въ себѣ великіе задатки чистой совѣсти и духовной гармоніи, то понятно, какой огромный интересъ для всякаго мыслящаго человѣка лежитъ въ этомъ пунктѣ. Но исходя изъ этихъ или подобныхъ упованій, иные спѣшили сдѣлать изъ народа— изъ конкретнаго народа, каковъ онъ есть сію минуту во всѣхъ историческихъ осложненіяхъ представляемой имъ идеи — какого

то идола, и стукали лбомъ передъ этимъ идоломъ. Для умовъ лѣнивыхъ и узкихъ это, конечно, легче, чѣмъ критически разбираться въ сложныхъ явленіяхъ жизни. Отъ такого идолопоклонства Успенскій былъ гарантированъ, помимо всего прочаго, уже самою жизненностью своей работы: слишкомъ тяжелы и болѣзненны были многія вынесенныя имъ изъ деревни впечатлѣнія, и слишкомъ смѣлъ и правдивъ былъ онъ самъ, чтобы сотворить себѣ кумира. Давая злую отповѣдь тѣмъ, кто жаловался, что въ литературѣ отъ мужика проходу не стало, онъ искалъ и находилъ въ народѣ и драгоцѣнное зерно, и негодную шелуху. Этого мало. Само по себѣ идолопоклонство просто глупо, но у насъ оно одно время вступило въ союзъ съ элементами, прямо нравственно безобразными.

Между прочимъ, подъ покровомъ толковъ о народѣ, происходила самая гнусная, самая возмутительная травля на интеллигенцію, а вмѣстѣ съ нею и на просвѣщеніе вообще. Точно стая собакъ накинулась на этого лежачаго, и были тутъ представители, кажется, всѣхъ возможныхъ породъ, такъ что странно даже было ихъ видѣть соединенными въ одну стаю. Дѣло шло не объ наличномъ составѣ нашей интеллигенціи, не объ уличеніи ея въ такихъ-то и такихъ-то недостаткахъ и слабостяхъ, каковое уличеніе естественно предполагало-бы призывъ къ иной, лучшей дѣятельности. Нѣтъ, предполагалось просто упраздненіе интеллигенціи, якобы для того, чтобы очистить мѣсто мужику, земледѣльцу. Это не мѣшало, конечно, господамъ упразднителямъ продолжать издавать газеты, писать статьи и книги, вообще дѣлать то самое дѣло, упраздненіе котораго оказывалось столь необходимымъ, и это придавало нѣсколько комическій характеръ позорной травлѣ. Какъ разъ около этого времени Успенскій, при всемъ своемъ увлеченіи идеалами земледѣльческаго труда, отводилъ, какъ мы видѣли, интеллигенціи высокую миссію, такую высокую, что выше, пожалуй, что и не выдумаешь.

Значитъ, не въ одномъ земледѣльческомъ трудѣ спасеніе. Есть и еще какіе-то виды дѣятельности, нужные, полезные, цѣнные и, быть можетъ, столь-же способные установить или возстановить душевное равновѣсіе.

Въ одномъ провинціальномъ изданіи извѣстный путешественникъ Потанинъ сообщилъ, что въ нѣкоторыхъ деревняхъ Вятской губерніи принято за правило въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ не родилось мальчиковъ, а одни дѣвочки, нѣкоторыхъ изъ этихъ дѣвочекъ прямо посвящать съ ранняго дѣтства мужскому труду, причемъ даже имена такимъ женщинамъ-мужчинамъ даются мужскія: Елизавета превращается въ Елисейку. Это свѣдѣніе привлекло къ себѣ вниманіе Успенскаго. «Елисейки — это удивительно красивыя существа», говоритъ онъ (въ «Мечтаніяхъ»). «Елисейка—ни мужчина, ни женщина и въ тоже время женщина и мужчина вмѣстѣ, въ одномъ лицѣ—это зерно чего-то вполнѣ совершеннаго». Совершенство, точнѣе *зерно* совершенства состоитъ въ томъ, что въ Елисейкахъ нѣтъ или предположительно не должно быть утрированнаго развитія «женственности» и «мужественности», какое мы видимъ обыкновенно вокругъ себя, а спеціально женскія и спеціально мужскія черты гармонически сливаются въ нихъ въ одно цѣлое, уравновѣшивая другъ друга. Принимая въ соображеніе нѣкоторые общіе взгляды Успенскаго, можно-бы было думать, что эта гармонія мужскихъ и женскихъ качествъ окажется исключительно принадлежностью крестьянскаго, земледѣльческаго быта. Однако это не такъ.

Въ «Разговорахъ съ пріятелями» идетъ, между прочимъ, рѣчь объ одной картинѣ. На ней изображена дѣвушка въ очень простомъ платьѣ, въ пледѣ, въ мужской шапочкѣ, съ подстриженными волосами; она идетъ по улицѣ; только и всего. Но, по словамъ разсказчика, въ ней необыкновенно привлекательны «чисто женскія, дѣвичьи черты лица, проникнутыя на картинѣ, если можно такъ выразиться, присутствіемъ юношеской, свѣтлой мысли... Главное, что особенно свѣтло ложится на душу, это то, что прибавившаяся къ обыкновенному женскому типу—не знаю какъ сказать—мужская черта, черта свѣтлой мысли вообще (результатъ всей этой бѣготни съ книжками и т. д.) не приклеенная, а органическая... Это-то изящнѣйшее, не выдуманное, и притомъ реальнѣйшее слитіе дѣвичьихъ и юношескихъ чертъ въ одномъ лицѣ, въ одной фигурѣ, осѣненной не женской и не мужской, а «человѣческой» мыслью, сразу освѣщало, осмысливало и шапочку, и пледъ, и книжку, и превращало въ новый, народившійся, небывалый и свѣтлый типъ».

Въ очеркѣ «Выпрямила!» читатель найдетъ восторженныя страницы, посвященныя статуѣ Венеры Милосской. Въ свое время многіе были удивлены этими восторгами. И въ самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ, они, казалось-бы, совсѣмъ не идутъ къ Успенскому, такъ аскетически холодно относящемуся къ «искусству», къ художественности, ко всякой красотѣ. Успенскій, столь сердито при случаѣ настаивающій на водвореніи мужика въ литературѣ, обыкновеннѣйшаго сѣраго мужика, и вдругъ—Венера Милосская! Однако Успенскій остается и здѣсь все тѣмъ-же Успенскимъ и ни на

единый волосъ не измѣняетъ своему всегдашнему задушевному. Прежде всего онъ замѣчаетъ у Венеры Милосской «право, сказать совѣстно, почти мужицкіе завитки волосъ по угламъ лба». Въ отличіе отъ всѣхъ другихъ Венеръ, тутъ-же, въ Луврѣ и въ другихъ мѣстахъ стоящихъ, Венера Милосская совсѣмъ не есть олицетвореніе «женской прелести». Напротивъ, художникъ для созданія этой «каменной загадки» «бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской, и въ женской красотѣ, не думая о полѣ, а пожалуй и о возрастѣ». Венера Милосская есть «человѣкъ», идеалъ человѣка въ смыслѣ гармоническаго сочетанія отдѣльныхъ человѣческихъ чертъ, разбросанныхъ нынѣ какъ попало и куда попало. Художникъ хотѣлъ познакомить человѣка «съ ощущеніемъ счастія быть *человѣкомъ*», показать всѣмъ намъ и обрадовать насъ видимой для всѣхъ возможностью быть прекрасными». Достойно вниманія, что въ памяти Тяпушкина («Выпрямила!» есть «отрывокъ изъ записокъ Тяпушкина») образъ Венеры Милосской видѣнной имъ за двѣнадцать лѣтъ предъ тѣмъ, возникъ не сразу.

Ему предшествовали два какъ-бы подготовительныя воспоминанія. Во-первыхъ, вспомнилась ему деревенская баба, которую онъ когда-то видѣлъ во время сѣнокоса. Баба была самая обыкновенная. Но—

вся она, вся ея фигура съ подобранной юбкой, голыми ногами, краснымъ повойникомъ на маковкѣ, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налѣво, была такъ легка, изящна, такъ жила, *а не работала*, жила въ полной гармоніи съ природой, съ солнцемъ, вѣтеркомъ, съ этимъ сѣномъ, со всѣмъ ландшафтомъ, съ которыми были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думалъ), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думалъ и чувствовалъ только одно: „какъ хорошо!“

Затѣмъ вспомнилась Тяпушкину другая фигура—«фигура дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа».

„Глубокая печаль, печаль *о не своемъ горѣ*, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движеніи, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственною ея печалью, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее *одну*, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, въ ея мысль, даже въ сонъ ея чему нибудь такому, что могло бы „не подойти“, нарушить гармонію самопожертвованія, которую она олицетворяла—что, при одномъ взглядѣ на нее, всякое „страданіе“ теряло свои пугающія стороны, дѣлалось простымъ, легкимъ, успокоивающимъ и вмѣсто словъ „какъ страшно!“ заставляло сказать: „какъ хорошо! какъ славно!“

Мнѣ кажется, что одно это сопоставленіе Елисейки, дѣвушки въ пледѣ, Венеры Милосской, бабы на сѣнокосѣ, дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа, сопоставленіе, на половину самимъ Успенскимъ сдѣланное, свидѣтельствуетъ, что его восторги передъ Венерой Милосской не представляютъ чего-нибудь побочнаго или случайнаго. Художникъ огромнаго дарованія, съ огромными задатками вполнѣ гармоническаго творчества, но разорванный частью внѣшними условіями, частью собственною впечатлительностью страстнымъ вмѣшательствомъ въ дѣла сегодняшняго дня, — онъ жадно ищетъ глазами чего-нибудь неразорваннаго, не источеннаго болѣзненными противорѣчіями, чего-нибудь гармоническаго. И вотъ послѣ долгой муки исканія—вздохъ облегченія: «ахъ славно! ахъ хорошо!» Страданія, на которыя идетъ дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа; каторжный трудъ, на который осуждена Елисейка или баба на сѣнокосѣ; лишенія и оскорбленія, которымъ можетъ подвергаться дѣвушка въ пледѣ—все это ничего, все это даже хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, цѣликомъ. «Ахъ, хорошо! ахъ, славно!...» Но безъ страданій, безъ лишеній и такого труда, чтобъ было «дохнуть некогда», это высокое душевное равновѣсіе возможно только въ далекомъ будущемъ или въ качествѣ слабо мерцающаго идеала, намекъ на который даетъ «каменная загадка» Венеры Милосской. Измученный художникъ съ благодарностью склоняется къ подножію «каменной загадки» съ «почти мужицкими завитками волосъ въ углахъ лба»... Навѣрное никто, кромѣ Успенскаго, *такъ* не восторгался Венерой Милосской...

Но хотя у Венеры Милосской и мужицкіе завитки волосъ, а ясно всетаки, что душевное равновѣсіе, гармонія жизни достигается не однимъ земледѣльческимъ трудомъ, Мы уже имѣли этому примѣры въ дѣятельности святыхъ угодниковъ, въ роли, отводимой интеллигенціи; видимъ теперь въ дѣвушкѣ съ пледомъ и въ дѣвушкѣ строгаго, почти монашескаго типа. Во всѣхъ этихъ свѣтлыхъ образахъ есть какая-то аскетическая, если не прямо страдальческая черта, соотвѣтствующая тому труду «дохнуть некогда», который сдерживаетъ равновѣсіе въ мужицкой жизни. Успенскій съ особенною любовью останавливается на тѣхъ подвигахъ святыхъ угодниковъ, которые сопряжены съ лишеніями, униженіями, оскорбленіями; свѣтлый образъ дѣвушки монашескаго типа тоже подернутъ «страданіемъ». Венера Милосская, та не страдаетъ, но это потому, что она — не живая, а каменная, она—провозвѣстникъ и символъ будущаго, а въ настоящемъ такой нѣтъ. Въ настоящемъ терніи, такъ или иначе, непремѣнно обвиваютъ гармоническія явленія. Правда, какъ трудъ мужика есть не только трудъ, а

и веселье («потруднѣй—повеселѣй»), такъ и страданія дѣвушки монашескаго типа не заключаютъ въ себѣ ничего «пугающаго» и не «страшно» глядѣть на нее, а «хорошо». Но всетаки это—страданіе...

За послѣднее время Успенскому случается, однако, иногда до такой степени воспрянуть духомъ, что практическое рѣшеніе «каменной загадки», то-есть достиженіе полной гармоніи жизни безъ единой черты хотя-бы и не пугающаго страданія, представляется ему совсѣмъ не за горами, а гдѣ-то очень близко. Замѣчательно, что эти уже чисто на чисто радостныя мысли вызываются въ немъ не его собственными непосредственными житейскими впечатлѣніями, а книгами. Такъ, съ почти дѣтскою радостью встрѣтилъ онъ брошюру г. Энгельмейера «Экономическое значеніе современной техники», обѣщающую экономическую гармонію, какъ результатъ дальнѣйшаго развитія техники. Такъ, съ тою-же радостью привѣтствовалъ онъ книгу г. Тимощенкова «Борьба съ земельнымъ хищничествомъ». На статьѣ его, вызванной книгой г. Тимощенкова, намъ надо остановиться. Въ ней очень много страннаго, объ чемъ я здѣсь говорить не буду, но много и цѣннаго, и во всякомъ случаѣ очень для Успенскаго характернаго. Характерно уже самое заглавіе статьи: «Трудовая жизнь и труженичество». Этими двумя терминами обозначаются тѣ два вида труда, изъ которыхъ одинъ животворитъ, а другой губитъ, одинъ искореняетъ житейскія драмы, другой—нарождаетъ. Въ фантастическомъ повѣствованіи г. Тимощенкова Успенскаго прельстило то, что нѣкоторое крестьянское семейство достигло высшей степени матеріальнаго благосостоянія, буквально милліонныхъ богатствъ, но при этомъ—удержалось на той-же крестьянской трудовой почвѣ и стало сѣять кругомъ себя добро вмѣсто того, чтобы повторить обыкновенную исторію «мужика съ деньгами», то-есть кулака. Какъ удалось крестьянскому семейству невинность соблюсти и капиталъ пріобрѣсти, это другой вопросъ, котораго мы касаться не будемъ. Но, во всякомъ случаѣ, на милліонныхъ богатствахъ этого семейства, съ точки зрѣнія Успенскаго, нѣтъ печати антихриста въ смыслѣ вышеприведенной легенды: не зло, а добро проистекло изъ полнаго матеріальнаго благосостоянія. Понятна страстность, съ которою Успенскій ухватился за этотъ случай, разъ онъ въ него повѣрилъ... Но для насъ въ этой статьѣ особенно важно отграниченіе «трудовой жизни» и «труженичества». Это отграниченіе вполнѣ примыкаетъ къ прежнимъ работамъ Успенскаго. Но на этотъ разъ, когда въ его умѣ мелькнула мысль о возможности матеріальнаго благосостоянія безъ антихристовой печати, онъ рѣшительно вычеркиваетъ изъ своей программы всякую аскетическую струю. Если онъ и прежде нѣсколько подрывалъ эту струю размышленіями объ томъ, что «потруднѣй — повеселѣе», то теперь онъ уже вотъ какъ рѣшительно выражается: «Въ трудовой жизни важенъ и нуженъ вовсе не гнетъ труда, не тяжесть его, не лишенія, съ нимъ сопряженныя, ни даже «смиреніе», которое у насъ также еще непонятно зачѣмъ пристегиваютъ къ понятію о трудовой жизни, а только жизнь, исполненная разнообразнѣйшихъ впечатлѣній, жизнь, дающая работу для всей широты требованій духовной и физической природы человѣка. Только поэтому и важна трудовая, народная, земледѣльческая жизнь и основанный на ней строй народной общественной трудовой жизни, а вовсе не сѣрыя щи, не доски вмѣсто постели, не смиреніе и униженіе и вовсе не то только, что выражается словами: самъ своими руками». Швея, фигурирующая въ «Пѣснѣ о рубашкѣ» Томаса Гуда, работаетъ столько же, какъ и пахарь, фигурирующій въ пѣсняхъ Кольцова, имъ обоимъ «дохнуть некогда», но около первой сгустились облака горя, страданія, скорби, а около второго—сколько свѣта, тепла, радости. Онъ живетъ «трудовой жизнью», она — «труженица». И этого не надо, то-есть труженичества-то, не надо страданій, лишеній, скорби, тяготы. Нужна, возможна и уже существуетъ жизнь «во вся», широкая жизнь, полная наслажденій, хотя и полная труда. Это—жизнь земледѣльца, «народный бытъ», которому противопоставляется «культурный бытъ», гдѣ нѣтъ настоящей трудовой жизни, а есть только «труженичество»...

А дѣвушка въ пледѣ? а дѣвушка строгаго, почти монашескаго типа? Развѣ онѣ земледѣліемъ занимаются? А между тѣмъ онѣ не «труженицы» въ непріятномъ смыслѣ этого слова, потому что, глядя на нихъ, человѣкъ говоритъ: «ахъ хорошо! ахъ славно!» Съ другой стороны, хотя земледѣльческій бытъ несомнѣнно представляетъ извѣстныя гарантіи для гармоническаго сочетанія «разнообразнѣйшихъ впечатлѣній» и полноты жизни, но развѣ ужъ такъ рѣзко отличается по существу иной батракъ - земледѣлецъ отъ швеи Томаса Гуда? Кольцовская формула «слуга и хозяинъ», какъ всякому хорошо извѣстно, не есть непремѣнная принадлежность земледѣльческаго быта, ибо и тамъ возможенъ «пахарь - слуга», нанятый за деньги, совершенно такъ же, какъ нанята швея, кормилица, ходатай по дѣламъ и т. д.

Всѣ они живутъ своимъ трудомъ, но всѣ дѣлаютъ чужое, лично имъ не нужное дѣло,

въ которое они поэтому не могутъ вложить душу свою, не могутъ связать съ нимъ свое духовное существованіе въ одно гармоническое цѣлое, такъ чтобы ничему «неподходящему» просто мѣста не было. Ясно, что спасеніе не въ земледѣліи, что, впрочемъ, самъ Успенскій очень хорошо знаетъ, какъ видно изъ предыдущаго изложенія. Пусть мужикъ остается на землѣ, и великое преступленіе совершаютъ тѣ, кто такъ или иначе, прямо или косвенно, гонятъ его съ земли. Пусть садятся на землю и тѣ «культурные» люди, которые чувствуютъ себя для этого призванными и способными. Пусть садятся настояще, вполнѣ, или съ тою осторожностью, съ какою присѣлъ на землю графъ Л. Толстой (говорю «съ осторожностью», потому что хотя графъ и пашетъ собственноручно, но неурожай, градобитіе, скотскій падежъ, военная повинность, подати и прочіе источники раззоренія настоящаго земледѣльца—не подорвутъ благосостоянія и счастія его и его семьи и не внесутъ въ ихъ жизнь никакой драмы). Пусть въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ приливъ культурныхъ людей на землю достигнетъ огромныхъ размѣровъ. Но, по крайней мѣрѣ сейчасъ, первая стадія упорядоченія, уравновѣшенія, гармонизаціи жизни культурныхъ людей должна не въ этомъ состоять.

Въ «Запискахъ маленькаго человѣка» авторъ, приведя нѣсколько разговоровъ, случайно услышанныхъ имъ на пароходѣ, тоскливо замѣчаетъ: «Все это надоѣло мнѣ до такой степени, что я Богъ знаетъ что-бы далъ въ эту минуту, если бы мнѣ пришлось увидѣть что-нибудь настоящее, безъ подкраски и безъ фиглярства какого-нибудь стариннаго станового, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналій, какого-нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоръ отъ червей, словомъ какое-нибудь подлинное невѣжество— лишь бы оно считало себя справедливымъ».

Какъ видите, это все тотъ же вздохъ по гармоніи, по равновѣсію: пусть глазу предстанетъ что-нибудь гнусное и возмутительное, но пусть оно, по крайней мѣрѣ, само себя считаетъ справедливымъ, такъ чтобы не было разлада между мыслью и дѣломъ, между понятіями и поступками. Если бы однако такое равновѣсіе гнусности дѣйствительно предстало, то Успенскій, конечно, на немъ не успокоился бы, во-первыхъ потому, что это—гнусность, а во-вторыхъ потому, что это равновѣсіе неустойчивое: рано или поздно, но «болѣзнь мысли», «болѣзнь сердца», «болѣзнь совѣсти» подточитъ его. По крайней мѣрѣ въ этомъ увѣренъ Успенскій. И затѣмъ должна наступить драма. Въ очеркѣ «Дохнуть некогда» собрана цѣлая коллекція драмъ изъ культурнаго быта, по обыкновенію сложенныхъ изъ комическихъ подробностей, и я не хочу переизложеніемъ или даже только перечисленіемъ ихъ ослабить въ читателѣ горькое наслажденіе прямого знакомства съ этими страницами. Подчеркну только конецъ — пьяной рѣчи слѣдователя, который то называетъ себя «подлецомъ», то утверждаетъ, что въ немъ «Богъ есть» и что не затѣмъ онъ учился въ университетѣ, чтобы дѣлать безсмысленное и жестокое дѣло. «Позоръ, стыдъ, срамъ!» восклицаетъ онъ и въ пьяномъ азартѣ требуетъ себѣ «лаптей», вѣроятно какъ искупленія и залога новой жизни. Если подвести итогъ всѣмъ глубочайшимъ драмамъ, собраннымъ въ этомъ очеркѣ, то окажется, что всѣ онѣ коренятся въ одолѣвающемъ героевъ сознаніи, что они дѣлаютъ ненужное, безсмысленное дѣло. Они неоспоримо живутъ собственнымъ и крайне тяжелымъ трудомъ, имъ дѣйствительно «дохнуть некогда». Но въ то время, какъ для Михайлы и его жены (въ «Перестала!») эта формула является спасительною, здѣсь, напротивъ, около нея-то и густится и кристализуется драма. Это натурально: тамъ душа вложена въ трудъ, здѣсь она находится гдѣ-то совсѣмъ въ сторонѣ и оттуда, со стороны-то, праздная шлетъ язвительные укоры за свою праздность. Если-бы это были люди не трудомъ живущіе, а какими-нибудь доходами съ капитала или рентой, они могли бы можетъ быть просто купить пропитаніе для души, въ видѣ разнаго рода развлеченій. Но наши герои—«труженики», имъ «дохнуть некогда», они всю свою жизнь не живутъ, а только добываютъ средства къ жизни. Это — тѣ же швеи Томаса Гуда, которымъ сказано: шей, шей, шей! Спрашивается, какъ быть этимъ подлинно несчастнымъ людямъ, въ драматическомъ положеніи которыхъ возможны и комическія, и прямо непривлекательныя черты, но несчастіе которыхъ подлинно и несомнѣнно? Предложить имъ всѣмъ сейчасъ-же обуться въ лапти и пахать было бы и празднословіемъ, и издѣвательствомъ. Читать имъ наставленія о священныхъ обязанностяхъ, о трудѣ и т. п. — по малой мѣрѣ безполезно. Справедливо говоритъ Успенскій, что «въ этомъ труженическомъ кругу, въ его мученіяхъ, въ его лишеніяхъ, мукахъ, болѣзняхъ, психическихъ страданіяхъ, преступленіяхъ, и заключается современная драма жизни, которую не разрѣшить нравоученіями» Они бьются, какъ рыба объ ледъ, они не виноваты. А изъ этой ихъ невиновности слѣдуютъ два весьма важныя заклю-

ченія. Во-первыхъ, не къ нимъ съ укоромъ или наставленіемъ надо обращаться, а къ строю жизни, который пристегиваетъ людей къ ненавистному, ненужному, чужому имъ дѣлу, и не даетъ пропитанія ихъ душѣ, разбуженной «новой мыслію». А во-вторыхъ, странно, что эти несчастные «труженики» такъ упорно заболѣваютъ всетаки почти исключительно совѣстью и почти никогда — честью, въ смыслѣ той противоположности между работой совѣсти и чести, объ которой говорено выше. Все они передъ кѣмъ-то виноваты, а передъ ними будто-бы и никто не виноватъ. Но передъ кѣмъ-же виновата швея Томаса Гуда?

Иванъ Босыхъ во «Власти земли» разсказываетъ, какъ онъ на желѣзной дорогѣ «отъ легкой жизни» дошелъ до «своевольства» и всякой другой пакости. Наконецъ дошло дѣло до начальства, «да какъ пріѣхалъ начальникъ дистанціи, да ка-а-къ далъ мнѣ (лицо разсказчика вдругъ просіяло) хо-о-орошаго леща, да какъ начальникъ эксплуатаціи надавалъ мнѣ (дѣтская радость разлилась по лицу его) въ загривокъ, да какъ въ подвижномъ составѣ наколотили мнѣ бока — такъ я, братецъ ты мой, совершилъ крестное знаменіе, да точно какъ изъ могилы выскочилъ, воскресъ, да по морозу, въ чемъ былъ, безъ шапки — домой!» — Иванъ Босыхъ чувствуетъ себя виноватымъ, его грызетъ совѣсть, а больная совѣсть такъ или иначе всегда съ радостью встрѣчаетъ униженія и оскорбленія, и, въ случаѣ отсутствія таковыхъ, сама налагаетъ разныя эпитеміи.

Мы уже видѣли этому примѣры на нѣкоторыхъ герояхъ Успенскаго. Но вѣдь случаются и не прошенныя, незаслуженныя оскорбленія, униженія, лишенія. Ихъ слишкомъ много на Руси, и можетъ быть было бы справедливо взглянуть на драматическое положеніе Апельсинскаго и иныхъ именно съ этой стороны. Успенскій этого не сдѣлалъ. Можетъ быть, онъ когда-нибудь возьмется за эту работу, если ему покажется, что «больная честь» достаточно распространилась, чтобы производить такіе же глубокіе и многосложные эффекты, какіе, по его мнѣнію, производитъ «больная совѣсть». Эта новая для него задача вполнѣ подходитъ къ его общимъ стремленіямъ и къ обычнымъ его художественнымъ пріемамъ. Возмущенная честь жаждетъ гармоніи, равновѣсія, какъ и заболѣвшая совѣсть, и, какъ и она, допускаетъ свойственныя Успенскому блестящія комбинаціи трагическаго и комическаго. Поэтому, если Успенскій возьмется когда-нибудь за эту работу, то сдѣлаетъ ее, конечно, съ тою же трепетною задушевностью и съ тѣмъ же пристальнымъ упорствомъ, съ какими онъ разсказывалъ намъ про больную совѣсть...

Я очень знаю, что прочитанная вами характеристика Успенскаго далека отъ совершенства и даже просто полноты. Но въ многочисленныхъ и многосложныхъ вопросахъ, затрогиваемыхъ этимъ писателемъ, при необыкновенной разорванности и разбросанности его писаній, оріентироваться не легко. И недомолвокъ, и возвращеній къ сказанному уже—избѣжать было трудно. Я надѣюсь, однако, что главныя черты писателя указаны и что по крайней мѣрѣ кое-кому изъ читателей я помогъ разобраться въ той массѣ сложныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, которыя возбуждены въ нихъ Успенскимъ и за которыя онъ имъ милъ и дорогъ. Я только этого и хотѣлъ.

ЩЕДРИНЪ *).

I.

Отношеніе къ литературѣ.

Почти ребенкомъ Салтыковъ писалъ стихи; двадцати двухъ лѣтъ онъ напечаталъ свою первую повѣсть «Запутанное дѣло», за которую поплатился нѣсколькими годами невольной службы въ Вяткѣ. Затѣмъ внѣ писательской дѣятельности онъ жилъ подобно большинству образованныхъ русскихъ людей, то-есть опять-таки служилъ, писалъ или подписывалъ отношенія и предписанія, подвигался вверхъ по лѣстницѣ табели о рангахъ, хозяйничалъ въ деревнѣ, бывалъ, конечно, въ обществѣ, бесѣдовалъ съ дамами, игралъ въ карты и т. д. Но во всѣхъ этихъ очень обыкновенныхъ житейскихъ положеніяхъ его какъ-то трудно себѣ представить. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, знавшему Салтыкова въ послѣднія двадцать лѣтъ его жизни, онъ

*) 1889 г.

представляется, внѣ литературы и литературныхъ отношеній, чѣмъ-то въ родѣ рыбы, вытащенной изъ воды: безпомощно и неумѣло бьется рыба на берегу, и все ея существо проникнуто одной инстинктивной тоской тяготѣнія къ родной стихіи, безъ которой ей не жить. Такою родною стихіей была для Салтыкова литература. Тяготѣлъ онъ къ ней всѣмъ существомъ своимъ, почти стихійно, какъ бы изъ чувства самосохраненія. Именно, такъ мучительно бьется и тоскуетъ рыба, вытащенная изъ воды: нельзя ей остаться на берегу, — уснетъ. Перелетныя птицы тоже такъ тянутъ осенью въ теплые края: нельзя имъ остаться на нашемъ сѣверѣ, — замерзнутъ. Лично для Салтыкова самая жизнь, наконецъ, со всѣми ея красками и звуками, получила интересъ только въ качествѣ возможности литературной работы и въ качествѣ матеріала, подлежащаго литературной обработкѣ. Онъ и самъ сознавалъ непреоборимо стихійный характеръ своей любви къ литературѣ. Въ «Письмахъ къ тётенькѣ» онъ писалъ:

«Этотъ уголокъ (литература) мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и она въ свою очередь дала мнѣ гораздо больше того, что я достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутаго, по волѣ судебъ, міра былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность — моей незащищенностью; его замученность — моей замученностью; наконецъ, его кратковременныя и рѣдкія ликованія — моими ликованіями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью взлюбленнаго дѣла такъ сильно и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глаза даже широкую, не знающую береговъ жизнь».

Въ «Приключеніи съ Крамольниковымъ», этой «сказкѣ-элегіи», изображающей нравственное состояніе самого Салтыкова послѣ закрытія *Отечественныхъ Записокъ*, герой печальнаго приключенія характеризуется такъ:

«Крамольниковъ былъ коренной пошехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ... Въ этой привязанности къ отвлеченной личности было что-то исключительное, до болѣзненности страстное. Цѣлые десятки лѣтъ она одна питала его и съ каждымъ годомъ дѣлалась все больше и больше настоятельною. Наконецъ, пришла старость, и всѣ блага жизни, кромѣ одного, высшаго и существеннѣйшаго, окончательно сдѣлались для него безразличными и ненужными... Все разнообразіе жизни представляется фиктивнымъ; весь интересъ ея сосредоточивается въ одной свѣтящей точкѣ».

Такая спеціализація жизни, такое сведеніе всего ея пестраго шума къ одной, хотя бы и, дѣйствительно, свѣтящей точкѣ грозили бы очень печальными слѣдствіями, еслибы дѣло шло о комъ-нибудь другомъ, а не о Салтыковѣ. Какъ бы ни было велико значеніе литературы, но она есть только одна изъ функцій жизни, и если она заслоняетъ собою то цѣлое, которому призвана служить, то это противоестественно, — до такой степени противоестественно, что, въ концѣ-концовъ, даже просто невозможно. Знаменитыя формулы «наука для науки» и «искусство для искусства» были порожденіемъ этого стремленія заслониться отъ жизни щитами самодовлѣющихъ спеціальныхъ функцій. Формулы эти очень торжественно провозглашались, очень яростно защищались, но практически едва-ли когда-нибудь осуществлялись въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ. Гордо священнодѣйствуя у своихъ алтарей, служители чистаго искусства и чистой науки находятся во власти недоразумѣнія, которое отчасти даже забавно: они возсылаютъ свои фиміамы куда-то ужасно высоко, къ небесамъ небесъ, а вѣтромъ эти фиміамы отбиваетъ всетаки на землю, и вдыхаетъ ихъ всякій, кто можетъ оплатить продукты чистой науки и чистаго искусства и воспользоваться ими либо просто для развлеченія, либо для своихъ практическихъ цѣлей. А вѣдь цѣли эти не всегда возвышенны; руки у этихъ развлекающихся и пользующихся не всегда чисты: бываютъ въ грязи, бываютъ и въ крови... Такимъ образомъ, при всемъ величественномъ презрѣніи къ нашей бѣдной землѣ, къ нашимъ маленькимъ земнымъ дѣламъ, служители чистой мысли и чистаго воображенія всетаки не выбиваются изъ круга земныхъ дѣлъ и отношеній. Да иначе и быть не можетъ: «всякъ земнородный» въ концѣ-концовъ непремѣнно на землѣ останется, къ какимъ бы ухищреніямъ ни прибѣгалъ и какъ бы ни старался перепрыгнуть черезъ свою земнородную природу,—такой ужъ ему предѣлъ положенъ. Разница только въ томъ, что можно сознательно оставаться на землѣ, стараясь о доведеніи земныхъ дѣлъ до возможнаго для нихъ совершенства, а можно вырвать изъ жизни одинъ маленькій клочокъ, одну «свѣтящую точку» и, сотворивъ себѣ изъ нея кумира, отмести остальное, какъ презрѣнія достойное, но въ то же время безсознательно послужить худшему изъ этого остальнаго.

Великое личное счастіе Салтыкова и великое счастіе русской литературы состояло въ томъ, что рядомъ со стихійнымъ, почти инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ литературѣ, какъ профессіи, въ немъ жило сознаніе огромнаго значенія литературы, а слѣдовательно и лежащей на ней отвѣтственности. Онъ часто говорилъ о счастіи, которое ему давала литературная дѣятельность, не смотря на терніи, попадавшіяся на его пути. Ли-

тература была для него та «она», которую поэты и поэтики неотступно преслѣдуютъ своими признаніями, хотя «она» не всегда даритъ своихъ поклонниковъ лаской и улыбкой, а оказывается подчасъ и очень жестокой; но самыя муки, претерпѣваемыя отъ «нея», отъ милой сердцу и желанной, только еще болѣе затягиваютъ узы любви, только сдабриваютъ и оттѣняютъ общее чувство счастія. Маленькій писатель Пименъ, такими трогательными чертами изображенный въ разсказѣ «Похороны», говорилъ, что на его памятникѣ (если таковой будетъ на его могилѣ поставленъ) надо надписать: «Литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце». Великому писателю Щедрину памятникъ будетъ поставленъ, и на немъ можно бы было тоже слово, да иначе молвить: «Литература напоила ядомъ его сердце, но она же освѣтила ему жизнь». Какія бы невзгоды ни постигали Салтыкова на жизненномъ и въ частности на литературномъ пути, онъ былъ всетаки счастливъ; счастливъ сознаніемъ того, что его излюбленное дѣло, мало того—дѣло, безъ котораго онъ жить не можетъ, какъ рыба безъ воды, есть вмѣстѣ съ тѣмъ великое, всеобъемлющее и, какъ онъ иногда говоритъ, «вѣчное» дѣло. Его «муза» лишь очень изрѣдка выбивалась изъ-подъ строжайшаго контроля сознанія, подъ которымъ онъ ее постоянно держалъ. Онъ не довѣрялъ своему огромному таланту, мало того — даже не вѣрилъ въ него. Никогда не полагаясь на «вдохновеніе», онъ работалъ постоянно и упорно, иногда по нѣскольку разъ переписывая и передѣлывая свои рукописи, и въ разговорѣ я не разъ слыхалъ отъ него, что онъ будто бы только упорнымъ трудомъ и береть. Въ *невѣріи* своемъ онъ былъ, конечно, неправъ, это слишкомъ ясно, но его *недовѣріе* къ стихійной силѣ таланта имѣло для русской литературы чрезвычайно благотворныя слѣдствія. Именно потому, что его несравненный талантъ выходилъ далеко изъ ряда вонъ и имѣетъ мало соперниковъ во всемірной литературѣ, именно поэтому онъ могъ бы надѣлать большихъ бѣдъ, еслибы его не обуздывало сознаніе. Давно сказано, что быстроногій, попавъ на ложную дорогу, дальше убѣжитъ по ней, чѣмъ тихоходъ; большая и быстрая рѣка натворитъ въ разливѣ больше несчастій, чѣмъ ничтожная и вялая рѣченка. Любопытно, что въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», а помнится и еще гдѣ-то, Щедринъ выводитъ на сцену какъ бы самого себя въ видѣ литератора и влагаетъ самымъ глупымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ (преимущественно «дамочкамъ») такія обращенія къ нему: «вѣдь вы по смѣшной части!» или: «я намеднись что-то ваше читала! такъ хохотала! такъ хохотала!» Сатирика очевидно окорбляла мысль о томъ, что какая-нибудь глупая Марья Потапьевна или еще болѣе глупая Нонночка найдутъ въ его писаніяхъ веселое развлеченіе для себя. Это и теперь можетъ, конечно, случиться, и тутъ собственно нѣтъ ничего оскорбительнаго, хотя увеселять Марью Потапьевну и Нонночку не особенно лестно и пріятно. Но еслибы Салтыковъ вздумалъ служить «искусству для искусства», и распустилъ свой искрометный заразительный юморъ по-вѣтру, не сдерживая его опредѣленной, сознательно выработанной программой, мы имѣли бы не Щедрина, какимъ теперь его знаемъ, не великаго будильника, а именно только блестящаго писателя «по смѣшной части». Его писаніями увеселялись бы тѣ, кому и безъ того живется весело, и увеселялись бы можетъ быть на счетъ и въ ущербъ тѣхъ, кому живется слишкомъ горько. Къ счастью, щедринская единственная «свѣтящая точка» не имѣла ничего общаго съ двусмысленнымъ искусствомъ для искусства. Это не былъ кумиръ, ревниво требующій исключительнаго поклоненія, это была дѣйствительно «свѣтящая точка», единственная въ томъ смыслѣ, что по обстоятельствамъ жизни сатирика въ ней и только въ ней сосредоточивались всѣ лучи жизни. Въ своей страстной привязанности къ литературѣ Салтыковъ дошелъ постепенно до того, что всѣ явленія жизни — крупныя и мелкія, трагическія и комическія, яркія и блѣдныя, возвышенныя и отвратительныя— оказались ничтожными въ сравненіи съ литературой и получили для него интересъ только въ своемъ литературномъ отраженіи. Это было бы уродство, если бы онъ въ то же время не требовалъ отъ литературы, чтобы она, въ свою очередь, отражала въ себѣ всѣ явленія жизни. При этомъ условіи его восторженныя разсужденія о литературѣ являются только оригинальными комментаріями къ евангельскому тезису: «въ началѣ бѣ Слово».

Въ «Кругломъ годѣ» нѣсколько скучающихъ въ Ниццѣ русскихъ людей придумываютъ развлеченіе: составляютъ изъ себя «коммиссію объ искорененіи» сначала «всего», а потомъ спеціально литературы, ибо при ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что «ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена литература». Когда одинъ изъ членовъ коммиссіи предложилъ «одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень»—авторъ не выдержалъ и произнесъ защитительную

рѣчь, въ которой, между прочимъ, читаемъ:

„Милостивые государи! Вамъ, конечно, не безъизвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: semper manent, in saecula saeculorum! Да, господа, литература не умретъ! Не умретъ во вѣки вѣковъ!.. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ,—одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята изъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Не смотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, при которомъ можно бы было съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеею о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ“.

Въ томъ же «Кругломъ годѣ» племянникъ Ѳединька Неугодовъ сообщаетъ автору о своихъ служебныхъ успѣхахъ и между прочимъ о томъ, что онъ засѣдаетъ въ коммиссіи «о мѣрахъ, которыя надо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія». Авторъ освѣдомляется, не предстоятъ-ли въ томъ числѣ какія-нибудь мѣропріятія по адресу литературы. Ѳединька отвѣчаетъ: «Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать, на случай свѣтопреставленія, гимнъ». Въ дальнѣйшемъ разговорѣ свѣдѣніе это даетъ автору поводъ для слѣдующаго замѣчанія: «Даже коммиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія—и та прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть можетъ и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено». Но и независимо отъ этого отдаленнаго событія, авторъ всѣми возможными способами старается убѣдить суроваго Ѳединьку Неугодова, что гнать литературу не годится, что она даже ему, Ѳединькѣ, необходима. «Даже дамочки отвернутся отъ тебя—говоритъ онъ,—ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не о лишеніи правъ состоянія, а о Дюма-фисѣ, о Бело, о Монтепэнѣ, т.-е. всетаки о литературѣ... Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь—все, все идетъ оттуда. Если-бы не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами...» И далѣе: «Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, похвальнѣе, дороже образа, представляемаго литературой; я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами».

Не черезчуръ-ли ужъ это? Не безумно-ли слѣпа та любовь къ литературѣ, которая обнимаетъ даже «московскихъ кликушъ» и литературные сюжеты для разговора съ «дамочками» въ свободное отъ жестикуляцій время? Есть вѣдь въ литературѣ своего рода волки и овцы, и нельзя же любить единовременно и овцу и волка,—чѣмъ-нибудь да надо пожертвовать. Есть литература, зовущая къ истинѣ, къ подвигу, къ идеалу, и есть литература пасквиля, доноса, лжи, скоморошества, издѣвательства надъ честью и совѣстью. Салтыковъ на себѣ испыталъ всю низкую злобу, на которую способна эта послѣдняя. И не ему бы, кажется, какъ лично претерпѣвшему и какъ свидѣтелю многихъ чужихъ претерпѣній, простирать любящія объятія къ литературѣ вообще.

Дѣло объясняется очень просто. «Осложненія и уклоненія» въ родѣ «московскихъ кликушъ» и прочаго печальнаго или позорнаго отребья литературы «порою бываютъ мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся незыблемыми». «Таково мое глубокое убѣжденіе,—прибавляетъ сатирикъ, — не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь, мнѣ было бы больно жить». Салтыковъ желаетъ, чтобы вся жизнь, во всѣхъ ея подробностяхъ, со всѣми ея мучительствами и мученіями, возвышенностями и низменностями, радостями и печалями, отражалась въ «свѣтящей точкѣ» литературы. Чтобы было все равно, какъ въ сказкѣ: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ мѣсяцъ и въ теремѣ мѣсяцъ. Пусть все, что пресмыкается и летаетъ, смѣется и плачетъ, торжествуетъ и терпитъ пораженіе въ жизни, — пусть все это отражается въ литературномъ зеркалѣ. «Литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ». Но никто, никакая посторонняя сила не должна сюда вмѣшиваться, бросая свой мечъ Бренна на ту или другую чашку вѣсовъ, оказывая покровительство однимъ элементамъ литературы и насильственно подавляя другіе. Безъ этого посторонняго вмѣшательства все само собой перемелется, и животворящая мощь литературы вынесетъ изъ

свободной борьбы мнѣній только чистое, свѣтлое, а вся муть осядетъ на дно житейскаго моря и пропадаетъ тамъ пропадомъ. Туда ей и дорога, а не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ сами по себѣ московскіе кликуши и литературные сюжеты для игривыхъ собесѣдованій съ «дамочками» представляли что-нибудь цѣнное. При полной свободѣ печати вредъ, приносимый ими, былъ бы ничтоженъ,—они растаяли бы въ лучахъ правды, яко таетъ воскъ отъ лица огня, потому что, въ концѣ-концовъ, не могутъ они выдержать открытую, прямую борьбу съ «усиліями честной мысли». Еслибы же они и сохранились частью, то лишь въ качествѣ Сенькиной шапки, въ качествѣ подлиннаго выраженія аппетитовъ извѣстной части общества. Они были бы даже полезны этою подлинностью выраженія совершенно опредѣленныхъ житейскихъ теченій и настроеній. Истина не манна небесная, питавшая евреевъ въ пустынѣ. Она не готовая съ неба людямъ сваливается, а достигается трудными путями всесторонняго изслѣдованія, и на путяхъ этихъ нельзя обойдтись безъ заблужденій. Но истина и заблужденіе должны быть поставлены лицомъ къ лицу, безъ посторонникъ покровителей, хотя бы и истины, безъ постороннихъ препятствій, хотя бы и заблужденію.

Такъ объясняются странныя на первый взглядъ указанія Салтыкова на заслуги Бело и признанія въ любви къ московскимъ кликушамъ. Область литературы была для него до такой степени священна, что самымъ ненавистнымъ ему элементамъ онъ предоставляетъ какъ бы право убѣжища въ ней. Такое право убѣжища признавалось въ старые годы за храмами, куда могъ правомѣрно укрыться самый отъявленный и уличенный преступникъ. По мнѣнію Салтыкова, разъ человѣкъ выступилъ на литературное поприще, онъ уже тѣмъ самымъ становится неприкосновеннымъ и подлежитъ лишь литературному же суду и расправѣ. Салтыкову казалось непререкаемо яснымъ, что на опубликованіе, путемъ печати, невѣрныхъ фактовъ можно и должно отвѣчать только опроверженіемъ и опубликованіемъ фактовъ вѣрныхъ; на неправильную аргументацію—аргументаціей правильной; на литературное нападеніе—литературной же защитой. Онъ былъ въ этомъ отношеніи радикальнѣйшимъ изъ радикаловъ. Въ 1880 г. онъ былъ за границей, лѣчился и писалъ въ *Отечественныя Записки* статьи, озаглавленныя «За рубежемъ». Мимоходомъ сказать, мнѣ, завѣдывавшему тогда редакціей *Отечественныхъ записокъ*, приходилось подчасъ туго отъ той нетерпѣливой настойчивости, съ которою Салтыковъ требовалъ свѣдѣній о той или другой статьѣ, о цензурныхъ опасностяхъ, о томъ, когда выйдетъ наша книжка и т. п. Онъ и за границей былъ полонъ своимъ любимымъ дѣломъ; мыслью и сердцемъ жилъ въ редакціи. Не даромъ онъ писалъ въ «За рубежемъ»: «Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и гряди; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ право не легко». Такъ вотъ въ этомъ самомъ 1880 году шли довольно оживленные толки о предстоящей замѣнѣ административнаго воздѣйствія на литературу воздѣйствіемъ судебнымъ. Салтыковъ отнюдь не радовался этой замѣнѣ. Газетные толки о ней онъ отмѣтилъ въ «За рубежемъ» нѣсколькими ворчливыми страницами на ту тему, что чѣмъ же собственно «судебные скорпіоны» лучше «скорпіоновъ административныхъ?»

Литература неприкосновенна, но за то она честно исполняетъ свои обязанности, зоветъ общество къ добру и правдѣ, караетъ зло и неправду... Таковъ былъ идеалъ Салтыкова,—идеалъ, слишкомъ удаленный отъ дѣйствительности. Этотъ разладъ дѣйствительности съ идеаломъ и былъ тѣмъ ядомъ, которымъ литература напоила сердце сатирика, хотя литература же освѣтила его жизнь.

Салтыковъ очень интересовался исторіей новѣйшей русской литературы и часто, въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ, задавалъ себѣ мучительный вопросъ,—отчего все это такъ странно и печально и срамно вышло? Исходнымъ пунктомъ его размышленій были обыкновенно сороковые годы. Литература того времени отнюдь не была его идеаломъ, хотя бы уже потому, что она была связана по рукамъ и по ногамъ. Были въ ней и такіе изъяны, которые стояли внѣ прямыхъ отношеній со связанностью. Тѣмъ не менѣе ей удалось, какъ говоритъ Салтыковъ въ «Кругломъ годѣ», — «отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій». Двѣ черты особенно характерны для литературы сороковыхъ годовъ. Во-первыхъ, это была литература серьезно убѣжденная; во-вторыхъ, она не имѣла доступа къ практической жизни. Нынѣ убѣжденность исчезла, влеченіе къ идеаламъ сгинуло, традиція литературной брезгливости оборвалась и вмѣстѣ съ тѣмъ литература вступила въ общеніе съ жизнью, съ практическою злобою дня. Есть-ли какая-нибудь причинная связь между серьезною

убѣжденностью литературы сороковыхъ годовъ и ея изолированностью, между нынѣшнимъ оскудѣніемъ идеаловъ и общеніемъ литературы съ практическою жизнью? Салтыковъ рѣшительно отвѣчаетъ: нѣтъ. «Изолированность,—говоритъ онъ,—конечно имѣетъ свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно, еслибъ эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы». Общеніе съ жизнью «всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы». Оно само по себѣ не могло бы ни умалить идеаловъ литературы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Напротивъ, идеалы могли бы найти здѣсь для себя лишь поправку, опору и развитіе, а никакъ не смерть. Но—

„на дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ „не твое дѣло“ настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ-силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ въ концѣ-концовъ оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горше и чувствительнѣе этой?“

И въ разсказѣ «Похороны» Салтыковъ со взходомъ вспоминаетъ то время, когда «была замкнутость, явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ».

Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» Салтыковъ опять возвращается къ этой терзающей его темѣ. На этотъ разъ онъ сравниваетъ литературу сороковыхъ годовъ со сказочной царевной, которая «была заключена въ неприступномъ чертогѣ и только дремала, окутанная сновидѣніями». «Но въ основѣ этихъ сновидѣній,—продолжаетъ онъ,—лежало «человѣчное», такъ-что ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и «замаранность» была въ то время явленіемъ исключительнымъ, ибо гдѣ же и какъ могла «замараться» царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ?» Она пыталась временами выглянуть изъ своего очарованнаго замка, выйти изъ сферы возбужденія благородныхъ чувствъ вообще, но тотчасъ же получала щелчокъ и вновь удялялась въ волшебные чертоги. А когда выходъ въ жизнь былъ ей наконецъ предоставленъ, она, замученная и заподозрѣнная, столкнулась съ хлынувшей въ литературу «улицей», и перевѣсъ оказался не на ея сторонѣ. Литература въ наше время повидимому чрезвычайно оживлева, но, въ сущности, это вовсе не литература, «это только шумъ и гвалтъ взбудораженной улицы, это нестройный хоръ обострившихся вожделѣній, въ которомъ главная нота, по какому-то горькому фатализму, принадлежитъ подозрительности, сыску и безшабашному озлобленію». «Дѣло въ томъ, что вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, улица представляетъ собой только матеріалъ для литературы, а у насъ, напротивъ, она господствуетъ надъ литературой. Во всѣхъ видахъ господствуетъ: и въ видѣ частной иниціативы, частнаго насилія, и въ видѣ непререкаемо-возбраняющей силы».

Въ «Пестрыхъ письмахъ» отмѣтчикъ и корреспондентъ, а также трактирный завсегдатай Подхалимовъ, разсказывая автору о позорныхъ нравахъ, господствующихъ въ его газетѣ, нахально замѣчаетъ: «Печать-то вѣдь сила? Такъ-ли, отче?» Эти слова поражаютъ автора. Онъ вспоминаетъ, что гдѣ-то, когда-то онъ слыхалъ эти самыя слова, но не въ этой обстановкѣ и не изъ устъ Подхалимова. Да, онъ слыхалъ эти слова, вѣрилъ въ нихъ, гордился ихъ смысломъ, но «никогда, никогда, даже въ самые черные дни не могъ себѣ представить, чтобы сила печати могла осуществиться въ тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ узналъ ее здѣсь, въ эту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ?» Размышляя о причинахъ этого зловолшебнаго явленія, Салтыковъ приходитъ къ такому заключенію. Въ ту достопамятную пору, когда литературѣ были не то чтобы уже настежь отворены, но всетаки пріотворены двери въ практическую жизнь, разныя литературныя направленія оказались слишкомъ несходными, чтобы придти къ какому - нибудь соглашенію. Это и понятно, пока рѣчь идетъ о соглашеніи по существу. «Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и сама-по-себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго». Соглашенія по этому пункту не состоялось, общаго литературнаго дѣла не оказалось. Мало того: «въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества, въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслій, свидѣтельствовав-

шихъ о полномъ отсутствіи дисциплины». Слова «печать», «литература» утратили всякій объединяющій смыслъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно должно было пасть и общественное значеніе литературы.

Итакъ, та единственная точка, которая освѣщала и грѣла Салтыкова съ измалѣтства и до сѣдыхъ волосъ и до могилы, оказалась безсильною, поруганною. Онъ никогда не терялъ увѣренности, что это пройдетъ, какъ сонъ, какъ тяжелый кошмаръ, и свѣтящая точка разгорится и все освѣтитъ и согрѣетъ. Но дѣйствительность всетаки обдавала его ужасомъ и отвращеніемъ. Чтобы оцѣнить всю глубину этого ужаса и этого отвращенія, надо помнить, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, совершенно исключительно преданнымъ литературѣ, для котораго въ ней вся жизнь сосредоточилась. И въ довершеніе ужаса литература, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ ее понималъ Салтыковъ, гибла, благодаря, въ значительной степени, собственнымъ своимъ порожденіямъ. Это было какъ бы матереубійство. Въ самомъ храмѣ литературы, въ которомъ такъ благоговѣйно молился Салтыковъ и чистоту котораго онъ такъ оберегалъ, раздавались дикіе окрики: «мошенники пера, разбойники печати!» Салтыковъ справедливо говорилъ, что если эти, въ сущности совершенно безсмысленныя, но вполнѣ постыдныя слова, появились въ литературѣ, такъ значитъ и подлинно въ ней завелись мошенники пера и разбойники печати. Дѣйствительно, кто, кромѣ таковыхъ, осмѣлится сказать эти слова клеймя ими не шантажъ, не пасквиль, не клевету, а «образъ мыслей»?

Объ этихъ измѣнникахъ общему литературному дѣлу Салтыковъ говорилъ часто, но говорилъ, какъ публицистъ, и ни разу не возсоздалъ эту позорную фигуру, какъ художникъ, что охотно дѣлалъ съ другими литературными типами. Онъ точно боялся, что у него не хватитъ красокъ для художественнаго воплощенія объекта его особеннаго, преимущественнаго негодованія. Слишкомъ это негодованіе было сильно, и охваченный имъ художникъ не могъ объективировать волновавшее его явленіе во всей его жизненной цѣльности. Но онъ подходилъ къ этой задачѣ. Такова удивительная сказка «Христова ночь», въ которой воскресшій Богъ благословляетъ всю природу, благословляетъ людей, пострадавшихъ отъ неправды, указываетъ путь спасенія всѣмъ творящимъ неправду,—всѣмъ, кромѣ предателя-Іуды...

Если, однако, Салтыковъ скорбѣлъ объ отсутствіи или распаденіи общаго литературнаго дѣла, такъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ исключалъ изъ своихъ симпатій только измѣнниковъ общему дѣлу печати. Еслибы эти измѣнники не были измѣнниками, т. е. не прибѣгали бы къ пріемамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ литературной полемикой, они были бы въ глазахъ Салтыкова всетаки врагами. И не одни они. Напрасно стараются увѣрить, что Салтыковъ стоялъ внѣ партій. Его великій талантъ поднималъ его надъ всѣми нашими партіями, но умомъ и сердцемъ онъ принадлежалъ вполнѣ, детально опредѣленному направленію. Утверждать противное, значитъ забывать не только такіе частные факты, какъ полемика Салтыкова со «Старѣйшей Всероссійской Пѣнкоснимательницей», но и тотъ общій фактъ, что онъ былъ редакторомъ журнала съ совершенно опредѣленной физіономіей. Мнѣ кажется, что съ точки зрѣнія самого покойника нельзя нанести его тѣни большаго оскорбленія, какъ это забвеніе его редакторской дѣятельности. Онъ очень дорожилъ ею. Я помню то глубокое огорченіе, которое причинило ему закрытіе *Отечественныхъ Записокъ*. Огорченъ онъ былъ не только фактомъ закрытія, который обрывалъ его любимую дѣятельность и заставлялъ его идти писать, какъ онъ выражался, «въ чужое мѣсто»; онъ огорчался и формой, въ которую былъ облеченъ прискорбный фактъ,— формой, до извѣстной степени какъ бы выдѣлявшей лично редактора изъ общей бѣды журнала. Говорятъ, будто онъ часто расходился со «своими». Неправда, со своимъ журналомъ онъ никогда не расходился. Но онъ держался того мнѣнія, что «довольно странно представить себѣ Бѣлинскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ» («Похороны»). Многіе изъ тѣхъ, кто хотѣлъ бы нынѣ посчитаться съ великимъ покойникомъ хоть «свойствомъ», если не родствомъ, получали отъ него въ свое время хорошіе щелчки; но онъ ихъ никогда и не считалъ «своими».

Безъ сомнѣнія, условія русской печати не особенно благопріятствуютъ образованію опредѣленныхъ литературныхъ партій и направленій. Салтыковъ понималъ это и скорбѣлъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ его требованію, чтобы въ литературѣ отражались всѣ оттѣнки жизни. Въ «Мелочахъ жизни» онъ сопоставляетъ европейское газетное дѣло съ русскимъ. Въ Европѣ дѣло поставлено такъ: «правильна или неправильна идея, полезно или вредно направленіе, которому служитъ данная газета, это вопросъ особый; но несомнѣнно, что и идея, и направленіе существуютъ, что они высказываются въ каждой строкѣ журнала, не смѣшиваясь ни съ какими другими идеями и направленіями. Издатель знаетъ, что онъ издаетъ; подписчикъ знаетъ, на что онъ подписывается». У насъ,

конечно, должно бы было быть то же самое, потому что это нормальный порядокъ. Но, по обстоятельствамъ, наши газеты распредѣляются только по двумъ категоріямъ: ликующихъ и трепещущихъ. «Содержаніе для первыхъ представляетъ веселая диффамація и всѣхъ сортовъ балагурство, иногда, впрочемъ, замѣняемыя благонамѣреннымъ бѣшенствомъ; содержаніемъ для послѣднихъ служитъ агонизирующая тоска въ виду завтрашняго дня и ежедневная разработка шкурнаго вопроса». Затѣмъ рисуются соотвѣтственные типы газетчиковъ: Иванъ Непомнящій и Ахбѣдный. Въ концѣ-концовъ, оба они равно погрязаютъ въ «мелочахъ жизни». Но Непомнящій погрязаетъ съ веселіемъ, потому что за душой у него нѣтъ никакой идеи, никакого направленія,—онъ просто кувыркается и самъ не знаетъ, откуда и зачѣмъ онъ появился на аренѣ газетной дѣятельности; за-то онъ знаетъ, что прочно приладился къ даннымъ условіямъ и что ничто не грозитъ ему ни завтра, ни послѣ завтра. Ахбѣдный, напротивъ, очень хорошо знаетъ, зачѣмъ онъ явился въ литературу, но вынужденъ ежедневно дрожать надъ вопросомъ: «пройдетъ или не пройдетъ?».

«Русскій читатель, защити!»—вырывается у Салтыкова въ разсказѣ «Похороны». А въ «Мелочахъ жизни» онъ дѣлаетъ маленькій смотръ русскимъ читателямъ. Есть «читатель-ненавистникъ», есть «солидный читатель», есть «читатель-простецъ». На всѣхъ на нихъ плоха надежда. Есть, наконецъ, «читатель-другъ». Есть онъ, Салтыковъ въ этомъ не сомнѣвается, но этотъ читатель заробѣлъ, затерялся въ толпѣ, и между нимъ и писателемъ нѣтъ постояннаго непосредственнаго общенія. Временами общеніе становится возможнымъ. «Такія минуты,—говоритъ сатирикъ,—самыя счастливыя, которыя испытываетъ убѣжденный писатель на трудномъ пути своемъ». Но «покуда мнѣнія читателя-друга не будутъ приниматься въ разсчетъ на вѣсахъ общественнаго сознанія съ тою же обязательностью, какъ и мнѣнія прочихъ читательскихъ категорій, до тѣхъ поръ вопросъ объ удрученномъ положеніи убѣжденнаго писателя останется открытымъ».

У Салтыкова было много читателей-друзей. Пускай же они памятуютъ, какъ любовно относился къ нимъ суровый сатирикъ, какъ размягчалось его сердце при мысли о нихъ. Въ союзѣ убѣжденнаго писателя съ читателемъ-другомъ онъ видѣлъ залогъ торжества литературы—конечно, не той литературы, которая въ своемъ злобномъ предательствѣ или безпутномъ скоморошествѣ уподобляется нечистоплотному и неразумному животному басни, подрывавшему корни дуба, лишь бы сейчасъ наглотаться желудей. Животное это достигаетъ своей цѣли, — наѣдается желудями, но вмѣстѣ съ тѣмъ печатное слово лишается того уваженія и вліянія, которыя ему приличествуютъ.

Да возродится же, хоть въ память Салтыкова, союзъ убѣжденныхъ писателей съ читателями-друзьями...

II.

Вѣра въ будущее.

Когда на могилѣ Салтыкова пѣли «вѣчную память», то многимъ вѣроятно приходило въ голову, что вотъ въ данномъ случаѣ это слово не минется, что это не просто составная часть обряда, для всѣхъ покойниковъ одинаковаго, а точная формула подлиннаго и несомнѣннаго факта. Ничто не вѣчно подъ луною, прейдетъ и сама земля и солнце когда-нибудь погаснетъ, а потому говорить о чьей бы то ни было вѣчной памяти мы можемъ только въ условномъ смыслѣ. Но достовѣрно, что пока не перестанетъ звучать русская рѣчь, Салтыковъ не забудется. А до этого во всякомъ случаѣ такъ далеко, такъ далеко, что мы въ свой человѣческой ограниченности смѣло можемъ называть это вѣчною памятью. Не даромъ Салтыковъ, будучи литераторомъ до мозга костей, находилъ, какъ мы видѣли, что ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ. Не даромъ онъ постоянно думалъ о будущемъ и о судѣ потомства.

Мнѣ кажется, что можетъ быть установлено извѣстное соотвѣтствіе, извѣстная пропорціональность между тою долею вниманія, которую человѣкъ удѣляетъ будущему, и тою долею вниманія, которою его, въ свою очередь, отдариваетъ будущее, между его заботами о потомствѣ и степенью его долговѣчности въ памяти потомства. Въ этой пропорціональности нѣтъ ничего мистическаго. Она объясняется очень просто. Человѣкъ, не заглядывающій въ будущее дальше завтрашняго дня, развѣ только случайно и въ видѣ исключенія, подъ вліяніемъ какого-нибудь аффекта, совершитъ нѣчто такое, что могло бы увѣковѣчить его имя. Вообще же говоря, ему нѣтъ резона строить вѣковѣчное зданіе, и натурально, что, не оставивъ послѣ себя никакихъ слѣдовъ, онъ на слѣдующій же послѣ смерти день забывается. Такой человѣкъ фатально обреченъ на пустяки, не имѣющіе никакой цѣны въ глазахъ слѣдующихъ поколѣній. Всегда жертвуя будущимъ для настоящей минуты, онъ можетъ, конечно, провести эту минуту очень пріятно, — хорошо поѣсть и попить, вывернуться, не разбирая средствъ, изъ

труднаго положенія, достигнуть степеней извѣстныхъ и т. д.; но слѣдующая же минута можетъ въ прахъ разнести этотъ пріятный карточный домикъ и посрамить его строителя, а послѣ смерти ничего, кромѣ праха, отъ него не останется. Можетъ быть, конечно, причина и слѣдствіе должны въ этомъ случаѣ помѣняться мѣстами. Можетъ быть человѣкъ минуты именно потому и не заглядываетъ въ сколько нибудь отдаленное будущее, что неспособенъ создать что-нибудь вѣковѣчное, — но извѣстная пропорціональность здѣсь всетаки есть. Есть она и въ противоположномъ случаѣ, когда человѣкъ упорно, пристально вглядывается въ будущее, болѣетъ или радуется за него, видитъ въ немъ и наслѣдника, и судью настоящей минуты. Будущее, безконечно большее, чѣмъ та точка настоящаго, въ которой онъ находится, естественно налагаетъ на него высокія и трудныя обязательства и фатально побуждаетъ къ дѣятельности, которой предстоитъ «вѣчная память». Опять-таки можетъ быть и здѣсь надо переставить слѣдствіе на мѣсто причины и обратно: можетъ быть только тѣ и способны загладывать въ болѣе или менѣе отдаленное будущее, кому отпущены силы совершать великія, вѣковѣчныя дѣла. Такъ-ли, сякъ-ли, но большой человѣкъ не довольствуется настоящимъ,—ему тѣсно въ немъ, его тянетъ къ будущему, и онъ достигаетъ вѣчной памяти. Онъ человѣкъ вѣчности.

Мнѣ скажутъ: а Тамерланы съ Атиллами? А Нероны съ Калигулами и разные другіе изверги человѣчества? Да, этимъ гарантирована вѣчная память, и пройдутъ еще и еще вѣка, а имена ихъ не померкнутъ въ потомствѣ, хотя они, по всей вѣроятности, не особенно обезпокоивали себя мыслями о будущемъ. Но, во-первыхъ, для такого оборота дѣла нужно огромное, изъ ряда вонъ выходящее злодѣйство, а во-вторыхъ, и эти, а иногда и не столь крупные злодѣи, хотя и поступаютъ въ вѣдѣніе исторіи, но съ минусомъ, заклейменные знакомъ отрицанія. И если человѣку минуты совершенно наплевать на судъ потомства и исторіи, то человѣкъ вѣчности съ трудомъ можетъ представить себѣ что-нибудь ужаснѣе налагаемаго исторіей клейма отверженія. Человѣкъ вѣчности и въ настоящемъ живетъ не только этимъ настоящимъ, а также и грядущими событіями, и послѣ смерти живетъ своимъ наслѣдствомъ въ средѣ оставшихся жить. Само-собою разумѣется, что между человѣкомъ вѣчности и человѣкомъ минуты есть множество переходныхъ ступеней, сообразно которымъ длится всѣмъ воспѣваемая, но не всѣми получаемая «вѣчная память». Тамерланы же и Калигулы остаются въ памяти потомства лишь въ качествѣ чудищъ, ничего не внесшихъ въ общее дѣло человѣчества, никакихъ положительныхъ слѣдовъ на землѣ не оставившихъ.

Однажды, по нѣкоторому особенному случаю, мы разговорились съ Салтыковымъ о картинѣ Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сраженіе съ гуннами», — не помню, какъ она называется. На этой картинѣ, внизу, на землѣ, гунны дерутся съ римлянами и ихъ союзниками, а вверху, на небѣ, души погибшихъ въ сраженіи продолжаютъ яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробномъ продолженіи земной битвы. Въ немъ, въ его личности, эта мысль получила свое осуществленіе: онъ умеръ, но живетъ и продолжаетъ свою битву жизни; мнѣ кажется, именно потому, что онъ при жизни много жилъ будущимъ. Онъ много думалъ о потомствѣ и потомство отдариваетъ его вѣчной памятью.

Въ самомъ дѣлѣ, я не знаю писателя, ко тораго мысль о будущемъ, какъ о наслѣдникѣ и судьѣ настоящаго, посѣщала бы такъ часто, какъ Щедрина. И это удивительно хорошо дополняетъ и поясняетъ его мысль о родственности литературы съ вѣчностью. Хотѣлъ-ли онъ показать ничтожество какого-нибудь безпардоннаго писаки въ родѣ Ивана Непомнящаго или Подхалимова,—онъ говорилъ: этотъ человѣкъ не понимаетъ, что *scripta manent* (одно изъ любимѣйшихъ изреченій Салтыкова), да его *scripta* и въ самомъ дѣлѣ сгинутъ («Газетчикъ»). Вспоминались-ли ему наиболѣе прославившіеся гонители свѣта и правды, онъ писалъ: «Пронеслись они безплоднымъ, изсушающимъ вѣтромъ по лицу земли; разоряли, преслѣдовали по пятамъ, душили и, наконецъ, сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости. И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣй пройти мимо, чтобы не вспоминать кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ» («Круглый годъ»). Заходитъ-ли рѣчь о Балалайкинѣ, Глумовѣ, *alter ego* Щедрина, говоритъ: «Балалайкинъ—имя рекъ— не попадетъ въ исторію. Съ него достаточно и того, что онъ гдѣ-нибудь въ концѣ тома, въ ученыхъ примѣчаніяхъ фигурировать будетъ. Но Балалайкины вообще, Балайкины, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси!— тѣ краеугольный камень составятъ. А отъ нихъ пойдетъ мораль и на заманиловцевъ, проплеванцевъ, погорѣловцевъ. Потому что, кто же виноватъ, что о нихъ никакихъ свидѣтельствъ нѣтъ, кромѣ ревизскихъ сказокъ? Вотъ и скажетъ историкъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ я имѣю право заключить, что сія эпоха была эпохой распутства всеобщаго!» («Въ средѣ умѣренности

и аккуратности», «На досугѣ»). Ренегату Салтыковъ обѣщаетъ совсѣмъ особаго рода памятникъ, но всетаки памятникъ, въ загробное воздаяніе ему и въ поученіе потомству. Онъ думаетъ, что, вообще говоря, хотя ренегатовъ слегка и балуютъ, но внутренно всетаки презираютъ. «Ренегатъ, прочно утвердившійся на высотѣ—рѣдкость; но и такому обыкновенно по смерти втыкаютъ въ могилу осиновый колъ» («Письма къ тетенькѣ»). Въ другомъ мѣстѣ сатирикъ говоритъ «о тѣхъ архи-ябедникахъ, которые, при посредствѣ печатнаго станка, всю Россію опутали своею подкупною кляузою и на могилу которыхъ потомство, вмѣсто монумента, уготоваетъ осиновый колъ» («Пошехонскіе разсказы»). Іудѣ-Искаріоту онъ придумываетъ страшную казнь. Воскресшій Іисусъ обрекаетъ предателя на вѣчную мучительную жизнь передъ глазами безчисленныхъ поколѣній: «Живи, проклятый, и будь для грядущихъ поколѣній свидѣтельствомъ той безконечной казни, которая ожидаетъ предательство» («Христова ночь»).

Вездѣ—мысль о загробномъ судѣ, о судѣ грядущихъ поколѣній. Полное немедленное забвеніе и безсмертное клеймо позора, — вотъ крайности того уложенія о наказаніяхъ, которымъ руководствуется исторія. Салтыковъ утверждалъ, что нужно быть или совсѣмъ безумнымъ, или совсѣмъ безсовѣстнымъ, чтобы не понимать, что попасть въ исторію съ нехорошимъ прозвищемъ—вещь далеко не лестная». («Въ средѣ умѣренности», «Господа Молчалины»). Но такихъ совсѣмъ безумныхъ или совсѣмъ безсовѣстныхъ во всякомъ случаѣ очень много на бѣломъ свѣтѣ,— хоть прудъ пруди... Мысль о будущемъ есть привилегія избранныхъ, привилегія, конечно, драгоцѣнная, такъ какъ она раздвигаетъ естественные предѣлы личной жизни въ сторону грядущихъ вѣковъ, но и настолько тягостная, что ее могутъ вмѣстить лишь сильные и чистые. Не только не бояться суда потомства, но искать его, тяготѣть къ нему, — это доступно лишь тѣмъ, кому въ самомъ дѣлѣ нечего бояться и чью память потомство благодарно хранитъ. Многіе, слишкомъ многіе, согласны совсѣмъ не попасть въ исторію ни съ хорошимъ, ни съ дурнымъ прозвищемъ и пройдти свое земное поприще изо-дня-въ-день, лишь бы были удовлетворены ихъ маленькія эфемерныя вожделѣнія, ихъ маленькія тщеславія, маленькія злости. Ихъ не испугаешь ни клеймомъ исторіи, ни тѣмъ, что они совсѣмъ не будутъ жить въ потомствѣ. А между тѣмъ у Салтыкова можно встрѣтить даже такое опредѣленіе: «жить, *то-есть* оградить будущее идущихъ за нами поколѣній» («Письма къ тетенькѣ»). Это уже слишкомъ, конечно. Это опредѣленіе просто сорвалось у сатирика и самъ онъ отлично понималъ, что всякій имѣетъ право жить за свой личный счетъ, хотя бы уже по тому элементарному соображенію, что если поколѣніе за поколѣніемъ будетъ все жить только для слѣдующаго поколѣнія, такъ никто и никогда жить не будетъ. Но, даже оставляя въ сторонѣ этотъ случайный *lapsus*, хотя и находящійся въ тѣсной связи съ мыслью, постоянно занимавшею Щедрина, можетъ показаться наивною его угроза разнымъ проходимцамъ и негодяямъ: смотрите, молъ, коли такъ будете продолжать, такъ не попадете въ исторію, или же потомство отмѣтитъ васъ клеймомъ отверженія! — Эка бѣда, нашелъ чѣмъ пугать! — могли бы отвѣтить негодяи и просто люди минуты, — вѣдь насъ не будетъ!— Дѣйствительно, ихъ не будетъ, а широкіе горизонты общечеловѣческой солидарности на всемъ протяженіи исторіи имъ совершенно чужды, абракадабра какая-то. И поистинѣ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ были бы въ этой средѣ угрозы историческимъ забвеніемъ или исторической карой.

Но Салтыковъ нашелъ, какъ ему по крайней мѣрѣ казалось, Ахиллесову пяту и у людей минуты, даже у негодяевъ и проходимцевъ. Онъ указалъ имъ страшную кару въ потомствѣ, но не за гробомъ, а при жизни—въ дѣтяхъ.

«Я увѣренъ,—говоритъ Щедринъ,— что если бы Шешковскій могъ предвидѣть, что на страницахъ «Русской Старины» будутъ время отъ времени появляться анекдоты о его подвигахъ, то онъ отъ многаго воздержался бы... Имѣй Шешковскій хоть смутное представленіе о силѣ историческихъ обличеній, онъ сказалъ бы себѣ: «Чортъ возьми! у меня есть сынъ, у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ читать въ «Русской Старинѣ» разсказы о «малороссійскомъ борщѣ» (деликатная замѣна слова «розги»), или объ особой конструкціи креслъ, въ которое я для пользы службы (то-есть для наказанія на тѣлѣ) имѣю обыкновеніе сажать своихъ паціентовъ! Вѣдь я думалъ, что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Нѣтъ, лучше практику эту оставить!» («Господа Молчалины»).

Это всетаки еще пока указаніе на трудно воспринимаемую историческую перспективу, но уже выступаютъ на сцену дѣти, собственныя дѣти злодѣйствующаго Шешковскаго, а не только туманная масса потомства вообще. Въ тѣхъ же «Господахъ Молчалиныхъ» дѣло подвигается впередъ. Рѣчь идетъ объ очень обыкновенномъ въ нашей жизни «двоегласіи»: человѣкъ устраивается такъ, что его личная жизнь и его профессія не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но во многихъ отношеніяхъ совсѣмъ расходятся, а между тѣмъ обѣ эти струи текутъ-себѣ въ душѣ человѣка параллельно, не нарушая

своимъ двоегласіемъ его спокойствія. Иллюстрація къ этому приводится такая. Жила-была танцовщица, извѣстная танцовщица, женщина уже пожилая, вполнѣ добродѣтельная и отличная мать семейства. Совершивъ весь дневной кругъ заботъ о дѣтяхъ, она отправлялась вечеромъ въ театръ и тамъ, какъ ей надлежало по ея профессіи, «всенародно показывала свои атуры». Дѣти ничего этого не подозрѣвали,—въ театръ ихъ не пускали. Но вотъ въ одинъ прекрасный вечеръ сынъ танцовщицы, гимназистъ, соблазнился запретнымъ плодомъ и тайкомъ отправился въ театръ и видитъ: «Какая-то роскошная женщина, впереди всѣхъ, на самомъ юру, покрытая вмѣсто платья прозрачной тряпочкой, совсѣмъ, совсѣмъ нагая, стоитъ на одной ногѣ, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно, медленно выдѣлываетъ кругъ. Затѣмъ, вглядываясь въ эту женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать»...—Разсказъ обрывается этимъ многоточіемъ, авторъ не сообщаетъ, что воспослѣдовало за неожиданнымъ открытіемъ гимназиста. Это только цвѣточки драмы, ягодки—впереди.

Профессія господина Молчалина въ точности неизвѣстна; авторъ говоритъ только, что ему, автору (отнюдь не самому Молчалину), она несимпатична. Нѣкоторый намекъ на ея характеръ даетъ слѣдующая, поразительная по силѣ кисти, сцена:

«Я видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.

— Алексѣй Степановичъ!—воскликнулъ я въ ужасѣ,—вспомните, вѣдь, у васъ руки...

— Я вымылъ-съ,—отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ».

Окровавленныя руки не мѣшаютъ Молчалину не только пирогъ съ капустой разрѣзать; онѣ не мѣшаютъ ему также быть истинно добродушнымъ человѣкомъ, прекраснымъ семьяниномъ и въ частности нѣжно любящимъ отцомъ. Такова сила двоегласія и жизни изо-дня-въ-день, безъ заглядыванія въ будущее. Дѣтей у Молчалина много, и онъ счастливъ ими. Но долго-ли это счастье останется нерушимымъ? Уже появляются признаки какой-то таинственной грозы. Старшій сынъ, студентъ-медикъ и старшая дочь выражаютъ подчасъ мысли, рѣзко бьющія Молчалина по уху, и въ свою очередь нетерпимо относятся къ нѣкоторымъ мнѣніемъ отца. Онъ и дѣти уже какъ будто перестаютъ понимать другъ друга, какая-то рознь между нимилегла. А что будетъ дальше? Самъ Молчалинъ начинаетъ задумываться: «А ну, какъ Павелъ-то Алексѣичъ мой какъ ни-на-есть не доглядитъ за собой?», то-есть пойдетъ не по проторенной молчалинской дорожкѣ и, что называется, «попадется»? Авторъ смотритъ дальше отца и провидитъ не только то горе, которое молодой Молчалинъ нанесетъ старику Молчалину, если «не доглядитъ за собой». Онъ спрашиваетъ себя. «Какъ отнесутся Молчалины-дѣти къ дѣятельности Молчалиныхъ-отцовъ? Отвернутся-ли отъ нея съ суровою неумолимостью безповоротнаго убѣжденія, или же, болѣе мягкосердечные, подарятъ ей смягчающія обстоятельства... только смягчающія обстоятельства? Въ томъ и другомъ случаѣ развѣ это не казнь?» Салтыковъ думаетъ, что «тутъ, именно тутъ и таится зерно той заправской русской драмы, которой доднесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь. Итакъ, настоящая, захватывающая духъ драма найдена... Но кто же воспроизведетъ ее и когда?»

Щедринъ самъ попытался воспроизвести эту драму въ превосходномъ разсказѣ «Больное мѣсто». Только попытался, только приподнялъ одинъ уголъ занавѣси, за которою сама жизнь уже давно и актеровъ размѣстила, и неоднократныя репетиціи имъ дѣлала. Виною такой воздержности Салтыкова былъ, конечно, не недостатокъ желанія съ его стороны, а прежде всего щекотливость самой темы. Щекотливость разносторонняя. И такъ какъ обработка темы, во всей ея обширности, оказывалась неудобною, то съ тѣмъ малымъ, что онъ рѣшился эксплуатировать, Салтыковъ поступилъ съ особенною обдуманностью. Герой «Больнаго мѣста» Разумовъ есть, собственно говоря, тотъ же Молчалинъ, такимъ же упорнымъ трудомъ и смиреніемъ пробившійся на нѣкоторую высоту административной лѣстницы, съ такими же окровавленными безсознательнымъ преступленіемъ руками, и въ то же время лично добродушный, прекрасный семьянинъ и въ особенности любящій отецъ. Служилъ Разумовъ всегда «по сущей совѣсти» и можетъ говорить о себѣ: «мухи не обидѣлъ!» Тѣмъ не менѣе ему приходилось совершать дѣла столь жестокія, что однажды одна обездоленная мать крикнула ему на улицѣ: «сатана! сатана! сатана!» Разумовъ былъ оскорбленъ, но не мстилъ матери, потому что понималъ материнскія чувства. Есть у него сынъ Степа, единственный и тѣмъ болѣе дорогой. Старику Разумову пришлось выйти въ отставку и поселиться въ провинціи, а сынъ остался въ Петербургѣ доканчивать свое образованіе. Онъ пріѣзжалъ къ родителямъ только на лѣтнія каникулы, сперва гимназистомъ, а потомъ студентомъ. Сынъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ утѣшеніемъ родителей: учился хорошо, сердце имѣлъ нѣжное, отца и мать любилъ не менѣе, чѣмъ они его.

Все превосходно, всѣ элементы семейнаго счастія на-лицо. Но, какъ и въ исторіи Молчалина, понемногу скапливаются грозовыя тучи, подбирается на сѣдую голову Разумова кара за безсознательно совершенныя злодѣянія. Сначала пробѣгаетъ какое-то отчужденіе. — Степа охотнѣе проводитъ время съ своей молодой родственницей Аннушкой, чѣмъ со стариками родителями. Замѣчаетъ старикъ, что Степа начинаетъ держаться такого образа мыслей, который не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что имъ, старикомъ, руководило всю жизнь. Дальше — больше. Однажды Разумовъ, въ присутствіи Степы и Аннушки, разговорился на тему служебныхъ воспоминаній: какъ трудно было ладить съ начальствомъ, какъ именно онъ, а не кто другой, провелъ такое-то и такое-то мѣропріятіе. Должно быть эти мѣропріятія были изъ тѣхъ, о которыя кровавятся руки Молчалиныхъ и Разумовыхъ, потому что среди разсказовъ старика вдругъ съ шумомъ отодвинулись отъ стола два стула: «Это были стулья, на которыхъ сидѣли Степа и Аннушка. Оба разомъ молча встали и направились въ другую комнату». Старикъ понялъ въ чемъ дѣло и потребовалъ объясненія. Сынъ сначала говоритъ, что онъ, на мѣстѣ отца, не вспоминалъ бы «этого», то-есть того прошлаго, за которое, между прочимъ, обездоленная мать обругала его сатаной. Но затѣмъ молодой человѣкъ, нѣжный и любящій, проситъ только о прекращеніи разговора и обѣщаетъ никогда больше ничѣмъ не выражать своихъ чувствъ и мыслей на этотъ счетъ. Старикъ, однако, все понялъ. «Онъ думалъ, что сынъ утѣха, а вышло, что онъ—просіяніе»; просіяніе и казнь. Загрустилъ старикъ, перебирая все свое прошлое, а будущее готовило ему новый, послѣдній сюрпризъ. Невдолгѣ пришло отъ сына изъ Петербурга письмо, въ которомъ сынъ прощался съ отцомъ: онъ рѣшился на самоубійство. Мотивировалъ онъ свой поступокъ такъ: «Есть вещи, которыя заставляютъ меня глубоко страдать и о которыхъ говорятъ при мнѣ, ни мало не стѣсняясь. Иные съ похвалою, другіе—болѣе нежели съ порицаніемъ. И то и другое несносно. Когда я оскорбляюсь, то мнѣ возражаютъ, что это до меня не касается и что стоитъ только «совсѣмъ порвать», чтобы относиться къ этого рода вещамъ съ такою же объективностью, съ какою относятся къ нимъ и другіе. Но я не могу, я слишкомъ слабъ, слишкомъ люблю» и т. д. Юноша слишкомъ любитъ отца, чтобы совсѣмъ отвернуться отъ него, но вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ оскорбленъ всякимъ напоминаніемъ о позорномъ прошломъ этого отца—и умираетъ...

О талантѣ Салтыкова, объ его размѣрахъ и свойствахъ у насъ рѣчь еще впереди будетъ, и потому я не останавливаюсь на художественныхъ красотахъ «Больного мѣста»,—одного изъ лучшихъ произведеній Щедрина. Мой сухой пересказъ его фабулы не можетъ, конечно, дать никакого понятія объ этой небольшой вещи, какъ о художественномъ произведеніи. Я хотѣлъ только обратить вниманіе читателя на ту обстановку, въ которую авторъ вдвинулъ одну изъ своихъ излюбленнѣйшихъ мыслей. Старикъ Разумовъ вовсе не злодѣй самъ по себѣ, онъ только человѣкъ минуты, исполняющій «по сущей совѣсти» то, что считаетъ своимъ долгомъ, и не вглядывающійся въ мрачныя глубины этого долга. Степа опять же не какой-нибудь заносчивый молодой челевѣкъ, склонный смотрѣть сверху внизъ на отца; это не Базаровъ, грубо, пренебрежительно третирующій своихъ стариковъ, и не молодой Кирсановъ, покровительственно подсовывающій отцу *Stoff und Kraft* Бюхнера вмѣсто Пушкина, это — нѣжная, скромная, любящая, преданная душа. И всетаки грозный судъ потомства тяжелой карой обрушился на сѣдую голову Разумова...

Съ «безшабашнымъ совѣтникомъ» Удавомъ случилось нѣчто подобное: «У Удава было три сына. Одинъ сынъ пропалъ, другой—попался, третій остался цѣлъ и выражается о братьяхъ: такъ имъ подлецамъ, и надо! Удавъ предполагалъ, что подъ старость у него будутъ три утѣшенія, а на повѣрку вышло одно. Да и относительно этого послѣдняго утѣшенія онъ начинаетъ задумываться, подлинно-ли оно утѣшеніе, а не египетская казнь» («Письма къ тетенькѣ»). Эту исторію Салтыковъ разсказываетъ вкратцѣ, бѣгло, ничѣмъ не прикрывая и не украшая ея голый фактическій остовъ. Толи ему показалась недостаточно интересной казнь такого совсѣмъ уже отпѣтаго человѣка, какъ безшабашный совѣтникъ Удавъ; то-ли онъ усомнился въ самомъ фактѣ казни, — можетъ быть вѣдь съ Удава все это какъ съ гуся вода скатывается? Можетъ быть онъ, подобно своему «послѣднему утѣшенію», готовъ сказать: такъ имъ, подлецамъ, и надо! Хотя авторъ и выражаетъ надежду, что «Удавъ—авторитетъ въ своей сферѣ, а потому очень возможно, что и другой, на него глядя, задумается», но это еще вилами на водѣ писано. Изъ многихъ семейныхъ исторій, разсказанныхъ Салтыковымъ, припомнимъ хоть «Непочтительнаго Коронната» («Благонамѣренныя рѣчи»). Можно-ли ожидать, чтобы кузина Машенька, предназначившая Коронату, какъ она выражается, «юридистическую часть» и затѣмъ рѣшительно отказывающаяся отъ него, когда

онъ избираетъ себѣ медицинскую часть, — можно-ли ожидать, чтобы эта милая дама пережила при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ скорби, подобныя скорбямъ старика Разумова? Конечно, нѣтъ. Кузина Машенька прочно устроилась въ своей твердынѣ благонамѣренныхъ рѣчей: «какъ христіанка и мать, я не могу позволить», «у меня есть правила» и проч. И если, въ случаѣ какой-либо бѣды съ Коронатомъ, она не скажетъ: такъ ему, подлецу, и надо! — то только потому, что она вообще такихъ грубыхъ словъ не говоритъ. А когда Коронатъ узнаетъ, что за ея благонамѣренными рѣчами скрывается кулацко-кабацкая дѣйствительность, такъ она и ухомъ не поведетъ. Да Коронатъ по всей вѣроятности очень хорошо знаетъ, но это его вовсе не трогаетъ. Словомъ, здѣсь нѣтъ элементовъ драмы, которую Салтыковъ называетъ заправской русской драмой. Весьма возможно, что этихъ элементовъ не было бы и въ жизни Шешковскаго, даже въ томъ случаѣ, еслибы сынъ его былъ знакомъ съ содержаніемъ анекдотовъ, печатаемыхъ въ *Русской Старинѣ*. Вообще эта драма возможна, очевидно, только при наличности тѣхъ узъ нѣжной любви, какія связываютъ семью Разумовыхъ, вопреки всему остальному, всей прочей розни. Свою мечту о разбуженной судомъ потомства совѣсти, сатирикъ построилъ на элементарномъ, почти животномъ чувствѣ родительской любви. И, казалось бы, именно по своей элементарности этотъ базисъ долженъ быть и достаточно широкъ и достаточно проченъ. Но, какъ выясняется изъ показаній самого Салтыкова въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», «Господахъ Головлевыхъ», «Господахъ Ташкентцахъ», «Пошехонской старинѣ», наша семья не можетъ составить собою такой базисъ. Къ ней, вообще говоря, мудрено привить лозунгъ: «передъ дѣтьми стыдно». «Просіяніе» старика Разумова, при всемъ своемъ, дѣйствительно, духъ захватывающемъ драматизмѣ, должно быть признано явленіемъ болѣе или менѣе исключительнымъ.

Но за-то на этой почвѣ возможна и другая драма, которой Щедринъ не предвидѣлъ, если не считать предвидѣніемъ легкій намекъ, брошенный въ «Письмахъ къ тетенькѣ» отношеніями дяди Григорія Семеновича и Сенечки. Намекъ этотъ слишкомъ слабъ въ сравненіи съ тѣмъ, что могъ бы дать на эту тему Салтыковъ, еслибы остановился на ней пристальнѣе

Мысль о «заправской русской драмѣ», о судѣ потомства въ лицѣ дѣтей, занимала Щедрина въ 70-хъ годахъ, когда жизнь давала обильные матеріалы для такой постановки вопроса объ отцахъ и дѣтяхъ. Съ тѣхъ поръ утекло много воды. Недавно было во всеуслышаніе выражено мнѣніе, что для учащейся молодежи гораздо лучше заниматься азартной игрой на тотализаторѣ при скачкахъ, чѣмъ политикой. Заявлено это было не случайно какъ-нибудь, не съ полемическаго разбѣга, а въ видѣ серьезнаго аргумента въ защиту тотализатора, который, дескать, даетъ заработокъ учащейся молодежи и отвлекаетъ ее отъ политики. Этотъ поразительной аргументъ, которымъ, надо думать, не замедлятъ воспользоваться и игорные дома, въ высшей степени характеренъ. Характерно уже и то, что въ логическомъ прыжкѣ отъ политики къ тотализатору минуется вся область искусства и науки, казалось бы, обязательная для учащейся молодежи. Но это только подробность. Весь аргументъ, во всей своей «цѣлокупности», такъ и просится въ рамку щедринскихъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». И если мы дошли до того, что такія «трезвенныя» слова возглашаются всенародно, путемъ печати, то, значитъ, мы уже давно къ нимъ подходимъ: вдругъ, ни съ того, ни сего, этакое не говорится, оно подготовляется долгимъ развращеніемъ мысли и чувства. Представьте же себя молодежь, испытавшую на себѣ это долгое подготовленіе, воспитавшуюся въ немъ. Салтыковъ, устами бывшаго штатнаго смотрителя чухломскихъ училищъ, титулярнаго совѣтника Филоверитова, предложилъ нѣкоторый проектъ въ видахъ «необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувства». По этому проекту надлежитъ «пріучить молодыхъ людей къ чтенію сонниковъ или къ ежедневному разсмотрѣнію дѣвицы Гандонъ, или же занять ихъ исключительно вытверживаніемъ азбуки въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ оную изобрѣлъ Таутъ» («Дневникъ провинціала въ Петербургѣ»). Тотализаторъ, кажется, перещеголялъ эту якобы карикатуру, а онъ дѣйствительность. Что же мудренаго, если наши «оглушенныя» дѣти, дышащія этимъ зараженнымъ воздухомъ, осудятъ насъ не за какія-нибудь жестокости и подлости, а за наши «бредни», за то, напримѣръ, что мы не въ тотализаторѣ искали себѣ заработка и не занимались ежедневнымъ разсматриваніемъ дѣвицы Гандонъ? И тогда можетъ возникнуть драма, даже болѣе потрясающая, чѣмъ та, которая подкосила старика Разумова. Разумовъ во всякомъ случаѣ признавалъ и не могъ не признавать своего сына честнымъ человѣкомъ; сынъ былъ для него, правда, источникомъ тяжелой драмы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и «просіяніемъ», и «утѣхой». А мы? Подумать страшно...

Будемъ надѣяться, что эта горчайшая изъ чашъ минуетъ насъ; будемъ стараться, что-

бы она насъ миновала. Такъ поступалъ бы по крайней мѣрѣ Салтыковъ, то-есть надѣялся бы и старался.

Мелкіе люди не думаютъ о будущемъ совсѣмъ, крупные—думаютъ много, причемъ это будущее представляется имъ или мрачнымъ или свѣтлымъ. Натуры созерцательныя склонны къ мрачному взгляду на будущее, натуры дѣятельныя — вѣрятъ въ будущее. Это понятно: всякій крупный человѣкъ сознаетъ или, по крайней мѣрѣ, чувствуетъ въ себѣ силу повліять на ходъ жизни, а слѣдовательно и на будущее. Но созерцательная натура не желаетъ пускать эту силу въ ходъ, не имѣетъ внутри себя никакого стимула для такого воздѣйствія на жизнь; дѣятельная же, напротивъ, стремится къ воздѣйствію, а таящаяся въ ней сила даетъ ей увѣренность, что ея идеалы достижимы. Созерцательная натура мыслитъ, то-есть взвѣшиваетъ причины и слѣдствія и, натыкаясь мыслью на зло, просто включаетъ его въ цѣпь причинности и признаетъ его историческую законность. Дѣятельная натура этимъ не ограничивается и сама, собственной персоной, вторгается въ историческій ходъ вещей въ качествѣ причины.

Салтыковъ былъ—дѣятельная натура. По его мнѣнію, «здоровая традиція всякой литературы, претендующей на воспитательное значеніе, заключается въ подготовленіи почвы будущаго... Не успокоиваясь на тѣхъ формахъ, которыя уже выработала исторія, провидѣть иныя, которыя хотя еще не составляютъ наличнаго достоянія человѣка, но тѣмъ не менѣе не противорѣчатъ его природѣ и, слѣдовательно, рано или поздно могутъ сдѣлаться его достояніемъ,—въ этомъ заключается высшая задача литературы, сознающей свою дѣятельность плодотворною. Литература провидитъ законы будущаго, воспроизводитъ образъ будущаго человѣка» («Итоги»). Въ своихъ неустанныхъ заботахъ о будущемъ, Салтыковъ не держался, конечно, философіи Панглоса, утверждавшаго, что все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ. Напротивъ, онъ безбоязненно констатировалъ всяческое зло нашей жизни, изслѣдовалъ его причины и указывалъ слѣдствія, насколько хваталъ его глазъ. Въ этомъ даже состояла его спеціальность, но и за всѣмъ тѣмъ онъ вѣрилъ въ будущее, въ конечное торжество свѣта надъ мракомъ. Когда онъ видѣлъ, что литература не исполняетъ возлагаемыхъ на нее самою ея сущностью обязанностей, онъ объяснялъ себѣ причины этого прискорбнаго положенія вещей; онъ понималъ, что въ современной литературѣ «*должна* господствовать публицистика подсматриванья, сыска и клеветы». Онъ, однако, не мирился съ этимъ и спрашивалъ свою тетеньку, отчего же это нельзя примириться съ тѣмъ, что исторически законно? И самъ же отвѣчалъ: «Оттого, милая тетенька, что всѣ мы, яко человѣки, не только мыслимъ, но и живемъ», то-есть дѣйствуемъ и сами можемъ оказаться причиною извѣстнаго ряда явленій.

Любопытно то, въ высшей степени оригинальное представленіе, которое Щедринъ имѣлъ о духѣ зла, сатанѣ. Это совсѣмъ не что-нибудь могучее и въ этой мощи обаятельное, хотя бы и злое: «Воплощенное безстрастное неразуміе—вотъ настоящій сатана» («Больное мѣсто»). Эта же мысль получаетъ дальнѣйшее развитіе въ поразительномъ фельетонѣ «Властитель думъ», который съ обидною расточительностью вкрапленъ въ «Современную идиллію» и приписанъ перу «корреспондента»:

«Что такое сатана? Это грандіознѣйшій, презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй, который не можетъ различать ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общаго, ни частнаго, и которому ясны только чисто личные и притомъ ближайшіе интересы. Поэтому его называютъ врагомъ рода человѣческаго, пакостникомъ, клеветникомъ. И по той же причинѣ мѣсто дѣйствія ему отводятъ подъ землей, въ темномъ мѣстѣ, въ аду... Онъ ищетъ утопить въ позорѣ не только себя лично, но и все живущее, не только настоящее, но и будущее».

Но будущее постоитъ за себя. И хоть много зла можетъ натворить сатана, но справиться съ нимъ всетаки можно,—это вѣдь только презрѣннѣйшій и ограниченнѣйшій негодяй!

«Не надо думать, что общество когда-нибудь погибнетъ подъ гнетомъ унынія и что оно вынуждено будетъ воспринять хлѣбные принципы въ свои нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже въ томъ случаѣ, ежели она выступаетъ впередъ назойливо и доказательно. Надо всечасно говорить себѣ: нѣтъ, этому нельзя статься! не можетъ быть, чтобы бунтующій хлѣвъ покорилъ себѣ вселенную! Не слѣдуетъ забывать, что хлѣвные принципы обязаны своимъ торжествомъ лишь совершенно исключительнымъ обстоятельствамъ, которымъ общество ни въ какомъ случаѣ не причастно. Но вѣдь должна же когда нибудь настоящая, правильная жизнь вступить въ свои права. И она вступитъ». («Письма къ тетенькѣ»),

Можно бы было составить изъ сочиненій Салтыкова цѣлую хрестоматію вѣры въ будущее, но я ограничусь еще только одной ссылкой на двѣ—три страницы, озаглавленныя «Гіена» (въ «Сказкахъ»). Этотъ маленькій набросокъ любопытенъ какъ свидѣтельство того, что даже всякая случайная мелочь наводила Щедрина на его любимую мысль. Повидимому, ему просто попалась подъ руку книга Брема, развернутая на описаніи нравовъ гіены. Онъ немедленно приспособилъ это описаніе, во-первыхъ, къ

литературнымъ дѣламъ, а во-вторыхъ, его поразила возможность приученія, покоренія человѣкомъ такого дикаго и сквернаго животнаго, какъ гіена. Онъ говоритъ, что затѣмъ только и разсказалъ про гіену, чтобы наглядымъ образомъ показать, что «человѣческое» всегда и неизбѣжно должно восторжествовать надъ «гіенскимъ». А затѣмъ слѣдуетъ превосходная лирическая страничка на эту тему: «Человѣческое никогда окончательно не погибало, но и подъ пепломъ, которымъ временно засыпало его «гіенское», продолжало горѣть. И впредь оно не погибнетъ, и не перестанетъ горѣть—никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: освѣтить сердца и умы сознаніемъ, что «гіенство» вовсе не обладаетъ тѣми волшебными чарами, которыя приписываетъ ему безумный и злой предразсудокъ».

Сатана-ли, гіена-ли,—зло можетъ натворить много бѣдъ, можетъ временами доводить до унынія и даже отчаянія, но, въ концѣ-концовъ, оно не непреоборимо съ точки зрѣнія человѣка, по себѣ знающаго мѣру человѣческой силы и полнаго жажды дѣятельности. Пусть самъ онъ просто физически слабъ и хилъ и не такъ воспитанъ жизнью, чтобы въ открытую бороться со зломъ, — онъ вручаетъ свою вѣру въ будущее самому этому будущему въ лицѣ «дѣтей». Вы помните, какъ кончается разсказъ «Пропала совѣсть». Совѣсть, всѣми отталкиваемая и швыряемая, попадаетъ наконецъ въ сердце «маленькаго русскаго дитяти». «И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И исчезнутъ тогда всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама».

Среди крайне немногочисленныхъ положительныхъ, симпатичныхъ автору образовъ, въ писаніяхъ Щедрина одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ занимаетъ юноша, стремящійся къ добру и правдѣ. Таковъ въ «Больномъ мѣстѣ» Степа.—Таковъ въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» Коронатъ. Онъ является мимоходомъ, но вполнѣ ясенъ, благодаря ясности отношенія къ нему автора. Авторъ отечески добродушно подтруниваетъ надъ его рѣзкостью, надъ его презрѣніемъ къ общепринятымъ приличіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не только любитъ, а и уважаетъ его.— Таковъ далѣе въ «Мелочахъ жизни» Чудиновъ. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ учиться, затѣмъ «онъ началъ понимать, что за ученіемъ можетъ стоять цѣлый разнообразный строй отношеній; что существуетъ общество, родная страна, дѣло, подвигъ». Но тутъ его подкосила чахотка, и ему надо уѣзжать изъ Петербурга. Дверь ученья для него уже закрыта но онъ какъ-нибудь доберется до дома, отдохнетъ, выправится и непремѣнно выполнитъ ту задачу, которая въ послѣднее время начала волновать его. Смерть не дала ему прикоснуться къ этой задачѣ, и прославленный своей насмѣшливостью и суровостью Щедринъ плачетъ въ послѣдней строкѣ разсказа: «Умеръ человѣкъ, искавшій свѣта и обрѣвшій смерть».— Сюда же относится Юленька, внучка Ивана Михайловича въ «Дворянской хандрѣ». Молодая дѣвушка, которую дѣдъ зоветъ «мудрой», горячо убѣждаетъ двухъ стариковъ: «Заря опять придетъ, и не только заря, но и солнце! Есть добрые, не падающіе духомъ! есть! И они увидятъ солнце, увидятъ, увидятъ, увидятъ!»

Это—вѣра самого Салтыкова. Дѣйственная вѣра, ибо Салтыковъ не думалъ, что стихійный историческій процессъ самъ собой одолѣетъ сатану и приведетъ все къ наилучшему концу, безъ усилій съ нашей стороны. Эту-то дѣйственную вѣру онъ и завѣщалъ молодымъ силамъ. Оправдаютъ-ли онѣ его надежды?

III.

Отношеніе къ народу.

Едва-ли найдется много словъ, которыя подвергались бы такой трепкѣ, какая выпала у насъ недавно на долю слова «народъ». Разумѣю семидесятые и самое начало восьмидесятыхъ годовъ. Потомъ это измученное слово куда-то кануло и чуть не совсѣмъ изъ обращенія вышло. А, казалось, такое необходимое, неизбѣжное слово было... И серьезные люди были имъ заняты, и веселонравные. Нѣкоторые увѣряли даже, что оно, равно какъ и самый предметъ, имъ обозначаемый, ужъ слишкомъ много мѣста въ литературѣ занимаютъ: отъ мужика, дескать, проходу нѣтъ, изъ-за него всѣ высшія задачи духа, а также и увеселительная сторона жизни забываются. Тутъ и горячіе теоретическіе споры были, и беллетристика соотвѣтственная, а одно время «народъ» забрался было такъ высоко («выше сферы своей, словно пролетарій какой», сказалъ бы образованный гоголевскій приказчикъ), что даже въ области общей практики поднялось знамя «народной политики». Нельзя сказать, чтобы всѣ сердца были этимъ обрадованы и обнадежены, но уличная литература проворно пристроилась къ новому знамени, хотя, впрочемъ, стольже проворно отъ него отхлынула, когда явились другія знамена. А потомъ и пошелъ «народъ», какъ ключъ ко дну, и пустилъ ему въ догонку нѣкото-

рый легкомысленный писатель презрительное «*culte du peuple*».

Дѣло, впрочемъ, не въ судьбѣ слова «народъ», а въ той позиціи, которую занималъ по отношенію къ нему Салтыковъ. Позиція эта была очень сложная, какъ оно и должно было быть въ виду сложности самаго предмета. И еслибы во время трепки, задаваемой слову «народъ», всѣ трепавшіе принимали въ соображеніе эту сложность, еслибы нѣкоторые изъ нихъ не валили въ одну кучу народъ-націю, народъ-толпу, народъ-простонародье, народъ—рабочихъ людей, то получились бы, надо думать, нѣкоторые болѣе осязательные результаты, чѣмъ тѣ, какіе имѣются теперь.

Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ нѣкто Кунцъ усердно рекламировалъ изобрѣтенныя имъ кушетки, чрезвычайно удобныя для исполненія на нихъ тѣлеснаго наказанія. Выдумалъ-ли Кунцъ, кромѣ того, порохъ—неизвѣстно, но спеціальныя кушетки для сѣченія, кажется, не обогатили Кунца: ни начальство, ни частная инціатива не оцѣнили этого благодѣтельнаго изобрѣтенія. Салтыковъ по этому случаю писалъ: «Я все-таки радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ, я и самъ объяснить не могу, но мнѣ кажется, что еслибъ это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги ему за него было бы мало. А Кунцу какъ разъ въ пору» («Недоконченныя бесѣды»). Что же это такое значитъ? Почему такая очевидно любовная строгость къ Иванову и такая презрительная снисходительность къ Кунцу? Родители, воспитатели, учителя говорятъ старшему сыну или первому ученику: тебѣ-то ужъ стыдно, ты вѣдь не то, что вотъ этотъ маленькій или вотъ этотъ послѣдній ученикъ! И это понятно. Но развѣ Кунцъ маленькій или послѣдній, а Ивановъ старшій или первый? Конечно, нѣтъ. Наоборотъ, Кунцъ и старше, и по успѣхамъ выше стоитъ. За Кунцомъ прочная вѣковая культура числится, а Ивановъ чуть что не новорожденный. Совершенно поэтому несправедливо казнить его каторгой за то самое, что Кунцу въ пору. Если такъ разсудить, что Кунцъ, предлагая свои усовершенствованныя кушетки русскому начальству и русской частной инціативѣ, все-таки, по крайней мѣрѣ, хоть на чужія ему, русскія спины покушался, а Ивановъ не имѣлъ бы за себя этого оправданія, то на первый взглядъ это какъ будто и похоже на аргументъ. Но только на первый взглядъ. Прежде всего, Кунцъ ни на что не покушался. Онъ не пропагандировалъ розги, а просто говорилъ: вы употребляете розги, такъ вотъ вамъ усовершенствованіе. Но еслибы и въ самомъ дѣлѣ рѣчь шла о пропагандѣ розогъ, такъ неужто же идея братства народовъ такъ мало подвинулась къ своему осуществленію, что, напримѣръ, русскому русскія спины огорчать не годится, а испанскія или нѣмецкія ничего, можно? Нельзя, конечно, сказать, чтобы идея братства народовъ очень подвинулась впередъ въ наши дни всеобщаго приготовленія къ всеобщей дракѣ, но что касается Салтыкова, я увѣренъ, что онъ не похвалилъ бы Иванова за покушеніе и на испанскія спины. И, что всего замѣчательнѣе, сатирикъ и самъ не можетъ объяснить, почему онъ радъ, что кушетку для сѣченія выдумалъ Кунцъ, а не Ивановъ. Нѣкоторое объясненіе можно, пожалуй, почерпнуть изъ знаменитаго діалога «мальчика въ штанахъ» и «мальчика безъ штановъ» («За рубежемъ»). Нѣмецкій мальчикъ въ штанахъ благовоспитанъ, во всякомъ случаѣ благовоспитаннѣе русскаго мальчика безъ штановъ; онъ справедливо хвалится и лучшимъ питаніемъ, чѣмъ какое получаетъ его собесѣдникъ, и добрыми нравами, и наукой, и свободными учрежденіями. Ничего равносильнаго мальчикъ безъ штановъ съ своей стороны предъявить не можетъ. Однако и онъ, наконецъ, уловляетъ мальчика въ штанахъ. Изъ дальнѣйшаго разговора оказывается, что мальчикъ въ штанахъ продалъ за грошъ свою душу чорту, то есть г. Гехту, а душа мальчика безъ штановъ хотя тоже принадлежитъ чорту, то-есть г. Колупаеву, но отдана ему даромъ, безъ всякаго контракта, а слѣдовательно, пожалуй, можетъ быть и назадъ взята. Авторъ съ своей стороны находитъ, что, какъ ни велики блага цивилизаціи, которыми пользуется нѣмецкій мальчикъ, но не настолько они все-таки цѣнны, чтобы за нихъ можно было продать душу. Въ приложеніи къ спеціальнымъ кушеткамъ для порки, я думаю, это значитъ вотъ что: нехорошая вещь порка, но еще хуже, если люди сюда душу кладутъ и не о прекращеніи нехорошаго дѣла думаютъ, а ломаютъ себѣ головы надъ разными его тонкостями и усовершенствованными приспособленіями; пусть ужъ порка остается, доколѣ ей жить суждено, въ своемъ первобытномъ, неусовершенствованномъ видѣ! А такъ какъ Кунцъ вообще чорту душу продалъ, то ему, пожалуй, въ пору этими усовершенствованіями заниматься; Иванову же этого не полагается.

Эта мысль навѣрное входила въ составъ радости Щедрина, что не Ивановъ, а Кунцъ выдумалъ кушетку. Однако, по возвращеніи изъ «за рубежа» онъ встрѣтилъ «мальчика безъ штановъ», облаченнымъ не только въ штаны, а и въ полную красивую форму желѣзнодорожнаго артельщика, причемъ оказалось, что онъ теперь ужъ «по

контракту» у г. Разуваева. Это одно уже, если не колеблетъ нашего объясненія, то свидѣтельствуетъ о его неполнотѣ и односторонности.

Вообще надо сказать, какъ ни обширна, какъ ни сложна писательская дѣятельность Салтыкова, но главныя ея исходныя точки чрезвычайно просты, до такой степени просты, что даже почти не поддаются логическимъ операціямъ. Мы уже видѣли этому примѣры. Его тяготѣніе къ литературѣ въ основаніи своемъ не есть результатъ какихъ-нибудь логическихъ соображеній, это просто инстинктъ, элементарное чувство самосохраненія, и онъ самъ не могъ бы его объяснить: кто жъ его знаетъ? просто тянетъ. Онъ любитъ литературу прежде всего, какъ говорится, нутромъ и притомъ литературу вообще, всю, литературу *an sich und für sich*. Но затѣмъ появляется на сцену контролирующее и направляющее сознаніе, сознаніе до такой степени сильное и всегда бодрствующее, что не допускаетъ его ни до малѣйшихъ уклоненій отъ намѣченнаго литературнаго пути и даетъ ему возможность до тонкости разобраться въ чужихъ путяхъ и уклоненіяхъ. То же самое мы видѣли и въ его вѣрѣ въ будущее. Въ основаніи своемъ это опять-таки нѣчто сырое, непосредственное, почти физіологическое. Онъ вѣритъ въ будущее просто потому, что онъ уродился крупной и дѣятельной натурой, въ которой живутъ и силы и стремленіе повліять на ходъ вещей; въ качествѣ таковой, онъ не можетъ не вѣрить въ будущее, помимо всякихъ логическихъ доводовъ. Но опять-таки выступаетъ контролирующее сознаніе и не только не допускаетъ его до какихъ-нибудь слащавостей (которыхъ не чуждъ, напримѣръ, даже Гоголь), но даетъ возможность пророчески ясно видѣть то зло, которое должно перейти изъ настоящаго въ ближайшіе этапы будущаго. Это необыкновенно счастливое сочетаніе могучей непосредственности, богатаго сырья съ одной стороны, и силы неусыпно бодрствующаго сознанія, съ другой— составляетъ, мнѣ кажется, основную черту всей литературной физіономіи Салтыкова. Она-то и придавала особенную твердость, особенную вѣскость и устойчивость всему, что онъ дѣлалъ. Въ Салтыковѣ все непосредственно, все стихійно въ своей исходной точкѣ, все установилось «безъ размышленья, безъ борьбы, безъ думы роковой», но только въ исходной точкѣ, а въ дальнѣйшемъ развитіи подвергалось строжайшему контролю сознанія. Это, какъ я уже замѣтилъ въ первомъ очеркѣ, отражалось и на самой техникѣ его работы: яркіе образы, оригинальные обороты рѣчи, блестящія и совершенно неожиданныя сравненія возникали въ его мозгу съ чрезвычайной быстротой вы могли за этимъ слѣдить въ простомъ разговорѣ съ нимъ, но „писалъ онъ упорно и много труда вкладывалъ въ свои писанія. Можетъ быть здѣсь же слѣдуетъ искать основанія того довѣрія, которое онъ питалъ къ непосредственному чувству родительской любви, каковое чувство должно было способствовать просіянію совѣсти.

Та же самая черта сказывается въ занимающемъ насъ теперь вопросѣ. Салтыковъ самъ признается, что не можетъ объяснить, почему онъ радъ, что кушетку для порки, выдумалъ Кунцъ, а не Ивановъ. Кто же ее знаетъ?! Просто потому, что онъ любитъ Иванова, и ему было бы обидно, еслибы любимый человѣкъ занимался сквернымъ и унизительнымъ дѣломъ усовершенствованія порки, а Кунцъ, пожалуй, Богъ съ нимъ, потому чужой онъ ему. Салтыковъ понималъ одностороннность такого взгляда, если тутъ можно говорить о взглядѣ, а не просто о безотчетномъ тяготѣніи,—понималъ и самъ подтрунивалъ; но понималъ также, что ничего съ этимъ не подѣлаешь въ виду тѣхъ «внутреннихъ нитей, которыя съ самаго рожденія связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизмѣнно черезъ все наше существованіе». («Письма о провинціи»). Кунцъ, конечно, такой же человѣкъ, какъ и Ивановъ, можетъ быть даже лучше его, а всетаки Иванова, хоть бы онъ даже съ вполнѣ неумытымъ рыломъ ходилъ, не отдерешь отъ сердца. И не только самого Иванова, его чадъ и домачадцевъ, а и всю его, можетъ быть, очень убогую физическую и нравственную обстановку, весь тотъ хотя бы очень унылый пейзажъ, среди котораго онъ проводитъ свою жизнь. Еще въ «Губернскихъ очеркахъ» есть прочувствованныя страницы на эту тему. Напримѣръ:

„Я люблю эту бѣдную природу, *можетъ быть* потому, что какова она ни есть она всетаки принадлежитъ мнѣ; она сроднилась со мной точно также, какъ и я сжился съ ней; она лелѣяла мою молодость; она была свидѣтельницей первыхъ тревогъ моего сердца, и съ тѣхъ поръ ей принадлежитъ лучшая часть меня самого. Перенесите меня въ Швейцарію, въ Индію, въ Бразилію, окружите какою хотите роскошною природою, накиньте на эту природу какое хотите прозрачное и синее небо—я всетаки вездѣ найду милые сѣренькіе тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу ихъ въ моемъ сердцѣ, потому что душа моя хранитъ ихъ, какъ лучшее свое достояніе“.

Это писано давно, когда Салтыковъ еще не выработалъ того яркаго, блещущаго неожиданными искрами языка, какимъ онъ писалъ впослѣдствіи. Но тѣ-же мысли или чувства разсыпаны и въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, между прочимъ и въ «За рубежемъ». Напомню только образъ стараго

чимпандзе въ берлинскомъ зоологическомъ саду. Сквозь юморъ, которымъ сверкаетъ описаніе старой обезьяны, «оторванной отъ дорогихъ интересовъ родины и посаженной за рѣшетку», слышится настоящая, глубокая тоска по родинѣ. Чимпандзе былъ можетъ быть у себя въ родныхъ лѣсахъ исправникомъ и теперь тамъ за нимъ «числится тридцать тысячъ неисполненныхъ начальственныхъ предписаній и девяносто тысячъ (по числу населяющихъ его округъ чимпандзе) не произведенныхъ обысковъ!» И у исправника, и у тѣхъ чимпандзе, у которыхъ онъ производитъ обыски, и у прочихъ членовъ этого обезьяньяго народа есть на родинѣ собственная, привычныя имъ атмосфера, насыщенная общими имъ нравами, привычками, говоромъ, даже разумомъ. Все это дорого и близко сердцу. Такъ же дорого и близко сердцу Щедрина все сонмище Ивановыхъ, весь русскій народъ. Это совершенно непосредственная любовь, не поддающаяся логическому анализу, потому что Салтыковъ былъ настоящій, коренной русскій человѣкъ, не происхожденіемъ только, а всѣмъ складомъ, и просто естествомъ тянулся туда, «гдѣ русскій духъ, гдѣ Русью пахнетъ». Какъ и всѣ исходныя точки Салтыкова, это тяготѣніе не подлежитъ никакому вмѣненію: ни вины его тутъ нѣтъ, ни заслуги. Вина или заслуга начинаются съ того момента, когда наступаетъ работа сознанія.

Любовь къ Россіи, къ русскимъ людямъ, къ русскому народу сплошь и рядомъ представляетъ собою нѣчто въ родѣ крышки отъ Пандорина ящика, которую стоитъ только приподнять, чтобы изъ ящика хлынули пошлость, наглость, ложь, лицемѣріе, безпардонное самохвальство. И не всякій, даже искренно охваченный тою стихійною привязанностью къ русскимъ людямъ, которая жила въ Салтыковѣ, благополучно сводитъ концы съ концами въ томъ на видъ простомъ, а въ сущности очень сложномъ предметѣ, который называется: русскій народъ. Иной совершенно искренно ухватится за какую-нибудь подробность въ родѣ сарафана или сапоговъ на выпускъ и до такой степени ослѣпится ими, что и не замѣтитъ, какъ тѣмъ временемъ расплывутся куда-то подлинно важныя черты народной жизни. А о лжецахъ нечего и говорить. Тѣ очень рады, когда можно замутить воду и потомъ наловить въ ней рыбы. Мутить же воду въ данномъ случаѣ чрезвычайно легко. Стоитъ только, воздымая руки къ небу или бія себя въ грудь, погромче кричать: мы, русскіе!... русскій народъ!... историческая задача русскаго народа... Анъ, смотришь, русскій солдатикъ подъ эти возгласы пошелъ на войну на картонныхъ подошвахъ, а разница между картонными и кожанными подошвами осталась въ тѣхъ самыхъ рукахъ, которыя воздымались къ небу. Потомъ опять: мы русскіе!... русскій народъ!... Анъ и опять что-нибудь перепадетъ: какихъ-нибудь жидовъ или нѣмцевъ уберутъ и на ихъ мѣсто кричащіе сядутъ и хотя будутъ дѣлать то же самое, что дѣлали убранные жиды и нѣмцы, или даже превзойдутъ ихъ, но за-то будутъ по-русски въ банѣ по субботамъ париться, по воскресеньямъ русскіе пироги съ капустой ѣсть и отборными русскими сквернымъ словами ругаться. И патріотическія сердца возрадуются.

Собственно о патріотизмѣ Салтыкова мы будемъ говорить, когда дойдетъ очередь до «благонамѣренныхъ рѣчей». Здѣсь я замѣчу только, во-первыхъ, что, по мнѣнію Салтыкова, если еврей говоритъ: «дурака пашу», то это совершенно равнозначительно русскому: «дурака сосу» («Недоконченныя бесѣды»). Во-вторыхъ, Салтыковъ утверждаетъ:

„Идея, согрѣвающая патріотизмъ,—это идея общаго блага. Какими бы тѣсными предѣлами мы ни ограничивали дѣйствіе этой идеи (хотя бы даже пространствомъ княжества Монако), всетаки это единственное звено, которое пріобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями и страдать такими страданіями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ лишь самымъ отдаленнымъ образомъ. Воспитательное значеніе патріотизма громадно: это школа, въ которой человѣкъ развивается къ воспринятію идеи о человѣчествѣ“ („Сила событій“).

Какъ бы то ни было, «но русскій духъ» родственно милъ Салтыкову. И вотъ почему онъ радъ, что Кунцъ, а не Ивановъ изобрѣлъ кушетку для порки. Но Ивановъ не всегда такъ безупреченъ, и въ такихъ случаяхъ сатирикъ бываетъ огорченъ. Поводовъ для огорченія Ивановъ доставляетъ много, и изъ этого множества возьмемъ на первый разъ такой. Отчего, — спрашиваетъ Салтыковъ,—путешествующій англичанинъ вездѣ носитъ свой родной типъ, со всѣми его слабыми и сильными сторонами, и ничего своего не утаиваетъ, а русскій «гуляющій человѣкъ» за границей всячески лебезитъ, притворяется, отъ своего открещивается и даже готовъ при случаѣ оклеветать свое отечество? Русскій мужикъ, однако, «является самимъ собой, т. е. простымъ, непринужденнымъ, и точно также (какъ англичанину) не придетъ ему въ голову стыдиться того, что онъ русскій» («Русскіе гуляющіе люди за границей»). Такимъ образомъ въ многомилліонной массѣ Ивановыхъ оказывается какая-то щель, рѣзко отдѣляющая «гуляющихъ» Ивановыхъ отъ Иванова-мужика. Щель эта глубокая, потому что не о пустякахъ какихъ-нибудь идетъ рѣчь, не

о сапогахъ въ штаны или штанахъ въ сапоги, а о выдающейся чертѣ душевнаго склада. А «гулящіе люди», надо замѣтить, не ничтожная какая-нибудь горсть, которую и во вниманіе не стоитъ брать. Правда, относительное число ихъ не можетъ быть велико, но должно быть они представляютъ собою нѣкоторую значительную силу, потому что, какъ разсказываетъ сатирикъ, «въ Россіи они ѣздятъ на перекладныхъ и колотятъ по зубамъ ямщиковъ« («за границей они пересаживаются въ вагонъ и не знаютъ, какъ и передъ кѣмъ излить свою благодарную душу»). Читатель видитъ, что мы находимся не въ сегодняшнемъ днѣ, потому что кто же теперь ямщиковъ по зубамъ колотитъ, да и на перекладныхъ то кто ѣздитъ? Но для нашей цѣли это безразлично, мы только стараемся разобраться въ мысляхъ Салтыкова. Вся масса Ивановыхъ, первоначально какъ будто равно дорогихъ сердцу сатирика, раскалывается на двѣ группы, и въ первой изъ нихъ, меньшей числомъ, но сильной значеніемъ, оказываются такіе нравственные изъяны, что положеніе человѣка, связаннаго съ ними непосредственными, кровными узами, весьма усложняется. Узы остаются, все равно, какъ Авель и Каинъ, не смотря ни на что, остаются братьями, сыновья, надругавшіеся надъ Ноемъ, остаются его дѣтьми. Это — свои, и ничего тутъ не подѣлаешь. Но тѣмъ больнѣе чувствуется безобразіе «гулящихъ людей», тѣмъ сильнѣе возбуждаемое ими негодованіе. За то на другой группѣ, на мужикѣ, глазъ сатирика отдыхаетъ.

Обыкновенно думаютъ, что это дѣленіе всего русскаго народа на собственно народъ и отколовшіеся отъ него высшіе, правящіе классы есть и открытіе, и отличительная черта славянофиловъ, причемъ, дескать, они, именно они и одни они отдавали свои симпатіи народу въ тѣсномъ смыслѣ слова. Это далеко не вѣрно. Тотъ же Салтыковъ, будучи немногимъ моложе основателей славянофильства, принадлежа во всякомъ случаѣ одной съ ними эпохѣ развитія, но никогда не испытавъ на себѣ ихъ вліянія, совершенно самостоятельно отмѣчаетъ фактъ, составляющій будто бы ихъ открытіе, и столь же самостоятельно выражаетъ свои симпатіи народу. И это не случайно брошенная мысль, она всегда жила въ Салтыковѣ, равно какъ и во многихъ другихъ писателяхъ отнюдь не славянофильскаго лагеря. Добролюбовъ, считающійся отъявленнымъ западникомъ и во всякомъ случаѣ не имѣющій ничего общаго съ славянофильствомъ (я полагаю, что въ его время умные люди уже вполнѣ эмансипировались какъ отъ западничества, такъ и отъ славянофильства), съ полнымъ сочувствіемъ отмѣтилъ эту тенденцію, явственно проходящую черезъ всѣ «Губернскіе очерки». Дѣйствительно, стоитъ только сравнить очерки, озаглавленные «Общая картина», «Отставной солдатъ Пименовъ», «Пахомовна», съ тѣми, въ которыхъ фигурируютъ крупные и мелкіе чиновники, помѣщики, крутогорскій бомондъ, чтобы убѣдиться въ ярко выраженной симпатіи Салтыкова къ народу. Какъ справедливо указалъ Добролюбовъ, онъ не вноситъ никакой фальшивой идеализаціи въ свои изображенія народныхъ типовъ. Народъ у него является со всѣми своими недостатками, грубостью, невѣжествомъ, но вы чувствуете, что авторъ правъ, говоря, что онъ находится «подъ обаятельнымъ вліяніемъ юной и свѣжей народной силы» («Отставной солдатъ Пименовъ»). Тотъ же мотивъ слышится и въ «Невинныхъ разсказахъ» («Святочный разсказъ», «Развеселое житье»), гдѣ авторъ «ощущаетъ, что въ сердцѣ его таится невидимая, но горячая струя, которая безъ вѣдома для него самого пріобщаетъ его къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни».

Времена «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ» я назвалъ бы періодомъ безсознательнаго отношенія Салтыкова къ народу. Чиновничество и помѣщики сразу отдѣлились для него въ особую отъ собственно народа группу. И немудрено: онъ видѣлъ крѣпостное право и крымскую войну. Но затѣмъ онъ безхитростно и правдиво разсказывалъ видѣнное и слышанное имъ въ народной средѣ, не теоретизировалъ ни въ какомъ направленіи, не пытался анализировать ни свои чувства, ни предметъ, ихъ возбуждавшій. Онъ просто любовался поэтическою цѣльностью вѣры какого-нибудь отставнаго солдата Пименова и другихъ богомольцевъ и странниковъ, или отчаянною и опять-таки поэтическою удалью героя «Развеселаго житья». Это любованье осложнялось лишь скорбью о томъ гнетѣ, подъ тяжестью котораго изнываетъ народъ («Святочный разсказъ», «Миша и Ваня»). Но скорбь эта, казалось тогда, должна въ скорости потерять всякій *raison d être*. Весеннее солнце всходило надъ русской землей-вѣковыя кучи снѣга и льда таяли, и «*Русскій Вѣстникъ*», гдѣ печатались «Губернскіе очерки», шелъ во главѣ того весенне-радостнаго движенія, которому онъ же потомъ доставилъ мрачные осенніе дни. Казалось, вотъ-вотъ наступитъ на землѣ миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе, а потому и скорбь о народныхъ бѣдствіяхъ не могла приковывать къ себѣ слишкомъ пристальное вниманіе и очень отвлекать отъ непосредственнаго любованія картинами народ-

ной жизни. Весна кончилась, да и Салтыковъ выросъ, его могучая сила сознанія вступила въ свои права и обязанности.

Защищая литературу и главнымъ образомъ «*Отечественныя Записки*» отъ упрековъ въ перепольненіи мужикомъ, Салтыковъ говорилъ Ѳеденькѣ Неугодову: «Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому литература наша по-временамъ кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... *que diable!*» («Круглый годъ»). И это правда. Конечно, «соловьи и розы» какъ будто не совсѣмъ идутъ къ суровому облику нашего сатирика. Но несомнѣнны всетаки его художественные инстинкты, сказавшіеся и въ томъ любованіи картинами народной жизни, которое мы видимъ и въ «Богомольцахъ, странникахъ и проѣзжихъ», и въ «Святочномъ разсказѣ», и въ «Развеселомъ житьѣ». Тамъ положительно есть и соловьи и розы. Художнику отказаться отъ нихъ не легко. Но, продолжаетъ Щедринъ объяснять Ѳеденькѣ Неугодову:

„присмотрѣвшись къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ—герой современности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумѣется, не былъ очевидцемъ «началъ», но я не только помню, но даже лично присутствовалъ при нихъ. Я помню «Деревню», помню „Антона-Горемыку“, помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣчныя слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль объ томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ“.

Да, но тогда мужикъ былъ главнымъ образомъ, почти исключительно, человѣкъ, подлежащій освобожденію. Эта, безспорно огромная сторона его существованія заслоняла въ немъ для литературы и общества все остальное. Много благотворныхъ, какъ много, впрочемъ, и злыхъ и дрянныхъ мыслей было пущено въ оборотъ, но какіе бы обширные горизонты онѣ ни обнимали, ихъ источникъ и ихъ устье составлялъ всетаки человѣкъ, подлежащій освобожденію. И вотъ этотъ человѣкъ освобожденъ. Покончилась ли вмѣстѣ съ тѣмъ «проблема о мужикѣ»? Салтыковъ этого не думаетъ. И не только потому, что, какъ спрашиваетъ поэтъ, «народъ освобожденъ, но счастливъ-ли народъ»? Дѣло не въ счастіи или несчастіи народа, то-есть не въ немъ одномъ. Народъ представляется Салтыкову огромною загадкою, огромнаго теоретическаго интереса и огромной практической важности. Загадка эта по-истинѣ не даетъ ему покоя. Онъ пробовалъ воплощать ее въ образы. Такова, напримѣръ, «Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ». Разсказавъ эту повѣсть, Щедринъ точно и самъ съ недоумѣніемъ останавливается передъ ея моралью. Какъ это такъ вышло, что мужикъ, будучи неизвѣстно съ чего и по какому праву разбуженъ и обруганъ генералами, сейчасъ же полѣзъ на дерево, нарвалъ имъ по десятку самыхъ спѣлыхъ яблоковъ, а себѣ взялъ одно, кислое? Какъ такъ вышло, что и дальше онъ ихъ кормилъ, поилъ, наконецъ, доставилъ въ Большую Подъяческую, гдѣ они кучу денегъ загребли, а ему «выслали рюмку водки, да пятакъ серебра: веселись, мужичина!» А вышло именно такъ. Силища, очевидно, страшная, а помыкать ею такъ легко; работа египетская, а за двадцать спѣлыхъ яблоковъ приходится одно кислое. То же самое недоумѣніе и въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь». Подъ впечатлѣніемъ прекрасно удавшагося юбилея въ честь департаментскаго помощника экзекутора, сатирикъ видитъ сонъ. Въ селѣ Безкормицынѣ учитель Крамольниковъ и священникъ Возсіяющій затѣяли, въ видахъ благотворнаго воздѣйствія на крестьянъ, а также и просто въ видахъ справедливости, устроить пяти десятилѣтній юбилей въ честь крестьянина Мосеича: ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ Мосеичъ женился и тѣмъ самымъ возложилъ на себя рабочее тягло. По свидѣтельству священника, сельскихъ начальниковъ и прочихъ односельчанъ, Мосеичъ прожилъ эти пятьдесятъ лѣтъ безукоризненно: работалъ въ потѣ лица, подати своевременно вносилъ, храмъ Божій посѣщалъ, семьянинъ былъ прекрасный. На юбилеѣ учитель Крамольниковъ произноситъ длинную и горячую рѣчь на тему о великихъ трудахъ русскаго крестьянина. Рѣчь эта очень замѣчательна, даже помимо юбилея. Но Крамольникову не пришлось кончить рѣчь. Онъ только что перешелъ къ «вопросу о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?» — какъ сонъ автора, вслѣдствіе нѣкотораго посторонняго явленія, «принялъ рѣзко хаотическій характеръ».

«Ташкентство, — говоритъ Салтыковъ,— плѣняетъ меня не столько богатствомъ внутренняго своего содержанія, столько тѣмъ, что за нимъ неизбѣжно скрывается «человѣкъ, питающійся лебедой». Этотъ человѣкъ—явленіе очень любопытное, въ томъ отношеніи, что онъ не только не знаетъ,

но повидимому и не желаетъ сытости. Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравейникѣ, и до того съежился и присмирѣлъ тамъ, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышется и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни единаго живаго звука» («Господа ташкентцы»). За границей передъ Щедринымъ «воочію метался тотъ повинный работѣ человѣкъ, который, выбиваясь изъ силъ, надрываясь и проливая кровавый потъ, во награду за свою вѣчную страду получитъ кусокъ мякиннаго хлѣба. Есть что-то мучительно-загадочное въ этомъ сопоставленіи мякиннаго хлѣба и вѣчной страды» («За рубежемъ»).

Въ одной изъ сказокъ народъ изображенъ въ видѣ «Коняги». Жилъ-былъ Конь и у него было два сына: Коняга и Пустоплясъ. Пустоплясъ былъ сынъ вѣжливый и чувствительный, Коняга — неотесанный и безчувственный. И опредѣлилъ, наконецъ, Конь каждому изъ сыновей его долю: Конягѣ—солому, Пустоплясу — овесъ. Много времени прошло, вздумалось пресыщенному благополучіемъ Пустоплясу посмотрѣть, какъ его братецъ живетъ. Пришелъ, смотритъ и удивляется: бьютъ Конягу чѣмъ ни попадя, кормятъ соломой, съ утра до ночи Коняга въ полѣ работаетъ, а все живъ. Стали Пустоплясы разсуждать, отчего это Коняга живетъ, когда ему по всѣмъ соображеніямъ давно помереть надо. Одинъ говоритъ, что это отъ здраваго смысла, другой,—что это въ Конягѣ «жизнь духа и духъ жизни» дѣйствуютъ, третій приписываетъ чудо душевному равновѣсію, четвертый — привычкѣ. Такъ и остался вопросъ нерѣшеннымъ.

Эта нерѣшенность «проблемы о мужикѣ» или, какъ его также называетъ Салтыковъ, «человѣкѣ, питающемся лебедой», «человѣкѣ, повинномъ работѣ», «внѣ-культурномъ человѣкѣ», чрезвычайно безпокоитъ сатирика, изъ чего видно, что не одни пустоплясы этимъ дѣломъ заняты. Салтыковъ и самъ это очень хорошо знаетъ Въ «Письмахъ о провинціи» есть слѣдующія. въ высшей степени замѣчательныя строки:

„Есть что-то фаталистическое въ томъ, что мы всѣ завѣтныя, свѣтлыя думы наши посвящаемъ именно этой забитой, малосмысленной и подчасъ жестокой толпѣ, что самый великій мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ имѣть ничего общаго съ мыслью толпы, именно ей отдаетъ лучшую часть своей дѣятельности. Да, тутъ есть своего рода фатализмъ, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеніе, которое не хотятъ или не могутъ объяснить, а фатализмъ, объясняемый тою общечеловѣческою основой, которая именно и составляетъ соединительное звено между неразвитою толпой и наиболѣе развитою отдѣльною человѣческою личностью. Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу“.

Въ словахъ этихъ указано дѣйствительно любопытное явленіе, и мы увидимъ въ свое время, что Салтыковъ дѣлаетъ любопытные тоже выводы изъ него. Спора нѣтъ, ходятъ около толпы и пустоплясы, ходятъ иногда съ видомъ людей, горячо и самостоятельно убѣжденныхъ, такъ что могутъ даже кое-кого въ обманъ ввести. Одни изъ нихъ дѣлаютъ это тогда, когда толпа попадаетъ въ моду (это бываетъ) или вообще когда это, по обстоятельствамъ времени и мѣста, въ какомъ-нибудь отношеніи выгодно. Такіе во всякую данную минуту готовы перемѣнить одну пѣсню на другую, даже безъ всякихъ переходныхъ моментовъ. Перемѣны эти они совершаютъ съ легкимъ сердцемъ, не чувствуя никакой отвѣтственности и не принимая въ соображеніе послѣдствій. Такъ, недавно еще они натравливали «народъ» на «интеллигенцію», но имъ ничего не стоитъ и другую пѣсню запѣть. О такихъ Салтыковъ говорилъ: «Сегодня они злобно сѣютъ смуту, а завтра, ежели смута приметъ безпокойные для нихъ размѣры, они будутъ съ тою же холодною злобной кричать: «пали!» («За рубежемъ»). Но есть и другаго рода пустоплясы, практически не столь отвратительные, но въ своемъ родѣ не менѣе вредные, хотя бы тѣмъ, что они компрометтируютъ дѣло и сводятъ его къ пустякамъ и вздору. Мысли ихъ всегда сбиваются на холодную, узкую и тупую доктрину. Слова говорятся громкія и запальчивыя, но на нихъ нѣтъ слѣда искренней и живой работы мысли. Такіе пустоплясы могутъ цѣлую жизнь вертѣться на какомъ-нибудь кабалистическомъ сочетаніи словъ въ родѣ «духа жизни и жизни духа» и съ полнѣйшимъ, торжественнымъ самоудовлетвореніемъ переливать изъ пустаго въ порожнее. Или же, упершись лбомъ въ какое-нибудь рѣшеніе, присасываются къ нему, какъ устрица къ скалѣ, и боятся оглянуться по сторонамъ, какъ бы новые факты или новыя точки зрѣнія не повредили принятаго рѣшенія и черезъ это не причинили имъ, пустоплясамъ, безпокойства. Это иногда принимается за твердость убѣжденій, тогда какъ это просто безучастность и трусость мысли. Настоящаго, подлиннаго интереса къ толпѣ нѣтъ и въ этихъ пустоплясахъ, да и мысль ихъ, дряблая и вялая, не выдерживаетъ сколько-нибудь необычнаго напряженія и сколько-нибудь сложной работы, а потому труслива и склонна къ самообману. Не та-

ково положеніе тѣхъ лучшихъ людей, о которыхъ говоритъ Салтыковъ. Безпокойство—ихъ естественный удѣлъ. Конечно, и они, какъ всѣ люди, ищутъ спокойствія, но они понимаютъ, что по дешевымъ цѣнамъ его достать нельзя, то-есть имъ-то нельзя. Они безбоязненно слѣдятъ за всѣми развѣтвленіями занимающаго ихъ вопроса, какія бы горькія и трудныя перспективы передъ ними ни открывались. Обмануть себя словомъ или изворотомъ мысли они не могутъ, да и не хотятъ. Къ числу этихъ лучшихъ людей принадлежалъ и Салтыковъ. При добромъ желаніи, изъ его сочиненій можно понадергать, повидимому, самыхъ разнородныхъ и даже противорѣчивыхъ выраженій, отзывовъ, сужденій, образовъ, картинъ на тему «проблемы о мужикѣ»: рядомъ съ любовнымъ словомъ найдется жесткое, рядомъ съ угнетающей картиной—свѣтлая. И это разнообразіе можетъ привести узколобаго доктринера въ ужасъ. На самомъ же дѣлѣ это разнообразіе, свидѣтельствующее лишь о сложности изучаемаго круга явленій и о томъ упорствѣ, съ которымъ мысль Салтыкова возвращалась къ «проблемѣ», о той искренности, съ которою онъ относился къ дѣлу, можетъ быть очень легко сведено къ вполнѣ опредѣленному единству.

IV.

Честь и совѣсть.

Въ статьѣ о Глѣбѣ Успенскомъ мнѣ пришлось провести маленькую параллель между честью и совѣстью, причемъ я старался по возможности точно опредѣлить, что именно я разумѣю подъ этими словами, употребляющимися обыкновенно въ довольно неопредѣленномъ смыслѣ. Параллель эта не понравилась покойному О. Ѳ. Миллеру. Въ своей книжкѣ объ Успенскомъ онъ выразилъ мнѣніе, что слово «честь» и самое понятіе о ней тутъ совсѣмъ излишни. Дескать, слово честь слишкомъ пахнетъ феодализмомъ, рыцарствомъ, оно есть только попытка перевести на нашъ языкъ слово *honneur* «со всѣми барскими и свѣтскими принадлежностями этого термина». Не въ обиду будь сказано доброму покойнику, но онъ прибѣгнулъ въ данномъ случаѣ къ никуда не годному критическому или полемическому пріему. Если писатель употребляетъ какое-нибудь слово въ извѣстномъ, опредѣленномъ смыслѣ, то нельзя подсовывать подъ него другой смыслъ и затѣмъ обсуждать этотъ подсунутый смыслъ, оставляя, такимъ образомъ, безъ разсмотрѣнія именно то, что хотѣлъ сказать авторъ. Дѣлаю здѣсь это замѣчаніе потому, что безъ различенія чести и совѣсти мнѣ было бы трудно разобраться въ нѣкоторыхъ взглядахъ Салтыкова, а между тѣмъ можетъ быть многіе склонны разумѣть честь исключительно въ смыслѣ «барскихъ и свѣтскихъ принадлежностей этого термина». Я иначе понимаю честь въ ея противоположеніи съ совѣстью.

Прошу читателя припомнить двѣ сказки Щедрина: «Бѣдный волкъ» и «Баранъ непомнящій».

Послѣ многихъ лѣтъ душегубства и разбоя, въ нѣкоторомъ волкѣ произошелъ нравственный переворотъ. Сначала медвѣдь пристыдилъ, что этакая, дескать, жизнь, какую волкъ ведетъ, жизнь, вся наполненная убійствомъ и мыслію объ убійствѣ, позорна, и онъ, медвѣдь, на мѣстѣ волка смерть за благо почиталъ бы. Медвѣжьи доводы волкъ, однако, отпарировалъ тѣмъ, что онъ въ своей натурѣ не воленъ: хорошо медвѣдю разсуждать, когда онъ можетъ и овсомъ, и медомъ баловаться, да еще цѣлую зиму спитъ и только лапу сосетъ, а волкъ круглый годъ, каждый день, каждый часъ вынужденъ помышлять о мясѣ. Но средидальнѣйшаго разбоя попался разъ волку ягненокъ, который такъ особенно жалостно рыдалъ—блеялъ и такъ наивно настойчиво просился къ «мамѣ», какъ еще не случалось слышать волку. Вспомнились ему тутъ кстати медвѣдевы слова насчетъ позора жизни убійцы, для котораго смерть должна казаться благомъ, и отпустилъ онъ ягненка, да съ тѣхъ поръ и заскучалъ. Волку нельзя безъ убійства прожить, а между тѣмъ весь лѣсъ кругомъ, всѣми звѣриными голосами кричитъ: «проклятый! душегубъ! живорѣзъ!» И крики эти правдой отзываются въ волчьемъ сердцѣ; чувствуетъ онъ, что, какъ тамъ ни толкуй, а проклинать его многіе имѣютъ право, что онъ въ самомъ дѣлѣ живорѣзъ. Тоска отъ этой непривычной и неразрѣшимой думы довела его наконецъ до того, что онъ сталъ звать смерть. И когда явились охотники, онъ такъ прямо на нихъ и пошелъ: «вотъ она, смерть избавительница!»

Жилъ-былъ баранъ. Хорошій, породистый былъ баранъ и всѣ свои бараньи обязанности какъ слѣдуетъ исправлялъ. Но вдругъ съ нимъ что-то стряслось. Увидалъ онъ сонъ, содержаніе котораго запомнить не могъ, но который оставилъ въ немъ послѣ себя какую-то тревогу, не то горькую, не то сладостную. Сонъ повторялся и всетаки не запоминался, а только пуще тревожилъ. Сталъ баранъ съ тоски чахнуть, и кормъ, и овцы потеряли для него всякій интересъ, а между тѣмъ лицо его становилось все осмысленнѣе и осмысленнѣе, такъ что хоть и не барану, такъ и то въ пору. Точно передъ нимъ какія-то новыя перспективы разстилались, точно

ему что-то широкое и заманчивое грезилось. Однажды ночью наступилъ моментъ просѣянія. Баранъ опять увидалъ свой сонъ и на этотъ разъ запомнилъ и понялъ. Онъ вскочилъ, изъ груди его вырвалось потрясающее блеяніе, онъ весь ушелъ въ созерцаніе сладостной тайны сна, но не выдержалъ этого зрѣлища и рухнулъ на землю мертвый. Старый овчаръ объяснилъ дѣло такъ: «стало быть вольнаго барана во снѣ увидалъ, увидитъ-то во снѣ увидалъ, а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ. Вотъ онъ сначала затосковалъ, а современемъ и издохъ. Все равно, какъ изъ нашего брата бываетъ»...

Въ волкѣ проснулась совѣсть и измучила его до готовности покончить съ жизнью. Баранъ сталъ такою же жертвою проснувшейся чести. Ясно, полагаю, что здѣсь о какихъ-нибудь «барскихъ и свѣтскихъ» ингредіентахъ не можетъ быть рѣчи. Совѣсть есть сознаніе виновности, преступности. Принимаясь за свою щемящую работу, она ставитъ передъ человѣкомъ образы замученныхъ, оскорбленныхъ, притѣсненныхъ имъ, картины совершенныхъ имъ насилій, обмановъ, звучитъ у него надъ ухомъ стонами, упреками, жалобами, и, плотно обступивъ всѣмъ этимъ, требуетъ искупительной жертвы. Жертвы эти приносятся разными людьми на разный манеръ, но во всякомъ случаѣ это должна быть жертва, лишеніе и, прежде всего, конечно, отказъ отъ того склада жизни, противъ котораго протестуетъ совѣсть. И если человѣкъ, не смотря на всѣ побужденія совѣсти, не можетъ отъ него отказаться, не можетъ переломить свою натуру или привычку, онъ долженъ принести въ жертву свою жизнь, кончить такъ, какъ кончилъ волкъ. Только смертью утоляются въ такомъ человѣкѣ угрызенія совѣсти. Честь, напротивъ, есть сознаніе напрасно претерпѣнныхъ обидъ и оскорбленій. Человѣку проснувшейся чести не въ чемъ винить себя: онъ ни передъ кѣмъ не виноватъ, а передъ нимъ можетъ быть и есть виноватые. Проснувшаяся честь терзаетъ его картинами вынесеннаго имъ срама и насилія, и для утоленія этихъ терзаній нужны не лишенія какія-нибудь, не жертвы, а напротивъ просторъ всѣмъ сдавленнымъ дотолѣ силамъ, удовлетвореніе всѣхъ притиснутыхъ насиліемъ или обманомъ запросовъ души. Если, однако, этотъ просторъ и это удовлетвореніе по обстоятельствамъ недостижимы, человѣкъ проснувшейся чести опять-таки долженъ принести себя въ жертву. Онъ могъ терпѣть и жаться, пока сознаніе не освѣтило для него унизительности этого положенія, но сознательно выносить его онъ не можетъ: подобно «барану непомнящему», повидавшему «вольнаго барана», но чувствующему, что это только видѣніе, которому не осуществиться, онъ долженъ умереть.

Эти двѣ драмы, съ такимъ именно смертельнымъ исходомъ, не составляютъ заурядnаго явленія, но всетаки бываютъ и въ дѣйствительной жизни. Само собою разумѣется, однако, что въ большинствѣ случаевъ драмы, обусловленныя пробужденіемъ чести или совѣсти, отличаются болѣе мягкимъ характеромъ. Во-первыхъ, совѣсть и честь не всегда бываютъ такъ неумолимо строги, какими онѣ оказались для бѣднаго волка и барана непомнящаго; здѣсь возможны разные компромиссы и половинчатыя сдѣлки. Во-вторыхъ, и положеніе героевъ драмы не всегда такъ безвыходно, какъ положеніе бѣднаго волка и непомнящаго барана, которые, дѣйствительно, только смертью могутъ быть избавлены отъ мученій; для другихъ возможны другіе исходы или по крайней мѣрѣ попытки исхода. Есть, наконецъ, огромное число людей, въ которыхъ совѣсть и честь совсѣмъ, никогда не пробуждаются.

«Пою похвалу силѣ и презрѣніе къ слабости». Такъ начинается глава «Хищники» въ «Признакахъ времени». Сатирикъ не выдерживаетъ, однако, этой программы: не выходитъ у него ни похвалы силѣ, ни презрѣнія къ слабости. Оказывается, что сила, то-есть тотъ сортъ силы, который составляетъ предметъ его вниманія и наблюденія, имѣетъ склонность ломать настежь отворенныя двери и брать приступомъ крѣпости, никакимъ гарнизономъ не защищаемые; ея представители суть «рыцари безнаказанной оплеухи». Они никогда не рискуютъ вступать въ сколько-нибудь равную борьбу, но за-то горе тѣмъ, кто не сопротивляется, кто самъ подставляетъ шею подъ ихъ удары! Тутъ они остервеняются и, натѣшившись волю, требуютъ еще, чтобы поруганная, избитая слабость имѣла довольный видъ и «благодарила за науку». Такой двусмысленной силѣ пожалуй что и не за что пѣть похвалу, потому что она даже и не сила. Съ другой стороны мудрено питать презрѣніе къ той слабости, которая сама лѣзетъ въ петлю. Это до такой степени противоестественно и ни съ чѣмъ несообразно, что можетъ только вызывать вопросъ: «сквозь какое наслоеніе горечей, недоумѣній и нравственныхъ противорѣчій нужно было пройти, чтобы получить въ результатѣ чудовищную безсмыслицу, дающую право гражданства косвенному самоубійству»? Такимъ образомъ, вмѣсто похвалы силѣ и презрѣнія къ слабости, получается лишь недоумѣніе по поводу ихъ взаимныхъ отношеній. Недоумѣніе осложняется смутнымъ чувствомъ стыда, но за кого при этомъ стыдно,—авторъ затруд-

няется рѣшить. Онъ находитъ тутъ даже этимологическія затрудненія. «Станешь придумывать, говоритъ онъ,—какимъ именемъ назвать эти странныя отношенія, вслѣдствіе которыхъ ломать отворенную дверь признается болѣе умѣстнымъ и цѣлесообразнымъ, нежели ломать дверь, замкнутую на запоръ, и не придумаешь... И застыдишься»...

Я думаю, что силѣ, выбирающей для разгрома отворенную дверь, силѣ, не только давящей слабость, а еще издѣвающейся надъ ней и требующей благодарныхъ ликованій «за науку», приличествуетъ названіе безсовѣстной силы. Слабость же не просто погибающая подъ давленіемъ силы, а покорно подставляющая ей шею и даже извлекающая иногда изъ этой покорности нѣкоторыя эфемерныя выгоды мѣрою въ вершокъ, можетъ быть названа безчестною слабостью. Салтыковъ нигдѣ не употребляетъ этихъ выраженій, но самыя отношенія, ими опредѣляемыя, его очень занимали. Кромѣ вышеупомянутыхъ «Бѣднаго волка» и «Барана непомнящаго», на разныхъ варіаціяхъ этого мотива построены и многія другія его экскурсіи въ область животнаго эпоса. Припомнимъ нѣкоторыя, наиболѣе выразительныя. Въ «Самоотверженномъ зайцѣ» волкъ мучительски издѣвается надъ зайцемъ: сажаетъ его подъ кустъ и велитъ тамъ ждать смерти, а самъ съ волчихой и волчатами мимо похаживаетъ, посмѣивается, да приговариваетъ: «а можетъ быть... ха-ха... я тебя и помилую»! Словомъ, это — полное воплощеніе совершенно безсовѣстной силы и, въ качествѣ таковаго, натурально возбуждаетъ омерзѣніе. Что же касается жертвы волчьяго насильничества и издѣвательства, то какой-то толчекъ въ процессѣ творчества не допустилъ сатирика воплотить въ ней съ такою же обнаженностью безчестную слабость. Готовность, съ которою самоотверженный заяцъ самъ идетъ на встрѣчу мучительскимъ замысламъ волка, конечно, не свидѣтельствуетъ о присутствіи въ немъ чести, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ дѣйствительно самоотверженно, цѣною собственной погибели, спасаетъ другого зайца, и это скрашиваетъ его фигуру. Въ «Карасѣ-идеалистѣ» жертва еще симпатичнѣе, потому что и слабъ-то карась только физически, духъ же его бодръ; за то щука опять-таки воплощенная безсовѣстная сила. (Таковы же отношенія въ діалогѣ Свиньи съ Правдой, въ «За рубежемъ»). Въ «Здравомысленномъ зайцѣ» сатирикъ уже сурово относится къ жертвѣ безсовѣстной силы. Жертва эта, конечно, возбуждаетъ жалость, но всетаки это уже несомнѣнно безчестная слабость, старающаяся льстить своей жестокой мучительницѣ, угождать ей, и охотно соглашающаяся принять участіе въ предложенной лисою мучительской игрѣ, лишь бы еще хоть нѣсколько минутъ протянуть свою жалкую жизнь.

Я не буду слѣдить за Салтыковымъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ рисуетъ пробужденіе совѣсти или чести и взаимныя отношенія безсовѣстной силы и безчестной слабости. Ограничимся тою группою этихъ явленій, которая соприкасается съ «проблемой о мужикѣ».

Изъ крутогорскихъ салоновъ и канцелярій «Губернскіе очерки» переносятъ насъ прямо въ среду странниковъ и богомольцевъ. Вотъ отставной солдатъ Пименовъ. Онъ пробирается пѣшечкомъ къ Святой горѣ, но ужъ и раньше не мало исходилъ по святымъ мѣстамъ. Бывалъ и въ пустынѣ. Онъ знаетъ, что въ пустыню разное людей толкаетъ, между прочимъ, и грѣховное, но есть однако «и такіе, которые истинно отъ страстей мірскихъ въ пустыню бѣгутъ, и ни о чемъ больше не думаютъ, какъ бы душу свою спасти». Эти «дотолѣ плоть въ себѣ умерщвляютъ, что она у нихъ прозрачна и суха содѣлывается, такъ что видомъ только плоть, а существомъ и похожаго на нее нѣтъ». Пименычъ разсказываетъ про одного такого великаго постника, что онъ прежде былъ разбойникомъ, да вдругъ съ чего-то заскучалъ и «всѣ душегубства его непрестанно предъ глазами его объявлялись и всюду за нимъ преслѣдовали». Онъ и ушелъ въ пустыню. На вопросъ, не скрывался-ли онъ тамъ отъ наказанія, Пименычъ отвѣчалъ: «Если человѣкъ самъ свое прежнее непотребство восчувствовалъ, такъ наврядъ и палачъ его столь наказать можетъ, сколько онъ самъ себя изнуритъ и накажетъ. Наказаніе, ваше благородіе, не спасаетъ, а собственная своя воля спасаетъ». Какіе грѣхи искупаетъ своимъ странничествомъ самъ Пименычъ, неизвѣстно, но онъ находитъ полное успокоеніе и, между прочимъ, разсказываетъ такъ: «Идешь этта временемъ жаркіимъ, по лѣсочкамъ прохладнымъ, пташка Божія тебѣ пѣсенку поетъ, вѣтерочки мягкіе главу остужаютъ, листочки звуками тихими въ ушахъ шелестятъ... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно». Любопытно, что тѣмъ же эпическимъ языкомъ разсказываетъ и герой «Развеселаго житья»: «Хорошо вѣдь у насъ въ лѣсу бываетъ. Лѣтомъ, какъ сойдетъ это снѣгъ, ровно все кругомъ тебя заговоритъ. Зацвѣтутъ это цвѣты-цвѣтики, прилетитъ птичка малиновочка, застучитъ дятелъ, закукуетъ кукушечка, муравьи въ землѣ закопошутся—и не вышелъ бы! Травка малая подъ сосной зябетъ, и та словно родная тебѣ. А начнетъ этта лѣсъ гудѣть, особливо объ ночь — и вѣтру не чуть, и

верха не больно, чтобы шатались, — а гудетъ! Такъ гудетъ, что даже земля многіе десятки верстъ ровно стонетъ. Столь это хорошо, что даже сердце въ тебѣ взыграетъ!»—Не смотря однако на то, что Пименычъ и герой «Развеселаго житья» говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, а мѣстами даже почти одними и тѣми же словами, они люди совершенно различныхъ категорій. Пименычъ есть явно человѣкъ проснувшейся совѣсти, которому удается то, что не удалось «бѣдному волку»: переломить себя, совлечь съ себя ветхаго Адама и заглушить угрызенія совѣсти лишеніями, скитальчествомъ, изможденіемъ плоти. Иванъ (такъ зовутъ героя «Развеселаго житья») есть, напротивъ, человѣкъ пробудившейся чести. Положимъ, что онъ просто разбойникъ, но, усвояя ему начало чести въ нашемъ, условномъ смыслѣ этого слова, я не становлюсь въ противорѣчіе съ Салтыковымъ. Та часть «Губернскихъ очерковъ», которая носитъ подзаглавіе «Въ острогѣ», открывается размышленіемъ о томъ, что привело въ острогъ его обитателей: «постепенно-ли, съ юныхъ лѣтъ развращаемая и наконецъ до отупенія развращенная воля, или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое въ разъѣдающей борьбѣ съ самимъ собой и наконецъ разорвавшее всѣ преграды и, какъ вышедшая изъ береговъ рѣка, унесшее въ своемъ стремленіи все—даже бѣднаго своего обладателя?» Это жгучее чувство личности и есть проснувшаяся честь, и таковъ именно герой «Развеселаго житья». Онъ — дворовый человѣкъ, не стерпѣвшій обидъ и притѣсненій помѣщика и бѣжавшій въ лѣсъ, гдѣ уже ему пожалуй что и нечего больше дѣлать было, какъ отдаться «развеселому житью». Правда, можетъ быть въ тѣхъ же самыхъ лѣсахъ бродитъ Пименычъ, не только не разбойничая, а спасая свою душу. Но Ивану не въ чемъ каяться, а, значитъ, не съ чего и вериги надѣвать, онъ называетъ себя «замученнымъ, безталаннымъ, безчастнымъ, сиротой — сиротскимъ сыномъ». Можетъ быть онъ встрѣтится какъ-нибудь въ лѣсу съ Пименычемъ и тотъ съумѣетъ разбудить въ немъ совѣсть, и станетъ онъ постомъ и молитвой искупать свои разбои, но пока-что, онъ еще полонъ своею, частью съ бою взятой, частью украденной вольною волей, и ни въ чемъ иномъ успокоенія найдти не можетъ. Есть, правда, еще одинъ выходъ, тотъ, который выбрали его сосѣди по «Невиннымъ разсказамъ», малютки Миша и Ваня. Но этотъ выходъ не по немъ. Миша и Ваня тоже не стерпѣли насильствъ своей барыни (можетъ, имъ своего рода «вольный баранъ» приснился) и зарѣзались, въ томъ разсчетѣ, что на томъ свѣтѣ разскажутъ Богу все: «какъ насъ Катерина Аѳанасьевна мучила, какъ намъ жить тошнехонько стало, какъ насъ день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!»

Такъ пробуждаются въ народной средѣ совѣсть и честь. Пробужденіе совершается въ атмосферѣ невѣжества, преступленія и отчаянія, но и за всѣмъ тѣмъ свѣтится своеобразнымъ поэтическимъ свѣтомъ. Имѣто и любовался Салтыковъ въ періодъ «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ». И Пименычъ, и другіе странники и богомольцы разсказываютъ много вздора, но критически относиться къ этому вздору и въ голову Салтыкову не приходитъ; онъ негодуетъ на станціоннаго писаря, который, въ своей писарской образованности, перебиваетъ разсказъ Пименыча скептическими замѣчаніями. Пусть все, что разсказываетъ Пименычъ, вздоръ, но не вздоръ его наивная вѣра въ этотъ вздоръ, не вздоръ то искреннее чувство, которое неудержимо толкаетъ Пименыча къ подвигу искупленія грѣховъ. Художникъ не анализируетъ, а только любуется красотою даннаго положенія. То же и съ Иваномъ изъ «Развеселаго житья».

Такъ было, повторяю, въ періодъ «Губернскихъ очерковъ» и «Невинныхъ разсказовъ». Позже Салтыковъ вышелъ изъ сферы безмятежнаго художественнаго созерцанія народной жизни, и передъ нимъ встала во всей своей глубинѣ и обширности «проблема о мужикѣ». Прежде всего его поразило то, какъ отражаются на народной жизни взаимныя отношенія безсовѣстной силы и безчестной слабости. Въ самомъ приступѣ къ «Сатирамъ въ прозѣ» онъ разсказываетъ и подробно анализируетъ слѣдующее происшествіе, котораго самъ онъ былъ очевидцемъ. Дѣло было на рѣкѣ. Начальство распорядилось, чтобы ни одна изъ плывущихъ по рѣкѣ барокъ и лодокъ не смѣла переплывать за паромный ходъ, пока не свалитъ весь народъ. Въ распоряженіи этомъ не было никакой надобности, потому что, покуда машина нагружается, сотни лодокъ успѣли бы переплыть по ту сторону паромнаго хода. Тѣмъ не менѣе, вся рѣка замерла. Но одна лодка, наконецъ, соскучилась и двинулась. Начальство тотчасъ откомандировало «своего дантиста для преслѣдованія и наказанія ослушника».

«Преслѣдуемый, какъ только завидѣлъ дантиста, не пустился на утекъ, какъ можно бы было ожидать, но показалъ рѣшимость духа изумительную, т. е. пересталъ грести и, сложивъ весла, ожидалъ. Мнѣ показалось даже, что онъ заранѣе и инстинктивно далъ своему тѣлу наклонное положеніе, какъ бы защищаясь только отъ смертнаго боя. Ну, натурально, дантистъ орломъ налетѣлъ, и черезъ минуту воздухъ огла-

сился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими на изнанку человѣческія внутренности. А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! Хорошень его!» — неистово гудѣла тысячеустая. Накладывай ему! накладывай! вотъ такъ!» — вторила она мѣрному хлопанью кулаковъ. Только одинъ нашелся честный старикъ, который не вытерпѣлъ и прошепталъ: «разбойники!» Но и тотъ, замѣтивъ, что я разслышалъ невольный его вздохъ, какъ-то измѣнился въ лицѣ и сталъ робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома».

Таковъ голый фактъ, остановившій на себѣ вниманіе сатирика. Онъ начинаетъ его разбирать. Почему человѣкъ, преслѣдуемый дантистомъ, даже не попытался бѣжать, а сложилъ весла? Потому, что онъ вѣритъ въ вѣчное, неотразимое торжество силы, и одного появленія силы достаточно, чтобы онъ поступилъ подобно кролику, сваливающемуся въ пасть боа. Почему же онъ, однако, не убоявшись возмездія, поплылъ куда не велѣно было? Потому, что ему изъ практики извѣстно, что сила не всегда дерется, а иногда и улыбается; онъ разсчитывалъ на случайность. Для чего онъ придалъ своему тѣлу наклонное положеніе, охраняя голову отъ ударовъ? Для того, что его хотѣли только прибить, а не убить. Онъ не дорожитъ жизнью въ качествѣ «блага, одному ему принадлежащаго, блага, которымъ никто посторонній не имѣетъ права располагать по своему произволу»; онъ только привыкъ жить. Онъ не пойдетъ открыто на встрѣчу смерти, но встрѣтитъ ее равнодушно, когда она сама придетъ къ нему. Онъ будетъ «охать да взывать къ батюшкамъ и матушкамъ, но защищаться не станетъ ни подъ какимъ видомъ». Ну, а толпа? «Отчего ее не прорвало при видѣ этой гнусной расправы съ однимъ изъ своей среды?» Очевидно, она не доросла до «сознанія, что нельзя наказывать не только смертнымъ, но и никакимъ боемъ, и не только такое преступленіе, какъ нарушеніе безсмысленнаго приказанія паромнаго унтеръ-офицера, но и всякое другое преступленіе, хотя бы оно было во сто разъ тяжеле и хотя бы отданное приказаніе было не безсмысленно». Во всей разсказанной исторіи утѣшителенъ только одинъ фактъ,—старикъ, который вздохнулъ: «разбойники!» Но и онъ сейчасъ же струсилъ и стушевался.

Въ «Письмахъ изъ провинціи» нѣсколько подобныхъ же фактовъ подвергаются такому же разбору. Но мы, краткости ради, удовольствуемся приведеннымъ.

Мы, очевидно, очень далеко отошли отъ поэтическихъ образовъ Пименыча и Ивана. Они остаются такими же свѣтлыми, неприкосновенными съ своей пробужденной совѣстью и честью; происшествіе на рѣкѣ не кладетъ на нихъ ни малѣйшей тѣни. Скорѣе отъ нихъ падаетъ мрачная тѣнь на безчестную слабость жертвы произвола паромнаго унтеръ-офицера и въ особенности толпы, которая не только не возмутилась зрѣлищемъ избіенія, но еще «развратно и подло» приняла пассивное участіе въ немъ сочувственными криками. Къ разнымъ проявленіямъ и развѣтвленіямъ этой стороны народной жизни Салтыковымъ было обращено не мало жесткихъ словъ. И онъ имѣлъ право говорить эти жесткія слова, не только въ качествѣ сатирика, по самой задачѣ своей гнѣвно или съ насмѣшкой подчеркивающаго тѣневыя стороны жизни. Не говоря о правѣ всякаго человѣка называть кошку кошкой и низость низостью, Салтыковымъ руководила въ настоящемъ случаѣ та «ненавидящая любовь», которая въ самой себѣ почерпаетъ высшее право строгаго сужденія. Не холодная злоба пустопорожняго человѣка и не дешевое презрѣніе карлика, сидящаго на плечахъ великана, слышатся въ его жесткихъ словахъ по адресу народа, а глубокая скорбь и постоянная дума о выходѣ изъ того положенія, которое вызываетъ жесткія слова. Есть люди, у которыхъ на языкѣ медъ, а въ сердцѣ ледъ. Такіе, въ своемъ стремленіи говорить комплименты народу (когда онъ въ модѣ), готовы закрывать глаза передъ фактами въ родѣ вышеприведеннаго. Но не можетъ этого сдѣлать человѣкъ, котораго такой фактъ ударилъ по сердцу и которому поэтому дѣйствительно нужна истина, чтобы по мѣрѣ силъ способствовать устраненію подобныхъ фактовъ. Закрывая передъ ними глаза, мы способствуемъ, напротивъ, ихъ неприкосновенности, да самихъ себя мажемъ по губамъ,—только и всего. Салтыкову, съ восторгомъ ощущавшему, что «въ его сердцѣ таится невидимая, но горячая струя, которая, безъ вѣдома для него самого, пріобщаетъ его къ первоначальнымъ и вѣчно бьющимъ источникамъ народной жизни» («Святочный разсказъ»); Салтыкову, окружившему смерть Миши и Вани ореоломъ великомученичества, отдыхавшему отъ пустоты и дрянности крутогорскихъ салоновъ и канцелярій на пробужденной совѣсти Пименыча и пробужденной чести Ивана,—Салтыкову обиднѣе и больнѣе, чѣмъ кому-нибудь, видѣть на этомъ самомъ мѣстѣ безчестную слабость. Обида и боль выражалась жесткими словами.

Существуетъ или, вѣрнѣе, существовало мнѣніе, что кульминаціонный пунктъ этой жесткости составляетъ «Исторія одного города», въ которой, дескать, Щедринъ, не довольствуясь настоящимъ, проникъ въ глубь исторіи и тамъ потщился опозорить самые корни народной жизни. Мнѣніе это, и прежде

конечно неосновательное, надо теперь считать окончательно сданнымъ въ архивъ за негодностью, въ виду письма Салтыкова къ г. Пыпину, написанному еще въ 1871 г., но опубликованному только теперь («*Вѣстникъ Европы*», 1889 г., № 6). Огорченный отзывомъ «*Вѣстника Европы*» объ «Исторіи одного города», Салтыковъ въ частномъ письмѣ къ г. Пыпину разъяснилъ свои истинныя намѣренія. «Историческая сатира вовсе не была для меня цѣлью, писалъ Щедринъ,— а только формой». Въ числѣ другихъ формъ, онъ воспользовался и этой, тѣмъ болѣе, что, по его мнѣнію, «тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и теперь». Далѣе Салтыковъ дѣлаетъ указаніе, чрезвычайно важное для характеристики его отношенія къ народу: «Въ словѣ «народъ» надо отличать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собою извѣстную идею... Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкиныхъ, Бурчеевыхъ и т. п., я дѣйствительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ и всѣ мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ».

Салтыковъ отлично понималъ то, что многимъ дается лишь съ трудомъ или даже вовсе не дается, а именно, что конкретныя явленія жизни сплошь и рядомъ представляютъ собою такой конгломератъ добра и зла, который никоимъ образомъ нельзя цѣликомъ вставить въ рамку одного какого-нибудь принципа. Въ виду такихъ сложныхъ явленій, мыслящій человѣкъ долженъ произвести операцію отвлеченія, выдѣлить изъ нихъ то, что соотвѣтствуетъ извѣстному принципу, и поставить совершенно особо отъ того, что ему не соотвѣтствуетъ или даже прямо противорѣчитъ. Такъ Салтыковъ и дѣлалъ. Я уже упоминалъ о «Снѣ въ лѣтнюю ночь» и о горячей рѣчи Крамольникова на юбилеѣ Мосеича. Это profession de foi самого Салтыкова. Онъ говоритъ о трудовой «лептѣ русскаго крестьянскаго малютки», которая «святѣе и умилительнѣе» лепты вдовицы; «о скромномъ, безпримѣрномъ геройствѣ русской крестьянки, никогда не прекращающемся, не ослабѣвающемъ»; о «сплошной страдѣ», составляющей жизнь русскаго крестьянина. Трудъ—вотъ тотъ элементъ народной жизни, для возвеличенія котораго Салтыковъ не останавливается передъ превосходною степенью самыхъ яркихъ эпитетовъ. Сатирикъ обращается въ панегириста. Но скорбный это выходитъ панегирикъ. Свѣтлыхъ нотъ торжества въ немъ не слышится. Рѣчь Крамольникова кончается слезами:

«О, господа! я—человѣкъ уже въ лѣтахъ, и мнѣ стыдно плакать, но я чувствую, что слезы неудержимо подступаютъ къ глазамъ моимъ! Онѣ грозятъ прервать мою рѣчь въ самомъ началѣ ея, ибо передо мною стоитъ еще вопросъ громадной важности, котораго я до сихъ поръ не коснулся,—вопросъ о томъ, какія радости, какія удобства и льготы купилъ себѣ русскій крестьянинъ цѣною столькихъ опасностей и непосильныхъ трудовъ?»

Вопросъ остается безъ отвѣта, потому что какъ разъ на этомъ мѣстѣ юбилей Мосеича обрывается постороннимъ обстоятельствомъ. Но отвѣтъ извѣстенъ изъ другихъ произведеній Салтыкова: никакихъ радостей, никакихъ удобствъ и льготъ. Какъ это вышло? почему? Эти дальнѣйшіе вопросы, какъ мы уже видѣли, постоянно занимали Салтыкова и стояли передъ нимъ въ видѣ какой-то чудовищной загадки. А тутъ еще сцены въ родѣ вышеприведенной, у парома. Казалось-бы, человѣкъ труда равно гарантированъ противъ превращенія какъ въ безсовѣстную силу, такъ и въ безчестную слабость. Ему не нужно ни насильничество, ни претерпѣніе насилія, онъ самъ себѣ довлѣетъ и можетъ не имѣть никакого, ни пассивнаго, ни активнаго отношенія къ зависимости. Такъ оно и есть въ принципѣ, въ отвлеченіи. Но тутъ-то и является на сцену «историческій народъ», то-есть тѣ наслоенія, которыя исторія наложила на принципъ труда и его представителей. И можетъ быть тотъ же самый Мосеичъ, на юбилеѣ котораго Крамольниковъ говорилъ свою горячую рѣчь, игралъ ту или другую роль въ происшествіи у парома.

Русскій мужикъ «бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только можно себѣ представить»... Но это еще было бы дѣломъ, сравнительно легко поправимымъ, еслибы онъ сознавалъ свою бѣдность, а этого-то сознанія ему и не хватаетъ. Или, въ болѣе обобщенной формѣ: «Человѣкъ массы мало того, что страдаетъ, онъ сверхъ того имѣетъ самое слабое сознаніе этого страданія; онъ смотритъ на него, какъ на прирожденный грѣхъ, съ которымъ не остается ничего другого дѣлать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ». Не мудрено, что при этомъ условіи «толпа до сихъ поръ съумѣла выработать изъ себя только слѣпое орудіе, при помощи котораго могутъ свободно проявлять себя въ мірѣ всевозможныя темныя силы». Какъ ни возмутительны, однако, подчасъ проистекающія отсюда проявленія безчестной слабости, Салтыковъ слишкомъ хорошо видитъ ея причины и слишкомъ высоко цѣнитъ другія стороны русскаго мужика, чтобы презрительно, но совершенно безплодно «обзывать мужика мужикомъ». Вмѣсто этого мало остроумнаго занятія онъ совѣтуетъ «дать себѣ трудъ изобразить наши собственные исторіографскіе наѣзды противъ этого самаго му-

жика». Мы видѣли ту бережность, съ которою Щедринъ относится къ жертвамъ безсовѣстной силы въ своемъ животномъ эпосѣ; ту неохоту, съ которой онъ рисуетъ безчестную слабость, вездѣ стараясь скрасить ее какой-нибудь комбинаціей добрыхъ чувствъ. Въ сферѣ канцелярій, редакцій, салоновъ, трактировъ онъ такъ не церемонится. Достаточно припомнить фигуру Очищеннаго въ «Современной идилліи». Этотъ «злокачественный старикъ» былъ прежде помѣщикомъ и судился за злоупотребленіе помѣщичьей властью. Значитъ, въ началѣ своей исторіи онъ былъ рыцаремъ безнаказанной олеухи, представителемъ безсовѣстной силы, а кончаетъ онъ тѣмъ, что носитъ на щекѣ своей таксу безчестія и только и ждетъ, чтобы его кто-нибудь сильный изувѣчилъ или по крайней мѣрѣ обругалъ. Въ отношеніяхъ Салтыкова къ народу нѣтъ и слѣда такого безжалостнаго презрѣнія. Онъ утверждаетъ, что «вся наша умственная дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена некъ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для нихъ, какъ и для насъ». («Письма изъ провинціи»). Самъ чувствуя эту особливую нѣжность и бережность, онъ спрашиваетъ: «почему представленіе о толпѣ, не смотря на явную ея жестокость, дикость и неразвитость, имѣетъ для насъ нѣчто заманчивое и симпатичное»? Резоны для этого оказываются очень вѣскіе. Не говоря о тѣхъ, если можно такъ выразиться, красотахъ народной жизни, которыя обусловливаются трудовымъ началомъ, для разныхъ происходящихъ въ ней возмутительныхъ вещей есть сильно смягчающія обстоятельства. Если «историческій народъ» въ томъ или другомъ отношеніи не хорошъ, то за оправданіемъ его не далеко ходить, оно заключается въ прилагательномъ «историческій». Тяжелый наслѣдственный опытъ воспиталъ ту безучастность къ чужому горю, которую мы часто можемъ наблюдать въ народной жизни, и то раболѣпное отношеніе къ силѣ, которое встрѣчается еще чаще. Притомъ же эта жестокость и это преклоненіе передъ силой не представляютъ собою чего-нибудь вполнѣ сознательнаго: мальчикъ безъ штановъ не продалъ душу чорту, а отдалъ ее даромъ. Поэтому здѣсь нѣтъ и не можетъ быть мѣста обвиненіямъ, а есть мѣсто только скорби за печальное настоящее и заботамъ о лучшемъ будущемъ. Затѣмъ, въ качествѣ мотива любовнаго отношенія къ народу, выступаетъ та «фатальная» связь людей мысли съ народомъ, о которой я уже говорилъ въ прошлой главѣ. Фактъ, указанный Салтыковымъ, заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Исторія дѣйствительно показываетъ, что «тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу». Комментаріи Салтыкова къ этому факту чрезвычайно оригинальны.

„Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обезпечены, мы всетаки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хотя въ нѣкоторое съ нами равновѣсіе относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобныхъ совсѣмъ не по капризу, а потому, что природа его по преимуществу общительная. Слѣдовательно, стоя на недосягаемой высотѣ, онъ тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, чѣмъ забитѣе и безотвѣтнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль".

Притомъ же, «мы не можемъ считать себя водворенными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезпеченными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ своихъ добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ орудія».

По всѣмъ этимъ соображеніямъ Салтыковъ настаивалъ на сближеніи съ народомъ, причемъ оговорился, что сближеніе это не должно быть ни славянофильскимъ мистицизмомъ, ни ласкательствомъ предразсудкамъ и дикости, потому только, что они родились въ народѣ. На первый разъ онъ рекомендовалъ «просто изученіе народныхъ нуждъ и представленій, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но всетаки принадлежащихъ несомнѣнно взрослому человѣку».

Такъ писалъ Щедринъ въ «Письмахъ изъ провинціи» въ 1868 г. Двѣнадцать лѣтъ спустя, онъ опять заговорилъ о сближеніи или единеніи съ народомъ въ «За рубежемъ», но уже, повидимому, въ совсѣмъ другомъ тонѣ. Онъ считалъ это единеніе невозможнымъ. Однако, здѣсь нѣтъ противорѣчія съ вышеприведеннымъ, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ сатирика:

„*Бываютъ историческія минуты*, когда массы преисполняются угрюмостью и недовѣріемъ, когда онѣ сами непостижимо упорствуютъ, оставаясь во тьмѣ и въ недугахъ. Не потому упорствуютъ, чтобы не понимали свѣта и исцѣленій, а потому, что источникъ этихъ благъ заподозрѣнъ ими. *Въ такія минуты* къ этому валяющемуся во тьмѣ и недугахъ міру нельзя подойти

иначе, какъ предварительно погрузившись въ ту же самую тьму и болѣя тою же самой проказой, которая грозитъ его истребить".

Такою тягостною, мрачною историческою минутой было то время, когда писалось «За рубежомъ»...

Мнѣ остается сдѣлать еще одно замѣчаніе. Подъ «толпой» Салтыковъ не всегда разумѣлъ народъ. Въ «Литературномъ положеніи» («Признаки времени») говорится о «толпѣ», гуляющей по Невскому проспекту и празднословящей на тему объ упадкѣ нравственности «въ простомъ классѣ». Характерная черта и этой цивилизованной толпы состоитъ въ томъ, что «торжество силы еще отнюдь не утратило въ ея глазахъ рѣшительнаго своего вліянія». Это та же безчестная слабость...

V.

Благонамѣренныя рѣчи.

Задача сатиры состоитъ въ бичеваніи или осмѣиваніи уклоненій дѣйствительности отъ идеала. Понятно, что не только характеръ и, такъ сказать, объемъ сатиры, но и ея объекты, и направленіе должны измѣняться соотвѣтственно личному элементу, вносимому писателемъ въ тѣ идеалы, съ высоты которыхъ онъ разцѣниваетъ явленія дѣйствительной жизни. Исторія литературы знаетъ сатириковъ, метавшихъ въ своихъ современниковъ громы съ точки зрѣнія общихъ моральныхъ истинъ, знаетъ и такихъ, которые были людьми вполнѣ опредѣленныхъ политическихъ партій, самыхъ крайнихъ въ обѣ стороны. Аристофанъ и Салтыковъ могли бы жить въ одно и то же время, но ихъ сатирическіе удары обрушивались бы на совершенно разные предметы. Есть,однако,область, въ отношеніяхъ къ которой сходятся сатирики всѣхъ временъ и народовъ, всѣхъ темпераментовъ и оттѣнковъ мысли. Это—область уклоненій дѣйствительности отъ того, что *сама она* признаетъ на словахъ идеаломъ, область розни между словомъ и дѣломъ, между благонамѣренными рѣчами и предосудительными поступками. Тутъ уже по-истинѣ difficile est satiram non scribere, каковъ бы ни былъ образъ мыслей сатирика. Конечно, повинную голову не сѣчетъ и сатирическій мечъ, откровенное покаянное признаніе въ слабости характера, не дозволяющей уравнять дѣло съ словомъ, обезоруживаетъ сатирика. Но едва-ли найдется во всей исторіи литературы хоть одинъ какой-нибудь сатирикъ, который равнодушно прошелъ мимо обычной психологической связи между нравственной теоріей и безнравственной практикой, — мимо лицемѣрія. Если моралистъ въ родѣ Ларошфуко можетъ щегольнуть утѣшительнымъ парадоксомъ, по которому лицемѣріе есть свидѣтельство уваженія къ добродѣтели, въ тайнѣ питаемаго порокомъ, то для сатирика не можетъ быть ничего ненавистнѣе лицемѣрія. По Салтыкову, «даже отецъ Лжи, который думалъ, что нѣтъ въ мірѣ той подлости, которой бы онъ не произошелъ, и тотъ глаза вытаращилъ», когда увидалъ Лицемѣріе («Добродѣтели и Пороки»). Лицемѣріе есть по преимуществу объектъ сатиры. Ему нѣтъ оправданія въ какой-нибудь ошибкѣ мысли, въ какомъ-нибудь заблужденіи, которое можетъ разсѣяться передъ свѣточемъ истины. Вѣрно или невѣрно понимаетъ лицемѣръ вещи, это вопросъ особый, но онъ во всякомъ случаѣ расходится съ своимъ собственнымъ пониманіемъ вещей и практикуетъ какъ разъ противное тому, что самъ исповѣдуетъ и чего отъ другихъ требуетъ.Лицемѣръ ненавистенъ или, по крайней мѣрѣ, долженъ быть ненавистенъ не только тѣмъ, кто не согласенъ съ его образомъ мыслей, но и своимъ собственнымъ единомышленникамъ, если, конечно, они сами не лицемѣры: онъ вѣдь компрометируетъ ихъ знамя и приноситъ ему подчасъ больше вреда и позора, чѣмъ самые лютые враги. Открытое такимъ образомъ для сатирическихъ ударовъ со всѣхъ сторонъ, лицемѣріе манитъ къ себѣ сатирика еще сверхъ того чрезвычайнымъ разнообразіемъ своихъ формъ и проявленій. Маску лицемѣрія способны надѣвать и злоба, и развратъ, и предательство, и продажность, и клевета, и насильничество, всяческая низость и гнусность, облекаясь въ такія именно формы соотвѣтственныхъ добродѣтелей, которыя, на словахъ по крайней мѣрѣ, особенно цѣнятся въ данномъ обществѣ. Поэтому, сосредоточивъ свое вниманіе даже исключительно на лицемѣріи, сатирикъ можетъ предъявить очень полную картину современныхъ ему нравовъ, держась въ то же время почвы тонкаго психологическаго анализа. Такая многосторонняя заманчивость задачи всегда привлекала къ этому пункту крупныя сатирическія силы, и всякій вновь выступающій сатирикъ рискуетъ впасть въ подражаніе, либо создать нѣчто очень слабое по сравненію съ высокими образцами, раньше вложенными въ сокровищницу всемірной литературы. Салтыковъ съ честью вышелъ изъ этой трудности. Его коллекція лицемѣровъ вполнѣ оригинальна и не побѣднѣетъ отъ сопоставленія съ лучшими произведеніями этого рода европейскихъ писателей.

Но прежде чѣмъ говорить о характерѣ и размѣрахъ щедринскаго творчества въ этомъ направленіи, надо сдѣлать небольшое по-

бочное замѣчаніе. Говорятъ, что Салтыковъ повторяется, и справедливо говорятъ. Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» онъ самъ признаетъ фактическую справедливость этого упрека, но объясняетъ при этомъ, что, занятый исключительно злобами дня, онъ по необходимости зависитъ отъ нихъ, а онѣ, вотъ уже тридцать лѣтъ, повторяются съ удручающимъ однообразіемъ. Объясненіе это кажется мнѣ недостаточнымъ. Во-первыхъ, хотя наши злобы дня, дѣйствительно, довольно однообразны, но на протяженіи тридцати лѣтъ въ нихъ всетаки неоднократно обнаруживалось движеніе то впередъ, то вспять, что и самимъ Салтыковымъ своевременно отмѣчалось. Во-вторыхъ, хотя объясненіе Салтыкова до извѣстной степени справедливо, но есть и другіе резоны, по которымъ онъ повторялся и не могъ не повторяться. Вообще мудрено ожидать, чтобы не повторялся человѣкъ, безъ малаго полвѣка, можно сказать, не выпускавшій пера изъ рукъ и всю эту половину столѣтія не ожидавшій вѣтра, чтобы, подобно флюгеру, повернуться направо или налѣво, а неуклонно шедшій по одному и тому же пути. Притомъ же Салтыковъ былъ журналистъ, то-есть не просто писатель, болѣе или менѣе спокойно вынашивающій свое произведеніе въ головѣ и сердцѣ, а писатель, повинный спѣшной и срочной работѣ. Это положеніе совсѣмъ особенное, спеціальные шипы и розы котораго трудно даже усвоить человѣку, не побывавшему въ этой шкурѣ. Между прочимъ, бываетъ такъ: извѣстная мысль, извѣстный образъ, цѣлая группа образовъ, только-что возникнувъ, заносятся на бумагу, затѣмъ журналистъ, влекомый волной текущихъ событій, переходитъ къ другимъ мыслямъ и образамъ, а тѣ, первоначальные, продолжаютъ тѣмъ временемъ развиваться, зрѣть, иногда даже безъ вѣдома самого автора и наконецъ, вновь переступаютъ порогъ сознанія и опять настойчиво просятся на бумагу. Въ произведеніяхъ Салтыкова этотъ процессъ можно наблюдать очень часто. Наконецъ, и еще одинъ резонъ для повтореній заключается въ томъ исключительно видномъ положеніи, которое Щедринъ занималъ въ журналистикѣ: ему приходилось съ полемическими цѣлями возвращаться къ сказанному, защищать его, вновь мотивировать, подводить итоги и т. д.

Образчикомъ обоего рода повтореній, то-есть и такихъ, которыя вызваны самимъ процессомъ творчества, совершающагося частью въ нѣдрахъ безсознательнаго, и такихъ, которыя обусловлены полемическими цѣлями, можетъ служить исторія «Благонамѣренныхъ рѣчей». Такъ озаглавлена группа очерковъ, печатавшихся въ *Отечественныхъ Запи-скахъ* въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Но уже гораздо раньше, въ «Признакахъ времени» находимъ зародышъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» въ видѣ наброска или чего-то въ родѣ отмѣтки въ памятной книжкѣ, а затѣмъ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ въ изобиліи разсыпаны новыя варіаціи на эту тему, то полемическія, какъ въ «Кругломъ годѣ», то дополнительныя, какъ въ «Убѣжищѣ Монрепо», то достигающія вполнѣ самостоятельнаго значенія, какъ въ «Современной идилліи», и огромной художественной цѣнности, какъ въ выдѣленныхъ изъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» «Господахъ Головлевыхъ».

Въ «Признакахъ времени» («Сеничкинъ ядъ») сатирикъ пытается опредѣлить, что такое «благонамѣренность», но затрудняется дать это опредѣленіе, хотя утверждаетъ, что можетъ безошибочно отличить благонамѣреннаго человѣка отъ неблагонамѣреннаго. Благонамѣренному человѣку не возбраняется воровать платки изъ кармановъ, онъ не затруднится съѣсть у Доминика три пирожка, а буфетчику сказать, что съѣлъ одинъ, онъ можетъ проводить время «на балахъ у гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга» и вообще совершать всякія дѣйствія, обыкновенно считающіяся предосудительными. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ имѣть «хорошій образъ мыслей». Отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. «Невинность же есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла». Далѣе Щедринъ уклоняется уже въ сторону, именно въ сторону тогдашнихъ литературныхъ пререканій, но въ приведенныхъ словахъ заключается въ зародышѣ основная мысль всѣхъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». Конечно, контуры этого зародыша еще слишкомъ мягки, недостаточно рельефно обрисовываются; оригинальная и плодотворная мысль еще только блеснула, не уяснивъ самому автору всѣхъ своихъ развѣтвленій. Въ фактахъ, обнимаемыхъ этою мыслью, не было недостатка и въ ту пору, какъ видно уже изъ того, что впослѣдствіи Салтыковъ вставилъ въ «Благонамѣренныя рѣчи» очеркъ, посвященный еще болѣе раннему времени,—времени крымской войны («Тяжелый годъ»). Но факты эти лежали пока подъ спудомъ, не оплодотворенные творческой силой, въ ожиданіи «Благонамѣренныхъ рѣчей».

«Благонамѣренныя рѣчи», то-есть тотъ сборникъ, который Салтыковъ самъ такъ озаглавилъ, рисуютъ намъ рядъ отдѣльныхъ эпизодовъ изъ обширной картины умственной смуты по поводу потрясенія «основъ».

Кругомъ раздаются громкія рѣчи о неприкосновенности собственности, о священномъ характерѣ семьи, о незыблемости государства; рѣчи, можно сказать, ультра-благонамѣренныя и, должно быть, нужныя, потому-что, еслибы все обстояло благополучно, такъ съ чего же и кричать? Вглядываясь въ современные нравы, сатирикъ открываетъ, что принципамъ собственности, семьи и государства дѣйствительно наносятся чувствительные удары. Дѣло, однако, не въ преступникахъ, предусмотрѣнныхъ закономъ и караемыхъ судомъ. Таковые всегда были, а потому наличность ихъ, вообще говоря, не составляетъ характерной для какого-нибудь опредѣленнаго времени черты. Да если, по обстоятельствамъ, размѣры, характеръ и число преступленій и могутъ войти въ составъ признаковъ даннаго времени, такъ на нихъ есть и другія управы, кромѣ сатиры. Совсѣмъ иное дѣло, когда, напримѣръ, «мошенничество является одною изъ формъ общежитія», установившеюся, никого не возмущающею; когда оно облекается въ непроницаемыя для суда формы, а общественное мнѣніе негодуетъ не на мошенниковъ и грабителей, а на ограбленныхъ: дураки, дескать, такъ имъ и надо,—на то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Бѣглый очеркъ этого страннаго порядка вещей Салтыковъ дѣлаетъ въ главѣ «Въ дорогѣ», которая представляетъ какъ бы прелюдію къ «Благонамѣреннымъ рѣчамъ» и въ которой слово «дуракъ» вездѣ является синонимомъ ограбленнаго или обманутаго, а грабители и мошенники оказываются просто умными, ловкими, а иногда даже «прекраснѣйшими людьми». «Основы» терпятъ при этомъ явный ущербъ, но, удивительнымъ образомъ, этого не замѣчаютъ. А еще удивительнѣе, что именно отсюда-то главнымъ образомъ и гремятъ благонамѣренныя рѣчи. Можетъ-ли это быть? Можетъ-ли воръ вопіять о неприкосновенности собственности, или прелюбодѣй о священномъ характерѣ семьи, или поставщикъ гнилыхъ подошвъ на отечественную армію о любви къ отечеству и народной гордости? Оказывается, можетъ, такъ что и самъ не подавится своей благонамѣренной рѣчью, и другіе эту рѣчь не оборвутъ. Благонамѣренность его рѣчей свидѣтельствуетъ о хорошемъ образѣ мыслей, а хорошій образъ мыслей, какъ открылъ сатирикъ еще въ «Признакахъ времени», отлично уживается съ предосудительными поступками. Но тамъ, въ «Признакахъ времени», эти поступки не шли дальше утайки двухъ съѣденныхъ пирожковъ, времяпровожденія у гостепріимныхъ гамбургскихъ принцессъ, да иносказательнаго воровства платковъ изъ кармановъ. Въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» картина нравовъ раздвигается далеко за эти скромные предѣлы, вмѣстѣ съ чѣмъ мысль сатирика становится несравненно глубже и яснѣе.

Мы начнемъ свой обзоръ съ самаго легкаго, скажемъ прямо, наименѣе серьезнаго изъ очерковъ, вошедшихъ въ составъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», съ того, который озаглавленъ: «Еще переписка». Это—переписка матери, сорокалѣтней женщины съ сыномъ, только-что выпущеннымъ изъ школы офицеромъ. Въ первомъ же письмѣ сынъ разсказываетъ матери о своихъ амурныхъ похожденіяхъ, причемъ обнаруживаетъ необыкновенную выработанность принциповъ и необыкновенныя познанія во всемъ, что касается веселой artis amandi. Онъ пускается въ подробности о преимуществахъ блондинокъ передъ брюнетками, о достодолжномъ развитіи женскихъ формъ и т. д. Отца онъ называетъ butor. Мать отвѣчаетъ ему въ томъ же стилѣ, т. е. мужа тоже называетъ butor и жалуется на ужасъ житья съ этимъ butor'омъ, а затѣмъ и съ своей стороны излагаетъ ту же науку любви. Она по этой части—человѣкъ опытный: ее «любилъ» самъ седанскій герой—и это составляетъ «славное воспоминаніе ея жизни». Если тонъ писемъ сына отдаетъ казармой или даже конскимъ заводомъ, то письма матери газированы разными тонкостями, о которыхъ, однако, сынъ справедливо пишетъ: «Могу тебя увѣрить, что мои открытыя, ничѣмъ не замаскированныя слова и дѣйствія всетаки во сто кратъ нравственнѣе, нежели паскудные aperçus politiques, historiques et littéraires, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers». Благословляя (въ буквальномъ смыслѣ слова) сына на адюльтеръ и даже на два заразъ, эта женщина въ то же время пишетъ: «Религія—это наше сокровище, мой другъ! Безъ религіи мы — путники, колеблемые вѣтромъ сомнѣній, какъ говоритъ le père Basile, очень миленькій молодой попикъ, который недавно опредѣленъ въ нашъ приходъ». Она крадетъ у мужа двѣ тысячи рублей и бѣжитъ «будто бы для свиданія съ Базеномъ, я же навѣрное знаю (пишетъ butor), что для канкановъ въ Closeriès des lilas». Однако, за нѣсколько дней до этого бѣгства, она сообщаетъ сыну, среди разныхъ пикантныхъ поученій по амурной части: «Я ни въ чемъ не могу найдти утѣшенія, кромѣ религіи! Знаешь-ли, иногда мнѣ кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко надъ этимъ дурнымъ міромъ!» Разсказывая сыну, какими способами можно довести женщину до паденія (une jolie chûte), она совѣтуетъ ему

не брезгать «сюбверсивными идеями». «Конечно,—говоритъ она,—я никогда не позволила бы тебѣ сдѣлаться на самомъ дѣлѣ поклонникомъ сюбверсивныхъ идей, но въ смыслѣ экспозиціи, какъ aperçu de morale— это одинъ изъ лучшихъ sujets de conversation. Консервативныя идеи страдаютъ большимъ недостаткомъ: имъ никакъ нельзя придать тотъ лоскъ великодушія, который зажигаетъ симпатію въ сердцахъ».

Паскудныя отношенія матери и сына, изображенныя въ очеркѣ «Еще переписка», составляютъ сравнительно блѣдный сколокъ съ тѣхъ же отношеній въ «Ташкентцахъ приготовительнаго класса» («Параллель первая»). Тамъ мать и сынъ съ полною откровенностью разсказываютъ другъ другу свои prouesses. Онъ цинически сообщаетъ comment cela lui est venu, она, нѣсколько болѣе вуалируя свою исповѣдь, разсказываетъ о своихъ любовникахъ, изъ которыхъ одинъ французъ, сотрудникъ Journal pour rire, Charivari и Figaro, былъ и талантливъ, и красивъ, и храбръ, et avec ça adorant le trône, la patrie et la sainte église catholique. Сообразно этому, маменька, обмѣниваясь съ сынкомъ разными гнусностями, въ то же время наставляетъ его въ любви къ отечеству: «La patrie—vous devez la porter dans votre coeur». «А прежде всего—дворянскій долгъ, а потомъ нашу прекрасную православную религію. Безъ этихъ трехъ вещей, что мы такое? Мы путники, или лучше сказать, пловцы...» Но сынокъ самъ вполнѣ владѣетъ этими благонамѣренными рѣчами. Всласть наговорившись мерзостей на тему: nous aimons, nous folichonons, nous buvons sec,—онъ безъ передышки продолжаетъ:—«Я консерваторъ; я человѣкъ порядка. Et en outre je suis légitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe—voici mon programme à moi». Въ училищѣ юноша не особенно, разумѣется, прилежитъ къ наукамъ, но за то основательно изучаетъ разныхъ Бертъ и Альфонсинъ, а, кончивъ курсъ, становится въ позу и торжественно произноситъ: «а теперь, messieurs... поборемся!» Это онъ собирается бороться съ врагами порядка, отечества и религіи...

Какъ уже сказано, «Еще переписка» отнюдь не принадлежитъ къ числу значительнѣйшихъ главъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», но мысль и пріемъ сатирика выражаются всетаки въ ней вполнѣ ясно. Развратъ, доходящій до циническихъ объясненій матери съ сыномъ, и легкомысленно кощунственные толки о sainte église catholique и о notre sainte église orthodoxe; ужасъ передъ «сюбверсивными» идеями, торжественное объявленіе имъ войны, и эксплуатація этихъ самыхъ сюбверсивныхъ идей съ цѣлями покоренія дамскихъ сердецъ; седанскій герой, Базенъ (а также Морни, Персиньи и проч.) и notre chére patrie,— это какая-то ни съ чѣмъ несообразная окрошка, въ которой голова совершенно не вѣдаетъ того, что лопочетъ языкъ, и въ которой даже лицемѣріе, повидимому, не при чемъ. Салтыковъ и самъ колебался относительно того, какъ слѣдуетъ квалифицировать этотъ сбродъ точно въ чехарду играющихъ словъ, мыслей и чувствъ. Въ его портретной галлереѣ лицемѣровъ самое видное мѣсто, если не по общественному значенію, то по тонкости и тщательности отдѣлки, занимаетъ Іудушка Головлевъ. И объ немъ онъ говоритъ такъ:

«Не надо думать, что Іудушка былъ лицемѣръ въ смыслѣ, напримѣръ, Тартюфа или любаго современнаго французскаго буржуа, соловьемъ разсыпающагося по части общественныхъ основъ. Нѣтъ, *ежели онъ и былъ лицемѣръ*, то лицемѣръ чисто русскаго пошиба, т. е. просто человѣкъ, лишенный всякаго нравственнаго мѣрила и не знающій иной истины, кромѣ той, которая значится въ азбучныхъ прописяхъ. Онъ былъ невѣжественъ безъ границъ, сутяга, лгунъ, пустословъ и, въ довершеніе всего, боялся чорта. Все это такія отрицательныя качества, которыя отнюдь не могутъ дать *прочнаго* матеріала для *дѣйствительнаго* лицемѣрія».

Колебанія эти Салтыковъ разрѣшаетъ иногда терминомъ «безсознательное лицемѣріе». Худо-ли, хорошо-ли придумано это названіе, но самое явленіе, имъ обозначенное, чрезвычайно любопытно и составляетъ, можно сказать, открытіе Салтыкова. Во всякомъ случаѣ оно никогда и никѣмъ не было изучаемо такъ глубоко, такъ пристально, какъ имъ. Отличительную черту этого безсознательнаго лицемѣрія составляетъ какая-то удивительная плоскодонность и наивность, которая приближаетъ его къ формулѣ добра и зла, данной однимъ бушменомъ: добро — украсть чужую жену, зло — когда у меня мою украдутъ. Этотъ первобытный философъ и не пытается свести концы съ концами въ своемъ нравственномъ міровоззрѣніи. Онъ совершенно серьезно, съ чистою совѣстью разрѣшаетъ себѣ дѣлать то самое, за что негодуетъ на другихъ. Въ этомъ же родѣ поступаютъ герои «Благонамѣренныхъ рѣчей». По преданію, авгуры не могли смотрѣть другъ на друга безъ смѣха, потому что каждый изъ нихъ отлично сознавалъ, что такое онъ самъ и его товарищи. Герои «Благонамѣренныхъ рѣчей» даже не улыбнутся при подобныхъ обстоятельствахъ; они даже наединѣ сами съ собой продолжаютъ нанизывать все тѣ же благонамѣренныя слова на другія благонамѣренныя слова и были бы искренно удивлены, еслибы ихъ назвали лицемѣрами. Такая наивность могла

бы даже обезоружить сатирика или превратить его въ относительно спокойнаго бытописателя-юмориста, еслибы эти безсознательные лицемѣры не оказывались, благодаря обстоятельствамъ времени, весьма замѣтными факторами общественной жизни. Прекрасная дама, въ головѣ которой Базенъ и notre chére patrie, любовники и сюбверсивныя идеи играютъ въ чехарду, легко и граціозно прыгая другъ черезъ друга,—эта прекрасная дама сама по себѣ представляетъ только психологическій курьезъ. Курьезъ можетъ, конечно, быть очень противенъ, но можетъ быть и просто забавенъ: убѣжала себѣ барыня къ Базену, и Господь съ ней. Другое дѣло ея достойный сынокъ, который выступаетъ уже въ качествѣ воинствующаго элемента. Весь начиненный разными гнусностями, невѣжественный и развращенный до мозга костей, каждымъ своимъ шагомъ попирающій всяческія «основы», онъ объявляетъ, однако, войну какимъ-то врагамъ этихъ самыхъ основъ, и — кто знаетъ? — можетъ быть на его долю выпадетъ широкая практическая дѣятельность въ этомъ направленіи. Онъ будетъ требовать драконовскихъ мѣропріятій въ огражденіе святости семьи и въ то же время растлѣвать и попирать эту самую семью всѣми возможными способами, и при этомъ ему и въ голову не придетъ, что тутъ есть какое-то противорѣчіе. Столь же слабый сознаніемъ, какъ тотъ бушменъ, онъ только въ своихъ непосредственныхъ элементарныхъ ощущеніяхъ можетъ искать мѣрила добра и зла: добро— украсть, зло — быть обокраденнымъ. Онъ знаетъ слова: семья, собственность, отечество, слыхалъ, что это все принципы, подлежащіе бережному отношенію, но самого себя, свои собственныя вожделѣнія никакъ не можетъ, даже теоретически, вдвинуть въ эти рамки: слишкомъ для этого сильны его аппетиты и слишкомъ слабо сознаніе. Повторяю, гулящая бабенка, настроенная на этотъ ладъ, представляетъ главнымъ образомъ только психологическій интересъ, хотя и она можетъ зла натворить около себя много. Что чисто психологическая сторона безсознательнаго лицемѣрія не всегда такъ скудна трагическимъ значеніемъ, какъ въ случаѣ прекрасной дамы, обкрадывающей своего мужа для бѣгства къ Базену, объ этомъ свидѣтельствуетъ поразительный образъ Іудушки Головлева. Сугубое значеніе получаетъ безсознательный лицемѣръ, если, оставаясь любопытнымъ психологическимъ феноменомъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ становится общественнымъ дѣятелемъ.

Чтобы извлечь изъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» и примыкающихъ къ нимъ произведеній Салтыкова все цѣнное, что они могутъ дать читателю, надо различать эти двѣ стороны дѣла, т.-е. во-первыхъ, психологію лицемѣрія и, во-вторыхъ, тѣ условія, которыя предоставляютъ ему широкій просторъ, пышный расцвѣтъ и вліяніе на жизнь. Различеніе это важно и для оцѣнки Салтыкова, какъ художника. Нѣкоторые, даже очень благосклонные критики, вполнѣ признавая высокій талантъ и огромное значеніе Салтыкова, склонны умалять долговѣчность созданныхъ имъ образомъ, потому, дескать, что образы эти слишкомъ отдаютъ тревогами современной жизни, слишкомъ, если можно такъ выразиться, обросли обстоятельствами времени и мѣста. Въ этомъ смыслѣ проводились, напримѣръ, параллели между мольеровскимъ Тартюфомъ и нѣкоторыми щедринскими лицемѣрами, не въ пользу послѣднихъ, хотя и съ оговорками. Мнѣ кажется, что это просто ошибка перспективы. Глядя на Тартюфа съ разстоянія въ три слишкомъ столѣтія, мы естественно не такъ ясно чувствуемъ въ немъ біеніе пульса тогдашней жизни, какъ это неизбѣжно выходитъ относительно произведеній Салтыкова. Но во Франціи XVII вѣка Тартюфъ былъ такъ же животрепещущъ, такъ же отражалъ въ себѣ обстоятельства времени и мѣста, и это не только не сократило его жизнь въ потомствѣ, но, напротивъ, именно гарантировало ему долговѣчность, придавъ этому образу подлинную, живую плоть и кровь. Такъ всегда бываетъ съ дѣйствительно крупными произведеніями. Только надменная мелюзга норовитъ воспарить отъ тревогъ современной жизни въ безвоздушныя пространства; за то же и пропадаютъ пропадомъ ея мертвенно-блѣдныя и мертвенно-холодныя творенія. Есть, конечно, и такая мелюзга, которая съ комическою ретивостью копошится въ интересахъ минуты, вершка и золотника, и продукты этого копошенья тоже пропадаютъ пропадомъ. Это зависитъ, во-первыхъ, отъ умѣнія мелюзги выбирать изъ всей современной жизни именно вершки, минуты и золотники, а, во-вторыхъ, просто отъ бездарности. Мольеръ не думалъ удаляться изъ современной ему жизни и рисовать какого-то абстрактнаго лицемѣра. Не даромъ Тартюфъ вызывалъ цѣлыя бури среди современниковъ, что не мѣшаетъ ему, однако, и по сей часъ сохранять для насъ художественный интересъ. Если, однако, мы отрѣшимся отъ предразсудка, подсказываемаго тѣмъ фактомъ, что Мольеръ уже триста лѣтъ занимаетъ мѣсто въ храмѣ славы, а Салтыковъ вступилъ въ него на нашихъ глазахъ, то сравненіе между Тартюфомъ и Іудушкой Головлевымъ, какъ художественными образами, окажется далеко не въ пользу перваго. «Господа Головлевы»

страдаютъ длиннотами и отступленіями, отъ которыхъ «Тартюфъ» до извѣстной степени застрахованъ уже своею драматическою формой. Но собственно психологія Тартюфа крайне элементарна и груба по сравненію съ тою тонкостью, глубиною, выдержанностью, которыми блещетъ Іудушка.

Это произведеніе не сразу, однако, далось Салтыкову. «Благонамѣренныя рѣчи» печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ конца 1872 г. по 1876 включительно, въ перемежку съ «Дневникомъ провинціала», «Помпадурами», «Экскурсіями въ область умѣренности и аккуратности», отдѣльными очерками въ родѣ «Сна въ лѣтнюю ночь». Это была обыкновенная манера писанія Салтыкова. Его отдыхъ состоялъ въ томъ, что, не кончивши одной серіи статей, онъ принимался за другую, третью, возвращаясь черезъ нѣсколько времени опять къ первой. Въ концѣ 1875 г., между прочими главами «Благонамѣренныхъ рѣчей», появилась глава «Семейный судъ», которая и составила начало «Господъ Головлевыхъ». Но, выпустивъ въ 1876 г. «Благонамѣренныя рѣчи» отдѣльнымъ изданіемъ, Щедринъ не включилъ въ него главъ, посвященныхъ семейству Головлевыхъ, и только въ 1880 г. напечаталъ «послѣдній эпизодъ изъ Головлевской хроники», озаглавленный въ журналѣ «Рѣшеніе», а въ отдѣльномъ изданіи—«Разсчетъ».

Очевидно, Щедринъ первоначально самъ не подозрѣвалъ, во что разростутся эпизоды изъ семейной хроники Головлевыхъ, но затѣмъ прилѣпился къ нимъ съ исключительнымъ интересомъ и работалъ надъ ними съ особенною обдуманностью. И не мудрено: «Господами Головлевыми» резюмируется вся психологическая сторона «Благонамѣренныхъ рѣчей» и сродныхъ имъ произведеній Салтыкова.

Я небуду говорить о превосходныхъ портретахъ, размѣщенныхъ вокругъ центральной фигуры Іудушки,—объ Аринѣ Петровнѣ, ея мужѣ, братьяхъ Іудушки, его племянницахъ, о Евпраксеюшкѣ. Не буду припоминать и всю исторію самого Іудушки. Съ насъ достаточно одного какого-нибудь яркаго эпизода.

Евпраксеюшка беременна. Въ душѣ Іудушки поднимается нѣчто похожее на угрызенія совѣсти: на-лицо фактъ, слишкомъ уже явно изобличающій внутреннюю ложь всей его жизни. Были, правда, и прежде факты, довольно-таки въ этомъ смыслѣ выразительные, какъ, напримѣръ, погибель обоихъ его сыновей,—погибель, которую онъ могъ легко предотвратить, но не предотвратилъ, а даже пріуготовилъ. Тамъ онъ вышелъ сухъ изъ воды, то-есть не дрогнулъ сердцемъ, благодаря своему умѣнію нанизывать одно благонамѣренное, но совершенно праздное слово на другое, столь же благонамѣренное и столь же праздное. А теперь какъ быть? Получивъ первое извѣстіе, онъ сгоряча не успѣлъ даже солгать, такъ-что въ непріятномъ фактѣ никто сомнѣваться не можетъ. Онъ, такъ аккуратно зажигающій лампадки передъ образами, такъ преданный посту и молитвѣ, наконецъ, такъ всѣмъ надоѣвшій благочестивыми размышленіями,—прелюбодѣй! Да еще по точному разсчету милаго друга-маменьки,—«подъ постный день!». Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы Іудушка въ самомъ дѣлѣ мучился настоящими угрызеніями совѣсти. Нѣтъ, застигнутый врасплохъ и въ виду уличающей непререкаемости факта, онъ только не сразу находитъ тѣ сочетанія словъ, которыя въ предыдущихъ щекотливыхъ случаяхъ его жизни счастливо затуманивали всякую разницу между добромъ и зломъ. Только бы ему эти слова найдти, эти благонамѣренныя рѣчи, а тамъ уже все пойдетъ какъ по маслу,—онъ и самъ успокоится, и людямъ будетъ прямо въ глаза, не смущаясь, смотрѣть, и Богу на молитвѣ скажетъ, что онъ, Іудушка, «не яко же сей мытарь». Онъ, наконецъ, находитъ искомое, и вся тревога сбѣгаетъ съ него, какъ съ гуся вода. Быстро одна за другой слѣдующія сцены появленія новорожденнаго на свѣтъ, а потомъ и въ кабинетѣ Іудушки, разговоръ Іудушки съ Улитой, потомъ со священниками, потомъ опять съ Улитой, отправки младенца въ воспитательный домъ—принадлежатъ къ числу перловъ щедринскаго творчества, и не щедринскаго только: едва-ли найдется во всемірной литературѣ много равныхъ имъ по глубинѣ, яркости и страшному, но здоровому реализму.

То явленіе, которое Салтыковъ называетъ безсознательнымъ лицемѣріемъ, исчерпано здѣсь вполнѣ. Іудушка Головлевъ—близкій духовный родственникъ той гулящей бабенки, что произноситъ благонамѣренныя рѣчи даже не въ антрактѣ между двумя адюльтерами, а прямо во время адюльтера. Временами онъ не менѣе ея забавенъ комическою несуразностью и неумѣстностью своихъ рѣчей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, съ нимъ по-истинѣ страшно, какъ въ упоръ объявляетъ ему Аннинька и повторяетъ за ней Евпраксеюшка, какъ чувствуетъ и читатель, и очевидно самъ авторъ. Страшенъ этотъ человѣкъ не какою-нибудь своей силой, какъ страшенъ, напримѣръ, тотъ же Тартюфъ своею практическою ловкостью, умѣніемъ приноравливаться, краснорѣчіемъ: Іудушка просто пустомеля и бездѣльникъ, всѣмъ надоѣвшій, всѣмъ противный, и никакого Оргона, никакой г-жи Пернель ему никогда обворожить не удастся. Онъ страшенъ именно

своею слабостью,—слабостью сознанія, цѣпляющагося за слова безъ всякаго пониманія ихъ смысла. Сосредоточенный исключительно на своихъ непосредственныхъ ощущеніяхъ, которыя не умѣетъ комбинировать въ идеи и понятія, онъ дѣлитъ всѣ явленія жизни на пріятныя и непріятныя ему и другихъ рубрикъ не знаетъ. Онъ—исправленный и дополненный варьянтъ того бушмена, который отлично знаетъ, что быть обокраденнымъ—зло, потому что отъ этого у него нѣчто убудетъ, но въ то же время думаетъ, что украсть—добро, потому что отъ этого нѣчто прибудетъ. Первую половину этой формулы Іудушка расцвѣчиваетъ всѣми красками благомѣрныхъ рѣчей: призываетъ и Бога, и властей охранять его отъ зла, но самъ воровать онъ можетъ. Онъ совершитъ любую гнусность, не моргнувъ глазомъ, и всѣ окружающіе инстинктивно чувствуютъ это, но въ то же время, благодаря отсутствію всякой логики въ его умственной чехардѣ, никакъ не могутъ предугадать, какая именно гнусность выскочитъ изъ-подъ его безконечныхъ, слюноточивыхъ благонамѣренныхъ рѣчей. Это еще усиливаетъ распространяемый имъ кругомъ себя страхъ.

Трудно цитировать «Господъ Головлевыхъ», потому что не знаешь, что выбрать въ этомъ удивительномъ произведеніи. Но попробую всетаки сдѣлать одну выписку.

Племянница Аннинька, наскучивъ благонамѣренною канителью Іудушки, собирается уѣзжать. Онъ ее удерживаетъ, приглашая если не совсѣмъ остаться, такъ хоть съѣздить къ бабинькѣ на могилку отслужить панихидку...

„Порфирій Владиміровичъ остановился и замолчалъ. Нѣкоторое время онъ семенилъ ногами на одномъ мѣстѣ и то взглядывалъ на Аннинъку, то опускалъ глаза. Очевидно, онъ рѣшался и не рѣшался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебѣ что-то покажу! наконецъ рѣшился онъ и, вынувъ изъ кармана свернутый листъ бумаги, подалъ его Аннинькѣ: натко прочти!

— Аннинька прочла:—„Сегодня я молился и просилъ боженьку, чтобы онъ оставилъ мнѣ мою Аннинъку. И боженька мнѣ сказалъ: возьми Аннинъку за полненькую тальицу и прижми ее къ своему сердцу“.

— Такъ что-ли? спросилъ онъ, слегка поблѣднѣвъ.

— Фу, дядя! Какія гадости! отвѣчала она, растерянно смотря на него.

Порфирій Владиміровичъ поблѣднѣлъ еще больше и, произнеся сквозь зубы: „Видно, гусаровъ намъ нужно!“ перекрестился и, шаркая туфлями, вышелъ изъ комнаты. Черезъ четверть часа онъ однако возвратился какъ ни въ чемъ не бывало и уже шутилъ съ Аннинькой“.

Много зла и гибели распустилъ кругомъ себя Іудушка, но это зло и гибель ограничивались преимущественно ближайшимъ, домашнимъ и семейнымъ кругомъ. Общественнымъ дѣятелемъ онъ не былъ и не могъ быть по своему скудоумію, пустословію и прирожденному бездѣльничеству. Правда, въ мечтахъ своихъ онъ съ болѣзненною ясностью представляетъ себѣ, какъ онъ всѣмъ за что-то мститъ и всѣхъ для чего-то грабитъ. Но это были праздныя фантастическія мечты, которымъ не суждено было воплотиться въ дѣйствительности. Въ концѣ-концовъ Іудушка самъ испугался облегшей его со всѣхъ сторонъ мертвой пустыни и не выдержалъ этого страшнаго одиночества. Никто ему ничего не довѣрялъ, не поручалъ, никто не пробовалъ воспользоваться его услугами или опереться на него. Но что было бы, еслибы при той же неспособности различать добро и зло, при томъ же безсознательномъ лицемѣріи, онъ, благодаря обстоятельствамъ, сталъ «столпомъ» и дѣятелемъ?

Отвѣтъ найдемъ въ тѣхъ же «Благонамѣренныхъ рѣчахъ».

VI.

Еще о благонамѣренныхъ рѣчахъ.

Безсознательное лицемѣріе и «благонамѣренныя рѣчи», понятыя во всей ихъ широтѣ, исчерпываютъ собою добрую половину сатиры Салтыкова. Онъ преслѣдовалъ ихъ и смѣхомъ, и паѳосомъ, и художественными и публицистическими средствами. Онъ былъ по-истинѣ неистощимъ въ варіяціяхъ на эту тему, въ чемъ ему, конечно, помогала сама жизнь, въ изобиліи предоставляя подходящіе сюжеты. Кузина Машенька, капитанъ Терпибѣдовъ, отецъ Арсеній, семья Головлевыхъ, Деруновъ, Разуваевъ, Груздевъ, Николай Батищевъ и мать его, Проказнинъ и мать его, Удодовъ и проч. и проч.,—въ этой длинной галлереѣ не знаешь чему удивляться: выдержанности - ли той духовной черты, которая ставитъ всѣ эти фигуры за одну скобку, или художественной индивидуализаціи каждой изъ нихъ, искусству-ли, съ которымъ комбинируются факты безсознательнаго лицемѣрія и благонамѣренныя рѣчи, или проницательности сатирика, техникѣ или мысли? Вы видите, что безсознательное лицемѣріе положительно не даетъ покою сатирику, мучитъ его и какъ психологическая загадка, и какъ художественная задача, и какъ общественный вопросъ. Техническая ловкость, съ которою, напримѣръ, въ небольшомъ очеркѣ «Переписка», собрана цѣлая коллекція разнообразныхъ проявленій безсознательнаго лицемѣрія, можетъ навести на мысль о виртуозности. Но это не виртуозность, не та увѣренность и почти механичность, съ какими

виртуозъ комбинируетъ звуки, краски, слова для достиженія эффекта. Салтыковъ относится къ своимъ лицемѣрамъ вопросительно и почти съ недоумѣніемъ: можетъ-ли этакое быть? Какъ объяснить такое чудовищное явленіе? Каковы его причины и слѣдствія? Эти-то вопросы и заставляли его вновь и вновь приниматься за ту же задачу, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщали его работѣ характеръ необыкновенной жизненности. Нѣтъ возможности, да едва-ли есть и надобность, перебирать здѣсь весь длинный рядъ щедринскихъ лицемѣровъ. Мы ограничимся немногимъ. Но сперва напомнимъ ту общую черту, которая ихъ объединяетъ. Напомнимъ частію ихъ собственными словами.

Въ «Перепискѣ» Батищевъ сообщаетъ матери рѣчь, съ которою къ нему обратился одинъ, подлежащій его воздѣйствію преступный человѣкъ.

«Вы фарисеи и лицемѣры! Вы, какъ Исавъ, готовы за горшокъ чечевицы продать всѣ такъ называемыя основы ваши! Вы говорите о святости вашего суда, а сами между тѣмъ на каждомъ шагу дѣлаете изъ него или львиный ровъ, или сиренскую прелесть! Вы указываете на бракъ, какъ на основу вашего гнилаго общества, а сами прелюбодѣйствуете! Вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! Вы со слезами на глазахъ разглагольствуете о любви къ отечеству, а сами сапоги съ бумажными подметками ратникамъ ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу».

«Милая маменька!—прибавляетъ отъ себя Батищевъ, какъ хотите, а тутъ есть доля правды». Въ свою очередь и милая маменька готова согласиться съ этимъ; однако, пишетъ она,—«хорошо по воскресеньямъ въ церкви проповѣди на этотъ счетъ слушать (да и то не каждое воскресенье, мой другъ!), но ежели каждый день будутъ тебя костить, то подъ конецъ оно и многонько покажется».

Этою перепискою хорошо подчеркивается та наивность, съ которою истинные потрясатели основъ возстаютъ на защиту этихъ самыхъ основъ. Они готовы при случаѣ даже признать справедливость упрека въ лицемѣріи, но тотчасъ же вновь погружаются въ пучину благонамѣренныхъ рѣчей и плаваютъ тамъ, какъ рыба въ водѣ...

Владиміръ Онуфріевичъ Удодовъ («Тяжелый годъ»), управляющій палатой государственныхъ имуществъ, при счастливой внѣшности, обладаетъ еще краснорѣчіемъ; краснорѣчіе же свое, равно какъ и свою дѣятельность вообще, направляетъ ко благу народа. Миссію свою онъ видитъ въ посредничествѣ между государствомъ и народомъ: «надобно, чтобы народъ безпрестанно былъ лицомъ къ лицу съ государствомъ, чтобы послѣднее, такъ сказать, проникло въ самое сердце его». Народъ—дитя, доброе и смышленное, но всетаки дитя, неспособное подняться въ своихъ обобщеніяхъ выше волости или уѣзда; идея государства для него слишкомъ отвлеченна и его надо еще пріучать къ ней. Съ особеннымъ краснорѣчіемъ говорилъ Удодовъ объ отечествѣ: «отечество, это что-то таинственное, необъяснимое, но въ то же время затрогивающее всѣ фибры человѣческаго сердца». Трепака онъ не можетъ равнодушно видѣть, а слушая «Не бѣлы снѣги»—плачетъ. Дѣло было во время Крымской войны. Явился манифестъ объ ополченіи; съ губернскаго захолустья, гдѣ происходитъ дѣйствіе разсказа, требовалось до 20-ти тысячъ ратниковъ. Передъ губернскими людьми развернулась обширная перспектива дѣятельности по части сукна, холста, кожи, полушубковъ, обозныхъ лошадей, провіанта и проч. Все заволновалось. Говорились пламенныя рѣчи на тему о любви къ отечеству и народной гордости и въ то же время «безсознательно, но тѣмъ не менѣе безпощадно отечество продавалось всюду и за всякую цѣну. Продавалось и за грошъ, и за болѣе крупный кушъ; продавалось и за карточнымъ столомъ, и за пьяными тостами подписныхъ обѣдовъ; продавалось и въ домашнихъ кружкахъ, устроенныхъ съ цѣлью наилучшей организаціи ополченія, и при звонѣ колоколовъ, при возгласахъ, призывавшихъ побѣду и одолѣніе». Надъ всѣмъ этимъ гамомъ какъ бы господствуетъ пріятная фигура Удодова. «Тяжкія испытанія, мой другъ, наступаютъ для Россіи!»—съ грустью восклицаетъ онъ.—«За вѣру! помнить, ребята! Съ желѣзомъ въ рукѣ... Съ Богомъ»,—напутствуетъ онъ партію ополченцевъ. «Держится голубчикъ-то нашъ (то-есть Севастополь), не сдается! Нахимовъ! Лазаревъ! Тотлебенъ! Герои! Урра!»—кричитъ онъ, съ лихорадочною поспѣшностью распечатывая газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ Удодовъ, послѣ упорной борьбы, добился того, что вся хозяйственная часть по устройству ополченія возложена на него. Сообщая объ этомъ пріятелю, онъ шутливо прибавляетъ: «ну, вы, конечно, увѣрены, что я своего кармана не забуду». Пріятель, конечно, увѣренъ, что эта шутка, а Удодовъ между тѣмъ, и въ самомъ дѣлѣ, своего кармана не забылъ, безъ всякихъ шутокъ, да такъ не забылъ, что даже испытанные въ дѣлѣ грабежа ахнули. «Да,—разсуждаетъ по этому случаю нѣкій Погудинъ,—*какая-нибудь тайна тутъ есть*: «Не бѣлы снѣги» запоютъ—слушать безъ слезъ не можетъ, а обдирать народъ,—это вольнымъ духомъ, сейчасъ».

«Какая-нибудь тайна тутъ есть»,—это характерно. Мы привыкли думать, что большимъ людямъ все представляется яснѣе, чѣмъ людямъ дюжиннымъ. И это, разумѣется,

справедливо, съ ограниченіями однако. Бываетъ и такъ, что большому человѣку представляются загадочными и таинственными такія явленія, въ которыхъ дюжинные люди не видятъ ровно ничего вопросительнаго. Зависитъ это прежде всего отъ разницы въ степени пытливости ума. Дюжинный человѣкъ, съ молоду свыкаясь съ какимъ-нибудь сложнымъ явленіемъ, не вдумывается въ него, и оттого оно ему кажется просто, а большой человѣкъ заглянетъ въ его глубину и обширность—и призадумается. Но и, кромѣ того, есть вещи, которыя большой человѣкъ трудно постигаетъ именно потому, что онъ большой. Сюда относятся разныя ухищренія низости, которыя мелкой душѣ гораздо ближе, родственнѣе и потому яснѣе и понятнѣе, чѣмъ душѣ возвышенной. Конокрады-патріоты были для Салтыкова трудно постижимой загадкой, къ разрѣшенію которой онъ много разъ пытался подойдти. Въ очеркѣ «Въ погоню за идеалами» онъ ведетъ, между прочимъ, рѣчь о тѣхъ же трудныхъ для Россіи временахъ Крымской войны:

«И что же, въ это самое время находились люди, которые ставили ополченцамъ сапоги съ картонными подметками, продавали въ свою пользу воловъ, пожертвованныхъ на мясную порцію для нижнихъ чиновъ, снабжали солдатъ кремневыми ружьями, въ которыхъ вмѣсто кремня была вставлена выкрашенная чурочка и т. д. И въ то же время эти люди не только не имѣли злодѣйскаго вида, но и сами себя не считали злодѣями. Они пили, ѣли, провозглашали тосты, устраивали фестивали и даже очень искренно молились въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣніи тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозцу на картонныхъ подошвахъ. Ужели можно предположить, что, поступая такимъ образомъ, эти люди понимали, что они обездоливаютъ и продаютъ то самое государство, которое ихъ пріютило, поставило подъ защиту своихъ законовъ и даже дало средства нажиться? Нѣтъ, предположить это значило бы допустить въ людяхъ такую нравственную одичалость, которая сдѣлала бы немыслимымъ существованіе человѣческаго общества».

Я не знаю ничего трогательнѣе этихъ усилій великаго писателя понять низость, и того упорства, съ которымъ онъ искалъ объясненія ей, всячески въ то же время уклоняясь отъ опасности найдти это объясненіе въ ней самой, въ нравственной извращенности человѣческой природы. Да, это была опасность для него. Этотъ сатирикъ, про котораго глупые и безстыжіе люди говорятъ, что онъ не оставилъ кругомъ себя ничего неоплеваннымъ, глубоко вѣрилъ въ нравственную красоту человѣческой природы *). Онъ не вѣрилъ и не хотѣлъ вѣрить въ злодѣйство, хотя конкретные факты злодѣйства предъявлялъ во всей ихъ обнаженности. Это можетъ показаться наивнымъ, но это во всякомъ случаѣ наивность возвышенной души, полной вѣры въ человѣка, упрекать которую въ плевательной спеціальности по-истинѣ глупо и безстыдно.

Мы не въ первый разъ видимъ Салтыкова въ положеніи человѣка, осмѣлившагося подойти къ. Сфинксу. Мы видѣли его въ глубокомъ раздумьи передъ «проблемой о мужикѣ», передъ «мучительно-загадочнымъ сопоставленіемъ мякиннаго хлѣба и вѣчной страды». Теперь опять сфинксы, только другаго рода, настоящіе сфинксы, несообразно составленные изъ львинаго туловища и человѣческой головы и, какъ то греческое чудовище, порожденіе стоглаваго гиганта и змѣи, задаютъ прохожимъ загадки. Пробовали прохожіе—и не отгадывали, и пожиралъ ихъ Сфинксъ. Но вотъ явился Эдипъ и отгадалъ, и бросился Сфинксъ въ море. Былъ ли Щедринъ Эдипомъ сфинкса лицемѣрія?

Если немыслима та степень «нравственной одичалости», которая нужна для обкрадыванія казны и народа подъ звуки патріотическихъ рѣчей, то почему же, однако, патріоты временъ Крымской войны могли «искренно молиться въ церквахъ о ниспосланіи побѣды и одолѣніи тѣмъ самымъ ратникамъ, которыхъ сейчасъ спустили по морозу на картонныхъ подошвахъ»? Вѣдь это же въ самомъ дѣлѣ Сфинксъ съ львинымъ туловищемъ и человѣческой головой. Салтыковъ рѣшаетъ загадку такъ: «Скорѣе всего упомянутые казнокрады оттого такъ дѣйствовали, что не имѣли никакого понятія ни о ключахъ отъ храма гроба Господня, ни объ устьяхъ Дуная, которыми разрѣшился вопросъ объ ключахъ, ни объ отношеніи этихъ вопросовъ къ русскому государству. Они дѣйствовали совершенно простодушно». Какъ ни странно на первый взглядъ это объясненіе, но оно не изъ тѣхъ, относительно которыхъ можно довольствоваться первымъ взглядомъ, тѣмъ болѣе, что Салтыковъ возвращался къ нему очень часто. Между прочимъ, развитію этой мысли почти цѣликомъ посвящена статья «Сила событій» (въ «Признакахъ времени»). Статья эта написана подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ разгрома Франціи Германіей, — разгрома, тяжело отдавшагося въ сердцахъ многихъ

*) Это напоминаетъ мнѣ одну очень характерную фразу Салтыкова, которую мнѣ едва-ли придется утилизировать гдѣ-нибудь въ текстѣ. Разсказывая про добрую старушку Пелагею Ивановну («Христосъ воскресъ!» въ «Губернскихъ очеркахъ»), онъ замѣчаетъ, что съ молоду она вѣрно была красавицею, во-первыхъ, потому, что и теперь слѣды красоты видны, а во-вторыхъ, потому, что «женщина съ истинно добрымъ сердцемъ, по мнѣнію моему, должна, непремѣнно должна быть красавицею».

мыслящихъ русскихъ людей, въ томъ числѣ и Салтыкова, который съ ранней юности высоко цѣнилъ заслуги Франціи передъ человѣчествомъ. Скорбь и обида за Францію, «раздавленную пятой лихтенштейнца», выдвинули передъ Салтыковымъ все того же сфинкса лицемѣрія вообще и въ частности лицемѣрнаго патріотизма, насажденнаго во Франціи наполеоновскимъ режимомъ. Къ слову сказать, кличка «бонапартистъ» была въ устахъ Салтыкова одною изъ самыхъ презрительныхъ. Онъ называлъ бонапартистомъ «всякаго, кто смѣшиваетъ выраженіе «отечество» съ выраженіемъ «ваше превосходительство» и даже отдаетъ предпочтеніе послѣднему передъ первымъ». («За рубежемъ»). По мнѣнію Салтыкова, три вопроса огромной практической важности не только поставлены, а и разрѣшены событіями франко-германской войны. Во-первыхъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма казнокрадовъ и другихъ паразитовъ. Во-вторыхъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей необразованныхъ и неразвитыхъ. Въ-третьихъ, вопросъ объ отношеніи къ идеѣ патріотизма людей, не принимающихъ участія въ дѣлахъ своей страны. Общій выводъ тотъ, что патріотизмъ безсознательный ненадеженъ и отнюдь не ведетъ къ тѣмъ великимъ цѣлямъ, которымъ патріотизмъ долженъ служить. А цѣли эти, по Салтыкову, дѣйствительно велики. Во-первыхъ, какъ мы видѣли уже раньше, патріотизмъ есть единственное звено, которое пріобщаетъ насъ къ извѣстной средѣ и заставляетъ насъ радоваться такими радостями и страдать такими страданіями, которыя насъ лично затрогиваютъ очень мало. Патріотизмъ раздвигаетъ наше личное существованіе и приготовляетъ къ воспріятію идеи человѣчества. Во-вторыхъ, «нѣтъ презрѣнія тяжеле того презрѣнія, которымъ пользуется человѣкъ отъ своихъ соотечественниковъ». А потому идея отечества однимъ внушаетъ мысль о подвигѣ, а другихъ, по крайней мѣрѣ, предостерегаетъ отъ множества гнусностей. «Есть еще другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная— это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственнаго дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщеній» («Убѣжище Монрепо»). Если читатель припомнитъ то высокое и страшное значеніе, которое Салтыковъ придавалъ суду потомства, о чемъ у насъ шла рѣчь во второмъ изъ предлагаемыхъ очерковъ, то онъ оцѣнитъ и роль патріотизма, который сатирикъ ставитъ рядомъ съ судомъ потомства. Лично Салтыковъ былъ истинный патріотъ въ томъ высокомъ смыслѣ, который онъ самъ придавалъ этому слову. Онъ любилъ Россію въ качествѣ просто русскаго человѣка, съ молокомъ матери всосавшаго стихійную привязанность къ русскому облику и говору, къ русской пѣснѣ и сказкѣ, къ русскому нраву и обычаю. Не меньше Удодова чувствовалъ онъ прелесть пѣсни «Не бѣлы снѣги». Но, какъ всегда и во всемъ, эту стихійную силу любви безотчетной онъ подвергалъ контролю сознанія и видѣлъ въ этомъ сознательномъ элементѣ то Эдипово слово, отъ котораго Сфинксъ долженъ броситься въ море. Въ наполеоновской Франціи дѣла ему представлялись такъ, что управленіе страной захватила въ свои руки шайка паразитовъ, ни объ чемъ, кромѣ пріятнаго времяпровожденія, не думавшихъ и, въ видахъ безостановочнаго продолженія этой пріятности, державшихъ населеніе внѣ сознательной связи съ интересами страны. Это были «не только хищники, но и глупые люди, которыхъ способно было застать врасплохъ всякое обстоятельство, не имѣющее ближайшаго отношенія къ процессу питанія». Они думали увѣковѣчить свое владычество, внѣдряя въ души населенія дисциплину подъ фирмой патріотизма, и дѣло кончилось бѣдой и позоромъ не только для нихъ, — объ этомъ никто не заплачетъ,—а и для всей страны.

Дальнѣйшіе выводы, которые отсюда слѣдуютъ, ясны сами по себѣ и на нихъ излишне останавливаться; я же обращаю вниманіе читателя на щедринскую разгадку загадки Сфинкса. Разгадка эта заключается въ словѣ безсознательность. Щедринъ не могъ допустить мысли, чтобы Удодовы и прочая сволочь, грабившая казну и народъ подъ громъ патріотическихъ рѣчей и севастопольскихъ пушекъ, понимали, что они дѣлаютъ. Не вѣдаютъ, что творятъ,—думалъ онъ, и въ этомъ невѣдѣніи искалъ объясненія злодѣйству. Щедринъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ узкихъ моралистовъ, которые неустанно твердятъ какой-нибудь глаголъ въ повелительномъ наклоненіи, не соображая условій, при которыхъ исполненіе проповѣдуемой заповѣди можетъ быть просто невозможно. Онъ говорилъ, и горячо, краснорѣчиво говорилъ: любите свое отечество; но вмѣстѣ съ тѣмъ указывалъ и ту обстановку, при которой любовь къ отечеству только и можетъ выбиться изъ лицемѣрной или ненадежной фразы въ сферу подлинной жизни. Эта обстановка — сознательное участіе въ дѣлахъ, касающихся отечества. Еслибы при этой обстановкѣ всетаки оказалась на лицо горсть закоренѣлыхъ хищниковъ и паразитовъ, пользующихся всякой раной на тѣлѣ отечества, чтобы присосаться къ ней и пить кровь, отводя отъ

раны окровавленный ротъ только для произнесенія благонамѣренныхъ рѣчей, то по крайней мѣрѣ всякій зналъ бы, чего стоятъ эти благонамѣренныя рѣчи; никого бы онѣ не вводили въ обманъ.

Дѣло именно въ обманѣ. Сознательно или безсознательно лицемѣритъ человѣкъ, но онъ во всякомъ случаѣ вводитъ или хоть пытается ввести присутствующихъ въ заблужденіе. Если ты хищникъ или проходимецъ, такъ и называйся хищникомъ и проходимцемъ, а не патріотомъ или «столпомъ»...

Послѣ Іудушки Головлева «столпъ» Деруновъ—самая значительная фигура во всей серіи «Благонамѣренныхъ рѣчей». Кромѣ присущаго обоимъ безсознательнаго лицемѣрія, общаго между этими двумя крупными образами мало Іудушка — мрачный, одинокій бездѣльникъ, постепенно покрывающійся плѣсенью въ своей мурьѣ; Деруновъ — спокойный, веселый дѣлецъ, все шире и шире раздвигающій кругъ своей жизни. Этому различію соотвѣтствуетъ и различіе общественнаго положенія: Іудушка представляетъ собою послѣдній отпрыскъ выродившейся помѣщичьей семьи, а Деруновъ, напротивъ, есть одинъ изъ родоначальниковъ новаго общественнаго наслоенія, такъ что заплѣсневѣлость Іудушки и жизнерадостность Дерунова являются какъ бы эмблемами. Іудушка только въ праздныхъ мечтаніяхъ на бумагѣ высчитываетъ, какъ, кого и насколько могъ бы онъ ограбить при помощи купли и продажи, штрафовъ и процентовъ, а у Дерунова все это въявь кипитъ. Любопытно замѣтить, что образъ Дерунова и родственныхъ ему Антошки Стрѣлова, Разуваева и прочихъ «чумазыхъ» намѣченъ опять-таки еще въ «Признакахъ времени», въ главѣ «Нашъ savoir vivre». Этотъ нашъ *savoir vivre* есть, собственно говоря, просто мошенничество, болѣе или менѣе закутанное благонамѣренными рѣчами. Сатирикъ замѣчаетъ, что принципъ *savoir vivre* очень туго прививается къ меньшей братіи, но за то, если уже выдастся изъ этой среды подходящій субъектъ, такъ всякаго за поясъ заткнетъ. Помаленьку, да полегоньку онъ сначала ближайшую округу объегориваетъ, а потомъ распространяетъ свои сѣти все дальше и становится, наконецъ, знаменитымъ въ качествѣ «мужичка-фанансиста», съ исключительною ловкостью и жестокостью осуществляющаго планы всеобщаго ограбленія. Такова именно исторія Дерунова. Его первые шаги къ лестному титулу мужичка-финансиста—неизвѣстны. Разуваевъ — тотъ въ основу своего благополучія благосклонность корнетши Отлетаевой положилъ. Антошка, впослѣдствіи Антонъ Валерьяновичъ Стрѣловъ, сначала стрѣлой по базару носился, а потомъ поднялся при помощи плутовства, благосклонности любовницы генерала Утробина старшаго и подложныхъ векселей генерала Утробина младшаго. Трактирщикъ въ «Охранителяхъ» соблазнилъ жену купца, вмѣстѣ съ ней его дурманомъ опоилъ и съ того въ гору пошелъ, и т. д. Что же касается Дерунова, то о его первыхъ шагахъ къ «засилію» имѣется только одно его собственное показаніе: почиталъ онъ своего родителя, а братъ его родителя не почиталъ, за что и былъ лишенъ наслѣдства, цѣликомъ доставшагося почтительному сыну. Въ дѣтскихъ воспоминаніяхъ автора Деруновъ фигурируетъ удачливымъ и ловкимъ прасоломъ и хозяиномъ постоялаго двора. Но собственно разсказъ застаетъ его уже на гораздо высшей ступени: у него уже четверть уѣзда земли въ рукахъ, скотъ онъ скупаетъ цѣлыми табунами, фабрику миткалевую завелъ, винокуренные заводы арендуетъ, палаты каменныя себѣ выстроилъ. Слава его настолько гремитъ, что его уже въ акціонерныя предпріятія втягиваютъ, но этого онъ еще опасается. Живетъ Деруновъ съ большой семьей: жена, два сына, сноха, четверо внучатъ, да еще дочь есть,—та на сторонѣ живетъ съ мужемъ, съ полковникомъ. Однимъ изъ сыновей, женатымъ, Деруновъ очень недоволенъ, даже въ смирительный домъ его за непочтеніе сажалъ; за то снохой не нахвалится, да и вообще въ семьѣ счастливъ. «Теперича мнѣ хоть какую угодно принцессу предоставь, — развѣ я ее на мою Анну Ивановну промѣняю? Спаси Господи! Въ семью-то придешь,—ровно въ раю очутишься. Право! Благодать, тишина; всякій при своемъ мѣстѣ, — истинный рай земной!» Деруновъ — человѣкъ и по внѣшности благообразный и благодушный, всѣми почитаемый. Однако, кое-какія подробности его бесѣды смущаютъ автора. Авторъ хочетъ продать свое имѣніе, и Деруновъ, пользуясь обстоятельствами, тѣснитъ его несообразно малой цѣной. Это—во-первыхъ. А во-вторыхъ, про свои коммерческія операціи Деруновъ разсказываетъ, между прочимъ, такъ: «Хлѣбомъ ноньче за первый сортъ торговать. На счетъ податей строго стало, выкупныя требуютъ, ну, и везутъ. Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды везетъ. Очень эта операція нынче выгодная. И скотъ скупать хорошо, коли ко времю. Вотъ въ мартѣ кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнутъ, — тутъ только не плошай! — За безцѣнокъ цѣлые табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ заводахъ на барду ставимъ. Хорошій барышъ бываетъ», и т. д. Во время этихъ наивно или нагло-откровенныхъ разсказовъ

благолѣпнаго старца является его сынъ, ѣздившій скупать хлѣбъ у крестьянъ. Онъ разсказываетъ, что давалъ мужикамъ шесть гривенъ за пудъ, а они заупрямились и повезли хлѣбъ въ другое мѣсто, а въ этомъ другомъ мѣстѣ опять же никого, кромѣ Деруновскихъ приказчиковъ, нѣтъ, — ну, и пришлось отдать еще дешевле, по полтиннику. Деруновъ одобряетъ, что мужиковъ проучили за упрямство, но прибавляетъ:

— Однако это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость. Скажи, пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то нынче, знаешь, какъ! Что же ты исправнику не шепнулъ?

— Ничего, папенька, покамѣсть еще своими мѣрами справляемся-съ.

— Ну ладно. И то сказать, окромя насъ и покупщиковъ-то здѣсь солидныхъ нѣтъ. Испугать вздумали! Нѣтъ, братъ, ростомъ не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунтъ былъ. Просто, какъ есть стали всѣ за одно и шабашъ. Вы, говорятъ, изъ всего уѣзда кровь пьете. Даже смѣшно-съ.

— Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотри-ко, бунты начались.

— Да какой же это бунтъ, Осипъ Ивановичъ?—вступился я.

— А по твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? самъ что-ли экую махину съѣмъ? Въ амбарѣ что-ли я его гноить буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ, хлѣба-то не будетъ? Помирать что-ли арміи-то? По твоему это не бунтъ?

Этотъ неожиданный оборотъ разговора, въ связи съ другими подобными же благонамѣренными рѣчами Дерунова, заставляетъ автора призадуматься: есть-ли Деруновъ дѣйствительно «столпъ», или онъ, напротивъ, принадлежитъ къ числу «самыхъ злыхъ и отъявленныхъ отрицателей собственности, семейнаго союза и другихъ основъ?» Повидимому, здѣсь нѣтъ мѣста никакимъ такимъ сомнѣніямъ. Деруновъ богатый собственникъ и уже по одному этому чтитъ собственность; онъ держитъ въ порядкѣ семью и, слѣдовательно, чтитъ семейный союзъ; онъ заботится объ арміи, жертвуетъ на «общеполезное устройство», его грудь украшена медалями, — значитъ, онъ чтитъ союзъ государственный. *«Но понимаетъ-ли онъ самъ, что онъ «поборникъ»? Не говоритъ-ли въ этомъ случаѣ одно его нутро, безъ всякаго участія въ томъ его сознанія?»* Будь это сознаніе налицо, Дерунову пришлось бы, можетъ быть, одно изъ двухъ: либо прекратить свои благонамѣренныя рѣчи, либо измѣнить характеръ своей дѣятельности. Потому что, какъ же связать уваженіе къ принципу собственности съ желаніемъ даже при помощи исправника получить чужую собственность за несообразную цѣну? По крайней мѣрѣ автору, послѣ его свиданія съ благолѣпнымъ старцемъ, приснился такой сонъ. Видитъ онъ станового пристава, получившаго высшее образованіе и имѣющаго дипломъ доктора философіи. Сидитъ будто этотъ становой и пишетъ: «Проявился въ моемъ станѣ купецъ 1-й гильдіи Осипъ Ивановъ Деруновъ, который собственности не чтитъ и въ дѣйствіяхъ своихъ по сему предмету представляется не безопаснымъ. Искусственными мѣрами понижаетъ онъ на базарахъ цѣну на хлѣбъ и тѣмъ вынуждаетъ мѣстныхъ крестьянъ сбывать свои продукты за безцѣнокъ. И даже на дняхъ, встрѣтивъ чемезовскаго помѣщика (имя рекъ), наглыми и безстыжими способами вынуждалъ онаго продать ему свое имѣніе за самую ничтожную цѣну. А потому благоволитъ вышнее начальство онаго Дерунова изъ подвѣдомственнаго мнѣ стана извлечь и поступить съ нимъ по законамъ, водворивъ въ мѣста болѣе отдаленныя и безопасныя». Это былъ сонъ, а проснувшись, авторъ съ достовѣрностью узнаетъ, что Деруновъ сверхъ того и снохачъ. Благолѣпный старецъ, такъ краснорѣчиво говорившій о прелестяхъ семейной жизни («истинный рай земной!»), отнялъ жену у собственнаго сына...

Очеркъ «Превращеніе» рисуетъ Дерунова на еще высшей степени великолѣпія. Онъ уже бросилъ непосредственное кровопійство, предоставивъ эту черную работу сыну и приказчикамъ, а самъ занялся «отвлеченнымъ» грабежомъ, высшими финансовыми операціями, при которыхъ не слыхать протестовъ въ видѣ стоновъ, оханій, проклятій, «бунтовъ» и которыя, однако, даютъ рубль и два рубля на рубль въ такіе сроки, въ какіе непосредственное кровопійство даетъ на рубль гривенниковъ. Сверхъ того, Деруновъ, еще бодрый и крѣпкій старикъ, рветъ цвѣты наслажденія: ѣздитъ въ Петербургъ, задаетъ лукулловскіе пиры, носитъ брилліантовыя запонки и открыто живетъ съ красавицей-снохой.

Чурилинъ («Кандидатъ въ столпы»), Стрѣловъ («Отецъ и сынъ»), Хрисашка Полушкинъ («Опять въ дорогѣ»), затѣмъ Груздевъ, Разуваевъ («Убѣжище Монрепо»),—все это разновидности Деруновскаго типа. Въ «Предостереженіи» сатирикъ подвелъ имъ итогъ кличкой «чумазые». Это такіе-же безсознательные лицемѣры, какъ Іудушка Головлевъ, кузина Машенька, Батищевъ и мать его, Проказнинъ и мать его и множество другихъ дѣйствующихъ лицъ сатиръ Салтыкова. Все это люди, отлично помнящіе десять заповѣдей, но исключительно въ буквальной формѣ ихъ повелительнаго наклоненія, то-есть въ формѣ обращенія ко второму лицу: *ты* не укради, *ты* не убей, *ты* не прелюбы сотвори. А затѣмъ отъ степени изворотливости

даже не ума ихъ, а только языка—зависитъ удача или неудача достиженія истинной цѣли ихъ жизни: сбросить съ себя лично узду этихъ самыхъ заповѣдей. Но «чумазые» выдѣляются изъ всего персонала лицемѣровъ своимъ общественнымъ положеніемъ. Они пробились снизу вверхъ. Они новые люди въ исторіи. Въ дореформенную эпоху они были возможны развѣ въ видѣ рѣдкихъ исключеній и во всякомъ случаѣ никакого новаго теченія внести въ жизнь не могли. Бывали случаи, что, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, «мужичекъ» пролѣзалъ на-верхъ, но онъ становился при этомъ такимъ же бариномъ, какъ и прирожденные баре, растворялся въ барскомъ слоѣ: заводилъ себѣ непомѣрную дворню, въ теплые края путешествовать ѣздилъ, бросалъ деньги направо и налѣво, а при случаѣ и книжки читалъ и библіотеки, музеи, школы заводилъ. «Чумазые», какъ новый дирижирующій слой, стали возможны только съ тѣхъ поръ, какъ «порвалась цѣпь великая, порвалась, раскачалася — однимъ концомъ по барину, другимъ по мужику». Не потому, разумѣется, они стали возможны, что порвалась великая постыдная цѣпь, а благодаря обстоятельствамъ, сопровождавшимъ это событіе. Неумѣлый баринъ и обремененный мужикъ—вотъ два источника, изъ которыхъ и на счетъ которыхъ «чумазые» черпаютъ свою силу. Деруновъ уловляетъ и чемезовскаго барина, пользуясь его безпомощностью, и крестьянъ, выжидая моментъ, когда кормы повыберутся и недоимки понуждать начнутъ. Разуваевъ опутываетъ владѣльца Монрепо и мужику спуску не даетъ, памятуя, что «йенъ достанитъ».

Въ финансовомъ девизѣ Разуваева лежитъ ключъ къ уразумѣнію разницы между тѣмъ обездоленіемъ, которому могъ подвергать мужика баринъ, и тѣмъ, которое зависитъ отъ алчности чумазыхъ. Баринъ могъ проиграть свою Маниловку или Заманиловку въ карты, могъ промѣнять крестьянскую семью на пару борзыхъ собакъ, могъ совершать всякія безобразія и жестокости, но онъ не могъ не знать и не принимать въ соображеніе той границы матеріальнаго обездоленія, за которою «йенъ» уже ничего не «достанитъ». А еслибы онъ и перевелъ обитателей своей Маниловки за эту границу, то, во-первыхъ, это отозвалось бы на немъ самомъ; а во-вторыхъ, дальше своихъ владѣній онъ былъ не въ силахъ распространять раззореніе. Сфера же дѣятельности чумазыхъ, можно сказать, безпредѣльна; для нихъ «йенъ» всегда «достанитъ», потому что если этотъ «йенъ» даже съ голоду умретъ, такъ на его мѣсто совершенно такой же свѣжій «йенъ» явится; да и самъ чумазый, опустошивъ Маниловку, можетъ свободно перенестись въ другую Маниловку, третью и т. д., безъ конца. Кромѣ того, надо помнить, что баринъ всетаки былъ не чуждъ наукъ и искусствъ, онъ иногда слушалъ Грановскаго и читалъ Бѣлинскаго, былъ способенъ предаваться «мечтаніямъ», конечно, въ большинствѣ случаевъ, платоническимъ и праздными. Чумазый же на вопросъ: что есть истина? твердо и неукоснительно отвѣчаетъ: «распивочно и на выносъ!» Чумазый, какъ мы видѣли на примѣрѣ Дерунова, можетъ подняться очень высоко, начисто вымыться и надѣть брилліантовыя запонки, такъ что сюда относятся вообще «кабатчики, желѣзнодорожники, мѣнялы и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера». Чумазые это—нашъ *tiers-état*. Но въ отличіе отъ европейской буржуазіи, на знамени которой значатся слова: просвѣщеніе и свобода, Деруновъ ставитъ себѣ девизомъ: «насчетъ вина свободно, а насчетъ чтеніевъ строго», и этимъ изреченіемъ стремится окрасить все окружающее. Въ этомъ ему существенную помощь оказываютъ благонамѣренныя рѣчи.

Мы видѣли пріемы, которыми Деруновъ настигаетъ мужика: ловитъ моментъ безкормицы и взысканія недоимокъ, а если и за всѣмъ тѣмъ мужикъ не беретъ шести гривенъ за пудъ, то Деруновъ называетъ это стачкой и бунтомъ и готовъ прибѣгнуть къ содѣйствію властей, потому онъ армію хлѣбомъ снабжаетъ, а не умирать же арміи изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ! Этотъ залпъ благонамѣренныхъ рѣчей за счетъ властей и арміи есть ultima ratio. Такъ и съ «господами». Понуждая чемезовскаго барина продать имѣніе задешево, Деруновъ пугаетъ его судьбой кандауровскаго барина, котораго «чуть-чуть не увезли», потому что онъ «чтеніями» занимался. Въ очеркѣ «Опять въ дорогѣ» Хрисашка Полушкинъ съ братьей доносами выживаютъ помѣщика Ощирина; доносы, конечно, состоятъ изъ благонамѣренныхъ рѣчей: въ церковь Ощиринъ не ходитъ, такъ это истиннымъ сынамъ церкви обидно показалось, а какой же Хрисашка сынъ церкви, когда онъ воръ и прелюбодѣй? Владѣльца Монрепо Разуваевъ съ Ковыряевымъ выкуриваютъ всѣми возможными способами—и наглымъ нахрапомъ, и уговорами, и наконецъ угрозой политическаго доноса. Никакихъ политическихъ грѣховъ за владѣльцемъ Монрепо нѣтъ, но, въ концѣ-концовъ онъ не выдерживаетъ этого всесторонняго натиска и продаетъ Разуваеву Монрепо: finis Монрепо.

Такова сила «благонамѣренныхъ рѣчей»... Вотъ три человѣка, въ прошломъ которыхъ есть убійство, воровство, лжесвидѣтельство, прелюбодѣйство,—словомъ, нарушеніе чуть

не всѣхъ десяти заповѣдей,—являются въ качествѣ добровольцевъ-охранителей государственнаго порядка и религіи («Охранители»). Они «извѣщаютъ» исправника о преступной дѣятельности помѣщиковъ Аннетова и Парначева. Исправникъ, хорошо знакомый съ біографіями всѣхъ трехъ доносчиковъ, отказывается дать ходъ ихъ извѣщеніямъ, потому что въ дѣйствіяхъ Аннетова и Парначева не оказывается состава преступленія (одинъ самъ землю пашетъ, а другой хлопочетъ о школахъ, трезвости и сыроваренін). Однако исправникъ, всетаки, пользуется услугами извѣстителей и, кажется, не можетъ не пользоваться, потому что въ противномъ случаѣ они, чего добраго, его самого обвинятъ въ неуваженіи къ «основамъ». Обвинятъ, не моргнувъ глазомъ, ни на секунду не дрогнувъ совѣстью, хотя онито и есть настоящіе разрушители основъ. Эти три доносчика настолько глупы и невѣжественны, что формулируютъ свои извѣщенія такъ: «Каммуны дѣлаетъ, пролетаріатъ проповѣдуетъ, прокламацію распущаетъ все, словомъ сказать, весь ядъ!—Главнѣйше же путямъ провидѣнія не покоряется: дождь, напримѣръ, не отъ Бога, а отъ облаковъ». Но благонамѣренныя рѣчи отнюдь не всегда отливаются въ такія безграмотныя и безсмысленныя формы. Напротивъ, онѣ поддаются болѣе или менѣе благообразной, въ техническомъ смыслѣ, обработкѣ и складываются въ цѣлыя литературныя теченія, отъ чего, однако, ни мало не измѣняется ихъ суть. Суть же въ томъ, что на защиту основъ поднимаются разрушители основъ, сохраняя при этомъ столь полную ясность духа, что не знаешь даже чему ее приписать—безграничной-ли наглости, или младенческой наивности. Во всякомъ случаѣ этотъ странный маскарадъ, гдѣ все безъ церемоніи валится съ больной головы на здоровую; гдѣ возможна «притча о мерзавцѣ, на доброй стезѣ стоящемъ» («Письма къ тетенькѣ»); гдѣ «разбойниками печати» ругаются именно тѣ, кому этотъ титулъ приличествуетъ; гдѣ уличенные развратники кричатъ о святости семейнаго начала, гдѣ казнокрады заподозрѣваютъ Щедриныхъ въ недостаткѣ патріотизма,—маскарадъ этотъ внушилъ сатирику ядовитую мысль, которую онъ, впрочемъ, облекъ въ комическую форму «Современной идилліи».

Одурманенные хоромъ благонамѣренныхъ рѣчей, герои «Современной идилліи» припоминаютъ свое прошлое: чего-чего тамъ только не было,—«и восторгъ по поводу упраздненія крѣпостнаго права, и признательность сердца по случаю введенія земскихъ учрежденій, и свѣтлыя надежды, возбужденныя опубликованіемъ новыхъ судебныхъ уставовъ, и торжество, вызванное упраздненіемъ предварительной цензуры, съ оставленіемъ ея лишь для тѣхъ, кто, по человѣческой немощи, не можетъ вмѣстить безцензурности». Съ точки зрѣнія Терпибѣдовыхъ и Граціановыхъ, Разуваевыхъ и Очищенныхъ, все это такія преступленія, которыя вопіютъ о торжественномъ и блестящемъ искупленіи. И вотъ герои «Современной идилліи» спѣшатъ сдѣлаться «участниками преступленій, въ надеждѣ, что общій уголовный кодексъ защититъ ихъ отъ притязаній кодекса уголовно-политическаго». Они стремятся уподобиться Терпибѣдовымъ и Граціановымъ, погружаются въ пучину низости, мерзости, грязи, совершаютъ рядъ постыдныхъ и прямо преступныхъ дѣяній и, наконецъ, достигаютъ своей цѣли: Терпибѣдовы, Граціановы, Разуваевы и весь сонмъ лицемѣровъ признаютъ ихъ людьми благонамѣренными. Но тутъ является на сцену «Стыдъ»...

VII.

Умѣренность и аккуратность.

«Въ основѣ современной жизни лежитъ почти исключительно мелочь... Ахъ, эти мелочи! Какъ чесоточный зудень, впиваются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ, и жгутъ его... Мелочи, мелочи, мелочи заполонили всю жизнь».

Такъ вздыхалъ Салтыковъ въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ произведеній, разумѣя при этомъ не только русскую, а и европейскую жизнь. Понятно, однако, что наибольшее вниманіе онъ удѣляетъ нашей жизни. Въ томъ сравнительно небольшомъ произведеніи, изъ котораго взяты приведенныя слова («Мелочи жизни»), сдѣланъ смотръ разнымъ положеніямъ русскихъ людей. Передъ читателемъ проходятъ: «Хозяйственный мужичокъ», сельскій священникъ, помѣщикъ, «міроѣды», группа «молодыхъ людей», группа «читателей», группа «дѣвушекъ», группа, поставленная за общую скобку заглавія «Въ сферѣ сѣянія» (газетчикъ, адвокатъ, земскій дѣятель, праздношатающійся), затѣмъ отдѣльныя фигуры «Портнаго Гришки», «Счастливца», «Имярека». По задачѣ это нѣсколько напоминаетъ некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Но поэтъ не успѣлъ отвѣтить на свой вопросъ, а отвѣтъ Салтыкова на-лицо. Отвѣтъ грустный; именно грустный. Всякій другой эпитетъ, хотя бы даже справедливый по существу дѣла, былъ бы всетаки неумѣстенъ, въ виду того тона, которымъ этотъ отвѣтъ проникнутъ. Въ смыслѣ господствующаго тона, «Мелочи жизни» можетъ быть самое цѣльное изъ произведеній Салтыкова, если

брать ихъ такъ, какъ онъ ихъ писалъ,— цѣлыми серіями. Въ «Мелочахъ жизни» нѣтъ той смѣны спокойнаго разсужденія и изображенія взрывами заразительнаго смѣха, а этого смѣха негодованіемъ, которую мы видимъ и въ «Губернскихъ очеркахъ», и въ «Помпадурахъ», и въ «Господахъ Ташкентцахъ», и въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», и въ «Пошехонскихъ разсказахъ», и въ «Письмахъ къ тетенькѣ» и т. д. Въ этомъ отношеніи рядомъ съ «Мелочами жизни» можетъ быть поставлена только «Пошехонская старина», но объ ней у насъ пойдетъ рѣчь особо. Въ «Мелочахъ жизни» сатирикъ является какъ бы уставшимъ смѣяться и негодовать. Онъ можетъ только грустить. Груститъ онъ о томъ, что мелочи заполонили всю жизнь, что всѣ, куда ни взглянешь, да и самъ онъ, сатирикъ, затянуты тиной мелочей, въ которой даже, повидимому, наиболѣе счастливые почерпаютъ только тусклую, сѣрую жизнь изо-дня-въ-день, безъ намека на настоящее счастье, безъ манящаго просвѣта въ будущее. О какой-нибудь утрировкѣ или о тенденціозномъ подборѣ фактовъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Салтыковъ выбираетъ для своего обзора отнюдь не худшія положенія. Совсѣмъ даже напротивъ. Такъ изъ крестьянской жизни онъ беретъ не какую-нибудь голь перекатную, раздавленную нуждой и горемъ, а «хозяйственнаго мужичка», разумнаго, честнаго, у котораго домъ, по-крестьянски, полная чаша. И однако, сдѣлавъ добросовѣстный обзоръ его жизни, авторъ приходитъ къ грустному вопросу: «съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?» Мелочи, тягучія, липкія мелочи, опутывающія всю жизнь хозяйственнаго мужичка, не даютъ ему подняться выше «хлѣба единаго», обрѣзываютъ его душѣ крылья, да и въ сферѣ ежедневныхъ интересовъ онъ всетаки не спокоенъ. Хорошо онъ живетъ, полная чаша его домъ, но подъ старость, когда ему приходится передать бразды правленія большаку-сыну, онъ видитъ, что дѣло его жизни начинаетъ вразбродъ идти. «Умру, все растащутъ!— думается старику, и болитъ—ахъ, болитъ его хозяйственное сердце!» А уйти отъ этой боли некуда,—весь онъ тутъ, въ этихъ мелочахъ.—Вотъ сельскій священникъ: хорошій попъ, и никакихъ особенныхъ, экстренныхъ несчастій судьба ему не посылаетъ. Тѣмъ не менѣе, жизнь его есть ни что иное, какъ «сказка объ изнурительномъ жизнестроительствѣ», и резюмируется словами: «Горькое начало, горькое существованіе, горькій конецъ».—Но вотъ, пропуская нѣсколько фигуръ, наталкиваемся на исключительнаго удачника. Газетчикъ Иванъ Непомнящій устроился блистательно: обладая, вмѣсто убѣжденій и знаній, лишь бойкимъ перомъ и наглостью, онъ въ изобиліи пожинаетъ деньги тамъ, гдѣ сѣетъ вздоръ, сплетни, гаерство. Онъ задаетъ роскошные обѣды, держитъ при своей особѣ «льстеца», «разсказчика сценъ» и «разорившагося жупра», собирается купить въ Италіи замокъ Лампопо съ принадлежащимъ къ нему княжескимъ титуломъ,—словомъ, можетъ сказать себѣ: пей, ѣшь и веселись. Онъ и пьетъ, и ѣстъ, но не веселится. И его жизнь слагается изъ удручающихъ мелочей изо-дня въ день, такъ что онъ начинаетъ, наконецъ, ненавидѣть свою газету, а бросить ее не можетъ...

Таково-ли дѣйствительно положеніе Ивана Непомнящаго, въ самомъ-ли дѣлѣ онъ удрученъ мелочами жизни, или, напротивъ, душа его ничего иного не проситъ, до этого намъ дѣла нѣтъ. Мы говоримъ о настроеніи Салтыкова, объ его собственномъ отношеніи къ мелочамъ жизни. Онѣ представлялись ему чѣмъ-то ужаснымъ и вмѣстѣ унизительнымъ, какимъ-то засасывающимъ болотомъ, выбраться изъ котораго не легко, даже при полномъ сознаніи, что погружаешься во что-то грязное, липкое и зловонное. Салтыковъ очень хорошо зналъ, что есть люди, способные довольствоваться мелочами. Вотъ, напримѣръ, помѣщикъ Лобковъ «совершенно доволенъ, что его со всѣхъ сторонъ обступили мелочи, — ни дыхнуть, ни подумать ни о чемъ не даютъ; цѣною этого онъ сытъ и здоровъ, а больше ему ничего и не требуется». Или «Ангелочекъ», или «Полковницкая дочь» (обѣ изъ группы «Дѣвушекъ»), да мало-ли ихъ, малымъ довольныхъ. Какъ бы, однако, они ни были по-своему счастливы, со стороны на нихъ можно посмотрѣть разно. Можно, памятуя изрѣченіе: «Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей», негодовать на узколобіе или черствость, необходимыя для благополучнаго погруженія въ мелочи жизни; можно осмѣять рыцарей вершка и золотника. Но можно и пожалѣть ихъ. Ангелочекъ, полковницкая дочь, Лобковъ, Иванъ Непомнящій и проч.,— все это люди малые, но все же они люди. Могли бы вѣдь и они, при другихъ условіяхъ, вкусить отъ настоящей жизни, взять съ нея все, что она способна дать человѣку, а они, бѣдные, даже не подозрѣваютъ о существованіи тѣхъ подчасъ мучительныхъ, а подчасъ и радостныхъ и во всякомъ случаѣ расширяющихъ личное существованіе тревогъ, которыя даютъ высшія проявленія жизни. Что ужъ это за жизнь безъ любовнаго участія къ чьей бы то ни было чужой жизни, безъ мечты, безъ жаж-

ды подвига, безъ подъема къ какому бы то ни было небу... жалкая, сиротская, нищенская жизнь!

На этой именно точкѣ грустной жалости стоитъ Щедринъ въ «Мелочахъ жизни». Онъ ни на кого не сердится, никого не осмѣиваетъ,—онъ жалѣетъ, и въ этой его жалости находятъ себѣ одинаковый пріютъ и всѣми безжалостно поруганный портной Гришка, и великолѣпный газетчикъ, и бездушный Ангелочекъ, счастливо превращающійся въ княгиню Сампантре, и оставшаяся «Христовой невѣстой» Ольга Васильевна. Очень это различные люди и очень различныя ихъ положенія, но они одинаково засосаны мелочами. Это не надменный укоръ человѣка, взобравшагося на пьедесталъ. Авторъ и самого себя чувствуетъ опутаннымъ сѣтью мелочей. На краю могилы «онъ чувствуетъ, что сердце его горитъ, и что онъ пришелъ къ цѣли поисковъ всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезѣ правды... Онъ простираетъ руки, ищетъ отклика, онъ жаждетъ идти, возглашать... И сознаетъ, что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и оброшенности» («Имярекъ»).

Очеркъ «Имярекъ» произвелъ въ свое время сильное впечатлѣніе, какъ личная исповѣдь знаменитаго автора. Онъ получалъ много писемъ. Одно изъ нихъ пришло въ моемъ присутствіи, и Салтыковъ, жалуясь на слабость зрѣнія, просилъ меня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыковъ, по обыкновенію, ворчалъ и въ то-же время плакалъ... Авторъ письма называлъ его «святымъ старикомъ», доказывалъ, что не крохи и мелочи у него въ прошломъ, что не одинокъ онъ и не можетъ быть одинокъ, что русское общество не можетъ забыть его заслуги, какъ бы ни умалялъ ихъ размѣры онъ самъ. Письмо было хорошее, звучало искренностью, и если автору его попадутся на глаза эти строки, пусть онъ приметъ отъ меня благодарность за тѣ минуты умиленія, которыя онъ доставилъ больному и мнительному старику. Корреспондентъ былъ настоящій «читатель-другъ», общеніе съ которымъ Салтыковъ, какъ мы видѣли, считалъ драгоцѣннымъ для каждаго убѣжденнаго писателя. Но письмо было не просто утѣшительно, въ немъ была правда. Конечно, только мнительность и болѣзнь могли внушить Салтыкову мысль, «что сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и оброшенности». Все относительно. Ядовитыя мелочи не пощадили и Салтыкова, и въ его жизнь и дѣятельность онѣ внесли свою долю горькой отравы. Но сдѣланнаго имъ, разумѣется, слишкомъ достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека. Хотя бы уже потому, что въ его дѣятельности широкая полоса была отдана именно борьбѣ съ мелочами жизни. До конца дней своихъ не уставалъ онъ звать насъ въ тотъ міръ идеала и дѣйственной вѣры въ будущее, который только и можетъ спасти отъ губительной цѣпкости мелочей. Вглядываясь въ безнадежно сѣрые тоны нашей жизни, воспроизведенные имъ коснѣющею рукою въ предсмертной страничкѣ «Забытыхъ словъ», онъ боялся: «Кто знаетъ,—можетъ быть недалеко время, когда самыя скромныя ссылки на идеалы будущаго будутъ возбуждать только ничѣмъ не стѣсняющійся смѣхъ («Пошехонская старина»). Увы! это время уже наступило, слова: «вѣра въ будущее», «идеалы» уже возбуждаютъ смѣхъ, столько же наглый, сколько и глупый. А впрочемъ, rira bien qui rira le dernier...

Къ торжеству мелочей Салтыковъ не всегда относился только съ грустью, какъ въ послѣдніе годы своей жизни. Раньше онъ встрѣчалъ его то бурнымъ негодованіемъ, то безпощаднымъ смѣхомъ.

Въ сказкѣ «Добродѣтели и Пороки» парламентеромъ отъ Добродѣтелей во враждебный лагерь Пороковъ, въ концѣ-концовъ, отправляется Лицемѣріе. Но сначала Добродѣтели отправили было «двухъ бобылокъ—Умѣренность и Аккуратность». Выборъ этотъ онѣ сдѣлали по указанію Опыта, который посовѣтовалъ: «отыщите такое сокровище, которое и Добродѣтели бы уважало, да и отъ Пороковъ было бы не прочь». Умѣренность и Аккуратность вполнѣ соотвѣтствовали этимъ требованіямъ, потому что со одной стороны въ добродѣтельскихъ селеніяхъ жили, а съ другой—торговали корчевнымъ виномъ и потихоньку Пороки у себя принимали. Однако, миссія Умѣренности и Аккуратности не удалась. Пришли онѣ въ лагерь Пороковъ и начали канитель разводить: «помаленьку-то покойнѣе, а потихоньку вѣрнѣе»: ну ихъ и прогнали.

Умѣренность и аккуратность несомнѣнно живутъ въ добродѣтельскихъ селеніяхъ и питаются тѣми самыми мелочами, которыя, по Салтыкову, калѣчатъ жизнь человѣческую. Понятно, что большого благоволенія къ этимъ почтеннымъ качествамъ сатирикъ не могъ чувствовать. И дѣйствительно, еще въ самомъ раннемъ своемъ произведеніи, въ «Запутанномъ дѣлѣ», онъ съ совершенно недвусмысленною непріязнію относится къ той программѣ умѣренности и аккуратности, которою отецъ героя снабжаетъ отъѣзжающаго въ Петербургъ сына. Это можно бы было пожалуй, поставить на счетъ молодости. Сал-

тыкову было всего двадцать два года, когда онъ писалъ «Запутанное дѣло»; ну, а въ эти благодатные годы умѣренность и аккуратность натурально претятъ: «то кровь кипитъ, то силъ избытокъ». Надо быть Молчалинымъ, чтобы посвятить себя культу умѣренности и аккуратности à la fleur de l'âge. Потомъ, когда цвѣты отцвѣтутъ, когда уходятъ бурку крутыя горки,—другое дѣло. Суровая житейская практика поукротитъ молодой задоръ, поубавитъ молодыхъ силъ, мелочи жизни сдѣлаютъ свое дѣло, и умудренный человѣкъ сожжетъ все, чему поклонялся, поклонится всему, что сожигалъ. Съ улыбкой,—и хорошо еще если съ улыбкой, а не со стыдомъ или зубовнымъ скрежетомъ,—будетъ онъ вспоминать золотые сны молодости и предъявитъ ту самую программу умѣренности и аккуратности, которую когда то гордо и пылко браковалъ. Ахъ, это очень обыкновенная исторія, — до такой степени обыкновенная, что когда я вижу юношу, съ негодованіемъ рвущаго знамя умѣренности и аккуратности, я по-неволѣ вспоминаю примѣры происходившихъ на моихъ глазахъ превращеній и думаю: на долго-ли этого задора хватитъ? Горькія думы, но еще горше видѣть молодость безъ ея естественныхъ аттрибутовъ, а это бываетъ. Салтыковъ держался на этотъ счетъ вполнѣ опредѣленнаго мнѣнія. Онъ писалъ: «Кто въ двадцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему возрожденію, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать». Отсюда его особенная ненависть къ молодымъ ташкентцамъ всякаго рода: пусть бы ужъ старики ташкентствовали, если эта чаша не можетъ миновать насъ совсѣмъ.

Какъ бы то ни было, но съ Салтыковымъ лично не произошло, на всемъ протяженіи его жизни, никакого превращенія по части умѣренности и аккуратности. Какъ онъ выступилъ на литературное поприще съ презрѣніемъ къ этимъ бобылкамъ, живущимъ «на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній», такъ и въ могилу сошелъ безъ уваженія къ нимъ. Онъ всегда понималъ губительную цѣпкость мелочей и ихъ засасывающую силу. Поэтому онъ сравнительно благодушно отнесся даже къ Молчалину («Въ средѣ умѣренности и аккуратности»), не смотря на всѣ его «уступочки» и «обстановочки». Правда, какъ мы видѣли, онъ пригрозилъ ему страшной карой сыновняго суда, но это уже собственно за то, что Молчалинъ былъ способенъ окровавленными руками пирогъ съ капустой рѣзать. Это вѣдь ужъ въ самомъ дѣлѣ слишкомъ. Но затѣмъ Молчалинъ просто маленькій, слабый человѣкъ, самъ сознающій свое ничтожество, и вы ясно видите, что сатирикъ по человѣчеству сочувствуетъ его горестямъ и труднымъ положеніямъ. Иное дѣло, когда представители умѣренности и аккуратности воображаютъ, что они-то и суть настоящіе большіе корабли, которымъ предстоитъ большое плаваніе, когда они, гордо закинувъ голову и воинственно потрясая мечомъ, набрасываются на все, что не отмѣчено клеймомъ умѣренности и аккуратности. Этимъ Салтыковъ не давалъ пощады. Въ сущности, онъ только требовалъ, чтобы всякій сверчокъ зналъ свой шестокъ, чтобы вещи назывались ихъ подлинными именами: вершокъ—вершкомъ, аршинъ—аршиномъ, и, кажется, требованіе это нельзя назвать чрезмѣрнымъ или несправедливымъ. А между тѣмъ за это за самое онъ претерпѣлъ нападокъ можетъ быть больше, чѣмъ за какую бы то ни было другую струю своей дѣятельности.

Полемика, происходившая въ началѣ семидесятыхъ годовъ между *Отечественными Записками* и *С.-Петербургскими Вѣдомостями*, нынѣшнему поколѣнію читателей совершенно чужая. Благодаря разнымъ неожиданностямъ, подрывающимъ преемственность нашего литературнаго развитія, нынѣшнимъ читателямъ не только трудно проникнуться интимной, живой подкладкой той полемики, но едва-ли многіе даже просто помнятъ и знаютъ ее. Къ этому надо еще прибавить неполноту документовъ, относящихся къ дѣлу: сочиненія Салтыкова на-лицо, со всею ихъ полемическою рѣзкостью, а кому же нужда или охота разыскивать старые номера *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*? Они были и быльемъ поросли. Ознакомиться съ ними не трудятся, повидимому, даже тѣ, для кого это, по обстоятельствамъ, обязательно.

Одинъ, вообще говоря, очень благосклонный критикъ дѣлаетъ по поводу упомянутой полемики упрекъ сатирику въ «преувеличеніи», «несправедливости» и «ошибкѣ». Не возражая противъ щедринской оцѣнки «пѣнкоснимательства» вообще, онъ находитъ несправедливость и ошибку въ пріуроченіи его «къ одному лицу и къ одной газетѣ». Этотъ упрекъ прежде всего фактически несправедливъ. Подъ «Старѣйшей Всероссійской Пѣнкоснимательницей», конечно, разумѣются *С.-Петербургскія Вѣдомости*, но рядомъ съ ними у Щедрина фигурируютъ и другіе органы печати, напримѣръ, журналъ «Вѣстникъ Пѣкосниманія», еженедѣльное изданіе «Обыватель Пѣнкоснимающій», газета «Истинный Россійскій Пѣнкосниматель». Что же касается «одного лица», то Менандръ Прелестновъ, къ которому только и можетъ относиться эта аллюзія, пользуется даже нѣкоторымъ сочувствіемъ сатирика. Менандръ Прелестновъ видалъ лучшія времена лите-

ратуры и помнитъ ихъ. Въ минуту откровенной бесѣды онъ говоритъ автору: «ну, скажи на милость, развѣ Бѣлинскій, Грановскій, ну, Добролюбовъ, Писаревъ что ли... развѣ писали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, которая въ настоящее время носитъ названіе передовыхъ статей?.. Ты замѣтилъ-ли, что этотъ Нескладинъ провинціала въ Петербургѣ»). Менандръ Прелестновъ — центральная фигура картины, но онъ не иниціаторъ пѣнкоснимателя, а скорѣе жертва его, не принципіальный его поборникъ, а только попуститель, да и то поневолѣ. Временами по крайней мѣрѣ, онъ отлично сознаетъ, чего стоятъ принципы пѣнкоснимательства и его представители, орудующіе въ «Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницѣ».

Далѣе, упомянутый критикъ говоритъ, что Салтыковъ потратилъ въ этой полемикѣ «слишкомъ много слишкомъ тяжелыхъ снарядовъ», но о томъ, какіе снаряды пускались въ ходъ пѣнкоснимателями, не говоритъ ни единаго слова. Это придаетъ всей исторіи невѣрное освѣщеніе. Полемика *Отечественныхъ записокъ* съ *С.-Петербургскими Вѣдомостями* была не поединкомъ Салтыкова съ Менандромъ Прелестновымъ, а борьбою двухъ направленій, и въ этой борьбѣ не одна же только сторона тратила «снаряды». Здѣсь, конечно, не мѣсто припоминать подробности полемики, но всякій, кто пожелаетъ справиться въ подлинныхъ документахъ, увидитъ, что въ *Отечественныя Записки*, отъ которыхъ Салтыковъ никогда себя не отдѣлялъ, и лично въ самого Салтыкова летѣли изъ лагеря пѣнкоснимателей снаряды, начиненные всѣмъ порохомъ, какого только у нихъ хватало. Что не они порохъ выдумали, это правда, но это уже другой разговоръ.

Дѣло именно въ томъ, что пѣнкоснимательство занимало въ ту пору воинствующее положеніе. Конечно, уже самые его принципы не могли быть симпатичны сатирику. «Наше время—не время широкихъ задачъ»; «съ одной стороны надо признаться, но и съ другой стороны нельзя не сознаться»,—это не могло быть по душѣ человѣку, которому умѣренность и аккуратность рисовались въ видѣ бобылокъ, живущихъ на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній. Если этому вилянію и этому аккуратно-умѣренному погруженію въ мелочи жизни предается какой-нибудь Молчалинъ, такъ, пожалуй, и Богъ съ нимъ, тѣмъ болѣе, что онъ выше сферы своей не лѣзетъ, жаръ-птицы изъ себя не изображаетъ и никогда не забываетъ пословицы, предписывающей протягивать ножки по одежкѣ. Но литература! Литература, идея которой, по Салтыкову, граничитъ съ вѣчностью!.. Какое такое можетъ быть время, что литература не найдетъ въ немъ широкихъ задачъ? Что задачи могутъ, по характеру своему, измѣняться, переходя отъ теоріи къ практикѣ и обратно и въ каждой изъ этихъ областей отъ одной группы вопросовъ къ другой,— это вѣрно. Что внѣшнія обстоятельства могутъ насильственно съузить сферу дѣятельности литературы,—это, къ сожалѣнію, опять-таки безспорно. Но чтобы литература сама накладывала на себя руки и возводила узость задачъ въ руководящій принципъ, — этого Салтыковъ, въ своемъ благоговѣйномъ отношеніи къ роли литературы, ни понять, ни простить не могъ. И пусть бы эта самоубійственная литература по крайней мѣрѣ сознавала глубину своего ничтожества и позора, пусть бы она клевала выѣденныя яйца и прочія мелочи жизни, краснѣя отъ стыда или хоть только со скромнымъ видомъ, приличествующимъ бобылкамъ, которыя на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ. А то вѣдь она что говоритъ?—Она говоритъ: мы соль земли! а вы, говоритъ, которые о широкихъ горизонтахъ хлопочете, празднословы, неспособные подняться на высоту научнаго пониманія задачъ времени. Нескладинъ отстаиваетъ «проектъ упраздненія» противъ «проекта уничтоженія». Авторъ «Дневника провинціала» осмѣливается ему замѣтить, что это, кажется, одно и то же и что «сердце отказывается вѣрить»... Нескладинъ надменно перебиваетъ: «А такъ какъ я имѣю дѣло съ фактами, а не съ тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вамъ въ утѣшеніе!» Неуважай-Корыто, по поводу какого-то Чурилки, тоже съ величественною сухостью отрѣзываетъ: «Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ утѣшеній преподать вамъ не можетъ!» Наука! Они вѣдь серьезно думали, что это наука, а отстаиваніе «проекта упраздненія» противъ «проекта уничтоженія»—либерализмъ. Что касается либерализма, то дальнѣйшія превращенія многихъ дѣятельнѣйшихъ пѣнкоснимателей уже сами по себѣ свидѣтельствуютъ, въ какой мѣрѣ былъ правъ Салтыковъ, не давая этому либерализму той цѣны, которую тотъ самъ запрашивалъ.

Умѣренность и аккуратность сами по себѣ отнюдь не постыдныя какія-нибудь качества. Притомъ же есть такія сферы жизни и такія положенія, въ которыхъ онѣ рѣшительно необходимы. Но имъ приличествуетъ скромность. Грибоѣдовскій Молчалинъ боится «свое сужденіе имѣть». Его и Софья-то полюбила за то, что онъ «врагъ дерзости, всегда застѣнчивъ и не смѣлъ». Да и не одна Софья. Самъ Щедринъ оцѣнилъ скромность Молчалина и сообразно этому внесъ въ грибоѣдовскій образъ нѣкоторыя любопытныя поправки. Щедринскій Молчалинъ рѣшитель-

но отрицаетъ приписанныя ему Грибоѣдовымъ амурныя шашни съ Софьей. Онъ разсказываетъ дѣло такъ: «Я въ ту пору на флейтѣ игрывалъ,—ну, Софья Павловна и приглашала меня, собственно, на предметъ аккомпанимента... Однажды точно что послѣ игры ручку изволила дать мнѣ поцѣловать, однако, я такъ благороденъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ ихнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать съ разсужденіемъ». Съ Лизой у него шашни, дѣйствительно, были,—ну, Софья Павловна и разсердилась, что «такой пассажъ—и возлѣ самыхъ ея аппартаментовъ». Этимъ объясняется знаменитая сцена послѣ бала. Чацкій впослѣдствіи самъ сознался, что погорячился; онъ-таки женился на Софьѣ Павловнѣ, и оба они всегда благоволили къ Молчалину, а Софья, кромѣ того, и дѣтей у него всѣхъ крестила. На зубокъ новорожденному она всегда двадцать пять полуимперіаловъ даритъ. «А я,—разсказываетъ Молчалинъ,— не будь простъ, сейчасъ къ Юнкеру, да внутренняго займа съ выигрышами билетецъ-съ! Можетъ-быть когда-нибудь на наше счастье тысченокъ двадцать пять — объ двухстахъ-то ужъ мы не думаемъ—и выпадетъ!» («Въ средѣ умѣренности и аккуратности»). Въ этой щедринской передѣлкѣ Молчалинъ выходитъ гораздо симпатичнѣе, чѣмъ у Грибоѣдова; а эта сравнительная привлекательность зависитъ отъ того, что передѣланный Молчалинъ искреннѣе и послѣдовательнѣе въ своей умѣренности и аккуратности: онъ скроменъ, онъ знаетъ свой шестокъ.

Своей передѣлкой Молчалина Салтыковъ показалъ, что онъ можетъ очень мягко относиться къ умѣренности и аккуратности, когда онѣ украшаются скромностью. Какъ всякій истинно большой человѣкъ, Щедринъ не презиралъ ни маленькихъ людей, ни маленькихъ дѣлъ, но подъ тѣмъ условіемъ, чтобы они не маскировались большими людьми и большими дѣлами. Съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть и на статью «Новый Нарцисъ или влюбленный въ себя», надѣлавшую въ свое время много шума и вызвавшую много нареканій на автора. Либеральные критики негодовали на сатирика за нападки на «наши молодыя земскія учрежденія». Что Салтыковъ раздѣлялъ надежды всѣхъ благомыслящихъ русскихъ людей на земское самоуправленіе, это, не говоря о прочемъ, видно уже изъ «Писемъ о провинціи» (въ особенности седьмого и восьмого письма). Но, говорилъ онъ, «чтобы отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начала поняло свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Съуженіе задачъ вообще плохая школа для вновь выступающихъ учрежденій». Изъ этого, какъ и вообще изъ «Писемъ о провинціи», явствуетъ, что Салтыковъ понималъ роль земскихъ учрежденій много выше и шире, чѣмъ тѣ, кто напустился на «Нарциса». Онъ очень хорошо понималъ настоятельность задачъ, волнующихъ умы героевъ «Нарциса»: вопроса о заготовленіи нижняго бѣлья для больныхъ гражданскаго вѣдомства. вопроса о полудѣ рукомойниковъ, вопроса о становомъ приставѣ, дозволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ вмѣсто двухъ, и т. д. Все это безспорно важно и нужно уладить Но вѣдь не въ этомъ же все дѣло, и во всякомъ случаѣ все это еще не составляетъ резона для великолѣпныхъ разговоровъ о «новыхъ путяхъ», «твердыхъ упованіяхъ», «свѣтлыхъ надеждахъ», «великомъ будущемъ» и проч. Будьте умѣренны и аккуратны, поскольку это дѣйствительно необходимо, но не погружайтесь исключительно въ мелочи и подробности; если же вы только умѣренностью и аккуратностью блистать хотите и никакой обширности вмѣстить не можете, такъ будьте, по крайней мѣрѣ, скромны, не сотрясайте воздуха трубными звуками, своею громогласностью отнюдь не соотвѣтствующими дѣламъ вашимъ. Вотъ, собственно говоря, вся мораль «Нарциса».

Читатель видитъ, что мораль эта, въ своемъ общемъ выраженіи, вполнѣ примыкаетъ къ морали «Благонамѣренныхъ рѣчей». Тамъ вѣдь тоже требовалось уравненіе слова съ дѣломъ: не воруй, а ежели ты воръ, такъ не изображай собою столпа, поддерживающаго принципъ собственности; не развратничай, а ежели ты развратникъ, такъ не разглагольствуй о святости семейнаго начала; не грабь казну и народъ, а ежели ты казнокрадъ, такъ не блистай патріотизмомъ. И тамъ, и тутъ сатирикъ преслѣдуетъ маскарадное поведеніе. Разница, однако, въ томъ, что ораторы благонамѣренныхъ рѣчей замаскированы «столпами» и, въ случаѣ грамотности, охотно говорятъ о себѣ: мы консерваторы. Ораторы же умѣренности и аккуратности склонны, напротивъ, называть себя либералами. Положеніе сатирика среди этихъ двухъ маскарадовъ было необыкновенно трудное. Съ одной стороны «столпы» говорятъ такъ много и такихъ азартныхъ благонамѣренныхъ рѣчей, что около нихъ сгустилась атмосфера относительной неприкосновенности. Всякую попытку совлечь съ нихъ маскарадный костюмъ они истолковываютъ въ смыслѣ посягательства на тѣ принципы, которымъ они якобы служатъ, и этотъ фортель имъ слишкомъ часто удается. Съ другой стороны, рыцари умѣренности и аккуратности столь же ни къ селу, ни къ городу вопіютъ объ оскорбленіяхъ, якобы

наносимыхъ принципамъ свободы, просвѣщенія, «нашимъ молодымъ учрежденіямъ», когда рѣчь идетъ вовсе не объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, а только о томъ, что умѣренность и аккуратность на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ.

Маленькая подробность. Изо всѣхъ очерковъ, вошедшихъ въ составъ сборника «Мелочи жизни», только два снабжены эпиграфами, и это какъ бы подчеркиваетъ ихъ значеніе. Надъ очеркомъ «Имярекъ» стоитъ: «О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями?» Это понятно, если припомнить, что «Имярекъ» есть личная исповѣдь автора: удрученный болѣзнью и житейскими невзгодами сатирикъ съ преувеличенною мнительностью не видитъ въ своей жизни ничего, кромѣ поля, усѣяннаго мертвыми костями... Другой очеркъ, снабженный эпиграфомъ, называется «Чудиновъ». Эпиграфъ гласитъ: «Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ нихъ, летѣть». Я уже упоминалъ объ этомъ очеркѣ въ главѣ «Вѣра въ будущее». Чудиновъ «вздумалъ летѣть», а безжалостная судьба подкосила ему крылья прежде, чѣмъ онъ успѣлъ ихъ расправить. Авторъ нашелъ неудобнымъ дать Чудинову подняться на воздухъ и прикончилъ его не тѣми опасностями и трудностями, которыя грозили ему въ самомъ процессѣ полета, а просто чахоткой. Остается фактъ сочувствія автора къ самому намѣренію «летѣть» изъ міра мелочей жизни въ область идеала и подвига. Защита того, что рыцари умѣренности и аккуратности презрительно обзываютъ «мечтами» и «фантазіями», составляла какъ бы задачу жизни Салтыкова. Онъ очень часто къ ней возвращался и, между прочимъ, утверждалъ, что самые фантастическіе мечтатели,—это именно тѣ, кто, зарывшись въ мелочи, вопіетъ изъ ихъ глубины противъ «мечтаній». Устами Крамольникова Салтыковъ спрашивалъ: «Да развѣ это не самое грубое, не самое противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даромъ слова — заставить молчать? человѣка, одареннаго способностью мыслить — заставить не мыслить?» И далѣе: «Одни видятъ высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго развитія и эту задачу называютъ дѣломъ; другіе, напротивъ, не признавая неизбѣжности человѣческаго развитія, ту же самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой... Разсудите ужъ сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличка мечтателей» («Пошехонскіе разсказы»).

По мнѣнію Салтыкова,

«одна изъ характеристическихъ чертъ пѣнкоснимательства, — это враждебное отношеніе къ такъ называемымъ утопіямъ. Не то, чтобы пѣнкоснимателя прямо враждовали, а такъ, галдятъ. Всякій пѣнкоснимателъ есть человѣкъ не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображенія; человѣкъ, который самою природой осужденъ на хладное пережевываніе первоначальныхъ, такъ сказать, обнаженныхъ истинъ... Пѣнкоснимателъ не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній, но даже гордъ этой свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно также служитъ цивилизаціи, какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ уткнулся въ заборъ и ни о чемъ другомъ, кромѣ забора, не хочетъ знать“ („Дневникъ провинціала“).

Крылатая мысль Салтыкова никогда не могла успокоиться на тѣхъ заборахъ, въ которыхъ доктринеры умѣренности и аккуратности видятъ предѣлъ, его же не прейдеши. Любопытны его автобіографическія показанія въ «За рубежемъ». Онъ разсказываетъ тамъ, что, только-что оставивъ школьную скамью, онъ примкнулъ къ западникамъ. «Но не къ большинству западниковъ, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. *Разумѣется*, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество». Разсказывая далѣе объ интересѣ, съ которымъ молодежь слѣдила за тогдашними французскими событіями, онъ пишетъ: «Можно-ли было, имѣя въ груди молодое сердце, не плѣняться этою неистощимостью жизненнаго творчества, которое вдобавокъ отнюдь не соглашалось сосредоточиться въ опредѣленныхъ границахъ, а рвалось захватить все дальше и дальше?» Эту любовь къ Франціи и этотъ живой интересъ къ ея судьбамъ Салтыковъ сохранилъ навсегда. Статья «Сила событій», можно сказать, брызжетъ скорбнымъ сочувствіемъ къ Франціи, раздавленной «пятой лихтенштейнца», и ненавистью какъ къ этому умѣренному и аккуратному лихтенштейнцу, такъ и къ позорному игу Наполеона, приготовившему пораженіе Франціи. Но и за всѣмъ тѣмъ сатирикъ остается полонъ вѣры въ «гальскаго пѣтуха», ибо не можетъ такъ-таки совсѣмъ погаснуть «пламя, согрѣвавшее исторію человѣчества». Эта неискоренимая вѣра въ творческую силу Франціи, какъ небо отъ земли, далека отъ заурядняго западничества, составляющаго одинъ изъ параграфовъ кодекса политической умѣренности и аккуратности.

Историческія заслуги Европы Салтыковъ цѣнилъ, конечно, не меньше, чѣмъ наши чистокровные, умѣренные и аккуратные западники. Для національнаго самохвальства онъ слишкомъ ясно видѣлъ и слишкомъ близко къ сердцу принималъ наши многочисленные язвы и грѣхи, для мистической стороны славянофильскаго ученія

онъ слишкомъ любилъ свѣтъ, ясность, подлинную жизнь; а для узкаго, доктринерскаго западничества онъ слишкомъ любилъ просторъ. Не «Европа» и, въ частности, не «Франція» была для него тѣмъ магическимъ словомъ, которое окрыляло его сердце надеждой и вѣрой. Его симпатіей пользовалось лишь совершенно опредѣленное теченіе европейской жизни, получившее особенно яркое выраженіе во Франціи, въ которой, однако, тутъ же рядомъ существуютъ и совсѣмъ другія теченія. Если Салтыковъ былъ далекъ отъ разговоровъ о «гніеніи Запада», то, съ другой стороны, никто и никогда не могъ бы его упрекнуть въ «преклоненіи передъ Европой». Имѣвшая когда-то свой смыслъ, но уже давно исчерпанная тяжба славянофильства съ западничествомъ всегда была для него чужимъ дѣломъ, по той простой причинѣ, что Европа никогда не представлялась ему чѣмъ-нибудь цѣлостнымъ и однороднымъ, заслуживающимъ обобщеннаго почитанія или порицанія. Движеніе—вотъ единственная общая черта, которую Салтыковъ склоненъ усвоивать европейской жизни вообще. Говоря о несовершенствѣ политическихъ и общественныхъ формъ, выработанныхъ Западною Европой, онъ замѣчаетъ: «но здѣсь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ процессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что счастіе само свалится когда-нибудь съ неба». («Господа ташкентцы»), Салтыковъ зналъ, однако, что и движеніе, неустанность творческаго процесса жизни не есть всетаки безусловно необходимый аттрибутъ европейской исторіи на всемъ ея протяженіи. Не далеко ходить: «Современному французскому буржуа ни героизмъ, ни идеалы уже не подъ силу. Онъ слишкомъ отяжелѣлъ, чтобы не пугаться при одной мысли о личномъ самоотверженіи, и слишкомъ удовлетворенъ, чтобы нуждаться въ расширеніи горизонтовъ. Онъ давно уже понялъ, что горизонты могутъ быть расширены лишь въ ущербъ ему» («За рубежемъ»). А такъ какъ именно этотъ самый буржуа управляетъ современнной Франціей, то страна, озарившая молодость Салтыкова лучами нравственнаго свѣта, носитъ теперь на себѣ клеймо «безъидейной сытости» и духовной неподвижности. Но это не можетъ тянуться безъ конца. «Ясно, что идетъ какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипятъ и клокочутъ съ очевидною рѣшимостью пробиться наружу. Исконное теченіе жизни все больше и больше заглушается этимъ подземнымъ гудѣніемъ; трудная пора еще не наступила, но близость ея признается уже всѣми» («Мелочи жизни»).

«Безъидейная сытость» современнаго французскаго буржуа отразилась, между прочимъ, и на беллетристикѣ, которая «для того, чтобы скрыть свою низменность, не безъ наглости подняла знамя реализма». Слово это знакомо и намъ, русскимъ. «Но,— говоритъ Салтыковъ,—размѣры нашего реализма нѣсколько иные, нежели у современной школы французскихъ реалистовъ. Мы включаемъ въ эту область *всего* человѣка, со *всѣмъ* разнообразіемъ его опредѣленій и дѣйствительности; французы же главнымъ образомъ интересуются торсомъ человѣка и изо всего разнообразія его опредѣленій съ наибольшимъ раченіемъ останавливаются на его физической правоспособности и на любовныхъ подвигахъ. Съ этой точки зрѣнія Викторъ Гюго, наприм., представляется въ глазахъ Золя чуть не гороховымъ шутомъ» («За рубежемъ»).

Золя, какъ извѣстно, провелъ и въ русскую литературу свое предпріятіе — свергнуть Виктора Гюго и Жоржъ-Занда съ ихъ поэтическихъ престоловъ. Кое-кто и у насъ видѣлъ въ этомъ предпріятіи какое-то трезвенное слово, нужную и полезную борьбу съ чѣмъ-то ненужнымъ и вреднымъ. Золя дѣлалъ это мало достойное дѣло во имя трезвости, умѣренности, аккуратности, а такъ какъ онъ обнаруживалъ при этомъ еще совершенно пустопорожнюю надменность, то понятно негодованіе Салтыкова. Тѣмъ болѣе понятно, что, — по словамъ нашего сатирика,—изъ старой французской литературы «лилась на насъ вѣра въ человѣчество». Золя, при всемъ своемъ талантѣ, котораго Щедринъ не отрицалъ, не преувеличивая, однако, его размѣровъ, былъ въ его глазахъ все-таки нѣчто въ родѣ пѣнкоснимателя, то-есть человѣка, который подъ той или другой благовидной маской (наука, либерализмъ, реализмъ) наровитъ подрѣзать человѣчеству крылья, отнять у него право мечты и идеала и засадить за умѣренное и аккуратное пережевываніе мелочей жизни.

VIII.

Союзы.

До сихъ поръ мнѣ всего одинъ разъ пришлось цитировать послѣднее произведеніе Салтыкова, «Пошехонскую старину»; а именно въ подтвержденіе того, что на краю могилы онъ былъ столь же горячимъ защитникомъ «мечты», руководящихъ идеаловъ, какъ и въ первые годы своей литературной дѣятельности. Это не единственная черта,

свято донесенная имъ до конца дней и отразившаяся въ «Пошехонской старинѣ».

Салтыковъ оговаривается, что «Пошехонская старина не есть автобіографія. Онъ не отрицаетъ присутствія въ ней автобіографическаго элемента, но говоритъ, что туда допущено и кое что, имъ лично не пережитое, а частью и просто фантазія. Но во всякомъ случаѣ въ основаніи этого произведенія лежатъ подлинные факты, если не всегда автобіографическіе, то все-таки видѣнные, слышанные, вообще наблюденные авторомъ въ дѣтствѣ. Дѣло въ томъ, что Салтыкова въ послѣдніе годы его жизни посѣтила старческая память, при которой образы и картины далекаго прошлаго встаютъ какъ живые, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ, и иногда въ ущербъ недавно минувшему. Заканчивая «Пошехонскую старину», Салтыковъ писалъ: «Масса образовъ и фактовъ, *которую пришлось вызвать*, подѣйствовала настолько подавляющимъ образомъ, что явилось невольное утомленіе». Подчеркнутое выраженіе не точно. Салтыкову ничего не пришлось вызывать,—воспоминанія дѣтства помимо его воли всплыли на поверхность сознанія и овладѣли имъ съ такою силой, что едва-ли могъ бы онъ приняться за что-нибудь другое, не сваливъ предварительно хоть часть этого груза на бумагу. Но, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, отмѣченныхъ нами раньше, Салтыковъ не пассивно отдался напору стихійной силы воспоминаній. Хлынувшія на него далекія первыя житейскія впечатлѣнія овладѣли имъ настолько, что вытѣснили всякій другой фактическій матеріалъ и не позволяли ему оперировать надъ чѣмъ бы то ни было, кромѣ нихъ. Но онъ не просто записывалъ свои воспоминанія въ хронологическомъ или какомъ другомъ порядкѣ. Онъ комбинировалъ ихъ въ художественные образы и картины, онъ творилъ, и творилъ какъ всегда, при свѣтѣ нравственныхъ убѣжденій, непоколебимо сохранившихся въ немъ до самой смерти. Такимъ образомъ въ «Пошехонской старинѣ» мы имѣемъ, если можно такъ выразиться, заразъ и корни, и плоды жизни сатирика,—яркость первыхъ впечатлѣній дѣтства и безповоротную законченность идей умирающаго человѣка.

«Пошехонская старина» имѣетъ задачей воспроизведеніе крѣпостного быта. Фабула крѣпостного права завершилась, говоритъ Салтыковъ. Но, «кромѣ фабулы, въ этомъ трагическомъ прошломъ было нѣчто еще, что далеко не поросло быльемъ. Фабула исчезла, но въ характерахъ образовалась извѣстная складка, въ жизнь проникли извѣстныя привычки». Дѣйствительно, хотя клеймо крѣпостного права по необходимости стирается теченіемъ исторіи, но что оно далеко не стерлось и по сіе время, объ этомъ свидѣтельствуютъ всенародно заявляемыя вожделѣнія такъ называемой консервативной печати. Собственно говоря, ей менѣе всего приличествуетъ названіе консервативной, потому что она не охраненіемъ занимается, а, напротивъ, исключительно проектами ломки того зданія нашей гражданственности, во главу угла котораго легло освобожденіе многомилліонной крестьянской массы. Если же она что и стремится, въ самомъ дѣлѣ, охранять, такъ развѣ именно только ту «складку» и тѣ «привычки», которыя остались жить и по окончаніи фабулы крѣпостного права. А потому и самая фабула имѣетъ для насъ отнюдь не историческій только интересъ. Прошли тѣ времена наивнаго ликованія, когда такой, во всякомъ случаѣ, чуткій человѣкъ, какъ Писаревъ, могъ серьезно упрекать Салтыкова за то, что онъ, *спустя два года* послѣ отмѣны крѣпостного права, пишетъ разсказы изъ крѣпостного быта,—устарѣлая, дескать, тема! Увы, скоро сказка сказывается, а дѣло не скоро дѣлается. Салтыковъ писалъ: «Я выросъ на лонѣ крѣпостного права, вскормленъ молокомъ крѣпостной кормилицы, воспитанъ крѣпостными мамками и, наконецъ, обученъ грамотѣ крѣпостнымъ грамотѣемъ. Всѣ ужасы этой вѣковой кабалы я видѣлъ въ ихъ наготѣ» («Мелочи жизни»). Когда безъ остатка вымрутъ поколѣнія, которыя могутъ сказать о себѣ эти страшныя слова, такъ и то можетъ быть еще будетъ давать себя знать «извѣстная складка», составляющая и нынѣ наслѣдіе крѣпостного права. Въ чемъ же Салтыковъ полагалъ эту складку?

Отстаивая право человѣчества на «мечту» отъ посягательствъ, съ одной стороны, ораторовъ благонамѣренныхъ рѣчей и ихъ пособниковъ, а съ другой — представителей умѣренности и аккуратности, Салтыковъ, конечно, не рекомендовалъ самоуслажденія праздной фантазіи. Онъ для этого слишкомъ хорошо зналъ и любилъ жизнь. Въ «Мелочахъ жизни» есть страничка (въ V главѣ 1-й части), посвященная «старинамъ утопистамъ», тѣмъ самымъ, подъ непосредственнымъ вліяніемъ которыхъ сложились первыя убѣжденія Салтыкова, въ особенности Фурье. Рѣшительно защищая общія основанія «утопій», Салтыковъ признаетъ, однако, естественность и законность претерпѣннаго ими фіаско, именно потому, что они старались уловить, регламентировать своего рода мелочи жизни будущаго, и все это оказалось праздной фантазіей. Но, повторяю, общія основанія и тенденцію «утопій» онъ всегда высоко цѣнилъ. Помню, между про-

чимъ, что когда я еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ началъ писать въ *Отечественныхъ Запискахъ*, то Салтыковъ чуть-ли не въ первомъ же разговорѣ предложилъ мнѣ написать статью о французскихъ соціальныхъ системахъ,—онъ находилъ необходимымъ напомнить ихъ русскому обществу (я уклонился отъ этой работы). Во всякомъ случаѣ, та «мечта», о правахъ который Салтыковъ хлопоталъ, имѣла ярко соціальный характеръ, хотя въ подробностяхъ и не вполнѣ опредѣленный. Это была мечта о тѣсномъ единеніи людей, объ общественномъ союзѣ. А между тѣмъ въ разныхъ произведеніяхъ Щедрина, въ особенности въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ», можно найдти много выраженій рѣзко подчеркнутаго ироническаго или презрительнаго или даже озлобленнаго отношенія къ «союзамъ»: Деруновъ—«рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ»; «союзы опутали современнаго человѣка» и т. п. Дѣло, конечно, объясняется очень просто тѣмъ, что «союзы», поборниками которыхъ являются Деруновы и которые вызываютъ отрицательное отношеніе сатирика, очень отличаются отъ тѣхъ, которые составляютъ его завѣтную мечту, его идеалъ. Это такъ. Но любопытно было бы опредѣлить наиболѣе общія черты тѣхъ и другихъ союзовъ, въ каковыхъ общихъ чертахъ должны заключаться указанія на причины такого или иного отношенія къ нимъ сатирика.

Крѣпостное право санкціонировало извѣстный союзъ барина и мужика. Что это былъ за союзъ, мы узнаемъ изъ «Пошехонской старины». Авторъ отнюдь не задавался мыслью разсказать непремѣнно какіе-нибудь ужасы. Напротивъ, вотъ, наприм., «тетенька-сластена»—добрая, мягкая, и всѣмъ у нея хорошо, и дворня веселая, ласковая. Или вотъ въ домѣ самого разсказчика умираетъ староста Ѳедотъ, нелицемѣрно преданный мужикъ, и суровая помѣщица ухаживаетъ за умирающимъ, искренно горюетъ. Правда, авторъ не даетъ высокой цѣны этимъ добрымъ проявленіямъ союза, но вѣдь они и въ самомъ дѣлѣ не дорого стоятъ, да и не этими двусмысленными идилліями была главнымъ образомъ отмѣчена пошехонская старина. Не ими, но пожалуй и не звѣрствами, которыя въ каждомъ данномъ случаѣ могли быть и не быть. За характерной чертой основного пошехонскаго союза не зачѣмъ далеко ходить, — она заключается въ самомъ его названіи. Черта эта—крѣпость одного человѣка другому, подневольность и неизбывность.

Сатиръ-скиталецъ (одна изъ лучшихъ фигуръ «Пошехонской старины») самъ по себѣ не особенно претерпѣлъ отъ страннаго союза, хотя, конечно, по крайней мѣрѣ виды видалъ въ достаточномъ количествѣ. Онъ врагъ союза, врагъ принципіальный, союзъ представляется ему грѣховнымъ, но грѣхъ лежитъ не на господахъ, а на рабахъ: «мы прежде вольные были, а потомъ сами свою волю продали; изъ-за денегъ господамъ въ кабалу продались; за это насъ судить будутъ». На томъ свѣтѣ будетъ этотъ судъ, а потому единственная мечта Сатира состоитъ въ томъ, чтобы предстать предъ Богомъ не въ рабскомъ состояніи. Но ущемленная сознаніемъ грѣха мысль Сатира не можетъ придумать иного выхода изъ союза, иного пути освобожденія, какъ принятіе «ангельскаго чина». Больной, онъ отпрашивается у помѣщицы въ монахи, но не успѣваетъ поступить и умираетъ рабомъ. Авторъ имѣлъ, однако, жалость послать ему предсмертный сонъ, въ которомъ исполняется его желаніе, такъ что Сатиръ умираетъ якобы «инокомъ Серапіономъ». Сатиръ-скиталецъ умеръ во снѣ, и авторъ не могъ знать его сновидѣнія. Это—добавка фантазіи, добавка жалостливая, любовная, и самое присутствіе ея свидѣтельствуетъ о подлинности Сатира-скитальца и о томъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на автора въ дѣтствѣ. Въ этомъ и въ другихъ подобныхъ впечатлѣніяхъ надо искать корня интереса Щедрина къ той смутной работѣ народной души, о которой мы говорили въ главѣ «Честь и совѣсть».

Сатиру-скитальцу ненавистный, грѣховный союзъ представляется столь неразрывнымъ, что нечего и думать объ его прекращеніи на землѣ, и хорошо бы хоть къ божьему-то престолу явиться не въ рабскомъ видѣ. Наличность союза слишкомъ несомнѣнна, слишкомъ осязательна и такъ или иначе даетъ себя знать на всѣхъ путяхъ жизни обѣихъ сторонъ. Особенно интересны отраженія ея на другихъ союзахъ и прежде всего на союзѣ семейномъ.

Съ «безчастной Матренкой» случился грѣхъ,—забеременѣла. Не было тутъ ни любви, ни выбора: безчастная Матренка была одною изъ представительницъ «сборища подъяремныхъ звѣрей, которые и вождельютъ, какъ звѣри». Барыня очень разгнѣвалась, но Матренкѣ опять пришла пора и она опять забеременѣла. Тогда барыня рѣшила выдать Матренку замужъ за-самаго что ни на есть «гад ёнка» изъ дальней деревни Между Матренкой и гаденкомъ происходитъ рядъ страшныхъ сценъ; гадёнокъ не хочетъ жениться на Матренкѣ, Матренка не хочетъ выходить за гаденка. Но воля барыни непреклонна, а потому Матренкѣ остается только одинъ способъ уклониться отъ предлагаемаго ей семейнаго союза,—уклониться

отъ самой жизни; она и кончаетъ самоубійствомъ.

Не красенъ былъ семейный союзъ и въ господской семьѣ. Разсказавъ нѣкоторыя подробности отношеній, существовавшихъ между родителями и дѣтьми, Щедринъ предвидитъ скептическія замѣчанія читателей и говоритъ: «что описываемое мною похоже на адъ, объ этомъ я не спорю; но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымышленъ мною». Эти дѣтскія впечатлѣнія (особенно нѣкоторыя подробности въ родѣ раздѣленія дѣтей на «любимчиковъ» и «постылыхъ», материнскихъ угрозъ Суздальмонастыремъ и т. п.) вошли потомъ въ составъ многихъ произведеній Салтыкова, каковы: «Господа Головлевы», «Семейное счастье», «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронатъ» и проч. Но въ памяти Салтыкова возстаютъ еще гораздо болѣе трагическія сцены и положенія по части семейнаго союза. Ради краткости, мы остановимся только на одномъ случаѣ, представляющемъ тотъ особенный интересъ, что семейный союзъ оказывается въ немъ осложненнымъ другими элементами.

Тетенька Анфиса Порфирьевна вышла замужъ за нѣкоего Савельцева, человѣка нравнаго, крутого, необузданнаго, который ее бьетъ, издѣвается надъ ней, и все это тетенька терпитъ, съ затаенною злобою выжидая случая, когда и на ея улицу выпадетъ праздникъ. Отецъ Савельцева умираетъ. Вступая во владѣніе имѣніемъ и людьми, Савельцевъ первымъ дѣломъ засѣкаетъ до смерти любовницу отца, выпытывая у нея, гдѣ деньги. Къ этому уголовному дѣлу присасываются приказныя піявки и сосутъ, сосутъ, сосутъ, пока наконецъ тетенька Анфиса Порфирьевна не придумываетъ выхода: она предлагаетъ мужу умереть. Не взаправду умереть, конечно. Какъ разъ кстати умираетъ мужикъ, котораго и хоронятъ подъ видомъ Савельцева, съ подобающей помпой, а Савельцевъ остается жить подъ видомъ крѣпостного своей жены. Вмѣстѣ съ тѣмъ для тетеньки Анфисы Порфирьевны наступаетъ часъ отмщенія за всѣ, перенесенныя ею отъ мужа обиды и муки; она расплачивается сторицею и вдобавокъ поселяетъ у себя своего незаконнаго сына, прижитаго неизвѣстно отъ кого еще до брака, и вдвоемъ съ нимъ жестоко надругается надъ «покойничкомъ», который вытолкнутъ изъ семейнаго союза, а въ союзѣ крѣпостномъ перечисленъ изъ господъ въ рабы. Всѣ знаютъ эту исторію, никто Савельцева иначе, какъ «покойничкомъ» не называетъ; представители закона, правосудія и благочинія, то-есть государственнаго союза, тоже знаютъ, но смотрятъ сквозь пальцы, что, впрочемъ, не дешево обходится тетенькѣ Анфисѣ Порфирьевнѣ. Тѣмъ временемъ своимъ порядкомъ идутъ всяческія тиранства надъ крестьянами. Тутъ есть сцена, несомнѣнно, прямо съ натуры списанная очевидцемъ, да и разсказана она, какъ личное впечатлѣніе автора, тогда еще ребенка: крѣпостная дѣвченка Наташка стоитъ на навозной кучѣ, съ завороченными назадъ и привязанными къ столбу руками; жара, съ навозной кучи поднимаются мухи и облѣпляютъ глаза и ротъ дѣвчонки... за исполненіемъ казни присматриваетъ «покойничекъ»...

Въ исторіи тетеньки Анфисы Прокофьевны мы имѣемъ по-истинѣ чудовищный переплетъ трехъ союзовъ. Къ этому надо еще прибавить замѣчаніе Салтыкова, что въ пошехонской старинѣ объ обществѣ не было и помину: «смѣшивали любовь къ отечеству съ выполненіемъ распоряженій правительства и даже просто начальства». Но и начальство разнствовало во славѣ, такъ что иное начальство было кому начальство, а кому просто пустяки. Становой приставъ былъ, конечно, начальство для разной мелкой сошки, а иногда и не только для нея. Тетенька Анфиса Порфирьевна, пользуясь его покровительствомъ въ дѣлѣ «покойничка», не могла не видѣть въ немъ начальства. А предводитель Струнниковъ, человѣкъ властный и ни въ какихъ такихъ уголовныхъ исторіяхъ не замѣшанный, третируетъ этого оффиціальнаго представителя государственнаго союза съ возмутительною развязностью: онъ издѣвается надъ нимъ совершенно такъ же, какъ и надъ всякимъ другимъ безсильнымъ человѣкомъ.

Мы не будемъ, однако, перебирать весь фактическій матеріалъ, собранный въ «Пошехонской старинѣ». Это въ разныхъ смыслахъ трудно. Приведеннаго, я полагаю, достаточно, чтобы видѣть, сквозь какую призму преломлялись передъ глазами умирающаго Салтыкова лучи далекихъ дѣтскихъ впечатлѣній, въ какомъ отношеніи находятся плоды его жизни къ ея корнямъ. Тамъ, вдали, на зарѣ жизни видятся сатирику не просто семья Затрапезныхъ, не просто «тетеньки-сестрицы», тетенька-сластена, дѣдушка Павелъ Борисовичъ, предводитель Струнниковъ, безчастная Матренка, буфетчикъ Кононъ, Сатиръ-скиталецъ и проч., и проч., и проч. Салтыковъ не пассивно, какъ фотографическій аппаратъ, воспринимаетъ это нашествіе пошехонскихъ воспоминаній, вызванное стихійнымъ процессомъ старческой памяти. Онъ встрѣчаетъ его сознательно выработанными идейными рамками, въ которыхъ и велѣніемъ которыхъ группируются хлынувшіе изъ нѣдръ

прошедшаго образы. Группируются они въ разные «союзы», причемъ оказывается, что всѣ эти союзы чрезвычайно крѣпки, до неразрывности, но крѣпки не внутреннею своею сущностью, не волею и сознаніемъ участниковъ, а исключительно только внѣшнею санкціей. Это обстоятельство создавало въ такъ называемое доброе старое время цѣлый рядъ безысходныхъ противорѣчій, которыя и составляютъ идейное содержаніе «Пошехонской старины».

Первое и самое, разумѣется, наглядное противорѣчіе состоитъ въ томъ, что союзы добраго стараго времени не только не удовлетворяютъ цѣли всякаго союза—облегченію и расширенію личнаго существованія, но, напротивъ, составляютъ источникъ всевозможныхъ мученій, лишеній, тѣсноты и грязи жизни. Можетъ показаться, что сюда не подходитъ основной и всеопредѣляющій союзъ пошехонской старины—крѣпостное право: рабы, разумѣется, претерпѣвали, но облегченіе ихъ личнаго существованія вовсе не входило въ задачи союза, а другая сторона, господа, несомнѣнно почерпали такое облегченіе изъ союза и жили припѣваючи. Не разъ высказывалась мысль, что блестящія явленія литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ были результатомъ тѣхъ готовыхъ хлѣбовъ, которые давало крѣпостное право. Между прочимъ, и Салтыковъ воспитался, по его собственному выраженію, «на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности». Такимъ образомъ, господа почерпали въ крѣпостномъ союзѣ возможность не только сладко ѣсть и мягко спать, плодиться и множиться, но и предаваться высшимъ задачамъ духа—наукѣ, философіи, художественному творчеству. Это мысль до извѣстной степени вѣрная. Нынѣшнему Пушкину или Салтыкову, Герцену или Тургеневу приходится, можетъ быть, еще гимназистомъ разбрасываться и надрывать силы въ бѣготнѣ по урокамъ, тогда какъ въ старые годы, укрытый отъ непосредственной борьбы за существованіе, онъ могъ всецѣло отдаваться работѣ духа. Но, оставляя даже совсѣмъ въ сторонѣ вопросъ о тѣхъ даровитыхъ людяхъ не господскаго происхожденія, которые безслѣдно затирались крѣпостнымъ правомъ, надо имѣть въ виду, что Пушкины и Салтыкова были каплями въ морѣ Затрапезныхъ, Струнниковыхъ, Савельцевыхъ и прочихъ персонажей «Пошехонской старины». Досугъ обезпечивался крѣпостнымъ союзомъ, но было что-то такое въ этомъ союзѣ, что побуждало наполнять досугъ отнюдь не высшими задачами духа. Правдивый разсказъ Салтыкова рисуетъ намъ помѣщичью жизнь изумительно скудною и низменною. Ренанъ утверждаетъ, что «потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь». Въ «Пошехонской старинѣ» мы этого не видимъ: многіе дѣйствительно обливаются потомъ, но немногіе ведутъ жизнь по истинѣ неблагородную, и крѣпостной союзъ не только не оказываетъ имъ въ этомъ отношеніи никакой помощи, а даже совсѣмъ напротивъ того. Самая обезпеченность вела только къ тусклой, тупой жизни изо-дня въ день, при полнѣйшемъ отсутствіи всякихъ высшихъ интересовъ.

Это не могло не отражаться и на другихъ союзахъ, изъ которыхъ было вытравлено всякое содержаніе, такъ что оставалась только одна форма, но форма крѣпкая, неразрывная, и въ ней человѣческія существа бились, какъ птицы въ клѣткѣ. Нечего и говорить о семейномъ союзѣ въ рабской средѣ, гдѣ Матренку съ Гаденкомъ сводили, какъ животныхъ. Но и семейные союзы Затрапезныхъ или Савельцевыхъ не имѣютъ ничего общаго съ идеальными построеніями церкви и гражданскаго закона. Это «адъ», а не союзъ. Это поприще всяческихъ злобныхъ чувствъ, то затаенныхъ, то открытыхъ, глядя по тому, на чьей сторонѣ сила. Сегодня Савельцевъ тиранитъ свою жену, даже не сознавая, что онъ дѣлаетъ, и жена покоряется, терпитъ, не ищетъ выхода, а только ждетъ случая, когда ей самой удастся стать въ положеніе столь же безсовѣстной силы и встрѣтить столь же безчестную слабость. Ни Савельцевъ, ни тетенька Анфиса Порфирьевна рѣшительно никакой радости, никакого облегченія жизненной тяготы другъ отъ друга не получаютъ, напротивъ, составляютъ другъ для друга источникъ непрестанныхъ мученій, а между тѣмъ связаны неразрывнымъ союзомъ; по крайней мѣрѣ имъ въ голову не приходитъ возможность его разорвать, потому что высшія проявленія духовной жизни—сознаніе и воля — въ нихъ совершенно не воспитаны и въ союзѣ никакого участія не принимаютъ.

Есть анекдотъ объ испанцѣ, который попалъ въ какую-то сѣверную, очень холодную страну. На него напали собаки; онъ схватилъ камень, чтобы швырнуть имъ въ собакъ, но камень примерзъ, такъ что его нельзя было отодрать. Тогда испанецъ сказалъ: «о, удивительная страна, гдѣ камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать»! Это восклицаніе могло бы служить девизомъ всѣхъ союзовъ пошехонской старины. Подъ ихъ покровомъ совершалось много насилій и вообще зла, но защиту въ нихъ трудно было найдти. Они не защитили тетеньку Анфису Порфирьевну отъ тиранства Савельцева, но помогли ей превратить его въ

«покойничка» и, въ свою очередь, тиранствовать надъ нимъ.

Таковъ смыслъ «Пошехонской старины». Но здѣсь же лежитъ центръ тяжести всѣхъ произведеній Салтыкова, всей его многолѣтней и многосложной работы, ибо, повторяю, въ «Пошехонской старинѣ» мы имѣемъ единовременно и корни, и плоды жизни сатирика. Начать съ того, что «извѣстная складка», оставшаяся, въ качествѣ наслѣдія крѣпостного права, въ русскомъ обществѣ, и доселѣ состоитъ именно въ тяготѣніи къ подневольнымъ и безсознательнымъ союзамъ, которые, фигурально выражаясь, камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать. Салтыковъ съ необыкновенною проницательностью открывалъ эту складку подъ разными, иногда очень благообразными формами и настойчиво преслѣдовалъ ее, не стѣсняясь повтореніями. Съ другой стороны, завѣтную «мечту», Салтыкова, въ ея общемъ выраженіи, составляетъ вольный и сознательный союзъ, споспѣшествующій широкому и всестороннему развитію личности, пробужденію всѣхъ ея силъ и способностей, удовлетворенію всѣхъ ея потребностей. По своей спеціальности сатирика, Салтыковъ не могъ отдаваться прямому, положительному развитію этого идеала, но тѣмъ сильнѣе и значительнѣе была его *облеченная въ художественную форму критика общественныхъ явленій съ точки зрѣнія идеальнаго союза.* Подчеркиваю эти слова, потому что ими, мнѣ кажется, резюмируется вся дѣятельность Салтыкова.

Въ мою задачу, приближающуюся уже къ концу, не входитъ пересмотръ всѣхъ произведеній Салтыкова. Я хотѣлъ только намѣтить главные пункты его работы, притомъ преимущественно такіе, которые при жизни сатирика возбуждали, а отчасти и до сихъ поръ возбуждаютъ недоразумѣнія. Кое что, занимающее въ щедринской сатирикѣ очень видное мѣсто, но не нуждающееся въ комментаріяхъ или разъясненіяхъ, я обошелъ; кое-что освѣтилъ, вѣроятно, недостаточно. Попробуемъ теперь оглянуться назадъ, съ цѣлью пересмотрѣть и кое въ чемъ дополнить предыдущіе очерки при свѣтѣ выше подчеркнутой общей формулы.

Идеалъ Салтыкова былъ слишкомъ возвышенъ, чтобы можно было думать о немедленномъ и полномъ его осуществленіи. Это далекій и въ подробностяхъ не совсѣмъ даже ясный пунктъ, достиженіе котораго будетъ стоить многаго труда, борьбы, жертвъ, но который можетъ и долженъ сейчасъ руководить нами, освѣщая нашъ трудъ, борьбу и жертвы. Это свѣтлая точка, маякъ, опредѣляющій направленіе нашей дѣятельности, а затѣмъ возникаетъ вопросъ о ближайшихъ станціяхъ въ этомъ направленіи. Салтыковъ началъ свою литературную дѣятельность въ одинъ изъ самыхъ глухихъ періодовъ русской исторіи, но возобновилъ ее, напротивъ, въ пору вящшей напряженности общественной жизни, когда страшный урокъ крымской войны во-очію показалъ, чего стоятъ союзы, которые камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать. «Губернскіе очерки» оканчиваются видѣніемъ; передъ авторомъ проходитъ похоронная процессія: то «прошлыя времена хоронятъ!». Это восклицаніе хорошо характеризуетъ тогдашнее настроеніе сатирика. Понятно, что онъ, самъ видавшій и «покойничка», и дѣвчонку Наташку, привязанную къ столбу на навозной кучѣ, и всю прочую пошехонскую старину, долженъ былъ встрѣтить великій день 19 февраля 1861 г. какъ праздникамъ праздникъ и торжество изъ торжествъ. Вспоминая объ этомъ днѣ въ «Письмахъ о провинціи», онъ говоритъ: «Всему этому безпутному, безсознательному и ненужному злодѣйству, всѣмъ этимъ подвигамъ тьмы и безсмысленнаго варварства положило безповоротный конецъ 19-е февраля. Какъ бы ни были обширны наши притязанія къ жизни, мы не можемъ не удивляться великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плѣна египетскаго цѣлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть тѣ скорбные стоны, которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Россіи, такое дѣло способно вдохнуть энтузіазмъ безпредѣльный!» Энтузіазмъ этотъ, столь естественный для человѣка, лично видѣвшаго ужасы крѣпостнаго права, въ Салтыковѣ осложнялся еще тою вѣрою въ будущее, которою онъ былъ окрыленъ отъ природы. Если рухнулъ вѣковой порядокъ, казавшійся неизбывнымъ, если оказалось возможнымъ то, что считалось невозможной и преступной мечтой, такъ законны и дальнѣйшія перспективы. Салтыковъ не могъ сказать, подобно Симеону: «нынѣ отпущаеши раба твоего, яко видѣста очи мои спасеніе». Онъ былъ для этого слишкомъ силенъ и дѣятеленъ и потому долженъ былъ, напротивъ, сказать: «нынѣ призываеши». Онъ спрашивалъ: «Давно-ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, вольтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ во-очію совершается? И нельзя-ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ когда-нибудь называться добромъ?» («Сеничкинъ ядъ»).

Уже самые эти вопросы показываютъ, что не всѣ были въ ту пору единодушны на Руси. Дѣйствительно, всяческія подкапыванія подъ дѣло реформъ начались очень

рано и многаго достигли. Съ точки зрѣнія Салтыкова дѣло реформъ состояло въ устраненіи подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Не о томъ шла рѣчь, чтобы на землѣ, отягченной вѣковою наслѣдственностью грѣха, немедленно же водворилась райская жизнь, миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе, а только о томъ, чтобы эта грѣшная земля пооттаяла, чтобы хоть камни-то, нужные для обороны, не были прикованы морозомъ. Земскія учрежденія, гласный судъ, народная школа, свобода печати составляли естественное дополненіе къ основной, крестьянской реформѣ. Необходимость этихъ шаговъ была заявлена самимъ правительствомъ и сознана всею благомыслящею частью русскаго общества, въ томъ числѣ и Салтыковымъ. Всѣ эти реформы имѣли цѣлью пріобщить жизнь личности къ жизни общественной, дать русскому человѣку возможность сознательнаго и вольнаго участія въ общественныхъ дѣлахъ; тѣмъ самымъ вносилось живое содержаніе во всякаго рода «союзы», за исключеніемъ тѣхъ, конечно, которые таковаго и выдержать не могли. Не смотря, однако, на это, энтузіазмъ, о которомъ говоритъ Салтыковъ, покинулъ его, и умъ его постепенно обозлялся. Теперь это уже прошлыя времена, въ свою очередь похороненныя, а потому къ нимъ можно относиться спокойно. Но тогда мудрено было спокойно смотрѣть на то, какъ дѣло реформы, при самомъ даже своемъ возникновеніи, подтачивалось руками, заматерѣлыми въ практикѣ подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ. Критика всѣхъ относящихся сюда явленій нашей общественной жизни и составила задачу Салтыкова.

Разбираясь въ огромной массѣ не только образовъ и картинъ, а и мыслей, пущенныхъ Салтыковымъ въ обращеніе, мы увидимъ, что элементы, противоборствующіе поступательному ходу русской исторіи, какъ онъ рисовался самому Щедрину, распредѣляются по двумъ большимъ отдѣламъ. Мы ихъ намѣтили въ главахъ о благонамѣренныхъ рѣчахъ и объ умѣренности и аккуратности.

Деруновъ есть «рьяный и упорный поборникъ всевозможныхъ союзовъ», но именно подневольныхъ и безсознательныхъ союзовъ, которые бы ему, Дерунову, развязывали руки, а прочимъ—связывали. Его экономическая программа, конечно, не его языкомъ выраженная, гласитъ такъ: «Необходимо дать пошехонскому поту такое примѣненіе, благодаря которому, онъ лился бы столь же изобильно, какъ при крѣпостномъ правѣ, и въ то же время назывался бы «вольнымъ» пошехонскимъ «потомъ» («Пошехонскіе разсказы»). Семейный союзъ Деруновъ чтитъ, но самъ—снохачъ. Союзъ государственный онъ тоже чтитъ, но съ тѣмъ, чтобы исправникъ призналъ бунтовщиками крестьянъ, которые не отдаютъ хлѣба по шести гривенъ. И однако Деруновъ—«столпъ». Не одинъ Деруновъ такъ устроился, даже не одни «чумазые», потому что вотъ и кузина-Машенька и другіе нечумазаго чина люди то же самое практикуютъ. Есть у нихъ и пособники, во-первыхъ, среди «озорниковъ» и «помпадуровъ», которые, впрочемъ, видя въ себѣ персонификацію «союзовъ», практикуютъ и за свой собственный счетъ. Сатирикъ отказывается признать ихъ «поборниками государственнаго союза за то только, что они видятъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать» («Круглый годъ»). Есть пособники и въ литературѣ. Эти, можетъ быть, самые страшные. Беря подъ свою зашиту всякіе подневольные и безсознательные союзы и практикуя въ дѣлѣ этой защиты полную свободу, они требуютъ, чтобы всѣ, съ ними не согласно мыслящіе, были поставлены въ положеніе тѣхъ примерзшихъ камней, которыми несчастный испанецъ такъ и не могъ воспользоваться для самообороны. Вся эта разношерстная стая, пополняемая при случаѣ переметными сумами въ родѣ адвокатовъ Балалайкиныхъ и газетчиковъ Ивановъ Непомнящихъ, вабрасывается на всякое дѣло и на всякаго человѣка, имѣющихъ въ виду настоящій союзъ, заслуживающій дѣйствительно этого названія. Будущій историкъ русскаго общества найдетъ у Салтыкова драгоцѣннѣйшія указанія по этой части, и не только указанія, а и готовые выводы.

Но хоромъ благонамѣренныхъ рѣчей не исчерпываются элементы, тормозящіе исторію. Уже въ «Литераторахъ-обывателяхъ» Щедринъ можетъ быть даже съ чрезмѣрною жесткостью отнесся къ тѣмъ крохоборамъ, которые носятся со всякою мелочью, какъ съ писанной торбой. Жесткость была въ этомъ случаѣ потому чрезмѣрна, что литераторы-обыватели, во всякомъ случаѣ, свидѣтельствовали своимъ существованіемъ о нѣкоторомъ оживленіи провинціи. Сатирикъ самъ замѣтилъ: «Времена созрѣли, и какъ бы ни была мало искусна пѣсня Корытникова, онъ не можетъ не пѣть. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концертъ задаютъ тамъ воробьи!.. Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннимъ чувствомъ, поетъ возрожденіе природы, поетъ красоту гласности и самоуправленія, поетъ взволнованность своихъ собственныхъ чувствъ». Справедливая сторона насмѣшки, обращенной къ литераторамъ-обывателямъ, состояла въ указаніи на самодовольную узкость ихъ

кругозора, фальшиво раздуваемую фразами вродѣ: «въ наше время, когда, казалось бы, воровство преслѣдуется повсюду», въ «наше время, когда привычки законности мало-по-малу проникаютъ во всѣ административныя трущобы» и т. п. Но если литераторы-обыватели ликовали по пустякамъ, то они всетаки не возводили крохоборства въ принципъ. Это суждено было сдѣлать гораздо позже пѣнкоснимателямъ, провозгласившимъ, что «наше время не время широкихъ задачъ». Пѣнкоснималель не то, что ораторъ благонамѣренныхъ рѣчей,—онъ «никогда не промолвится, что крѣпостной трудъ лучше свободнаго или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытыхъ дверяхъ; нѣтъ, никогда, ибо склады либерализма извѣстны ему въ точности». На дѣлѣ же «вамъ говорятъ о благодѣніяхъ свободнаго труда, но въ то же время пріурочиваютъ его дѣйствіе къ такой безконечно малой сферѣ, что въ сущности выходитъ лишь замаскированный крѣпостной трудъ; вамъ повѣствуютъ о выгодахъ гласнаго суда, а на повѣрку выходитъ, что рѣчь сводится къ рекламамъ въ пользу такого-то адвоката или судьи» («Дневникъ провинціала»). Можетъ быть даже не кто иной, какъ именно пѣнкоснималель, помогъ Дерунову формулировать вышеприведенную экономическую программу насчетъ «вольнаго пошехонскаго пота». По крайней мѣрѣ на это имѣются указанія въ параллели между хищникомъ и пѣнкоснимателемъ, которою заканчивается «Дневникъ провинціала»: «Хищникъ проводитъ принципъ хищничества въ жизни, пѣнкоснималель возводитъ его въ догматъ и сочиняетъ правила на предметъ наилучшаго производства хищничества». Благодаря возвышенности той точки, на которой стоялъ Салтыковъ въ своей критикѣ явленій нашей общественной жизни, его нельзя было ни подкупить, ни испугать какими бы то ни было ходячими формулами, кличками, словами «жупелами». Къ числу такихъ жупеловъ принадлежитъ либерализмъ, къ которому Салтыковъ естественно тяготѣлъ многими своими сторонами; но онъ понималъ, что бываютъ случаи, когда «либерализмъ есть своего рода дойная корова» («Дневникъ провинціала»), и съ искусствомъ опытнаго анатома-практика вскрывалъ эту корову. Такъ и поступилъ онъ съ пѣнкоснимателями, щеголявшими либерализмомъ. Пѣнкоснимательство уже по самому существу своей умѣренности и аккуратности понижало или стремилось понизить уровень требованій жизни и тѣмъ самымъ задержать жизнь въ смыслѣ приближенія къ щедринскому идеалу. А кромѣ того оказалось, что умѣренность и аккуратность не только на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ, но и корчемнымъ виномъ торгуютъ, и потихоньку пороки у себя принимаютъ.

La critique est aisée et l'art est difficile,—гласитъ старое изреченіе. Старое, но далеко не вполнѣ вѣрное, хотя бы уже потому, что существуетъ l'art de critique. Есть критика талантливая и бездарная, проницательная и подслѣповатая, убѣдительная и неубѣдительная. Но этого мало. Есть критика, исходящая изъ пустого мѣста, но есть и такая, которая не только имѣетъ въ своемъ основаніи совершенно опредѣленные положительные идеалы, но и самымъ процессомъ своимъ дѣлаетъ положительное, творческое дѣло. Такова была щедринская критика явленій нашей общественной жизни, и нельзя, конечно, сказать, чтобы это было легкое дѣло. Я говорю не о художественной формѣ, въ которую эта критика большею частью облекалась,—это само-собой,—а объ ея содержаніи. Трудно обнять всю огромность щедринскаго дѣла, всю ту критическую энциклопедію русской жизни, которая заключена въ его произведеніяхъ, и всѣмъ вышесказаннымъ еще далеко не исчерпывается эта полная чаша. Читатель, я полагаю, однако, и самъ оріентируется во многомъ, нами не затронутомъ, если будетъ помнить тотъ идеалъ вольнаго и сознательнаго союза, который всегда руководилъ сатирикомъ. Конечно, онъ не сочинялъ проектовъ общественнаго устройства или переустройства, но своею безпощадною критикой онъ дѣлалъ великое положительное дѣло: будилъ сознаніе русскаго общества, каковое сознаніе составляетъ первое условіе для приближенія къ идеалу. Будилъ онъ его прежде всего глубокимъ анализомъ формъ и содержанія разныхъ «союзовъ». Пусть помпадуры и столпы, патріоты-казнокрады и пѣнкоснимателя, ташкентцы и пошехонцы, Балалайкины и Иваны Непомняіе дѣлаютъ свое дѣло,—сатирикъ не можетъ имъ въ этомъ воспрепятствовать,—но пусть они по крайней мѣрѣ не маскируются поборниками «союзовъ», изъ которыхъ они же вытравляютъ всякое содержаніе, защитниками «основъ», которыя они же разрушаютъ. Въ этомъ отношеніи сатира Салтыкова, конечно, достигла своей цѣли: мы, третьи лица, зрители, благодаря Салтыкову, хорошо изучили этотъ иногда комическій, иногда чудовищный маскарадъ. Но задача сатирика на этомъ не кончается. Въ основѣ всѣхъ безсознательныхъ и подневольныхъ союзовъ лежитъ сочетаніе безсовѣстной силы и безчестной слабости (см. гл. IV). Наличность этихъ двухъ элементовъ составляетъ необходимое условіе для мирнаго, спокойнаго, цвѣтущаго существованія подне-

вольныхъ и безсознательныхъ союзовъ, въ томъ-ли юридически-нормированномъ видѣ, въ какомъ ихъ рисуетъ «Пошехонская старина», или въ какомъ другомъ, замаскированномъ. Салтыкову надлежало поэтому будить совѣсть въ силѣ и честь въ слабости. Онъ это и дѣлалъ, то грозя судомъ исторіи и потомства, то клеймя позоромъ художественнаго воспроизведенія, то обливая ядомъ насмѣшки, то поднимаясь на высоту неподражаемаго лиризма. Но какихъ результатовъ достигъ онъ въ этомъ направленіи, — это, конечно, вопросъ.

IX.

Женскій вопросъ.

Трудно оторваться отъ Щедрина. Трудно, во-первыхъ, въ силу того исключительнаго интереса, который представляетъ его оригинальная литературная физіономія; трудно, во-вторыхъ, еще и потому, что все боишься, какъ бы не породить какихъ-нибудь недоразумѣній, въ виду обширности и сложности щедринскаго дѣла.

Возьмемъ какой-нибудь частный случай, достаточно значительный для того, чтобы на немъ можно было провѣрить если не все вышесказанное, то хоть наиболѣе выдающіеся пункты нашего анализа. Результаты, къ которымъ мы придемъ, пригодятся и для другихъ частныхъ случаевъ. Я выбираю такимъ пробнымъ камнемъ такъ называемый женскій вопросъ, отчасти просто потому, что надо же что-нибудь выбрать, а отчасти и по другимъ причинамъ.

Много по женскому вопросу писано, такъ что онъ кажется и безъ Салтыкова достаточно выясненнымъ со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Сколько, въ самомъ дѣлѣ, на эту тему чернилъ пролито, сколько горячихъ словъ сказано, сколько литературныхъ схватокъ! Весьма не малой величины залъ потребовался бы для вмѣщенія всѣхъ книгъ и статей о женскомъ образованіи, о женскомъ трудѣ, о положеніи женщинъ, о подчиненности женщинъ, о женщинахъ, за женщинъ, противъ женщинъ, особенно если прибавить къ нимъ романы, повѣсти, драмы, стихотворенія, въ которыхъ тотъ же женскій вопросъ трактуется при помощи образовъ и картинъ. Однако, Салтыкова не вредно выслушать и въ этомъ дѣлѣ.

Въ народной средѣ женскій вопросъ поставленъ чрезвычайно просто и весь исчерпывается въ рѣчи учителя Крамольникова на юбилеѣ Мосеича («Сонъ въ лѣтнюю ночь»). Тутъ не можетъ быть рѣчи ни о *женскомъ* образованіи, потому что въ немъ столь же нуждаются и мужчины, ни о *женскомъ* трудѣ, потому что его не меньше, чѣмъ мужского. Провозглашая тостъ «за улучшеніе участи русской крестьянской женщины, охранительницы, устроительницы русской крестьянской семьи», Крамольниковъ имѣлъ въ виду одно: чтобы мужики перестали обижать бабъ. Во всемъ остальномъ нѣтъ существенной разницы между положеніемъ мужчинъ и положеніемъ женщинъ, а стало-быть нѣтъ и почвы для возникновенія спеціальнаго женскаго вопроса. Крамольниковъ говоритъ мужикамъ, собравшимся чествовать Мосеича: «Часть тѣхъ тяжелыхъ вериг, которыя выпали на долю русской крестьянки, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, что въ этомъ фактѣ виноваты не столько вы сами, сколько ваше горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость горя и равная степень нужды должны бы послужить поводомъ для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія однихъ несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать объ этомъ, господа. Пора сказать: мы несчастны, слѣдовательно, наша обязанность подать другъ другу руку, а не раздирать другъ друга». Такимъ образомъ женскій вопросъ здѣсь самъ собой расплывается въ общей «проблемѣ о мужикѣ», и если осуществленіе добраго пожеланія Крамольникова представляетъ трудности, то самая постановка женскаго вопроса въ народной средѣ до-нельзя проста.

Обратимся въ другія сферы, совершенно противоположныя, гдѣ женщину не только не бьютъ, но гдѣ она, напротивъ того, является предметомъ поклоненія, почти культа, гдѣ ее окружаютъ особенною атмосферою, насыщенною лестью, лаской, почетомъ, ѳиміамомъ сердецъ, ароматомъ цвѣтовъ, блескомъ брилліантовъ, гдѣ женщинѣ не житье, а масляница. Конечно, не въ этой душистой и сверкающей атмосферѣ зарождается женскій вопросъ, но матеріалъ для его постановки доставляется ею въ изобиліи, и Салтыковъ этимъ матеріаломъ не брезгалъ. «Дамочки», «куколки», «ангелочки» не разъ останавливали на себѣ вниманіе суроваго сатирика, и не смотря на то, что портреты этихъ странныхъ видоизмѣненій человѣческаго типа разбросаны въ разныхъ его произведеніяхъ, какъ бы мимоходомъ, онъ, очевидно, далъ себѣ трудъ изучить ихъ съ большою пристальностью. Объ этомъ свидѣтельствуетъ и повторяемость портретовъ, и чрезвычайно тонкая отдѣлка нѣкоторыхъ подробностей. Душа «куколки» — штука, разумѣется, не сложная, но всетаки это не машинка какая-нибудь, а душа, хотя можетъ быть «видомъ малая и не безсмертная», какъ выражается въ «Исторіи одного города» учитель каллиграфіи Линкинъ, разумѣя, впрочемъ, не человѣческую, а лягушечью душу. Изучить эту

несложную душу тѣмъ труднѣе, что она проявляется разнаго рода внезапностями, предвидѣть которыя невозможно, если придерживаться обыкновенной логики. Все здѣсь внезапно: сужденія, чувства, поступки. Салтыковъ изучилъ однако «куколку» такъ, какъ едва-ли это удалось даже тѣмъ изъ нашихъ писателей, которые сдѣлали себѣ изъ міра женскихъ отношеній своего рода спеціальность.

Мы уже имѣли случай остановиться на двухъ экземплярахъ этой породы: m-me Персіянова въ «Ташкентцахъ» и m-me Проказнина въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» («Еще переписка»). Обѣ эти милыя дамочки наставляютъ своихъ юныхъ, но уже многообѣщающихъ сыновей, съ одной стороны, въ преданности религіи, отечеству, дворянскому долгу и прочимъ «основамъ», а съ другой— въ искусствѣ побѣждать женскія сердца и совершать адюльтеръ. Сами «куколки» по этой послѣдней части не пропускаютъ случая. Какъ хорошенькія, ярко расцвѣченныя бабочки, онѣ перепархиваютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, если только позволительно сравненіе непрекрасной половины человѣческаго рода съ цвѣтами. Куколки охотно посвящаютъ взрослыхъ сыновей въ тайны своихъ prouesses, дабы еще разъ хоть мысленно пережить поэму любви. И юный, но уже многообѣщающій сынъ одобряетъ свою «petite mère», которая и до сихъ поръ, не смотря на годы, столь непраздно проведенные, «est jolie à croquer». Безстыдный сынъ говоритъ это безстыдной матери въ глаза, и оба остаются другъ другомъ очень довольны, да и кругомъ всѣ довольны. Конечно, когда парижскія приключенія de la belle princesse Persianoff получаютъ уже слишкомъ громкую и скандалезную извѣстность, «свѣтъ» шокируется, но именно, только потому, что ужъ слишкомъ громко и скандалезно. А до этого предѣла вотъ какія требованія и совѣты выслушиваетъ куколка. Вышла она замужъ почти дѣвочкой и осьмнадцати лѣтъ родила уже сына. По этому случаю «ma tante» говоритъ ей о священномъ чувствѣ матери и о томъ, что «для мальчика главное въ религіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ правилахъ». А дядя Павелъ Борисовичъ, въ свою очередь, наставляетъ молодую мать насчетъ воспитанія сына: «Il faut que ce soit un galant homme... Чтобы женщина была для него святыня! Чтобы онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ всегда сохранять видъ побѣжденнаго!» Умираетъ у куколки мужъ. Ma tante опять наставляетъ: «Потеря твоя велика, но даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ всегда есть вѣрное пристанище — это религія»! А дядя Павелъ Борисовичъ съ своей стороны присовокупляетъ: «Я очень понимаю всю важность твоей потери, mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня, не худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою куколку». Куколка погоревала, погоревала, да и уѣхала за границу, оставивъ сына на попеченіи ma tante и дяди Павла Борисовича. «Ma tante согласилась замѣнить ему мать и взяла на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственности и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспитанія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать, сохраняя видъ побѣжденнаго». Ну, куколка какъ съумѣла, такъ и сочетала принципы ma tante и дяди Павла Борисовича...

Такова же примѣрно исторія m-me Проказниной. Обѣ эти фигурки иллюстрируютъ собой «семейный союзъ». Изо всего союза, такъ тщательно оберегаемаго на словахъ въ качествѣ одной изъ основъ, сохранились только дружескія отношенія между матерью и сыномъ, но, Боже! какія это паскудныя, ужасающія отношенія... M-me Неугодова въ «Кругломъ годѣ» тоже куколка («нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ»), но у нея съ сыномъ нѣтъ такихъ безстыдныхъ откровенностей. У нея другое. Она, проживая за границей, требуетъ, чтобы сынъ продавалъ одно за другимъ ихъ имѣнія, потому что ей, куколкѣ, за границей денегъ много нужно, а когда сынъ указалъ ей перспективу печальнаго исхода, она отвѣтила ему такимъ письмомъ: «я мать и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ, послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведенія» и т. д. Письмо это, какъ оно уже и по слогу видно, писано подъ чужую диктовку. Но и при личномъ свиданіи съ авторомъ куколка Неугодова говоритъ: «Я просто попрошу, чтобы его посадили въ смирительный домъ, покуда онъ не раскается». Авторъ прибавляетъ: «Я взглянулъ на нее, думая, не прочту-ли что-нибудь на ея лицѣ. И что-жъ?—ничего! куколка, ну, просто куколка—и ничего больше». Авторъ замѣчаетъ, что «это у нихъ должно-быть врожденное, то-есть у русскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покойница-матушка— ужъ на что, кажется, любила меня, а разсердится бывало, сейчасъ: я тебя въ Суздаль-монастырь упеку! Тогда еще Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь, со смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ явился». «Суздаль-монастырь» дѣйствительно часто срывается съ языка маменекъ, изоб-

раженныхъ въ «Семейномъ счастіи» «Кузинѣ Машенькѣ», «Господахъ Головлевыхъ», «Пошехонской старинѣ». Но ихъ мы теперь не тронемъ, потому что то не куколки. Вотъ кузина Надежда Гавриловна («Письмо къ тетенькѣ») — та по крайней мѣрѣ очень приближается къ куколкамъ, хотя прозвище, данное ей родственниками, есть не куколка, а «индюшка». Это слѣдуетъ заключить изъ того, что она сына не Суздалемъ-монастыремъ пугаетъ, а смирительнымъ домомъ, а также изъ слѣдующей ея исповѣди. «Индюшка» убѣждаетъ автора бросить сатиру и «описывать про любовь».

„Какъ это... ну, вообще, что обыкновенно съ дѣвушками случается... Разумѣется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... Зачѣмъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не поймемъ. Не безпокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять лучше нельзя... Вотъ маменька-покойница тоже все думала, что я въ дѣвушкахъ ничего не понимала, а я однажды ей вдругъ все... до послѣдней ниточки!... Что въ самомъ дѣлѣ, за что они насъ притѣсняютъ? Думаютъ, коли дѣвица, такъ и не должна ничего знать... скажите на милость! Конечно, я потомъ, замужемъ, еще болѣе развилась, но и въ дѣвицахъ... Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ на сторонѣ женскаго вопроса стою! Но именно только въ одномъ этомъ случаѣ, parce que la famille... tu comprends, la famille! tout est là! Семейство—это... А всѣ эти женскіе курсы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемѣрши, tout ce fatras“...

Такимъ образомъ куколки, въ концѣ-концовъ, очень стоятъ за семейный союзъ вообще и въ частности за право родителей сажать непочтительныхъ дѣтей въ смирительный домъ, но онъ отнюдь не хотятъ, чтобы этотъ союзъ «притѣснялъ» ихъ въ дѣлѣ амурныхъ похожденій; въ этомъ случаѣ онѣ объявляютъ себя на сторонѣ «женскаго вопроса», но, конечно, только въ этомъ...

Съ куколки, по части теоріи и логики, взятки—гладки. Что съ нея въ самомъ дѣлѣ возьмешь, коли для нея въ области умственныхъ упражненій существуютъ только sujets de conversation? Не ея совсѣмъ дѣло теоретизировать, она просто практикуетъ. Но есть теоретики кукольнаго положенія, къ которымъ и надо обратиться за разъясненіемъ. Таковъ Тебеньковъ въ очеркѣ «По части женскаго вопроса» (въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ»). Къ счастію, Тебеньковъ рѣчистъ и откровененъ. Прежде всего, что такое женскій вопросъ, котораго куколкѣ и хочется, и не хочется? Тебеньковъ отвѣчаетъ обстоятельно. «Женщина — это святыня, которой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помыселъ! Вотъ мой женскій вопросъ-съ! И мужчина, и женщина это, такъ-сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, Ладъ и Лада, которымъ суждено другъ друга взаимно восполнять. Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе соловья. Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ-друга и наконецъ устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говоритъ: réposons nous! Ладъ же отвѣчаетъ: ce que femme veut, Dieu le veut! и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ... A mon avis toute la question est là!» Итакъ, весь женскій вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы Лада могла безпрепятственно проводить время съ Ладомъ подъ сѣнью деревъ, и этотъ вопросъ вполнѣ разрѣшенъ. Тебеньковъ утверждаетъ, что «ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ. Не объ этомъ споръ: это всѣми давно признано, подписано и рѣшено. Но какъ расширить эти формы — вотъ въ чемъ весь вопросъ?» Тебеньковъ указываетъ на princesse de P., baronne de K., Катерину Михайловну и другихъ прелестныхъ дамъ, которыя разрѣшили этотъ вопросъ «совершенно и опредѣленно, и къ полному своему удовольствію». Онѣ разрѣшаютъ его практически, каждая сама для себя, не воздвигая никакихъ принциповъ и не требуя вмѣшательства закона. Тебеньковъ рѣшительно стоитъ «за святость семейныхъ узъ», но «не дѣлаться же княгинѣ монахиней изъ-за того только, чтобы князь Левъ Кирилловичъ имѣлъ удовольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной колпакъ!» Княгиня просто дѣлаетъ «экскурсію въ область запретнаго», совершенно позволительную, даже необходимую и ни мало не колеблющую общественнаго зданія. Такимъ образомъ дѣло идетъ прекрасно, само въ въ себѣ находя нужныя поправки. Ему грозятъ, однако, двѣ большія опасности, которыя необходимо предотвратить. Во-первыхъ, «представь себѣ, что вдругъ *всѣ* сказали бы, что запретнаго нѣтъ, — вѣдь это было бы новое нашествіе печенѣговъ! Вѣдь они подвергли бы дома наши разграбленію, они осквернили бы нашихъ женъ и дѣвъ, они уничтожили бы всѣ памятники цивилизаціи!» Въ этомъ именно, а не въ какомъ другомъ смыслѣ надо разумѣть святость семейнаго и другихъ союзовъ: «свойства этой азбуки таковы, что для меня лично,—говоритъ Тебеньковъ,—она можетъ служить только ограниченіемъ отъ печенѣжскихъ набѣговъ; съ какой же стати я буду настаивать на ея упраздненіи?» Противъ частныхъ же и негласныхъ экскурсій въ область запретнаго, Тебеньковъ не только ничего не имѣетъ, но считаетъ ихъ даже необходимыми. Такимъ образомъ все ученіе о семейномъ союзѣ (а равно и о другихъ) распадается на эзотерическую и экзотерическую части: первая доступна лишь немногимъ посвященнымъ, и бѣда, если *всѣ* «печенѣги» проникнутъ

въ эту тайну! Этого ни въ какомъ случаѣ допустить нельзя. Другую опасность для правильнаго разрѣшенія вопроса Тебеньковъ видитъ въ тѣхъ женщинахъ и дѣвушкахъ, которыя стремятся къ образованію и труду. Онъ видитъ въ этихъ стремленіяхъ «поруганіе надъ женскою стыдливостью, надъ цѣломудріемъ женскаго чувства, надъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence, которое душистымъ ореоломъ окружаетъ женщину». Женщина «есть живой ѳиміамъ, живая молитва человѣка къ Богу,» «святыня, благоуханіе, кристаллъ» и пр. И на этакую-то священную штуку замахиваются сами женщины! «Онѣ хотятъ извратить характеръ женщины. Представь себѣ, что онѣ достигнутъ своей цѣли, что всѣ женщины вдругъ разбредутся по академіямъ, университетамъ, по окружнымъ судамъ... что тогда будетъ? Où sera le plaisir de la vie? Что станется съ нами, съ тобой, со мной, которые не можемъ существовать безъ того, чтобы не баловать женщину?» Тебеньковъ готовъ разрѣшить дамамъ даже слушаніе лекцій въ медицинской академіи. но съ тѣмъ, чтобы это былъ одинъ изъ jolis caprices de femme, а не то, чтобы взаправду. «Женщина, и въ особенности хорошенькая, имѣетъ право быть капризною, это ея привилегія. Если она можетъ *вдругъ* пожелать парюру въ двадцать тысячъ, то почему же *вдругъ* не пожелать ей посѣтить медицинскую академію? И вотъ она желаетъ, но желаетъ такъ мило, что достоинство женщины ни мало не терпитъ отъ этого. Напротивъ, тутъ-то именно, въ этомъ оригинальномъ желаніи и выступаетъ та женственность, которую мы, мужчины, такъ цѣнимъ. La baronne de K., слушающая г. Сѣченова, — можно-ли вообразить quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?!» И затѣмъ Тебеньковъ рисуетъ веселую картинку, какъ Лады въ сопровожденіи Ладовъ ѣдутъ на тройкахъ слушать лекцію Сѣченова, а потомъ къ Дороту, или въ другой какой-нибудь кабачокъ.

Надо отдать справедливость Тебенькову: разныя внезапности куколокъ онъ сложилъ въ нѣчто вродѣ системы. Но это значитъ отдать справедливость сатирику, который съ такою ясностью изложилъ истинный смыслъ всего кукольнаго женскаго вопроса. Благоуханный и сверкающій міръ Ладъ съ его воинствующими теоретиками едвали часто видѣлъ столь правдивое и столь близко къ его лицу поставленное зеркало. Тутъ и комментировать нечего, ибо все ясно и не упущено изъ виду ни одной черты, характерной для ораторовъ благонамѣренныхъ рѣчей въ дѣлѣ женскаго вопроса. Куколки и ихъ теоретики, конечно, не могутъ питать за это къ Салтыкову признательности. Но женщины, настоящія женщины, а не тебеньковскія «святыни» и «кристаллы», должны признать, что на нѣсколькихъ страницахъ очерка «По части женскаго вопроса» сконцентрировано много данныхъ для доказательства того, что женскій вопросъ есть дѣйствительно вопросъ, т.-е. нѣчто, подлежащее разрѣшенію. Положительныхъ доказательствъ здѣсь нѣтъ, но аргументація противниковъ вскрыта до самой ея интимной подкладки. Ясно, что во всѣхъ разсужденіяхъ о достоинствѣ женщины, страдающемъ отъ вступленія ея въ сферу труда и образованности, нѣтъ ничего, кромѣ лицемѣрія. Достоинство женщины! Скажите пожалуйста, какіе Шиллеры! Тебеньковъ говоритъ шлифованнымъ языкомъ свѣтскихъ салоновъ, но это ужъ такая его манера, выработанная долгой канцелярско-салонной практикой, и въ сущности онъ вовсе не скрываетъ своего мнѣнія насчетъ того, гдѣ именно зимуютъ раки. Чтобы окончательно убѣдить собесѣдника, онъ приглашаетъ его пройтись въ три часа по Невскому. Они идутъ и слышатъ разные уже и по формѣ откровенные разговоры молодыхъ и немолодыхъ людей по части женскаго вопроса. Выходитъ довольно-таки гнусно. Тебеньковъ, торжествуя, говоритъ: «А ты еще сомнѣвался, что женскій вопросъ рѣшенъ! Давно, mon cher! Еще Прекрасная Елена, ужъ та порѣшила съ нимъ!»

Указаніе на «Прекрасную Елену» не лишено нѣкотораго серьезнаго значенія. Была ли Елена прототипомъ баронессы К., княгини П., m-me Персіановой, m-me Проказниной и прочихъ куколокъ, или она оставила своего Менелая по причинамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ кукольной психологіей, но во всякомъ случаѣ легенда приписываетъ ей тотъ факелъ, который возжегъ троянскую войну. Это напоминаетъ намъ, что женскій вопросъ не всегда можно изолировать, что и то простѣйшее его рѣшеніе, которое проповѣдуетъ Тебеньковъ, затрогиваетъ интересы не только Лада и Лады. Если-бы куколки могли понимать, что «живой ѳиміамъ», «святыня», «кристаллъ» и прочія лестныя къ нимъ обращенія суть только псевдонимы вещей далеко не лестныхъ, то онѣ вѣроятно оскорбились бы и стали бы искать выхода изъ положенія, столь возвышеннаго на видъ и столь въ сущности унизительнаго. И ужъ, конечно, не хватило бы у нихъ духу бросить камень въ тѣхъ, кто ищетъ выхода. Но куколки ничего понимать не могутъ. Ну, и Богъ бы съ ними. Но вѣдь онѣ не на необитаемомъ островѣ живутъ, не гдѣ-нибудь внѣ общей жизни. У нихъ есть мужья, которые, надо думать, не всегда похожи на Тебенькова и

князя Льва Кириллыча; есть дѣти, которыя опять-таки не всегда похожи на юныхъ, но уже многообѣщающихъ сыновей m-me Персіановой и m-me Проказниной. Какія страшныя драмы могутъ разыгрываться вокругъ этихъ легкокрылыхъ созданій! какую массу зла могутъ онѣ натворить въ своемъ веселомъ порханіи! Семейный союзъ, какъ его понимаютъ куколки, есть именно такой, который камни привязываетъ, а собакъ пускаетъ бѣгать. Куколки твердо стоятъ за свое право сажать непочтительныхъ дѣтей въ смирительный домъ, — это право гарантировано союзомъ: «я мать!» Столь же твердо будутъ онѣ при случаѣ произносить слова: «я жена!» Найдутся и другія пріятныя права, гарантируемыя союзомъ. Поэтому общій пересмотръ основаній союза отнюдь не желателенъ съ точки зрѣнія куколокъ и ихъ теоретиковъ: камни должны, непремѣнно должны быть привязаны. Но собаки непремѣнно должны бѣгать, то-есть не собаки, конечно, а миленькія, хорошенькія бабочки должны непремѣнно порхать, и потому въ союзъ должны быть внесены извѣстныя практическія поправки въ смыслѣ экскурсій въ область запретнаго. Этого хотятъ не только сами бабочки, но и Тебеньковы, потому, что имъ нужно «баловать» бабочку. Понятно, что Тебеньковы при случаѣ всю эту механику заведутъ съ другаго конца и торжественно воскликнутъ: «я отецъ!» «я мужъ!», то-есть прибѣгнутъ подъ защиту того же союза, и прибѣгнутъ именно тогда, когда имъ захочется выпустить собакъ и привязать камни. И опять драмы, опять терзанія... Неужели же это въ самомъ дѣлѣ «союзъ», а не страшная клѣтка, въ которой безпорядочно и драчливо бьются человѣческія существа? Неужели преступна мечта о замѣнѣ этой клѣтки настоящимъ союзомъ, вольнымъ и сознательнымъ, въ которомъ человѣческое достоинство не тонуло бы ни въ волнахъ кружевъ и бархата, ни въ смирительномъ домѣ, въ которомъ Лады мужскаго и Лады женскаго пола, дѣйствительно, помогали бы другъ другу нести бремя жизни и общеніемъ увеличивать ея радости? Тебеньковы рѣшительно отвѣчаютъ: да, преступна...

Какъ ни унизительно въ сущности положеніе куколки и какъ ни чревато оно опасностями въ случаѣ, ежели механика союза направится въ неблагопріятномъ для нея смыслѣ, но и это завидное для многихъ положеніе отнюдь не всѣмъ доступно. Для этого нужны, во-первыхъ, мужъ, во-вторыхъ, средства, мужнины или родительскія. Положеніе женщинъ, хотя бы и наклонныхъ къ кукольному существованію и обладающихъ соотвѣтственными дарованіями, но которымъ бабушка не поворожила насчетъ мужа и средствъ, входитъ очень существеннымъ элементомъ въ составъ женскаго вопроса. Салтыковъ и его не оставилъ безъ вниманія. Но мы на этомъ не будемъ останавливаться и обратимся къ другой сторонѣ вопроса.

Тебеньковъ — либералъ. Онъ уже давно «проектировалъ всѣ тѣ идеи, которыми те перь нашъ общій другъ Менандръ Прелестновъ волнуетъ умы въ *Старѣйшей Русской Пѣнкоснимательницѣ*». Но собственно относительно женскаго вопроса онъ не вполнѣ держится пѣнкоснимательскаго образа мыслей. По части семейнаго союза пѣнкоснимати мямлютъ, конечно, свои обыкновенные припѣвы: «наше время не время широкихъ задачъ», «можно не соглашаться, но должно признаться» и т д., и тутъ найдутся у нихъ точки соприкосновенія съ Тебеньковымъ. Однако они горячо стоятъ за право женщинъ на трудъ и образованіе, каковое право представляется Тебенькову чѣмъ-то въ концѣ извращающимъ женскую природу. «Горячо», это, впрочемъ, слишкомъ сильно сказано, потому что къ пѣнкоснимателямъ вообще относится то, что сказано въ Апокалипсисѣ ангелу Лаодикійской церкви: «Знаю твои дѣла: ты ни холоденъ, ни горячъ; о, еслибы ты былъ холоденъ или горячъ!» Пѣнкоснимати можетъ быть не оскорбились бы зрѣлищемъ прелестныхъ Ладъ, которымъ вдругъ захотѣлось въ медицинскую академію и которыя отправляются на тройкахъ слушать лекцію Сѣченова. Они не прочь и отъ нѣкоторыхъ игривостей въ Тебеньковскомъ вкусѣ, потому что «ежели извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узкими, то весьма естественно, что является желаніе расширить ихъ», но нельзя же однако допустить нашествія печенѣговъ... Однако, азбуку женскаго вопроса пѣнкоснимати знаютъ удовлетворительно. Они всегда порадуются, если женщинамъ откроется доступъ къ какой-нибудь профессіи, дотолѣ недоступной, или если ихъ допустятъ въ какой-нибудь храмъ просвѣщенія. Они обстоятельно укажутъ благія послѣдствія такого расширенія сферы женскаго труда и женскаго образованія. И они будутъ, конечно, правы. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ, какъ не трудомъ и знаніемъ, можетъ быть прекращено позорное существованіе куколокъ, которыя вѣдь нужны только Тебеньковымъ и только въ качествѣ хорошенькихъ и непремѣнно невѣжественныхъ, пустопорожнихъ и бездѣльничающихъ игрушекъ? Чѣмъ, какъ не трудомъ и знаніемъ, можетъ быть гарантированъ даже просто хлѣбъ насущный множеству женщинъ, которымъ бабушка не поворожила насчетъ готовыхъ хлѣбовъ? Наконецъ, если мы, мужчины, полагаемъ свое достоинство въ расширеніи умственныхъ го-

ризонтовъ, въ просвѣщенномъ служеніи родинѣ или человѣчеству, въ пропитаніи трудами рукъ своихъ, то вѣдь женщина тоже человѣкъ, и мы не имѣемъ никакого права запирать у нея передъ носомъ двери, ведущія туда, гдѣ мы, на словахъ по крайней мѣрѣ, испытываемъ столько высокихъ духовныхъ наслажденій. Мало того: съуживая сферу дѣятельности женщины до послѣдней степени, обрекая ее на роль исключительно спутника планеты-мужчины, надо признать, что лучше же имѣть спутника, способнаго войти въ ваши интересы и воспитать вашихъ дѣтей. Правда, вотъ дѣти... Женщинѣ предписано закономъ природы въ болѣзняхъ родити чада. Но, не говоря уже о тѣхъ женщинахъ, которыя по той или другой причинѣ обречены на бездѣтность, почему этотъ аргументъ остается у насъ въ карманѣ, когда дѣло идетъ объ актрисахъ, балеринахъ, акробаткахъ, наѣздницахъ, пѣвицахъ и прочихъ представительницахъ профессій эстрады, сцены, цирка? Онѣ вѣдь тоже женщины и тоже по закону природы должны въ болѣзняхъ родити чада, но мы не вопимъ однако по этому поводу о потрясеніи основъ...

Все это извѣстно и перезвѣстно. До такой степени, что какъ-то даже странно и оскорбительно писать. Вѣдь это же азбука. Есть истины несомнѣнныя, ясныя, какъ бѣлый день, которыя, однако, стыдно повторять, а тѣмъ болѣе доказывать и развивать, именно потому, что онѣ несомнѣнны и какъ бѣлый день ясны. Но бываютъ времена, когда общественная мысль до такой степени засоряется разными мутными теченіями, что проповѣдь элементарныхъ истинъ становится необходимою. Какъ тутъ быть писателю, памятующему свои обязанности, но обладающему чувствомъ собственнаго достоинства? Странно, смѣшно, оскорбительно положеніе Галилея таблицы умноженія или Колумба «краткихъ начатковъ». Школьный учитель можетъ изъ года въ годъ заниматься изложеніемъ первоначальныхъ ариѳметическихъ и грамматическихъ понятій и дѣлать это съ чистою совѣстью и съ сознаніемъ исполненнаго долга. Таковъ дѣйствительно его долгъ,—онъ имѣетъ дѣло съ мальцами, впервые слышащими проповѣдуемыя имъ истины. Писатель же обращается къ обществу, въ умственномъ багажѣ котораго уже давнымъ-давно заключаются всякаго рода краткіе начатки. И не мудрено, что у писателя не повертывается языкъ повторять, что дважды два четыре. Для этого нужно большое мужество, можетъ быть не меньше того, какимъ должны обладать провозвѣстники новыхъ истинъ, впервые озаряющихъ умственные горизонты человѣчества. Мужество провозвѣстниковъ новыхъ истинъ съ избыткомъ оплачивается гордымъ сознаніемъ этой новизны и радостью творчества. Блескъ новой истины, къ которому еще не привыкъ глазъ современниковъ или соотечественниковъ, блескомъ же отражается и на личной судьбѣ ея носителей. Пусть судьба эта бываетъ переполнена страданіями, но вѣдь и есть изъ-за чего страдать. Не современниками, такъ потомствомъ, не своими, такъ чужими (если правда, что никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ), а будетъ оцѣнена новая истина, станутъ люди удивляться,—какъ это безъ нея жить можно было, и добромъ и благословеніемъ помянутъ имена тѣхъ, кто ее внесъ. А ни съ чѣмъ не сравнимое счастье творчества, созданія или открытія новой истины, оригинальнаго образа?! Разумѣется, все относительно и дѣло не въ абсолютной новизнѣ. Я хочу только сказать, что для повторенія задовъ требуется иногда не меньше мужества, чѣмъ для движенія впередъ. Если уже почему-нибудь понадобилось доказывать, что дважды два четыре, что просвѣщеніе полезно, что земля обращается вокругъ солнца, такъ, значитъ, эти довольно древнія истины такъ основательно забыты, что должны встрѣтить какія-то значительныя препятствія, какое-то противодѣйствіе, какъ бы новыя, потому что въ противномъ случаѣ ихъ не зачѣмъ было бы и тревожить. А между тѣмъ проповѣдь ихъ можетъ доставить не какое-нибудь внутреннее удовлетвореніе, а напротивъ того—только горечь и обиду.

Салтыковъ никогда не обладалъ мужествомъ пропагандиста «краткихъ начатковъ». Онъ относился къ этимъ начаткамъ съ брезгливою нетерпѣливостью. Такъ и относительно женскаго вопроса. Онъ довольствовался въ этомъ отношеніи анализомъ аргументаціи противниковъ и оригинальнымъ освѣщеніемъ разныхъ формъ семейнаго союза. При этомъ самъ-собой возникалъ вопросъ о настоятельной необходимости женскаго образованія и труда, но необходимость эта представлялась Щедрину столь непререкаемо ясною, столь азбучно несомнѣнною, что ужъ не на ней надо было настаивать, а на чемъ-то другомъ.

Уже въ «Письмахъ о провинціи» Салтыковъ иронически отнесся къ нѣкоторымъ формамъ женской образованности. Тамъ сопоставлены два женскихъ міра: жены, дочери и племянницы «исторіографовъ» и жены, дочери и племянницы «пришельцевъ» или «піонеровъ».

„Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются неслыханнымъ великолѣпіемъ одеждъ, необычайными размѣрами шлейфовъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ; жены пришельцевъ, напротивъ, представляются слегка ощипанными и даже какъ бы не совсѣмъ кормленными... Сколь-

ко сытыя блистаютъ тѣлами и шлейфами, столько голодныя плѣняютъ основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первыя бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣствуютъ о гражданской честности и непреоборимой вѣрности. Случается даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ... Но... приходится сознаться, что шармы тѣлесные рѣшительно подавляютъ и вѣроятно долго еще будутъ подавлять шармы умственные. Оттого-ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относиться какъ слѣдуетъ къ нетлѣннымъ красотамъ ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ, какъ бы то ни было, но взоры наши охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блеститъ тлѣнная красота".

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы отбросили спеціально дамскія темы разговоровъ, обрѣзали себѣ шлейфы и щеголяютъ либеральною умѣренностью и основательностью сужденій по слѣдственной части и по части судебныхъ ошибокъ. Чего бы, кажется, лучше? Пѣнкосниматель долженъ придти въ полный восторгъ. А Салтыковъ что-то хмурится, на какой-то изъянъ въ нетлѣнныхъ красотахъ ума и сердца намекаетъ. Намекъ этотъ брошенъ въ первомъ письмѣ о провинціи, въ 1868 г., и только въ 1873 г., въ вышеупомянутомъ очеркѣ «По части женскаго вопроса», сатирикъ вернулся къ нему, опять-таки въ видѣ намека, хотя и гораздо болѣе яснаго.

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы, блестящія умственными шармами, — не самостоятельныя свѣтила; онѣ заимствуютъ свой свѣтъ отъ мужей, братьевъ, дядьевъ. Не ихъ имѣетъ въ виду Тебеньковъ, когда говоритъ объ извращеніи женской природы, а «утопистокъ телеграфистики и стенографистики», какъ онъ выражается. Конечно, онъ и въ этомъ случаѣ предпочелъ бы тѣлесные шармы, шлейфы и спеціально дамское щебетанье, но просто рѣчь не о судейшахъ и слѣдовательшахъ зашла. Авторъ и Тебеньковъ были на вечерѣ, гдѣ происходили такіе разговоры: — «Хоть бы позволили въ медико-хирургическую академію—восклицаютъ однѣ.—Хоть бы позволили университетскіе курсы слушать!—отзываются другія. — Не доказали-ли телеграфистки? убѣждаютъ третьи.—Наконецъ, кассирши на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типографіяхъ, сидѣлицы въ магазинахъ, все это не доказываетъ-ли?—допрашиваютъ четвертыя. И въ заключеніе, склоненіе: Суслова, Сусловой, Суслову, о Суслова! и т. д.» Въ тонѣ, которымъ передаются эти разговоры, ясно слышится свойственная Салтыкову нетерпѣливая брезгливость къ краткимъ начаткамъ. Затѣмъ авторъ защищаетъ «утопистокъ стенографистики и телеграфистики», но черезъ всю эту защиту проходитъ ироническая нота:

«Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ Петербургѣ, а можетъ быть и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ? Женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы восклицать: «bonjour, chère mignonne! Какое вчера на princesse N платье было!» будутъ говорить: «а что, mesdames, не составить ли намъ компанію для защиты мясниковскаго дѣла?» Какая опасность можетъ предстоять для общества отъ того, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать медико-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы? Допустимъ даже самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ *ничему* не научатся и потеряютъ время *задаромъ*, всетаки спрашивается: кому отъ этого вредъ? Кто пострадаетъ отъ того, что онѣ задаромъ проведутъ свое и безъ того даровое время? Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими пріемами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ всетаки будетъ одинъ: нѣтъ, ни опасности, ни вреда не предвидится никакихъ».

Далѣе сатирикъ говоритъ, что еслибы отъ него зависѣло разрѣшеніе этого вопроса, то онъ непремѣнно «позволилъ бы». Онъ думаетъ, что это было бы съ его стороны только актомъ политической мудрости, въ интересахъ тѣхъ самыхъ «основъ», которыя выдвигаются какъ препятствіе для осуществленія женскихъ стремленій учиться и работать. Во-первыхъ, тѣмъ самымъ прекратились бы шумъ и недовольство, а во-вторыхъ, можетъ быть среди женщинъ «которымъ *позволено*», и найдутся настоящія опоры существующаго строя, настоящіе «столбы». И почему бы въ самомъ дѣлѣ нѣтъ? Вѣдь женщины желаютъ, чтобы имъ «позволено было быть столбами наравнѣ съ мужчинами». Нѣтъ, на мѣстѣ начальства, я позволилъ бы, повторяетъ Щедринъ. «Разумѣется, прибавляетъ онъ, еслибы меня спросили, достигнется-ли черезъ это «дозволеніе» разрѣшеніе такъ-называемаго «женскаго вопроса», я отвѣтилъ бы: не знаю, ибо это не мое дѣло. Еслибы меня спросили, подвинется-ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество, я отвѣтилъ бы: опять-таки это не мое дѣло».

Кажется, ясно. Съ точки зрѣнія сатирика предоставленіе женщинамъ права учиться и работать есть дѣло элементарной справедливости, и только тебеньковское лицемѣріе можетъ возставать противъ этого права. Осуществленіе его должно принести многія благія послѣдствія, поскольку нынѣшнія драмы семейнаго союза зависятъ отъ женской пустоты, невѣжества, бездѣлья. Но сатирикъ отказывается радоваться тому, что всѣ существующія профессіи будутъ

комплектоваться безразлично мужчинами и женщинами. Собственно отъ этого не произойдетъ никакого измѣненія въ общемъ ходѣ житейскихъ порядковъ, кромѣ развѣ усиленія конкурренціи, то-есть отбора способнѣйшихъ къ исполненію существующихъ профессій. Тутъ нѣтъ никакой опасности для «основъ», но нѣтъ и повода для радости съ точки зрѣнія сатирика, ибо все, что есть въ нашей жизни подневольнаго и безсознательнаго, таковымъ и останется, и мелочи жизни отъ этого ни мало не покрупнѣютъ.

Поясню эту мысль иллюстраціями. Я помню, что въ одной либеральной газетѣ, въ подтвержденіе того, что женщина не уступаетъ мужчинѣ въ способностяхъ, были приведены свѣдѣнія о какой-то американской сыщицѣ, обнаружившей въ своей дѣятельности много ума, ловкости, энергіи, знаній. Да, увлеченіе «женскимъ вопросомъ», обнаженнымъ отъ всякихъ стороннихъ соображеній, доходило у насъ до этого. Между тѣмъ, чему тутъ, собственно, радоваться? Американскій государственный союзъ нуждается въ сыщикахъ, которыхъ и выбираетъ главнымъ образомъ между мужчинами, но согласенъ взять и женщину, если она обнаружитъ достаточныя способности! Только и всего.—Въ «Недоконченныхъ бесѣдахъ» Салтыковъ посвящаетъ одну главу дѣлу Кронеберга, судившагося за истязаніе дочери. Между прочимъ, сатирикъ очень возмущается показаніемъ одной весьма извѣстной женщины-врача, каковое показаніе клонилось къ признанію за подсудимымъ права совершить то, что онъ совершилъ. Салтыкову не вспомнились тогда его соображенія насчетъ женщинъ «столбовъ», а это недурная иллюстрація: женщина-врачъ, не хуже всякаго мужчины, оказываетъ косвенную поддержку семейному союзу, достигающему до предѣловъ истязанія отцомъ дочери. Въ чемъ же опасность для «основъ»? Но въ чемъ и радость съ точки зрѣнія Салтыкова?

Салтыковъ былъ не изъ любезниковъ. Le beau sexe ни тлѣнными, ни нетлѣнными своими шармами не могъ подкупить его критику явленій общественной жизни. Суровъ былъ покойникъ. Но тѣмъ цѣннѣе слова сочувствія, любви и надежды, съ которыми онъ, случалось, и къ женщинамъ обращался. Въ «Мелочахъ жизни» есть цѣлый рядъ женскихъ фигуръ «ангелочекъ», «Христова невѣста», «полковницкая дочь», «сельская учительница», жена Черезова, — затертыхъ то просто дрянными, то презрѣнными и подлыми мелочами. И обо всѣхъ объ нихъ, за исключеніемъ развѣ «ангелочка», болитъ сердце автора. Почему болитъ? Въ семьѣ Черезовыхъ жена работаетъ не меньше мужа и, значитъ, вопросъ о «женскомъ трудѣ» разрѣшенъ, да и живутъ супруги Черезовы дружно, другъ-другу помогая, другъ-друга уважая и любя. Но... «Можетъ быть при другихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердце ихъ раскрылось бы и для другихъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, трудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраненія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки высшихъ стремленій».

Однако, не вѣчно это торжество мелочей, безжалостно калѣчащихъ и мужскую, и женскую жизнь одинаково. Сатирикъ въ этомъ увѣренъ, и достойно вниманія, что вѣру эту онъ предоставляетъ выразить именно женщинѣ,—Юленькѣ, въ «Дворянской хандрѣ». Юленька предсказываетъ, что не вѣчно ночь будетъ, что солнце взойдетъ... Авторъ разсказываетъ: «Я оглянулся и умилился. Глаза Юленьки горѣли, лицо ея было все, какъ въ лучахъ; даже въ голосѣ слышались мощныя, звонкія ноты».

Да будетъ же по слову хорошей дѣвушки!

X.

Художникъ.

Какъ умѣлъ и какъ могъ, я постарался если не исчерпать содержаніе писаній Салтыкова, то хоть помочь читателю разобраться въ огромномъ литературномъ наслѣдствѣ, которое Щедринъ оставилъ русскому обществу. Условія русской печати совсѣмъ не таковы, чтобы это могло быть теперь же сдѣлано съ надлежащею полнотою и ясностью. Говорю это не въ оправданіе пробѣловъ и другихъ недостатковъ моей работы, по-скольку они зависятъ отъ моего умѣнья или неумѣнья. Во всякомъ случаѣ я могъ бы еще и еще продолжать эти очерки, — Салтыковъ даетъ для этого достаточно матеріала,—но чего-нибудь существеннаго прибавить не могу. Остается только поговорить о томъ, *какъ* Щедринъ дѣлалъ свое дѣло. Его критика явленій общественной жизни была облечена въ оригинальную художественную форму. Такъ вотъ объ этой формѣ.

Прошу читателя припомнить кое-что изъ сказаннаго въ первой и третьей главѣ объ основной чертѣ всей литературной физіономіи Салтыкова. Мы видѣли, что черта эта состоитъ въ необыкновенно счастливомъ сочетаніи могучей непосредственности, богатаго сырья, съ одной стороны, и силы неусыпно бодрствующаго сознанія—съ другой. Талантъ Салтыкова былъ громаденъ, но онъ не довѣрялъ этой громадной стихійной силѣ и держалъ ее подъ строгимъ контролемъ сознанія. Онъ склоненъ былъ даже умалять размѣры своего таланта, приписывая свой

успѣхъ и значеніе въ литературѣ исключительно упорному труду. Надо замѣтить, что и вообще таланту Салтыковъ не давалъ той цѣны, какая ему обыкновенно дается. Лучше, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ, что талантъ есть великая сила, и былъ очень тонкимъ цѣнителемъ въ этомъ отношеніи. Но работникъ, человѣкъ сознанія и воли, возмущался въ немъ противъ какихъ бы то ни было привилегій таланта, противъ поклоненія этому случайному подарку природы или капризной судьбы. Иногда слово «талантливый» было у него чуть-чуть что не браннымъ или, по-крайней мѣрѣ, ничего лестнаго въ себѣ не заключающимъ. Въ «Губернскихъ очеркахъ» есть четыре портрета, собранныхъ подъ одно общее заглавіе «Талантливыя натуры». Заглавіе это отнюдь не ироническое: Корепановъ, Лузгинъ, Буеракинъ и Горехвостовъ дѣйствительно талантливыя натуры, но не въ хвалу имъ написаны эти портреты. Господамъ-ташкентцамъ сатирикъ усвоиваетъ, въ числѣ прочихъ качествъ, «талантливость». Не разъ и при другихъ случаяхъ онъ столь же пренебрежительно отзывался о талантливости. Въ «Письмахъ къ тетенькѣ» онъ, устами дяди Григорія Семеновича, даетъ такое опредѣленіе: «талантливость все равно, что пустая бутылка,—какое содержаніе въ нее вольешь, то она и вмѣститъ». Сила таланта, какъ и всякая другая стихійная сила, получала для Салтыкова значеніе только по тому направленію, которое она принимала подъ вліяніемъ человѣческаго сознанія и воли. Этой печати сознанія и воли Салтыковъ, какъ мы видѣли, требовалъ отъ всѣхъ проявленій жизни. Честь и совѣсть, пробужденія которыхъ онъ такъ страстно желалъ, суть формы сознанія, притомъ формы, обязывающія къ дѣйствію, то-есть къ напряженію воли. Общественный союзъ, составлявшій его идеалъ, отмѣченъ тою же печатью сознанія и воли. Сознаніе и воля, высшія способности человѣческаго духа, должны царить надъ всѣмъ міромъ, надъ всѣми силами природы и исторіи, подчиняя ихъ себѣ въ качествѣ служебныхъ орудій, обрабатывая ихъ, какъ сырой матеріалъ, наконецъ, если нельзя иначе, претерпѣвая ихъ гнетъ, но такъ, какъ терпитъ гордый плѣнникъ тюрьму, какъ носилъ свои цѣпи Прометей, то-есть все-таки не подчиняясь. Мнѣ чтить тебя? за что? спрашиваетъ гётевскій Прометей (ich dich ehren? wofür?). Съ такимъ вопросомъ обратился бы Салтыковъ къ любой стихійной силѣ, въ томъ числѣ и къ Таланту, если бы онъ потребовалъ почтенія къ себѣ. Талантъ, случайная комбинація наслѣдственности и приспособленія въ моментъ зачатія, не есть заслуга. Продуктъ слѣпыхъ силъ, онъ и самъ есть только даровой, незаработанный придатокъ личной силы, получающій свое значеніе, великое или презрѣнное, только отъ того направленія, которое ему даютъ сознаніе и воля. Не талантъ долженъ владѣть человѣкомъ, увлекая его помимо воли и сознанія, а, наоборотъ, человѣкъ долженъ владѣть своимъ талантомъ. Къ такъ называемому «вдохновенію» Салтыковъ относился очень скептически. Онъ не сказалъ бы, подобно Гёте, что геній есть терпѣніе,—чему, мимоходомъ сказать, и самъ Гёте едва-ли вѣрилъ,—но во всякомъ случаѣ талантъ самъ по себѣ былъ для него только пустая бутылка, которую надо еще наполнить и, смотря по тому, чѣмъ она наполнена, такая ей и цѣна.

Когда плебей презрительно отзывается о знатности происхожденія и негодуетъ на преимущества, связанныя съ такимъ происхожденіемъ, то всегда найдутся дешевые скептики, которые объяснятъ этотъ протестъ завистью: дескать, самъ не можетъ щегольнуть родословнымъ древомъ, ну, и ворчитъ. Мудрено было бы пустить въ ходъ это подозрѣніе примѣнительно къ взглядамъ Салтыкова на талантливость. Огромный талантъ Салтыкова стоитъ внѣ всякихъ сомнѣній, кажется, для самыхъ отъявленныхъ его враговъ. Съ этой стороны слышатся даже иногда фарисейскія сожалѣнія, что такое значительное дарованіе тратилось на дѣло, господамъ критикамъ неугодное. Едвали не самый злостный критикъ, и тотъ нашелся вынужденнымъ признать за Салтыковымъ по крайней мѣрѣ «несомнѣнный талантъ глумленія и нахальства». Бѣдный сердитый критикъ! Онъ ничего не понимаетъ. Страннымъ образомъ, однако, подобныя замѣчанія трогали Салтыкова, какъ это видно изъ часто попадающихся у него не то, что оправданій, а по крайней мѣрѣ упоминаній о «балагурствѣ», писательствѣ «по смѣшной части», «смѣхѣ для смѣха», «глумленіи». Упреки эти столь безсмысленны, что Салтыковъ смѣло могъ бы проходить мимо нихъ, какъ слонъ мимо лающей моськи. Въ самомъ дѣлѣ, припомните хоть только группы Разумова и сына («Больное мѣсто») и Молчалина и сына («Въ средѣ умѣренности»). Надъ кѣмъ бы, кажется, и глумиться сатирику, если не надъ этими стариками, руки которыхъ обагрены безсознательнымъ преступленіемъ и которые, какъ курица, высидѣвшая утятъ, не имѣютъ съ своими дѣтьми ничего общаго, кромѣ связи рожденія. Пусть безсознательно, а не какъ истые злодѣи, но этотъ Разумовъ и этотъ Молчалинъ загубили на своемъ вѣку не мало молодыхъ жизней. Не даромъ одна изъ матерей обозвала Разумова «сатаной». И вотъ

теперь, когда на нихъ самихъ надвигается та бѣда, которую они кругомъ себя сѣяли, какъ легко, какъ, не скажу законно, но по крайней мѣрѣ естественно было бы злорадное торжество. Но ни единой черты глумленія не позволилъ себѣ сатирикъ. Передъ вами одна изъ самыхъ страшныхъ драмъ, какія только могутъ быть созданы фантазіей и дѣйствительностью, и въ виду глубины ея стушевывается политическая, если можно такъ выразиться, вражда автора къ старикамъ Разумову и Молчалину.

„Разумовъ думалъ, что сынъ—утѣха, а вышло, что онъ просіяніе. Какимъ-то проклятымъ образомъ переплелись эти два совсѣмъ несовмѣстныя понятія, и нѣтъ возможности распутать ихъ. И утѣха и просіяніе—какой адъ. Ахъ нѣтъ, нѣтъ! Утѣха, утѣха, утѣха! Слышишь-ли ты это, Степа? Подсказываетъ-ли тебѣ сердце, что какое бы громадное несчастіе ни придавило тебя, это же самое несчастіе во сто кратъ, въ тысячу кратъ тяжелѣйшимъ молотомъ придавитъ безпомощную голову твоего отца! Нѣтъ у этого отца ни настоящаго, ни будущаго, нѣтъ даже прошлаго, ни вѣдь и въ этомъ человѣкѣ-обрывкѣ трепещетъ сердце... Тобой полно это сердце, тобой, однимъ тобой!“.

Я опять напоминаю читателю, что съ точки зрѣнія Салтыкова Разумовъ есть злодѣй, хотя и безсознательный. Но во имя лютой скорби, переживаемой этимъ злодѣемъ, великій художникъ, ни въ чемъ не измѣняя себѣ, своимъ убѣжденіямъ, сростается съ его душой и шагъ за шагомъ переживаетъ вмѣстѣ съ нимъ всю драму. Это «глумленіе», «балагурство»?! Еслибы Салтыковъ написалъ въ этомъ родѣ только «Больное мѣсто», такъ и то упрекъ въ балагурствѣ былъ бы безсмысленнѣйшей изъ клеветъ, которая сама-собой обрушивается позоромъ на головы клеветниковъ. А сверкающая слезами рѣчь Крамольникова въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь»? А трагическая фигура Іудушки и въ особенности конецъ его и «племяннушки» Анниньки? Надо быть очень веселымъ человѣкомъ, чтобы читать эти страницы безъ содроганія, и очень неумнымъ человѣкомъ, чтобы увидать тутъ глумленіе. А «Мелочи жизни», насквозь проникнутыя грустью о погибающихъ въ проклятомъ болотѣ человѣческихъ жизняхъ? А «Христова ночь» и другія сказки? А страстныя рѣчи въ честь и въ защиту литературы, которыя мы видѣли въ первой главѣ?

Талантъ Салтыкова представляетъ собою сумму очень многихъ и очень разнородныхъ слагаемыхъ. Бываютъ таланты яркіе, сильные, но, такъ сказать, одноцвѣтные. Талантъ Салтыкова я бы назвалъ радужнымъ, и переливы этой блистательной радуги составляютъ столько же прекрасное, сколько и рѣдкое въ литературѣ зрѣлище. Что касается формы въ смыслѣ рубрикъ, на которыя теорія дѣлитъ художественныя произведенія, то Салтыковъ обращался съ ними вполнѣ безцеремонно, подчиняя ихъ основной струѣ своего творчества. Можно бы было, напримѣръ, сказать, судя по «Драматическимъ сценамъ» въ «Губер скихъ очеркахъ» и «Недавнимъ комедіямъ» въ «Сатирахъ въ прозѣ», что драматическая форма не давалась Щедрину. Можетъ быть оно такъ и есть въ самомъ дѣлѣ. Можетъ быть Щедринъ органически не могъ настолько отодвинуть свое личное чувство за кулисы, насколько это требуется самыми условіями драмы. Но онъ и не смотрѣлъ никогда на «сцены» «Губернскихъ очерковъ» и «комедіи» «Сатиръ въ прозѣ», какъ на драматическія произведенія; да и никто на нихъ такъ не смотритъ. Еще бы къ діалогу «мальчика въ штанахъ» и «мальчика безъ штановъ», или къ разговору Свиньи съ Правдой, или къ «Драмѣ въ кашинскомъ окружномъ судѣ» (въ «Современной идилліи») предъявлять требованія, какимъ должно удовлетворять драматическое произведеніе! Эти *quasi*-драматическіе наброски удовлетворяютъ совсѣмъ другимъ требованіямъ, художественнымъ же, но стоящимъ внѣ всякой связи съ дѣленіемъ словесности на роды и виды. Салтыковъ утилизировалъ всѣ эти роды и виды, но тасовалъ ихъ, какъ колоду картъ, то, напримѣръ, въ «Современной идилліи», перебивая комическій разсказъ страстнымъ стихотвореніемъ въ прозѣ «Властитель думъ», то иллюстрируя публицистику діалогомъ «Свиньи съ правдой», то, наоборотъ, обрывая художественный разсказъ публицистической экскурсіей, то неожиданно вводя струю сказочной фантастики въ реальнѣйшее изъ реальныхъ описаній. Припомнимъ, для образчика, маленькую, всего въ нѣсколько строкъ, но истинно поразительную сцену, которую я уже приводилъ въ главѣ «Вѣра въ будущее». Молчалинъ, возвратившись, съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, домой, этими самыми руками спокойно рѣжетъ пирогъ съ капустой; авторъ указываетъ ему на руки; «я вымылъ-съ», отвѣчаетъ Молчалинъ. Это смѣлое, до дерзости, сочетаніе аллегорической и страшной крови на рукахъ Молчалина съ реальнымъ и будничнымъ пирогомъ съ капустой даже можетъ быть не останавливаетъ на себѣ съ перваго раза вниманія читателя. Мысль не запинается объ эту наглядную несообразность, такъ ярко и сжато характеризующую Молчалина. Передъ нами результатъ—живой портретъ, болѣе того—живой типъ, и мы не спрашиваемъ себя въ тотъ моментъ о пріемахъ и способахъ, которыми этотъ резуль-

татъ достигнутъ. А если, анализируя свое впечатлѣніе, оглянемся на нихъ, на эти способы и пріемы, то уже, конечно, не попрекнемъ автора за ихъ наглядную несообразность. Нельзя, напротивъ, не залюбоваться этими мощными скачками отъ дѣйствительности, вмѣщающейся въ пирогѣ съ капустой, къ фантазіи, обагряющей руки Молчалина, отъ комическихъ подробностей житія Молчалина къ несознаваемому имъ самимъ ужасу его обычныхъ занятій. Въ этомъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ изумительна въ особенности легкость, съ которою талантъ Салтыкова, презирая препоны утвержденныхъ формъ словесности, переходитъ отъ одной изъ нихъ къ другой, отъ безпощаднаго реализма къ вершинамъ фантазіи, отъ ядовитой насмѣшки къ страстной лирикѣ. Вы не видите при этомъ никакихъ усилій автора, никакихъ слѣдовъ натуги, старанія; это чисто стихійное, самопроизвольное радужное сверканіе таланта, рѣзко выдѣляющее Салтыкова изъ среды нашихъ большихъ писателей. При всѣхъ своихъ разнообразныхъ достоинствахъ, ни одинъ изъ нихъ не обладаетъ тою спеціальною силою и гибкостью таланта, которою обусловливается эта черта. Формалисты назовутъ ее, можетъ быть, распущенностью, безпорядочностью, невыдержанностью стиля. Ну, и Богъ съ ними.

Есть во всякомъ случаѣ у Салтыкова и такія произведенія, которыя даже самый узколобый изъ формалистовъ найдетъ безупречными въ смыслѣ выдержанности стиля. Таковы, скажемъ для примѣра, очерки, вошедшіе въ составъ «Мелочей жизни», таково «Больное мѣсто», почти всѣ сказки, такова, за вычетомъ нѣкоторыхъ отступленій, Головлевская хроника. Все это—перлы въ своемъ родѣ, поражающіе яркою жизненностью образовъ, смѣлостью и спокойною увѣренностью общихъ очертаній и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкостью отдѣлки подробностей. Что касается послѣднихъ, то я напомню только пейзажи въ «Конягѣ» и въ «Христовой ночи». По основнымъ задачамъ всей своей дѣятельности, цѣликомъ посвященной общественной жизни, Салтыковъ не могъ придавать пейзажу того значенія, которое онъ имѣетъ для романистовъ и поэтовъ. И тѣмъ не менѣе, перечтите «Конягу» и «Христову ночь», и вы увидите, что имѣющіеся тамъ пейзажи должны быть поставлены рядомъ съ лучшими произведеніями этого рода. Перехожу къ перлу изъ перловъ—къ «Господамъ Головлевымъ».

Фигура Іудушки, совмѣщающая въ себѣ столько комическихъ чертъ и въ то же время полная глубокаго трагизма, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя живутъ вѣка. Вы ясно видите этого словоточиваго «кровопивушку», слышите его голосъ, ощущаете непріятность его прикосновенія и, вмѣстѣ съ его сыномъ, племянницей, Евпраксеюшкой, милымъ другомъ-маменькой, брезгливо и страшливо содрогаетесь. Но удивительное дѣло: вы понимаете, что Аннинька должна была бѣжать отъ той невыносимой скуки и страха, которые распространяетъ вокругъ себя Іудушка, и могла вернуться подъ его постылый кровъ только въ концѣ одуренная пьяною жизнью; вы понимаете, что и сынъ Іудушки, и Евпраксеюшка, и милый другъ-маменька должны сторониться отъ общенія съ нимъ; вы чувствуете, наконецъ, что и сами вы, встрѣтившись съ этой фигурой въ жизни, ни на единую минуту не пожелали бы продолжить эту встрѣчу. А вотъ въ художественномъ воспроизведеніи вы отъ Іудушки оторваться не можете, хотя и переживаете съ другими дѣйствующими лицами ихъ тоску и страхъ. Въ этомъ и состоитъ чудесная тайна истинно-художественнаго произведенія: властная воля великаго художника плѣнила васъ, приковала ваше вниманіе къ явленію, мимо котораго вы, свободный отъ чаръ геніальнаго творчества, постарались бы пробѣжать какъ можно скорѣе. Эффектъ этотъ достигается иногда и совершенно заурядными писателями, но, во-первыхъ, въ совсѣмъ другомъ кругѣ читателей, а, во-вторыхъ, не силою таланта, а чисто внѣшнимъ образомъ, нагроможденіемъ кричащихъ подробностей въ самой фабулѣ. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ чарованіемъ искусства, а съ тою странною притягательною силою, которую для многихъ людей имѣютъ кровь, опасность, уголовщина, съ тою странною силою, которая сгоняетъ толпы зрителей на головоломныя представленія акробатовъ, бои быковъ, на уличныя драки и площадные скандалы. Любители этого рода зрѣлищъ найдутъ «Господъ Головлевыхъ» слишкомъ прѣснымъ произведеніемъ. Тутъ и фабулы-то почти никакой нѣтъ. Пожалуй, есть она въ видѣ матеріала, зародыша, и заурядный писатель могъ бы извлечь много головокружительныхъ эффектовъ, напримѣръ, изъ трагической развязки жизни обоихъ сыновей Іудушки, но у Щедрина обѣ эти развязки происходятъ за кулисами. Съ другой стороны, самыя потрясающія страницы Головлевской хроники посвящены необыкновенно простымъ, въ смыслѣ обыденности, вещамъ. Рожденіе незаконнаго сына и отправка его въ воспитательный домъ,—Господи! да вѣдь это каждый день совершается, не попадая даже въ полицейскую хронику наравнѣ съ кражей, пожаромъ, паденіемъ изъ третьяго этажа и проч. Дрянной старикашка пьетъ съ пле-

мянницей изъ ярмарочныхъ пѣвицъ водку,— что можетъ быть ничтожнѣе такого сюжета? Многіе изъ нашихъ чрезвычайно бойкихъ романистовъ пройдутъ мимо этихъ темъ съ полнѣйшимъ презрѣніемъ, и они будутъ до извѣстной степени правы, потому что имъ, въ самомъ дѣлѣ, ничего не сдѣлать изъ такихъ заурядныхъ явленій. Можно, кажется, установить такую общую формулу, допускающую, конечно, исключенія: заурядному таланту нужна исключительная фабула, исключительный талантъ довольствуется заурядной фабулой.

Я сказалъ, что формула эта допускаетъ исключенія: мнѣ вспомнился Достоевскій. Это былъ могучій тоже талантъ, тоже обладавшій чарующею силою приковывать вниманіе читателя къ явленіемъ, отъ которыхъ, казалось бы, надо бѣжать, зажмуря глаза. А между тѣмъ онъ всегда норовилъ эксплоатировать исключительныя фабулы: кровавыя сцены, безумные герои, напряженныя положенія.

Въ статьѣ «Лучше поздно, чѣмъ никогда», написанной чисто *pro domo sua*, нашъ извѣстный романистъ Гончаровъ дѣлаетъ мимоходомъ слѣдующее сопоставленіе Достоевскаго и Салтыкова. Оба ищутъ правду жизни—«одинъ въ глубокой, никому, кромѣ его, не достигаемой пучинѣ людскихъ золъ, другой въ мутномъ потокѣ мелькающихъ передъ нимъ безобразій. Одинъ содрогается и стонетъ самъ—содрогается отъ ужаса и боли его читатель, точно такъ же, какъ этотъ читатель злобно хохочетъ съ авторомъ надъ какой-нибудь «современной идилліей» или внезапно поблѣднѣетъ передъ образомъ Іудушки». Мнѣ не совсѣмъ ясны смыслъ и цѣль этого сопоставленія, но, сколько я понимаю, въ немъ заключаются цѣнные намеки на характеръ разницы между обоими писателями. Въ характеристикѣ Салтыкова (если можно назвать характеристикой нѣсколько вскользь брошенныхъ словъ) отмѣчены два источника или двѣ формы художественнаго воздѣйствія на читателя: смѣхъ и ужасъ, при чемъ опредѣлительно указаны и цѣли воздѣйствія: смѣхъ именно надъ «современной идилліей», ужасъ именно передъ Іудушкой. Въ характеристикѣ же Достоевскаго имѣется указаніе только на одну форму воздѣйствія: «содроганіе и стонъ, ужасъ и боль», притомъ такъ, что въ этой формѣ заключается уже какъ будто и самодовлѣющая цѣль: стонъ для стона, боль для боли. Я отнюдь не утверждаю, что г. Гончаровъ хотѣлъ именно это сказать, но такъ сказалось, и хорошо, тонко сказалось. Въ способахъ околдованія читателей Салтыковъ былъ, конечно, безъ сравненія разнообразнѣе Достоевскаго. Смѣхъ рѣшительно не давался Достоевскому, да онъ и крайне рѣдко пытался смѣяться или смѣшить, а когда пытался, такъ выходило болѣзненно, тяжело; тогда какъ Салтыковъ былъ полнымъ хозяиномъ въ этой области, легко и свободно настраивая читателя на всѣ мельчайшіе оттѣнки смѣха, отъ добродушно веселой улыбки до «злобнаго хохота». Въ трагической области, повидимому, пальма первенства должна быть, наоборотъ, предоставлена Достоевскому. Однако, это только повидимому и въ весьма условномъ смыслѣ. Достоевскій, дѣйствительно, приковывалъ вниманіе читателя къ явленіямъ ужаснымъ и отвратительнымъ, приковывалъ съ страшною силою, такъ что, при всемъ желаніи сбросить съ себя иго навѣваемыхъ имъ мучительныхъ впечатлѣній, отдѣлаться отъ нихъ трудно. Но вопросъ, во-первыхъ, въ средствахъ, которыми это достигалось, а во-вторыхъ, въ цѣляхъ, ради которыхъ читатель подвергался этому мучительскому искусу. По разсчету д-ра Чижа, высоко цѣнящаго психіатрическое чутье Достоевскаго, четверть всего числа его дѣйствующихъ лицъ поражена душевными болѣзнями; припадки эпилепсіи и приступы бѣшенства происходятъ на глазахъ читателей; затѣмъ, убійства, покушенія на убійство, самоубійства, можно сказать, переполняютъ романы и повѣсти Достоевскаго; разсказываются они длинно, подробно, мучительно подробно и длинно: удары, выстрѣлы, стоны, кровяныя пятна,— цѣлый арсеналъ кричащихъ эффектовъ. Ничего подобнаго у Салтыкова. Припомните, напримѣръ, щедринскихъ самоубійцъ, которыхъ довольно много. Убиваютъ себя сынъ Іудушки и молодой Разумовъ; но на сценѣ самоубійства нѣтъ, имѣются только извѣстія о совершившемся фактѣ. Іудушка тоже кончаетъ самоубійствомъ, но очень любопытно, что и онъ, и Матренка безчастная въ «Пошехонской старинѣ» замерзаютъ,—самоубійство выходитъ по крайней мѣрѣ безкровное. Смерть сельской учительницы въ «Мелочахъ жизни» изображена въ двухъ строкахъ: «Она дошла до середины мостковъ, переброшенныхъ черезъ плотину, и бросилась головой впередъ на понырный мостъ». Портной Гришка бросается съ колокольни. Но даже слова «бросился» нѣтъ въ описаніи этого страшнаго финала горькой жизни.

«Онъ невольно перекрестился и поклонился на всѣ стороны.

Никто ничего не слыхалъ. Но минутъ черезъ десять, когда служба кончилась, дьячокъ, выходя изъ церкви, встрѣтилъ на пути своемъ препятствіе.

— На человѣка наткнулся! крикнулъ онъ: ишь, пьяница растянулся! — Стали тормошить «пьяницу» — не встаетъ. Принесли фонари и опознали Гришку.

— Ахъ, расподлая твоя душа!—крикнулъ кто-то въ собравшейся толпѣ».

Не только ни одной капли крови и ни одного стона нѣтъ въ этомъ описаніи, не только слова «бросился», но даже простого многоточія въ замѣну его. Это въ высшей степени характерно для той бережности, съ которою Салтыковъ относился къ нервамъ читателя. Сцены въ родѣ двойнаго убійства, совершаемаго Раскольниковымъ въ «Преступленіи и наказаніи», или убійства Шатова въ «Бѣсахъ» и проч., и проч., всѣ эти разлитыя по сочиненіямъ Достоевскаго лужи крови, всѣ эти стоны и предсмертныя хрипѣнія, искаженныя предсмертной судорогой лица—рѣшительно немыслимы у Салтыкова. Не потому, что великій писатель не могъ, а потому, что не хотѣлъ, или пожалуй до такой степени не хотѣлъ, что даже и не могъ. Во всякомъ случаѣ онъ явно намѣренно обходилъ тотъ арсеналъ внѣшнихъ, кричащихъ эффектовъ, изъ котораго Достоевскій черпалъ свои рессурсы; безъ нихъ умѣлъ онъ потрясать читателя и съ чарующей силой приковывать его къ трагедіи въ семьѣ Разумовыхъ, къ ужасающей фигурѣ Іудушки Головлева и проч. Обстоятельство это свидѣтельствуетъ не только о чрезвычайной мощи таланта, не нуждающагося въ побочныхъ сильныхъ средствахъ, а и о характерномъ для Салтыкова всегдашнемъ контролѣ сознанія. Не смотря на свою рѣзкую тенденціозность, Достоевскій никогда не могъ, да и не хотѣлъ отказывать себѣ въ жестокомъ удовольствіи безпредметной игры на нервахъ читателей, именно ради самой этой игры. Прочтите, напримѣръ, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» все, что касается несчастнаго мальчика Илюшечки. Девять десятыхъ этой эпизодической вставки не имѣютъ никакого отношенія ни къ фабулѣ романа, ни къ его задачѣ. Онѣ не нужны въ романѣ, но онѣ удовлетворяютъ нѣкоторой общей и всегдашней потребности самого Достоевскаго. Проповѣдникъ совершенно особеннаго, болѣзненнаго наслажденія—наслажденія страданія (Wonne des Leides, сказалъ бы нѣмецъ), онъ и въ произведеніяхъ своихъ безмѣрно обдавалъ своихъ читателей этимъ наслажденіемъ. Нельзя безъ волненія читать ни въ какомъ смыслѣ ненужныя и все-таки потрясающія злоключенія Илюшечки. Вы перечтете ихъ и разъ, и два, и три, все съ тѣмъ же волненіемъ, съ тѣмъ же подступомъ невольныхъ слезъ къ горлу, но это своеобразное состояніе нервовъ такъ и останется состояніемъ нервовъ, не разрѣшаясь въ какую-нибудь опредѣленную мысль или чувство, въ которомъ вы могли бы дать себѣ ясный и полный отчетъ. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: авторъ и хотѣлъ только художественно помучить насъ и самъ помучиться жестокимъ творчествомъ. Такая задача—Салтыкову чужая до дикости. Если онъ властно заставляетъ васъ, по выраженію г. Гончарова, «внезапно поблѣднѣть передъ образомъ Іудушки», такъ это отнюдь не для того только, чтобы вы поблѣднѣли. И вы, дѣйствительно, не только блѣднѣете, не безпредметно волнуетесь. Вы перечитываете сцену рожденія незаконнаго ребенка и отправки его въ воспитательный домъ, хорошо зная, что вновь и вновь испытаете чувство праведнаго гнѣва на этого безсовѣстнаго ханжу. Затѣмъ, въ сценахъ пьянства съ Аннинькой и рѣшенія Іудушки уничтожить себя (самой сцены самоубійства, собственно говоря, нѣтъ) вы, руководимый авторомъ, съ чувствомъ почти радостнаго удовлетворенія открываете и въ этомъ желѣзномъ попѣ съ каменной просвиркой слѣды человѣчности, совѣсти. Да, праведенъ былъ гнѣвъ вашъ, праведно и наказаніе, наложенное Іудушкой на себя: нельзя жить этому человѣку, если въ немъ заискрилась совѣсть. При этомъ ни разу не шевельнется тоскливый вопросъ, невольно преслѣдующій васъ при чтеніи злоключеній Илюшечки (и многаго другаго у Достоевскаго): ахъ, зачѣмъ! зачѣмъ онъ и его, и меня, и себя мучитъ?! При этомъ, далѣе, ни единой лишней усугубляющей краски, направленной къ спеціальному ущемленію или щекотанію нервовъ. Повторяю: самоубійство Іудушки, во-первыхъ, безкровное и беззвучное, а, во-вторыхъ, его подробности не разсказаны. Проповѣдникъ торжества сознанія и воли, Салтыковъ сдерживалъ и направлялъ свой талантъ этими высшими силами духа и ихъ же будилъ въ читателѣ, возможно быстро и бережно проходя низшую, подготовительную ступень нервнаго волненія.

Таковъ же былъ и смѣхъ Салтыкова. Въ 1883 г. появились въ *Отечественныхъ Запискахъ* «Пошехонскіе разсказы»; ихъ «первый вечеръ» огорчилъ многихъ искреннѣйшихъ почитателей сатирика. Нельзя было не хохотать надъ этимъ сборникомъ частью скабрезныхъ, частью просто смѣхотворныхъ анекдотовъ, но развѣ это дѣло Щедрина, учителя, вождя, отъ котораго привыкли ждать вѣскаго и вѣщаго слова?! Уже самое это огорченіе свидѣтельствуетъ, что безпредметный смѣхъ былъ столь же чужой Салтыкову, какъ и безпредметный трагизмъ. Пуская въ обращеніе «Пошехонскіе разсказы», онъ очень хорошо зналъ, что онъ дѣлаетъ. Онъ снабдилъ ихъ двумя презрительными эпиграфами: «По Сенькѣ шапка» и «Андроны ѣдутъ», а во «второмъ вечерѣ» пояснилъ: Пишу «для того, чтобы исправить мою репутацію. Сначала эту задачу выполню, а потомъ и совсѣмъ брошу. Я знаю, что за-

дача эта не весьма умная, но вѣдь глупыя дѣла бываютъ вродѣ повѣтрія. Глупые фасоны вышли, вотъ и все. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на неопредѣленное время, тогда, разумѣется, придется совсѣмъ бросить и бѣжать куда глаза глядятъ». Дѣло ясное. Разгнѣванный и оскорбленный тогдашнимъ состояніемъ русскаго общества, сатирикъ бросилъ ему шапку по Сенькѣ: серьезное слово убѣжденія и призыва отскакиваетъ отъ васъ, какъ отъ стѣны горохъ, вамъ вздору нужно,—нате, получайте! Но уже во второмъ вечерѣ сатирикъ самъ не выдержалъ этой программы безпредметнаго смѣха, а оканчиваются «Пошехонскіе разсказы» глубоко прочувствованной картиной похоронъ Ивана Рыжаго, убитаго одурѣлою толпой по подстрекательству Мазилки и Скоморохова... Можно бы было найдти и другіе случаи, когда смѣхъ Салтыкова прорывался безъ осложненій гнѣва и печали и безъ удержу. Но случаи эти крайне рѣдки, и съ насъ достаточно перваго вечера «Пошехонскихъ разсказовъ», чтобы судить, что было бы, еслибы Салтыковъ дѣйствительно пускалъ въ ходъ свою способность смѣха съ тою необузданностью, какую ему приписываютъ глупые и безстыжіе люди. О, какъ бы мы хохотали!—мы, вы, они... Но, памятуя высокія обязанности литературы и лежащую на ней отвѣтственность, сатирикъ не пожелалъ этого повальнаго веселья, не пожелалъ быть писателемъ «по смѣшной части».

Онъ понималъ цѣну смѣха и отнюдь не отказывался отъ него. «Что же такое, если и каррикатура?—спрашиваетъ онъ въ «Письмахъ къ тетенькѣ».—Каррикатура, такъ каррикатура—большая бѣда! Не все же стоять, упершись лбомъ въ стѣну; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть въ человѣческомъ сердцѣ эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и ошеломленный человѣкъ, и тотъ ощущаетъ ее». Салтыковъ зналъ, во-первыхъ, что есть явленія, въ которыхъ, какъ и вездѣ, можно найдти смѣшныя стороны и надъ которыми, однако, по ихъ незащищенности отъ разныхъ другихъ воздѣйствій, смѣяться грѣшно, «жутко», какъ онъ выражается въ «Дневникѣ провинціала». Во-вторыхъ, у него была строго обдуманная, чрезвычайно оригинальная и блистательно имъ оправданная теорія каррикатуры.

Въ «Недоконченныхъ бесѣдахъ», по поводу модныхъ въ то время газетныхъ разговоровъ о «расхищеніи власти», Салтыковъ писалъ: «О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ. Людямъ, болѣе или менѣе подозрительнымъ, можетъ показаться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣшительное, въ родѣ «закрѣпощенія» или возстановленія старой судебной волокиты,—отнюдь не бывало! Даже этихъ немудрыхъ словъ нѣтъ». Вотъ эти-то недоговоренныя слова, эти-то выводы и пожеланія, еще смутные, но можетъ быть завтра же имѣющіе объявиться въ полной законченности, и составляютъ функцію щедринской каррикатуры. Онъ самъ подробно развиваетъ эту мысль въ «Помпадурахъ и помпадуршахъ». Разсказавъ про удивительныя приключенія Ѳединьки Кротикова, сатирикъ самъ забѣгаетъ впередъ вопросу — не слишкомъ-ли это фантастично, преувеличенно, каррикатурно, и рѣшительно отвѣчаетъ: нѣтъ.

«Я согласенъ, что въ дѣйствительности Ѳединька многаго не дѣлалъ и не говорилъ изъ того, что я заставилъ его дѣлать и говорить, но я утверждаю, что онъ *несомнѣнно все это думалъ* (курсивъ Салтыкова) и слѣдовательно сдѣлалъ бы или сказалъ бы, еслибы умѣлъ или смѣлъ. Этого для меня вполнѣ достаточно, чтобы признать за моимъ разсказомъ полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности... Небывальщина гораздо чаще встрѣчается въ дѣйствительности, нежели въ литературѣ. Литературѣ слишкомъ присуще чувство мѣры и приличія, чтобы она могла взять на себя задачу съ точностью воспроизвести каррикатуру дѣйствительности... Многія изъ Ѳединькиныхъ бредней до того фантастичны, что онъ самъ старается скрыть ихъ, но я ловлю его на полусловѣ, я пользуюсь всякимъ темнымъ намекомъ, всякимъ минутнымъ изліяніемъ, и съ помощью ряда усилій вступаю твердою ногою въ храмину той другой, не обыденной, а скрытой дѣйствительности, которая одна и представляетъ вѣрное мѣрило для всесторонней оцѣнки человѣка. Не знаю, въ какой степени усилія мои увѣнчаются успѣхомъ, но убѣжденъ, что пріемъ мой во всякомъ случаѣ долженъ быть признанъ правильнымъ. Говорятъ о каррикатурѣ и преувеличеніяхъ, но нужно только осмотрѣться кругомъ, чтобы обвиненіе это нало само собой. Не останавливайтесь на настоящей минутѣ, но прозрѣвайте въ будущее. Тогда вы получите цѣлую картину волшебствъ, которыхъ быть можетъ еще нѣтъ въ дѣйствительности, но которыя несомнѣнно придутъ».

Эти замѣчательныя строки (я привелъ ихъ въ сокращеніи) бросаютъ интересное освѣщеніе на всю дѣятельность Салтыкова и даютъ драгоцѣнныя указанія критикѣ. И письменная критика, и въ особенности устная, которой Салтыковъ подвергался больше, чѣмъ кто-нибудь, такъ какъ почти каждое его произведеніе возбуждало въ обществѣ говоръ, давно замѣтила слѣдующее обстоятельство. Нѣкоторыя, совершенно, повидимому, фантастическія положенія, придуманныя щедринской сатирой, надъ которыми мы смѣялись, какъ надъ каррикатурами, по прошествіи извѣстнаго времени оказывались точнымъ отраженіемъ дѣйствительности. Случалось иногда такъ, точно Салтыковъ былъ какъ бы сатирическимъ лидеромъ ненавистной ему партіи мрака, его каррикатуры точно задавали тонъ извѣстной части лите-

ратуры и соотвѣтственной части общества; онѣ, эти каррикатуры, развивались, по прошествіи нѣкотораго времени, въ серьезъ, какъ нѣчто въ самомъ дѣлѣ желательное, спасительное, обязательное. Укажу для примѣра на проектъ «централизаціи» отставного корнета Толстолобова въ «Дневникѣ провинціала» и на «проектъ обновленія» Стрѣлова въ «Пестрыхъ письмахъ». Одинъ изъ нихъ написанъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ, другой — лѣтъ пять. Написаны они на смѣхъ; перечтите ихъ и скажите: фантастика-ли это? каррикатура-ли? Изъ только что приведеннаго объясненія самого Салтыкова видно, что эти совпаденія каррикатуры съ дѣйствительностью отнюдь не были дѣломъ капризной случайности. Не нуждаются эти предвидѣнія и въ какихъ-нибудь мистическихъ объясненіяхъ. Салтыковъ самъ открылъ намъ ихъ секретъ. Онъ прислушивался, присматривался, «ловилъ на полусловѣ, пользовался всякимъ темнымъ намекомъ, всякимъ минутнымъ изліяніемъ». Результатъ достигался, слѣдовательно, упорной, сознательной работой, вполнѣ опредѣленнымъ пріемомъ изслѣдованія.

Понятно, что въ другихъ рукахъ этотъ же самый пріемъ не далъ бы тѣхъ же самыхъ результатовъ. Иной можетъ годы прислушиваться и присматриваться и всетаки ничего не высмотрѣть и не выслушать, а иному достаточно вершка, чтобы угадать сажень. Это дѣло таланта, и именно чуткости. Чуткость Салтыкова была по-истинѣ изумительна. Она особенно била въ глаза въ послѣдніе годы его жизни, когда онъ жилъ, какъ монахъ въ кельѣ, отрѣзанный отъ всего міра, и всетаки чуялъ приливы и отливы этого міра. Мнѣ уже случилось однажды сравнить его съ чрезвычайно чувствительнымъ барометромъ, который, будучи запертъ въ четырехъ стѣнахъ, тѣмъ не менѣе отзывается на перемѣны въ состояніи атмосферы. Но и въ этомъ случаѣ Салтыковъ не былъ ни тѣмъ рабомъ, лукавымъ и лѣнивымъ, который зарылъ свой талантъ въ землю, ни тѣмъ себялюбивымъ счастливцемъ, который, гордясь своими случайными преимуществами, щеголяетъ ими съ единственною цѣлью поразить, ослѣпить: онъ работалъ, направлялъ свою чуткость, какъ и вообще свой талантъ, къ вполнѣ опредѣленной, сознательно выработанной цѣли.

Выше, говоря о свойственномъ Салтыкову радужномъ сверканіи таланта, я называлъ это сверканіе чисто стихійнымъ, самопроизвольнымъ. Но самопроизвольный не значитъ самодовлѣющій. Дозволяя себѣ художественныя дерзости въ родѣ перестасовки утвержденныхъ формъ словесности и полнаго смѣшенія фантазіи и дѣйствительности, Салтыковъ зналъ, что онъ дѣлаетъ, и въ каждой своей строчкѣ могъ бы дать отчетъ и себѣ и другимъ. Все свое высокое дарованіе отдавалъ онъ на службу дѣлу свѣта и правды и зорко слѣдилъ за этой своей стихійной силой, чтобы она какъ-нибудь не не уклонилась отъ намѣченной цѣли. Ему такъ легко было бы нарисовать, напримѣръ (одинъ примѣръ изъ сотни), картину изувѣченнаго трупа Гришки-портного, плавающаго въ лужѣ крови, разбитаго черепа, разбрызганныхъ мозговъ, нечеловѣческихъ стоновъ. Его творческая сила нашла бы здѣсь себѣ работу, удовлетвореніе. Но эта страшная картина слишкомъ сосредоточила бы на себѣ вниманіе читателя, слишкомъ взволновала бы его, въ ущербъ сочувствію къ несчастному Гришкѣ и негодованію на загубившія его подлости. И великій писатель обошелъ эту картину. Ему можетъ быть еще легче было-бы смѣшить насъ безъ удержу, смѣшить до упаду, но великій писатель не пожелалъ этого: онъ обуздалъ свой смѣхъ систематической программой. Менѣе могучій талантъ едва-ли могъ бы даже выдержать такое неустанно зоркое самонаблюденіе и самообузданіе, такой контроль сознанія и воли. Салтыковъ выдержалъ.

Слава таланту! Конечно слава. Но вящшая слава человѣку, работнику, служителю свѣта и правды!

XI.

Памяти Щедрина *).

Все на свѣтѣ старѣется, изнашивается и, наконецъ, умираетъ, уступая мѣсто новой, молодой жизни. Таковъ законъ естества, неизбѣжный и неумолимый, какъ бы ни возмущалось противъ него наше чувство. Да и не всегда вѣдь оно возмущается. Смерть не страшна и не печальна, а именно только естественна, когда она составляетъ условіе обновленной жизни, когда умираетъ то, что успѣло уже износиться и только давитъ собою новые ростки жизни. Такой смерти вполнѣ приличествуетъ эпитетъ «естественная» и съ нею сравнительно легко мирится даже личное горе людей, близкихъ къ покойнику. Щедринъ умеръ въ этомъ смыслѣ не естественною смертью. Давно больной тѣломъ, онъ не изжилъ своихъ духовныхъ силъ, не одряхлѣлъ ни талантомъ, ни убѣж-

*) Глава эта написана и напечатана въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» тотчасъ послѣ смерти Салтыкова. Я не хотѣлъ ее перепечатывать, въ виду ея характера наброска, вызваннаго первымъ впечатлѣніемъ извѣстія о смерти сатирика. Но въ ней содержатся кое-какія черты, которыя мнѣ не удалось потомъ развить.

деніемъ, и не только не отнималъ своимъ существованіемъ мѣста у новой жизни, а, напротивъ, лишь о расчищеніи его и думалъ.

Тяжело было бывать у Щедрина въ послѣдніе мѣсяцы его жизни. Больное тѣло явно шло къ концу, а это и само по себѣ производило удручающее впечатлѣніе и, кромѣ того, отражалось на душевномъ состояніи больного мрачною мнительностью. Однако, страшныя физическія страданія отравляли только, такъ сказать, интимную, личную сторону его духовной жизни: ему казалось, что его забыли, что предпринятое имъ передъ самою смертью изданіе его сочиненій не будетъ имѣть успѣха и т. п., и все это преувеличенно волновало и раздражало его. Но въ то же время онъ иногда съ почти юношескимъ увлеченіемъ говорилъ о новыхъ планахъ литературныхъ работъ. Трудно повѣрить, что такое сильное и вмѣстѣ художественно-прекрасное произведеніе, какъ «Пошехонская старина», написано среди постоянныхъ физическихъ страданій. Но еще труднѣе представить себѣ, что, только что окончивъ «Пошехонскую старину» и уже стоя одной ногой въ гробу, Щедринъ мечталъ о новой большой работѣ, которая должна была называться «Забытыя слова». Онъ предчувствовалъ, что «Пошехонская старина» будетъ его лебединою пѣснью, и съ свойственною ему, особенною, добродушно сердитою манерой отталкивалъ всякія слова утѣшенія и надежды. Но творческая работа этого изумительно одареннаго духа не прекращалась, можно сказать, до самой смерти. «Были, знаете, слова, — говорилъ онъ мнѣ незадолго до смерти, и кто изъ знавшихъ Щедрина не припомнитъ при этомъ его баснстаго голоса и добродушно-сердитыхъ глазъ, устремленныхъ прямо въ глаза собесѣдника,— были, знаете, слова: ну, совѣсть, отечество, человѣчество... другія тамъ еще... А теперь потрудитесь-ка ихъ поискать! Надо же напомнить...» Таково должно было быть содержаніе «Забытыхъ словъ».

Творческая сила Щедрина обнаружилась очень рано. Началъ онъ собственно поэзіей, стихами, и подавалъ въ этомъ направленіи большія надежды. Въ Александровскомъ лицеѣ, гдѣ воспитывался Щедринъ, со временъ Пушкина чуть не на каждомъ курсѣ школа искала преемника великому поэту, и Щедринъ былъ одинъ изъ этихъ предполагаемыхъ преемниковъ. Но скоро онъ выбралъ другой литературный путь, съ котораго никогда не сворачивалъ, на которомъ и умеръ съ «Забытыми словами» въ мечтѣ. Такъ называемаго «искусства для искусства» Щедринъ не допускалъ; онъ считалъ его празднымъ вздоромъ или вздорнымъ празднословіемъ, хотя, самъ будучи великимъ художникомъ, высоко цѣнилъ художественныя достоинства и въ чужихъ произведеніяхъ. Обрекая свою творческую силу на служеніе обществу и извѣстнымъ нравственно-политическимъ идеаламъ, онъ понималъ эту служебную роль такъ высоко, что, по народному выраженію, шапка свалилась бы съ головы тѣхъ маленькихъ жрецовъ чистаго искусства, которые вздумали бы взглянуть на эту высоту. Большому кораблю — большое плаваніе, а маленькая лодочка и въ пруду погуляетъ. Пусть мелочь тратитъ то малое, что ей Богомъ отпущено, на воспѣваніе звѣздочекъ и цвѣточковъ, ландышей и кудрей, пурпурнаго заката и столь же пурпурнаго восхода. А Щедрины пусть напоминаютъ намъ забытыя слова: совѣсть, честь, отечество, человѣчество. Всякому свое. И кто знаетъ, какого можетъ быть первоклассныго художественнаго произведенія не дополучили мы съ Щедрина въ этихъ «Забытыхъ словахъ»! Талантомъ и убѣжденіемъ этотъ человѣкъ былъ такъ силенъ, что болѣзнь и возрастъ ничѣмъ не отражались на его произведеніяхъ. Напротивъ, онъ только росъ и крѣпнулъ. Сравните «Губернскіе очерки», имѣвшіе такое огромное значеніе въ литературѣ и сами по себѣ представляющіе большую цѣнность, съ «Пошехонской стариной», написанной на склонѣ дней, и вы увидите, что никакого склона дней въ литературномъ отношеніи тутъ нѣтъ, а есть, напротивъ, подъемъ. Щедринъ и прежде бывалъ сильно боленъ, такъ что опасались за его жизнь; бывали и въ его литературной дѣятельности какъ бы періоды утомленія. Но онъ вдругъ стряхивалъ съ себя и хворь, и утомленіе, и являлся въ неожиданно обновленномъ видѣ. Теперь, только-что получивъ извѣстіе о смерти Щедрина и наскоро набрасывая эту замѣтку, я не могу охватить сразу всѣ подробности его долгой и плодовитой литературной дѣятельности. Напомню только «Господъ Головлевыхъ», «За рубежемъ», «Сказки», «Мелочи жизни». Всѣ эти произведенія въ разное время развертывали передъ изумленными читателями новыя стороны таланта Щедрина, который былъ, кажется, неизсякаемъ. «Забытыя слова» могли бы быть такимъ же сюрпризомъ. Намъ не пришлось его получить, а онъ былъ возможенъ. Вотъ почему мысль такъ трудно мирится съ этой смертью: не износился еще человѣкъ, не изжилъ отпущеннаго на его долю запаса силы, и дай Богъ иному въ юношескихъ годахъ начинать свою сознательную жизнь такъ, какъ ее кончалъ въ старости Щедринъ, съ вѣрой въ совѣсть, честь, отечество, человѣчество, съ желаніемъ постоять за эти великія, но увы! въ самомъ дѣлѣ почти забытыя слова... И въ

это-то трудное, смутное, тусклое время забвенія, однимъ борцомъ стало меньше... И какимъ борцомъ! Если бы Щедринъ даже не написалъ своихъ «Забытыхъ словъ», а просто бы только жилъ, существовалъ, такъ и то было бы посвѣтлѣе на Руси. Оставалась бы всетаки возможность ожиданія, оставалась бы надежда,—пускай тщетная,—что вотъ-вотъ «ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой» привычное властное слово. Утѣшительно было бы даже просто сознаніе, что еще живъ человѣкъ, который такъ высоко несъ знамя литературы, что никакія брызги грязи не долетали до него и не запятнали его...

Этихъ брызговъ грязи было много. Знаменоносцемъ нельзя быть безъ риска привлечь къ себѣ много злобнаго вниманія. А Щедринъ и по натурѣ былъ не изъ тѣхъ людей, которые могутъ всю жизнь прожить припѣваючи, не наживъ ни одного врага. Для этого въ немъ было слишкомъ мало и кротости, и практичности, и желанія нравиться. Враговъ у него было много, притомъ подчасъ вполнѣ безсовѣстныхъ, не стѣснявшихся въ выборѣ оружія. Въ частной жизни онъ былъ безупреченъ съ точки зрѣнія самой придирчивой морали, а съ тѣхъ поръ, какъ я его помню (съ 1870 года), онъ, если можно такъ выразиться, сообщался съ жизнью только черезъ окно литературы. Весь преданный своему дѣлу, поглощенный, кромѣ чисто литературной работы, еще непомѣрнымъ обиліемъ невиднаго, чернаго редакторскаго труда, онъ жилъ, какъ монахъ, чуждый «міру» съ его соблазнами. Тѣмъ не менѣе у него были враги и какъ у писателя, и какъ у редактора журнала, и, наконецъ, какъ у человѣка.

Однажды въ редакціи *Отечественныхъ Записокъ* я былъ свидѣтелемъ такой сцены. Элегантно одѣтая дама просила Щедрина о чемъ-то, чего онъ не считалъ возможнымъ сдѣлать: не то принять доставленную ею рукопись, не то ускорить ея напечатаніе, не помню. «Будьте любезны, Михаилъ Евграфовичъ», — просила дама. — «Сударыня, — отвѣчалъ Михаилъ Евграфовичъ,—быть любезнымъ совершенно не моя спеціальность». Это была правда. Любезность отнюдь не составляла его спеціальности. Онъ часто былъ грубоватъ, рѣзокъ, раздражителенъ, несдержанъ въ выраженіяхъ. Въ одномъ изъ напечатанныхъ писемъ Тургенева есть замѣчаніе, что, дескать, у Салтыкова и наружность, и голосъ самой природой ужъ такъ устроены, чтобы ругаться. Дѣйствительно, внѣшность Щедрина еще усиливала впечатлѣніе его грубоватой манеры: рѣзкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасномъ, открытомъ и высокомъ лбу, сильно выпуклые, какъ бы выпяченные глаза, сурово и какъ-то непреклонно смотрѣвшіе прямо въ глаза собесѣднику, грубый голосъ, угрюмый видъ. Но иногда это суровое лицо все освѣщалось такою почти дѣтски добродушною улыбкой, что даже люди мало знавшіе Щедрина, но попадавшіе подъ свѣтъ этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется подъ его угрюмой внѣшностью. О тѣхъ, кто его близко зналъ, нечего и говорить. Онъ не могъ не поворачать въ разговорѣ съ кѣмъ бы то ни было, и подъ конецъ его жизни эта воркотня была иногда тяжела, но всѣ знали всетаки, что это только воркотня и что въ концѣ-концовъ она ничѣмъ не отзовется на дѣлѣ и дѣйствительныхъ отношеніяхъ.

Кромѣ добродушія, эту ворчливость и грубоватость много скрашивало еще то обстоятельство, что Щедринъ проявлялъ ее совершенно равномѣрно по отношенію ко всѣмъ. Это уже потому не былъ «генеральскій» тонъ, какъ утверждали нѣкоторые обиженные, что примѣнялся не только къ тѣмъ, кто такъ или иначе зависѣлъ отъ Щедрина, а и къ тѣмъ, отъ кого онъ самъ зависѣлъ. Разъ слушатели какого-то высшаго заведенія пришли просить его участвовать въ литературномъ вечерѣ. Онъ сурово отвѣчалъ: «А вотъ посидите немножко, да подождите, пока я закашляю; тогда и увидите, могу-ли я публично читать». Одинъ изъ министровъ внутреннихъ дѣлъ созвалъ однажды къ себѣ редакторовъ газетъ и журналовъ для предъявленія имъ своихъ требованій отъ литературы. Окончивъ оффиціальную рѣчь, министръ обратился къ Щедрину съ любезною шуткой: «Подъ какимъ вы меня соусомъ подадите теперь публикѣ, Михаилъ Евграфовичъ?» «Намъ не до соусовъ, ваше высокопревосходительство, не до соусовъ, не до соусовъ», отвѣчалъ сатирикъ, постепенно возвышая свой басъ и угрюмо отходя въ сторону. Всегда и со всѣми любезность была совершенно не его спеціальностью. Но это былъ истинно добрый человѣкъ, всегда готовый помочь нуждающемуся словомъ и дѣломъ. Мелкихъ же чувствъ мстительности, подозрительности, соперничества въ немъ не было даже самыхъ слабыхъ слѣдовъ. Понятно, какъ все это должно было отражаться на его редакторской дѣятельности.

Меня всегда поражало трудолюбіе Щедрина. Онъ и самъ имъ гордился. Онъ утверждалъ даже, что его литературная слава достигнута не талантомъ, который, дескать, вовсе не великъ, а упорнымъ трудомъ. Въ одномъ разговорѣ о воспитаніи дѣтей онъ увѣрялъ меня, что болѣе или менѣе талантливымъ писателемъ можетъ стать всякій,—

надо только смолоду пріучить мальчика правильно и упорно работать; «конечно, если онъ не идіотъ и не математикъ», прибавилъ онъ, разумѣя, кажется, противоположность между опредѣленною спеціальною способностью и полнымъ отсутствіемъ всякихъ способностей. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, значитъ, ничего не подѣлаешь, а въ этихъ предѣлахъ все доступно труду. Разумѣется, роль труда въ своей собственной литературной дѣятельности Щедринъ непомѣрно преувеличивалъ. Его рѣдкое трудолюбіе не только не способствовало его славѣ художника или сатирика, а, напротивъ, отвлекало его силы въ сторону журнальной техники. Чтеніе и исправленіе рукописей и корректуръ, всегда отнимающее много времени, у Щедрина отнимало его больше, чѣмъ у кого-нибудь. Онъ вѣдалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, кромѣ общей редакціи въ качествѣ отвѣтственнаго редактора, еще спеціально беллетристическій отдѣлъ, и если вообще принималъ близко къ сердцу интересы журнала, то въ свой спеціальный беллетристическій отдѣлъ по-истинѣ всю душу свою клалъ. Всякій вновь появлявшійся въ журналѣ беллетристъ, первоначально можетъ быть нѣсколько обезкураженный рѣзкою и суровою манерою редактора, встрѣчалъ въ немъ на дѣлѣ доброжелательнѣйшаго, усерднѣйшаго покровителя и совѣтника, даже расточительно тратившаго свой трудъ и время на чужія произведенія. Помню, напримѣръ, такой случай. Молодой талантливый писатель Котелянскій (я могу его назвать, онъ умеръ) прислалъ повѣсть «Чинишевики». Щедринъ рѣшилъ ее напечатать, но по исправленіи и сокращеніи. И вотъ что онъ, между прочимъ, сдѣлалъ: вытравилъ на всемъ протяженіи повѣсти одно изъ дѣйствующихъ лицъ цѣликомъ, со всѣми его довольно сложными отношеніями къ другимъ, оставшимся дѣйствующимъ лицамъ. Котелянскій самъ говорилъ мнѣ потомъ, что онъ очень благодаренъ Щедрину за эту операцію, которая скрасила повѣсть, но удивляется, какъ онъ ухитрился это сдѣлать. И дѣйствительно, всякій мало-мальски знакомый съ редакторскимъ дѣломъ пойметъ, какого труда и вниманія стоитъ подобная операція. Вообще Щедринъ былъ образцовымъ редакторомъ. Я былъ нѣсколько лѣтъ однимъ изъ ближайшихъ его сотрудниковъ по веденію журнала, и хотя дѣло не всегда обходилось безъ недоразумѣній и пререканій, но ни единой капли горечи не осталось въ моихъ воспоминаніяхъ объ этомъ сотрудничествѣ и не иначе, какъ съ удовольствіемъ и чувствомъ глубокаго уваженія къ Щедрину, думаю я о томъ счастливомъ времени. Не смотря на свою рѣзкость и раздражительность, Щедринъ владѣлъ той тайной внутренняго равновѣсія, которая гарантируетъ редактора и отъ безпринципной распущенности, превращающей журналъ въ простой сборникъ болѣе или менѣе интересныхъ или неинтересныхъ статей, и отъ ненужнаго мелочнаго вмѣшательства въ веденіе самостоятельныхъ отдѣловъ. Единство и цѣльность журнала даже въ мелкихъ подробностяхъ слагались какъ будто сами собой. Въ согласіи съ основными чертами своего открытаго, благороднаго характера и своей отзывчивости на «житейскія волненія», Щедринъ ненавидѣлъ ложь, въ чемъ бы она ни состояла, и сухой доктринерскій формализмъ. Правдивое и живое отношеніе къ дѣлу—вотъ главное, чего онъ лично требовалъ отъ сотрудниковъ и безъ чего мудрено было попасть въ *Отечественныя Записки*. При обширномъ и тонкомъ умѣ Щедрина, при его чуткости, эта формула «правдиваго и живаго отношенія» обнимала очень многое, и немудрено, что руководимый имъ журналъ постепенно выработалъ себѣ такую цѣльность и опредѣленность физіономіи, какая не часто встрѣчается въ исторіи русской журналистики. Конечно, она могла нравиться однимъ и не нравиться другимъ...

Собственная писательская физіономія Щедрина тоже нравилась однимъ и не нравилась другимъ. Онъ имѣлъ восторженныхъ поклонниковъ, но имѣлъ и враговъ, злобныхъ, мстительныхъ. Такова участь всякаго превышающаго средній ростъ человѣка, но въ положеніи Щедрина были свои особенности. Его великій талантъ и его значеніе, какъ литературнаго дѣятеля, сдва-ли не съ первыхъ же его литературныхъ шаговъ стали внѣ всякаго спора и сомнѣнія, а затѣмъ обратились въ общее мѣсто, которое даже повторять странно. Правда, кое-кто изъ оскорбленныхъ его личною рѣзкостью или его строгою, но и отвѣтственною дѣятельностью, какъ редактора *Отечественныхъ Записокъ*, безсильными, трясущимися отъ злобы руками замахивался и на его талантъ. Помню одну забавную статью въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, въ которой серьезнѣйшимъ образомъ доказывалось, что Щедринъ (и Некрасовъ) не можетъ идти, по таланту, ни въ какое сравненіе съ... г. Стахѣевымъ. Помню разныя полемическія упражненія газетныхъ рецензентовъ, представляющихъ собою двойную анатомическую игру природы: отсутствіе мозга и сердца, при наличности рукъ, которыя могутъ держать перо, макать его въ чернила и потомъ водить имъ по бумагѣ. Этой мелочи Щедринъ даже не замѣчалъ, какъ слонъ той моськи, которая на него лаяла. Были враги покрупнѣе. Были такіе, которые понимали, что прать противъ рожна

глупо, и не только не отрицали таланта Щедрина, но именно въ этомъ талантѣ видѣли сугубую опасность для чего-то, будто бы, ими охраняемаго. Эти очень волновали покойнаго и многаго добились.

Была пущена въ ходъ и усердно эксплоатировалась нелѣпая клевета, что Щедринъ ненавидитъ и презираетъ Россію, не вѣритъ въ нее, желаетъ ей всякаго зла и погибели, въ доказательство чего указывалось на исключительно мрачныя краски его сатирической палитры. Еслибы «патріотъ своего отечества» и «мерзавецъ своей жизни» не слились у насъ въ какой-то конгломератъ шутовской пошлости и злодѣйскаго предательства, еслибы слово «патріотъ» не было такъ захватано грязными руками, я сказалъ бы, что Щедринъ былъ великій патріотъ. Здѣсь не мѣсто, да и слишкомъ много времени потребовалось бы, подвергать сколько-нибудь систематическому критическому анализу сочиненія Щедрина въ ихъ художественномъ и общественномъ значеніи. Я просто пишу бѣглую замѣтку, и читатели не въ правѣ требовать отъ меня многаго.

Щедринъ безспорно не любилъ многаго въ Россіи (а кто любитъ все въ Россіи? не тѣ ли, кто не любитъ великаго русскаго писателя, нынѣ лежащаго въ гробу?). Не любилъ, между прочимъ, и даже въ особенности, того фальшиваго, иногда слащаваго, иногда напротивъ злобнаго теченія, которое какъ бы захватило въ свои руки монополію патріотизма. Этому ненавистному для Щедрина теченію часто отъ него доставалось, его мощное слово не разъ посрамляло его представителей. Такъ, одно время представители эти усвоили себѣ кличку «культурныхъ людей» и очень носились съ нею. Тогда Щедринъ началъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* рядъ очерковъ подъ заглавіемъ «Культурные люди», но не успѣлъ даже ихъ кончить (такъ они и остались неконченными въ журналѣ и до сихъ поръ не перепечатывались въ отдѣльномъ изданіи; въ полное собраніе сочиненій, однако, войдутъ),—не успѣлъ даже кончить, какъ гордую кличку «культурные люди», точно траву косой, скосило. «Культурные люди» устыдились посрамленной Щедринымъ клички,—до такой степени устыдились, что кличка такъ на вѣки и погибла, и, можетъ быть, многіе изъ читателей даже не помнятъ ее. А знаменитая «торжествующая свинья»?! Но если Щедринъ неустанно клеймилъ лживое теченіе, самозванно усвоившее себѣ имя патріотизма, то только слѣпой или именно уродъ, лишенный мозга и сердца, могъ не видѣть той горячей, трогательной и заразительной любви къ отечеству и къ отечественному «мальчику безъ штановъ» («За рубежомъ»), которая сквозила изъ-подъ его ѣдкой сатиры.

Возьмемъ сравнительно безобидную область—область литературы. Разъ Щедринъ спросилъ меня, какое изъ его произведеній я считаю наиболѣе удачнымъ. Я затруднился отвѣтить, какъ затруднился бы и сейчасъ выбрать какой-нибудь цвѣтокъ изъ этого огромнаго и роскошнаго букета.—По-моему, «Похороны» лучше всего, я ихъ вчера пересматривалъ; право хорошо», — сказалъ Щедринъ. Я хорошо помнилъ «Похороны», небольшой и дѣйствительно прекрасный разсказъ, который, однако, трудно поставить въ ряду произведеній Щедрина въ первую голову. Это разсказъ о похоронахъ бѣднаго, маленькаго писателя, о постигавшихъ его при жизни невзгодахъ, о трудностяхъ и радостяхъ его положенія. Разсказъ проникнутъ тихою, хотя и улыбающеюся грустью и тѣмъ своеобразнымъ лиризмомъ, который въ послѣдній періодъ дѣятельности Щедрина все чаще и чаще пробивался въ его произведеніяхъ. Этотъ-то задушевный тонъ разсказа и подкупалъ самого автора. Онъ глубоко любилъ русскую литературу и интересовался судьбами самыхъ даже маленькихъ и невидныхъ ея служителей. Мерзости представителей печати, которыхъ онъ награждалъ ударами своего сатирическаго бича, не мѣшали ему вѣрить въ русскую литературу, именно какъ въ русскую, желать ей разцвѣта, свободы, почета. Не даромъ онъ и въ завѣщаніи сыну написалъ трогательныя и по праву гордыя слова: «Паче всего люби родную литературу и званіе литератора предпочитай всякому другому». Не касаясь прочихъ сторонъ этого предсмертнаго пожеланія, я спрашиваю: кто же былъ истинный патріотъ, кто больше любилъ свое отечество и больше вѣрилъ въ таящіяся въ немъ силы,—тотъ-ли, кто завѣщалъ своему сыну любить «родную литературу», или тѣ «патріоты своего отечества», которые съ пѣной у рта требуютъ для этой родной литературы узды и кнута?

Великая скорбь посѣтила Россію, еще бо́льшая —русскую литературу и насъ, русскихъ литераторовъ. Почтимъ же память Щедрина не только словами и слезами, а и дѣломъ: постараемся сравняться съ нимъ,—конечно, не талантомъ; постараемся работать такъ, чтобы, подобно ему, имѣть передъ лицомъ смерти право гордиться своимъ званіемъ литератора и завѣщать эту гордость потомству...

Матеріалы для литературнаго портрета М. Е. Салтыкова *).

28 апрѣля минетъ годъ со смерти Салтыкова. Къ годовщинѣ печальнаго событія поспѣлъ девятый, послѣдній томъ сочиненій покойнаго, изданіе которыхъ было начато еще имъ самимъ, хотя, впрочемъ, при жизни его вышелъ только одинъ первый томъ. Изъ приложенной къ девятому тому статьи г. Арсеньева *Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова* видно, что все изданіе, въ количествѣ 6,500 экземпляровъ, уже разошлось. Безъ сомнѣнія, будетъ немедленно же приступлено къ новому изданію, надо надѣяться, болѣе дешевому и болѣе полному. Болѣзненная мнительность, одолѣвавшая Салтыкова въ послѣдніе годы его жизни, побудила его ограничить изданіе цифрой 6,500 экземпляровъ, а это должно было отозваться на цѣнѣ «сочиненій», относительно не высокой, но, всетаки, для очень и очень многихъ почитателей сатирика обременительной. Что касается плана изданія, то онъ былъ составленъ самимъ Салтыковымъ, но будущимъ издателямъ нѣтъ никакой надобности руководствоваться именно этимъ планомъ: многое, исключенное слишкомъ строгимъ къ себѣ авторомъ, можетъ занять свое мѣсто въ будущемъ изданіи,— кое-что цѣликомъ, а кое-что, по крайней мѣрѣ, въ извлеченіи. Можно также разсчитывать, что сухіе «матеріалы для біографіи» замѣнятся настоящею біографіей, достойною памяти великаго покойника.

Г. Арсеньевъ отнесся къ своей задачѣ вполнѣ добросовѣстно, но не особенно ретиво. Изъ печатнаго матеріала, появившагося послѣ смерти Салтыкова, онъ воспользовался только, и то очень умѣренно, статьей г. Скабичевскаго въ *Новостяхъ*, статьей г. Михайлова *Щедринъ, какъ чиновникъ*, въ *Одесскомъ Листкѣ* и воспоминаніями г-жи Головачевой въ *Историческомъ Вѣстникѣ*. Родственники покойнаго предоставили въ распоряженіе г. Арсеньева нѣкоторые любопытные рукописные матеріалы, частью найденные въ кабинетѣ Салтыкова, частью хранившіеся въ семьѣ. Но затѣмъ въ статьѣ г. Арсеньева нѣтъ никакихъ слѣдовъ работы въ смыслѣ активнаго собиранія матеріаловъ. Поневолѣ вспоминается живое и любовное отношеніе редакціи сборника *Памяти Гаршина* къ біографической сторонѣ взятой ею на себя задачи. Г. Арсеньевъ говоритъ: «Неизданныхъ или мало извѣстныхъ матеріаловъ, которые относились бы къ послѣднимъ двадцати пяти годамъ жизни Салтыкова, въ нашихъ рукахъ нѣтъ почти вовсе. Намъ доставлено лишь нѣсколько писемъ Салтыкова къ его дѣтямъ и одно письмо, отъ 2 января 1881 г., къ писателю, только что передъ тѣмъ напечатавшему разборъ одного изъ произведеній Салтыкова». «Намъ доставлено лишь»... Если бы г. Арсеньевъ или лица, завѣдывавшія изданіемъ, хотя бы только подобно редакціи сборника *Памяти Гаршина*, напечатали въ газетахъ обращеніе ко всѣмъ, имѣющимъ какіе-нибудь матеріалы, въ видѣ-ли личныхъ воспоминаній, или переписки, то именно послѣднія двадцать пять лѣтъ жизни Салтыкова, навѣрное, получили бы особенно яркое освѣщеніе. Въ живыхъ еще много людей, имѣвшихъ съ нимъ такъ или иначе общеніе за это время. Уже по отвѣтамъ Тургенева, напечатаннымъ въ собраніи его писемъ, изданнымъ комитетомъ литературнаго фонда въ 1884 г., можно бы было заключить, какъ интересны и характерны были письма Салтыкова. Притомъ же, матеріалъ, который получалъ бы такимъ образомъ въ свое распоряженіе біографъ, освѣщалъ бы Салтыкова именно съ той стороны, которая всегда останется наиболѣе цѣнною и значительною въ глазахъ русскаго читающаго общества. Я не то хочу сказать, что матеріалы, такъ сказать, сами собой пришедшіе къ г. Арсеньеву, а не собранные имъ, не интересны. Напротивъ, они очень интересны и должны занять свое мѣсто въ біографіи, но въ нихъ очень мало *Щедрина*.

Въ бумагахъ Салтыкова уцѣлѣла копія съ донесенія Салтыкова (тогда совѣтника губернскаго правленія), представленнаго имъ въ 1852 г. вятскому губернатору по дѣлу о безпорядкахъ, возникшихъ между государственными крестьянами двухъ сельскихъ обществъ въ Слободскомъ уѣздѣ. Г. Арсеньевъ подробно разсказываетъ содержаніе этого рапорта, изъ котораго видно, какъ серьезно относился Салтыковъ къ своимъ служебнымъ обязанностямъ. Это очень любопытная страница изъ жизни Салтыкова, но *Щедрина* здѣсь нѣтъ. Нѣтъ его и въ сохранившихся въ его бумагахъ черновыхъ замѣткахъ *Объ идеѣ права*. Въ 1855 и 1854 году Салтыковъ получилъ позволеніе съѣздить изъ Вятки въ свою тверскую деревню. Оттуда онъ посылалъ своимъ вятскимъ знакомымъ, сестрамъ Е. А. и А. А. Болтинымъ (Е. А. стала потомъ женой сатирика), составленную имъ *Краткую исторію Россіи*. Объ этой рукописи г. Арсеньевъ говоритъ: «Характеристичнаго въ ней немного, сходнаго съ будущею *Исторіей одного города* — ровно ничего. Это объясняется, конечно, самымъ назначеніемъ рукописи—служить какъ бы учебникомъ для

*) 1890 г.

молодыхъ дѣвушекъ, почти дѣвочекъ. Въ самомъ способѣ изложенія ничто не напоминаетъ позднѣйшую манеру автора. Приведемъ нѣсколько выписокъ только для того, чтобы показать, какъ мало салтыковскаго въ этомъ юношескомъ произведеніи Салтыкова». Затѣмъ слѣдуютъ выписки, въ которыхъ дѣйствительно нѣтъ ничего салтыковскаго ни въ отношеніи содержанія, ни въ отношеніи формы. Весь эпизодъ съ *Краткою исторіей Россіи* характеренъ только, какъ еще одно свидѣтельство присущихъ Салтыкову серьезности и трудолюбія, которыя онъ вносилъ во все, что онъ дѣлалъ. По поводу вышеупомянутаго рапорта вятскому губернатору г. Арсеньевъ справедливо замѣчаетъ, что «заурядный чиновникъ тогдашняго—да и не только тогдашняго—времени» отнесся бы къ дѣлу совсѣмъ не такъ, какъ Салтыковъ. Точно также едва-ли найдется много молодыхъ чиновниковъ, да и вообще молодыхъ людей, которые посвящали бы свои деревенскіе досуги нелегкому дѣлу составленія хотя бы и шаблоннаго историческаго учебника для двухъ молодыхъ дѣвушекъ.

Въ числѣ рукописныхъ матеріаловъ г. Арсеньева есть еще письма Салтыкова къ дѣтямъ,—сыну тогда было около девяти лѣтъ, дочери около семи. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать одно изъ этихъ прелестныхъ писемъ: «Доношу вамъ, что безъ васъ скучно и пусто. Когда вы были тутъ (семья Салтыкова жила въ это время за границей), то бѣгали и прятались въ моей комнатѣ, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и въ цѣлости. Имъ тоже скучно, что никто ихъ не ломаетъ. А еще доношу, что сегодня Арапка (канарейка), когда я вошелъ въ игральную, сѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ. Вотъ такъ сюрпризъ! Что же касается Крылатки, то она еще совсѣмъ голенькая, но мать начинаетъ уже летать отъ нея. Ни конфектъ, ни апельсиновъ послѣ вашего отъѣзда въ Петербургѣ уже нѣтъ; всѣ уѣхали слѣдомъ за вами въ Баденъ. Я думаю, что вы ужъ возобновили съ ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мнѣ, что вздумается, но непремѣнно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете большіе, мы станемъ вмѣстѣ ихъ перечитывать. Цѣлую васъ обоихъ крѣпко-накрѣпко. Какъ только можно будетъ, прилечу. Не забывайте папу».

Недавно въ *Русскомъ Обозрѣніи* г. Фетъ помянулъ въ своихъ воспоминаніяхъ и Салтыкова. Г. Фетъ встрѣтилъ Салтыкова у Тургенева. Салтыковъ будто бы расхваливалъ какіе-то возникшіе въ ту пору у насъ «фаланстеры», гдѣ практикуется полная свобода половыхъ отношеній. «Какая же участь ожидаетъ дѣтей?»—спросилъ Тургеневъ.—«Дѣтей не полагается»,—отвѣтилъ будто бы Салтыковъ... О, г. Фетъ, г. Фетъ!... О, пѣвецъ соловья и розы!..

Читатель видитъ, что какъ ни интересны матеріалы г. Арсеньева, какъ ни характерны они для Салтыкова, какъ человѣка, чиновника, отца семейства, но Щедрина, литературнаго дѣятеля, они мало освѣщаютъ (литературный интересъ представляетъ только одно изъ доставленныхъ г. Арсеньеву писемъ). А, между тѣмъ, Салтыковъ-литераторъ будетъ всегда представлять для насъ преимущественный интересъ, и это совершенно понятно въ виду той исключительной роли, которую литературная дѣятельность играла въ его собственной жизни.

Мнѣ думается даже, что не біографія Салтыкова нужна, а нуженъ литературный портретъ. Внѣшними событіями его жизнь и сама по себѣ не богата, а въ особенности по сравненію съ характерностью его литературной физіономіи. Центральнымъ пунктомъ его жизни, по его собственному и совершенно вѣрному показанію, былъ литературный интересъ. Онъ же долженъ стать центральнымъ пунктомъ его біографіи. Только при подобной гармоніи между объектомъ задачи и пріемомъ ея выполненія получится нѣчто яркое, сильное, достойное Щедрина. И это будетъ не біографія въ строгомъ и, по отношенію къ Салтыкову, нѣсколько скучномъ смыслѣ этого слова, а литературный портретъ. Салтыковъ, русскій дворянинъ, родившійся въ селѣ Спасъ-Уголъ, Калязинскаго уѣзда, Тверской губерніи, учившійся въ лицеѣ, служившій въ канцеляріи вятскаго губернатора и проч., и проч., утопился при этомъ въ Щедринѣ, и это будетъ вполнѣ справедливо: Салтыкова создали извѣстныя внѣшнія условія, а Щедринымъ онъ самъ сдѣлался, и дѣломъ его, главнымъ дѣломъ его жизни было слово.

Обращаясь къ вышеупомянутому собранію писемъ Тургенева, я нахожу тамъ, между прочимъ, слѣдующее: «Петръ Великій, говорятъ, когда встрѣчалъ умнаго человѣка, цѣловалъ его въ голову; я хотя и не Петръ и не Великій, а, прочитавъ ваше письмо, охотно облобызалъ бы васъ, любезнѣйшій Михаилъ Евграфовичъ, — до того все, что вы говорите о романахъ Гонкура и Зола, мѣтко и вѣрно. Мнѣ самому все это смутно мерещилось, словно подъ ложечкой сосало; но только теперь я произнесъ: а! — и ясно прозрѣлъ. И не то, чтобы у нихъ не было таланта, особенно у Зола, но идутъ они не по настоящей дорогѣ и ужъ очень сильно сочиняютъ» и т. д. Письмо Салтыкова, на

которое здѣсь отвѣчаетъ Тургеневъ, не представляетъ никакого интереса въ чисто-біографическомъ смыслѣ, и, однако, оно можетъ быть крайне любопытно, какъ матеріалъ для литературнаго портрета. Подобныхъ писемъ, навѣрное, сохранилось не мало, Салтыковъ былъ не лѣнивъ на переписку, напротивъ, переписывался очень охотно. Особенно были бы интересны его письма къ писателямъ, преимущественно беллетристамъ, начавшимъ свою литературную дѣятельность въ періодъ редактированія Салтыковымъ *Отечественныхъ Записокъ*. Въ нихъ должно сказаться горячее участіе ко всякому начинающему дарованію, а кромѣ того, въ этихъ письмахъ, въ формѣ совѣтовъ и указаній, отразилось бы многое, что не могло имѣть мѣста въ письмахъ къ сверстникамъ вродѣ Тургенева. Опубликованіе переписки Салтыкова, хотя бы только въ выдержкахъ и даже только въ пересказѣ, имѣло бы, кромѣ того, огромный практическій, скажу—педагогическій интересъ: среди нашихъ распутныхъ литературныхъ нравовъ появилась бы во весь ростъ фигура благороднѣйшаго литературнаго дѣятеля—живымъ укоромъ для однихъ, поощреніемъ для другихъ, поученіемъ для третьихъ... Мы должны близко знать тѣхъ, кто составляетъ нашу славу и гордость, дабы свѣтъ во тьмѣ свѣтился и служилъ намъ маякомъ.

Когда я писалъ о Салтыковѣ въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* и когда потомъ издавалъ эти фельетоны отдѣльною книжкой, мнѣ не пришло въ голову воспользоваться для характеристики покойнаго сатирика имѣющимися у меня его письмами. На эту мысль я былъ натолкнутъ только теперь. Думаю, что и мои матеріалы могутъ оказаться не безполезными.

Странное чувство испытывалъ я, разыскивая письма Салтыкова въ огромномъ ворохѣ всякаго рода писемъ по литературнымъ дѣламъ, сохранившихся за много лѣтъ. Точно будто вновь переживались эти много лѣтъ, хотя и въ полномъ безпорядкѣ, потому что письма были свалены кое-какъ, и изъ кучи ихъ попадалось то письмо еще живого «презрительнаго Терсита», то письмо «могучаго Патрокла», котораго уже нѣтъ; отголосокъ времени надеждъ чередовался съ свидѣтельствомъ мрачнаго отчаянія; слѣдъ живого общенія съ читателемъ попадался рядомъ съ порожденіемъ мелкихъ литературныхъ дрязгъ; автографъ измѣнника, когда-то лѣзшаго въ душу, а нынѣ... а чортъ его знаетъ, что онъ такое нынѣ! Цѣлая коллекція писемъ писателя, добивавшагося чести попасть въ *Отечественныя Записки* и потомъ печатно ихъ обругавшаго; письма восторженныхъ юношей, «читателей-друзей»; письма милыхъ сердцу и по нынѣ и письма постылыхъ; письма о большихъ и о смѣшныхъ дѣлахъ; письма разумныхъ и письма безумныхъ; всякія, всякія... Да, много пережито за все то время, отъ котораго сохранился этотъ ворохъ писемъ. И немудрено, что, разыскивая письма Салтыкова, я то и дѣло останавливался на другихъ, въ ту минуту мнѣ вовсе ненужныхъ письмахъ, и воскрешалъ въ памяти своей тотъ или другой вызвавшій ихъ эпизодъ. Впрочемъ, такъ какъ огромное большинство писемъ такъ или иначе связано съ *Отечественными Записками*, то многое, всетаки, по крайней мѣрѣ, напоминаетъ Салтыкова, а кое-что и прямо къ нему относится. Вотъ, напримѣръ, стихотворная ругань, въ которой нѣкто называетъ Салтыкова «журнальнымъ генераломъ» и, очевидно, полагаетъ себя остроумнымъ и ядовитымъ. Должно быть, это оскорбленный непринятіемъ статьи бездарный писака; письмо его, вѣроятно, адресованное просто въ редакцію, попало ко мнѣ, и я, конечно, скрылъ его отъ тогда уже больного и слабаго Салтыкова (письмо помѣчено 1882 г.). Вотъ другія письма о Салтыковѣ, участливыя, восторженныя... Но вотъ, наконецъ, письма самого Салтыкова извлечены, расположены въ хронологическомъ порядкѣ. Ихъ около сотни.

Надо, прежде всего, замѣтить, что многихъ писемъ я не уберегъ, — пропали при переѣздахъ и другихъ передрягахъ. Самое раннее относится къ 1876 г. и послѣ него опять порядочный пробѣлъ. Далѣе, большинство писемъ относится къ лѣту 1880 г. и къ лѣту 1881 г., когда Салтыковъ жилъ за границей, а я въ Петербургѣ, и къ 1883—86 годамъ, когда, наоборотъ, онъ жилъ въ Петербургѣ, а я внѣ онаго. Однако, благодаря страстному отношенію Салтыкова къ литературному дѣлу, есть не мало писемъ и записокъ и за тѣ времена, когда мы оба были въ Петербургѣ: не дожидаясь свиданія, обязательнаго каждый понедѣльникъ въ редакціи или, въ случаѣ его болѣзни, у него на квартирѣ послѣ редакціонныхъ пріемныхъ часовъ, онъ торопился сообщить или получить то или другое свѣдѣніе, то или другое впечатлѣніе. Затѣмъ надо имѣть въ виду, что письма Салтыкова никогда не могли бы быть опубликованы такъ, какъ это было сдѣлано, напримѣръ, съ перепиской Тургенева. Многое въ нихъ неудобно для печати, какъ по самой темѣ, такъ и по выраженіямъ, въ которыхъ онъ, въ письмахъ къ близкимъ людямъ, не стѣснялся.

Я, впрочемъ, не могу себя считать вполнѣ близкимъ къ нему человѣкомъ. И, для уразумѣнія нижеслѣдующаго, надо сказать нѣсколько словъ о нашихъ съ нимъ отноше-

ніяхъ, очень оригинальныхъ. Знаю, что многіе изъ пишущихъ воспоминанія о знаменитыхъ покойникахъ, можетъ быть, даже безсознательно и невольно, пріурочиваютъ эти воспоминанія такъ или иначе къ своей собственной личности. Но думаю, что мнѣ тѣмъ легче будетъ избѣжать этого комическаго положенія, что я собственно не воспоминанія собираюсь писать, а хочу только извлечь изъ писемъ Салтыкова кое-какія характерныя черты.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ, выражая, по нѣкоторому особенному случаю, свои добрыя чувства ко мнѣ, которыя, дескать, всегда питалъ, онъ прибавляетъ: «хотя разность лѣтъ и моя болѣзнь препятствовали мнѣ ближе сойтись съ вами». Я имѣлъ много свидѣтельствъ добраго расположенія покойнаго сатирика, но интимно близокъ съ нимъ никогда не былъ. Этому препятствовали не только его болѣзнь и разность лѣтъ, но и разница во всемъ складѣ жизни. Что называется «домами» мы никогда не были знакомы и «въ гостяхъ» другъ у друга не бывали. Посѣщенія были чисто-дѣловыя, а съ прекращеніемъ *Отечественныхъ Записокъ* я только навѣщалъ больного. Интимно-дружеской близости не было, а суррогатъ ея— свѣтскія отношенія были бы между нами просто смѣшны. Ни онъ, ни я не чувствовали склонности вообще къ такого рода отношеніямъ, хотя ему, благодаря всей его жизненной обстановкѣ, приходилось, все-таки, имѣть и поддерживать таковыя. Воображаю, а отчасти и знаю, какъ онъ ихъ поддерживалъ! Я не могъ не улыбнуться, перечитывая слѣдующія строки въ одной его запискѣ ко мнѣ, помѣченной 5-мъ декабря (не знаю, котораго года): «Такъ какъ завтра множество Николаевъ, то полагаю, что вы одинъ изъ оныхъ». И затѣмъ подпись. Это значило, что онъ поздравляетъ съ именинами...

Тѣмъ цѣннѣе представляется мнѣ наше литературное единеніе. Оно было свободно отъ всякихъ постороннихъ подмѣсей. «Наша совмѣстная служба на радость и пользу пошехонцамъ», какъ онъ выражался въ одномъ письмѣ, вытекала исключительно изъ общности взглядовъ. Безъ сомнѣнія, не всегда и не во всемъ мы вполнѣ сходились; случались и разногласія, но они никогда не достигали размѣровъ принципіальнаго разлада. Естественно, что и въ письмахъ нѣтъ того, поводовъ къ чему не было въ самой жизни, то-есть пререканій или даже только разсужденій о принципахъ. Единственный слѣдъ чего-нибудь отдаленно подобнаго я нашелъ въ письмѣ его изъ деревни отъ 1876 г., по разнымъ причинамъ неудобномъ для печати и кончающемся такъ: «До свиданія, жму вашу руку, ту самую, которая выдвинула впередъ вопросъ о качественности цивилизаціи... а N. подслушалъ сіе и окрылился»... Разногласія, какія были, кончались всегда скоро и благополучно. Не смотря на ворчливость и раздражительность покойника, мнѣ, по крайней мѣрѣ, было легко имѣть съ нимъ дѣло, по тому что при общности взглядовъ и взаимномъ довѣріи взаимныя уступки не заключали въ себѣ ни тѣни чего-нибудь унизительнаго. Были, правда, попытки нарушить эту въ своемъ родѣ почти даже идиллію, но онѣ ничего не достигали. Въ январѣ 1884 г. по нѣкоторому, мнѣ теперь уже не совсѣмъ ясному, поводу Салтыковъ писалъ мнѣ: «Есть многіе... которые мнѣ дѣлаютъ это привѣтствіе: «здравствуй, дуракъ!» Никогда у насъ съ вами серьезныхъ разногласій не было, и публика, читающая, это знаетъ отлично, точно такъ же, какъ знаетъ, что я не наемный редакторъ, а кровный». Какъ у насъ вообще дѣлалось дѣло, можно видѣть изъ слѣдующихъ двухъ отрывковъ изъ писемъ Салтыкова (выбираю два, лишь въ видахъ краткости). Въ сентябрѣ 1881 г., посылая изъ Парижа третье *Письмо къ тенькъ*, онъ писалъ: «Думаю, что статья и неудовлетворительна, и не весьма цензурна. Поэтому предоставляю вамъ дѣлать съ нею, что хотите: исправлять, печатать, не печатать и т. д. Спорить и прекословить не стану, а буду, напротивъ, очень благодаренъ». А вотъ отрывокъ изъ письма, не датированнаго, но, если не ошибаюсь, 1880 г.: «Я утромъ ждалъ васъ, но не дождался. Впрочемъ, корректуры съ моими помѣтками у васъ... Будьте такъ добры, сдѣлайте мнѣ эти уступки... Я зачеркнулъ, между прочимъ, и упоминаніе объ Анненковѣ. Если хотите, возстановите его, но онъ мой пріятель, и я какъ-то еще не возвысился до того, чтобы оставить отца и матерь и прилѣпиться къ журналу».

На этомъ я кончаю выписки, характеризующія наши отношенія, хотя, признаюсь, очень соблазнительно остановиться на нихъ подольше. Они принадлежатъ къ числу лучшихъ воспоминаній всей моей жизни, и даже такой изъянъ, какъ отсутствіе личной дружбы, вносилъ въ нихъ своеобразную прелесть и чистоту.

Не смотря на вышеприведенную оговорку по поводу Анненкова, я не зналъ человѣка, о которомъ съ бо́льшимъ правомъ, чѣмъ о Салтыковѣ, можно сказать, что онъ оставилъ отца и матерь и прилѣпился къ журналу. Въ этомъ отношеніи особенно характерны его заграничныя письма. О заграничныхъ впечатлѣніяхъ, встрѣчахъ, о своемъ времяпровожденіи — нѣсколько словъ. Напримѣръ: «Здѣсь (въ Парижѣ) ужасъ

какая скука». Иногда, впрочемъ, нѣсколько больше: «Здѣсь (опять-таки въ Парижѣ) ужасные холода и льетъ дождь ежеминутно. Поэтому я сижу дома и пишу совершенно такъ, какъ бы находился въ 3-мъ Парголовѣ. Знакомыхъ совсѣмъ почти нѣтъ; сегодня пріѣзжалъ С., да развѣ это резонъ веселиться? А, всетаки, пробуду указное время въ Парижѣ, т. е. еще двѣ недѣли: хоть въ театры схожу. За скверностью временемъ не вижу главнаго—уличной жизни, и это большое лишеніе». И затѣмъ сообщенія о литературныхъ планахъ и о ходѣ работы, или же самыя детальныя заботы о составѣ книжки *Отечественныхъ Записокъ* и о сотрудникахъ. Вотъ, напримѣръ, одно изъ писемъ почти цѣликомъ: «Предполагаю печатать Н. и З.... П. и М. еще при мнѣ доставили стихи... а, между тѣмъ, въ августовской книжкѣ стиховъ совсѣмъ нѣтъ. Есть еще стихи Я., спросите, пожалуйста, у П. Ежели М., З. и Я. (будетъ еще мое письмо, въ листъ) недостаточно, то можно въ середку запихать Б... Статью Б. оставьте до меня, С. тоже лучше въ ноябрѣ помѣстить. Да что же У.?—неужели такъ ничего и не будетъ писать? По моему, это самый для насъ необходимый писатель, хотя послѣдняя его статья скучновата... Я попросилъ бы васъ спросить у Н., сколько ему нужно денегъ, и дать записку... Онъ, вѣроятно, нуждается. Что же касается до К., то до смерти его жалко... негодная вещь, я съ вами совершенно согласенъ, ибо читалъ. Говорятъ, что А. хорошо пишетъ. Я ничего не читалъ, но хвалятъ. Нельзя-ли его привлечь къ *Отеч. Запискамъ*... По-моему, Х. талантливъ. И его не мѣшало бы привлечь... Не слыхали-ли, не написалъ-ли чего Островскій?»

Имѣйте въ виду, что это пишетъ человѣкъ больной, слабый, уѣхавшій лѣчиться и отдыхать и въ дѣйствительности отдыхавшій только отъ чтенія рукописей и корректуръ, потому что надъ своими собственными вещами онъ не переставалъ работать. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ, очевидно, весь тутъ, въ нашей редакціи, въ этихъ двухъ комнатахъ, гдѣ бывало подчасъ такъ ужасно невесело и гдѣ, однако, всякая мелочь была ему дорога и близка. Но и отъ черной редакторской работы Салтыковъ не вполнѣ, всетаки, отдыхалъ за границей. 7 іюля 1881 г. онъ мнѣ писалъ: «Пожалуйста, помѣстите въ августовской книжкѣ N—скую статью... Послѣ будетъ ужъ поздно. Онъ ужасно обезкураженъ. Принесъ мнѣ статью беллетристическаго содержанія, довольно таки плохую, и, всетаки, надо будетъ помѣстить. На одномъ редактированіи придется мнѣ потратить дня три усидчиваготруда».

Источникомъ заграничныхъ волненій Салтыкова были, однако, преимущественно цензурныя условія. Вотъ выдержки изъ нѣсколькихъ тогдашнихъ писемъ.

7 іюля 1881 года: «Прочитали-ли вы мое письмо къ тетенькѣ? Я предположилъ написать штукъ 7 или 8... Но опасаюсь, что уже на первомъ письмѣ, пожалуй, произойдетъ осѣчка... Вѣроятно, въ минуту полученія вами этого письма іюльскій № будетъ уже въ цензурѣ. Пожалуйста, послѣдите за перипетіями этого пребыванія во чревѣ кита; буде что случится, обратитесь къ Краевскому».

15 августа: «Вы пишите отъ 11 числа и, къ сожалѣнію, ни однимъ словомъ не упоминаете, когда предполагаете отправить № въ цензуру. Мнѣ кажется, что мы много себѣ мученія прибавляемъ этою медленностью. Думаю, однакожъ, что хоть вчера то отправили въ виду двухъ праздничныхъ дней. Повѣрите-ли, такъ щемитъ сердце. Здѣсь все какіе-то безобразнѣйшіе слухи, которые принимаютъ тѣмъ болѣе уродливые размѣры, что нельзя провѣрки никакой сдѣлать. Все думается, что ждетъ нѣчто необыкновенно непріятное».

10 сентября: «Я очень просилъ бы васъ, нельзя-ли отослать 9 № въ цензуру 12 числа? Тутъ два дня праздниковъ».

14 сентября: «Вѣроятно, въ эту минуту *Отечественныя Записки* уже приготовляются къ отъѣзду въ цензуру. Отъ души желаю, чтобы путешествіе было благополучное, хотя, признаться, не совсѣмъ-то спокойно на сердцѣ».

16 сентября: «Благодарю за письмо, хотя весьма огорченъ, что отсылка 9 № отложена до вчерашняго числа. Дѣло въ томъ, что я выѣзжаю отсюда въ пятницу, а срокъ цензурный кончится въ субботу. По особенностямъ моего организма, я все время буду ѣхать съ стѣсненнымъ сердцемъ, тогда какъ если бы срокъ кончился сегодня, то Г. (конторщикъ) могъ бы телеграфировать мнѣ о результатѣ. Всякое мученіе нужно сокращать—вотъ мое правило».

Въ концѣ 1882 г. я долженъ былъ уѣхать изъ Петербурга, и хотя продолжалъ издали принимать участіе въ редактированіи *Отечественныхъ Записокъ*, но понятно, что, при самомъ горячемъ желаніи, не могъ на много облегчать работу Салтыкова, а онъ все слабѣлъ физически и омрачался духомъ. Затѣмъ произошла еще убыль въ составѣ сотрудниковъ. Временами Салтыковъ бодрился, утѣшалъ и меня и отдавался юмору. Но въ общемъ письма его за это время наполнены жалобами на судьбу, особенно послѣ того, какъ *Отечественныя Записки* получили въ 1883 г. второе предостереженіе. Дѣйстви-

тельно, положеніе его было необыкновенно трудно, и немудрено, что ему приходило въ голову даже бросить журналъ. Замѣчательно, однако, что и тутъ у него находилось доброе, утѣшающее слово для другихъ.

20 января 1883 г. онъ писалъ: «Что касается до меня, то со мною дѣлается нѣчто странное. Кашель меньше, а слабость ужасная. Шатаетъ. Вообще, доживаю свой вѣкъ. Вчера былъ Боткинъ. Молоко приказалъ пить, а я терпѣть его не могу. И еще говоритъ: меньше курите, а я люблю курить. Какъ умный человѣкъ, онъ, однакожъ, не прибавилъ: меньше волнуйтесь. Впрочемъ, я уже не волнуюсь, а просто до крайности все опостылѣло. Работать охоты нѣтъ. Боюсь, что къ февральской книжкѣ не поспѣю. Плохое мое дѣло».

30 іюня 1883 г.: «Мнѣ кажется, что вы слишкомъ неспокойно смотрите на ваше положеніе; это мѣшаетъ вамъ устроиться и работать. Что вы отсутствуете изъ Петербурга, съ этимъ журналъ еще можетъ кое-какъ устроиться; а вотъ что вы не работаете для журнала, это отзывается чувствительно. Впрочемъ, прошу васъ не принимать моихъ словъ за упрекъ, а просто за желаніе, чтобы журналъ былъ сколько-нибудь интереснѣе. Я былъ на-дняхъ у Краевскаго и говорилъ съ нимъ о журналѣ: окончательное рѣшеніе отложили до возвращенія моего изъ-за границы. Но вѣроятнѣе всего, что я съ будущаго года откажусь отъ редакторства. Во-первыхъ, съ двумя предостереженіями журналъ издавать совсѣмъ немыслимо, а, во-вторыхъ, я совсѣмъ измученъ и физически, и нравственно. Въ первомъ смыслѣ, я почти потерялъ зрѣніе, во второмъ—вижу себя до того одинокимъ, что страшно дѣлается. Помышляю о томъ, не переѣхать-ли въ Москву,—тамъ не будетъ-ли полюднѣе. Не имѣете-ли вы какую-нибудь комбинацію въ виду насчетъ *Отечественныхъ Записокъ*, которую могъ бы Краевскій принять?... Ежели всѣ три редактора будутъ отсутствовать, то журналъ несомнѣнно упадетъ, а быть редакторомъ падающаго журнала тоже не особенно лестно».

12 декабря 1883 г.: «Имѣю къ вамъ слѣдующую просьбу: не задерживайте выхода 1-й книжки. Я надѣюсь выпустить ее совсѣмъ невинную, и самъ затѣялъ разсказъ, въ которомъ идетъ рѣчь объ обстановкѣ дворянскаго дома и воспитаніи дворянскаго сына въ былые годы (*Пошехонская старина*). Боленъ я самымъ непріятнымъ образомъ... Это письмо пишу въ 7 часовъ утра, потому что разбудилъ страшный припадокъ кашля. Вотъ такъ работникъ! До свиданія, будьте здоровы. А мнѣ—матъ».

Такимъ образомъ, первая мысль о *Пошехонской старинѣ* относится еще къ 1883 г. Но текущія дѣла, злобы дня въ ту пору еще слишкомъ занимали Салтыкова и въ 1884 г. онъ выступилъ со *Сказками* и фельетонами *Между дѣломъ (Недоконченныя бесѣды)*. Сказки потерпѣли крушеніе. Сообщая мнѣ объ этомъ 14 февраля, Салтыковъ продолжаетъ: «Скажу вамъ откровенно, мнѣ становится невыносимо скучно. И старъ я, и боленъ, а тутъ еще въ цензурный комитетъ требуютъ и работу уничтожаютъ. Крѣпко подумываю я объ отставкѣ, хотя полуголодная старость вовсе для меня непривлекательна... На всякій случай, не хотите-ли вы такую комбинацію: дождавшись выхода мартовской или, пожалуй, апрѣльской книжки, предложить редакцію Карновичу? Вы бы могли оставаться въ томъ же положеніи, — объ этомъ можно бы съ Карновичемъ условиться, и прочіе сотрудники тоже. Я же продолжалъ бы участвовать въ журналѣ въ качествѣ сотрудника. Пишу вамъ все сіе откровенно и жду вашего откровеннаго отвѣта».

Я, разумѣется, никакимъ образомъ не могъ согласиться на эту комбинацію. Карновичъ былъ хорошій человѣкъ, но ни въ какихъ смыслахъ не соотвѣтствовалъ положенію редактора *Отечественныхъ Записокъ*. Все зданіе, долгими усиліями воздвигнутое, рухнуло бы,—такъ мнѣ представлялось, по крайней мѣрѣ,—самопроизвольно, и я предпочиталъ, чтобы оно лучше ужъ прямо шло на встрѣчу своей судьбѣ, хотя понималъ, что трудно Салтыкову, какъ онъ писалъ, «воевать на старости въ одиночку». И, кромѣ того, у меня были всетаки надежды. Салтыковъ, однако, и потомъ, послѣ прекращенія *Отечественныхъ Записокъ*, писалъ: «Мнѣ невольно припоминается приэтомъ, какъ было бы хорошо, еслибъ дѣло устроилось съ Карновичемъ!» Впрочемъ, тутъ онъ разумѣлъ только то, что, отказавшись отъ редакторства, онъ не былъ бы обремененъ непріятными хлопотами по ликвидаціи журнала. А съ Карновичемъ дѣло все равно не выгорѣло бы. Салтыковъ предполагалъ вручить ему бразды правленія послѣ мартовской или даже апрѣльской книжки, а апрѣльская уже не вышла.

Мнѣ хочется еще подчеркнуть здѣсь удивительную энергію творчества, не покидавшую Салтыкова даже въ это трудное время. 8 февраля онъ писалъ: «Ужасно обидно: задумалъ я сказку подъ названіемъ *Пестрые люди* (объ этомъ есть уже намекъ въ сказкѣ *Вяленая вобла*), какъ вдругъ вижу, что Успенскій объ томъ же предметѣ трактуетъ! Ну, да я свое возьму, не нынче, такъ завтра». 14 февраля: «Увы! мои сказки похерены, и что еще больше досадно, я на мартъ передалъ въ типографію еще 4 сказ-

ки и думалъ, что отработался, а выходитъ, что только всуе труждался зиждущій и долженъ былъ сегодня же взять сказки эти обратно». Письмо безъ даты: «Меня лукавый поддѣлъ писать *Между дѣломъ*... Я пишу пошехонскій разсказъ, но такъ какъ я разсчитывалъ на новыя сказки, которыя были уже совсѣмъ готовы и сданы въ типографію, то понятно, что, взявъ ихъ назадъ, я не могу поспѣть скоро. Къ тому же, я до того боленъ, что даже въ редакціи не могъ сегодня быть».

Душевное состояніе Салтыкова послѣ прекращенія *Отечественныхъ Записокъ* было необыкновенно тягостно. Какъ ни туго ему приходилось передъ концомъ журнала; какъ ни ворчалъ онъ на бремя, становившееся, дѣйствительно, неудоботносимымъ; какъ ни хотѣлъ онъ его сбросить и уйти,—но, когда пришлось это сдѣлать поневолѣ, онъ загоревалъ еще пуще. Погибло дорогое, любимое дѣтище, въ которое онъ всю душу свою клалъ. Поднимались сложные, трудные даже не для шестидесятилѣтняго больнаго человѣка вопросы: что же теперь дѣлать? куда идти? Оборвалась руководящая нить жизни... Я все еще жилъ тогда внѣ Петербурга и потому писемъ, относящихся къ этому времени, было у меня довольно много. Къ огромному моему сожалѣнію, они далеко не всѣ сохранились. Недостаетъ даже перваго, извѣщающаго о событіи.

Натура чрезвычайно дѣятельная, Салтыковъ получилъ нѣкоторое отвлеченіе отъ своего горя въ формѣ разнообразной возни по ликвидаціи *Отечественныхъ Записокъ*. Правда, онъ опять-таки очень ворчалъ на эту возню, — да и мудрено бы было продѣлывать ее съ кротостью,—но это всетаки былъ своего рода горчичникъ. Разсчеты съ издателемъ, конторой, подписчиками, журналами, привявшими на себя удовлетвореніе подписчиковъ, множество отнюдь не всегда пріятныхъ свиданій и разговоровъ,—все это было, конечно, и скучно, и хлопотно, и подавало поводъ къ разнымъ раздраженіямъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не давало мысли исключительно сосредоточиваться на постигшей журналъ бѣдѣ. Разсчеты были особенно сложны, какъ въ виду неожиданности событія, такъ и въ виду организаціи журнала: собственникомъ *Отечественныхъ Записокъ* былъ Краевскій, а мы были только арендаторами. Переписка наша по этому поводу не представляетъ для читателей никакого интереса, и я приведу только одну характерную для Салтыкова выдержку: «Вчера я имѣлъ съ Краевскимъ цѣлую стычку по поводу выдачи единовременно и безвозвратно нѣкоторой суммы денегъ, которая дала бы возможность осмотрѣться сотрудникамъ нашимъ, потерявшимъ работу. Насилу уломалъ дать, до разчета съ подписчиками, 2,500 руб., ибо онъ требовалъ, чтобы ждать разсчета. Деньги эти распредѣлены такъ... Я знаю, что этого мало, но ничего подѣлать не могу». Потомъ Салтыкову удалось нѣсколько увеличить эту сумму.

Но хлопоты по ликвидаціи *Отечественныхъ Записокъ* были всетаки только отвлеченіемъ и не могли заглушить горе совсѣмъ. Въ письмѣ отъ 11 мая 1884 г. Салтыковъ писалъ, между прочимъ: «Искренно благодаренъ вамъ, что откликнулись и вспомнили добромъ нашу совмѣстную службу на радость и пользу пошехонцамъ. Съ своей стороны отвѣчаю вамъ тѣмъ же. Думаю, что моя пѣсня уже спѣта и что ни лѣта мои, ни здоровье не позволяютъ въ этомъ отношеніи никакого сомнѣнія. Желаю мирной кончины живота моего, а что она будетъ непостыдна,—это уже отъ меня зависитъ... Желаю, чтобы жизнь когда-нибудь улыбнулась вамъ».

Въ другомъ письмѣ (безъ числа, что мимоходомъ сказать, случалось съ Салтыковымъ очень рѣдко: онъ былъ такъ же обстоятеленъ въ перепискѣ, какъ и въ работѣ): «Ничего не пишу и врядъ-ли буду. Слишкомъ великъ переполохъ и я слишкомъ старъ. Надо новую дорогу прокладывать, а это и трудно, да и противно... Я человѣкъ оконченный. Меня и теперь уже на половину забыли. Задумалъ я одну вещь давно «на всякій случай» (вѣроятно, дѣло идетъ о *Пошехонской старинѣ*), но теперь вижу, какъ мнѣ трудно изъ колеи выдти. Извините небрежность письма. Хотѣлъ бы и больше, и складнѣе поговорить, да лучше не ворошить. Боленъ я и... огорченъ!!!»

Въ письмѣ отъ 29 іюня: «Я очень радъ, что вы собираетесь работать, хотя, конечно, это для васъ будетъ трудно. Сужу по себѣ: съ тѣхъ поръ, какъ у меня душу запечатали, нѣтъ ни охоты, ни повода работать. Вся суть заключалась въ непрерывномъ общеніи съ читателемъ. Для русскаго литературнаго дѣятеля это, покамѣсть, единственная подстрекающая сила. А—чъ недюжинный человѣкъ, а стушевался, будучи лишенъ этого общенія. А надеждъ на возстановленіе общенія очень мало. Такъ мало, что я и не думаю о немъ. Если найдется возможность, буду кое-что кропать, а не то такъ и ухну въ Лету безъ разговоровъ. Ужасно какъ нелестно быть свидѣтелемъ своей собственной смерти».

23 іюля: «Я положительно потерялъ всякую охоту къ писанію и вотъ уже три мѣсяца, какъ ничего не дѣлаю. Я боленъ, а больше всего привыкъ работать въ общемъ тонѣ и въ *своемъ мѣстѣ* (подчеркнуто въ подлинникѣ). Куда я теперь пойду—просто

ума не приложу. Провидѣніе послало мнѣ ужасную старость. Я на свѣтѣ любилъ только одну особу—читателя, и его теперь у меня отняли».

11 августа, все того же 1884 г., сообщая, что въ одной петербургской газетѣ меня не совсѣмъ, при данныхъ условіяхъ, деликатно назвали «критикомъ, сошедшимъ со сцены», и характеризуя эту неделикатность словами, не вполнѣ удобными для печати, Салтыковъ прибавляетъ: «Можетъ быть, и обо мнѣ будутъ такъ же выражаться, и съ полнымъ основаніемъ, потому что чѣмъ больше я думаю о предстоящей литературной дѣятельности, тѣмъ болѣе сомнѣваюсь въ ея возможности. Собственно говоря, вѣдь, писать не объ чемъ. Легко сказать, пишите бытовыя вещи,—но трудно переломить свою природу. Прежде всего, это возьметъ пропасть времени, а мнѣ, между прочимъ, и деньги добывать нужно. И куда идти?—это тоже вопросъ... Я живу жизнью почти отчужденною и боленъ необыкновенно, чему отчасти, впрочемъ, и радъ, потому что это даетъ мнѣ надежду на скорую развязку... Меня дрожь пробираетъ въ виду предстоящаго безплодія моей жизни, и вся надежда на то, что скоро предстоитъ провести черту. О читателѣ скажу вамъ, что хотя я страстно его люблю, но это не мѣшаетъ мнѣ понимать, что онъ великій подлецъ».

17 ноября: «Я рѣшился печататься въ *Вѣстникѣ Европы* и въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*—больше идти некуда. Но, конечно, и въ томъ, и въ другомъ мѣстѣ я буду не болѣе, какъ случайный сотрудникъ. Скучно мнѣ до зарѣзу, и совсѣмъ не пишется».

14 февраля 1885 г.: «Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ чувствовать себя иностранцемъ въ журналѣ, въ которомъ участвуешь. А я именно нахожусь въ этомъ положеніи»...

Здѣсь умѣстно будетъ привести отрывокъ изъ письма, свидѣтельствующій о томъ, какъ понималъ Салтыковъ журнальную дисциплину: «N. написалъ фельетонъ, но совершенно невозможный. Вырвалъ изъ (такого-то изданія) три строки «примѣчанія» и привязался. Я не помѣстилъ фельетона, во-первыхъ, потому, что не вижу надобности пока вступать въ полемику, съ (такимъ-то изданіемъ); во-вторыхъ, ежели и понадобится полемика, то не по поводу случайныхъ трехъ строкъ, да и не N. же увлекать насъ на сей новый путь, а въ-третьихъ, я полагаю, что подобные шаги должны быть рѣшаемы обдуманно и сообща, чтобы можно было и впослѣдствіи поддержать полемику, а не отступать».

Вотъ и все, что я нашелъ возможнымъ извлечь изъ писемъ Салтыкова. Не то, чтобы въ нихъ не было больше ничего интереснаго. Напротивъ, тамъ есть много любопытныхъ и оригинально выраженныхъ сужденій о людяхъ, событіяхъ, литературныхъ произведеніяхъ, но они не подлежатъ, по крайней мѣрѣ, теперь, оглашенію. Однако, и то не многое, что приведено выше, хорошо характеризуетъ Салтыкова въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Вы видите, что этотъ человѣкъ, комически неспособный совершить такой элементарный актъ внѣшней вѣжливости, какъ поздравленіе съ имянинами, — человѣкъ, о которомъ составилось мнѣніе, какъ о суровомъ, грубомъ и надменномъ «литературномъ генералѣ», былъ, въ сущности, необыкновенно мягокъ и добродушенъ. Я не стану, конечно, утверждать, чтобы онъ былъ идеаломъ любезности. Но много-ли найдется такихъ редакторовъ, которые, пребывая ради своей пользы или удовольствія за границей, слѣдили бы оттуда и за такимъ-то, котораго «до смерти жалко», потому что онъ написалъ «негодную вещь», и за такимъ-то, который, «вѣроятно нуждается». А свидѣтельствъ такой внимательности къ чужимъ дѣламъ въ письмахъ много,—я только избѣгалъ повтореній. Въ томъ же ворохѣ разныхъ документовъ, изъ котораго я извлекъ письма Салтыкова, я нашелъ и кое-какія жалобы на него, и просьбы уладить тѣ или другія, иногда очень острыя недоразумѣнія, возникавшія между кѣмъ-либо изъ сотрудниковъ и Салтыковымъ. Многое въ этихъ случаяхъ объясняется дѣйствительно его раздражительностью, особенно за послѣднее время, когда онъ почти постоянно хворалъ. Но многое прямо зависитъ отъ неумѣнія разобраться въ этой оригинальной смѣси внѣшней, скажемъ, нелюбезности съ внутреннею мягкостью. Что до меня касается, я съ чувствомъ глубокой благодарности перечитывалъ тѣ его письма, въ которыхъ онъ пытается утѣшить, успокоить въ постигавшихъ меня бѣдахъ. Это выходило тѣмъ трогательнѣе, что ласковыхъ словъ въ его распоряженіи было отъ природы очень мало и что личной близости, какъ я уже говорилъ, между нами никогда не было.

Но съ особенною ясностью возникаетъ изъ приведенныхъ отрывковъ образъ настоящаго, кровнаго литератора, не диллетантски относящагося къ своему дѣлу, а отдавшагося ему цѣликомъ и безповоротно. Если читатель соблаговолитъ пересмотрѣть тѣ выписки изъ сочиненій Салтыкова, которыя сгруппированы въ первой главѣ моей статьи *Щедринъ*, и сопоставитъ ихъ съ вышеприведенными отрывками изъ писемъ, онъ увидитъ, до какой степени слово и дѣло сливались у покойнаго сатирика. Не для краснаго словца писалъ онъ въ *За рубежомъ:* «Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ

существуетъ цензурное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и иди; но выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ, право, не легко». Ему дѣйствительно было не легко, и мы видѣли выше, какъ въ самомъ дѣлѣ трепетало за границей его сердце за судьбу каждой книжки *Отечественныхъ Записокъ*. Недаромъ въ письмахъ встрѣчаются почти буквально тѣ же выраженія, которыя вошли потомъ, напримѣръ, въ *Приключеніе съ Крамольниковымъ*: «Крамольниковъ былъ коренной пошехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ». Правда, въ письмѣ прибавлено: «но это не мѣшаетъ мнѣ понимать, что читатель великій подлецъ». Ну, да, вѣдь, въ частномъ письмѣ мало-ли что можно себѣ позволять, особенно послѣ того, какъ оказался вопіющимъ въ пустынѣ гласъ оратора на похоронахъ литературнаго труженика Пимена Коршунова: «читатель! русскій читатель! защити»!

Въ страстной любви къ литературѣ, которою болѣлъ, именно болѣлъ, Салтыковъ, были спеціальныя особенности. Онъ не былъ любителемъ словесности, который можетъ спокойно, медленно и въ одиночку «творить» ввѣ общественной жизни и житейской борьбы или гдѣ-то надъ ними. Ему, какъ видно изъ писемъ (а сколько-нибудь проницательные люди могли бы увидѣть это и изъ сочиненій), нужно было, во-первыхъ, «непрерываемое общеніе съ читателемъ», безъ котораго онъ мучительно тосковалъ, и, во-вторыхъ, «работа въ общемъ тонѣ и въ *своемъ мѣстѣ*», безъ чего онъ, опять-таки, былъ самъ не свой. Лишенный читателя и «своего мѣста», онъ мрачно доживалъ свои дни съ «запечатанною душой»,—выраженіе необыкновенно мѣткое и вѣрное: душа жила и требовала себѣ работы и не находила ея въ удовлетворяющемъ размѣрѣ, потому что была запечатана. Распечатать ее могло бы только возрожденіе непрерывнаго общенія съ читателемъ и работы «въ общемъ тонѣ и своемъ мѣстѣ». Судьба не побаловала душу Салтыкова... Я не могу, къ сожалѣнію, привести другія, имѣющіяся въ письмахъ свидѣтельства отчаянной тоски по читателѣ и въ особенности по «общему тону и своему мѣсту». Но, полагаю, и приведеннаго достаточно, чтобы видѣть, до какой степени ошибочны нѣкоторые изъ повторяемыхъ въ печати взглядовъ на Салтыкова.

Выражаются, напримѣръ, сожалѣнія, иногда лицемѣрныя, а иногда, можетъ быть, искренно недоумѣнныя, о томъ, что Салтыковъ не помѣстилъ свой высокій талантъ цѣликомъ у подножія алтаря «вѣчнаго» искусства, а разорвался, дескать, на клочки въ угоду разнымъ злобамъ дня. Высказывается увѣренность, что онъ сдѣлалъ это изъ какихъ-то сторонніхъ побужденій, что онъ насиловалъ своедарованіе, соблазняясь доктринами, враждебными чистому художеству. Изъ приведеннаго видно, что, напротивъ, для всякой другой дѣятельности, кромѣ той, которую выбралъ Салтыковъ, онъ долженъ бы былъ «переломить свою природу», и что это ему было «трудно». Другіе утверждали, что Салтыковъ никогда никакими доктринами не соблазнялся, никогда таковыхъ не имѣлъ, ни къ какой опредѣленной партіи не принадлежалъ, а потому всѣ не прямо мракобѣсные элементы нашей литературы были ему «свои». Отсюда сожалѣнія, что онъ иногда билъ «своихъ»... Стоны, настоящіе стоны Салтыкова о «работѣ въ общемъ тонѣ и въ своемъ мѣстѣ» достаточно ясно говорятъ сами за себя.

Герой безвременья *).

I.

1814 г. октября 2-го, «въ домѣ господина покойнаго генералъ-маіора и кавалера Ѳедора Николаевича Толя, у живущаго капитана Юрія Петровича Лермонтова родился сынъ Михаилъ. Молитвовалъ протоіерей Николай Петровъ съ дьячкомъ Яковомъ Ѳедоровымъ. Крещенъ того же октября 11-го дня. Воспріемникомъ былъ господинъ коллежскій ассессоръ Ѳома Васильевичъ Хотяинцевъ, воспріемницей была вдовствующая госпожа гвардіи поручица Елизавета Алексѣевна Арсеньева».

Такъ значится въ метрической книгѣ церкви Трехъ Святителей, что у Красныхъ воротъ, въ Москвѣ. Справка эта была опубликована лишь въ 1873 г. Розоновымъ въ *Русской Старинѣ*. До тѣхъ же поръ и годъ, и число мѣсяца, и даже мѣсто рожденія Лер-

*) 1891 г.

монтова показывались въ разныхъ біографіяхъ различно. Да и послѣ приведенной справки разнорѣчивость показаній не совсѣмъ исчезла, такъ что еще въ 1891 году въ одной провинціальной газетѣ былъ поставленъ «открытый вопросъ нашимъ библіографамъ»—«когда родился М. Ю. Лермонтовъ?» Это характерно для скудости, сбивчивости и малоизвѣстности біографическихъ свѣдѣній о Лермонтовѣ вообще. За послѣднее время, впрочемъ, въ нашихъ историческихъ, а частію и общихъ журналахъ, вмѣстѣ со многими неизданными стихотвореніями Лермонтова, появилось довольно много отрывочныхъ біографическихъ данныхъ. Уясняя ту или другую фактическую подробность изъ жизни поэта, данныя эти, однако, мало прибавляютъ къ общимъ и кореннымъ чертамъ его духовной физіономіи, и въ этомъ отношеніи главный источникъ біографіи поэта составляетъ его собственная поэзія. Поэтъ въ высшей степени субъективный, лишь очень рѣдко, хотя и блистательно выступавшій въ роли созерцателя, Лермонтовъ на всѣ свои произведенія клалъ рѣзкую печать своей индивидуальности, вносилъ всюду самого себя, свою личность, не хотѣлъ или не могъ отъ нея отдѣлиться. Весь процессъ его духовнаго роста, всѣ даже мимолетныя его настроенія отражались въ его поэзіи. Еще Боденштедтъ замѣтилъ: «Важнѣйшее изображеніе личности Лермонтова все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ». Нельзя, однако, вполнѣ согласиться съ тѣми мотивами, которыми нѣмецкій переводчикъ нашего поэта поддерживаетъ свою очень вѣрную мысль. Онъ думаетъ, что въ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ «выказывается вполнѣ такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться». Это и вѣрно и невѣрно. Нисколько не сомнѣваясь въ искренности лермонтовской поэзіи, признавая ея высокую біографическую цѣнность, надо все-таки съ большою осторожностью черпать изъ нея біографическій матеріалъ, именно потому, что въ ней отражались даже мимолетныя его настроенія.

Лермонтовъ сталъ поэтомъ очень рано, 13—14 лѣтъ. Но еще раньше онъ проявляетъ свои художественныя наклонности въ другихъ формахъ. А. П. Шангирей, вспоминая раннее дѣтство поэта, пишетъ: «Мишель былъ мастеръ дѣлать изъ талаго снѣга человѣческія фигуры въ колоссальномъ видѣ; вообще онъ былъ счастливо одаренъ способностями и искусствомъ; уже тогда рисовалъ акварелью довольно порядочно и лѣпилъ изъ крашеного воска цѣлыя картины; охоту за зайцемъ съ борзыми, которую разъ всего пришлось намъ видѣть, вылѣпилъ очень удачно, также переходъ черезъ Граникъ и сраженіе при Арбеллахъ, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусомъ, и косами изъ фольги. Проявленіе же поэтическаго таланта въ немъ вовсе не было замѣтно въ то время; всѣ сочиненія по заказу Carel (учителя) онъ писалъ прозой и нисколько не лучше своихъ товарищей» («Русское Обозрѣніе», 1890, № 8). Съ теченіемъ времени зачаточные таланты живописца и скульптора не то что исчезли,—рисовать Лермонтовъ продолжалъ (не чуждъ былъ онъ и музыки),—а, такъ сказать, обогатили собою талантъ поэта, придавъ его описаніямъ необыкновенную яркость и выпуклость. Восхищаясь пейзажами въ поэзіи Лермонтова, гр. Растопчина справедливо замѣчаетъ: «онъ, самъ хорошій пейзажистъ, дополнялъ поэта живописцемъ» («Русская Старина», 1882, № 9). Бѣлинскій говоритъ, между прочимъ, о «Трехъ пальмахъ»: «Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаютъ въ этой пьесѣ поэзію съ живописью; это картина Брюлова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее». Но прежде, чѣмъ изобразить предметъ, положеніе, сцену, надо этотъ предметъ или сцену вообразить. И къ необыкновенной изобразительной способности Лермонтова, въ которой такъ счастливо и чудно сплелись разнородные таланты, баловница-природа прибавила еще даръ могучаго воображенія и быстрой мысли.

Въ одномъ дѣтскомъ стихотвореніи (1828 г.) Лермонтовъ писалъ;

> Таковъ поэтъ: чуть мысль блеснетъ,
> Какъ онъ перомъ своимъ прольетъ
> Всю душу...

Лермонтовъ былъ именно таковъ. Онъ самъ подсмѣивался надъ своею «страстью повсюду оставлять слѣды своего существованія»,—писалъ въ особыхъ тетрадяхъ, на клочкахъ бумаги, на стѣнахъ. Существуетъ, однако, мнѣніе, немногими, впрочемъ, какъ кажется, раздѣляемое, что онъ писалъ трудно. «Лермонтовъ ищетъ, сочиняетъ, улаживаетъ; разумъ, вкусъ, искусство указываютъ ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стихъ; но первоначальная мысль постоянно не имѣетъ полноты, неопредѣленна и колеблется; даже и теперь въ полномъ собраніи его сочиненій попадается тотъ же стихъ, та же строфа, та же идея, вставленная въ совершенно разныхъ пьесахъ» (гр. Ростопчина). Послѣднее совершенно справедливо: Лермонтовъ безъ всякой церемоніи переноситъ строфы и цѣлые ряды строфъ изъ одного своего произведенія въ другое и нерѣдко возвращался къ темамъ или даже прямо стихамъ, уже эксплоатиро-

ваннымъ раньше. Но въ большинствѣ случаевъ это отнюдь не результатъ колебанія или неопредѣленности первоначальной мысли, которыя можно замѣтить лишь въ очень немногихъ, большихъ произведеніяхъ, главнымъ образомъ въ «Демонѣ». Къ счастью, мы знаемъ по разсказамъ современниковъ, какъ были написаны по крайней мѣрѣ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова. Знаемъ, напримѣръ, какъ создалась «Вѣтка Палестины». Ожидая себѣ грозы за стихотвореніе на смерть Пушкина, Лермонтовъ зашелъ къ А. Н. Муравьеву поговорить по этому дѣлу и не засталъ его. Дожидаясь, онъ увидѣлъ привезенныя Муравьевымъ изъ Палестины пальмовыя вѣтви и тутъ же, на клочкѣ бумаги, написалъ стихотвореніе, помѣщаемое нынѣ во всѣхъ хрестоматіяхъ. Сидя по тому же дѣлу подъ арестомъ, Лермонтовъ велѣлъ приносимую ему провизію завертывать въ сѣрую бумагу и на этихъ клочкахъ, «съ помощью вина, печной сажи и спички», написалъ нѣсколько пьесъ, а именно: «Когда волнуется желтѣющая нива», «Я, матерь Божія, нынѣ съ молитвою», «Кто бъ ни былъ ты, печальный мой сосѣдъ», и передѣлалъ старую пьесу «Отворите мнѣ темницу», прибавивъ къ ней послѣднюю строфу «Но окно тюрьмы высоко». По свидѣтельству Хвостовой и другихъ, такъ же быстро и цѣльно выливались у Лермонтова стихи и въ ранней юности. Это гарантируетъ ихъ искренность. Поэтъ, долго обдумывающій и отдѣлывающій свои произведенія, можетъ быть, конечно, вполнѣ искрененъ, но можетъ также настолько отдѣлиться отъ своего первоначальнаго впечатлѣнія или настроенія, что передача ихъ уже утратитъ свою свѣжесть, явится передъ нами съ поправками позднѣйшаго анализа. Поэтъ можетъ быть самъ не въ состояніи будетъ по совѣсти сказать, такъ-ли онъ воспринялъ извѣстное явленіе, извѣстный моментъ жизни, какъ они выразились въ его стихахъ. Не то у Лермонтова: каждое его стихотвореніе представляетъ собою, такъ сказать, фотографію его душевнаго состоянія въ данную минуту. Но бѣда въ томъ, что подобная моментальная фотографія можетъ захватить и такія мимолетныя душевныя состоянія, которыя вовсе не характерны. Мало-ли что пробѣгаетъ въ головѣ человѣка, въ особенности человѣка молодого, неустановившагося, а вѣдь Лермонтовъ, начавъ писать стихи 13—14 лѣтъ, и всего-то 27-ми лѣтъ не прожилъ. За десятокъ съ небольшимъ годовъ его творческой дѣятельности, въ ней можно найти не мало противорѣчій, при томъ такихъ, которыя зависятъ не отъ того, что молодое растетъ, старое старится и съ теченіемъ времени и само себя отрицаетъ, не отъ опредѣленнаго, правильнаго роста, а отъ чисто случайныхъ причинъ. Граціознѣйшая въ мірѣ женщина можетъ случайно принять очень неграціозную позу, и если моментальная фотографія фиксируетъ ее въ этой позѣ, то это не будетъ ложь, но не будетъ и правда въ смыслѣ общей характеристики. Если умнѣйшій человѣкъ будетъ записывать все, что промелькнетъ въ его мозгу въ теченіе хотя бы только одного дня, въ его запискахъ навѣрное окажется не мало глупостей, но это не помѣшаетъ ему быть умнымъ человѣкомъ. Если впечатлительный поэтъ фиксируетъ свои даже мимолетныя настроенія на бумагѣ, если онъ вдобавокъ, какъ Лермонтовъ, обладаетъ пылкою и яркою фантазіей, которая расцвѣчаетъ не только пережитое, а и воображаемое, то критика должна очень старательно отличать здѣсь временное и случайное отъ постояннаго и характернаго. Не смотря однако на вытекающія отсюда трудности, мнѣ, по крайней мѣрѣ, представляется совершенно невозможнымъ даже внѣшнимъ образомъ отдѣлить фактическую біографію Лермонтова отъ его поэтическаго наслѣдія,—они слишкомъ переплетаются, поясняя и дополняя другъ друга.

Предокъ русской фамиліи Лермонтовыхъ, Юрій Лермонтъ, вышелъ изъ Шотландіи сначала въ Польшу, а потомъ, въ 1633 г., въ Московское государство, гдѣ и получилъ вотчины въ Галицкомъ уѣздѣ. Въ числѣ шотландскихъ предковъ Лермонтова не безъинтересно отмѣтить полу-легендарнаго поэта-пророка XIII вѣка Томаса Лермонта, которымъ очень интересовался Вальтеръ-Скоттъ. Преданіе приписываетъ этому Томасу Лермонту необыкновенныя, сверхъестественныя дарованія: въ юности онъ пробылъ семь лѣтъ въ царствѣ фей, гдѣ получилъ дары поэтическаго творчества и прорицанія и куда подъ конецъ жизни долженъ былъ опять вернуться при чрезвычайно поэтической обстановкѣ. На этотъ сюжетъ Вальтеръ-Скоттъ написалъ балладу. Мы имѣемъ свидѣтельства, что Лермонтовъ очень рано познакомился съ поэтическими произведеніями Вальтеръ-Скотта, но упомянутой баллады, равно какъ и положенной въ ея основаніе легенды, очевидно, не зналъ. Иначе величаво-таинственный образъ Томаса Лермонта, конечно, вдохновилъ бы его. Въ юности Лермонтовъ, повидимому, раздѣлялъ заблужденіе, существующее и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ вѣтвяхъ фамиліи Лермонтовыхъ, что они происходятъ отъ герцога Лермы, бѣжавшаго въ Шотландію. Подъ нѣкоторыми письмами онъ подписывался M. Lerma и рисовалъ сначала на стѣнѣ углемъ, а потомъ на полотнѣ масляными красками поясной портретъ человѣка въ средне-вѣковомъ испанскомъ

костюмѣ, съ цѣпью ордена Золотого Руна на шеѣ,—можетъ быть это былъ предполагаемый испанскій предокъ. Но это еще вопросъ, а что Лермонтовъ, по крайней мѣрѣ временами, интересовался въ юности именно своимъ шотландскимъ происхожденіемъ, тому есть доказательства въ его поэтическомъ наслѣдіи. Къ 1830 г. относится стихотвореніе «Гробъ Оссіана», къ 1831 г.— стихотвореніе «Зачѣмъ я не птица, не воровъ степной». Здѣсь говорится о «горахъ Шотландіи моей», о желаніи «задѣть струну шотландской арфы», о замкѣ предковъ, о висящихъ на древней стѣнѣ «наслѣдственномъ щитѣ и заржавленномъ мечѣ» и проч. Второе изъ названныхъ стихотвореній кончается такъ:

Послѣдній потомокъ отважныхъ бойцовъ
Увядаетъ средь чуждыхъ снѣговъ;
Я здѣсь былъ рожденъ, но не здѣшній душой...
О, зачѣмъ я не воронъ степной!

На самомъ дѣлѣ очень сомнительно, чтобы въ Лермонтовѣ сохранилось хоть что-нибудь шотландское по крови, навѣрное ничего не было спеціально шотландскаго по духу, и русскіе снѣга, среди которыхъ онъ будто бы «увядалъ» въ шестнадцать лѣтъ, отнюдь не были ему чужды въ какомъ бы то ни было отношеніи. Упомянутыя стихотворенія интересны, однако, какъ свидѣтельство рано сказавшейся мечтательности и силы фантазіи, хватающейся за каждый намекъ, чтобы начать свою красивую работу. На подлинникѣ стихотворенія «Гробъ Оссіана» сдѣлана замѣтка: «узналъ отъ путешественника описаніе сей могилы». Случайнаго разсказа какого-то путешественника, въ связи съ какими-нибудь столь же случайными разговорами о шотландскихъ предкахъ, достаточно было, чтобы пылкая фантазія заработала на подсунутую ей случаемъ тему, чтобы Шотландія стала отчизной, а Россія чужбиной. Но затѣмъ фантастическая шотландская отчизна уже ни разу болѣе не появляется въ стихахъ Лермонтова, да и въ томъ же 1831 г., къ которому относится стихотвореніе «Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной», Лермонтовъ писалъ:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невѣдомый избранникъ,—
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.

Спрашивается, какое же біографическое значеніе могутъ имѣть двѣ вспышки шотландскаго патріотизма? Никакого, кромѣ свидѣтельства, что юный Лермонтовъ умѣлъ совершенно проникнуться положеніемъ воображаемаго «послѣдняго потомка отважныхъ бойцовъ» Шотландіи, передъ которымъ отчетливо рисуются замокъ предковъ, ихъ щиты и мечи. Необыкновенная отчетливость всей этой созданной воображеніемъ картины такъ сильно дѣйствуетъ на поэта, что онъ въ ту минуту искренно видитъ въ себѣ «послѣдняго потомка»: онъ подавленъ своимъ собственнымъ могучимъ воображеніемъ. А между тѣмъ толчокъ всей этой работѣ данъ чистою случайностью. Въ ранней молодости, когда мысль еще не направлена жизнью въ какое-нибудь опредѣленное русло, подобныхъ случайныхъ толчковъ должно было, конечно, быть оссбенно много. Поэтому-то о раннихъ произведеніяхъ Лермонтова такъ часто и слышатся суровые приговоры не только относительно формы, но и относительно содержанія. Заподозрѣвается именно ихъ искренность.

Приведя послѣсловіе къ одному изъ набросковъ «Демона», Дудышкинъ говоритъ: «Человѣкъ, который по *шестнадцатому году* (курсивъ Дудышкина) писалъ такіе стихи о себѣ, конечно, не могъ писать ихъ иначе, какъ вслѣдствіе подражательности. Чтобы видѣть въ мірѣ одну несправедливость, всякое отсутствіе гармоніи и потомъ перенести эту дисгармонію сначала на душу человѣка, а потомъ на все общество; сдѣлать изъ этой идеи—идеалъ, наконецъ, этотъ идеалъ облечь прелестью презрѣнія ко всему... согласитесь, что до этого сознанія Лермонтовъ не могъ достигнуть, будучи 14 лѣтъ, а все это уже видно въ первомъ очеркѣ «Демона» («Ученическія тетради Лермонтова», «Отечественныя Записки», 1859, № 7).

А. И. Шангирей, хорошо знавшій поэта, пишетъ въ цитированной выше статьѣ: «Вообще большая часть произведеній Лермонтова съ 1829 по 1833 г. носитъ отпечатокъ скептицизма, мрачности и безнадежности, но въ дѣйствительности чувства эти были далеки отъ него. Онъ былъ характера скорѣй веселаго, любилъ общество, особенно женское, въ которомъ почти выросъ и которому нравился живостью своего остроумія и склонностью къ эпиграммамъ; часто посѣщалъ театры, балы, маскарады; въ жизни не зналъ никакихъ лишеній, ни неудачъ: бабушка въ немъ души не чаяла и никогда ни въ чемъ ему не отказывала; родные и короткіе знакомые носили его, такъ сказать, на рукахъ; особенно чувствительныхъ утратъ онъ не терпѣлъ; откуда же такая мрачность, такая безнадежность?» Шангирей думаетъ, что все это было дѣломъ лишь моды и подражанія Байрону.

Можно бы было привести и еще подобные же отзывы. Но для насъ особенно любопытны показанія Шангирея, товарища дѣтства Лермонтова и очевидца его развитія. Это вѣдь ужъ, кажется, свѣдущій человѣкъ. И однако этотъ свѣдущій человѣкъ рѣшается утверждать, что «особенно чув-

ствительныхъ утратъ Лермонтовъ не терпѣлъ», тогда какъ мы знаемъ, что онъ потерялъ мать по третьему году и отца, будучи уже юношей, способнымъ чувствовать и понимать, какъ не всякій взрослый. Мы знаемъ далѣе, что семейная обстановка, въ которой росъ Лермонтовъ, отнюдь не изъ однихъ розовыхъ лепестковъ и лебяжьяго пуха состояла, хотя бабушка въ немъ дѣйствительно души не чаяла. Сначала между родителями поэта, а потомъ, послѣ смерти матери, между отцомъ и бабкой его происходила какая то затяжная и тяжелая драма. Въ чемъ она состояла, въ точности неизвѣстно, да пожалуй, не любопытно. Важно только, что она была и тяжело отзывалась на ребенкѣ, а эту тяжесть онъ въ свою очередь передавалъ бумагѣ перомъ. Въ юношеской лирикѣ Лермонтова бабушка не поминается, но мать и отецъ являются не одинъ разъ, и всегда съ трагической стороны: «Въ младенческихъ лѣтахъ я мать потерялъ»; «Я сынъ страданья, мой отецъ не зналъ покоя по конецъ, въ слезахъ угасла мать моя»; «Ты далъ мнѣ жизнь, но счастья не далъ. Ты самъ на свѣтѣ былъ гонимъ, ты въ людяхъ только зло извѣдалъ»; «Ужасная судьба отца и сына—жить розно и въ разлукѣ умереть... Но ты свершилъ свой подвигъ, мой отецъ, постигнуть ты желанною кончиной! Дай Богъ, чтобы, какъ твой, спокоенъ былъ конецъ того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ причиной! Но ты простишь мнѣ... Я-ль виновенъ въ томъ, что люди угасить въ душѣ моей хотѣли огонь божественный, отъ самой колыбели горѣвшій въ ней, оправданный Творцомъ? Однакожъ тщетны были ихъ желанья: мы не нашли вражды одинъ въ другомъ, хоть оба стали жертвою страданья... Не мнѣ судить, виновенъ ты иль нѣтъ, ты свѣтомъ осужденъ... А что такое свѣтъ?»

Въ юношескихъ драмахъ мать не фигурируетъ, но за то является на сцену бабушка, и вмѣстѣ съ тѣмъ выясняются подробности и мотивы по крайней мѣрѣ второй половины тяжелой семейной исторіи, очевидно глубоко волновавшей поэта. Первая половина этой исторіи—размолвка родителей—можетъ быть навсегда осталась не вполнѣ ему ясной, какъ неясна она и для насъ. Можетъ быть онъ и впослѣдствіи узналъ немногимъ больше того, что онъ потерялъ мать «въ младенческихъ лѣтахъ», и что она «въ слезахъ угасла». Слышалъ онъ, вѣроятно, на этотъ счетъ разное и ни на чемъ опредѣленномъ не остановился. Распря между отцомъ и бабушкой была ему гораздо болѣе извѣстна, потому что онъ могъ уже самъ и наблюдать и оцѣнивать. Болѣе извѣстна она и намъ.

Мать Лермонтова умерла въ февралѣ 1817 г. Умерла она въ пензенскомъ имѣніи своей матери, Елизаветы Алексѣевны Арсеньевой, Тарханахъ, въ присутствіи своего мужа. Но вдовецъ пробылъ въ Тарханахъ, послѣ ея смерти, только девять дней и уѣхалъ въ другое имѣніе, оставивъ трехлѣтняго сына на попеченіи бабушки, которая была вмѣстѣ съ тѣмъ и крестною матерью его. Вскорѣ, однако, вдовецъ потребовалъ сына къ себѣ. Сохранилось письмо Сперанскаго отъ 5-го іюня того же 1817 г. къ брату Арсеньевой, Аркадію Столыпину: «Елизавету Алексѣевну ожидаетъ крестъ новаго рода: Лермонтовъ требуетъ къ себѣ сына и едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорятъ, худой человѣкъ; таковъ по крайней мѣрѣ долженъ быть всякъ, кто Елизаветѣ Алексѣевнѣ, воплощенной кротости и терпѣнію, рѣшится дѣлать оскорбленіе» («Русскій Архивъ» 1870 г., стр. 1136). Объ отцѣ Лермонтова мы почти ничего достовѣрно не знаемъ, ни хорошаго, ни худаго, а аттестаціи Сперанскаго можемъ и не вѣрить, такъ какъ она основана на «говорятъ» и вѣрнѣе всего на показаніяхъ бабки поэта, Е. А. Арсеньевой, въ данномъ случаѣ лицомъ заинтересованнымъ и едва-ли безпристрастнымъ. Какъ бы то ни было, Арсеньева безъ ума любила своего внука и не хотѣла отдавать его отцу, изъ-за чего между ними происходили ссоры и пререканія. Преданіе, сообщаемое г. Висковатовымъ, сохранило слѣдующую любопытную подробность этой распри. Когда Юрій Петровичъ (отецъ Лермонтова) пріѣзжалъ въ Тарханы навѣстить сына, то тотчасъ же посылались на почтовыхъ гонцы въ Саратовскую губернію за братомъ бабушки, Аѳанасіемъ Столыпинымъ, «звать его на помощь для защиты, на случай отнятія («Русская Мысль» 1881 г., № 12). Черта эта, любопытная и сама по себѣ, становится еще интереснѣе въ виду того, что она цѣликомъ воспроизводится въ юношеской драмѣ Лермонтова «Menschen und Leidenschaften».

Василій Михалычъ. Когда должно твоему отцу пріѣхать, здѣшнія подлыя сосѣдки... получили посредствомъ ханжества довѣренность Мароы Ивановны; сказали ей, что онъ пріѣхалъ отнять тебя у нея... и она повѣрила... Доходятъ же люди до такого сумашествія!

Юрій. Отецъ... хотѣлъ отнять сына... отнять... развѣ онъ не имѣлъ полнаго права надо мной, развѣ я не его собственность?.. Но нѣтъ, я вамъ снова говорю, вы смѣетесь надо мною...

Василій Михалычъ. Доказательство въ истинѣ моего разсказа есть то, что бабушка твоя тотчасъ послала курьера къ Павлу Иванычу, и онъ на другой день прискакалъ.

Уже одно это частное совпаденіе ясно говоритъ объ автобіографическомъ значеніи драмы «Menschen und Leidenschaften». Главный же узелъ этой драмы выраженъ въ словахъ, съ которыми ея юный герой, Юрій Волинъ, обращается къ своему другу Заруцкому: «Ты знаешь, что у моей бабки, у моей воспитательницы, жестокая распря съ отцомъ моимъ, и это все на меня упадаетъ». Это живое реальное ядро драмы обставлено разными искусственными подробностями напыщенно романтическаго характера, и вообще вся драма представляетъ собою нѣчто совершенно дѣтское. Но собственно положеніе молодого человѣка между двухъ огней, между бабкой и отцомъ, намѣчено хорошо и правдиво. Вообще всѣ четыре извѣстныя намъ юношескія драмы Лермонтова построены на мотивахъ семейныхъ раздоровъ, хотя и не вездѣ тѣхъ, какіе онъ могъ видѣть около себя. Затѣмъ въ той же драмѣ «Menschen und Leidenschaften» очень неискусно выполнена, но живо и правдиво задумана самая фигура бабушки. Эту смѣсь ханжества, помѣщичьей жестокости и искренней любви къ внуку 15—16-лѣтній мальчикъ не могъ выдумать, какъ бы ни была могуча его фантазія, потому что въ этой фигурѣ нѣтъ ничего фантастическаго; не могъ и изъ книгъ вычитать, потому что такихъ книгъ не было. Списалъ-ли онъ эту бабушку съ своей собственной бабки, неизвѣстно, потому что съ этой стороны мы не имѣемъ объ его бабкѣ свѣдѣній. Роль Маріи Ивановны въ семейной драмѣ и нѣкоторыя внѣшнія черты сходства (Марѳа Ивановна ходитъ, опираясь на палку, — бабка поэта, по разсказамъ, тоже опиралась на палку) заставляютъ думать, что это такъ. Но она-ли или кто другой послужилъ оригиналомъ для Маріи Ивановны, а изъ драмы видно, что юнаго поэта коробило отъ пощечинъ и плетей, раздаваемыхъ крѣпостной дворнѣ. Тотъ же мотивъ находитъ себѣ, хотя опять-таки неискусное, но сильное выраженіе въ драмѣ «Странный человѣкъ», — въ жалобахъ крестьянъ на звѣрскую жестокость помѣщицы.

Такимъ образомъ дѣтство Лермонтова прошло среди впечатлѣній, несомнѣнно тяжелыхъ. Конечно, съ иного они могли бы сойти, какъ съ гуся вода, но въ душѣ юнаго поэта они оставляли явственно болѣзненные слѣды. Отсюда мрачный характеръ даже его юношеской поэзіи. Отъ Галахова до г. Спасовича цѣлый рядъ писателей старался опредѣлить вліяніе на Лермонтова другихъ поэтовъ, главнымъ образомъ, Байрона. Другой рядъ критиковъ, отъ Боденштедта до г. Острогорскаго, не отрицая слишкомъ очевиднаго вліянія Байрона, находилъ, однако, что тонъ поэзіи Лермонтова вполнѣ объяснимъ и безъ этого вліянія. «Въ Лермонтовѣ демоническій элементъ поэзіи объясняется естественнѣе, нежели въ Байронѣ», — говоритъ Боденштедтъ. И я думаю, что онъ правъ. Въ поэзіи Лермонтова, въ особенности, конечно, ранней, юношеской, можно найти много напускного, навѣяннаго со стороны какою-нибудь случайностью. Образчикомъ можетъ служить хоть бы тотъ же внезапный шотландскій патріотизмъ, который какъ скоро пришелъ, такъ скоро и ушелъ. Но изъ этого слѣдуетъ только, что, установляя связь между личною жизнью Лермонтова и его произведеніями, надо прежде всего опредѣлить наиболѣе постоянные и наиболѣе часто звучащіе аккорды его поэзіи.

II.

Не надо быть послѣдователемъ Карлейля съ его культомъ «героевъ», чтобы признать фактъ существованія людей, по самой природѣ своей призванныхъ вести другихъ за собой, стоять впереди другихъ. Это однако отнюдь не непремѣнно благодѣтели человѣчества (какъ думалъ Карлейль), или своей родины, или просто окружающихъ людей. Они могутъ быть и таковыми, но точно также могутъ представлять собою исходные пункты огромныхъ золъ, потому что могутъ вести за собою толпу на злое дѣло и быть, по старинному образному выраженію, настоящими «бичами божіими». Ставъ на эту точку зрѣнія, мы должны допустить въ прирожденныхъ властныхъ людяхъ или герояхъ возможность значительныхъ умственныхъ и нравственныхъ изъяновъ: зло, ими распространяемое, очевидно, составляетъ результатъ либо ошибочнаго пониманія, узкости кругозора, односторонности мысли, вообще какого-нибудь умственнаго недостатка, либо нравственной извращенности, недостатка нравственнаго. И, дѣйствительно, исторія свидѣтельствуетъ, что во главѣ того или иного движенія, энергически воздѣйствуя на своихъ современниковъ, соотечественниковъ, сотоварищей, становятся иногда люди ограниченные, а иногда жестокіе, мелочно самолюбивые, развратные. Обращаясь къ самому понятію героя, какъ вожака, какъ перваго въ своемъ родѣ человѣка, которому безотчетно повинуются или за которымъ безотчетно слѣдуютъ другіе, мы увидимъ, что добродѣтели могутъ его и не украшать, онѣ не составляютъ необходимой его принадлежности. Быть можетъ единственное нравственное качество, безусловно необходимое «герою», есть смѣлость. Но и то, это такое качество, которому не легко точно указать мѣсто въ ряду добродѣтелей.

Нѣкоторыя выдающіяся умственныя качества—если не глубокій умъ и широкій полетъ мысли, то, по крайней мѣрѣ, быстрота соображенія, извѣстный такъ въ сношеніяхъ съ людьми, извѣстные таланты,—повидимому, обязательны для прирожденныхъ властныхъ людей. Не говоря, однако, о томъ, что обязательный минимумъ ихъ умственныхъ силъ можетъ быть, при извѣстныхъ условіяхъ, вовсе незначителенъ, не трудно видѣть, что центръ тяжести «героя» во всякомъ случаѣ лежитъ не въ области ума. Герой есть прежде всего представитель инціативы, человѣкъ почина, перваго шага, энергической воли и мгновенной или постоянной рѣшимости. Все остальное, какъ въ его собственной личности, такъ и въ характерѣ предпринятаго имъ дѣла, есть сцѣпленіе побочныхъ обстоятельствъ, — герой можетъ быть ума геніальнаго или посредственнаго, блистать добродѣтелями или грязнуть въ порокахъ, равнымъ образомъ и дѣло его можетъ быть велико или ничтожно, благотворно или вредоносно. Все это, разумѣется, можетъ имѣть чрезвычайно важное значеніе съ разныхъ другихъ точекъ зрѣнія; но когда мы хотимъ выдѣлить основныя, типически необходимыя черты героя, то на первомъ мѣстѣ должна быть поставлена его роль человѣка, дерзающаго совершить то, передъ чѣмъ другіе колеблются, и затѣмъ превращающаго это колебаніе въ покорность. У героя, съ одной стороны, и у слѣдующихъ за нимъ или повинующихся ему, съ другой, должна быть нѣкоторая общая почва, иначе невозможно было бы ихъ взаимодѣйствіе; въ составъ этой общей почвы могутъ входить разнообразные умственные и нравственные элементы. Но затѣмъ есть нѣчто, рѣзко отдѣляющее героя отъ толпы, рѣзко выдвигающее его впередъ. Это нѣчто состоитъ въ томъ, что герой дерзаетъ и владѣетъ. Дерзать и владѣть есть такая же специфическая внутренняя потребность героя, какъ потребность творчества въ поэтѣ или потребность философскаго обобщенія въ мыслителѣ. Въ какія бы условія ни былъ поставленъ прирожденный властный человѣкъ, онъ, какъ паукъ паутину, безсознательно, инстинктивно плететъ сѣть для уловленія и подчиненія себѣ людскихъ сердецъ,—удачно или неудачно для себя лично, на благо или во вредъ другимъ.

Если мы будемъ искать въ лермонтовской поэзіи ея основной мотивъ, ту центральную ея точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и къ которой прямо или косвенно сводятся если не всѣ, то большинство его произведеній, найдемъ ее въ области героизма. Съ ранней молодости, можно сказать, съ дѣтства и до самой смерти мысль и воображеніе Лермонтова были направлены на психологію прирожденнаго властнаго человѣка, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную. Слѣды этого преобладающаго и всю поэзію Лермонтова окрашивающаго интереса не такъ замѣтны въ лирикѣ, потому что сюда вторгаются разныя мимолетныя впечатлѣнія, которыя, на мгновеніе всецѣло овладѣвъ поэтомъ, отступаютъ потомъ назадъ, чтобы болѣе уже не повторяться или даже уступить мѣсто совершенно противоположнымъ настроеніямъ. Мы уже видѣли образчикъ этой перемѣнчивости настроеній во внезапной вспышкѣ шотландскаго патріотизма. Что же касается настоящаго русскаго патріотизма Лермонтова, то достаточно сравнить стихотворенія «Опять народные витіи» и «Родина» («Люблю отчизну я, но странною любовью»). Рѣзкая разница между этими двумя стихотвореніями естественно объясняется лежащимъ между ними десятилѣтнимъ промежуткомъ (1831 и 1841 гг.), въ теченіе котораго поэтъ выросъ до неузнаваемости. Однако и въ лирикѣ, среди этихъ внезапныхъ, быстро гаснущихъ вспышекъ и противорѣчій, объясняемыхъ естественнымъ ходомъ развитія, вышеуказанный основной мотивъ даетъ себя знать постоянно, такъ что и здѣсь помимо него трудно подвести итоги лермонтовской поэзіи. Но въ поэмахъ, повѣстяхъ и драмахъ дѣло во всякомъ случаѣ яснѣе.

Нечего и говорить о «Демонѣ». Этотъ фантастическій образъ существа, когда то дерзнувшаго совершить высшее, единственное въ своемъ родѣ преступленіе—возстать на самого Творца и который затѣмъ втеченіе вѣковъ «не встрѣчалъ сопротивленія» въ подвластныхъ ему милліонахъ людей, этотъ образъ достаточно всѣмъ знакомъ и достаточно ясно говоритъ самъ за себя. Достойно вниманія и упорство, съ которымъ Лермонтовъ работалъ надъ «Демономъ», постоянно его исправляя и дополняя. Одновременно съ первоначальнымъ очеркомъ «Демона» писалась прозаическая повѣсть, неоконченная, оставшаяся даже безъ заглавія. Позднѣйшіе издатели даютъ ей названіе «Горбунъ» или «Горбачъ Вадимъ». Герой этой повѣсти есть тотъ же Демонъ, только лишенный фантастическихъ атрибутовъ и притомъ физически безобразный. Онъ, какъ Демонъ, богохульствуетъ, какъ Демонъ, переполненъ ненависти и презрѣнія къ людямъ, какъ Демонъ, готовъ отказаться отъ зла и ненависти, если его полюбитъ любимая женщина. А главное, Вадимъ, какъ Демонъ имѣетъ таинственную власть надъ людьми. Эта черта обрисовывается на первой же страницѣ повѣсти, когда Вадимъ

появляется въ толпѣ нищихъ у монастырскихъ воротъ. «Его товарищи не знали, кто онъ таковъ, но сила души обнаруживается вездѣ: они боялись его голоса и взгляда, они уважали въ немъ какой-то величайшій порокъ, а не безграничное несчастіе, демона, но не человѣка». Горбачъ Вадимъ «долженъ былъ родиться всемогущимъ или вовсе не родиться». Онъ былъ «духъ, отчужденный отъ всего живущаго, духъ всемогущій». Любопытно описаніе глазъ Вадима: «Этотъ взоръ былъ остановившаяся молнія, и человѣкъ, подверженный его таинственному вліянію, долженъ былъ содрогнуться и не могъ отвѣчать тѣмъ же, какъ будто свинцовая печать тяготѣла на его вѣкахъ; если магнетизмъ существуетъ, то взглядъ нищаго былъ сильнѣйшій магнетизмъ».

«Горбунъ» есть совершенно дѣтская вещь, переполненная напыщенными описаніями и невозможными трескучими эффектами, которые особенно бросаются въ глаза, благодаря прозаической формѣ повѣсти; прелесть и сила даже юношескаго лермонтовскаго стиха, конечно, много бы ее скрасили. Но тѣмъ поразительнѣе разбросанныя въ повѣсти отдѣльныя замѣчанія, наблюденія, сопоставленія, которыя сдѣлали бы честь и вполнѣ зрѣлому уму. Что же касается чертъ прирожденнаго властнаго человѣка, то мы встрѣчаемъ ихъ и въ самомъ зрѣломъ изъ крупныхъ произведеній Лермонтова, — въ «Героѣ нашего времени». Печоринъ говоритъ о себѣ: «Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути... Честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинить моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувства любви, преданности и страха — не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиной страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости?» Любимая женщина пишетъ Печорину: «Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о, нѣтъ! Но въ твоей природѣ есть что то особенное, тебѣ одному свойственное, что то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ». Печоринъ и самъ задумывается: «Одно мнѣ было всегда странно: я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ, я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это? Отъ того ли, что я никогда очень ничѣмъ не дорожу и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это — магнетическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ просто не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?»

Въ юношеской драмѣ «Испанцы» главное дѣйствующее лицо, молодой Фернандо, характеризуется іезуитомъ Соррини такъ: «Повѣса онъ большой и пылкій малый, съ мечтательной и буйной головой. Такіе люди не служить родились, но всѣмъ другимъ приказывать». Въ «Menschen und Leidenschaften» Заруцкій говоритъ о героѣ драмы: «Волинъ былъ удалый малый: ни въ чемъ никому не уступалъ—ни въ буянствѣ, ни въ умныхъ дѣлахъ и мысляхъ: во всемъ былъ первымъ, и я завидовалъ ему». Герой неоконченной стихотворной повѣсти «Литвинка»—«повелѣвать толпѣ былъ пріученъ». Измаилъ-Бей—«повелитель, герой по взорамъ и рѣчамъ». Онъ принадлежитъ къ числу «дѣтей рока», которыя, «въ морѣ бѣдъ, какъ вихри ихъ ни носятъ, пособій отъ рабовъ не просятъ, хотятъ ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ, и власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ». Въ «Фаталистѣ», какъ только Вуличъ обнаруживаетъ изъ ряда вонъ выходящую рѣшимость, готовясь совершить безумно рискованный шагъ, происходитъ слѣдующая сцена: «Онъ знакомъ пригласилъ насъ сѣсть кругомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ пріобрѣлъ надъ нами какую то таинственную власть».

И т. д. Я могъ бы еще увеличить число этихъ выписокъ, но и приведеннаго довольно, чтобы видѣть, какое пристальное вниманіе удѣлялъ Лермонтовъ во всѣ періоды своей жизни той странной власти, которую обнаруживаютъ нѣкоторые люди, «не имѣя на то никакого положительнаго права». Но онъ не просто отмѣчалъ фактъ этой власти. Онъ съ ранней юности анализировалъ его, взвѣшивалъ его значеніе, дѣлалъ изъ него выводы, иногда нѣсколько смутные, а иногда поразительные по глубинѣ мысли. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна вышеупомянутая, мало обращающая на себя вниманіе и, кажется, даже не во всѣ новыя изданія вошедшая повѣсть «Горбунъ». Мнѣ случалось слышать мнѣніе, что это вещь совершенно недостойная Лермонтова, а потому и вниманія не стоющая. Это и справедливо если имѣть въ виду только художественную форму. Но и по замыслу, и по общему содержанію, и по блесткамъ оригинальной мысли, «Горбунъ» есть произведеніе Лермонтовское по преимуществу, если можно такъ выразиться, хотя Лермонтову было всего

шестнадцать лѣтъ, когда онъ писалъ его. Мѣстами слишкомъ не-дѣтское содержаніе, заключенное въ совершенно дѣтскую форму изложенія, производитъ даже непріятное впечатлѣніе чего-то старообразнаго. Становится даже какъ будто жалко автора, который, будучи такъ явно ребенкомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много передумалъ и перечувствовалъ.

Между прочимъ шестнадцатилѣтній авторъ замѣчаетъ: «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много». Это скорбное замѣчаніе на всю жизнь осталось руководящимъ для Лермонтова. Имъ опредѣляются существеннѣйшая часть содержанія его поэмъ, драмъ и повѣстей, характеръ его лирики и, наконецъ, бурныя волны его собственной жизни. Въ развитіи этой темы онъ достигалъ и непревзойденныхъ вершинъ художественной красоты и, я рѣшаюсь сказать, предчувствія научной точности въ постановкѣ соотносящихся вопросовъ.

Неудивительно, что юное воображеніе плѣняется какимъ-нибудь Измаилъ-Беемъ, красавцемъ въ живописномъ костюмѣ, скачущимъ на борзомъ конѣ среди грандіозной кавказской природы или врубающимся въ ряды непріятелей, привлекающимъ всѣ женскіе взоры, мстящимъ по рыцарски—лицомъ къ лицу и при дневномъ свѣтѣ. Здѣсь все красиво, изящно, благородно. Но Вадимъ,— что въ немъ плѣнительнаго? Онъ—горбатый, уродливый, грязный нищій, онъ золъ и жестокъ, онъ, терпѣливо выжидая часа мести, холопствуетъ, терпитъ побои, ругательства. Къ чему и чѣмъ можетъ въ немъ прилѣпиться юная душа, полная образовъ и картинъ художественной красоты? А между тѣмъ Лермонтовъ, тщательно отмѣчая каждую черту физическаго безобразія Вадима и каждое его злое побужденіе, явно находитъ въ себѣ симпатичныя этому злому уроду струны и, не обинуясь, называетъ его «великой душой». Полная зрѣлость мысли и безповоротная убѣжденность сказалась въ той смѣлости, съ которою юный Лермонтовъ вселилъ «великую душу» въ такое, повидимому, во всѣхъ отношеніяхъ непріятное существо, какъ Вадимъ. Для этого надо твердо знать, въ чемъ состоитъ величіе души, и твердо вѣрить въ свое знаніе. Мы на каждомъ шагу видимъ, что литераторы, набившіе себѣ руку въ писаніи романовъ и повѣстей, литераторы чрезвычайно искусные, которые справедливо постыдились бы подписаться подъ такой дѣтской вещью, какъ «Горбунъ», норовятъ подкупить читателей, да и себя, въ пользу своихъ героевъ ихъ физической красотой и обиліемъ добродѣтелей. Шестнадцатилѣтнему Лермонтову не нужно было этихъ подкуповъ и побочныхъ поддержекъ. Онъ своимъ Вадимомъ точно нарочно хотѣлъ показать, что имѣетъ абстрагировать, отвлечь «величіе души» отъ всѣхъ постороннихъ примѣсей и предъявить его съ такою ясностью и силой, что его не заслонятъ ни горбъ, ни порокъ. Въ чемъ же полагалъ юноша Лермонтовъ «величіе души»? Въ одну особенно трудную минуту, когда Вадимъ убилъ по ошибкѣ не того, кого хотѣлъ убить, «онъ, казалось, понялъ, что теперь боролся уже не съ людьми, но съ провидѣніемъ, и смутно предчувствовалъ, что если даже останется побѣдителемъ, то слишкомъ дорого купитъ побѣду; но непоколебимая желѣзная воля составляла все существо его, она не знала ни преградъ, ни остановокъ, стремясь къ своей цѣли».

Таковъ человѣкъ «великой души», онъ же и «герой» въ смыслѣ прирожденнаго властнаго человѣка, какимъ и является въ повѣсти Вадимъ. Мы увидимъ тѣ ограниченія, которыя Лермонтовъ самъ ставилъ такому безпощадно абстрактному пониманію «героя». А теперь замѣтимъ любопытную скептическую черту въ изображеніи благороднаго красавца Измаилъ-Бея. Онъ, какъ мы видѣли, «повелитель, герой по взорамъ и рѣчамъ». Но одно время, при самомъ появленіи въ поэмѣ этого горца, воспитаннаго въ Россіи, авторъ въ немъ сомнѣвается: «Горе, горе, если онъ, храня людей суровыхъ мнѣнья, развратомъ, ядомъ просвѣщенія въ Европѣ душной зараженъ! Старикъ для чувствъ и наслажденія, безъ сѣдины между волосъ, зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо, такъ неспокойно, такъ игриво, онъ сердце мертвое принесъ»? Скоро оказывается, однако, что первое же дуновеніе родины смело налетъ «разврата, яда просвѣщенья». Нищаго и жестокаго урода Вадима «ядъ просвѣщенья» не коснулся, и юный авторъ въ немъ не сомнѣвается... Арбенинъ (въ «Маскарадѣ») «изнемогъ подъ гнетомъ просвѣщенья» и самъ надъ собой съ горечью иронизируетъ: «Такъ! въ *образованномъ* родился я народѣ: языкъ и золото—вотъ нашъ кинжалъ и ядъ!» Печоринъ излагаетъ нѣчто въ этомъ же родѣ. И по лермонтовской лирикѣ тамъ и сямъ перебѣгаютъ блестящія искры отрицательнаго отношенія къ «глубокимъ познаніямъ», къ «бремени познанія», къ «наукѣ безплодной».

Критика много умствовала по поводу этого страннаго на первый взглядъ протеста противъ «просвѣщенія», толкуя его вкривь и вкось. Между тѣмъ здѣсь не представляется никакой надобности умствовать, надо только умѣть читать. Знаменитая «Дума» есть одно изъ самыхъ ясныхъ стихотвореній Лермонтова, не допускающихъ двоякаго толкованія.

Поэтъ печально глядитъ «на наше поколѣнье»: «подъ бременемъ познанья и сомнѣнья, *въ бездѣйствіи* состарится оно. Къ добру и злу постыдно равнодушны, въ началѣ поприща мы вянемъ *безъ борьбы*; передъ опасностью позорно-малодушны и передъ властію презрѣнные рабы... Мы изсушили умъ наукою *безплодной*, тая завистливо отъ ближнихъ и друзей надежды лучшія и голосъ благородный невѣріемъ осмѣянныхъ страстей». Еще недавно одинъ критикъ хотѣлъ видѣть въ «Думѣ» выраженіе вѣковѣчнаго, въ самой природѣ человѣка заложеннаго, безъисходнаго разлада между разумомъ и чувствомъ, которые, дескать, никогда и не могутъ примириться: вѣчно разумъ будетъ разъѣдать чувство холодомъ своего анализа, вѣчно чувство будетъ протестовать противъ этого холоднаго прикосновенія. Лермонтовъ однако ясно указывалъ исходъ: онъ видѣлъ его не въ разумѣ и не въ чувствѣ, а въ третьемъ элементѣ человѣческаго духа,—въ волѣ, которая, комбинируя и разумъ, и чувство, повелительно требуетъ «дѣйствія», «борьбы». Если бы однако «Дума» оказалась въ этомъ отношеніи недостаточно убѣдительною и ясною, то за подтвержденіемъ и развитіемъ указанной мысли дѣло не станетъ въ другихъ произведеніяхъ Лермонтова. Безспорно, Лермонтову были знакомы муки противорѣчія между горячностью чувства и холодомъ разума. Жизнь манила его къ себѣ всею гаммою своихъ звуковъ, всѣмъ спектромъ своихъ цвѣтовъ, а рано отточившійся ножъ анализа подрѣзывалъ цѣну всякаго наслажденія. Отсюда безпредметная тоска, проникающая нѣкоторыя изъ его стихотвореній, тоска, характеръ которой иногда ему самому не ясенъ: «подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури, надъ нимъ лучъ солнца золотой, а онъ, мятежный, проситъ бури, какъ будто въ буряхъ есть покой!» Иногда «смиряется души его тревога» подъ вліяніемъ разныхъ мимолетныхъ впечатлѣній, но отлетаютъ эти впечатлѣнія, и опять тоска. Однако, среди всѣхъ этихъ колебаній, всѣхъ ихъ переживая, держится тоже рано созрѣвшее рѣшеніе задачи жизни. Теоретически и въ одинокой душѣ самого поэта рѣшеніе готово: противорѣчіе разума и чувства и всѣ муки этого противорѣчія зависятъ отъ «бездѣйствія», отъ отсутствія «борьбы». Найдите точку приложенія для дѣятельности, и элементы мятущагося духа перестанутъ враждовать между собой. Но вопросъ въ томъ, возможно-ли найти эту желанную и спасительную точку на практикѣ? Возможно-ли найти ее, если не для всѣхъ людей сразу, то для тѣхъ прирожденно властныхъ, для тѣхъ «героевъ», которые потомъ увлекутъ за собой и остальныхъ?

Критика уже давно замѣтила, что Лермонтова тянуло на Кавказъ не только потому, что тамъ есть увѣнчанный снѣговыми вершинами Эльбрусъ, «глубокая тѣснина Дарьяла», стройные, вѣчно зеленые кипарисы и развѣсистыя чинары, красавцы черкесы на борзыхъ коняхъ, вообще благодарнѣйшій въ живописномъ отношеніи матеріалъ для поэтическихъ картинъ. Эта сторона Кавказа еще въ дѣтствѣ прозвела неизгладимое впечатлѣніе на Лермонтова и много способствовала тому, что непроницательные люди имѣютъ извѣстное право называть его «пѣвцомъ Кавказа». Но что-то отвлекало его отъ окружавшей его жизни не только на Кавказъ, а и въ болѣе или менѣе отдаленную глубь русской исторіи—«БояринъОрша», «Литвинка», «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, удалаго опричника и купца Калашникова», «Горбачъ Вадимъ». Сверхъ того, Лермонтовъ говорилъ Бѣлинскому о задуманной имъ романической трилогіи, трехъ связанныхъ между собою романахъ изъ эпохъ Екатерины II, Александра I и настоящаго времени. Уже самъ по себѣ этотъ проектъ намекаетъ на то, что не художественный капризъ увлекалъ мысль и воображеніе Лермонтова къ болѣе или менѣе отдаленнымъ временамъ, что онъ тамъ чего-то искалъ для сравненія съ современностью. Для сравненія и въ укоръ, какъ видно изъ содержанія всѣхъ его экскурсій въ русскую исторію и на Кавказъ. «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много». Это теперь, но не всегда такъ было. Въ старые годы существовали люди, для которыхъ мысль и чувство не глядѣли врознь, а сливались въ дѣло. Ихъ-то и ищетъ, на нихъ-то и останавливается Лермонтовъ съ очевидною любовью. Ихъ же ищетъ, на нихъ же любуется онъ и на нетронутомъ цивилизаціей Кавказѣ. Злодѣйскіе поступки, совершаемые всѣми этими Оршами, Вадимами, Хаджи-Абреками, Измаилъ-Беями, если и пугаютъ Лермонтова своимъ кровавымъ блескомъ, то немедленно же находятъ себѣ въ его глазахъ и оправданіе и поэтическую красоту въ той цѣльности настроенія, въ той безповоротной рѣшимости, съ которою они совершаются. А отсутствіе этихъ чертъ въ окружавшей его жизни въ такой же мѣрѣ оскорбляетъ его.

Въ «Фаталистѣ» Печоринъ смѣется надъ старинными людьми, вѣрившими, что свѣтила небесныя принимаютъ участіе «въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочокъ земли или за какія-нибудь вымышленныя права». Съ нашей теперешней точки зрѣнія смѣшны эти вѣрованія старинныхъ людей. Но, говоритъ Печоринъ, за то «какую силу воли

придавала имъ увѣренность, что цѣлое небо со своими безчисленными жителями на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нѣмымъ, но неизмѣннымъ. А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденія и гордости, безъ наслажденія и страха... неспособны къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастія... не имѣя ни надежды, ни даже того неопредѣленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встрѣчаетъ душа во всякой борьбѣ съ людьми или съ судьбой».

Если старинныя вѣрованія, развѣянныя «ядомъ просвѣщенія», были такъ спасительны, то не попытаться-ли вернуть ихъ или хоть не притвориться-ли вѣрящими, что небесныя свѣтила принимаютъ участіе въ нашихъ дѣлахъ и дѣлишкахъ? Такъ и думаютъ трусы, лицемѣры и ханжи. Если ядъ просвѣщенія отравляетъ нашу дѣятельную силу, то не заняться-ли намъ бездѣльничаньемъ въ красивой позѣ безъисходнаго разочарованія и въ эффектномъ костюмѣ «нарядной печали»? Такъ и думаютъ кокетничающіе гамлетики и гамлетизированные поросята. Но Лермонтовъ слишкомъ искренно и больно переживалъ волновавшіе его вопросы, чтобы закрывать глаза на ихъ колючія стороны, и слишкомъ жаждалъ дѣятельности, чтобы ограничиться нарядной печалью. Бывали и у него минуты слабости, оставившія свой слѣдъ въ его лирикѣ. Но это именно только минуты слабости, за которыя совершенно напрасно хватаются ханжи, лицемѣры и трусы, съ одной стороны, кокетничающіе красивой позой — съ другой. Всею своею жизнью и дѣятельностью Лермонтовъ самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ ставитъ дилемму: или звонъ во всѣ колокола, жизнь всѣмъ существомъ человѣка, жизнь мысли и чувства, претворяющихся въ дѣло, или—«пустая и глупая шутка», въ которой даже краснаго ничего нѣтъ. Выбирайте любое. Такая рѣшительная постановка вопроса вытекала изъ самыхъ нѣдръ цѣльной и недѣлимой души Лермонтова. И онъ не переставалъ искать точки опоры для «дѣйствія», для «борьбы съ людьми или судьбой», ибо въ ней видѣлъ высшій смыслъ жизни. Но прежде, чѣмъ перейти къ самому поэту, отмѣтимъ еще одну черту его созданій.

Приглядываясь къ героямъ лермонтовскихъ поэмъ изъ старой русской жизни и изъ жизни кавказскихъ горцевъ, мы увидимъ, что если не во всѣхъ нихъ, то въ большинствѣ рѣзко вибрируетъ одна и та же струна. То дѣло, которому они себя почти всѣ посвящаютъ, которому отдаютъ цѣликомъ и свою мысль, и свое чувство, и всю жизнь свою, есть дѣло мести. Бояринъ Орша, Арсеній, Вадимъ, Хаджи-Абрекъ, Измаилъ-Бей, купецъ Калашниковъ,—все это мстители. Хаджи-Абрекъ поетъ настоящій гимнъ блаженству мести: «Блаженство то вѣрнѣй любви... за единый мщенья часъ, клянусь, я не взялъ бы вселенной». Орша скорбитъ въ предсмертную минуту: «Но знай, что жизни мнѣ не жаль, а жаль лишь то, что часъ мой билъ, покуда я не отомстилъ». Арсеній хочетъ «передъ врагомъ предстать съ безчувственнымъ челомъ, съ холодной важностью лица и мстить хоть этимъ до конца». И т. д., и т. д. Напомню еще только позорный конецъ, постигшій Гаруна («Бѣглецъ») за то, что онъ «не отомстилъ». Напомню, что «Маскарадъ» весь построенъ на мести. Тотъ же мотивъ звучитъ и въ лирикѣ. Лермонтовъ съ особенной энергіей подчеркиваетъ, что Пушкинъ умеръ «съ жаждой мести», «съ глубокой жаждой мщенья». Великолѣпное стихотвореніе «По этъ» кончается словами: «Проснешься - ль ты опять, осмѣянный пророкъ, иль никогда на голосъ мщенья изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ, покрытый ржавчиной презрѣнья?» Этотъ особенный интересъ Лермонтова къ дѣлу мести поддерживался въ немъ и извѣстными чисто теоретическими соображеніями, какъ видно изъ слѣдующихъ, въ высшей степени замѣчательныхъ словъ Печорина: «Первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идеи—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого геній, прикованный къ чиновничьему столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара».

Много смутнаго въ этихъ словахъ, но много и глубокаго. Я обращаю пока вниманіе читателя все на ту же цѣпкость, съ которою Лермонтовъ хватался за связь между мыслью, «идеей», и дѣломъ, «дѣйствіемъ», и затѣмъ на ту спеціальную окраску, которую онъ въ приведенныхъ словахъ даетъ «дѣйствію»,—окраску страданія за страданіе, окраску мести. Откуда эта злобная нота и неужели на свѣтѣ нѣтъ иного, болѣе благороднаго дѣла, чѣмъ месть?

III.

Съ очень ранняго возраста Лермонтова манила роль перваго въ своемъ родѣ чело-

вѣка», та власть, которая, не опираясь ни на какое «положительное право», тѣмъ не менѣе даетъ себя знать самымъ осязательнымъ образомъ. Эти-то мечты онъ и объективировалъ въ герояхъ своихъ повѣстей, поэмъ, драмъ. Во всѣхъ герояхъ повторяется, лишь слегка варьируясь, самъ Лермонтовъ, какимъ онъ себя чувствовалъ или какимъ хотѣлъ бы быть.

Интересно, между прочимъ, замѣтить, что Лермонтовъ получилъ въ юнкерской школѣ прозвище «Маешка» и, очевидно, охотно носилъ эту кличку, потому что самъ себя такъ называлъ въ нѣкоторыхъ юнкерскихъ стихотвореніяхъ. Прозвище «Маешка» происходило отъ Маеуихъ, имени горбатаго героя какого-то французскаго романа, и Лермонтовъ получилъ его за свою сутуловатость и вообще нестройность стана. Быть можетъ, этотъ физическій недостатокъ, не слишкомъ сильный, чтобы упоминаніе о немъ было оскорбительно для самолюбиваго юноши, но всетаки выдѣлявшій его, обращалъ на себя вниманіе и прежде, до поступленія въ юнкерскую школу. Быть можетъ, онъ послужилъ однимъ изъ толчковъ для созданія *горбача* Вадима. И если Вадимъ, при всемъ «величіи души» своей, есть кровожадный злодѣй, такъ вѣдь около того же времени, когда создавалась эта неконченная повѣсть, юный поэтъ писалъ уже прямо о себѣ въ въ одномъ изъ очерковъ «Демона»: «Какъ демонъ мой, я зла избранникъ». И въ другомъ стихотвореніи: «Настанетъ день—и міромъ осужденный, чужой въ родномъ краю, на мѣстѣ казни, гордый, хоть презрѣнный, я кончу жизнь мою, виновный предъ людьми, не предъ тобою, я твердо жду тотъ часъ». И еще въ одномъ стихотвореніи: «Когда къ тебѣ молвы разсказъ мое названье принесетъ и моего рожденья часъ передъ полміромъ проклянетъ, когда мнѣ пищей станетъ кровь и буду жить среди людей, ничью не радуя любовь и злобы не боясь ничьей» и т. д. Такимъ образомъ, сочиняя своего свирѣпаго горбуна, Лермонтовъ и самъ мысленно готовъ былъ совершать какія-то ужасныя преступленія, упиваться кровью, заслужить проклятія полміра. Весьма возможно, что въ стихотвореніи «Предсказаніе», навѣянномъ ужасами чумы, съ одной стороны, и дуновеніемъ іюльской революціи, съ другой, Лермонтовъ именно о себѣ говорилъ: «Въ тотъ день явится мощный человѣкъ, и ты его узнаешь; и поймешь, зачѣмъ въ рукѣ его булатный ножъ. И горе для тебя: твой плачъ, твой стонъ ему тогда покажется смѣшонъ, и будетъ все ужасно, мрачно въ немъ». Но въ то же время Лермонтовъ «и Байрона достигнуть бы хотѣлъ». Этому вполнѣ соотвѣтствуетъ характеристика «дѣтей рока» въ «Измаилъ-Беѣ»: они «хотятъ ихъ («рабовъ») превзойти *въ добрѣ и злѣ*, и власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ».

Конечно, много даже комически-ребяческаго въ этихъ мечтахъ о роли хотя бы и злодѣя, но великаго, перваго, властнаго, и Печоринъ правъ, когда говоритъ: «Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ покончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками». Но Лермонтовъ былъ не изъ того матеріала, изъ котораго дѣлаются вѣчные титулярные совѣтники. Онъ не въ мечтахъ только, а и въ дѣйствительности оказался способнымъ «превзойти рабовъ въ добрѣ и злѣ» и носить «власти знакъ на гордомъ челѣ», хотя и не въ тѣхъ грандіозныхъ размѣрахъ, какіе рисовались его юношескому воображенію.

Въ немногочисленныхъ, къ сожалѣнію, письмахъ Лермонтова, сохранившихся для потомства, мы постоянно наталкиваемся то на «мученія тайнаго сознанія, что онъ кончитъ жизнь ничтожнымъ человѣкомъ», то на сообщенія противоположнаго свойства, которыя онъ самъ готовъ называть «хвастовствомъ», проявленіями «самаго главнаго его недостатка—суетности и самолюбія». Въ одномъ изъ писемъ къ М. Лопухиной (1832 г.), извѣщающемъ о переходѣ изъ московскаго университета въ юнкерскую школу, вставлено стихотвореніе личнаго характера, которое оканчивается такъ:

Ужасно старикомъ быть безъ сѣдинъ!
Онъ равныхъ не находитъ; за толпою
Идетъ, хоть съ ней не дѣлится душою:
Онъ межъ людьми ни рабъ, ни властелинъ,
И все, что чувствуетъ,—онъ чувствуетъ одинъ.

Это чрезвычайно характерныя строки. 18-лѣтній юноша не находитъ себѣ равныхъ, а такъ какъ затѣмъ остаются только положенія раба, которымъ онъ быть не хочетъ, и властелина, которымъ онъ быть не можетъ, то онъ становится внѣ общества въ полномъ одиночествѣ. Такъ оно и было съ Лермонтовымъ въ университетѣ. Какъ видно изъ записокъ его товарища Вистенгофа, поэтъ держалъ себя отъ всѣхъ въ сторонѣ, пренебрежительно и заносчиво. Вистенгофъ разсказываетъ, между прочимъ, какъ онъ однажды обратился къ Лермонтову съ очень простымъ вопросомъ и какъ тотъ отвѣчалъ ему дерзостью. При этомъ, «какъ ударъ молніи сверкнули его глаза; трудно было выдержать этотъ насквозь пронизывающій, непривѣтливый взглядъ». О необыкновенныхъ глазахъ Лермонтова упоминаютъ и другіе современники. Такъ, Панаевъ вспо-

минаетъ, что у него были «умные, глубокіе, пронзительные черные глаза, невольно приводившіе въ смущеніе того, на кого онъ смотрѣлъ долго. Лермонтовъ зналъ силу своихъ глазъ и любилъ смущать и мучить людей робкихъ и нервическихъ своимъ долгимъ и пронзительнымъ взглядомъ». Читатель благоволитъ припомнить описаніе глазъ горбача-Вадима.

Презрительное отношеніе Лермонтова къ университетскимъ товарищамъ было совершенно неосновательно, такъ какъ это было время пребыванія въ московскомъ университетѣ такихъ людей, какъ Станкевичъ, Герценъ, Бѣлинскій. Надо думать, что Лермонтовъ, уже тогда считавшій себя «океаномъ», въ которомъ «надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ», даже не попытался вглядѣться въ товарищей сколько-нибудь пристально и не то, что предпочелъ имъ свѣтское общество, какъ повидимому, думаетъ Вистенгофъ, а просто не выходилъ изъ этого свѣтскаго общества, близкаго ему по воспитанію и родственнымъ связямъ. Да и слишкомъ недолго пробылъ Лермонтовъ въ университетской средѣ.

Причины, по которымъ Лермонтовъ промѣнялъ университетъ на юнкерскую школу, не совсѣмъ ясны. Повидимому, главный мотивъ состоялъ въ нетерпѣливомъ желаніи поскорѣе покончить со школой вообще, поскорѣе выйти въ открытое море жизни. Во всякомъ случаѣ, въ юнкерской школѣ оказалось больше простора для осуществленія тогдашней, частью безсознательной, а частью и сознательной программы Лермонтова: всѣхъ превзойти въ добрѣ и злѣ и носить власти знакъ на гордомъ челѣ. Здѣсь товарищи по школѣ были въ большинствѣ случаевъ вмѣстѣ съ тѣмъ и товарищами въ свѣтскомъ смыслѣ, по своему общественному положенію, воспитанію, привычкамъ. Здѣсь было, слѣдовательно, больше той общей почвы, безъ которой никакой «герой» не можетъ исполнять свою функцію—дерзать и владѣть. И мы видимъ, дѣйствительно, что Лермонтовъ, державшійся въ университетѣ отъ всѣхъ въ сторонѣ, поражавшій товарищей своею угрюмою сосредоточенностью и серьезностью, въ школѣ съ первыхъ же шаговъ старается стать, такъ сказать, въ одну линію съ другими, но по возможности впереди всѣхъ. «Старикъ безъ сѣдинъ» становится во главѣ дѣтскихъ шалостей и слишкомъ недѣтскаго разгула, изъ молодечества скачетъ на необъѣзженной лошади и платится за это поврежденіемъ ноги, связываетъ шомпола въ узлы, соперничая съ первымъ силачемъ школы, и наконецъ, рѣшительно превосходитъ всѣхъ въ сочиненіи непристойныхъ, циническихъ стиховъ въ родѣ «Петергофскаго праздника» или «Уланши».

Всѣмъ этимъ Лермонтовъ удовлетворялъ своей потребности дерзать и владѣть, заложенной въ него самою природою вмѣстѣ съ поэтическимъ даромъ. Были въ немъ и соотвѣтственныя этой потребности силы, но какое пошлое и мерзостное приложеніе получали эти силы! Нельзя безъ отвращенія читать «Уланшу» и, право, ничего не потеряли бы читатели и почитатели Лермонтова, если бы эти мерзости не печатались въ изданіяхъ его сочиненій даже отрывками. Однажды разгульная компанія молодыхъ офицеровъ, ѣдучи изъ Царскаго Села въ Петербургъ, вздумала дать себѣ шутливыя прозвища, именуясь которыми и записалась у городской заставы. Одинъ назвался молдаваномъ Болванешти, другой—итальянцемъ Глупини, третій—маркизомъ Глупиньономъ и т. д. Но одному изъ компаніи показалось должно быть этого мало: онъ назвался двойной фамиліей и записался «россійскимъ дворяниномъ Скотъ-Чурбановымъ». Это былъ Лермонтовъ...

Къ счастію, въ Лермонтовѣ было еще нѣчто, кромѣ потребности и силы всѣхъ превзойти, безразлично въ добрѣ-ли или злѣ. Любуясь на непреклонный героизмъ горбача-Вадима, на величіе его души, онъ однако замѣчаетъ: «Какая слава, еслибъ онъ избралъ другое поприще, еслибъ то, что сдѣлалъ для своей личной мести, еслибы это терпѣніе, геройское терпѣніе, эту скорость мысли, эту рѣшительность обратилъ въ пользу какого-нибудь народа, угнетеннаго чуждымъ завоевателемъ. Какая слава, еслибы, напримѣръ, онъ родился въ Греціи, когда турки угнетали потомковъ Леонида... А теперь?.. Разобравъ эти мысли, онъ такъ малъ сдѣлался въ собственныхъ глазахъ, что готовъ былъ бы въ одинъ мигъ уничтожить плоды многихъ лѣтъ, и презрѣніе къ самому себѣ, горькое презрѣніе обвилось, какъ змѣя, вокругъ его сердца и вокругъ вселенной, потому что для Вадима все заключалось въ его сердцѣ».

Это презрѣніе къ себѣ было знакомо и самому Лермонтову. Въ письмахъ къ М. Лопухиной изъ юнкерской школы онъ то съ напускнымъ цинизмомъ какъ бы хвалится своими настоящими и будущими недостойными похожденіями, то тутъ же, рядомъ, съ явнымъ отчаяніемъ, даетъ этимъ похожденіямъ ту именно цѣну, которой они стоятъ. Такъ, въ іюнѣ 1833 г. онъ пишетъ: «Я право не знаю, какимъ путемъ идти мнѣ, путемъ-ли порока или пошлости. Оно, конечно, оба эти пути часто приводятъ къ той же цѣли. Знаю, что вы станете увѣще-

вать, постараетесь утѣшить меня—было бы напрасно! Я счастливѣе, чѣмъ когда-нибудь, веселѣе любого пьяницы, распѣвающаго на улицѣ. Васъ коробитъ отъ этихъ выраженій; но, увы!—скажи, съ кѣмъ ты водишься, и я скажу, кто ты таковъ!» Въ августѣ того же года: «Черезъ годъ я офицеръ! И тогда, тогда... Боже мой! если бы вы знали, какую жизнь я намѣренъ повести! О, это будетъ восхитительно! Во-первыхъ, чудачества, шалости всякаго рода и поэзія, залитая шампанскимъ. Я знаю, что вы возопіете, но, увы! пора монахъ мечтаній миновала; нѣтъ больше вѣры, мнѣ нужны чувственныя наслажденія». Въ 1834 г.: «Милый другъ! что бы ни случилось, я все буду называть васъ этимъ именемъ: иначе мнѣ придется порвать послѣднія нити, связывающія меня съ прошедшимъ, а этого я не хотѣлъ бы ни за что на свѣтѣ, потому что моя будущность, блистательная, повидимому, въ сущности—пошлая и пустая. Нужно вамъ признаться, съ каждымъ днемъ я все больше убѣждаюсь, что изъ меня никогда ничего не выйдетъ». Произведенный въ офицеры, Лермонтовъ, оглядываясь назадъ, называетъ въ одномъ письмѣ время пребыванія въ юнкерской школѣ «страшными годами». И, дѣйствительно, это были страшные годы, не смотря на ихъ слишкомъ веселый разгулъ или, вѣрнѣе, именно вслѣдствіе этого разгула. Лермонтовъ былъ на волосокъ отъ окончательнаго погруженія въ омутъ пошлости, но, отдаваясь этому теченію, повидимому, съ легкимъ сердцемъ, хорошо зналъ его цѣну. Кромѣ писемъ къ Лопухиной, въ которыхъ слышится отчаянный и тоскливый стонъ, мы имѣемъ еще свидѣтельства его товарищей по школѣ, что, открыто стремясь къ первенству во всякихъ шалостяхъ и пошлостяхъ, онъ втайнѣ молился какому-то другому Богу. Такъ Меринскій разсказываетъ: «Въ то время Лермонтовъ писалъ не одни шаловливыя стихотворенія, но только немногое и немногимъ показывалъ изъ написаннаго» («Атеней» 1858 г. № 48, «Воспоминаніе о Лермонтовѣ»). Въ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ въ фельетонѣ «Русскаго Міра» 1872 г. (№ 205), говорится: «По вечерамъ, послѣ учебныхъ занятій, поэтъ нашъ часто уходилъ въ отдаленныя классныя комнаты, въ то время пустыя, и тамъ одинъ просиживалъ долго и писалъ до поздней ночи, стараясь туда пробраться незамѣченнымъ товарищами».

Немудрено, что при такихъ обстоятельствахъ мрачныя мысли все больше и больше накоплялись въ головѣ юноши, въ придачу къ тѣмъ, которыя уже осѣли въ немъ отъ тяжелыхъ впечатлѣній дѣтства, а можетъ быть, кромѣ того, и отъ слишкомъ ранняго проникновенія въ мрачную поэзію Байрона. Какъ у Вадима, змѣя, обвившаяся вокругъ его сердца, обвивалась и вокругъ вселенной, гнетущая мысль о собственномъ ничтожествѣ разросталась въ мысль о ничтожествѣ жизни. Но натура «героя» брала свое, потребность дерзать и владѣть искала случая удовлетворить себя чѣмъ бы то ни было.

Только что произведенный въ офицеры, Лермонтовъ пишетъ Лопухиной: «Я теперь бываю въ свѣтѣ, для того, чтобы меня знали, для того, чтобы доказать, что я способенъ находить удовольствіе въ *хорошемъ обществѣ*... Ахъ!.. я волочусь и, вслѣдъ за объясненіемъ въ любви, говорю дерзости. Это еще забавляетъ меня нѣсколько, и хотя это не совсѣмъ ново, за то не всѣ такъ дѣлаютъ. Вы думаете, что за такіе подвиги меня гонятъ прочь? О, нѣтъ! совсѣмъ напротивъ: женщины ужъ такъ сотворены. Я начинаю пріобрѣтать надъ ними власть».

Итакъ, женщины,—вотъ куда направится теперь жажда дерзать и владѣть. Извѣстно, что Лермонтовъ былъ, по его собственному показанію, влюбленъ десяти лѣтъ, чему придавалъ какое-то особенное значеніе, и затѣмъ въ дѣтствѣ и ранней юности еще не разъ подвергался припадкамъ нѣжной страсти. Понятно, что всѣ эти увлеченія должны были быть несчастны. Барышни, къ которымъ пылалъ любовью Лермонтовъ, либо издѣвались надъ нимъ, либо охотно слушали страстныя или сентиментальныя рѣчи не по лѣтамъ развитаго, остроумнаго влюбленнаго мальчика, но потомъ выходили замужъ или переносили свою благосклонность на болѣе взрослыхъ поклонниковъ. А въ сердцѣ самолюбиваго мальчика, уже мечтавшаго о роли великаго человѣка, эти «измѣны» отзывались страшною болью. Надо замѣтить, что любовь для Лермонтова была всегда чѣмъ-то отличнымъ отъ любви, какъ ее обыкновенно понимаютъ и чувствуютъ. Она для него такъ или иначе, иногда неясными для него самого нитями, связывалась все съ тою же жаждою дерзать и владѣть или, по крайней мѣрѣ, стояла рядомъ съ ней. Въ одной изъ его юношескихъ тетрадей есть замѣтка, озаглавленная: «Мое завѣщаніе (про дерево, подъ которымъ я сидѣлъ съ А. С.)». Замѣтка оканчивается такъ: «Похороните мои кости подъ этой сухой яблонью, положите камень, и пускай на немъ ничего не будетъ написано, если одного имени моего недовольно будетъ доставить ему безсмертіе»,—безсмертіе то-есть загробное владѣніе вниманіемъ и сердцами людей. Печоринъ, говоря о наслажденіи власти, подчеркиваетъ въ особенности власть надъ женскимъ сердцемъ. Измаилъ-Бей, этотъ «повелитель, герой по взорамъ и рѣчамъ», есть вмѣстѣ съ тѣмъ покоритель женскихъ сердецъ: «Для нашихъ женщинъ въ немъ былъ

ядъ! Воспламенивъ воображенье, повелѣвалъ онъ безъ труда». Съ другой стороны, Демонъ и Вадимъ готовы примириться съ жизнью и отказаться отъ своей грозной властной роли, если ихъ полюбятъ—одного Гамара, другого Ольга. Выходитъ, что это какъ бы эквиваленты, легко замѣщающіе другъ друга. Въ «Горбачѣ-Вадимѣ» есть одно мѣсто», въ которомъ смутная мысль о какой-то эквивалентности любви и власти выражена настолько ясно, насколько это возможно для смутной мысли. Я выпишу это любопытное мѣсто цѣликомъ, безъ всякихъ пропусковъ. Сказавъ, что Юрій сразу сталъ близокъ и понятенъ Ольгѣ, юный авторъ продолжаетъ:

«Нельзя сомнѣваться, что есть люди, имѣющіе этотъ даръ, но имъ воспользоваться можетъ только существо избранное, существо, котораго душа создана по образцу ихъ души, котораго судьба должна зависѣть отъ ихъ судьбы... и тогда эти два созданія, уже знакомыя прежде рожденія своего, читаютъ свою участь въ голосѣ другъ друга, въ глазахъ, въ улыбкѣ... и не могутъ обмануться... и горе имъ, если они не вполнѣ довѣрятся этому святому, таинственному влеченію... оно существуетъ и должно существовать, вопреки всѣмъ умствованіямъ людей ничтожныхъ, иначе душа брошена въ наше тѣло для того только, чтобы оно питалось и двигалось... Что такое были бы всѣ цѣли, всѣ труды человѣчества безъ любви? И развѣ нѣтъ иногда этого всемогущаго сочувствія между народомъ и царемъ? Возьмите Наполеона и его войска! долго ли они прожили другъ безъ друга?»

Повторяю, я не пропустилъ ни одного слова; поворотъ мысли отъ любви къ отношеніямъ Наполеона и его войска является полною неожиданностью, и вѣроятно для самого юнаго поэта связь между этими двумя родами человѣческихъ отношеній была не совсѣмъ ясна; онъ ее лишь чувствовалъ въ себѣ, въ своей собственной природѣ.

Изъ юношескихъ любовныхъ увлеченій Лермонтова наибольшею извѣстностью пользуется его романъ съ Хвостовой, урожденной Сушковой. Она сама разсказываетъ этотъ романъ въ своихъ «Запискахъ», и хотя разсказъ ея вызвалъ сомнѣнія и опроверженія въ частностяхъ но въ общемъ фактическая его часть подтверждается самимъ Лермонтовымъ. Про свое въ высшей степени недостойное поведеніе въ этомъ дѣлѣ онъ разсказываетъ въ письмѣ къ Верещагиной и, кромѣ того, цѣликомъ воспроизвелъ его въ неоконченной повѣсти «Княгиня Лиговская». 15-лѣтнимъ мальчикомъ Лермонтовъ очень увлекался Сушковой, которая была нѣсколькими годами старше его, а она забавлялась этою любовью, причемъ, повидимому. нисколько не щадила самолюбія будущаго знаменитаго поэта. Черезъ нѣсколько лѣтъ они встрѣтились опять, и въ Лермонтовѣ, всетаки еще совсѣмъ молодомъ человѣкѣ, нашлось достаточно силы и желанія дерзать и владѣть, чтобы побѣдить когда-то смѣявшуюся надъ нимъ гордую красавицу, побѣдить и компрометировать. Кромѣ непосредственнаго удовольствія, которое доставляла ему эта игра, она ему была нужна, по его собственному выраженію, какъ «пьедесталъ». Онъ хотѣлъ играть роль въ петербургскомъ свѣтскомъ обществѣ, быть замѣченнымъ и, по его оправдавшемуся разсчету, это удобнѣе всего было достигнуть громкимъ, даже, пожалуй, скандальнымъ романомъ. Все было пущено для этого въ ходъ, вплоть до подложныхъ анонимныхъ писемъ. И Лермонтовъ понималъ, что онъ дѣлаетъ дурное, злое дѣло. О героѣ «Княгини Лиговской», который продѣлываетъ съ Негуровой все то, что самъ Лермонтовъ продѣлалъ съ Сушковой, говорится: «Ему надобно было, чтобы поддержать себя, пріобрѣсти то, что нѣкоторые называютъ свѣтскою извѣстностью, то-есть прослыть человѣкомъ, который можетъ дѣлать зло, когда ему вздумается... Въ нашемъ бѣдномъ обществѣ фраза: онъ погубилъ столько-то репутацій, значитъ почти: онъ выигралъ столько-то сраженій». Такимъ образомъ Лермонтовъ отлично понималъ «бѣдность» общества, въ которомъ желалъ блистать, равно какъ и значеніе «свѣтской извѣстности». Что же касается собственно Сушковой, то безжалостное издѣвательство надъ ней оправдывалось въ его глазахъ местью. Онъ писалъ: «я мщу за слезы, которыя пять лѣтъ тому назадъ заставляло проливать меня кокетство m-lle Сушковой. О, наши счеты еще не кончены! Она заставила страдать сердце ребенка, а я только мучаю самолюбіе старой кокетки». Въ большинствѣ любовныхъ приключеній Лермонтова чувственность, по всѣмъ видимостямъ, не играла никакой роли, и во всякомъ случаѣ его гораздо больше занимали тонкія и сложныя операціи надъ сердцемъ женщины, самый процессъ этихъ операцій. Въ «Странномъ человѣкѣ» одно изъ дѣйствующихъ лицъ объясняетъ задумчивость героя тѣмъ, что его занимаетъ вопросъ, «какъ заставить женщину любить или признаться въ томъ, что она притворялась». Въ «Маскарадѣ» Арбенинъ (между прочимъ, вспоминающій о «власти, съ которою, порою, казнилъ толпу онъ словомъ, остротой») съ какимъ-то дикимъ психическимъ сладострастіемъ добивается отъ Нины признанія въ томъ, что она притворялась. Это уже игра виртуоза.

Печоринъ (въ «Княгинѣ Лиговской») «зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымъ и непреклоннымъ, слѣдуя какому то закону природы, доселѣ необъяснимому». Зналъ, конечно, эту аксіому и самъ Лермонтовъ, и ему до-

ставляло своеобразное наслажденіе практически осуществлять ее при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ, вполнѣ сознавая мелочность, пошлость или даже преступность тѣхъ «пьедесталовъ», на которые ему приходилось иногда взбираться, чтобы оттуда дерзать и владѣть. Только этимъ и объясняется его будто бы пристрастіе къ свѣтскому обществу, за которое его такъ часто упрекали. Упреки эти, какъ извѣстно, доходили до того, что, признавая огромный талантъ Лермонтова (его мало кто рѣшался отрицать), его самого, какъ личность, совершенно вдвигали въ толпу свѣтскихъ хлыщей и фатовъ, изъ которой, дескать, онъ выдѣлялся развѣ только особенно несноснымъ высокомѣріемъ и забіячествомъ, доходившимъ до бреттерства. И много фактовъ, повидимому, подтверждающихъ такой взглядъ на Лермонтова. Даже Боденштедтъ, при всемъ своемъ глубочайшемъ уваженіи къ нашему поэту, былъ непріятно пораженъ его личностью при первой встрѣчѣ. Правда, на другой же день, при слѣдующей встрѣчѣ, это непріятное впечатлѣніе сгладилось, но и то Боденштедтъ находитъ возможнымъ сказать только такія добрыя слова: «Лермонтовъ вполнѣ умѣлъ быть милымъ. Отдаваясь комунибудь, онъ отдавался отъ всего сердца, только едва-ли это съ нимъ часто случалось... Людей же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обаятельныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ, онъ могъ быть въ то же время кротокъ и нѣженъ, какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задумчивое, часто грустное настроеніе».

Все это прекрасно, конечно, но далеко всетаки не соотвѣтствуетъ тѣмъ высокимъ требованіямъ, которыя невольно ставятся поэту, обнаружившему въ своихъ произведеніяхъ такую исключительную мощь и глубину. Однимъ талантомъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, нельзя объяснить эту огненную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубокомысленную поэзію,—она должна была быть порожденіемъ, кромѣ таланта, еще изъ ряда вонъ выходящаго ума и великаго духа вообще. Къ счастью, на этотъ счетъ имѣется показаніе можетъ быть компетентнѣйшаго изъ современниковъ Лермонтова.

Въ свѣтѣ Лермонтовъ все больше и больше преуспѣвалъ, уже не нуждаясь болѣе въ низменной спекуляціи за счетъ прекрасныхъ дѣвицъ. Стихи на смерть Пушкина, ссылка на Кавказъ, дуэль съ Барантомъ, новая ссылка,—все это приковало къ особѣ молодого офицера вниманіе свѣтскаго общества,—вниманіе, частію почтительное, частію злобное. Одновременно шли и успѣхи въ литературѣ. Онъ познакомился кое съ кѣмъ изъ писателей, между прочимъ съ Бѣлинскимъ, котораго, однако, приводилъ въ смущеніе отсутствіемъ серьезности. По словамъ Панаева въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», Бѣлинскій рѣшительно недоумѣвалъ. Онъ говорилъ: «Сомнѣваться въ томъ, что Лермонтовъ уменъ, было бы довольно странно, но я ни разу не слыхалъ отъ него ни одного умнаго и дѣльнаго слова; онъ, кажется, нарочно щеголяетъ свѣтской пустотой». Панаевъ съ своей стороны прибавляетъ, что, «дѣйствительно, Лермонтовъ какъ будто щеголяетъ ею, желая еще примѣшивать къ ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитыя шуточки и улыбочки, страсть показать презрѣніе къ жизни, а иногда даже и задоръ бреттера. Мимоходомъ замѣтить, это *слова* Панаева; что же касается сообщаемыхъ имъ фактовъ, то собственно въ нихъ довольно мудрено усмотрѣть щегольство свѣтскою пустотой. Факты очень, впрочемъ, скудные. Панаевъ разсказываетъ, какъ однажды Лермонтовъ ни съ того, ни съ сего долгимъ взглядомъ своихъ пронзительныхъ черныхъ глазъ смутилъ нѣкоего Языкова и даже заставилъ его выйти изъ комнаты въ сильномъ нервномъ раздраженіи. Разсказываетъ еще объ отношеніяхъ Лермонтова къ Краевскому, тогда еще только начинавшему свое издательское поприще: они были «на ты», и Лермонтовъ позволялъ себѣ всякія школьничества съ Краевскимъ и разбрасывалъ его бумаги по полу, производилъ въ его кабинетѣ всяческую кутерьму и разъ даже опрокинулъ его самого со стуломъ. Быть на *ты* съ Краевскимъ и школьничать въ его кабинетѣ,—это едва-ли признаки щегольства великосвѣтскостью. Разсказываетъ, однако, Панаевъ и еще одинъ фактъ, въ высшей степени интересный, а именно восторгъ Бѣлинскаго, когда ему удалось, наконецъ, поговорить съ Лермонтовымъ по-человѣчески. Случилось это въ ордонансъ-гаузѣ, гдѣ Лермонтовъ сидѣлъ подъ арестомъ за дуэль съ Барантомъ. Бѣлинскій восторженно разсказывалъ Панаеву объ этомъ свиданіи. Г. Пыпинъ, въ предисловіи къ одному изъ изданій сочиненій Лермонтова (1873 г.), заподозрилъ Панаева въ неточной передачѣ разсказа Бѣлинскаго, а г. Скабичевскій, въ предисловіи къ Павленковскому изданію сочиненій Лермонтова, пошелъ гораздо дальше и усомнился въ самомъ фактѣ свиданія. Г. Пыпинъ заподозрилъ Панаева только въ преувеличеніи или невѣрной передачѣ, г.-же Скабичевскій косвеннымъ образомъ заподозриваетъ либо Панаева, либо Бѣлинскаго во лжи. И это на томъ единственномъ основаніи, что, по сло-

вамъ Шангирея, въ ордонансъ-гаузъ къ Лермонтову никого не пускали. Да и «самъ Барантъ, сынъ французскаго посланника, слѣдовательно, человѣкъ со связями, могъ видѣть Лермонтова въ ордонансъ-гаузѣ лишь тайкомъ. Послѣ этого невольно беретъ сомнѣніе, какъ могъ пробраться къ Лермонтову Бѣлинскій, человѣкъ маленькій и къ тому-же совсѣмъ чужой Лермонтову». Еслибы г. Скабичевскій внимательнѣе отнесся къ своей задачѣ біографа и редактора собранія сочиненій Лермонтова, онъ не впалъ бы въ этотъ совершенно неумѣстный скептицизмъ. Изъ документовъ, частью приложенныхъ къ редактированной имъ книгѣ, а частью въ его собственномъ предисловіи къ ней напечатанныхъ, онъ узналъ бы, что Лермонтовъ былъ арестованъ сначала въ ордонансъ-гаузѣ, а потомъ переведенъ въ арсенальную гауптвахту, и Барантъ былъ у него не въ ордонансъ-гаузѣ, а на гауптвахтѣ; а порядки въ этихъ двухъ мѣстахъ заключенія могли быть и разные,—въ одномъ построже, въ другомъ послабѣе. Правда, Шангирей дѣйствительно утверждаетъ, что въ ордонансъ-гаузъ никого, кромѣ него, Шангирея не пускали. Но позволительнѣе, я думаю, заподозрить Шангирея въ ошибкѣ (тотъ же Шангирей утверждаетъ, напримѣръ, что Лермонтовъ родился въ Тарханахъ), чѣмъ Панаева или Бѣлинскаго въ сочиненіи небывалаго факта. Во всякомъ случаѣ, существуетъ собственный разсказъ Бѣлинскаго о посѣщеніи имъ Лермонтова, вполнѣ совпадающій съ разсказомъ Панаева, и надо поэтому думать, что такъ-ли, сякъ-ли, а Бѣлинскому удалось пробраться въ ордонансъ-гаузъ. Г. Пыпинъ давно отрекся отъ своихъ подозрѣній и призналъ, что Панаевъ «очень вѣрно передалъ сущность дѣла». Письмо Бѣлинскаго (къ Боткину), въ которомъ онъ говоритъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, было напечатано г. Пыпинымъ въ его почтенномъ трудѣ: «Бѣлинскій, его жизнь и переписка» и затѣмъ неоднократно цитировалось въ журналахъ; совершенно даже непонятно, какъ могло оно остаться неизвѣстнымъ біографу Лермонтова...

Бѣлинскій писалъ: «Недавно былъ я у Лермонтова въ заточеніи и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ!» И далѣе: «Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, онъ улыбнулся и сказалъ: «дай Богъ!» Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово—онъ самъ, вся его натура, во всей глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ—меня давятъ такія цѣлостныя полныя натуры; я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества».

Наши художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны къ русской литературѣ и въ особенности къ ея исторіи. Но фигуры Лермонтова и Бѣлинскаго достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудрено найти тему для картины, болѣе благодарную, чѣмъ это собесѣдованіе великаго критика и великаго поэта въ ордонансъ-гаузѣ. Представьте себѣ Лермонтова съ привычно насмѣшливымъ складомъ губъ и пронзительными черными глазами, отъ взгляда которыхъ смущаются тѣ, на кого онъ смотритъ. Смущается, можетъ быть, и Бѣлинскій, что не мѣшаетъ ему, однако, «упорствуя, волнуясь и спѣша», въ горячей рѣчи отстаивать свои «понятія». Онъ твердо увѣренъ въ истинности и возвышенности этихъ понятій; но всѣмъ своимъ чуткимъ и дѣтски искреннимъ существомъ чувствуетъ, что въ бесѣдующемъ съ нимъ гусарскомъ поручикѣ есть нѣчто, чего въ немъ самомъ нѣтъ и передъ чѣмъ онъ долженъ преклониться...

IV.

Въ воспоминаніяхъ извѣстнаго въ свое время и совершенно неизвѣстнаго нынѣ великосвѣтскаго беллетриста гр. Соллогуба, автора «Тарантаса», «Исторіи двухъ калошъ» и проч., много разсказывается о дружескихъ отношеніяхъ автора съ Лермонтовымъ, о томъ, какъ Лермонтовъ съ нимъ совѣтовался, предлагалъ вмѣстѣ издавать журналъ и т. д. Соллогубъ очень восторгается талантомъ Лермонтова и скорбитъ объ его ранней кончинѣ. Это понятно и приличествуетъ всякому, знавшему и незнавшему поэта лично. Но, будучи пріятелемъ Лермонтова, гр. Соллогубъ можетъ, конечно, сообщить намъ о немъ что-нибудь интимное, что-нибудь такое, что только наблюденію близкаго человѣка доступно, и главнымъ образомъ что-нибудь касающееся свѣтскихъ отношеній Лермонтова. Но гр. Соллогубъ почти совсѣмъ не трогаетъ этого пункта, отсылая любопытствующихъ читателей къ одному своему беллетристическому произведенію. Онъ говоритъ: «Свѣтское значеніе Лермонтова я изобразилъ подъ именемъ Леонина въ моей повѣсти «Большой свѣтъ». Гр. Соллогубъ прибавляетъ, что повѣсть эту онъ написалъ «по заказу» одной высокопоставленной особы. Было бы въ высшей степени любопытно знать, какую цѣль преслѣдовала эта особа, заказывая гр. Соллогубу такое произведеніе. Изъ воспоминаній графа этого не видно, но

не видно также и мотивовъ, руководившихъ графомъ при исполненіи «заказа». Дѣйствіе повѣсти происходитъ, какъ показываетъ и заглавіе, въ «большомъ свѣтѣ», гдѣ, между прочимъ, ставятся за одну скобку «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то-есть Лермонтовъ и Соллогубъ, какъ писатели. Герой повѣсти, молодой офицеръ Леонинъ, играетъ въ «большомъ свѣтѣ» глупѣйшую роль сверчка, не знающаго своего шестка, и котораго поэтому свѣтскіе люди осмѣиваютъ и водятъ за носъ сколько имъ угодно. Это просто дурачокъ какой-то, ничтожный, сентиментальный и даже въ мазуркѣ не сильный, насчетъ которой онъ серьезно совѣщается съ другимъ дѣйствующимъ лицомъ повѣсти, Сафьевымъ, истинносвѣтскимъ человѣкомъ,—быть можетъ, въ немъ мы должны угадывать самого гр. Соллогуба. Надо замѣтить, что «Большой свѣтъ» былъ напечатанъ въ 1840 г., въ годъ дуэли Лермонтова съ Барантомъ и появленія въ печати «Героя нашего времени». Спрашивается, какъ же отнесся пылкій, заносчивый, самолюбивый поэтъ, находившійся въ это время на верху своей славы, къ своему якобы портрету, написанному якобы дружеской рукой гр. Соллогуба? Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій въ письмѣ къ Боткину такъ характеризовалъ «Большой свѣтъ»: «Много вѣрнаго и истиннаго въ положеніи, прекрасный разсказъ, нѣтъ никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьевъ—ложное лицо. А впрочемъ, славная вещь. Богъ съ ней! Лермонтовъ думаетъ такъ же. Хоть и салонный человѣкъ, а его не надуешь — себѣ на умѣ». Изъ этого слѣдуетъ, кажется, заключить, что ни Бѣлинскій не узналъ въ Леонинѣ Лермонтова, ни Лермонтовъ не узналъ самъ себя.

Для славной памяти поэта не было бы, конечно, ничего оскорбительнаго въ томъ, что какой-нибудь Сафьевъ превосходилъ его въ танцовальномъ искусствѣ или въ умѣніи вести свѣтскія интриги, хотя съ точки зрѣнія Соллогуба это грѣхи не малые. Но въ числѣ прочихъ біографическихъ фактовъ намъ нужно знать и «свѣтское значеніе» поэта. И, по соображенію со свѣдѣніями изъ другихъ источниковъ, мы должны признать, что значеніе это не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ изображеніемъ гр. Соллогуба. Общаго между Лермонтовымъ и Леониномъ только то, что оба стремятся попасть въ высшій аристократическій свѣтъ, но Лермонтовъ никогда не былъ тѣмъ робкимъ травоядным, какимъ является въ «Большомъ свѣтѣ» Леонинъ; онъ былъ, какъ показываетъ уже его исторія съ Сушковой, скорѣе слишкомъ смѣлымъ и безцеремоннымъ хищникомъ. Да и самыя выраженія въ родѣ «попасть въ высшій аристократическій свѣтъ» требуютъ по отношенію къ Лермонтову оговорокъ. Правда, ихъ иногда употреблялъ и самъ Лермонтовъ, говоря о себѣ, но совсѣмъ въ особенномъ смыслѣ. По свидѣтельству Вистенгофа, Лермонтовъ еще будучи въ московскомъ университетѣ, вращался въ свѣтскомъ обществѣ: «Онъ посѣщалъ великолѣпные балы тогдашняго московскаго благороднаго собранія, являлся на нихъ изысканно одѣтымъ, въ сообществѣ прекрасныхъ свѣтскихъ барышень, къ коимъ относился такъ же фамильярно, какъ къ почтеннымъ вліятельнымъ лицамъ во фракахъ со звѣздами или ключами позади, прохаживавшимися съ нимъ по заламъ». Такимъ образомъ, въ смыслѣ свѣтскаго лоска Лермонтовъ былъ очень рано вполнѣ готовымъ человѣкомъ, и едва-ли могъ нуждаться, будучи уже офицеромъ, въ какихъ-нибудь урокахъ Сафьева или гр. Соллогуба. Въ юнкерской школѣ онъ былъ опять же товарищемъ и какъ бы даже первоприсутствующимъ въ средѣ молодыхъ людей такъ называемаго высшаго круга. Конечно, такого товарищества было еще мало, чтобы быть своимъ въ аристократическихъ салонахъ, но Лермонтовъ хотѣлъ быть въ нихъ не столько своимъ, сколько первымъ въ своемъ родѣ, и новичкомъ онъ былъ въ нихъ уже, конечно, не въ смыслѣ непривычки къ свѣтскому обществу, какъ Леонинъ. И тѣмъ не менѣе повѣсть гр. Соллогуба, какъ она освѣщается его собственнымъ признаніемъ насчетъ ея происхожденія, является очень цѣннымъ матеріаломъ для опредѣленія «свѣтскаго значенія» Лермонтова. Если гр. Соллогубъ рѣшился поставить въ своей повѣсти рядомъ «стихи Л—ва и повѣсти С—ба», то изъ этого слѣдуетъ заключить, что талантъ Лермонтова признавался въ большомъ свѣтѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ около него, очевидно, много накопилось ненависти, потому что вотъ заказывается пасквиль на него, и дружеская рука великосвѣтскаго беллетриста исполняетъ заказъ. Ударъ, повидимому, не попалъ въ цѣль, потому что Лермонтовъ даже не узналъ себя. Но вѣдь не это и нужно было; это даже совсѣмъ не нужно было, такъ какъ необузданный характеръ Лермонтова ничего хорошаго персонѣ гр. Соллогуба не обѣщалъ, въ случаѣ еслибы поэтъ узналъ себя. Но гдѣ-то, въ какихъ то сферахъ нужно было изображеніе Лермонтова ничтожествомъ...

Поневолѣ вспоминаются слова Лермонтова о Пушкинѣ:

Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы простодушной
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ, завистливый и душный

Для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей?
Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ безбожнымъ,
Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ласкамъ ложнымъ, —
Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей!

«Врачу, исцѣлися самъ», — можно бы было, повидимому, сказать по этому поводу Лермонтову, потому что вѣдь онъ и самъ рвался «въ этотъ свѣтъ, завистливый и душный», и судьба Пушкина не послужила ему урокомъ. Однако, это только повидимому. «Мирныхъ нѣгъ и дружбы простодушной» Лермонтовъ почти не зналъ, а «словамъ и ласкамъ ложнымъ» отнюдь не вѣрилъ. Въ 1839 г., сообщая М. Лопухиной о своемъ петербургскомъ житьѣ-бытьѣ, онъ писалъ: «Весь народъ, который я оскорблялъ въ стихахъ моихъ, осыпаетъ меня ласкательствами, самыя хорошенькія женщины просятъ у меня стиховъ и торжественно ими хвастаются... Я возбуждаю любопытство, меня ищутъ, меня всюду приглашаютъ, даже когда я не выражаю къ тому ни малѣйшаго желанія, дамы, съ притязаніями собирать замѣчательныхъ людей въ своихъ гостиныхъ, хотятъ, чтобы я у нихъ былъ, потому что вѣдь я тоже *лев*; да, я, вашъ Мишель, добрый малый, у котораго вы никогда не подозрѣвали гривы. Согласитесь, что все это можетъ опьянять... Эта новая опытность полезна; она дала мнѣ оружіе противъ этого общества, которое непремѣнно будетъ преслѣдовать меня своими клеветами, и тогда у меня есть въ запасѣ средство для отмщенія: вѣдь нигдѣ не встрѣчается столько низостей и странностей, какъ тутъ».

Такимъ образомъ, Лермонтовъ шелъ въ «свѣтъ», какъ на битву, хорошо подготовленный и вооруженный, и соотвѣтственно велъ себя тамъ. Ходячее уподобленіе свѣтскихъ отношеній Лермонтова и Пушкина рѣшительно ни на чемъ не основано, кромѣ того чисто внѣшняго факта, что оба поэта вращались въ большомъ свѣтѣ и оба хотѣли въ немъ вращаться. Никогда Лермонтовъ не былъ и, насколько мы знаемъ его духовную физіономію, не могъ быть въ такихъ двусмысленныхъ положеніяхъ по отношенію къ сильнымъ міра, въ какихъ не разъ приходилось бывать Пушкину, никогда онъ ничего не просилъ, не получалъ, не бралъ на себя никакихъ порученій, никогда никакимъ покровительствомъ не пользовался. Пушкину только случалось призывать на себя своими стихотвореніями грозу, Лермонтовъ же дѣлалъ, кажется, все возможное, чтобы создать вокругъ себя постоянную атмосферу недовольства, вражды, ненависти.

Въ замѣткѣ, отнюдь не въ пользу Лермонтова пристрастной, кн. А. И. Васильчиковъ говоритъ: «Лермонтовъ не принадлежалъ къ числу разочарованныхъ, озлобленныхъ поэтовъ, бичующихъ слабости и пороки людскіе изъ зависти, что не могутъ насладиться запретнымъ плодомъ; онъ былъ человѣкъ вполнѣ своего вѣка, герой своего времени: вѣка и времени, самыхъ пустыхъ въ исторіи русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, къ коей всѣ мы, юноши 30-хъ годовъ, были обречены, вращаясь въ средѣ великосвѣтскаго общества, придавленнаго и кассированнаго послѣ катастрофы 14-го декабря, онъ глубоко и горько сознавалъ его ничтожество и выражалъ это чувство не только въ стихахъ «Печально я гляжу на наше поколѣнье», но и въ ежедневныхъ, свѣтскихъ и товарищескихъ своихъ сношеніяхъ. Отъ этого онъ былъ вообще нелюбимъ въ кругу своихъ знакомыхъ въ гвардіи и въ петербургскихъ салонахъ; при дворѣ его считали вреднымъ, неблагонамѣреннымъ и при томъ, по фрунту, дурнымъ офицеромъ, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербургское великосвѣтское общество, махнувъ рукой, повторило это надгробное слово надъ храбрымъ офицеромъ и великимъ поэтомъ».

Г. Висковатовъ разсказываетъ про одного товарища Лермонтова по юнкерской школѣ, «достигнувшаго потомъ важнаго государственнаго положенія»: человѣкъ этотъ,—говоритъ г. Висковатовъ,—«приходилъ въ негодованіе каждый разъ, когда мы заговаривали съ нимъ о Лермонтовѣ. Онъ называлъ его самымъ «безнравственнымъ человѣкомъ» и «посредственнымъ подражателемъ Байрона» и удивлялся, какъ можно имъ интересоваться до собиранія матеріала для его біографіи. Гораздо позднѣе, когда намъ попались въ руки школьныя произведенія нашего поэта, мы поняли причину такой злобы». Дѣло идетъ, очевидно, о какомъ-нибудь обидномъ стихотвореніи, котораго злопамятный товарищъ не простилъ поэту даже послѣ его смерти.

Въ вышеприведенномъ письмѣ къ Лопухиной Лермонтовъ говоритъ о людяхъ, которыхъ онъ «оскорблялъ въ стихахъ своихъ» и которые, дескать, теперь окружаютъ его лестью и ухаживаніемъ. Весьма возможно, что многія изъ стихотвореній, о которыхъ тутъ упоминаетъ Лермонтовъ, затерялись или даже намѣренно уничтожались. Пропали же для русской литературы чрезвычайно характерныя мелкія стихотворенія его, сохраненныя лишь Боденштедтомъ въ нѣмецкомъ переводѣ. Всѣ эти «Kleine Betrachtungen» и «Kleine Einfälle und Ausfälle», какъ они озаглавлены у Боденштедта, носятъ печать страстной вражды и презрѣнія къ какимъ

то людямъ, судя по усвоиваемымъ имъ атрибутамъ, принадлежащимъ къ такъ называемому свѣтскому обществу. «Всегда я чувствовалъ къ вамъ полное презрѣнье, названіемъ ословъ клеймилъ васъ, шельмовалъ, и вы же у меня просили извиненья въ томъ, что я васъ ослами величалъ». Это—начало одного изъ стихотвореній въ несовсѣмъ удачномъ перс-переводѣ Минаева. А вотъ два куплета другого стихотворенія въ нѣмецкомъ оригиналѣ-переводѣ Боденштедта:

Weil ich bei ihrem Thun vor Scham oft roth bin,
Mir nicht Musik erscheint Geklirr von Ketten
Und mir nicht lockt der Glanz von Bajonetten:
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin!

Weil ich nicht ganz von altem Korn und Schrott bin
Und nicht mit jedem Schritte rückwerts gehe:
Behaupten sie, dass ich kein Patriot bin,
Mein Land nicht liebe und es nicht verstehe!

Это стихотвореніе, напоминающее мотивъ «Родины» («Люблю отчизну я»), но съ острой полемической приправой, свидѣтельствуетъ, что Лермонтову приходилось имѣть дѣло и съ столь обычною у насъ клеветою беззастѣнчивыхъ враговъ насчетъ недостатка любви къ отечеству. Вообще взаимныя отношенія между поэтомъ и окружавшею его свѣтскою средою были самыя напряженныя. Есть доля фактической правды даже въ отдающемъ цинизмомъ замѣчаніи кн. Васильчикова, что если бы и не Мартыновъ, такъ все равно кто-нибудь другой рано или поздно убилъ бы Лермонтова. Послѣдняя драма въ жизни поэта, не смотря на свой, повидимому, безсмысленно случайный характеръ, подготовлялась давно. Г. Висковатовъ сообщаетъ со словъ современниковъ, что «многіе» изъ бывшихъ въ то роковое лѣто въ Пятигорскѣ свѣтскихъ людей называли Лермонтова «ядовитой гадиной». Эти благородные люди подговаривали молодого офицера Лисаневича вызвать поэта на дуэль, но Лисаневичъ объявилъ, что у него «не поднимется рука на такого человѣка». У Мартынова поднялась... Всѣ тѣ рѣзкіе укоры, съ которыми Лермонтовъ обращался къ закулиснымъ виновникамъ смерти Пушкина, вполнѣ приложимы и къ обществу, выдвинувшему Мартынова. Но надо всетаки признать, что самъ Лермонтовъ былъ отнюдь не невиненъ въ той атмосферѣ вражды и ненависти, которая вокругъ него создалась. По свидѣтельству всѣхъ, оставившихъ какія-нибудь воспоминанія о Лермонтовѣ, какъ людей, благорасположенныхъ къ нему, такъ и нерасположенныхъ, немногіе изъ его знакомыхъ пользовались его искреннею и нѣжною привязанностью, а ко всѣмъ остальнымъ онъ относился презрительно, заносчиво, враждебно, точно нарочно изыскивая предлоги къ непріятностямъ и открытымъ столкновеніямъ.

Мы поймемъ это, разумѣется, непріятное для окружающихъ поведеніе, припомнивъ слова Печорина: «Я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ, — вотъ что я называю жизнью». Странная задача, странное понятіе о «жизни»! Но такого рода странностями переполнена, можно сказать, жизнь какъ самого Лермонтова, такъ и дѣйствующихъ лицъ его произведеній. И во всѣхъ этихъ странностяхъ виденъ все тотъ же человѣкъ, страстно жаждущій дѣятельности, именно въ смыслѣ психическаго воздѣйствія на людей, задающій себѣ разнообразныя, утонченно сложныя задачи этого рода.

Дѣйствовать, бороться, покорять сердца, такъ или иначе оперировать надъ душами ближнихъ и дальнихъ, любимыхъ и ненавидимыхъ, — таково призваніе или коренное требованіе натуры всѣхъ выдающихся дѣйствующихъ лицъ произведеній Лермонтова, да и его самого. Имъ было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтеніе къ мысли, идеѣ, теоріи, которое получило такое яркое выраженіе въ знаменитомъ «я мыслю, слѣдовательно, существую» Декарта, равно какъ и многія другія блестящія страницы исторіи философіи. «Я мыслю»—изъ этого еще ничего не слѣдуетъ. Мысль, идея есть лишь зачатокъ дѣйствія и сама по себѣ отнюдь не можетъ служить доказательствомъ или мѣриломъ существованія. Существованіе самой мысли еще нуждается въ доказательствѣ, которое дается лишь обнаруженіемъ ея въ дѣйствіи. Припомните слова Печорина: «идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идеи—созданія органическія, ихъ рожденіе уже даетъ имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе». Таковъ, по Лермонтову, естественный строй душевной жизни, и это воззрѣніе весьма близко къ тому, которое становится господствующимъ въ современной психофизіологіи. Лермонтовъ дошелъ до него не путемъ логическихъ выкладокъ или систематическаго изученія; онъ прочелъ его готовымъ въ своей собственной душѣ, которой была инстинктивно противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной дѣйствіемъ. Столь же чуждо Лер-

монтову было и замкнутое, самодовлѣющее художественное творчество. При всей его горячей любви и глубокомъ уваженіи къ Пушкину, онъ никогда не подписался бы подъ извѣстною поэтическою profession de foi своего старшаго брата по искусству: «не для житейскаго волненья... не для битвъ, мы рождены для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ». Лермонтовъ желалъ, напротивъ, чтобы «мѣрный звукъ его могучихъ словъ воспламенялъ бойца для битвы», чтобы его стихъ, какъ божій духъ, носился надъ толпой и отзывъ мыслей благородныхъ звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ».

Но если естественный строй душевной жизни требуетъ превращенія мысли въ дѣйствіе, то въ дѣйствительности мы видимъ постоянныя нарушенія этого закона. Неудивительно поэтому, что значительная часть лермонтовской поэзіи отличается рѣзко отрицательнымъ тономъ. На каждомъ шагу наталкивался онъ на разнообразныя формы отлученія мысли отъ дѣла или дѣла отъ мысли и, оскорбленный въ коренномъ требованіи своей натуры, металъ направо и налѣво свой «желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью». Нечего говорить о тѣхъ формахъ разлученія мысли и дѣла, которыя могутъ быть сгруппированы подъ именемъ лицемѣрія. Вмѣстѣ съ другими большого роста людьми, освѣщающими путь человѣчества, Лермонтовъ клеймилъ, между прочимъ, и лицемѣріе, но не оно составляло спеціальный предметъ его особенной вражды. «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много»,—писалъ онъ, будучи еще юношей. Позже онъ печально глядитъ «на наше поколѣнье», потому что «въ бездѣйствіи состарится оно», потому что «мы вянемъ безъ борьбы», потому что «надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда». Замѣтьте эти выраженія; они не случайныя красивыя дѣтища ритмы и ритма, какъ это часто бываетъ даже у высоко талантливыхъ стихотворцевъ, а точное словесное отраженіе постоянной, излюбленной мысли поэта: мысль должна быть «плодовита», т. е. имѣть осязательный результатъ, быть дѣйственною мыслью, а трудъ, т. е. дѣло, долженъ быть начатъ геніемъ. Это полный, законченный круговоротъ силъ и все, что становится поперекъ дороги превращенію мысли въ дѣло, все, разрывающее эти звенья единой цѣпи, больно и оскорбительно уязвляетъ поэта. Условія современной Лермонтову русской гражданственности и въ частности условія нашей печати не позволяли ему быть очень опредѣленнымъ въ указаніяхъ на обстоятельства, препятствующія свободному превращенію мысли въ дѣйствіе, но свободолюбивый духъ ясно даетъ себя знать во всей его поэзіи. «Ты хочешь знать, что дѣлалъ я на волѣ?»—спрашиваетъ Мцыри и отвѣчаетъ: «жилъ». Но вольная жизнь дикаря, вырвавшагося изъ монастыря или плѣна, есть, конечно, не идеалъ Лермонтова, а только символъ идеала или схематическое его изображеніе. Въ эту схему надо еще ввести многое, дикарю неизвѣстное, а Лермонтову дорогое. Лермонтовъ могъ съ завистью смотрѣть и на Мцыри, живущаго полною жизнью въ общеніи съ природой, въ битвѣ съ барсомъ и т. д., и на другихъ своихъ героевъ, заимствованныхъ изъ кавказской и болѣе или менѣе отдаленной русской жизни, у которыхъ мысль и дѣйствіе сливаются въ одно неразрывное цѣлое. Но если это и былъ рай, то рай потерянный, и навсегда. Надо создавать новый рай, въ которомъ, такъ сказать, пропорціи первобытной, стародавней жизни были бы сохранены, но содержаніе жизни было бы обогащено всѣмъ истинно цѣннымъ, пріобрѣтеннымъ на историческомъ пути отъ Хаджи-Абрека или купца Калашникова или горбача Вадима до Лермонтова. Но какъ это сдѣлать?

Въ Хаджи-Абрекѣ или въ Вадимѣ Лермонтовъ цѣнитъ, конечно, не звѣрскую ихъ жестокость, а лишь ту пропорціональность или эквивалентность мысли и дѣла, которой онъ тщетно искалъ вокругъ себя, въ своихъ современникахъ. Преступность кровопролитія, равно какъ и вообще азбуку гуманизма онъ понималъ ужъ, разумѣется, не хуже другихъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ даже минуты его отчаянія въ будущности человѣческаго рода, въ одну ихъ которыхъ онъ написалъ замѣчательный, хотя и мало замѣчаемый «отрывокъ»:

Теперь я вижу: пышный свѣтъ
Не для людей былъ сотворенъ...

Люди сгибнутъ, и «нашъ прахъ лишь землю умягчитъ другимъ, чистѣйшимъ существамъ. Не будутъ проклинать они; межъ нихъ ни злата, ни честей не будетъ, станутъ течь ихъ дни невинные, какъ дни дѣтей; межъ нихъ ни дружбу, ни любовь приличья цѣпи не сожмутъ, и братьевъ праведную кровь они со смѣхомъ не прольютъ». А мы, люди, будемъ смотрѣть на этотъ «рай земли» изъ «бездны тьмы» и казниться завистью и тоской: «вотъ казнь за цѣлые вѣка злодѣйствъ, кипѣвшихъ подъ луной».

Этотъ вопль повторяется, лишь въ болѣе мягкой формѣ, въ часто цитируемыхъ строкахъ изъ «Валерика».

И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно:
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?

А между тѣмъ объ этой самой битвѣ при Валерикѣ Лермонтовъ писалъ одному изъ своихъ пріятелей въ такомъ тонѣ: «Насъ было всего двѣ тысячи пѣхоты, а ихъ до шести тысячъ, и все время дрались штыками. У насъ убыло 30 офицеровъ и 300 рядовыхъ, а ихъ 600 тѣлъ осталось на мѣстѣ,—кажется, хорошо!.. Я вошелъ во вкусъ войны и увѣренъ, что для человѣка, который привыкъ къ сильнымъ ощущеніямъ этого банка, мало найдется удовольствій, которыя бы не показались приторными». Мало того: вскорѣ послѣ битвы при Валерикѣ мы видимъ Лермонтова чѣмъ-то въ родѣ атамана шайки головорѣзовъ, предводителемъ сброднаго партизанскаго «Лермонтовскаго отряда», во главѣ котораго поэтъ продѣлывалъ настоящіе фокусы отчаянной и совсѣмъ ненужной храбрости. Не уличить-ли намъ поэта въ противорѣчіи или не предоставить-ли двумъ критикамъ доказывать,—одному, что Лермонтовъ былъ любитель «бранной забавы», а другому, что онъ эту «забаву» ненавидѣлъ? Это возможно. Мало писателей, сужденія о которыхъ были бы столь разнорѣчивы и противорѣчивы, какъ о Лермонтовѣ. Есть критики и біографы, характеризующіе Лермонтова, какъ протестанта по преимуществу, и въ особенности подчеркивающіе въ немъ «съ небомъ гордую вражду»; но находятся и такіе, которые полагаютъ, что девизомъ его жизни и дѣятельности могутъ служить смиренномудрыя слова: «да будетъ воля Твоя». Одни ищутъ и находятъ въ Лермонтовѣ черты казеннаго патріотизма съ барабаннымъ боемъ, другіе указываютъ черты рѣзко противоположныя. Одни помѣщаютъ поэта между небомъ и землей въ костюмѣ «нарядной печали» и красиваго презрѣнія къ маленькимъ и непрочнымъ земнымъ дѣламъ; другіе приписываютъ ему, напротивъ, даже особливую приземистость. И все это, при желаніи и нѣкоторомъ, весьма даже незначительномъ искусствѣ, можетъ быть доказываемо и подтверждаемо цитатами или ссылками на біографическіе факты. Съ такимъ же правомъ можно бы было доказывать и то, что Лермонтовъ былъ врагомъ кровопролитія, и то, что онъ былъ его апологетомъ. Дѣло, однако, въ томъ, что, не говоря о преходящихъ настроеніяхъ минуты, на которыхъ ничего не слѣдуетъ строить, Лермонтовъ, совершенно независимо отъ своихъ убѣжденій, высоко цѣнилъ самую убѣжденность, засвидѣтельствованную дѣломъ. Пусть Хаджи-Абрекъ звѣрь, пусть Вадимъ еще большій звѣрь, но Лермонтовъ видитъ въ немъ «великую душу», хотя и жалѣетъ, что его «геройское терпѣніе, скорость мысли и рѣшительность» пошли на дѣло звѣрской, личной мести. И многое простилъ бы онъ своимъ современникамъ, еслибы видѣлъ въ нихъ готовность постоять хоть за что-нибудь съ такою же непоколебимою рѣшимостью, съ какою Хаджи-Абрекъ, Калашниковъ или Вадимъ стоятъ за свое дѣло.

Въ числѣ причинъ этого недуга безсилія любопытенъ «ядъ просвѣщенья». Видѣть въ этомъ указаніи какой-нибудь протестъ противъ науки, теоретическаго знанія, какъ такового,—совершенно неосновательно. Мимоходомъ сказать, школьное образованіе Лермонтова не было, конечно, значительно, но самостоятельно онъ, повидимому, много учился, и не только въ области изящной литературы, и не только въ годы ранней юности. Такъ, въ 1841 г., передъ послѣдней поѣздкой на Кавказъ, онъ писалъ одному пріятелю: «Покупаю для общаго нашего обихода Лафатера и Галя и множество другихъ книгъ». Это свидѣтельствуетъ о довольно широкихъ и разностороннихъ чисто умственныхъ интересахъ, и если «просвѣщеніе» является въ глазахъ Лермонтова «ядомъ», то лишь въ томъ смыслѣ, что оно, при извѣстныхъ условіяхъ, такъ сказать, парализуетъ, подобно нѣкоторымъ настоящимъ ядамъ, двигательные нервы, отнимаетъ у нихъ способность быть проводниками воли. И, дѣйствительно, есть дозы и формы просвѣщенія, которыя, подмывая старыя вѣрованія, служившія когда-то источникомъ или импульсомъ дѣятельности, не даютъ взамѣнъ ничего новаго и оставляютъ человѣка при голомъ скептицизмѣ. Есть другія дозы и формы просвѣщенія, которыя дѣлаютъ мысль, идею, познаніе, теорію настолько преувеличенно привлекательными, что человѣкъ на нихъ останавливается, не помышляя о претвореніи мысли въ дѣло и теоріи въ практику. Такое-то просвѣщеніе и есть, съ точки зрѣнія Лермонтова, ядъ.

Лермонтову казалось иногда, что и самъ онъ отравленъ этимъ ядомъ. Оно такъ и было до извѣстной степени, но въ несравненно большей мѣрѣ его точилъ другой недугъ. Онъ разсказалъ о немъ словами Печорина: «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? Для какой цѣли я родился?.. А вѣрно она существовала, и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому, что въ душѣ моей я чувствую силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ, изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и

холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвѣтъ жизни». Эта характеристика Печорина, сдѣланная имъ самимъ подъ диктовку Лермонтова, приложима и къ Лермонтову, но съ ограниченіями. Ни изъ чего не видно, чтобы Лермонтовъ «навѣки утратилъ пылъ благородныхъ стремленій». Онъ умеръ слишкомъ молодымъ, чтобы можно было дѣлать подобныя заключенія, и все заставляетъ, напротивъ, думать, что онъ, въ лицѣ Печорина, слишкомъ рано поставилъ на себѣ крестъ. Не совсѣмъ также вѣрно, что онъ не угадалъ «своего назначенія». Но за то вполнѣ вѣрно, что силы его были громадны и что эти силы тратились иногда на «приманки страстей пустыхъ и неблагодарныхъ». Исключительный размѣръ силъ Лермонтова сказался не только въ его чарующей поэзіи, совмѣщающей въ своемъ содержаніи глубокую мысль и сильное чувство, а въ своей формѣ—музыку стиха, живопись красокъ и пластику скульптуры. Исключительная сила выразилась и въ житейскихъ дѣлахъ Лермонтова, даже въ самыхъ мелкихъ и, прямо сказать, дрянныхъ, нравственно безобразныхъ. Нѣтъ имени его поведенію въ исторіи съ Сушковой-Хвостовой, какъ мы ее знаемъ и отъ нея, и отъ него. Но, принимая въ соображеніе его тогдашній мальчишескій возрастъ и житейскую, а въ частности свѣтскую неопытность, нельзя всетаки не признать, что это—злая, безспорно злая работа, но работа недюжинной силы. И сила эта совершенно особенная, рѣдкій даръ природы, приносящій съ собой иногда много добра, иногда много зла,—даръ дерзать и владѣть, сила психическаго воздѣйствія на людей. Печать этой силы лежитъ на всей поэзіи Лермонтова, но и помимо поэзіи она всегда рвалась въ немъ наружу, требовала работы, стихійно искала себѣ точки приложенія. Именно стихійно. Лермонтовъ, по самой натурѣ своей, не могъ не подчинять себѣ людей, такъ или иначе, играя на струнахъ ихъ душъ, то намѣренно ихъ очаровывая, то столь же намѣренно доводя ихъ до озлобленія. Въ послѣдніе годы своей жизни Лермонтовъ мечталъ о томъ, чтобы выйти въ отставку и совсѣмъ отдаться литературѣ,—онъ думалъ издавать журналъ. Мудрено гадать, чего мы лишились, благодаря неосуществленію этого проекта. Мудрено гадать даже о томъ, удовлетворился ли бы сколько-нибудь самъ Лермонтовъ тою литературною дѣятельностью, какая была возможна въ его время. Но вся жизнь его протекла въ условіяхъ, совершенно неблагопріятныхъ для пріисканія дѣятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключеніемъ, разумѣется, поэзіи, въ которую онъ и вкладывалъ свою уязвленную душу. Отсюда мрачные мотивы и мрачный тонъ этой поэзіи. Въ придачу къ тяжкимъ впечатлѣніямъ дѣтства, быть можетъ, и преувеличеннымъ пылкостью воображенія и болѣзненною чуткостью поэта, въ пору сознательной жизни явилось еще нѣчто въ родѣ мукъ Прометея, у котораго печень вновь выростаетъ по мѣрѣ того, какъ ее клюетъ коршунъ. Мы видѣли, что даже въ юнкерской школѣ, среди веселаго разгула и непристойныхъ упражненій въ поэзіи, Лермонтовъ внутренно угрызался и тосковалъ. И такъ было всю жизнь. Становясь на Кавказѣ во главѣ чего-то въ родѣ шайки башибузуковъ, онъ находилъ нѣкоторое удовлетвореніе, которое самъ сравниваетъ съ ощущеніями азартной игры; но это лишь увлеченіе минуты, за которымъ слѣдуетъ горькое раздумье и разочарованіе. Слѣпая сила его собственной природы стихійно побуждала его дерзать и владѣть гдѣ бы то ни было и при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ, а голосъ разума и совѣсти клеймилъ эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первомъ удобномъ случаѣ, при новой встрѣчѣ съ женщиной, при столкновеніи съ новымъ обществомъ, жажда дерзать и владѣть выступала впередъ и опять голосъ разума и совѣсти говорилъ: не то! не таково должно быть поле дѣятельности для «необъятныхъ силъ»! Немудрено, что въ душѣ поэта вспыхивали зловѣщіе огни отчаянія и злого, мстительнаго чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему временами «пустою и глупою шуткой»...

Кн. Васильчиковъ правъ, говоря, что то было время «самое пустое въ исторіи русской гражданственности», и указывая на «придавленность общества послѣ катастрофы 14-го декабря». Но онъ не правъ, называя Лермонтова «человѣкомъ» вполнѣ своего вѣка, героемъ своего времени». Или по крайней мѣрѣ это опредѣленіе требуетъ оговорки. Что бы ни хотѣлъ сказать Лермонтовъ заглавіемъ своего романа,—иронизировалъ-ли онъ или говорилъ серьезно, собирательный-ли типъ хотѣлъ дать въ Печоринѣ или выдающуюся единицу, съ себя ли писалъ «героя нашего времени» или нѣтъ,—для него самого его время было полнымъ безвременьемъ. И онъ былъ настоящимъ героемъ безвременья.

Н. В. ШЕЛГУНОВЪ *).

I.

Въ одномъ изъ своихъ «Очерковъ русской жизни» Н. В. Шелгуновъ приводитъ слѣдующія слова «Гражданина» о шестидесятыхъ годахъ: «Тогда все кипѣло жизнью, и именно жизнью духовною, тогда лучшіе люди шли на общественную службу, тогда въ каждомъ русскомъ человѣкѣ билось сильно сердце, тогда либералы создали цѣлую Ніагару мыслей, стремленій, цѣлей въ руслѣ русской умственной жизни и этимъ самымъ вызвали къ жизни и противниковъ этого громаднаго урагана,—словомъ, тогда все, что дремало до того, проснулось, и на борьбу выступили всѣ силы добра и зла, на борьбу живую и, можно безъ преувеличенія сказать, народную, въ смыслѣ животрепещущихъ вопросовъ судьбы русскаго государства, эпохою создавшихся».

Н. В. Шелгуновъ дѣлаетъ эту выписку изъ «Гражданина» съ особою цѣлью, для иллюстраціи одного частнаго своего соображенія. Но гораздо болѣе общее чувство внутренняго удовлетворенія, навѣрное, говорило въ немъ при этомъ. Пріятно и мнѣ начать вступительную статью къ сочиненіямъ одного изъ видныхъ представителей шестидесятыхъ годовъ этою выпискою изъ газеты, болѣе чѣмъ неблагосклонной къ тогдашнему умственному движенію. Приснопамятные шестидесятые годы будутъ еще, вѣроятно, долго служить предметомъ самыхъ разнообразныхъ сужденій, въ числѣ которыхъ не мало будетъ и рѣшительныхъ осужденій. Такова всегдашняя участь всего яркаго и крупнаго,—людей, событій, эпохъ. Мелкіе люди, заурядныя событія, тусклыя эпохи не вызываютъ пререканій и противорѣчивыхъ сужденій, а около всего цвѣтного и крупнаго стоитъ гулъ и шумъ споровъ. Съ теченіемъ времени этотъ шумъ, разумѣется, затихаетъ и, наконецъ, совсѣмъ прекращается. Однако, такое событіе, какъ, напримѣръ, первая французская революція, доселѣ, спустя сто лѣтъ, подвергается самымъ разнообразнымъ и противорѣчивымъ сужденіямъ. У насъ, впрочемъ, есть примѣръ ближе—петровская реформа. Сколько пламенныхъ восторговъ и сколько несдержанной брани вызываетъ она даже по сей часъ! Одни видятъ въ ней безупречно розовую зарю русской исторіи, другіе — почти преступное и, во всякомъ случаѣ, прискорбное удаленіе «изъ дому». И это только два крайнія мнѣнія, а существуетъ еще много другихъ, менѣе одноцвѣтныхъ, пытающихся придать сложному явленію соотвѣтственно сложное значеніе, или болѣе частныхъ, имѣющихъ въ виду главнымъ образомъ гигантскую личность Петра, либо ту или другую подробность реформы. Одно стоитъ внѣ всякихъ споровъ и сомнѣній: въ подобные историческіе моменты жизнь бьетъ ключемъ, совершается нѣчто значительное, какъ бы кто ни расцѣнивалъ содержащееся въ этомъ значительномъ добро и зло. Къ такимъ именно полнымъ жизни и значенія историческимъ моментамъ принадлежатъ шестидесятые годы. Это должны признать даже отъявленные враги всего, что тогда народилось и расцвѣло. Если они далеко не всегда столь откровенны и безпристрастны, какъ «Гражданинъ» въ сдѣланной выше выпискѣ; если они, напротивъ, въ большинствѣ случаевъ, всячески силятся унизить, «развѣнчать» шестидесятые годы, то самая страстность этихъ ихъ усилій, доходящая иногда чуть не до бѣшенства, свидѣтельствуетъ о крупныхъ размѣрахъ того, съ чѣмъ они заднимъ числомъ борются.

Сочиненія писателя, воспитаннаго подобною эпохой, естественно должны представлять особенный интересъ, хотя-бы уже въ силу того отпечатка, который должно положить на нихъ участіе въ общей крупной работѣ. И, прежде всего, для насъ интересно отношеніе такого писателя къ этой общей работѣ. Въ воспоминаніяхъ Шелгунова, а частью и въ другихъ статьяхъ настоящаго изданія, читатель найдетъ и матеріалы для сужденія о шестидесятыхъ годахъ и самыя его сужденія. Я приведу лишь очень немногое, наиболѣе, мнѣ кажется, общее или фактически наиболѣе выразительное, что можетъ служить отправнымъ пунктомъ для нашихъ собственныхъ соображеній. Но надо оговориться. Въ буквальномъ смыслѣ слова Шелгуновъ воспитанъ не шестидесятыми годами, а предъидущей, тоже приснопамятной, Николаевской эпохой. Но и какъ писатель, и какъ человѣкъ, онъ вынесъ изъ этого времени почти исключительно одни отрицательные уроки. Онъ говоритъ: «Дорожить насъ не пріучили ничѣмъ, уважать мы также ничего не уважали: но за то начальство старательно водворяло въ насъ чувство страха... Имъ (то-есть чувствомъ страха) у насъ по-

*) 1891 г.

стоянно злоупотребляли. Когда-же всѣ общественныя связи основаны только на страхѣ и страхъ наконецъ исчезаетъ, тогда ничего не остается, кромѣ пустого пространства, открытаго для всѣхъ вѣтровъ. И вотъ такое-то пустое пространство и открылось у насъ. Но въ пустомъ пространствѣ жить нельзя, каждому человѣку нужно строиться; мы и начали строиться».

Заключенная въ этихъ немногихъ словахъ глубоко вѣрная мысль требуетъ лишь нѣкотораго распространенія и поясненія, чтобы ею вполнѣ освѣтились значеніе и характеръ шестидесятыхъ годовъ. Постараемся найти это распространеніе и поясненіе у самого Шелгунова. Это не трудно.

Школьныя и служебныя воспоминанія Шелгунова почти сплошь представляютъ собою поучительнѣйшую картину той, повидимому, необыкновенно стройной, цѣльной, однородной цѣпи отношеній, которая составляла сущность тогдашняго русскаго общества. Это было, дѣйствительно, нѣчто очень стройное и цѣльное, а на иной глазъ, пожалуй, даже обаятельное въ какой-то своей художественной законченности: каждый былъ въ этой цѣпи въ одно и то-же время восходящимъ и нисходящимъ звеномъ, каждый имѣлъ свое опредѣленное мѣсто, на которомъ онъ трепеталъ передъ однними, высшими, и заставлялъ трепетать другихъ, низшихъ. Сознательнаго исполненія долга, «не токмо за страхъ, но и за совѣсть», здѣсь не было, потому что не было мѣста ни личному убѣжденію, ни личному достоинству, ни, вообще, чему-нибудь такому, что могло-бы нестрить картину и нарушать простую гармонію системы. Но она была уже слишкомъ проста для такой сложной штуки, какъ человѣческая жизнь и человѣческое общество. Ее нельзя было предоставить самой себѣ, въ разсчетѣ на силу первоначальнаго толчка и силу инерціи. Она требовала постоянной поддержки искусственными средствами, заимствованными, впрочемъ, изъ нея же. Шелгуновъ имѣетъ полное право прибавлять эпитетъ «страшное» къ ироническому выраженію «доброе старое время». Да, «страшное доброе старое время»; не только потому, что и теперь страшно читать хотя-бы въ воспоминаніяхъ того-же Шелгунова, напримѣръ, сцены жесточайшихъ расправъ съ двѣнадцатилѣтними ребятами, но и потому, что все дѣло и въ то-то время было въ страхѣ. Разсказавъ одинъ подобный случай, когда въ дворянскомъ полку директоръ Пущинъ засѣкъ воспитанника до смерти, Шелгуновъ прибавляетъ: «Пущинъ остался директоромъ, чтобы не колебать дисциплины и уваженія къ власти». Съ точки зрѣнія господствовавшей системы, это было вполнѣ послѣдовательно. Пущинъ былъ виноватъ, но онъ совершилъ свою вину въ качествѣ власти, а власть и вина были не совмѣстимы въ тогдашней системѣ, ибо, разъ допустивъ критическій разборъ властнаго поступка, можно было опасаться умаленія того исходящаго отъ власти спасительнаго страха, на которомъ держалась вся система. Эта, логически необходимая, безнаказанность властныхъ людей придавала имъ необыкновенную самоувѣренность, дѣлала ихъ «выше ростомъ», по выраженію Шелгунова, и весьма вѣроятно, что угрызенія совѣсти были имъ совершенно незнакомы даже въ самыхъ ужасныхъ случаяхъ, а иным, можетъ быть, и во-истину не пзъ-за чего было угрызаться. Если, какъ разсказывали Шелгунову, два чиновника «умерли отъ страху», въ ожиданіи предпринятой Муравьевымъ ревизіи вѣдомства государственныхъ имуществъ, то собственно въ этихъ двухъ смертяхъ Муравьевъ лично былъ ни при чемъ, хотя и раздавилъ двѣ человѣческія жизни однимъ своимъ именемъ. И, можетъ быть, это были вовсе не худшіе чиновники, которымъ грозила бѣда по заслугамъ. Вина и заслуга, какъ и всѣ прочіе виды добра и зла, теряли въ то страшное доброе старое время всякое самостоятельное значеніе, переломляясь на совершенно, по нынѣшнимъ нашимъ понятіямъ, неожиданный манеръ въ призмѣ господствовавшей системы отношеній. Надо замѣтить, что случаи, разсказанные Шелгуновымъ, не смотря на всю свою выразительность, еще далеко не самые ужасные. Въ своихъ воспоминаніяхъ онъ лишь очень бѣгло, мимоходомъ касается крѣпостного права, съ которымъ, повидимому, и въ жизни не имѣлъ близкихъ соприкосновеній. Но онъ хорошо понимаетъ, что оно-то и составляло фундаментъ всей системы. Фундаментъ, столь прочный, что даже всесильный императоръ Николай не находилъ возможнымъ развалить его и, по собственному его выраженію, лишь почиталъ должнымъ передать это великое дѣло своему преемнику «съ возможнымъ облегченіемъ при исполненіи». И когда силою вещей наступилъ конецъ этому фундаменту, а вмѣстѣ съ нимъ и всей системѣ, то «ничего не осталось, кромѣ пустого пространства, открытаго для всѣхъ вѣтровъ». Цѣлыя поколѣнія съ упорною послѣдовательностью и исключительностью готовились къ двоякой роли: приказывающихъ и исполняющихъ приказанія, и въ результатѣ получились настоящіе виртуозы той и другой функціи, изумительно приладившіеся къ воспитавшей ихъ системѣ. Но когда область двуединой функціи сузилась и расшаталась, эти превосходнѣйшіе въ своемъ родѣ спеціалисты естественно должны были очутиться въ положеніи рыбъ, выта-

щенныхъ изъ воды, а о выработкѣ того, что требовалось новымъ историческимъ моментомъ, — самостоятельной мысли, знаній, твердыхъ убѣжденій, чувства собственнаго достоинства и признанія такового за другими,—система не заботилась и не могла, по самому существу своему, заботиться. Мало того, весь этотъ умственный и нравственный багажъ пестрилъ систему, не допускавшую никакой пестроты, грозилъ ей разнообразными изъянами и неудобствами, а потому или прямо преслѣдовался, какъ контрабанда, или содержался въ сильномъ подозрѣніи. Это было опять-таки вполнѣ естественно и послѣдовательно. Система, до такой степени законченная, должна была даже съ преувеличенною чуткостью относиться къ разнымъ враждебнымъ ей элементамъ. Системѣ, конечно, нужны были, по крайней мѣрѣ, всякаго рода техники, а положеніе великой европейской державы обязывало и къ нѣкоторой умственной роскоши, хотя бы только показной. Но даже самое невинное и чисто фактическое знаніе могло стать очагомъ критической мысли, а эта послѣдняя была уже рѣшительно враждебна системѣ, враждебна сама по себѣ, какъ таковая, на что-бы она ни была направлена. Поэтому всѣ усилія были направлены на урѣзку даже фактическаго знанія до возможнаго minimum'а, опредѣлить который было, конечно, очень трудно, и на приданіе этому minimum'у общей окраски двуединой функціи, что отчасти и достигалось введеніемъ военной дисциплины въ учебныя заведенія, готовившія къ самымъ мирнымъ занятіямъ. Исторія русскаго просвѣщенія того времени представляетъ высокій теоретическій интересъ, въ качествѣ огромнаго соціологическаго опыта, къ сожалѣнію, слишкомъ дорого стоившаго, но мы не будемъ разбрасываться и постараемся не отходить далеко отъ непосредственнаго предмета нашей статьи,—сочиненій Н. В. Шелгунова.

Вскорѣ послѣ паденія Севастополя Шелгунову было предложено мѣсто ученаго лѣсничаго въ Лисинскомъ учебномъ лѣсничествѣ. Къ сложнымъ занятіямъ, сопряженнымъ съ этимъ мѣстомъ, Шелгуновъ считалъ себя не подготовленнымъ и потому лишь въ томъ случаѣ соглашался принять мѣсто, если его отправятъ предварительно (на его счетъ) за границу для ознакомленія съ тамошнимъ лѣснымъ хозяйствомъ. Шелгуновъ зналъ, чего стоятъ знанія, пріобрѣтенныя имъ въ тогдашнемъ Лѣсномъ Институтѣ, но система находила, что этого вполнѣ достаточно, и только послѣ порядочной борьбы Шелгуновъ настоялъ на своемъ. Изъ заграничныхъ воспоминаній его отмѣтимъ слѣдующую черту: «Я отыскивалъ сочиненія о Россіи, которой я не зналъ ни исторіи, ни географіи». На первый взглядъ, это поразительно, почти невѣроятно: образованный русскій офицеръ, въ умственномъ отношеніи, очевидно, выдающійся, такъ какъ ему предложено было видное мѣсто ученаго лѣсничаго, а потомъ и профессора, добросовѣстный, такъ какъ не хватается сразу за видное положеніе, не знаетъ ни исторіи, ни географіи своей родины и за границей отыскиваетъ сочиненія о Россіи! Казалось-бы, парадоксальнѣе этого и выдумать ничего нельзя. Но тогдашняя Россія была переполнена подобными парадоксами. Уже въ 1863 г., состоя подъ военнымъ судомъ, Шелгуновъ разговорился съ однимъ изъ членовъ суда, морякомъ, капитанъ-лейтенантомъ, причемъ оказалось, что этотъ капитанъ-лейтенантъ и членъ суда по политическому дѣлу въ первый разъ услышалъ имя Стеньки Разина! Шелгуновъ самъ говоритъ, что это можетъ показаться невѣроятнымъ, а тогда онъ такъ принялъ этотъ фактъ къ сердцу, что, подъ давленіемъ его, принялся писать популярную статью по русской исторіи («Россія до Петра Великаго»). «И все это понятно,— говоритъ Шелгуновъ. Я учился около того-же времени, какъ и капитанъ-лейтенантъ и другіе члены военнаго суда, а если и не совсѣмъ въ то время, то, во всякомъ случаѣ, при томъ-же воспитательномъ режимѣ. И у насъ не включался въ курсъ русской исторіи Стенька Разинъ, не былъ извѣстенъ и Пугачевъ, а еще меньше сообщалось о какихъ-либо народныхъ волненіяхъ (то-есть, вѣроятно, второстепенныхъ, мѣстныхъ). Исторія, которой насъ учили, была исторія благополучія и прославленія русской мудрости, величія, мужества и доблести. Оканчивалась она царствованіемъ императрицы Екатерины II, а все послѣдующее время представлялось намъ въ видѣ туманнаго пятна съ большимъ вопросительнымъ знакомъ».

Бунтъ Разина и Пугачевщина скрывались, очевидно, ради крѣпостного права, составлявшаго фундаментъ системы. Почиталось удобнымъ замалчивать непріятные историческіе факты, порожденные общественнымъ строемъ, въ общихъ чертахъ еще живымъ. Однако, дѣло двусмысленнаго отношенія къ историческому знанію не ограничивалось этимъ спеціальнымъ примѣненіемъ пріема, напоминающаго манеру страуса прятать голову и тѣмъ убѣждать себя въ отсутствіи опасности. «Арсеналъ нашихъ знаній, особенно общественныхъ, былъ очень скуденъ,— говоритъ Шелгуновъ. Было извѣстно, что на свѣтѣ существуетъ Франція, король которой, Людовикъ XIV говорилъ: «государство—это я» и за это былъ названъ великимъ; знали, что въ Германіи, и въ особенности въ Пруссіи, солдаты очень хорошо маршируютъ; на-

конецъ, краеугольное знаніе заключалось въ томъ, что Россія страна самая большая, богатая и сильная, что она служитъ «житницей» Европы и, если захочетъ, то можетъ оставить Европу безъ хлѣба, а въ крайности, если вынудятъ, то и покорить всѣ народы».

Вотъ что зналъ средній русскій образованный человѣкъ. Намъ, позже выступившимъ въ жизнь, трудно себѣ и представить, какая страшная, зіяющая пустота должна была раскрыться передъ умами людей, знавшихъ это и только это, когда крымскія неудачи и, наконецъ, паденіе Севастополя, послѣдовавшія за колоссальнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ родной страны, показали, что «краеугольное знаніе» есть заблужденіе. А это ошеломляющее открытіе было чревато многими другими, подобными-же. И, наконецъ, вся такъ хорошо прилаженная, такая стройная, такая, повидимому, прочная система оказалась однимъ громаднымъ, сплошнымъ заблужденіемъ. Я знаю, что нынѣ многіе вновь возвращаются къ этимъ заблужденіямъ и видятъ въ нихъ истины, какъ будто исторія и не давала намъ своихъ страшныхъ уроковъ. Пусть. У насъ теперь рѣчь идетъ не о существѣ дѣла, а о состояніи умовъ тридцать — тридцать пять лѣтъ тому назадъ. Тогда русскіе люди фатально должны были признать заблужденіемъ все то, что въ предшествовавшую эпоху стояло внѣ всякихъ сомнѣній. Такъ должно было быть по логикѣ событій, такъ и было въ дѣйствительности. Кругомъ, куда ни взглянешь, оказалось пустое пространство, въ которомъ надо строиться за-ново...

Страшное дѣло строиться въ пустынѣ. Сколько предстоитъ блужданій, напрасной траты силъ, сколько риску и опасностей! Но великое счастье людей шестидесятыхъ годовъ, счастье, которому могутъ позавидовать всѣ послѣдующія поколѣнія, состояло въ томъ, что у нихъ была путеводная звѣзда, сіявшая ослѣпительно яркимъ блескомъ идеала и, въ то-же время, указывавшая обязательную практическую задачу, подлежащую немедленному рѣшенію. Эта путеводная звѣзда называлась «освобожденіе крестьянъ». Такіе великіе моменты рѣдки въ исторіи, это ея свѣтлые праздники, но за тоже они отражаются на всѣхъ сторонахъ жизни общества, которому выпали на долю, и, какъ благодатный дождь послѣ засухи, вливаютъ жизнь всюду, гдѣ ея осталось хоть малое, хоть чахлое зерно. Чтобы достойно оцѣнить положеніе русскаго общества послѣ паденія Севастополя, сравнимъ его съ положеніемъ Франціи послѣ Седана. Обѣ страны вынесли тяжкія несчастія, обѣ получили жестокіе уроки, обидные для національнаго самолюбія, но отрезвляющіе и вынуждающіе сосредоточиться на реформахъ обветшалаго общественнаго строя. Но Франція должна была еще пережить залитое потоками крови междоусобіе и доселѣ не имѣетъ опредѣленной, концентрированной задачи, въ которой высокія требованія идеала сочетались-бы съ общепризнанною возможностью и необходимостью немедленнаго практическаго осуществленія. Безъ сомнѣнія, и во Франціи, какъ во всякой цивилизованной странѣ, живутъ свѣтлые и высокіе общественные идеалы, способные окрылять мысль и чувство, но и объ существѣ ихъ, и о своевременности ихъ реализаціи идутъ споры. Есть у Франціи и такія задачи, которыя сейчасъ достаточно назрѣли въ общемъ сознаніи для практическаго осуществленія, но между ними нѣтъ такой, отъ величія которой захватывало-бы духъ. У насъ такая задача была: освобожденіе милліоновъ рабовъ; освобожденіе, возможность и необходимость котораго сразу стали для всѣхъ ясны, хотя одни готовились встрѣтить его съ ликованіемъ, а другіе съ трепетомъ и скрежетомъ зубовнымъ. Если оставить въ сторонѣ этихъ трепещущихъ и скрежещущихъ, которымъ было, конечно, не весело, то огромность счастія жить въ такое время трудно даже оцѣнить. И вотъ почему такъ скоро прошли печаль о крымскихъ потеряхъ и стыдъ за крымскій позоръ. И вотъ почему не страшно было строиться въ пустынѣ за-ново. Работа предстояла многосложная и трудная. Неотложность собственно юридическаго факта освобожденія не подлежала никакому сомнѣнію, и развѣ только какія-нибудь Коробочки, заплесневѣвшія въ своихъ гнѣздахъ, питали смутную надежду, что авось Богъ пронесетъ грозу. Но экономическая сторона дѣла, вопросъ аграрный, финансовый, самыя формы освобожденія, вопросъ будущаго устройства крестьянъ,—все это еще подлежало рѣшенію и допускало различныя рѣшенія, въ числѣ которыхъ были и такія, которыя могли-бы свести «на нѣтъ» самыя существенныя стороны реформы. И разработкою этихъ сложныхъ вопросовъ далеко еще не ограничивалась умственная пища, предложенная русскому обществу великимъ историческимъ моментомъ. Какъ уже сказано, крѣпостное право составляло фундаментъ всей системы, осужденной исторіей на смерть. Его духъ, его образъ и подобіе отражались и во всемъ морѣ государственной жизни, и въ каждой малой каплѣ составляющихъ его водъ. Отношеніе государства къ личности и ко всѣмъ функціямъ умственной, нравственной, политической, промышленной, гражданской жизни, отношенія начальства къ подчиненнымъ, суда и слѣдствія къ преступнику, мужей къ женамъ, отцовъ и воспитателей къ дѣтямъ,— все было окрашено тѣмъ-же цвѣтомъ. Поэтому обществу и выразительницѣ его нуждъ,

желаній и упованій — литературѣ приходилось вырабатывать цѣлое новое міросозерцаніе, которое обнимало-бы и и отвлеченные вопросы теоріи, и насущные вопросы практики. Дѣло трудное, но оно оказалось по плечу обществу и литературѣ.

Неумные и злобные люди, слишкомъ крѣпко памятующіе какую-нибудь свою личную обиду отъ толчка, даннаго русскому обществу въ шестидесятыхъ годахъ, или сами побывавшіе въ этомъ водоворотѣ, но не выдержавшіе, а потому страдающіе, подобно большинству ренегатовъ, близорукостью, эти неумные и злобные люди часто хватаются за какую-нибудь частную ошибку или увлеченіе шестидесятыхъ годовъ и празднуютъ по этому случаю легкую побѣду. Побѣда столь-же легкая, сколько и не лестная. Если-бы у этихъ людей было немножко побольше ума или немножко поменьше злобы, они поняли-бы, что эти частныя ошибки и увлеченія должны быть поставлены на счетъ не шестидесятымъ годамъ, а предшествовавшей эпохѣ. Она подготовила и даже прямо создала ту пустоту, въ которой шестидесятымъ годамъ пришлось строиться за-ново, и если отъ нея сохранились матеріалы, которые можно было утилизировать въ новомъ строѣ, то сохранились они отнюдь не благодаря, а напротивъ, какъ разъ вопреки ей. Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, вся такъ называемая плеяда знаменитыхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ даже славянофилы—все это было не ко двору въ свое время, все это едва терпѣлось въ урѣзанномъ видѣ, а иногда и совсѣмъ не терпѣлось. Мемуары современниковъ сообщаютъ такія, подчасъ комическія, но въ общемъ глубоко трагическія подробности о положеніи русской критической мысли въ теченіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, что можно удивляться, какъ она совсѣмъ не атрофировалась. И, во всякомъ случаѣ, при этихъ условіяхъ удивительно не то, что въ шестидесятыхъ годахъ были ошибки и увлеченія. Когда ихъ не было?! Они, вѣдь, пожалуй, и теперь, въ наше безошибочное время, найдутся. Удивительно, напротивъ, что и общія черты, и многія частности выработаннаго въ шестидесятыхъ годахъ міросозерцанія доселѣ подлежатъ только дальнѣйшему развитію, примѣнительно къ новымъ осложненіямъ жизни и къ поступательному ходу исторіи. Удивительно то, что не было ни гроша и вдругъ сталъ алтынъ. Это удивительное явленіе лишь отчасти объясняется личными достоинствами людей, выступившихъ къ шестидесятымъ годамъ на арену общественной дѣятельности. Коренное-же его объясненіе лежитъ въ удивительныхъ свойствахъ задачи, развернувшейся передъ обществомъ. Нынѣшнему даже очень чуткому молодому человѣку надо сильно напрячь свою мысль, чтобы вполнѣ проникнуться потрясающимъ смысломъ этихъ двухъ словъ: «освобожденіе крестьянъ». Прекращеніе возмутительнаго систематическаго, правомѣрнаго насилія надъ милліонами человѣческихъ существъ; превращеніе милліоновъ живыхъ вещей, подлежавшихъ куплѣ, продажѣ, залогу, обмѣну и проч. въ милліоны людей; осуществленіе вѣковой мечты народной; конецъ вѣковымъ стонамъ, слезамъ и проклятіямъ—все здѣсь огромно даже въ чисто количественномъ отношеніи: вѣка, милліоны. И, чтобы не выходить изъ области количествъ, припомнимъ, что всѣмъ этимъ вѣкамъ и милліонамъ итогъ былъ подведенъ въ четыре года (1857—1861).

Бываютъ эпохи, когда великія задачи, пожалуй, даже ясно сознаваемыя, представляются чѣмъ-то въ родѣ журавля въ небѣ: когда-то еще его поймаешь! А въ ожиданіи можно и позѣвать, любуясь на него, и всякими другими, не имѣющими къ нему никакого отношенія; дѣлами заняться, такъ что идеалъ самъ по себѣ, а жизнь тоже сама по себѣ. Бываютъ другія эпохи, которыя суютъ людямъ прямо синицу въ руки, и хотя синица птица завѣдомо малая, но люди подкупаются ею и живутъ со дня на день малою и скудною жизнью, вполнѣ, однако, довольные. Если продолжительное созерцаніе журавля въ небѣ можетъ пріучить мысль къ слишкомъ отвлеченному паренію и безплодному идеальничанію, отлично уживающемуся съ самыми разнообразными прохожденіями жизни ici bas, то синица въ рукахъ грозитъ черствымъ самодовольствомъ и узкою практичностью въ предѣлахъ вершковъ и золотниковъ. Бываетъ, однако, и такъ, что ни журавля въ небѣ, ни синицы въ рукахъ, а одно только тоскливое сознаніе отсутствія какой-бы то ни были точки приложенія для силъ. Такъ было у насъ въ эпоху, предшествовавшую освобожденію, когда, напримѣръ, И. Аксаковъ съ горечью восклицалъ: «разбейтесь силы, вы не нужны!» И вслѣдъ затѣмъ эти ненужныя, гонимыя силы понадобились для осуществленія грандіозной задачи, соединявшей въ себѣ всѣ выгоды журавля въ небѣ со всѣми выгодами синицы въ рукахъ, не имѣя неудобствъ того и другой. Кто хочетъ понять характеръ и значеніе шестидесятыхъ годовъ, долженъ прежде всего остановиться на этомъ необыкновенно счастливомъ и чрезвычайно рѣдкомъ въ исторіи сочетаніи идеальнаго съ реальнымъ, головокружительно-возвышеннаго съ трезво-практическимъ. Но прежде, чѣмъ войти въ нѣкоторыя подробности этой коренной черты всей работы шестидесятыхъ годовъ, черты, наложившей свою печать и на нравственныя физіономіи дѣятелей того времени, уяснимъ себѣ еще нѣкоторыя обстоятельства.

II.

Дойдя въ своихъ воспоминаніяхъ до 1859 г., Шелгуновъ пишетъ: «Съ этого года мои личныя воспоминанія получаютъ другой характеръ, Я вступаю въ сношенія съ людьми, память о которыхъ связана съ лучшими годами моей жизни. И какая-же это память, какая благоговѣйная память и какъ она дорога мнѣ! Самая широкая гуманность и великодушныя чувства нашли въ этихъ людяхъ лучшихъ своихъ поборниковъ. Если у меня, старика, у котораго уже нѣтъ будущаго, бываютъ еще теплыя и свѣтлыя минуты въ жизни, то только въ воспоминаніяхъ о нихъ».

Это благоговѣйное отношеніе не мѣшаетъ, однако, Шелгунову понимать, что дѣло было не въ личныхъ достоинствахъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ, а, главнымъ образомъ, въ условіяхъ историческаго момента, которыя выдвинули на авансцену большіе умы, великодушныя сердца, крупные таланты. Но тѣ же условія указали работу и менѣе одареннымъ, зажгли энтузіазмъ въ равнодушныхъ, придали силы слабымъ, просвѣтили темныхъ, поддержали колеблющихся. Конечно, званыхъ было много, а избранныхъ, какъ и всегда, оказалось, въ концѣ-концовъ, мало. Конечно, энтузіазмъ равнодушныхъ, силы слабыхъ, равновѣсіе многихъ колеблющихся, просіяніе многихъ темныхъ не несли въ себѣ залоговъ значительной прочности. Отнюдь не всѣ, разбуженные и пригрѣтые историческимъ солнцемъ, могли вполнѣ и окончательно, на всю жизнь, къ нему приспособиться, такъ какъ прошлое ихъ слишкомъ мало для этого готовило, вѣрнѣе готовило совсѣмъ къ другому, а, въ концѣ-концовъ, не приготовило ни къ чему.

По справедливому замѣчанію Шелгунова, система Николаевской эпохи, не смотря на свою стройность, законченность и кажущуюся прочность, сама въ себѣ носила задатки собственнаго разрушенія. Требуя повиновенія (и предоставляя приказывать), система, собственно говоря, только на этомъ единственномъ пунктѣ и вторгалась въ душу. Что тамъ, въ этой душѣ, совершалось помимо формальнаго исполненія приказанія, до этого никому никакого дѣла не было. И потому тамъ совершалось очень разное и подчасъ совсѣмъ неожиданное, проникавшее путемъ безчисленныхъ, неуловимыхъ случайныхъ вліяній. Система воспитывала приказывающе-повинующіеся аппараты, которые ни на что другое не были годны. Но, при всѣхъ своихъ стараніяхъ и при всей своей послѣдовательности, она не могла закупорить всѣ щели, сквозь которыя доносилось до насъ дыханіе европейской жизни, не могла также совершенно заглушить естественное, почти физическое тяготѣніе человѣка къ свѣту. Однимъ грубая и жестокая дѣйствительность говорила сама за себя, другіе прилѣплялись къ европейской мысли, хотя-бы урѣзанной и профильтрованной. Тамъ и сямъ, съ огромными трудностями, подъ давленіемъ всяческихъ каръ, угрозъ и подозрѣній, пробивались всетаки ростки самостоятельной жизни и критической мысли, которые система могла косить и опять косить, но которые она была безсильна вырвать съ корнями. Да она объ этомъ и не думала. Гордая своею художественною законченностью, система не добивалась чьего-бы то ни было уваженія, любви, сознательной преданности, она довольствовалась страхомъ и формальнымъ исполненіемъ приказаній. «Не разсуждай, а исполняй»—требовала система, требовала жестоко, неумолимо, не принимая въ соображеніе никакихъ обстоятельствъ времени, мѣста и образа дѣйствія. И потому случалось одно изъ двухъ: или душа опустошалась совершенно, превращалась въ пустыя рамки, катеты угловъ которыхъ состояли изъ приказанія и повиновенія и которыя не заключали въ себѣ никакой картины, никакого образа и подобія; или-же «разсужденіе и, вообще, внутренняя жизнь складывалась безъ всякаго вліянія со стороны системы: ей нечѣмъ было вліять. Отъ разнообразныхъ условій личной жизни каждаго зависѣло, останутся-ли пріуготовленныя для всѣхъ рамки совершенно пустыми, или-же чѣмъ нибудь наполнятся, чѣмъ именно,—это было опять-таки дѣломъ разныхъ случайностей. Понятно, что рамки сплошь и рядомъ не выдерживали чуждаго содержанія и лопались. Система въ такихъ случаяхъ сердилась и карала, а когда рамки оставались пустыми, — она была довольна: все, значитъ, въ порядкѣ, все на своемъ мѣстѣ. На самомъ дѣлѣ, однако, было не такъ: не все на своемъ мѣстѣ было, а просто ничего не было. Ошибка системы,—ошибка, часто повторяющаяся въ исторіи и составляющая, повидимому, даже необходимую принадлежность наиболѣе мрачныхъ ея періодовъ, — состояла въ увѣренности, что опустошенныя души являются лучшею опорою существующаго порядка. Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ. Безспорно, всегда найдется не мало хорошо выдрессированныхъ автоматовъ, которые даже лягутъ костьми «безъ размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой», когда имъ прикажутъ лечь. Такихъ и воспитывала система, но она также должна была породить, и, дѣйствительно, породила, множество такихъ пустопорожнихъ людей, которые, подобно пустымъ сосудамъ, лежащимъ на берегу рѣки, готовы наполниться всѣмъ, что донесетъ до

нихъ волна въ половодье. Шестидесятые годы были настоящимъ весеннимъ половодьемъ, и много пустыхъ сосудовъ наполнилось, чтобы вслѣдъ затѣмъ, конечно, опять опорожниться, но въ ту-то минуту, въ самый моментъ половодья, они явились ярыми сторонниками новаго теченія и ярыми врагами породившей ихъ системы, точно мстя ей за опустошеніе своей души. На самомъ дѣлѣ ни сознанія своей опустошенности, ни сознательнаго усвоенія новыхъ идей тутъ, конечно, не было; было только стадное увлеченіе и все та-же привычка повиноваться, не разсуждая, хотя и формы, и характеръ повиновенія рѣзко измѣнились. Таковы обычные результаты систематическаго опустошенія душъ: при первомъ удобномъ случаѣ жертвы опустошенія съ чрезвычайною легкостью проникаются враждебными системѣ элементами. Жестоко ошибаются тѣ, кто ликуетъ, при видѣ тиши и глади, господствующихъ въ мрачные историческіе періоды всеобщаго обезличенія и загона критической мысли. Въ этой тиши, подъ всеподавляющимъ гнетомъ дисциплины, копится матеріалъ, совершенно несоотвѣтствующій близорукимъ ожиданіямъ. Тихо-то оно тихо, но система, воспитывающая барановъ, не должна-бы собственно удивляться, когда въ одинъ прекрасный день все стадо шарахается въ сторону. Такъ и было въ шестидесятыхъ годахъ, къ великому, но совершенно неосновательному удивленію близорукихъ людей. Само собою разумѣется, однако, что, количественно усиливъ своимъ персоналомъ новое теченіе и сослуживъ ему извѣстную службу въ отрицательномъ отношеніи, пустопорожніе люди не были его украшеніемъ ни въ смыслѣ послѣдовательности, ни въ смыслѣ прочности.

Въ «Воспоминаніяхъ» Шелгунова есть интересная глава — «Переходные характеры». Здѣсь намѣчено нѣсколько фигуръ изъ тѣхъ, въ комъ новыя вѣянія сочетались въ разныхъ формахъ и количествахъ съ наслѣдіемъ прошлаго. Не смотря, впрочемъ, на интересъ, представляемый этою маленькою портретною галлереей (между прочимъ, портретъ покойнаго издателя-редактора журналовъ «Русское Слово» и «Дѣло», Благосвѣтлова, написанъ бѣгло, но мастерски), я не на нее хочу обратить особенное вниманіе читателей, а на главу XVI-ю, въ которой идетъ рѣчь о Кельсіевѣ. Человѣка этого, по выраженію Шелгунова, «задѣла новая волна, столкнула со стараго берега, и онъ съ головой кинулся въ невѣдомое для него море, выплыть изъ котораго у него, однако, не хватило силъ». Кельсіевъ, какъ извѣстно, увлекался крайними соціалистическими и революціонными идеями, эмигрировалъ изъ Россіи, хотя Герценъ и Огаревъ удерживали его отъ этого рискованнаго шага, велъ дѣятельную революціонную агитацію, для чего съ большою смѣлостью пріѣзжалъ съ фальшивымъ паспортомъ въ Россію, былъ чѣмъ-то вродѣ атамана некрасовцевъ въ Добруджѣ и т. д.; затѣмъ разочаровался или ослабѣлъ или, вообще, измѣнилъ образъ мыслей и явился въ Россію съ повинной головой. Получивъ прощеніе, онъ «издалъ брошюру, возмутившую всѣхъ рѣзкостью перехода отъ одного берега къ другому, цинизмомъ покаянія и своимъ неприличнымъ тономъ».

Покойный Салтыковъ неоднократно печатно утверждалъ, что на могилѣ ренегата непремѣнно долженъ быть водруженъ осиновый колъ. Какъ общее правило, такое посрамленіе могилы ренегата рѣшительно несправедливо. Если ренегатъ отступился отъ лжи и прилѣпился къ истинѣ, такъ за что-же его осиновымъ коломъ къ землѣ пригвождать? Хорошо было говорить Салтыкову, сразу вступившему на тотъ путь, который онъ до конца дней своихъ считалъ путемъ истины. Но не всѣмъ выпадаетъ на долю такое счастіе; потому что это въ самомъ дѣлѣ большое счастіе. Благо всякому, знающему, что въ прошломъ у него нѣтъ ничего такого, отъ чего нужно-бы было теперь со стыдомъ или омерзѣніемъ отворачиваться, при воспоминаніи о чемъ приходилось-бы краснѣть. Но, какъ всему человѣчеству истина дается цѣною многихъ и многихъ заблужденій, изъ-за которыхъ льются иной разъ цѣлые потоки слезъ и крови, такъ и каждому отдѣльному человѣку, по крайней мѣрѣ, простительно заблуждаться и потомъ, сознавъ свои заблужденія, отступить отъ нихъ. Хуже бы было, если бы онъ, сознавъ заблужденіе, всетаки, остался при немъ, а вѣдь тогда онъ не былъ-бы ренегатомъ. Онъ былъ-бы лицемѣръ, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ не желающій открыть свои карты, для чего-то носящій маску. И если человѣкъ добросовѣстно искалъ истины и такъ-же искренне примкнулъ къ своему новому убѣжденію, какъ искренне держался прежняго,— кто рѣшится прибавить осиновый колъ къ тѣмъ мукамъ стыда за свое прошлое, которыя такой несчастный человѣкъ долженъ испытывать? А между тѣмъ, большинство читателей, навѣрное, повторяло за Салтыковымъ: да, осиновый колъ! Такое всеобщее презрѣніе къ ренегатамъ объясняется не самымъ фактомъ отступничества, а той неприглядной обстановкой и тѣми низменными формами, въ которыхъ оно, въ большинствѣ случаевъ, совершается. Самый обыкновенный случай тотъ, что человѣкъ не измѣняетъ свои убѣжденія, а просто продаетъ ихъ, если не за деньги,

такъ за положеніе, за спокойствіе и т. п. Привлекательнаго въ этомъ, конечно, мало, и немудрено, что сами покупщики презрительно относятся къ такому товару. Но бываетъ еще и такъ, что ренегатъ, вмѣсто того, чтобы откровенно признаться въ своей слабости и затѣмъ стыдливо затеряться въ толпѣ, занимаетъ воинствующее положеніе и цинически оплевываетъ все, чему поклонялся. Цинизмъ состоитъ тутъ опять-таки не въ томъ, что человѣкъ громогласно и горячо отстаиваетъ свои новыя убѣжденія и столь же горячо и громогласно порицаетъ свои прошлыя заблужденія. Это — законнѣйшее право всякаго человѣка, имѣющаго какія-бы то ни было убѣжденія, но, во-первыхъ, дѣйствительно, имѣющаго, а не торгующаго ими, а, во-вторыхъ, тутъ есть одинъ пріемъ, по которому можно почти безошибочно отличить ренегата, въ презрительномъ смыслѣ этого слова, даже въ томъ случаѣ, когда прямыхъ и ясныхъ доказательствъ его нравственной низменности на-лицо нѣтъ.

Исторія русской литературы имѣетъ въ запасѣ образчикъ истиннаго мученика своихъ убѣжденій, которому случалось измѣнять ихъ, но которому, однако, благодарное потомство воздвигнетъ, вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ, монументъ, а не осиновый колъ. Я говорю о Бѣлинскомъ, о «неистовомъ Виссаріонѣ», съ страшною душевною болью вспоминавшемъ о своихъ прошлыхъ заблужденіяхъ. Въ фактахъ этого рода, извѣстныхъ изъ переписки Бѣлинскаго и изъ воспоминаній о немъ, особенно бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Бѣлинскій говоритъ: «*я* писалъ гнусности, мерзости, чушь» и т. п., и нигдѣ не подмѣтите вы у него и слѣдовъ жалкой, плаксивой и предательской ноты: меня или насъ соблазнили, увлекли такіе-то и такіе-то преступные люди. Эта черта дорого стоитъ. Вы видите передъ собой мужественнаго человѣка, который принимаетъ на себя полную отвѣтственность за то, что онъ говорилъ, писалъ или дѣлалъ, а не сваливаетъ ее на другихъ. Цинизмъ настоящихъ, заслуживающихъ презрѣнія ренегатовъ состоитъ, именно, въ томъ, что они стараются, по возможности, обѣлить себя лично, представляясь жертвами и умалчивая о томъ, сколько жертвъ они сами создали, скольких людей они сами склонили къ тому, что они нынѣ объявляютъ заблужденіемъ. Этого не стыдятся люди въ родѣ Кельсіева, игравшіе видную, въ своемъ родѣ, роль и которымъ поэтому минорный плаксивый тонъ особенно не приставалъ. Бываютъ, впрочемъ, экземпляры гораздо еще непригляднѣе, чѣмъ Кельсіевъ, но масса отступаетъ не такъ крикливо. «Двойственный типъ, къ которому принадлежалъ Кельсіевъ,—говоритъ Шелгуновъ,—не составляетъ рѣдкости, и именно у насъ, въ Россіи, но шестидесятые годы выставили его въ количествѣ болѣе обыкновеннаго». И далѣе: «Двойственный типъ, теряя постепенно свою бравурную и циническую окраску, принималъ все менѣе и менѣе яркій цвѣтъ и, увеличиваясь численно, становился, наконецъ, частью общественнаго мнѣнія. Такую часть общественнаго мнѣнія сформировали всѣ тѣ, которые приняли сначала участіе въ движеніи идей шестидесятыхъ годовъ, затѣмъ стали думать иначе и къ своей лучшей и самой яркой порѣ жизни начали относиться съ высокомѣріемъ, называя шестидесятые годы эпохой незрѣлаго увлеченія. Едва-ли однако эти люди имѣли и имѣютъ право обобщать въ себѣ все то время».

Еще бы! Кельсіевъ облыжно называлъ себя «жертвой новой русской исторіи», тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ жертвой, именно, старой русской исторіи, образовавшей въ его душѣ пустоту, которая могла наполниться какимъ угодно содержаніемъ и потомъ опорожниться для новаго наполненія. Такихъ людей было не нало, но къ счастью, свѣтъ не клиномъ на нихъ сошелся. Благодаря тѣмъ естественнымъ прорѣхамъ въ системѣ, о которыхъ было говорено выше и черезъ которыя проникали разныя случайныя вліянія, съ трудомъ и съ огромными жертвами, но складывались все-таки извѣстныя умственныя и нравственныя традиціи, складывались неистребимо прочно, можетъ быть, частью именно потому, что покупались очень дорогой цѣной. А тутъ засіяло историческое солнце. Не будемъ говорить о тѣхъ счастливцахъ, которые были къ шестидесятымъ годамъ уже готовыми людьми, съ запасомъ теоретическихъ знаній или житейской опытности, съ вполнѣ сложившимися убѣжденіями и опредѣленною нравственною физіономіей. Возьмемъ одного изъ тысячъ, развивавшихся при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Возьмемъ Н. В. Шелгунова. «Такихъ, какъ я,—говоритъ онъ,—были десятки тысячъ людей, и принадлежали мы не къ той формаціи, которая выросла изъ извѣстнаго московскаго кружка. О существованіи этого кружка и его идеяхъ мы даже не подозрѣвали».

Въ противоположность большинству людей пишущихъ свои воспоминанія, Шелгуновъ очень скупъ на чисто автобіографическія подробности, даже черезчуръ скупъ. Бросивъ мимоходомъ ту или другую этого рода черту, онъ торопится утопить ее въ какихъ-нибудь сближеніяхъ или въ какой-нибудь общей мысли и даже не доводитъ до конца; такъ что матеріаловъ для характеристики его личности мы, собственно говоря, не имѣ-

емъ или почти не имѣемъ, а пользоваться для этого своими собственными наблюденіями и почерпнутыми изъ личнаго съ нимъ знакомства соображеніями, я почитаю нескромнымъ. Есть, однако, въ воспоминаніяхъ одна именно мимоходомъ, вскользь брошенная подробность, которая, мнѣ кажется многое освѣщаетъ. Говоря о своемъ воспитаніи въ Лѣсномъ институтѣ, Шелгуновъ, между прочимъ, вспоминаетъ: «Запершись въ классѣ, мы передразнивали наше начальство, пѣли пародіи на тропари, солдатскія непристойныя пѣсни въ барковскомъ стилѣ (изъ какой казармы онѣ къ намъ попали—не знаю), декламировали трагедіи Баркова. Подобные молебны, въ которыхъ я хотя и не принималъ прямого участія, но при которыхъ всегда присутствовалъ и даже подтягивалъ въ хорѣ, нисколько не помѣшали мнѣ потомъ плакать надъ библіей и мечтать сдѣлаться проповѣдникомъ».

Эти маленькія подробности хорошо характеризуютъ, какъ личность самого Шелгунова, такъ и многосложную сѣть случайныхъ вліяній, хорошихъ или дурныхъ, которыя съ разныхъ сторонъ пробивались подъ ровною, всепокрывающею пеленою дисциплины. Дисциплина не заботилась о водвореніи въ сердцахъ дисциплинируемыхъ какихъ-нибудь чувствъ, кромѣ чувства страха, или довольствовалась въ этомъ отношеніи холодными, чисто формальными изложеніями прописной морали, которыя, конечно, столь-же холодно и формально воспринимались. Тѣмъ горячѣе усвоивались вліянія стороннія, «не казенныя», имѣвшія извѣстную прелесть уже именно одною своею неказенностью. Однимъ въ этомъ отношеніи счастливилось, то-есть сторонніе вліянія подбирались добрые, другимъ—не счастливилось. Обстановка юнаго Шелгунова была не изъ счастливыхъ: на глазахъ у начальства все обстояло благополучно, а за глазами начальство осмѣивалось; изъ какихъ-то казармъ, невѣдомыми для дисциплины путями, заносились, въ видѣ контрабанды, разныя гадости и кощунства, и, безъ сомнѣнія, много молодыхъ душъ навсегда погибло въ этомъ двусмысленномъ и грязномъ омутѣ, а слѣпая дисциплина была довольна: ея требованія исполнялись. Но иныхъ спасали опять-таки какія-нибудь случайности, счастливыя, но столь-же непредвидѣнныя системой, невѣдомыя ей или даже прямо ею преслѣдуемыя. Шелгуновъ былъ спасенъ благородствомъ и чистотою своей натуры. И онъ, мальчикомъ, купался въ грязныхъ пошлостяхъ, но грязь не пристала къ нему. Онъ неприкосновенно сохранилъ способность плакать чистыми слезами умиленія и мечтать о роли проповѣдника истины. И мечта исполнилась, потому что, что-же такое вся жизнь Шелгунова, какъ не жизнь проповѣдника? Мечта исполнилась, благодаря шестидесятымъ годамъ, которые призвали къ дѣятельности, въ числѣ другихъ, и Шелгунова и навсегда опредѣлили его жизненный путь.

Мы видѣли ретивость, съ которою Шелгуновъ, разъ сознавъ пробѣлы своего школьнаго образованія, принялся ихъ пополнять. Съ такою-же ретивостью отдался онъ потомъ и дѣлу распространенія знаній. Очень въ этомъ отношеніи характеренъ приведенный выше поводъ происхожденія статьи: «Россія до Петра Великаго». Шелгуновъ написалъ ее потому, что принялъ близко къ сердцу поразительное незнаніе русской исторіи, обнаруженное достаточно великовозрастнымъ капитанъ-лейтенантомъ и членомъ суда по политическому дѣлу. Одна изъ его статей («Историческая сила критической личности») оканчивается такимъ діалогомъ: «Тутъ нѣтъ ничего новаго, я это зналъ и прежде,—скажетъ читатель.—И прекрасно, если ты зналъ это». Дескать, ты зналъ, такъ другой не зналъ, а, можетъ быть, тебѣ только кажется, что ты зналъ, а если и въ самомъ дѣлѣ зналъ, такъ ничего, повтори, лучше знать будешь. Любопытно, что одна изъ статей Шелгунова, посвященная обзору бѣдствій, причиняемыхъ человѣчеству рабствомъ, войнами и экономической неправдой, озаглавлена: «Убыточность незнанія». И хотя въ самомъ концѣ статьи пробивается нѣкоторый скептицизмъ по отношенію къ всеисцѣляющей и всеутѣшающей роли знанія, но ключъ къ статьѣ все-таки очень вѣрно указанъ заглавіемъ: «Убыточность незнанія», къ каковой убыточности сводится большинство бѣдъ и золъ. Просвѣтить, научить темныхъ—такова, прежде всего, задача. Это надо имѣть въ виду при чтеніи многихъ статей Шелгунова, писанныхъ въ шестидесятыхъ годахъ и могущихъ показаться иному нынѣшнему читателю нѣсколько многословными и элементарными. Что-же касается вѣры въ силу знанія, вѣры, которая опять-таки можетъ показаться нынѣшнему читателю нѣсколько преувеличенною, то она вполнѣ объясняется обстоятельствами времени. Въ ту пору задача, стоявшая передъ обществомъ, представлялась столь непререкаемо ясною, что людямъ въ родѣ Шелгунова, казалось, что только недостатокъ знаній и можетъ препятствовать усвоенію и разрѣшенію ея: такъ ярко горѣло солнце на историческомъ небѣ, что всякое своекорыстіе и всякіе противообщественные личные интересы должны растаять сами собой, какъ только масса узнаетъ то, чего она не знала, а она не знала, можно сказать, ничего. Отсюда это множество популярныхъ статей по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, наполненныхъ иногда одними чисто

фактическими свѣдѣніями. И, безъ сомнѣнія, въ свое время, статьи эти открывали множеству читателей совершенно новые горизонты и сослужили большую и хорошую службу, претворившись въ общее сознаніе и, такъ сказать, распустившись тамъ. Если онѣ теперь кажутся элементарными, то эта участь не только компилятивныхъ статей, предпринятыхъ съ цѣлью популяризаціи тѣхъ или другихъ знаній, а до извѣстной степени и руководящихъ работъ, отмѣченныхъ печатью исключительныхъ дарованій. Говоря о знаменитой диссертаціи «Объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности», Шелгуновъ справедливо замѣчаетъ: «Теперешніе читатели могутъ замѣтить, что въ мысляхъ, высказанныхъ въ диссертаціи, о которой идетъ рѣчь, нѣтъ ничего новаго; они могутъ сказать: «мы все это знаемъ» (мнѣ случалось встрѣчать такихъ). Да, вѣрно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже и не узнавали ни откуда, вы, просто, выросли на литературѣ и критикѣ, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этимъ путемъ, впервые указаннымъ ей тридцать лѣтъ назадъ».

Случайно подвернувшимся сопоставленіемъ компилятивныхъ и популяризирующихъ статей Шелгунова съ руководящей диссертаціей Чернышевскаго, я отнюдь не хочу сказать, что Шелгуновъ только компиляторъ; хотя несомнѣнно, что исключительно блестящіе таланты, рядомъ съ которыми приходилось работать Шелгунову въ старые годы, заслоняли его. И едва-ли найдется много людей, которые принимали-бы выпавшую имъ на долю вторую роль съ такимъ спокойнымъ достоинствомъ, съ такимъ искреннимъ и открытымъ уваженіемъ къ первымъ номерамъ, какъ Шелгуновъ.

III.

Если-бы настоящее изданіе было полнымъ собраніемъ сочиненій Шелгунова, такъ и то оно не представляло бы собою всей суммы работы, которую сдѣлалъ этотъ человѣкъ. Въ качествѣ члена редакцій распространенныхъ и имѣвшихъ большой успѣхъ журналовъ, онъ долженъ былъ принять на себя массу чернаго труда, и этого труда не выразить никакими цифрами, равно какъ не оцѣнить того, что́ онъ сдѣлалъ, пропустивъ въ обращеніе и не допустивъ до обращенія тотъ или другой проходившій черезъ его руки литературный матеріалъ разныхъ достоинствъ. Эта сторона его литературной дѣятельности такъ навсегда и останется неясною для публики. Но настоящее изданіе не есть полное собраніе сочиненій. Шелгуновъ въ теченіе многихъ лѣтъ велъ, такъ называемое «внутреннее обозрѣніе» въ журналахъ (оно называлось у него, помнится, «домашнею лѣтописью»), и всѣ эти обозрѣнія не вошли въ настоящее изданіе. Не вошло и много другихъ, отдѣльныхъ статей самаго разнообразнаго содержанія. Наконецъ, многія изъ статей, вошедшихъ въ изданіе, сильно сокращены авторомъ. Я не знаю, чѣмъ онъ руководствовался при выборѣ и сокращеніи статей, но нѣкоторые изъ пробѣловъ долженъ помянуть для обрисовки литературной физіономіи автора.

Въ изданіе не вошла, напримѣръ, статья 1863 г.: «Земля и органическая жизнь». Это пересказъ «Естественной исторіи мірозданія» и «Физіологическихъ писемъ» Фогта и «Физіологическихъ картинъ» Бюхнера. Это, понятно,—популяризирующій пересказъ популярныхъ книгъ, имѣющихся въ русскомъ переводѣ, конечно, и не стоило перепечатывать въ собраніи сочиненій. Но, можетъ быть, у автора были еще другіе, спеціальные резоны для исключенія этой статьи. Такъ можно думать, судя по характеру нѣкоторыхъ сокращеній въ другихъ статьяхъ. Напримѣръ, въ статьѣ «Убыточность незнанія» уничтожено начало и почти все «заключеніе», отъ котораго осталось лишь нѣсколько строкъ, присоединенныхъ къ предидущей главѣ. И тамъ, и тутъ, то-есть и въ началѣ и въ концѣ статьи уничтожены разсужденія о значеніи естественныхъ наукъ. Повторяю, мнѣ неизвѣстны мотивы этихъ измѣненій, но, систематически проведенныя черезъ все изданіе, они затушевываютъ одну характерную черту, свойственную не Шелгунову только, а всѣмъ шестидесятымъ годамъ. Черта эта — увлеченіе естествознаніемъ.

Въ статьѣ «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи» введеніе сильно сокращено, причемъ выпущено кое-что опять-таки чрезвычайно характерное и для Шелгунова лично, и для шестидесятыхъ годовъ вообще. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что статья «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи», напечатанная въ 1861 г. въ «Современникѣ», есть въ своемъ родѣ первая по времени. Потомъ у насъ было много статей и цѣлыхъ книгъ о положеніи рабочаго класса въ Европѣ, но починъ этой литературѣ положенъ былъ Шелгуновымъ. Позволю себѣ привести здѣсь нѣсколько строкъ изъ исключеннаго авторомъ:

«Такіе господа тяготѣютъ всѣми силами къ далеко отъ нихъ лежащей Европѣ; только въ ея выработанной жизни, въ ея внѣшней привлекательности видятъ они задачу своихъ стремленій, далекій идеалъ для Россіи... Людей этого сорта, по самой натурѣ способныхъ составлять большинство, разводится у насъ все больше и больше; они считаютъ себя избранными просвѣщать Россію, и они учатъ насъ тому, что больше

всего вредно намъ и менѣе всего намъ нужно... Рядомъ съ силой и здоровьемъ Европа наростила на себѣ много желваковъ, много дикаго мяса, потратила много силъ, чтобы создать то, что не только совсѣмъ не нужно для ея здоровья, а напротивъ, вытягиваетъ ея свѣжіе и здоровые соки... Европа проснулась, она поняла свою болѣзнь; проснулась и Россія; но неужели-же она проснулась для того, чтобы сознательно идти тѣмъ путемъ, которымъ Европа шла безсознательно?.. И откуда это добродушное стремленіе спасти своего ближняго, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное послѣдствіе на сосѣда?»

Дѣло тутъ идетъ о европейскихъ буржуазно-экономическихъ теоріяхъ и соотвѣтственной экономической политикѣ, и хотя мысль, заключающаяся въ приведенныхъ строкахъ, проглядываетъ и въ нѣкоторыхъ другихъ статьяхъ Шелгунова, но ни въ одной изъ нихъ я не нашелъ ея въ столь ясной, опредѣленной формѣ. Не считаю поэтому неделикатнымъ возстановить вычеркнутое авторомъ; тѣмъ болѣе, что на этотъ разъ можно, кажется, догадываться о мотивахъ исключенія. Мы живемъ въ такое странное и трудное время, когда разные недоросли и переросли (если можно употребить такое слово) съ печальною и, прямо скажу, глупою неосмотрительностью рвутъ всѣ литературныя традиціи и когда многое, еще недавно вполнѣ ясное, истачивается червями всяческихъ недоразумѣній. Быть можетъ,—отнюдь, однако, не выдаю этого за достовѣрное,—Шелгуновъ опасался тѣхъ недоразумѣній, которыя по нынѣшнему времени могутъ породить приведенныя соображенія объ отношеніяхъ Россіи къ Европѣ. Когда-то мы были до такой степени увѣрены въ многообразныхъ преимуществахъ нашего отечества передъ Западной Европой, что понадобилась крымская трагедія съ ея севастопольскимъ финаломъ для нашего ускромненія. Но за то—какъ это обыкновенно въ такихъ случаяхъ бываетъ,—мы тотчасъ-же бросились въ другую крайность и готовы были пренебречь всѣмъ цѣннымъ, что у насъ было въ дѣйствительности, и пересадить къ себѣ Европу цѣликомъ, со всѣми ея, исторически сложившимися болячками. Противъ этого-то и протестуетъ Шелгуновъ. Но порывистый или вѣрнѣе,—гораздо вѣрнѣе,—обрывистый ходъ нашей исторіи привелъ насъ нынѣ опять къ тому же положенію влюбленнаго въ себя Нарциса, мы опять такъ много и громко заговорили о чрезвычайныхъ преимуществахъ Россіи передъ Западной Европой, что опасенія Шелгунова (если таковыя были) положить лишнюю гирю на чашку вѣсовъ самовосхваленія—понятны. Вполнѣ уважая этотъ мотивъ, я думаю, однако, что тотъ оттѣнокъ литературы шестидесятыхъ годовъ, къ которому принадлежалъ Шелгуновъ, слишкомъ дорогъ для исторіи и слишкомъ цѣненъ самъ по себѣ, чтобы его можно было затушевывать ради соображеній о возможныхъ теперешнихъ недоразумѣніяхъ. На всякое чиханіе не наздравствуешься и всѣхъ кривотолковъ не избѣжишь. Но этого мало. Я увѣренъ, что внимательное, детальное изученіе, sine ira et studio, литературы шестидесятыхъ годовъ могло-бы значительно помочь намъ въ разборкѣ облегающихъ насъ нынѣ недоразумѣній и многія изъ нихъ просто устранить совсѣмъ, а иныя, по крайней мѣрѣ, разъяснить. Никакія увлеченія, никакія частныя ошибки, никакія другія пятна не могутъ компрометтировать общую физіономію тогдашней литературы и ея коренныя черты. Я разумѣю, конечно, не всю литературу шестидесятыхъ годовъ огуломъ,—и тогда всяко бывало, — а лишь тотъ ея оттѣнокъ, ту струю ея, въ которой полностью отразилось вышеуказанное счастливое сочетаніе идеальнаго съ реальнымъ; каковое сочетаніе представляетъ собою исключительно благопріятное условіе для усвоенія или самостоятельной выработки правды. Не къ преклоненію передъ этой литературой приглашаю я читателя, — мимоходомъ сказать, это противорѣчило-бы лучшимъ ея завѣтамъ,—а къ внимательному и добросовѣстному ея изученію. И тѣмъ хуже для тѣхъ, кто на основаніи поверхностнаго съ ней знакомства, иной разъ даже просто по-наслышкѣ, высокомѣрно третируетъ ее, какъ пройденную ступень. Да, исторически, это—пройденная ступень; но, благодаря капризному ходу исторіи нашего умственнаго развитія, многіе изъ нынѣ дѣйствующихъ въ литературѣ и на другихъ поприщахъ до сихъ поръ еще не побывали на этой ступени и, сплошь и рядомъ, бываютъ фатально осуждены или на открытіе давно открытыхъ Америкъ, или на изложеніе идей, давно и основательно сданныхъ въ архивъ.

Работа шестидесятыхъ годовъ состояла, прежде всего, въ критическомъ пересмотрѣ всего наслѣдія до реформенной эпохи. Въ положительномъ смыслѣ наслѣдство сводилось къ тому, что предъидущимъ поколѣніямъ удалось, цѣною огромныхъ усилій и жертвъ, выработать вопреки господствовавшему строю жизни. Но въ пустотѣ, раскрывшейся въ послѣднемъ актѣ крымской трагедіи, имѣли обращеніе разныя иллюзіи и фикціи, на которыя существовалъ своего рода принудительный курсъ. Надо было дознать и указать ихъ дѣйствительную цѣнность. Въ этомъ отношеніи благопріятность условій историческаго момента сама собой бросается въ глаза, такъ какъ сама жизнь выступала, если позволительно такъ выразиться, въ роли практическаго критика тѣхъ

фикцій и иллюзій. На берегахъ Альмы, Черной рѣчки, подъ стѣнами Севастополя жизнь безпощадно разрушала иллюзію нашего непреоборимаго могущества, иллюзію закиданія прогнившей Европы русскими шапками. Литературѣ надлежало только идти вмѣстѣ съ жизнью. Такъ было и со многими другими иллюзіями, но мы пока остановимся на этой. Крымская война была страшнымъ, но отрезвляющимъ урокомъ, показавшимъ, что мы далеко не обладаемъ тѣми матеріальными и нравственными средствами, какія имѣются у западной Европы, и что прежде, чѣмъ пускаться во внѣшне политическія авантюры, намъ нужно, хотя бы даже только въ виду этихъ самыхъ авантюръ, много поработать надъ своимъ внутреннимъ благоустройствомъ. По закону реакціи, мы ударились въ другую сторону, чему уже и въ Николаевскую эпоху были задатки въ лицѣ такъ называемаго западничества. Теперь, послѣ крымской войны, западническая идея вышла, такъ сказать, на улицу, овладѣвъ и совершенно заурядными людьми и не дюжинными умами, какъ показываетъ тогдашнее англоманство Каткова. Направленіе это выразилось отрицательно—самообличеніемъ въ разнообразнѣйшихъ формахъ беллетристики, публицистики, критики, поэзіи, историческихъ изслѣдованій, и положительно — преклоненіемъ передъ европейской наукой и европейскими порядками. Небольшая кучка славянофиловъ тщетно старалась плыть противъ этого стремительнаго теченія. Однако, тотъ оттѣнокъ литературы, къ которому принадлежалъ Шелгуновъ, и которому и понынѣ, главнымъ образомъ, усвоивается названіе литературы шестидесятыхъ годовъ, этотъ оттѣнокъ никогда не впадалъ въ крайности западничества и славянофильства. Въ принципѣ онъ устранилъ обѣ эти крайности, а если и по сей часъ можно услышать разговоръ о нихъ, какъ о живыхъ темахъ, то въ этомъ виноватъ все тотъ-же обрывистый ходъ нашего умственнаго развитія, мѣшающій прочному установленію какихъ бы то ни было традицій. Можно довольно часто встрѣтить въ нынѣшней нашей печати утвержденіе, что литература шестидесятыхъ годовъ была западническою. Это — заблужденіе, зависящее не отъ непониманія, потому что дѣло слишкомъ ясно, а отъ незнанія: люди просто не знаютъ того, о чемъ они говорятъ.

Въ статьяхъ Шелгунова, сгруппированныхъ въ настоящемъ изданіи подъ рубрикой «историческихъ», читатель найдетъ, прежде всего, попытку разобраться въ различныхъ элементахъ европейской цивилизаціи, разложить смутное обобщеніе «запада» на его составныя части и оцѣнить ихъ съ нѣкоторой высшей точки зрѣнія, съ которой одинаково хорошо видны и добро, и зло. Уже одинъ этотъ анализъ, одно это покушеніе на цѣльность «запада» показываетъ, что «западничества» тутъ нѣтъ и быть не можетъ. Разъ европейская цивилизація разложима и разложена на составные элементы, изъ которыхъ одни признаны, а другіе отвергнуты, «западничеству», очевидно, нѣтъ мѣста, оно теряетъ всякій смыслъ и становится пустымъ словомъ безъ содержанія. Изобличая многочисленныя отечественныя язвы, пуская для этого въ ходъ горячее слово и ядовитую насмѣшку, критику и исторію, поэзію и статистику, литература шестидесятыхъ годовъ отнюдь не отвергала все русское только потому, что оно русское, и не преклонялась передъ всѣмъ европейскимъ только потому, что оно европейское. Съ той идеально-реальной высоты, на которой она стояла, она могла свободно относиться ко всѣмъ явленіямъ, какъ русской, такъ и европейской жизни, и, подобно Мольеру, сказать о себѣ: je prends mon bien partout où je le trouve. Для наглядной характеристики этой драгоцѣнной черты я и счелъ позволительнымъ возстановить вышеприведенныя строки изъ введенія къ статьѣ «Рабочій пролетаріатъ въ Англіи и во Франціи», хотя, повторяю, въ менѣе рѣзкой и опредѣленной формѣ та-же самая мысль имѣется и въ другихъ статьяхъ Шелгунова. Эта готовность признать правду и отринуть неправду, откуда-бы она ни шла, есть однако, не эклектизмъ, лишенный всякаго оригинальнаго центра, а, именно, свободное отношеніе къ явленіямъ жизни.

Свобода не значитъ распущенность, свободное отношеніе къ явленіямъ жизни не значитъ распущенное отношеніе, слагающееся и измѣняющееся подъ давленіемъ смѣны мимолетныхъ впечатлѣній. Это—не свобода, ежели я ежеминутно могу оказаться во власти какой-нибудь непредвидѣнной комбинаціи обстоятельствъ. Флюгера на видъ очень свободны,—вертятся и вправо и влѣво, но вѣдь они повинуются малѣйшему дуновенію вѣтра, а когда «безоблачно небо, нѣтъ вѣтру съ утра, — въ большомъ затрудненьи торчатъ флюгера: ужь какъ ни гадаютъ, никакъ не добьются, въ которую сторону имъ повернуться». Свободное отношеніе къ явленіямъ жизни возможно, напротивъ, лишь тогда, когда въ человѣкѣ сложились убѣжденія, достаточно прочныя, чтобы противостоять временнымъ и случайнымъ дуновеніямъ, чтобы всякій фактъ, ничтожный, заурядный или крупный, радостный, возмутительный или безразличный, нашелъ свое мѣсто въ системѣ убѣжденій. Но что-же это значитъ: фактъ нашелъ свое мѣсто въ системѣ убѣжденій?

Это значитъ, во-первыхъ, что фактъ признанъ, какъ фактъ, и затѣмъ признанъ или отвергнутъ, какъ принципъ. Повидимому, это дѣло очень простое, но бываютъ обстоятельства, при которыхъ оно обращается въ очень непростое. Такъ напримѣръ, мы бываемъ склонны отрицать непріятный для насъ фактъ, то есть или отрицать самое его существованіе, или подкрашивать его пріятнымъ цвѣтомъ, и иногда нужно большое мужество, чтобы признать фактъ во всемъ его нравственномъ безобразіи, во всей его обидности и непріятности. Это бываетъ даже съ фактами, вполнѣ безразличными въ нравственномъ отношеніи: Галилей вынужденъ былъ отрицать несомнѣнный для него фактъ вращенія земли, потому что оффиціальнымъ представителямъ мысли того времени было непріятно, обидно такое покушеніе на геоцентрическое пониманіе міра. Однако, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трудность признанія относится къ области фактовъ нравственнаго порядка. И здѣсь мало признать фактъ, надо еще оцѣнить его принципіальное значеніе, надо рѣшить, грубо выражаясь, хорошъ или дуренъ фактъ и почему, именно, хорошъ или дуренъ. Это тоже не всегда легко. Фактъ очень часто до такой степени придавливаетъ человѣческую мысль и чувство, что онѣ не смѣютъ дать ему принципіальную оцѣнку и самого его, какъ онъ есть, во всей его грубости, возводятъ въ принципъ. Ниже мы еще встрѣтимся съ такимъ положеніемъ вещей, а теперь вернемся къ литературѣ шестидесятыхъ годовъ, которая не знала этого тяжкаго ига факта.

Въ статьѣ «Европейскій западъ», сравнивая XVIII и XIX вѣка, Шелгуновъ, между прочимъ, пишетъ: «Служеніе расширенному общественному интересу, а не частичному, какъ было въ XVIII столѣтіи, было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всепроникающаго движенія науки и изслѣдованія, во главѣ которыхъ встало естествознаніе, обратившееся къ изученію законовъ органической жизни, начиная біологіей и кончая соціологіей. Буржуазная интеллигенція XVIII столѣтія не имѣла этого характера, и только интеллигенція XIX вѣка, воспитавшаяся на обобщеніяхъ, поставила цѣлью своихъ стремленій счастье всѣхъ обездоленныхъ и общее равенство на пиру природы, на которомъ всѣ приглашенные и нѣтъ никого избранныхъ».

Я отнюдь не могу согласиться съ этой сравнительной характеристикой XVIII и XIX вѣковъ, хотя въ ней и есть доля правды. Я привожу ее лишь, какъ отзвукъ того увлеченія естествознаніемъ, которое было такъ сильно въ шестидесятыхъ годахъ и многіе слѣды котораго Шелгуновъ счелъ нужнымъ изгнать или ослабить въ настоящемъ изданіи. Вышеупомянутая, не вошедшая въ это изданіе статья «Земля и органическая жизнь» начинается такъ:

„Земля, какъ это знаетъ читатель, составляетъ одну изъ планетъ нашей солнечной системы. Нептунъ, самая отдаленная изъ нихъ, лежитъ отъ солнца въ разстояніи 5,208,000 000 верстъ. Человѣческое воображеніе, разумѣется, не можетъ представить себѣ эту величину; но вычисленія астрономовъ указываютъ на разстоянія еще значительно большія. Напримѣръ, поперечникъ солнечной системы составляетъ 10,416,000,000 верстъ; Сиріусъ лежитъ отъ земли въ 1,275,715,000,000 верстахъ, а отдаленнѣйшая изъ всѣхъ видѣнныхъ астрономами звѣздныхъ системъ лежитъ въ 35,000 разъ дальше Сиріуса или въ 44,650,026,000,000,000,000 верстахъ. Если черезъ все это разстояніе вообразить желѣзную дорогу, то поѣздъ, равняющійся по быстротѣ нашему московскому почтовому, свершилъ-бы путь въ 6,800,000,000,000 лѣтъ. Всѣ эти цифры приводимъ мы, разумѣется, не для того, чтобы поставить читателя въ затруднительное положеніе произвести ихъ. Мы только хотимъ показать громадность опредѣленныхъ человѣкомъ предѣловъ міровданія и сравнительную незначительность земли, имѣющую въ поперечникѣ всего только 11,900 верстъ. Но самая большая изъ этихъ цифръ вовсе еще не предѣлъ міра; самое смѣлое человѣческое воображеніе подавляется громадностью пространства, представляемаго звѣзднымъ небомъ".

Я сдѣлалъ эту довольно длинную выписку, чтобы напомнить читателю одну изъ сторонъ литературы шестидесятыхъ годовъ. Авторъ не скрываетъ цѣли, съ которою онъ хочетъ поразить своихъ читателей неудобовыговариваемыми, по ихъ огромности, числами,— онъ хочетъ оттѣнить незначительность земли. Авторъ не спеціалистъ по астрономіи, который можетъ излагать результаты своей науки въ популярной формѣ единственно для распространенія знаній, безъ всякой задней мысли. Авторъ — публицистъ, задающійся, правда тою-же цѣлью распространенія знаній въ средѣ общества, отрѣзаннаго дотолѣ отъ всѣхъ путей просвѣщенія и которому поэтому полезно преподавать даже иныя элементарныя истины ради самыхъ этихъ истинъ. Но ему этого мало. Онъ хочетъ, чтобы сообщаемыя имъ знанія укладывались въ головѣ читателя въ извѣстную общую систему, въ извѣстное міроразумѣніе, обнимающее не только различныя области теоріи, но и вопросы житейской практики. Онъ подходитъ къ этой задачѣ сегодня въ популярной статьѣ по естествознанію, черезъ мѣсяцъ во «внутреннемъ обозрѣніи», еще черезъ мѣсяцъ въ критической статьѣ и т. д. Онъ знаетъ, что у него есть сотрудники, которые ту-же задачу преслѣдуютъ средствами беллетристики, философіи, исторіи и проч. Въ этой неустанной и многообразной работѣ играетъ важную роль ликвидація разныхъ иллюзій и фикцій, въ томъ числѣ иллюзіи какого-то особеннаго, привилегированнаго

положенія нашей планеты въ мірозданіи. Въ наше время, когда, путемъ популярно-научной литературы, пущено въ обращеніе много астрономическихъ данныхъ, воображеніе читателя, можетъ быть, и не поразится тѣми десяти-этажными цифрами, въ которыхъ тонутъ размѣры земного шара. Не то, что-бы эти цифры были всѣмъ заурядным читателямъ въ точности знакомы, но многіе уже просто выросли на вытекающихъ изъ тѣхъ цифръ выводахъ, такъ что онѣ все-таки не покажутся слишкомъ большою и значительною новостью. Иное дѣло тридцать лѣтъ тому назадъ. Тогда нужно было извѣстное безстрашіе мысли, чтобы признать фактъ невыразимой огромности вселенной, въ которой такое обидно-ничтожное мѣсто занимаетъ наша планета. Это-то безстрашіе передъ фактомъ и воспитывала въ людяхъ литература шестидесятыхъ годовъ. Если такъ ничтожна земля, то что-же такое мы, жалкіе обитатели земли, со всѣми нашими думами и вопросами, радостями и горестями?! Нѣтъ мѣры нашей малости и нѣтъ имени той глупой гордости, съ которою мы, послѣдніе изъ послѣднихъ, воображаемъ себя центромъ вселенной, кому въ угоду или во вредъ зажглось солнце, разсыпались звѣзды по небу, гремятъ громы и сверкаютъ молніи. И чего стоятъ наши мысли, чувства, дѣла, великодушныя или подлыя?! Если сказать, что всѣмъ имъ одинаково цѣна грошъ, такъ это развѣ только въ томъ смыслѣ справедливо будетъ, что у насъ нѣтъ монеты меньше. 44,650,025,000,000,000,000 верстъ и — три аршина земли, которые каждый изъ насъ займетъ, въ концѣ концовъ, подъ свою могилу! Это страшно. Это до такой степени страшно, что если теперешній средній русскій человѣкъ, пустой и холодный, вдумчиво заглянетъ въ эту неизмѣримую пропасть, то у него, конечно, закружится голова. Въ шестидесятыхъ годахъ отъ этого головы не кружились. Свѣтлый историческій моментъ, съ точки зрѣнія вѣчности и безконечности, разумѣется, столь-же ничтожный, какъ и все прочее, такъ обильно напоялъ наши души, что мы смѣло могли противоставить свой внутренній міръ міру физической безмѣрности. Мы не могли признать себя ничтожными по одушевлявшимъ насъ идеаламъ и потому охотно, даже съ задоромъ, подчасъ излишнимъ, отмѣчали низменность нашего положенія въ природѣ. Отсюда, между прочимъ, увлеченіе естественными науками. Говорю «между прочимъ», потому-что у этого увлеченія были, конечно, и другіе источники.

Всякій слыхалъ, что литература шестидесятыхъ годовъ обнаруживала большую склонность къ матеріализму, реализму и проч., что она стремилась развѣнчать «царя природы», человѣка, и показать его животную сторону, что эгоизмъ она признавала первоисточникомъ человѣческихъ дѣйствій и т. д. Все это говорится обыкновенно съ упрекомъ или негодованіемъ. Упрекающіе и негодующіе поступили-бы, можетъ быть, лучше если-бы прежде подумали, а потомъ уже упрекали и негодовали.

Въ числѣ иллюзій и фикцій, обращавшихся въ предшествующую эпоху по принудительному курсу, большое мѣсто занимало, вообще, представленіе о нѣкоторомъ аристократическомъ положеніи человѣка въ природѣ. Предполагалось, а въ нужныхъ случаяхъ громогласно утверждалось, что человѣкъ есть существо по преимуществу духовное, которому довлѣетъ возноситься мыслью и чувствомъ къ высшимъ надзвѣзднымъ сферамъ, а бренную тѣлесную свою оболочку презирать. Это была условная фикція. У всѣхъ она была на языкѣ, но никто въ нее не вѣрилъ настоящимъ образомъ, такъ что она нисколько не мѣшала, теоретически превозвышенному человѣку на практикѣ съ полнымъ удовольствіемъ валяться въ нравственной грязи. Тѣмъ не менѣе, согласно общему духу системы, сомнѣніе въ возвышенномъ природномъ положеніи человѣка и въ презрительности требованій бренной тѣлесной оболочки считалось, если не преступленіемъ, то, во всякомъ случаѣ, признакомъ неблагонамѣренности. А еслибы кто вздумалъ указывать факты явнаго несоотвѣтствія между теоретическимъ пониманіемъ природы человѣка и житейскою практикой, такъ это тоже было-бы неблагонамѣренно. Факты были у всѣхъ на-лицо и никто въ нихъ собственно не сомнѣвался, но открыто признать ихъ, то-есть выговорить всѣми буквами и сдѣлать соотвѣтственные выводы—считалось опаснымъ. Такая страшливость была особенно противна духу литературы шестидесятыхъ годовъ, а потому, ликвидируя дѣла старой системы, она непремѣнно должна была удѣлить значительную часть своихъ силъ на развѣнчаніе фиктивной возвышенности природы человѣка. Человѣкъ есть животный организмъ,—такъ можно резюмировать многія литературныя произведенія того времени. Безспорно, что, отстаивая этотъ тезисъ на разные лады, въ положительной или отрицательной формѣ, во всемъ его объемѣ или по частямъ, литература хватала иногда черезъ край. При иныхъ условіяхъ она, вѣроятно, воздержалась-бы отъ нѣкоторыхъ пріемовъ и обобщеній, имѣвшихъ цѣлью свести психическіе процессы къ физіологическимъ, или, вообще, обществознаніе къ естествознанію, или нравственное начало къ эгоизму. Но въ основѣ всѣхъ этихъ увлеченій (я первый готовъ признать ихъ при-

скорбность) лежитъ несомнѣнная, хотя и не полная, односторонняя правда. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, въ нихъ, всетаки, остается поучительною смѣлость признанія факта, разъ онъ фактъ, какъ-бы онъ ни былъ обиденъ или страшенъ. Притомъ-же, въ самомъ духѣ, оживлявшемъ шестидесятые годы, было нѣчто, вносившее сюда извѣстную поправку, которая своеобразно преломляла даже ошибочныя или одностороннія теоретическія обобщенія при переходѣ ихъ въ область практическихъ вопросовъ.

IV.

Казалось-бы, люди, такъ охотно признававшіе низменность человѣческой природы, стремившіеся къ удовлетворенію требованій бренной тѣлесной оболочки, сами себя называвшіе «реалистами» и т. д.; казалось бы, эти люди должны были добиваться въ жизни, прежде всего, земныхъ благъ. Если земля и всѣ земныя дѣла такъ ничтожны, если человѣкъ—животное, если эгоизмъ, по самой природѣ вещей, управляетъ всѣми нашими дѣйствіями, такъ чего-же церемониться?—пей, ѣшь и веселись, не думая ни о сосѣдѣ, ни о завтрашнемъ днѣ. Этотъ, казалось-бы, вполнѣ логическій выводъ часто и навязывается шестидесятымъ годамъ. Однако, Шелгуновъ съ справедливою гордостью говоритъ: «Реалисты шестидесятыхъ годовъ... были идеалисты земли, и ужъ, конечно, въ Россіи еще не бывало большихъ идеалистовъ, совсѣмъ забывшихъ о себѣ, о своей личной пользѣ и личномъ интересѣ, какъ, такъ называемые, «реалисты» шестидесятыхъ годовъ. Припомните судьбу каждаго изъ нихъ. Эти люди точно стыдились матеріальныхъ благъ и кончали свою жизнь не на шелкѣ и бархатѣ».

Фактически на это замѣчаніе нѣтъ возраженій. Дѣйствительно, въ то время, какъ многіе проповѣдники самыхъ, повидимому, возвышенныхъ понятій о дѣлахъ сего и того міра отлично устраивали подъ собственный велерѣчивый шумъ свои собственныя дѣлишки, «реалисты» шли навстрѣчу всякимъ житейскимъ невзгодамъ и принимали ихъ безъ жалобъ и стоновъ. Такъ было, и никакой самый злѣйшій языкъ не въ силахъ слизать этотъ фактъ со страницъ исторіи. Но можно, повидимому, уличать дѣятелей шестидесятыхъ годовъ въ противорѣчіи, въ несоотвѣтствіи между словомъ и дѣломъ. Никто не откажетъ имъ въ самоотверженіи, слишкомъ ясно засвидѣтельствованномъ ихъ жизнью, хотя бы оно, по иному мнѣнію, было дурно направлено, но можетъ показаться, что самоотверженіе это не вязалось съ ихъ теоретическими посылками. Шелгуновъ утверждаетъ, однако, что они «тѣсно слили слово съ дѣломъ». И онъ правъ.

Всѣ факты могутъ быть раздѣлены, съ точки зрѣнія отношенія къ нимъ человѣка, на три группы весьма различныхъ размѣровъ. Во-первыхъ, факты естественные, совершившіеся, совершающіеся и имѣющіе совершиться помимо человѣческаго сознанія и воли. Не участвуя въ возникновеніи этихъ фактовъ ни головой, ни руками, мы вынуждены принимать ихъ, какъ они есть, безъ всякаго суда надъ ними, и можемъ только пользоваться ими для своихъ цѣлей, въ общемъ сами имъ подчиняясь. Другую, несравненно меньшую группу составляютъ факты, такъ сказать, проходящіе черезъ человѣческія руки. По существу, они, разумѣется, ничѣмъ не отличаются отъ фактовъ естественныхъ и управляются общими для всего сущаго законами, но ошибочно или нѣтъ, а человѣкъ, по самой природѣ своей, чувствуетъ въ виду ихъ свою отвѣтственность, потребность нравственнаго суда, возможность вліять на факты въ ту или другую сторону. Промежуточную ступень между этими двумя группами составляютъ факты историческіе, наше отношеніе къ которымъ смѣшанное, такъ какъ они до извѣстной степени совмѣщаютъ въ себѣ признаки обѣихъ предыдущихъ группъ. Съ одной стороны, они столь-же законченны и нашему воздѣйствію недоступны, какъ и факты естественные, а съ другой стороны—они, въ свое время, прошли черезъ человѣческія руки и мы не можемъ отдѣлаться отъ мысли, что тѣ, давно успокоившіеся, но подобные намъ люди могли дѣйствовать и такъ, и иначе, склонить ходъ событій въ ту или другую сторону. Отсюда потребность нравственнаго суда и надъ историческими лицами и событіями, хотя мы отлично сознаемъ, что для воздѣйствія на нихъ у насъ столь-же коротки руки, какъ и для измѣненія какого нибудь астрономическаго процесса.

Таково нормальное, законное отношеніе человѣка къ фактамъ, вытекающее изъ общихъ свойствъ человѣческой природы. Но, какъ и другіе нормальные процессы, оно отнюдь не составляетъ заурядnаго явленія и подвергается въ теченіи исторіи разнымъ патологическимъ отклоненіямъ, въ зависимости отъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ условій. Спеціалисты, да и то не по всѣмъ отраслямъ, могутъ съ успѣхомъ работать въ ненастье и ведро, но жестоко ошибаются тѣ, кто думаетъ, что общая правда можетъ открываться людямъ при всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ. Я не говорю объ отдѣльныхъ мыслителяхъ, которые, «какъ беззаконныя кометы среди рас-

численныхъ свѣтилъ», являются непредвидѣнно (хотя, конечно, и пути кометъ предвидимы) и могутъ даже въ самыя трудныя времена становиться на надлежащую точку для выработки правды. Законъ не писанъ не только для дураковъ, какъ утверждаетъ пословица, а и для геніевъ. Но для единовременнаго появленія нѣсколькихъ центровъ правильнаго отношенія къ фактамъ и для быстраго, хотя-бы и поверхностнаго распространенія его въ массѣ,—нужны особенныя условія. Такія условія были налицо, напримѣръ, въ Европѣ въ концѣ XVIII вѣка, были и у насъ въ шестидесятыхъ годахъ. (Мимоходомъ сказать, между этими двумя историческими моментами, вообще, много сходства, оставляя, разумѣется, въ сторонѣ ихъ размѣры и общее историческое значеніе). Условія эти указаны выше: присутствіе въ обществѣ идеала, достаточно высокаго, чтобы насторожить умы и воодушевить сердца, и, въ то же время, по общему сознанію достаточно близкаго къ практическому осуществленію, чтобы подъемъ духа не изсякъ въ отвлеченномъ паренiи. При этихъ условіяхъ выступаютъ на сцену, въ сравнительномъ изобиліи, и оказываютъ свое вліяніе на все общество тѣ «реалисты» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, «идеалисты земли», о которыхъ говоритъ Шелгуновъ.

«Идеалисты земли» (выраженіе, можетъ быть, не совсѣмъ складное, но прекрасно характеризующее самую суть явленія, о которомъ идетъ рѣчь) открыто признавали всѣ факты, разъ доказано ихъ существованіе. «Насъ возвышающій обманъ» былъ для нихъ дикимъ и смѣшнымъ понятіемъ. Смѣшны и дики, даже преступны были съ ихъ точки зрѣнія тѣ quasi-патріотическія соображенія, въ силу которыхъ почиталось нужнымъ скрывать многоразличные отечественные изъяны. Если всяческая наша скудость есть фактъ,—онъ долженъ быть признанъ, какъ-бы нибыло горько нашему сердцу. Если то или другое quasi-историческое лицо или событіе, къ которому мы съ дѣтства привыкли относиться, какъ къ чему-то великому, оказывается, при ближайшемъ фактическомъ изслѣдованіи, легендарнымъ, оно должно быть вычеркнуто, какъ ни больно разставаться съ красивой легендой. Если подъ маской возвышенныхъ идеаловъ скрываются грубо животныя побужденія, фактъ маскарада долженъ быть вскрытъ, не взирая на послѣдствія. Если дознано, что человѣкъ не есть то по преимуществу духовное существо, какимъ его рисуютъ люди невѣжественные или лицемѣрные, это должно быть громко и отчетливо высказано. И т. д., и т. д. Нѣтъ аргументовъ, которые оправдывали-бы въ глазахъ этой литературы укрывательство факта или извращеніе его. Это настоящее торжество факта, торжество «реализма». И торжество законное. Мнѣ очень хорошо извѣстно, что литература шестидесятыхъ годовъ впадала на этомъ пути въ ошибки и увлеченія, неправильно располагая перспективу фактовъ, но это ничего не говоритъ противъ основной точки зрѣнія.

Въ огромной области фактовъ естественныхъ, то есть возникающихъ независимо отъ человѣческой дѣятельности, торжество факта продолжается еще и въ иномъ смыслѣ: не только признается его существованіе, но признается его верховность, неприкосновенность и неподсудность человѣку. Если земля во столько-то и столько-то разъ меньше такихъ-то другихъ планетъ, если жизнь кончается смертью, если природа человѣка ограничена такими-то условіями и т. п., мы должны со всѣмъ этимъ примириться, не затрачивая понапрасну чувствъ скорби, обиды или возмущенія, равно какъ и противоположныхъ чувствъ радости или благодарности. Здѣсь фактъ и принципъ или идея сливаются. Уже не то въ области фактовъ историческихъ и окончательно не то относительно фактовъ текущей жизни, въ возникновеніи и развитіи которыхъ мы принимаемъ участіе, если не дѣломъ, такъ словомъ и помышленіемъ. Въ этой, сравнительно небольшой, но имѣющей для насъ первенствующее значеніе области, фактъ долженъ быть признанъ, какъ фактъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ признается подлежащимъ нашему воздѣйствію, а слѣдовательно и оцѣнкѣ съ точки зрѣнія извѣстнаго идеала. Неумѣстный по отношенію къ группѣ естественныхъ фактовъ субъективный элементъ получаетъ здѣсь широкое примѣненіе, не устраняя, разумѣется, объективнаго констатированія факта средствами науки и воспроизведенія средствами искусства. И въ этомъ смыслѣ идея торжествуетъ надъ фактомъ. Вслѣдствіе разныхъ запутанныхъ обстоятельствъ, въ нашей теперешней печати, говоря о литературѣ шестидесятыхъ годовъ, разумѣютъ, главнымъ образомъ, литературную критику того времени. При этомъ часто можно услышать, будто эта критика требовала отъ художниковъ извращенія фактовъ въ угоду тѣмъ или другимъ теоріямъ. Это—непониманіе или незнаніе. Критика шестидесятыхъ годовъ, въ согласіи со всѣми другими отраслями и формами тогдашней литературы, требовала, прежде всего, правдиваго воспроизведенія фактовъ. Въ этомъ требованіи отражалась коренная черта всей тогдашней литературы, ея «реализмъ». Но затѣмъ, опять-же въ общемъ всей литературѣ тонѣ, критика подчиняла фактъ идеѣ, во-первыхъ, сортируя художественный матеріалъ по степени его важности съ извѣстной точки зрѣнія, а во-вторыхъ,

давая ему извѣстную нравственно-политическую оцѣнку. Я знаю, что и на этомъ пути были дѣлаемы ошибки, но знаю также, что онѣ не компрометтируютъ основной точки зрѣнія, которая отнюдь не упраздняетъ художественную критику, а дополняетъ и расширяетъ ее. Нынѣ находятъ такое расширеніе не только излишнимъ,—такой излишекъ ничему, вѣдь, по крайней мѣрѣ, не мѣшаетъ,—а вреднымъ. Это не ново. Такъ разсуждали иные и въ шестидесятыхъ годахъ, и если теперь это разсужденіе получаетъ, повидимому, значительное распространеніе, то это въ такой-же мѣрѣ объясняется общими условіями времени, въ какой противоположная точка зрѣнія была связана съ условіями своего времени. Характеръ литературной критики шестидесятыхъ годовъ не можетъ быть удовлетворительно оцѣненъ внѣ связи съ другими формами тогдашней литературы и съ ея общимъ духомъ. Присутствіе обще-признаннаго и завѣдомо осуществимаго высокаго идеала внушало литературѣ безстрашіе передъ фактами, которые она признавала, но простымъ созерцаніемъ (а слѣдовательно, и констатированіемъ и воспроизведеніемъ) которыхъ она ограничиться не могла. Она видѣла крушеніе такого колоссальнаго факта, какъ крѣпостное право и всей связанной съ нимъ системы, и это величественное зрѣлище естественно внушало ей смѣлость надеждъ и жажду дѣятельности, то-есть воздѣйствія на существующіе факты во имя идеала. Идеалъ этотъ былъ чисто земного характера, да и не зачѣмъ ему было быть инымъ, потому что на землѣ во-очію совершалось истинно великое дѣло. И если эти «идеалисты земли» были въ то же время «реалистами», то тутъ нѣтъ никакого противорѣчія, а есть, напротивъ, вполнѣ законченное цѣльное міроразумѣніе. Его общія черты остаются истиной и доселѣ: факты признаются безъ утайки и безъ идеализаціи, во всей ихъ реальности; затѣмъ они распадаются на неподлежащіе нашему воздѣйствію и подлежащіе таковому, а для воздѣйствія необходимъ идеалъ, то-есть такое расположеніе реальныхъ элементовъ, которое лучше, выше, желательнѣе, чѣмъ дѣйствительность. Пусть «идеалисты земли» заблуждались относительно предѣловъ и возможностей воздѣйствія,—въ принципѣ они, во всякомъ случаѣ, стояли на пути къ правдѣ.

Освобожденіе крестьянъ стимулировало мысль и чувство современниковъ въ очень широкихъ предѣлахъ, такъ что фактомъ освобожденія еще далеко не кончалась центральная задача времени. Задача эта состояла въ теоретическомъ опредѣленіи, а, поскольку возможно, и практическомъ установленіи нормальныхъ отношеній между личностью и обществомъ. Задача эта, конечно, не шестидесятыми годами впервые выдвинута. Она столь-же стара, какъ само человѣческое общество. Но всею своею полнотою она занимаетъ людей гораздо рѣже, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Въ основѣ всякаго международнаго, политическаго, экономическаго, моральнаго, юридическаго, административнаго вопроса такъ или иначе лежатъ взаимныя отношенія личности и общества. Но въ огромномъ большинствѣ случаевъ, при обыкновенномъ теченіи житейскихъ дѣлъ, это не сознается; общественные вопросы обсуждаются и рѣшаются безъ приведенія ихъ къ ихъ основѣ, которая маскируется разными узко-практическими условностями и отвлеченными категоріями. Жизнь идетъ слѣпою ощупью, механически цѣпляясь за случайности установившихся отношеній, или-же ища себѣ обоснованія въ не-анализированныхъ отвлеченныхъ категоріяхъ «права», «свободы», «порядка», «прогресса», «справедливости», «національнаго достоинства», «народнаго богатства» и т. д. Въ послѣднемъ результатѣ анализа всѣхъ этихъ понятій нечему быть, кромѣ личности и общества въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. И людямъ серьезнаго знанія это хорошо извѣстно, но лишь въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ субстратъ всѣхъ общественныхъ вопросовъ всплываетъ въ общемъ сознаніи и вліяетъ на обыденную житейскую практику. Всплываетъ и вліяетъ, разумѣется, уже въ извѣстной, болѣе или менѣе опредѣленной формѣ.

Статья Шелгунова «Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи» оканчивается такими словами: «Если протестанты XVI столѣтія освободили мысль, то мы сдѣлали попытку освободить человѣка. Только наше время установило, что благороднѣйшій, драгоцѣннѣйшій и единственный элементъ прогресса есть свободная личность, развившаяся въ свободномъ общежитіи Мы живемъ въ самомъ началѣ этого періода и несемъ на своихъ плечахъ главную борьбу за новое слово».

«Мы сдѣлали попытку», «мы несемъ на своихъ плечахъ»,—это, разумѣется, не спеціально къ намъ, русскимъ относится, а къ извѣстному времени, къ извѣстной ступени цивилизаціи, къ которой, однако, и мы съ шестидесятыхъ годовъ пріобщились. Въ XII главѣ «Воспоминаній» Шелгунова читаемъ:

«Внизу освобождались крестьяне отъ крѣпостного права, вверху освобождалась интеллигенція отъ служилаго государства и отъ старыхъ московскихъ понятій. И болѣе великаго момента, какъ этотъ переходъ отъ идеи крѣпостного и служилаго государства къ идеѣ государства свободнаго, въ нашей исторіи не было, да, пожалуй, и не будетъ.

Мы, современники этого перелома, стремясь къ личной и общественной свободѣ и работая только для нея, конечно, не имѣли времени думать, дѣлаемъ-ли мы что-нибудь великое или невеликое. Мы просто стремились къ простору и каждый освобождался, гдѣ и какъ онъ могъ и отъ чего ему было нужно. Хотя работа эта была, повидимому, мелкая, такъ сказать, единоличная, потому что каждый дѣйствовалъ за свой страхъ и для себя, но именно отъ этого общественное оказывалось сильнѣе, неудержимѣе, стихійнѣе. Идея свободы, охватившая всѣхъ, проникала всюду и совершалось дѣйствительно что-то небывалое и невиданное».

Вслѣдъ за этимъ Шелгуновъ приводитъ разные иллюстрирующіе эпизоды и соображенія. Тутъ есть разсказы объ офицерахъ, выходившихъ въ отставку, чтобы завести книжную торговлю или заняться издательствомъ, о женщинахъ, выбивавшихся изъ-подъ гнета грубой и деспотической семьи, и т. п. Есть и такія указанія: «Правительство сознавало, что при новыхъ усложненныхъ требованіяхъ болѣе развитой жизни продолжать старую систему казеннаго управленія у него не достанетъ силъ, и оно стало продавать или закрывать казенныя фабрики и заводы, оно поощряло и поддерживало акціонерныя предпріятія, оно создало русское общество пароходства и торговли, оно открыло возможность для частныхъ банковъ, оно передало постройки желѣзныхъ дорогъ частнымъ предпринимателямъ. Однимъ словомъ, реакція противъ прежняго всепоглощающаго государственнаго вмѣшательства и казеннаго руководительства была не только всеобщей, но и легла въ основу общественно-экономическихъ реформъ и всей системы государственнаго хозяйства прошедшаго царствованія».

Все это должно свидѣтельствовать о торжествѣ новой формулы взаимныхъ отношеній между личностью и обществомъ: «свобода личности» или «свободная личность въ свободномъ общежитіи». Вглядываясь, однако, нѣсколько ближе въ иллюстрирующіе эпизоды и соображенія Шелгунова, мы едва-ли найдемъ въ нихъ полную однородность или, вѣрнѣе, однородность эта не пойдетъ далѣе отрицательной стороны. Всѣ эти эпизоды и указанія одинаково говорятъ о размягченіи или распущеніи общественныхъ узъ и о выдѣленіи изъ нихъ частныхъ, личныхъ интересовъ. Въ этомъ смыслѣ смягченіе деспотизма старой семьи и отреченіе фиска отъ руководительства промышленною жизнью страны могутъ быть совершенно правомѣрно сведены къ одному знаменателю, и Шелгуновъ вполнѣ правъ, констатируя этотъ всеобщій фактъ. Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы этотъ фактъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ совпадалъ съ идеаломъ Шелгунова и его единомышленниковъ. Къ шестидесятымъ-же годамъ относятся первые гимны «свободы» мужика «отъ земли». Но та струя литературы, къ которой принадлежалъ Шелгуновъ, слишкомъ пристально вглядывалась въ жизнь европейскихъ странъ, въ которыхъ принципъ экономической свободы достигъ наибольшаго осуществленія (см. «историческія» и «соціально-экономическія» статьи Шелгунова), чтобы мечтать о такомъ-же торжествѣ его у насъ. Мы видѣли, что, почтительно склоняясь передъ европейскою наукою и многими европейскими учрежденіями, Шелгуновъ отнюдь не желаетъ, чтобы двери русской жизни были настежъ отворены для пропуска европейскихъ экономическихъ порядковъ. Онъ спрашиваетъ: «откуда это добродушное стремленіе спасти своего ближняго, предлагая ему лекарство, оказавшее вредное послѣдствіе на сосѣда»? Это Шелгуновъ писалъ въ одной изъ самыхъ раннихъ своихъ статей, въ 1861 г., а вотъ что онъ писалъ въ 1868 г.: «То, что славянофилы, почвенники и ихъ продолжатели толковали о народной душѣ, народной правдѣ и русскомъ всечеловѣкѣ, несомнѣнно очень благородный идеалъ, на которомъ стоитъ построить русскую общественную жизнь, но подробности этого идеала создадутся не смутными сердечными порывами, не чувствомъ, а изслѣдованіемъ выработанныхъ народомъ и интеллигенціей общественныхъ и бытовыхъ понятій и тѣхъ равноправныхъ и, именно, всечеловѣческихъ основъ народнаго коллективизма, который чуждъ еще интеллигенціи, вырабатывающей пока достоинство личности» («Новый отвѣтъ на старый вопросъ»).

Здѣсь не мѣсто говорить объ этихъ упованіяхъ по существу. Я привожу слова Шелгунова для уясненія его формулы взаимныхъ отношеній личности и общества. Ни онъ, ни литература шестидесятыхъ годовъ вообще не думали ограничиваться отрицательною формулою свободы. Въ ихъ лицѣ, какъ и въ ихъ теоріяхъ, личность, освободившись отъ обветшалыхъ общественныхъ узъ, сознательно подчинялась инымъ узамъ, самоотверженно отдавая имъ свою мысль, чувство, волю, всю свою жизнь. Для выработки этихъ обновленныхъ общественныхъ узъ, «идеалисты земли» обращались и къ западно-европейскимъ теоріямъ, и къ русской народной жизни, словомъ всюду, гдѣ разсчитывали найти теоретическіе или практическіе зародыши такого сочетанія общественныхъ элементовъ, которое гарантировало-бы личности полноту жизни. Какъ говоритъ Шелгуновъ въ статьѣ о Берне

(«Первый нѣмецкій публицистъ»), «въ средоточіи земной жизни стоитъ живой человѣкъ и для этого-то живого человѣка и долженъ работать каждый». Что касается Берне, то «въ тотъ моментъ, въ который онъ дѣйствовалъ», идеею свобсды можетъ быть и исчерпывалась злоба дня; но въ моментъ нашихъ шестидесятыхъ годовъ, въ виду сложности перелома жизни, злоба дня была сложнѣе, а потому «свобода» бывала иногда просто громкимъ словомъ, подъ которымъ крылась совсѣмъ несоотвѣтственная сущность. Наши публицисты не соблазнялись подобными громкими словами, но они и не боялись словъ. Поэтому они охотно говорили, между прочимъ, и объ эгоизмѣ, какъ объ основномъ свойствѣ человѣческой природы, но относились они къ этому эгоизму весьма своеобразно. Въ качествѣ «реалистовъ», они признавали фактъ эгоизма и смѣло сводили къ нему, какъ самыя низменныя, такъ и самыя возвышенныя побужденія. А въ качествѣ «идеалистовъ земли», они строили такой идеалъ личности, «ego» которой не грозитъ никому бѣдой и горемъ, потому что способно пережить въ себѣ жизнь ближняго и дальняго и чувствовать ихъ радости и горести, какъ свои собственныя. Идеалъ этотъ для нихъ не въ воздухѣ висѣлъ, онъ представлялся имъ естественнымъ результатомъ выработки соотвѣтственныхъ общественныхъ условій, да и на нынѣшняго человѣка, какъ онъ есть сейчасъ, они смотрѣли отнюдь не мрачными глазами. Въ самой его природѣ, вполнѣ эгоистической, они видѣли, однако, такія стороны, развитіе которыхъ должно поднять человѣка на высшую ступень. Было кое-что наивное во всемъ этомъ, но есть наивность, которая гораздо ближе къ правдѣ, чѣмъ разныя ухищренности.

«Доброжелательство есть у всякаго человѣка,—говоритъ Шелгуновъ, — только въ различной степени, и значительный недостатокъ его составляетъ такое-же важное лишеніе и ведетъ къ такимъ-же печальнымъ послѣдствіямъ, какъ и недостатокъ сообразительности. Людей, лишенныхъ доброжелательства, слѣдуетъ отнести къ разряду организмовъ ненормальныхъ, у которыхъ не достаетъ одной изъ важнѣйшихъ человѣческихъ способностей, равносильной разсудку. Злой человѣкъ всегда безразсуденъ, точно такъ-же, какъ безразсудный всегда золъ. Это двѣ парныя способности и лишеніе одной парализуетъ другую. Поэтому злого человѣка безъ ошибки можно назвать глупымъ, точно такъ-же, какъ глупаго—злымъ» («Прошедшее и будущее европейской цивилизаціи»).

Это наивно, потому что кто-же не зналъ злобныхъ умниковъ и глупыхъ добряковъ. И, однако, несомнѣнно, что въ высшемъ смыслѣ Шелгуновъ правъ. Истинное, глубокое пониманіе своихъ человѣческихъ, то-есть гуманныхъ, интересовъ исключаетъ злобу.

V.

Статья моя приходитъ къ концу. Называется она «Шелгуновъ», а собственно объ немъ въ ней сказано, повидимому, пока слишкомъ мало. Но это только повидимому. Все, сказанное выше о шестидесятыхъ годахъ вообще, цѣликомъ относится и къ Шелгунову въ частности. Не внеся въ работу шестидесятыхъ годовъ какихъ-нибудь своихъ рѣзкихъ индивидуальныхъ чертъ, Шелгуновъ впиталъ въ себя весь духъ того времени. Вотъ почему я могъ, говоря о шестидесятыхъ годахъ, обойтись безъ единой ссылки на кого-бы то ни было, кромѣ Шелгунова. Можетъ быть, мнѣ не удалось сдѣлать то, что я хотѣлъ сдѣлать, но, во всякомъ случаѣ, я не думалъ о критическомъ разборѣ сочиненій Шелгунова. Я хотѣлъ лишь облегчить самому читателю дѣло этого разбора напоминаніемъ тѣхъ общихъ чертъ литературы шестидесятыхъ годовъ, которыя нынѣ или совсѣмъ игнорируются, или поминаются больше по наслышкѣ, по смутному, непровѣренному преданію. Въ настоящемъ изданіи собраны статьи, написанныя съ 1861 года по 1890 включительно. Писаны онѣ всѣ подъ давленіемъ текущей жизни. Не мудрено было бы найти въ нихъ, рядомъ съ достоинствами, и извѣстные недостатки, но я не считаю это нужнымъ. Для меня гораздо важнѣе ихъ общій тонъ, а онъ у Шелгунова тотъ же, что у всей литературы шестидесятыхъ годовъ.

Шелгуновъ представляетъ, однако, ту особенность, что работаетъ и по сейчасъ, представляя собою въ литературѣ чуть ли не единственный обломокъ приснопамятнаго историческаго момента. Въ дѣятельности своей онъ держится все тѣхъ-же завѣтовъ своего времени, отстаивая ихъ съ живостью и горячностью, которымъ можно удивляться въ человѣкѣ, столь долго и много на своемъ вѣку поработавшемъ. Особенность-ли это его личныхъ силъ, или животворящій даръ все тѣхъ-же шестидесятыхъ годовъ, или и то, и другое вмѣстѣ, я не знаю; но знаю, что этотъ старикъ моложе многихъ и многихъ молодыхъ. Между прочимъ, онъ довольно часто прямо говоритъ о шестидесятыхъ годахъ то въ своихъ «Воспоминаніяхъ», то въ «Очеркахъ русской жизни» по поводу нѣкоторыхъ явленій текущей литературы. Мало понимающему и вяло чувствующему человѣку

можетъ показаться, да и было высказано въ печати, что Шелгуновъ является въ этомъ случаѣ представителемъ «отцовъ», расхваливающихъ, по изстари заведенному порядку, свое отжившее время и брюзжащихъ на поросли молодой жизни, которая ростетъ по своему, не спросясь ихъ, стариковъ. Это, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ очень обыкновенное явленіе: старикамъ съ остывшею кровью, замерзшимъ въ идеяхъ, когда-то живыхъ, но нынѣ уже отжившихъ, завидно глядѣть на кипящую молодость, которая рвется къ новымъ идеаламъ, чуждымъ, непонятнымъ для «отцовъ»... Бываетъ такъ, это точно, но бываетъ и иначе; бываетъ и такъ, что старикамъ обидно смотрѣть на отсутствіе кипящей молодости и какихъ-бы то ни было идеаловъ. И тогда старые «отцы» моложе своихъ старообразныхъ «дѣтей».

Менѣе, чѣмъ кто-нибудь, Шелгуновъ можетъ быть обвиняемъ въ упрямой ворчливости старика, остановившагося на точкѣ замерзанія. Давно уже, въ статьѣ «По поводу одной книги», онъ писалъ: «Насъ пріучили слышать о людяхъ двадцатыхъ годовъ, сороковыхъ, шестидесятыхъ; но мы еще ни разу не слышали, чтобы у насъ были люди XIX вѣка. Или десятилѣтія—наши вѣка, или русская мысль растетъ не годами, а часами? Какія умственныя пропасти раздѣляютъ мыслящую Россію на десятилѣтія? Откуда эта невозможность примиренія, откуда этотъ безпощадный антагонизмъ, который даже и людей одного десятилѣтія дѣлитъ на нѣсколько враждебныхъ лагерей? Говорятъ: люди сороковыхъ годовъ—отцы теперешней эпохи; это освободители Россіи отъ крѣпостного права; это первые люди, сказавшіе на Руси первое слово въ пользу человѣческихъ правъ женщины; съ людьми пятидесятыхъ годовъ они думали уже о гласномъ судѣ. Но развѣ люди шестидесятыхъ годовъ не прямое непосредственное слѣдствіе идей сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ? Гдѣ-же логика для вражды и антагонизма? отчего «отцы» не понимаютъ «дѣтей», не понимаютъ, что они—ихъ родныя «дѣти»?

Въ одномъ изъ «Очерковъ русской жизни», написанныхъ въ самое недавнее время, читатель найдетъ тѣ-же вопросы и недоумѣнія, но обращенныя уже въ другую сторону, въ сторону дѣтей, чурающихся своихъ отцовъ, соотвѣтственно чему весь этотъ очеркъ озаглавленъ въ настоящемъ изданіи—«Борьбали поколѣній ведетъ насъ впередъ». Но мы вернемся къ статьѣ «По поводу одной книги». Книга эта—небольшой сборникъ разсказовъ Герцена, изданный, помнится, въ 1871 г. Говоря объ этой книгѣ и объ ея авторѣ, Шелгуновъ пишетъ: «Натуры дѣйственныя, реальныя, живучія, дѣйствуютъ по событіямъ: онѣ являются не съ готовыми сентенціями и идеалами, не съ запасомъ готовыхъ истинъ, чтобы вѣчно держаться за нихъ, а только съ честными стремленіями и съ юношеской энергіей, которая никогда ихъ не оставляетъ». И далѣе: «Какъ свѣжи и хороши люди безъ ярлычковъ и какъ высоко слѣдуетъ цѣнить такихъ людей, какъ нашъ авторъ, мысли которыхъ сохранили текучесть на всю жизнь, а энергія тоже на всю жизнь сохранила свою юношескую силу. Такіе люди могутъ по-очереди пережить двадцатые, сороковые, шестидесятые и даже сотые годы, лишь-бы Богъ далъ вѣку, и не остановятся на какомъ-либо предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагами послѣдующаго. Тутъ — истинная сила преемственой мысли, не знающей дѣленія на десятилѣтія».

Спрашивается, если Шелгуновъ такъ высоко цѣнитъ «людей безъ ярлычковъ», «не останавливающихся на какомъ-либо предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагами послѣдующаго»; если онъ такъ хорошо понимаетъ, что не годится «являться съ готовыми сентенціями и идеалами, съ запасомъ готовыхъ истинъ, чтобы держаться за нихъ вѣчно»,—то почему же значительная часть его «очерковъ русской жизни» посвящена полемикѣ съ «восьмидесятниками», какъ онъ ихъ презрительно называетъ? «Восьмидесятники»—это люди, сами объявившіе себя современными «дѣтьми», несогласными съ «отцами», и представителями «новаго литературнаго поколѣнія», которое, надо думать, имѣетъ своихъ представителей и на другихъ, не-литературныхъ путяхъ жизни. Люди эти объявляютъ, что «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ ними безсильны», что они не хотятъ знать никакихъ «традицій прошлаго». Это не хорошо съ точки зрѣнія Шелгунова, дорожащаго преемственностью мысли, преемственностью развитія вообще. Но вѣдь и «восьмидесятники» могутъ, казалось бы, претендовать, въ свою очередь, на Шелгунова и бить ему челомъ его-же добромъ. Они могутъ повторить его слова: «отчего отцы не понимаютъ дѣтей, не понимаютъ, что они—ихъ родныя дѣти?» Надо еще замѣтить, что неизвѣстно, что Богъ дастъ дальше, а пока «восьмидесятники», по крайней мѣрѣ, въ литературѣ, не сильны ни качествомъ, ни количествомъ, ни единогласіемъ. Перечисляя, напримѣръ, свои беллетристическія силы, они сами замѣчаютъ, что изъ молодыхъ писателей значительнѣйшіе стоятъ на старомъ пути. Въ другихъ отрасляхъ литературы они тоже не могутъ похвастаться чѣмъ-нибудь выдающимся, крупнымъ. Далѣе, говоря о необходимости «бодрящихъ впечатлѣній» и о цѣнности «свѣтлыхъ явленій», нѣкоторые изъ нихъ въ то же время чрезвычайно почти-

тельно относятся къ Щедрину, не помышляя, повидимому, о томъ, что сказалъ-бы суровый сатирикъ по поводу ихъ пропаганды свѣтлыхъ явленій. Вообще, это литературное явленіе, по крайней мѣрѣ, сейчасъ, настолько незначительно во всѣхъ отношеніяхъ, что, отмѣтивъ его, Шелгуновъ смѣло могъ-бы затѣмъ уже не вступать въ длинную полемику съ его представителями. Тѣмъ болѣе, что это вѣдь «дѣти», «родныя дѣти»...

Въ томъ-то и дѣло, что если это и въ самомъ дѣлѣ дѣти, то завѣдомо никому не родныя. Если они, дѣйствительно, незначительны въ литературѣ, то въ современной нашей жизни есть соотвѣтственная струя, вялая, мелкая, мутная, но гораздо болѣе значительная, чѣмъ ея литературное выраженіе. Не въ томъ дѣло, что старые идеалы замѣнились новыми; это было бы, можетъ быть, дѣло законное, и во всякомъ случаѣ Шелгуновъ понимаетъ, что не слѣдуетъ «останавливаться на какомъ-нибудь предыдущемъ періодѣ, чтобы сдѣлаться врагомъ послѣдующаго». Дѣло даже не въ томъ, что идеалы совсѣмъ потухли, и, лишенные ихъ животворящаго дѣйствія, люди не чувствуютъ въ себѣ силъ и способностей къ «героизму»,—Шелгуновъ знаетъ, что «въ жизни народовъ за восторженностью, энтузіазмомъ и усиленной умственно-общественной дѣятельностью слѣдуетъ всегда реакціонное отступленіе» («Новый отвѣтъ на старый вопросъ»). Но если ужъ насъ, настигла такая печальная историческая полоса, такъ ее нужно признать печальной исторической полосой и думать о томъ, чтобы ее скорѣе пронесло, а не носиться съ ней какъ съ писаною торбой, не ходить, уперевъ руки въ бока фертомъ, не говорить съ нелѣпою гордостью: мы—соль земли, мы—«новое слово»...

Таковы мотивы полемики Шелгунова и, надо правду сказать, что мудрено представить себѣ что-нибудь болѣе антипатичное дѣятелю шестидесятыхъ годовъ, чѣмъ эти «восьмидесятники». Конечно, и они со своей точки зрѣнія правы, платя ему той-же монетой. Это два полюса, которымъ пригнуться другъ къ другу нельзя. Полемика Шелгунова можетъ служить прекрасною отрицательною иллюстраціей ко всему вышесказанному.

Если обстоятельства времени шестидесятыхъ годовъ создали свою литературу, то нынѣшнія наши условія выдвигаютъ свою. Ни для кого не тайна, что идеалы въ наше время оскудѣли, какъ въ отношеніи, такъ сказать, объема, такъ и въ отношеніи интенсивности. Это признаютъ и «восьмидесятники», которые дѣлаютъ даже современную скудость идеаловъ отправнымъ пунктомъ своихъ литературно-критическихъ и публицистическихъ соображеній. Не споритъ, конечно, и Шелгуновъ, но онъ приглашаетъ принять всѣ тѣ выводы, которые логически отсюда вытекаютъ. О наличности какой-нибудь общественной задачи, которая соединяла-бы въ себѣ грандіозность замысла съ общепризнанною возможностью немедленнаго исполненія, нечего въ наше время и говорить. Нѣтъ такой задачи. Но нѣтъ и гораздо меньшаго. А за отсутствіемъ общедоступныхъ точекъ приложенія для крупныхъ талантовъ, горячей проповѣди, страстной дѣятельности, на сцену выступаетъ вялая, холодная, безцвѣтная посредственность. Не то, чтобы русская земля такъ ужъ оскудѣла, что въ ней перестали подростать энергическіе и даровитые люди. Но, во-первыхъ, значительная часть ихъ остается, по разнымъ причинамъ, не у дѣлъ, а во-вторыхъ, хотя появляются, время отъ времени, новые таланты и въ литературѣ, но они немедленно получаютъ общій отпечатокъ тусклости и безразличія. Это-то можетъ быть и незбѣжное, но, во всякомъ случаѣ, печальное положеніе вещей «новое литературное поколѣніе» возводитъ въ принципъ. Придавленное, пригнетенное фактомъ, оно безсильно противопоставить ему идею. Оно косится на всякіе сколько-нибудь широкіе идеалы и рѣшительно отрицаетъ «героизмъ». Оно желаетъ «реабилитировать дѣйствительность» и съ этою цѣлью ищетъ въ ней «свѣтлыхъ явленій» и «бодрящихъ впечатлѣній». Оно не способно разцѣнивать явленія жизни по ихъ нравственно-политическому значенію и эту свою неспособность возводитъ въ принципъ, которому усвапвается названіе «пантензма»,—дескать, всѣ явленія, великія и ничтожныя, гнусныя и возвышенныя, одинаково подлежатъ лишь созерцанію, а не нравственному суду.

Разъясненіе всего этого читатель найдетъ у Шелгунова. Я только обращаю ваше вниманіе на позицію, занятую имъ въ этой полемикѣ. Вѣрный себѣ и традиціямъ шестидесятыхъ годовъ, онъ не отрицаетъ и не подрумяниваетъ факта блѣдности нашей жизни. Да, говоритъ онъ, вы правы,—«фактически теперешнее время—не время широкихъ задачъ, а время мелочей, маленькихъ мыслей и несущественныхъ споровъ»; вы сами, своею блѣдностью, слишкомъ наглядно свидѣтельствуете объ этомъ. Но, опять-таки вѣрный себѣ и шестидесятымъ годамъ, Шелгуновъ не считаетъ нужнымъ преклоняться передъ фактомъ только потому, что онъ фактъ. Онъ желалъ-бы, чтобы эта мертвенная блѣдность замѣнилась румянцемъ стыда, радости, негодованія, вообще игрой живыхъ красокъ, а не подрумянивалась-бы разными ad hoc изобрѣтенными «пантензмами», теоріями «свѣтлыхъ явленій» и т. п. Въ этомъ подрумяненномъ видѣ она есть, по его мнѣнію, «популяризація общественнаго индиф-

ферентизма» и «школа общественнаго разврата которая, несомнѣнно, принесетъ свои плоды въ будущемъ, а, можетъ быть, приноситъ ихъ уже и теперь».

Читатель обратитъ вниманіе на то, что Шелгуновъ отнюдь не отрицаетъ «свѣтлыхъ явленій» въ русской жизни. Если онъ, какъ я думаю, и преувеличиваетъ опасности, которыми грозитъ дѣятельность «новаго литературнаго поколѣнія», то, вообще говоря, мрачный взглядъ на вещи ему совсѣмъ не свойственъ. Не отрицаетъ онъ свѣтлыхъ явленій вообще, не отрицаетъ и большинства тѣхъ, на которыя указываютъ его противники. Онъ требуетъ только, чтобы этимъ свѣтлымъ явленіямъ, равно какъ и тѣмъ, о которыхъ онъ самъ говоритъ, было отведено надлежащее мѣсто. Но понятно, что и по существу дѣла объ стороны далеко не всегда сходятся въ оцѣнкѣ какъ свѣтлыхъ, такъ и мрачныхъ явленій. Для примѣра укажу на покойнаго Гаршина, котораго Шелгуновъ относитъ къ числу свѣтлыхъ явленій, а «новое литературное поколѣніе» съ прискорбіемъ зачисляетъ въ списокъ бесллетристовъ, «продолжавшихъ традиціи прошлаго». Вообще «новое литературное поколѣніе» цѣнитъ свѣтлыя явленія постольку, поскольку они, такъ или иначе, прямо или косвенно, не мытьемъ, такъ катаньемъ, служатъ «реабилитаціи дѣйствительности», а Шелгуновъ съ этою мѣркой не справляется и самую задачу реабилитировать дѣйствительность отказывается признать свѣтлымъ явленіемъ.

Не вижу и я ничего свѣтлаго въ этой сѣрой, мѣщанской задачѣ. Реабилитировать дѣйствительность, которая и безъ того стоитъ достаточно прочно, идеализировать отсутствіе или скудость идеаловъ,—ни красы тутъ нѣтъ, ни радости. Но и я знаю свѣтлыя явленія въ современной русской жизни. Къ числу ихъ принадлежитъ Николай Васильевичъ Шелгуновъ. Съ шестью десятками лѣтъ на плечахъ, послѣ десятковъ лѣтъ утомительной литературной работы, послѣ всяческихъ житейскихъ невзгодъ, онъ не зачерствѣлъ, не состарился умомъ и чувствомъ и не сложилъ рукъ. Онъ—все тотъ же «идеалистъ земли» и на фонѣ нынѣшней нашей литературы онъ кажется даже моложе, чѣмъ когда-нибудь. Мнѣ думается, что эта живучесть есть результатъ не только его личныхъ качествъ. Я высоко цѣню эти качества и глубоко сожалѣю, что приличія не дозволяютъ мнѣ говорить о Шелгуновѣ, какъ о человѣкѣ. Это лишаетъ меня возможности сказать столько хорошихъ словъ, сколько ихъ рѣдко приходится говорить. Но мнѣ думается, что эта рѣдкая живучесть является, кромѣ того, отраженіемъ жизненности тѣхъ общихъ началъ, которымъ Шелгуновъ, разъ воспринявъ ихъ, остался вѣренъ до послѣдней написанной имъ строчки. Они давали ему опору въ его долгой трудовой жизни, въ которой было такъ мало розъ и такъ много шиповъ. Были и розы,—онъ помнитъ ихъ и поминаетъ съ благодарностью, а шипы, какъ-бы ни были болѣзненны ихъ уколы, ничего не испортили въ душѣ этого человѣка. Еще думается мнѣ, что не только единомышленники Шелгунова и не только тѣ, кто, при общемъ сочувствіи къ идеямъ автора, найдетъ въ предлагаемыхъ двухъ томахъ какую-нибудь частную ошибку или, вообще, какой-нибудь изъянъ, но и отъявленные враги представляемаго имъ міросозерцанія должны почтительно склониться передъ этою многолѣтнею безупречною дѣятельностью...

Записки современника (1881—1882 г.).

I.

Независящія обстоятельства*).

Недавно въ небольшомъ обществѣ случайно сошедшихся людей зашелъ разговоръ о послѣдней русско-турецкой войнѣ. Одинъ изъ присутствовавшихъ, близкій, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже особенно близкій очевидецъ войны, разсказывалъ по истинѣ чудеса о великомъ терпѣніи «святой скотины», какъ кто-то назвалъ русскаго солдата, и о колоссальныхъ грабежахъ. Разсказы были оыли очень занимательны. Мы—народъ обстрѣленный, видали всякіе виды и всякіе слухи слыхали, и всетаки, право, даже неожиданно тяжело было. Одинъ изъ собесѣдниковъ замѣтилъ, что отчего, дескать,

*) 1881 г., январь.

не появляется мемуаровъ о войнѣ. Вопросъ былъ рѣшенъ въ томъ смыслѣ, что война миновала еще слишкомъ недавно; ея раны, и славныя, и позорныя, еще слишкомъ свѣжи, чтобы быть раскрытыми передъ самымъ, такъ сказать, носомъ «независящихъ обстоятельствъ». Правда, послѣ крымской войны всякаго рода воспоминанія послѣдовали довольно быстро. Но то другое время было. Тогда «независящія обстоятельства» быстро и рѣзко отошли къ сторонкѣ, а теперь кто ихъ, по совѣсти говоря, знаетъ, гдѣ они? въ сторонкѣ или вотъ тутъ рядомъ и уже протягиваютъ свои длинныя, цѣпкія руки для свойственныхъ ихъ натурѣ дѣйствій? Мемуары есть, навѣрное есть, и не только о войнѣ, а и о внутреннихъ тревогахъ, которыя мы въ послѣдніе годы переживали, но они ждутъ своей очереди въ болѣе или менѣе отдаленныхъ номерахъ «Русской Старины» или «Русскаго Архива». Когда пережитыя бури и грозы окончательно смѣнятся миромъ и въ человѣцѣхъ благоволеніемъ, тогда выйдутъ изъ келій Пимены минувшихъ дней и предъявятъ свои лѣтописи.

Это, конечно, такъ и будетъ, ибо узнаемъ же мы когда-нибудь, хотя на короткое историческое мгновеніе, что это за штука такая—миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе. А если и не суждено намъ это узнать, такъ вѣдь бурямъ и грозамъ свойственно мѣнять характеръ и направленіе: сегодня буря несется съ сѣвера, а завтра понесется съ юга. Поэтому, при измѣнившихся обстоятельствахъ, во всякомъ случаѣ наступитъ такое время, когда лѣтопись нашихъ дней, лѣтопись полная, точная, правдивая станетъ, наконецъ, просто даже необходимостью, какъ историческій документъ. А современнику есть что записывать. Столько мы видѣли, слышали, осязали, думали и чувствовали въ послѣднее время, особливо въ истекшемъ году, сколько въ иную пору и въ десятки лѣтъ не наберется. Правда, и въ это время животныя, столь толстокожія, что ихъ ничто не пришибаетъ, спокойно и даже игриво гуляли по скуднымъ пастбищамъ современности, а въ ея водахъ плавали великолѣпнѣйшія мудрорыбицы. Но это—совершенно особенныя породы, которыхъ въ счетъ брать нельзя.

Все это такъ. Но меня Пименъ смущаетъ. Почтенный и типическій русскій лѣтописецъ, но очень ужъ онъ незлобивъ и «младенчески» простодушенъ, какъ характеризовалъ его самъ Пушкинъ. Не то, чтобы злоба была хорошая вещь, нѣтъ, ну ее! Но мнѣ кажется, что очень кроткій и младенчески простодушный человѣкъ многаго понять не можетъ. Говорятъ: понять значитъ кростить; и въ высшемъ, отдаленномъ, идеальномъ смыслѣ, правду говорятъ. Но въ текущихъ житейскихъ дѣлахъ, лежащихъ по дорогѣ къ идеалу всеохватывающаго прощенія и пониманія, въ этихъ дѣлахъ младенческое простодушіе есть часто свидѣтельство совершеннаго непониманія: elle est tellement innocente, qu'elle ne comprend presque rien... Человѣку неприлично выть по волчьи даже съ волками, но столь же неприлично, прямо сказать, негуманно и по голубиному ворковать. Во всякомъ же случаѣ, если младенчески простодушный человѣкъ пойметъ даже очень многое, то изложитъ не такъ, какъ того требуютъ иногда острыя, жгучія, обидныя житейскія дѣла. Значитъ, если и пойметъ самъ, то не такъ запишетъ, чтобы понялъ читатель. Спора нѣтъ, прекрасенъ лѣтописецъ, съ величайшею точностью и съ таковою же сухостью записывающій фактъ за фактомъ, цифру за цифрой: будущій историкъ построитъ изъ этого матеріала что по тогдашнему времени понадобится. Но если бы всѣ лѣтописцы были таковы, то мы ужъ, конечно, многаго бы изъ нашего прошлаго не понимали. Къ счастію, рядомъ съ подобными лѣтописями существуютъ, во-первыхъ, другія лѣтописи же, а во-вторыхъ, какія-нибудь пѣсни, преданія, можетъ быть, совершенно фантастическія, но въ нихъ современники вложили свое упованіе и озлобленіе, словомъ, весь тотъ духъ, который животворитъ фактическій остовъ событія и безъ котораго событіе, разумѣется, неизвѣстно. Муху паукъ съѣлъ. Такъ сказано, записано, и конецъ. Больше я ничего объ этомъ фактѣ не знаю и знать не могу, ибо не могу перетерпѣть мыслію и воображеніемъ страданія мухи. Но человѣкъ иное дѣло. Объ немъ я больше знать могу и долженъ, ибо душу имѣю таковую же, какъ и онъ. И если я этой души не знаю, такъ безъ малаго ничего не знаю, хотя бы былъ обремененъ фактами объективнаго характера.

Понятно, что Пименъ меня смущаетъ, не смотря на всѣ его возвышенныя качества. А будутъ именно Пимены. Дѣло въ томъ, что русскій человѣкъ вообще, какъ та горка, которая крута, да отходчива. Онъ не лишенъ способности понимать и другимъ передавать подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, кажется, даже черезчуръ отзывчивъ. Если вы его сегодня, скажемъ, прибили, онъ это можетъ быть пойметъ (не всегда, впрочемъ), то-есть пойметъ, что вы причинили ему боль и обиду, и можетъ быть, такъ застонетъ, что и посторонній свидѣтель оцѣнитъ. Но произведите его завтра не то, что въ генералы, а въ бригадиры какіе-нибудь, даже просто дайте выспаться нѣсколько ночей сряду спокойно, и это новое свѣжее впечатлѣ-

ніе такъ имъ овладѣетъ, что онъ рѣшительно не сумѣетъ разсказать какъ слѣдуетъ о томъ, что этимъ спокойнымъ ночамъ предшествовало. Ясно, что исторія отъ этого въ убыткѣ. Я еще недавно перечитывалъ записки нѣкоторыхъ декабристовъ и истинно изумлялся младенческому простодушію нашихъ мемуаристовъ. Да и не мало можно найти поводовъ для такого изумленія. Еслибы мемуары велись какъ разъ во время событій, то это были бы дѣйствительно драгоцѣнные историческіе матеріалы, а по прошествіи извѣстнаго періода они выдыхаются, усыхаютъ, утекаютъ и въ наслѣдство историку остаются одни голые факты, въ такомъ именно родѣ, что паукъ съѣлъ муху.

Возвращаясь къ началу, надо сказать, что во время войны было, конечно, не до мемуаровъ, а во время внутреннихъ тревогъ... Да тоже не до мемуаровъ, хотя бы потому, что всякій ждалъ и долженъ былъ ждать, что вотъ явятся любознательные люди и перероютъ, перервутъ и съ собой унесутъ всѣ ваши бумаги. Какіе ужъ тутъ мемуары! Ну, а теперь прошло...

Да не подумаетъ, однако, читатель, что, надписывая: «Записки современника», я имѣю въ виду пополнить пробѣлъ по части мемуаровъ. Отнюдь нѣтъ.

Всѣ современники обѣдаютъ, пьютъ чай, ложатся спать и по утрамъ встаютъ. Но ничего современнаго во всемъ этомъ нѣтъ, потому что сто лѣтъ тому назадъ точно также было и черезъ сто лѣтъ опять тоже будетъ. Но есть во всякой современности нѣчто такое, что именно ей свойственно, чего не было сто лѣтъ тому назадъ и не будетъ черезъ новые сто лѣтъ. Притомъ нѣчто серьезное, глубокое, интимное—не въ покроѣ же платья дѣло! Такъ вотъ этого то серьезнаго, интимнаго ядра современности мнѣ бы и хотѣлось, по крайней мѣрѣ, поискать вмѣстѣ съ читателемъ. Можетъ показаться, что мы какъ будто забѣгаемъ впередъ, называя глубокимъ, серьезнымъ то, что нами еще не найдено, чего мы только еще искать будемъ: можетъ быть, мы въ концѣ поисковъ на какой-нибудь пошлый водевиль наткнемся. Нѣтъ, это не такъ. По дорогѣ мы встрѣтимъ, вѣроятно, много пошлыхъ водевилей гораздо больше, чѣмъ ихъ требуется собственно для увеселенія. Но никакой историческій моментъ водевилемъ не исчерпывается. Въ его основаніяхъ всегда заложена драма, можетъ быть, высокая драма, съ торжествомъ героя правды и добра въ пятомъ актѣ, можетъ быть, съ торжествомъ грязи и подлости, но непремѣнно драма, глубокая, серьезная. Мы это увидимъ. Если же я заговорилъ о Пименахъ, то единственно для того, чтобы отмѣтить недостатокъ матеріаловъ для сужденія объ интимномъ ядрѣ современности. Конечно, предметъ обставленъ и разными другими трудностями, въ томъ числѣ и «независящими обстоятельствами»...

Вотъ хоть бы эти самыя независящія обстоятельства взять. Безъ сомнѣнія, они въ настоящую минуту не таковы, какъ были недавно, не такъ цѣпки, не такъ длинноруки. Но — le mort saisit le vif! И напрасно современники думаютъ, что, сказавши нѣсколько общихъ фразъ о великомъ значеніи свободы слова и о безобразіи независящихъ обстоятельствъ, они уже извлекли весь урокъ, какой можетъ быть по этой части добытъ изъ нашего недавняго прошлаго. Нѣтъ, прошлое не такъ-то скоро становится въ самомъ дѣлѣ прошлымъ, до конца прошлымъ, и долго еще опредѣляетъ собою настоящее, даже и не такое туманное, какъ наше теперешнее.

Напримѣръ, одесскій корреспондентъ «Порядка», сообщая о снятіи съ мѣстныхъ газетъ административной, такъ сказать, добавочной цензуры, между прочимъ, пишетъ: «Независимо отъ личнаго давленія, какое оказывала администрація, ея дискреціонною властью могли пользоваться и даже пользовались всѣ болѣе или менѣе значительныя особы въ городѣ, если нужно было заставить газеты молчать о томъ или другомъ. И это дѣлалось открыто, даже не устно. Я видѣлъ своими глазами, напримѣръ, оффиціальную бумагу, адресованную здѣшнимъ попечителемъ учебнаго округа въ редакцію «Правды», гдѣ говорится, что онъ «съумѣетъ заставить редакцію молчать о фактахъ, касающихся завѣдываемаго имъ округа». Еще недавно красный карандашъ канцеляріи градоначальника ходилъ по корректурнымъ листамъ даже органа городского общественнаго управленія и своими опустошеніями до того запугалъ редактора этой газеты, что онъ посылалъ градоначальнику нетолько хронику и приговоры думы, но за одно и доклады городской управы, которые, по прямому смыслу городового положенія, печатаются подъ отвѣтственностью городского головы». Вотъ. Положимъ, что этого теперь, т. е. сегодня, нѣтъ. Но какія ручательства, что этого не будетъ завтра? Еслибы независящія обстоятельства сосредоточивались въ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ, то еще можно бы было думать, что упраздненіе этого спеціальнаго мѣста (о чемъ однако, не слыхать) съ разу покончитъ съ такимъ вопіющимъ зломъ. Но вы видите, какъ широко раскинулась сѣть независящихъ обстоятельствъ, какую роль играютъ въ ней, кромѣ органовъ цензурнаго вѣдом-

ства, опредѣляемыхъ общими законами, и канцелярія генералъ-губернатора, и канцелярія попечителя учебнаго округа, и, наконецъ, «всѣ болѣе или менѣе значительныя особы въ городѣ»! Независящія обстоятельства, значитъ, разлились въ безбрежное море, въ которомъ нельзя даже различить, кто же есть истинный носитель независящихъ обстоятельствъ и кто не имѣетъ права пользоваться ими. Это пользованіе вошло въ нравы, что, конечно, гораздо глубже и горше, чѣмъ простое существованіе цензуры. Оно до такой степени вошло въ нравы, что въ «Извѣстіяхъ и ученыхъ запискахъ казанскаго университета» за май — іюнь прошлаго 1880 года вы можете найти, между прочимъ, слѣдующее донесеніе профессора Бодуэна-де-Куртене:

«Вслѣдствіе моего представленія, историко-филологическій факультетъ, еще въ началѣ текущаго года, вошелъ въ совѣтъ съ представленіемъ о напечатаніи, въ видѣ приложенія къ «Ученымъ запискамъ казанскаго университета», весьма важнаго и драгоцѣннаго, въ научномъ отношеніи, сборника литовскихъ пѣсенъ И. В. Юшкевича, причемъ издатель, не желая обременять университетскаго бюджета, согласился принять всѣ издержки по этому изданію на свой счетъ. Совѣтъ единогласно согласился съ представленіемъ историко-филологическаго факультета. Въ полной увѣренности, что постановленіе совѣта будетъ безпрекословно и по возможности скоро исполнено подвѣдомственными ему лицами, г. Юшкевичъ заказалъ у Гаттаулина нѣсколько десятковъ особыхъ буквъ, необходимыхъ для принятаго имъ научнаго правописанія, что стоило ему довольно значительной суммы денегъ. Между тѣмъ, вопреки всѣмъ правиламъ и обычаямъ, печатаніе труда г. Юшкевича, начатое еще до вакацій, или же въ началѣ вакаціоннаго времени, было произвольно пріостановлено. Кто-то изъ типографіи изволилъ отослать первый набранный полулистъ г. исправлявшему должность казанскаго цензора, а г. исправлявшій должность казанскаго цензора изволилъ воспретить дальнѣйшее печатаніе. Дѣло объ этомъ поступило сначала въ факультетъ; теперь же оно должно быть доложено, разсмотрѣно и разрѣшено въ совѣтѣ. Съ своей стороны, я позволяю себѣ обратить вниманіе вашего превосходительства на то обстоятельство, что, въ виду неотмѣненныхъ до сихъ поръ §§ 128 и 132 высочайше утвержденнаго «Общаго Устава Императорскихъ Россійскихъ университетовъ», лица, повліявшія на замедленіе печатанія труда г. Юшкевича, въ высокой степени превысили свою власть: типографія, вполнѣ подвѣдомственная совѣту университета и обязанная не тормозить законныя совѣтскія постановленія, а только безпрекословно имъ повиноваться, не имѣла ни малѣйшаго права пріостанавливать печатаніе и отсылать первый набранный полулистъ г. исправлявшему должность казанскаго цензора; г. же исправлявшій должность казанскаго цензора наврядъ-ли имѣлъ право нарушать высочайше утвержденный университетскій уставъ». И т. д.

Университеты имѣютъ право издавать ученые труды и по закону состоятъ въ этомъ отношеніи въ полной независимости отъ общей цензуры. А г. казанскій цензоръ взялъ да и перешагнулъ черезъ законъ, ни съ того, ни съ сего устроивъ независящія обстоятельства для сборника пѣсенъ, который, по отзыву спеціалистовъ, «былъ бы дѣйствительно украшеніемъ» университетскихъ записокъ. Послѣднее, впрочемъ, въ настоящемъ случаѣ, неважно. Хорошъ или дуренъ ученый трудъ, одобренный факультетомъ и совѣтомъ, но откуда взялась такая прыть у г. казанскаго цензора? Къ этому остается еще прибавить, что г. казанскій цензоръ есть г. Шпилевскій, профессоръ, тотъ самый, который въ нынѣшнемъ же году, на пушкинскомъ торжествѣ, блисталъ уваженіемъ къ слову и, можетъ быть, вторилъ г. Каткову: «да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!» Дѣло кончилось въ пользу университетской автономіи, то есть veto господина самопроизвольнаго цензора было снято, и несчастныя литовскія пѣсни, строка за строкой, мирно укладываются на страницы казанскихъ университетскихъ извѣстій. Но здѣсь интересна совсѣмъ не судьба сборника литовскихъ пѣсенъ — работы, вѣроятно, очень почтенной, которую, однако, прочтутъ, примѣрно, два съ половиной человѣка — а именно это самопроизвольное зарожденіе цензуры. Если на подцензурную провинціальную газету, кромѣ всякихъ канцелярій, накладываютъ руки «всѣ значительныя особы въ городѣ»; если на свободныя академическія изданія поднимается рука цензора-профессора, хотя подобное право никакимъ закономъ ему не предоставлено, то это показываетъ, что поврежденіе нравовъ весьма велико. Такъ велико, что значительныя и незначительныя особы должны, очевидно, получить еще много и много уроковъ, прежде чѣмъ узнаютъ о своей подсудности литературѣ и о совершенной неподсудности литературы имъ. Вовсе не надо быть писателемъ, не надо даже любить литературу, чтобы признать глубоко возмутительнымъ безбрежное разлитіе независящихъ обстоятельствъ. Это касается нетолько нашего брата, писателя, на котораго вы, чего добраго, рукой махнете: это—глубокій внут-

ренній общественный развратъ; онъ созидается, воспитывается цѣлою совокупностью жизненныхъ условій, и, въ свою очередь, крѣпнетъ, наглѣетъ, питаясь независящими обстоятельствами. Подумайте только, до какого забвенія элементарныхъ требованій, не говорю, нравственности, а просто приличія, надо дойти, чтобы написать оффиціальную бумагу постороннему человѣку: «Я съумѣю заставить васъ молчать обо мнѣ!» или чтобы придти въ такое мѣсто, гдѣ для тебя даже ни по какимъ штатамъ стула не полагается, развалиться и сказать: не позволю! Очень мы ужъ ко всѣмъ подобнымъ вещамъ привыкли, но такъ, отойдя немножко отъ нашего паскуднаго опыта — право, вѣдь это изумительно! Фантастическое что-то. А между тѣмъ это существовало и существуетъ! Разныя есть тому причины, но въ числѣ ихъ независящія обстоятельства сыграли, разумѣется, одну изъ крупнѣйшихъ ролей, одну изъ тѣхъ, на которыхъ вся пьеса держится.

И, однако, это еще далеко не единственный результатъ независящихъ обстоятельствъ.

Было бы очень любопытно пересмотрѣть хоть нѣкоторыя изъ книгъ, подвергшихся въ послѣдніе годы уничтоженію или изъятію изъ продажи. Я, можетъ быть, это когда-нибудь сдѣлаю. Но мы можемъ набрести на нѣкоторые поучительные выводы, и не тревожа праха этихъ безвременно погибшихъ дѣтищъ литературы. Осматриваясь просто кругомъ, мы можемъ отчасти догадаться, въ чемъ состояли грѣхи покойниковъ, за что они погибли, что унесли съ собой и, наконецъ, выиграли-ли мы или проиграли отъ ихъ погибели.

Вотъ новая книга, изданная въ Одессѣ: «Очерки южно-русскихъ артелей и общинно-артельныхъ формъ», г. Ф. Щербины. Въ предисловіи издателя, между прочимъ, читаемъ: «Не смотря на то, что̀ книга была разрѣшена цензурою, въ началѣ нынѣшняго года она была пріостановлена изданіемъ по *независящимъ обстоятельствамъ*, и только во второй половинѣ сего года изданіе и печатаніе этой книги было разрѣшено уже главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати». Перелистывая эту книгу, я все думалъ: за что?! И могъ придумать только одинъ отвѣтъ: ни за что, ни про что; къ каковому результату, впрочемъ, пришло и главное управленіе по дѣламъ печати. Если же невинное и полезное изслѣдованіе о южно-русскихъ артеляхъ еле-еле протискалось на книжный рынокъ, то объясненія этому надо искать въ невѣдомыхъ мѣстныхъ глубинахъ независящихъ обстоятельствъ: можетъ быть, на административно-одесскомъ нарѣчіи «артель» значитъ тоже самое, что «жупелъ»; можетъ быть, авторъ слыветъ неблагонадежнымъ; можетъ быть, троюродная племянница автора «занимается соцеализмомъ». Все можетъ быть.

Вотъ изданная въ Петербургѣ брошюра г. Попова, на которой мы остановимся нѣсколько подольше. Статейка г. Попова озаглавлена такъ: «По поводу первой брошюры профессора Цитовича. Спб. 1880». Вы невольно поражаетесь отсталостью г. Попова. Какое кому теперь дѣло до первой брошюры профессора Цитовича? Былъ дѣйствительно такой профессоръ, и погибе память его безъ шума; была такая брошюра и быльемъ поросла. Нетолько не великодушно, а даже ненужно разсказывать это былье и искать въ немъ того лежачаго, котораго бить стыдно, а похвалить не за что. Но у г. Попова есть свои резоны. Онъ пишетъ въ коротенькомъ предисловіи: «По совершенно независящимъ обстоятелествамъ, брошюра запаздываетъ появленіемъ въ печати. Впрочемъ, тѣ общіе вопросы, которые подняты споромъ г. Цитовича съ г. Михайловскимъ и о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящей брошюрѣ, не потеряли своего интереса и до настоящаго момента и, вѣроятно, еще долго будутъ составлять злобу русскаго дня».

Опять независящія обстоятельства! Это становится, наконецъ, похоже на условный пріемъ старинныхъ поэтическихъ произведеній, начинавшихся непремѣнно обращеніемъ къ музѣ: муза, воспой! и т. д. Муза независящихъ обстоятельствъ, спеціальная муза русской миѳологіи фигурируетъ теперь чуть не въ каждомъ предисловіи. На этотъ разъ, независящія обстоятельства можно взвѣсить, смѣрять, причемъ, я увѣренъ, читатель не посѣтуетъ на г. Попова за упорство, съ которымъ онъ хочетъ довести до общественнаго мнѣнія свой взглядъ на incident-Цитовичъ.

Да не подумаетъ прежде всего читатель, чтобы я обращалъ его вниманіе на брошюру г. Попова, въ качествѣ, нѣкоторымъ образомъ, заинтересованной стороны. Нѣтъ, о своей заинтересованности въ казусѣ г. Цитовича я и думать забылъ. Притомъ же г. Попова я отнюдь не могъ бы считать своимъ союзникомъ. Совсѣмъ напротивъ. То-то и любопытно, что «совсѣмъ напротивъ», а независящія обстоятельства все-таки украсили собой предисловіе г. Попова.

Г. Поповъ вполнѣ согласенъ съ г. Цитовичемъ насчетъ гибельной пропасти, въ которую «извѣстная часть нашей литературы» влечетъ молодыя русскія силы. Скажу прямо, г. Поповъ говоритъ въ этомъ направленіи много очень смѣшныхъ вещей. Но да простятся онѣ ему, да не будутъ онѣ даже здѣсь

упомянуты, въ виду той здоровой правды, которая, между прочимъ, заключается въ его брошюрѣ и ради которой онъ, конечно, и подвергся вліянію независящихъ обстоятельствъ.

Г. Поповъ ищетъ союзниковъ. Оглядывается и видитъ людей, повидимому, горячо отстаивающихъ дорогіе ему, г. Попову, идеалы и истины. Но онъ отвергаетъ этихъ союзниковъ. Онъ находитъ, что это «борцы плохіе, больше вредные, чѣмъ полезные, потому что своимъ невѣжественнымъ вліяніемъ они портятъ дѣло основательной апологетики христіанства. Иного результата и трудно ожидать отъ такой апологетики, которая, почитая различныя современныя воззрѣнія «пустяками», не считаетъ нужнымъ основательно изучать ихъ, а довольствуется самыми смутными о нихъ представленіями; отъ такой апологетики, которая не знаетъ хорошо даже и того, что берется защищать, то есть христіанства..... Съ невѣдѣніемъ и невѣжествомъ научнымъ вообще, проявляющимися устно и печатно въ созданіи такихъ апологетическихъ книжекъ и статей, которыя способны заронить искру религіознаго сомнѣнія даже въ душѣ вѣрующаго человѣка, часто связывается въ разсматриваемыхъ псевдо-апологетахъ грубый фанатизмъ при защитѣ своего міровоззрѣнія и противорѣчіе ему въ жизни, противорѣчіе, поддерживающее и усиливающее религіозный индиферентизмъ и невѣріе въ ихъ окружающихъ. Святотатственно воображая себя подъ вліяніемъ горделивой самоувѣренности апостолами, а свою рѣчь громами и молніями, погубляющими въ корнѣ различныя тлетворныя ученія, эти люди не знаютъ и даже не хотятъ, если имъ и разъясняютъ, признать, что на самомъ дѣлѣ защитительная рѣчь ихъ, при отсутствіи основательнаго знанія, сердечной любви къ заблуждающемуся и истинно христіанскихъ отношеній къ жизни, есть мѣдь звѣнящая или кимвалъ бряцающій».

«Развѣ, спрашиваетъ дальше нашъ авторъ:—развѣ презрѣніе, скрежетъ зубовный и невѣжественная полемика, чѣмъ мы постоянно выражаемъ свое отношеніе къ гибнущимъ людямъ, замѣняютъ нашъ прямой долгъ вывести заблудшихъ на путь истины и правды, и загородить ложную дорогу?» Между тѣмъ, что же встрѣчаетъ «заблудшій» съ другой стороны? Встрѣчаетъ онъ главнымъ образомъ, «статьи и книги извѣстной части литературы и журналистики». «Нашъ юноша, напримѣръ, натолкнулся на статьи Писарева. Неужели онъ можетъ читать ихъ безъ увлеченія, безъ сердечнаго замиранія? Вѣроятно, онъ въ первый разъ въ своей жизни повстрѣчалъ ласковаго, любящаго учителя».

Мы можемъ теперь оставить г. Попова, потому что дѣло уже ясно. То-есть ясно, почему его брошюрка не могла явиться въ свое время. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, независящимъ обстоятельствамъ не всполошиться, когда г. Поповъ, объявляя себя защитникомъ «основъ», въ то же время, требуетъ отъ другихъ защитниковъ основъ такихъ вещей, какъ знаніе и честность?! Когда онъ утверждаетъ, что гг. Катковъ, кн. Голицынъ, кн. Мещерскій, Цитовичъ, и какіе тамъ еще были и есть, только зубами скрежещутъ, да невѣжественную полемику ведутъ, а какой-нибудь Писаревъ является *первымъ* ласковымъ, любящимъ учителемъ?! Положимъ, что г. Поповъ дѣйствовалъ вполнѣ bona fide, искренно желая дать посильную поддержку «основамъ»; положимъ, что онъ указалъ несомнѣнные факты, отворачиваться отъ которыхъ просто невыгодно. Но, какъ все-таки смѣть, съ одной стороны, усомниться въ познаніяхъ и добросовѣстности кн. Мещерскаго, а съ другой, объяснить вліяніе Писарева или «извѣстной части литературы» вообще любящимъ, ласковымъ, учительнымъ отношеніемъ! Такова логика независящихъ обстоятельствъ. Логика безумная, та самая, которая подсказала медвѣдю блестящую мысль согнать муху со лба пустынника увѣсистымъ булыжникомъ. У насъ вѣдь какъ было, можно сказать, на дняхъ? Стоило только какому-нибудь злецу или юродивому выскочить впередъ и съ пѣной у рта начать молоть невозможный вздоръ якобы въ защиту основъ, а въ сущности на вящшее ихъ поруганіе—и независящія обстоятельства брали его подъ свое покровительство. Злецы и юродивые самоуслаждались, серьезно мнили себя «столпами», спасителями отечества, или нагло торопились наловить рыбы въ мутной водѣ. Понятно, что искренніе люди, въ родѣ г. Попова, должны были приходить въ ужасъ и негодованіе отъ этого постыднаго и, съ ихъ точки зрѣнія, даже кощунственнаго шабаша. А ничего не подѣлаешь: заикнулся было г. Поповъ насчетъ негодности столповъ, да и продержалъ въ своемъ письменномъ столѣ; но независящимъ обстоятельствамъ, благонамѣреннѣйшую брошюру лишній годъ... Тѣмъ временемъ, напримѣръ, кн. Мещерскій, безъ толку крича о потрясеніи основъ, мозоля всѣмъ глаза своей физіономіей цвѣта бѣлаго террора, благополучно вылѣзъ впередъ и, какъ теперь пишутъ въ газетахъ, насильно навязалъ грошовымъ школамъ на десятки тысячъ своихъ книгъ. Тѣмъ же временемъ, г. Цитовичъ пришелъ, увидѣлъ казенныя сто шестьдесятъ тысячъ (какъ опять-таки въ газетахъ пишутъ) и, подъ охраною независящихъ обстоятельствъ, извелъ ихъ на газету «Берегъ».

Еслибы не эти десятки и сотни тысячъ, которыя ни съ какой точки зрѣнія не полагается бросать зря, то «извѣстная часть литературы» могла бы только радоваться, да руки отъ радости потирать. Какой же, въ самомъ дѣлѣ, противникъ опаснѣе: тотъ-ли, который кричитъ безъ всякаго смысла, каждымъ словомъ свидѣтельствуя о своемъ невѣжествѣ, непониманіи, недобросовѣстности, или умный, знающій? Возиться съ людьми неумными или съ такими, которые паровятъ подъ видомъ благочестія заполучить нѣчто изъ казеннаго сундука и, собственно говоря, болѣе ничего не имѣютъ въ предметѣ: возиться съ такими тяжело, за то успѣхъ вѣрный. Такъ вѣдь и во всякой борьбѣ: пусть, пусть противный лагерь работаетъ на свою погибель; пускай онъ самъ задавитъ въ себѣ все разумное и искреннее, и останется при одномъ злобномъ, крикливомъ, но безсильномъ отребьи—кого Богъ наказать захочетъ, у того прежде всего разумъ отниметъ. Недаромъ г. Поповъ скорбитъ. Онъ понимаетъ, что независящія обстоятельства — плохая охрана, что кажущееся торжество баши-бузуковъ отъ благонамѣренности есть, можетъ быть, временное торжество личной карьеры или личнаго кармана того или другого баши-бузука, но совсѣмъ не торжество идей. Идеи, дорогія, излюбленныя идеи г. Попова, при этихъ условіяхъ оффиціально торжествующія, на самомъ дѣлѣ унижены, оскорблены, ихъ въ грязи волочатъ и надругиваются надъ ними. Онѣ впитываютъ въ себя всю эссенцію грязи хватающихся за нихъ рукъ, разлагаются, меркнутъ, становятся символами разнообразнѣйшихъ глупостей и гнусностей. Напротивъ, идеи, ненавистныя г. Попову или представляющіяся ему опасными, хотя и хоронятся по катакомбамъ, откуда должны появляться на дневной свѣтъ въ маскахъ—на самомъ дѣлѣ влекутъ къ себѣ сердца. Что можетъ быть горше для г. Попова, и что можетъ быть пріятнѣе для его противниковъ? Возьмемъ осязательный примѣръ. Г. Поповъ какъ-то странно культивируетъ всѣ неправящіяся ему идеи «извѣстной части литературы» въ антихристіанскомъ направленіи. Въ дѣйствительности у насъ вовсе нѣтъ сколько-нибудь вліятельнаго спеціально анти-христіанскаго теченія. Но допустимъ. Представьте же себѣ, какъ велико должно быть удовольствіе русскаго анти-христіанина, если независящія обстоятельства любезно предоставляютъ защиту христіанства исключительно или преимущественно гг. Цитовичу, Каткову, кн. Мещерскому, кн. Голицыну, а передъ людьми, въ родѣ г. Попова, спускаютъ трехцвѣтное полосатое бревно, называемое шлагбаумомъ. Спору нѣтъ, перечисленные господа естественно стремятся наполнить страхомъ вселенную и превратить ее въ гигантскую Собачью пещеру, въ которой дышать нечѣмъ. Но что же это значитъ для фанатика анти-христіанской, какъ и всякой другой идеи? Онъ скажетъ не безъ удовлетвореннаго злорадства: жить тяжело, скверно, невыносимо, но, задыхаясь въ созданной вами атмосферѣ, я шлю проклятія на ваши головы, и небо и землю зову въ свидѣтели, что вашъ идеалъ, высокій и чистый, какъ вы говорите, есть подлинно Собачья пещера! И къ нему, задыхающемуся, задохшемуся придутъ, и припадутъ и повѣрятъ. А баши-бузуки будутъ увѣрены, что они побѣдили. Они будутъ гарцовать въ пустомъ пространствѣ, бряцая оружіемъ палачей, и кричать, какъ Пустосвятъ съ братіей: «всѣхъ препрехомъ и посрамихомъ! тако вѣруйте!» Но въ самомъ-то дѣлѣ, въ глубинѣ-то вещей—кто побѣдилъ?

Какъ бы, однако, далеко читатель ни повелъ нить этого разсужденія, онъ непремѣнно долженъ внести въ него еще одну въ высокой степени важную поправку.

Вы, конечно, читали беллетристическія произведенія, въ коихъ повѣствуется о разныхъ гнусностяхъ, глупостяхъ и преступленіяхъ, совершаемыхъ «извѣстною частью нашей молодежи». Я ихъ тоже прежде читалъ, но теперь бросилъ, потому что не интересно и надоѣло. Даже изъ произведеній знаменитаго г. Незлобина прочиталъ всего одинъ какой-то разсказъ. Тѣмъ не менѣе, я *не не вѣрю* подобнымъ повѣствованіямъ, хотя, въ то же время, твердо знаю, что огромное большинство ихъ дѣйствующихъ лицъ одушевлено чистѣйшими побужденіями. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что Иванъ Сидоровъ сдѣлалъ то-то, Сидоръ Ивановъ мыслитъ такъ-то, Марья Петрова говоритъ то-то. Къ слѣдовательской дѣятельности не считаю себя призваннымъ. Но происходило-ли разсказанное какимъ-нибудь Незлобинымъ или онъ все это навралъ, а нѣчто подобное *должно* было происходить? Не въ указаніи на фактъ виноваты эти пятаго сорта обличители, не за него заклеймены они презрѣніемъ порядочныхъ людей, а за перевираніе факта и за то освѣщеніе, которое они ему даютъ. Еслибы будущій историкъ русской цивилизаціи былъ поставленъ въ необходимость составлять понятіе о нашихъ мудреныхъ временахъ исключительно по этого рода произведеніямъ, онъ былъ бы повергнутъ въ величайшее изумленіе. Ему предстала бы такая картина: святая Русь, святая не въ смыслѣ условнаго эпитета, а въ буквальномъ смыслѣ святая, безгрѣшная; и эта-то святость изрыгнула вдругъ

изъ себя, ни съ того, ни съ сего, горсть нравственныхъ чудовищъ, какъ будто даже не отъ Адама и Евы происходящихъ; ибо хотя прародители наши, вкусивъ отъ плодовъ древа познанія добра и зла, совершили тѣмъ самымъ грѣхопаденіе, но за то, по крайней мѣрѣ, узнали, что́ добро и что зло; а эти чудовища не знаютъ, и въ этомъ нравственномъ невѣжествѣ ихъ злонамѣренно поддерживаетъ «извѣстная часть литературы». Картина столь нелѣпая, невозможная, что историкъ цивилизаціи ей, разумѣется, ни на одну минуту не повѣритъ. Тѣмъ болѣе, что пересолъ чувствуется нетолько въ общемъ планѣ картины, а и въ подробностяхъ. Я еще недавно читалъ книжонку, въ которой «нигилисты» изображаются извергами человѣческаго рода, а графъ М. Н. Муравьевъ нетолько человѣкомъ великаго ума и энергіи, а и ангеломъ кротости.

Историкъ цивилизаціи съумѣетъ опредѣлить истинный вѣсъ и размѣръ фактовъ, подлежащихъ обсужденію, и найти истинное соотношеніе трехъ факторовъ: святой Руси, нравственныхъ чудовищъ и извѣстной части литературы. Онъ постарается прежде всего нѣсколько уравнять шансы между святой Русью и нравственными чудовищами, потому что это же невѣроятно, чтобы яблоко упало такъ неизмѣримо далеко отъ яблони. Ну, а эту задачу уравненія будетъ не хитро разрѣшить, хотя бы при помощи только уголовной лѣтописи: тамъ записаны такія вещи, передъ которыми совершенно блѣднѣютъ поступки нравственныхъ чудовищъ, даже предполагая, что эти поступки вѣрно изображены обличителями. Но на уголовной лѣтописи историкъ не остановится. Къ его времени, между прочимъ, и Пимены выйдутъ изъ келій и предъявятъ свои мемуары. О, я знаю, что, въ большинствѣ случаевъ, это будутъ младенчески простодушные Пимены; заранѣе скорблю о положеніи историка, который узнаетъ съ полной достовѣрностью, что паукъ съѣлъ муху, но найдетъ слишкомъ мало свидѣтельствъ о мысляхъ и чувствахъ съѣденнаго въ ту минуту, когда его ѣли. Ну, дѣлать нечего. Историкъ будетъ умный и какъ-нибудь собственными средствами извернется. Въ концѣ концовъ, историкъ долженъ будетъ признать, что отнюдь нельзя до такой степени выпячивать безобразія нравственныхъ чудовищъ, изрыгнутыхъ святою Русью. Положимъ, что всѣ краски вѣрны; положимъ, что нравственныя чудовища не имѣютъ понятія ни о чести, ни о совѣсти и живутъ скотоподобно. Но на другой-то сторонѣ, тамъ, откуда несутся вопли ужаса и обличенія, тамъ-то гдѣ подвиги добра и правды? О, весьма возможно, что Ландсберги и Маевскіе, Митрофаніи и Гулакъ-Артемовскія, Юханцевы и Мясниковы, гр. Бобринскіе и Фишеры, читая незлобинскія и иныя произведенія, приходили въ неменьшій ужасъ, чѣмъ Катковы и Мещерскіе, Голицыны и Спичаковы!

Но это—только отрицательныя соображенія; ими нравственныя чудовища только вдвигаются въ ряды сыновъ святой Руси. Историкъ пойдетъ дальше. Позвольте васъ спросить, напримѣръ, о такомъ сынѣ отечества, какъ кн. Мещерскій. Пустое, вы скажете, мѣсто, не стоющее вниманія. Но я потому-то его и беру, что онъ въ родѣ пустого мѣста; въ видахъ безпристрастія беру, какъ человѣка заурядная, но за то и не «изумившаго міръ злодѣйствомъ». Что онъ дѣлалъ? Лѣзъ начальству въ глаза готовностью растерзать (еслибы были зубы, конечно) всякаго, не «тако вѣрующаго», училъ богословію и правиламъ церкви архіереевъ и, прославившись благонамѣренностью, пустилъ эту репутацію въ оборотъ: самъ кричитъ: «всѣхъ препрехомъ, всѣхъ посрамихомъ»! а тѣмъ часомъ накладываетъ контрибуцію въ нѣсколько десятковъ тысячъ на школы. Только и всего. Никакого преступленія, предусмотрѣннаго уголовнымъ кодексомъ, нѣтъ—просто карьеру человѣкъ дѣлалъ, какъ дѣлаютъ ее десятки, сотни, тысячи другихъ людей. Теперь возьмите какое-нибудь нравственное чудовище по такой, напримѣръ, программѣ: свою почтенную тещу, убѣленную сѣдинами, совратилъ въ нигилизмъ, убѣдилъ ее остричься и поступить на женскіе курсы, туже почтенную тещу совратилъ еще далѣе, прельстивъ ее идеею свободной любви: наконецъ, ту же самую тещу убилъ, ограбилъ и деньги употребилъ на изданіе противозаконнаго сочиненія. Кажется, краски достаточно яркія, и ни одинъ изъ Незлобиныхъ не отказался бы подписаться подъ литературнымъ произведеніемъ съ такой фабулой. Тѣмъ не менѣе, я осмѣливаюсь сказать, и вы должны будете согласиться, что есть въ этомъ чудовищѣ одна черта, которая ставитъ его безконечно выше совершенно непреступнаго кн. Мещерскаго. Черта эта въ томъ состоитъ, что совершая свои адскія преступленія, чудовище о себѣ не думало, ибо любовь убѣленной сѣдинами тещи—не велика корысть, а ограбить тещу и деньги употребить на противозаконное изданіе тоже не значитъ покорыстоваться. Какъ ни извращены идеи чудовища, но оно въ нихъ вѣритъ и только потому ихъ и держится, что вѣритъ. Написать романъ à la кн. Мещерскій—не штука, на это всякаго чудовища хватитъ. Забѣжать, куда слѣдуетъ, забѣжать разъ, забѣжать два, намозолить глаза необыкновенною высотою чувствъ и потомъ провести свой

романъ, напримѣръ, въ руководства для среднихъ учебныхъ заведеній—это будетъ потруднѣе, и не у всякаго достанетъ нужной выдержки, но все же вѣдь для этого не требуется высшихъ способностей духа. Почему же этому почетному, прибыльному и не особенно трудному жизненному пути чудовище предпочло рядъ преступленій, въ концѣ которыхъ оно богато, какъ Іовъ, и спокойно, какъ заяцъ, за которымъ несется охота? Любопытный вопросъ.

Замѣтьте, что я не поскупился на краски преступности и постарался превзойти все, написанное присяжными обличителями чудовищъ; вамъ самимъ предоставляется сдѣлать поправку на основаніи вашего личнаго знакомства съ дѣломъ. Замѣтьте также, что съ другой стороны я взялъ всего только кн. Мещерскаго, о которомъ вы справедливо полагаете, что онъ есть пустое мѣсто, не стоющее вниманія. При такихъ условіяхъ можно, наконецъ, кажется, вспомнить и объ «извѣстной части литературы».

Родословная этой «извѣстной части литературы» довольно древняя. Съ крымской войны обыкновенно ведутъ ее, хотя нѣкоторые честолюбцы возводятъ ее выше, къ великимъ именамъ Гоголя и Грибоѣдова. Это все равно впрочемъ. Во всякомъ случаѣ, «извѣстная часть литературы» есть козлище отпущенія. Что бы ни случилось въ природѣ и въ другихъ мѣстахъ—гладъ, трусъ, потопленіе, нашествіе иноплеменниковъ—за все про все и прежде всего отвѣчаетъ извѣстная часть литературы. Остальная, видите-ли, литература полна любви къ отечеству и высокихъ идеаловъ, а эта «извѣстная часть» все наровитъ во вредъ родной странѣ и въ поруганіе всему святому. За это съ ней соотвѣтственно и поступаютъ. Когда древніе евреи получали сознаніе своей грѣховности въ виду какихъ-нибудь очевидныхъ каръ, насылаемыхъ Іеговою на избранный народъ, они выбирали подходящаго козла и съ извѣстными обрядами и молитвами выгоняли его въ пустыню. Тамъ, въ этой дикой пустынѣ, онъ могъ вопіять сколько угодно: его никто не слыхалъ, и онъ, наконецъ, искупалъ грѣхи избраннаго народа своею гибелью. Когда надъ русскою землею проносится какая-нибудь бѣда, «извѣстную часть литературы» тоже отправляютъ въ пустыню—въ пустыню независящихъ обстоятельствъ. Но такъ какъ она—не смертный казелъ, фиктивный носитель грѣховъ народа Израиля, а выраженіе безсмертныхъ идей, то естественно обнаруживаетъ живучесть: нѣтъ, нѣтъ, да и вернется изъ пустыни, хотя и съ помятыми боками. Эта неровность, перемежаемость судебъ извѣстной части литературы играетъ очень существенную роль въ исторіи нравственнаго чудовища.

Прежде, чѣмъ совершить рядъ непозволительныхъ дѣйствій надъ своей почтенной тещей, чудовище должно было имѣть нѣкоторую исторію. Первоначально оно не было чудовищемъ; оно было вѣроятно «заблудшимъ», какъ выражается г. Поповъ. Еще раньше, заблудшій былъ просто юноша чистый съ неопредѣленными стремленіями къ свѣту, добру и правдѣ, какъ это обыкновенно у свѣжихъ юношей бываетъ. Г. Поповъ полагаетъ, и справедливо полагаетъ, что въ большинствѣ случаевъ юноша этотъ встрѣчаетъ въ семьѣ и внѣ семьи не ахти какой пантеонъ добродѣтели, и что первымъ любящимъ и ласковымъ учителемъ ему является «извѣстная часть литературы», скажемъ, Писаревъ. Писаревъ, молодой, пылкій человѣкъ съ блестящимъ талантомъ и ловкой діалектикой, очень быстро разъясняетъ юношѣ цѣну окружающаго его пантеона добродѣтели. Эта отрицательная проповѣдь, горячая и искренняя, между прочимъ, потому въ особенности, что Писаревъ нетолько поучаетъ, а и самъ ею поучается, кладетъ прочное зерно въ душу юноши: онъ уже никогда не сдѣлается кн. Мещерскимъ. Что бы тамъ съ нимъ впереди ни случилось, но онъ не изберетъ почетнаго, прибыльнаго и легкаго жизненнаго пути наложенія контрибуцій на школы. (Конечно, читатели и почитатели Писарева совсѣмъ не необходимо обнаруживаютъ эту отрицательную устойчивость, но мы развиваемъ нашъ спеціальный гипотетическій примѣръ). Писаревъ успѣваетъ сверхъ того набросать для юноши или уже, можетъ быть, «заблудшаго», на скорую руку абрисъ положительнаго идеала, въ которомъ много комически-эгоистическаго и ребячески-наивнаго. Онъ подлежитъ учету, поправкамъ, которые уже готова дать та же извѣстная часть литературы. Но «заблудшій» жадно хватается за это эфемерное созданіе, въ надеждѣ замѣнить имъ низверженныхъ старыхъ боговъ, и торопливо внѣдряетъ его въ свою жизнь.

На этомъ опускается занавѣсъ. Какъ и что происходило дальше—зрителямъ неизвѣстно. Извѣстно только, что налетѣлъ шквалъ и «первый ласковый и любящій учитель» исчезъ. Не потому, что умеръ Писаревъ—послѣдніе годы своей жизни онъ все равно не имѣлъ учительскаго значенія, и это опять не потому, что такъ сложились его личныя условія, а потому, что настала для извѣстной части литературы пора искупать своей гибелью чьи-то грѣхи: настала ей пора удалиться въ пустыню независящихъ обстоятельствъ. Тамъ оставалась она и остается по сей день, лишь изрѣдка, украдкой,

урывками выходя за предѣлы пустыни. Безъ всякаго ея прямого участія, «заблудшій» добрался до тещи и совершилъ все вышесказанное. Извѣстная часть литературы не знаетъ, какъ онъ дошелъ до этого, даже не знаетъ досконально, дошелъ-ли: говорятъ, что дошелъ. Однако, хотя это говорятъ вовсе не достовѣрные люди, а, напротивъ, фальсификаторы по призванію и профессіи, извѣстная часть литературы знаетъ, что нѣчто въ этомъ родѣ «заблудшій» долженъ былъ совершить: нѣчто тяжелое, мрачное, запутанное, нѣчто, сотканное изъ противорѣчій между чистыми побужденіями и дикими поступками.

Какъ-же иначе?! «Заблудшій» былъ предоставленъ самому себѣ въ самую критическую минуту своей жизни. На свой личный рискъ и страхъ, безъ малѣйшей помощи со стороны, онъ долженъ былъ додѣлывать, передѣлывать и раздѣлывать эфемериды Писарева. Развивайся эти эфемериды при дневномъ свѣтѣ, свободная критика безъ труда указала бы имъ настоящее мѣсто. Но ихъ взяли подъ свою защиту независящія обстоятельства. Именно такъ. Это—вовсе не парадоксъ, хотя независящія обстоятельства, конечно, не на это мѣтили. Правда, въ уличеніяхъ, обличеніяхъ, упрекахъ недостатка не было, но все это сопровождалось, во-первыхъ, зубовнымъ скрежетомъ и низкою злобою, а, во-вторыхъ, исходило не изъ такихъ мѣстъ, куда «заблудшій» привыкъ обращаться съ довѣріемъ и любовью: извѣстная часть литературы молчала.

Вы спросите: почему же она молчала? Почему не пользовалась она своимъ вліяніемъ для критики дѣятельности «заблудшихъ»? А вы думаете, что она воздерживалась съ легкимъ сердцемъ? Но она молчала и будетъ молчать, вплоть до тѣхъ поръ, пока не въ состояніи будетъ взять полнаго аккорда вмѣсто разрѣшенныхъ ей отдѣльныхъ, безсвязныхъ, дребезжащихъ и въ безсвязности своей нелѣпыхъ и нравственно непозволительныхъ нотъ. Отвлеченно говоря, отстоять неприкосновенность почтенной тещи вовсе не трудно, особливо, когда посягательства на нее исходятъ не изъ карманныхъ или иныхъ подобныхъ, а изъ совершенно чистыхъ (пожалуйста, замѣтьте это хорошенько), такъ сказать, идейныхъ побужденій. Но это простое дѣло становится не только нравственно, а и физически невозможнымъ въ пустынѣ независящихъ обстоятельствъ. Именно физически невозможнымъ, потому что если-бы извѣстная часть литературы пристала къ унисонному хору обличителей, она перестала бы быть самой собой и навѣки утратила бы ту плодотворную и великую роль ласковаго учителя, которую она еще можетъ теперь себѣ вернуть. Она стала бы настоящимъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ, отъ чего никому не стало бы тепло, а ей самой очень холодно. Извѣстная часть литературы, во имя нравственнаго своего достоинства, во имя даже существованія своего, какъ особаго, самостоятельнаго образа, не могла и не можетъ участвовать въ охотѣ на людей. Ибо направлять критику систематически въ одну сторону, куда и безъ того стекаются и обличенія, и уличенія, и упреки, и преслѣдованія, направлять ее туда, оставляя неприкосновенными цѣлыя громадныя территоріи зла, значитъ охотиться на людей, а не критиковать. Самыя элементарныя требованія критики при этомъ не могутъ быть удовлетворены. Критика есть, во-первыхъ, оцѣнка, опредѣленіе хорошихъ и дурныхъ сторонъ предмета, а во-вторыхъ, всестороннее изслѣдованіе причинъ явленія. Пусть же кто-нибудь, положа руку на сердце, скажетъ, что такая критика возможна въ пустынѣ...

И такъ, рисуйте нравственныхъ чудовищъ какими хотите красками. Громоздите Оссу на Пеліонъ, стройте вавилонскую башню, а когда Господь Богъ смѣшаетъ ваши языки, сосчитайте, во что обошлись намъ независящія обстоятельства.

II.

О Писемскомъ и Достоевскомъ *).

1881 годъ начался для русской литературы двумя потерями: 21 января умеръ въ Москвѣ А. Ѳ. Писемскій, 27 января умеръ въ Петербургѣ Ѳ. М. Достоевскій. Писемскій родился въ 1820 г., Достоевскій въ 1822 г. Первый романъ Писемскаго «Боярщина» былъ оконченъ въ 1846 году (напечатанъ онъ гораздо позже, въ 1858), первый романъ Достоевскаго, «Бѣдные люди» появился тоже въ 1846.

Это были звѣзды, участники созвѣздія знаменитыхъ «сороковыхъ годовъ», которое такъ долго освѣщало нашу бѣдную жизнь, а теперь уже такъ сильно порѣдѣло. Но «звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ». Всегда грубоватая и какъ бы даже щеголявшая своей внѣшнею грубостью и внутреннею неряшливостью, муза Писемскаго подъ конецъ совсѣмъ замолкла. Въ послѣднихъ произведеніяхъ его не слышится уже дыханія какой бы то ни было музы. Онъ, очевидно, задолго до смерти совершилъ все, что могъ совершить, и благодарный читатель помнитъ въ его лицѣ не живую си-

*) 1881 г., февраль.

лу, относительно которой были бы умѣстны надежды и опасенія, а—заслугу, заслугу законченную и взвѣшенную. Совсѣмъ другое дѣло—Достоевскій. Надъ нимъ едва-ли не сбылось пророчество Бѣлинскаго: «много въ продолженіи его поприща явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы». Положимъ, что «противопоставлять» талантъ Достоевскаго какому-нибудь другому никто не думалъ, да и мудрено бы было это сдѣлать въ виду крайней своеобразности таланта Достоевскаго. Но вѣрно, по крайней мѣрѣ, то, что общій интересъ въ его художественной дѣятельности, за нѣкоторыми перерывами, возрасталъ до самой его смерти, а этого далеко нельзя сказать о большинствѣ его блестящихъ сверстниковъ.

Я просто отмѣчаю фактъ, и не думаю мѣрять Достоевскаго съ кѣмъ бы то ни было, всего меньше съ Писемскимъ, хотя ихъ одновременная смерть невольно наталкиваетъ на сравненія и параллели. А фактъ на лицо, онъ не подлежитъ сомнѣнію, онъ засвидѣтельствованъ и похоронами Достоевскаго. Столь торжественныхъ проводовъ частнаго человѣка въ страну небытія Петербургъ, конечно, не видалъ. Какъ ни странно это звучитъ, но въ проводахъ было нѣчто даже какъ бы ликующее. Провожатые вспоминали другія времена, другія подобныя печальныя торжества. Вспоминали разсказъ Панаева о похоронахъ Бѣлинскаго, котораго маленькая кучка людей чуть не тайкомъ донесла до мѣста вѣчнаго успокоенія; вспоминали и радовались, что вотъ мы можемъ теперь такъ полно и открыто выражать свое уваженіе къ любимымъ труженикамъ мысли. Вспоминали похороны Некрасова, не столь многолюдныя и торжественныя, а главное—гораздо болѣе однородныя, не соединившія столько разнообразныхъ общественныхъ элементовъ; вспоминали и радовались, что вотъ все общество, отъ верхняго края до нижняго, слилось въ одномъ чувствѣ уваженія къ покойному и скорби по немъ...

Радостная сторона этихъ сложныхъ ощущеній не могла, разумѣется, имѣть прямого отношенія къ Достоевскому. Но мнѣ кажется, что она уже слишкомъ оторвалась отъ своего повода. Поясню свою мысль мелкимъ, но любопытнымъ фактомъ. Москва, всегда склонная похвастаться своей сердечностью и попрекнуть Петербургъ чертствостью и холодностью, на этотъ разъ устами, если не ошибаюсь, «Современныхъ Извѣстій», перевернула на изнанку свою древнюю формулу распредѣленія пороковъ и добродѣтелей между двумя столицами: почтенная газета не безъ пафоса укоряла согражданъ-москвичей за то, что они отдали Писемскому послѣднюю дань чувства не такъ полно и всенародно, какъ петербуржцы Достоевскому. Значитъ, почтенная газета думаетъ, что все дѣло тутъ въ пылкости чувствъ, когда-то украшавшей москвичей, а нынѣ переселившейся въ петербургскія болота; въ пылкости чувствъ, а не въ личностяхъ Достоевскаго и Писемскаго и не въ томъ, что «звѣзда отъ звѣзды разнствуютъ во славѣ»...

Простите, читатель. Повторяю, я не думаю мѣрять двухъ покойниковъ, я отмѣчаю странную, но характерную мысль московской газеты. Это—странная мысль потому, что Достоевскій есть Достоевскій, а Писемскій есть Писемскій. Одинъ до конца дней своихъ доставлялъ многочисленнымъ читателямъ своеобразное мучительное наслажденіе игрою своей творческой силы; другой, можетъ быть, уже въ «Тысячѣ душъ», то есть лѣтъ двадцать тому назадъ, сказалъ свое послѣднее художественное слово. Въ чемъ же, спрашивается, вина москвичей, если они хоронили давнопрошедшее (не затрогивая другой квалификаціи) не такъ, какъ петербуржцы хоронили даже не прошедшее? Но мысль московской газеты не только странна, она характерна. Характерна именно эта отвлеченная, такъ сказать, безпредметная точка зрѣнія на овацію и чествованія, независимо отъ чествуемой личности. Я видѣлъ настоящія, искреннія слезы и истинно скорбныя лица у гроба Достоевскаго. Но я ощущалъ кругомъ себя и радость, и слышалъ выраженія радости, что вотъ, молъ, сколько свободы и единенія. Конечно, одно другому не мѣшаетъ. Можно глубоко скорбѣть объ утратѣ дорогого человѣка и въ то же время радоваться, что наконецъ-то я могу открыто, всенародно заявить свои симпатіи. Это такъ. Но при томъ условіи, что свободное выраженіе симпатій есть у насъ рѣдкое и непривычное лакомство, а вовсе не хлѣбъ насущный, получаемый ежедневно,—въ распредѣленіи скорби и радости можетъ произойти путаница, въ которой истинное значеніе чествуемаго лица совсѣмъ утонетъ. Я глубоко убѣжденъ, что этого рода путаница сильно сгустилась надъ гробомъ Достоевскаго.

Говорятъ о единомъ чувствѣ скорби, въ которомъ слилось все русское общество отъ верхняго края до нижняго. Такое единеніе, пожалуй, и было, а пожалуй, что его и не было,—какъ смотрѣть на дѣло. Вся наша интеллигенція потеряла высоко даровитаго художника, который, вдобавокъ, незамѣнимъ ибо много надо условій, и притомъ тяжелыхъ,

гнетущихъ условій, чтобы народился второй Достоевскій; поэтому вся интеллигенція, безъ различія направленій и положеній, должна чувствовать утрату. Но, переходя къ другимъ сторонамъ дѣла, я слышу, напримѣръ, рѣчь г. Кони, сказанную въ годовомъ собраніи юридическаго общества 2-го февраля. Какъ пишутъ въ газетныхъ отчетахъ объ этой рѣчи, г. Кони «очертилъ связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей». По вопросу о преступленіи, говорилъ г. Кони, покойникъ далъ анализъ преступленія въ его внутреннемъ содержаніи, далъ анализъ типовъ невмѣняемости и показалъ поучительный примѣръ теплаго къ нимъ отношенія; по вопросу о наказаніи онъ впервые познакомилъ насъ съ каторгой, очертилъ смертную казнь (въ «Идіотѣ») такими штрихами, которые «должны быть приняты къ свѣдѣнію юриспруденціей», и изобразилъ «внутреннее наказаніе», которому виновный подвергается помимо общества; наконецъ, онъ внимательно останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ. «О. М. Достоевскій, заключилъ ораторъ: — жилъ и трудился для тѣхъ именно цѣлей, къ служенію которымъ призванъ новый, реформированный судъ; его девизъ—правда и милость— начертанъ въ твореніяхъ покойнаго глубокими штрихами, и по нимъ слѣдуетъ учиться служить этимъ великимъ задачамъ».

Юридическому обществу дѣлаетъ величайшую честь, что оно, устами не одного г. Кони, а также и г. Пахмана, не убоялось признать научную цѣнность за поэтическими произведеніями. Тѣмъ не менѣе, я не могу согласиться, чтобъ связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей была исчерпана рѣчью г. Кони. Не буду распространяться о той, даже не особенно тонкой насмѣшкѣ, которою Достоевскій облилъ «новый, реформированный судъ» въ своемъ послѣднемъ произведеніи, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Напомню только завѣтную, излюбленную мысль покойнаго о необходимости страданія, въ силу которой онъ строго порицалъ судъ присяжныхъ за наклонность къ оправдательнымъ приговорамъ и требовалъ «строгихъ наказаній, острога и каторги». А юридическая идея, лежащая въ основаніи «Братьевъ Карамазовыхъ», та идея, что преступная мысль должна быть такъ же наказываема, какъ и преступное дѣяніе? Нѣтъ, еслибы я обладалъ краснорѣчіемъ г. Кони, я сказалъ бы, можетъ быть, о Достоевскомъ: вотъ человѣкъ, въ увлекательной формѣ вливавшій въ юридическое сознаніе общества самыя извращенныя понятія. Конечно, я сказалъ бы не правду, а только половину правды; но и г. Кони тоже говоритъ половину правды, а не всю правду. И сомнѣваюсь, чтобы между нимъ, г. Кони и многоразличными проповѣдниками «строгихъ наказаній, острога и каторги», было дѣйствительное «единеніе» у гроба Достоевскаго.

Въ этомъ смыслѣ и на разныхъ другихъ пунктахъ было, вообще, мало «единенія», да и не могло его быть много. Каждый своему богу молится, и нѣкоторые изъ этихъ боговъ такъ же далеки другъ отъ друга, какъ Ормуздъ и Ариманъ. Что же въ самомъ дѣлѣ общаго, напримѣръ, между кн. Мещерскимъ и Болеславомъ Маркевичемъ, пролившимъ по слезѣ на страницахъ «Московскихъ Вѣдомостей», и разными другими общественными элементами, представители которыхъ провожали покойника? Если дѣйствительно есть центральный пунктъ, на которомъ всѣ могли сойтись рука объ руку, такъ покажите же его, ничего не пряча и не извращая. Если же такового указать не можете, то опять-таки, ничего не пряча и не извращая, точно и опредѣленно скажите, какому богу вы молились и какое онъ имѣетъ отношеніе къ другимъ богамъ. Въ этомъ именно состояла задача людей печатнаго и устнаго слова, взявшихся разъяснить чувства многочисленныхъ и разнообразныхъ почитателей Достоевскаго. Но, за весьма малыми, едва замѣтными и, во всякомъ случаѣ, незамѣченными исключеніями, люди печатнаго и устнаго слова остались далеко ниже этой задачи. Ихъ, очевидно, смущала та тѣнь мудрости, которая гласитъ, что de mortuis nil nisi bene. Но вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, только тѣнь мудрости, а если мудрость, то какая то каплунья, кастрированная мудрость, немощная и противоестественная или, по крайней мѣрѣ, противообщественная. Личные счеты, конечно, кончаются смертью. Если лежачаго вообще не бьютъ, то лежащаго въ могилѣ и подавно: онъ не встанетъ, чтобы отдать ударъ за ударъ. Но оцѣнка общественнаго дѣятеля не есть поединокъ или дѣло личной чести. Тѣло Достоевскаго въ могилѣ, но его духъ запечатлѣвшій собою цѣлый рядъ поэтическихъ созданій, живъ, и, можетъ быть, смерть писателя временно даже обостряетъ вліяніе его произведеній, придаетъ имъ усиленное значеніе. Надо очень низко цѣнить этотъ «духъ», чтобы примѣнять къ нему правило nil nisi bene. Какое-нибудь ничтожество, которое, свалившись въ могилу, исчезаетъ безъ слѣда и остатка — можетъ нуждаться въ охранѣ великодушія или условныхъ правилъ поединка. Но Достоевскій, одинъ изъ крупнѣйшихъ дѣятелей русской литературы за все время ея существованія, не нуждается въ пощадѣ или великодушіи, ибо онъ хотя и умеръ, но живъ, доколѣ живы его произведенія. Каплунья же мудрость, на-

валивая на него гору лести, хоронитъ подъ этой горой его истинное значеніе и, слѣдовательно, совершаетъ надъ нимъ второе погребеніе, ненужное, безцѣльное, оскорбительное и для памяти покойника, и для общественнаго сознанія.

Позвольте вернуться на одну минуту къ рѣчи г. Кони. Краснорѣчивый ораторъ сказалъ, между прочимъ, что Достоевскій «внимательно останавливался на многихъ процессуальныхъ вопросахъ, какъ-то: о доказательствахъ, о мѣрахъ пресѣченія обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда, о задачахъ слѣдователя по дѣламъ уголовнымъ и т. п.». Я не спорю, можетъ быть, это въ самомъ дѣлѣ одинъ изъ итоговъ дѣятельности покойнаго; можетъ быть, онъ и въ самомъ дѣлѣ пристально занимался вопросомъ «о мѣрахъ пресѣченія обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда». Но, господа, надо же знать, наконецъ, мѣру! Вѣдь послѣ этого и чины полиціи и жандармы, не какъ люди, а именно какъ чины полиціи и жандармы, могутъ устроивать митинги и на нихъ торжественно заявлять: «вотъ нашъ учитель!» А намъ, зрителямъ и слушателямъ, останется при этомъ только ликовать, что вотъ, дескать, сколько свободы и единенія... Художникъ, умѣвшій глаголомъ жечь сердца людей, пѣвецъ униженныхъ и оскорбленныхъ—что-то большое, иные говорятъ—даже великое, и вдругъ за это безъ малаго великое, точно ракъ клешней, хватаются какія то маленькія, маленькія — мѣры пресѣченія обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ суда и слѣдствія! Нѣтъ, какъ хотите, если это и вѣрно, то совсѣмъ не сюда относится. Замѣтьте, что, придавивъ покойника этой похвалой, г. Кони, какъ уже сказано выше, скрылъ любопытнѣйшую половину отношеній Достоевскаго къ преступленію и наказанію, ту именно половину, которою онъ не «правду и милость» проповѣдывалъ, а «строгія наказанія, острогъ и каторгу», притомъ не за преступленіе только, а и за преступную мысль. Еслибы я обладалъ краснорѣчіемъ г. Кони и былъ призванъ разъяснять юридическому обществу связь творчества Достоевскаго съ юриспруденціей, я поступилъ бы какъ разъ наоборотъ: я оставилъ бы мѣры пресѣченія совсѣмъ втунѣ, но за то постарался бы выяснить процессъ, которымъ человѣкъ, самъ на своей шкурѣ испытавшій всѣ ужасы каторги, пришелъ къ заключенію объ отвлеченной необходимости и высшемъ духовномъ смыслѣ каторги. Смѣю думать, что это не нанесло бы ущерба очерку связи творчества Достоевскаго съ юриспруденціей, а кромѣ того, передъ слушателями стоялъ бы живой человѣкъ, а не духовный трупъ, погребенный подъ горою неумѣстныхъ похвалъ.

Я могъ бы привести еще не одинъ примѣръ такого вторичнаго погребенія, но читатель, пожалуй, уже давно хитро подмигиваетъ: дескать, la critique est aisée... Знаю и вовсе не думаю ограничиваться этой «критикой». Я именно намѣреваюсь разсказать, какъ я понимаю покойника и какъ и почему я шелъ за его гробомъ.

Сначала маленькое спеціальное замѣчаніе. Какъ разъ предъ смертью Достоевскаго русская литература была унижена и оскорблена, хотя и не въ такомъ смыслѣ, какъ его униженные и оскорбленные герои, но ужъ навѣрное не меньше ихъ. «Обличенія» и ругательства, пущенныя г. Дьяковымъ-Незлобинымъ съ такою холопскою развязностью вслѣдъ удалявшемуся отъ дѣлъ г. Цитовичу; потомъ процессъ гг. Ѳедорова, Баталина, Буренина и Поликарпова подняли такую массу отвратительной грязи со дна русской литературы, что сознавать себя русскимъ литераторомъ было, право, стыдно. Положимъ, что грязь поднялась именно со дна литературы, отъ ея подонковъ; положимъ, что сами они изъ всѣхъ силъ стараются установить границу между собою и тѣми элементами литературы, которые искренно хотятъ сохранить общеніе съ добромъ и правдой. Но, какъ ни какъ, это — «собраты», а тамъ извольте еще разбирать. Есть двѣ вещи, безъ которыхъ литература можетъ только прозябать, а не жить, это — свобода и общественное уваженіе. Этому то послѣднему грозила серьезная опасность; но многочисленная толпа, провожавшая Достоевскаго, могла принести нашему брату, писателю, много утѣшенія или удовлетворенія. Признаюсь, радостная сторона похоронъ даже совершенно исчерпывается для меня этимъ обстоятельствомъ. Честь, небывалая честь и почетъ воздавались труженику мысли и пера, притомъ такому, который до дна испилъ уготованную для этого сорта людей чашу: жестоко пострадалъ за дѣло мысли и практически позналъ, что значитъ лихорадочная, почти поденная умственная работа. Это было ново и утѣшительно. Что же касается свободы и единенія, то, откровенно говоря, я не то что въ ихъ наличность не вѣрю, а просто нахожу разговоръ этотъ неумѣстнымъ. Онъ также не сюда относится, какъ и мѣры пресѣченія обвиняемымъ способовъ уклоняться отъ слѣдствія и суда (удружилъ же, въ самомъ дѣлѣ, г. Кони покойнику!)

Я очень хочу быть искреннимъ и очень чувствую, какъ трудно привести это хотѣніе въ исполненіе. Тутъ не въ Достоевскомъ дѣло, а въ нашемъ мудреномъ времени.

Замѣтьте, пожалуйста, эту любопытнѣйшую и, можетъ быть, наиболѣе общую черту современности: нашему современнику необыкновенно трудно быть искреннимъ. Я не про «независящія обстоятельства» говорю, а про тотъ общій сумбуръ, путаницу, неопредѣленность, въ которой независящія обстоятельства сами составляютъ только частность, хотя и задающую тонъ многимъ другимъ частностямъ. Въ «Запискахъ современника» мы будемъ часто наталкиваться на эту черту и когда-нибудь, набравши достаточно фактовъ, подведемъ итогъ. Теперь же скажу кратко: трудность въ томъ, что одни боятся быть понятыми, а другіе боятся быть непонятыми. Вотъ и я боюсь быть непонятымъ. И не я одинъ боюсь. Мнѣ многіе совѣтовали даже отложить бесѣду о Достоевскомъ до болѣе благопріятнаго времени, когда восторгъ и скорбь нѣсколько поулягутся. Я думаю, что то само по себѣ, а теперь само по себѣ.

Вы, конечно, помните прекрасныя страницы, написанныя Добролюбовымъ по поводу «Униженныхъ и оскорбленныхъ»; а не помните—такъ перечтите. Многое разъяснено въ этой статьѣ. Но она писана въ 1861 году, двадцать лѣтъ тому назадъ, и въ эти двадцать лѣтъ много воды утекло. Прежде всего Добролюбовъ слишкомъ низко цѣнилъ талантъ Достоевскаго и слишкомъ высоко—«здравость» его направленія. Онъ именно видѣлъ въ немъ «слабое, но здраво направленное художественное чутье». Для своего времени этотъ приговоръ былъ вѣренъ или почти вѣренъ. Но Достоевскій продолжалъ писать и писать. При этомъ общая манера его писанія осталась та же самая: та же безпричинная неровность изложенія, тѣ же нехудожественныя длинноты и урѣзки; та же невѣроподобность дѣйствующихъ лицъ, которыя всѣ, даже самыя глупыя, необыкновенно проницательны, всѣ говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, и притомъ языкомъ автора, и проч. Но Достоевскій писалъ въ этомъ родѣ такъ долго и упорно, что наконецъ заставилъ всѣхъ съ нимъ примириться. Всякій, принимаясь за новое произведеніе Достоевскаго, зналъ, что найдетъ тамъ много недодѣланнаго, передѣланнаго и невѣроподобнаго, и заранѣе принималъ это почти какъ должное. Но, оставаясь въ отношеніи, такъ сказать, благоустройства романа самымъ слабымъ изъ нашихъ крупныхъ художниковъ, Достоевскій со временъ Добролюбова значительно выросъ, какъ изобразитель внутренней, душевной драмы. «Преступленіе и наказаніе» — (высшій моментъ развитія творческой силы Достоевскаго), по сложности мотивовъ и тонкости ихъ разработки, неизмѣримо выше всего, что имѣлъ подъ руками Добролюбовъ. Да и въ послѣдующихъ, гораздо уже болѣе слабыхъ вещахъ, въ «Идіотѣ» «Бѣсахъ», «Братьяхъ Карамазовыхъ», есть страницы такого огромнаго достоинства, что о «слабости художественнаго чутья» тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Даже одной «Кроткой» достаточно, чтобы видѣть, что художественное чутье этого человѣка было, напротивъ, очень сильно, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядомъ на десятки, на цѣлыя сотни страницъ, чтобы потомъ вдругъ блеснуть драгоцѣннымъ перломъ и опять исчезнуть.

Но Достоевскій никогда не былъ, что называется, «чистымъ» художникомъ; меньше, чѣмъ кого-нибудь, можно его судить судомъ эстетическимъ: это значило бы оставить его совсѣмъ безъ оцѣнки. Мыслитель и публицистъ всегда рѣзко высовывались въ немъ изъ-за художника; а въ послѣдніе годы онъ и формально вступилъ на почву публицистики. И здѣсь опять приговоръ Добролюбова, почти вѣрный для своего времени, требуетъ теперь очень существенныхъ поправокъ и дополненій.

Вотъ что писалъ Добролюбовъ: «Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, наконецъ, даже не въ правѣ быть человѣкомъ, настоящимъ, полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ къ человѣку»—вотъ идеалъ, сложившійся въ душѣ автора помимо всякихъ условныхъ и парціальныхъ воззрѣній, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то a priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тѣмъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человѣка сохранить свою личность, остаться самимъ собой, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходитъ только — или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупѣнія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже человѣка... Кажется, тутъ-бы и говорить не о чемъ: человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ,—ну, и ладно, и броситъ эту матерію... И какой интересъ — описывать то, какъ слѣпой не видитъ?.. Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что

слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла; въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда не заглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго насильственнаго давленія и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе».

Въ этомъ-то «гуманическомъ», какъ говорилъ Добролюбовъ, направленіи художественнаго чутья онъ и видѣлъ его «здравость». На этомъ мотивѣ построена вся глубоко-прочувствованная статья нашего критика, долго составлявшая исходную точку и программу для сужденій о Достоевскомъ. Но «здраво» или не здраво было направлено творчество Достоевскаго, когда онъ писалъ «Униженныхъ и оскорбленныхъ», а достовѣрно то, что впослѣдствіи онъ совсѣмъ уклонился отъ этого пути. Пожалуй, отмѣченная Добролюбовымъ черта жила въ Достоевскомъ до конца дней: объ этомъ свидѣтельствуютъ фигурирующіе въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» штабсъ-капитанъ Снегиревъ и его сынъ Илюшечка. Но, во-первыхъ, нѣкоторыя мучительно-превосходныя сцены, въ которыхъ являются эти униженные и оскорбленные, несмотря на все свое высокое достоинство, не новы, это повторенія. А главное, «гуманическая» черта съ теченіемъ времени осложнилась другими чертами, не только не имѣющими ничего общаго съ ней, а даже совершенно ей противоположными. Задатки такого осложненія можно найти и въ раннихъ произведеніяхъ Достоевскаго, но въ настоящую минуту разыскивать ихъ было бы слишкомъ большимъ, да и не нужнымъ трудомъ. Мы, можетъ быть, вернемся къ этой темѣ, когда явится полное собраніе сочиненій покойнаго, которое, конечно, не заставитъ себя долго ждать. Теперь съ насъ довольно того несомнѣннаго факта, что въ «Бѣдныхъ людяхъ» и въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» боль объ униженномъ человѣкѣ и тщательное исканіе въ душѣ его проблесковъ человѣческаго достоинства и протеста — составляютъ во всякомъ случаѣ преобладающую струю.

Съ теченіемъ времени эта боль объ униженномъ стала осложняться чувствомъ совершенно противоположнымъ, какимъ-то жестокимъ чувствомъ почти радости, что человѣкъ униженъ; а тщательное изысканіе лежащаго на днѣ души чувства собственнаго достоинства и протеста замѣнилось проповѣдью смиренія и вольнаго или невольнаго (каторжнаго) страданія. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на эту перемѣну, какъ на поворотъ къ лучшему или къ худшему, но самый фактъ несомнѣненъ. Прежде Достоевскій съ особенною чуткостью ловилъ въ душѣ униженнаго и оскорбленнаго тотъ мотивъ, что и я, дескать, не хуже другихъ! И если этотъ мотивъ, благодаря запуганности и загнанности униженнаго, прорывался нескладно, комически-безобразно, то авторъ съ очевидною болью въ сердцѣ отмѣчалъ этотъ желанный, но неумѣлый взрывъ. Впослѣдствіи, напротивъ, онъ сталъ даже съ гораздо большею жадностью искать въ человѣческой душѣ сознанія грѣховности, сознанія своего ничтожества и мерзости и соотвѣтственной жажды искупленія грѣха страданіемъ. Сообразно этому, измѣнилось въ Достоевскомъ и многое другое. Позвольте, для наглядности, такое сравненіе. Въ первую половину своей дѣятельности Достоевскій производилъ, такъ сказать, душевныя раскопки, какъ ученые производятъ раскопки археологическія. Во второй половинѣ онъ сталъ настоящимъ кладоискателемъ. Онъ именно искалъ душевнаго клада, со всею, мистически затѣйливою, ненужною и даже вредною для дѣла, но традиціонно обязательною обстановкою этого занятія: онъ пробирался къ намѣченному мѣсту въ глухую полночь, напряженно ждалъ, когда зацвѣтетъ на одно мгновеніе чудесный папоротникъ, и съ трепетомъ бормоталъ таинственныя «слова», снимающія положенное на кладъ «заклятіе» и отгоняющія демоновъ, которые охраняютъ кладъ. Онъ уже не просто искалъ, какъ всѣ люди ищутъ, а почти священнодѣйствовалъ, подзадоривая, «взвинчивая» себя самымъ процессомъ священнодѣйствія и его фантастической обстановкой.

Разумѣется, эта перемѣна не вдругъ совершилась. Задатки ея, повторяю, можно найти и въ первой половинѣ дѣятельности Достоевскаго. Поворотъ происходилъ съ извѣстною постепенностью, выдвигая впередъ то, что было первоначально едва замѣтно, и отодвигая назадъ то, что прежде ярче всего било въ глаза. И вотъ какъ, мнѣ кажется, этотъ поворотъ въ общихъ чертахъ происходилъ.

Если есть униженные и оскорбленные, то, значитъ, есть и унижающіе и оскорбляющіе. А если есть боль за униженныхъ и оскорбленныхъ, то какъ слѣдуетъ относиться къ унижающимъ и оскорбляющимъ? На этотъ вопросъ разные люди отвѣчаютъ разно, то-есть или прямо словами отвѣчаютъ, или своею дѣятельностью, даже, можетъ быть, не задавая себѣ точно формулированнаго вопроса. Можно, во имя возмездія, потребовать для унижающихъ кары, такого же униженія и оскорбленія, какое они сами раздаютъ направо и налѣво. Можно обратиться къ нимъ съ проповѣдью добра и правды, развернувъ передъ ними яркую картину причиняемаго

ими страданія, пригрозивъ имъ муками ада или укорами совѣсти. Можно, наконецъ, подняться на очень, повидимому, высокую точку любви и всепрощенія и сказать: эти люди творятъ неправду, но они не вѣдаютъ, что творятъ, отпусти имъ, Боже! Какъ ни разнородны эти три рѣшенія, но всѣ они имѣютъ одну общую черту: всѣ они рѣшаютъ вопросъ въ предѣлахъ одинокой (хотя и многократно повторяющейся) личности. Возможность новыхъ и новыхъ униженій и оскорбленій, униженій и оскорбленій безъ конца—ни мало ими не колеблется даже въ идеѣ, потому что вся операція подобна рубкѣ лѣса, а не уничтоженію корней, вся она состоитъ въ индивидуально-психологическомъ рѣшеніи задачи. Но можно перенести вопросъ и на общественную почву, которая нисколько не препятствуетъ удовлетворенію личныхъ позывовъ къ возмездію и совершенствованію другихъ и себя. Широкая общественная реформа можетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеѣ) вырвать самые корни униженія и оскорбленія, а затѣмъ съ выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, какъ хотите: если въ васъ непреоборимо говоритъ чувство возмездія—карайте; если вы разсчитываете разбудить въ нихъ совѣсть—будите; если вы склонны къ всепрощающей любви — прощайте. Поступая такъ или иначе, вы удовлетворяете законнымъ требованіямъ своего темперамента и своихъ взглядовъ на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ, коль скоро рядомъ съ ней идетъ движеніе общественной реформы. Но этого-то послѣдняго Достоевскій никогда не признавалъ и, кажется, даже просто органически не могъ понимать. Чтобы видѣть, до какого предѣла онъ въ этомъ отрицаніи или непониманіи, наконецъ, дошелъ, достаточно вспомнить августовскій номеръ «Дневника писателя» (единственный номеръ за 1880 годъ), въ которомъ онъ прямо говорилъ, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы устроить свои отношенія въ наивысшемъ нравственномъ видѣ, оставаясь помѣщицей и крѣпостными, еслибы только проникнись идеями христіанской морали. Точно такъ же онъ въ послѣднее время чрезвычайно горячо и язвительно возставалъ противъ новыхъ «учрежденій», доказывая ихъ тщету и, напротивъ, единоспасающее значеніе личнаго совершенствованія. (Были у него и другіе мотивы для агитаціи противъ новыхъ учрежденій, но это были мотивы побочные; о нихъ, можетъ быть, ниже). Ему даже такое соображеніе не приходило въ голову, что если всякія учрежденія безсильны, такъ зачѣмъ же выходить изъ себя, ратуя противъ того или другого изъ нихъ: ну, пусть оно явится, это безсильное учрежденіе; если оно въ самомъ дѣлѣ безсильно, такъ тутъ и хлопотать не о чемъ. И всетаки Достоевскій хлопоталъ и выходилъ изъ себя: до такой степени ему была ненавистна идея общественной реформы. Онъ до такой степени вѣрилъ въ силу личной нравственной проповѣди (проще говоря, въ свою собственную силу вѣрилъ), что всякіе иные пути устраненія униженій и оскорбленій казались ему самымъ дерзкимъ возстаніемъ и противъ исторіи, и противъ народныхъ идеаловъ, и противъ Бога. Онъ это не разъ прямо говорилъ.

Все это развилось до высшей степени уже подъ конецъ; но, оглядываясь теперь на начало дѣятельности Достоевскаго, можно замѣтить, что и въ этомъ началѣ, при всемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, онъ точно не находитъ унижающихъ и оскорбляющихъ. Это, можетъ быть, свидѣтельствуетъ объ очень тонкомъ пониманіи, о «проникновеніи», какъ любилъ говорить покойникъ, въ самую суть жизни. Дѣйствительно, если общій порядокъ вещей родитъ и заставляетъ трепетать униженныхъ и оскорбленныхъ, такъ что же ужъ тутъ обрушиваться на какого-то глупаго большого чиновника, который даже совсѣмъ нечаянно оскорбилъ глупаго малаго чиновника? Можетъ быть, Достоевскій такъ и понималъ дѣло, рисуя намъ цѣлую портретную галлерею обиженнаго мелкаго люда. Но общій порядокъ вещей былъ для него неприкосновененъ по глубочайшимъ, можетъ быть, интимнѣйшимъ требованіямъ его ума и сердца, и потому онъ съ своей жаждой личной нравственной проповѣди остался какъ ракъ на мели, если позволена будетъ въ настоящемъ случаѣ столь вульгарная поговорка. Куда ее было дѣвать, эту жажду морализировать, карать, поучать, будить совѣсть, прощать. Пока Достоевскій выбиралъ для своихъ повѣстей и романовъ темы изъ жизни мелкаго чиновника, лишь изрѣдка захватывая другія, болѣе или менѣе родственныя сферы, не могло особенно рѣзко обнаружиться противорѣчіе между уваженіемъ къ общему порядку вещей и признаніемъ его же главнымъ виновникомъ униженій и оскорбленій. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того какъ талантъ Достоевскаго росъ и опредѣлялся, по мѣрѣ того какъ его творческая сила охватывала и такъ называемые интеллигентные слои общества и народъ,—противорѣчіе должно было, такъ или иначе, разрѣшиться. Надо было, наконецъ, либо рѣшительно обвинить общій порядокъ, либо найти иныхъ виновныхъ, личныхъ, съ которыми и поступить сообразно одному изъ трехъ вышеприведенныхъ рѣшеній. Достоевскій нашелъ виновныхъ... Однако,

не вдругъ на нихъ обрушился съ внѣшнею

карою, муками ада и ущемленной совѣсти, и всепрощающею любовью...

Будемъ говорить откровенно, читатель. Вы, безъ сомнѣнія, охотно признаетесь, что, читая романы и повѣсти Достоевскаго, да и «Дневникъ писателя», вы не разъ испытывали большую скуку. Но вы, можетъ быть, не такъ легко признаетесь въ другомъ чувствѣ, которое, однако, почти навѣрное ощущали при этомъ чтеніи,—въ чувствѣ брезгливости. А оно, между тѣмъ, совершенно понятно. Читая, напримѣръ, «Братьевъ Карамазовыхъ», вы ясно слышите присутствіе злонамѣреннаго человѣка, который иногда глубоко прячетъ свою злонамѣренность, а иногда даже просто не можетъ скрыть ея рвущагося наружу обилія. Присутствіе злонамѣреннаго человѣка всегда непріятно, и всякій естественно стремится избавиться отъ него. Вообще говоря, это сдѣлать очень просто: стоитъ только уйти или, въ настоящемъ случаѣ, не читать. Но если какія-нибудь постороннія причины всетаки заставляютъ васъ не только что терпѣть присутствіе злонамѣреннаго человѣка, а даже искать общенія съ нимъ, то въ васъ невольно и неизбѣжно шевелится брезгливость. Таково именно отношеніе читателя къ Достоевскому. Не быть его читателемъ нельзя: можно пропускать десятки, сотни скучныхъ, растянутыхъ и натянутыхъ страницъ, но всетаки иные моменты романа даютъ столько и такого наслажденія (почти всегда мучительнаго), сколько и какого ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не найдешь. И, тѣмъ не менѣе, я увѣренъ, что, называя Достоевскаго злонамѣреннымъ писателемъ, я выражаю мысль многихъ и многихъ, хотя, можетъ быть, немногіе рѣшатся именно такъ ее формулировать. Достоевскій—вѣдь это нашъ апостолъ любви, и не той «ненавидящей любви», которая сама признаетъ, что кипитъ желчью и гнѣвомъ, а любви всепрощающей, смиренной. И вдругъ—злонамѣренность!

Вдругъ-ли, не вдругъ-ли, но оно такъ. И не торопитесь винить меня въ неприличіи такихъ сужденій о человѣкѣ, только что зарытомъ въ могилу. Дочитайте до конца, и вы увидите, что въ моихъ сужденіяхъ сказывается безъ сравненія больше уваженія къ покойнику, чѣмъ въ безпутныхъ похвалахъ многихъ и многихъ медоточивыхъ хвалителей и ликующихъ о единеніи и свободѣ...

Возьмите какія-нибудь старыя вещи Достоевскаго, изъ тѣхъ, которыя написаны послѣ «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Возьмите, напримѣръ, «Скверный анекдотъ» или «Крокодила, или необыкновенное событіе въ пассажѣ». «Скверный анекдотъ»—вещь въ своемъ родѣ мастерская, «Крокодилъ»—оборванная шутка, очевидно, имѣющая слишкомъ близкое отношеніе къ какимъ-то дѣламъ или дѣлишкамъ своего времени (начала шестидесятыхъ годовъ) и потому теперь совершенно непонятная. Въ «Скверномъ анекдотѣ» разсказывается, какъ одинъ большой чиновникъ, будучи навеселѣ, попалъ на свадебную пирушку своего подчиненнаго. Попалъ онъ нечаянно, отчасти даже противъ воли, но затѣмъ вознамѣрился ободрить пирующихъ своимъ высокимъ посѣщеніемъ и своею гуманною ласкою. Ничего, однако, такого не вышло, а, напротивъ,—генералъ разстроилъ все веселье, самъ получилъ много оскорбленій, нализался пьянъ, и дѣло кончилось всеобщимъ стыдомъ. Въ «Крокодилѣ» описывается, какъ нѣкто, будучи проглоченъ крокодиломъ, котораго показывали въ пассажѣ, остался тамъ «въ нѣдрахъ» цѣлъ и невредимъ, и намѣревается оттуда «поучать человѣчество» и изобрѣсти новую собственную теорію новыхъ экономическихъ отношеній». Соль этого оборваннаго разсказа состоитъ, повидимому, въ томъ, что проглоченный крокодиломъ человѣкъ имѣетъ необыкновенно высокое о себѣ мнѣніе. Онъ очень радъ своему несчастію, разсчитывая, что въ пассажѣ теперь повалитъ масса народу смотрѣть на крокодила и слушать его, проглоченнаго: «въ результатѣ я у всѣхъ на виду и хоть спрятанный, но первенствую». Какая тутъ аллегорія—могутъ разсказать только люди, близкіе къ литературнымъ кружкамъ того времени... Но дѣло не въ этомъ. Читая эти двѣ маленькія вещи очень различной художественной цѣнности, вы невольно поражаетесь проникающей ихъ какою-то странною, безпокойною и почти безпредметною злостью. Выскакиваетъ зачѣмъ-то сотрудникъ сатирическаго листка «Головешки», пьяный, наглый и безъ смысла оскорбляющій того генерала, который попалъ на свадьбу. Зачѣмъ-то «господинъ Лавровъ читаетъ публичную лекцію» въ пассажѣ и слышатся «свистки образованности и каррикатуры г. Степанова». Но вы ясно видите, что дѣло совсѣмъ не въ этихъ мелкихъ шпилькахъ, которыя авторъ, конечно, не съ добрымъ чувствомъ, но только мимоходомъ всаживаетъ въ своихъ литературныхъ противниковъ, а въ какомъ-то гораздо болѣе общемъ и безпокойномъ, безпорядочномъ недовольствѣ. Это — недовольство самимъ собой, своей, тогда еще не упорядоченною внутреннею жизнью, въ которой билось, ища выхода и разрѣшенія, вышеупомянутое противорѣчіе: надо, неудержимо надо карать, будить совѣсть, прощать; но, во-первыхъ, еще неизвѣстно кого? въ комъ? а во-вторыхъ, надо по внутреннему влеченію къ проповѣди, но надо-ли по ходу дѣла; если виноватъ не Сидоръ, не Иванъ, а неприкосновенный общій порядокъ?

Съ теченіемъ времени эти вопросы выяснились. И какъ только они выяснились, Достоевскій далъ широко задуманную и блестящую вещь—«Преступленіе и наказаніе», въ художественномъ отношеніи лучшее (послѣ «Записокъ изъ мертваго дома», разумѣется) изо всего, что онъ написалъ. Хотя здѣсь еще звучитъ временами старая теплая нотка (особенно въ фигурѣ чиновника Мармеладова), но всетаки первый, къ кому приложены и проповѣдь смиренія, и кара совѣсти, и кара каторги, есть—униженный и оскорбленный Раскольниковъ. Это на первый взглядъ странно, непонятно. Но припомните, что унижающихъ и оскорбляющихъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть общій порядокъ, который, однако, неприкосновененъ, и есть моралистъ, который призванъ творить судъ надъ личностью и только надъ личностью: кромѣ самихъ униженныхъ, значитъ, судить некого. Къ тому же Раскольниковъ не простой униженный и оскорбленный. Онъ дерзнулъ на возстаніе, онъ кощунственно коснулся общаго порядка и теоретическою мыслью, и практическимъ дѣйствіемъ (довольно, впрочемъ, безсмысленнымъ). За это-то его и совѣсть мучитъ, за это онъ и на каторгу идетъ, и только тамъ, на каторгѣ, смирившись и увѣровавъ, получаетъ, наконецъ, душевный миръ. Живымъ укоромъ стоитъ передъ нимъ Соня Мармеладова, оплеванная, загаженная, безвинно униженная до послѣдней возможной степени, но и за всѣмъ тѣмъ смиренная, не протестующая: если она противъ чего и протестуетъ, то только противъ сатанинской гордости и дерзости Раскольникова. Смиренная, она все еще себя смирить хочетъ; страдающая, она страданій ищетъ. Это—идеалъ. Постепенно въ немъ укрѣпляясь, Достоевскій дошелъ, наконецъ, до убѣжденія, что это не только его личный идеалъ, и тѣмъ паче не только пріемникъ его проповѣди, а во первыхъ, — самимъ Богомъ указанная цѣль, и во-вторыхъ,—завѣтная мысль всего русскаго народа.

Съ «Преступленія и наказанія» Достоевскій становится спеціалистомъ кладоискателемъ. Онъ ходитъ по самымъ дикимъ трущобамъ и все ищетъ смиренія, чувства грѣха, сознанія своего ничтожества. Если долго не находитъ, а тѣмъ болѣе если находитъ, напротивъ, рѣшительное нежеланіе страдать, отсутствіе смиренія или даже протестъ противъ страданія и смиренія вообще, то очень сердится (сейчасъ увидимъ, что изъ этого проистекаетъ). А когда найдетъ подходящую для его надобностей искру, то начинаетъ усиленно раздувать ее, доводитъ, наконецъ, до размѣровъ цѣлаго костра страданія и самоуничиженія, а самъ стоитъ, любуется, да раскаленные уголья съ священнымъ сладострастіемъ помѣшиваетъ: онъ знаетъ, что эти муки—во спасеніе...

Въ исключительномъ талантѣ Достоевскаго была одна черта, придававшая ему особенную силу, черта, которую я не умѣю иначе назвать, какъ жестокостью таланта. Припомните въ «Идіотѣ» Настасью Филипповну, эксцентрическій женскій типъ, за который покойникъ не одинъ разъ принимался (онъ и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» повторяется—Грушенька) и который, однако, такъ и не дался ему. Эта странная женщина съ лихорадочною горячностью хватается за мысль нѣкоего Фердыщенки, а мысль въ томъ состоитъ, что каждый изъ присутствующихъ (собралось довольно многочисленное общество) долженъ разсказать вслухъ о самомъ себѣ что-нибудь такое, что онъ считаетъ самымъ подлымъ изъ своихъ поступковъ. Почти все общество возстаетъ противъ этой дикой мысли, но Настасья Филипповна настаиваетъ. «Можетъ быть, ей именно нравилась циничность и жестокость идеи», замѣчаетъ авторъ, очень склонный идеализировать Настасью Филипповну. Это самое надо и о самомъ Достоевскомъ сказать. Въ его талантѣ была какая-то жестокая мучительская складка, которая, разумѣется, ему самому дорого стоила, но которая тѣмъ не менѣе побуждала его съ наслажденіемъ растягивать утонченнѣйшія описанія мученій и страданій, растягивать до нехудожественной длинноты и часто совсѣмъ безъ нужды. Мнѣ незачѣмъ напоминать читателю отдѣльныя сцены, потому что все, что онъ самъ припомнитъ, будетъ навѣрное въ этомъ родѣ. Только ради ненужности многихъ подобныхъ мучительныхъ и мучительскихъ сценъ, я укажу на моментъ появленія Красоткина у постели умирающаго Илюшечки (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Красоткинъ лицо вводное, притомъ введенное подъ самый конецъ романа и не играющее въ немъ никакой существенной роли. Выкиньте Красоткина совсѣмъ — и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» рѣшительно ничто не измѣнится, хотя можно, пожалуй, механически приставить къ фабулѣ романа даже двухъ Красоткиныхъ. И вотъ авторъ съ любовью и величайшимъ тщаніемъ вырисовываетъ (именно вырисовываетъ, а не просто рисуетъ) поразительную сцену, какъ Красоткинъ мучитъ умирающаго мальчика напоминаніями о его жестокомъ поступкѣ съ собакой Жучкой. Положимъ, что Красоткинъ продѣлываетъ это отчасти даже съ доброю цѣлью, ради болѣе эффектнаго сообщенія Илюшечкѣ, что собака Жучка жива, онъ и не подозрѣваетъ, что добиваетъ умирающаго. Но Достоевскій-то это пони-

маетъ. Сцена совершенно невѣроподобна, но всетаки производитъ сильное впечатлѣніе, именно благодаря жестокой тщательности, съ которою ее отдѣлалъ авторъ. За что же онъ мучитъ Илюшечку, когда тотъ и безъ этого эпизода съ собакой все равно скоро умретъ?—За что?! странный вопросъ! скажетъ, можетъ быть, читатель: развѣ вамъ непремѣнно нужно, чтобы художникъ только картины блаженства и розоваго счастія рисовалъ?—Нѣтъ, мнѣ вовсе этого не нужно. Но, во-первыхъ, я ищу характеристики писателя, а Достоевскій былъ одинъ изъ тѣхъ художниковъ, передъ которыми навѣрное вполнѣ живутъ создаваемые ими образы, а потому очень характерно, что онъ этому живому Илюшечкѣ причиняетъ ненужное и, такъ сказать, совершенно сверхсмѣтное страданіе. Во-вторыхъ, вопросъ: за что?—вполнѣ умѣстенъ именно относительно Достоевскаго, потому что въ томъ-то и дѣло, что онъ и теоретически (въ своей публицистикѣ), и практически (надъ своими героями) требовалъ и раздавалъ страданія ни за что, ни про что, страданія ради страданій. Онъ ихъ и читателю доставлялъ въ безмѣрномъ количествѣ, въ безмѣрномъ, потому что сплошь и рядомъ его мучительныя картинки не будятъ никакой мысли, не отвѣчаютъ ни на какой запросъ читателя, не вызываются теченіемъ романа, не имѣютъ никакого нравственнаго смысла и, наконецъ, не соотвѣтствуютъ реальной жизненной правдѣ; словомъ, ничѣмъ не оправдываются и ничего не даютъ, кромѣ художественно-мучительнаго щекотанія нервовъ. Вы признаете законность, напримѣръ, того, что въ «Идіотѣ», въ самомъ началѣ романа и чуть-ли не въ одной первой главѣ, князь-идіотъ три раза разсказываетъ сцену смертной казни. Три раза—это, можетъ быть, уже слишкомъ много, но всетаки вы встрѣчаете тутъ жизненную правду и нравственную подкладку. Но найдите нравственный смыслъ и правду въ безсознательномъ мучительствѣ Красоткина и во многомъ, во многомъ другомъ...

Такимъ образомъ, все влекло Достоевскаго къ апоѳеозу страданія: и уваженіе къ общему порядку, и жажда личной проповѣди, и спеціальная жестокость таланта. Понятно, поэтому, съ какою ненавистью долженъ былъ онъ относиться къ тѣмъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. Особенно важно послѣднее, то-есть, что другихъ-то хочетъ избавить. Человѣкъ — животное, просто животное, ищущее наслажденій во что бы то ни стало, безъ мысли объ ихъ источникѣ, значеніи и послѣдствіяхъ — не занималъ Достоевскаго. Интересный въ общественномъ смыслѣ, этотъ типъ слишкомъ скуденъ личной психологіей, а въ ней только покойникъ и чувствовалъ себя, какъ въ родной стихіи, въ ней только онъ и былъ охочъ и смѣлъ. За то тѣмъ сильнѣе приглядывался онъ къ такимъ людямъ, которые, не желая сами страдать, не желаютъ, чтобы и другіе страдали, или согласны принять крестъ, даже сами идутъ на него, но не ради самодовлѣющаго страданія, а ради именно того, чтобы другіе перестали страдать. Тѣмъ самымъ они переносятъ вопросъ объ униженіяхъ и оскорбленіяхъ на общественную почву, дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. Онъ съ ними и поступалъ какъ врагъ, неумолимый, жестокій, мстительный. Онъ ихъ билъ, унижалъ, мучилъ всѣми возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналѣ его богатой своей болѣзненностью и раздражительностью фантазіи. Впрочемъ, всѣ эти разнообразныя казни и пытки можно подвести подъ три главные типа.

Въ «Идіотѣ» нѣкто Евгеній Павловичъ доказываетъ, что кто у насъ нападаетъ «на существующіе порядки вещей», тотъ нападаетъ «на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію». Эпилептическій же князь (въ томъ же «Идіотѣ»), вообще представляющій личные взгляды автора, высказываетъ его излюбленную мысль, что «кто отъ родной земли отказался, тотъ и отъ Бога своего отказался». Сообразно этому, обыкновеннѣйшій пріемъ наказанія дерзостныхъ враговъ общаго порядка и лично Достоевскаго состоитъ въ слѣдующемъ. Намѣтивъ подходящую жертву, Достоевскій отнимаетъ у нея Бога, и дѣлаетъ это такъ просто и механически, что точно крышку съ миски снимаетъ. Отниметъ Бога и смотритъ: какъ себя ведетъ въ этомъ положеніи жертва? Само собою разумѣется, что испытуемый немедленно начинаетъ совершать рядъ болѣе или менѣе гнусныхъ преступленій. Но это не бѣда: для преступленій есть искупляющее страданіе и, затѣмъ, всепрощающая любовь. Не для всѣхъ, однако, и въ этомъ все дѣло. Если испытуемый, оставшись безъ Бога, начинаетъ корчиться въ судорогахъ ущемленной совѣсти, то Достоевскій поступаетъ съ нимъ сравнительно милостиво: проволочивъ жертву по цѣлому ряду гнусностей, онъ ее отправляетъ на каторгу или къ «монаху-совѣтодателю» и тамъ ее, самоуничиженную и смиренную, осѣняетъ крыломъ всепрощающей любви (Раскольниковъ, Дмитрій Карамазовъ, дерзостный мужикъ Власъ). Если жертва упорствуетъ и до конца чинитъ «бунтъ», какъ называется одна ха-

рактерная глава въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», бунтъ противъ Бога, порядка вещей и обязательности страданія (изъ той же главы «Бунтъ» особенно ясно видно, что бунтъ надо понимать именно въ этихъ трехъ направленіяхъ заразъ), то Достоевскій заставляетъ ее повѣситься, застрѣлиться, утопиться, опять-таки прогнавъ предварительно сквозь строй подлости и преступленій (Свидригайловъ, Ставрогинъ, Кириловъ, Смердяковъ). Наконецъ, если испытуемый, оставшись безъ Бога, даже и не упорствуетъ, а чувствуетъ себя совершенно спокойно, то Достоевскій даруетъ ему жизнь и свободу, но казнитъ его при этомъ самою въ своемъ родѣ лютою казнью: онъ его дѣлаетъ мѣднымъ лбомъ и мерзавцемъ ниже самаго низкаго, словомъ, — какую-то гадину. Таковы многія дѣйствующія лица «Бѣсовъ», таковъ Ракитинъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Въ изображеніи этихъ людей и ихъ судьбы злонамѣренность Достоевскаго чувствуется особенно сильно, и соотвѣтственныхъ страницъ истинно нельзя читать безъ брезгливости.

Остановимся на минуту, только для образца, на Ракитинѣ. Это человѣкъ умный, какъ его рекомендуетъ, по крайней мѣрѣ, Достоевскій, но до такой степени низкій и безсовѣстный, что способенъ дѣлать не только подлости, а и большія глупости. Въ судѣ надъ Дмитріемъ Карамазовымъ онъ фигурируетъ въ качествѣ свидѣтеля. Авторъ разсказываетъ: «Всю трагедію преступленія онъ изобразилъ, какъ продуктъ застарѣлыхъ нравовъ крѣпостного права и погруженной въ безпорядокъ Россіи, страдающей безъ соотвѣтственныхъ учрежденій. Словомъ, ему дали кое-что высказать. Съ этого процесса господинъ Ракитинъ въ первый разъ заявилъ себя и сталъ замѣтенъ; прокуроръ зналъ, что свидѣтель готовитъ въ журналъ статью о настоящемъ преступленіи, и потомъ, уже въ рѣчи своей, цитовалъ нѣсколько мыслей изъ этой статьи, значитъ,—уже былъ съ нею знакомъ. Картина, изображенная свидѣтелемъ, вышла мрачною и роковою и сильно подкрѣпила «обвиненіе». Вообще же изложеніе Ракитина плѣнило публику независимостью мысли и необыкновеннымъ благородствомъ ея полета. Послышались даже два, три внезапно сорвавшіяся рукоплесканія, именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорилось о крѣпостномъ правѣ и страдающей отъ безурядицы Россіи».

Послѣ всего вышеизложеннаго, вы понимаете, конечно, что такое, хотя бы мимолетное, торжество Ракитина Достоевскій не могъ оставить безъ жестокаго возмездія— вѣдь онъ и негодяемъ-то Ракитина сдѣлалъ за эту самую «страдающую отъ безурядицы Россію». И, дѣйствительно, возмездіе получается блистательное. Ловкій адвокатъ, чтобы ослабить впечатлѣніе, произведенное показаніями Ракитина, искусными разспросами доводитъ до свѣдѣнія публики, что онъ, этотъ самый благородный врагъ крѣпостного права и безурядицы, 1) будучи атеистомъ, печатаетъ изъ подлости религіозныя статьи, 2) игралъ за двадцать пять рублей гнусную роль сводни. Удовлетворенный авторъ злобно замѣчаетъ: «г. Ракитинъ сошелъ со сцены нѣсколько подсаленный; впечатлѣніе отъ высшаго благородства его рѣчи было-таки испорчено». Но этого мало. Извѣстно, что у Достоевскаго всѣ дѣйствующія лица чрезвычайно проницательны и всѣ пророчествуютъ именно то, что автору нужно для дальнѣйшаго развитія событій. И вотъ какое пророчество изрекаетъ Иванъ Карамазовъ Ракитину. Пророчество это, какъ опять-таки часто бываетъ у Достоевскаго, излагаетъ самъ Ракитинъ въ разговорѣ съ Алешей: «Изволилъ (твой братъ) выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита въ весьма недалекомъ будущемъ и не рѣшусь постричься, то непремѣнно уѣду въ Петербургъ и примкну къ толстому журналу, непремѣнно къ отдѣленію критики, буду писать лѣтъ десятокъ и, въ концѣ концовъ, переведу журналъ на себя. Затѣмъ буду опять его издавать и непремѣнно въ либеральномъ и атеистическомъ направленіи, съ соціалистическимъ оттѣнкомъ, съ маленькимъ даже лоскомъ соціализма, но держа ухо востро, то-есть, въ сущности, дружа нашимъ и вашимъ и отводя глаза дуракамъ. Конецъ карьеры моей, по толкованію твоего братца, въ томъ, что оттѣнокъ соціализма не помѣшаетъ мнѣ откладывать на текущій счетъ подписныя денежки и пускать ихъ при случаѣ въ оборотъ, подъ руководствомъ какого-нибудь жидишки, до тѣхъ поръ, пока не выстрою капитальный домъ въ Петербургѣ съ тѣмъ, чтобы перевесть въ него и редакцію, а въ остальные этажи напустить жильцовъ». Всякій узнаетъ въ этомъ пророчествѣ внѣшнюю сторону исторіи одного недавно умершаго журналиста. Но каковы бы ни были грѣхи этого покойника, а роль сводни Достоевскій навѣрное уже присочинилъ для вящаго и злонамѣреннаго эффекта. Такого рода выходки вы найдете въ каждомъ романѣ Достоевскаго (высшій пунктъ этого злобнаго полу-творчества составляетъ, можетъ быть, знаменитый беллетристъ Кармазиновъ въ «Бѣсахъ»). Онъ беретъ нѣсколько чертъ, по которымъ если не всѣ, то очень многіе могутъ узнать, о комъ рѣчь идетъ, но присовокупляетъ уже отъ себя какія-нибудь экстренныя гнусности или пошлости. Въ этомъ

направленіи онъ любилъ также эксплуатировать громкіе уголовные и политическіе процессы. Словомъ, онъ дѣлалъ то-же самое, что сдѣлалъ въ «Идіотѣ» Келлеръ, напечатавъ обличительную статью противъ князя, за что, разумѣется, Келлеръ и потерпѣлъ отъ Достоевскаго. Но Келлеръ есть всего только Келлеръ, а Достоевскій есть Достоевскій, и потому брезгливое чувство читателя совершенно понятно...

Вы скажете, можетъ быть, что я сужу о Достоевскомъ, какъ человѣкъ партіи. Я не думаю, чтобы такой судъ былъ незаконенъ, но настаивать на этомъ не буду, потому что въ дѣйствительности пишу совсѣмъ не съ точки зрѣнія партіи. Что касается отношеній самого Достоевскаго къ различнымъ партіямъ, то я сейчасъ напомню одинъ любопытный фактъ, въ свое время незамѣченный, съ которымъ придется считаться всякому, кто будетъ писать о Достоевскомъ впослѣдствіи и кто вѣритъ искренности покойника. Но сперва о другомъ.

О Достоевскомъ часто говорятъ, какъ о народномъ писателѣ или, по крайней мѣрѣ, какъ о такомъ, который глубоко постигалъ самую суть русскаго народа, его душу. Это одна изъ самыхъ странныхъ, по своей неосновательности, репутацій. Изъ всѣхъ блестящихъ представителей сороковыхъ годовъ, она наименѣе приличествуетъ именно Достоевскому. Народомъ, какъ матеріаломъ для художественной обработки, онъ никогда не интересовался. Заинтересовался онъ имъ только подъ конецъ, но въ качествѣ публициста и мыслителя, а не художника. «Записки изъ мертваго дома» не въ счетъ. Это крупнѣйшее произведніе покойника и одно изъ крупнѣйшихъ во всей русской литературѣ стоитъ совсѣмъ особнякомъ. Оно, конечно, на много переживетъ все остальное имъ написанное, посвященное больному интеллигентному русскому человѣку. (Эта сравнительная недолговѣчность не отъ темы, разумѣется, зависитъ, а отъ исполненія,— Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, Отелло, тоже больные интеллигентные люди, но они вѣчны). Однако, и въ «Запискахъ изъ мертваго дома» нельзя искать настоящихъ народныхъ типовъ уже по самой исключительности сферы наблюденій автора. Очень бы ужъ это странно рекомендовало наши «общіе порядки», еслибы въ самомъ дѣлѣ оказалось, что народъ, настоящій народъ надо у насъ только на каторгѣ изучать. Затѣмъ, что касается глубокаго пониманія народной души, то оно исчерпывается въ Достоевскомъ двумя идеями: 1) народъ вѣритъ въ Царя; эта идея не есть спеціальное открытіе Достоевскаго, она давно уже стала даже общимъ мѣстомъ; 2) народъ любитъ и хочетъ страдать; это идея, дѣйствительно, оригинальная, лично Достоевскому принадлежащая, но понятно, что она получена не путемъ наблюденія и изученія, а непосредственно вытекаетъ изъ духа самого Достоевскаго. Чувство грѣха и соотвѣтственная жажда искупленія, какъ тема, не есть исключительная собственность Достоевскаго, но въ постановкѣ вопроса и въ его разработкѣ она, дѣйствительно, оригинальна. Едва-ли, однако, къ выгодѣ для дѣла.

Однажды Достоевскій въ «Дневникѣ писателя» указалъ на некрасовскаго «Власа», какъ на вещь сильную и глубоко проникающую въ народную душу. При этомъ онъ попытался и самъ создать своего собственнаго Власа. Сравните эти два образа. Грѣхи некрасовскаго Власа извѣстны: онъ «побоями въ гробъ жену свою вогналъ; промышляющихъ разбоями, конокрадовъ укрывалъ; у всего сосѣдства бѣднаго скупитъ хлѣбъ, а въ черный годъ не повѣритъ гроша мѣднаго, втрое съ нищаго сдереть; бралъ съ родного, бралъ съ убогаго». Заболѣлъ Власъ, страшно стало, муки адскія видятся. И разбуженная совѣсть наложила, наконецъ, на него крестъ. Все такое житейское, простое, прямо изъ народной жизни взятое. Къ такой простотѣ и жизненности Достоевскій былъ рѣшительно неспособенъ. Разыскивая кладъ грѣховности темною ночью, единственно при свѣтѣ мистическаго расцвѣта папоротника, онъ заставляетъ своего Власа совершить вычурнѣйшее, фантастически затѣйливое преступленіе: Власъ, причащаясь, не проглотилъ причастія, а выплюнулъ въ руку, потомъ положилъ его въ огородѣ на землю и выстрѣлилъ въ него изъ ружья! Мнѣ кажется, что достаточно сопоставить этихъ двухъ Власовъ, чтобы убѣдиться, до какой степени скудно и односторонне было въ Достоевскомъ пониманіе народной души. *Вся* эта душа резюмировалась для него въ чувствѣ грѣха и жажды страданія, чего, конечно, на дѣлѣ нѣтъ; *только* русской душѣ усвоивалъ онъ эту жажду, что, конечно, тоже невѣрно. Затѣмъ грѣхъ онъ отрывалъ отъ его житейской, общественной почвы, отъ всѣхъ этихъ скупокъ хлѣба, дранья съ «родного и убогаго» и проч., и переносилъ въ сферу фантастическую. И никогда не понималъ онъ той глубокой черты не только русскаго, а и всякаго народнаго духа, въ силу которой присутствіе грѣха обязываетъ не только къ пассивному подвигу личнаго страданія, а къ активному подвигу борьбы съ зломъ за то, что оно другихъ заставляетъ страдать *). Пусть другіе страдаютъ,

*) Превосходную иллюстрацію къ этой чертѣ читатель найдетъ въ одной главѣ поэмы Некра-

пусть всѣ страдаютъ! не мѣшай! самъ смирись и страдай,—вотъ все, что ты можешь сдѣлать; такъ говорилъ Достоевскій, повинуясь требованію своего собственнаго духа. Но такъ какъ опираться на свой собственный духъ въ подобномъ дѣлѣ немножко стыдно, то Достоевскій искалъ внѣшнихъ санкцій и, разумѣется, нашелъ: Богъ и русскій народъ—вотъ кто требуетъ страданія! Но, конечно, это неправда: просто Достоевскій требуетъ, и потому объ изученіи, наблюденіи, пониманіи тутъ даже и рѣчи быть не можетъ. По этой же самой причинѣ наполовину правъ г. Кони, рекомендовавшій юристамъ учиться у Достоевскаго гуманному отношенію къ преступникамъ; но правъ и я, утверждая, что покойный романистъ распространялъ самыя извращенныя юридическія понятія. Дѣло въ томъ, что тѣхъ преступниковъ, которые, лишившись Бога, корчатся въ судорогахъ ущемленной совѣсти и затѣмъ смиряются и самоуничтожаются, Достоевскій, дѣйствительно, «прощалъ» и относился къ нимъ тепло. Но это только послѣ отбытія наказанія и цѣлаго ряда страданій вообще. Страданіе же и униженіе считалъ благотворными даже для людей ни въ чемъ неповинныхъ, и потому громилъ прокуроровъ за слабость обвиненія, адвокатовъ за дерзость оправданія, присяжныхъ за то, что они оправдательными приговорами лишаютъ подсудимыхъ блаженства «строгихъ наказаній острога и каторги».

Вернемся къ народу. Пусть Достоевскій скудно и односторонне понималъ народную душу, но онъ горячо любилъ народъ, желалъ ему добра и видѣлъ въ немъ надежду Россіи. Это правда. И великая честь за это покойнику. Подобно многимъ людямъ сороковыхъ годовъ, Достоевскій понималъ, что идетъ какая-то еще неясная, но навѣрное грозная и грязная сила, одинаково враждебная и общимъ идеаламъ сороковыхъ годовъ, и мужику. Понималъ это и Писемскій и выражалъ (въ «Ваалѣ», «Просвѣщенномъ времени», «Мѣщанахъ») съ свойственною ему грубою, сухою и узкою опредѣлительностью. Понималъ и Достоевскій, но до конца дней своихъ не могъ установиться на рѣшеніи, откуда собственно гроза надвигается? Мыслилъ онъ, надо сказать, чрезвычайно тяжело и медленно, и не по слабости мысли, а потому, что она у него была обвѣшена разными отягощающими привѣсками, какъ каторжникъ кандалами. Если какой-нибудь поэтическій образъ не давался ему сразу, однимъ порывомъ вдохновенія и если приходилось, поэтому, звать на помощь чисто логическую силу, то онъ оказывался совершенно безпомощнымъ. Онъ возвращался къ искомому не разъ, не два, повторялъ его въ цѣломъ рядѣ романовъ, но все-таки ни до чего не доходилъ (въ такой неопредѣленности остался, напримѣръ, упомянутый выше безпокойный женскій типъ и многіе другіе). Тѣмъ затруднительнѣе было его положеніе въ области политики или публицистики. Мы видѣли, что уже въ «Идіотѣ», то есть въ 1868 г., высказывается въ чрезвычайно смутномъ видѣ завѣтная мысль Достоевскаго, что кто оторвался отъ народной почвы, тотъ тѣмъ самымъ отъ Бога оторвался, и наоборотъ. Эта мысль и черезъ десять лѣтъ высказывалась съ такою же любовью, но и въ томъ же смутномъ видѣ. Во всякомъ случаѣ, Достоевскій всегда искалъ, вдумывался. Такъ было и относительно надвигающейся на русскій народъ грозы. Мнѣ остается слишкомъ мало времени и мѣста, чтобы прослѣдить всѣ запутанныя перипетіи исканій Достоевскаго. Кое-что объ этомъ мною было разъяснено въ «Отечественныхъ Записках» 1873 г., гдѣ шла рѣчь о «Бѣсахъ». Теперь укажу только на слѣдующій фактъ. По поводу январской книжки «Отечественныхъ Записокъ 1873 г., Достоевскій заявилъ, что въ нѣкоторыхъ статьяхъ ея онъ нашелъ «какъ бы новое откровеніе». Онъ писалъ это въ «Дневникѣ писателя», который велъ тогда еще въ «Гражданинѣ», а вслѣдъ затѣмъ предложилъ намъ своего «Подростка». Мнѣ, по многимъ причинамъ, пріятно напомнить это обстоятельство, между прочимъ, и въ виду многоразличной брани, которая, я предвижу, обрушится на меня за предлагаемую статью. Но совершенно отъ этихъ соображеній независимо, во всякомъ случаѣ интересно отмѣтить собственное признаніе покойника, откуда онъ получилъ «новое откровеніе». Статьи, на которыя онъ указывалъ, развивали ту мысль, что народу послѣ реформы, а отчасти даже въ связи съ ней, дѣйствительно грозитъ бѣда быть умственно, нравственно и экономически обобраннымъ. Эта мысль стала съ тѣхъ поръ любимою мыслью Достоевскаго, во имя ея онъ и новыя «учрежденія» встрѣчалъ враждебно. Но общій строй его мысли и идеаловъ уже слишкомъ закоренѣлъ въ своей фантастичности и произвольности, чтобы «новыя откровенія» могли отлиться въ твердые, ясные результаты...

Въ концѣ концовъ невольно рождается вопросъ: что искалѣчило Достоевскаго?—потому что въ этомъ-то нельзя же сомнѣваться, что онъ искалѣченъ.

сова «Кому на Руси жить хорошо?», именно въ разсказѣ «О двухъ великихъ грѣшникахъ». Прибавьте разсказы «Про холопа примѣрнаго—Якова вѣрнаго» и «Крестьянскій грѣхъ», и вы увидите, что значитъ истинное пониманіе народной души въ вопросѣ грѣха и искупленія.

— Нѣтъ, можно и должно, отвѣчаютъ нѣкоторые. Въ устахъ Достоевскаго апоѳеозъ каторги, какъ горнила очищенія, понятенъ, онъ такъ вяжется со всѣмъ строемъ его мысли. Но находятся поклонники умершаго романиста, которые повторяютъ эту дикую, безчеловѣчную фразу въ приложеніи къ нему самому! Они утверждаютъ, что онъ обладалъ свѣтомъ истины и что получилъ онъ ее именно тамъ, на каторгѣ! Ихъ не смущаетъ даже то очевидное обстоятельство, что на каторгѣ онъ получилъ падучую болѣзнь, каковая во всякомъ случаѣ не свидѣтельствуетъ о психическомъ здоровьи. Значитъ, свѣтъ не просто съ востока идетъ, а изъ Сибири, изъ каторги... Ну, что-жъ! благословимъ это благодѣтельное учрежденіе...

Вина Достоевскаго, какъ значится въ судебномъ дѣлѣ, состояла въ слѣдующемъ: «Достоевскій, по собственному сознанію, посѣщалъ собранія у Петрашевскаго три года; слушалъ сужденія, самъ принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры, и на одномъ собраніи въ мартѣ 1849 года, прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для снятія копіи Момбелли. На собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предложеніи завести литографію, у Спѣшнева слышалъ чтеніе «Солдатской Бесѣды». При слѣдствіи, сознаваясь въ участіи въ разговорахъ о возможности нѣкоторыхъ перемѣнъ и улучшеній, отозвался, что предполагалъ ожидать этого отъ правительства; письмо же Бѣлинскаго читалъ какъ литературный памятникъ, будучи увѣренъ, что оно никого не можетъ привести въ соблазнъ».

За столь тяжкія преступленія Достоевскій былъ приговоренъ къ смертной казни разстрѣляніемъ: казнь была замѣнена восемью годами каторжной работы въ крѣпостяхъ, затѣмъ срокъ каторги сокращенъ до четырехъ лѣтъ, съ поступленіемъ по окончаніи этого срока на службу солдатомъ. Справедливѣйшій и возвышеннѣйшій приговоръ, если вѣрить Достоевскому, что и невинному человѣку надлежитъ быть на каторгѣ. И если эту мысль поклонники художника повторяютъ въ приложеніи къ нему самому, то это свидѣтельствуетъ, повидимому, о необыкновенно сильномъ вліяніи покойника. Значитъ, успѣлъ же онъ убѣдить современниковъ, что страданіе и въ частности именно каторжное страданіе, благотворно и довлѣетъ само себѣ. Значитъ, и въ неприкосновенности общаго порядка успѣлъ убѣдить, того порядка, который казнитъ и ссылаетъ за разговоры о строгости цензуры... Нѣтъ, это совсѣмъ не то значитъ. Если бы на сужденіяхъ слѣпыхъ хвалителей покойника можно было что-нибудь основывать, то пришлось бы сказать, что вліяніе Достоевскаго было необыкновенно слабо; что страшныя картины послѣднихъ мгновеній приговореннаго къ смертной казни, поражающее реальной правдой описаніе ужасовъ каторги, словомъ все то, что Достоевскій далъ намъ съ настоящей художественной силой, пропало для насъ даромъ. Или уже у насъ такъ шкуры толсты, что ихъ не прошибешь никакими страшными картинами? Или мы изолгались до того, что осмѣливаемся публично называть бѣлое чернымъ?

Неужто, господа, вы думаете, что оказали бы почетъ Христу, заявивъ, что терновый вѣнецъ не исцарапалъ его лица и не запачкалъ его кровью? Нѣтъ, въ тысячу разъ больше уваженія къ покойнику выразили бы вы, еслибы признали его искалѣченнымъ каторгой и болѣзнью, и еслибы сказали на его могилѣ: не учителю или руководителю нашему мы кланяемся, мы «всему страданію человѣческому поклоняемся». Такъ говорилъ Раскольниковъ, припадая къ ногамъ забитой, искалѣченной порядкомъ вещей Сони...

III.

Нѣчто о лицемѣрахъ *).

Изъ Стерлитамака (Оренбургской губерніи) газетѣ «Недѣля» пишутъ: «Петербургскій апостолъ Пашковъ проповѣдуетъ, что «вѣра спасаетъ безъ дѣла». Зато управляющій г. Пашкова больше упираетъ на дѣло. Въ 50-ти верстахъ отъ Стерлитамака, г. Пашковъ имѣетъ богатый мѣдиплавильный заводъ, Богоявленскій, съ пятью большими деревнями, приписанными къ заводу. Нѣсколько тысячъ заводскихъ крестьянъ были надѣлены землею по ⅛ десятины на душу. Поэтому они вынуждены пашни для посѣвовъ, луга для сѣнокоса и выгонъ снимать у заводской конторы по 1 р. 30 к. за десятину. Управляющій заводомъ, Гальтонъ (англичанинъ), обставилъ дѣла такъ, что земля дается только тѣмъ, которые отбываютъ нѣкоторыя заводскія работы, а при исполненіи работъ, при конторскихъ разсчетахъ, каждая десятина обходится мужику дороже 1 руб. 85 к. Неработающимъ на заводахъ не даютъ земли. Каковы условія этихъ работъ, видно, напримѣръ, изъ того, что крестьяне перевозятъ на заводъ съ каргалинскихъ рудниковъ (близъ Оренбурга), на разстояніи болѣе 250-ти верстъ, мѣдную руду, по 15 к. съ пуда, между тѣмъ, какъ провозная плата отъ Стерлитамака до Оренбурга, за 225

*) 1881, г. мартъ.

верстъ, 25 коп. При взвѣшиваніи руды каждыя сани возчика ставятся въ 9 пудовъ и кѣсъ этотъ скидывается съ платы, тогда какъ самыя лучшія сани вѣсятъ не свыше $4^1/_2$ пудовъ, а большинство отъ $3^1/_2$ до 4-хъ пудовъ. Если посчитать все количество перевозимой руды, то выйдетъ, что у крестьянъ, посредствомъ такихъ пріемовъ, урывается ежегодно не менѣе 10,875 рублей. Это такая сумма, которой хватило бы на уплату за всѣхъ пашковскихъ крестьянъ податей, повинностей и мірскихъ сборовъ, да еще осталось бы на выпивку міроѣдамъ, стоящимъ горою за заводское правленіе. При такихъ условіяхъ, г. Пашковъ едва-ли не напрасно старается распространять между крестьянами черезъ заводскую контору, душеспасительныя книги».

Съ благочестивыми людьми подобныя вещи случаются не рѣдко. Но, мнѣ кажется, тотъ, кто увидитъ въ поведеніи г. Пашкова образчикъ лицемѣрія во вкусѣ мольеровскаго Тартюфа, рискуетъ очень ошибиться. Быть можетъ, «петербургскій апостолъ» (нынѣ, впрочемъ, кажется, уже лондонскій), постоянно устремляя очи горе, просто не видитъ и не знаетъ, что дѣлается у него подъ ногами: Стерлитамакъ, вѣдь это такъ далеко! Быть можетъ, въ самую доктрину г. Пашкова (мнѣ, признаюсь, мало извѣстную) входитъ, какъ необходимая составная часть, обираніе мужика для спасенія его же мужицкой души. Быть можетъ, наконецъ, г. Пашковъ совершенно искренно цѣнитъ распространяемыя имъ между крестьянами душеспасительныя брошюры ровно въ 10,875 р. въ годъ. Вообще, очень вѣроятно, что г. Пашковъ не лицемѣръ. Но отъ этого не легче крестьянамъ пяти деревень, приписанныхъ къ Богоявленскому мѣдиплавильному заводу. Не легче нетолько въ матеріальномъ отношеніи, это само собою разумѣется, а и въ нравственномъ смыслѣ. Потрудитесь вы самомъ дѣлѣ заглянуть мысленно въ душу того мужика, который сидитъ на $^3/_8$ десятины, у котораго скидываютъ съ провозной платы за девяти-пудовыя сани, вѣсящія въ дѣйствительности четыре пуда, съ которымъ продѣлываютъ и другіе подобные фокусы, но которому вручаютъ при этомъ душеспасительную брошюру. Мы съ вами, глядя на дѣло со стороны, можемъ придумывать для г. Пашкова всевозможныя смягчающія обстоятельства, любезно сглаживать противорѣчащія стороны его дѣятельности и высоко цѣнитъ его благочестіе. Но мужикъ, получающій изъ однѣхъ и тѣхъ же рукъ душеспасительную брошюру и фальшивую бумажку (ибо, иносказательно говоря, контора г. Пашкова расплачивается фальшивыми ассигнаціями), никакихъ этихъ circonstances atténuantes во вниманіе не возьметъ. И можете себѣ представить, къ какимъ онъ долженъ приходить страннымъ заключеніямъ насчетъ благочестія вообще и благочестія г. Пашкова въ особенности!

Вообще, приходило-ли вамъ когда-нибудь въ голову представить себѣ картину полнаго «единенія» съ мужикомъ? въ томъ именно родѣ, что мужикъ сидитъ съ нами, слушаетъ и понимаетъ наши дебаты, а мы, въ свою очередь, слушаемъ и понимаемъ мужицкія рѣчи или, по крайней мѣрѣ, понимаемъ мужицкую душу, если мужикъ отказывается отъ произнесенія рѣчей? Веселенькіе, я думаю, тутъ могутъ выдти психологическіе пейзажики. Особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда наше лицемѣріе не можетъ представить уже ровно никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ въ свое оправданіе. А это бываетъ. Позвольте представить любопытнѣйшій примѣръ, который хорошъ тѣмъ, во-первыхъ, что очень нагляденъ, а во-вторыхъ тѣмъ, что очень типиченъ.

18-го декабря прошлаго года, въ Москвѣ, въ залѣ благороднаго собранія происходилъ духовный концертъ. Исполнялп, между прочимъ, «обѣдню Чайковскаго». По этому поводу нѣкто «Старый московскій священнослужитель» напечаталъ въ № 8-мъ газеты «Русь» протестующее письмо. Авторъ чрезвычайно энергически по существу, но очень сдержанно и вообще прилично по формѣ, доказывалъ, съ точки зрѣнія священнослужителя, незаконность такого явленія, какъ «обѣдня Чайковскаго» и вообще духовный концертъ 18-го декабря. Доказалъ-ли онъ этотъ свой тезисъ — я рѣшить не берусь, ибо не считаю себя призваннымъ судить о вещахъ съ точки зрѣнія священнослужителя. Да и не нужно мнѣ это въ данномъ случаѣ, потому что я объ лицемѣрахъ говорю, а «Старый московскій священнослужитель» ничѣмъ не заслужилъ такого титула. Съ нимъ можно соглашаться или не соглашаться, но онъ, во всякомъ случаѣ, полно и послѣдовательно оцѣнилъ, съ извѣстной спеціальной точки зрѣнія, обратившій на себя его вниманіе фактъ. Тутъ нѣтъ даже и повода для разговора о лицемѣріи. Одно только позволю я себѣ замѣтить. «Старый московскій священнослужитель», между прочимъ, негодуетъ на то, что музыка, приложенная къ священнымъ пѣснопѣніямъ, исполняется «за деньги». Этого упрека я не понимаю, ибо священно и церковно-служители, исполняющіе эти самыя пѣснопѣнія въ храмахъ, также получаютъ вознагражденіе.

Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ.

Прошла недѣля, другая, третья. И вотъ въ № 14-мъ «Руси» является передовая статья на тему, затронутую «Старымъ мо-

сковскимъ священнослужителемъ», но уже съ разными, достойными вниманія и подлежащими свѣтскому обсужденію вывертами. Почтенная газета сознается, что, дескать, «мы, лично, вѣроятно, не обратили бы на эту «концертную обѣдню» никакого вниманія, до такой степени неуваженіе къ народной святынѣ вошло у насъ въ общественный обычай и нравы». Но, говоритъ, когда «Старый московскій священнослужитель» доставилъ намъ свой протестъ, мы его немедленно напечатали, чего никакая другая газета не сдѣлала бы; не сдѣлала бы «не столько по причинѣ разномыслія, сколько ради боязни подвергнуться упреку въ ретроградствѣ, страха ради *іудейска* въ буквальномъ смыслѣ этого слова». Статья № 8-й «Руси», продолжаетъ г. Аксаковъ, вызвала въ нѣкоторыхъ газетахъ гнѣвныя выходки и глумленія. Причемъ «одинъ изъ такихъ фельетоновъ, должно быть, самый язвительный былъ написанъ, сколько намъ извѣстно, именно «интеллигентнымъ» іудеемъ»...

Дѣло, впрочемъ, опять-таки не въ этомъ, не въ этихъ сплетнически-іезуитскихъ и ни съ чѣмъ несообразныхъ намекахъ на то, чего не вѣдаетъ никто. А въ томъ дѣло, что «Русь» переноситъ вопросъ на свѣтскую и именно политическую почву. Московская газета согласна признать, что въ «обѣднѣ Чайковскаго» и вообще въ томъ, что такъ возмутило «Стараго священнослужителя», по существу, нѣтъ ни грѣха, ни преступленія, ни чего нибудь противнаго религіи или ученію церкви. Тѣмъ не менѣе, концертъ 18-го декабря, равно какъ и театральныя зрѣлища въ великомъ посту, подлежатъ строгому осужденію, ибо въ подобнаго рода вещахъ сказывается неуваженіе къ «отеческимъ обычаямъ», къ «требованію нравственнаго народнаго чувства». И такъ, слѣдуетъ осудить великопостныя театральныя представленія и духовные концерты, не потому, чтобы въ нихъ было что-нибудь предосудительное, съ точки зрѣнія осуждающаго, а потому, что они другимъ кажутся предосудительными. Другими словами, «Русь» рекомендуетъ лицемѣріе. Само собою разумѣется, что, развивая тему, въ нравственномъ отношеніи столь скользкую, да еще тономъ грознаго проповѣдника - моралиста, почтенная газета должна принимать болѣе или менѣе рискованныя позы. И дѣйствительно, какъ ни изловчился г. Аксаковъ въ выкрикиваніи разныхъ «жупеловъ», а все-таки не избѣгъ въ настоящемъ случаѣ положеній, даже болѣе, чѣмъ рискованныхъ.

Такъ, не довольствуясь доказательствами домашними, г. Аксаковъ отправился за море и тамъ выискалъ слѣдующее: «Ужъ, конечно, сильные мыслители и высокообразованные умы Англіи очень хорошо понимаютъ, что такое соблюденіе воскреснаго дня, какое полагается англійскимъ обычаемъ, обличаетъ нѣкоторый формализмъ и узкость религіознаго воззрѣнія, не заключаетъ въ себѣ никакой высшей, безусловной истины. Конечно, ни Джонъ Стюартъ Милль, ни Спенсеръ, ни Бокль, которымъ даже наши интеллигенты и либералы не откажутъ въ умѣ и либерализмѣ, никогда не дозволили себѣ оскорблять чувство своего народа явнымъ пренебреженіемъ къ чтимому народомъ обычаю». Въ Англіи лицемѣрія дѣйствительно вдоволь, за что ей всегда и доставалось отъ ея собственныхъ великихъ людей, напримѣръ, отъ Байрона. Что же касается Милля, Бокля и Спенсера, то хотя ихъ воскресное времяпровожденіе мнѣ неизвѣстно, я рѣшаюсь всетаки утверждать, что московская газета совершенно напрасно на нихъ ссылается. Но замѣтьте, пожалуйста, какой съ Божіей помощью оборотъ: г. Аксаковъ, какъ извѣстно, стоитъ на томъ, что Европа намъ не указъ, а лишь только въ этой самой Европѣ ему померещились образцы лицемѣрія, такъ онъ готовъ воскликнуть: вотъ люди! Однако, увы! г. Аксакову образцы лицемѣрія именно только померещились. Много лицемѣрія въ Англіи, но ея лучшіе сыны всегда противъ него протестовали и ни Милль, ни Бокль, ни Спенсеръ не заслужили той оскорбительно-хвалебной аттестаціи, которую имъ выдаетъ «Русь». Я могъ бы выписать цѣлые десятки страницъ изъ ихъ сочиненій въ доказательство, что они не годятся въ учителя лицемѣрія, но ограничусь только двумя цитатами.

Въ книгѣ «О свободѣ» Милль касается, между прочимъ, и англійскихъ порядковъ воскреснаго времяпровожденія. Рѣшаетъ онъ, однако, этотъ вопросъ совсѣмъ не такъ, какъ можно было бы ожидать на основаніи легкомысленной ссылки г. Аксакова. Милль говоритъ: «Стѣсненія личной свободы избирать для себя тотъ или другой родъ удовольствій, какой кому нравится, не имѣютъ въ свое оправданіе никакого основательнаго довода, и защитникамъ этихъ стѣсненій ничего болѣе не остается, какъ опереться на то основаніе, что есть такія удовольствія, которыя осуждаются религіей. Но подобное притязаніе мотивировать законъ религіозными соображеніями заслуживаетъ самаго энергическаго протеста... То чувство, которое въ настоящее время обнаруживается въ постоянно повторяемыхъ попыткахъ прекратить движеніе по желѣзнымъ дорогамъ въ воскресные дни, запереть музеумы и т. п., это чувство свидѣтельствуетъ объ умственномъ состояніи, въ сущности совершенно одинаковомъ съ тѣмъ, которое дѣла-

ло людей способными на религіозныя преслѣдованія». А вотъ страничка изъ Спенсера. Въ опытѣ «Обычаи и приличія», между прочимъ. читаемъ: «Для истиннаго реформатора нѣтъ ни учрежденій, ни вѣрованій, которыя стояли бы выше критики. Все должно сообразоваться съ справедливостью и разумомъ; ничто не должно спасаться силою своего обаянія. Предоставляя каждому человѣку свободу достиженія своихъ цѣлей и удовлетворенія своихъ вкусовъ, онъ требуетъ для себя подобной же свободы и не согласенъ ни на какія ограниченія ея, кромѣ тѣхъ, которыя обусловливаются подобными же правами другихъ людей. Ему все равно, исходитъ-ли постановленіе отъ одного человѣка или отъ всѣхъ людей... Онъ выскажетъ свое мнѣніе, несмотря на угрожающее наказаніе, онъ нарушитъ приличія, несмотря на мелкія преслѣдованія, которымъ его подвергнутъ... Онъ предупреждаетъ ихъ (своихъ противниковъ), что будетъ непремѣнно сопротивляться и что сдѣлаетъ это нетолько для сохраненія своей собственной независимости, но и для ихъ же блага. Онъ доказываетъ имъ, что они рабы и не сознаютъ этого; что они скованы и цѣлуютъ свои цѣпи; что они всю свою жизнь прожили въ тюрьмѣ и жалуются, что стѣны ея рухнули. Онъ говоритъ, что считаетъ своею обязанностью упорствовать для того, чтобы освободиться и, несмотря на настоящія ихъ порицанія, предсказываетъ, что когда они успокоятся отъ страха, причиненнаго имъ перспективой свободы, они сами будутъ благодарить его за то, что онъ помогъ имъ освободиться».

Щадя сѣдины г. Аксакова, я прекращаю выписки. Приведеннаго достаточно, я думаю, чтобы снять съ англійскихъ мыслителей похвалу или клевету (это какъ кому угодно) московской газеты. Полемизируя съ славянофиломъ, я бы, разумѣется, никогда не позволилъ себѣ искать опоры въ мнѣніяхъ Милля или Спенсера, ибо, при обыкновенныхъ условіяхъ, эти мнѣнія въ глазахъ славянофила ровно ничего не стоятъ. Но г. Аксаковъ самъ выразилъ желаніе, чтобы мы, русскіе, поучились у этихъ англичанъ... Такимъ образомъ, очевидно, что уличать Европу огуломъ въ недоброкачественности много легче, чѣмъ отличать въ ней хорошее и дурное. Очевидно также, что если г. Аксаковъ говоритъ что-нибудь даже съ величайшимъ апломбомъ, то вѣрить ему на слово отнюдь нельзя.

Этимъ, однако, далеко не исчерпывается рискованныя положенія, въ которыя г. Аксаковъ становится, возводя лицемѣріе въ нравственно-политическій принципъ. Его, напримѣръ, очень смѣшитъ и сердитъ мысль, что «наши либералы» и «демократы» многоглагольствуютъ о гуманности, ратуютъ за матеріальные интересы народа съ горячностью, подчасъ даже вполнѣ искреннею, но въ грошъ не ставятъ именно того, что для русскаго народа дороже и святѣе всякихъ вещественныхъ прибылей и выгодъ». Не считаю себя призваннымъ защищать всѣхъ русскихъ «либераловъ» и «демократовъ». Но думаю всетаки, что ироническія ковычки, въ которыя г. Аксаковъ помѣщаетъ «либераловъ» значительно, колеблются въ настоящемъ случаѣ мнѣніями Милля и Спенсера, за коими «Русь» согласна признать истинный «умъ и либерализмъ». Конечно, русскій «либералъ» не привыкъ ставить вопросъ такъ рѣзко и круто, какъ онъ поставленъ, напримѣръ, у Спенсера, но отъ этого тезисъ г. Аксакова ни мало не выигрываетъ. Пикантнѣе поставлено обвиненіе «демократовъ». Г. Аксаковъ полагаетъ, что истинный демократъ долженъ смотрѣть на вещи непремѣнно такъ, какъ смотритъ на нихъ народъ, что въ такомъ именно единеніи съ народомъ и состоитъ демократизмъ, достойный быть освобожденнымъ отъ ироническихъ ковычекъ. Истинный демократъ долженъ ходить, напримѣръ, въ театръ только въ мясоѣдъ, и не потому, чтобы въ великопостномъ спектаклѣ было что-нибудь преступное, грѣховное въ религіозномъ или въ высшемъ нравственномъ смыслѣ, а потому, что онъ представляетъ «эстетическое или, вѣрнѣе, свѣтски-суетное услажденіе меньшинства, *господъ*», отвергаемое народнымъ благочестіемъ. Осмѣливаюсь думать, что театральныя представленія, даваемыя въ мясоѣдъ, точно также составляютъ достояніе *господъ*. Что же касается народнаго благочестія и народныхъ вѣрованій вообще, то для вящшаго уясненія ихъ роли въ настоящемъ случаѣ, позвольте отойти на минуту отъ нашихъ русскихъ дѣлъ и русскаго народа.

Индусы вѣруютъ, что Брама, верховный повелитель міра, сотворилъ брамина изъ устъ своихъ, кшатрія — изъ рукъ своихъ, ваисія — изъ бедра и судра — изъ ноги. Это—народное индусское вѣрованіе, притомъ такое, на которомъ зиждется весь строй индійскаго общества. Представьте же себѣ индійскаго демократа, который отстаивалъ бы это вѣрованіе, не потому, что оно соотвѣтствуетъ его религіозному настроенію, а именно потому, что онъ демократъ! Разсуждая по методѣ газеты «Русь», мы должны признать такое странное явленіе возможнымъ, логическимъ и желательнымъ. Между тѣмъ ясно, что нашъ индійскій демократъ стоялъ бы за угнетеніе и униженіе своего народа, отстаивалъ бы принципъ

существенно аристократическій, притомъ въ самой возмутительной формѣ. Ясно, что называть себя демократомъ онъ могъ бы только или по крайней глупости, не умѣющей различать бѣлое отъ чернаго, или изъ лицемѣрія. Это очень рѣзкій примѣръ, но онъ наглядно показываетъ всю глубину политическаго недомыслія или политическаго лицемѣрія «Руси». То или другое изъ этихъ блистательныхъ качествъ еще рѣзче оттѣняется признаніемъ почтенной газеты, что презираемые ею «демократы» «ратуютъ за матеріальные интересы народа съ горячностью, подчасъ даже вполнѣ искреннею». Лучше не могъ бы сказать самъ г. Пашковъ или его контора, раздающая крестьянамъ душеспасительныя брошюры и фальшивыя ассигнаціи.

Какъ ни противно все это лицемѣріе, въ немъ есть, однако, и хорошая сторона. Хорошо именно то, что лицемѣріе раскрываетъ свои карты. Теперь понятно, почему «Русь» такъ охотно печатаетъ статьи такъ называемаго «успокоительнаго» свойства, статьи гг. Самарина и другихъ, въ которыхъ доказывается, что крестьянское малоземелье есть коварная выдумка петербургскихъ демократовъ: почтенная газета заботится болѣе о духѣ, чѣмъ о матеріи, совершенно также, какъ г. Пашковъ. Согласитесь, однако, что это вовсе не выходъ изъ рискованнаго положенія, созданнаго проповѣдью лицемѣрія. Согласитесь, что петербургскіе «демократы» имѣютъ нѣкоторое право отвѣтить «Руси» приблизительно слѣдующее:

Въ дѣлѣ, касающемся нашей личной совѣсти, мы не признаемъ авторитета народнаго благочестія и народныхъ вѣрованій вообще. Еслибы наши религіозныя и нравственныя убѣжденія осуждали духовные концерты и великопостные спектакли, мы воздержались бы отъ ихъ посѣщенія. Но такъ какъ этого нѣтъ, такъ какъ сама «Русь» не находитъ въ этихъ посѣщеніяхъ ничего противнаго религіи или ученію церкви, то мы не видимъ никакихъ резоновъ для воздержанія въ угоду народнымъ предразсудкамъ. При этомъ наша совѣсть совершенно спокойна и со стороны вѣрности демократическому принципу, ибо принципъ этотъ отнюдь не въ томъ состоитъ, чтобы во всемъ вторить народу. Напротивъ, онъ обязываетъ всѣми возможными и доступными средствами поднимать нравственный и умственный уровень народа и, слѣдовательно, въ частности разъяснять ему, какъ грубо его пониманіе религіи, если онъ дѣйствительно видитъ оскорбленіе своей святыни въ духовныхъ концертахъ и великопостныхъ спектакляхъ; какъ нелѣпы его понятія о началахъ общежитія, если онъ въ самомъ дѣлѣ, говоря словами Милля, «вѣритъ, что Богъ не только гнѣвится неблагочестивыми поступками невѣрующаго, но гнѣвится и на насъ, если мы дозволяемъ безпрепятственно совершать эти неблагочестивые поступки». Мы должны сознаться въ своемъ безсиліи, должны признать, что, по обстоятельствамъ времени и мѣста, которыя измѣнятся же когда-нибудь, мы не можемъ въ настоящее время служить просвѣтлѣнію народнаго разума, какъ то обязаны были бы дѣлать въ силу своихъ демократическихъ принциповъ. Но это практическое безсиліе ни мало не колеблетъ нашихъ идеаловъ и уже никакъ неспособно заставить принять противуположный образъ дѣйствій, то есть систематическое, сознательное и преднамѣренное потворство завѣдомо неправильнымъ народнымъ вѣрованіямъ. Это потворство есть не демократизмъ, а лицемѣріе, равно унижающее к религію, и народъ, и самого лицемѣра. Таково наше положеніе относительно «духа». Намъ тутъ нечего стыдиться, и пусть безпристрастные люди разсудятъ, кто выше и чище понимаетъ этотъ «духъ»—мы-ли, или московская газета, мечущая въ насъ громы за неуваженіе къ духу. Что касается «матеріи», то и въ этой области мы не безъ духа живемъ, то-есть не безъ идеаловъ. Между прочимъ, въ нашъ идеалъ входитъ экономически сильное, матеріально самостоятельное крестьянство. И въ этомъ отношеніи нашъ идеалъ совершенно совпадаетъ съ идеаломъ народа. Господа московскіе лицемѣры! вы толкуете о народныхъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ, какъ о высшемъ, непререкаемомъ критеріи. Спросите же народъ, какъ онъ понимаетъ «теорію о недостаточности крестьянскихъ надѣловъ». Спросите,— и уберите со страницъ своей газеты разсужденіе гг. Самариныхъ и иныхъ, ибо вы очень хорошо знаете, какъ рѣшаетъ этотъ вопросъ народъ. Но здѣсь, въ области столь презираемыхъ вами матеріальныхъ интересовъ, вы рѣшаетесь имѣть свое собственное сужденіе, не стѣсняясь «народной исторической правдой», «самобытностью» и другими фразами, которыя, однако, безъ удержу скачутъ съ вашего языка, когда рѣчь идетъ о томъ, чтобы потворствовать грубости и невѣжеству народному... О, еслибы въ самомъ дѣлѣ, мужикъ присутствовалъ при нашихъ дебатахъ! Можетъ быть, онъ сказалъ бы: «Господь съ вами, господа, ходите себѣ въ театръ, когда угодно и сколько угодно, а намъ бы только землицы прихватить»... Но, можетъ быть, онъ разсудилъ бы и иначе. Землицы-то онъ во всякомъ случаѣ прихватить пожелалъ бы, но можетъ быть онъ прибавилъ бы: «а въ театръ великимъ по-

стомъ ходить не моги»... Что-нибудь въ этомъ родѣ... Я не знаю... Но вотъ что я знаю навѣрное: каковъ бы ни былъ въ послѣднемъ случаѣ трагизмъ нашего положенія (истинно трагизмъ, потому что не въ одномъ театрѣ тутъ дѣло, конечно), но наша совѣсть будетъ чиста: мы не лицемѣрили, мы ничего на народномъ невѣжествѣ не строили и не собирались строить, мы не хотѣли держать мужика въ духовной нищетѣ и грубости, чтобы съ тѣмъ большимъ удобствомъ загнать его къ себѣ въ батраки и арендаторы...

IV.

О порнографіи *).

На душѣ было пасмурно. Обрывки мыслей перебивали другъ друга, не кристализуясь въ правильныя логическія формы. Какая-то посторонняя, стихійная сила гнала ихъ въ безпорядкѣ въ одну сторону и разбивала о страшныя картины. Внѣ ихъ—ни думъ, ни чувствъ. Не до работы было. По привычкѣ, рука тянулась къ книгѣ, къ новому номеру журнала и перелистывала страницы. Но строки только передъ глазами мелькали, ничего не говоря «очамъ духовнымъ». Нужно было усиленное напряженіе воли, чтобы войти въ колею, но затѣмъ было безразлично, на какой мысли или на какомъ явленіи остановиться для сосредоточенія. Лишь бы не на московскихъ благоглупостяхъ и благомерзостяхъ, отъ которыхъ и при обыкновенномъ-то теченіи дѣлъ, что называется, съ души воротитъ, а теперь они... точно розы въ цвѣту, хотѣлъ я сказазь, да вспомнилъ, что роза красива и благоуханна.

Я взялъ первую попавшуюся подъ руку книгу, развернулъ тоже гдѣ попало и сталъ читать съ твердымъ намѣреніемъ, такъ сказать, прилѣпиться мыслью къ читаемому. Это былъ апрѣльскій номеръ «Русской Рѣчи» и развернулся онъ на повѣсти г. Немировича-Данченко «Краденое счастье».

И содержаніе, и пикантныя особенности этой повѣсти вы, можетъ быть, уже знаете, если не изъ самой повѣсти, то изъ газетъ, которыя, кажется, всѣ обратили вниманіе на новое произведеніе г. Немировича-Данченко. Такова наша доля. Мы, журналисты, сотрудники такъ называемыхъ толстыхъ журналовъ, по необходимости, живемъ нынѣ заднимъ числомъ. И не далеко уже вѣроятно то время, когда газета съ одной стороны, книга и брошюра съ другой, низведутъ журналъ на степень сборника въ родѣ Revue des deux Mondes, Deutsche Rundschau и англійскихъ обозрѣній. Къ худу или къ хорошу, но такъ будетъ. Жизнь начинаетъ кипѣть слишкомъ быстро, чтобы за ней могла угоняться неповоротливая форма ежемѣсячнаго журнала. Но пока что, а теперь газеты еще оставляютъ намъ кое-что изъ текущихъ житейскихъ мелочей «на разживу». По спѣшности-ли дѣла, или по какой иной, субъективной причинѣ, но газеты рѣдко проходятъ весь тотъ кругъ выводовъ и наблюденій, который вызывается извѣстною текущею житейскою мелочью. Такъ было, кажется, и съ повѣстью г. Немировича-Данченко. Газеты отмѣтили ея порнографическій характеръ, и только.

Жила была дѣвушка, Ольга Максимова. Она была чрезвычайно уродлива, до отвращенія. Уродлива, однакъ, лицомъ только. У ней былъ «отвратительный носъ», «невозможные скулы и лобъ», «безцвѣтные глаза». Но за то она обладала прелестной, стройной таліей, прелестными ножками и ручками, а главное—умомъ. Физическое уродство дѣло непріятное, конечно, и можетъ влить не мало горечи въ жизнь дѣвушки. Но объяснить всю судьбу Ольги Максимовой однимъ физическимъ уродствомъ невозможно. Очевидно, она была кромѣ того уродъ нравственный, хотя ея творецъ и не замѣчаетъ этого. Ольга Максимова очень рано начала тяготиться своей уродливостью, а пятнадцати лѣтъ уже «зачастую горѣла вся отъ полноты жизни, неудачно выбравшей для себя такое скверное помѣщеніе». Она «сама себѣ писала стихи и читала ихъ, представляя мысленно, что это деклamируетъ ихъ одинъ изъ ея знакомыхъ и непремѣнно стоя на колѣняхъ». Она до того дошла, что «даже Лермонтовскую Тамару понимала. Смерть—не дорогая плата за такую ночь наслажденій и блаженства», разсуждала пятнадцати-лѣтняя дѣвочка. Но вотъ изъ дѣвочки выросла дѣвушка, которая нашла себѣ опредѣленный, облеченный плотью и кровью «предметъ». Это былъ «артистъ», по какой части неизвѣстно, знаменитый артистъ и вдобавокъ красавецъ, пользовавшійся огромнымъ успѣхомъ у дамъ. Ольга, въ качествѣ урода, смотрѣла на свой предметъ снизу вверхъ, какъ на нѣчто недосягаемое. Но однажды ей пришла въ голову остроумная мысль приблизиться къ нему въ маскѣ. Въ маскарадѣ дѣло сразу пошло на ладъ, потому что, какъ уже сказано, у Ольги, кромѣ лица, все было прекрасно: прелестная талія, ручки, ножки, умъ, остроуміе. Подъ прикрытіемъ маски дѣло до такой степени пошло на ладъ, что уже при первомъ свиданіи, Волынскій (такъ звали артиста) «задыхался», «какъ звѣря

*) 1881 г., май.

бы разорвалъ», вообще превратился въ нѣчто среднее между скотомъ безсмысленнымъ и огнедышащей горой. Онъ сразу предложилъ «все за все» и получилъ согласіе, только чтобы не сейчасъ. А на второмъ свиданіи уже совершилось все, чему надлежитъ совершиться, когда соприкасаются двѣ столь пламенныя натуры; Волынскій повезъ Ольгу прямо изъ маскарада къ себѣ домой, причемъ дѣвушка поставила только одно условіе: счастливый артистъ не долженъ былъ требовать, чтобы она сняла маску. Ѣдутъ наши огнедышащія натуры... Но эта страница изъ записокъ урода такъ замѣчательна, что вы позволите мнѣ привести ее почти цѣликомъ.

„— Наконецъ-то! послышалось за мной. — Я узнала голосъ Волынскаго... Онъ дрожалъ, точно въ лихорадкѣ; лицо его сдѣлалось блѣднымъ, порою на немъ проступали красныя пятна и онъ сильно жалъ мою руку.

„— А ты давно пріѣхала?

„Я чувствовала, что и мой голосъ звучитъ какъ-то странно.

„— Съ полчаса.

„— Ну? грубо заговорилъ онъ; голосъ его даже нѣсколько охрипъ отъ чего-то. Наше условіе въ полной силѣ? Это не была маскарадная шутка? Чего ты молчишь? Измучила меня всего! я уже двѣ недѣли въ горячкѣ какой-то... Такъ условіе сохраняется?

„— Да... но...

„— Какое еще но? недовольно крикнулъ онъ, останавливаясь.

„— Съ тѣмъ, чтобы и мои были свято соблюдены.

„— Не бойся. Я самъ не сниму твоей маски, самъ не стану узнавать, кто ты и что ты! Такъ гораздо лучше, свободнѣе. Есть какое-то острое чувство въ этой неизвѣстности. Если да, чего мы станемъ ждать тутъ... Ѣдемъ... Хочешь? А, хочешь?..

„Онъ скорѣе отгадалъ отвѣтъ, чѣмъ разслышалъ его. Красныя пятна рѣзче выступали на этомъ красивомъ лицѣ. Глаза какъ-то сразу потускли; грудь задышала сильнѣе, заговорилъ онъ обрывками, одно слово скажетъ, другое пропуститъ. Нужно было самой про себя оканчивать его фразы.

„— Послушай: безъ сожалѣній, безъ жалобъ, безъ упрековъ! Я не хочу такъ!.. Чтобы потомъ вину...

„— Я люблю тебя! только и могла я отвѣтить ему на это. Какіе еще тутъ могли быть упреки; развѣ не я сама искала его, развѣ не я сама ему навязалась! Мужчины въ этихъ случаяхъ ужасно недогадливы.

„Онъ рванулъ меня къ выходу... И черезъ минуту мы, сломя голову, неслись по улицѣ. Сани дергало... Рука Волынскаго, придерживавшая меня, дрожала. Онъ сильно прижималъ меня къ себѣ, такъ сильно, что мнѣ дѣлалось больно.

„— Скорѣе, Иванъ! злился онъ:—что у тебя за одры сегодня!

„Кони неслись вихремъ, и я не успѣла опомниться, какъ сани остановились у ярко освѣщеннаго подъѣзда...

„Неправду говорятъ, что насъ, дѣвушекъ, заставляетъ отдаваться одно только любопытство, неправда! Во мнѣ билась и кипѣла такая могучая страсть, я вся горѣла. Мои щеки могли обжечь; кровь ходуномъ ходила, въ вискахъ стучало, неровно стучало; и сердце тоже то заколотится, какъ испуганная птица, то замретъ, и кажется, вотъ-вотъ совсѣмъ остановится. Я уже не помню, какими комнатами мы шли; было темно. Въ окна смотрѣла тусклая ночь, тускло поблескивали во мракѣ зеркала и едва-едва мерещилась позолота мебели... На столъ какой-то наткнулась, задребезжала лампа, стоявшая на немъ, шаговъ не было слышно — вездѣ были ковры. Скоро, скоро!..

„— Тебѣ не страшно? обернулся онъ ко мнѣ по дорогѣ...

„— Нѣтъ! Чего-же... Я тебѣ сказала, я люблю тебя...

„—Послушай! Еще есть время, еще ты можешь вернуться. Но разъ мы перешагнемъ ту портьеру, все будетъ кончено! Слышишь?..

„Не успѣла я дойти до средины спальни, какъ сильныя руки точно приподняли меня на воздухъ.

„— Да, теперь уже поздно! ты можешь просить, молиться, я тебя не выпущу, ты моя!.. Моя, моя, слышишь!.. Дорогая, милая!

„Я не чувствовала никакой охоты ему противиться. Ласки его были грубы, отъ нихъ мнѣ было больно; онъ мялъ меня, подымая на руки, но мнѣ дѣлалось отъ этого такъ хорошо, такъ хорошо, что я бы никуда не захотѣла уйти изъ этой пропитанной раздражающимъ ароматомъ комнаты»

Вотъ. И все въ маскѣ, замѣтьте: стремительный Волынскій жалъ, мялъ, дрожалъ, ржалъ, но свято соблюдалъ условіе! И такъ прошло три недѣли. Да, только три недѣли тянулось это «краденое счастіе», столь скотски начатое. Въ одну прекрасную ночь несчастному уроду, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ неинтересныхъ сантиментовъ, пришло въ голову снять передъ Волынскимъ маску. Артистъ испугался. Онъ сказалъ: «Однако!»— и опрометью убѣжалъ изъ дому, а черезъ двѣ недѣли женился на хорошенькой подругѣ нашей уродливой героини. Героиня уѣхала съ матерью въ Крымъ, тосковала, хотѣла застрѣлиться, но, наконецъ, примирилась съ жизнью. Примирилась на томъ неожиданномъ основаніи, что есть на свѣтѣ природа, къ которой героиня обращается съ такимъ гимномъ въ прозѣ: «Да, ты, природа, ты одна истинно прекрасна, ты одна никогда не измѣняешься, ты одна даешь счастье и красивымъ и уродливымъ, и богатымъ и бѣднымъ! Ты одна справедлива!» И т. д.

Мораль, какъ видите, довольно скудная. Скудная именно по своей необъятой обширности, въ которой необходимо должна расплыться всякая мораль, имѣющая хоть какое-нибудь право на этотъ титулъ. Въ природѣ, безъ сомнѣнія, есть природа, но можно сомнѣваться въ цѣнности этой Америки, открытой разочарованнымъ уродомъ. Можно сомнѣваться также, чтобы въ природѣ не было ничего, кромѣ природы и скотскаго ржанія пламенныхъ артистовъ. Ольга Максимова даже не пыталась пощупать почву для примиренія съ жизнью гдѣ-нибудь въ

промежуткѣ между этимъ телескопически огромнымъ и этимъ микроскопически малымъ. И въ этомъ состоитъ самая любопытная и, дѣйствительно, интересная черта «Краденаго счастія». Но понятно, что отвѣтственность за нее падаетъ отнюдь не на Ольгу Максимову, а исключительно на г. Немировича-Данченко. Когда передъ вами стоитъ, дѣйствительно художественный образъ—Фаустъ, Гамлетъ, Чичиковъ—стоитъ, какъ живой, вы къ нему и относитесь, какъ къ живому лицу: бесѣдуете съ нимъ, изучаете, судите его, любите, презираете и проч. Это результатъ и вмѣстѣ съ тѣмъ проба истиннаго творчества. Ольгу Максимову нельзя, конечно, ни любить, ни презирать, ни жалѣть. Никакой отвѣтственности за себя она нести не можетъ, она не живое лицо, а очень неискусно сдѣланное чучело, имѣющее, правда, нѣкоторое отдаленное сходство съ человѣкомъ, но только въ томъ смыслѣ, что и у него есть двѣ руки, двѣ ноги, носъ, уши и проч. Тутъ уже долженъ отвѣчать художникъ, если только можно назвать художникомъ человѣка, которому пришло въ голову заняться набиваніемъ чучелъ. И, конечно, самый строгій приговоръ, въ родѣ ссылки въ отдаленнѣйшія мѣста литературы, былъ бы, безусловно говоря, вполнѣ справедливъ относительно г. Немировича-Данченко. Осужденію онъ подлежитъ за цѣлый рядъ преступныхъ дѣяній, въ числѣ которыхъ есть и клевета на человѣческую природу, и рѣшительно анти-художественные пріемы, и подстрекательство, и попустительство самымъ низменнымъ инстинктамъ читающей толпы, и ухищренная идеализація скотоподобія.

Я не чувствую, однако, никакой охоты производить слѣдствіе по личному дѣлу г. Немировича-Данченко. Ахъ! столько гнусностей видитъ и слышитъ современникъ; и такихъ гнуснѣйшихъ гнусностей, надъ всей родной страной распространяющихъ свое дыханіе, что о провинностяхъ г. Немировича, несмотря на ихъ безотносительную тяжесть, распространяться просто стыдно. Поневолѣ думается: эхъ, кабы у насъ только такія провинности были, такъ жить бы еще можно припѣваючи!

Но въ томъ-то и дѣло, однако, что *только* такія провинности невозможны, немыслимы. Вы сразу инстинктомъ чуете, а, вникая въ дѣло, и разумомъ окончательно убѣждаетесь, что провинности г. Немировича выросли изъ нѣкотораго общаго положенія вещей, которое подготовило, воспитало, опредѣлило и фабулу, и духъ «Краденаго счастія». Съ этой только стороны грубый порнографическій колоритъ повѣсти и представляетъ интересъ. Ибо лично г. Немировичъ... что же въ самомъ дѣлѣ его приговаривать къ ссылкѣ въ отдаленнѣйшія мѣста литературы, когда «Краденое счастіе» и безъ того въ «Русской Рѣчи». Это хоть не самое отдаленное мѣсто, но и очень не близкое. Фауна этого географическаго пространства еще не падаетъ до уровня гг. Катковыхъ и Аксаковыхъ, но уже имѣетъ своими представителями гг. Навроцкихъ и Марковыхъ. Да и помимо того, что г. Немировичъ налагаетъ на себя наказаніе уже самымъ фактомъ преступленія, его положеніе таково, что самыя даже несомнѣнныя, при другихъ условіяхъ, отягчающія вину обстоятельства становятся въ данномъ случаѣ источникомъ сомнѣній. Въ самомъ дѣлѣ, г. Немировичъ, во-первыхъ, не лишенъ таланта; во-вторыхъ, онъ человѣкъ бывалый, видавшій виды; ему знакомы сѣверъ и югъ, востокъ и западъ; онъ былъ свидѣтелемъ цѣлаго ряда драматическихъ эпизодовъ, въ которыхъ было вдоволь и высокаго, и пошлаго, и величія, и подлости. Словомъ, въ умственной кладовой г. Немировича долженъ лежать чрезвычайно богатый запасъ картинъ и образовъ. Все это, повидимому, обстоятельства, отягчающія его вину. А между тѣмъ, вы невольно формулируете свое сужденіе въ видѣ допроса: почему же этотъ человѣкъ, не лишенный таланта и владѣющій богатымъ запасомъ образовъ и картинъ, всѣ свои богатства презрѣлъ и сочинилъ такую во всѣхъ отношеніяхъ окудную и фальшивую вещь, какъ «Краденое счастіе»? Не въ томъ дѣло, что это плохая совѣсть. Плохихъ повѣстей очень много на бѣломъ свѣтѣ. Дѣло и не въ томъ, что въ повѣсть введенъ порнографическій элементъ. Но онъ доведенъ до такого напряженія, что обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Онъ доведенъ до того, что вы видите людей развѣ только въ смыслѣ двуногихъ, безперыхъ животныхъ, каковое опредѣленіе человѣка еще въ древности считалось образцомъ фальши и узкости. Это не кушанье, въ которое положено много перцу, а перецъ, къ которому изъ остатка приличія прибавленъ микроскопическій кусочекъ мяса, да и то не свѣжаго. Ольга Максимова вспоминаетъ мимоходомъ, что плѣнила Волынскаго своимъ «умомъ», что она обмѣнялась съ нимъ какими-то «убѣжденіями» и «взглядами», но все это остается гдѣ-то за кулисами. Ни ума, ни убѣжденій, ни взглядовъ читатель не видитъ и вполнѣ вправѣ заподозрѣвать присутствіе этихъ аксессуаровъ въ отношеніяхъ Ольги Максимовой и Волынскаго. Ибо если скотоподобный артистъ согласенъ никогда не видѣть даже лица своей возлюбленной, лишь бы имѣть въ распоряженіи остальное, такъ ужъ какой тутъ умъ, какіе взгляды и убѣжденія! Неустанный трехнедѣльный «пантомимъ любви» въ маскѣ—это мысль чрезвы-

чайно выразительная, какъ нельзя болѣе наглядно показывающая, въ чемъ дѣло. Гоголевскій герой говорилъ: «ты мнѣ момо̀-то не разводи, а подавай настоящее дѣло!» Г. Немировичъ идетъ гораздо дальше. Онъ, во-первыхъ, идеализируетъ принципъ гоголевскаго героя, а во-вторыхъ, доводитъ его до степени символа, ибо въ реальной дѣйствительности пантомимъ любви въ маскѣ есть невозможность и нелѣпость, но его символическое значеніе очень серьезно. Еще немножко смѣлости на поприщѣ символики, и героями романа или повѣсти могутъ оказаться прямо извѣстныя части тѣла: все остальное, дескать, «момо»... И, не смотря на все это безобразіе, а можетъ быть даже именно вслѣдствіе преувеличенности этого безобразія, является невольная склонность формулировать сужденіе о г. Немировичѣ въ видѣ вопроса: какъ это могло случиться?

Такой вопросительный оборотъ мысли тѣмъ естественнѣе, что г. Немировичъ совсѣмъ не та одинокая ласточка, которая еще не указываетъ наступленія весны, а свидѣтельствуетъ только о собственномъ легкомысліи. Нѣтъ, порнографическая весна уже вступила въ свои права, и г. Немировичъ есть только одинъ изъ многихъ, болѣе смѣлый въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, болѣе сдержанный въ другихъ. Надѣвъ на Ольгу Максимову маску, онъ тѣмъ самымъ снялъ съ нея фиговый листъ, а, заставивъ Волынскаго на первомъ же свиданіи съ Ольгой ржать, перенесъ дѣйствіе повѣсти изъ человѣческаго общества въ скучную конюшню. Это очень смѣло, но можно быть еще смѣлѣе, особливо если взять на себя задачу «обличенія порока». Такой обличитель можетъ, прячась за щитъ «строгой морали», живописать всякую мерзость вплоть до противоестественныхъ пороковъ; живописать въ сущности, разумѣется, вовсе не для обличенія и вообще не для чего бы то ни было, а просто потому, что у него у самого при описаніи мерзостей слюни текутъ. На этотъ чрезвычайно удобный способъ обличенія я имѣлъ случай обратить вниманіе читателя еще въ третьемъ году, по поводу сборника порнографическихъ произведеній г. Маститаго Беллетриста. Я привелъ тогда три или четыре описанія «широкихъ кроватей», сдѣланныя г. Маститымъ, описанія совершенно тождественныя, потому что нельзя же придавать серьезное значеніе такимъ различіямъ, что надъ одной кроватью виситъ розовый фонарь яйцевидной формы, а другая озаряется серебрянымъ свѣтомъ искривленнаго мавританскаго фонаря; или что возлѣ одной кровати стоятъ алыя туфли безъ задковъ, а возлѣ другой бѣлыя туфли съ изогнутыми каблуками Несмотря, однако, на эту тождественность, г. Маститый находилъ возможнымъ нѣкоторыя изъ этихъ описаній излагать задыхающимся тономъ, а другія сопровождать эпитетами «подлая» кровать, «безстыдный» фонарь и т. п. Въ этихъ механически приставленныхъ карающихъ эпитетахъ и состоитъ «обличеніе» порока. Понятно, что изъ-за этой ширмы можно очень удобно порнографировать (самая нынѣ настоящая пора для введенія въ русскій языкъ такого глагола), заходя при этомъ далеко за предѣлы «Краденаго счастія». И, дѣйствительно, г. Немировичъ останавливается на животномъ счастіи, а г. Маститый не отступаетъ передъ изображеніемъ счастія противоестественнаго.

Есть, наконецъ, и еще пріемъ. Порнографъ объявляетъ, что онъ никого не думаетъ карать или миловать, ибо не въ этомъ совсѣмъ состоитъ великая задача искусства, которому онъ, порногнафъ, преданъ до глубины души. Искусство должно быть зеркаломъ дѣйствительности, равно безстрастно отражающимъ красоту и уродство, добро и зло. Исходя изъ этого пункта, можно предаться весьма забавнымъ теоретическимъ соображеніямъ въ родѣ тѣхъ, какія плететъ Эмиль Золà о натурализмѣ и экспериментальномъ романѣ, но, понятное дѣло, можно написать какую-нибудь «Нана» и безъ всякихъ теоретическихъ оправданій.

Въ то самое время, когда я имѣлъ удовольствіе бесѣдовать о порнографическихъ разсказахъ г. Маститаго Беллетриста, я обратилъ также вниманіе читателя на произведеніе начинающаго (кажется) писателя, г. Н. Морского. Въ его романѣ «Аристократія Гостинаго двора» было нѣсколько очень недурныхъ страницъ, причемъ авторъ, несмотря на нѣкоторыя рискованныя положенія дѣйствующихъ лицъ, счастливо избѣгалъ заблужденія, будто голая правда есть именно голая женщина и только она. Нельзя того же сказать о новомъ произведеніи г. Морского—«Содомъ». Передать содержаніе этого романа (печатавшагося, если не ошибаюсь, въ газетѣ «Новое Время», а теперь изданнаго отдѣльно) я не берусь, по крайней его запутанности *). Во всякомъ случаѣ, съ какого конца ни начать изложеніе «Содома», а придешь все къ тому же.

Господинъ Варикуръ надзиратель въ част-

*) Кстати о запутанныхъ фабулахъ. Одинъ критикъ замѣтилъ по поводу главы «Записокъ современника», трактовавшей о Достоевскомъ, что я, очевидно, не читалъ «Братьевъ Карамазовыхъ», ибо говорю, что Иванъ Карамазовъ кончилъ самоубійствомъ, а изъ романа этого вовсе не видно. Могу увѣрить почтеннаго критика, что «Братьевъ Карамазовыхъ» я читалъ, и очень внимательно, но, дѣйствительно, ошибся, покончивъ дни Ивана Карамазова самоубійствомъ. Эта ошибка, впрочемъ, не имѣетъ никакого значенія.

номъ учебномъ заведеніи, былъ нѣкогда лакеемъ у сводни. М-lle Варикуръ, его дочь, съ юныхъ лѣтъ склонная соблазнять мужчинъ на веселый грѣхъ, продается развратному мальчишкѣ Залетаеву, воспитывающемуся подъ наблюденіемъ Варикура. Мать этого Залетаева живетъ съ псаломщикомъ, братомъ m-me Варикуръ, а отецъ—съ «Акулькой». Но кромѣ того, Залетаевъ-senior заводитъ связь съ m-lle Варикуръ, уже состоящею въ связи съ его сыномъ, и послѣ долгихъ стараній получаетъ нѣкую пѣвицу Золотницкую, выдавъ ее предварительно обманнымъ образомъ замужъ все за того же своего сына. У m-lle Варикуръ есть подруга или родственница (право не помню) Варенька, поступающая на содержаніе къ женатому купцу Силантьеву, но замужъ она, по разнымъ соображеніямъ, выходитъ опять-таки за младшаго Залетаева, уже женатаго на Золотницкой (которую обезчещиваетъ Залетаевъ-отецъ) и живущаго съ m-lle Варикуръ (которая находится въ связи и съ Залетаевымъ-отцомъ). И т. д. Однимъ словомъ, тутъ, съ позволенія сказать, самъ чортъ ногу сломитъ. Достовѣрно только то, что почти всѣ дѣйствующія лица романа сосредоточиваютъ всѣ свои чувства и помыслы, иносказательно говоря, на «широкой кровати». Не пьютъ, не ѣдятъ, а только на широкой кровати валяются. Въ виду этой единственной цѣли жизни, пускаются въ ходъ чрезвычайно сложныя махинаціи, а кто съ кѣмъ живетъ, даже разобрать трудно. Впечатлѣніе получается тѣмъ болѣе отвратительное, что самыя мерзостныя отношенія возникаютъ и поддерживаются съ совершенно невѣроятною наглостью. Вотъ, напримѣръ, разговоръ Паулины Онуфріевны Залетаевой съ сыномъ. Мать пріѣхала навѣстить своего сына въ учебномъ заведеніи; ей приходится ждать въ пріемной, потому что юный негодяй находится на весьма пикантномъ амурномъ свиданіи. Наконецъ, онъ приходитъ.

«—Гдѣ былъ? Долго ждала.

«Онъ отвѣтилъ, что курилъ. Она не вѣрила.

«—Врешь. Красный, какъ ракъ: или водку пилъ, или за дѣвчонками бѣгалъ.

«Тогда онъ признался: было свиданіе. Она обнаружила къ этому слабый интересъ, хотя всетаки освѣдомилась: кто такая? изъ простыхъ?

«— О, нѣтъ, дочь одного изъ нашихъ воспитателей, господина Варикура.

«— Запроситъ дорого, сообразила она и перешла къ болѣе ее интересующему предмету:—а я вѣдь псаломщика-то угнала.

«—Какъ такъ?

«—Тварь негодная.

«И перешла къ другому:

«— А папенька все съ Акулькой. И какъ ему не надоѣстъ!»

На прощанье мать «нѣжно треплетъ по щекѣ» сына и говоритъ: «въ мать: непостояненъ. Въ позапрошлую недѣлю одна, нынѣ—другая... Не въ отца; тому далась одна Акулька. И какъ она ему не надоѣстъ».

Читая эту якобы голую правду, вы покачиваете головой и думаете: съ кого они портреты пишутъ? гдѣ разговоры эти слышатъ? Но всяко бываетъ. Мало-ли какіе есть уроды и какія уродскія отношенія. Эта мать и этотъ сынъ—случайность; но если художникъ ее подмѣтилъ, такъ какъ же ея не изобразить хоть мимоходомъ. Но, перевернувъ нѣсколько страницъ, вы натыкаетесь на совершенно такую же наглую бесѣду, въ которой принимаетъ участіе вся семья Залетаевыхъ: отецъ, мать и сынъ. Ваши сомнѣнія начинаютъ усиливаться, но вы утѣшаете себя мыслью, что такая ужъ семья попалась. Ничуть не бывало. Отецъ и мать Варикуры, временами съ участіемъ дочери, ведутъ опять такія же бесѣды, характеръ которыхъ опредѣляется, напримѣръ, тѣмъ, что дочь «захохотала громкимъ и отрывистымъ смѣхомъ и вдругъ, быстро растегнувъ свой капотъ, сбросила его съ плечъ и осталась передъ матерью полуобнаженной:—Каково-съ?»

Согласитесь, наконецъ, что это «каково-съ?» и эта дочь, обнажающаяся чортъ знаетъ для чего передъ матерью, хватаютъ далеко черезъ край голой правды! Это просто наглѣйшая и грубѣйшая порнографія. Это не обличеніе, не искусство, а мерзость, вовсе не изъ дѣйствительной жизни почерпнутая, а вымученная изъ глубины души автора путемъ извращенной фантазіи; мерзость самодовлѣющая и «откровенная» въ спеціальномъ смыслѣ, приданномъ этому благородному слову «Новымъ Временемъ», главнымъ притономъ нашей порнографіи.

Увы! я слишкомъ хорошо понимаю, что пишу рекламу новому произведенію г. Морского. Я знаю, что есть многочисленные читатели, которыхъ хлѣбомъ не корми, только покажи какую-нибудь паскудную картинку. Что-жъ будете дѣлать? Нельзя же не отмѣтить въ жизни современника порнографическую струну, если она начинаетъ звучать такъ ярко и нагло, что заглушаетъ все, кромѣ равноправныхъ съ ней, якобы патріотическихъ завываній о негодности европейскихъ порядковъ. Нельзя не обратить на нее вниманія, потому что значеніе ея, очевидно, очень серьезно. Но понятно, что, дѣлая невольную рекламу «Содому» и ему подобнымъ литературнымъ произведеніямъ, я всетаки не желаю пачкать страницы «Отечественныхъ Записокъ» обиліемъ

цитатъ. Образцовъ довольно. Я тороплюсь перейти къ итогамъ, къ общимъ выводамъ и сдѣлаю еще только одно частное замѣчаніе.

Г. Немировичъ-Данченко совершенно самостоятельно или, говоря нынѣшнимъ возвышеннымъ стилемъ, самобытно изобразилъ пятнадцатилѣтнюю дѣвочку, которая вполнѣ разумѣетъ Тамару, какъ демонъ, коварную и злую. Знаменитый артистъ, ржущій на подобіе жеребца и столь раздвинувшій предѣлы «момо» тоже самобытенъ. Самобытенъ и г. Морской въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ безпардонно грубъ и аляповатъ. Но затѣмъ онъ есть самый рабскій подражатель Эмиля Зола. Читая у него описанія роскошной обстановки, мебели, зимнихъ садовъ и оранжерей, описанія заурядныхъ и эксцентрическихъ баловъ, церковнаго богослуженія, вы безъ труда узнаете: это изъ «La curée», это изъ «Аббата Мурэ», изъ «Евгенія Ругона», изъ «Нана». Тотъ же торжественный, какъ бы церемоніймейстерскій тонъ разсказа, тѣ же подробности, то же стремленіе къ описанію запаховъ, вкусовъ, цвѣтовъ, вообще элементарныхъ низшихъ ощущеній. Такимъ образомъ, наши порнографы могутъ сказать, подобно Мольеру: je prends mon bien partout où je le trouve.

Такъ какъ рѣчь зашла о Зола, то кстати ужъ, прежде чѣмъ толковать о происхожденіи и значеніи россійской порнографіи, посмотримъ, какъ стоитъ дѣло во Франціи.

Извѣстно, что теоретическая болтовня Зола и его практика, то есть его романы, не только произвели во Франціи большое волненіе, но народили цѣлую школу, правда, небольшую. Такъ какъ всѣ эти поклонники и послѣдователи не обладаютъ талантомъ автора «Ругоновъ», то произведенія ихъ уже ровно ничѣмъ не скрашиваются и поражаютъ своею дикостью и распущенностью. Передъ нѣкоторыми изъ нихъ самъ учитель остановился въ недоумѣніи и своего благословенія имъ не далъ. Еще бы! Одинъ изъ этихъ господъ, напримѣръ, предпринялъ и опубликовалъ описаніе запаховъ женскаго пота. Но и на этомъ не останавливается парижская порнографія. Въ Парижѣ (конечно, внѣ какой бы то ни было связи съ Зола) съ огромнымъ успѣхомъ издается нѣсколько иллюстрированныхъ газетъ, не разъ выдержавшихъ обвиненіе въ оскорбленіи общественной нравственности. Передо мной лежитъ номеръ одного изъ такихъ изданій—«L'Evénement parisien». Просматривая его, удивляешься, какъ терпитъ бумага подобную грязь, не заключающую въ себѣ даже остроумія: грязно, это само собой, грязно до тошноты, но, кромѣ того, глупо и нимало не смѣшно. Тутъ ровно не на чемъ остановиться. Любопытно развѣ только вступительное стихотвореніе, въ которомъ авторъ обращается къ противникамъ порнографіи, между прочимъ, съ такою рѣчью:

Que nous reprochez-vous?—D'être fils de Voltaire,
Brantôme, Rabelais,
La Fontaine, Rousseau, Piron et Molière,
Ces grands esprits français.

Справедливо, что Вольтеръ написалъ La Pucelle, но изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы всякій пакостникъ могъ требовать себѣ титула сына Вольтера. Ибо, во-первыхъ, Вольтеръ написалъ не одну Pucelle, а во-вторыхъ, и ее написалъ вовсе не потому, чтобы раздѣлялъ убѣжденіе, будто голая правда все равно, что голая женщина. Понятно, однако, желаніе пакостника спрятаться за великія имена или вообще за что-нибудь, пользующееся уваженіемъ. Мы очень хорошо знакомы съ этимъ пріемомъ, ибо и наши порнографы наровятъ прикрыться то идеей голой правды, то идеей бичеванія порока. Они, изволите видѣть, горой стоятъ за нравственность, разрушаемую отрицателями, за отечество, имѣющее въ лицѣ ихъ вѣрнѣйшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ, за высокіе идеалы, за русскій народъ... Всѣ эти увертки очень дрянны, разумѣется, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень обыкновенны и никого рѣшительно провести не могутъ. Но они и объяснить за то ничего не могутъ. Объясненіе или, по крайней мѣрѣ, хоть намекъ на объясненіе найдется, когда мы заглянемъ на послѣднюю страницу «Evénement parisien». Мы найдемъ здѣсь (я говорю объ номерѣ, лежащемъ передо мной, взятомъ совершенно наудачу) три объявленія, имѣющія отношеніе къ спеціальности журнала: о какомъ-то косметическомъ средствѣ для уничтоженія волосъ на лицѣ, о дѣвицѣ, ищущей жениха, и, наконецъ, объ еженедѣльномъ «Journal des Abrutis», то-есть журналѣ скотовъ или, точнѣе, «оскотинѣвшихъ». (Существуетъ также или, по крайней мѣрѣ, недавно существовалъ «Journal des cochons»). Затѣмъ, изъ объявленій, не имѣющихъ, повидимому, никакого отношенія къ порнографіи, есть только два: объ еженедѣльной газетѣ «Le crédit parisien» и еженедѣльной же газетѣ «Le journal de la bourse». Прибавьте къ этому, что въ текстѣ, кромѣ спеціально порнографическаго матеріала, есть только одна рубрика: Bulletin financier, биржевая хроника. Что же касается упомянутыхъ объявленій, то они составлены чрезвычайно любопытно. Газета «Парижскій кредитъ» рекомендуетъ себя «защитницей французскихъ интересовъ» и врагомъ «иностранныхъ займовъ, столь пагубныхъ для Франціи». «Биржевой журналъ», въ свою очередь, объявляетъ, что онъ «откровенно»

(ouvertement) посвящаетъ себя освобожденію національныхъ сбереженій отъ всѣхъ иностранныхъ и враждебныхъ учрежденіямъ Франціи вліяній; что его задача есть борьба съ анти-французской спекуляціей.

И такъ, порнографическій походъ открывается воззваніемъ къ тѣнямъ Вольтера, Руссо, Мольера, подъ флагомъ которыхъ и проходятъ грубѣйшія и глупѣйшія мерзости. Въ текстѣ газеты, кромѣ этой грязи, есть *только* биржевая хроника; въ отдѣлѣ объявленій, кромѣ спеціальныхъ, есть *только* объявленія о биржевыхъ газетахъ. Эти послѣднія стоятъ подъ флагомъ національныхъ интересовъ и борьбы съ враждебными иностранными вліяніями. Наилучшіе продолжатели des grands esprits français суть пошлые и грязные порнографы, а наивѣрнѣйшіе охранители des institutions de la France отъ иностранныхъ враговъ суть биржевые спекулянты. И, понятно, что, преисполненные горячей преданности величію отечества, спекулянты и порнографы должны подать другъ другу руки. Они и подаютъ...

Мы подошли къ объясненію. Не трудно, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, кто потребители этой грязной и пряной литературы. Объ ихъ физіономіи можно составить себѣ понятіе даже a priori, не зная фактическаго положенія различныхъ классовъ общества во Франціи. Это прежде всего должны быть люди со средствами, хотя и небольшими (и порнографическія, и рекламируемыя ими биржевыя газеты отличаются крайнею дешевизною); у нихъ есть большой досугъ и кое-какія «сбереженія», которыя они желаютъ помѣстить безъ риску и которыя, при условіи какого-нибудь спокойнаго, не обременительнаго занятія, позволяютъ имъ вести безбѣдное существованіе. Они разстались съ клерикализмомъ и даже съ католицизмомъ (порнографическіе журналы очень любятъ, что называется, срывать маску съ монаховъ), но ничѣмъ въ себѣ его не замѣнили. Они знаютъ, что существовали на свѣтѣ Вольтеръ, Руссо, Мольеръ и любятъ вспоминать объ этомъ, платонически радуясь величію французскаго генія. Не имѣя въ своемъ распоряженіи никакихъ политическихъ идеаловъ, они тѣмъ не менѣе любятъ вообще пофилософствовать на тему о величіи Франціи и о зависти къ ней другихъ странъ и народовъ. Эта тема имъ какъ разъ по плечу, потому что льститъ ихъ самолюбію, не обязывая ни къ какой дѣятельности, и въ то же время настолько скудна содержаніемъ, что не дастъ уму слишкомъ отяготительной работы. Вкусы у нихъ грубые, натура невоспріимчивая, такъ сказать, заплывшая жиромъ. Тонкаго остроумія, изящества въ какомъ бы то ни было направленіи имъ не нужно, а нужны острыя и грубыя пряности. Чавкая ихъ съ величайшимъ наслажденіемъ, они не понимаютъ нравственной стороны пожираемаго матеріала и при случаѣ готовы серьезно объявить себя столпами отечества, защитниками нравственности и «учрежденій Франціи». Что же касается учрежденій, то для этихъ людей они безразличны, лишь бы они гарантировали имъ спокойную и сытую жизнь.

Читатель знаетъ, что такихъ людей въ нынѣшней Франціи много и что едва-ли не они составляютъ политическій центръ тяжести третьей республики. Это не старая буржуазія, щеголявшая свободолюбіемъ и свободомыслiемъ и, дѣйствительно, ими дорожившая. Это и не буржуазія второй имперіи съ грандіозными подлостями и широкимъ размахомъ хищничества. Это люди отнюдь не преступные, а только пошлые. А не преступны они, главнымъ образомъ, потому, что преступленіе всетаки сопряжено съ рискомъ и безпокойствомъ. Ихъ требованія отъ жизни столь не велики, что съ избыткомъ удовлетворяются наличными условіями. Къ нимъ именно можетъ быть отнесено то, что говорится въ апокалипсисѣ ангелу Лаодикійской церкви: «Знаю твои дѣла; ты ни холоденъ, ни горячъ, о, если бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но поелику ты теплъ, а не холоденъ и не горячъ, то извергну тебя изъ устъ Моихъ. Ибо ты говоришь: я богатъ, разбогатѣлъ и ни въ чемъ не имѣю нужды; а не знаешь, что ты несчастенъ и жалокъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ». Это представители такъ широко развившагося при третьей республикѣ средняго благосостоянія—мелкіе рантье, лавочники, пресловутые комми-вояжеры, съ которыми не даромъ такъ любитъ бесѣдовать Гамбетта. Это ядро заражаетъ собою сосѣдніе общественные слои: рабочихъ съ одной стороны, представителей либеральныхъ профессій съ другой. Отсюда разнообразные оттѣнки порнографіи отъ Эмиля Зола до «журнала свиней».

Порнографія всегда существовала, но она всегда носила вуаль. Худо-ли это или хорошо, что она пряталась въ ночной темнотѣ и въ закоулкахъ, объ этомъ мы разсуждать не будемъ. Но несомнѣнно, что выпятиться съ такою наглою развязностью она можетъ только благодаря наличности совершенно особыхъ условій. Эти условія и даны соціальнымъ строемъ современной Франціи. Но читатель понимаетъ, конечно, что въ дальнѣйшій анализъ этого строя мы не пойдемъ, ибо свои дѣла у насъ есть.

Приблизительно одинаковыя явленія можно съ вѣроятностью приписывать одинаковымъ причинамъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. У насъ нѣтъ такого опредѣленнаго

класса мелкой буржуазіи, поставщикомъ которой по части умственной пищи состоитъ французская порнографія.

Но у насъ, по совершенно особымъ условіямъ, можетъ быть, заслуживающимъ титула самобытныхъ, есть всетаки люди, въ общихъ чертахъ родственные той мелкой французской буржуазіи, бѣглая характеристика которой сдѣлана выше. На нихъ нельзя указать пальцемъ, это не какая-нибудь опредѣлевная общественная группа, они разсыпаны повсюду, по всѣмъ слоямъ читающаго общества. Общая скобка, за которую ихъ поставили обстоятельства, состоитъ именно въ наиболѣе общихъ чертахъ мелкой французской буржуазіи: въ слабой воспріимчивости, малой образованности, тупомъ самодовольствѣ, грубости вкусовъ, отсутствіи какихъ бы то ни было идеаловъ. Такіе люди всегда были и едва-ли когда-нибудь переведутся. Но обстоятельства времени и мѣста иногда сокращаютъ ихъ число, пуская въ ходъ какую-нибудь общедоступную идею, во имя которой апатичныя встряхиваются, и тупость получаетъ себѣ нѣкоторое просіяніе; неисправимые при этомъ отодвигаются на задній дворъ, гдѣ имъ и быть надлежитъ. Иногда же, напротивъ, обстоятельства усиленно воспитываютъ этихъ людей, которые, по выраженію апокалипсиса, ни холодны, ни горячи. Такое воспитаніе можетъ быть чисто отрицательнымъ, то есть совершаться путемъ простого изъятія животворящихъ идей изъ обращенія. Созданная г. Немировичемъ-Данченко Ольга Максимова есть плохо набитое чучело. Это такъ. Но вполнѣ мыслимо такое состояніе общества (современники въ этомъ не усомнятся), когда большинству предоставленъ выборъ между телескопически огромнымъ и микроскопически малымъ, между вселенной во всей ея необъятности и скотскими отношеніями во всей ихъ мерзости, и ничего въ промежуткѣ. Ничего или почти ничего. Пантомимъ любви въ маскѣ требуетъ для своего осуществленія денегъ, а такой сложный, ухищренный пантомимъ, какимъ занимается семья Залетаевыхъ, даже очень большихъ денегъ. Значитъ, дѣлу наживы должно быть обезпечено извѣстное мѣсто въ промежуткѣ между природой и лошадинымъ ржаніемъ. А затѣмъ, послѣ обѣда и передъ Акулькой, отчего же не пофилософствовать о величіи самобытнаго русскаго духа и о враждѣ къ намъ иностранцевъ. Это ничему не мѣшаетъ, ибо вовсе не обременяетъ головы непосильною работою. Это та самая книга, которую читаетъ Гамлетъ: въ ней написаны слова, слова, слова. О, словъ можетъ быть сколько угодно и самыхъ громкихъ: Вольтеръ, отечество, истинная свобода, сердце Россіи, голая правда, бичеваніе порока... Очень много словъ и какъ можно меньше идей. Надо помнить, что ни отъ какого большинства нельзя требовать ни героизма, ни сильной логики, ни глубокаго чувства. Большинство, какъ птица подъ стекляннымъ колоколомъ, изъ котораго, ради опыта, выкачивается и въ который потомъ опять накачивается воздухъ: много подъ колоколомъ кислорода—птица обнаруживаетъ всѣ признаки жизни; мало кислорода—птица, такъ сказать, увядаетъ.

Одна птица дольше сопротивляется изъятію кислорода, другая меньше, но и ту, и другую ждетъ всетаки смерть, если экспериментаторъ не сжалится и не впуститъ подъ колоколъ живительнаго газа. Въ общественной атмосферѣ есть тоже своего рода кислородъ. Это—животворящія идеи. Когда этотъ кислородъ систематически выкачивается многоразличными насосами, тупое, самодовольное, ни горячее, ни холодное большинство ростетъ количественно и качественно. Между прочимъ, оно требуетъ порнографіи и—получаетъ ее...

V.

Мѣдные лбы и вареныя души*).

«Многія глубоко русскія, истинно народныя точки зрѣнія газеты «Русь», конечно, несравненно ближе разуму и сердцу сплошной массы русскаго общества, чѣмъ озлобленныя издѣванья надъ Россіей и русскимъ какого-нибудь органа безплоднаго отрицанія и космополитическихъ грезъ, словно въ насмѣшку присвоившаго себѣ имя «Отечественныхъ» Записокъ, и другихъ органовъ печати нашей, у которыхъ нѣтъ на душѣ ни одного русскаго чувства, ни одной русской мысли. Всѣ эти органы расхожаго европейскаго либерализма безъ собственнаго труда и заботы снабжаются всѣмъ готовымъ прямо съ базара, какъ безхозяйственные проходимцы одѣваются съ головы до ногъ въ первомъ попавшемся магазинѣ готоваго платья... Стая литературныхъ попугаевъ... Безшабашное и безпрепятственное гарцованіе на полѣ общественной мысли однихъ только оторвавшихся отъ своей родной почвы либеральствующихъ нахаловъ, облаивающихъ всѣ историческія народныя святыни, все простое, искреннее и теплое, что сохранилось въ душѣ современнаго русскаго человѣка. Эти литературные галманы»...

Такъ полагаетъ г. Евгеній Марковъ («Русская Рѣчь», № 5). Проходимцы, обезьяны, попугаи, нахалы, галманы и еще многое другое въ этомъ родѣ, что мнѣ уже лѣнь

*) 1881 г., августъ.

было выписывать. Мнѣ кажется, что для собесѣдованія съ человѣкомъ, извергающимъ такой искрометный фонтанъ крѣпкихъ словъ, я имѣю право прибѣгнуть къ выраженію «мѣдный лобъ». Отнюдь не въ отместку, прошу замѣтить. Еслибы дѣло шло объ отместкѣ, то не предстояло бы никакихъ затрудненій отвѣтить на фонтанъ фонтаномъ, даже усиленнымъ; ибо, извлекая изъ міра животныхъ попугаевъ и обезьянъ, а изъ человѣческаго ругательнаго лексикона нахаловъ, проходимцевъ и какихъ-то «галмановъ», г. Марковъ, конечно, далеко не исчерпалъ источника ругательствъ. Такой отповѣди я не беру на себя и просто попрошу г. Маркова зайти въ праздничный день въ кабакъ и принять на свой счетъ всѣ тѣ крѣпкія слова, которыя онъ тамъ услышитъ. Будетъ сытъ по горло. «Мѣдные лбы»—другое дѣло. Не ради ругани употребляю я это выраженіе, а только въ качествѣ характеристическаго названія цѣлаго типа людей, весьма распространеннаго всегда, а нынѣ въ особенности.

Знаете-ли вы, что такое мѣдный лобъ? Нѣтъ, вы не знаете, что такое мѣдный лобъ, потому что, еслибы вы знали, то положеніе мѣдныхъ лбовъ было бы совсѣмъ иное. Положимъ, губернскіе чиновники знали, что Ноздревъ безъ зазрѣнія совѣсти лжетъ и нечисто играетъ въ карты, но всетаки играли съ нимъ, хотя и съ предосторожностями, и къ нему именно, завѣдомому вралю, обратились за разъясненіемъ исторіи съ мертвыми душами. Ясно, что чиновники, собственно говоря, не знали Ноздрева. Не знали тѣмъ высшимъ психологическимъ знаніемъ, которое охватываетъ всего познающаго и, пропитавъ собою все его существо, не даетъ ему остановиться на безразличномъ отношеніи къ человѣческой душѣ, а сопрягается съ любовью или ненавистью, презрѣніемъ или уваженіемъ. Вотъ этого-то высшаго, всеохватывающаго и всепроникающаго знанія у насъ вообще очень мало. Живописуя Ноздрева, Гоголь довольно справедливо замѣтилъ: «что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ (Ноздревъ) черезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его журили, и встрѣчался какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего». Положимъ, что не только на Руси это можетъ случиться, но, во всякомъ случаѣ, на Руси скопилось много условій, благопріятныхъ для подобныхъ казусовъ. Темпераменты у насъ уже отъ природы довольно кисельные. Получили-ли мы свою вареную душу отъ отдаленныхъ предковъ въ наслѣдство, или намъ ее внѣдряетъ нашъ русскій пейзажъ, лишенный яркихъ красокъ и рѣзко очерченныхъ формъ, но достовѣрно, что русская душа бываетъ сплошь и рядомъ вареная: что-то блѣдное, расползающееся, почти лишенное силы сцѣпленія между частицами. Вѣрнѣе, впрочемъ, предположить, что дѣло тутъ не въ природѣ, а въ исторіи. Дѣйствительно, наша мутно-сѣрая исторія такъ сложилась, что не на чемъ было воспитаться чувству собственнаго достоинства, которое побуждало бы брезгливо отталкивать отъ себя всякую гадину и держать ее на томъ почтительномъ разстояніи, на которомъ ея амикошонскія любезности или фонтаны ругательствъ имѣли бы характеръ только физическаго явленія, колебанія звуковыхъ волнъ. Наконецъ, наше настоящее таково, что огромное большинство русскихъ людей «тузитъ» другъ друга въ родѣ, какъ изъ-за выѣденнаго яйца. Что же мудренаго, если послѣ такой потасовки русскіе люди, «какъ говорится, ничего»? Что же мудренаго, что и вы не знаете настоящимъ образомъ, что такое мѣдный лобъ? Вы знаете, что онъ наглъ, безстыденъ, нечистъ на руку, лжецъ и клеветникъ, но вы терпите его въ своемъ обществѣ и нѣтъ-нѣтъ, да и обратитесь къ нему съ предложеніемъ сыграть пульку или даже за какимъ-нибудь разъясненіемъ. Правда, что, выслушавъ разъясненіе, вы иной разъ только руками разведете или, подобно полиціймейстеру, скажете въ раздумьѣ: «чортъ знаетъ, что такое!» Но, во всякомъ случаѣ, вы его до себя допускаете, если даже не сами къ нему лѣзете, а, слѣдовательно, настояще его не знаете.

Само собою разумѣется, что я не мечтаю о сообщеніи вамъ такого знанія, потому что оно и вообще не сообщается, а дается только жизнью. Когда духъ жизни, вольной и широкой, коснется васъ своимъ магическимъ жезломъ; когда выѣденное яйцо перестанетъ быть исключительнымъ предметомъ вашихъ помысловъ и чувствъ; когда явится передъ вами что-нибудь въ самомъ дѣлѣ дорогое, за что стоитъ любить и ненавидѣть, вѣнчать лаврами и закидывать гнилымъ картофелемъ, тогда и только тогда узнаете вы, что такое мѣдный лобъ. Все это когда-нибудь да будетъ, разумѣется, или же русская исторія прекратитъ свое теченіе: «вша заѣстъ». Я даже думаю, что это довольно скоро будетъ. Но пока что, а теперь развѣ только крупный художникъ можетъ, забѣгая теченію жизни впередъ, заклеймить мѣдный лобъ такимъ клеймомъ, что даже въ нашемъ современникѣ, въ этой несчастной, загнанной въ раковину улиткѣ, зашевелится чувство отвращенія.

Однако, Гоголь былъ крупный художникъ, Ноздревъ—несомнѣнный представитель породы мѣдныхъ лбовъ, а клеймо позора вовсе

ужъ не такъ ярко горитъ на немъ. Напротивъ, вспоминая его, вы смѣетесь презрительнымъ, но всетаки снисходительнымъ и добродушнымъ смѣхомъ. Да, но я говорю только, что крупный художникъ можетъ послать мѣдному лбу такую пулю, которая даже отъ него не отскочитъ. Это не значитъ, что крупный художникъ, взявшись за извѣстную задачу, непремѣнно ее выполнитъ. Да Гоголь и не имѣлъ въ виду спеціально мѣдный лобъ. Онъ осложнилъ фигуру Ноздрева тою безпорядочною и безшабашною, но добродушною удалью, которая такъ часто исполняетъ у насъ обязанность истиннаго благородства и которая въ глазахъ русскихъ людей сама въ себѣ несетъ какое-то странное оправданіе. «Широкая натура», «душа человѣкъ» — какихъ мерзостей не проститъ своему ближнему русская вареная душа за эти качества? Вареная душа поражается зрѣлищемъ суетливой юркости, безраздумной рѣшительности сужденій и поступковъ, всего этого угара «широкой натуры», каковое зрѣлище представляетъ такой рѣзкій контрастъ съ собственнымъ состояніемъ вареной души. И вареная душа прощаетъ. Прощаетъ тѣмъ охотнѣе, что, несмотря на контрастъ между нею и Ноздревымъ, они очень близки другъ другу. Ноздревъ въ сущности — такая же вареная душа, не знающая истинной любви и ненависти, лишенная всякой устойчивости и цѣльности, но только одаренная мѣднымъ лбомъ и размашистымъ жестомъ. Простая вареная душа колеблется направо и налѣво, дѣлаетъ шагъ впередъ и два шага назадъ, потому что никакое глубокое чувство ей недоступно. Недоступно оно и вареной душѣ, украшенной мѣднымъ лбомъ и размашистымъ жестомъ: сегодня она задушитъ поцѣлуями того самаго человѣка, котораго завтра обдастъ цѣлой лоханью помоевъ. Но въ каждую данную минуту она поражаетъ веселою безапелляціонностью своихъ рѣшеній.

Дѣло заключается, можетъ быть, еще въ томъ, что нравственное чувство, возмущенное поступками Ноздрева, не имѣетъ времени разростись до размѣровъ оскорбленной справедливости. Положимъ, что сегодня Ноздревъ чуть-чуть не избилъ Чичикова чубукомъ и руками своихъ холоповъ, но вѣдь вчера его, можетъ быть, самого высѣкъ поручикъ Кувшинниковъ, а завтра ему выдеретъ одну бакенбарду штабсъ-ротмистръ Поцѣлуевъ. Сегодня онъ обыгралъ шулерскимъ образомъ перваго встрѣчнаго, а завтра такой же встрѣчный обыграетъ его самого на чисто, хоть пѣшкомъ къ себѣ въ деревню иди. Неправедно торжествующаго Ноздрева вы почти не видите. Та самая безшабашная неугомонность, которая толкаетъ его на мерзости, приготовляетъ ему и наказаніе, такъ что чувство возмездія въ постороннемъ наблюдателѣ насыщено. Притомъ же, всѣ шулерства Ноздрева, все его безпардонное глянье и наглость вращаются исключительно въ кругу его личныхъ дѣлишекъ. Конечно, онъ вретъ, когда увѣряетъ, что поймалъ руками зайца, но намъ съ вами нѣтъ никакого резона принимать это вранье близко къ сердцу. Онъ-ли прибьетъ Чичикова, или, напротивъ, его самого выпоретъ поручикъ Кувшинниковъ—это опять-таки только ихъ троихъ касается. Выиграетъ-ли Ноздревъ, или останется въ убыткѣ, промѣнявъ шарманку на бричку, это тоже для насъ съ вами довольно безразлично. Въ дѣла характера общаго и общественнаго, задѣвающія болѣе или менѣе широкій кругъ интересовъ, Ноздревъ не мѣшается. Онъ— человѣкъ мерзостнаго личнаго факта только, а не мерзостнаго общаго принципа. Онъ никого не увѣряетъ, что вчера спасъ или завтра спасетъ отечество; онъ говоритъ только, что поймалъ руками зайца и что у него была лошадь голубого цвѣта. Безбожно клевеща на Чичикова, Ноздревъ согласенъ подтвердить предположеніе губернскаго общества, что онъ, Чичиковъ — французскій шпіонъ; но и тутъ, въ высшій моментъ своего наглаго глянья, онъ собственно не въ политической неблагонадежности обвиняетъ Чичикова, а увѣряетъ только, что Чичиковъ былъ въ школѣ «фискаломъ». Словомъ, Ноздревъ органически не можетъ выбиться изъ тины личныхъ мелочей и вынести свой мѣдный лобъ на почву политической клеветы и политическаго шулерства. Это — также весьма вѣское смягчающее или примиряющее съ распущенностью Ноздрева обстоятельство.

Но ни одно изъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ не составляетъ необходимой принадлежности мѣднаго лба. Напротивъ, типъ представалъ бы передъ нами ярче, рельефнѣе, еслибы мѣднолобію былъ предоставленъ возможно широкій районъ дѣятельности. Во всякомъ случаѣ, нынѣшній мѣдный лобъ не обладаетъ ни подкупающею широтою натуры, каковая могла питаться главнымъ образомъ только крѣпостнымъ правомъ, ни похвальной воздержностью относительно принциповъ и общественныхъ дѣлъ. Нынѣшній мѣдный лобъ—такой же виртуозъ въ дѣлѣ наглости, клеветы, хвастовства, передержекъ, какъ и Ноздревъ, но у него, во-первыхъ, есть приходо-расходная книга, куда онъ аккуратно заноситъ результаты своей дѣятельности, а во-вторыхъ, онъ выноситъ свое безстыдство на арену общественной жизни. Это отнюдь не значитъ, чтобы онъ обзавелся какою-нибудь опредѣленною политическою точкою

зрѣнія. Нѣтъ, онъ по прежнему весь до дна исчерпывается своимъ мѣднолобіемъ и сохранилъ даже всѣ ноздревскіе техническіе пріемы клеветы, шуллерства и лганья, но онъ завоевалъ себѣ новое поприще, гдѣ есть на чемъ разгуляться его дряннымъ инстинктамъ. Для него попрежнему нѣтъ ничего завѣтнаго, но уже не шарманки и лошади, не собаки и брички, не живыя и мертвыя души составляютъ предметъ его коммерческихъ операцій, а политическіе принципы. Онъ ихъ мѣняетъ съ такою же безшабашною стремительностью, какъ Ноздревъ мѣнялъ собакъ, и продаетъ, не всегда за деньги, но, во всякомъ случаѣ, продаетъ. Въ немъ говоритъ все то же неудержимое стремленіе напакостить ближнему, но сфера приложенія этого инстинкта для него много расширилась. Гоголь могъ бы предвидѣть это дальнѣйшее развитіе намѣченнаго имъ типа, потому что на себѣ испыталъ его вѣяніе. Пѣвцу «бѣдности и несовершенства нашей жизни» современные ему мѣдные лбы не разъ бросали упрекъ въ недостаткѣ любви къ Россіи и въ «облаиваніи историческихъ народныхъ святынь»...

Теперь г. Евгеній Марковъ предъявляетъ этотъ самый упрекъ «Отечественнымъ Запискамъ». Да и одинъ ли г. Марковъ! Г. Марковъ съ своими напыщенными, вылощенными прозаическими гимнами, г. Марковъ, не умѣющій слова сказать безъ ужимки, бываетъ подчасъ до такой степени смѣшонъ, что лично объ немъ не стоило бы говорить. Ну его! Пусть разстилается снизмъ орломъ подъ облаками, пусть собираетъ по кабакамъ коллекцію крѣпкихъ словъ, пусть, вообще, проводитъ свое время, какъ ему угодно. Г. Марковъ хоть и ловитъ зайцевъ руками, но самъ понимаетъ всетаки свое слабосиліе. Онъ привѣтствуетъ газету «Русь» въ качествѣ органа, который, наконецъ, разгонитъ торжествующихъ «галмановъ» и «либеральствующихъ нахаловъ». Надъ собой и надъ своими присными въ «Русской Рѣчи» г. Марковъ ставитъ, значитъ, крестъ: они могутъ топорщиться и восклицать, подниматься къ облакамъ и спускаться въ кабаки, но «галмановъ» имъ не разогнать. Такъ Ноздревъ понималъ, что хоть у него и была лошадь голубого цвѣта, но во многихъ отношеніяхъ пальма первенства принадлежитъ всетаки не ему, а поручику Кувшинникову и штабсъ-ротмистру Поцѣлуеву.

Будучи лишенъ всякой оригинальности, будучи вообще мизеренъ и не интересенъ, какъ личность, г. Марковъ есть тѣмъ не менѣе любопытный типъ. Только въ качествѣ типа онъ насъ здѣсь и занимаетъ. Читатель безъ труда припомнитъ тѣ болѣе или менѣе распространенныя въ нашей литературной и общественной жизни черты мѣднолобія, которыя г. Марковъ своимъ краснорѣчіемъ повторяетъ.

Обратите прежде всего вниманіе на время, избранное г. Марковымъ для обличенія «Отечественныхъ Записокъ» въ «озлобленномъ издѣваніи надъ Россіей» и въ «облаиваніи историческихъ народныхъ святынь». Это—время, почти непосредственно слѣдующее за кровавымъ событіемъ 1-го марта. Время ужаса и чуть не повальнаго одурѣнія; время невозможныхъ проектовъ перенесенія столицы въ Москву и обществъ взаимнаго добровольнаго шпіонства; время расцвѣта того дикаго яко бы патріотизма, который, какъ хорошая охотничья собака, обнюхиваетъ каждый кустъ, не пахнетъ-ли жидомъ, полякомъ, вообще не русскимъ или русскимъ измѣнникомъ. Надо обладать, дѣйствительно, очень крѣпкимъ лбомъ, чтобы въ такое время указать пальцемъ на тотъ или другой органъ печати и сказать: вотъ кто облаиваетъ историческія народныя святыни! вотъ кто озлобленно издѣвается надъ Россіей и всѣмъ русскимъ! Читатель знаетъ, что не одинъ г. Марковъ занимался этимъ благороднымъ ремесломъ.

Скажутъ, можетъ быть, что все дѣло тутъ въ искренности убѣжденія: если г. Марковъ, дѣйствительно, убѣжденъ, что либеральствующіе нахалы, проходимцы, попугаи, обезьяны, галманы «Отечественныхъ Записокъ» вредны, то именно тревожность исторической минуты налагаетъ на него нравственную обязанность указать на зло и назвать его по имени.

Такъ. Но замѣтьте, что искренность убѣжденія составляетъ при этомъ необходимое условіе; искренность убѣжденія и еще одна вещь. Что касается искренности, то я позволю себѣ усомниться въ ея наличности. Ругательства и инсинуаціи г. Маркова имѣютъ совершенно ноздревскій характеръ. Ноздревъ вѣдь тоже разсыпалъ направо и налѣво крѣпкія слова, отнюдь, однако, не вкладывая въ нихъ дѣйствительной ненависти или вообще искренняго убѣжденія, что облаиваемый имъ субъектъ на самомъ дѣлѣ заслуживаетъ крѣпкаго слова. Ноздревъ просто сотрясалъ воздухъ. Сотрясаетъ его и г. Марковъ. «Отечественныя Записки» теперешняго состава редакціи въ общемъ, то-есть, оставляя въ сторонѣ какія-нибудь неизбѣжныя случайныя частности, ни разу себѣ не измѣняли съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ, съ 1868 года. Много бурь и тревогъ пережило за это время русское общество; много, значитъ, было поводовъ для пробы прочности убѣжденій. «Отечествен-

ныя Записки» судили о вещахъ, можетъ быть, правильно, можетъ быть совершенно ошибочно, но достовѣрно, что онѣ оставались все время вѣрны своимъ основнымъ взглядамъ. Можетъ быть, г. Марковъ правъ, и «Отечественныя Записки» представляютъ собою, дѣйствительно, скопище галмановъ, но это, значитъ, уже очень старый грѣхъ нашъ, грѣхъ, можно сказать, первородный: всегда мы галманами были, всегда историческія народныя святыни облаивали и озлобленно издѣвались надъ Россіей. Было, однако, время, когда, несмотря на наше галманство, г. Марковъ любезно удостоивалъ насъ своимъ сотрудничествомъ. И мы не отказывались печатать его «Очерки Крыма», ибо эти очерки, давая читателю кое-какія любопытныя свѣдѣнія, не блистали ничѣмъ спеціально марковскимъ, кромѣ красоты слога. Но мы рѣшительно отказались украсить свои страницы другимъ, позднѣйшимъ и чрезвычайно обширнымъ произведеніемъ г. Маркова, въ коемъ уже было нѣчто несравненно худшее, чѣмъ невинная возвышенность стиля въ духѣ старинныхъ курсовъ риторики. Не интересно въ чемъ тутъ дѣло, а то интересно, что г. Марковъ желалъ попасть въ то именно общество, которое онъ теперь осыпаетъ крѣпкими словами... Можетъ-ли тутъ быть рѣчь объ искренности убѣжденія? Мало того. Г. Марковъ увѣряетъ теперь (въ той же майской книжкѣ «Русской Рѣчи»), что галманы «встрѣчаютъ тухлыми яйцами» всѣхъ, кто *не желаетъ* пристать къ нимъ; что галманы «роняютъ достоинство той почтенной партіи дѣйствительнаго и серьезнаго либерализма, къ которой *они стараются* пристроиться» и блистательнѣйшій представитель которой есть, разумѣется, г. Марковъ! Согласитесь, что это—чисто ноздревскія выходки, говорящія совсѣмъ не объ искренности убѣжденія, а о необыкновенной прочности лба. Это—дѣйствительно, лобъ! Онъ несомнѣнно поймалъ руками зайца, этъ г. Марковъ. И если вы, подобно хладнокровному зятю Ноздрева, замѣтите: «ну, зайца-то руками ты не поймалъ», то г. Марковъ съ полнѣйшимъ самообладаніемъ повторитъ возраженіе своего прототипа: «а вотъ же поймалъ, вотъ нарочно поймалъ!» О, эти мѣдные лбы неуязвимы!

И такъ, намъ не приходится даже разсуждать о томъ, на сколько искренность убѣжденія во вредоносности нашего журнала могла бы оправдать инсинуаціи г. Маркова: никакой искренности тутъ нѣтъ, а есть одно только мѣднолобіе. Этого мало. Допустимъ, что г. Марковъ въ самомъ дѣлѣ глубоко убѣжденъ въ томъ, что говоритъ. Но вѣдь есть дѣла, по которымъ обвиненіе и судъ никоимъ образомъ не могутъ основываться на одномъ только внутреннемъ убѣжденіи. И обвиненіе г. Маркова принадлежитъ именно къ этой категоріи. Еслибы г. Марковъ не былъ тѣмъ, что онъ есть, еслибы онъ обладалъ хотя малою долею самой элементарной добросовѣстности, онъ предъявилъ бы какія-нибудь доказательства, что мы «облаиваемъ историческія народныя святыни» и «озлобленно издѣваемся надъ Россіей и русскимъ». Это было бы всегда необходимо, а тѣмъ болѣе въ избранное г. Марковымъ для аттаки время. Отъ этого не умалился бы патріотическій подвигъ розысканія враговъ отечества, а только пріобрѣлъ бы характеръ солидности и серьезности, не говоря уже о требованіяхъ прямой добропорядочности. Но какое до всего этого дѣло мѣднымъ лбамъ?! Отправляясь въ походъ на враговъ отечества, они пожалуй, нарочно одѣнутся въ арлекинскій костюмъ, ибо имъли уразумѣть, что гражданскій подвигъ не уживается ни съ паясничествомъ, ни съ клеветой? Ихъ дѣло—сотрясать воздухъ браннымъ кликомъ единственно въ тѣхъ видахъ, чтобы напакостить ближнему, и затѣмъ, вмѣсто всякой отвѣтственности передъ собой и людьми, безстрашно и безстыдно выставить впередъ свой мѣдный лобъ: отъ него все отскочитъ...

Отскочитъ, я знаю, и мое собесѣдованіе съ г. Марковымъ. Я слишкомъ хорошо знаю, что ни краска стыда не зальетъ его лица, ни ущемленная совѣсть не ослабитъ ноздревской яркости его природнаго румянца. Знаю и не особенно горюю объ этомъ. Но вотъ, что въ самомъ дѣлѣ огорчительно: еслибы я доказалъ мѣднолобіе г. Маркова съ математическою точностью и не оставилъ ни одного сомнѣнія относительно нравственной физіономіи этого человѣка, то при новой встрѣчѣ съ вареными душами все-таки и онъ будетъ, «какъ говорится, ничего и они ничего». А вареныхъ душъ много, ими переполнена бѣдная русская земля. Только этимъ обиліемъ вареныхъ душъ, не злопамятныхъ и не добропамятныхъ, можно объяснить многія дикія страницы старой и новой русской исторіи и многое множество нашихъ житейскихъ эпизодовъ. Нигдѣ негодяй не можетъ съ такимъ удобствомъ продѣлать свое негодяйство второй и третій разъ надъ одними и тѣми же слабыми, нравственно безпомощными людьми, имъ же имя легіонъ. Нельзя, значитъ, съ ними не считаться; а какъ съ ними считаться, коли они всегда готовы все простить якобы по благодушію, а въ сущности потому, что у нихъ душа выварена?

Какъ уже сказано, однако, я не имѣю претензіи заклеймить мѣдный лобъ нести-

раемымъ клеймомъ. Но я не могу всетаки не отмѣтить г. Маркова и не воспользоваться имъ для подведенія нѣкоторыхъ итоговъ.

Читатель замѣтилъ, можетъ быть, что г. Марковъ, презирая «органы расхожаго европейскаго либерализма», тѣмъ не менѣе знаетъ какую-то «почтенную партію дѣйствительнаго и серьезнаго либерализма». Неизвѣстно только, какая это партія, изъ какихъ людей она состоитъ, каковы ея цѣли и программа. Г. Марковъ говоритъ только, что къ ней «стараются пристроиться» галманы. Г. Марковъ говоритъ, г. Марковъ не говоритъ, г. Марковъ рыдаетъ, г. Марковъ раздвигаетъ улыбкою ротъ до ушей—кому какое дѣло до этого? Но г. Марковъ есть типъ. Не онъ одинъ прибѣгаетъ къ фортелю съ таинственными намеками на истинный или дѣйствительный либерализмъ. Читателю извѣстно, что нынѣ вошло въ моду, говоря о либерализмѣ, ставить его въ ироническія ковычки: «либерализмъ», «либералы» и проч. Дескать, это совсѣмъ не истинный либерализмъ и не истинные либералы, а мы только въ насмѣшку такъ ихъ называемъ, «въ критику и изъ-подъ политики», какъ говоритъ у Островскаго жеманная купеческая дочка. Очень часто дѣло не ограничивается ироническими ковычками и являются выраженія: «quasi-либерализмъ», «лже-либерализмъ», «формальный либерализмъ» и т. п. Этими выраженіями опять-таки дается понять, что употребляющимъ ихъ извѣстенъ и близокъ сердцу истинный и не формальный только либерализмъ, не имѣющій ничего общаго съ образомъ мыслей ихъ противниковъ. Одни прибѣгаютъ къ этому фортелю просто зря, безъ мотива и цѣли, а другіе... Не знаю, впрочемъ, выражается-ли у этихъ другихъ такимъ способомъ остатокъ стыда или, напротивъ, вящшее безстыдство мѣдныхъ лбовъ. Дѣло въ томъ, что многіе и многіе изъ нихъ (г. Марковъ въ томъ числѣ) когда-то не мало грѣшили по части либерализма, гордились титуломъ либерала и чрезвычайно негодовали на людей, находившихъ либерализмъ узкой и фальшивой доктриной. Теперь настали новыя времена, и старыя птицы запѣли новыя пѣсни: онѣ поютъ о зловредности либерализма. Поютъ громко, съ задорными фіоритурами, но—вотъ этого-то я и не могу рѣшить — по остатку стыда или по большому безстыдству, отдаютъ двусмысленную дань своему либеральному прошлому выгораживаніемъ какого-то истиннаго, не формальнаго, серьезнаго, просвѣщеннаго либерализма. Можетъ быть, впрочемъ, они просто оставляютъ себѣ лазейку на тотъ случай, если либерализмъ станетъ когда-нибудь опять современною пѣснью. Они могутъ въ такомъ случаѣ сказать: мы не были противъ настоящаго, серьезнаго, просвѣщеннаго либерализма, а, дескать, нынѣ господствующій и есть именно этотъ настоящій, серьезный...

Намъ не придется пѣть такую пѣсню, потому что мы никогда либералами не были; ни въ тѣ времена, когда либерализмъ, правда, умѣренный и аккуратный (онъ говорилъ: «наше время не время широкихъ задачъ»), брызгалъ чуть не изо всѣхъ поръ русской литературы, ни теперь, когда доктрина либерализма находится въ такомъ загонѣ, что даже нѣсколько неловко подчеркивать ея слабыя стороны. Неловко по той же причинѣ, по которой лежачаго не бьютъ и въ спину не стрѣляютъ. Я, конечно, и не собираюсь заниматься этимъ благороднымъ дѣломъ, но надо всетаки удивляться необыкновенному мѣднолюбію людей, ставящихъ либерализмъ намъ на счетъ и валящихъ вину съ собственной больной головы на чужую здоровую. И вѣдь это всенародно происходитъ! Точно читатель не можетъ заглянуть ни въ старыя статейки хоть того же г. Маркова и прочихъ нынѣшнихъ враговъ «лже-либерализма», ни въ старые и новые номера «Отечественныхъ Записокъ».

Упрекъ въ «лже-либерализмѣ» обыкновенно осложняется упрекомъ въ подражаніи Европѣ. Г. Марковъ говоритъ объ «органахъ расхожаго европейскаго либерализма», изящно указывая при этомъ на неправильность названія *Отечественныя* Записки для журнала, который занимается «облаиваніемъ» народныхъ святынь и презираетъ все отечественное. Мы не выбирали названія для своего журнала, а получили его по невольному наслѣдству, въ силу тѣхъ особыхъ условій, въ которыхъ стояла и стоитъ русская печать. Но, по правдѣ сказать, еслибы намъ предстоялъ свободный выборъ, мы, вѣроятно, выбрали бы не «Отечественныя Записки», а какое-нибудь другое названіе. Прежде всего, впрочемъ, въ виду того, что названіе это не особенно удачно въ логическомъ и грамматическомъ отношеніи. А затѣмъ и по болѣе интереснымъ причинамъ.

Очень ужъ много недоразумѣній возбуждаетъ слово «отечество». Я не говорю о томъ давно поставленномъ вопросѣ—Германію или Францію должны считать нынѣ своимъ отечествомъ эльзасцы и лотарингцы. Вопросъ, интересный для самихъ эльзасцевъ, интересный теоретически, но собственно для насъ, въ моментъ собесѣдованія о нашемъ патріотизмѣ, совершенно безразличный. Мы — коренные русаки, и ни даже самый подозрительный мѣдный лобъ не могъ досихъ поръ открыть присутствіе «жидовскаго», польскаго и вообще инородческаго элемента въ составѣ нашей редакціи. Не то, чтобы мы гнали отъ себя «жидовъ» и иныхъ,

нѣтъ просто такъ случилось. Какъ бы то ни было, «случай-ли выручилъ, Богъ-ли помогъ», но одна опасность и одно затрудненіе для насъ не существуютъ. Есть, къ сожалѣнію, другія.

Спрашивается: если я люблю свое отечество, то люблю-ли и долженъ-ли любить все, что въ немъ живетъ, летаетъ и пресмыкается, всѣхъ птицъ и гадовъ, его населяющихъ? Обязанъ-ли я, напримѣръ, любить г. Маркова и все сонмище мѣдныхъ лбовъ «отечественной фабрикаціи?» Мнѣ кажется, это не обязательно. Хотя бы потому не обязательно, что, любя мѣдные лбы, я долженъ не любить многое русское же, несомнѣнно русское, что эти мѣдные лбы колотятъ своею металлическою непроницаемостью. Возьмите крупный, хорошій и притомъ русскій орѣхъ и подставьте его мѣдному лбу: мѣдный лобъ не то, что безжалостно, а просто въ силу своей неотвѣтственной металличности, расплющитъ орѣхъ, не разбираючи шелухи и ядра. Могу-ли я пожалѣть о безслѣдно погибшемъ прекрасномъ русскомъ орѣхѣ? Мнѣ кажется, это позволительно. И нетолько позволительно, а можетъ даже быть правомѣрно введено въ сферу любви къ отечеству, ибо безплодно погибшій прекрасный орѣхъ былъ русскій: онъ выросъ на отечественной почвѣ, обмывался отечественнымъ дождемъ и созрѣвалъ подъ отечественнымъ солнцемъ. Съ другой стороны, мѣдный лобъ тоже справедливо говоритъ, что онъ отечественной фабрикаціи. Онъ, можетъ быть, даже мнитъ себя неприкосновенной «народной святыней» или чѣмъ-нибудь въ такомъ родѣ. Это онъ вретъ, конечно. Но надо же всетаки, значитъ, выбирать между любовью къ русскому мѣдному лбу и любовью къ раздавленному имъ прекрасному русскому орѣху. Гдѣ та возвышенная точка, съ которой этотъ выборъ можетъ быть сдѣланъ правильно?

Спрашивается далѣе: если я люблю отечество, то не могу-ли въ тоже время любить нѣкоторыя вещи, не отечественныя, правда, но и не стоящія въ прямомъ противорѣчіи съ *идеей* отечества; тѣ международныя вещи, о которыхъ, употребляя слова писанія, слѣдуетъ сказать, что по отношенію къ нимъ нѣтъ эллинъ, ни іудей? Такія вещи безспорно есть, онѣ называются: истина, справедливость, свобода, трудъ, честь, совѣсть и проч. Мнѣ кажется опять-таки, что любить ихъ нетолько позволительно, а даже обязательно для истиннаго сына отечества. Мало того, быть можетъ, вся задача истиннаго патріота исчерпывается посильнымъ водвореніемъ этихъ прекрасныхъ международныхъ вещей въ своемъ отечествѣ. По крайней мѣрѣ, такъ именно понимали дѣло многіе великіе европейскіе и русскіе люди, составляющіе гордость своей родной страны. И наоборотъ, нельзя указать ни одного историческаго примѣра, чтобы родина съ благодарною гордостью вспоминала о человѣкѣ, который гналъ изъ нея великія международныя вещи; не русскія, или французскія, не эллинскія или іудейскія, а тѣ, что всѣмъ ровно свѣтятъ и всѣхъ ровно грѣютъ, какъ солнце. Видѣть свою родину, хотя бы въ будущемъ, облеченною въ броню истины и справедливости — г. Марковъ и К° называютъ это «космополитическими грезами». Такъ-ли полно? По моему, это не грезы, а если грезы, то во всякомъ случаѣ патріотическія. А, впрочемъ, дѣло не въ словахъ, и повторяю, еслибы выборъ отъ насъ зависѣлъ, то во избѣжаніе недоразумѣній, мы не назвали бы, вѣроятно, своего журнала «Отечественными Записками».

Недоразумѣнія еще не исчерпаны. Дѣло въ томъ, что великія международныя вещи не противорѣчатъ *идеѣ* отечества, а напротивъ, даютъ ей опору. Но понятно, что фактическому положенію отечества они могутъ въ каждую данную минуту противорѣчить самымъ рѣзкимъ образомъ. Еще недавно мы слышали съ высоты трона о духѣ «неправды и хищенія», бременящемъ наше отечество. Это и есть указаніе на противорѣчіе великихъ международныхъ вещей съ фактическимъ положеніемъ родины въ данную минуту. Ясно, слѣдовательно, что, любя отечество, можно и должно многое въ немъ ненавидѣть, презирать, гнать, клеймить, позорить. И еслибы (беру случай теоретической возможности) мрачныя историческія условія обратили хищеніе и неправду даже въ «народную святыню», такъ и то она должна быть низвергнута, какъ былъ низвергнутъ идолъ Перуна (то же народная святыня того времени) основателемъ христіанства въ Россіи. Пусть мѣдные лбы, величаясь своимъ патріотизмомъ, ходятъ вокругъ да около и пусть вопятъ въ отчаяніи, какъ поклонники Перуна: «выдыбай, Боже!».

Но, можетъ быть, я поднялъ вопросъ въ слишкомъ высокія и отвлеченныя сферы. Можетъ быть, дѣло стоитъ просто такъ, что мы, полагая въ своемъ ослѣпленіи великія международныя вещи уже достигшими полнаго развитія и осуществленія на западѣ, и именно на либеральномъ западѣ, желаемъ пересадки запада къ намъ, на востокъ. Мѣдные лбы говорятъ это. Забывъ, какъ сами они стучали своею непроницаемою металлическою поверхностью передъ либеральнымъ западомъ и какъ они не разбились только потому, что мѣдные лбы вообще не разбиваются (пусть г. Марковъ

вспомнить, напримѣръ, полемическій эпизодъ изъ-за взглядовъ графа Л. Н. Толстого на народное образованіе), забывъ, говорю, свое прошлое, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ невѣроятною наглостью валятъ съ больной головы на здоровую. Дѣло въ томъ, что за всѣ эти семидесятые годы ни одинъ органъ русской печати не относился къ различнымъ проявленіямъ запада, и въ особенности либеральнаго запада, съ такою пристальною, тревожною, съ такою, смѣю сказать, патріотическою критикою, какъ мы, неправедно носящіе титулъ *Отечественныхъ* Записокъ. Я вызываю любой мѣдный лобъ опровергнуть меня. Опровергнуть, разумѣется, фактически, а не такъ, какъ Ноздревъ возражалъ Мижуеву: «а вотъ же поймалъ, вотъ нарочно поймалъ!» Правда, мы не вопіяли о нашей «самобытности» и не трепали за волосы все европейское прошлое и настоящее, а напротивъ, видѣли въ немъ и лучи ослѣпительно яркаго, благодатнаго свѣта. Но тѣмъ не менѣе вѣрно, что нынѣшніе модные противники «quasi-либерализма», «лже-либерализма» и проч., сплошь и рядомъ бьютъ намъ челомъ нашимъ же добромъ, только въ искалѣченномъ видѣ, съ придачей нахальства въ тонѣ, всякаго вздора и мракобѣсія въ содержаніи. О, мѣдные лбы! Что говорить о прошломъ? И теперь, когда мы систематически отказываемся бить лежачаго и стрѣлять въ спину, мы не поступились ничѣмъ изъ своихъ взглядовъ. А мѣдные лбы читаютъ, напримѣръ, хоть интересныя статьи г. В. В., въ которыхъ разъясняется, что для нашего отечества необязателенъ и даже невозможенъ путь европейскаго либеральнаго развитія, читаютъ и говорятъ: «органъ расхожаго европейскаго либерализма, словно въ насмѣшку присвоившій себѣ имя Отечественныхъ Записокъ»...

Паки и паки: мѣдные лбы! А вы, вареныя души, неужто вы, въ самомъ дѣлѣ, и напредки будете «ничего»? неужто души у васъ выварены до состоянія мочалки?!

Какъ ни гладокъ, какъ ни крѣпокъ, какъ ни лоснится мѣдный лобъ, но есть же все-таки въ концѣ-концовъ какая-нибудь цѣль, не сознательная, такъ инстинктивная, его наглаго лганія. Ноздревъ лгалъ по неудержимой склонности своей въ нѣкоторомъ родѣ художественной натуры, изъ элементарнаго желанія напакостить ближнему, изъ желанія оказаться пріятнымъ человѣкомъ въ той или другой компаніи. Но въ концѣ концовъ онъ обдѣлывалъ свои дѣлишки, глупо, неумѣло, безпорядочно, но обдѣлывалъ. Такъ и нынѣшніе мѣдные лбы и даже въ гораздо большей степени.

Въ той же статьѣ г. Маркова, которая служитъ исходнымъ пунктомъ для настоящей главы «записокъ современника», говорится о «навязываемой намъ литературою извѣстнаго направленія обязанности заклать въ жертву интересовъ крестьянскаго сословія всѣ другіе интересы и сословія русскаго государства, сознательно игнорируемые этимъ направленіемъ». Говорится также о «мечтаніяхъ нашей «мужиковствующей» журналистики, великодушно жертвующей чужими интересами и претендующей основать на этомъ дешевомъ подвигѣ свою репутацію передовыхъ людей Россіи. Вотъ—корень вещей. Это ненавистное «мужиковствующее» направленіе (терминъ, до котораго г. Марковъ своимъ умомъ дошелъ, чѣмъ очень гордится) и есть именно то «галманское» направленіе, которое вторитъ европейскому либерализму, осмѣиваетъ народныя святыни и проч. И въ этомъ все дѣло. Г. Маркову нѣтъ никакого дѣла до того, что настоящій «расхожій европейскій либерализмъ» никогда фактически «мужиковствующимъ» не былъ и никогда не могъ быть таковымъ въ принципѣ. Но г. Маркову и вообще нѣтъ дѣла до запада и востока, сѣвера и юга. Все это—аксессуары или пожалуй бильярдные шары, которые игрокъ сажаетъ то въ среднюю лузу, то въ одну крайнюю, то въ другую, смотря по тому, какъ удобнѣе. Самая же суть состоитъ, какъ давно уже разъяснилъ самъ г. Марковъ, въ «возстановленіи простыхъ и тихихъ прелестей крѣпостного быта» въ обновленной, конечно, формѣ. Можно это устроить при помощи европейскаго либерализма—прекрасно: да здравствуетъ либерализмъ! Нельзя—г. Марковъ поищетъ другихъ средствъ, будетъ ругать либерализмъ чуть что не непечатными словами и уличать прохожихъ въ измѣнѣ отечеству. Обращаясь же къ «мужиковству» по существу, надо сказать прежде всего слѣдующее. Еслибы понадобилось «заклать въ жертву интересовъ крестьянскаго сословія» интересы собственно г. Маркова и присныхъ его, то мы, конечно, надъ такимъ дѣломъ не задумались бы. Въ этомъ я долженъ откровенно сознаться. Что же касается закланія «всѣхъ другихъ интересовъ», то это обвиненіе клеветническое и мѣднолобое. Интересы крестьянскаго сословія для насъ дѣйствительно дороги, и я не вижу еще резона обвинять насъ по этому случаю въ измѣнѣ отечеству и въ облаиваніи народныхъ святынь. Но вопросъ состоитъ все-таки въ томъ, какъ сочетать эти интересы съ интересами тѣхъ великихъ международныхъ вещей, о которыхъ говорено выше.

Это—интересный предметъ, но при обсужденіи его присутствіе г. Маркова совершенно излишне. Идите, г. Марковъ, куда

угодно; идите... и впередъ не грѣшите, хотѣлъ я сказать, но, право, это не важно. Можете, пожалуй, и грѣшить...

Дѣло въ томъ, что г. Марковъ на этотъ разъ какъ будто утрачиваетъ свой характеръ типа: онъ съ негодованіемъ говоритъ о «мужиковствѣ», тогда какъ другіе противники «лже-либерализма» преисполнены особливою преданностью мужику и только и говорятъ, что о закланіи «всего» въ жертву интересамъ крестьянскаго сословія. Да погибнетъ все, кромѣ того, что нужно русскому народу, мужику!—такова тоже современная модная пѣсня, и я рекомендую читателю внимательно вдуматься въ тотъ фортель, который можетъ быть выкинутъ и дѣйствительно выкидывается при помощи этой пѣсни. Хотя бы не для того, чтобы удалить или раздавить этотъ фортель,—можетъ быть, въ немъ выражается непреклонный и неумолимый историческій фатумъ — а чтобы знать, какъ идутъ дѣла въ родной странѣ.

Демократическій фортель, но фортель...

Нынѣшнее царствованіе уже отмѣчено нѣсколькими важными правительственными распоряженіями: объ обязательномъ выкупѣ крестьянскихъ надѣловъ, о пониженіи выкупныхъ платежей, о прекращеніи продажи казенныхъ земель въ Оренбургскомъ Краѣ на льготныхъ условіяхъ 1871 г., объ облегченіи для крестьянъ арендованія свободныхъ казенныхъ земель. Общій характеръ этихъ мѣропріятій несомнѣненъ: всѣ они клонятся къ тому, чтобы сблизить производителя-крестьянина съ землей. Вмѣстѣ со всѣми благомыслящими русскими людьми, мы привѣтствуемъ этотъ принципъ, хотя и не знаемъ до какихъ предѣловъ предполагается его осуществить. Какъ бы то ни было, но правительственный починъ далъ соотвѣтственный толчокъ общественной мысли. Послышались самопроизвольные отказы отъ земельныхъ участковъ, полученныхъ на льготныхъ условіяхъ; симферопольское земство постановило отчислить 5,000 р. въ годъ на устройство безземельныхъ крестьянъ; мелитопольское земство назначило капиталъ въ 60,000 для пособія крестьянамъ въ покупкѣ земель; таврическое губернское земство назначило 150,000 р. на образованіе капитала для ссудъ безземельнымъ, полтавское губернское земство постановило пріобрѣсти 12,000 десятинъ земли съ тою же цѣлью устройства безземельныхъ крестьянъ. Немного все это, разумѣется; но принципъ мы всетаки высоко цѣнимъ. Къ сожалѣнію, исторія попытки полтавскаго земства получила совершенно неожиданный финалъ. Вотъ какъ онъ разсказанъ въ газетахъ.

Полтавская губернская управа, по словамъ циркуляра предсѣдателя губернскимъ гласнымъ, считая своею обязанностью пользоваться каждымъ случаемъ для содѣйствія земельному устройству безземельныхъ крестьянъ, не могла не обратить вниманія на дошедшее до нея свѣдѣніе, что въ Миргородскомъ уѣздѣ продается на весьма льготныхъ условіяхъ имѣніе г. Муравьева-Апостола, состоящее изъ 12 тысячъ десятинъ. Имѣніе это находилось въ пожизненномъ владѣніи г-жи Муравьевой-Апостолъ и послѣ ея смерти должно было перейти къ М. И. Муравьеву-Апостолу. Вслѣдствіе соглашеній, пожизненная владѣлица отказывалась отъ пожизненныхъ правъ, а г. Муравьевъ соглашался продать свои права съ выдѣломъ пожизненной владѣлицѣ 3,500 десятинъ—за 300 тысячъ рублей, а безъ этого выдѣла—за 650,000 руб. Выходило, такимъ образомъ, съ небольшимъ 50 рублей за десятину; для Полтавской губерніи это цѣна дешевая. Губернская управа немедленно командировала въ Москву, для переговоровъ съ г. Муравьевымъ, члена своего г. Ильяшенко и кромѣ того, имѣя въ виду, что попечитель московскаго учебнаго округа, г. Капнистъ—полтавскій землевладѣлецъ, обратилась и къ нему. Однако, г. Капнистъ, вмѣсто содѣйствія, счелъ своею обязанностью испортить все дѣло. Казалось бы, ему принадлежало право или оказать просимую помощь, или просто отказать въ ней; но онъ почему-то вообразилъ себя въ роли «попечителя» полтавскаго земства, призваннаго производить оцѣнку разумности и правильности земскихъ дѣйствій. Присвоивъ себѣ такую роль, онъ счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ «помѣшать» земству въ осуществленіи его предпріятія и отвѣтилъ земской управѣ, что, по его мнѣнію, покупка имѣнія—«операція невозможная безъ *нарушенія законныхъ правъ, задачъ и цѣлей земства*», что она даже «не соотвѣтствуетъ *видамъ правительства* и можетъ породить «несбыточныя надежды и ложные слухи». Такимъ образомъ, землевладѣлецъ и попечитель учебнаго округа—г. Капнистъ присвоилъ себѣ еще роль выразителя правительственныхъ взглядовъ на вопросы земскаго и народнаго хозяйства. Далѣе, г. Капнистъ прибавилъ, что онъ успѣлъ даже «отклонить» г. Муравьева отъ сдѣлки съ земствомъ, и что г. Муравьевъ самъ раздѣляетъ его взгляды. Вотъ какъ поступилъ дѣйствительный попечитель учебнаго округа и самозванный попечитель земства. На повѣрку однако вышло, что г. Муравьевъ не совсѣмъ раздѣлялъ попечительскіе взгляды; онъ желалъ продать имѣніе «или земству, или родовитому дворянину», но только впалъ въ сомнѣніе—точно-ли правительство не отнесется къ продажѣ земству

«неодобрительно?» Нечего дѣлать, предсѣдатель губернской управы, въ виду спѣшности и важности дѣла, прибѣгнулъ къ чрезвычайному способу: обратился къ г. министру внутреннихъ дѣлъ съ телеграммою, въ которой, объяснивъ обстоятельства дѣла, просилъ сообщить продавцамъ, что начатое предпріятіе не противно видамъ правительства, а, напротивъ, соотвѣтствуетъ имъ; въ то же время онъ вступилъ въ переговоры съ харьковскимъ земелнымъ банкомъ объ обезпеченіи сдѣлки, въ чемъ и успѣлъ. На телеграмму не послѣдовало ни утвердительнаго, ни отрицательнаго отвѣта. А тутъ кстати подвернулся конкурентъ-покупатель, кн. Мещерскій, относительно котораго не возбуждалось уже никакихъ сомнѣній, и земское дѣло—окончательно потеряно. Словомъ, тутъ какъ нарочно сошлись всѣ неблагопріятныя случайности. Циркуляръ заключается сѣдующими словами: «глубоко сожалѣя о неудачѣ, губернская управа будетъ считать для себя поддержкой въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ ваше сочувствіе къ образу ея дѣйствій въ настоящемъ случаѣ».

Исторія, крайне любопытная сама по себѣ. Частный человѣкъ, никѣмъ не уполномоченный, совершенно самопроизвольно налагаетъ отъ имени правительства свое veto на сдѣлку, нетолько не предосудительную вообще, но по всѣмъ видимостямъ совпадающую съ послѣдними правительственными заявленіями. И добро бы это Іисусъ Навинъ былъ, который своимъ словомъ остановилъ солнце, а то всего-то г. Каннистъ!

Я не счелъ бы, однако, нужнымъ напоминать читателю эту, безъ сомнѣнія, уже извѣстную ему исторію, еслибы она не наводила на нѣкоторыя общія размышленія и опасенія.

Въ обществѣ и литературѣ то и дѣло слышатся нынѣ возгласы: долой «интеллигенцію» и да здравствуетъ народъ! Хорошо. Я не высокаго мнѣнія о русской интеллигенціи и никому не уступлю въ искренности пожеланія: да здравствуетъ русскій народъ! Но я боюсь данайцевъ, дары носящихъ. Боюсь, что господствующее настроеніе общественной мысли отольется и уже отливается въ схему, которую можно заимствовать у газеты «Русь»: изъ уваженія къ требованіямъ народной совѣсти и народныхъ вѣрованій, театры въ посту должны быть закрыты; что же касается народнаго пониманія хозяйственныхъ отношеній, то тутъ не у народа надо справляться, а у интеллигентнаго человѣка, г. Самарина, который сочинилъ теорію достаточности надѣловъ... Это только схема. Дѣло не въ великопостныхъ спектакляхъ, конечно, и даже не въ запрещеніи служить панихиду въ память великаго поэта, составляющаго честь и красу отечества. Дѣло въ общей тенденціи—задавить, подъ предлогомъ народныхъ идеаловъ, великія международныя вещи и... и всетаки ничего не дать народу...

Госпожи вареныя души! Если вы уже вывaрены до состоянія молчалки и не можете не обниматься съ мѣдными лбами, то, по крайней мѣрѣ, знайте кого вы обнимаете.

Господа мѣдные лбы! Если въ васъ подъ металлической покрышкой сохранилась хоть единая капля человѣческаго достоинства—бросьте клевету и наглую ложь, перестаньте валить съ больной головы на здоровую, перестаньте кощунствовать, толкуя объ идеалахъ, и говорите прямо, чего вамъ нужно.

VI.

Послушаемъ умныхъ людей*).

Избавь насъ, Господи, отъ друзей, а съ врагами мы ужъ какъ-нибудь сами справимся, сказалъ кто-то. Русская литература никоимъ образомъ не можетъ повторить это изрѣченіе, ибо справится-ли она съ врагами и какъ справится, это—дѣло очень темное, а самое существованіе друзей, пожалуй, еще темнѣе. За то есть покровители, отечески заботливые, отечески мудрые... Если вы сомнѣваетесь въ этомъ, то загляните въ «Саратовскія Губернскія Вѣдомости» и прочтите тамъ слѣдующій циркуляръ и. д. губернатора, саратовскаго вице-губернатора, г. Азанчевскаго.

«Редакціи «Саратовскаго Листка» и «Саратовскаго Дневника», 24 и 25 сего августа мѣсяца, распорядились напечатать о перемѣнахъ между высшими лицами мѣстной губернской администраціи. Свѣдѣнія, переданныя на публичное обсужденіе, не основаны на формальныхъ данныхъ, дошедшихъ до мѣстнаго общества какимъ-либо несомнѣнно вѣрнымъ, положительнымъ и правительственно-оффиціальнымъ путемъ. Слѣдовательно, такое извѣстіе, которое появляется на основаніи слуховъ и догадокъ, и еще относительно лицъ, служащихъ высшими представителями правительства въ губерніи, по малой мѣрѣ, лишено всякаго сознанія своихъ гражданскихъ обязанностей къ служебной и общественной дисциплинѣ и уваженія къ личной скромности служащихъ лицъ. Редакціи газетъ, при настоящемъ современномъ взглядѣ на печатное слово, представляютъ собой конторы, имѣющія своею цѣлью распоряженіе обращеніемъ общественной мысли, точно такъ же, какъ торговыя конторы распоряжаются обращеніемъ торговыхъ

*) 1881 г., октябрь.

фондовъ; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ кредитъ и его поддержка играютъ первостепенную роль—для сохраненія кредита, что пріобрѣтается довѣріемъ общества, нужно вѣрное и точное, справедливое веденіе своихъ операцій; но можетъ-ли то и другое существовать, когда оно основано на летучихъ, временныхъ данныхъ? Разумѣется, нѣтъ! Поэтому для пользы и истины самого дѣла печати предъявляется редакціямъ частныхъ органовъ печати и гг. служащимъ, имѣющимъ ближайшею обязанностью наблюденіе за исполненіемъ законовъ о печати и постановленій правительства — цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ въ особенности, чтобы впредь ни подъ какимъ видомъ не были помѣщаемы никакія свѣдѣнія, касающіяся правительственныхъ лицъ и учрежденій, не основанныя на прямыхъ и непосредственныхъ указаніяхъ правительственныхъ органовъ и распоряженій, въ порядкѣ закономъ указываемыхъ и обнародоваемыхъ».

Циркуляръ этотъ замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ: и въ политическомъ, и въ логическомъ, и въ грамматическомъ. Но едвали не самое любопытное въ немъ—это отеческая заботливость просвѣщеннаго г. вице-губернатора о литературѣ; заботливость, основанная какъ непосредственно на отеческихъ чувствахъ администратора, такъ и на «настоящемъ современномъ взглядѣ на печатное слово».

Отдавая, однако, должную дань чувствамъ благорасположенія, одушевляющимъ г. Азанчевскаго, и его прекраснымъ намѣреніямъ, я не могу, къ сожалѣнію, признать совершенно правильнымъ его «настоящій современный взглядъ на печатное слово». Параллель между литературнымъ дѣломъ и торговыми конторами нельзя назвать очень удачною. Но еслибы она была даже перломъ остроумія и глубокомыслія, то едва-ли всетаки есть логическая возможность сдѣлать изъ нея тѣ выводы, которые дѣлаетъ г. саратовскій вице-губернаторъ. Допустимъ, въ самомъ дѣлѣ, что редакціи газетъ и торговыя конторы едино суть. Ну, и пускай бы себѣ »Саратовскій Листокъ» и «Саратовскій Дневникъ» потеряли «довѣріе общества» сообщеніемъ невѣрныхъ свѣдѣній и пускай бы себѣ саратовское общество, разочарованное этими газетами, народило или выбрало другія. Помогать именно «Листку» или «Дневнику» не видится настоятельной надобности. А ужъ если помогать, такъ надо доводить это благотворительное дѣло до конца. Саратовскія газеты сообщили невѣрныя свѣдѣнія о новомъ назначеніи г. Азанчевскаго. И вотъ «цензора, полиціймейстеры и исправники» Саратовской губерніи поднимаются на ноги для защиты «личной скромности служащихъ лицъ» и для поддержанія въ публикѣ довѣрія къ русской литературѣ. Но вѣдь саратовскія, какъ и всякія другія газеты, могутъ сообщить невѣрныя свѣдѣнія и о другихъ предметахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ скромности администраторовъ. Напримѣръ, о высотѣ Монъ-Блана, о парламентскихъ порядкахъ въ Англіи, о видахъ на урожай, о нравственномъ значеніи буддизма, о годѣ рожденія Юлія Цезаря, о причинахъ падающихъ звѣздъ и проч., и проч., и проч. Г. Азанчевскій скроменъ и признаетъ, конечно, что всѣ эти предметы нѣсколько болѣе высокаго роста, чѣмъ саратовскій вице-губернаторъ, а потому неточныя объ нихъ свѣдѣнія въ еще бо́льшей мѣрѣ подроютъ довѣріе общества къ литературѣ. Не подлежитъ-ли, слѣдовательно, предоставить гг. саратовскимъ цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ гораздо болѣе широкій районъ руководительства печатнымъ словомъ, чѣмъ какой отведенъ имъ въ циркулярѣ г. Азанчевскаго? Циркуляръ этотъ имѣетъ вѣдь въ виду «пользу и истину самого дѣла печати»; авторъ его только о томъ и безпокоится, какъ бы поддержать мѣстную литературу на высотѣ ея призванія торговой конторы и внушить публикѣ довѣріе къ ней. Только въ этихъ чрезвычайно благосклонныхъ видахъ циркуляръ и произноситъ грозныя слова: предъявляется... цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ въ особенности (почему исправникамъ въ особенности?), чтобы впредь ни подъ какимъ видомъ» и т. п. Я не совсѣмъ понимаю, почему именно «исправники въ особенности» приглашаются къ благотворительному воздѣйствію на литературу, но это второстепенная подробность, надъ которой не стоитъ ломать голову. Гораздо интереснѣе было бы знать, почему вообще цензора и чины полиціи должны способствовать установленію довѣрія между обществомъ и печатью? А въ случаѣ удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ, не безъинтересно знать, почему сообщенія газетъ о высотѣ Монъ-Блана могутъ безпрепятственно основываться «на летучихъ, временныхъ данныхъ», а сообщенія о новыхъ административныхъ назначеніяхъ должны покоиться на данныхъ вѣчныхъ?

Откровенно говоря, я думаю, что мысли саратовскаго циркуляра надо понимать совершенно наоборотъ. А именно: господа цензора, полиціймейстеры и исправники должны неукоснительно исполнять обязанности, возложенныя на нихъ закономъ, отнюдь не обременяя себя сторонними предпріятіями; литература же пускай собствен-

ными средствами добываетъ и поддерживаетъ необходимый ей кредитъ; если она этого кредита не заработаетъ, то погибнетъ и худая трава изъ поля вонъ. Осмѣливаюсь выразить даже такую мысль. Безъ сомнѣнія, русская литература не пользуется довѣріемъ общества въ той мѣрѣ, въ какой это требуется задачею печатнаго слова; безъ сомнѣнія, въ этомъ виновата отчасти сама литература, но положеніе это уже, разумѣется, въ несравненно большей степени создано попечительною дѣятельностью администраціи. Въ сущности, для самаго дѣла довольно безаразлично, какіе мотивы руководятъ администраціею въ ея отношеніяхъ къ печатному слову, если отношенія эти практически исчерпываются грозными словами: «предъявляется... цензорамъ, полиціймейстерамъ и исправникамъ въ особенности, чтобы впредь ни подъ какимъ видомъ» и проч. Разъ тѣмъ или другимъ путемъ установился такой порядокъ, общество, конечно, не можетъ имѣть довѣрія къ литературѣ: общество знаетъ, что литература отнюдь не имѣетъ въ рукахъ «распоряженія обращеніемъ общественной мысли, какъ торговыя конторы распоряжаются обращеніемъ торговыхъ фондовъ», а напротивъ, сплошь и рядомъ вынуждена пускать въ обращеніе мысли гг. цензоровъ, полиціймейстеровъ и исправниковъ въ особенности. Можетъ-ли быть тутъ рѣчь о довѣріи? Разумѣется, нѣтъ!

Говоря еще болѣе откровенно, я сильно сомнѣваюсь въ благорасположеніи и отеческихъ чувствахъ г. Азанчевскаго. Весь сыръборъ загорѣлся, конечно, изъ-за «личной скромности» или вообще личныхъ какихъ-нибудь свойствъ саратовскаго вице-губернатора. Ну, а литература наша есть точное подобіе того неизбѣжнаго на народныхъ гуляньяхъ динамометра въ видѣ головы турка, на которомъ всякій мимоходящій можетъ безпрепятственно испробовать силу своихъ мышцъ. Въ этомъ все дѣло, а остальное— украшеніе слога, словесная экскурсія въ область возвышенныхъ чувствъ.

Тѣмъ не менѣе, экскурсія любопытная, потому что въ ней выразилась одна изъ распространеннѣйшихъ у насъ мыслей, а именно мысль о несовершеннолѣтіи литературы, которую никакъ нельзя предоставить собственнымъ средствамъ и силамъ, а непремѣнно надо подвергать тому или иному воздѣйствію, даже для ея собственной пользы, а тѣмъ паче для пользы родины. Что эта мысль невѣрная, фальшивая, объ этомъ, право, даже какъ-то странно говорить, ибо дважды два—четыре, и вѣрнѣе этого ничего не придумаешь. Но когда является администраторъ, простирающій свою попечительную заботливость до стараній установить довѣріе публики къ печатному слову, то невольно представляется общій вопросъ. Личный составъ литературы не съ неба на россійскую землю падаетъ и не изъ преисподней откуда-нибудь на нее вылѣзаетъ, а набирается изъ тѣхъ же русскихъ людей, которые на россійской землѣ обитаютъ. И не послѣдніе, во всякомъ случаѣ, люди входятъ въ этотъ составъ, не подонки какіе-нибудь, ибо требуется для этого все-таки извѣстная талантливость, извѣстныя теоретическія знанія или житейская опытность и т. п. Положимъ, что въ общемъ счетѣ это далеко не соль земли, но, во-первыхъ, гдѣ же соль? а во-вторыхъ, дѣло немножко затемняется тѣми разнообразно враждебными отношеніями, которыми кишитъ литература. «Кто любитъ тыкву, а кто—офицера, говоритъ пословица. Я, напримѣръ, не считаю для себя обязательнымъ чрезвычайное уваженіе къ гг. Катковымъ и Аксаковымъ и ихъ сподвижникамъ. Но вѣдь есть же люди, которые съ своей точки зрѣнія усматриваютъ въ нихъ спасителей отечества, богатырей умомъ и чувствомъ, высоко поднимающихся надъ среднимъ уровнемъ русскаго общества. Другіе отмѣчаютъ своимъ уваженіемъ иныхъ представителей литературы. И въ концѣ концовъ, выходитъ, что съ какой угодно точки зрѣнія, а претензія хоть бы того же г. Азанчевскаго руководить, опекать, воздѣйствовать рѣшительно ни съ чѣмъ несообразна, ибо съ любой точки зрѣнія найдутся въ литературѣ люди достаточно крупнаго роста. А затѣмъ возникаетъ общій вопросъ: какіе же элементы русскаго общества *не* подлежатъ воздѣйствію того или иного характера и какіе подлежатъ, и какому именно?

Послушаемъ умныхъ людей...

Покойникъ Некрасовъ говорилъ, я помню, что при установленіи свободы печатнаго слова въ Россіи наилучшею формою литературной бесѣды о злобѣ дня будетъ брошюра. Ежемѣсячный журналъ для этого слишкомъ неповоротливъ, связанъ срочностію выхода, обремененъ массою черной, редакціонной работы, требуетъ значительнаго личнаго состава и значительныхъ матеріальныхъ средствъ. Газета, обремененная во всѣхъ этихъ отношеніяхъ еще болѣе, не имѣетъ, кромѣ того, по своей летучести, средствъ высказаться о данномъ предметѣ съ желательною полнотою и законченностью. Брошюра—другое дѣло. Крайнюю упрощенность механизма она соединяетъ съ дешевизной и съ возможностью высказаться полно, ясно, какъ разъ въ нужную минуту. Такъ разсуждалъ опытный и чуткій журналистъ, и въ этомъ разсужденіи всякій признаетъ значительную долю справедливости,

хотя, разумѣется, брошюра только въ исключительныхъ случаяхъ можетъ достигнуть такого распространенія и, слѣдовательно, вліянія, какъ періодическое изданіе. Какъ бы то ни было, но брошюра становится у насъ теперь очень употребительною формою литературной бесѣды о текущихъ дѣлахъ. Есть-ли это признакъ зарождающейся свободы печатнаго слова, объ этомъ пусть судитъ читатель... Мы теперь просто пересмотримъ нѣкоторыя изъ появившихся въ послѣднее время брошюръ, въ надеждѣ найти въ нихъ помощь для разрѣшенія вопроса объ элементахъ русскаго общества, подлежащихъ и не подлежащихъ воздѣйствію.

Несомнѣнно, что этотъ предметъ занимаетъ нынѣ всякаго мыслящаго русскаго человѣка. И даже тѣхъ, упорно отказывающихся мыслить, которые готовы выразиться энергическимъ пушкинскимъ стихомъ: «все утопить!» Все утопить! Но вѣдь это утопія, и блещущіе ею фантастическіе умы не скрываютъ, что надо утопить все, кромѣ ихъ самихъ и, разумѣется, домовъ ихъ, иословъ и рабовъ ихъ. Всетаки, значитъ, не все, и столько-то паръ такихъ-то нечистыхъ животныхъ должно быть помѣщено въ Ноевомъ ковчегѣ для спасенія отъ всеобщей утопіи. Но, Боже мой! какъ же добраться до истины? Или, если это ужъ такъ трудно, какъ узнать мнѣнія разнаго рода людей объ этой истинѣ? «Народъ безмолвствуетъ», по привычкѣ-ли къ молчанію или просто потому, что съ нимъ не разговариваютъ. Литература есть въ настоящемъ случаѣ подсудимый, ибо, можетъ быть, она-то прежде всего и должна быть ввергнута въ волны утопіи. А между тѣмъ, иныхъ путей, кромѣ литературнаго, у русскаго общества нѣтъ для предъявленія своего пониманія вещей. Выходитъ что-то въ родѣ квадратуры круга. Но тутъ-то, можетъ быть, насъ и выручитъ брошюра. Дѣло въ томъ, что литература, дѣйствительно, состоитъ въ подозрѣніи и можетъ свободно заблуждаться только насчетъ высоты Монъ-Блана. Но когда говорятъ о вредоносности литературы, о «мошенникахъ пера и разбойникахъ печати», объ «омерзительныхъ личностяхъ журналистики» и т. п., то разумѣютъ именно журналистику, литературу, такъ сказать, профессіональную, кристализовавшуюся въ опредѣленныя формы періодическихъ изданій. Брошюра совсѣмъ другое дѣло. Это нѣкоторымъ образомъ литература внѣ литературы, это — голоса изъ общества, прибѣгающіе къ печатному слову отъ полноты чувствъ и притомъ чувствъ вполнѣ благонамѣренныхъ, ибо брошюра, по размѣру своему, подлежитъ, на основаніи нашихъ законовъ о печати, непремѣнно предварительной цензурѣ. Конечно, это послѣднее обстоятельство представляетъ лезвіе обоюдоострое, такъ какъ и здѣсь, значитъ, мы неизбѣжно встрѣчаемся съ «обращеніемъ общественной мысли», тщательно контролированнымъ. Но на нѣтъ и суда нѣтъ. Обращаясь къ брошюрѣ, мы всетаки кое-что узнаемъ и даже, можетъ быть, убьемъ двухъ зайцевъ за разъ: узнаемъ, какъ мыслитъ общество независимо отъ обычныхъ литературныхъ путей, то-есть отъ журналистики, и получимъ помощь въ разрѣшеніи вопроса объ томъ, что подлежитъ и что не подлежитъ въ нашемъ отечествѣ воздѣйствію.

Сами мы приступаемъ къ этому вопросу отнюдь не съ либеральной точки зрѣнія. Иначе говоря, мы отнюдь не думаемъ, что весь составъ русскаго населенія долженъ быть распущенъ на всю вольную волю, предоставленъ собственнымъ силамъ и взаимному пожиранію, при каковомъ пожираніи возьмутъ верхъ сильнѣйшіе, лучшіе, доблестнѣйшіе. О нѣтъ! Мы очень хорошо знаемъ, что и въ частной жизни атмосфера свободы сплошь и рядомъ омрачается успѣхомъ подлости, низости и ничтожества. Знаемъ, что есть и общественные элементы, волчья пасть которыхъ настоятельно требуетъ намордника. Но дѣло именно въ томъ, что иногда происходятъ печальныя ошибки: намордникъ надѣвается на глашатая добра и правды, а волчья пасть съ оскаленными хищными зубами и смрадньмъ дыханіемъ не только избѣгаетъ воздѣйствія, а еще получаетъ содѣйствіе. Такъ бываетъ, слишкомъ часто бываетъ...

Послушаемъ умныхъ людей...

Умный человѣкъ № 1, г. А. Ч., авторъ брошюры «Желанная реформа. Четыре статьи о дворянствѣ».

Г. А. Ч. чрезвычайно уважаетъ свободу. Въ самомъ началѣ его брошюры находимъ слѣдующія слова: «Если нашъ нынѣ царствующій монархъ будетъ продолжать государственныя преобразованія въ духѣ своего незабвеннаго отца, на что мы вправѣ надѣяться изъ словъ Высочайшаго манифеста отъ 2-го минувшаго марта, то, въ неотдаленномъ времени, мы примемъ изъ рукъ самодержавнаго правителя ту обширную свободу, которая достигалась въ западноевропейскихъ государствахъ цѣною, какъ жертвъ, такъ и борьбы, и столь же неправильнымъ, сколько и труднымъ путемъ». А заканчивается брошюра такимъ приподниманіемъ завѣсы будущаго: «Если, отстаивая такъ искренно, горячо и усердно права и преимущества русскаго родового дворянства, мы не распространяемся о томъ значеніи, которое могло бы оно имѣть въ представи-

тельной монархіи, то въ этомъ руководимся мы неподдѣльно-вѣрноподданническими чувствами. Считая себя въ полномъ правѣ указательна нарушеніе сословныхъ привилегій и высказывать опасенія на будущее, вслѣдствіе непрочности основъ народнаго благоустройства мы никакъ не дозволяемъ себѣ гласнаго предложенія, клонящагося къ преобразованію государственнаго строя; но, благоговѣя передъ престоломъ нашего Самодержца, какъ помазанника Божьяго, мы вознесемъ ему благодарность, воздавая въ то же время хвалу Промыслу Всевышняго за каждое государственное нововведеніе, изъ котораго мы почерпнемъ расширеніе нашей гражданской свободы, когда Государю Императору благоугодно будетъ сдѣлать общеполезное и соотвѣтствующее нашему просвѣщенному вѣку правительственное преобразованіе совершившимся фактомъ».

И такъ, г. А. Ч. чрезвычайно уважаетъ свободу. Но, увы! нѣтъ уже болѣе нынѣ тѣхъ старинныхъ свободолюбцевъ, которые безтрепетной рукой повергали жертвы къ подножію свѣтозарнаго идола свободы! Нынѣ каждый свободолюбецъ имѣетъ своихъ протэже, какихъ-нибудь униженныхъ и оскорбленныхъ, слабыхъ и безпомощныхъ, нуждающихся въ особомъ покровительствѣ. И это очень правильно. Но вопросъ въ томъ, кто именно — униженные и оскорбленные, нуждающіеся въ особливомъ вооруженіи, дабы не быть смятыми въ разгулѣ свободы? Г. А. Ч. очень хорошо знаетъ это. Онъ говоритъ: «Мѣтимъ мы, *понятно*, на невыразимо жалкое состояніе, въ соціальномъ отношеніи, нашего столь славнаго по своему историческому значенію дворянства». И такъ, дворянство—вотъ кто слабые и безпомощные, которымъ свобода нужна, при извѣстныхъ условіяхъ, наравнѣ со всѣми элементами русскаго общества, но которые вмѣстѣ съ тѣмъ подлежатъ защитѣ, покровительственному воздѣйствію, выходу изъ «невыразимо жалкаго состоянія».

Къ сожалѣнію, въ развитіи этой остроумной мысли г. А. Ч. нѣсколько путается. Надо замѣтить, что онъ покорнѣйшій слуга дворянства вообще, а не только русскаго. По его мнѣнію, «уваженіе къ привилегированному сословію освящено Священнымъ Писаніемъ, повѣствующимъ, что тѣло Христово отдано было на погребеніе, по видимому промыслу Божьему, знатному фарисею Іосифу Аримаѳейскому». Г. А. Ч. немножко забылъ тѣхъ рыбарей, изъ которыхъ Христосъ набиралъ себѣ учениковъ, и помнитъ только дворянина Осипа Осиповича Аримаѳейскаго... Тѣмъ паче преданъ онъ русскому дворянству: это—«наше великодушное, геройское, боголюбивое, высшее сословіе!» Словомъ, большая сила. И вдругъ эта большая сила находится въ «невыразимо жалкомъ состояніи!» Безсильная сила, какъ и сильное безсиліе, въ принципѣ не представляетъ какого-нибудь неразрѣшимаго противорѣчія. Дѣла на грѣшной землѣ, напротивъ, очень часто идутъ такъ, что истинное безсиліе, истинное ничтожество торжествуетъ, пробираясь ползкомъ, ничкомъ, окольными путями, которыхъ истинное достоинство не подозрѣваетъ и даже мысли о которыхъ вмѣстить не можетъ. Но всетаки ничтожество восторжествовало, а достоинство побѣждено, и анализъ условій, при которыхъ произошло такое на первый взглядъ странное явленіе, требуетъ большой логической деликатности и тонкости. Либо г. А. Ч. не обладаетъ этими умственными качествами, либо его тема незащитима, т. е. указанное противорѣчіе относительно дворянства не существуетъ. Напримѣръ, г. А. Ч. выражаетъ полную увѣренность, что «знатокъ исторіи немедленно отличитъ узурпацію, а народъ всегда отнесется съ благоговѣніемъ къ представителю дѣйствительнаго дворянскаго рода, пользующагося вѣковою славою». Это на страницѣ 10. А на страницѣ 18 съ ужасомъ узнаемъ, что «каждый какой-нибудь фонъ-Шмидтъ, фонъ-Мейеръ, фонъ-Шульце, не говоря уже о всякомъ остзейскомъ баронѣ и закавказскомъ князѣ, будетъ казаться несравненно знатнѣе неслужащихъ дворянъ: Глѣбова (одного происхожденія съ боярами Лопухиными отъ князя Редеди), Яковлева, Игнатьева и т. п., говоря, что такихъ-то выслужившихся мѣщанина, писца и унтеръ-офицера зовутъ также Глѣбовымъ, Яковлевымъ, Игнатьевымъ». Такимъ образомъ, остается совершенно невыясненнымъ, дѣйствительно-ли наше дворянство составляетъ такую крупную, очевидную силу, которая безошибочно бросается всѣмъ въ глаза, или, напротивъ, его положеніе столь «невообразимо тягостно», что никто ему не платитъ дани почета, смѣшивая съ мѣщанами, писарями и унтеръ-офицерами. На стр. 11-й авторъ съ жаромъ говоритъ, что «наша печать отважилась даже формулировать», такъ сказать, утопленіе дворянства въ «интеллигенціи» и что въ «такого-то рода проектахъ и гнѣздятся ядовитые и воспламенительные корни революціоннаго нигилизма!» Но тутъ же оказывается, что проекты эти ничего страшнаго въ себѣ не заключаютъ, ибо «прожектеры открыли именно, такимъ образомъ, прямой путь къ господству тому же ненавистному имъ дворянству»: всѣ, дескать, наши крупныя умственныя, «интеллигентныя» силы состоятъ именно изъ «родовыхъ дворянъ». Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же было городить огородъ ядовитыхъ и воспламенительныхъ корней?

Если, однако, нашъ умный человѣкъ № 1 не умѣетъ справиться съ деликатнымъ вопросомъ о безсильной силѣ, то онъ чрезвычайно обставленъ въ изложеніи практическихъ мѣръ для вывода русскаго дворянства изъ невыразимо жалкаго состоянія.

Прежде всего, видите ли, надо ограничить доступъ въ дворянское сословіе чинами, дающими титулъ «превосходительства»; личное дворянство уничтожить совсѣмъ; воспретить двумъ или нѣсколькимъ фамиліямъ различнаго происхожденія носить одно и то же имя; отнять отъ гербовъ дворянъ, не титулованныхъ и не вписанныхъ въ 6-ю книгу, щитодержателей. Это, однако, только подготовительныя реформы, только присказка, сказка впереди. Сказка состоитъ въ томъ, что 1) дворянскіе роды, внесенные въ 6-ю и 5-ю книги, должны именоваться *боярами*; 2) титулы свѣтлости и сіятельства должны передаваться только старшимъ въ родѣ, причемъ младшія дѣти князей будутъ именоваться графами, младшія дѣти графовъ—баронами, бароновъ—боярами; 3) бояре, владѣющіе поземельною собственностью съ доходомъ не менѣе 12,000 р., бароны—не менѣе 15,000 р., графы—20,000 и князья—25,000, должны образовать изъ своихъ имѣній майораты, причемъ къ старшему сыну будетъ переходить и титулъ.

Вотъ и все. Есть, пожалуй, еще кое-какія мелкія подробности «желательной реформы», но онѣ ничего не прибавляютъ существеннаго, хотя ничего и не портятъ въ остроумномъ проектѣ. Авторъ увѣренъ, что «такимъ путемъ въ Россіи воскреснетъ, въ своемъ истинно національномъ обзорѣ, славное русское боярство», а затѣмъ, разумѣется, надъ нашей скудной и смутной родиной опрокинется рогъ изобилія.

Читатель скажетъ, можетъ быть, что умный человѣкъ № 1 говоритъ такія глупости, на которыя рѣшительно не стоитъ обращать вниманія. Ахъ! не торопитесь такъ фыркать на глупости. Разъ глупости существуютъ и звонко и отчетливо раздаются надъ самымъ вашимъ ухомъ, съ ними надо считаться и, значитъ, надо знать ихъ. Глупости способны иногда окрасить собою цѣлую эпоху и до такой степени переполняютъ атмосферу, что дышать становится нечѣмъ и хоть топоръ вѣшай. Правда, глупости умнаго человѣка № 1 (кромѣ развѣ идеи майоратовъ) не изъ заразительныхъ по нынѣшнему времени, когда «щитодержателей», пожалуй, всякій самъ отдастъ и даже за очень дешевую цѣну, ибо не знаетъ, что съ ними дѣлать: во щи лить или съ кашей ѣсть. Правда, мы ровно ничему не научились у г. А. Ч., хотя онъ и говоритъ о прелестяхъ свободы и о необходимости оказать содѣйствіе униженнымъ и оскорбленнымъ потомкамъ князя Редеди, коихъ невѣжественные или недоброжелательные люди смѣшиваютъ съ мѣщанами и унтеръ-офицерами. И всетаки мы нѣчто узнали. Узнали, именно, что есть люди, умѣющіе читать и писать, которые во время вящшей скудости и смутности могутъ серьезно говорить о щитодержателяхъ и боярскомъ титулѣ. Это характерно. Это показываетъ, что среди всеобщихъ волненій, недоумѣній, скорбей сохранились на святой Руси оазисы, гдѣ небо безоблачно, души безмятежны и совершенно незнакомы съ плодами древа познанія добра и зла. Характерно также, что г. А. Ч. хлопочетъ о воскресеніи славнаго русскаго боярства «въ своемъ истинно національномъ образѣ». Въ дѣйствительности, это чистѣйшій вздоръ, разумѣется. Древнее русское боярство майоратовъ не знало, и подражательная попытка Петра завести у насъ майораты разбилась объ исконныя русскія привычки, такъ что приклеивать къ идеямъ г. А. Ч. какой-то «истинно національный образъ» рѣшительно ни съ чѣмъ несообразно. Но тѣмъ-то и любопытно наше безпутное время, что нынѣ позволительно созвать истинно національный образъ куда угодно, даже туда, гдѣ ему рѣшительно нѣтъ мѣста, лишь бы только сотрясали воздухъ слова: «національный», «народный»...

Что эти самыя слова означаютъ, умѣстны-ли они въ данномъ случаѣ—до этого нѣтъ никакого дѣла. Фразеры привольно носятся въ туманѣ національныхъ «жупеловъ» и народныхъ «металловъ», не утруждая себя напряженіемъ мысли и съ безстыднымъ спокойствіемъ любуясь на производимый ими оргіастическій маскарадъ идей. Этихъ фразеровъ называютъ иногда честными людьми, только, дескать, у нихъ въ самое темя гвоздь вбитъ, и вотъ почему они успокоиваются на безсмысленной фразѣ, увѣряя себя и другихъ будто въ ней смыслъ есть. Не знаю. Но, чтобы не далеко ходить, г. А. Ч. такъ пристально изучалъ исторію русскаго дворянства, такъ хорошо знаетъ, кто происходитъ отъ князя Редеди, кто отъ Вейдевута и кто отъ Гилигина. Неужели же онъ, спеціалистъ въ нѣкоторомъ родѣ, не знаетъ, что «истинно національный образъ» русскаго боярства исторически несовмѣстимъ съ майоратнымъ правомъ? Иначе говоря, неужели онъ можетъ искать для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ своей безсознательности? Если да, то-есть, если г. А. Ч., будучи вполнѣ честнымъ человѣкомъ, невиновенъ въ сознательной подтасовкѣ, а только имѣетъ въ темени своемъ гвоздь, то отсюда вытекаетъ весьма важное общее нравоученіе, отнюдь не одного г. А. Ч. касающееся.

Бываютъ, значитъ, положенія, въ которыхъ личной добропорядочности мало, ибо даже при наличности ея, но съ гвоздемъ въ темени, можно надувать современниковъ и вообще вносить въ жизнь прискорбную путаницу...

Умный человѣкъ № 2: К. Н. Леонтьевъ, авторъ брошюры «Какъ слѣдуетъ понимать сближеніе съ народомъ?»

Вотъ, можно, по истинѣ, сказать, vexata questio! Столько разговоровъ было о «сближеніи», «сліяніи», «розни» и проч., столько перьевъ обломалось объ эти таинственныя вещи, а все еще оказывается возможнымъ сказать объ нихъ нѣчно новое. Надо отдать справедливость г. Леонтьеву—онъ дѣйствительно говоритъ нѣчто новое, хотя новизна эта состоитъ главнымъ образомъ въ откровенности.

Г. Леонтьевъ ставитъ вопросъ ребромъ и ребромъ же на него отвѣчаетъ. По его мнѣнію, нужно совсѣмъ не «сліяніе интересовъ», а «сходство идей», не «какія-нибудь дѣловыя, юридическія, земскія и т. п. соглашенія или сближенія съ народомъ», а просто мы, образованное русское общество, должны отказаться отъ своего теперешняго духовнаго багажа и «подражать» народу, усвоивъ себѣ его вѣрованія, понятія, идеалы. Исходя отсюда, г. Леонтьевъ дѣлаетъ нѣсколько любопытныхъ и чрезвычайно смѣлыхъ выводовъ. Установленіе собственно исходной точки, надо правду сказать, не вполнѣ удовлетворительно. Такъ, г. Леонтьевъ говоритъ: «Не намъ надо учить народъ, а самому у него учиться. Мы европейцы, а нашъ народъ не европеецъ; *скорѣе его можно назвать византійцемъ*: вотъ чѣмъ онъ лучше и выше насъ». А дальше вездѣ уже дѣло такъ стоитъ, что мы европейцы, а народъ самобытенъ. Но почему же самобытенъ, если онъ византіецъ? и почему византіецъ лучше и выше европейца? Однако, разъ вы, не предаваясь критикѣ, перешагнете вмѣстѣ съ г. Леонтьевымъ этотъ порогъ, все пойдетъ уже какъ по маслу.

При настоящемъ положеніи вещей народъ не любитъ «интеллигенцію», и это очень хорошо, разсуждаетъ г. Леонтьевъ; этому надо радоваться, потому что идеи и политическіе вкусы, господствующіе въ интеллигенціи, все заимствованные, а у народа все свои (отнюдь, значитъ, не византійскіе). Сближаясь съ народомъ, мы его будемъ портить своимъ европействомъ. Чѣмъ дальше, слѣдовательно, стоимъ мы отъ народа, чѣмъ больше между нами розни, тѣмъ лучше. «Чѣмъ больше равенства, больше общенія, больше даже откровенныхъ бесѣдъ, больше взаимнаго пониманія; чѣмъ больше нравственнаго вліянія сверху внизъ, со стороны болѣе свѣдущей, но культурно болѣе испорченной; чѣмъ меньше сословнаго отчужденія, тѣмъ легче либеральная зараза». Такимъ образомъ, рознь, отчужденіе, рѣзкія сословныя перегородки—вотъ что прежде всего нужно для спасенія нашего «національнаго типа» или «стиля». Г. Леонтьевъ съ благодарностью вспоминаетъ о «каменной стѣнѣ юридическихъ правъ и привилегій», которая начала разрушаться 19-го февраля 1861 года и которая была, однако, чрезвычайно благодѣтельна. Правда, стѣна эта представляла поводъ и возможность для разныхъ безобразій «личнаго и матеріальнаго» характера, но за то (какая прелесть!): «Эгоизмъ и открытое презрѣніе высшихъ, привилегированныхъ — съ одной стороны, апатія и скрытое отвращеніе низшихъ—съ другой, спасали культурный стиль народа. Высшіе не спѣшили учить и ласкать низшихъ, привлекая ихъ этой лаской постепенно къ подражательности. Низшіе, съ своей стороны, смотрѣли на «господъ», какъ на нѣчто чуждое, «нѣмецкое» и даже весьма противное, не потому именно, что «наказываетъ» и «заставляетъ на себя работать», а потому, что «въ узкомъ и короткомъ платьѣ ходитъ, посты плохо соблюдаетъ и т. д.».

Нѣтъ, значитъ, худа безъ добра, и Ариманъ оказывается въ чрезвычайно двусмысленномъ положеніи—онъ не зло сѣетъ, а благо, не тьмой облекаетъ грѣшную землю, а льетъ на нее потоки свѣта: все, что отъ вѣка считалось, если не непремѣнно источникомъ, то во всякомъ случаѣ симптомомъ и спутникомъ зла—эгоизмъ, презрѣніе, апатія, ненависть, отвращеніе—все это намъ было во благо и таковымъ остается по сіе время. А сконфуженный Ормуздъ сидитъ, пригорюнившись, и грустно смотритъ на ласку, любовь, сочувствіе, участіе, на все, словомъ, чѣмъ онъ думалъ осчастливить людей и что теперь валяется во прахѣ, въ дребезги разбитое смѣлою мыслью К. Н. Леонтьева aus der Stadt Moskau... Да, очень смѣлая мысль у г. Леонтьева! А дальше идетъ еще смѣлѣе. Вы, можетъ быть, подумаете, что двусмысленныя благодѣянія духа тьмы и злобы строго ограничены условіями времени и мѣста; что они должны прекратиться, какъ только мы усвоимъ себѣ вѣрованія, понятія, идалы народа? Отнюдь нѣтъ. Г. Леонтьевъ, между прочимъ, съ особенною силою напираетъ на соблюденіе постовъ, какъ на пробный камень превращенія зла въ добро и обратно. Онъ говоритъ, что при крѣпостномъ правѣ народъ соблюдалъ посты, не соблазнясь примѣромъ «господъ», чужихъ, презрѣнныхъ и ненавистныхъ вообще.

Нынѣ, когда пошли въ ходъ разныя эти сближенія и уравненія, народъ начинаетъ относиться къ постамъ уже не столь строго. Ну, хорошо, а если мы всѣ съ завтрашняго дня начнемъ блюсти посты? что тогда? миръ и въ человѣцѣхъ благоволеніе? презрѣніе, ненависть, эгоизмъ, отслуживъ свою службу, удаляются въ отставку? Ничуть не бывало: «вовсе не надо быть непремѣнно равнымъ во всемъ мужику, нѣтъ даже вовсе особенной нужды быть всегда любимымъ имъ и *силиться всегда* (курсивы подлинника) самому любить его *дружественно*; надо любить его *національно, эстетически*, надо любить его *стиль. Нужно быть съ нимъ схожимъ въ основахъ*». А именно: «Мужикъ, напримѣръ, нетолько, молясь въ церкви, но даже и сидя въ кабакѣ, уже тѣмъ уменъ и хорошъ, что онъ въ *прогрессъ* не вѣритъ (т. е. въ прогрессъ *благоденственный и вѣчный*). Онъ, когда ему случается подумать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ хозяйства, податей и водки, думаетъ, что «всѣ мы подъ Богомъ» и «все отъ Бога!» Мужикъ посмѣется, если ему скажутъ, что какіе-то европейцы мечтаютъ водворить добропорядочную жизнь на землѣ («если не рай, то что-то приблизительное»). Онъ «покоряется, вѣритъ и крестится». Такъ и мы должны примириться «и съ неравенствомъ (хотя бы и сословнымъ), и съ войнами, съ недугами, и съ семейнымъ деспотизмомъ и распрями, и съ тягломъ нашихъ государственныхъ обязанностей». Для вящшаго внѣдренія читателю этой мысли, г. Леонтьевъ обязательно сообщаетъ, что pessimus значитъ по латыни наихудшій, а optimus—наилучшій и, pour la bonne bouche, «съ истиннымъ восхищеніемъ» дѣлаетъ выписку изъ одного сочиненія самаго что ни есть европейца, Эдуарда фонъ-Гартмана...

Извините ,пожалуйста, но послѣ всего этого на кой же намъ, съ позволенія сказать, чортъ этотъ «національный стиль»? Неужели только затѣмъ, чтобы примириться съ каменной стѣной юридическихъ правъ и привилегій», которая при крѣпостномъ правѣ была спасительна, какъ временная охранительница національнаго стиля, а теперь оказывается необходимою на вѣки вѣчные? Или затѣмъ, чтобы читать и переписывать творенія нѣмецкаго человѣка Эдуарда фонъ-Гартмана?

Истинно національный образъ русскаго боярства, опирающійся на майораты, національный стиль, временно и вѣчно охраняемый каменной стѣной и опирающійся на Гартмана—я боюсь, что читатель на меня разсердится. Онъ подумаетъ, пожалуй, что я, подъ предлогомъ бесѣды съ умными людьми, завелъ его въ сумасшедшій домъ, гдѣ Фердинанды, короли испанскіе, разсуждаютъ о 43-мъ числѣ мѣсяца мартобря. Нѣтъ, я такой ехидной цѣли не имѣлъ въ виду, хотя и самъ начинаю думать, что Фердинандовъ испанскихъ гораздо больше на бѣломъ свѣтѣ, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Я просто хотѣлъ послушать людей, выступающихъ на литературное поприще не по профессіи, а единственно въ минуту переполненія чувствомъ, и имѣющихъ притомъ возможность высказаться не на лету, а вполнѣ обдуманно и законченно. Послушать ихъ умныхъ рѣчей и, разумѣется, извлечь изъ нихъ полезный урокъ. Урокъ вѣдь и получился, несомнѣнно полезный, хотя и не тотъ, на который мы разсчитывали. Урокъ состоитъ въ томъ, что въ головахъ нѣкоторыхъ нашихъ современниковъ бродитъ почти невѣроятный сумбуръ, гдѣ земля не отдѣлена отъ воды, огонь отъ воздуха и мысли пляшутъ фантастическій танецъ, то сшибаясь другъ съ другомъ, то разлетаясь въ разныя стороны, то выворачиваясь на изнанку. Удивительный танецъ и безстыдный, ибо не для своего домашняго обихода тѣшатся всѣ эти гг. А. Ч. и Леонтьевы. Пускай бы они ходили у себя дома въ грязномъ бѣльѣ и съ неумытыми физіономіями, но они выносятъ свою неумытость на стогны и торжища града, и безъ того скуднаго и смутнаго; и выходятъ они въ мантіи учителей и если не отцовъ, то, по крайней мѣрѣ, истинныхъ и преданнѣйшихъ сыновъ отечества. Да, удивительный и безстыдный танецъ, ибо не такъ ужъ просты всѣ эти господа, какъ можно бы было думать на основаніи ихъ лѣтосчисленія отъ 43-го мартобря. Они слишкомъ хорошо понимаютъ, что «національный» соусъ нынѣ въ авантажѣ находится и смѣло обливаютъ имъ все, что имъ вздумается—все отъ князя Редеди до Эдуарда фонъ-Гартмана, отъ временной каменной стѣны до вѣчной, отъ Ормузда до Аримана. Сами по себѣ гг. А. Ч. и Леонтьевы опасны развѣ только въ смыслѣ публично практикуемаго разврата мысли. Но они вторятъ голосамъ, по обстоятельствамъ болѣе сильнымъ, и прибавляютъ новыя ноты къ дикому хору, гласящему: давайте поститься по середамъ и пятницамъ, потому что таковы желанія нашего народа; что же касается матеріальныхъ нуждъ этого народа, то въ этомъ отношеніи съ его желаніями справляться нечего; мы ихъ устроимъ, какъ сами признаемъ за благо, и пусть мужикъ попрежнему «покоряется, вѣритъ и крестится». Это—и нашъ идеалъ: мы тоже покорно вынесемъ свое выгодное положеніе...

Что касается нашей спеціальной задачи, то-есть уразумѣнія элементовъ русскаго общества, нуждающихся и не нуждающихся въ воздѣйствіи, то на этотъ счетъ мы на-

ходимъ у нашего умнаго человѣка № 2 всего двѣ-три поучительныя строки. А именно, говоря, что «дѣло теперь не въ дальнѣйшемъ уравненіи правъ», г. Леонтьевъ замѣчаетъ въ скобкахъ: «главнымъ и послѣднимъ уравненіемъ было бы столь убійственное для порядка разрѣшеніе крестьянамъ продавать личные участки». Въ основаніи своемъ это вѣрная мысль. Но не съ Фердинандомъ же испанскимъ разсуждать на эту тему. Подождемъ другихъ умныхъ людей. Они есть, но гг. А. Ч. и Леонтьевъ отняли у меня столько времени и мѣста, что дальнѣйшую экскурсію въ литературу брошюръ о злобѣ дня приходится отложить до слѣдующаго раза.

VII.

Продолженіе *).

Продолжаемъ учиться у умныхъ людей.

Умный человѣкъ № 3-й Н. А. Новосельскій, авторъ брошюры «Соціальные вопросы въ Россіи».

Это—уже несомнѣнно умный человѣкъ, съ которымъ, дѣйствительно, стоитъ побесѣдовать. Заслуживаетъ вниманія самый поводъ появленія брошюры, разсказанный въ предисловіи. Авторъ, бывшій одесскій городской голова, былъ въ теченіи трехъ лѣтъ призываемъ, въ качествѣ сословнаго представителя, въ особое присутствіе сената по дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ. Къ дѣлу своему онъ отнесся не формально. Россійскому человѣку, въ положеніи г. Новосельскаго, надо бы держаться пословицы «отзвонилъ да и съ колокольни долой»—пришелъ, отсудилъ и ушелъ. Такъ вѣдь большею частью и бываетъ, и, если хотите, россійскихъ людей нельзя очень строго судить за такое отношеніе къ дѣлу. Конечно, это складываніе рукъ позорно во всякомъ случаѣ, потому что либо оно опредѣлено внѣшними обстоятельствами, отнюдь не способствующими культурѣ чести, либо оно свидѣтельствуетъ, что русскій человѣкъ есть выѣденное яйцо: скорлупа сохранилась, а внутри-то ничего нѣтъ, обликъ человѣческій, такъ называемый образъ и подобіе божіе—существуетъ, а души нѣтъ. Конечно, долгъ гражданина и сына отечества предписываетъ совсѣмъ иное поведеніе. Но...

Позвольте разсказать одинъ случай. Дѣло было 19-го марта нынѣшняго года. Былъ прекрасный, свѣтлый день. Свѣтъ и тепло манили петербуржцевъ на улицу, но петербуржцы сидѣли по домамъ, потому что таково было распоряженіе начальства. Въ этотъ день петербужцы выбирали членовъ временнаго совѣта при градоначальникѣ. Сидѣлъ дома и я, въ ожиданіи комиссіи, которой долженъ былъ сообщить имя своего кандидата, своего «излюбленнаго». Но, подобно большинству петербуржцевъ, я не имѣлъ своего излюбленнаго. То-есть какъ, пожалуй, не имѣть излюбленныхъ людей въ городѣ чуть не съ милліоннымъ населеніемъ—были они и у меня; но, какъ на грѣхъ, ни одинъ изъ нихъ не жилъ въ одномъ со мной околодкѣ, а кругомъ, по близости, все или люди совершенно неизвѣстные даже по имени, или съ именами, ничего не говорящими уму и сердцу. (А выбирать, какъ читатель, конечно, помнитъ, можно было только въ своемъ околодкѣ). Вдругъ являются двѣ молодыя дамы и съ большимъ оживленіемъ начинаютъ меня допрашивать о моемъ собственномъ излюбленномъ и объ излюбленныхъ моихъ друзей и знакомыхъ, съ присовокупленіемъ размышленій о необходимости единенія въ такой моментъ... въ такой моментъ, когда на улицѣ свѣтло и тепло, а петербуржцы сидятъ дома по распоряженію начальства. Признаюсь, рѣчи моихъ посѣтительницъ смутили меня. Я не могъ не цѣнить эту свѣжесть жизни, эту, если позволено будетъ такъ выразиться, гражданскую непосѣдливость, побуждающую хвататься за всякую тѣнь всякаго повода для дѣятельнаго проявленія себя. Но я не могъ, однако, не понимать въ то же время законности моего скептицизма, ибо скептицизмъ этотъ основывался на неопровержимомъ фактѣ: я долженъ былъ найти своего излюбленнаго непремѣнно сегодня же черезъ 2—3 часа. и непремѣнно въ своемъ околодкѣ, въ которомъ у меня ни души знакомой. Съ моей точки зрѣнія, было до обиды и боли ясно, что въ предоставленныхъ мнѣ предѣлахъ я могу, пожалуй, avec l'ombre d'une brosse frotter l'ombre d'un carosse, но въ дѣйствительности долженъ отзвонить и съ колокольни долой, записать первое попавшееся имя и раскланяться съ коммиссіей. Гостьи мои разсуждали рѣшительно неосновательно, и всетаки что-то въ родѣ зависти копошилось во мнѣ при видѣ ихъ оживленныхъ лицъ, на которыхъ такъ ясно читалось: вѣра, надежда, любовь... Гостьи ушли недовольныя. Онѣ даже обидѣлись, когда я, какъ имъ показалось, съ насмѣшкой пожалѣлъ, что столько «гражданскаго чувства» пропадаетъ даромъ... Нѣтъ, милыя незнакомки, я не насмѣхался, хотя слова «гражданское чувство» въ самомъ дѣлѣ очень истасканы и, по обстоятельствамъ и дѣламъ нашимъ, болѣе съ ироніей схожи. Но, если судьба опять по какому-нибудь случаю столкнетъ насъ, вы, конечно, признаете, что въ свѣтлый и теплый день 19-го марта не оставалось дѣлать ничего иного, какъ отзвонить и съ колокольни долой...

*) 1881 г., октябрь.

Подобныхъ казусовъ въ русской жизни бываетъ достаточно, слишкомъ достаточно для того, чтобы выработалась привычка вообще отлынивать отъ колокольни, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда отлынваніе никакихъ себѣ оправданій предъявить не можетъ. Скверная и позорная привычка...

Во всякомъ случаѣ, г. Новосельскій ею не страдаетъ. Призванный судить и рядить, онъ не поторопился бѣжать съ колокольни, а напротивъ, сталъ пристально вглядываться въ открывшіяся ему перспективы: «занялся прочтеніемъ всѣхъ дѣлъ по предшествовавшимъ политическимъ преступленіямъ, а также множества книгъ и брошюръ, относящихся къ предмету» его занимавшему. И далѣе, «уѣхавъ въ Одессу подъ сильнымъ впечатлѣніемъ всего передуманнаго и прочувствованнаго въ этихъ политическихъ процессахъ», онъ «естественно не могъ забыть, что узналъ и поэтому пользовался всѣми случаями, чтобы уяснить себѣ всесторонне вопросъ о томъ: есть-ли, дѣйствительно, въ Россіи почва для соціальной революціи?»

Плодомъ этихъ размышленій и является брошюра: «Соціальные вопросы въ Россіи».

Нельзя сказать, чтобы брошюра съ точностью отвѣчала именно на поставленный авторомъ вопросъ: есть-ли въ Россіи почва для соціальной революціи? Но вѣдь это, собственно говоря, все равно, отвѣчаетъ-ли она на тотъ или другой вопросъ, если только она вообще на что-нибудь отвѣчаетъ, то-есть, вообще, даетъ нѣчто интересное и поучительное. А брошюра г. Новосельскаго именно такова, хотя, какъ убѣдится читатель ниже, интересъ ея далеко не всегда положительный. Для насъ, въ виду задачи, поставленной въ прошлый разъ, произведеніе г. Новосельскаго даже особенно интересно, ибо, собственно говоря, оно посвящено вопросу объ томъ, какіе элементы русскаго общества подлежатъ воздѣйствію и какому именно, и какіе не подлежатъ. Красный призракъ соціальной революціи даетъ при этомъ только толчокъ мысли автора. Какъ должна быть поставлена механика правительственнаго воздѣйствія, въ какихъ направленіяхъ усилена, въ какихъ ослаблена, чтобы соціальная революція была задушена въ самомъ зародышѣ? Но соціальной революціи никто не хочетъ, а потому и вопросъ, поставленный г. Новосельскимъ, имѣетъ гораздо болѣе общій характеръ, чѣмъ можно думать, судя по предисловію къ его брошюрѣ.

Конечно, еслибы авторъ думалъ только о непосредственномъ полицейскомъ воздѣйствіи, то его задача была бы, во-первыхъ, не длиннѣе воробьинаго носа, а во-вторыхъ, оказалась бы давно исчерпанною въ трудахъ многихъ русскихъ публицистовъ. «Бди!»— такъ гласитъ одинъ изъ безсмертныхъ афоризмовъ Кузьмы Пруткова. Сильнѣе этого ничего не говорилось, сильнѣе и нельзя ничего сказать по адресу людей, призванныхъ и обязанныхъ бдѣть. Если же на эту краткую тему говорилось и говорится такъ много, то единственно потому, что существуетъ разногласіе относительно призванныхъ и обязанныхъ. Одни полагаютъ, что это дѣло полиціи и только полиціи. Другіе находятъ, что полицейскаго бдѣнія недостаточно, въ виду чего къ этому занятію должны быть привлечены добровольцы. Третьи думаютъ, что и добровольцевъ недостаточно, а необходимо соединеніе добровольства съ обязанностью, за уклоненіе отъ которой слѣдуетъ соотвѣтственное наказаніе, то есть, что всѣ русскіе люди поголовно *должны* стать добровольцами. Четвертые полагаютъ, что это немножко слишкомъ сильно со стороны логики и что предпріятіе должно ограничиться организаціей истинно добровольческихъ элементовъ. Насчетъ способовъ и видовъ организаціи опять идутъ разногласія. Но въ концѣ-концовъ, операція по существу все таки исчерпывается афоризмомъ Кузьмы Пруткова. У г. Новосельскаго находимъ двѣ варіаціи на эту тему. Онъ утверждаетъ, именно, что полиція должна быть такъ организована, чтобы «имѣть постоянный секретный надзоръ за такими лицами, кои, по недостатку - ли средствъ, или по занятіямъ, или по образу жизни и сношеніямъ своимъ съ скомпрометированными личностями, навлекаютъ на себя подозрѣніе въ неблагонадежности». Но такъ какъ г. Новосельскій понимаетъ, что эта штука стара (только не догадывается, что ее бросить пора) и что система бдительнаго надзора, ничего не предотвращая, многое извращаетъ, то мечтаетъ о «поднятіи уровня полиціи привлеченіемъ въ ея составъ людей болѣе развитыхъ, посредствомъ увеличенія имъ содержанія». Однако, въ заключеніе, и эта мечта нѣсколько блѣднѣетъ передъ умственнымъ окомъ г. Новосельскаго и онъ, если не оттѣняетъ, то пополняетъ ее другою мечтой. Надо, видите-ли, учредить артель петербургскихъ дворниковъ. «Артель эта, составленная изъ русскихъ людей, представляя собой чистый народный элементъ, съ ея (?) извѣстною смѣтливостью, выносливостью и любовью къ царю, благонадежнѣе массы полицейскихъ агентовъ. Артель эта, съ взаимнымъ ручательствомъ и съ значительнымъ денежнымъ залогомъ, безъ шума будетъ доставлять интеллигенціи полицейской всѣ данныя, кои нужны ей для нашего спокойствія».

Бди! Это справедливо. Но, еслибы въ

брошюрѣ г. Новосельскаго не было ничего, кромѣ мечтаній о призванныхъ и обязанныхъ надзирать, то я не сталъ бы утруждать ею вниманіе читателя. Ибо во истину эта штука стара, и надо удивляться долготерпѣнію людей, способныхъ жевать жвачку, затѣмъ проглатывать ее, отрыгивать и опять жевать. Совсѣмъ бы это, кажется, несвойственное человѣку, вѣнцу творенія, занятіе...

Къ счастью или къ несчастію, дѣла въ нашемъ отечествѣ стоятъ такъ, что продовольствоваться однимъ жвачнымъ процессомъ мысли становится рѣшительно невозможнымъ. Самые что ни на есть мизинные люди, въ родѣ гг. А. Ч. или Леонтьева, и тѣ, какъ мы видѣли, утверждаютъ, что нужно, необходимо нужно нѣчто, кромѣ полицейскаго надзора. Правда, излагая это необходимое нѣчто, они городятъ ни съ чѣмъ несообразный вздоръ, но не все же съ разу. Извѣстно, что природа скачковъ не дѣлаетъ, и трудно прыгнуть по зоологической лѣстницѣ со ступени жвачныхъ прямо на ступень человѣческаго разумѣнія. Хорошо ужъ и то, что однѣ варіаціи на тему: «бди!» оказываются недостаточными даже въ глазахъ мизинныхъ людей. Съ Божіей помощью мы пойдемъ, можетъ быть, и дальше и дойдемъ, наконецъ, полегоньку до уразумѣнія другого афоризма Кузьмы Пруткова: «смотри въ корень вещей!»

Г. Новосельскій уже и теперь склоненъ смотрѣть въ корень вещей. Воздавъ должную дань первому афоризму Кузьмы Пруткова, онъ переходитъ къ разнообразнымъ общимъ мѣрамъ, которыя должны быть приняты для введенія нашей жизни въ сколько-нибудь правильное русло.

Богиня свободы не улыбается г. Новосельскому или, пожалуй, онъ ей не улыбается, по крайней мѣрѣ, тою довѣрчивою улыбкою, которая знаменуетъ, что ножъ горькаго скептицизма и анализа не коснулся сердца улыбающагося. Приглядываясь къ европейскимъ странамъ, онъ находитъ, что хотя тамъ «водворено юридическое гражданское равенство людей, но при проведенныхъ въ законы и въ мѣропріятія правительства теоріяхъ политической экономіи о свободѣ конкурренціи и создавшихся чрезъ то условіяхъ экономической жизни общества, появилась, вмѣсто прежнихъ привилегированныхъ классовъ, денежная аристократія, господствующая надъ тружениками во всѣхъ областяхъ общественной жизни». Исходя отсюда, г. Новосельскій справедливо утверждаетъ, что мы должны воспользоваться опытомъ европейскихъ странъ и не колоть напрасныхъ и ненужныхъ жертвъ на алтарѣ свободы. Правительство должно принять на себя защиту обиженныхъ, помощь слабымъ, обузданіе злоупотребляющей силы. Наше правительство легко можетъ взять на себя эту благородную и благодарную задачу, ибо у насъ не то, что въ Западной Европѣ, гдѣ у кормила правленія прямо или косвенно стоятъ привилегированные классы, а отнюдь не высшая, надъ всѣмъ равно возвышающаяся и ни отъ кого независящая сила. Такъ разсуждаетъ г. Новосельскій и затѣмъ проектируетъ цѣлый рядъ разнаго рода мѣропріятій.

Я позволю себѣ сгруппировать эти мѣропріятія въ три отдѣла: мѣропріятія по отношенію, во-первыхъ, къ народу, во-вторыхъ, къ требованіямъ просвѣщенія, и въ-третьихъ, къ требованіямъ кармана. Пусть не удивляется читатель этой, на первый взглядъ странной классификаціи — она сама себя оправдаетъ ниже. У г. Новосельскаго ея формальнымъ образомъ нѣтъ, но тѣмъ не менѣе всѣ его мысли и предложенія располагаются именно по этимъ тремъ радіусамъ.

Мы привыкли хвастать крестьянскимъ земельнымъ надѣломъ и крестьянской общиной, которые, дескать, прочно гарантируютъ намъ въ будущемъ безоблачное лазурное небо, тогда какъ Западная Европа будетъ все больше и больше изнывать подъ тяжестью своихъ неправильныхъ поземельныхъ отношеній. Правда, есть у насъ не мало людей, которые, хотя и ничего не видятъ дальше своего носа, но въ предѣлахъ этого кругозора отлично знаютъ, гдѣ зимуютъ раки; эти люди когда-то яростно шипѣли противъ крестьянскаго землевладѣнія вообще и общиннаго въ особенности, но нынѣ начинаютъ приспособляться къ наличнымъ порядкамъ, извлекая изъ нихъ не малыя выгоды (читатель благоволитъ заглянуть, напримѣръ, выше, въ статью «Страда въ нынѣшнемъ году»). Однако, съ ихъ точки зрѣнія, было бы всетаки много лучше, еслибы мужикъ не на землѣ сидѣлъ, а въ воздухѣ висѣлъ, ожидая нанимателей. Эти, конечно, не хвастаются и не величаются передъ западной Европой. Большинство же образованныхъ русскихъ людей, не теплое и не холодное, не особенно на рыбу похожее, но и мяса не напоминающее, чрезвычайно склонно болтать, въ минуты душевнаго размягченія, о предстоящей намъ тиши, глади и божьей благодати, благодаря нашимъ земельнымъ порядкамъ. Въ противность такимъ, имѣющимъ очи видѣти, но не видящимъ, г. Новосельскій рѣшительно заявляетъ, что «соціальный земельный вопросъ» въ Россіи существуетъ. Мужикъ-землевладѣлецъ, это фактъ, но онъ— нищій землевладѣлецъ, это тоже фактъ, и

нищій, между прочимъ, потому, что земли у него мало. Столпы отечества, въ родѣ гг. Аксакова и Самарина, неустающіе всуе призывать имя русскаго народа, утверждаютъ, что крестьянское малоземелье выдумано петербургскими щелкоперами-либералами, а г. Марковъ тонко намекаетъ, что щелкоперы эти суть голоштанники, которымъ терять нечего, почему они и мутятъ. Но вѣдь не щелкоперъ же г. Новосельскій! Онъ—городской голова и, какъ самъ упоминаетъ въ предисловіи, владѣетъ имѣніями въ разныхъ губерніяхъ. Такое общественное положеніе придаетъ особенную цѣну слѣдующимъ словамъ нашего автора: «Мы знаемъ, что у насъ относительно земельнаго вопроса установилось такое мнѣніе, что такого вопроса въ Россіи не существуетъ, потому что крестьяне надѣлены землей, а крупные землевладѣльцы затрудняются во-время имѣть рабочихъ даже за большія деньги. На дѣлѣ же оказывается, что недовольство крестьянъ происходитъ не отъ того, что у нихъ земли нѣтъ, но отъ того, что у нихъ ея мало, и что они, для удовлетворенія своихъ хозяйственныхъ нуждъ, вынуждены нести всю тяготу эксплуатаціи со стороны тѣхъ, у кого они нанимаютъ земли или угодья». Въ подтвержденіе такой своей мысли г. Новосельскій можетъ сослаться на одно немаловажное, всѣмъ извѣстное, но московскими тартюфами обыкновенно замалчиваемое обстоятельство. Дѣло въ томъ, что, кромѣ петербургскихъ щелкоперовъ, завѣдомо существуетъ обширный классъ людей, убѣжденныхъ въ крестьянскомъ малоземельи. Этотъ классъ составляютъ ни больше, ни меньше, какъ сами крестьяне. Если вѣрить московскимъ тартюфамъ, то народъ нашъ страстно желаетъ «всѣмъ міромъ попоститься»; что же касается размѣровъ землевладѣнія, то объ этомъ народъ не имѣетъ своего мнѣнія, а если и имѣетъ, такъ всетаки пусть будетъ такъ, какъ г. Самарину съ г. Аксаковымъ угодно. Вселенскій постъ, какъ идеалъ мужика, стоитъ передъ московскими тартюфами съ полною ясностью, и они охотно готовы наложить на тебя это легкое иго «цѣлокупно» съ народомъ. Напротивъ, кое-какія другія желанія, надежды, идеалы народа, они хотя и знаютъ—ибо кто же ихъ не знаетъ?—но держатъ у себя къ карманѣ и публикѣ не показываютъ. Это, конечно, и не умно и не добросовѣстно, Г. же Новосельскій прямо говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «Мы глубоко убѣждены, зная нашу сельскую жизнь и народъ русскій, что никакими доводами нельзя его увѣрить, будто царь - освободитель не имѣлъ желанія дать имъ больше земли противу того надѣла, который они получили при освобожденіи. Какъ доказательство этого, можемъ привести новѣйшій примѣръ. Бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ, узнавъ о подобныхъ толкахъ между крестьянами, исходатайствовалъ Высочайшій указъ для обнародованія, что никакихъ новыхъ надѣловъ крестьяне ждать не должны. Указъ этотъ былъ понятъ народомъ совершенно въ противномъ смыслѣ, а именно, что они получатъ новые надѣлы».

Ставъ такимъ образомъ на точку зрѣнія дѣйствительныхъ нуждъ народа и дѣйствительныхъ его желаній, г. Новосельскій естественно пришелъ къ заключенію, что та высокая задача защиты и помощи, которую онъ усвоиваетъ правительству, должна, прежде всего, коснуться народной массы. Онъ находитъ, что необходимо, «не стѣсняясь уже покончennымъ вопросомъ объ отношеніяхъ реформы къ помѣщикамъ и принимая въ уваженіе недостаточность земельнаго надѣла для благосостоянія освобожденныхъ крестьянъ, а также и увеличившагося числа ихъ новыми поколѣніями — воспособить имъ пріобрѣтеніе достаточнаго количества земли у землевладѣльцевъ, затрудняющихся обработкою своихъ владѣній».

«Воспособленіе» это должно произойти при помощи спеціальнаго государственнаго кредита, организацію котораго г. Новосельскій рисуетъ только въ самыхъ общихъ чертахъ. Изъ нихъ мы отмѣтимъ лишь одну: кредитъ долженъ быть предоставленъ всѣмъ желающимъ покупать земли у частныхъ владѣльцевъ или у казны, но не иначе, какъ подъ условіемъ общиннаго владѣнія. Общинное землевладѣніе нашъ авторъ вообще цѣнитъ очень высоко, но не думаетъ, чтобы оно составляло панацею въ томъ видѣ, въ какомъ теперь существуетъ. Онъ полагаетъ, не входя, впрочемъ, въ подробности, что необходимо «охраненіе крестьянской общины нашей (міра) отъ угрожающаго ей нашествія враговъ, такъ вѣрно названныхъ народомъ міроѣдами; міроѣды эти, дѣйствительно, поѣдаютъ міръ, эксплуатируя допущенныя положеніемъ условія для извѣстныхъ случаевъ, и обезземеливаютъ крестьянъ».

Г. Новосельскій не берется отрицать существованіе у насъ и того вопроса, который получилъ въ Европѣ спеціальное названіе рабочаго. Понятное дѣло, что онъ не утверждаетъ, будто жгучія и трескучія вещи, суммирующіяся въ этомъ названіи, находятся у насъ точно въ такомъ положеніи, какъ на Западѣ: онъ слишкомъ уменъ для этого. Но онъ напоминаетъ о работающихъ на фабрикахъ и заводахъ безземельныхъ мѣщанахъ, отставныхъ солдатахъ, раз-

ночинцахъ, а также объ обстоятельствахъ, при которыхъ и настоящій мужикъ-земледѣлецъ попадаетъ на фабрику и проживаетъ тамъ. Потребность въ организаціи промышленнаго труда несомнѣнно есть, и ей-то г. Новосельскій предполагаетъ удовлетворить при помощи нашей исконной формы труда — артели. Отъ широкаго примѣненія ея къ нашей экономической жизни г. Новосельскій ждетъ многихъ и разнообразныхъ благихъ послѣдствій. Онъ «настойчиво рекомендуетъ правительству нетолько дозволить, но и всячески поощрять и содѣйствовать составленію артелей для всевозможныхъ работъ». Въ особенности же удобнымъ и цѣлесообразнымъ полагаетъ нашъ авторъ пріобрѣтеніе подобными артелями (при помощи долгосрочнаго кредита), казенныхъ горныхъ заводовъ, назначенныхъ къ продажѣ въ частныя руки. Положенія свои авторъ иллюстрируетъ крайне любопытной исторіей нижне-туринской артели для приготовленія ударныхъ трубокъ по нарядамъ артиллерійскаго вѣдомства и еще одной артели на одномъ заводѣ, ближайше не обозначенномъ.

Все это очень бѣгло, обрывочно, неполно; но вѣдь иного мудрено и требовать отъ небольшой брошюры, трактующей большое число большихъ вопросовъ. Во всякомъ случаѣ общій контуръ картины г. Новосельскаго, несмотря на свою незаконченность, много все-таки яснѣе московскаго колокольнаго звона, который гудитъ-гудитъ, глушитъ-глушитъ, такъ что даже ничего не разберешь! Нѣтъ сомнѣнія, что если бы приведенныя предложенія г. Новосельскаго, надлежащимъ образомъ развитыя, получили приложеніе въ жизни, то въ русскую исторію была бы внесена славная страница, и мы, современники, могли бы гордиться, что живемъ въ концѣ девятнадцатаго вѣка. Novum rerum mihi nascitur ordo, могъ бы сказать современникъ, съ неменьшимъ правомъ, чѣмъ это говорилъ въ концѣ прошлаго вѣка аббатъ Галіани. Было бы чѣмъ воодушевиться на страдную жизнь и стряхнуть съ себя всякую мразь и тину, ибо какую въ самомъ дѣлѣ великую, одушевляющую перспективу представляетъ эта планомѣрная охрана того, что такъ непреоборимо могуче своей внутренней силой и такъ жалко безпомощно вслѣдствіе отсутствія организаціи—человѣческаго труда...

Замѣтьте, однако, что г. Новосельскій не говоритъ въ сущности ничего новаго или необычайнаго. Не всякій, говорящій: «Господи! Господи!» войдетъ въ царствіе Божіе. А потому оставимъ въ сторонѣ тѣхъ злостныхъ лицемѣровъ или просто «праздно болтающихъ», у которыхъ не сходитъ съ языка слово «народъ», а рядомъ уживаются слова, мысли и чувства совсѣмъ другого сорта. Но не разъ люди серьезные и искренніе указывали для нашей внутренней жизни выше бѣгло очерченное направленіе, мотивируя его и великими задачами вѣка, и требованіями вѣчной правды, и требованіями науки, и, наконецъ, нашимъ собственнымъ прошлымъ и настоящимъ. Казалось бы, задача такъ плодотворна, сулитъ такое заманчивое будущее, такъ немногосложна и такъ очевидно ростетъ изъ самаго нутра русской жизни...

Но, должно быть, однако, наличныя условія представляютъ какія-нибудь непреодолимыя препятствія для введенія въ жизнь этого простого, великаго и мирнаго. Должно быть. Иначе мы давно уже имѣли бы хоть задатокъ будущаго и не слышали бы безконечной, какъ волчій вой, московской пѣсни о томъ, что андроны ѣдутъ, поститься хотятъ. Андроны ѣдутъ—ну, и пусть себѣ гдѣ-нибудь проселкомъ ѣдутъ, если ужъ нельзя безъ нихъ. Такъ бы, кажется, надлежало быть. А выходитъ совсѣмъ не такъ. Выходитъ, что, напримѣръ, г. Новосельскій прибѣгаетъ къ такимъ пріемамъ защиты своихъ положеній, которые всякаго свѣжаго человѣка должны рѣшительно поразить своей неожиданностью. Есть много отправныхъ пунктовъ для доказательства экономическихъ и политическихъ удобствъ предоставленія земли земледѣльцу и сосредоточенія орудій производства въ рукахъ производителя. Есть между ними и такой: государственная форма, которая съумѣетъ заинтересовать такимъ способомъ трудящееся населеніе, т. е. подавляющее большинство, окажется сидящею на фундаментѣ непреоборимой прочности. Это элементарно, это азбука. Понятно, въ самомъ дѣлѣ, что всякій врагъ, внѣшній или внутренній, тѣмъ безопаснѣе, чѣмъ больше въ данной странѣ людей, довольныхъ своимъ положеніемъ. Повторяю, это—азбука, но отчего же и не повторять азбуки, отчего, значитъ, и г. Новосельскому не развивать азбучнаго аргумента? Но онъ осложняетъ свою аргументацію крайне любопытною специфическою чертою, вытекающею исключительно изъ нѣдръ нашего необыкновеннаго времени. Артель, напримѣръ, для него—не просто экономическая форма, въ такихъ-то и такихъ-то отношеніяхъ выгодная, удобная, правильная; нѣтъ, кромѣ того, «артели представляютъ правительству возможность удобнѣйшаго наблюденія по всей Россіи за распространеніемъ соціальной пропаганды». Г. Новосельскій рисуетъ даже не лишенную нѣкоторой художественности картину, какъ члены артели, заинтересованные въ томъ, чтобы ихъ дѣло не

подвергалось риску, выслѣживаютъ и, наконецъ, накрываютъ забредшаго къ нимъ пропагандиста. Это—черта! Повторяю, афоризмъ Кузьмы Пруткова исполненъ глубокой практической мудрости. Но вѣдь нельзя же, нелогично и неприлично бдѣть даже въ земномъ раю, гдѣ все добро зѣло, гдѣ, слѣдовательно, можно и отдохнуть. Нельзя же въ описаніе рая вставить такую подробность: кромѣ такихъ-то и такихъ-то райскихъ красотъ, учрежденіе это представляетъ еще то удобство, что въ немъ легко выслѣживать и накрывать пропагандистовъ. Надо бы, кажется, помнить, что въ раю пропагандистовъ просто нѣтъ. А г. Новосельскій хоть и не рай пообѣщалъ, но все-таки разрѣшеніе того именно самаго соціальнаго вопроса, изъ неразрѣшенности котораго только и можетъ проистекать серьезная необходимость усиленнаго надзора. Такая мѣра, какъ продажа или отдача въ аренду казенныхъ горныхъ заводовъ рабочимъ артелямъ просто устранила бы въ соотвѣтственномъ районѣ необходимость вѣчно озираться, а не то, что предоставила бы для этого занятія особливыя удобства.

Такая странная логика наводитъ на соображенія. Можетъ быть, г. Новосельскій просто пожелалъ отдать дань нашему странному, запуганному, ошеломленному времени, когда даже золотыя мечты и небесно-голубыя идиллiи не могутъ рисоваться безъ величественнаго образа полиціанта. За эту поблажку времени, кажется, нельзя очень винить г. Новосельскаго. Хотя бы въ виду слѣдующаго, разсказываемаго имъ анекдота. На какомъ-то большомъ заводѣ, хозяева, по разнымъ обстоятельствамъ, пришли къ мысли ввести у себя работу артелями. Для начала предположено было сдать артели всю работу одного цеха. Дѣло пошло на ладъ: трудъ сталъ производительнѣе, успѣшнѣе, рабочіе встали въ наилучшія отношенія къ хозяевамъ и, въ довершеніе всего, сами указали трехъ товарищей, «подозрѣваемыхъ въ привязанности къ соціальному ученію». Кажется, чего бы еще? Но «полиція нашла такіе порядки работъ опасными и незаконными, и взгляду этому пришлось подчиниться и разрушить даже съ точки зрѣнія самого правительства одно изъ самыхъ полезныхъ дѣлъ. Мало того, вмѣсто преслѣдуемой пользы, дѣйствительно, получился отъ несостоявшагося дѣла вредъ въ томъ отношеніи, что довѣріе рабочихъ было обмануто... Въ результатѣ получилось удвоенное недовольство своимъ положеніемъ, то-есть полиція сыграла какъ разъ въ руку соціальной пропаганды».

Поучительная исторія!

Мефистофель, духъ зла и злобы, понималъ, что онъ говоритъ, когда внушалъ ученику:

Im Ganzen—haltet euch an Worte!
. . . . . .
Denn eben, wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.

Этимъ дьявольскимъ совѣтомъ какъ нельзя лучше пользуются наши разнообразныя кликуши, извергая потоки словъ, которымъ не соотвѣтствуетъ никакое понятіе. Но это въ сторону. У господъ полиціи, закрывшихъ нетолько мирную, но даже архи-мирную артель, объ которой разсказываетъ г. Новосельскій, очевидно, понятія, Begriffe, были не въ изобилiи, а слова, Worte, въ распоряженіи были. Ну, а при такихъ условіяхъ нетрудно надѣлать даже просто невѣроятныхъ, скажемъ, глупостей. Слово «артель» было вѣдь у насъ одно время въ сильномъ подозрѣніи: чѣмъ-то будто отъ нея особливо «соціальнымъ» пахло. И, разумѣется, ни въ чемъ иномъ, какъ въ такой смѣшной словобоязни, заключается секретъ приведенной исторіи. Понятное дѣло, что г. Новосельскому, возлагающему на артель столько надеждъ, необходимо настаивать, что артель — не только не страшная штука, а вотъ, дескать, до какой степени полезна даже просто въ полицейскомъ смыслѣ.

Очевидно, полезна. Я боюсь, однако, что г. Новосельскимъ руководитъ не только адвокатская потребность обѣлить излюбленное явленіе во всѣхъ возможныхъ и невозможныхъ смыслахъ. Объ этомъ сейчасъ нѣсколько подробнѣе. А теперь обратите вниманіе на выясняющіяся разсказанною исторіей препятствія для осуществленія плановъ г. Новосельскаго. Ужъ если такого сорта артель оказалась въ глазахъ низшихъ правительственныхъ агентовъ «опасною и незаконною», не смотря на предъявленныя ею доказательства крайней политической благонадежности, то можно себѣ представить, какую встрѣчу устроитъ Мефистофель серьезному и широкому плану защиты и организаціи труда. Страшныя слова станутъ поперегъ дороги цѣлой вереницей, андроны пустятся вскачь, заливаясь малиновымъ звономъ колокольцевъ и бубенцевъ а вѣдь, кромѣ андроновъ и неразумія вообще, есть еще на свѣтѣ алчная хитрость и броненосная бесовѣстность. Эти съумѣютъ направить нелѣпыхъ андроновъ куда слѣдуетъ. Близорукая полиція, своихъ не познавшая, разогнала архи-мирную артель, повидимому, совершенно самостоятельно, безъ какихъ-нибудь толчковъ со стороны, а единственно изъ безпредметнаго усердія. По крайней мѣрѣ, изъ разсказа г. Новосельскаго не видно, чтобы по сосѣдству были какіе-нибудь конкурренты, достаточно сильные для

внушенія мѣстной полиціи того или другого образа дѣйствій. Но разъ существуетъ такое умоположеніе, въ которомъ Begriffe fehlen, мѣстные Колупаевы и Разуваевы, Собакевичи и Чичиковы легко могутъ разыграть на немъ, при помощи страшныхъ словъ, ту именно мелодію, какая имъ понадобится: понадобится имъ придавить конкуррента или вообще неудобное въ томъ или другомъ отношеніи явленіе, и они придавятъ, разъяснивъ кому слѣдуетъ, что тутъ-то именно «крокодилъ на днѣ лежитъ». А въ результатѣ выходитъ чрезвычайно странная штука. Г. Новосельскій, повидимому, безусловно правъ, когда говоритъ, что въ западной Европѣ всѣмъ механизмомъ государственной жизни заправляютъ своекорыстные, привилегированные классы, а у насъ ничего подобнаго нѣтъ. Юридически, формально, г. Новосельскій дѣйствительно правъ или почти правъ, но что реальныя соотношенія силъ у насъ далеко не заслуживаютъ такого розоваго освѣщенія, это тоже не подлежитъ сомнѣнію. Слѣдуетъ поэтому очень пожалѣть, что г. Новосельскій не обратилъ никакого вниманія на современные способы рыболовства въ современной мутной водѣ, на тѣ способы и пріемы задушенія самыхъ скромныхъ благихъ начинаній, какія практикуются подъ прикрытіемъ переживаемыхъ нами тревогъ. Приглядѣвшись къ этому обстоятельству со всѣхъ сторонъ, г. Новосельскій убѣдился бы, что осуществленіе его проектовъ на благо народа не только не благопріятствуется наличными условіями нашей жизни, а, напротивъ, встрѣчаетъ въ нихъ какое-то широко развѣтвленное препятствіе.

Это до такой, въ самомъ дѣлѣ, степени очевидно, что становится даже подозрительною серьезность прекрасныхъ плановъ г. Новосельскаго: взаправду-ли онъ ихъ излагаетъ? Сомнѣнія эти навѣваются, впрочемъ, съ разныхъ сторонъ. Взять хоть бы, напримѣръ, исторію артели, по недоразумѣнію закрытой полиціей. «Артель» не есть «жупелъ» и, вообще, не такое слово, котораго надо бы было ужасаться, но приходить отъ него въ трепетъ восторга тоже не особенно благоразумно. Г. Новосельскій возлагаетъ, повидимому, чрезвычайныя надежды на широкое развитіе артелей, ожидая, что оно, какъ въ его проектѣ продажи артелямъ казенныхъ горныхъ заводовъ, направитъ теченіе нашей экономической жизни путемъ, совершенно отличнымъ отъ европейскаго. Но упомянутая артель, которою г. Новосельскій такъ восторгается, не предъявляетъ никакого въ этомъ смыслѣ задатка. Она начала свою дѣятельность съ того, что обязалась увеличить производство на 30%, понизила заработную плату на 20% и затѣмъ опредѣлила численность своихъ членовъ въ 90 человѣкъ, вмѣсто работавшихъ прежде 250, т. е. выгнала на улицу 160 своихъ товарищей. Все это, безъ сомнѣнія, чрезвычайно выгодно для хозяевъ завода, но что же тутъ не европейскаго? и какія основанія для розовыхъ надеждъ? Съ точки зрѣнія заявленныхъ нашимъ авторомъ общихъ принциповъ, эта артель—такіе вздорные пустяки, насильственному прекращенію которыхъ можно сугубо изумляться, но цѣнить ихъ, какъ нѣчто серьезное, рѣшительно невозможно. Очевидно, г. Новосельскій недостаточно вдумался въ защищаемое имъ дѣло и защищаетъ его вовсе не серьезно.

Это явствуетъ и изъ совокупности другихъ рекомендуемыхъ г. Новосельскимъ мѣропріятій, которыя я позволяю себѣ назвать мѣрами по отношенію къ карману.

Странное названіе! Не существуетъ же карманъ вообще, карманъ абстрактный, не пришитый ни къ сюртуку Ивана, ни къ поддевкѣ Петра, ни къ штанамъ Сидора! Разумѣется, такого абстрактнаго кармана нѣтъ, но есть, напримѣръ, «отечественныя богатства», и когда говорятъ объ этихъ отечественныхъ богатствахъ, то не имѣютъ въ виду ни Ивана, ни Петра, ни Сидора. Это и есть какъ бы карманъ вообще. Г. Новосельскій очень безпокоится о томъ, чтобы этотъ всеобщій карманъ не былъ пустъ. А для этого онъ рекомендуетъ средства всѣмъ извѣстныя, давно испробованныя—банковый кредитъ и желѣзныя дороги. При этомъ европейскія страны оказываются уже не играющими въ рукахъ «денежной ариктократіи» и, въ силу этого, примѣромъ отрицательнымъ, а, напротивъ, желаннымъ образцомъ экономическаго развитія. Къ счастію, отношенія банковаго кредита и желѣзныхъ дорогъ къ абстрактному всеобщему карману ни для кого не составляютъ уже нынѣ секрета. Если «воспособленіе» желѣзнымъ дорогамъ поглощаетъ почти $^1/_5$ всѣхъ нашихъ государственныхъ расходовъ, то, слѣдовательно, вся эта сумма совсѣмъ не въ абстрактномъ «національномъ» карманѣ покоится, а переходитъ изъ кармана плательщиковъ податей въ карманъ людей, у желѣзныхъ дорогъ стоящихъ. Одного этого примѣра достаточно, чтобы видѣть, что абстрактный, національный карманъ, одинаково доступный или недоступный Ивану, Петру и Сидору, есть миѳъ. Миѳъ, очень распространенный и могущественный, изъ-за котораго люди иногда лѣзутъ въ огонь и воду, не чувствуя боли, при помощи котораго можно отлично вытаскивать каштаны изъ печки чужими руками, но, тѣмъ не менѣе, миѳъ. Наше время находится по отношенію къ этому миѳу въ чрезвычайно дву-

смысленномъ положеніи. Съ одной стороны, миѳъ какъ бы теряетъ подъ ногами почву, потому что выясняются его реальныя основы; съ другой — онъ грозитъ, напротивъ, расположиться въ умахъ современниковъ еще комфортабельнѣе.

Мнѣ пріятно, въ подтвержденіе своей мысли, сдѣлать слѣдующую цитату изъ такого органа печати, какъ «Новое Время»:

«Приводимъ изъ «Москов. Телеграфа» рядъ краснорѣчивыхъ цифръ, наглядно уясняющихъ, что сдѣлано для такъ называемой русской интеллигенціи, а вѣрнѣе—для нашей юной буржуазіи. Узнавъ, что

«въ интересахъ крестьянъ-производителей, кромѣ «Положенія» 19 февраля, не было издано почти ни одного законодательнаго акта, имѣвшаго сколько-нибудь серьезное значеніе для упроченія ихъ экономическаго положенія»,

— газета удостовѣряетъ, что въ интересахъ всевозможныхъ представителей капитала сдѣлано чрезвычайно много:

«Такъ, въ 1860 году въ эксплуатаціи находилось всего только 1,260 верстъ желѣзныхъ дорогъ, а черезъ 20 лѣтъ, при содѣйствіи правительства и частныхъ акціонерныхъ учрежденій, число верстъ возросло до 21,870. До 1864 г. въ Россіи былъ одинъ только банкъ, государственный, а теперь, кромѣ него, мы имѣемъ 37 національныхъ комерческихъ банковъ съ капиталомъ въ 27 милл. руб., 277 общественныхъ комерческихъ банковъ съ годовымъ оборотомъ въ 800 милл. руб., до 100 обществъ взаимнаго кредита, съ капиталомъ въ 200 милл. руб. и 21 ипотечный банкъ въ 750 милл. р. Въ 1855 г. въ Россіи дѣйствовали только 82 акціонерныхъ компаніи съ капиталомъ въ 64 милл. руб.; теперь же ихъ имѣется болѣе 500 съ общимъ капиталомъ въ 3,235 милл. рублей. Въ области фабричной и заводской промышленности также замѣчается довольно значительный ростъ, хотя и не столь быстрый, какъ въ области банковъ. Обороты внѣшней торговли, не превышающіе въ 1855 г. 325 милл., достигаютъ теперь до 1,213 милл. руб. Параллельно съ этимъ, однако, происходило и сильное возростаніе государственныхъ расходовъ, поднявшихся съ 414 милл. р. въ 1861 г. до 644 въ 1879 г. Въ то же время росли и государственные долги, достигшіе въ 1878 г. громадной суммы—болѣе 3 милліардовъ рублей. Между тѣмъ, въ главной отрасли русской промышленности, въ земледѣліи, не только не замѣчалось никакого поступательнаго движенія, но напротивъ, былъ видѣнъ застой, даже упадокъ».

«Еще бы не быть упадку, заключаетъ «Новое Время»: — когда отъ земледѣльца взято столько милліоновъ, отъ которыхъ ни одной копейки не вернулось къ нему?» («Новое Время», 13 сентября).

Ходъ нашей экомической жизни за послѣднія двадцать лѣтъ былъ дѣйствительно таковъ, какъ указываетъ московская газета и какъ повторяетъ за нею «Новое Время». И за все это время мы радовались нашимъ успѣхамъ и съ гордостью выставляли тѣ самыя цифры, которыя теперь начинаемъ приводить даже какъ бы съ нѣкоторымъ стыдомъ. Это послѣднее показываетъ, что миѳъ абстрактнаго кармана весьма расшатанъ, что мы научились различать въ этомъ абстрактномъ карманѣ совершенно конкретныя отдѣленія и перегородки, въ которыхъ происходитъ реальный, не миѳическій оборотъ экономическихъ силъ. Это, конечно, очень хорошо, ибо надо же, наконецъ, когда-нибудь разстаться съ миѳами и познать дѣйствительность. И въ этомъ направленіи познанія дѣйствительности мы имѣемъ уже нѣсколько шаговъ. На первомъ планѣ стоитъ, разумѣется, положительная правительственная дѣятельность, которою отмѣчено начало нынѣшняго царствованія, дѣятельность, которой можно бы было пожелать большей яркости, но объектъ которой есть до сихъ поръ во всякомъ случаѣ не абстрактный, а именно мужицкій карманъ. Затѣмъ, общественное сознаніе, выразившееся хотя бы въ вышеприведенныхъ проектахъ г. Новосельскаго или въ словахъ «Московскаго Телеграфа» и «Новаго Времени», наконецъ, въ многочисленныхъ и успѣвшихъ даже оскомину набить разсужденіяхъ о томъ, что интеллигенція особь статья, а народъ особь статья. Еще недавно это была вполнѣ еретическая мысль, вызывавшая насмѣшки или негодованіе. Нынѣ она стала одною изъ модныхъ мыслей, раздается на всѣхъ перекресткахъ, высказывается съ задоромъ и наскокомъ. Но, какъ это часто случается съ мыслями, достигающими уличнаго распространенія, она вмѣстѣ съ тѣмъ утрачиваетъ свой первоначальный опредѣленный смыслъ и пропитывается тѣмъ смутнымъ безсмыслiемъ, которымъ въ данную минуту полна улица съ переулками. Этому способствуетъ и самый терминъ «интеллигенція страны», который нельзя назвать удачнымъ, хотя онъ отнюдь не хуже, а даже гораздо лучше многихъ другихъ метафоръ въ этомъ родѣ, напримѣръ, «сердце Россіи» и т. п. «Сердце Россіи»—просто лирическій вздоръ, тогда какъ «интеллигенція страны» есть довольно опредѣленное собирательное названіе. Но если ужъ мы взяли въ руки аналитическій инструментъ и вскрыли имъ миѳъ абстрактнаго національнаго кармана, то нѣтъ резона на этомъ останавливаться и тутъ же созда-

вать новые миѳы. «Новое Время», напримѣръ, какъ приведено выше, говоритъ: вотъ что сдѣлано «для такъ называемой русской интеллигенціи, а *вѣрнѣе* для нашей юной буржуазіи». Конечно, вѣрнѣе. До такой степени вѣрнѣе, что весь рядъ грандіозныхъ цифръ, свидѣтельствующихъ о нашихъ успѣхахъ въ дѣлѣ банковаго кредита и желѣзныхъ дорогъ, даже цѣликомъ относится къ «нашей юной буржуазіи» и не имѣетъ ровно никакого отношенія къ «русской интеллигеніи». Интеллигенція и буржуазія могутъ, конечно, идти рука объ руку, помогать другъ другу, даже совпадать, но это частный случай, а не общее правило. Г. Губонинъ, напримѣръ, есть буржуазія, но никто же не назоветъ его интеллигенціей. Лермонтовъ есть интеллигенція, но никто не назоветъ его буржуазіей. А вотъ г. Аксаковъ есть ителлигенція, состоящая въ васальныхъ отношеніяхъ къ буржуазіи—къ московскимъ купцамъ. Надо же эти вещи различать, а то, понятное дѣло, у насъ мелево выйдетъ, а не разговоръ. И пока мелево будетъ молоться—дѣла будутъ обдѣлываться. Возмите три означенныя величины, т. е. г. Губонина, Лермонтова и г. Аксакова, и посмотрите какую фантасмагорію можно устроить, подставляя ихъ одну вмѣсто другой. Миѳъ абстрактнаго кармана будетъ чувствовать себя при этомъ, конечно, очень привольно, да и самый нынѣшній модный походъ на интеллигенцію въ большинствѣ случаевъ предпринимается въ интересахъ этого миѳа, для отвода глазъ. Логическій порядокъ похода таковъ. Г. Аксаковъ, напримѣръ, начинаетъ много и съ чрезвычайною горячностью говорить о русскомъ народѣ, объ его идеалахъ, объ его интересахъ; объ томъ, что петербургскій періодъ русской исторіи изжилъ свой вѣкъ и что отнынѣ намъ, интеллигенціи, уже не приходится верховодничать народомъ, что мы должны, напротивъ, передъ нимъ преклониться, какихъ бы жертвъ это намъ ни стоило. Эти обильныя и горячія слова подхватываются другими, образуется цѣлый хоръ. Распространяется мысль, что наши интересы и интересы народа совсѣмъ не тождественны, а слѣдовательно, колеблется миоъ абстрактнаго кармана. Но это послѣднее вовсе не желателетельно вассалу буржуазіи, г. Аксакову. Онъ поэтому дѣлаетъ диверсію. Онъ льетъ новые обильные и горячіе потоки словъ о необходимости для насъ сломить свою гордость, смириться передъ народной правдой, преклонить передъ ней знамя надменной и ложной науки и проч., и проч. Въ концѣ концовъ, выходитъ, что у этого великодушнаго, великаго, христіаннѣйшаго русскаго народа земли совершенно достаточно, ибо еслибы ся у него было больше—у гг. землевладѣльцевъ не было бы въ довольномъ количествѣ рабочихъ и арендаторовъ, а слѣдовательно, пострадалъ бы абстрактный національный карманъ. Но рознь все-таки должна быть прекращена, жертвы на алтарь народной правды должны быть принесены; а именно мы должны усвоить себѣ образъ и подобіе московскихъ купцовъ: по средамъ поститься, по пятницамъ тоже поститься, по субботамъ ходить въ баню и во всѣ дни недѣли отметать надменную ложную науку. Довольно! интеллигенція попраздновала въ волю!—Если вы вздумаете остановить этотъ натискъ краснорѣчія замѣчаніемъ, что краснорѣчивый ораторъ занимается передержкой, передвигаетъ центръ тяжести разговора, то васъ обдадутъ новымъ потокомъ, будутъ уличать въ презрѣніи къ народу, въ либеральничаньи, а при случаѣ ударятъ челомъ вашимъ же добромъ, скажутъ: вотъ что сдѣлано для интеллигенціи, пора, наконецъ, сдѣлать что-нибудь и для народа! Конечно, пора, объ этомъ именно и рѣчь идетъ. Но позвольте, однако, что же именно сдѣлано для интеллигенціи? Г. Губонинъ, дѣйствительно, не остался въ накладѣ отъ развитія банковаго кредита и желѣзно-дорожной сѣти, но вѣдь онъ не интеллигенція. Нѣкоторые утверждаютъ, что онъ—народъ, настоящій народный народъ, который по средамъ постится, по пятницамъ тоже постится, по субботамъ ходитъ въ баню и во всѣ дни недѣли засучиваетъ штаны въ сапоги. Затѣмъ, г. Аксаковъ, несомнѣнная интеллигенція, снимаетъ нѣкоторыя и не очень жидкія сливки съ развитія банковаго кредита, но дѣлаетъ онъ это совсѣмъ не въ качествѣ интеллигенціи, какъ таковой, а въ качествѣ вассала буржуазіи. Что же касается интеллигенціи... Я знаю, что Лермонтовъ убитъ на дуэли, что Пушкинъ задохся въ атмосферѣ подлости, что Бѣлинскій померъ отъ чахотки и цензуры и т. д., и т. д., Но я рѣшительно не знаю, что сдѣлано для русской интеллигенціи и не знаю времени, когда она праздновала въ волю. Было въ русской исторіи не мало такихъ періодовъ, когда разнаго рода дѣльцы, аферисты и карьеристы, задыхаясь въ собственномъ тукѣ и давясь жадно нахватанными кусками, лѣзли вверхъ по лѣстницѣ почета и власти. Но съ интеллигенціей русской ничего подобнаго не было и быть не могло. Все, что украшаетъ страницы ея скорбной исторіи, достигнуто ею самою, не благодаря содѣйствіямъ и воспособленіямъ, а вопреки противодѣйствіямъ. Да и что же можно сдѣлать для истинной интеллигенціи, кромѣ того, что предоставить ее собственному теченію, сказать: живи себѣ какъ

знаешь, на свой собственный страхъ и рискъ...

Г. Новосельскій (къ которому пора, наконецъ, возвратиться) съ этимъ несогласенъ. Когда рѣчь идетъ о наполненіи абстрактнаго отечественнаго кармана, г. Новосельскій требуетъ отъ правительства «воспособленія» и свободы частной предпріимчивости. «Противу злоупотребленій при сооруженіи желѣзныхъ дорогъ и при «эксплуатаціи ихъ могутъ быть приняты цѣлесообразныя мѣры, но мѣры практическія, а не мѣры увеличенія контроля государственнаго». (18). «Мыслимо ли, вмѣсто помощи, столь необходимой въ Россіи въ настоящее время, стѣснять правительственными распоряженіями всѣ денежные и торговые обороты наши?» (20). «Если правительство не находитъ возможнымъ давать гарантію на сооруженіе дорогъ... то оно можетъ своимъ могучимъ содѣйствіемъ предоставить сооруженіе подобныхъ дорогъ той же частной промышленности, облегчивъ ей и способы осуществленія такихъ обширныхъ предпріятій. Между тѣмъ, извѣстно, что въ настоящее время частныя лица, желающія, для разработки желѣзныхъ рудъ и сбыта угля, построить дороги посредствомъ иностранныхъ капиталовъ, безъ правительственной гарантіи, не получаютъ на это разрѣшенія» (28).

Словомъ, воспособленіе и свобода. Какимъ образомъ эта грандіозная помощь и этотъ широкій просторъ для дѣятельности отечественныхъ и иностранныхъ капиталовъ вяжутся съ проектами охраны и организаціи труда, я не знаю. Думаю, что и самъ г. Новосельскій не знаетъ, ибо не все, что имъ говорится, говорится «въ заправду», а служить единовременно Богу и мамонѣ нельзя. Какъ бы то ни было, но для персонификаціи абстрактнаго кармана, для буржуазіи, требуются воспособленіе и свобода. Совсѣмъ другое для интеллигенціи. Достойно вниманія, что, трактуя о «соціальныхъ вопросахъ въ Россіи», г. Новосельскій ни единымъ словомъ не обмолвился о положеніи нашей печати. Казалось бы, вопросъ тоже немаловажный: дѣйствительно-ли наша печать, какъ думаютъ нѣкоторые, предается оргіи разнузданности и сѣетъ всюду сѣмена яда, или, напротивъ, она лишена возможности исполнять свои обязанности? Прямо этотъ вопросъ, къ удивленію читателя, не занимаетъ г. Новосельскаго. Но мы находимъ у него, тѣмъ не менѣе, утвержденіе, будто у насъ «въ неисчерпаемомъ числѣ книгъ, брошюръ, журналовъ и газетъ молодежь, жаждущая поскорѣе и съ меньшимъ трудомъ добраться до результатовъ знанія, вычитываетъ, что Бога въ сущности нѣтъ, что матерія и сила нераздѣльны и вѣчны, что міръ, каковъ есть теперь, составился постепенною игрою взаимныхъ отношеній силъ изъ атомовъ матеріи... что на всѣ религіозныя вѣрованія наши слѣдуетъ смотрѣть, какъ на остатки младенчества и обскурантизма, поддерживаемаго правительствомъ и привилегированными классами для того, чтобы держать въ подчиненности и эксплуатировать народъ, ими управляемый».

Читатель не хуже г. Новосельскаго знаетъ, что «неисчерпаемое количество книгъ, брошюръ, журналовъ и газетъ», въ коихъ излагаются подобныя вещи, есть сочиненіе нашего автора, ибо цензура наша достаточно бдительна, да и вся-то наша литературная производительность очень исчерпаема. Надо замѣтить, что разсужденія г. Новосельскаго по предмету философіи и науки заслуживаютъ только одной отповѣди: да проститъ ему Богъ! Мы ихъ и не коснемся. Намъ только интересно знать, какія мѣры рекомендуетъ онъ противъ описываемаго имъ дѣйствительнаго или воображаемаго зла. Мѣры странныя и двусмысленныя. Онъ предлагаетъ, во-первыхъ, правительству заняться изданіемъ хорошихъ книгъ, а также озаботиться преобладаніемъ извѣстнаго направленія на университетскихъ каѳедрахъ. Не слѣдуетъ, однако, думать, что роль правительства должна ограничиваться этою творческою, положительною задачею. Отнюдь нѣтъ. «Вопросъ о свободномъ отъ контроля правительства преподаваніи въ императорскихъ университетахъ выводовъ изъ новѣйшихъ гипотезъ въ естествознаніи и приложеніи ихъ къ жизни не можетъ быть оставленъ безъ соотвѣтствующихъ мѣропріятій, въ виду уже того факта, что народъ русскій понялъ отчужденіе отъ него интеллигентнаго и высшаго класса и начинаетъ смотрѣть враждебно на ученіе въ университетахъ».

Вотъ оно, le grand mot, какъ говорятъ французы.

«А всетаки вертится!» говорилъ Галилей, когда ему рекомендовали отречься отъ того, что онъ считалъ истиной. Казалось бы, наука не можетъ дать иного отвѣта, не взирая на какія бы то ни было отчужденія. А у насъ не такъ: у насъ правительственный контроль совершенно излишенъ, когда дѣло идетъ о сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, о торговыхъ и денежныхъ оборотахъ; но тотъ же правительственный контроль необходимъ, когда возникаетъ вопросъ о духовныхъ потребностяхъ... Что же касается народа, то объ немъ современному публицисту позволительно и даже обязательно поговорить много, пламенно, пожалуй, и основательно, но затѣмъ надлежитъ: либо свести дѣло на какихъ-нибудь андроновъ, либо

формулировать такія мѣропріятія, которыя логически и практически совершенно парализуютъ дѣловую сторону обильныхъ и пламенныхъ разговоровъ о народѣ. Потомъ, какъ говорится въ поваренныхъ книгахъ, облей все это національнымъ, отечественнымъ соусомъ и—подавай на столъ...

Кто виноватъ, кто правъ въ этомъ недоразумѣніи, пусть судитъ читатель. Я только указываю ему преобладающую черту нашего времени, тотъ современный Римъ, къ которому ведутъ всѣ дороги—съ запада и востока, съ сѣвера и юга, съ отчужденія и единенія...

VIII.

Три мизантропа *).

Благосклонный читатель, позвольте на этотъ разъ освободить себя и васъ отъ умныхъ людей—надоѣли. Передохнувъ разъ, другой, можетъ быть, опять къ нимъ вернемся, а можетъ быть и не вернемся, ибо дѣло мое вольное. И то сказать: всѣхъ умныхъ людей не переслушаешь, да каждаго выслушивать, пожалуй, что и не стоитъ. Разговоры ихъ только съ виду разнообразны, а на дѣлѣ всѣ они предлагаютъ своему отечеству идти въ тотъ Римъ, о которомъ говорено въ прошлый разъ. Этотъ Римъ весь выстроенъ въ національномъ стилѣ, весь изукрашенъ рѣзными полотенцами, коньками и пѣтухами. Въ этомъ Римѣ интеллигенціи совсѣмъ нѣтъ или она доведена до того количества и качества, какія нужны, дабы полиція не осталась безъ образованныхъ дѣятелей, господа помѣщики—безъ агрономовъ и управителей, господа заводчики — безъ техниковъ. Въ этомъ Римѣ мужикъ пользуется необыкновеннымъ почетомъ, онъ сидитъ въ переднемъ углу, чрезвычайно счастливый тѣмъ, что господа его уважаютъ. Въ этомъ Римѣ предоставлена свобода наживѣ и заперта въ темницу мысль. Этотъ Римъ, наконецъ, насквозь пропитанъ лицемѣріемъ вообще и ханжествомъ въ особенности...

А! умные люди пороху не выдумали. И да не будетъ имъ стыдно, сказалъ бы я по человѣчеству, потому что если когда-нибудь незванный гость—стыдъ посѣтитъ ихъ, имъ будетъ очень больно. Съ другой стороны, однако, отчего же и имъ когда-нибудь не поболѣть за ту боль, которую они вокругъ себя распространяютъ, не сами по себѣ, разумѣется, а вкупѣ со стихійной силой вещей.

Да, боль за боль...

Это, впрочемъ, уже не относится къ нашимъ умнымъ людямъ, то есть, пожалуй, и относится, но такъ, какъ относится очень большое къ очень маленькому, какъ большой философскій вопросъ къ маленькому житейскому эпизодику. И не то, чтобы я хотѣлъ заняться тѣмъ большимъ философскимъ вопросомъ во всемъ его объемѣ, но все-таки не пришитъ же я въ «запискахъ современника» къ умнымъ людямъ или вообще къ той минутѣ, которую мы переживаемъ.

Ахъ, не все намъ слезы горькія
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ,
На минуту позабудемся
Въ чарованьи красныхъ вымысловъ...

Удалимся подъ тѣнь вѣчнаго искусства, хотя я очень боюсь, что и тамъ, подъ этою благодатною тѣнью, текущая минута, рѣжущая, колющая и обухомъ бьющая, не оставитъ насъ въ покоѣ. Ничего не подѣлаешь... «Камо пойду отъ духа твоего и отъ лица твоего камо бѣжу?»

Мнѣ бы хотѣлось, однако, сперва оглянуться на прошлую главу «записокъ современника», которая не понравилась нѣкоторымъ господамъ газетчикамъ. Не скорблю объ этомъ, потому что вообще не разсчитываю имъ нравиться. Но зачѣмъ же все-таки врать? Г. Суворинъ, напримѣръ, утверждаетъ, будто у меня написано! «интеллигенція есть Лермонтовъ». Онъ ставитъ даже это опредѣленіе въ ковычкахъ, какъ несомнѣнно мнѣ принадлежащее. Опредѣленіе, разумѣется, очень глупое, до такой степени глупое, что опроверженію его рѣшительно не стоило посвящать цѣлый фельетонъ. Но бѣда въ томъ, что я вовсе не думалъ давать интеллигенціи опредѣленіе и вовсе не говорилъ, что «интеллигенція есть Лермонтовъ». У меня написано наоборотъ: «Лермонтовъ есть интеллигенція», а это, конечно вѣрно. Кому очень хочется или очень нужно врать, съ тѣмъ, разумѣется, ничего не подѣлаешь. Подобное вранье, однако, ни на волосъ не измѣняетъ положенія дѣлъ, а положеніе это именно таково, какъ изображено у меня: вся новѣйшая русская исторія представляла доселѣ большія удобства для развитія буржуазіи и большія неудобства для развитія интеллигенціи. Иначе говоря, мы могли свободно наживаться на счетъ народа и государства и не могли свободно мыслить, свободно учиться, свободно учить. Если кому не нравится сопоставленіе въ этомъ смыслѣ г. Губонина и Лермонтова (а отчего бы не нравиться? вѣдь оба—великаны, каждый въ своемъ родѣ), тотъ можетъ заглянуть въ деревню и сопоставить кулака и сельскаго учителя и т. п. Понятно, что буржуазія и интеллигенція

*) 1881 г. Ноябрь.

могутъ совпадать, но это вовсе не обязательно, и задача русской интеллигенціи, между прочимъ, въ томъ именно и состоитъ, чтобы бороться съ развитіемъ буржуазіи на русской почвѣ, что, конечно, не исключаетъ другихъ задачъ. Такъ я думаю и такъ, мнѣ кажется, должны думать всѣ благомыслящіе люди. Развитіе же этой темы, отнюдь, впрочемъ, не новой, хотя и не исчерпанной, откладываю до другого раза. Теперь мнѣ объ другомъ поговорить хочется..

Боль за боль...

Есть прекрасная, очень гуманная и вѣрная теорія, которая на первый взглядъ рѣзко противорѣчитъ такой жесткой формулѣ. Теорія эта гласитъ, что мстительное чувство есть результатъ непониманія; ибо, дескать, все совершается на законномъ основаніи, по извѣстному сцѣпленію причинъ и слѣдствій, и, разъ мы поняли причины какого-нибудь, даже самаго возмутительнаго поведенія, мы какъ бы сами пережили весь процессъ данной мерзости, познали ея неизбѣжность—и мстительное чувство не имѣетъ мѣста. «Понять значитъ простить»—прекрасное и глубоко вѣрное изрѣченіе. Но бѣда въ томъ, что на этомъ самомъ основаніи надо понять и простить, между прочимъ, чувство мести. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ, есть мерзости; которыя понять можетъ только весьма низкопробный человѣкъ, именно, въ силу своей низкопробности; между тѣмъ, требованіе прощенія и отказа отъ мести разсчитано, разумѣется, на людей болѣе или менѣе высокой пробы. До извѣстныхъ или, точнѣе говоря, до нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ предѣловъ надо быть умнымъ и хорошимъ человѣкомъ, чтобы понять мотивы гнуснаго поступка, а, слѣдовательно, простить его; но за этими предѣлами гнусность становится именно для умнаго и хорошаго человѣка совершенно непонятною—слишкомъ ужъ она ему чужая. И въ такихъ случаяхъ ему естественно требовать боли за боль, хотя съ другой стороны, причинять кому бы то ни было боль ему самому больно. Такимъ образомъ, возникаетъ сложная драматическая коллизія, которую я хочу рекомендовать вниманію читателя по поводу вышедшей въ нынѣшнемъ году книжки г. Веселовскаго «Этюды о Мольерѣ. Мизантропъ».

Иной читатель будетъ, пожалуй, протестовать. Скажетъ: что мнѣ Гекуба? что мнѣ за дѣло до драматическихъ коллизій личной жизни, до личныхъ скорбей и радостей, личной нравственности и безнравственности, когда я весь поглощенъ интересами высшаго порядка, интересами общественными?—Ну, не будемъ говорить такъ круто, читатели: ваша кипучая общественная дѣятельность навѣрное оставляетъ вамъ немножко времени для личныхъ дѣлишекъ и, никому не будь сказано въ обиду, подчасъ довольно дрянныхъ дѣлишекъ. По крайней мѣрѣ, я видалъ такихъ, что, кажется, не спитъ, не ѣстъ, все объ интересахъ высшаго порядка думаетъ, а на дѣлѣ у него ничего, кромѣ пакости, за душой нѣтъ. Бываетъ это. Что же касается сравнительной высоты сферъ личныхъ и общественныхъ интересовъ, то это какъ смотрѣть на дѣло. Когда покойникъ Достоевскій утверждалъ, что надо искать себя въ себѣ и проч., то-есть сосредоточиться на вопросѣ личной чистоты, не взирая на условія, при которыхъ приходится этимъ заниматься—это была большая радость для всѣхъ скорбныхъ главою и лицемѣровъ, и большой вздоръ, разумѣется. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы идеалы личной нравственности были послѣднимъ или даже вторымъ дѣломъ. Странная вещь! Неужто у людей головы или сердца такъ узки, что не могутъ вмѣстить въ себѣ единовременно двухъ элементовъ, ни мало другъ другу не противорѣчащихъ и часто даже другъ другу помогающихъ? Неужто надо непремѣнно либо плевать на личную жизнь во имя общественной, либо наоборотъ? Я понимаю, что эти элементы могутъ въ частныхъ случаяхъ сталкиваться враждебно, пожирать одинъ другого, но это — именно, спеціальные случаи, каждый разъ подлежащіе особому анализу. Въ принципѣ же, вообще, унижать одинъ насчетъ другого есть просто безсмыслица. Это, можетъ быть, само собою выяснится ниже, а теперь я могу только сказать скептикамъ, которые вздумали бы протестовать противъ темы предлагаемой главы «записокъ современника», что монологи мольерова Мизантропа много интереснѣе, важнѣе, ближе даже современнику, чѣмъ засѣданія свѣдущихъ людей...

Бываютъ красивыя лица, которыя были бы, однако, еще гораздо лучше, еслибы были чуть-чуть похуже: немножко бы изломать эту слишкомъ семитичную соболиную бровь, точно сковывающую глазъ, немножко бы спутать эти линіи лба и носа... Чѣмъ-то не то педантическимъ, не то дѣтскимъ отдаетъ отъ такихъ слишкомъ красивыхъ лицъ: точно природа боялась отступить отъ извѣстной нормы и этою своею боязнью эту же боязнь подчеркнула.

Бываютъ и книги такія. Книга г. Веселовскаго, заглавіе которой выписано выше, именно такова. Въ ней много свѣтлыхъ, хотя и не оригинальныхъ мыслей, много прекрасныхъ намѣреній; много свѣдѣній

интересныхъ, поучительныхъ, тщательно провѣренныхъ. Она разсматриваетъ намѣченный предметъ со всѣхъ сторонъ: «Мизантропъ» для г. Веселовскаго—не только художественное произведеніе, подлежащее эстетической оцѣнкѣ, а одно изъ произведеній человѣческаго духа въ самомъ широкомъ смыслѣ слова; одна изъ темъ, издревле и по праву занимающихъ мыслящаго человѣка. Г. Веселовскій внимательно слѣдитъ, какъ эта тема преемственно переходила отъ одного художника къ другому, какіе, значитъ, у Мольера были предшественники и преемники, и какія тревоги своего времени каждый изъ нихъ вкладывалъ въ разработку темы. Прибавьте къ этому истинную роскошь знакомства съ литературой предмета. Передъ нами проходитъ вся исторія типа «мизантропа» во всѣхъ его воплощеніяхъ среди той или другой исторической среды; мы узнаемъ всѣ житейскіе и литературные источники пьесы Мольера, всѣ заимствованія, которыя онъ для нея сдѣлалъ у другихъ и у самого себя, всѣ выдающіеся голоса критики...

Чего же больше желать?

Ничего, кромѣ развѣ того, чтобы книга была чуть-чуть похуже...

Вотъ образчикъ добросовѣстности г. Веселовскаго и его эрудиціи. Онъ пишетъ между прочимъ: «Въ сонетъ Оронта вошла *одна* строчка изъ старой испанской пѣсенки, ранѣе Мольера уже эксплуатировавшейся другими французскими поэтами, напримѣръ, Ронсаромъ» (стр. 68). Къ этимъ тремъ строкамъ г. Веселовскій дѣлаетъ два примѣчанія со ссылками на источники. Это прекрасно, конечно, хотя для русскаго читателя, и своихъ-то поэтовъ плохо знающаго, можетъ быть, даже слишкомъ прекрасно. Во всякомъ случаѣ, противъ такой роскоши протестовать нельзя. Но г. Веселовскій заходитъ и гораздо дальше въ своемъ стремленіи подобрать все, имѣющее хотя бы отдаленное отношеніе къ избранному имъ предмету. Онъ подбираетъ иногда при этомъ такую пустяковину, о которой рѣшительно говорить не стоитъ. Напримѣръ, онъ даже съ нѣкоторою торжественностью заявляетъ: «Намъ довелось напасть на слѣдъ любопытнаго автобіографическаго признанія одного изъ заурядныхъ свѣтскихъ мизантроповъ того времени, какого-то monsieur de Mériguat, набросавшаго свой собственный портретъ (portrait de mr. Mér. fait par lui même) за семь лѣтъ до появленія Мольеровской пьесы». И г. Веселовскій дѣлаетъ длинную выписку изъ найденной имъ рукописи, которая смѣло могла бы оставаться въ рукописи, ибо ровно ничего не уясняетъ ни въ мизантропіи вообще, ни въ «Мизантропѣ» Мольера въ особенности. А ужъ мимо слова «мизантропъ» г. Веселовскій рѣшительно не можетъ пройти равнодушно: сейчасъ цитата и ссылка. Понятное дѣло, что такое обиліе мелочей производитъ наконецъ тѣсноту въ книгѣ. Мелочи тѣснота ни почемъ, она въ ней отлично уживается, какъ цѣлая куча таракановъ въ щели, но все крупное тѣсноты не любитъ. Не то, чтобы г. Веселовскій пропустилъ что-нибудь крупное (хотя и тутъ приходится не безъ изумленія отмѣтить, что авторъ ни единымъ словомъ не помянулъ драматическаго отрывка Шиллера «Der Menschenfeind», очень невыдержаннаго въ художественномъ отношеніи, но очень любопытнаго въ философскомъ смыслѣ). Напротивъ, онъ даже начинаетъ книгу разсужденіями о такихъ широкихъ вещахъ, какъ оптимизмъ и пессимизмъ вообще. Но, удѣляя подобнымъ широкимъ вещамъ столько же вниманія, какъ автобіографіи mr. de Mériguat и одной строчкѣ, заимствованной изъ испанской пѣсни, г. Веселовскій очень ужъ тѣснитъ тѣ широкія вещи, сплющиваетъ ихъ одна объ другую, а потому не всегда съ успѣхомъ въ нихъ разбирается. Приведу только одинъ примѣръ. На стр. 4 мы узнаемъ, что изъ обширной группы пессимистовъ» выдѣляются «люди, чьимъ отличительнымъ оттѣнкомъ признана нелюдимость и ненависть къ человѣчеству», мизартропы тожъ. А на стр. 12-й въ «общемъ типѣ мизантропа» находимъ, между прочимъ, «группу поэтовъ» міровой скорби и мыслителей пессимизма». Что же, спрашивается, шире—пессимизмъ или мизантропія?

На стр. 96, г. Веселовскій пишетъ (въ примѣчаніи): «Намъ случайно встрѣтилось довольно удачное объясненіе вспыльчивости Альцеста въ сценѣ сонета. Изъ-за такой бездѣлицы не стоило выходить изъ себя, но Оронтъ пришелся подъ дурную руку, когда Альцестъ только-что взбѣшенъ противорѣчіями Филэнта. См. въ сборникѣ Quatre saisons littéraires 1807, стат. Sur le Misanthrope».

Долженъ заранѣе покаяться: если мнѣ въ нижеслѣдующемъ придется своимъ умомъ дойти до «довольно удачнаго объясненія» въ этомъ родѣ, то я его такъ отъ своего имени и представляю, безъ ссылки на сборникъ 1807 года. И не только потому, что я этого сборника не знаю, а и потому еще, что, право же, всякому позволительно своимъ умомъ дойти до подобнаго объясненія. Книга г. Веселовскаго, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, а отчасти даже прямо въ связи съ этими достоинствами, часто напоминаетъ слова Фауста:

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet...

Изъ крупныхъ драматическихъ вещей г. Веселовскій ставитъ рядомъ съ «Мизантропомъ» Мольера, главнымъ образомъ, «Тимона Аѳинскаго» Шекспира и «Горе отъ ума» нашего Грибоѣдова. Это очень правильно. Гдѣ же, какъ говорятъ нѣмцы, Brennpunkt этихъ вещей, узелъ драмы? Это—встрѣча съ подлостью. Неожиданная, страшная, одна изъ тѣхъ, которыя, если не убиваютъ людей на повалъ, то надолго, быть можетъ, до конца дней ихъ калѣчатъ. Само собою разумѣется, что требуется извѣстная доля порядочности, чтобы ужаснуться отъ встрѣчи съ подлостью и почувствовать удары той жизненной плети, которая хлещетъ героя драмы. Но этою долею порядочности исчерпываются, собственно говоря, всѣ необходимо общія черты образовъ Тимона, Альцеста и Чацкаго. Во всемъ остальномъ они могутъ разниться, какъ небо и земля. Вы можете себѣ представить на мѣстѣ этихъ людей и кроткаго идеалиста съ голубыми глазами и розовыми взглядами, и мрачнаго ипохондрика, и безбородаго жизнерадостнаго юнца, и искушеннаго тяжелымъ житейскимъ опытомъ, и кабинетнаго ученаго, и юркаго практическаго дѣятеля, и, наконецъ, даже женщину со всѣми спеціально женственными чертами силы и слабости. Интересъ драмы останется все тотъ же, если только герой надломится подъ тяжестью встрѣчи съ подлостью и, такъ или иначе, удалится со сцены, разсыпавшись обличительными монологами.

Такова общечеловѣческая, психологическая черта драмы, взятой г. Веселовскимъ для изслѣдованія: личная встрѣча съ подлостью. Затѣмъ, драматургъ, если живъ Богъ его и жива душа его, конечно, не остановится на этомъ личномъ мотивѣ, обобщить протестующій крикъ или стонъ героя и вложитъ ему въ уста хулу... хулу на что? можетъ быть, на всю вселенную, можетъ быть, на человѣчество, на современниковъ, на соотечественниковъ; можетъ быть, хулу на настоящее во имя будущаго или прошедшаго. Это опредѣлится многообразными условіями личнаго характера, темперамента, прежней жизни и проч. Точно также разнообразны и выходы, которые герой можетъ избрать—отъ самоубійства до усиленной жизнедѣятельности. Это зависитъ отъ условій времени и мѣста и опять-таки отъ личныхъ свойствъ героя. Но, во всякомъ случаѣ, первая необходимая черта того типа драмы, о которомъ идетъ рѣчь, есть неожиданная личная встрѣча съ подлостью. Гартманъ, котораго г. Веселовскій желаетъ притянуть сюда же, Гартманъ со всѣмъ своимъ пессимизмомъ, есть въ настоящемъ случаѣ «чиновникъ посторонняго вѣдомства», что легко усмотрѣть изъ его автобіографіи («Mein Entwickelungsgang» въ «Gesammelte Studien und Aufsätze» Berl. 1876). Вообще пессимизмъ, какъ теорія, имѣетъ только отдаленное и косвенное отношеніе къ темѣ г. Веселовскаго. Анализъ драмы долженъ начинаться моментомъ встрѣчи съ подлостью, ибо только около нея, а не около какихъ-нибудь теоретическихъ принциповъ, можно искать общихъ чертъ «Тимона», «Мизантропа» и «Горя отъ ума».

Будемъ искать.

Тимонъ—настоящій «баринъ», щедрый, расточительный, благодушный, довѣрчивый, съ тѣмъ отличіемъ отъ барина въ русскомъ смыслѣ слова, что за нимъ числится недюжинный умъ, образованность, заслуги передъ отечествомъ. Онъ—«краса и честь Аѳинъ, предметъ любви и поклоненія міра»; у него «громадныя богатства, и при нихъ привѣтливость и доброта большая»; ему все удается, онъ—баловень счастья чуть не съ пеленокъ. Его окружаютъ любовь, преданность, уваженіе, лесть. Онъ съ своей стороны воздаетъ друзьямъ сторицею и даже буквально плачетъ отъ умиленія, говоря о прелестяхъ дружбы. Внезапно узнавъ, что онъ разорился, Тимонъ почти готовъ благодарить судьбу за это несчастье, ибо оно даетъ ему новый случай насладиться дружбой. Тимонъ наивно вѣритъ, что онъ всетаки и «богатъ—богатъ друзьями», и, заранѣе предвкушая предстоящее духовное наслажденіе, посылаетъ къ друзьямъ просить денегъ въ долгъ. Тѣ подъ разными паскудными предлогами отказываютъ, кредиторы приступаютъ съ ножомъ къ горлу—и съ глазъ Тимона падаетъ завѣса: онъ встрѣтился съ подлостью. Неожиданность этой встрѣчи, въ особенности въ виду его наивной вѣры и прежней избалованности, доводитъ его до бѣшенства: онъ ругается, дерется и, наконецъ, удаляется изъ Аѳинъ въ пустыню, въ лѣсъ, гдѣ живетъ какъ дикій звѣрь и продолжаетъ разражаться мстительными монологами: онъ проклинаетъ Аѳины и весь міръ, зоветъ гибель на всѣхъ людей. Но подлость преслѣдуетъ его и въ пустынѣ: прослышавъ, что онъ опять разбогатѣлъ, окружавшая его прежде сволочь опять къ нему лѣзетъ. Наконецъ, Тимонъ умираетъ, предварительно самъ себѣ сочинивъ мизантропическую эпитафію.

«Тимонъ Аѳинскій» одно изъ самыхъ грубыхъ произведеній Шекспира. Но для насъ эта сравнительная грубость отдѣлки имѣетъ свою цѣну, потому что, благодаря ей, особенно ярко обозначенъ узелъ драмы. Самъ Шекспиръ, устами Тимона, объясняетъ въ чемъ дѣло. Въ пьесѣ есть дѣйствующее лицо Апемантъ, «философъ», грубый

циникъ, мизантропически настроенный. Тимонъ упрекаетъ его за эту самую мизантропію. Онъ говоритъ: «Тебя не обнимала съ любовію фортуна никогда; ты родился собакой... Мнѣ, знавшему на свѣтѣ только то, что хорошо, такая перемѣна не такъ легка; но ты и началъ жить въ страданіяхъ, и въ нихъ окрѣпъ съ годами. За что людей ты ненавидишь такъ? Они тебѣ вѣдь никогда не льстили; что далъ ты имъ?» Ясно, что, по мысли самого Шекспира, дѣло тутъ не въ мизантропіи an und für sich—мизантропъ Апемантъ самъ по себѣ не даетъ матеріала для драмы—а въ той внезапности, съ которою подлость предстала глазамъ Тимона во всей своей наготѣ. За Апемантомъ Тимонъ не признаетъ права воздавать болью за боль, именно потому, что его, Апеманта, ни судьба, ни люди никогда не обманывали: открыто гнали, всенародно издѣвались. Это открыто жесткое отношеніе людей къ грубому, наглому цинику Тимонъ можетъ понимать и потому требуетъ, чтобы тотъ простилъ или, по, крайней мѣрѣ, не ненавидѣлъ. Но Тимонъ рѣшительно не можетъ понять, какъ могли люди отвѣтить подлостью на его великодушіе и благородство, на его готовность всегда раздѣлить чужое горе и помочь нуждающемуся и обремененному. Не можетъ понять, не можетъ и простить. Однако, та злоба, которая его при этомъ душитъ, то бѣшенство, которое овладѣваетъ имъ при воспоминаніи о сыгранной имъ роли игрушки въ рукахъ подлости, непереносны для него самого: онъ ждетъ не дождется, когда, наконецъ, свалится въ могилу.

Спрашивается, почему же это съ Тимономъ такъ внезапно вышло? Одолѣвшая его подлость не отличается ни грандіозностью, ни тонкостью. Его друзья и прихлебатели—не какіе-нибудь демоны, сильные, страшные, умѣющіе придать злу извѣстный оттѣнокъ обманнаго величія или изящества. Такого демона, пожалуй, простительно не узнать и расплакаться передъ нимъ отъ умиленія. Но передъ Тимономъ были не блистающіе, хотя бы фальшивымъ блескомъ, демоны, а развѣ тѣ грубыя созданія народной фантазіи, отъ которыхъ за версту воняетъ, у которыхъ рачьи клешни вмѣсто рукъ и свиныя головы на человѣчьихъ туловищахъ. Какъ бы, кажется, даться въ обманъ? Друзья Тимона просто мелкія, грязныя, трусливыя ничтожества, аляповато дающія Іудины поцѣлуи и тутъ же, за спиной, нагло подмигивающія другъ другу. Они издѣваются чуть не въ глаза, имъ доставляетъ удовольствіе подличать передъ самымъ носомъ, ибо чутье подсказываетъ имъ, что «краса и честь Аѳинъ» ничего не замѣтитъ, ничего не пойметъ. И «краса, и честь Аѳинъ», предметъ любви и поклоненія міра» оказывается дѣйствительно глупъ, какъ пробка. Но въ то же время онъ, несомнѣнно, и въ умственномъ отношеніи головой выше тѣхъ, кто его надуваетъ.

Дѣло въ томъ, что умъ, независимо отъ степени силы, можетъ быть различныхъ типовъ. Всякій знаетъ, напримѣръ, что такъ называемый математическій умъ, легко и свободно вращающійся въ сферахъ абстракта и дедукціи, можетъ оказаться слабымъ въ оцѣнкѣ конкретныхъ явленій. Точно также и въ области нравственно-житейской. Есть умы, отлично ориентирующіеся въ нравственныхъ подвалахъ, но совершенно неспособные взглянуть на небо. Такіе умы чувствуютъ себя дома въ самыхъ, повидимому, невозможныхъ двусмысленныхъ положеніяхъ, въ самыхъ фантастическихъ сочетаніяхъ лжи и всяческой подлости. Они чрезвычайно ловко играютъ на низменныхъ струнахъ человѣческой души и, путемъ систематическаго развращенія, могутъ въ другомъ человѣкѣ вызвать наружу, развить всѣ задатки подлости. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они безпомощны, какъ малые ребята, когда имъ приходится встрѣтиться лицомъ къ лицу съ чѣмъ-нибудь нравственно высокимъ: это—для нихъ больше, чѣмъ terra incognita; это—міръ не только имъ неизвѣстный, но самая возможность котораго никогда не приходитъ имъ въ голову. Наоборотъ, есть недюжинные умы, столь же неприготовленные къ пониманію нравственной исподницы вещей, если можно такъ выразиться. Таковъ Тимонъ.

«Мизантропъ» Мольера даетъ другой образчикъ встрѣчи съ подлостью. Альцестъ—не наивный и благодушный баринъ, въ родѣ Тимона. Уже въ первомъ явленіи перваго дѣйствія онъ—клокочущій гнѣвомъ ворчунъ: онъ «ненавидитъ всѣхъ» — «однихъ за то, что злы, подлы до униженія, другихъ за то, что къ злымъ имѣютъ снисхожденіе, что гнѣва праваго не возбуждаютъ въ нихъ дѣянья подлыя мерзавцевъ записныхъ». Повидимому, онъ такъ подозрителенъ, такъ придирчивъ къ самымъ пустячнымъ даже проявленіямъ двоедушія, что его никакая встрѣча съ подлостью поразить не можетъ. Но еслибы художникъ не устроилъ такой встрѣчи, то не вышло бы и драмы. Мольеръ почерпнулъ ее изъ области любовныхъ отношеній. Узелъ драмы вполнѣ обрисованъ словами Филинта Альцесту: «Вамъ все равно, что къ вамъ неравнодушна Арсиноя, что Эліанта васъ довѣрчиво любитъ всѣмъ сердцемъ молодымъ и искреннимъ готова, но Селимена вамъ разставила оковы, и вы попались въ нихъ... Чѣмъ это объяснить? На нравы вѣка вы воздвигнули гоненье, но не

замѣтили вы развѣ, что она всѣмъ существомъ своимъ кокетству отдана—пороковъ вѣка воплощенье? Какъ ненавидя ихъ, вы любите ее?» Это-то противорѣчіе и надломило Альцеста. Онъ не обманываетъ себя насчетъ Слабостей Селимены, но надѣется, что «моя любовь ее возвыситъ». Но такъ какъ, не смотря на всю свою подозрительность и мизантропію, онъ всетаки изъ одной породы съ Тимономъ, то пустая бабенка отлично надуваетъ его, умнаго человѣка и рыцаря правды и чести. Онъ пылитъ, бранится, всѣми силами старается вывести дѣло на чистоту, требуя у Селимены и ея обожателей публичныхъ объясненій, но быстро сдается на новую ложь своей возлюбленной. И не потому только, что ему, ослѣпленному страстью, хочется ей вѣрить (эту слабость онъ самъ за собой знаетъ), а и потому еще, что, смутно подозрѣвая, что дѣло неладно, онъ далекъ всетаки отъ пониманія всего объема низости и легкомыслія Селимены. Наконецъ, когда дѣло выясняется помимо него и отъ Селимены отступаются всѣ, онъ «все готовъ покрыть забвеньемъ, все оправдать, все объяснить, назвать проступки увлеченьемъ», но съ тѣмъ условіемъ, чтобы Селимена совершенно перемѣнила образъ жизни. Селимена не согласна: «Какъ? я должна покинуть свѣтъ и заживо себя похоронить въ могилѣ?.. Мнѣ только двадцать лѣтъ, а одиночество ужасно въ эти лѣта. На это силы нѣтъ во мнѣ». Только тутъ Альцестъ уразумѣваетъ, до какой степени вздорны его надежды, и объявляетъ полный разрывъ—разрывъ не съ одной Селименой: «А я, измученный продажностью судей, неблагодарностью, отверженною страстью, враждой нелѣпою за пару глупыхъ строкъ (сонетъ Оронта), въ конецъ измученный борьбою безысходной, бѣгу—и можетъ быть найдется уголокъ, гдѣ можно честнымъ быть свободно».

Такъ вѣдь и «Горе отъ ума» кончается. Но Чацкій, опять-таки—не Альцестъ. Правда, у него, совсѣмъ какъ у Альцеста, «грозный взглядъ и рѣзкій тонъ»; правда, онъ, какъ Альцестъ, желченъ, придирчивъ и вспыльчивъ. Но уже совсѣмъ не по Альцестовски, онъ, временами, полонъ самой наивной розовой вѣры въ «вѣкъ нынѣшній», когда, по его мнѣнію, «смѣхъ стращитъ и держитъ стыдъ въ уздѣ», когда «вольнѣе всякій дышетъ» и проч., и проч. «Вѣкъ нынѣшній» показалъ ему себя. «Горе отъ ума» съ такимъ же правомъ могло бы быть названо, если не «Горемъ отъ глупости», то, по крайней мѣрѣ, «Горемъ отъ недостатка ума». Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, горе Чацкаго—отъ ума? Чацкій—умный человѣкъ, конечно; но исподницу вещей онъ гораздо больше ненавидитъ, чѣмъ дѣйствительно понимаетъ. Онъ не понимаетъ, что московская барышня Софья Павловна Фамусова никакъ не можетъ признать его бога своимъ богомъ. Для него непонятно, что гадина Молчалинъ, именно потому, что онъ—гадина, можетъ оказаться его счастливымъ соперникомъ. Онъ видитъ ничтожество и считаетъ его для себя безопаснымъ, ибо не можетъ вмѣстить мысли объ томъ, насколько оно презрѣнно и къ какимъ пріемамъ оно прибѣгаетъ для достиженія намѣченной цѣли. Точно также не можетъ онъ опуститься до мысли о клеветѣ на него, распущенной его возлюбленною. Замѣтьте, наконецъ, что Чацкій самолично не открылъ подлости, его опутавшей: ее ему (какъ и Тимону, и Альцесту) открыли случайныя, постороннія обстоятельства. Все это не отъ ума, разумѣется, происходитъ. Все это показываетъ только, что есть сферы, въ которыхъ самъ по себѣ недюжинный умъ можетъ спасовать даже передъ ничтожествами, если только они, притомъ—и мерзавцы. Оттого-то такъ страшна встрѣча съ подлостью для Тимоновъ, Альцестовъ и Чацкихъ. Мало того, что ихъ личная жизнь разбита, ибо вся эта личная жизнь была вложена въ то, что ихъ предало и продало; но передъ ними вдругъ, точно въ сказкѣ, какъ по щучьему велѣнію, только не по ихъ прошенію, открывается пѣлый, для нихъ новый, отвратительный міръ, пропасть, кишащая чудовищными гадами, по самому краю которой они до сихъ поръ ходили, не зная, гдѣ они ходятъ, съ кѣмъ дѣло имѣютъ. И въ этомъ драма.

Но драма на этомъ не кончается. Прикупили-ли себѣ страдальцы своимъ страданіемъ ума—дѣло темное. Можетъ быть, тяжкій опытъ обережетъ ихъ на будущее время отъ новыхъ просаковъ, т. е. если не отъ новыхъ встрѣчъ съ подлостью вообще, то, по крайней мѣрѣ, отъ встрѣчъ неожиданныхъ, а, можетъ быть, они органически неспособны вѣдаться съ подлостью въ ея самыхъ грязныхъ формахъ. Но какъ быть съ прошедшимъ? Понять они его не могутъ, не могутъ, значитъ, и простить, и ихъ душевныя раны требуютъ боли за боль. А причинять боль—больно.

Тимонъ разражается проклятіями, помогаетъ Алкивіаду въ его планахъ разгромить Аѳины, проситъ веселыхъ спутницъ Алкивіада сѣять развратъ и болѣзни среди аѳинской молодежи и аѳинскихъ стариковъ и проч. Но Тимонъ—прямо душевно-больной, да и то ему невыносимо жить этою неустанной и всестороннею злобою: онъ торопился въ могилу. У Альцеста мелькаетъ дикая мысль отомстить Селименѣ сближеніемъ

съ Эліантой, но, еслибы чуткая, любящая Эліанта и не отвергла этого предложенія, Альцестъ, разумѣется, не былъ бы удовлетворенъ. Его личная жизнь, личное счастіе разбито, онъ, можетъ быть, только случайно и попутно найдетъ его въ томъ «уголкѣ, гдѣ можно честнымъ быть свободно». Но любопытно было бы знать, что это за таинственный уголокъ, можетъ быть, тождественный съ тѣмъ «уголкомъ», куда Чацкій хочетъ пристроить свое «оскорбленное чувство». Это, отнюдь не непремѣнно «пустыння» или «одиночество», какъ, повидимому, думаетъ г. Веселовскій. Изъ того, что Тимонъ удалился въ пустыню; изъ того, что самъ Мольеръ, вложившій въ «Мизантропа» много автобіографическихъ чертъ, любилъ иногда удаляться отъ людей; изъ того, что раздраженный Альцестъ произноситъ гиперболическую фразу: «ужь лучше прямо въ лѣсъ и жить среди звѣрей»; изъ всего этого вовсе не слѣдуетъ, что «уголокъ» Альцеста и Чацкаго есть пустыня.

Изъ книги г. Веселовскаго узнаемъ, что одинъ изъ новѣйшихъ біографовъ Мольера, Арсенъ Гуссэ (La femme et la fille de Molière) назвалъ одну главу своего труда «Слезы Мольера» (Les larmes de Molière) и въ ней чуть не радуется, что поэтъ испыталъ много личнаго горя, ибо, дескать, безъ этого не создались бы многія изъ лучшихъ его произведеній. Въ сѣдую старину былъ, говорятъ, обычай при закладкѣ новаго дома замуравливать въ фундаментъ невиннаго младенца: вѣрили, что на этой чистой крови, на страданіяхъ невиннаго, домъ будетъ стоять особенно прочно. Разсужденіе Арсена Гуссэ напоминаетъ это повѣрье. Какъ бы то ни было, но Мольеръ дѣйствительно, слезами мстилъ за свои личныя несчастія, раздавая въ своихъ комедіяхъ всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, въ которыхъ блистали выкованные изъ тѣхъ слезъ сатирическіе алмазы. Правда, месть не всегда доходила по непосредственному адресу. Извѣстно, что Селимена есть во многихъ отношеніяхъ портретъ жены Мольера, какъ Альцестъ—его собственный. Утонченное-ли мстительное чувство руководило Мольеромъ или, напротивъ, какъ думаетъ г. Веселовскій, утонченное чувство любви и надежды исправить жену, но роль Селимены Мольеръ предоставлялъ исполнять ей, а Альцеста игралъ самъ. Г. Веселовскій, однако, справедливо замѣчаетъ, что жена Мольера, едва-ли чувствовала урокъ и, вѣроятно, просто пользовалась случаемъ пококетничать на сценѣ. Но вѣдь Селимена—«пороковъ вѣка воплощенье», какъ говоритъ Мольеръ устами Филэнта, и, если непосредственная, ближайшая виновница несчастія поэта не понимала урока и не чувствовала боли, то другимъ носителямъ пороковъ вѣка было, во всякомъ случаѣ, больно: иначе Мольеръ не имѣлъ бы ни столько озлобленныхъ враговъ, ни столько восторженныхъ почитателей.

Почему не предположить, что «уголокъ» Альцеста и Чацкаго есть именно нѣчто въ этомъ родѣ? Личныя раны съ теченіемъ времени затянутся, оскорбительные образы Оронта и Селимены, Молчалина и Софьи Павловны поблѣднѣютъ въ памяти. Острая боль отъ личнаго оскорбленія утонетъ въ хронической боли отъ «пороковъ вѣка», въ больбѣ съ которыми страдальцы найдутъ единственное возможное для нихъ удовлетвореніе. Альцестъ и Чацкій къ этому вполнѣ приготовлены, потому что и безъ того они не личною только жизнью живутъ и даже обладаютъ спеціальною склонностью вытягивать изъ своихъ личныхъ дѣлъ ихъ общее значеніе. Пусть тѣ, именно, представители подлости, которые непосредственно исковеркали ихъ жизнь, останутся безнаказаны или только въ малой степени ощутятъ боль, но, въ качествѣ частной мелочи, они, вѣдь, развѣ только презрѣнія заслуживаютъ, холоднаго, подавляющаго. И Альцестъ, и Чацкій поймутъ это, когда пройдутъ первыя вспышки. Они пойдутъ съ свѣточемъ правды въ рукахъ противъ общаго субстрата подлости и, яко таетъ воскъ отъ лица огня, подлость будетъ отступать все дальше, корчась отъ злобы и боли, будетъ-ли то боль стыда, или боль пораженія, боль сознанія необходимости уйти, спрятаться...

Утѣшительная картина! И еслибы для ея воплощенія въ жизни въ самомъ дѣлѣ нужны были безвинныя страданія, невинная кровь, Мольеровы слезы—Тимоны, Альцесты и Чацкіе, можетъ быть, сами легли бы въ фундаментъ новаго зданія. Но не такъ просто идутъ дѣла на землѣ, и драма все еще не кончена...

Что мнѣ Гекуба? думаетъ опять читатель, и какъ попали въ записки современника разсужденія о «милліонѣ терзаній» господъ Чацкаго, Альцеста и Тимона, которые sind längst gestorben, verdorben?

Клянусь, читатель, что пока я писалъ все, что вы сейчасъ прочли, текущая минута не выходила у меня изъ головы. Я думалъ именно, что вамъ отнюдь не слѣдуетъ фыркать на предлагаемую мною вашему вниманію тему, ибо текущая минута особенно благопріятна для неожиданныхъ встрѣчъ, и гдѣ-нибудь около насъ съ вами навѣрное клокочетъ не одинъ милліонъ терзаній. Характернѣйшую черту текущей ми-

нуты составляетъ лицемѣріе. Лицемѣріемъ окутываются хищническіе инстинкты, лицемѣріемъ украшаются всѣ гробы повапленные, лицемѣріе, какъ свинцовая туча, нависло вадъ всей Россіей. Вы слышите дѣловыя рѣчи, творцы которыхъ сами знаютъ, что это—рѣчи бездѣльныя. Вы видите фигляровъ, расшибающихъ лобъ передъ тѣмъ, что они сами чуть не буквально вчера сожигали, и сожигающихъ то, передъ чѣмъ они вчера молитвенно преклонялись. Вы читаете приглашенія слиться съ народомъ и безъ труда открываете, что за этими пламенными приглашеніями нѣтъ ничего, кромѣ ненависти къ свѣту и карманныхъ мотивовъ. Вы видите людей, во имя идеала бьющихъ себя въ грудь правою рукою, и въ ту же минуту совершающихъ лѣвою рукою подлогъ или предательство. Мудрено не наткнуться на дерево въ такомъ дремучемъ лѣсу, и да не будетъ та встрѣча неожиданною...

И потомъ, любопытный вопросъ. Наша драма, вѣдь, еще не кончена. Положимъ, что Тимоны, Альцесты и Чацкіе, такъ или иначе, покончивъ свои личные счеты, вымещаютъ свою боль на борьбѣ съ подлостью вообще. Но подлость сильна своей общедоступностью для большинства, она можетъ пронизывать всю атмосферу, осаждаться въ учрежденія, общественныя группы, вырастать въ цѣлыя стѣны, съ которыми, пожалуй, никакіе тараны не справятся. Альцестъ на себѣ испыталъ это: Оронтъ не безъ успѣха потянулъ его въ судъ за правдивое сужденіе о глупыхъ стихахъ; подлый доносъ приписалъ ему безнравственный памфлетъ. Фамусовъ, въ свою очередь, независимо отъ своего личнаго гнѣва, имѣетъ уже въ головѣ мысль о запрещеніи Чацкому «на выстрѣлъ подъѣзжать къ столицамъ». Въ различныя времена эти усиленныя препятствія получаютъ различное развитіе и различное значеніе. Читателю предоставляется размыслить, въ какое время и что ждетъ на этомъ пути Тимоновъ, Альцестовъ и Чацкихъ...

И вотъ мы вернулись къ началу, ибо Тимоны, Альцесты и Чацкіе суть интеллигенція.

Я не хотѣлъ сегодня распространяться объ интеллигенціи, объ ея отношеніи къ народу, къ буржуазіи и проч. Не собираюсь и теперь. Позвольте всего нѣсколько словъ.

Пока я занимался «милліономъ терзаній», «Новое Время» успѣло напечатать еще одинъ фельетонъ, посвященный интеллигенціи, гдѣ опять мое имя поминается всуе, хотя на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, безъ прямого вранья, а только съ умолчаніями. Говоря о взаимныхъ отношеніяхъ интеллигенціи и буржуазіи, я, для иллюстраціи, привелъ по одному образчику чистой интеллигенціи (Лермонтовъ), чистой буржуазіи (г. Губонинъ) и помѣси интеллигенціи съ буржуазіей (г. Аксаковъ). Это была просто схема, причемъ количественныя отношенія вовсе не имѣлись въ виду. Изъ этой схемы г. П. О., авторъ фельетона, почему-то вычеркнулъ г. Аксакова (вѣроятно, изъ уваженія къ этому доблестному мужу) и затѣмъ умозаключаетъ, что я проникнутъ уваженіемъ ко всей русской интеллигенціи, защищаю ее, дѣлаю подлогъ, подставляя Лермонтова вмѣсто интеллигенціи и проч. Нѣтъ, я г. Аксакова и ему подобныхъ не уважаю, не защищаю и съ Лермонтовымъ не смѣшиваю. Я говорю объ томъ, какъ *должна* вести себя интеллигенція, и ужъ, конечно, не хуже сотрудниковъ «Новаго Времени» знаю, что она, въ большинствѣ случаевъ, ведетъ себя не такъ, какъ слѣдуетъ. Затѣмъ, г. П. О. по своему комментируетъ мои слова: «Лермонтовъ убитъ на дуэли, Пушкинъ задохся въ атмосферѣ подлости, Бѣлинскій померъ отъ чахотки *и цензуры* и т. д.». Но г. П. О. не только комментируетъ, а кромѣ того вычеркиваетъ слова *и цензуры*. Для того онъ это дѣлаетъ, чтобы сказать: «Потому-то они и «гибнутъ на дуэли», «задыхаются въ атмосферѣ подлости» и «умираютъ отъ чахотки», что не имѣютъ, гдѣ главу преклонить, что среди самой интеллигенціи встрѣчаютъ лишь зависть, клевету, самую грубую эксплуатацію и т. п. мерзости». О, да! я это очень хорошо знаю. Я больше знаю. Я знаю, что не надо обладать, напримѣръ, колоссальнымъ талантомъ Лермонтова, а довольно быть Чацкимъ или Альцестомъ, чтобы встрѣтиться съ подлостью и изнемочь подъ ея ударами. Но это—только полъ-истины. Представьте себѣ Чацкаго, очищеннаго въ горнилѣ страданія, отрекшагося отъ погони за личнымъ счастьемъ, на которомъ онъ такъ жестоко обманулся. Представьте себѣ его на полѣ общественной дѣятельности. Онъ, конечно, наткнется на такой рожонъ, какого никогда не встрѣтилъ бы, еслибы отправился гулять по свѣту, подъ ручку хоть съ тѣмъ же г. Губонинымъ. И въ этомъ все дѣло.

Еще два слова. Г. П. О. называетъ Лермонтова «святыней цѣлаго народа». Такъ-ли это? Народъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, Лермонтова не знаетъ и ничего въ немъ, кромѣ развѣ пѣсни про Калашникова и Кирибѣевича, не поймете. Онъ—столь же чужой народу, какъ и любой заурядный представитель интеллигенціи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе чужой. Это—большое несчастіе, какъ для самого Лермонтова, такъ и для народа. Но «чужой» не всегда обозначаетъ «враждебный», равно какъ «свой»

не есть непремѣнно синонимъ «дружественнаго».

Это, впрочемъ,—матерія слишкомъ длинная и сложная, чтобы ее затрогивать сегодня...

Надо надѣяться, что мы когда-нибудь выучимся азбукѣ. Смѣлая, конечно, надежда, но всетаки осуществимая. Во всякомъ случаѣ, поживемъ — увидимъ, а до тѣхъ поръ надо приниматься за азбуку, хотя это очень скучно для взрослыхъ людей. Скучно и даже какъ будто маленько стыдно. Но вѣдь еще стыднѣе вѣровать или, по крайней мѣрѣ, исповѣдывать, что *буки-азъ* не *ба*, а *дра* или что-нибудь еще болѣе несуразное. Вѣровать или, по крайней мѣрѣ, исповѣдовать, потому что есть вѣрующіе, но есть и не вѣрующіе, а только исповѣдующіе. Кто изъ нихъ хуже, сказать трудно. Вѣрнѣе всего, что оба сорта хуже, каждый въ своемъ родѣ. Вѣрующіе, что *буки-азъ—дра*, невѣжды; это ихъ невѣжество, само по себѣ вполнѣ простительно и поправимо, ибо знаніе — дѣло наживное, и, при нѣкоторомъ усиліи, можно научиться азбукѣ, даже въ томъ возрастѣ, когда азбукѣ учиться стыдно. И потомъ, есть вещь, которая можетъ украсить самое глубокое невѣжество: это—скромность. Но совершенно уже непростительно, когда невѣжество является передъ публикой въ полной парадной формѣ спасителя отечества. Тѣмъ непростительнѣе, разумѣется, поведеніе людей не вѣрующихъ, а только исповѣдующихъ, что *буки-азъ—дра*. Столь это занятіе завѣдомо предосудительно, что даже въ прописяхъ не одобряется.

Во всякомъ случаѣ, давайте, примемся за азбуку...

IX.

Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей *).

Не знаю, что будетъ на очереди, когда вы будете читать эти строки, а теперь, когда я принимаюсь писать, можно подумать, что вселенная наполнена «пѣснью торжествующей любви» И. С. Тургенева. Будто даже «свѣдущихъ людей» нѣтъ на свѣтѣ, а только стоитъ гдѣ-то въ пространствѣ Муцій и льетъ чарующіе звуки со струнъ своей волшебной скрипки. Пройдетъ нѣсколько дней, и отъ пѣсни торжествующей любви не останется даже воспоминанія. Совсѣмъ иныя размышленія и разговоры займутъ читающій людъ, какъ будто обаятельные звуки скрипки Муція никогда не разсѣкали воздуха и никогда не блисталъ алмазъ на его смычкѣ. Это навѣрное такъ будетъ, но это еще ровно ничего не говоритъ противъ новаго произведенія нашего маститаго художника. Просто, мы какъ-то ужасно мелки стали, мелки и забывчивы. Вещи безъ сравненія крупнѣйшія, чѣмъ исторія Муція, Фабія и Валеріи, точно также вызываютъ большую или меньшую рябь на нашемъ житейскомъ морѣ, рябь, которую можно даже иногда принять за настоящія волны, а по прошествіи нѣкотораго времени погибаютъ, какъ тѣ Обры, «ихъ же, по словамъ лѣтописца, нѣсть племени, ни наслѣдка». Именно ни племени, ни наслѣдка. Ничто не вѣчно подъ луной, и всякой вещи надлежитъ въ свое время утонуть въ забвеніи. Но, во-первыхъ, *въ свое время*, а во-вторыхъ, должна же существовать преемственность вещей. Во всѣхъ учебникахъ логики на разные манеры обсуждается то положеніе, что всѣ люди смертны, а Иванъ—человѣкъ и, слѣдовательно, тоже смертенъ. Ну, и прекрасно: Иванъ умеръ, когда дошелъ до него чередъ. Но вѣдь у него былъ сынъ Степанъ, а у того дочь Степанида и т. д. Такъ и въ мірѣ идей, событій, чувствъ, думъ. А у насъ нынче выходитъ совсѣмъ не такъ. Вы видите временами лица, какъ будто оживленныя скорбью или восторгомъ, негодованіемъ или испугомъ, слышите лязгъ и бряцанье какихъ-то доспѣховъ, ad hoc вытащенныхъ изъ арсеналовъ и музеевъ и наскоро приведенныхъ въ порядокъ. А черезъ минуту все это исчезаетъ точно въ фееріи какой, такъ что участники фееріи даже не помнятъ, въ какіе доспѣхи они облекались и по какому случаю. Завтра они, все съ тою же кажущеюся горячностью, будутъ повторять аргументы своихъ вчерашнихъ противниковъ, да и въ самомъ пылу битвы будутъ метаться туда и сюда.

Все это отъ мелкости, я думаю, отъ плоскодонности, отъ отсутствія дѣйствительнаго, глубокаго возбужденія, которое, что называется, хватало бы за сердце.

Возьмите, напримѣръ, хоть ту же «Пѣснь торжествующей любви». Говору въ гостиныхъ и въ газетныхъ фельетонахъ весьма много. Съ задоромъ высказываются мысли о законныхъ предѣлахъ искусства, о служеніи чистой красотѣ и слышится старинная фраза: «такъ, по вашему, сапоги выше Шекспира?!» Но вы безъ труда усматриваете, что все это—«мечи картонные» или, самое большое, мечи, хотя и настоящіе, въ свое время сослужившіе свою службу, но нынѣ совершенно ржавые и только такъ, случайно вынутые изъ музея. Еслибы вы въ этомъ усомнились, то стоитъ только припомнить тѣ времена, когда вопросы о законныхъ предѣлахъ искусства, о служеніи чи-

*) 1881 г., Декабрь.

стой красотѣ, объ отношеніи сапогъ къ Шекспиру представляли у насъ поле настоящей, горячей битвы. Худо-ли, хорошо-ли разсуждали въ тѣ времена объ враждующія стороны, но несомнѣнно, что для нихъ это были вопросы жизненные, въ которые они душу свою полагали. Безчисленными нитями связывались они для нихъ съ различными сторонами жизни, и частный вопросъ о задачахъ искусства не стоялъ въ любую данную минуту «одинъ, одинъ бѣдняжечка, какъ рекрутъ на часахъ». Конечно, и тогда существовали недоразумѣнія, недоумѣнія, противорѣчія, это все—дѣло житейское, неизбѣжное; но, по крайней мѣрѣ, люди старались, чтобы тѣ или другія требованія, поставляемыя ими искусству, находились въ согласіи съ другими сторонами ихъ разумѣнія вещей міра видимаго и невидимаго. Если кто думалъ, что искусство есть нѣчто самодовлѣющее, что оно само въ себѣ носитъ свою цѣль, тотъ искалъ и другихъ, столь же самодовлѣющихъ цѣлей и клалъ къ подножію ихъ всѣ дѣла человѣческія. Наоборотъ, кто думалъ, что искусство есть лишь средство для достиженія иныхъ цѣлей, тотъ освѣщалъ съ точки зрѣнія этихъ высшихъ цѣлей не только область искусства, а и житейскія дѣла всякаго рода. При такихъ условіяхъ, ни одно явленіе жизни, искусства, науки не можетъ стоять, такъ сказать, ершомъ· всѣ они извѣстнымъ образомъ между собою связываются, всѣ другъ друга напоминаютъ, а не выскакиваютъ поочередно, изъ-за ширмъ, какъ Петрушка, чтобы прокричать свою реплику и потомъ опять провалиться за ширмы. А теперь?

Идутъ усиленные разговоры о задачахъ искусства, но зачались они вдругъ, по случаю «Пѣсни торжествующей любви», и также вдругъ, по прошествіи извѣстнаго времени, оборвутся. Оборвутся до такой степени безслѣдно и безплодно, что къ слѣдующему подобному случаю, который наступитъ, можетъ быть, черезъ годъ, можетъ быть, черезъ два, вы услышите буквально тѣ же разговоры, какъ будто дотолѣ ихъ никогда и не было. Но при этомъ вы отнюдь не можете поручиться, что, напримѣръ, Ивановъ или Сидоровъ, котораго сегодня иронически спрашиваютъ: «такъ, по вашему, сапоги выше Шекспира?!..»—чтобы онъ къ тому времени самъ не научился задавать этотъ самый вопросъ съ такою же безсмысленно побѣдоносною ироніей. Этого мало. Одна газета, чрезвычайно презирающая «интеллигенцію», въ то же время восторгается «Пѣснью торжествующей любви», какъ произведеніемъ чистаго, самодовлѣющаго искусства, далекаго отъ какой бы то ни было тенденціозности. Между тѣмъ, если интеллигенція въ самомъ дѣлѣ должна быть поставлена въ положеніе рака на мели, если ея цѣли и задачи непремѣнно зловредны, то понятное дѣло, что прежде всего подлежатъ строжайшему осужденію произведенія въ родѣ «Пѣсни торжествующей любви». Никакъ нельзя говорить: интеллигенція есть паразитъ, интеллигенція подлежитъ искорененію и т. п., и въ то же время любоваться на произведеніе искусства, въ которомъ ярче, чѣмъ въ чемъ-нибудь, выражается паразитизмъ интеллигенціи, ея оторванность отъ интересовъ народа и т. п. Почтенная газета («Новое Время») даже не пытается свести свои концы съ концами, а это свидѣтельствуетъ, что либо ея презрѣніе къ интеллигенціи не искренно и не сильно, либо произведеніе И. С. Тургенева вовсе ужъ не такъ ей понравилось.

Не для того, чтобы полемизировать съ «Новымъ Временемъ», а единственно для иллюстраціи современной разорванности и плоскодонности, я приведу слѣдующую выписку изъ № 2068 этой газеты. Дѣло идетъ о какомъ-то спектаклѣ:

«Pour la bonne bouche, долженъ былъ идти большой дивертисементъ, который распорядители заботливо составили изъ самыхъ миловидныхъ танцовщицъ нашего казеннаго балета. Г-жа Оголейтъ 1-ая весьма кокетливо протанцовала съ г. Л. Ивановымъ «la permission de dix heures»—миленькую польку изъ небольшого балета г. Петипа «Фризакъ». Послѣдній не худо бы возобновить для бо̀льшаго разнообразія нашего балетнаго репертуара. Г-жа Недремская, талантливая танцовщица, только что окончившая курсъ, исполнила solo-попури изъ наиболѣе любимыхъ балетныхъ танцевъ: pas de crotales petit corsaire и т. д. Легкость и изящество безъ большой силы—отличительныя черты г-жи Недремской, обладающей еще парой красивыхъ глазъ. Слабѣе танцовала тарантеллу г-жа Оголейтъ 3-я, наружность которой составляетъ теперь предметъ весьма пріятныхъ бесѣдъ между балетоманами, и мазурку—г-жа Андреева. Партнерами послѣднихъ танцовщицъ были гг. Карсавинъ и Татариновъ».

Прочитавши эту совершенно на удачу, то-есть безъ всякихъ поисковъ и стараній найденную въ «Новомъ Времени» цитату, вы невольно изумляетесь: какъ можно презирать интеллигенцію, корить ее за то, что она живетъ на счетъ народа, ничего ему взамѣнъ не давая, и въ то же время такъ пристально и съ такимъ сочувствіемъ слѣдить за интересами господъ балетомановъ? Въ № 2047, напримѣръ, «Новое Время» съ весьма, повидимому, прочувствованнымъ негодованіемъ говоритъ объ одномъ земствѣ, которое «употребляетъ крестьянскія деньги на школы дѣтей не крестьянъ, а болѣе высшихъ сословій». Это очень справедливое негодованіе, но любопытенъ я знать, на какія деньги будетъ возобновленъ балетъ г. Петипа «для бо̀льшаго разнообразія нашего балетнаго репертуара» и на какія деньги

блистаетъ со сцены «пара красивыхъ глазъ» г-жи Недремской?

Возвращаюсь къ разговорамъ о «Пѣснѣ торжествующей любви».

Другая газета («Новости») пожелала сказать свое слово о разсказѣ г. Тургенева въ связи съ полемическимъ эпизодомъ насчетъ буржуазіи и интеллигенціи. Я подчеркну только одну подробность размышленій почтенной газеты—остальное неинтересно. «Новости» напоминаютъ, что во Франціи, со времени образованія такъ называемой романтической школы, установилось особенное, условное понятіе словъ «буржуа», «буржуазный». Именно, дескать, слова эти употребляются въ смыслѣ прямой противоположности всему вдохновенному, поэтическому, изящному. Отсюда выводъ: у насъ истинные буржуа суть тѣ, кто требуетъ утилитарной подкладки для художественнаго произведенія, кто утверждаетъ, что сапоги выше Шекспира. Мимоходомъ сказать, пора бы этотъ вздоръ на счетъ сапогъ и Шекспира бросить. Говорить, что сапоги выше Шекспира (если это когда-нибудь кто-нибудь говорилъ), столь же нелѣпо, какъ утверждать, что Шекспиръ выше сапогъ: Шекспиръ самъ по себѣ, сапоги сами по себѣ, и никакому сравненію они не подлежатъ. Что же касается оригинальнаго вывода газеты «Новости», то логически онъ вполнѣ правиленъ: если подъ буржуазіей разумѣть то, что разумѣли французскіе романтики, то и т. д. Но вопросъ въ томъ—какое намъ дѣло до точки зрѣнія французскихъ романтиковъ и ихъ условнаго жаргона? Мало-ли какое содержаніе вкладывалось въ разное время въ слово буржуа и мало-ли какіе облики принимала въ теченіе исторіи буржуазія. Буржуа былъ, напримѣръ, нѣкогда человѣкомъ, закованнымъ въ желѣзо и собственноручно отражавшимъ нападенія надменнаго феодала. Какое же намъ до этого дѣло при нашихъ разсужденіяхъ объ относительномъ значеніи интеллигенціи и буржуазіи? Ясно, что словесный кунстштюкъ фельетониста «Новостей» вызванъ отнюдь не желаніемъ пролить, по мѣрѣ силъ, свѣтъ на предметъ спора, а просто *такъ*, для разговора. Ну, а разговоръ для разговора, конечно, завтра же забудется, ибо онъ вовсе не разсчитанъ на то, чтобы принести завтра какой-нибудь плодъ. Въ спорахъ о буржуазіи и интеллигенціи подъ буржуазіей разумѣется классъ людей, непосредственно не трудящихся и владѣющихъ орудіями производства, сосредоточеніе которыхъ обусловливается юридическими нормами, формами производства, государственными учрежденіями, системами кредита и крупныхъ общеполезныхъ предпріятій, системами народнаго образованія и проч. Въ зависимости отъ этихъ разнообразныхъ условій слагается нравственный обликъ буржуазіи, ея политическій символъ вѣры, ея вкусы и стремленія. Газетѣ «Новости» надлежало опредѣлить отношеніе чистаго искусства вообще и «Пѣсни торжествующей любви» въ особенности къ буржуазіи, именно въ этомъ смыслѣ, а вовсе не въ томъ, какой разумѣли французскіе романтики.

Что касается меня лично, то я думаю, что чистое искусство есть созданіе фантазіи, въ дѣйствительности не существующее. Это, пожалуй—идолъ, передъ которымъ вѣрующіе, а иногда и невѣрующіе молятся, у котораго есть жрецы, но который, какъ всякій идолъ, есть ложь. Въ дѣйствительности, никто чистому искусству не служитъ, а оно, наоборотъ, всегда и непремѣнно кому-нибудь или чему-нибудь служитъ. Пустая форма (все равно прекрасная или безобразная), форма безъ содержанія немыслима. Содержаніе можетъ быть мелко или крупно, вложено въ художественную форму сознательно или попасть туда помимо воли и сознанія художника, но оно, во всякомъ случаѣ, непремѣнно есть. Есть оно и въ «Пѣснѣ торжествующей любви», разумѣется.

Меня поразило одно словесное возраженіе, полученное въ разговорѣ о законности произведеній типа «Пѣсни торжествующей любви». Мнѣ было сказано: «такъ вы хотите оставить человѣчество при однихъ низменныхъ, животныхъ инстинктахъ?» Но развѣ только и свѣту, что въ окошкѣ? Пожалуйте на улицу, пожалуйте въ поле—тамъ солнце сіяетъ съ небесъ. Еслибы я отрицалъ даже всю область поэзіи, во всѣхъ ея видахъ и формахъ (чего я, разумѣется, не дѣлаю), такъ и то оставались бы на свѣтѣ добро, правда—истина и правда—справедливость, вовсе не мирящіяся съ низменными, животными инстинктами. Что касается этихъ инстинктовъ, то художественныя произведенія въ родѣ «Пѣсни торжествующей любви» не только не отодвигаютъ ихъ въ задній уголъ, а, напротивъ, ставятъ на пьедесталъ. Wage du zu träumen, такъ, помнится, гласитъ эпиграфъ къ фантастическому разсказу И. С. Тургенева. О да! wage. Отнять мечту у человѣка было бы слишкомъ безжалостно. Но замѣтьте, что весь Traum, вся мечта уходитъ въ разсказѣ на фантастическую обстановку, представляющую смѣсь «Тысячи и одной ночи» съ гипнотическими сеансами Ганзена. Въ этомъ направленіи Traum заходитъ, дѣйствительно, далеко. Но относительно внутренняго содержанія, неужели надо быть очень смѣлымъ мечтателемъ, чтобы представить себѣ, какъ молодой человѣкъ и молодая женщина, влекомые чисто

физическою страстью (въ духовномъ отношеніи чувства Валеріи къ Муцію даже непріязненны), сходятся, дѣлаютъ ребенка и затѣмъ расходятся, чтобы никогда больше не увидаться? Право же, это—очень скудная исторія изъ области именно низменныхъ инстинктовъ, поль-де-кокковскій анекдотъ, который рѣшительно не стоило вставлять въ такую, блистающую роскошью фантазіи рамку. Не стоило и, смѣю сказать, не слѣдовало. Я слышалъ мнѣніе, что «Пѣснь торжествующей любви» есть художественная иллюстрація къ метафизикѣ любви Шопенгауера. По этой метафизикѣ, міровая воля обманываетъ людей всею чарующею прелестью любви единственно въ интересахъ вида homo sapiens, единственно для того, чтобы любящія сердца произвели на свѣтъ новаго человѣка. А такъ какъ, дескать, супружество Фабія и Валеріи было безплодно, то и явился на сцену Муцій. Не знаю, имѣлъ-ли что-нибудь подобное въ виду И. С. Тургеневъ, но знаю, что это—невѣрное или, по крайней мѣрѣ, неполное толкованіе теоріи Шопенгауера, которая требуетъ отъ любви пополненія контрастовъ между любящими и всей тонкой игры чувствъ, возникающей при такомъ пополненіи, а не мистически грубаго и голаго взаимнаго влеченія какого-нибудь Муція и какой-нибудь Валеріи. Разскажите этотъ самый анекдотъ во всей его нагой правдѣ, безъ всѣхъ этихъ скрипокъ, нѣмыхъ малайцевъ, змѣй и яшмовыхъ чашечекъ, и если ваши слушатели не скажутъ, что это—мерзость, такъ только потому, что это—слишкомъ ужъ вульгарная, пріѣвшаяся исторія. А въ фантастической рамкѣ, совершаясь подъ звуки какой-то необыкновенной музыки, и, вообще, въ обстановкѣ мечты, идеала Traum'а, анекдотъ получаетъ, повидимому, совсѣмъ другой характеръ. Но это только, повидимому, а на дѣлѣ ничего, кромѣ низменныхъ инстинктовъ, анекдотъ не затрогиваетъ.

Вы можете придать какому-нибудь сосуду форму красивую или безобразную, можете влить въ него ядъ или лекарство, ширазское вино, которымъ Муцій опоилъ Валерію, или очищенную водку. Но вы очень ошибетесь, если подумаете, что, не наливъ въ него ничего, вы такъ его пустымъ и оставили: въ крайнемъ случаѣ, въ немъ окажется воздухъ и, по всей вѣроятности, болѣе или менѣе испорченный. Такъ и въ поэзіи. Художникъ можетъ вдвинуть въ художественную форму очень разнообразное содержаніе и, слѣдовательно, заставить свое искусство служить очень разнообразнымъ цѣлямъ. Но если онъ захочетъ служить именно чистой красотѣ, именно формѣ, то, помимо его воли и сознанія, въ эту форму вкрадется, по всей вѣроятности, очень низменное содержаніе, а слѣдовательно, и искусство будетъ служить очень низменнымъ цѣлямъ.

Дѣло въ томъ, что чистая красота есть лишь отвлеченная категорія, созданіе анализа, необходимое при извѣстныхъ логическихъ операціяхъ, но въ дѣйствительности, какъ нѣчто живое, совсѣмъ не существующее. Ничего просто прекраснаго въ жизни нѣтъ, и въ понятіе о прекрасномъ непремѣнно входятъ сознаваемые или несознаваемые вами, положительные или отрицательные возвышенные или низменные элементы добра и правды. А потому искусство для искусства руководящимъ принципомъ быть не можетъ. Столь гордое своею отрѣшенностью отъ всѣхъ земныхъ скорбей и радостей, витающее въ надзвѣздныхъ сферахъ отвлеченной красоты, чистое искусство на дѣлѣ оказывается всегда и непремѣнно чьимъ-нибудь покорнѣйшимъ слугой. Чьимъ? — это опредѣлится условіями жизни художника. Если онъ своими личными усиліями опредѣлитъ для себя отношенія прекраснаго къ истинному, доброму, справедливому, онъ сдѣлаетъ искусство орудіемъ для достиженія тѣхъ или другихъ сознательно выбранныхъ цѣлей. Если же онъ захочетъ отдаться исключительно на волю своего влеченія къ прекрасному, то нравственный элементъ все-таки безсознательно войдетъ въ его работу, но войдетъ въ томъ грубомъ, сыромъ видѣ, въ какомъ онъ носится въ окружающей художника средѣ, въ томъ общественномъ слоѣ, къ которому художникъ принадлежитъ. Въ концѣ концовъ, такимъ образомъ, гордое, чистое искусство окажется на службѣ интересовъ даннаго общественнаго слоя.

Я понимаю, читатель, что все это—слишкомъ философская бесѣда для «Записокъ современника», и потому буду кратокъ.

Искусство для искусства—не единственный въ своемъ родѣ идолъ современнаго человѣчества. Ихъ существуетъ цѣлая коллекція: наука для науки, справедливость для справедливости, богатство для богатства. Всѣ эти, якобы самодовлѣющія, цѣли оказываются на дѣлѣ средствами, безсознательными слугами интересовъ извѣстной общественной группы. Во избѣжаніе самообмана и обмана другихъ, эту безсознательность необходимо ликвидировать. Пусть гордые люди либо сами поймутъ и другимъ откровенно скажутъ, чему именно они служатъ, либо изберутъ себѣ другой, высшій предметъ служенія. Этимъ высшимъ предметомъ можетъ быть не красота, не истина, не справедливость, а только человѣческая личность, цѣльная и полная, въ которой всѣ эти отвлеченныя категоріи складываются въ живое единство.

Для чисто теоретическихъ областей человѣческой дѣятельности этотъ критерій всегда ясенъ и удовлетворителенъ. Но мы здѣсь оставимъ это обстоятельство безъ дальнѣйшихъ разъясненій, которыя завели бы насъ слишкомъ далеко, и обратимся къ сферамъ практическимъ, гдѣ критерій человѣческой личности, благодаря запутанности отношеній, можетъ повести къ большимъ недоразумѣніямъ.

Первая французская революція съ громомъ и трескомъ провозгласила торжество личнаго начала, во имя котораго были разрушены старыя формы политической и экономической жизни. Результатъ, къ которому привелъ этотъ колоссальный опытъ, нынѣ ни для кого уже не составляетъ предмета сомнѣній: на дѣлѣ человѣческая личность вовсе не стала во главѣ угла новаго общественнаго зданія, и вся операція ограничилась замѣною привилегіи происхожденія привилегіей богатства. Но это—не доводъ противъ личнаго начала, какъ руководящаго принципа, ибо хотя личность отчасти, дѣйствительно, вырвалась изъ сжимавшихъ ее феодально-цеховыхъ тисковъ, но немедленно же попала въ тиски буржуазно-капиталистическіе. На практикѣ, не личному началу послужилъ переворотъ, а тому третьему сословію, о которомъ Сіэсъ, съ надменностью, доселѣ соблазняющею людей въ родѣ г. Суворина, говорилъ, что оно должно быть, «всѣмъ». Умудренные тяжелымъ историческимъ опытомъ, мы должны, конечно, прежде всего бросить эту надменную иллюзію. Затѣмъ, если ужъ намъ трудно оперировать въ нашихъ сложныхъ общественныхъ отношеніяхъ непосредственно при помощи личнаго начала, если это—всетаки слишкомъ отвлеченный руководящій принципъ, то надлежитъ пріискать такой общественный элементъ, служеніе которому наиболѣе приближало бы насъ къ намѣченной цѣли. Такой общественный элементъ есть. Это—народъ. Народъ въ смыслѣ не націи, а совокупности трудящагося люда. Трудъ—единственный объединяющій признакъ этой группы людей—не несетъ съ собой никакой привилегіи, служа которой мы рискуемъ услужить какому-нибудь одностороннему началу: въ трудѣ личность выражается наиболѣе ярко и полно.

Но служить не значитъ прислуживаться. Служить народу не значитъ потакать его невѣжеству или прилаживаться къ его предразсудкамъ. Мы, «вверху стоящіе, что городъ на горѣ», мы, богатые теоретическимъ знаніемъ и чужимъ историческимъ опытомъ, должны стать на стражѣ интересовъ народа, охранять ихъ отъ поползновеній завѣдомыхъ враговъ и тѣхъ лицемѣрныхъ друзей, которые желаютъ держать его въ темнотѣ невѣжества...

Простите, читатель, за крайнюю бѣглость и схематичность изложенія. Но я, во-первыхъ, боюсь наскучить вамъ, удерживая васъ въ теоретической области, а во-вторыхъ, я не новое что-нибудь излагаю, а только напоминаю то, что много разъ развивалось на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ» въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и по самымъ разнообразнымъ поводамъ. Мнѣ нужно было напомнить вамъ все это въ виду тѣхъ людей, которые нынѣ бьютъ намъ челомъ нашимъ же добромъ, только изуродованнымъ. *Они насъ* учатъ насчетъ правильныхъ отношеній интеллигенціи къ народу; они, вѣчно шатающіеся изъ стороны въ сторону и только пасквилю и скандалу неизмѣнно преданные, учатъ насъ, никогда не забывавшихъ, что такое идолы науки для науки, искусства для искусства, богатства для богатства, справедливости для справедливости; насъ, всегда приглашавшихъ науку, искусство, публицистику, то есть интеллигенцію, взять народъ за центръ тяжести своей работы... И не рядомъ только холодныхъ логическихъ выводовъ пришли мы къ такому результату. Въ насъ говоритъ и щемящее чувство отвѣтственности передъ народомъ, неоплатнаго ему долга за то, что, насчетъ его воловьей работы и кроваваго пота, мы дошли до возможности строить эти логическіе выводы. Мы можемъ поэтому съ чистою совѣстью сказать: мы—интеллигенція, потому что мы многое знаемъ, обо многомъ размышляли, по профессіи занимаемся наукой, искусствомъ, публицистикой: слѣпымъ историческимъ процессомъ мы оторваны отъ народа, мы—чужіе ему, какъ и всѣ такъ называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разумъ нашъ съ нимъ. Сердце и разумъ—замѣтьте это сочетаніе. Это не минутная вспышка сантиментальности, не тѣ женскія слезы, о которыхъ говорится въ пѣснѣ, что онѣ, какъ роса: взойдетъ солнце, росу высушитъ. Еслибъ чувство остыло или охладѣло подъ напоромъ житейскихъ дѣлъ и дѣлишекъ, не поколеблется разумъ, а поколеблется разумъ — поддержитъ чувство. Чтобы привести хоть одну фактическую иллюстрацію, я напомню наши отношенія къ разнообразнымъ попыткамъ приложить біологическія доктрины и въ особенности теорію Дарвина къ общественной жизни. Эти попытки возмутительны для насъ именно потому, что онѣ хотятъ сдѣлать изъ народа нѣчто, законами самой природы обреченное на вѣчную страду pour les beaux yeux горсти избранныхъ. Но онѣ, кромѣ того—ложь и своимъ примѣромъ свидѣтель-

ствуютъ, что дѣла на землѣ идутъ, въ концѣ концовъ, не скверно, ибо истина и справедливость не въ разладѣ живутъ: нельзя купить истину цѣною страданій милліоновъ...

Мы не имѣемъ ничего общаго съ тою долею интеллигенціи, которая хочетъ, по недоразумѣнію, служить чистой наукѣ, чистому искусству, насаждать въ отечествѣ абстрактное богатство, абсолютную справедливость. Тѣмъ паче далеки мы отъ тѣхъ представителей науки, искусства, журналистики и практики, которые безъ всякихъ недоразумѣній служатъ, напримѣръ, туманному образу грядущей русской буржуазіи. Но я готовъ всетаки отстаивать нѣкоторыя общія права интеллигенціи и даже самое слово «интеллигенція».

Не Богъ знаетъ, конечно, какая находка это слово, но любопытно, что одинъ изъ аргументовъ противъ него гласитъ такъ: нигдѣ въ Европѣ подобное слово не употребляется въ смыслѣ опредѣленія особой общественной силы. И это говорятъ, главнымъ образомъ, люди, которые во всѣхъ другихъ отношеніяхъ плюютъ на Европу, дескать, Европа намъ не указъ, она сама по себѣ, мы сами по себѣ, мы должны быть самобытны! Ну, и будемъ самобытны, осмѣлимся имѣть термины и понятія, Европѣ неизвѣстныя. По моему, въ самой наличности этого нескладнаго на русское ухо слова есть нѣчто отчасти утѣшительное, отчасти прискорбное и, во всякомъ случаѣ, обусловленное особенностями русской исторіи.

Къ тому времени, когда въ Европѣ восторжествовала буржуазія и Сіэсъ получилъ возможность сказать знаменитую фразу, что третье сословіе должно быть «всѣмъ», вся интеллигенція, за чрезвычайно рѣдкими исключеніями, была въ полномъ единеніи съ буржуазіей. Цѣлыя новыя отрасли науки, каковы политическая экономія и конституціонное право, возникли подъ ея непосредственнымъ давленіемъ и эксплуатировались въ ея интересахъ. Философія, точныя науки, поэзія такъ или иначе служили интересамъ буржуазіи, расшатывая тѣ общественныя силы, съ которыми ей приходилось бороться, и проповѣдуя новыя начала, близкія уму, сердцу и карману буржуазіи. О текущей политической печати и говорить нечего. Съ своей стороны, и буржуазія добивалась, прежде всего, всяческой свободы, въ томъ числѣ свободы мысли и слова, которая нужна интеллигенціи, какъ вода рыбѣ. Такимъ образомъ ни въ какомъ терминѣ въ родѣ «интеллигенція», не было и надобности: интеллигенція совпадала съ буржуазіей и утопала въ ней. Теперь въ Европѣ дѣла стоятъ, разумѣется, иначе. Новый общественный слой, такъ называемое четвертое сословіе выставило свою новую интеллигенцію, и сплошь и рядомъ интеллигентный человѣкъ, буржуа по происхожденію и даже образу жизни, силою вещей влечется къ защитѣ совершенно не буржуазныхъ принциповъ. Но своихъ, особыхъ, спеціальныхъ интересовъ и задачъ эта новая интеллигенція также не имѣетъ. Ея интересы отчасти (во всемъ, что касается свободы мысли и слова) совпадаютъ съ интересами всякой, въ томъ числѣ и враждебной ей интеллигенціи, а отчасти съ интересами выдвинувшаго ее общественнаго слоя. Такимъ образомъ, по обстоятельствамъ своего историческаго развитія, Европа не имѣетъ надобности въ особомъ терминѣ для того, что у насъ называется интелигенціей. Ну, а у насъ это слово привилось и употребляется даже тѣми, кто его отрицаетъ. Есть же этому какія-нибудь причины. Не знаю, право, откуда у насъ это слово взялось. Говорятъ, будто его г. Боборыкинъ выдумалъ. Не знаю. Но выдумать слово не штука. Вотъ напримѣръ, г. Суворинъ выдумалъ недавно слово «думные люди». вмѣсто «свѣдующіе люди» (кажется, такъ, навѣрное не помню, но въ этомъ родѣ), но ничего изъ этой выдумки не проистекло. А если слово привилось, и еще вдобавокъ такое нескладное, неуклюжее слово, какъ «интеллигенція», такъ, значитъ, оно соотвѣтствуетъ какой-то настоятельной потребности. Нужно оно, значитъ, было. Говорятъ, будто это отъ нашего лицемѣрія: дескать, всѣ мы буржуа и всѣ, если не сегодня защищаемъ, такъ завтра будемъ защищать интересы буржуазіи и буржуазные принципы, а только намъ стыдно въ этомъ признаться. Не спорю, что для многихъ отдѣльныхъ случаевъ это можетъ быть и справедливый упрекъ, но заслуживаетъ вниманія уже самый этотъ фактъ стыдливости. Говорятъ, будто дѣло въ нашей гордости:дескать мы соль земли, мы «интеллигенція». Но какія же такія необыкновенно гордыя претензіи заявляетъ интеллигенція? Въ эту минуту, по крайней мѣрѣ, она только проситъ позволенія говорить вслухъ, а для человѣка, существа, отъ самого Господа Бога снабженнаго даромъ слова, это достаточно умѣренная просьба, чтобы толковать по этому поводу о гордости.

Нѣтъ, должно быть слово «инлеллигенція» привилось не потому, что его г. Боборыкинъ или кто другой выдумалъ, и не потому, что имъ хотятъ прикрываться лицемѣры и гордецы. Должно быть, оно въ самомъ дѣлѣ нужно. И, конечно, нужно.

Г. Суворинъ когда-то говорилъ, что ни одной моей статьи онъ не читалъ, а если ему случается говорить о моихъ писаніяхъ, одобрять или не одобрять ихъ, такъ по на-

слышкѣ. Нынѣ онъ, очевидно, меня читаетъ, хотя и не особенно внимательно. Очень польщенъ. Такъ вотъ, если этой чести удостоится и настоящая глава «записокъ современника», то я попрошу г. Суворина объяснить мнѣ, какъ собственно онъ относится къ буржуазіи: желаетъ или не желаетъ онъ ея торжества на русской землѣ? Правда, онъ однажды сказалъ съ свойственной ему откровенностью: «я за буржуазію». Это очень опредѣленно, конечно. Но затѣмъ я прочелъ въ другой статьѣ г. Суворина слѣдующее: «у буржуазіи есть стремленія хорошія, прогрессивныя, изъ буржуазіи могутъ выдѣлиться партіи, изъ которыхъ ни одна не назовется интеллигенціей, но изъ которыхъ навѣрно выдутъ партіи болѣе или менѣе враждебныя буржуазіи». Это ужь вовсе не опредѣленно. Хорошее надо брать вездѣ, гдѣ его взять можно, а значитъ, и у буржуазіи, но зачѣмъ же брать буржуазію цѣликомъ, особливо въ томъ странномъ разсчетѣ, что изъ нея съ теченіемъ времени выйдутъ партіи, ей враждебныя? Я готовъ былъ искать въ другихъ мѣстахъ газеты г. Суворина объясненія этому недоразумѣнію. Но нашелъ въ одномъ мѣстѣ негодованіе на земство, воспитывающее дворянскихъ дѣтей на крестьянскія деньги, каковое поведеніе земства указываетъ, по словамъ почтенной газеты, на буржуазное направленіе его. А въ другомъ мѣстѣ нашелъ требованіе, чтобы былъ поставленъ новый балетъ и чтобы казенное театральное училище воспитывало на крестьянскія деньги «пару прекрасныхъ глазъ». Это, надо думать, если и буржуазное направленіе, то касается лишь «хорошихъ, прогрессивныхъ» стремленій буржуазіи. Во всякомъ случаѣ недоумѣваю. Если г. Суворинъ можетъ отвѣтить на вышепоставленный вопросъ прямо, не ради меня, конечно, а въ интересахъ самаго дѣла, я ему буду очень благодаренъ. А если онъ сумѣетъ это сдѣлать безъ ругани и безъ вранья, то тѣмъ паче. Оговорка насчетъ ругани сама собой понятна, когда рѣчь идетъ о «Новомъ Времени». Что же касается вранья, то къ этой оговоркѣ побуждаетъ меня лично г. Суворинъ Онъ долженъ былъ сознаться, что «невѣрно передалъ опредѣленіе г. Михайловскимъ слова интеллигенція» (№ 2063), но тутъ же взводитъ на меня новую ложь. Утверждаетъ, будто я назвалъ народъ «святой скотиной». Я слыхалъ, что это выразительное слово сказано въ послѣднюю войну однимъ генераломъ о солдатѣ. Во всякомъ случаѣ, я отъ своего имени никогда этого слова не говорилъ.

Буржуазія есть классъ людей, непосредственно не работающихъ, а имѣющихъ для того наемниковъ и владѣющихъ орудіями производства. Это коренная и всеобщая черта буржуазіи, ея суть. Но, затѣмъ, нравственные идеалы буржуазіи, ея политическія стремленія, нравы, вкусы могутъ быть весьма различны, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста. Буржуазія можетъ быть мужественна или труслива, отличаться простотою или утонченностью нравовъ, рваться къ свободѣ или прятаться подъ крылышко власти, смотря по тѣмъ условіямъ, при которыхъ ей приходится исполнять свою миссію сосредоточенія въ немногихъ рукахъ капиталовъ и орудій производства вообще. Мы обыкновенно представляемъ себѣ европейскаго буржуа чѣмъ-то, хотя и своекорыстнымъ, но просвѣщеннымъ или стремящимся къ просвѣщенію, и свободнымъ или уважающимъ свободу. Это ходячее представленіе, разумѣется, невѣрно, какъ общее правило, но всетаки болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ извѣстному моменту въ исторіи буржуазіи, тому, именно, моменту, который характеризуется, между прочимъ, полнымъ совпаденіемъ буржуазіи съ интеллигенціей. Спрашивается, въ какой мѣрѣ такое совпаденіе возможно у насъ теперь или въ ближайшемъ будущемъ?

Разумѣется, у насъ какъ и вездѣ, вполнѣ возможенъ ученый или журналистъ, продающій свои знанія или свое перо пройдохѣ съ туго набитымъ карманомъ. Мы уже и видали такіе примѣры. Но рѣчь не объ нихъ, а объ общемъ теченіи дѣлъ. Прежде всего для нашей интеллигенціи невозможна та беззавѣтная искренность, съ которою европейская интеллигенція временъ расцвѣта либеральной доктрины ожидала водворенія чуть не рая на землѣ отъ проведенія въ жизнь буржуазныхъ началъ. Оглядываясь теперь назадъ, мы видимъ всю ошибочность этихъ розовыхъ надеждъ, но только потому мы это такъ ясно видимъ, что ушли на цѣлое столѣтіе впередъ и фактически знаемъ чѣмъ разрѣшились тѣ надежды. Въ тѣ времена, въ ошибку, естественно, впадали люди даже исключительно обширнаго ума. Теперь это почти трудно для людей даже весьма скромныхъ умственныхъ способностей. Нужно быть или заядлымъ доктринеромъ, черствымъ, какъ третьеводняшній сухарь, или, наоборотъ, человѣкомъ необычайнаго легкомыслія съ хроническимъ междуцарствіемъ въ головѣ, или, наконецъ, просто неодобрительнаго поведенія человѣкомъ, чтобы сказать во всеуслышаніе: я за буржуазію! Это дѣйствительно стыдно. Совсѣмъ не потому, что кличка «буржуа» неблагозвучна или что это что-то слишкомъ узкое для нашей широкой русской натуры, узкое, мелкое и будничное: европейскій буржуа умѣетъ при случаѣ обламывать гигантскія дѣла и развертывается такъ, какъ и не снилось русской широкой натурѣ. Нѣтъ, дѣло гораздо

проще. Русской интеллигенціи стыдно и должно быть стыдно идти нога въ ногу съ буржуазіей, потому что ей, этой интеллигенціи, извѣстно то, что не было въ свое время извѣстно интеллигенціи европейской. Для той буржуазія была носительницей высокихъ идеаловъ свободы и энергической просвѣщенной дѣятельности, борцомъ за оскорбленное въ ея собственномъ лицѣ человѣчество. Такою буржуазія въ тѣ времена въ передовыхъ странахъ Европы дѣйствительно была, и въ цѣломъ, какъ сословіе, и въ лучшихъ изъ своихъ отдѣльныхъ представителей. Но эти высокія качества были, говоря философскимъ языкомъ, акциденціей, а не субстанціей, обстоятельствомъ времени и мѣста, а не самою сутью буржуазіи. Суть же эта состояла все въ томъ же сосредоточеніи производительныхъ силъ страны въ рукахъ людей, непосредственно не трудящихся, а имѣющихъ для того наемниковъ. И разъ это намъ извѣстно, разъ мы знаемъ какія послѣдствія повлекло за собой торжество буржуазіи, мы уже изгнаны изъ рая, ибо вкусили плода древа познанія добра и зла. Мы не можемъ призвать къ себѣ буржуазію не то что съ энтузіазмомъ, а даже просто, безъ угрызеній совѣсти, ибо знаемъ, что торжество ея равносильно систематическому отобранію у народа его хозяйственной самостоятельности. Отсюда всѣ эти шатанія даже такихъ людей, которые, Богъ ихъ знаетъ по какимъ побужденіямъ, не прочь сказать во всеуслышаніе: я за буржуазію! Стоять за буржуазію можно, но вдохновиться ея идеей, съ чистою совѣстью и уваженіемъ къ себѣ отдать ей на службу свое оружіе — мысль, знаніе, творчество, логику,—этого интеллигенція наша сдѣлать не можетъ. Въ этомъ отношеніи даже совершенно безразличенъ вопросъ, какой обликъ приметъ русская буржуазія: будетъ-ли она точной копіей европейской буржуазіи того или другого историческаго момента или же, напротивъ, облечется въ какой-нибудь вполнѣ самобытный костюмъ. Будетъ-ли она, напримѣръ, уважать поэзію или презирать ее, домогаться свободы или гнать ее, ходить въ охабняхъ и мурмолкахъ или въ сюртукахъ и цилиндрическихъ шляпахъ, отъ этого самая суть дѣла нисколько не измѣнится. Но вопросъ важенъ въ другомъ отношеніи.

Въ противность той дружбѣ, искренней, честной и притомъ основанной на тождествѣ интересовъ, какая существовала одно время въ Европѣ между интеллигенціей и буржуазіей, наша интеллигенція съ буржуазіей дружить не можетъ. Но можетъ-ли въ свою очередь *наша* буржуазія дружить съ интеллигенціей? Тоже нѣтъ. Интеллигенціи, по самой ея сущности, нужна свобода мысли и слова. Возможны, конечно, временныя и случайныя исключенія, въ родѣ, напримѣръ, г. Каткова, но въ цѣломъ интеллигенція не можетъ не желать свободы мыслить и высказывать свои мысли, учить и учиться,— иначе она сама на себя наложитъ руку. А между тѣмъ, буржуазіи нашей совершенно не нужны ни эти прекрасныя вещи, ни сопредѣльныя съ ними. Во времена Екатерининскаго Наказа, то-есть какъ разъ въ то время, когда въ Европѣ третье сословіе ратовало за начала свободы и просвѣщенія, наши «средняго состоянія» люди требовали себѣ права имѣть крѣпостныхъ, мотивируя это требованіе хозяйственными соображеніями. Теперь, разумѣется, ни у кого не повернется языкъ потребовать прямо возстановленія крѣпостнаго права. Но этотъ отрицательный результатъ достигнутъ, главнымъ образомъ, ростомъ идей, работой интеллигенціи, а отнюдь не рѣзкимъ измѣненіемъ хозяйственныхъ условій, при которыхъ происходитъ сосредоточеніе въ немногихъ рукахъ производительныхъ силъ страны. Статьи нашего почтеннаго сотрудника, г. В. В., обратившія на себя, какъ это у насъ часто бываетъ, гораздо больше вниманія въ читающей публикѣ, чѣмъ въ печати, подлежатъ, конечно, обсужденію. Но, разовьется-ли у насъ стройный капиталистическій порядокъ на европейскій манеръ или ничего такого не сложится, а все дѣло ограничится какою-то безформенною неустойчивостью, одно вѣрно: нашъ капитализмъ въ настоящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регламентаціи, правительственныхъ гарантіяхъ, субсидіяхъ. А не нуждаясь въ свободѣ вообще, онъ всего менѣе нуждается въ свободѣ мысли и слова. На этотъ счетъ не надо себя обманывать тѣмъ внѣшнимъ лоскомъ, который усвоила себѣ извѣстная часть нашей буржуазіи. Крупные дѣльцы, представители желѣзнодорожной, банковой, промышленной дѣятельности, будучи часто людьми образованными и состоя въ постоянномъ общеніи съ тлетворнымъ западомъ, естественно заражаются ходячими идеями вѣка. Но изъ этого возникаетъ только внутреннее противорѣчіе, и, пожалуй, значительное практическое удобство: при случаѣ, когда, напримѣръ, рѣчь зайдетъ о свободѣ крестьянъ отъ земли и, слѣдовательно, увеличеніи контингента наемниковъ, о свободѣ родителей отдавать на фабрику шестилѣтнихъ ребятъ, о свободѣ безобразныхъ договоровъ между работодателями и рабочими и т. п.—можно сослаться на идеи вѣка. Это украшаетъ стиль и снабжаетъ лишнимъ аргументомъ. Но подобныя частные случаи, въ которыхъ можно поиграть

на словѣ «свобода», суть только отдѣльные клочки, изъ которыхъ никоимъ образомъ нельзя сложить цѣльную программу.

По обстоятельствамъ, вѣроятно, всякому читателю понятнымъ, это слишкомъ щекотливая тема для подробнаго ея развитія, и я скажу еще только слѣдующее. Европейская буржуазія, въ моментъ ея полнаго единенія съ интеллигенціей, *нуждалась* въ свободѣ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова и во всѣхъ его приложеніяхъ; настанетъ, можетъ быть, такое время когда-нибудь и для оперившейся русской буржуазіи, но теперь дѣла стоятъ не такъ. Этимъ резюме я тѣмъ болѣе могу ограничиться, что центра тяжести нашей буржуазіи надо искать совсѣмъ не въ средѣ крупныхъ финансовыхъ, желѣзнодорожныхъ и промышленныхъ дѣльцовъ. Эта количественно ничтожная горсть очень, разумѣется, сильна своими связями и деньгами и играетъ чрезвычайно важную роль въ государственной жизни. Но въ высшей степени мала вѣроятность, чтобы она явилась опредѣлительницею судебъ отечества въ моментъ торжества буржуазныхъ началъ, или даже, чтобы эти начала, именно, при ея помощи окончательно восторжествовали. Такое предположеніе есть въ значительной степени дѣло перспективнаго обмана. Мы такъ не привыкли приглядываться къ жизни народа, столь отъ насъ удаленной, что склонны упускать изъ виду роль тѣхъ безчисленныхъ піявицъ, которыя непосредственно присосались къ народному тѣлу. А между тѣмъ, тутъ-то и есть ядро нашей буржуазіи. Колупаевы и Разуваевы сильны, во-первыхъ, своимъ несмѣтнымъ множествомъ; во-вторыхъ, опредѣленностью и цѣльностью своей жизненной задачи, въ которой нѣтъ никакихъ инородныхъ элементовъ въ родѣ тлетворныхъ западныхъ идей: въ-третьихъ, своею родственностью съ народною массою. Родственность эта не выходитъ за предѣлы обычаевъ, образа жизни, предразсудковъ, костюма; но изъ всего этого слагается тѣмъ не менѣе въ нашей степени выгодное положеніе, сходное съ положеніемъ домашняго вора, который знаетъ, гдѣ что лежитъ и можетъ отводить глаза, набрасывая подозрѣніе на совершенно неповинныхъ людей. Колупаевы и Разуваевы—страшная сила и, конечно, чисто буржуазная, въ самомъ точномъ и полномъ значеніи слова. Кто ищетъ буржуазіи непремѣнно въ европейскомъ костюмѣ, тотъ будетъ, пожалуй, утверждать, что Колупаевы и Разуваевы—«народъ», ибо они ходятъ по субботамъ въ баню и т. п. Но это просто безсмыслица, соблазнительная только либо для очень уже близорукихъ людей, либо для умышленно закрывающихъ глаза. Колупаевы и Разуваевы настоящая буржуазія, ибо ихъ спеціальная роль состоитъ въ лишеніи народа хозяйственной самостоятельности. А можно-ли сомнѣваться, что болѣе лютыхъ враговъ свободы мысли и слова и, слѣдовательно, интеллигенціи, нѣтъ на святой Руси и быть не можетъ?

Одинъ испанецъ, путешествуя гдѣ-то на далекомъ сѣверѣ, былъ однажды атакованъ цѣлой стаей собакъ. Онъ хотѣлъ было схватить для защиты камень, но оказалось, что камень примерзъ къ землѣ. Тогда испанецъ воскликнулъ: О, проклятая страна, гдѣ камни привязываютъ, а собакъ пускаютъ бѣгать!— «Проклятая страна», это слишкомъ сильно сказано, но несчастная страна—это вѣрно. Во всякомъ случаѣ, буржуазія и интеллигенція находятся у насъ примѣрно въ такомъ же взаимномъ отношеніи, какъ собака и камни въ той странѣ, гдѣ путешествовалъ испанецъ. Логически онѣ у насъ прирожденные враги, и въ этомъ, именно, состоитъ если не самобытность наша, то особенность нашей исторіи. Но другое теченіе нашей исторіи, не знаю ужъ самобытное или не самобытное, постоянно привязываетъ камни и пускаетъ бѣгать собакъ. А вслѣдствіе этого, интеллигенція фактически безсильна выполнить ту задачу, которая для нея обязательна логически...

Разумѣется, кромѣ внѣшнихъ причинъ, систематически обрекающихъ интеллигенціею на безсиліе, тутъ слишкомъ часто виновата добрая воля самой интеллигенціи. Правильнѣе, можетъ быть употребить въ этомъ случаѣ языкъ криминалистовъ и говорить не о доброй волѣ, а, напротивъ, о злой, преступной волѣ. Но злая воля предполагаетъ сознательность, а, я склоненъ, всетаки думать, что преступныя дѣянія нашей интеллигенціи очень часто совершаются по недоразумѣнію, недодуманности, по отсутствію простора для приложенія силъ.

Во всякомъ случаѣ, я далекъ отъ мысли объявлять нашу интеллигенцію стоящею на высотѣ своего призванія: тупость, мракобѣсіе, кляузничество, наглость, ложь, клевета, доносъ, всего этого у насъ вдоволь и все это получаетъ особенно паскудный характеръ по сравненію съ высокою ролью, которую могла бы сыграть русская интеллигенція. Когда-нибудь я подберу букетъ изъ отношеній извѣстной части интеллигенціи къ народу, охраненіе интересовъ котораго, какъ бы ввѣрено ей самой исторіей. А теперь у меня есть въ запасѣ два факта изъ совершенно другой области, къ которымъ я не умѣю даже иначе отнестись, какъ въ вопросительной формѣ.

Въ № 2068 «Новаго Времени» напечатано:

«Вчера мы, т. е. редакція «Новаго Времени», были смущены нѣсколько появленіемъ судебнаго

слѣдователя съ понятыми и съ прочимъ арсеналомъ въ нашей квартирѣ. Что такое случилось? Какое такое преступленіе совершенно въ комнатахъ, обитаемыхъ нами? Увы, преступленіе было дѣйствительно совершенно: графъ Алексѣй Жасминовъ поразилъ г. Стасюлевича перомъ. Адвокатъ раненаго, г. Спасовичъ, настоялъ на обыскѣ редакціи для того, чтобы найти, если не самаго графа Жасминова, то его гонораръ или его рукопись. Извѣстно, что г. Спасовичъ подозрѣваетъ, что г. Буренинъ, именно, то дѣйствительное лицо, которое, подъ маскою графа Жасминова, нанесло ударъ г. Стасюлевичу. Обыскъ продолжался больше часу, понятые отправляли свои обязанности съ непреклонностью древнихъ римлянъ. Перебирались рукописи, производилась раскопка во всякомъ бумажномъ хламѣ, который хранить мы обязаны, но правиламъ о печати. Разсматривалась гонорарная книга. Но ничего не было найдено. Г. Спасовичъ при этомъ не присутствовалъ, но мы чувствовали, что духъ его былъ незримо, и изъ нашихъ очей струились благодатныя слезы».

Не я, разумѣется, стану защищать «Новое Время» вообще и, въ особенности, его полемическіе пріемы, отъ которыхъ иногда приходится сторониться, какъ сторонится прохожій гдѣ-нибудь въ уѣздномъ захолустьи отъ дома нечистоплотнаго хозяина, выливающаго помои изъ окна на улицу. Но неужели всетаки разсказъ «Новаго Времени» объ обыскѣ справедливъ? Неужели эта возмутительная и оскорбительная картина, столь знакомая нашей интеллигенціи по совершенно другимъ поводамъ, неужели она хоть сколько-нибудь соотвѣтствуетъ достоинству интеллигенціи?

Другой фактъ еще пикантнѣе.

Съ 1-го декабря нынѣшняго года въ Казани издается ежедневная газета «Волжско-Камское Слово». Я не видалъ еще ни одного номера газеты, но передо мной лежатъ разнообразныя документы, относящіеся къ ея изданію.

Во-первыхъ, объявленіе. Объявленіе какъ и всякое, только немножко слишкомъ широковѣщательное: тутъ и «родная намъ Волга», и «величественная Кама», и «добро во всемъ его обаяніи», и «зло людское во всей его наготѣ». Словомъ очень хорошо и чувствительно. Есть, однако, въ объявленіи одно мѣсто, чувствительностью необъяснимое: «Было-бы совершенно излишнимъ доказывать необходимость изданія въ г. Казани ежедневной газеты; должно только удивляться, что «Волжско-Камское Слово» является первою попыткою такой газеты въ городѣ, который справедливо считается промышленно-торговымъ центромъ обширной территоріи: гдѣ почти 80 лѣтъ существуетъ университетъ, и около половины того—духовная академія; гдѣ считается пять ученыхъ обществъ и т. п. Напротивъ, весьма важно и поучительно изслѣдовать причины, которыя доселѣ препятствовали появленію въ Казани подобной газеты». Разумѣется, это будетъ очень поучительно, тѣмъ болѣе, что редакція новой казанской газеты должна быть признана въ этомъ случаѣ вполнѣ компетентною. Дѣло въ томъ, что «Волжско-Камское Слово» совсѣмъ не первая попытка въ своемъ родѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ Казани издавалась (и съ большимъ для провинціальной газеты успѣхомъ) «Камско-Волжская Газета», безвременно погибшая по, такъ называемымъ, независящимъ обстоятельствамъ. Я не помню хорошенько, была-ли «Камско-Волжская Газета» ежедневнымъ изданіемъ, но это была, во всякомъ случаѣ, большая газета, выходившая нѣсколько разъ въ недѣлю. Редакторъ-издатель новой казанской газеты, г. профессоръ Шпилевскій, какъ бывшій мѣстный цензоръ, можетъ, конечно, поразсказать много любопытнаго, какъ о прекращеніи «Камско-Волжской Газеты», такъ и вообще о причинахъ, «которыя доселѣ препятствовали» и т. д. Будемъ ждать.

Второй документъ есть циркуляръ г. Шпилевскаго. Привожу его цѣликомъ:

«Вкладчики въ капиталъ на изданіе предполагаемой газеты содѣйствуютъ осуществленію давно признаваемой въ Казани необходимости имѣть печатный органъ для выраженія промышленно-экономическихъ и другихъ общественныхъ нуждъ города Казани и цѣлаго края. Такой органъ печати долженъ служить и высокимъ цѣлямъ не только мѣстнаго, но и центральнаго правительствъ, для которыхъ необходимо, при обсужденіи и принятіи правительственныхъ и законодательныхъ мѣръ, основываться на точныхъ свѣдѣніяхъ о дѣйствительныхъ нуждахъ края и о мѣстныхъ взглядахъ на способъ удовлетворенія этихъ нуждъ. Эти необходимыя для правительства свѣдѣнія постоянно можетъ представлять мѣстная періодическая печать, если только она преслѣдуетъ, дѣйствительно, серьезныя цѣли и обладаетъ необходимыми матеріальными и духовными средствами для служенія этимъ цѣлямъ. Профессоръ Шпилевскій, становясь во главѣ газеты, которая должна преслѣдовать такія высокія цѣли, будетъ считать особенною для себя честью служить этому общественному дѣлу, онъ долженъ служить ему вѣрно и усердно, никогда не измѣняя высотѣ этого дѣла. Исполняя это общественное служеніе, профессоръ Шпилевскій постоянно будетъ находиться подъ нравственною отвѣтственностью не только передъ помогавшими осуществленію этого дѣла деньгами, но и передъ всѣмъ мѣстнымъ обществомъ; *вступать же въ какой-нибудь юридическій договоръ съ вкладчиками въ капиталъ на это общественное дѣло онъ не можетъ.* Когда достаточное количество подписчиковъ на газету представитъ обезпеченіе дальнѣйшаго изданія ея, это будетъ счастливымъ временемъ для газеты и ея представителя, за этимъ откроется и возможность *постепеннаго возвращенія вкладчикамъ ихъ взносовъ.* Но если капиталъ, составленный изъ взносовъ, будетъ необходимо израсходованъ на изданіе газеты прежде обезпеченія существованія ея впредь на свои доходы, такъ что изданіе газеты, по неимѣнію денежныхъ средствъ, должно будетъ прекра-

титься, *тогда издатель-редакторъ, профессоръ Шпилевскій, не можетъ подлежать обязанности вознаграждать вкладчиковъ за ихъ потери.* Надѣясь на возможность обезпеченія существованія газеты на ея собственныя средства не въ отдаленномъ будущемъ, а за этимъ и на постепенное возвращеніе вкладчикамъ ихъ взносовъ, профессоръ Шпилевскій считаетъ себя обязаннымъ указать и на несчастный исходъ предполагаемаго дѣла, хотя это было бы уже особеннымъ несчастіемъ, страхъ котораго, конечно, не можетъ останавливать задуманнаго дѣла. Въ предупрежденіе же возможныхъ недоразумѣній по вопросу, расходуется-ли именно на изданіе газеты основной капиталъ изъ взносовъ и доходы отъ подписчиковъ и объявленій, должны служить правильно веденныя въ конторѣ редакціи книги дохода и расхода. Впрочемъ, становящійся во главѣ предпринимаего дѣла считаетъ своею сердечною потребностью выразить, что въ такомъ нравственно высокомъ дѣлѣ, какъ веденіе газеты, которая должна служить выраженію истины и правды на общественную пользу, *немыслимы какая-нибудь ложь и недовѣріе при самомъ устройствѣ этого дѣла* или впослѣдствіи между поставленнымъ во главѣ этого дѣла и тѣми, кому было угодно довѣрять ему. Главное основаніе нравственной силы и крѣпости послѣдняго, необходимыхъ ему для веденія дѣла, должно лежать въ полномъ довѣріи къ нему пожелавшихъ помочь осуществленію этого важнаго общественнаго дѣла. Несочувствующіе и недовѣряющіе по какимъ-нибудь причинамъ предпринимаемому дѣлу, конечно, не будутъ и помогать ему, слѣдовательно, и не поставятъ являющагося во главѣ этого дѣла подъ необходимую нравственную обязанность быть особенно отвѣтственнымъ и передъ ними. Такой отвѣтственности издатель-редакторъ подлежитъ только передъ тѣми, кому это дѣло общественной пользы обязано за начало своей жизни».

Я не говорю о грамотности и чувствительности циркуляра. Не трогаю пока и другихъ имѣющихся у меня документовъ, относящихся къ зарожденію казанской газеты. Но желалъ бы слышать отъ цивилистовъ, какъ называется въ гражданскомъ правѣ тотъ видъ договора, который г. Шпилевскій предлагаетъ пайщикамъ по изданію «Волжско-Камскаго Слова». Мнѣ кажется, онъ никакъ не называется, можетъ быть, потому, что доселѣ никогда и никѣмъ не практиковался, а можетъ быть и потому, что это вовсе не договоръ, а такъ себѣ— порывъ высокихъ чувствъ и приглашеніе къ сердечной взаимности. Но въ такомъ случаѣ я желалъ бы слышать отъ господъ пайщиковъ, откликнулись-ли глубины ихъ сердецъ на призывъ г. Шпилевскаго совершенно самостоятельно или какія-нибудь постороннія силы побудили ихъ оказать г. Шпилевскому столь безграничное довѣріе...

Г. Шпилевскій! Правда-ли, что ваша газета получила кое-гдѣ въ Казани прозвище «административно-университетско-коммерческой»? а если прозвище это не доходило до сихъ поръ до вашего деликатнаго уха, то правда-ли, что для такой квалификаціи есть всѣ данныя?

Гг. враги интеллигенціи! Г. Шпилевскій есть профессоръ и писатель, словомъ, интеллигенція, но я не защищаю его...

X.

Журнальное обозрѣніе *).

Жилъ-былъ профессоръ. Каковъ онъ былъ, какъ профессоръ, Богъ его знаетъ. Съ русскими профессорами это часто бываетъ, что никто не знаетъ, свѣдущи они или не свѣдущи въ своемъ дѣлѣ, талантливы или бездарны. Ибо русскіе профессора сплошь и рядомъ не могутъ собраться не то что свою науку впередъ двинуть (этимъ пусть гнилой Западъ занимается!), а даже хоть курсъ какой-нибудь свой издать. Но личное раздраженіе и желчь вывели нашего профессора изъ неизвѣстности. Онъ прогремѣлъ на всю читающую Россію нѣсколькими брошюрами, задорными, какъ репейникъ, и грязными, какъ грязь. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ замѣченъ и призванъ...

Вы понимаете, что я г. Цитовича вспомнилъ. Но вы понимаете также, что если я тревожу печальную память этого метеора, столь быстро поднявшагося на горизонтъ и столь быстро съ него исчезнувшаго, то имѣю особые резоны. И въ самомъ дѣлѣ, судьба этого несчастнаго человѣка интересна развѣ только въ томъ отношеніи, что, будучи поставленъ въ исключительно выгодное положеніе оффиціоза, онъ долженъ былъ со срамомъ уйти съ поля затѣяннаго имъ сраженія и получить еще себѣ въ догонку озлобленную ругань отъ своего ближайшаго, надежнѣйшаго сотрудника, отъ своего alter ego г. Незлобина. Надѣлала синица шуму, а моря не зажгла и даже сама въ немъ утонула...

Оказывается, однако, что эта синица оставила по себѣ слѣдъ въ литературѣ, что она есть авторитетъ, на который можно ссылаться безъ провѣрки и сомнѣній. Въ № 11 «Русскаго Вѣстника» за прошлый годъ напечатана статья г. де-Пуле «Нигилизмъ, какъ патологическое явленіе русской жизни». Все, что въ этой статьѣ мелется, давнымъ-давно уже молото и перемолото на множествѣ мельницъ. Но вотъ что любопытно. Г. Де-Пуле задается вопросомъ: «что же такое нигилизмъ и откуда онъ взялся?» и размышляетъ: «Для рѣшенія этого вопроса необходимо прежде всего ознакомиться съ ученіемъ отцовъ нигилизма, первыхъ его основателей. Отличнымъ пособіемъ для этой цѣли могутъ служить брошюры г. Цитовича, гдѣ сущность нигили-

*) 1882 г., январь.

стическаго ученія выясняется съ достаточною полнотою». Понимать же это надо такъ, что г-ну де-Пуле лѣнь или не хочется читать произведенія самихъ «отцовъ нигилизма», а потому онъ намѣренъ довольствоваться тѣми выдержками и цитатами, которыя приведены въ брошюрахъ г. Цитовича. И дѣйствительно, г. де-Пуле набиваетъ свою статью якобы подлинными словами Добролюбова, Писарева, но ссылается не на ихъ сочиненія или журнальныя статьи, а на брошюры г. Цитовича. Г. Де-Пуле, значитъ, вполнѣ увѣренъ, что озлобленный, метеоръ цитируетъ критикуемыхъ имъ авторовъ безъ прибавокъ и убавокъ, передаетъ ихъ мысли не произвольно вырванными фразами, а съ полною точностью. Но г. Цитовичъ написалъ всетаки цѣлыхъ три брошюры на занимающую г-на де-Пуле тему. Это много! Послѣдующій «изслѣдователь» можетъ не трудиться ихъ перечитывать, а просто ссылаться на статью г-на де-Пуле, рекомендуя читателямъ, что вотъ, молъ, подлинныя слова Добролюбова и Писарева. Какая любопытная каша изъ этого выйдетъ, можете судить по слѣдующему примѣру. Писаревъ будто-бы написалъ такія слова: «Дерзость наша равняется только нашей глупости и только нашей глупостью можетъ быть объяснена и оправдана». Гдѣ это сказано у Писарева, когда, по какому случаю, въ какой связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ—ничего не извѣстно. Г. де-Пуле говоритъ: см. брошюру Цитовича «Разрушеніе эстетики», стр. 9. Не знаю, какъ обработаны приведенныя слова у г. Цитовича, но г. де-Пуле серьезно полагаетъ, что Писаревъ «проговорился» ими въ «минуту откровенности». То - есть, значитъ, Писаревъ сказалъ о самомъ себѣ, что онъ дерзкій дуракъ...

Съ такимъ убогимъ человѣкомъ разговаривать, очевидно, не приходится, ибо онъ ровно ничего не понимаетъ, а, слѣдовательно, можетъ повѣрить и тому, что курочка бычка родила, и тому, что леталъ медвѣдь по поднебесью, и тому, что у дьячка за обшлагомъ жолуди говѣли. Богъ съ нимъ! Да и вообще не стоитъ, чуть не въ сотый разъ, перебирать эти обвиненія періода нашего возрожденія въ «разрушеніи эстетики» при помощи «реализма», то-есть въ приниженіи роли искусства, и въ проповѣди безпорядочныхъ половыхъ отношеній, то-есть свободной любви. Только во избѣжаніе недоразумѣній скажу, что не думаю отрицать существованія разнаго рода увлеченій въ шестидесятыхъ годахъ. Но это были, во всякомъ случаѣ, увлеченія, нѣчто искреннее. А вотъ посмотримъ, какъ относятся къ тѣмъ же предметамъ эти хулители и критики, съ пѣной у рта защищающіе святость брачныхъ узъ и высокое значеніе чистаго эстетическаго наслажденія. Образчикъ серьезности и добросовѣстности критическихъ пріемовъ мы уже видѣли въ статьѣ г-на де-Пуле. Такая critique est aisée, конечно. Посмотримъ, насколько l'art est difficile для этихъ господъ.

Я долженъ откровенно сознаться, что не читаю беллетристическаго отдѣла «Русскаго Вѣстника». Но не читаю потому, что читалъ и, слѣдовательно, нѣкоторое понятіе имѣю. Знаю я именно, что беллетристическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника» на двухъ китахъ стоитъ. Одинъ изъ нихъ называется г. Маркевичемъ, другой—г. Авсѣенко. Но почему одинъ называется Авсѣенко, а не Маркевичемъ, а другой Маркевичемъ, а не Авсѣенко—этого я не знаю. Нахожу, однако, эти познанія совершенно достаточными, чтобы съ Божіей помощью приступить прямо къ ноябрской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», къ той самой, въ которой напечатаны критическія упражненія г-на де-Пуле.

На первомъ мѣстѣ красуется здѣсь романъ г. Маркевича «Переломъ». Романъ или «правдивая исторія», какъ называетъ его авторъ, далеко подвинулся впередъ: передъ нами уже четвертая часть. Но это не бѣда, ибо я хорошо помню, что г. Маркевичъ, во-первыхъ, всегда самъ себѣ равенъ, а во-вторыхъ, что его произведенія можно читать не только съ начала, какъ произведенія обыкновенныхъ смертныхъ, а и съ конца, и съ середины. Большое удобство, свидѣтельствующее о большихъ достоинствахъ. И дѣйствительно, достоинствъ за г. Маркевичемъ числится не мало. Прежде всего онъ—жемчужина, затѣмъ онъ, опять-таки, жемчужина. Я не знаю, какой пѣтухъ и въ какой навозной кучѣ нашелъ эту жемчужину и, признавъ ея негодность, оставилъ лежать тамъ, гдѣ нашелъ. Но что жемчужина—это вѣрно: та же высокая цѣнность, если кто захочетъ купить, тотъ же чистый цвѣтъ, бѣлый цвѣтъ невинности, а нѣжному, матовому отливу жемчуга вполнѣ соотвѣтствуетъ идеальная мечтательность и нѣжность любвеобильной души г. Маркевича. Эти высокія качества нашего романиста обнаруживаются уже при самомъ бѣгломъ взглядѣ на печатныя страницы, подписанныя его именемъ. У него такъ заведено, что каждая маленькая глава его романа непремѣнно снабжена двумя эпиграфами, непремѣнно двумя, ни больше, ни меньше, и все больше изъ Шиллера. Тутъ Herz рифмуетъ съ Schmerz, а Liebe... съ Diebe, хотѣлъ я сказать, но вспомнилъ, что Dieb значитъ воръ. Такихъ вещей нѣтъ въ творческомъ бюджетѣ г. Маркевича, у него только Herz, Schmerz, Liebe, только сердце, стра-

данie, любовь... И, поэтъ въ душѣ и на дѣлѣ, онъ повергаетъ свой Herz, свой Schmerz и свою Liebe къ подножію богини чистой красоты. Онъ именно изъ тѣхъ, что рождены не «для житейскаго волненія», а «для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ». Этотъ ужъ не займется «разрушеніемъ эстетики»! Нѣтъ, онъ своимъ примѣромъ, самыми примѣрами своего творчества покажетъ, какъ высоко можетъ и должна парить поэзія надъ бренными дѣлами бренной земли!..

Начинаю читать первую главу четвертой части «Перелома», съ надеждою насладиться перлами и адамантами неразрушенной эстетики. Начинаю и съ недоумѣніемъ пріостанавливаюсь, ибо, вмѣсто эстетическихъ перловъ, нахожу обличительную литературу: г. Маркевичъ обличаетъ генерала Павлинова и статсъ-секретаря Ягина, играющихъ, повидимому, далеко не послѣднюю роль въ правительственныхъ сферахъ. Первый обличается въ легкомысленномъ и косвенномъ, а второй—въ злостномъ и прямомъ потворствѣ либеральнымъ идеямъ и даже преступной пропагандѣ. Правда, «обличительная литература» того добраго стараго времени, когда сложился этотъ терминъ, занималась обличеніями совсѣмъ не этого спеціальнаго рода, но обличеніе есть во всякомъ случаѣ обличеніе; куда бы оно ни направлялось, во имя какихъ бы цѣлей оно ни совершалось, а «эстетика» тутъ ни причемъ.

Ну, и Богъ съ ней, съ эстетикой, скажетъ, пожалуй, читатель, любуясь на гражданское мужество г. Маркевича, пускающаго стрѣлы обличенія прямо въ правительственныя сферы, а не въ какого-то исправника *Б.* или станового *В.*, берущаго взятки съ населенія *Н—скаго* уѣзда. Такъ вѣдь большею частью пряталась обличительная литература добраго стараго времени, а теперь извольте полюбоваться: подобно орлу, который, говорятъ, можетъ безбоязненно смотрѣть на солнце, г. Маркевичъ выводитъ на свѣжую воду генераловъ и статсъ-секретарей, звѣздоносцевъ, ворочающихъ какими-то очень важными винтами и колесами государственнаго механизма. Но успокойтесь, читатель (если вы безпокоитесь), и генералъ Павлиновъ, и статсъ-секретарь Ягинъ, по всей вѣроятности, давно умерли и, можетъ быть, даже лопухъ, выросшій изъ ихъ бренныхъ остатковъ, въ настоящую минуту съ достоинствомъ чавкаетъ какое-нибудь непочтительное травоядное животное. Оно, это травоядное животное, тоже обличеніемъ занимается: оно обличаетъ гг. Павлинова и Ягина въ бренности вообще, въ бренности ихъ земнаго величія въ особенности. Эти «сановники», представители «высшей администраціи», какъ видно изъ обличеній г. Маркевича, грѣшили главнымъ образомъ тѣмъ, что искали популярности: ихъ «emporte le torrent», они «не могутъ идти противъ литературы и общества». Но если травоядное животное, скажемъ, корова разгуливаетъ нынѣ по мѣсту ихъ вѣчнаго успокоенія и чавкаетъ ростущій тамъ лопухъ, такъ, значитъ, ни родственники покойниковъ, ни «литература и общество» не оградили ихъ могилъ прочными рѣшетками и не приставили сторожей. Напрасно, значитъ, популярничали генералъ Павлиновъ и статсъ-секретарь Ягинъ, напрасно или неумѣло, въ чемъ ихъ и обличаетъ травоядное животное самымъ фактомъ своего чавканья... Грустно, читатель...

А, впрочемъ, все это гипотеза, и до травояднаго животнаго намъ нѣтъ никакого дѣла. Что же касается г. Маркевича, то онъ, во всякомъ случаѣ, обличаетъ заднимъ числомъ, ибо разсказъ его относится къ тому времени, когда издавался «Колоколъ» Герцена. Это довольно далекія отъ насъ времена, представляющія большія удобства для безбоязненнаго обличенія, а потому читатель, конечно, успокоился (если онъ безпокоился).

Пользуясь этой минутой успокоенія, я прошу читателя поразмыслить о слѣдующемъ.

Сказать, что г. Де-Пуле есть человѣкъ дюжины, значитъ, сказать неправду. Онъ человѣкъ *гросса*, какъ называется въ торговлѣ дюжина дюжинъ. Ибо навѣрное дюжину дюжинъ разъ вы слышали и читали то, что онъ соблаговолилъ повѣдать міру въ ноябрѣ 1881 года. Потрудитесь же припомнить, какую «эстетику» выставилъ весь этотъ гроссъ, столь пламенно протестующій противъ разрушенія эстетики. Гдѣ тѣ перлы вѣчнаго искусства, тѣ дары чистаго эстетическаго наслажденія, которыхъ мы вправѣ ждать отъ поэтовъ и беллетристовъ гросса? Нѣтъ ихъ, «и не жди—не будетъ»! Были гг. Вс. Крестовскій (не-псевдонимъ), Стебницкій и проч., есть гг. Маркевичъ, Авсѣенко, Незлобинъ и другіе, а эстетики нѣтъ. Если вы скажете, что эстетическое наслажденіе не всякій можетъ дать и что перечисленные господа не виноваты въ скудости своихъ поэтическихъ дарованій, то вы будете только на половину правы. Во-первыхъ, между перечисленными господами есть люди не бездарные; во-вторыхъ, дѣло тутъ не въ степени талантливости, а въ доброй или злой волѣ беллетристовъ, направляющихъ свой талантъ въ ту или другую сторону. Еслибы, напримѣръ, тотъ же г. Маркевичъ написалъ плохую, но, по замыслу, дѣйствительно поэтическую вещь—тогда другое дѣло. Но самый замыселъ «Перелома» г. Маркевича не имѣетъ

съ эстетикой ничего общаго. Да и всѣ романы этой категоріи (потрудитесь припомнить) занимаются *прежде всего* обличеніемъ, причемъ неизмѣнно обличаются либо живые «нигилисты», «реалисты» и проч., либо мертвые генералы и статсъ-секретари. Это, можетъ быть, и очень благородно, но, согласитесь, очень ужъ «реально» и вовсе не эстетично. Мнѣ кажется даже, что такой «реализмъ», обращаясь въ традиціонный пріемъ и непремѣнное правило, весьма много способствуетъ «разрушенію эстетики»...

Я подчеркнулъ слова: *прежде всего*, ибо обличеніемъ дѣятельность поэтовъ гросса не ограничивается. При тѣхъ возвышенныхъ качествахъ ума и сердца, которыя выражаются обличеніемъ живыхъ нигилистовъ и мертвыхъ генераловъ, обличеніе можетъ весьма легко переходить въ пасквиль. А это тотъ именно родъ литературы, образчикомъ котораго можетъ служить вторая глава четвертой части «Перелома» г. Маркевича. Тутъ изображены три художника—Топыгинъ, Самуровъ и Гавриленко; они бесѣдуютъ за завтракомъ у Дюссо. Нашъ братъ, писатель по профессіи, безъ труда узнаетъ съ кого эти портреты списаны благородною кистью г. Маркевича. Но одного изъ собесѣдниковъ, Самурова, навѣрное узнаютъ многіе и многіе изъ читателей, далекихъ отъ литературныхъ сплетень и личныхъ знакомствъ. Г. Маркевичъ влагаетъ Самурову въ уста почти подлинныя слова одного нашего извѣстнаго писателя, сказанныя имъ печатно. Г. Маркевичъ дѣлаетъ отъ своего собственнаго лица характеристику Самурова, повторяя въ ней все, что люди гросса за послѣднее время неоднократно говорили объ означенномъ писателѣ, котораго они когда-то очень чтили. Кажется, достаточно «реально», не правда-ли? Но, давъ такимъ образомъ каждому возможность узнать Самурова, г. Маркевичъ пускаетъ въ ходъ и свое художественное творчество: онъ «творитъ» для Самурова комическія и унизительныя положенія и посрамляетъ его побѣдоносными рѣчами нѣкоего Троекурова...

Но когда рѣчь идетъ объ людяхъ гросса, то сплошь и рядомъ не знаешь, смѣяться или негодовать. Такъ и тутъ. Въ той самой главѣ «Перелома», гдѣ отъ незаконной связи «реализма» и «творчества» рождается пасквиль, г. Маркевичъ находитъ возможнымъ иронизировать надъ «реальностью» и поучать Самурова словами Гёте насчетъ задачъ искусства! А Топыгину онъ влагаетъ въ уста такія слова: для нихъ (извѣстно для кого) «что другъ другу въ харю, что въ Сикстинскую Мадонну харкнуть — все единственно»! Ну, конечно, куда имъ, этимъ «тупицамъ мѣднолобымъ, чурбанамъ безпардоннымъ», какъ выражается «эстетикъ». Топыгинъ. Куда имъ! Вотъ г. Маркевичъ другое дѣло. У него одинъ глазъ можетъ смотрѣть на васъ, а другой въ Арзамасъ, одна рука—молитвенно и восторженно простирается къ образу Сикстинской Мадонны, а другая—писать пасквиль. Завидная, конечно, способность, но каково всетаки положеніе неразрушенной или возстановленной эстетики? Ей служатъ, во-первыхъ, обличеніемъ живыхъ нигилистовъ и мертвыхъ генераловъ, а во-вторыхъ, пасквилемъ... Бѣдная богиня чистой красоты! какія нечистыя жертвы принесъ тебѣ г. Маркевичъ, повергая къ твоему подножію свой Herz, Schmerz и свою Liebe! И ты, Мадонна, ты «дѣва родшая», такъ долго мучившая этимъ противорѣчіемъ фантазію великихъ католическихъ художниковъ, развѣ ты не осквернена молитвеннымъ преклоненіемъ пасквилянтовъ?..

Мимоходомъ сказать, замѣчали-ли вы, читатель, что если вашъ собесѣдникъ начинаетъ преувеличенно выражать почтеніе къ мадоннамъ Рафаэля, то это почти вѣрный признакъ, что онъ или вчера совершилъ или завтра собирается совершить какую-нибудь мерзость? Житейское наблюденіе, которое я вамъ предлагаю провѣрить, но которое объяснить не умѣю. Вижу только, что эти люди точно спрятаться хотятъ за Мадонну и, особенно, за Сикстинскую. А она, неповинная, смотритъ съ своихъ облаковъ все тѣми же изумленными, широко открытыми глазами. Она изумлена своимъ величіемъ, осуществленіемъ въ ней неземной тайны дѣворожденія. Но, можетъ быть, она изумляетя также дерзости тѣхъ нечистыхъ, которые за нее прячутся...

И еще мимоходомъ. Просмотрите издающееся теперь въ Дрезденѣ собраніе гравюръ и фотографій съ картинъ Рафаэля (Rafael Werk). Передъ вами пройдутъ десятки Мадоннъ, десятки пробъ художественнаго воплощенія идеи, которая служила отрадой и утѣшеніемъ для милліоновъ людей. Это все мысль и фантазія мучилась, ловя неуловимое. И вы скажете: да, l'art est difficile. А потомъ...

Потомъ, надо всетаки вернуться къ г. Маркевичу, который ловитъ только то, что поймано и либо въ клѣтку посажено, либо въ могилу закопано, да еще «творитъ» условія для пасквиля, то-есть выдумываетъ унизительныя или гнусныя положенія для тѣхъ, съ кого пишетъ самые что ни на есть «реальные» портреты.

Какъ ни какъ однако, а идя подъ руку съ г. Маркевичемъ, мы всетаки постепенно поднимаемся по лѣстницѣ художественнаго

творчества и эстетическаго наслажденія. Мы начали съ обличеній, въ которыхъ нѣтъ и намека на художество. Затѣмъ, мы поднялись на ступень пасквиля, гдѣ начинаетъ фигурировать нѣчто, исправляющее должность творчества. Мы можемъ подняться *еще* выше.

Велики нравственныя требованія г. Маркевича, почерпаемыя имъ изъ глубины его собственнаго возвышеннаго духа. Тамъ, въ надзвѣздномъ мірѣ идеаловъ, гдѣ всѣ блескъ и чистота, г. Маркевичу, разумѣется, все родственно и близко. Но на этой грѣшной землѣ, по которой ползаетъ столько гадовъ, совершающихъ столько гадостей... А впрочемъ, и на землѣ есть избранные. Таковъ, напримѣръ, Борисъ Васильевичъ Троекуровъ, главный, повидимому, герой «Перелома». Это человѣкъ, «независимый столько же по характеру своему, сколько по состоянію, котораго ни запугать поэтому, ни купить ничѣмъ нельзя. Ему свойственна «сжатость и рѣзкая опредѣлительность выраженія» въ разговорѣ. Онъ человѣкъ «характерный». Безмѣрно самолюбивый Самуровъ чувствуетъ «смущеніе каждый разъ, когда ему приходится сходиться съ этою, безспорно аристократическою, натурой, сильною и независимою». Безстыжаго болтуна Гавриленку «придавливали» «учтивая холодность» Троекурова и его «какъ бы нѣсколько брезгливая сдержанность». Эстетикъ Топыгинъ, напротивъ, питалъ къ Троекурову слабость, онъ цѣнилъ въ немъ «кровь», породу. Троекуровъ однимъ мѣткимъ вопросомъ заставлялъ Самурова умолкнуть, генералъ Павлиновъ передъ нимъ лебезитъ, статсъ-секретарь Ягинъ не лебезитъ только по своей закоренѣлости. Словомъ, все недоброе боится Троекурова или ненавидитъ его, все доброе его уважаетъ, если не любитъ, а все серединное, тряпичное смущается его крупнымъ нравственнымъ и умственнымъ ростомъ. Въ добавокъ, онъ истинный патріотъ своего отечества. Все кругомъ него—генералы, статсъ-секретари, даже жандармы и полиція, не говоря о простыхъ обывателяхъ—такъ или иначе, прямо или косвенно, потворствуютъ преступной пропагандѣ. Но онъ непоколебимъ. Онъ даже собственноручно избилъ одного «негодяя» и вмѣстѣ «пропагандиста», котораго «арестовала затѣмъ полиція и тутъ же выпустила на всѣ четыре стороны».

Таковъ герой. Между прочимъ, онъ громитъ генерала Павлинова за «открытую проповѣдь безбожія и анархіи, которую само правительство распространяетъ по Россіи за подписью своихъ цензоровъ». Говоря это прямо въ лицо Павлинову, Троекуровъ обнаруживаетъ, конечно, большое мужество. Но читатель помнитъ, что разговоръ этотъ происходитъ примѣрно лѣтъ двадцать тому назадъ и что на страницахъ «Русскаго Вѣстника» 1881 года только загробная тѣнь Троекурова громитъ тѣнь того «правительства», которое такъ ужасно расшатывало всѣ основы и краеугольные камни. Мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай! Еслибы блистательный Троекуровъ не былъ такъ склоненъ къ сжатости рѣчи, то, развивая свои обвиненія, онъ изложилъ бы то самое, что изложено въ статьѣ г. де-Пуле. И неуваженіе къ священнымъ узамъ брака, конечно, занимало бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ обвинительномъ актѣ. Между тѣмъ, мы застаемъ теченіе «Перелома» какъ разъ въ тотъ моментъ, когда идеальный защитникъ «основъ» Троекуровъ готовится бросить свою законную жену и совершить «пантомимъ любви» съ какой-то княжной Кирой. Въ этой же четвертой части «Перелома» имѣются намеки на таковыя же отношенія идеальнаго Троекурова къ «Ольгѣ Эльпидифоровнѣ Ранцевой, нынѣ княгинѣ Шастуновой». Словомъ, Троекуровъ малый не промахъ по части прелюбодѣянія или, что тоже, разрушенія священныхъ узъ брака. Къ сожалѣнію, въ той части «Перелома», которая у меня передъ глазами, нѣтъ непосредственнаго изображенія подвиговъ Троекурова въ этомъ смыслѣ, а рыться въ предыдущихъ книжкахъ «Русскаго Вѣстника» слишкомъ скучно. Но я вполнѣ увѣренъ, что Троекуровъ совершаетъ эти подвиги такъ изящно и благородно, что ими можно бы было залюбоваться, еслибы только у г. Маркевича было чѣмъ изображать изящество и благородство.

Въ самомъ дѣлѣ, философскій вопросъ: доступно-ли изящество людямъ, въ теоріи защищающимъ эстетику, а на практикѣ ее разрушающихъ при помощи пасквиля? Доступно-ли благородство людямъ, въ теоріи защищающимъ священныя узы брака, а на практикѣ разрушающимъ ихъ скадкорѣчивыми описаніями прелюбодѣянія? Немножко фальшивое положеніе, которое, однако, фатально. Припомните всѣ романы людей гросса, и вы увидите, что у ихъ авторовъ «сила вся души великая» ушла на возведеніе прелюбодѣянія въ перлъ созданія. Здѣсь, и только здѣсь, начинается ихъ творчество, но здѣсь же оно и кончается. Ихъ герой обладаетъ обыкновенно такими возвышенными достоинствами физическими, умственными, нравственными, что всѣ мужчины трепещутъ передъ нимъ отъ страха, зависти и низкой злобы, а всѣ женщины тоже трепещутъ, но отъ сладкихъ порывовъ любви. Коварныя польки, презрѣнныя телеграфистки, простыя обывательницы устремляютъ на него взоры, полные бурной страсти или меланхолической

преданности. Но герой до поры до времени либо совершенно непоколебимъ (потому что онъ больше всего любитъ отечество), либо колеблется, даже падаетъ, но не серьезно. Однако, является, наконецъ, княжна Кира, Мира, Ира, Заира, вообще нѣчто болѣе или менѣе невозможное... Тутъ въ романѣ непремѣнно стоитъ многоточіе, потому что въ этотъ моментъ священныя узы брака, связывающія героя или княгиню Киру, Миру, Заиру—разрываются. Но какъ разрываются! Такъ аппетитно, что г. де-Пуле восторженно восклицаетъ: вотъ истинные столпы отечества! вотъ настоящіе киты, на которыхъ нетолько «Русскій Вѣстникъ», а и всѣ «основы» покоятся, въ томъ числѣ и основы семьи! Оно и натурально: «можетъ-ли такой прелестный ребенокъ (какъ Троекуровъ или его творецъ) что нибудь испортить?» Ѳемистоклюсъ Маниловъ просто-таки запакостилъ новый фракъ Чичикова, да и то ничего не испортилъ.

Можно и наоборотъ: героиня, начиненная достоинствами, какъ фаршированная индѣйка; она—блѣдная, мечтательная лилія или пышная роза; она—вся женственность и das ewig Weibliche не имѣетъ лучшей представительницы на землѣ. Мужъ у нея, по несчастію, негодяй или дуракъ непроходимый или прекраснѣйшій человѣкъ, но сортомъ много пониже ея, и потому и оцѣнить ее не можетъ. Дама томится. И вотъ является князь Леонъ, Панталеонъ или прямотаки Мильонъ, собственно потому, что въ немъ милліонъ достоинствъ и ни одного изъяна. Понятное дѣло, что блѣдная лилія склоняетъ свою мечтательную головку на грудь Панталеона, а пышная роза падаетъ въ объятія неотразимаго Мильона. И обѣ пары болѣе или менѣе красиво совершаютъ многоточіе...

Нѣчто именно въ этомъ родѣ я прочиталъ въ той же ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», въ романѣ г. Авсѣенко «Злой духъ». Къ сожалѣнію (а, впрочемъ, не знаю, жалѣть ли?), это тоже только часть романа, начало котораго мнѣ неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, тутъ фигурируетъ прекрасная Полина, свѣтская дама, повидимому, давно уже пустившаяся во всѣ тяжкія и, на глазахъ мужа и при всемъ честномъ народѣ, не совсѣмъ прилично позволяющая любезничать съ собой «молодому генералу» Пахтаеву. Тутъ есть разсказъ о томъ, какъ «красавица Пашетъ Долицына, эта мраморная Діана петербургскаго свѣта», бѣжала отъ мужа съ нѣкіимъ Жедровскимъ. А этотъ Жедровскій именно и есть, если не самъ Мильонъ, то, по крайней мѣрѣ, Панталеонъ. Онъ уже бросилъ прекрасную Пашетъ ко второй части «Злого Духа» и съ величайшею быстротою готовится совершить многоточіе съ княгиней Анной Всеволодовной Ладожской, которая прекрасна, какъ ангелъ небесный, умна, какъ только можетъ представить себѣ и читателямъ г. Авсѣенко, и, вообще, обладаетъ многоразличнѣйшими достоинствами... А г. де-Пуле опять восклицаетъ: какая прочность основъ!

Вы, пожалуй, подумаете, что это бичемъ сатиры г. Авсѣенко потрясаетъ. О, Боже мой! Да вѣдь этотъ человѣкъ издревле знаменитъ тѣмъ, что все старается разбить себѣ лобъ передъ «большимъ свѣтомъ» и все никакъ не можетъ этого результата достигнуть. Наконецъ, прочтите и увидите.

Ахъ, господа, господа! Любовь дѣло житейское, любовь дѣло вольное, но лицемѣріе дѣло скверное. Или скажите ужь прямо: узы брака священны, но messieurs Леонъ, Панталеонъ, Мильонъ и mesdames Кира, Мира, Заира имѣютъ привилегію на разрушеніе оныхъ. Тогда, по крайней мѣрѣ, дѣло ясно будетъ.

И еще: любовь дѣло житейское, дѣло вольное, но не скотское дѣло. То-есть, у людей не скотское. Не знаю, впрочемъ, какъ полагаетъ объ этомъ г. Фетъ.

Читатель, пожалуй, обидится, за нашего маститаго поэта. Г. Фетъ, вѣдь это «шопотъ, робкое дыханье, трели соловья»; безглагольное стихотвореніе, безначальный конецъ, безконечное начало, словомъ, нѣчто архипоэтическое, а слѣдовательно, и любовь онъ можетъ понимать только въ самомъ возвышенномъ смыслѣ. Ну, какъ тамъ у поэтовъ полагается: «фіалъ любви готовъ... и небеса небесъ разверзлись». Что-нибудь въ этомъ родѣ. Какія же тутъ могутъ быть сомнѣнія?

То-то вотъ не знаю. Все въ той же ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатанъ разсказъ г. Фета «Кактусъ». Въ разсказѣ дѣйствительно расцвѣтаетъ и увядаетъ прелестнѣйшій кактусъ, но еслибы разсказъ назывался «Чортъ знаетъ что, или сапоги въ смятку», то это было бы можетъ быть болѣе подходящее заглавіе. А, впрочемъ, судите сами.

Дѣло было въ іюлѣ мѣсяцѣ, на дачѣ или въ деревнѣ у г. Фета. Онъ, г. Фетъ, еще съ утра замѣтилъ, что единственный бутонъ стоявшаго въ билліардной бѣлаго кактуса, цвѣтущаго только разъ въ годъ, готовится къ расцвѣту. Расчитавъ, что кактусъ распустится къ 6 часамъ, г. Фетъ предложилъ перенести его къ обѣду въ столовую, чтобы, значитъ, конвивы кушали, а кактусъ тѣмъ временемъ на ихъ глазахъ расцвѣталъ. И дѣйствительно, къ самому концу обѣда кактусъ началъ распускаться. Конвивы обступили цвѣтокъ. Конвивы состояли, кромѣ самого г. Фета и его домашнихъ, изъ «моло-

дого пріятеля Иванова, страстнаго любителя цвѣтовъ и растеній» и «очень молодой гостьи», повидимому, нѣсколько нигилистическаго пошиба: не то, чтобы что, а всетаки тронута. Молодой гостьѣ надоѣло ждать окончательнаго расцвѣта кактуса, и она ушла въ другую комнату, «побренчать на фортепіано». Скоро изъ той комнаты послышались «цыганскія мелодіи, которыхъ власть надо мной всесильна», прибавляетъ г. Фетъ. Можете себѣ представить положеніе маститаго поэта: съ одной стороны кактусъ распускается, а съ другой—цыганскія мелодіи слышатся—на лицо всѣ условія для нѣкотораго философско-поэтическаго паренія въ направленіи сапогъ въ смятку. И дѣйствительно, г. Фетъ предался слѣдующимъ размышленіямъ:

«Боже! думалось мнѣ, какая томительная жажда беззавѣтной преданности, безпредѣльной ласки слышится въ этихъ тоскующихъ напѣвахъ. Тоска, вообще чувство мучительное; почему же, именно, эта тоска дышетъ такимъ счастіемъ? Эти звуки не приносятъ ни представленій, ни понятій; на ихъ трепетныхъ крыльяхъ несутся живыя идеи. И что, по правдѣ, даютъ намъ наши представленія и понятія? Одну враждебную погоню за неуловимой истиной. Развѣ самое твердое астрономическое понятіе о неизмѣнности луннаго діаметра можетъ заставить меня не видать, что луна разрослась на востокѣ? Развѣ философія, убѣждая меня, что міръ только зло или только добро или ни то, ни другое, властна заставить меня не содрагаться отъ прикосновенія безвреднаго, но гадкаго насѣкомаго или пресмыкающагося, или не слыхать этихъ зовущихъ звуковъ и этого нѣжнаго аромата? Кто жаждетъ истины, ищи ее у художниковъ. Поэтъ говоритъ:

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

«Другой высказываетъ тоже словами:

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.

«Этому, по крайней мѣрѣ, вѣрили въ сороковыхъ годахъ. Эти вѣрованія были общимъ достояніемъ. Поэтъ тогда не могъ говорить другого, и цыгане не могли идти путемъ, на который сошли теперь. И они вѣрили въ красоту и потому ее и знали».

Благоговѣя богомольно передъ святыней ерунды, я только предъявляю эту тираду на усмотрѣніе читателя, дабы и онъ тоже остановился въ нѣмомъ изумленіи передъ обнаруживающейся въ ней силою мысли и высотою поэтическаго паренія. Постоявши, подумавши, полюбовавшись, пойдемъ дальше.

Кактусъ расцвѣтаетъ окончательно. Всѣ любуются прелестнымъ цвѣткомъ, причемъ страстный любитель цвѣтовъ и растеній Ивановъ выражаетъ мысль, что цвѣтокъ этотъ есть «храмъ любви». А что же такое любовь?—спрашиваетъ скептическая молодая гостья. Ивановъ отвѣчаетъ: «Понимаю. Я видѣлъ на вашемъ столикѣ философскія книжки или, по крайней мѣрѣ, желающія быть такими. И вотъ вы меня экзаменуете. Не стѣсняясь никакими въ мірѣ книжками, скажу вамъ: любовь—это самый непроизвольный, а потому самый искренній и обширный діапазонъ жизненныхъ силъ индивидуума, начиная отъ васъ и до этого прелестнаго кактуса, который теперь въ этомъ діапазонѣ». Дѣвушка, натурально, ничего не понимаетъ въ этомъ отвѣтѣ Иванова, да вѣдь и вы, читатель, не понимаете, и я, грѣшный, признаюсь, тоже не понимаю, и г. Ивановъ, я думаю, тоже не понимаетъ. Между прочимъ, дѣвушка возражаетъ, что Ивановъ хочетъ объяснить что такое любовь и приводитъ музыкальный терминъ, не имѣющій ничего общаго съ объясняемымъ предметомъ. Тутъ уже г. Фетъ «не выдержалъ». Онъ вмѣшался въ разговоръ, съ цѣлью доказать дѣвушкѣ, что она «напрасно проводитъ такую рѣзкую черту между чувствомъ любви и чувствомъ эстетическимъ, хоть бы музыкальнымъ». Положимъ, что дѣвушка ничего такого не говорила, а только протестовала противъ нелѣпаго объясненія. Но пусть будетъ такъ, какъ хочетъ г. Фетъ. А онъ хочетъ разсказать анекдотъ, и кактусъ, и вся святыня ерунды—все это только приступъ, присказка. Нужна, однако, еще одна присказка, и тогда мы подойдемъ, наконецъ, къ анекдоту вплотную.

Г. Фетъ былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ съ покойнымъ Аполлономъ Григорьевымъ, а Григорьевъ былъ, между прочимъ, замѣчательнымъ «цыганистомъ», то-есть любилъ и пѣлъ цыганскія пѣсни. Любимою его пѣснею была «венгерка», перемежающаяся припѣвомъ:

Чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки,
Съ голубыми ты глазами моя душечка!

«*Понятно*, замѣчаетъ г. Фетъ:—почему эта пѣсня пришлась ему по душѣ, въ которой набѣгавшее скептическое вѣяніе не могло загасить пламенной любви красоты и правды. Въ этой венгеркѣ, сквозь комически-плясовую форму, прорывался тоскливый разгулъ погибшаго счастья. Особенно оттѣнялъ онъ куплетъ:

Подъ горой-то ольха,
На горѣ-то вишня;
Любилъ баринъ цыганочку—
Она замужъ вышла».

Ну, разумѣется, «Чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки», это въ самомъ дѣлѣ еще не очень ясно. Но когда «подъ горой ольха, а на горѣ вишня», тогда все уясняется, все *понятно*. Такъ вотъ, однажды, Аполлонъ Григорьевъ затащилъ г. Фета послушать, какъ поетъ одна цыганка, Стеша, не на эстрадѣ, а дома, въ своей обыденной житейской обстановкѣ. Обстановка же эта заключала въ себѣ нѣчто поэтическое. Стеша была влюблена въ гусара, и безнадежно, потому что цыгане, какъ водится, требовали выкупа, а гусаръ не хотѣлъ или не могъ его представить. Стеша, натурально, грустила, печаловалась, и печаль эта отражалась въ ея пѣніи. Такъ разсказывалъ г. Фету Аполлонъ Григорьевъ, такъ все и на дѣлѣ было, въ чемъ г. Фетъ самолично убѣдился. Стеша, дѣйствительно, мастерски спѣла двѣ пѣсни, имѣвшія нѣкоторое отношеніе къ ея положенію, и кончила тѣмъ, что расплакалась и убѣжала изъ комнаты. Разсказавъ этотъ случай, г. Фетъ, разумѣется, въ лоскъ положилъ ту дѣвицу, которая находила, что ерунда есть ерунда, а не опредѣленіе. Онъ обратился къ ней съ побѣдоноснымъ вопросомъ: «Что же вы на это скажете, скептическая дѣвица? Развѣ эта Стеша не любила? Развѣ она могла бы такъ пѣть, не любя? Стало быть любовь и музыка не такъ далеки другъ отъ друга, какъ вамъ угодно было утверждать». Смущенная столь побѣдоносной аргументаціей, скептическая дѣвица отвѣчаетъ: «Да, конечно, въ извѣстныхъ случаяхъ».

Но что же съ кактусомъ, въ честь котораго весь разсказъ получилъ свое названіе? Что съ нимъ и причемъ онъ тутъ? Что съ нимъ, это узнать не трудно: завялъ; разсказъ оканчивается слѣдующими, должно быть, глубоко значительными словами: «Когда утромъ мы собрались къ кофею, на краю стола лежалъ бездушный трупъ вчерашняго красавца кактуса». Но *причемъ* кактусъ во всей этой исторіи—уразумѣть не такъ-то легко. Кактусъ былъ прекрасенъ, но на гитарѣ онъ не игралъ, равнымъ образомъ не пѣлъ «чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки». Аполлонъ Григорьевъ пѣлъ «чибирякъ», но не былъ кактусомъ. Стеша любила гусара, но въ печальномъ эпизодѣ ея любви кактусъ не игралъ никакой роли. Вообще, исторія темна, баснословна и, если говорить прямо, такъ смыслу въ ней никакого. Но г. Фетъ, очевидно, хотѣлъ что-то сказать своимъ разсказомъ, кого-то въ чемъ-то убѣдить. Можно догадываться, что предпріятіе состоитъ все въ той же защитѣ эстетики и высокихъ и чистыхъ отношеній любви. Въ сокровищницу снарядовъ, коими «Русскій Вѣстникъ» защищаетъ эти твердыни, г. Фетъ пожелалъ вложить свою лепту. И это настоящая лепта вдовицы: немного, но отъ чистаго сердца. Однако, именно потому, что лепта такъ незначительна, скептическая дѣвица имѣла бы полную возможность обратиться къ г. Фету съ слѣдующею отповѣдью:

Милостивый государь и высокоторжественный поэтъ! Простите откровенность бѣднаго человѣка, но вы—плохой защитникъ и едвали еще не худшій обвинитель. Можетъ быть, впрочемъ, это зависитъ не отъ природной неспособности, а единственно отъ того, что вы незнакомы ни съ тѣмъ, что защищаете, ни съ тѣмъ что обвиняете. Я вовсе не отрицаю, что прекрасное прекрасно и даже понимаю это дѣло, кажется, лучше васъ. Ибо, еслибы мнѣ пришлось защищать прекрасное, то я выбрала бы что нибудь получше, чѣмъ «чибирякъ, чибирякъ, чибиряшечки». Что же касается тѣсной связи любви и музыки, то объ этомъ весьма обстоятельно разсказывается въ тѣхъ «философскихъ книжкахъ или желающихъ быть такими», которыя такъ презираетъ господинъ Ивановъ...

Ну, однако, Богъ съ нимъ, съ г. Фетомъ и съ его скептической дѣвицей! Читатель и безъ того, я думаю, удивляется, что я столь долго вожусь съ такой дребеденью. Но дѣло въ томъ, что «Кактусъ» есть въ ноябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» единственное законченное произведеніе беллетристики, и мнѣ хотѣлось поэтому на немъ, именно, показать, что эти люди защищаютъ и противъ чего ополчаются. Долженъ, однако, сознаться, что г. Фетъ для этого не годится. Во-первыхъ, возиться съ нимъ скучно, несмотря на увеселительный характеръ «Кактуса», а, во-вторыхъ, слишкомъ ужъ онъ наивенъ. Онъ, очевидно, не подозрѣваетъ, что Америка уже открыта, и съ самымъ серьезнымъ видомъ предлагаетъ посмотрѣть и послушать, какъ онъ ее сейчасъ откроетъ. Но любопытно, всетаки, видѣть, что высшій моментъ эстетики составляютъ какіе-то «чибиряки» и что цвѣтокъ кактуса есть «храмъ любви». Америка состоитъ прежде всего въ томъ, что музыка и любовь другъ къ другу близки. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, «философскія книжки» (Дарвинъ, Уоллэсъ) очень усердно и обстоятельно развивали эту тему, въ особенности въ примѣненіи къ пѣнію птицъ. Но дѣло-то въ томъ, что если синица или чижъ въ моментъ любви чирикаютъ и чивикаютъ, то люди въ этомъ отношеніи достаточно выросли, чтобы перестать чибирякать: они умѣютъ вкладывать въ свои пѣсни больше смысла и содержанія. Другая Америка силится обнять однимъ опредѣленіемъ цвѣтущій кактусъ и любящую женщину. Очень тоже старинная Америка, но, опять-таки, цвѣтокъ кактуса есть вовсе не

«храмъ любви», а просто половой органъ; храмъ же любви создается только человѣкомъ, который вноситъ въ свою любовь спеціально человѣческія черты. Вотъ насчетъ этого-то пункта я и нахожусь въ сомнѣніи, то-есть не знаю, какія черты вносятъ въ свою любовь гг. Фетъ и присные его...

Я и не замѣтилъ, какъ у меня вышло на этотъ разъ настоящее «журнальное обозрѣніе»: мы, собственно говоря, проштудировали всю ноябрьскую книжку «Русскаго Вѣстника». Есть еще тамъ, правда, статья г. Гурьева «Исторіографъ Миллеръ въ Томскѣ», статья г. Пуцилло «Къ вопросу, кто былъ Ермакъ Тимоѳѣевичъ, покоритель Сибири» и др. Но кто же эти прекрасныя статьи читаетъ? Онѣ неприкосновенны, какъ жена Цезаря. Все же прикосновенное нами исчерпано. И вышло, кажется, довольно поучительно. Развѣ не поучителенъ, въ самомъ дѣлѣ, этотъ «діапазонъ» эстетики отъ пасквиля до чибиряка и отъ апоѳеоза прелюбодѣянія до цвѣтущаго кактуса? Наивность-ли почти младенческая опредѣляетъ образъ мыслей и дѣйствій этихъ людей, или, напротивъ, лицемѣріе самое высокопробное, или и то и другое вмѣстѣ (это бываетъ), но вы видите, что они, рекомендующіе себя друзьями прекраснаго и высокаго, суть ихъ злѣйшіе враги. Еслибы я осмѣлился прибѣгнуть къ изящному стилю Топыгина, я сказалъ бы, что они «харкаютъ въ харю» своему собственному идеалу. Именно, собственному, или, по крайней мѣрѣ, тому, который они оффиціально предъявляютъ. Кто чибирякомъ «харкнетъ», кто пасквилемъ, кто апоѳеозомъ грубаго прелюбодѣянія «харкнетъ» и спрячется за Сикстинскую Мадонну, да оттуда и кричитъ во всю глотку: караулъ! держи! лови! прекрасное гибнетъ, высокое унижается, эстетика разрушается, священныя узы колеблятся! Это одна изъ любопытнѣйшихъ чертъ нашего современнаго житья-бытья, и читатель, надѣюсь, не посѣтуетъ на меня, если я возвращусь къ ней еще и еще разъ и постараюсь прослѣдить ее въ различныхъ ея формахъ и приложеніяхъ.

P. S. Александръ Македонскій умеръ, но Леонидъ Полонскій живъ и разрубаетъ узлы. Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ интеллигенціи и буржуазіи, которымъ я занималъ вниманіе читателя въ декабрьской книжкѣ прошлаго года, упраздненъ двумя декретами, напечатанными въ номерахъ 151 и 152 газеты «Страна». Почтенная газета признаетъ вопросъ этотъ «праздникомъ и не заслуживающимъ подробнаго разсмотрѣнія». Такъ было сказано въ первомъ декретѣ. А когда «Новое Время», находя доводы почтенной газеты не убѣдительными (да и какіе же могутъ быть доводы и убѣдительность въ декретѣ?), замѣтило, что «вопросъ остается открытымъ», то «Страна» издала второй декретъ: «Вопросъ вовсе не остается открытымъ, но долженъ считаться заключеннымъ». Никакъ не могу согласиться, что вопросъ праздный и не заслуживаетъ подробнаго разсмотрѣнія, однако, готовъ признать его «заключеннымъ». Но, конечно, въ томъ, именно, смыслѣ, въ какомъ я предлагалъ его разрѣшить, а именно: русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и тоже и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова — и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія — и народъ будетъ навѣрное съѣденъ...

XI.

Торжество г. Ціона, чреда образованности и проч. *).

Мнѣ попалась недавно французская брошюра съ пышнымъ заглавіемъ «La guerre à Dieu et la morale laïque. Réponse à M. Paul Bert par E. de-Cyon, directeur du «Gaulois». P. 1881. Пышно заглавіе, еще пышнѣе имя автора, въ превосходной степени пышно содержаніе брошюры.

«Война съ Богомъ и свѣтская мораль. Отвѣтъ Е. де-Сіона Полю Беру»... Какой важный человѣкъ долженъ быть этотъ г. де-Сіонъ! Оно и по фамиліи видно: *де* — это что-то дворянское, а *Сіонъ*—что-то іерусалимское, хотя, впрочемъ, по-французски слѣдовало бы писать въ такомъ случаѣ не Cyon, а Sion. По-русски же можно, кажется, просто сказать «Сіонскій», ибо duc d'Orléans, напримѣръ, будетъ по-русски герцогъ Орлеанскій...

Нѣтъ, читатель, по-русски надо просто сказать «Ціонъ», какъ видно изъ титула directeur du «Gaulois», а въ качествѣ директора этой газеты г. Ціонъ получилъ недавно большую извѣстность, благодаря маленькой непріятности, причиненной ему г. Верещагинымъ, объ чемъ писалось въ газетахъ. Но и помимо этого титула, уже изъ первыхъ строкъ предисловія вы убѣждаетесь, что передъ вами ломается, именно, г. Ціонъ, *нашъ*, знаменитый г. Ціонъ, тотъ самый, самовосхваленіе котораго достигаетъ гипер-

*) 1882 г., февраль.

болической высоты. Дѣло въ томъ, что Поль Беръ, незадолго до своего назначенія министромъ народнаго просвѣщенія французской республики, сказалъ публичную рѣчь о религіозномъ образованіи въ школахъ духовныхъ обществъ. Г. Ціону эта рѣчь показалась несостоятельною и онъ напечаталъ въ Gaulois «отвѣтъ» на нее (собственно говоря, не отвѣтъ, а возраженіе, ибо Поль Беръ вовсе къ г. Ціону не обращался). Затѣмъ, г. Ціонъ издалъ свой отвѣтъ отдѣльной брошюрой, «побуждаемый пламенными поздравленіями, обращенными къ нему со всѣхъ концовъ политическаго горизонта и уступая настоятельнымъ требованіямъ читателей». Дабы читатель не подумалъ, что я клевещу на г. Ціона, я приведу эту фразу въ подлинникѣ: encouragé par des félicitations chaleureuses, venues des tous les coins de l'horizon politique, et cédant aux pressantes invitations de mes lecteurs... Все письмо г. Ціона проникнуто этимъ тономъ увѣренности, что «со всѣхъ концовъ политическаго горизонта» на него, г. Ціона, устремлены взоры, полные вѣры, надежды, любви. И какъ только онъ напечаталъ въ Gaulois свое письмо къ Полю Беру, такъ «въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете себѣ представить, тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ! Каково положеніе?—Г. де-Сіонъ! пожалуйте, говорятъ, управлять министерствомъ!» Управлять министерствомъ позвали, однако, по ошибкѣ, Поля Бера, а г. Ціонъ остался при курьерахъ. Тѣмъ хуже для Франціи, разумѣется, и для всего политическаго горизонта...

Съ тѣхъ поръ, и Поль Беръ провалился вмѣстѣ съ Гамбеттой. И Богъ съ ними! Намъ до нихъ дѣла нѣтъ, равно какъ и до содержанія письма г. Ціона. Да еслибы мы и очень безпокоились насчетъ опасностей, угрожающихъ религіи во Франціи, то вѣдь на стражѣ ея стоитъ тамъ г. Ціонъ, привѣтствуемый и даже «пламенно» привѣтствуемый политическимъ горизонтомъ. Этимъ все сказано, и «чего-жъ тебѣ больше желать?»

Такой стражъ не выдастъ. Чуть что, онъ опять затрубитъ тревогу, и опять къ нему поскачутъ курьеры, и опять позовутъ управлять министерствомъ Поля Бера, а онъ останется при курьерахъ. Это такъ ясно, просто и неизбѣжно, что и говорить ничего не остается. Но въ брошюрѣ г. Ціона есть одинъ эпизодъ, имѣющій непосредственное отношеніе къ нашему отечеству, и его-то я хочу рекомендовать вниманію читателя. Г. Ціонъ вспоминаетъ, какъ онъ, въ качествѣ профессора медико-хирургической академіи, читалъ въ 1873 году актовую рѣчь въ академіи. Кое-кто изъ читателей, можетъ быть, тоже помнитъ какъ эту рѣчь, такъ и всѣ обстоятельства, сопровождавшія выходъ въ отставку г. Сѣченова и избраніе г. Ціона въ его преемники по каѳедрѣ физіологіи въ медико-хирургической академіи. Во всякомъ случаѣ, вотъ разсказъ г. Ціона.

Бейте литавры и барабаны, трубите трубы!—г. Ціонъ входитъ на каѳедру!

Его рѣчь озаглавлена «Сердце и мозгъ». «Предметъ моей рѣчи,—разсказываетъ г. Ціонъ,—такъ напугалъ высшее духовенство, что оно, противно обычаю, не присутствовало на торжествѣ. За то въ залѣ было много молодежи, отравленной преподаваніемъ моего предшественника, верховнаго жреца нигилизма, того самаго, который ухитрялся показывать душу подъ микроскопомъ и сообщать кроликамъ человѣческій разумъ, угощая ихъ фосфоромъ. Эти слушатели ожидали, безъ сомнѣнія, что я впаду въ тонъ ихъ бывшаго профессора и воспользуюсь своей темой, чтобы польстить грубому матеріализму, слишкомъ поощряемому квази-научною литературой. Ихъ заблужденіе разсѣялось скоро. Пока я говорилъ о чистой наукѣ, они слушали съ очень сочувственнымъ вниманіемъ. Только нѣкоторые мои намеки на услуги, оказанныя физіологіей музыкѣ, поэзіи, живописи, вызвали неодобрительный ропотъ. Но подъ конецъ рѣчи, когда я, въ согласіи съ авторитетами нашей науки, сказалъ, что человѣческій разумъ имѣетъ свои предѣлы, за которыми все и всегда останется неизвѣстнымъ, разразилась настоящая буря. Она еще усилилась, когда я произнесъ слѣдующія слова: «уразумѣніе механики интеллектуальныхъ функцій—вотъ предѣлъ нашихъ познаній о душѣ, за который никогда не преступятъ ни естественныя и никакія другія науки». Говоря это, я смотрѣлъ въ ту сторону, откуда раздавались протесты, и читалъ на лицахъ протестантовъ гнѣвъ и удивленіе... Я сошелъ съ каѳедры полный мрачныхъ предчувствій насчетъ будущности, которую готовило своей родинѣ столь извращенное поколѣніе. Многіе подходили ко мнѣ съ поздравленіями, въ томъ числѣ и военный министръ, графъ Милютинъ, одинъ изъ вождей либеральной русской партіи. Матеріалистическое направленіе средняго образованія въ Россіи есть по преимуществу его рукъ дѣло. Онъ тогда игралъ роль заядлаго защитника школьной молодежи и простиралъ свою снисходительность до извиненія самыхъ неизвинимыхъ поступковъ.—«Господинъ-министръ,—сказалъ я ему, поблагодаривъ за привѣтствіе,—замѣтили-ли вы, какое впечатлѣніе на молодежь произвели нѣкоторыя мѣста моей рѣчи? Что до меня касается, то я глубоко

огорченъ. Я не пророкъ, но предсказываю вамъ, что, если вы не остановите какъ можно скорѣе деморализацію этой молодежи, круто измѣнивъ систему образованія, то черезъ пятнадцать, двадцать лѣтъ, Россія будетъ въ состояніи полнаго соціальнаго разложенія». — Министръ недовѣрчиво улыбнулся:—«Вы преувеличиваете, потому что не имѣете довѣрія къ морализующей силѣ естественныхъ наукъ»,—отвѣчалъ онъ.—«О, да! довѣрія никакого»,—возразилъ я.—Я не ошибался. Хотите знать, что вышло потомъ изъ этихъ юныхъ нигилистовъ, протестовавшихъ тогда противъ моихъ доктринъ? Ихъ было около сотни и изъ этого числа, по-крайней мѣрѣ, семьдесятъ пять повѣшены или сосланы въ Сибирь».

Трубите трубы, бейте литавры и барабаны!—г. Ціонъ сошелъ съ каѳедры...

Каково бы ни было, однако, состояніе политическаго горизонта въ эту торжественную минуту, а очевидно, что г. Ціонъ во многомъ заблуждается. Заблуждается онъ, напримѣръ, въ томъ, что называлъ графа Милютина «господиномъ министромъ»; въ дѣйствительности, разговоръ начался, конечно, словами «ваше высокопревосходительство». Г. Ціонъ, бесѣдующій въ республиканской Франціи за панибрата съ фютюръ-министромъ Полемъ Беромъ, забылъ, должно быть, какъ принято и должно обращаться къ министру у насъ. Во всякомъ случаѣ, г. Ціонъ заблуждается: онъ сказалъ не «господинъ министръ», а «ваше высокопревосходительство». Конечно, заблужденіе это, на первый взглядъ, совершенно пустяковое, въ особенности, если предположить (а это не невѣроятно), что и разговора-то такого вовсе не было. Однако, и не совсѣмъ все-таки пустяковое:

Всю эту исторію своей актовой рѣчи г. Ціонъ къ тому разсказываетъ, чтобы предупредить Францію насчетъ опастностей той pente fatale, на которую Поль Беръ увлекаетъ ее своими радикальными затѣями въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія: дескать, затѣи эти уже испробованы въ Россіи и вотъ къ чему онѣ привели. Между тѣмъ, Франція есть страна, въ которой г. Ціонъ называетъ завтрашняго министра (г. Ціонъ прямо говоритъ это)—mon cher confrére. Россія же есть страна, въ которой г. Ціонъ называетъ министра «ваше высокопревосходительство». Если достаточно свѣдующій палеонтологъ можетъ по одному зубу реставрировать весь образъ ископаемаго животнаго, которому этотъ зубъ принадлежалъ, то всякій простой смертный легко нарисуетъ въ общихъ чертахъ всю разницу государственнаго строя двухъ странъ, изъ которыхъ въ одной человѣкъ науки говоритъ министру «ваше высокопревосходительство», а въ другой—mon cher confrére. Конечно, мы и безъ того знаемъ, что Франція и Россія не одно и то же, но заблужденіе г. Ціона хорошо подчеркиваетъ эту разницу. А отсюда слѣдующій вопросительный выводъ: неужели же, въ самомъ дѣлѣ, всѣ радикальныя затѣи французскаго министра народнаго просвѣщенія были осуществлены у насъ десять лѣтъ тому назадъ и уже успѣли принести свои плоды? Нечего и говорить, что Поль Беръ оставилъ письмо г. Ціона безъ отвѣта, но г. Ціонъ, будучи чрезвычайно великолѣпенъ, объясняетъ это своею непобѣдимостью: дескать, нечего было возразить. Ну, не совсѣмъ, кажется, такъ. Я думаю, что Поль Беръ могъ бы возразить многое, и, между прочимъ, сказать такъ: mon cher confrére, я вамъ очень благодаренъ за то, что, озабочиваясь судьбами моей родины, вы даете мнѣ совѣты и указанія; но успокойтесь: я вовсе не требую для Франціи тѣхъ порядковъ школьнаго образованія, какіе господствовали въ Россіи въ вашу бытность тамъ, то-есть при министерствѣ графа Толстого, о коемъ много наслышанъ: совсѣмъ даже напротивъ, и поскольку несчастія Россіи зависѣли отъ господствовавшей тамъ системы образованія, Франція будетъ моею системою гарантирована.

Мнѣ кажется, что говоря это, Поль Беръ былъ бы правъ, а г. Ціонъ заблуждается.

Заблужденіямъ г. Ціона, впрочемъ, можно сказать, нѣтъ конца. Пышный, какъ строители вавилонской башни, онъ терпитъ, примѣрно, одинаковое съ ними возмездіе: у тѣхъ Господь Богъ смѣшалъ языки, а у г. Ціона языкъ какъ-то самъ собой зарапортовался. Обратите вниманіе на порядокъ, въ которомъ изложено волненіе слушателей актовой рѣчи г. Ціона. Сначала его слушаютъ «съ сочувственнымъ вниманіемъ»; потомъ раздается «неодобрительный ропотъ»; потомъ «разразилась настоящая буря»; потомъ буря «еще усилилась». Когда въ русскихъ торжественныхъ и иныхъ публичныхъ собраніяхъ буря разражается до такихъ усиленныхъ размѣровъ, то происходитъ сами знаете что: залъ тѣмъ или другимъ способомъ очищается отъ публики и наступаетъ такая всеподавляющая тишина, какъ будто никогда никакихъ бурь на свѣтѣ не было. Ничего такого на академическомъ актѣ 1873 года не случилось. Правда, лѣтопись русскихъ скандаловъ велика и обильна и запутаться въ ней не трудно. Но объ актовой рѣчи г. Ціона въ свое время такъ много говорили, такъ много смѣялись надъ ней, что какъ бы, кажется, намъ не запомнить этого эпизода. Объ этомъ и г. Ціонъ умалчиваетъ. Спрашивается, какъ же это такъ: идетъ усиленная буря, а попечитель-

ное начальство не принимаетъ никакихъ мѣръ для водворенія тишины? Въ новомъ отечествѣ г. Ціона, во Франціи, это дѣло самое заурядное, ибо начальство тамъ непопечительное и подчасъ даже просто изъ cher confrére'овъ состоитъ. Ну, а у насъ этого, воля ваша, быть не можетъ. И вся исторія объясняется очень просто: никакой бури не было, ее г. Ціонъ сочинилъ для красоты слога и для вящшаго устрашенія политическаго горизонта. Но надо же свести концы съ концами. И вотъ г. Ціонъ начинаетъ сбавлять краски: вмѣсто усиленной бури оказывается сначала «гнѣвъ и удивленіе» на лицахъ слушателей, а потомъ г. Ціонъ подходитъ къ министру и говоритъ: «ваше высокопревосходительство, *замѣтили-ли* вы, какое впечатлѣніе произвели нѣкоторыя мѣста моей рѣчи?» Стало быть, усиленная-то буря была такова, что министръ могъ ея даже не замѣтить...

Но самое интересное заблужденіе г. Ціона состоитъ въ увѣренности, будто юношество *могло* враждебно взволноваться тѣми мѣстами его рѣчи, о которыхъ онъ говоритъ или какъ онъ ихъ передаетъ. «Верховный жрецъ нигилизма» или, говоря не столь ядовито высокимъ стилемъ, г. Сѣченовъ никогда, разумѣется, не брался показывать «душу подъ микроскопомъ», а вотъ г. Ціону точно случалось болтать нѣчто въ этомъ родѣ, и какъ разъ, именно, въ той самой актовой рѣчи «Сердце и мозгъ», которою онъ доселѣ не можетъ нахвалиться. Есть такой инструментъ, который записываетъ силу и скорость сокращеній сердца. Называется онъ кардіографъ. Такъ вотъ объ этомъ самомъ кардіографѣ г. Ціонъ излагалъ въ своей рѣчи, будто онъ (кардіографъ) спасетъ человѣчество отъ всяческой лжи, лицемѣрія и подлости, ибо, разсматривая кривыя, начерченныя кардіографомъ на бумагѣ, можно будетъ читать человѣческое сердце, какъ книгу. Г. Ціонъ не безъ игривости развилъ картину нѣкоторыхъ примѣненій кардіографа въ этомъ направленіи, и я помню, что тогда много смѣялась надъ его глубокомысліемъ. Весьма вѣроятно, что это мѣсто рѣчи вызвало удивленіе на лицахъ слушателей. Удивленіе, но отнюдь, я думаю, не гнѣвъ, потому что юношество благодушно, и за подобный безразличный вздоръ не гнѣвается. Замѣтьте, однако, что этотъ вздоръ, будучи вздоромъ абсолютнымъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ въ частности, вздоръ грубо матеріалистическій, чуть не буквально «душа подъ микроскопомъ» и, во всякомъ случаѣ, душа на кончикѣ пера кардіографа. Слѣдовательно, еслибы слушатели г. Ціона были въ самомъ дѣлѣ предварительно отравлены верховнымъ жрецомъ нигилизма и квази-научною литературою въ направленіи грубаго матеріализма, то они оглушили бы г. Ціона аплодисментами за его вздоръ. Ничего подобнаго, однако, не было, а былъ, напротивъ, даже «неодобрительный ропотъ». Не помню другихъ экскурсій г. Ціона въ области философіи, искусства и жизни, но знаю, что если не всѣ онѣ столь же били на грубой эффектъ, то всѣ были столь же легковѣсны. Почему же, спрашивается, считать отравленными людей, которые цѣнятъ вздоръ и легковѣсность по достоинству и которые притомъ, по удостовѣренію самого г. Ціона, слушаютъ «съ очень сочувственнымъ вниманіемъ», когда имъ говорятъ о «чистой наукѣ»? Вотъ еслибы г. Ціонъ сказалъ что-нибудь дѣльное по части услугъ, какія физіологія оказала и можетъ оказать философіи. искусству, жизни, тогда сочувственное вниманіе навѣрное не прерывалось бы. Что же касается мысли объ ограниченности человѣческаго разума, предопредѣляемой самымъ фактомъ организаціи человѣка, то ужъ, конечно, она не могла возбудить неудовольствіе въ слушателяхъ г. Ціона. Онъ говоритъ, правда, по этому поводу: «мои доктрины», но это онъ только отъ чрезмѣрнаго своего великолѣпія; въ сущности же высказанная имъ мысль составляетъ достояніе вѣка и выработалась усиліями звѣздъ первой величины въ области философіи и науки.

Ахъ! еслибы въ самомъ дѣлѣ кардіографъ доставилъ намъ возможность читать человѣческое сердце, какъ книгу... А впрочемъ, не знаю, хорошо-ли бы это было. Съ одной стороны, конечно, хорошо, потому что можно бы было съ увѣренностью знать съ кѣмъ имѣешь дѣло и, значитъ, избѣгать такихъ пріятныхъ вещей, какъ позоръ обмана, горечь разочарованія, объятія негодяя, подлая усмѣшка лицемѣра. Съ другой стороны, жизнь вѣчно съ камнемъ за пазухой тоже должно быть не очень веселая штука.

Какъ тамъ, однако, будетъ съ кардіографомъ, этимъ пусть г. Ціонъ занимается въ свободное отъ привѣтствій политическаго горизонта время. Пока что, а теперь приходится довольствоваться обыкновенными пріемами анализа вещественныхъ знаковъ невещественныхъ отношеній. И, кажется, этихъ обыкновенныхъ или, какъ выразился бы одинъ нынѣ замолкшій русскій публицистъ, «глазомѣрныхъ» пріемовъ въ настоящемъ случаѣ вполнѣ достаточно: вся брошюра г. Ціона есть вещественный знакъ чрезвычайно дрянныхъ невещественныхъ отношеній. Что же касается невещественной подкладки разсказа объ актовой рѣчи, то она дрянна въ превосходной степени.

Г. Ціонъ лжетъ, это ясно. Но обратите вниманіе на пріемы, цѣль, мотивы этой безпардонной лжи, съ торопливою наглостью сшитой бѣлыми нитками. Г. Ціону нужно щегольнуть передъ «политическимъ горизонтомъ» Франціи умѣренностью либерализма, проницательностью, обнаруженною имъ еще въ Россіи, и проч. Цѣль эта не превышаетъ своими размѣрами размѣра мѣднаго гроша, но, ради нея, г. Ціонъ ничего не жалѣетъ; все равно, какъ иной совсѣмъ озвѣрившійся отъ голода человѣкъ, рѣшаетъ на убійство, чтобы поживиться двумя-тремя копѣйками. О собственномъ достоинствѣ г. Ціона нечего и говорить, разумѣется: какое ужъ чувство собственнаго достоинства у безстыднаго хвастуна, если позволено будетъ, наконецъ, назвать *заблужденія* г. Ціона настоящимъ именемъ. Это разоблаченіе собственнаго нутра, пожалуй, даже очень полезно. О! пусть бы г. Ціонъ и ему подобные предъявляли людямъ свое нравственное убожество во всей красѣ. Но бѣда въ томъ, что они валятъ съ больной головы на здоровую и, несмотря на бѣлыя нитки наглости, лжи и клеветы, всегда найдутся люди достаточно глупые или несвѣдущіе, чтобы имъ повѣрить, и достаточно родственные по духу, чтобы ихъ поддерживать. Надѣлаетъ человѣкъ гадостей, наговоритъ глупостей, а потомъ построитъ себѣ монументъ, да съ высоты пьедестала собственной фабрикаціи и восклицаетъ, картинно скрестивши руки: о, времена! о, нравы! о, извращенное поколѣніе»! Онъ, видите-ли, думалъ, что ему за гадости и глупости лавровый вѣнокъ благодарные современники поднесутъ. Не получая желаемаго, онъ ощущаетъ въ сердцѣ своемъ занозу, подвигающую его на новыя монументальныя гадости и глупости, пока, наконецъ, его болѣе или менѣе неделикатно стащутъ за шиворотъ съ монумента собственной фабрикаціи.

А, пожалуй, что и не дурная штука кардіографъ—контролеръ сердечныхъ движеній. Представьте себѣ такой «веселенькій пейзажикъ»: стоитъ живой монументъ и соловьемъ разливается, какъ о своихъ непомѣрныхъ достоинствахъ, такъ и о чрезвычайной презрѣнности тѣхъ, кто его не оцѣнилъ, освисталъ, обругалъ, или просто не замѣтилъ. А кардіографъ тѣмъ временемъ записываетъ на своемъ условномъ языкѣ: лжетъ, лжетъ, лжетъ. Право, занятно. Или другой, напримѣръ, распинается, бія себя въ грудь, на тему о любви къ отечеству и о народности. А кардіографъ: лжетъ, лжетъ, лжетъ...

Я бы очень желалъ пристроить кардіографъ къ сердцамъ нѣкоторыхъ московскихъ людей. Не подумайте только, что я имѣю въ виду сердце г. Каткова. Нѣтъ, я боюсь, что кардіографъ, пристроенный къ сердцу этого въ своемъ родѣ великана, такое напишетъ, что при дамахъ и сказать нельзя. Я другихъ московскихъ людей разумѣю.

Въ ноябрьской книжкѣ «Русской Мысли» напечатано начало статьи г. Дитятина «Когда и почему возникла рознь въ Россіи между «командующими классами» и «народомъ». Статья имѣетъ полемическую цѣль, а именно, направлена противъ мнѣній «Руси» о райскомъ состояніи русской земли въ допетровскую пору. Нарисовавъ картину порядковъ московской Руси и показавъ, что рознь между «командующими классами» и народомъ была въ тѣ поры ужасающихъ размѣровъ, г. Дитятинъ оканчиваетъ статью такъ: «Гдѣ же причины? Въ наше время онѣ найдены въ существованіи интеллигенціи, зараженной гибельными идеями Запада. Ну, а тогда? Вѣдь этой злосчастной интеллигенціи не существовало; вѣдь все покоилось на исконныхъ русскихъ стародавнихъ обычаяхъ; сермяга голоднаго бобыля была одного покроя съ золотымъ зипуномъ царскаго боярина; кабацкая голь и царская «служня» одинаково забавлялись шутами, юродивыми. Всѣ вѣровали въ одного Бога несомнѣнно. И всетаки все «бѣжитъ розно». И всетаки общество разлагалось; слышенъ былъ трупный запахъ... Гдѣ же причины? На этомъ вопросѣ мы остановимся во второй половинѣ нашей статьи».

Статья помѣчена 30-мъ августомъ 1881 г. и подъ ней значится: «окончаніе слѣдуетъ». Но вотъ уже и февральская книжка «Русской Мысли» вышла, а окончаніе статьи г. Дитятина все еще не слѣдуетъ. Какой бы этому резонъ былъ? Можетъ быть, г. Дитятинъ просто залѣнился или отдумалъ дописывать статью. Можетъ быть, какъ помните, у Некрасова:

Пропала книга! Ужь была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала!
Богъ съ ней, когда идеѣ зла
Она потворствовать желала...
Но, можетъ быть, она была
Честна... а такъ, рѣзка, смѣла?
Двѣ, три страницы роковыя...

Всяко бываетъ. Но, можетъ быть, и такъ, что объясненія слѣдуетъ искать въ длинномъ предисловіи отъ редакціи, сопровождающемъ статью г. Дитятина. Въ противоположность довольно рѣзкому по тону и фактическому по содержанію характеру статьи, это предисловіе отличается мягкостью и расплывчатостью. Г. Аксаковъ величается въ немъ, совершенно противно обычаямъ печати, по имени и отечеству: «Желательно, чтобы Иванъ Сергѣичъ объяснилъ». «Мы увѣрены, что Иванъ Сергѣичъ объяснитъ». Почтенная редакція всту-

пастъ даже въ полемику съ г. Дитятинымъ, причемъ до такой степени входитъ въ тонъ пріятельской бесѣды за чайнымъ столомъ, что говоритъ: «Кто же изъ знающихъ лично И. С. Аксакова и когда (?) могъ обвинять его въ желаніи двинуть назадъ русскій народъ, къ жизни его въ XVI и XVII вѣкѣ, къ умственнымъ и нравственнымъ идеаломъ попа Сильверста—въ томъ, что онъ въ образованности, въ наукѣ видитъ источникъ нравственнаго паденія? Никто и никогда. И. С. Аксакова мы знаемъ хорошо».

Иванъ Сергѣевичъ, разумѣется, ничего не разъяснилъ, не объяснилъ и на всѣ любезности редакціи «Русской Мысли» отвѣтилъ грубою бранью. Почтенная редакція пролила, вѣроятно, по этому поводу слезу благодарнаго умиленія и... и окончанія статьи г. Дитятина не воспослѣдовало. Можетъ быть, конечно, это чисто случайное совпаденіе обстоятельствъ и, какъ уже сказано, г. Дитятинъ просто залѣнился или «пропала книга. Но, признаюсь, я не безъ интереса ожидалъ бы результатовъ примѣненія кардіографа къ сердцу «Русской Мысли»...

Не хочу, впрочемъ, такъ говорить. Не хочу, чтобы у читателя хотя бы только мелькнула мысль, будто я ставлю почтенную редакцію «Русской мысли» за одну скобку съ людьми въ родѣ г. Ціона. Нѣтъ, это совсѣмъ другой сортъ. Я вѣрю, что «Русская Мысль» искренно ищетъ истины, и думаю, что она все болѣе къ ней приближается. Но нѣкоторые ея старые славянофильскіе грѣхи побуждаютъ желать, чтобы редакція съ большею опредѣленностью высказалась по кое-какимъ вопросамъ русской жизни. Предисловіе къ статьѣ г. Дитятина, въ особенности въ связи съ оборванностью самой статьи, весьма мало подвигаетъ дѣло впередъ.

Что касается самой статьи г. Дитятина, то она очень любопытна во многихъ отношеніяхъ. Въ ней нѣтъ ничего поразительнаго, ничего такого, что не было бы извѣстно людямъ, сколько-нибудь знакомымъ съ русской исторіей и сколько-нибудь думавшимъ о ходѣ человѣческихъ дѣлъ на землѣ вообще. Но то-то и любопытно, что статья такого, казалось бы, общеизвѣстнаго содержанія можетъ оказаться нужною и полезною.

Главныя положенія «Руси», съ которыми полемизируетъ г. Дитятинъ, состоятъ въ томъ, что только съ XVIII вѣка, съ петровской реформы ведутся у насъ «кровавыя преданія переворотовъ, измѣнъ, крамолъ»; что только съ XVIII вѣка Россія раздѣлилась «на мужика и на барина, на бритыхъ и небритыхъ, битыхъ и бьющихъ», а до тѣхъ поръ все было добро зѣло, всѣ одному Богу молились, одними идеалами жили; что Петръ разбилъ это благолѣпное единеніе, растворивъ къ намъ настежь двери Европы, а переходъ отъ народнаго непосредственнаго бытія на чреду образованности пріобрѣтается у насъ, большею частью, цѣною нравственнаго паденія». Все это подлинныя изрѣченія «Руси». Спрашивается, какимъ образомъ мысли столь нелѣпыя могутъ высказываться и находить слушателей? Г. Дитятинъ находитъ двѣ причины этому дикому явленію. Во-первыхъ, «публицисты, проповѣдующіе изложенную теорію, занимаютъ, сравнительно съ остальными своими собратьями по перу, *особое привилегированное* (курсивъ г. Дитятина) положеніе, которое даетъ имъ возможность многое изъ своей теоріи обратить въ дѣйствительность и, такимъ образомъ, если не истребить, вырвать съ корнемъ ненавистные имъ плоды «раболѣпства» передъ Западомъ, то въ значительной степени содѣйствовать установленію тѣхъ препятствій или созданію тѣхъ мѣръ, которыя, въ извѣстной степени, тормозятъ ростъ и развитіе ихъ». Другая причина состоитъ въ томъ, что «знакомство съ исторіей родной страны вовсе не имѣетъ желательнаго распространенія среди нашего общества». «Намъ кажется, говоритъ г. Дитятинъ: — что, именно, это обстоятельство даетъ возможность храбрымъ публицистамъ съ апломбомъ самой высокой пробы ссылаться въ своихъ высокаго стиля писаніяхъ, якобы на исторію, на нѣчто имѣющее очень мало общаго съ этой послѣдней».

Съ этимъ послѣднимъ предположеніемъ почтеннаго автора согласиться, пожалуй, можно, но только съ очень и очень большими оговорками. Знаній, вообще, мало въ нашемъ обществѣ и въ томъ числѣ знаній по исторіи родины. Это правда. Но вѣдь есть же предѣлы у всякаго невѣжества, и я сомнѣваюсь, чтобы большинство читателей «Русской Мысли» узнало изъ статьи г. Дитятина нѣчто для себя фактически новое. Давайте пересмотримъ бѣглымъ образомъ статью съ этой стороны.

Вотъ Ольговичи, Святославичи и вся эта безконечная, однообразная, скучная возня удѣльнаго періода, въ которой князья добивались выгодныхъ «столовъ», ихъ дружины—добычи, а положеніе народа характеризуется словами лѣтописца: «И бысть пагуба посельцамъ ова отъ половецъ, ова же отъ своихъ посадникъ». Неужели же это для насъ ново, когда похожденія Ольговичей, Святославичей, Мстиславичей еще въ школѣ надоѣли намъ хуже горькой рѣдьки? Помилуйте! сколько «пятерокъ» получили прилежнѣйшіе изъ насъ за отчетливое изложеніе передъ лицомъ учителя разсказа о томъ, какъ Ольго-

вичи, соединившись съ половцами, пошли на Мстиславичей! И сколько нулей и единицъ доставалось на долю тѣхъ, которые никакъ не могли запамятовать, кто на кого пошелъ, кто кого надулъ, предалъ, продалъ, ослѣпилъ, убилъ, кто соединился съ половцами, а кто съ косогами! Правда, что память прилежнѣйшихъ также давно уже освободилась отъ Изяславичей и Мстиславичей, брошенныхъ въ море забвенія, подобно тому, какъ бросается съ корабля въ море балластъ. Но если не спеціалисту нѣтъ ни надобности, ни возможности запомнить всѣ перипетіи этой драмы, то драма, во всякомъ случаѣ, была, и всѣ мы знаемъ, что эта драма состояла въ безконечной дракѣ, что князья съ своими дружинниками ходили по лицу русской земли не въ «единеніи» съ простымъ русскимъ людомъ, а въ разореніе ему и въ союзѣ съ половцами, косогами, печенѣгами, казарами, татарами. Знаемъ мы также, что всѣ эти иноплеменники приглашались князьями на разгромъ родной земли не съ тлетворнаго запада... Отнюдь нѣтъ!

Далѣе, говоря о духовенствѣ, которое, по своимъ нравственнымъ и политическимъ воззрѣніямъ, стояло въ полной розни съ массами тогдашняго населенія, г. Дитятинъ самъ замѣчаетъ: «Кто не знаетъ, что первоначально *все духовенство*—низшее и высшее—состояло изъ грековъ, воспитанныхъ совершенно на иныхъ началахъ нравственно-религіозныхъ и политическихъ». Но, точно также, кто же не знаетъ, что, напримѣръ, въ Новгородѣ за все время его самостоятельнаго существованія, «безпрестанно происходили раздоры, и молодшіе или черные враждовали со старѣйшими и богатыми» (цитата изъ Костомарова). Кто не знаетъ, что «въ позднѣйшее время новгородской исторіи боярскія фамиліи рѣзче и рѣзче отдѣляли свои интересы отъ интересовъ народа», благодаря чему, дѣло дошло до того, что «новгородскіе бояре, продавая свое отечество князьямъ, совершенно разошлись съ народомъ» (цитата изъ Бѣляева).

Наконецъ, вотъ и московскій періодъ эта лучезарная звѣзда русской исторіи, время собиранія русской земли и государственнаго ея объединенія: «Тотчасъ послѣ похоронъ Василія, вдовѣ его донесли уже о крамолѣ» (цитата изъ Соловьева). «Цѣлыя пятнадцать лѣтъ царствованія Грознаго, все его малолѣтство—не что иное, какъ сплошной рядъ крамолъ, убійствъ, дворцовыхъ переворотовъ». Крамола выходитъ и на улицу, и разъяренная толпа убиваетъ Юрія Глинскаго въ Успенскомъ соборѣ. Италіянецъ-архитекторъ бѣжитъ въ Ливонію и на вопросъ о причинахъ бѣгства отвѣчаетъ: «и нынѣча, какъ великаго князя Василья не стало и великой княгини, а государь нынѣшній малъ остался, а бояре живутъ по своей волѣ, а отъ нихъ великое насиліе, а управы въ землѣ никому нѣтъ, а промежъ бояръ великая рознь». Но вотъ Грозный выросъ, развернулся, и потекли по русской землѣ рѣки крови правыхъ и неправыхъ. Вотъ «скорбный главою» Ѳеодоръ и возстаніе въ Москвѣ, и осада Кремля... Годуновъ... Самозванцы... боярскія измѣны, купля и продажа русской земли... цѣлованіе креста сегодня Годунову, завтра Дмитрію, сегодня Шуйскому, завра Тушинскому вору... Затѣмъ, сравнительно долгая пауза въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича и опять крамола, кровь, хищеніе, «кормленіе», бунты, «Окружавшіе царя брали просьбы у народа и всякій разъ представляли дѣло въ иномъ видѣ» (Соловьевъ). Московскій мятежъ 1648 г. затихаетъ, между прочимъ, благодаря отчасти *нѣмецкому* наемному войску. Упоминая объ этомъ эпизодѣ, г. Дитятинъ замѣчаетъ: «Увы, какъ должно оскорбиться чувство патріотизма нашихъ патріотовъ: нѣмецкіе наемные солдаты охраняютъ царя отъ народа, и этотъ народъ не трогаетъ ихъ, отступаетъ передъ ними, и отступаетъ, по разсказу историка, не только какъ передъ вооруженною силой, но и какъ передъ людьми, которыхъ уважаетъ за то, что они «люди честные, обмановъ и притѣсненій боярскихъ не хвалятъ»... Затихла Москва, возстали Сольвычегодскъ, Устюгъ, Псковъ, Новгородъ, потомъ опять Москва, потомъ Соловецкій монастырь, потомъ поднялся Стенька Разинъ...

Послушайте, да неужели же мы въ самомъ дѣлѣ всего этого не знаемъ?! Не говорю, разумѣется, о мелкихъ подробностяхъ, но развѣ намъ можетъ быть неизвѣстна общая картина скорби и крови, хищенія и кормленія, измѣнъ и предательствъ московской Руси? Неужто, наконецъ, одного царствованія Ивана Грознаго или одного бунта Стеньки Разина не достаточно для разсѣянія всего этого тумана «единенія, «цѣлокупности», всей этой трухи, которую «Русь» пускаетъ добрымъ людямъ въ глаза? Нѣтъ, г. Дитятинъ слишкомъ благодушенъ. Позорно, разумѣется, не знать исторіи своей родины, но еще позорнѣе сознательно извращать ея смыслъ, называть черное бѣлымъ и кроваво-красное небесно-голубымъ. Была, видите-ли, идиллія: пастушки играли на свирѣляхъ нѣжныя мелодіи, барашки щипали зеленую травку, а небесный сводъ прикрывалъ эту картину «цѣлокупностью» своей лазури; пришелъ Петръ и разнесъ картинку: явились «мужикъ и баринъ, бьющіе и битые, бритые и небритые», а до тѣхъ поръ никто никого не билъ, ни бояринъ хо-

лоповъ, ни Стенька Разинъ бояръ, ни Грозный бояръ и холоповъ, пришла «чреда образованности» и принесла съ собой «нравственное паденіе»...

Позвольте, однако,—перебьетъ меня читатель. Положимъ, что «Иванъ Сергѣевичъ» и всѣ иже съ нимъ показываютъ неправду, говоря, будто въ допетровской Руси не было барина и мужика, битыхъ и бьющихъ, но раздѣленіе на битыхъ и небитыхъ, навѣрное, ужъ только съ Петра началось. Такъ, да не такъ, читатель. Рекомендую вамъ вышедшую въ 1881 году книгу г. Преображенскаго «Нравственное состояніе русскаго общества въ XVI вѣкѣ, по сочиненіямъ Максима Грека и современнымъ ему памятникамъ». Книга эта, повидимому, академическаго происхожденія, вѣроятно, диссертація на ученую степень, состоитъ изъ пяти главъ: I. Просвѣщеніе на Руси въ XVI вѣкѣ; II. Пороки, господствовавшіе въ средѣ духовенства; III. Пороки, господствовавшіе въ средѣ мірянъ; IV. Пороки, господствовавшіе въ классѣ монашествующихъ; V. Свѣтлыя стороны въ религіозно-нравственной жизни русскаго народа въ XVI вѣкѣ. Г. Преображенскій не задается никакими полемическими цѣлями, а просто группируетъ по означеннымъ рубрикамъ подлинныя свидѣтельства современниковъ. И, Боже! какой длинный рядъ отвратительно гнусныхъ картинъ возстаетъ передъ глазами читателя! Насиліе, жестокосердіе, развратъ, грабежъ, чего хочешь, того просишь, кромѣ «чреды образованности», конечно. Я не воспользуюсь этимъ матеріаломъ, потому что выбрать что-нибудь одно, наиболѣе яркое, трудно—все одинаково, кажется, ярко, а передачѣ всего содержанія книги не мѣсто въ «запискахъ современника». Но собственно насчетъ битыхъ и небитыхъ приведу одно любопытное указаніе г. Преображенскаго, отнюдь, впрочемъ, не новое, и одно его предположеніе, которое, кажется, ново.

Борода была издревле въ почтеніи у русскихъ. И не только у простого народа, который изъ-за бороды рѣшался на открытыя возстанія; и не только у бояръ, одинъ изъ которыхъ, къ великой, хотя и непонятной радости «Руси», сказалъ царю: «Въ головѣ моей ты воленъ, а въ бородѣ не воленъ», то есть голову руби, а бороды не стриги. Стоглавый соборъ, между прочимъ, постановилъ: «аще кто бороду брѣетъ и преставится тако, недостоитъ надъ нимъ служити, ни сорокоустія по немъ пѣти, ни просфоры, ни свѣчи по немъ въ церковь приносити; съ невѣрными да причтется». Много было причинъ такого уваженія къ бородѣ и презрѣнія къ брадобритію. Во-первыхъ, борода отличала русскаго человѣка отъ иноземца, а иноземцевъ русскіе чуждались; но такъ какъ иноземецъ совпадалъ съ иновѣрцемъ, то почитаніе бороды осложнилось религіознымъ характеромъ. Этому способствовала и церковная иконопись, изображавшая святыхъ обыкновенно съ бородами. Но было и еще одно обстоятельство, способствовавшее презрѣнію къ брадобритію. Сопоставляя различныя показанія современниковъ насчетъ брадобритія и содомскаго грѣха, сильно развившагося въ лучезарный московскій періодъ русской исторіи, надо признать, что бороды брили тѣ несчастныя или подлыя твари мужескаго пола, но женскаго назначенія, которыя служили грязнѣйшимъ инстинктамъ московскихъ бородатыхъ людей. Отсюда, по предположенію г. Преображенскаго, столь непомѣрно суровое постановленіе стоглаваго собора, отсюда же (между прочимъ, разумѣется) и такое презрѣніе къ бритымъ. Справедливо это предположеніе или нѣтъ, но читатель видитъ, что раздѣленіе на битыхъ и небитыхъ существовало и въ московской Руси, но что раздѣленіе это, при полной невинности относительно чреды образованности, цѣлокупно свидѣтельствовало о глубочайшемъ нравственномъ паденіи...

Возвращаясь къ статьѣ г. Дитятина, повторяю, что не могу присоединиться къ его мысли о невѣжествѣ по части родной исторіи, какъ источникѣ дикихъ теорій цѣлокупности и тому подобныхъ вздоровъ, плохо маскированныхъ надутымъ велерѣчіемъ. За то я вполнѣ раздѣляю другое соображеніе г. Дитятина. Онъ совершенно справедливо говоритъ, что публицисты, косящіеся на «чреду образованности», находятся въ особомъ, привилегированномъ положеніи, ибо въ нашей современной дѣйствительности есть нѣчто, дающее имъ опору и, въ свою очередь, на нихъ опирающееся. Какой-то духъ тьмы, мрачный и злобный, носится надъ русской землей и подбираетъ себѣ пособниковъ, жрецовъ, гимнослагателей, жертвоприносителей. Тяжело жить современнику. Злобные гости—скорбныя думы одолѣваютъ его со всѣхъ сторонъ. Надо искать причину обложившихъ насъ бѣдъ, искать, найти и устранить. Но за это дѣло, какъ и за многія другія дѣла, можно взяться съ двухъ противоположныхъ концовъ. Можно искать дѣйствительно причинъ бѣды, а можно, подобно страусу, прячущему голову и воображающему, что если онъ не видитъ опасности, такъ ее и въ дѣйствительности нѣтъ, хлопотать только объ томъ, чтобы замазать бѣду. При этомъ послѣднемъ направленіи дѣятельности, объектомъ вашихъ нападеній станетъ не истинная причина бѣды, а тѣ вещи, которыя объ ней напо-

минаютъ и свидѣтельствуютъ. Вы пустите камнемъ въ зеркало, свидѣтельствующее о вашемъ уродствѣ, полѣзете съ кулаками на термометръ, показывающій сорокъ градусовъ мороза, вы, наконецъ, скажете вмѣстѣ съ Фамусовымъ:

Ученье—вотъ чума! ученость—вотъ причина!

«Ученье», «ученость», «чреда образованности», «интеллигенція», «разнузданность печати»—все это вѣдь, собственно говоря, одно и тоже, разныя стороны и даже иногда просто разныя названія одной и той же вещи. Свобода мысли, свобода слова, свобода изслѣдованія издревле была козлищемъ отпущенія за грѣхи и всѣ бѣды общества. На нее всегда опрокидывались и лѣзли съ кулаками близорукіе, ослѣпленные или трусливые люди, хлопочущіе объ томъ, чтобы замазать бѣду, а не найти ея истинную причину; а также вся та безславная стая бонапартистовъ (безъ Бонапарта или съ Бонапартомъ), которой нужна мутная вода, чтобы ловить въ ней рыбу, и несчастія родины, чтобы выудить изъ нихъ нѣсколько цѣлковыхъ. Такъ какъ замазывать бѣду представляется на первый взглядъ дѣломъ болѣе легкимъ и удобнымъ, чѣмъ устранить ее совсѣмъ, то ослѣпленные, трусы и бонапартисты въ тревожныя минуты сидятъ обыкновенно въ переднемъ углу. Ихъ секретъ такъ простъ: похерить чреду образованности, уничтожить интеллигенцію, сжечь книги, остановить притокъ юношества въ учебныя заведенія. Что можетъ быть проще? Положимъ, что до сихъ поръ ни разу еще не удавалось добиться этимъ простымъ путемъ чего-нибудь путнаго, кромѣ развѣ того, что исторія клеймила въ свое время позоромъ тѣхъ, кто тащилъ общество на этотъ путь. Но вѣдь улита ѣдетъ, когда-то будетъ; когда-то еще исторія скажетъ свое слово, а современники-то, во всякомъ случаѣ, должны болѣе или менѣе помалкивать. Казалось бы, однако, что по нынѣшнему времени мудрено всетаки отнестись къ дѣлу съ такою искреннею цѣлокупностью, чтобы повторить слова Фамусова: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!» Фамусову легко было говорить это, ибо самъ онъ былъ неучъ. А съ тѣхъ поръ, во-первыхъ, мысль завоевала себѣ, кажется, право существованія; во-вторыхъ, болтовни въ московскомъ салонѣ нынѣ уже маловато, для произведенія должнаго впечатлѣнія, надо перенести пропаганду на торжища и стогны—въ газеты. И понятно, какое изъ этого непріятное осложненіе дѣла выходитъ. Если г. Катковъ, напримѣръ, крикнетъ: «ученье, вотъ чума!» такъ вѣдь ему всякій можетъ сказать: а вы-то сами, Михаилъ Никифоровичъ, чумной, что-ли? вѣдь вы и сами учились, и другихъ учили? Иванъ Сергѣевичъ, отвергая чреду образованности, обусловливающую нравственное паденіе, рискуетъ получить тотъ же самый argumentum ad hominem, ибо онъ, несомнѣнно, стоитъ на чредѣ образованности, а, слѣдовательно, можетъ быть заподозрѣнъ въ нравственномъ паденіи. Газетной кликѣ, науськивающей кого слѣдуетъ на интеллигенцію, можно посовѣтовать сломать перья, ибо вѣдь она, эта клика, все же таки интеллигенція или, по крайней мѣрѣ, исполняетъ ея функціи въ ожиданіи лучшихъ дней. Изъ проистекающаго отсюда двусмысленнаго и противорѣчиваго положенія съ честью вышелъ едва-ли не одинъ г. Катковъ. Съ честью-ли или съ безчестіемъ, это, впрочемъ, вопросъ. Но, во всякомъ случаѣ, онъ первый и притомъ безъ долгихъ поисковъ безъ трепета, безъ оговорокъ и виляній указалъ «причину». Онъ—тотъ желѣзноликій Вій, который указалъ желѣзнымъ пальцемъ на Хому Брута и закричалъ: «вотъ онъ!» А до тѣхъ поръ одолѣвшіе несчастнаго Хому чудовища не могли его найти, хотя, кружась около него, задѣвали хвостами и крыльями...

Мимоходомъ: помните-ли вы конецъ «Вія»? Когда раздался пѣтушиный крикъ, крикъ вѣстника утра, свидѣтельствующаго, что всякой тьмѣ сейчасъ конецъ будетъ, что солнце сейчасъ разгонитъ и исколетъ ее тысячами своихъ лучей, гномы бросились, кто какъ попало, въ окна и двери храма, чтобы поскорѣе вылетѣть. Но опоздали гномы, слишкомъ засидѣлись—и такъ и завязли въ дверяхъ и окнахъ, на вѣковѣчное свое посрамленіе... Но какъ иногда мучительно долги бываютъ ночи...

Вернемся къ нашимъ баранамъ, какъ говорятъ французы. Люди, обыкновенные люди, а не желѣзнолицые Віи, не могутъ чувствовать себя вполнѣ хорошо въ вышеозначенномъ двусмысленномъ положеніи. Стоять на чредѣ образованности и кричать во всю глотку, что чреда образованности есть для русскаго человѣка условіе нравственнаго паденія—съ чѣмъ это сообразно? Сболтнуть такую штуку, конечно, можно, но выдержать всю проистекающую отсюда нелѣпицу—дѣло мудреное. Не совсѣмъ же всетаки даромъ человѣкъ называется homo sapiens. И вотъ начинаются разнообразныя вилянія и хитросплетенія, имѣющія цѣлью то же неблагородное слово какъ-нибудь поблагороднѣе молвить.

Одинъ какой-нибудь гномъ вдругъ проникается необыкновенною заботливостью объ *интересахъ* народа. Онъ требуетъ сокращенія угнетенія, если не уничтоженія всего,

что лежитъ такъ или иначе на плечахъ народа, но это *все* оказывается, именно, интеллигенціей, а не «командующими классами», какъ говорятъ другіе, не «буржуазіей», какъ напоминаютъ третьи, не помѣстнымъ дворянствомъ, не чиновничествомъ. Нѣтъ, это все пустяки: интеллигенція — вотъ чума! единственная, но за то страшная чума, подлежащая воздѣйствію. Поэтому, тотъ же самый гномъ, съ совершенно чистою совѣстью, сегодня требуетъ постановки новаго балета на счетъ народа, а завтра потребуетъ на тотъ же счетъ войны за братьевъ-босняковъ. Гномъ очень хорошо знаетъ, что балетъ и война будутъ устроены на счетъ народа и ни мало не совпадаютъ съ его интересами. Но ему, собственно, и дѣла нѣтъ до интересовъ народа; это только такъ — знамя, гарниръ приличія, можетъ быть, попытка сдѣлки съ собственною совѣстью, а главная и даже единственная задача состоитъ въ уязвленіи интеллигенціи: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!», хотя прямо этого гномъ не скажетъ. Балетъ же и война по этой части совершенно невинны, ну, и, значитъ, они желанные гости. Неси, народъ, свою копѣйку и свой потъ, чтобы господа гномы могли любоваться «элеваціями» и «выворотностью ногъ» танцовщицъ въ новомъ балетѣ (см. въ этомъ же номерѣ рецензію книги «Балетъ, его исторія и мѣсто въ ряду изящныхъ искусствъ»). Неси, народъ, свою копѣйку ради посрамленія гордой и коварной Австро-Венгріи. Это ничего, это можно, ибо ни новый балетъ, ни новая война не помѣшаютъ мракобѣсію...

Другой гномъ вступается за *духъ* народа. Но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, духъ великаго, могучаго народа, которому предстоятъ долгіе годы жизни, оказывается совершенно несовмѣстимымъ съ «образованностью». Сама по себѣ образованность, можетъ быть, и не дурная вещь, но какъ только русскій человѣкъ вступаетъ на «чреду» ея, такъ немедленно и фатально «нравственно падаетъ». Когда гному говорятъ, что «духъ» народа русскаго, между прочимъ, весьма опредѣленно требуетъ прирѣзки земли, то гномъ отвѣчаетъ: нѣтъ, земли у мужика довольно, это и «наука», «образованность», можетъ подтвердить. Притомъ же, земля, надѣлы — это такая грубая матерія, такая жалкая проза, а вотъ вы съ другой-то стороны удовлетворите народный духъ, съ поэтической, съ самой что ни на есть духовной—образованность уничтожьте: «ученье, вотъ чума! ученость, вотъ причина!» А ужъ если эту чуму нельзя уничтожить совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, монополизируйте ее: поднимите плату за образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ, дабы лишь малая доля русскихъ людей могла въ нихъ попадать. Ибо истинно говорю вамъ: чреда образованности ведетъ къ нравственному паденію. Посмотрите на древнюю и, въ особенности, московскую Русь, которая была едина и цѣлокупна въ своемъ невѣжествѣ, и какъ тогда все было честно и благородно!—Опять-таки гномъ, въ противность мнѣнію г. Дитятина, очень хорошо знаетъ, не можетъ не знать, что раздѣленіе на мужика и барина гораздо старше «чреды образованности», и что московская Русь была черезъ край переполнена «нравственнымъ паденіемъ» и всяческой мерзостью. Но гномъ исполняетъ свою миссію: въ тревожныя минуты оказывается большой запросъ на людей, владѣющихъ простымъ секретомъ замазыванія бѣды, а секретъ этотъ давно открытъ Фамусовымъ и состоитъ въ томъ, чтобы зажать ротъ интеллигенціи: ученье, вотъ чума!..

Разница, однако, въ томъ, что Фамусовъ былъ вполнѣ искрененъ, и самъ кардіографъ г. Ціона не открылъ бы въ его сердцѣ признаковъ лицемѣрія. Другое дѣло наши гномы. Для нихъ лицемѣріе, эта характеристическая черта нашего смраднаго и мрачнаго времени, неизбѣжно. Но взойдетъ солнце—это вѣрно. И гномы застрянутъ въ дверяхъ и окнахъ храма...

А, впрочемъ, нѣкоторые изъ нихъ быстро переодѣнутся и сожгутъ все, чему поклонялись, и поклонятся всему, что сожигали. Не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать такой оборотъ: дѣло бывалое...

XII.

О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ *).

Въ прошломъ году русская литература обогатилась новымъ трудомъ г. П. Полевого—біографіей нашего извѣстнаго поэта-издателя, Н. Б. Гербеля. Въ біографіи приведены многіе въ высшей степени важные факты и документы; напримѣръ, застольная рѣчь, произнесенная г. Гербелемъ на обѣдѣ, который ему давали товарищи по лейбъ-гвардіи уланскомъ полку при выходѣ его въ отставку и т. п. Но трудолюбивый біографъ не ограничился свѣдѣніями о поэтѣ-издателѣ. Мы узнаемъ весьма многое объ отцѣ Н. В. Гербеля и нѣчто объ его супругѣ. Объ дѣтяхъ, однако, почему-то ничего не узнаемъ и даже не видимъ изъ біографіи, былъ-ли «вполнѣ счастливый бракъ» Н. В. Гербеля благословленъ потомствомъ. Это, впрочемъ, не единственный пробѣлъ въ

*) 1882 г., мартъ.

трудѣ г. Полевого, ибо, сообщая многознаменательные разговоры г. Гербеля съ товарищами по лейбъ-гвардіи уланскому полку, г. Полевой ничего не сообщаетъ о разговорахъ, вѣроятно, столь же знаменательныхъ, съ изюмскими гусарами, въ рядахъ которыхъ г. Гербель тоже служилъ. Но біографія всетаки въ общемъ весьма обстоятельна, а ужъ объ достовѣрности сообщаемыхъ ею свѣдѣній и говорить нечего, ибо Лукуллъ обѣдаетъ у Лукулла: біографія г. Гербеля издана самимъ г. Гербелемъ...

Honny soit qui mal y pense! Скромность г. Гербеля слишкомъ извѣстна, чтобы читатель подумалъ, что онъ можетъ такъ-таки взять да и издать свою біографію, да еще съ приложеніемъ портрета, на удивленіе современникамъ и въ назиданіе потомству. Нѣтъ, г. Гербель приложилъ къ своей собственной біографіи жизнеописанія многихъ своихъ однокашниковъ, причемъ, напримѣръ, Гребенкѣ удѣлилъ мѣста только въ половину меньше, чѣмъ самому себѣ, а Гоголю даже на двѣ страницы больше. Къ этому онъ прибавилъ еще нѣсколько другихъ статей и изо всего этого вышла объемистая, изящно изданная книга, подъ заглавіемъ: «Гимназія высшихъ наукъ и лицей князя Безбородко. Изданіе второе, исправленное и дополненное. Спб. 1881». Я, признаться сказать, не помню перваго изданія этой книги, но помню, что одна изъ статей, вошедшихъ въ нее, была нѣсколько лѣтъ тому назадъ издана отдѣльной брошюрой, на которую въ свое время «Отечественныя Записки» обратили вниманіе въ библіографическомъ отдѣлѣ. Тѣмъ не менѣе, статья эта содержитъ нѣсколько любопытныхъ и, кажется, не старѣющихъ на Руси чертъ, объ которыхъ стоитъ и теперь побесѣдовать.

Статья принадлежитъ г. Лавровскому и называется «Гимназія высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ». Въ ней есть одинъ чрезвычайно любопытный эпизодъ—«исторія вольнодумства»—изъ временъ первыхъ годовъ царствованія императора Николая I. Г. Лавровскій справедливо говоритъ, что, «по содержанію своему, нѣжинская исторія совершенно однородна съ извѣстными исторіями въ с.-петербургскомъ и харьковскомъ университетахъ, такъ что представляетъ собою только отдѣльный, доселѣ неизвѣстный эпизодъ общей университетской исторіи о пресловутомъ вольнодумствѣ профессоровъ, обличаемомъ тогдашними ревнителями просвѣщенія, въ родѣ Магницкаго, Рунича и другихъ».

Въ октябрѣ 1826 года, инспекторъ гимназическаго пансіона, онъ же профессоръ естественнаго права, Бѣлоусовъ, донесъ куда слѣдуетъ, что «нѣкоторые воспитанники пансіона, скрываясь отъ начальства, пишутъ стихи, не показывающіе чистой нравственности, и читаютъ ихъ между собою, читаютъ книги, неприличныя для ихъ возраста, держатъ у себя сочиненія Александра Пушкина и другихъ подобныхъ». Пошли разслѣдованія, обыски, выемки, все, что слѣдуетъ. Но, давно извѣстно, что подъявшій мечъ отъ меча и погибнетъ. Не дальше, какъ въ маѣ 1827 года, самъ Бѣлоусовъ, столь строгій цензоръ «Александра Пушкина и другихъ подобныхъ», подвергся доносу со стороны профессора политическихъ наукъ Билевича. А именно, Билевичъ «примѣтилъ въ нѣкоторыхъ учебникахъ нѣкоторыя основанія вольнодумства, происходившія отъ заблужденія въ основаніяхъ права естественнаго, которое, вопреки предписаніямъ попечителя, читается не по системѣ де-Мартини, а по основаніямъ философіи Канта и Шада. Въ оправданіе Бѣлоусовъ, сверхъ обличенія Билевича въ невѣжествѣ, представилъ въ конференцію свои записки, которыя, однако, Билевичъ объявилъ подложными и досталъ и доставилъ якобы настоящія, съ своими комментаріями. По мнѣнію Билевича, записки Бѣлоусова «преисполнены такихъ мнѣній и положеній, которыя неопытное юношество, дѣйствительно, могутъ вовлечь въ заблужденіе». Конференція передала дѣло на разсмотрѣніе законоучителя, о. Павла Волынскаго, и отецъ протоіерей постарался...

Отецъ протоіерей «въ нѣкоторыхъ мѣстахъ записокъ нашелъ мысли, при наученіи юношества, къ сбивчивымъ и ложнымъ понятіямъ ведущія». Вотъ нѣсколько образчиковъ обличенія г. Волынскаго. Говоря о системѣ Томазія, Бѣлоусовъ замѣчаетъ въ своихъ запискахъ, что начала права по этой системѣ—справедливое, честное и приличное — «не важны». На это о. протоіерей возражаетъ, что «справедливаго и честнаго законъ Божій держаться повелѣваетъ (Филипп. IV, 8)».— Бѣлоусовъ говоритъ: «Человѣкъ имѣетъ право на свое лицо, то - есть онъ имѣетъ право быть такъ, какъ природа образовала его душу и тѣло, а потому достоинство разумной природы въ чувственномъ мірѣ составляетъ ненарушимость лица». О. протоіерей находитъ, что при такомъ опредѣленіи «можно отрицать всякое повиновеніе закону; при немъ же уничтожается власть родителей на дѣтей, воспитаніе или ученіе ихъ дѣлаются ненужными; въ чемъ же состоитъ достоинство разумной природы—неизвѣстно».—Вообще, все обличеніе о. протоіерея состоитъ изъ совершенно вздорныхъ придирокъ къ словамъ и отдѣльнымъ выраженіямъ, причемъ обличитель не брезгаетъ извращать критикуемый текстъ, выпускать изъ него неудобныя для обличенія фразы и т. п. Въ

результатѣ всѣхъ этихъ ухищреній получается, однако, отнюдь не преступная пустяковина и позорное дѣло о. протоіерея выигрывается только пришѣвомъ: «сіе противно святому писанію и ученію церкви». Въ заключеніе о. протоіерей полагаетъ: «Таковыя и подобныя имъ наставленія въ классической наукѣ положительнымъ образомъ юношеству преподаваемаго естественнаго права, нахожу я цѣли воспитанія юношей несоотвѣтственными и съ самимъ благочестіемъ несообразными, тѣмъ паче, что въ оной, врученной мнѣ для пересмотрѣнія тетрадкѣ между правилами нигдѣ ничего не было преподано о должностяхъ къ Богу, къ родителямъ, наставникамъ, къ начальству и вообще къ ближнему, даже и къ самимъ себѣ».

Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Послѣ взаимныхъ пререканій, обвиненій, рапортовъ, профессора привлекли къ дѣлу и воспитанниковъ, въ качествѣ свидѣтелей. А отсюда новые рапорты и донесенія. У Бѣлоусова оказались сторонники между преподавателями, равномѣрно заподозрѣнные въ «вольнодумствѣ»: Ландражинъ, Зингеръ и Шапалинскій. До какой грязи и мелочности, а вмѣстѣ съ тѣмъ до какого страстнаго возбужденія дошли обѣ воюющія стороны, видно изъ слѣдующихъ, напримѣръ, случаевъ или, вѣрнѣе, рапортовъ, ибо вся эта гнусная исторія имѣла характеръ взаимнаго обстрѣливанія рапортами, наполовину вздорными, наполовину облыжными. Профессоръ Іероиесъ донесъ, что въ одномъ изъ засѣданій конференціи Бѣлоусовъ обратился къ нему со словами: «я тебя задушу». Профессора Моисеевъ и Никольскій въ одномъ общемъ рапортѣ донесли: «Наканунѣ оныхъ экзаменовъ, случайно, во время прогулки, подъ вечеръ, сошлись мы на новомъ, такъ называемомъ купца Долгова мосту, сѣли за пѣшеходною перегородкою на лавочку и, пока вечерѣло, занимались разговорами. Черезъ нѣсколько минутъ, проходитъ мимо насъ ученикъ Зміевъ съ двумя его сестрами и съ дядею, поручикомъ бугскаго уланскаго полка, Рубаномъ. Пройдя мимо насъ немного, Зміевъ отстаетъ отъ сестеръ и дяди, обращается къ намъ и дѣлаетъ призывные знаки рукою. Профессору Никольскому показалось, что будто ученикъ Зміевъ зоветъ его, почему и подошелъ къ нему; но Зміевъ сказалъ, что имѣетъ надобность поговорить съ профессоромъ Моисеевымъ, котораго Никольскій и позвалъ. Когда подошелъ Моисеевъ, то Зміевъ, между прочимъ, вполголоса сказалъ слѣдующее: «Я слышалъ отъ учениковъ, что профессоръ Бѣлоусовъ съ профессоромъ Зингеромъ сговорились завтра на экзаменѣ сбивать учениковъ въ отвѣтахъ». Зміевъ сказалъ то, самъ будучи въ нѣкоторомъ страхѣ отъ предстоявшаго ему экзамена».

Къ этому остается прибавить, что, несмотря на обстоятельность разсказа Моисеева и Никольскаго, онъ оказался вымышленнымъ; почтенные преподаватели, можетъ быть, и сидѣли «за пѣшеходной перегородкой на лавочкѣ», но о злостныхъ намѣреніяхъ Бѣлоусова и Зингера Зміевъ имъ ничего не говорилъ. Но понятное дѣло, что главный интересъ баталіи составляли уличенія по части неблагонамѣренности политической и религіозной. Зингеръ уличался въ томъ, что, переводя въ классѣ статью Канта «О высокомъ и изящномъ», выражался пренебрежительно о ношеніи крестовъ на тѣлѣ, а также о значеніи присяги. Въ учебныхъ тетрадяхъ оказывались выраженія, «противныя греко-россійской церкви». Ученикъ Зміевъ обвинялся въ томъ, что, съ согласія профессора Ландражина, перевелъ на французскій языкъ стихи Кондратія Рылѣева, «касающіеся до призыванія къ свободѣ». Ученикъ Кукольникъ давалъ товарищамъ своего сочиненія трагедію «Марію», «дерзко и непристойно написанную». И т. д.

Изъ учениковъ за всю эту исторію поплатились только двое—Родзянко и Кукольникъ: оба были при выпускѣ лишены медалей, а Кукольникъ, сверхъ того, и класснаго чина, соотвѣтственнаго его успѣхамъ въ наукахъ. Что же касается «вольнодумныхъ» профессоровъ, то въ октябрѣ 1830 года относительно ихъ послѣдовало слѣдующее окончательное рѣшеніе: «Шапалинскаго и Бѣлоусова, за вредное на юношество вліяніе, а Ландражина и Зингера, сверхъ того, и за дурное поведеніе, отрѣшить этъ должности, со внесеніемъ сихъ обстоятельствъ въ ихъ паспорты, дабы таковымъ образомъ они и впредь не могли быть нигдѣ терпимы въ службѣ по учебному вѣдомству, а тѣхъ изъ нихъ, кои не русскіе, выслать за-границу, русскихъ же—на мѣста ихъ родины, отдавъ подъ присмотръ полиціи».

Такимъ образомъ, гидра была обезглавлена, порокъ наказанъ, а добродѣтель восторжествовала. Но сколь добродѣтель въ своемъ торжествѣ неистова, видно изъ слѣдующаго эпилога нѣжинской исторіи о вольнодумствѣ. Въ 1832 году, Ландражинъ, проживавшій въ Тотьмѣ подъ надзоромъ полиціи, обратился куда слѣдуетъ съ прошеніемъ, о выдачѣ ему квартирныхъ денегъ за два года, въ свое время не полученныхъ. Ландражинъ ссылался при этомъ на свое бѣдственное положеніе, такъ какъ онъ «нынѣ лишенъ всѣхъ средствъ къ пропитанію себя и осиротѣвшаго семейства своего»; деньги же просилъ выдать или ему лично, или «бѣдной женѣ его, оставшейся съ дѣтьми въ

Нѣжинѣ». Въ концѣ-концовъ, Ландражинъ получилъ желаемое, но въ конференціи нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ нашлись, всетаки, представители ничего не забывающей и ничему не научающейся Немезиды. Самымъ виднымъ изъ нихъ оказался опять-таки законоучитель, но уже не о. Волынскій, а новый—о. Мерцаловъ. Это духовное лицо рѣшительно полагало Ландражину денегъ не давать, ибо, дескать, «совсѣмъ неестественно давать плату такому дѣлателю, который, бывъ принятъ на извѣстныхъ, выгодныхъ для него условіяхъ починить домъ, совершенно бы оный разрушилъ, или построить новый, вмѣсто сего попортилъ бы матеріалы, къ построенію приготовленные»...

Черты знакомыхъ лицъ, знакомый разгулъ гнусности и злобы...

Есть что-то звѣрское въ человѣкѣ, наслѣдіе далекихъ предковъ, бѣгавшихъ на четверенькахъ. Исторія наложила на этого звѣря цѣлый рядъ слоевъ, такъ что по временамъ его будто и нѣтъ вовсе. Но иногда звѣрь просыпается и щелкаетъ звѣриными клыками, и машетъ звѣринымъ хвостомъ, и злобно щуритъ звѣриные глаза...

Боюсь, впрочемъ, что эти черты возбудятъ въ читателѣ картину, слишкомъ красивую для сюжета настоящей нашей бесѣды. Нѣтъ, надо себѣ представить звѣря же, злобнаго и лукаваго, но не обладающаго никакой собственной силой, а почерпающаго ее въ случайныхъ обстоятельствахъ времени и мѣста, тогда и получится дѣятель эпохи реакціи. Реакція не только останавливаетъ ходъ историческаго движенія или, вѣрнѣе сказать, пытается его остановить, потому что въ концѣ концовъ никакая реакція ничего не останавливаетъ и остановить не можетъ, но она будитъ, кромѣ того, въ людяхъ звѣрскіе инстинкты, даетъ имъ просторъ. Всѣ эти Билевичи, Никольскіе, отцы Волынскіе, отцы Мерцаловы, конечно, и въ обыкновенное время не были бы рыцарями чести. Но въ обыкновенное сѣрое время ихъ зложелательная дѣятельность была бы заключена въ сравнительно узкіе предѣлы сплетенъ, пересудовъ, перебранки, пожалуй, потасовки. Все это некрасивыя вещи, разумѣется, но, составляя болѣе или менѣе необходимую принадлежность извѣстной среды, онѣ не открываютъ зложелательному взгляду никакихъ новыхъ, широкихъ перспективъ: дѣло обычное, дѣло привычное, совершающееся уже съ нѣсколько притупленнымъ аппетитомъ. Правда, когда нужно спихнуть кого-нибудь съ мѣста, чтобы самому сѣсть на него или посадить родного человѣчка, тогда аппетитъ разыгрывается и въ игру вносится нѣкоторая страстность. Но самый арсеналъ орудій подсиживанія и подгаживанія ближнему слишкомъ всетаки скуденъ. И вдругъ является возможность съ успѣхомъ объявить любого Иванова и всякаго Петрова «вольтеромъ», «массономъ», «сицилистомъ», врагомъ Бога и властей! Самая возможность успѣха на этомъ поприщѣ окрыляетъ неразуміе и злобу. Тигръ не тигръ, а всего-то на всего какой-нибудь Билевичъ, или Волынскій, или Мерцаловъ, но всетаки лизнулъ крови. Онъ, ничтожество, «знаетъ слово», не хуже какого мага и волшебника. Онъ, безсильный, можетъ отнынѣ не просто гадить ближнему, а дѣлать это съ музыкой, съ сладострастнымъ ощущеніемъ своего могущества и съ издѣвательствомъ надъ жертвой. Звѣрь распаляется, окончательно дуреетъ, ибо какую бы дурость, совершенно даже ни съ чѣмъ несообразную, онъ ни предъявилъ—она имѣетъ кредитъ. Существуетъ, напримѣръ, профессоръ Бѣлоусовъ, настолько скромный и умѣренный, что не одобряетъ чтенія юношествомъ «сочиненій Александра Пушкина и другихъ подобныхъ». Но стоитъ только вырвать изъ его курса наудачу нѣсколько невиннѣйшихъ фразъ безъ всякой связи и приписать: «сіе противно святому писанію и ученію церкви» или что-нибудь въ этомъ родѣ; стоитъ только совершить эту простую манипуляцію, чтобы загорѣлся сыръ-боръ и чтобы врагъ «Александра Пушкина и другихъ подобныхъ» оказался въ концѣ-концовъ врагомъ властей и Бога. Существуетъ профессоръ Ландражинъ, котораго само начальство аттестуетъ такъ: «сколько службою по своему предмету съ хорошей стороны извѣстенъ, столько и свѣдѣніями по оному начальствомъ и посторонними лицами много засвидѣтельствованъ». Но маги и волшебники «знаютъ слово». И вотъ—фьють! Ландражинъ, разлученный съ семьей, кушаетъ морошку въ Тотьмѣ. Какъ не разгуляться звѣрскимъ инстинктамъ при такихъ условіяхъ и что мудренаго, если о. Мерцаловъ не пожелалъ оставить Ландражина въ покоѣ даже Тотьмѣ и все тянулъ ту же единственную волчью пѣсню: «совсѣмъ неестественно давать плату такому дѣлателю». Положимъ, что этому «дѣлателю» просто-таки должны, просто не заплатили денегъ, слѣдующихъ ему по праву. Но какія ужъ права и долги, когда рѣчь идетъ о «вольтерѣ», «массонѣ», «сицилистѣ», «пошломъ либералѣ», вообще, о человѣкѣ, отмѣченномъ перстомъ разъярившагося звѣря, если только у него перстъ, а не копыто! Въ томъ-то и сласть для ничтожества, чтобы бить жертву безъ конца и жалости и наслаждаться въ этомъ гнусномъ дѣлѣ отраженіемъ своего заемнаго могущества...

Глубоки тайники человѣческой души и много въ нихъ бродитъ такого, что и не

снилось нашимъ мудрецамъ. Но одно вѣрно: либо очень смѣются надъ нами, либо сами очень ошибаются тѣ мудрецы, которые, подобно покойному Достоевскому и его послѣдователямъ, увѣряютъ, что надо «искать себя въ себѣ», а все прочее вниманія не не стоитъ; что никакія общественныя или историческія условія не могутъ стать поперегъ дороги доброй волѣ. Добрая воля можетъ многое сдѣлать, это очевидно, потому что есть борцы и добровольные мученики на бѣломъ свѣтѣ. Но дѣло въ томъ, что средняя человѣческая душа есть сосудъ съ крайне сложнымъ, разнообразнымъ, смѣшаннымъ содержимымъ. Добра тутъ много, гораздо больше, чѣмъ думаютъ мрачные пессимисты, но и зла тоже не мало, гораздо больше, чѣмъ полагаютъ слащавые моралисты, отъ которыхъ пахнетъ лакрицей. И какъ хозяйка-помѣщица, знающая приличія и обычаи, готовясь угостить отца благочиннаго съ причтомъ, вынимаетъ изъ кладовой совсѣмъ не ту провизію, которая понадобится при угощеніи землемѣра или предводителя дворянства, такъ поступаетъ и исторія съ средней человѣческой душой. Сегодняшній историческій моментъ съ своими особенностями общественныхъ отношеній будитъ въ средней душѣ звѣря, завтрашній можетъ его усыпить. Утѣшительно-ли это или нѣтъ, я не знаю, но это такъ. Для настоящей минуты оно, пожалуй, утѣшительно, потому что большинство сегодняшнихъ Савловъ завтра, когда вѣтеръ перемѣнится, перестанутъ быть Савлами. Ну, только и Павлы изъ нихъ выдутъ не особенно надежные, однако, въ числѣ прочихъ, въ общемъ счетѣ, пожалуй, и не безполезные. Какъ бы тамъ, впрочемъ, ни было, а достовѣрно, что эпохи реакціи вызываютъ необыкновенные психологическіе феномены злобы и жестокости, ключа къ которымъ надо, кажется, искать именно въ томъ, что безсильное само по себѣ, внутренно безсильное ничтожество получаетъ въ свои руки дѣйствительно страшное оружіе и сладострастно тѣшится бѣдами, которыя производитъ. Оттого-то и всѣ уроки исторіи пропадаютъ въ этомъ отношеніи даромъ и никакой Билевичъ, никакой Волынскій не боятся того позорнаго столба, къ которому они, рано или поздно, будутъ приставлены. Отчего, скажите, ослу доставляло удовольствіе лягать больного льва? Оттого, что онъ оселъ. И какъ же вы хотите, чтобы оселъ, убоясь того, что онъ станетъ притчей во языцѣхъ, отказался воспользоваться такою счастливою для него случайностью, какъ болѣзнь льва. Времена реакціи представляютъ цѣлое скопище подобныхъ счастливыхъ случайностей и разыгравшійся звѣрь, очертя голову, не думая о завтрашнемъ днѣ, наслаждается...

Но это еще не все, не весь букетъ. Дѣятель реакціи, по самому положенію вещей, долженъ величайшія свои гнусности приправлять умиленными или благоговѣйными фразами: «сіе противно святому писанію и ученію церкви». У самого всѣ внутренности клокочутъ отъ предчувствія злобнаго торжества, а онъ долженъ, между тѣмъ, воздѣвая очи горѣ, выжимать изъ себя елейныя слова объ обязанности къ Богу или ближнимъ, о смиреніи, о добрыхъ нравахъ и проч. Ханжество и лицемѣріе составляютъ столь же необходимые ингредіенты реакціи, какъ злоба и жестокость. Это масло къ кашѣ, соль къ хлѣбу. Безъ ханжества и лицемѣрія «суха риторика, косноязычна піитика»...

Любопытно слѣдующее обстоятельство. Мнѣ не случалось видѣть отзыва объ изданной г. Гербелемъ книгѣ «Гимназія высшихъ наукъ и лицей князя Безбородко» ни въ одномъ журналѣ, за исключеніемъ «Русскаго Вѣстника». Въ этомъ же журналѣ была помѣщена довольно обширная рецензія съ изложеніемъ содержанія книги и исторіи нѣжинскаго училища. Но при этомъ собственно «исторія о вольнодумствѣ», самый любопытный пунктъ книги, не поминается ни единымъ словомъ, точно ея никогда и не было. Значитъ, знаетъ всетаки кошка, чье она мясо съѣла. Это похвально...

Билевичъ въ одномъ изъ своихъ рапортовъ писалъ, между прочимъ: «нѣтъ сильнѣйшаго противъ профессора обвиненія, какъ обвиненіе въ вольнодумствѣ». Это справедливо, конечно: при извѣстныхъ условіяхъ профессору простятъ все: бездарность, невѣжество, лѣность, безнравственность, но только не «вольнодумство». Но справедливый афоризмъ Билевича требуетъ для ясности дѣла двухъ дополненій. Во-первыхъ, когда во всеобщій оборотъ пускается слово «вольнодумство» или другое подобное, и становится всепобивающей дубиной, тогда рѣшительно никто не знаетъ, что, собственно, значитъ вольнодумствовать. Такъ напримѣръ, потрудитесь разрѣшить загадку: почему признавать основанія права по системѣ Томазія «неважными» значитъ вольнодумствовать? Когда, по прелестному выраженію Гл. Успенскаго, «никому—ничего—нельзя», тогда всякому—всякаго—возможно обличить въ вольнодумствѣ. Это разъ. Во-вторыхъ, во времена «никому—ничего—нельзя» обвиненіе въ вольнодумствѣ, есть тягчайшее не только для профессора, а и для всякаго земнороднаго, чуть-ли даже не для младенцевъ, въ утробахъ матерей покоящихся. По крайней мѣрѣ, вотъ что со-

общаетъ корреспонденція изъ Симферополя въ «Голосъ» отъ 5-го марта:

Появленіе въ газетахъ замѣтокъ о печальномъ положеніи мѣстной мужской гимназіи, а затѣмъ присылка анонимнаго оскорбительнаго и угрожающаго письма за подписью „гимназистъ“, вызвали повальный обыскъ всей гимназіи жандармами.

Не прошло недѣли послѣ обыска, какъ на дняхъ, вечеромъ, адъютантъ жандармскаго управленія, проходя по Александроневской улицѣ, мимо дома Т., по его словамъ, былъ оскорбленъ свистомъ и указаніемъ въ лицо на него пальцемъ со стороны ученика гимназіи перваго класса Т., который, будто-бы, въ то время, когда проходилъ адъютантъ мимо дома Т., гдѣ ученикъ Т. вмѣстѣ съ другими дѣтьми катался на конькахъ, обратился къ катавшимся дѣтямъ со словами: «вотъ идетъ тотъ жандармскій офицеръ, который производилъ въ нашей гимназіи обыскъ, отобралъ наши тетради“, сталъ, указывая на него пальцемъ, свистать. Этотъ офицеръ подошелъ къ свиставшему ученику, спросилъ фамилію и, потребовавъ отъ него гимназическій билетъ, котораго у гимназиста не оказалось, прошелъ мимо.

На другой день, директору гимназіи была прислана оффиціальная бумага отъ начальника жандармскаго управленія, въ которой указано на неблагонамѣренный поступокъ названнаго ученика и предложено наложить на него взысканіе. Директоръ, зная, что этотъ ученикъ не способенъ на такой поступокъ, тѣмъ не менѣе, распорядился тотчасъ назначеніемъ слѣдствія, пригласивъ въ гимназію мать обвиняемаго. Оказалось, что когда жандармскій офицеръ проходилъ мимо катающихся мальчиковъ, то ученикъ Т., подъѣзжая на конькахъ къ другому мальчику, сказалъ довольно тихо и даже съ робостью: „Смотри, вотъ идетъ тотъ офицеръ, который обыскивалъ нашу гимназію“, причемъ не только онъ, но никто изъ катавшихся мальчиковъ свистать и указывать пальцемъ и не думалъ. Когда офицеръ обратился къ нему съ вопросомъ о фамиліи и о гимназическомъ билетѣ, тотъ сейчасъ же назвался; „а билетъ—сказалъ онъ—вотъ тутъ дома, хотите я сейчасъ принесу, обождите минуточку“. Офицеръ сказалъ „не надо“ и ушелъ.

Когда невиновность ученика выяснилась, мать его отправилась съ жалобою къ исправляющему должность губернатора, который, однако, сказавъ, что не имѣетъ причины не вѣрить ей, но не имѣетъ также причинъ не вѣрить и жандармскому управленію, обѣщалъ принять въ этомъ дѣлѣ участіе. Послѣ этого, гимназическое начальство получило частное письмо отъ жандармскаго управленія, въ которомъ предлагалось дѣло прекратить, такъ какъ шалость ребенка не имѣетъ значенія. Въ частномъ письмѣ жандармскаго управленія совѣтовалось, всетаки, предложить ученику Т. попросить извиненія у офицера, но г-жа Т. согласія своего на это не изъявила. Поговариваютъ также, что и гимназическое начальство, въ свою очередь, заявило высшему начальству о невозможности вести свое дѣло при такихъ слишкомъ стѣснительныхъ и пристрастныхъ отношеніяхъ, которыя существуютъ между гимназіей и жандармскимъ управленіемъ, и что обыски, не приводящіе, конечно, ни къ какимъ результатамъ, производятъ на дѣтей далеко нежелательныя впечатлѣнія и даже вредно на нихъ вліяютъ. Во время перемѣны явился въ гимназію жандармскій офицеръ и, потребовавъ отъ директора тетради всѣхъ учениковъ, сталъ ихъ перелистывать и сличать съ почеркомъ анонимнаго письма, хотя это можно было сдѣлать такъ, чтобы не знали ученики. Разсказываютъ также о нехорошемъ отзывѣ полковника на одномъ оффиціальномъ обѣдѣ о женской гимназіи и о неблагонадежности начальницы; о предложеніи одному ученику хорошаго вознагражденія за шпіонство и проч.

У насъ только и разговоровъ про эти исторіи. Эти „гимназическія исторіи“ вызвали совершенно неожиданный пріѣздъ сюда попечителя одесскаго учебнаго округа, г. Лавровскаго. Ночью, 19-го февраля, онъ пріѣхалъ, а утромъ, 20-го, посѣтилъ обѣ гимназіи и засталъ все, какъ говорятъ, врасплохъ. Попечитель предполагаетъ пробыть въ Симферополѣ болѣе недѣли, чтобы ознакомиться съ описаннымъ и другими случаями въ подробностяхъ и потомъ установить порядокъ.

Какъ видитъ читатель, бываютъ положенія, когда ученикъ перваго класса гимназіи, то-есть юнѣйшій юнецъ, можетъ быть не безъ грому уличаемъ въ вольнодумствѣ: свищетъ! И хотя въ концѣ концовъ оказывается, что онъ вовсе даже и не свищетъ, но тѣмъ пикантнѣе выходитъ этотъ поединокъ двухъ учрежденій изъ за гимназиста, который не свисталъ. Какъ бы однако ни были пикантны подобные поединки, а они имѣютъ печальное свойство затягиваться до безконечности и притягивать все больше и больше народу, волнуя иногда все общество.

Черезъ день (7-го марта) въ «Голосѣ» появилась новая корреспонденція, разсказывающая продолженіе «гимназической исторіи» такъ:

Попечитель одесскаго учебнаго округа, пріѣхавъ съ почнымъ поѣздомъ въ Симферополь, никѣмъ не встрѣченный, отправился въ гостиницу, гдѣ не объявилъ тотчасъ о томъ, кто онъ такой, чтобы гимназіи не были предупреждены.

Утромъ, часовъ въ восемь, когда въ женской гимназіи воспитанницы были на молитвѣ, попечитель явился въ гимназію и, прежде всего, одни говорятъ, сдѣлалъ выговоръ, другіе—„раскричался“ на швейцара, осмѣлившагося не стоять, какъ статуя, у двери, а отлучившагося на два шага въ корридоръ, чтобы прибрать галоши. Въ классахъ попечитель нашелъ, будто бы, во всемъ безпорядки, о чемъ заявилъ начальницѣ при ученицахъ, выражая свое не удовольствіе въ начальническомъ тонѣ и, наконецъ, „разгромилъ“ нѣкоторыхъ ученицъ, позволившихъ себѣ въ его присутствіи поправить передникъ или что-то въ этомъ родѣ.

Въ мужской гимназіи онъ нашелъ, будто бы, тоже массу безпорядковъ—у нѣкоторыхъ учениковъ не были застегнуты мундиры на всѣ пуговицы и т. п. Какъ и въ женской гимназіи, онъ, какъ говорится, разнесъ и директора и учениковъ, послѣ чего уѣхалъ. На другой день, по его приглашенію, былъ созванъ попечительный совѣтъ при женской гимназіи, на который явились губернскій и уѣздный предводитель дворянства, городской голова и другіе представители общества. На совѣтѣ, какъ и въ гимназіи, попечитель продолжалъ укорять директора мужской гимназіи, приписывая ему едва-ли не разложеніе гимназіи; въ общемъ же, рѣчь его, обращенная къ членамъ совѣта, была похожа

на обвинительный актъ противъ директора гимназіи. Рѣчь эта представителямъ общества показалась настолько странною, что одинъ изъ нихъ выразилъ удивленіе по поводу выслушанной рѣчи, назвалъ ее обвинительнымъ актомъ, причемъ пояснилъ, что скорѣе, въ порядкѣ вещей, было бы имъ, представителямъ общества, быть недовольными директоромъ и произносить его высшему начальству обвинительный актъ. Послѣ такого неожиданнаго „афронта“, попечитель оставилъ гимназію, видимо недовольный.

Толковъ объ этомъ много. Разговоры сводятся къ тому, что начальницѣ гимназіи и директору будетъ предложено выйти въ отставку, о чемъ всѣ сожалѣютъ, крайне не сочувствуя подобнымъ мѣрамъ. Оба представителя дворянства, архіерей, сильно отстаивающій директора, городской голова и многіе другіе члены общества устроили общій адресъ, въ которомъ говорятъ за оставленіе начальствъ гимназій на своихъ мѣстахъ, какъ людей вполнѣ способныхъ, которыми все общество вполнѣ довольно Губернскій предводитель дворянства отправился къ попечителю на квартиру и вручилъ ему этотъ адресъ. Преосвященный Гурій, архіепископъ таврическій, отправился въ гостиницу, къ попечителю, чтобъ увѣрить его, что общество возбуждено разными слухами и что общество желаетъ, чтобы начальство гимназій оставалось на своихъ мѣстахъ, такъ какъ можно ручаться, что нѣтъ твердыхъ основаній къ перемѣнѣ ихъ, а также, что вѣрить доносчикамъ и недоброжелателямъ нельзя и къ ихъ заявленіямъ нужно относиться осторожно. Тѣмъ не менѣе, полагаютъ, что начальство нашихъ гимназій, къ сожалѣнію общества, будетъ или уволено, или перемѣщено. Если это осуществится, то, такимъ образомъ, тайнымъ агентамъ, шпіонамъ, доносчикамъ и анонимнымъ письмамъ будетъ оказано больше вѣры, чѣмъ представителямъ общества.

Какъ назвать такое положеніе вещей, когда цѣлый городъ можетъ быть встревоженъ какими-то «тайными агентами, шпіонами, доносчиками и анонимными письмами», и когда архіепископъ, высшее духовное лицо, тщетно доказываетъ, что «вѣрить доносчикамъ и недоброжелателямъ нельзя и къ ихъ заявленіямъ нужно относиться осторожно»? «Галиматья»—это вѣрно, пѣтушій Матвѣй, galli Mathias, вмѣсто Матвѣева пѣтуха. Но представьте себѣ, какъ злорадно потираютъ руки тѣ «доносчики и недоброжелатели», которые заварили всю эту кашу. Да и какъ имъ не радоваться? Захотѣли—и отняли пѣтуха у Матвѣя и отдали Матвѣя пѣтуху, а ужъ чего, кажется, несообразнѣе? Понятное дѣло, что люди грубые, злобные, малоумные, получивъ въ распоряженіе такую магическую силу, не упустятъ случая приложить ее даже ни съ того, ни съ сего, такъ, для удовлетворенія просто безпредметно-злобнаго чувства своей мощи. Еще понятнѣе, что это орудіе пускается въ ходъ съ опредѣленною, спеціальною цѣлью нагадить непріятному человѣку, напримѣръ, оскорбившему злобнаго и малоумнаго человѣка, уличившему его въ какой-нибудь пакости или, напротивъ, оказавшему ему много услугъ. Ибо глубока глубина дрянности дрянного человѣка и съ особенно дрянною радостью проявляетъ онъ при случаѣ заемную, случайно полученную силу надъ тѣмъ, кому онъ много обязанъ: это нарочито льстить его самолюбію. Словомъ, нѣтъ низости, которая не могла бы насосаться, какъ піявка, въ такія времена, когда одного магическаго слова достаточно, чтобы отнять пѣтуха у Матвѣя и отдать Матвѣя пѣтуху.

Взятая отдѣльно, симферопольская исторія представляетъ нѣчто даже фантастическое, и надо надѣяться, что попечитель одесскаго учебнаго округа, равно какъ и министерство народнаго просвѣщенія прекратятъ, наконецъ, эту фантасмагорію, то-есть, оцѣнятъ предстательство преосвященнаго Гурія и симферопольскихъ нотаблей. Но, вѣдь, не всегда духовные и свѣтскіе нотабли хотятъ и могутъ вступить въ борьбу съ разыгравшимся звѣремъ, а даетъ онъ себя знать не въ одномъ Симферополѣ и не только въ февралѣ мѣсяцѣ.

Недавно одинъ мой старый пріятель, живущій въ провинціи, былъ по дѣламъ въ Петербургѣ. Онъ сообщилъ мнѣ, между прочимъ, въ разговорѣ, что, дескать, въ эту самую минуту у него дома происходитъ, можетъ быть, полицейскій обыскъ по нелѣпѣйшему доносу политическаго характера. Посмѣявшись надъ дѣйствительно колоссальною нелѣпостью доноса, я замѣтилъ пріятелю, что ему опасаться, во всякомъ случаѣ, нечего, потому что обыскъ кончится торжествомъ его невинности.—«А я почемъ знаю?»—возразилъ пріятель.—«Да вѣдь у васъ ничего противозаконнаго нѣтъ».—«Можетъ быть, и найдется. У меня по дѣламъ моимъ благопріятелей много, и есть между ними такіе, что ни передъ чѣмъ не остановятся, лишь бы напакостить изъ-за угла; коли такой доносъ сочинили, такъ могутъ въ мое отсутствіе и подкинуть что-нибудь...»

Я не знаю конца этой исторіи, но это все равно, ибо воодушевительно должно дѣйствовать уже самое ожиданіе, самая перспектива, въ концѣ которой красуется тотемская морошка. Воодушевительно, разумѣется, для тѣхъ маговъ и волшебниковъ, которые «знаютъ слово», и совсѣмъ не воодушевительно для мирныхъ гражданъ.

Что значитъ по нашему времени «слово», это лучше всего видно изъ недавней исторіи закрытія харьковскаго университета. Исторія эта, насколько ее можно возстановить на основаніи различныхъ корреспонденцій, состояла въ слѣдующемъ.

23-го января въ харьковскомъ дворянскомъ собраніи происходилъ танцовальный

вечеръ въ пользу общества для вспомоществованія нуждающимся студентамъ харьковскаго университета. Часовъ около пяти утра за однимъ изъ столовъ сидѣли представители мѣстной печати гг. Іозефовичъ, Говоруха-Отрокъ, студенты Ванчаковъ и Ливницъ—секретари редакціи «Южнаго Края», и профессора Ярошъ и Даневскій. Одинъ изъ трехъ молодыхъ людей, находившихся по близости этой группы, подошелъ къ профессору Даневскому съ вопросомъ: «Гдѣ Говоруха? мнѣ интересно посмотрѣть на него». Профессоръ указалъ и г. Говоруха уже протянулъ черезъ столъ руку студенту, желавшему, по его мнѣнію, съ нимъ познакомиться, но получилъ отвѣтъ: «Не торопитесь, я съ вами вовсе не желаю знакомиться, я только хочу посмотрѣть на васъ». Другой студентъ, желая мотивировать слова своего товарища, упомянулъ о какой-то«подлости», совершенной г. Говорухой. Въ чемъ эта «подлость» состояла, такъ и осталось неизвѣстнымъ. Г. Говоруха объяснялъ потомъ въ писмѣ въ редакцію «Южнаго Края», что дѣло шло о какомъ-то его поступкѣ на диспутѣ профессора Яроша, другіе указывали на какую-то статью г. Говорухи въ «Южномъ Краѣ». Какъ бы то ни было, но г. Говоруха отвѣтилъ на оскорбленіе оскорбленіемъ—пустилъ стаканомъ въ лицо оскорбителя. А вслѣдъ затѣмъ началась всеобщая драка при помощи стеклянной посуды. Событіе, какъ видите, отнюдь не міроваго значенія: къ пяти часамъ утра на веселомъ вечерѣ мало-ли что можетъ случиться. Личные счеты участниковъ битвы могли бы быть потомъ такъ или иначе сведены, и все дѣло кануло бы въ рѣку забвенія, гдѣ ему, по справедливости, и надлежитъ быть. Но г. Говоруха напечаталъ на другой день въ «Южномъ Краѣ» объяснительное письмо, до смѣшнаго не вѣроподобное. Это бы еще тоже не бѣда, но въ письмѣ этомъ были прописаны слова, которыя потомъ въ разныхъ корреспонденціяхъ получили характеристическое названіе «роковыхъ словъ». И въ самомъ дѣлѣ, то были слова роковыя. Г. Говоруха разсказываетъ, что студентъ обратился къ нему со словами: вы участвовали въ процессѣ 193-хъ и, значитъ, были честнымъ человѣкомъ, а теперь и т. д. Роковой характеръ этихъ словъ опредѣлялся упоминаніемъ о политическомъ процессѣ, а редакція «Южнаго Края», въ свою очередь, подлила масла въ огонь передовой статьей, съ громами противъ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ». Ну, и начался, разумѣется, пѣтушій Матвѣй, хотя, какъ оказалось, «роковыя слова» г. Говоруха просто выдумалъ. Богъ его знаетъ, почему и зачѣмъ онъ ихъ выдумалъ, но выдумывать подобныя вещи, во всякомъ случаѣ, скверно. Однако, надо удивляться не только облыжному письму г. Говорухи, сколько тому, что редакція «Южнаго Края», состоящая изъ профессоровъ харьковскаго университета, это письмо напечатала, да еще подпустила собственной приправы въ видѣ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ». Кассіи и Бруты рѣшительно не причемъ въ побоищѣ стеклянной посудой, а ироническій эпитетъ «чердачные», будучи лишенъ всякаго смысла, свидѣтельствуетъ только о злобномъ желаніи насолить, ибо, почему бы заправскимъ Брутамъ и Кассіямъ жить непремѣнно въ бель-этажѣ? Студенты, народъ вообще пуганый, прочитавъ роковыя слова, естественно безпокоились судьбою своихъ товарищей, такъ неосторожно предъявившихъ г. Говорухѣ свои мнѣнія о нравственномъ достоинствѣ. Они собрались попоэтому для обсужденія какъ самаго дѣла, такъ и просьбы къ совѣту университета о передачѣ его въ вѣдѣніе студентовъ. По самому дѣлу было постановлено слѣдующее рѣшеніе: признавая трехъ товарищей неотвѣтственными за отзывъ о г. Говорухѣ, выразить имъ, однако, порицаніе за то, что они сводили эти счеты на студенческомъ вечерѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, собраніе отправило трехъ депутатовъ—двухъ вольнослушателей и одного студента—къ ректору для представленія въ совѣтъ означеннаго постановленія и просьбы о прекращеніи дѣла. Ректоръ направилъ депутатовъ къ проректору, профессору Щелкову, а тотъ отказался принять постановленіе и просьбу. Тогда студенты рѣшили представить то и другое непосредственно въ совѣтъ. Но изъ залы совѣта депутаты были изгнаны криками: «вонъ! вонъ!» и призывомъ сторожей. А вслѣдъ затѣмъ совѣтъ постановилъ слѣдующее рѣшеніе: двухъ изъ оскорбителей г. Говорухи исключить изъ университета, а третьему сдѣлать строгое внушеніе; одного депутата передать прокурорскому надзору, другого исключить изъ университета, а третьяго предать университетскому суду. Этотъ суровый приговоръ вызвалъ въ свою очередь сборища товарищей пострадавшихъ молодыхъ людей, а затѣмъ университетъ былъ закрытъ...

Такимъ образомъ дѣло началось личной перебранкой и дракой между студентами и человѣкомъ, постороннимъ университету, а кончилось болѣе или менѣе жестокою карою шести молодыхъ людей и закрытіемъ университета. Что за чудеса? Какъ могъ такой ничтожный источникъ дать въ концѣ концовъ такое широкое устье? Курьезъ увеличивается еще слѣдующимъ обстоятельствомъ. Генералъ-губернатора не было въ Харьковѣ въ то время, когда разыгралась

эта печальная исторія, и нѣкоторые думаютъ, что при немъ она не имѣла бы такого крупнаго финала, ибо онъ взглянулъ бы на дѣло съ болѣе высокой точки зрѣнія. Но неужели же эта болѣе высокая точка зрѣнія была недоступна профессорамъ, людямъ, которымъ интересы университета должны бы быть, кажется, особенно близки и дороги? Господамъ профессорамъ даже изобрѣтать нечего было, потому что постановленіе студентовъ было исполнено такта и справедливости. Въ самомъ дѣлѣ, какое дѣло университету до того, что студентъ Z назвалъ г. Говоруху подлецомъ, а тотъ пустилъ ему, вмѣсто отвѣта, стаканомъ въ лицо? Самый фактъ до такой степени ничтоженъ, что въ случаѣ возникновенія этого дѣла въ міровомъ судѣ, судья, вѣроятно, прекратилъ бы его по взаимности оскорбленій. Но такъ какъ обвиняемые студенты нанесли г. Говорухѣ оскорбленіе, именно, на студенческомъ вечерѣ, то товарищи весьма основательно выразили имъ за это неприличіе порицаніе. Что же касается рѣшенія совѣта, то объ немъ можно только сказать, пародируя слова Гамлета: что г. Говоруха университету, что университетъ ему?

Недоумѣніе разрѣшается очень просто, если вспомнить, что въ промежуткѣ между ничтожнымъ началомъ исторіи и ея крупнымъ концомъ были произнесены «роковыя слова». По легкомыслію или злонамѣренно г. Говоруха приписалъ своимъ оскорбителямъ сочувственное упоминаніе о политическомъ процессѣ; по легкомыслію или злонамѣренно редакція «Южнаго Края» сболтнула о «чердачныхъ Брутахъ и Кассіяхъ»— но, разъ появился на сцену «жупелъ» вольнодумства и политической неблагонадежности, обыкновенная исторія прекратила свое теченіе и началась «исторія» въ техническомъ смыслѣ слова...

Когда же этому конецъ будетъ? Когда прекратятся эти жертвоприношенія на алтарѣ жупела, да еще и облыжнаго? Когда, наконецъ, будемъ мы, вмѣсто «исторій», имѣть исторію и осуществится пожеланіе Пушкина, торжественно повторенное г. Катковымъ на пушкинскомъ праздникѣ въ Москвѣ: «да здравствуетъ разумъ! да скроется тьма!»

Когда-нибудь все это будетъ, вѣроятно, но пока что, а теперь-то г. Катковъ не упустилъ, разумѣется, случая поэксплуатировать несчастную харьковскую исторію въ видахъ тьмы и неразумія. Но въ Харьковѣ, по крайней мѣрѣ, была исторія, то-есть скандалъ. А вотъ полюбуйтесь какъ описываютъ «Московскія Вѣдомости» годичный актъ петербургскаго университета (8 февраля), на которомъ никакого скандала не было:

«Одинъ *почтенный* профессоръ, на котораго возложено было университетскимъ совѣтомъ составленіе и чтеніе отчета о состояніи университета, *не былъ въ состояніи* исполнить это порученіе: *его принудили* нескончаемыми криками сойти съ каѳедры; чтеніе отчета было тогда поручено ректоромъ другому, *болѣе популярному профессору*, который и былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій: но только-что онъ принялся за чтеніе дальнѣйшихъ частей отчета, какъ снова раздались крики и его *заставили* читать сначала, такъ что публикѣ пришлось дважды прослушать одно и то же. Раздавался отъ времени до времени пронзительный свистокъ, а крикамъ и апплодисментамъ при всякомъ вызовѣ награждаемаго медалью студента *не было конца*».

Обратите вниманіе на подчеркнутыи слова. Кто не знаетъ дѣла, тотъ представитъ себѣ «событія 8-го февраля» такъ: выходитъ на каѳедру почтенный, благонамѣренный, но нелюбимый студентами профессоръ и начинаетъ читать отчетъ. Студенты бурно протестуютъ; бурно и успѣшно, ибо нелюбимый профессоръ удаляется и ректоръ, подчиняясь волнующейся молодежи, поручаетъ чтеніе отчета другому, любимому профессору. Затѣмъ свистки и апплодисменты... Дѣло ясное. Одно только не совсѣмъ ясно: почему «Московскія Вѣдомости», для которыхъ не существуетъ изрѣченіе «nomina sunt odiosa» и которыя никогда не отказываются ставятъ точки надъ *i*, почему онѣ не называютъ именъ, какъ «почтеннаго» профессора, такъ и «болѣе популярнаго»? Потому, что это для нихъ удобнѣе, а удобнѣе потому, что «болѣе популярный» профессоръ, привѣтствованный громомъ рукоплесканій и даже какъ бы вызванный на каѳедру мутящимся студенчествомъ, есть г. Орестъ Миллеръ. Дѣло было такъ. Отчетъ долженъ былъ читать г. Помяловскій, профессоръ дѣйствительно почтенный, но отличающійся слабымъ голосомъ. Когда это, при чтеніи отчета, обнаружилось, то въ публикѣ послышались слова: «громче! громче!» Г. Помяловскій громче не могъ и потому, съ его согласія, ректоръ попросилъ прочитать отчетъ г. Миллера. Выборъ былъ вполнѣ натуралень: г. Орестъ Миллеръ есть испытанный и охочій чтецъ, постоянно читающій то собственныя публичныя лекціи, то чужую прозу и чужіе стихи на разныхъ литературныхъ вечерахъ. Что можетъ быть проще? Что же касается популярности г. Ореста Миллера, то, сколько мнѣ извѣстно, учащаяся молодежь дѣйствительно очень цѣнитъ его добрый характеръ. Можетъ быть, однако, популярность г. Миллера имѣетъ и другія, гораздо болѣе широкія основанія, заложенныя въ самомъ образѣ мыслей почтеннаго профессора. Въ такомъ случаѣ «Московскія Вѣдомости» могли бы только радоваться популярности г. Ореста Миллера, ибо онъ есть извѣстный патріотъ своего отечества, почи-

татель г. Аксакова, пропагандистъ Достоевскаго, защищающій «основы» по мѣрѣ своихъ силъ и способностей. Но даже невинный образъ г. Ореста Миллера не удержалъ г. Каткова отъ поползновенія поиграть жупеломъ вольнодумства и опредѣлилъ своею несомнѣнною голубиною чистотою только одну подробность: умолчаніе имени «болѣе популярнаго» профессора. Разбирай, дескать, тамъ, кого привѣтствовали студенты громомъ рукоплесканій и кто пользуется у нихъ популярностью—можетъ, революціонеръ какой!.. Комическое, собственно говоря, происшествіе. Судя по тону «Московскихъ Вѣдомостей», вы такъ и ждете, что вамъ покажутъ необузданнаго демагога съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ, съ пламенными рѣчами на устахъ. И вдругъ выскакиваетъ маленькая, аккуратная, благонамѣреннѣйшая фигура О. Ѳ. Миллера... Овидіевы превращенія...

О, пѣтушій Матвѣй!..

Независимо, однако, отъ клеветническихъ науськиваній и злобнаго потрясанія разными жупелами, самый фактъ университетскихъ «исторій» не подлежитъ сомнѣнію. «Событія 8 февраля» на годичномъ актѣ петербургскаго университета сочинены «Моск. Вѣдом.» при помощи превращеній О. Ѳ. Миллера въ революціоннаго дѣятеля. Это просто враки. Но не враки харьковская исторія и многія другія. Разные люди объясняютъ ихъ разно. Но не безъинтересно было бы слышать объясненіе отъ самаго учащагося люда, не въ примѣненіи къ тому или другому частному случаю, причемъ такъ легко запутаться въ подробностяхъ и изъ-за деревьевъ не увидѣть лѣса, а въ возможно общей формѣ. Съ этою именно цѣлью мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе читателей на доставленную мнѣ, за подписью нѣсколькихъ студентовъ, записку подъ заглавіемъ: «Корни университетскихъ исторій и безпорядковъ».

Записка мотивируетъ свое происхожденіе распространившимся передъ 8-мъ февраля въ обществѣ и, къ счастію, несбывшимися ожиданіями какого-то скандала, какой-то исторіи. Авторы указываютъ и на деревянную перегородку, раздѣлившую для чего-то передъ самымъ актомъ залу на двѣ части, и на радость печати, что актъ прошелъ благополучно. Всѣ эти опасенія и ожиданія свидѣтельствуютъ объ общепризнанности факта недовольства студентовъ своимъ положеніемъ, недовольства, которое мѣшаетъ мирному занятію наукой. Въ чемъ же дѣло? Авторы разсуждаютъ такъ: «Мы—русскіе студенты; мы молодые люди въ возрастѣ отъ 18-ти до 30-ти лѣтъ, въ возрастѣ, который способенъ отдаваться до самопожертвованія, сильно любить и сильно не любить. Мы окончили курсъ среднихъ учебныхъ заведеній и аттестованы, какъ люди зрѣлые въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Таковыми мы можемъ признать себя не только потому, что обладаемъ аттестатами зрѣлости, но и по другому, болѣе основательному соображенію. Умственная и нравственная зрѣлость достигается двумя и только двумя путями: путемъ научнаго образованія и путемъ опыта политической жизни. Тамъ, гдѣ не существуетъ этотъ послѣдній, воспитывающій опытъ, тамъ остается только первый путь. Кто же мы по научному образованію? Въ Россіи болѣе 80-ти милліоновъ жителей, а всѣхъ, получившихъ среднее и высшее образованіе, не наберется и 800 тысячъ. Слѣдовательно, по образовательному цензу, мы правоспособны. Но правамъ должны соотвѣтствовать обязанности и, въ качествѣ студентовъ, обязанности наши состоятъ въ образованіи и воспитаніи изъ себя полезныхъ гражданъ. Обязанность двоякая: умственное образованіе и гражданское воспитаніе. Въ стѣнахъ университета все будетъ спокойно, когда мы будемъ видѣть, что въ этихъ стѣнахъ одинаково и совмѣстно достигаются обѣ указанныя цѣли. Но онѣ достижимы только при двухъ условіяхъ: при свободной корпораціи профессоровъ, улучшающей составъ образовывающей силы, и при таковой же корпораціи студенчества, обезпечивающей, защищающей, поддерживающей, граждански-воспитывающей это студенчество».

Я почти дословно передалъ содержаніе первой части записки, съ сохраненіемъ ея нѣсколько сухой схематичности и молодой категоричности. Подробности мотивовъ окончательнаго вывода требуютъ, конечно, поясненій и дополненій. Но въ общемъ, высказанныя запиской пожеланія, приложенныя хотя бы, напримѣръ, къ харьковской исторіи, несомнѣнно помогли бы устраненію ея печальнаго финала. Весьма вѣроятно, что самая возможность товарищескаго суда, въ связи съ другими элементами «гражданскаго воспитанія», не допустила бы оскорбителей г. Говорухи до сведенія съ нимъ счетовъ путемъ публичнаго скандала. А ужъ это-то навѣрное, что разъ скандалъ произошелъ, товарищескій судъ повелъ бы къ безсравненія выгоднѣйшимъ для университета и для всего общества результатамъ, чѣмъ исключенія, закрытія и тому подобныя вещи, столь часто практикуемыя и ничего не достигающія. Но, затѣмъ, остаются еще харьковскіе профессора, которые такъ дурно воспользовались находившеюся въ ихъ рукахъ газетой и, вмѣсто естественной ихъ въ этомъ случаѣ роли миротворцевъ, сыграли

роль подстрекателей и обличителей. Остается, наконецъ, вопросъ: удовольствуется-ли учащійся людъ своими корпоративными дѣлами, если въ стѣнахъ университета имъ будетъ предоставлена безпрепятственная возможность «умственнаго образованія и гражданскаго воспитанія»?

Авторы записки отвѣчаютъ на этотъ вопросъ. Они не отрицаютъ, что отдѣльныя личности изъ учащейся молодежи, при томъ обыкновенно наиболѣе выдающіяся въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, нерѣдко выходятъ за предѣлы собственно студенческихъ дѣлъ и занятій и оказываются, что называется, «неблагонадежными». Какъ съ этимъ быть? Отдѣлить козлищъ отъ овецъ и козлищъ въ огородъ не пускать? Но авторы записки справедливо замѣчаютъ, что «неблагонадежность не опредѣляется никакими внѣшними признаками, она не обусловлена ни имущественнымъ, ни сословнымъ, ни какими другими различіями и проявляется только въ своихъ слѣдствіяхъ, то-есть слишкомъ и слишкомъ поздно». Въ самомъ дѣлѣ, никто, разумѣется, не можетъ возражать противъ желанія университетовъ, находящихся постоянно подъ мечомъ Дамокла-Каткова и иныхъ, принимать мѣры противъ вторженія «неблагонадежныхъ» элементовъ. Мѣры и принимаются и, однако, ничего не гарантируютъ. Ясно, что корни затрудненія находятся совсѣмъ не въ стѣнахъ университета, а гдѣ-то внѣ ихъ, куда попечительная дѣятельность университетскихъ начальствъ проникать не можетъ—въ семьѣ, въ обществѣ, въ государствѣ. Авторы записки говорятъ: вышеупомянутыя ближайшія, непосредственныя цѣли учащагося люда имѣютъ характеръ только подготовленія къ цѣли болѣе отдаленной, а именно, къ полезной общественной дѣятельности. Научное образованіе и нравственное самовоспитаніе имѣютъ цѣну только при условіи увѣренности въ осуществленіи цѣли конечной. «Но можетъ-ли существовать такая увѣренность у русскихъ студентовъ? Могутъ-ли они сказать себѣ: теперь намъ нужно только спокойно запастись возможно большими знаніями да поддерживать въ себѣ вложенные Богомъ общественные инстинкты, а тамъ, по выходѣ изъ университета, насъ ждетъ безопасная общественная дѣятельность, гдѣ возможно будетъ примѣнить всю силу своихъ способностей и знаній и тѣмъ отплатить за свое воспитаніе вынесшему насъ на своихъ плечахъ народу?» Отвѣтъ понятенъ и авторы въ концѣ концовъ формулируютъ его такъ: «чтобы дѣти» не заботились чрезмѣрно и несвоевременно о своихъ правахъ, надо, чтобы эти права были у «отцовъ».

Представляя эти соображенія на благоусмотрѣніе читателя, я прошу его нарисовать себѣ мысленно такую картину Учащійся юноша ставитъ себѣ въ жизни скромнѣйшую цѣль и мечтаетъ всего на всего, напримѣръ, о роли учителя гимназіи, гдѣ онъ будетъ старательно и добросовѣстно сѣять сѣмена просвѣщенія. И вдругъ онъ слышитъ, что какіе-то «доносчики, шпіоны и анонимныя письма», съ которыми даже преосвященный архіепископъ Гурій борется вотще, произвели разгромъ симферопольской гимназіи... А вѣдь онъ юноша, у него кровь ходуномъ ходитъ. Надо судить по человѣчеству...

Вотъ и харьковскихъ профессоровъ я готовъ судить по человѣчеству. Я не думаю, чтобы они изъ сознательной, злостной мстительности пустили въ ходъ «чердачныхъ Брутовъ и Кассіевъ» и другія «роковыя слова». Конечно, нѣкоторая моментальная озлобленность, вѣроятно, была Но не въ ней, всетаки, дѣло главнымъ образомъ, а въ томъ, что харьковскіе профессора подобно многимъ другимъ россійскимъ гражданамъ, не могутъ слышать равнодушно слова «жупелъ»: сейчасъ у нихъ, какъ у Настасьи Панкратьевны, «руки-ноги затрясутся». А старый кляузникъ Мудровъ и радъ, что на такую напалъ, и все подбавляетъ роковыхъ словъ: «обаче», говоритъ, или «вотъ, напримѣръ, «металлъ», что-съ? каково слово?»

Но право же, господа, это, наконецъ, стыдно. Такая мы, можно сказать, большая держава и вдругъ Настасья Панкратьевна!.. Она вѣдь просто дура, Настасья-то!

XIII.

Все французъ гадитъ *).

«Все французъ гадитъ». Кажется, французъ, а можетъ быть и англичанинъ. Не помню цитаты. Но это, пожалуй, безразлично, потому что намъ рѣшительно всѣ гадятъ, кромѣ насъ самихъ, разумѣется. Сами по себѣ, мы такъ чисты, такъ чисты — «чище снѣга альпійскихъ вершинъ»; чисты и притомъ смиренны, благодушны, хотя и грозны врагамъ. Понять даже трудно, отчего намъ, при подобныхъ совершенно неблагопріятныхъ условіяхъ, всетаки всѣ гадятъ: чистоты нашей не цѣнятъ, грозы не боятся, точно мы вовсе не чисты и не грозны.

Прежде намъ гадила преимущественно Европа, за что мы ее, независимо отъ грома оружія, обзывали всю цѣликомъ «гнилымъ западомъ». Это въ общемъ, а затѣмъ, раздавали всѣмъ сестрамъ по серьгамъ въ отдѣльности. Англію обзывали «коварнымъ

*) 1882 г., апрѣль.

Альбіономъ», коварнымъ и «рыжимъ», что выходитъ чрезвычайно язвительно; о французахъ полагали, что «разсудка французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ бы за несчастіе»; объ нѣмцахъ и говорить нечего, ибо «колбасники», за исключеніемъ Австріи, которая не столько колбасница, сколько «неблагодарная». И въ самомъ дѣлѣ, неблагодарность черная: мы-ли не старались возстановить «порядокъ» въ Австріи, а впрочемъ, и въ Неаполѣ, и въ Пьемонтѣ, и даже въ далекой Испаніи, гдѣ шумитъ-бѣжитъ Гвадалквивиръ, совершенно насъ не трогая. И вдругъ, вмѣсто любви и признательности— гадятъ. Ну, а далѣе идутъ уже разные «мятежные венгры», «физики голландскіе» и прочая шушера, вниманія не стоющая. Вотъ развѣ еще норвежцевъ стоитъ помянуть, которые спаиваютъ нашихъ соотечественниковъ на крайнемъ сѣверѣ своимъ скернымъ, да еще контрабандным ромомъ, и отбиваютъ хлѣбъ у русскихъ рыбопромышленниковъ. Еслибы не этотъ проклятый норвежскій ромъ, мы не знали бы, что такое пьянство, и каждый трудящійся русскій человѣкъ самъ пожиналъ бы плоды трудовъ своихъ: норвежскій ромъ гадитъ, а сами мы чище снѣга альпійскихъ вершинъ. Кромѣ того, въ своемъ собственномъ отечествѣ мы имѣемъ «безмозглыхъ поляковъ» и «пархатыхъ жидовъ», которые гадятъ изо всѣхъ силъ. Ко всему этому мы давно уже привыкли, присмотрѣлись и въ обыкновенное время довольно лѣниво, точно съ просонковъ, еле ворочаемъ языкомъ: «все французъ гадитъ». Но въ минуты чрезвычайной любви къ отечеству и народной гордости, этотъ языкъ начинаетъ ворочаться быстро и рѣшительно; столь быстро и рѣшительно, что мысль за нимъ не поспѣваетъ, вслѣдствіе чего онъ безо всякаго контроля болтаетъ многое уже ни съ чѣмъ несообразное. Откровенно говоря, мнѣ уже и то кажется довольно несообразнымъ, что будто Австрія, напримѣръ, должна быть намъ вѣчно благодарна за возстановленіе «порядка», который нынѣ уже тамъ не существуетъ. Но во времена необузданности языка, по случаю любви къ отечеству и народной гордости (иные называютъ такія времена временами «подъема духа»), несообразность прорывается бурнымъ потокомъ, рветъ плотины, сноситъ мосты. Таково переживаемое нами нынѣ время. Кто усомнится въ нашей любви къ родной землѣ, тому мы можемъ зажать ротъ хотя бы исторіей уфимскихъ и другихъ родныхъ земель, а что мы должны гордиться, объ этомъ, кромѣ уфимской, свидѣтельствуютъ и безчисленныя другія исторіи. Всѣ условія для подъема духа и необузданности языка на лицо, и вотъ...

Впрочемъ, теперь дѣло обостряется еще тѣмъ, что намъ начинаетъ гадить не только гнилой западъ, а и востокъ.

Можете вы себѣ представить, что въ тифлисскомъ театрѣ была дана историческая драма «Родина» на грузинскомъ языкѣ, въ которой изображалось торжество грузинъ надъ персіянами! А тутъ еще и армяне затѣяли свой театръ въ Тифлисѣ. Каково положеніе русскаго патріота своего отечества, когда какіе-то грузины и армяне осмѣливаются имѣть въ Россіи свой собственный театръ, свои историческія преданія, свою Куру и Арагву, которыя, впрочемъ, шумятъ, бѣгутъ, нисколько насъ не трогая. Но есть солнце на небѣ, есть М. Н. Катковъ въ Москвѣ. Проницательнымъ взоромъ полководца, посѣдѣвшаго въ бояхъ за отечество, онъ усмотрѣлъ, что намъ собираются гадить еще съ одной стороны, и, сдѣлавъ строгое внушеніе кавказскому цензурному комитету, вмѣстѣ съ тѣмъ, предложилъ «продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимъ»... Это было предложеніе высокоблагородное и глубоко-патріотическое. Но, увы! хотя «Московскія Вѣдомости» и продолжаютъ издавать громы, но это уже не туча, а только куча. Самъ же М. Н. Катковъ такъ много и такъ неустанно мелетъ, что, наконецъ, его скоро поставятъ вмѣсто декораціи мельницы въ оперѣ «Русалка» и оперный князь будетъ, указывая на него, меланхолически пѣть: «вотъ мельница! она ужъ развалилась»!.. Да, она развалится, эта бойкая, шумная мельница, и стократное эхо не будетъ вторить ея гулу. Уже и теперь, вмѣсто послушнаго эхо, появилось въ газетѣ «Кавказъ» опроверженіе кавказскаго цензурнаго комитета, непочтительнаго, но, надо признаться, весьма основательно доказывающее, что мельница не понимаетъ, что, именно, она мелетъ. А спеціально за грузинскія знамена вступился тифлисскій предводитель дворянства, г. Магаловъ. Въ письмѣ въ редакцію «Голоса» (№ 70) г. Магаловъ пишетъ, между прочимъ, по поводу продажи грузинскихъ знаменъ въ циркъ, слѣдующее: «Въ мірѣ нѣтъ варвара, который не уважалъ бы народной святыни, служащей эмблемою чести и національнаго достоинства». Я въ этомъ дѣлѣ мало понимаю, но думаю, всетаки, что г. Магаловъ правъ. По крайней мѣрѣ, вотъ эпизодъ, вычитанный мною въ недавно вышедшей книжкѣ Маслова «Завоеваніе Ахалъ-Теке. Очерки изъ послѣдней экспедиціи Скобелева». Въ одномъ изъ сраженій, предшествовавшихъ взятію Денгиль-Тепе, у 4-го баталіона апшеронскаго полка текинцы отняли знамя. Это было большое огорченіе для русскаго отряда, чуть-ли не большее, чѣмъ потеря въ людяхъ, которыхъ тоже не

мало погибло въ несчастномъ дѣлѣ. Передъ штурмомъ, генералъ Скобелевъ издалъ приказъ, которымъ назначилъ 4 й апшеронскій батальонъ въ голову штурмовой колонны, дабы онъ могъ искупить потерю знамени. Затѣмъ, при взятіи Денгиль-Тепе произошло слѣдующее: «Куропаткинъ съ своимъ штабомъ уже былъ на бреши. Въ это время со стѣны подошло нѣсколько охотниковъ, неся какое-то знамя... Это было знамя 4-го апшеронскаго батальона, которое *хранилось у кибитки Мурадъ-хана, такъ какъ текинцы считаютъ знамя тоже (?!) за святыню.* Знамя было отнято охотникомъ-апшеронцемъ. Туркестанцы и ширванцы радостнымъ ура привѣтствовали дорогой трофей» («Завоеваніе Ахалъ-Теке», стр. 141).

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ уваженія къ «эмблемамъ чести и національнаго достоинства» дикій текинецъ Мурадъ-ханъ оказывается гораздо болѣе свѣдущимъ человѣкомъ, чѣмъ М. К. Катковъ. А г. Катковъ не первый встрѣчный, онъ одинъ изъ вождей «національной партіи», «національной политики». Мельница въ непродолжительномъ времени развалится, это вѣрно, но пока она еще шумитъ, гудитъ и назойливо вторгается своимъ шумомъ въ слухъ мимоходящихъ. И если представитель русской національной политики предлагаетъ, въ отместку за невинную грузинскую пьесу, продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимъ, то не слѣдуетъ-ли изъ этого, что мы не чище не только снѣга альпійскихъ вершинъ, но даже дикихъ текинцевъ? Родная земля не клиномъ сошлась на г. Каткова. Это точно. Есть на этой землѣ люди, умѣющіе различность добро и зло, черное и бѣлое, истину и ложь, достоинство и мерзость. Но до сихъ поръ слишкомъ часто обстоятельство складываются такъ, что впереди насъ всѣмъ видные, «что городъ на горѣ», и всѣмъ слышные, точно трубы іерихонскія, стоятъ люди, Богомъ обиженные насчетъ разумѣнія добра и зла. Русскіе люди въ цѣломъ, конечно, неповинны въ дикомъ требованіи г. Каткова продать грузинскія знамена въ циркъ для украшенія пантомимъ. Да это и чистый вздоръ въ узко практическомъ смыслѣ, то есть грузинскія знамена останутся неприкосновенны на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они и теперь находятся. Но бываетъ такъ, что предложенія, указанія, инсинуаціи и прямо доносы «Московскихъ Вѣдомостей», отличаясь совершенно текинскою дикостью, не такъ шутовски смѣшны, а потому способны оказывать прямое вліяніе на теченіе нашей жизни. Однако, и въ дѣлѣ грузинскихъ знаменъ, совсѣмъ не вздоръ то раздраженіе, которое примыкаетъ къ любопытному вопросу: кто кому гадитъ вообще и кто намъ гадитъ въ особенности? Дѣло хорошо характеризуется слѣдующими словами г. Магалова. Онъ спрашиваетъ: о какихъ это грузинскихъ знаменахъ говорятъ «Московскія Вѣдомости»? «Не о томъ-ли знамени, подъ сѣнью котораго Грузія, очутившись «передовымъ редутомъ христіанской обороны противъ ислама», въ продолженіе двѣнадцати столѣтій, съ честью защищала, кровью своихъ сыновъ, православный крестъ, донесенный ею «до порога девятнадцатаго вѣка?» Не о тѣхъ-ли, наконецъ, знаменахъ, которыя пожалованы грузинскому народу: одно—императоромъ Николаемъ Павловичемъ за *преданность* русскому престолу и за заслуги передъ отечествомъ, а другое—георгіевское, въ Бозѣ почившимъ императоромъ Александромъ Николаевичемъ за блистательное дѣло конной дворянской дружины при Чолокѣ, 4-го іюня 1854 года? Все это—знамена, которыя грузины всегда высоко и съ честью держали, оправдывая довѣріе своихъ монарховъ на поляхъ Малой Азіи, у твердынь Черкесіи, Чечни и Дагестана, совмѣстно обагренныхъ кровію лучшихъ сыновъ Россіи и Грузіи. Какое же изъ этихъ грузинскихъ знаменъ «Московскія Вѣдомости» совѣтуютъ сдать въ циркъ».

Вопросъ, въ самомъ дѣлѣ, интересный, но который, конечно, останется безъ отвѣта, ибо «Московскія Вѣдомости» изложили свою идею единственно по случаю необузданности языка и въ тѣхъ видахъ, что во времена «подъема духа» бездѣйствуютъ законы логики и приличія, здраваго смысла и нравственности. Но посмотрите, однако, что изъ этого выходитъ. Грузины имѣютъ всѣ основанія ссылаться на свои знамена, какъ на знаки ихъ преданности русскому государству, и вдругъ представитель русской «національной политики» предлагаетъ продать эти обагренные кровію знаки въ циркъ, гдѣ пестрые арлекины и бѣлые пьеро, ломающіеся клоуны и триковыя наѣздницы будутъ ими украшаться. Можетъ-ли это обстоятельство усилить любовь грузинъ къ Россіи? Можно-ли ожидать, чтобы совершенно посторонній человѣкъ, которому нѣтъ даже ровно никакого дѣла до грузинскихъ знаменъ и соотвѣтственныхъ заслугъ передъ русскимъ государствомъ, согласился: «да, молъ, сами вы чище снѣга альпійскихъ вершинъ, а только вамъ французъ гадитъ». Какой же, помилуйте, французъ! Просто г. Катковъ гадитъ!

Замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что представители и вожди русской «національной партіи», «національной политики», «національныхъ интересовъ» съ чрезвычайною горячностью требуютъ отъ всѣхъ народовъ

міра уваженія къ нимъ, любви, преданности, благодарности, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы всѣ народы міра насъ ненавидѣли. Я не говорю о тѣхъ возмутительныхъ картинахъ нашей внутренней жизни, которыя въ значительной степени обязаны своимъ существованіемъ, именно, этимъ блюстителямъ «національныхъ» интересовъ и которыя будучи предъявлены вселенной, отнюдь не способны завоевать ея симпатіи. Не говорю даже объ томъ, какъ мы издревле и по сейчасъ беремъ на себя роль всесвѣтныхъ полиціймейстеровъ или брандъ-маіоровъ и водворяемъ «порядокъ», возстановляемъ потрясенныя «основы» и тушимъ пожары на всемъ пространствѣ отъ Испаніи до Болгаріи. Нѣтъ, возьмите только наши пышныя разсужденія о принципахъ національности, о самобытности и поставьте ихъ рядомъ съ продажей грузинскихъ знаменъ, съ запрещеніемъ армянскаго театра, малорусской рѣчи и проч., и проч., и проч., со всѣми этими архи-текинскими, безцѣльными, безсмысленными оскорбленіями и науськиваніями. И потомъ вздохъ угнетенной невинности и—«французъ гадитъ»...

Не считая крупныхъ вещей, въ родѣ еврейскихъ погромовъ или incident Scobeleff, вы чуть не каждый день можете встрѣтить въ газетахъ по этой части или выходки, отъ которыхъ покраснѣлъ бы Мурадъ-ханъ, или извѣстія, превосходящія своею фантастическою занимательностью сказки Шехерезады. То вдругъ появится слухъ о предстоящей обязательной натурализаціи всѣхъ иностранцевъ, проживающихъ въ Россіи болѣе пяти лѣтъ; слухъ, рѣшительно ни съ чѣмъ несообразный, ибо хотя мы и доселѣ вѣримъ въ возможность закиданія Европы шапками, но въ дѣйствительности Европа своихъ людей въ обиду не дастъ. Тѣмъ не менѣе, нелѣпый слухъ ходитъ и комментируется газетами. А то вдругъ произойдетъ слѣдующій высоко комическій эпизодъ.

Есть въ Подольской губерніи городъ Проскуровъ, въ коемъ, по календарю Гоппе, числится 12 тысячъ жителей. Въ числѣ этихъ 12 тысячъ есть одинъ ирландецъ Макъ-Доль. Поселился онъ тамъ давно, поселился нищимъ, но теперь оказывается человѣкомъ состоятельнымъ, каковое состояніе пріобрѣтено имъ «личнымъ трудомъ» и благодаря «гуманному обращенію съ нимъ правителей». По словамъ корреспондента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», этотъ Макъ-Доль «5-го февраля явился въ общее собраніе городской думы, заявляя свою просьбу объ исходатайствованіи ему передъ нашимъ правительствомъ перехода въ подданство Россіи, причемъ съ рыданіемъ сталъ выяснять собранію о тяжкомъ гнетѣ, невыносимыхъ страданіяхъ, отнятіи всякихъ гражданскихъ правъ и постановленіе почти въ невольничье состояніе его братій-христіанъ въ Ирландіи, угнетаемыхъ и порабощаемыхъ по произволу англійскими лордами, добавляя, *что вся Ирландія намѣрена искать противъ англійскихъ лордовъ высокаго и гуманнаго покровительства Россіи*. Это заявленіе согбеннаго старостью и убѣленнаго сѣдинами ирландца, равно своеобразное предложеніе прочесть, какъ доказательство тиранніи и свирѣпства лордовъ надъ ирландцами, принесенныя имъ двѣ книги: «Мститель», Шарля Делиса, переводъ съ французскаго, и «Кровавыя ночи», исторія Ирландіи, помѣщенная въ газетѣ «Новости» за 1882 годъ, при страдальческомъ типическомъ выраженіи лица несчастнаго произвели сильное, потрясающее впечатлѣніе на слушателей. Тогда предсѣдатель, городская голова предложилъ собранію прочесть публично предъявляемыя Макъ-Долемъ книги, и предложеніе это было встрѣчено восторженно, съ криками, «благодаримъ! прочесть, прочесть!». Затѣмъ началось чтеніе, и при чтеніи всѣхъ ужасовъ своеволія, опустошеній и убійствъ, многіе изъ членовъ собранія плакали. Послѣ этого, по приглашенію городскаго головы, была составлена собраніемъ слѣдующая *резолюція*:

«а) Поступки съ ирландцами англійскихъ лордовъ внушаютъ чувства сожалѣнія и отвращенія, но эти поступки, составляя явленіе внутренней жизни, не проникнутой еще цивилизаціею, не могутъ стать предметомъ оффиціальной переписки или разслѣдованія. Возможны развѣ при случаѣ дружескія представленія со стороны Россіи, такъ какъ всякія другія дѣйствія, по вопросу объ отношеніяхъ англійскихъ лордовъ къ ирландцамъ, скорѣе повредятъ, чѣмъ помогутъ означеннымъ несчастнымъ.

«б) Войти съ представленіемъ къ г. губернатору о принятіи въ русское подданство ирландца Макъ-Доля, съ тѣмъ, не признается-ли возможнымъ, независимо этого, ходатайствовать передъ правительствомъ *о переселеніи всѣхъ вообще ирландцевъ въ Россію, на казенныя земли, взамѣнъ евреевъ*, недовольныхъ нашимъ правительствомъ, которыхъ англійскіе лорды, вѣроятно, позаботятся водворить у себя, вмѣсто ирландцевъ, какъ людей, болѣе къ нимъ подходящихъ».

Резолюція была принята съ единодушнымъ восторгомъ, а затѣмъ произошло... торжественное поднесеніе городскому головѣ «вѣнка изъ бѣлыхъ лилій»!

Участвовать въ современной русской

жизни необыкновенно тяжело, потому что есть только два возможные вида участія въ ней: можно участвовать или своими боками, или же въ качествѣ созерцателя, наблюдателя, классификатора. Своими боками никому не охота, да и то сказать: охота-ли не охота, а во времена «подъема духа» это—дѣло «божьей планиды», таинственнаго и непредвиднмаго теченія судебъ. Простой созерцатель, наблюдатель, лѣтописецъ, классификаторъ, и тотъ въ этомъ отношеніи нисколько не гарантированъ, тѣмъ болѣе, что роль созерцателя необыкновенно трудна въ другомъ смыслѣ. Для нея нуженъ совершенно особенный темпераментъ, спокойный, ровный, умѣющій, какъ говорится, объективировать факты. А какъ объективировать то, что васъ бьетъ, оскорбляетъ, волнуетъ? Вотъ, еслибы можно было какъ-нибудь вывернуться изъ нашей жизни и смотрѣть на нее откуда-нибудь со стороны, съ точки въ пространствѣ, о! тогда она представила-бы интересъ чрезвычайно занимательной фееріи, и весь этотъ переплетъ изъ бѣлыхъ лилій, грузинскихъ знаменъ и прочей разной чепухи былъ бы вполнѣ умѣстенъ...

Читатель можетъ замѣтить, однако, что гг. Катковъ, Макъ-Доль и многіе другіе живутъ еще на третій манеръ: они не своими боками участвуютъ въ жизни, а, напротивъ, до чужихъ боковъ добираются; не безстрастнымъ созерцаніемъ занимаются, а разрушаютъ грузинскія интриги и протягиваютъ руку помощи угнетеннымъ ирландцамъ. Я и не спорю, что означеннымъ господамъ «живется весело, вольготно на Руси». Но, собственно говоря, какая же это жизнь? Это просто сонъ съ бредомъ; дикій сонъ, при которомъ отсутствуетъ чувство дѣйствительности и разнузданная фантазія оперируетъ надъ химерическими образами и картинами. Прислушиваясь къ этому бреду, вы, наконецъ, чувствуете, что и сами потеряли масштабъ дѣйствительности и фантазіи, возможнаго и невозможнаго? Возможна напримѣръ проскуровская комедія или невозможна? Происходила она въ дѣйствительности или это мистификація, устроенная веселымъ корреспондентомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» ради потѣхи? Вы понимаете только, что вопросительный знакъ здѣсь, по малой мѣрѣ, столько же умѣстенъ, сколько и восклицательный, но съ твердою увѣренностью отвѣтить на вопросъ никакъ не можете. Этотъ согбенный старецъ, обогатившійся «благодаря гуманному обращенію съ нимъ правителей» Подольской губерніи и кидающій Англіи перчатку изъ глубокой глубины города Проскурова; эти невинные и, можно сказать, пасторальные проскуровскіе обыватели, впервые, изъ книжекъ знакомящіеся съ «ужасами своеволія, опустошеній и убійствъ»; эти вѣнки изъ бѣлыхъ лилій и великодушное предоставленіе русскихъ казенныхъ земель ирландцамъ, почемъ вы знаете, что это такое? Вы отвѣтите, пожалуй, что это прекрасный сюжетъ для оперетки во вкусѣ Оффенбаха. Такъ, но откуда взятъ этотъ сюжетъ? изъ жизни или области фантазіи? быль это или сказка? Неизвѣстно.

И въ такой фантастической неизвѣстности мы живемъ не день и не два... Надо, впрочемъ, нынѣ считать время не днями, а ночами. Днемъ, при солнечномъ свѣтѣ, невозможны такія сочетанія несочетаемаго, днемъ домовые людей не душатъ и лошадямъ гривъ не заплетаютъ, барабанщикъ не встаетъ изъ гроба и не бьетъ фальшивой тревоги, вѣдьмы не слетаются на Лысую гору и всякая вообще чертовщина спитъ. Современникъ долженъ вести не дневникъ, а ночникъ. Примѣрно такъ.

Ночь первая. Видѣлъ огромнаго рака, весьма схожаго съ обыкновеннымъ рѣчнымъ ракомъ, но, въ противность пословицѣ и законамъ природы, этотъ ракъ свиснулъ; происходило же это въ городѣ Проскуровѣ, Подольской губерніи и проскуровскій городской голова, увѣнчанный бѣлыми лиліями, картинно сидѣлъ на свистящемъ ракѣ верхомъ. При этомъ зрители проливали слезы, а такъ какъ проскуровскіе обыватели чрезвычайно чувствительны, то и слезъ они пролили много, цѣлую рѣку. И рѣка та потекла въ сердце Россіи, въ Москву, въ предѣлахъ которой раздѣлилась на два рукава: одинъ потекъ къ ногамъ М. Н. Каткова, а другой къ ногамъ И. С. Аксакова. Здѣсь слезы окаменѣли, кристализовались и образовали цѣлыя горы алмазовъ. Разработкою этихъ алмазныхъ горъ отечество обогатилось; нетолько голодные насытились, холодные согрѣлись, нагіе одѣлись, но остался еще солидный фондъ, спеціально предназначенный на поддержаніе національной политики, на устрашеніе народовъ неблагодарныхъ и на поощреніе благодарности народовъ угнетенныхъ. Хотя за всѣмъ тѣмъ и осталось нѣсколько голодныхъ соотечественниковъ, но они питались внутренностями М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, которые, подобно пеликану, и самыхъ внутренностей своихъ для истинныхъ сыновъ отечества не жалѣютъ. Устрашенный французъ пересталъ гадить, ракъ же болѣе не свистѣлъ.

Ночь вторая. Видѣлъ цѣлое полчище русскихъ, еврейскихъ, польскихъ, грузинскихъ и иныхъ женщинъ. И тѣ женщины плакали. Плакали жены, плакали сестры, плакали матери. Женины слезы какъ роса падали: прозрачными, красивыми каплями, которыя

скоро высыхали. Сестрины слезы какъ ручей текли. Материнскія слезы рѣкой разлились. Приняла въ себя та рѣка и улетучившіяся женины слезы, и сестрины журчащіе ручьи, и потекли все дальше, дальше въ сердце Россіи, въ Москву, гдѣ опять же раздѣлилась на два рукава. Одинъ потекъ къ И. С. Аксакову, другой къ М. Н. Каткову. Но эти слезы не окаменѣли, да и не вышли бы изъ нихъ горы алмазовъ: замутились-ли онѣ по дорогѣ, докатываясь до сердца Россіи, или прямо кровавыми слезами матери плакали, только не было въ волнахъ этой рѣки алмазной прозрачности и безцвѣтности; скорѣе рубиномъ она отливала. Дотекла рѣка къ подножію М. Н. Каткова и И. С. Аксакова, а тѣ тоже въ женщинъ превратились, и именно въ тѣхъ женщинъ, которыя говорятъ: «не брито, а стрижено»! Облила рѣка слезъ ноги московскихъ вождей, а они говорятъ: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка выше, колѣна обняла а они: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка еще выше, по грудь, по шею и залила наконецъ рты, твердившіе: «стрижено, стрижено»! Тогда московскіе вожди подняли руки и движеніемъ вторыхъ и третьихъ пальцевъ, схожимъ съ движеніемъ стригущихъ ножницъ, мимикою говорили: «стрижено, стрижено»! Поднялась рѣка слезъ еще и покрыла вождей до самыхъ концовъ упорныхъ пальцевъ. Потомъ рѣка отхлынула, а вожди такъ и остались въ видѣ монументовъ съ поднятыми руками и стригущими пальцами. И потомки указывали на нихъ своимъ дѣтямъ: вотъ люди, утонувшіе не то въ собственной утопіи, не то въ рѣкѣ слезъ, ибо они говорили «стрижено, стрижено»!...

Было это? будетъ? или никогда этого не было и не будетъ? Не знаю. Знаю только, что тѣ сказки, которыя Шехерезада разсказывала въ теченіе тысячи и одной ночи, превзойдены нашею современною дѣйствительностью. И г. Страховъ совершенно правъ, говоря: «наша мысль витаетъ въ призрачномъ мірѣ; она не есть настоящая мысль, а только подобіе мысли... Наше историческое движеніе получило какой-то фантастическій видъ. Наши разсужденія не соотвѣтствуютъ нашей дѣйствительности; наши желанія не вытекаютъ изъ нашихъ потребностей; наша злоба и любовь устремлены на призраки... Мысли такихъ людей питаются сами собой, независимо отъ всего окружающаго; стремленія ихъ возникаютъ и разгораются безъ настоящихъ нуждъ и потому ничѣмъ удовлетворены быть не могутъ... Мечтательность нашего времени грозитъ превзойти всѣ увлеченія былыхъ временъ».

Слова эти я заимствую изъ предисловія г. Страхова къ недавно вышедшей его книгѣ «Борьба съ Западомъ». Слова эти не ярко, но всетаки вѣрно характеризуютъ нашу современную жизнь. Только ихъ надо, къ сожалѣнію, понимать совершенно наоборотъ. Тѣхъ многоточій, которыя у меня стоятъ между отдѣльными фразами и предложеніями г. Страхова, въ самомъ предисловіи нѣтъ. Вмѣсто нихъ стоятъ другія фразы и предложенія, показывающія, что г. Страховъ совсѣмъ не настоящимъ дѣломъ занятъ, а просто переживаетъ старую струху въ смыслѣ «борьбы съ Западомъ». Его проповѣдь обращена не къ настоящимъ фантастамъ, бредящимъ о ракѣ, который свиснулъ, о грузинскихъ знаменахъ, которыя надо продать въ циркъ, о тевтонахъ, которымъ слѣдуетъ дать генеральную битву, о французѣ, который гадитъ, и проч. Нѣтъ, по мнѣнію Страхова, корень фантастичности нашей жизни заключается въ томъ, что «мы—подражатели, то-есть думаемъ и дѣлаемъ не то, что намъ хочется, а то, что думаютъ и дѣлаютъ другіе; вліяніе Европы постоянно отрываетъ насъ отъ нашей почвы». Сообразно этому г. Страховъ и занимается борьбой съ Западомъ, дабы спасти соотечественниковъ и показать имъ примѣръ оригинальности, самобытности. Будучи, однако, однимъ изъ наименѣе оригинальныхъ русскихъ писателей, пользующихся нѣкоторою извѣстностью, г. Страховъ естественно не являетъ образчиковъ самобытности и, въ самой борьбѣ съ Западомъ, идетъ по тропѣ, давнымъ давно проложенной, но до сихъ поръ никого никуда не приведшій. Книга составлена изъ старыхъ статей г. Страхова, написанныхъ въ разное время. Объ нѣкоторыхъ изъ нихъ у насъ было въ свое время говорено и собственно книги я теперь касаться не намѣренъ, а хочу только отмѣтить манеру борьбы г. Страхова....

Надняхъ мнѣ принесли книгу, завернутую въ № 85 «Московскаго Листка». Такъ какъ я этой газеты никогда не видывалъ, то и поинтересовался. Нашелъ, между прочимъ, любопытную рубрику «Совѣты и отвѣты». Отдѣлъ этотъ ведется, повидимому, постоянно въ газетѣ и въ немъ редакція запросто бесѣдуетъ съ разными честными лицами, не называя ихъ по имени, но сообщая ихъ примѣты. Образчикъ:

«На Тверскую, въ жидовскій домъ. Нѣмцу.

«Предшественникъ вашъ добился популярности, благодаря честному отношенію своему, какъ къ кліентамъ, такъ и къ служащимъ. Вы же, наоборотъ, относитесь къ послѣднимъ возмутительно: ругаете ихъ площадною бранью, кормите плохо, заставляете ихъ работать по 13 часовъ въ сутки и т. д. Если вы, какъ нѣмецъ, можетъ, не знаете,

что у насъ подобныя вещи нетерпимы, то примите это къ свѣдѣнію».

Я наткнулся на эту бесѣду съ «нѣмцемъ» отнюдь не по пословицѣ «на ловца и звѣрь бѣжитъ». Нынѣ вамъ вовсе нѣтъ надобности быть ловцомъ, чтобы на васъ набѣжалъ звѣрь, и гораздо труднѣе самому избѣжать встрѣчи со звѣремъ. Это вообще. А въ частности на предметъ предлагаемой главы записокъ современника нельзя не наткнуться въ той или другой формѣ въ любомъ номерѣ газетъ извѣстнаго пошиба. То спичечныя коробки съ польскими этикетами, то армянскій театръ, то малорусская пѣсня или малорусская рубаха, то грузинскія знамена, то еврейскіе пейсы, то чухонское масло—и всѣ эти предметы даютъ толчекъ патріотической мысли въ томъ направленіи, что французъ гадитъ и что мы необыкновенно великолѣпны. Я остановился на письмѣ, адресованномъ «на Тверскую, въ жидовскій домъ, нѣмцу» единственно потому, что оно, своею наивностью и элементарностью, очень наглядно рисуетъ пріемы нашего патріотизма.

Редакція «Московскаго Листка», повидимому, серьезно увѣрена, что только нѣмецъ можетъ обращаться съ своими работниками возмутительно, ругать ихъ площадною бранью, плохо кормить, заставлять ихъ работать по 13 часовъ въ сутки и т. п. Нѣмецъ это можетъ, какъ по прирожденной жестокости своей, такъ и потому, что у него тамъ, въ Швабіи, законъ бездѣйствуетъ и работниковъ отъ хозяйскихъ безобразій не охраняетъ. У насъ другое дѣло, у насъ «подобныя вещи нетерпимы», и мечъ русской Ѳемиды, конечно, не замедлитъ поразить нѣмца, живущаго на Тверской въ жидовскомъ домѣ. Читатель, знакомый хотя бы только со статьей г. Абрамова «Изъ фабрично-заводскаго міра» печатающейся въ прошломъ и нынѣшнемъ номерахъ «Отечественныхъ Записокъ» и составленной на основаніи трудовъ *московскихъ* статистиковъ, естественно долженъ призадуматься: что же это такое? неужто спеціально московская газета не знаетъ, что въ Московской губерніи чисто русскіе люди заставляютъ своихъ рабочихъ работать по 16, 18 и 20 даже часовъ въ сутки, держатъ ихъ впроголодь и т. д.? Какъ видитъ читатель, это, примѣрно, тотъ же самый вопросъ, который я имѣлъ случай предложить недавно: г. Аксаковъ увѣряетъ (бія себя въ грудь, замѣтьте), что только съ Петра началась у насъ «рознь» и раздѣленіе «на битыхъ и бьющихъ, на барина и мужика»; неужто же г. Аксаковъ, не говоря о прочемъ, не знаетъ, что Иванъ Грозный и Стенька Разинъ жили до Петра? Нельзя не знать, а потому ясно, что эти люди живутъ въ какомъ-то фантастическомъ мірѣ, населенномъ несуществующими образами и совершенно свободномъ отъ образовъ и картинъ существующихъ: «тамъ чудеса, тамъ лѣшій бродитъ»... И Богъ бы съ нимъ, съ этимъ міромъ фантазіи, еслибы онъ былъ самъ по себѣ, а живая дѣйствительность сама по себѣ. Но въ томъ-то и бѣда, что эти два міра связались какою-то странною цѣпью и когда въ мірѣ фантазіи свиститъ ракъ, то въ дѣйствительной жизни на этотъ свистъ сбѣгаются городовые. Это ужъ рѣшительно ни съ чѣмъ несообразно!

Странно, но очевидно возможно жить при такихъ условіяхъ, не замѣчая ихъ чудовищной нелѣпости и полагая, что живешь на настоящей землѣ, дышешь настоящимъ воздухомъ, смотришь на настоящую траву и настоящее небо. Еще страннѣе, однако, что г. Страховъ, натолкнувшись мыслею на фантастическій элементъ русской жизни, замѣтивъ, слѣдовательно, наличность какой-то незаконной связи фантазіи съ дѣйствительностью, валитъ съ больной головы на здоровую. Вмѣсто того, чтобы познать замѣченный имъ туманъ и затѣмъ способствовать его разсѣянію, г. Страховъ своею книгою въ сущности написалъ огромное письмо на Тверскую, въ жидовскій домъ, нѣмцу. Конечно, г. Страховъ не могъ этого сдѣлать съ наивностью редакціи «Московскаго Листка», ибо онъ вкусилъ древа познанія добра и зла. Въ качествѣ образованнаго человѣка, онъ обязанъ признать, что «мы должны уважать Западъ и даже благоговѣть передъ величіемъ его духовныхъ подвиговъ». Въ качествѣ стараго гегельянца, онъ долженъ признать, что первые проповѣдники нашей самобытности, первоначальники славянофильства получили просіяніе своего ума изъ Берлина. И вообще, г. Страховъ далеко не имѣетъ столь легкаго сердца и столь опустошенной головы, какъ большинство нашихъ нынѣшнихъ борцовъ съ Западомъ. Онъ многаго не позабылъ, но, къ сожалѣнію, мало чему научился и, должно быть, памятуя гегельянскій тезисъ отождествѣ бытія и небытія, всталъ въ ряды фантастовъ, поражающихъ несуществующее и отрицающихъ существующее. Онъ, напримѣръ, съ полною серьезностью размышляетъ такъ: «Фантастическая бѣда хуже всевозможныхъ дѣйствительныхъ бѣдъ и несчастій. *Вообразимъ*, въ самомъ дѣлѣ, что Россію постигли какія-нибудь реальныя бѣдствія и одолѣваютъ реальные недостатки; голодъ и пожары, война и внутреннія безпорядки, жестокость и безразсудство правителей, невѣжество, пьянство, преступленія, дикіе нравы; развѣ все это еще могло бы быть поводомъ къ отчаянію? Не ясна-ли сущность каждаго изъ этихъ золъ? Эти бѣдствія и недостатки въ той или другой мѣрѣ

неизбѣжны и могутъ приводить насъ въ скорбь, но не въ недоумѣніе; мы тутъ хорошо знаемъ, противъ чего и какъ намъ слѣдуетъ бороться; все зависитъ только отъ нашей стойкости, отъ нашей доброй воли». А вотъ, дескать, подражаніе Европѣ—это нѣчто худшее, чѣмъ всѣ «реальныя бѣдствія», ибо это болѣзнь духа.

Обратите вниманіе прежде всего на истинно болѣзненный скептицизмъ, съ которымъ г. Страховъ относится къ реальнымъ бѣдствіямъ. Ему нужно «вообразить», напрячь воображеніе, чтобы допустить существованіе въ Россіи внутреннихъ безпорядковъ, жестокости, безразсудства, невѣжества, пьянства, дикихъ нравовъ. Кажется, всего этого слишкомъ достаточно, совершенно даже независимо отъ той или иной точки зрѣнія на вещи. Для признанія факта внутреннихъ безпорядковъ и прочаго не надо быть непремѣнно радикаломъ или непремѣнно либераломъ, консерваторомъ. Не надо быть даже Ѳомой невѣрнымъ, ибо вотъ онѣ язвы. А г. Страховъ любезно соглашается: «вообразимъ, въ самомъ дѣлѣ!» Ну, хорошо, вообразимъ. А потомъ что? А потомъ оказывается, что «реальныя бѣдствія, реальные недостатки» суть совершенный вздоръ, почти не стоющій вниманія. Во-первыхъ, они «въ той или другой мѣрѣ» неизбѣжны. Во-вторыхъ, мы отлично знаемъ противъ чего и какъ слѣдуетъ бороться, да и, вообще, никакихъ препятствій для борьбы не предвидится, ибо все дѣло въ нашей доброй волѣ... Какая прелесть! не житье, а масляница! Одного только не понимаю: почему бы г. Страхову, если дѣло стоитъ такъ просто, не указать намъ ясно и точно, какъ намъ раздѣлаться съ этими мизерными реальными бѣдствіями? Положимъ, что это пустяки, мало достойные высоко парящаго мыслителя, но отчего же, всетаки, мыслителю не спуститься хотя бы на одно мгновеніе на грѣшную землю; спуститься, утереть всѣмъ намъ носъ и потомъ опять отлетѣть въ ту высшую сферу вещей безъ названія и названій безъ вещей, гдѣ ракъ свиститъ, гдѣ лѣшій бродитъ и только одинъ французъ гадитъ? Весьма можетъ быть, что мы остались бы на землѣ и только съ благодарностью и утертыми носами любовались бы на вознесеніе г. Страхова, а можетъ быть и сами полетѣли бы за нимъ на крыльяхъ радости. Теперь же намъ, непросвѣтленнымъ, остается только вздыхать и стонать: когда эта безсмыслица кончится?! Безсмыслица и безстыдство. Это послѣднее я говорю не лично о г. Страховѣ, для котораго бытіе и небытіе, существующее и несуществующее смѣшиваются въ нѣкоторомъ философскомъ туманѣ, а не въ пройдошескихъ, практическихъ поползновеніяхъ замутить воду, дабы удобнѣе было было ловить въ ней и щукъ, карасей поѣдающихъ, и карасей, щуками поѣдаемыхъ. Г. Страховъ, я увѣренъ, съ чистымъ сердцемъ пишетъ: «Теперь уже всякій мыслящій и пишущій человѣкъ въ Россіи *обязанъ* (курсивъ г. Страхова) стать въ извѣстное отношеніе къ этой реакціи (противъ «западнаго просвѣщенія въ цѣломъ»), обязанъ объявить себя западникомъ или славянофиломъ, то-есть признать законность вопроса о самобытности и, слѣдовательно, въ сущности объявить себя за самобытность» («Борьба съ Западомъ», стр. 93). Г. Страховъ говоритъ съ чистымъ сердцемъ, но говоритъ пустяки. Пустяки сами по себѣ невинные и развѣ только утомительные, ибо плетутся они много лѣтъ, а все никакой самобытности изъ нихъ не проистекаетъ. Но люди, имѣющіе практическій интересъ во внѣдреніи фантастическаго элемента въ русскую жизнь, обращаютъ эти самые невинные и только утомительные пустяки въ поприще истиннаго безстыдства.

Не будемъ говорить о старыхъ временахъ, о прошломъ славянофильства и западничества. Я утверждаю, что, во всякомъ случаѣ, теперь ихъ нѣтъ, что это тѣни, жильцы страны небытія, и если г. Страховъ настаиваетъ на ихъ не только наличности, а даже обязательности, то это единственно потому, что онъ, вообще, видитъ невидимое и невидитъ видимаго. Есть, правда, люди, съ большимъ азартомъ толкующіе о самобытности и провозглашающіе борьбу съ Западомъ, но это «слова, слова, слова». Мало того. Въ виду нашей исторической молодости, сами западные люди обращаются къ намъ иногда съ совѣтами идти путемъ самобытности и даже возлагаютъ на насъ въ этомъ смыслѣ большія надежды. Но, именно, наши борцы съ Западомъ и представители «національной» политики и самобытности рѣшительно обрубаютъ всѣ подобныя надежды. Примѣры:

Разсуждая о разныхъ недоумѣніяхъ, вызванныхъ гипнотическими явленіями даже между врачами, вѣнскій профессоръ Бенедиктъ указываетъ, какъ на одну изъ причинъ этихъ недоумѣній, на классическое образованіе. «Въ дѣйствительности,—говоритъ онъ:—хотя съ «аттестатомъ зрѣлости», но незрѣлымъ приступаетъ врачъ къ своимъ занятіямъ, и такъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не будетъ въ корнѣ уничтожена легенда классическаго воспитанія. Послѣднее есть «умственная клюка», но такая, которая мѣшаетъ намъ правильно ходить. Я сомнѣваюсь, чтобы этотъ переворотъ вышелъ изъ среды старыхъ культурныхъ народовъ Запада. Преданіе есть сильное оружіе, но въ тоже время крѣпкія око-

вы. Когда болѣе молодыя культурныя націи, сѣверо-американская и русская освободятся отъ естественнаго честолюбія идти наравнѣ съ болѣе старыми, когда ихъ здравый смыслъ, не слишкомъ связанный преданіями, одержитъ верхъ, тогда произойдетъ эта реформа» («Каталепсія и месмеризмъ», стр. 38). Ну, вотъ, значитъ, представитель гнилого Запада говоритъ намъ: пожалуйста, поборитесь съ Западомъ, пожалуйста, будьте самобытны; и вамъ хорошо будетъ, да и мы «ex orienle lux» получимъ. Но наши самобытники и націоналы говорятъ: «стрижено, стрижено»! и упорно плетутся въ хвостѣ гнилого Запада и распинаютъ дѣтей нашихъ на крестѣ классицизма, дабы они, пригвожденные, наилучше проникались самобытностью... Греціи и Рима!

А г. Страховъ увѣряетъ, что «теперь уже всякій мыслящій и пишущій человѣкъ въ Россіи *обязанъ*... объявить себя западникомъ или славянофиломъ, то-есть признать законность вопроса о самобытности и, слѣдовательно, въ сущности объявить себя за самобытность»... Г. Страховъ! убѣдите въ этомъ гг. Каткова, Аксакова и иныхъ прочихъ. Пожалуйте! честь и мѣсто...

Другой примѣръ. Лавеле въ своей извѣстной книгѣ о «первобытной собственности» обращается къ исторически юнымъ обществамъ съ горячимъ призывомъ къ самобытности въ дѣлѣ землевладѣнія. Онъ убѣждаетъ ихъ «не усвоивать себѣ того узкаго, суроваго права, которое мы (то-есть старая Европа) заимствовали изъ Рима и которое можетъ (?) привести насъ къ экономической борьбѣ». Опять-таки, значитъ, представитель гнилого Запада рекомендуетъ намъ не подражать Европѣ и идти своимъ собственнымъ путемъ. А наши самобытники и націоналы опять-таки говорятъ: «стрижено, стрижено». Ни объ чемъ они такъ не хлопочутъ, какъ объ томъ, чтобы ввести у насъ «узкое, суровое» римское право собственности и, какъ вѣнецъ его, европейскую культуру. Г. Катковъ дѣлаетъ это съ откровенностью человѣка, ничѣмъ, кромѣ своего «ндрава», не связаннаго, а г. Аксаковъ съ лицемѣріемъ человѣка, связаннаго славянофильскими преданіями. Онъ такъ много болталъ объ общинномъ, началѣ, искони отличавшемъ могучій духъ русскаго народа отъ духа народовъ европейскихъ, и гарантирующемъ Россію отъ пролетаріата и другихъ золъ Запада; такъ много болталъ, что и доселѣ привычныя уста трубятъ: община, община, община. Но что въ дѣлѣ разумѣнія отечественныхъ аграрныхъ порядковъ г. Аксаковъ есть чистокровный западникъ, въ этомъ, конечно, теперь уже никто не сомнѣвается. А еслибы кто усомнился, тому рекомендую перечитать послѣднее письмо А. Н. Энгельгардта «Изъ деревни» («Отечественныя Записки», № 2).

Такимъ образомъ, человѣкъ, обязанный объявить себя за самобытность, есть чистый фантомъ. Много есть людей, играющихъ на этомъ и другихъ подобныхъ словахъ, какъ на струнахъ балалайки. Но, какова бы ни была сама по себѣ эта балалаечная мелодія, а не всякій, говорящій: «Господи! Господи!» внидетъ въ царствіе Божіе. На словахъ у насъ самобытностью хоть прудъ пруди, а на дѣлѣ она сводится къ заимствованію изъ Европы, именно, того, что тамъ есть гніющаго и отъ чего сама Европа не знаетъ какъ отдѣлаться. Но г. Страховъ видитъ самобытность и, съ твердостью простирая палецъ въ пустое пространство, говоритъ: вотъ она! Въ тоже время, когда ему говорятъ о «реальныхъ бѣдствіяхъ», онъ съ недоумѣніемъ спрашиваетъ: да гдѣ же они? но, пожалуй, вообразимъ и т. д. Это, по истинѣ, удивительно. Но еще удивительнѣе то, что пріемы мышленія г. Страхова и его отношеніе къ вещамъ по сю и по ту сторону бытія отнюдь не могутъ быть поставлены ему лично на счетъ. Онъ, положимъ, издревле привыкъ въ туманахъ носиться, свободно отъ персти земной. Но возьмите какой-нибудь «Московскій Листокъ», весь, вѣроятно, погруженный въ земную персть, и тотъ, имѣя передъ глазами образцы величайшей терпимости властей по отношенію къ безобразному обращенію съ рабочими, пресерьезно пугаетъ нѣмца на Тверской въ жидовскомъ домѣ: смотри, нѣмецъ! у насъ такіе порядки нетерпимы! Г. Катковъ швыряетъ камнемъ въ мимоходящаго и затѣмъ гордо спрашиваетъ: ты что же, такой-сякой, не благодаришь за кусокъ хлѣба, который я тебѣ подалъ? А зритель, вмѣсто того, чтобы изумиться такому фантастическому поведенію московскаго папы, только вздыхаетъ: все французъ гадитъ! Г. Аксаковъ, развертывая русскую исторію на страницахъ, въ коихъ повѣствуется о царствованіи Ивана Грознаго и о бунтѣ Стеньки Разина, говоритъ: вы видите, что въ до-петровской Руси никакой розни не было, и мужикъ не билъ барина, потому что и баринъ не билъ мужика!—Все это только отдѣльные маленькіе эпизоды изъ огромной траги-комедіи, которая грозитъ растянуться больше, чѣмъ на тысячу и одну ночь...

И такъ какъ мы окружены со всѣхъ сторонъ удивительнымъ, имъ дышемъ, имъ питаемся, то нѣтъ уже ровно ничего удивительнаго въ томъ, что у насъ процвѣтаетъ спиритизмъ. Говорятъ, что когда фокусникъ Казеневъ объявилъ себя анти-спиритомъ и обѣщалъ показать и показалъ спиритическія

явленія при помощи обыкновенныхъ фокусническихъ пріемовъ, наши вожди спиритизма заподозрили его въ совершенно необыкновенномъ шарлатанствѣ, въ шарлатанствѣ на выворотъ. Они объявили, что Казеневъ въ сущности очень сильный медіумъ и представленія его суть дѣйствительные спиритическіе акты, а только онъ, ради выгоды, выдаетъ ихъ за обыкновенные фокусы, достигаемые проворствомъ, ловкостью, механическими приспособленіями и другими «реальными» средствами. Во всѣ времена бывали фокусники, выдававшіе себя за чудотворцевъ, и иногда имъ удавалось одурачить толпу, заставить ее повѣрить, что они въ самомъ дѣлѣ чудотворцы. А у насъ теперь, видите-ли, «Волга-матушка вспять побѣжала», и всѣ дѣла приняли теченіе наоборотъ. Человѣкъ самъ говоритъ: я, господа, фокусникъ и, пожалуй, даже готовъ вамъ разсказать, какими простыми средствами мои фокусы устраиваются. А мы ему на это возражаемъ: врешь! насъ не проведешь! совсѣмъ ты не фокусникъ, а настоящій чудотворецъ!

Не знаю, правду-ли разсказываютъ объ этой необычайно тонкой прозорливости вождей нашего спиритизма, но по итальянской пословицѣ, это «если не вѣрно, то хорошо придумано». Очень хорошо и характерно для людей, которые готовы повѣрить всему невѣроятному, а ко всему достовѣрному, «реальному» относятся со скептицизмомъ мудраго Мудрова въ «Тяжелыхъ дняхъ» Островскаго: «Я читаю, а самъ не вѣрю тому, что написано; какіе бы мнѣ документы ни приводили, я не вѣрю; хоть будь тамъ написано, что дважды два четыре, я не вѣрю, потому что я твердъ умомъ».

Да, «Тяжелые дни» и тяжелыя ночи...

Ночь за ночью и опять ночь и опять... Это ужасно! Надо же жить, наконецъ, а не сказки разсказывать и тѣмъ болѣе не въ сказкѣ участвовать. И чѣмъ все это кончится?

Чѣмъ! Можетъ быть, именно тѣмъ, что рѣка материнскихъ слезъ зальетъ рты, говорящіе: «стрижено, стрижено». А, можетъ быть, всѣ мы, усталые отъ этой жизни, въ которой нѣтъ мѣста удовлетворенію настоящихъ, подлинныхъ потребностей, бросимся, очертя голову, въ омутъ искусственныхъ возбужденій, плюнемъ на все «реальное» и обоготворимъ все фантастическое, воспляшемъ вкругъ гробовъ, въ которые уложимъ живыхъ людей, и осыплемъ поцѣлуями мертвецовъ...

Но можетъ приключиться и иной, болѣе веселый конецъ. Представьте себѣ сцену въ погребкѣ Ауэрбаха. По магическому слову Мефистофеля:

Умъ, смутися по словамъ!
Ложный видъ предстань очамъ,
Будьте здѣсь и будьте тамъ!—

по этому магическому слову гг. Катковъ, Аксаковъ и всѣ прочіе фантасты хватаютъ другъ друга за носы, воображая, что это кисти превосходнаго винограда, и уже собираются сорвать вкусный плодъ, какъ сжалившійся Мефистофель разбиваетъ очарованіе словами: «Спади съ очей повязка заблужденья, и помните, какъ дьяволъ подшутилъ!» Тогда даже Зибель, не оперный Зибель, который поетъ «Разскажите вы ей», а настоящій—старая бочка—какъ его называетъ Мефистофель, даже Зибель уразумѣваетъ: Betrug war Alles, Lug und Schein— обманъ все было, ложь и тѣнь!..

Кстати о погребкѣ Ауэрбаха. «Пить иль не пить? вотъ въ чемъ вопросъ! Что благороднѣе?» Свѣдущіе люди, вѣроятно, знаютъ, что благороднѣе, но несвѣдущіе не знаютъ; фантасты презираютъ, какъ и все «реальное», но люди дѣйствительности не могутъ презирать, ибо съ нихъ за это взыскиваютъ и притомъ весьма ощутительнымъ образомъ. Факты: «Пока свѣдущіе люди и высшія государственныя учрежденія выработываютъ мѣропріятія противъ пьянства, полиція города Кадникова, по словамъ газеты «Русскій Курьеръ», уже примѣняетъ на дѣлѣ свои способы сокращенія пьянства. Неизвѣстно, какъ обставлено дѣло съ формальной стороны, только крестьяне говорятъ, что всякаго, попавшагося въ полицію въ пьяномъ состояніи, отправляютъ въ волостное правленіе и тамъ сѣкутъ. Высѣчено уже не мало народу, и всѣ крестьяне, какъ пьющіе, такъ и непьющіе, сильно возмущены. «За наши же денежки да насъ же сѣчь!» говорятъ они. Одинъ крестьянинъ деревни Большой Мурги предлагалъ 100 р. взамѣнъ тѣлеснаго наказанія, но всетаки былъ высѣченъ. Городовые города Кадникова отличаются на свой ладъ—они обшариваютъ у пьяныхъ карманы и присваиваютъ себѣ найденныя деньги. Множество очевидцевъ разсказываютъ подобныя исторіи и ничего—дѣло сходитъ съ рукъ». («Голосъ», № 94).

И такъ ясно: пьянство порокъ, а порокъ долженъ быть наказанъ. Выводъ, ничего не оставляющій желать въ отношеніи опредѣлительности, и г. Страховъ, очевидно, правъ, говоря, что въ дѣлѣ реальныхъ бѣдствій все ясно, все зависитъ отъ нашей доброй воли, особливо если она вспомоществуется просвѣщенной полиціей... Да, въ Кадниковѣ, дѣйствительно, такъ. А вотъ въ Бржезянскомъ уѣздѣ, Петроковской губерніи не такъ. По крайней мѣрѣ, оттуда пишутъ въ одну варшавскую газету слѣдующее:

„Въ то время, какъ почти во всемъ нашемъ

краѣ, не только въ мѣстечкахъ и селахъ, но даже и въ деревняхъ мѣстные жители съ давнихъ поръ стараются заводить у себя такъ называемые „крестьянскіе клубы“ или чайныя, и когда такія учрежденія во многихъ мѣстностяхъ начинаютъ уже приносить видимые добрые результаты для темнаго люда, какъ бы затмѣвая или уничтожая собою корчмы и кабаки—разсадники всякаго зла, безобразія и растлѣнія нравовъ, у насъ, въ нашей губерніи, и преимущественно въ нашемъ уѣздѣ до сихъ поръ не открыто еще ни одного крестьянскаго клуба. Люди, не посвященные въ тайны отсутствія у насъ до сего времени крестьянскихъ клубовъ и деревенскихъ чайныхъ, пожалуй, по незнанію дѣла, могутъ приписать причины такого страннаго явленія въ нашей только мѣстности тому обстоятельству, что наше духовенство и земскіе обыватели не только не заботятся объ открытіи у насъ крестьянскихъ клубовъ, но еще противодѣйствуютъ, съ своей стороны, ихъ открытію. Для выясненія этого дѣла спѣшимъ заявить путемъ печати, во всеобщее свѣдѣніе, что, напротивъ, не смотря на усиленныя старанія нашего духовенства и особенно нашихъ лучшихъ земскихъ дѣятелей, открытыу насъ чайныя вмѣсто кабаковъ, подобныя учрежденія ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ у насъ быть открыты и поэтому не могутъ существовать, по той простой и естественной причинѣ, что еще въ январѣ войты гминъ нашего уѣзда отъ своихъ властей получили, какъ мы узнали, секретныя циркулярныя распоряженія, въ силу которыхъ открытіе въ нашей мѣстности крестьянскихъ клубовъ, а равно трактировъ на такихъ же самыхъ основаніяхъ, на какихъ существуютъ крестьянскіе клубы, т. е. безъ продажи и употребленія въ нихъ горячихъ напитковъ строго воспрещается. Такое циркулярное распоряженіе уѣздныхъ властей мотивировано тѣмъ, что крестьянскіе клубы и имъ подобныя заведенія, не производя торговли спиртными напитками и пріучая населеніе къ воздержанію, вліяютъ на уменьшеніе доходовъ государства, что признается вреднымъ“.

И такъ, пить иль не пить? что благороднѣй: утонуть въ морѣ личной добродѣтели, куда обывателей приглашаетъ и даже, можно сказать, «честью проситъ» кадниковская полиція? или, напротивъ, принести себя въ жертву на алтарь отечества и способствовать «увеличенію доходовъ государства», какъ того требуетъ петроковская администрація? Для обыкновеннаго обывателя возможенъ, кажется, одинъ отвѣтъ: будь добродѣтеленъ въ Кадниковѣ, способствуй увеличенію доходовъ государства въ Петроковѣ, но и въ Кадниковѣ и въ Петроковѣ помни, что все французъ гадитъ, а сами мы чище снѣга альпійскихъ вершинъ...

XIV.

Смерть Дарвина *).

7-го апрѣля умеръ Дарвинъ.

Біографія этого человѣка не богата событіями. Говорятъ, что когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ изъ издателей его сочиненій обратился къ нему за автобіографическими свѣдѣніями, то Дарвинъ отвѣтилъ слѣдующее: «Меня зовутъ Чарльсъ Дарвинъ. Я родился въ 1809 году. Я учился, потомъ совершилъ путешествіе вокругъ свѣта. Съ тѣхъ поръ я не перестаю заниматься. Вотъ вся моя жизнь». И въ самомъ дѣлѣ, къ этимъ строкамъ остается прибавить лишь очень немногое, чтобы внѣшняя сторона жизни знаменитаго покойника была исчерпана вполнѣ. Учился Дарвинъ сначала въ эдинбургскомъ, потомъ въ кембриджскомъ университетѣ; учился отнюдь не блистательно и даже не старательно. Въ кругосвѣтномъ путешествіи пробылъ съ 1831 по 1835 годъ; въ 1839 году женился на своей двоюродной сестрѣ, отъ которой прижилъ семь человѣкъ дѣтей. Въ 1842 году поселился въ деревушкѣ Даунъ, гдѣ и прожилъ безвыѣздно въ теченіи сорока лѣтъ, до самой своей смерти. Похороненъ 26-го апрѣля 1882 г. въ Вестминстерскомъ аббатствѣ рядомъ съ Ньютономъ. Вотъ и все. Но изъ скромной деревушки Даунъ, въ теченіе безъ малаго четверти вѣка, распространялось по всему научному міру волненіе, центромъ котораго были идеи этого человѣка; и не только по научному міру, потому что едвали найдется въ исторіи науки много именъ, которыя пользовались бы такою обширною популярностью, какъ имя Чарльса Дарвина. Положимъ, что такъ называемая «большая публика» многое понимала вкривь и вкось и черезъ два въ третій. Но, во всякомъ случаѣ, даже легкомысленнѣйшіе изъ современниковъ должны были говорить, писать и, можетъ быть, даже немножко думать о сѣдобородомъ даунскомъ отшельникѣ съ крутымъ лбомъ и густыми нависшими бровями. Одинъ его портретъ видѣлъ въ альбомѣ и услышалъ по этому поводу нѣчто о происхожденіи человѣка отъ обезьяны; другой наткнулся на газетную болтовню о тѣсной связи русскаго «динамита» съ идеями Дарвина; третій чрезвычайно заинтересовался «половымъ подборомъ», полагая, что это нѣчто въ родѣ новѣйшихъ произведеній Эмиля Зола, и т. д., и т. д. Это—легкомысленнѣйшіе, тѣ мужескаго и женскаго пола бабочки, которыя порхаютъ по жизненному полю, «не продвидя отъ сего никакихъ послѣдствій». да ни въ какихъ послѣдствіяхъ и не нуждаясь. Что же касается людей, мало-мальски серьезно интересующихся теченіемъ научной мысли, то они тѣмъ паче не могли и не могутъ обойти идеи Дарвина, что не найдется, кажется, ни одной отрасли знанія, куда такъ называемый дарвинизмъ не вторгся бы болѣе или менѣе властно. Астрономія и филологія, химія и исторія, не говоря, разумѣется,

*) 1882 г., май.

обо всѣхъ отрасляхъ біологіи, испытали на себѣ толчки изъ деревушки Даунъ, что въ графствѣ Кентъ. Мы знаемъ размышленія о борьбѣ за существованіе и естественномъ подборѣ между языками и ихъ элементами (Фарраръ, Максъ Мюллеръ), между планетами (Дю-Прель), между химическими элементами (Пфаундлеръ), между составными частями организма (Ру) и проч., и проч. Наконецъ, дарвинизмъ очень быстро проникъ и въ область житейскихъ вопросовъ, гдѣ породилъ громадную литературу отъ толстѣйшихъ томовъ до летучихъ брошюръ и газетныхъ статей.

Удобнымъ переходомъ отъ скудости внѣшней судьбы ученаго къ этой небывалой популярности его идей, можетъ служить исторія сочиненій Дарвина.

Какъ видно изъ разныхъ отрывочныхъ свѣдѣній о его жизни, Дарвинъ былъ до своего путешествія на кораблѣ «Бигль» страстнымъ коллекціонеромъ: онъ собиралъ минералы, бабочекъ, жуковъ, чучела животныхъ и т. п., и именно въ качествѣ опытнаго коллекціонера и поступилъ на «Бигль». Собственно же научными знаніями обладалъ крайне скудными, въ чемъ самъ признавался. Знаній онъ сталъ впервые набираться во время путешествія, все продолжая удовлетворять своей коллекторской страсти, и затѣмъ уже не уставалъ набираться ихъ до конца дней своихъ. Занятія на кораблѣ «Бигль» шли сначала безъ всякаго плана. Отнюдь не помышляя о предстоящей ему роли реформатора науки, Дарвинъ наблюдалъ, записывалъ, рисовалъ, собиралъ, сопоставлялъ, сравнивалъ все мелкое и крупное, что ему попадалось на глаза. Когда собственно сложилось то, что мы теперь называемъ дарвинизмомъ, сказать невозможно, вѣрно только, что гораздо раньше появленія въ свѣтъ знаменитой книги «О происхожденіи видовъ», съ которой дарвинизмъ ведетъ свое оффиціальное лѣтосчисленіе. Само появленіе книги въ 1859 году произошло, какъ извѣстно, совершенно случайно. Будучи со времени путешествія человѣкомъ не только болѣзненнымъ, а и прямо больнымъ, Дарвинъ, тѣмъ не менѣе, не торопился дѣлиться съ публикой своими наблюденіями и выводами. Его теорія рисковала такимъ образомъ остаться подъ спудомъ, но тутъ подоспѣла знаменитая статья Альфреда Уоллеса «О стремленіи разновидностей безгранично уклоняться отъ первоначальнаго типа». Тогда только Дарвинъ рѣшилъ напечатать сначала отрывокъ изъ книги «О происхожденіи видовъ», а въ слѣдующемъ году и самую книгу. Съ тѣхъ поръ шли одинъ за другимъ цѣлый рядъ изслѣдованій объ опыленіи цвѣтовъ при посредствѣ насѣкомыхъ, о половыхъ отношеніяхъ въ растительномъ мірѣ, книги «О прирученныхъ животныхъ и воздѣланныхъ растеніяхъ», «О происхожденіи человѣческаго рода и половомъ подборѣ», О выраженіи ощущеній» и, наконецъ, въ самое послѣднее время о насѣкомоядныхъ растеніяхъ, о движеніи растеній, объ образованіи чернозема. Всѣ эти послѣдующія произведенія Дарвина не могли уже, разумѣется, производить такого шума, какъ книга о происхожденіи видовъ, потому что только дополняли, разработывали, прилагали къ различнымъ частностямъ то общее ученіе, которое было уже тамъ изложено. Однако, нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, теорія пангенезиса, теорія полового подбора вызвали не мало волненій, ожесточенныхъ споровъ между приверженцами и противниками. Притомъ же, всѣ они, касаясь иногда совершенно неинтересныхъ для «большой публики», да и учеными людьми дотолѣ не замѣченныхъ частностей, обращались подъ перомъ Дарвина въ чрезвычайно поучительные и общеинтересные трактаты, благодаря двумъ его рѣзко выдающимся способностямъ: наблюдательности, не брезгающей никакой мелочью, на которую никто не обращаетъ вниманія, и воображенію, не останавливающемуся передъ изображеніемъ самыхъ детальныхъ картинъ фактически неизвѣстнаго прошедшаго и будущаго. Эти драгоцѣнныя умственныя качества вообще встрѣчаются не часто, а тѣмъ паче въ одномъ лицѣ и въ такихъ размѣрахъ, какъ въ Дарвинѣ. Чаще другихъ ими въ совокупности обладаютъ поэты. Но значительная часть работы поэта происходитъ въ той психической кладовой, которая называется областью безсознательнаго: заложенные тамъ элементы картинъ и образовъ, творческій процессъ вызываетъ наружу вдругъ, нѣкоторымъ образомъ по щучьему велѣнію. Поэты и беллетристы, мѣряющіе, сколько аршинъ въ комнатѣ, которую они хотятъ изобразить, запоминающіе цвѣтъ обоевъ и т. п. большею частью очень посредственные художники. Настоящіе же поэты хватаютъ подобныя мелочи на лету или, лучше сказать, даже не хватаютъ, а совершенно безсознательно воспринимаютъ. Не такова творческая работа ученаго такого типа, какъ Дарвинъ. Весьма вѣроятно, что грандіознѣйшія изъ нарисованныхъ имъ картинъ прошедшаго и будущаго мелькали передъ нимъ очень давно, но для окончательнаго ихъ воспроизведенія понадобилось въ теченіе десятковъ лѣтъ мѣрять, взвѣшивать, считать. Тѣмъ не менѣе, при суммированіи этихъ мелкихъ отмѣтокъ и наблюденій обнаруживается такая сила творчества, какая даже у первоклассныхъ поэтовъ встрѣчается рѣдко.

Такъ работалъ Дарвинъ и достойно величайшаго вниманія, что такъ же работаетъ, съ точки зрѣнія дарвинизма, вся природа. Я не буду, разумѣется, утомлять читателя изложеніемъ теорій Дарвина, тысячу разъ изложенныхъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ. Но, собственно, для подтвержденія сходства между творческимъ процессомъ природы, какъ его понималъ Дарвинъ, и процессомъ его собственной умственной работы, остановимся на одну минуту на любомъ изъ произведеній Дарвина; напримѣръ, на послѣднемъ его изслѣдованіи, оконченномъ всего за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти и всетаки, значитъ, представляющемъ нѣкоторую новизну.

Дѣло идетъ объ земляномъ червѣ, объ этомъ несчастномъ, безпомощномъ существѣ, названіе котораго стало метафорой для выраженія презрѣнія. Дарвинъ облюбовалъ его; облюбовалъ сначала, конечно, также случайно, также безъ заглядыванія въ будущее, какъ въ молодости случайно собиралъ всякаго рода коллекціи. Но, разъ остановивъ свое вниманіе на земляномъ червѣ, Дарвинъ принялся за него вплотную: подвергъ червя цѣлому ряду опытовъ и наблюденій, изслѣдовалъ его привычки, склонности, его «умъ». О мелочности и подробности всѣхъ этихъ изслѣдованій можетъ дать понятіе слѣдующій примѣръ. Земляные черви таскаютъ въ свои норы разные мелкіе предметы и таскаютъ съ большою ловкостью и разсчетомъ. Такъ, напримѣръ, листья растенія они схватываютъ всегда за острый конецъ, чтобы легче было протащить въ нору. И вотъ Дарвинъ приводитъ таблицу своихъ наблюденій, въ которой резюмирована, нѣкоторымъ образомъ, статистика поведенія червей: изъ такого-то числа случаевъ столько-то разъ червь тащилъ въ нору листья такого-то растенія вершиною впередъ и столько-то разъ основаніемъ. Одинъ изъ главныхъ результатовъ этого кропотливаго изслѣдованія состоитъ въ слѣдующемъ. Земляные черви всеядны и при случаѣ питаются даже просто землей, если она содержитъ органическіе остатки. Но, кромѣ того, червь ѣстъ землю еще съ одною совершенно спеціальною цѣлью. Если ему приходится дѣлать себѣ нору въ почвѣ, настолько твердой, что у него не хватаетъ силы для проложенія себѣ пути, то онъ глотаетъ землю, пропускаетъ ее сквозь весь свой кишечный каналъ и выпускаетъ изъ другого конца въ видѣ тонкихъ нитей. Такимъ образомъ, подвигаясь въ глубь почвы, червь, именно своимъ оригинальнымъ способомъ передвиженія, образуетъ разрыхленную, какъ бы удобренную землю, черноземъ. Вотъ тщательное, основательное, любопытное наблюденіе, которое, однако, не будучи оплодотворено другими силами человѣческаго ума и, главнымъ образомъ, воображеніемъ, можетъ показаться практически совершенно неважнымъ. Червь такъ ничтоженъ; что же можетъ выйти крупнаго, замѣчательнаго изъ курьезной работы, которую онъ задаетъ своему кишечнику въ видахъ улучшенія своихъ путей сообщенія? Но тутъ передъ мыслью великаго натуралиста начинаетъ мелькать картина милліоновъ земляныхъ червей, постоянно занятыхъ выработкою чернозема. Онъ вновь принимается за наблюденія и вычисленія и приходитъ, наконецъ, къ тому результату, что во многихъ мѣстностяхъ Англіи, на каждомъ акрѣ земли слишкомъ десять тоннъ или болѣе шестисотъ пудовъ пропускается ежегодно сквозь тѣло земляныхъ червей; вся эта масса выбрасывается на поверхность и, такимъ образомъ, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ весь верхній слой земли оказывается продуктомъ мелкой, невидной работы червей. Понятны тѣ важные выводы, которые проистекаютъ отсюда по отношенію къ растительному міру и къ хозяйственной дѣятельности человѣка. Въ концѣ концовъ, Дарвинъ выражаетъ сомнѣніе, чтобы какія-нибудь другія животныя играли такую важную роль въ исторіи земли, какъ эти презрѣнные черви.

Вы видите, что между работой презрѣннаго червя и работой великаго Дарвина существуетъ полная аналогія. Человѣкъ, лишенный научнаго упорства и блестящихъ умственныхъ способностей Дарвина, будучи даже спеціалистомъ, также пройдетъ мимо работы червя, какъ и мимо мелочныхъ наблюденій натуралиста. А между тѣмъ и тамъ, и тутъ мы имѣемъ длинный рядъ мелочей, незамѣтныхъ и неважныхъ въ отдѣльности, но въ суммѣ дающихъ результаты огромной и совершенно неожиданной важности. И такъ во всѣхъ теоріяхъ и изслѣдованіяхъ Дарвина. Если Дарвинъ правъ въ самомъ міроразумѣніи, то можно сказать, что онъ работалъ въ унисонъ съ природой; если не правъ, то онъ рисовалъ процессъ природы съ процесса своей собственной мысли. Въ самомъ дѣлѣ, главная и наиболѣе общая мысль всѣхъ безъ исключенія работъ Дарвина состояла въ томъ, что результаты, поражающіе своею грандіозностью, достигаются безконечной цѣпью безконечно малыхъ измѣненій или переходовъ. Такъ человѣкъ со всею мощью своего разума, со всею страстною жаждой идеала, со всей упорной волей, противопоставляемой имъ цѣлому міру, произошелъ отъ нѣкотораго низменнаго существа путемъ многовѣковаго процесса измѣненій, въ отдѣльности совер-

шенно ничтожныхъ. При этомъ природа отнюдь не преслѣдовала какого-нибудь плана, какой-нибудь опредѣленной цѣли. Нѣтъ, изъ всего громаднаго количества измѣненій, случайно прокидывающихся испоконъ вѣка, одни сохраняются, другія исчезаютъ, смотря по тому, какія изъ нихъ при данныхъ условіяхъ могутъ выжить и какія не могутъ. Не такова-ли же работа самого Дарвина? Какъ природа творитъ безконечно разнообразныя явленія, не помышляя объ ихъ дальнѣйшей судьбѣ и предоставляя ихъ взаимному тренію, такъ и Дарвинъ съ ранней молодости сдѣлалъ множество наблюденій, проглотилъ множество фактовъ безъ всякаго предварительнаго плана. Медленно, шагъ за шагомъ, въ теченіи десятковъ лѣтъ складывались эти наблюденія, прилегая одно къ другому, и въ результатѣ дали то грандіозное явленіе, которое называется теоріей Дарвина. Въ довершеніе сходства, толчкомъ, побудившимъ Дарвина, наконецъ, издать свой трудъ, было соперничество, конкурренція съ Альфредомъ Уоллесомъ, то - есть то самое начало борьбы за существованіе, которое, по теоріи Дарвина, составляетъ творческій элементъ жизни; творческій и прогрессирующій, ибо въ борьбѣ за существованіе побѣждаютъ лучшіе, наилучше вооруженные. Такъ и оказалось на судьбѣ Дарвина: онъ побѣдилъ Уоллеса, потому что былъ лучше вооруженъ огромнымъ запасомъ фактовъ и необыкновенною силою воображенія; не того скачущаго, неровнаго воображенія, которое, забѣгая впередъ фактовъ, даритъ иногда людямъ счастіе, но иногда и несчастіе, а того, которое является какъ разъ во-время, чтобы вытянуть линію фактовъ въ непрерывную перспективу впередъ и назадъ, въ прошедшее и будущее...

Нельзя, конечно, утверждать, что Дарвинъ былъ совершенно чуждъ скачковъ воображенія. Онъ, напримѣръ, серьезно говоритъ: «Въ Сѣверной Америкѣ, по наблюденіямъ Гирна, черный медвѣдь иногда цѣлыми часами плаваетъ съ широко раскрытою пастью, ловя насѣкомыхъ, какъ китъ. Даже въ такомъ исключительномъ случаѣ, я не вижу ничего невозможнаго въ томъ, что еслибы насѣкомыхъ было постоянно вдоволь и еслибы въ той же странѣ не находилось уже лучше приспособленныхъ соискателей, отдѣльная природа медвѣдей могла бы сдѣлаться, черезъ естественный подборъ, все болѣе и болѣе водною, ихъ пасть все болѣе и болѣе увеличиваться, пока не сложилось бы существо, такое же уродливое, какъ китъ». Это мѣсто, сохранившееся въ русскомъ переводѣ книги «О происхожденіи видовъ», было выпущено въ послѣдующихъ изданіяхъ оригинала самимъ Дарвиномъ. Можно бы было, пожалуй, найти еще нѣсколько такихъ курьезныхъ скачковъ фантазіи, но не имъ надо удивляться, а, напротивъ, тому, что ихъ такъ мало (у самого Дарвина, разумѣется, а не у его послѣдователей), когда поле фантазіи было такъ безгранично раздвинуто самою идеею измѣнчивости видовъ. И вотъ почему объ Дарвинѣ едва-ли можно сказать, что онъ будилъ мысль современниковъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ ее не будилъ, а придавливалъ. Старовѣры завопили на свою вѣчную тему о ниспроверженіи авторитетовъ и кумировъ, французская академія наукъ забаллотировала Дарвина большинствомъ голосовъ, но не здѣсь, конечно, надо искать разбуженной мысли. Многочисленные же сторонники, которыхъ Дарвинъ моментально пріобрѣлъ между учеными людьми и профанами, въ большинствѣ случаевъ, или были совершенно ослѣплены колоссальною эрудиціей, сопровождавшей теорію, и тою крупною, но солидною ролью, которую играло въ ней воображеніе; или же принялись развивать и дополнять теорію въ частностяхъ и прилагать ее къ такимъ фактамъ и отраслямъ знанія, которыхъ учитель не имѣлъ въ виду. Возбужденіе было велико, но оно было, такъ сказать, прямолинейное, хотя никто не станетъ отрицать, что возбужденіе это дало много въ высшей степени важныхъ плодовъ. Были, конечно, и исключенія, то-есть люди, дѣйствительно, разбуженные, способные отнестись съ благодарностью, но и съ критикой къ разбудившему ихъ толчку. Эти люди, безъ сомнѣнія, имѣли значительное обратное вліяніе на самого Дарвина.

Человѣкъ, совершенно незнакомый съ дарвинизмомъ, случайно узнавъ о той роли, которую въ немъ играетъ борьба за существованіе, пришелъ бы, конечно, къ заключенію, что это ученіе чрезвычайно мрачное, пессимистическое. На дѣлѣ же, какъ читателю извѣстно, дарвинизмъ насквозь проникнутъ оптимизмомъ, ибо предполагаетъ, что изъ тяжелой, гнетущей борьбы, вездѣ кругомъ насъ происходящей, изъ тысячъ смертей, ежеминутно косящихъ жизнь на землѣ, возникаютъ все высшія и высшія формы жизни. Нѣкоторые дарвинисты стоятъ за этотъ догматъ съ необыкновеннымъ упорствомъ; нѣкоторые, и въ томъ числѣ самъ Дарвинъ, нѣсколько посбавили, съ теченіемъ времени, свой радостный тонъ; нѣкоторые, наконецъ, находятъ бѣду только въ томъ, что въ человѣческомъ обществѣ устроены разныя препятствія, состоящія въ учрежденіяхъ, идеяхъ, чувствахъ, мѣшающихъ погибели слабыхъ, худшихъ и торжеству сильныхъ, лучшихъ. Это, безъ

сомнѣнія, самый интересный моментъ дарвинизма, какъ для всей массы профановъ, такъ и для кучки людей, желающихъ обнять теоретическую и практическую области единымъ принципомъ. Безспорны заслуги дарвинизма въ дѣлѣ разрушенія старыхъ убѣжденій о мѣстѣ человѣка въ природѣ. Но, во-первыхъ, эти убѣжденія были и безъ того расшатаны разнообразнѣйшими путями, а, во-вторыхъ, для окончательнаго ихъ разрушенія нѣтъ надобности въ специфическихъ чертахъ дарвинизма. Другое дѣло творческая сила борьбы за существованіе. Люди давно уже задумывались о значеніи успѣха въ жизни. Одни находили, что успѣхъ этотъ, самъ по себѣ, ровно ничего не говоритъ о какихъ бы то ни было достоинствахъ успѣвшаго; говоритъ, можетъ быть, даже напротивъ, объ его низости, подлости, бозсовѣстности. Другіе, напротивъ, полагали, что успѣхъ самъ несетъ себѣ оправданіе и что побѣдитель всегда правъ, всегда выше побѣжденнаго. И вотъ является роскошно обставленная теорія, черезъ весь органическій міръ, черезъ всю исторію жизни на землѣ проводящая принципъ самодовлѣющаго успѣха. Первоначально и рѣчи не было о приложеніи этого принципа къ нашимъ житейскимъ дѣламъ, къ человѣческому обществу. Дѣло шло о природѣ, внѣ насъ лежащей: худшіе, наименѣе приспособленные вымираютъ, лучшіе выживаютъ, изъ нихъ опять подбираются лучшіе и т. д., и т. д. Но такъ какъ рѣчь, всетаки, шла о смертяхъ и страданіяхъ, хотя и сопутствующихъ жизни и наслажденію, то выдавались нѣкоторые щекотливые пункты. И вотъ, напримѣръ, какъ отнесся къ одному изъ нихъ Дарвинъ. Извѣстно, что двѣ пчелиныя матки въ одномъ ульѣ не уживаются, и вопросъ о престолонаслѣдіи разрѣшается единоборствомъ. По этому поводу Дарвинъ говоритъ: «Хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикой, инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, тотчасъ по ихъ рожденіи, или погибающей въ борьбѣ съ ними, ибо это несомнѣнно полезно обществу: и материнская любовь, и материнская ненависть, хотя послѣдняя, къ счастію, большая рѣдкость—все едино передъ неумолимыми законами естественнаго подбора». Здѣсь сказалась уже совершенно спеціальная, особенная слабость воображенія Дарвина. Онъ, свободно обнимавшій пареніемъ своей мысли всю безконечную цѣль измѣненій отъ асциди до человѣка и предвидѣвшій дальнѣйшія измѣненія въ этомъ направленіи: онъ не могъ напрячь воображеніе настолько, чтобы допустить возможность такой пустяковой реформы пчелинаго общества, какъ устраненіе періодическихъ убійствъ! Онъ, такъ много и ловко орудовавшій принципомъ пользы, не замѣтилъ, что злоба пчелы-матки полезна совсѣмъ не пчеламъ и даже не пчелиному обществу, а только нынѣшней формѣ этого общества, ибо ея то неизмѣнности оно, конечно, способствуетъ! Что касается суроваго тона, съ которымъ Дарвинъ говоритъ вышеприведенныя слова, то и онъ зависѣлъ отъ той же спеціально дарвиновской слабости воображенія: онъ говорилъ такъ жостко, холодно и сурово только потому, что не предвидѣлъ тѣхъ жестокихъ выводовъ, которые сдѣлаютъ изъ его основныхъ положеній ученики. Все его богатое воображеніе ушло въ погоню за творчествомъ природы и отъ него ничего не осталось на творчество соціальное, если позволено будетъ такъ выразиться. Но вотъ начали появляться enfants terribles новаго ученія. Едва-ли не первою выступила г-жа Клемансъ Ройе, пламенный французскій синій чулокъ. Въ предисловіи къ сдѣланному ею французскому переводу книги «О происхожденіи видовъ», она не задумалась произнести суровѣйшій приговоръ всѣмъ слабымъ въ человѣческомъ обществѣ, ибо ихъ гибель кому-то или чему-то полезна. Дарвинъ, будучи человѣкомъ мирнымъ и, судя по всѣмъ извѣстіямъ, крайне добродушнымъ, испугался. Онъ не выступилъ противъ своей пылкой послѣдовательницы печатно, но очень хлопоталъ объ изданіи другого французскаго перевода, дабы не обязательно ему было являться передъ Европой подъ ручку съ грознымъ синимъ чулкомъ. Синій чулокъ не унимался. Онъ издалъ свою собственную книгу, въ которой требовалось, напримѣръ, отнятія у народа евангелія, ибо, дескать, книга эта пропитана идеей равенства, а идея равенства есть вредная химера, мѣшающая гибели и правомѣрной униженности слабыхъ. Нищій можетъ быть и не виноватъ въ томъ, что онъ нищій, но, разъ онъ нищій, разъ онъ оказался внизу — пусть вибирается, какъ знаетъ; если выберется, такъ тѣмъ самымъ покажетъ, что онъ изъ лучшихъ, а если погибнетъ, такъ туда ему и дорога; помогать же ему, значитъ идти противъ верховныхъ законовъ естественнаго подбора и останавливать прогрессивный ходъ исторіи, который непремѣнно долженъ покупаться цѣною страданій низшихъ, худшихъ, слабыхъ. Такъ разсуждала суровая г-жа Ройе. А, впрочемъ, должно быть увеселенія ради, она прибавила къ этимъ суровостямъ нѣкоторую утопію. А именно, набросала планъ будущаго царства амазонокъ, устроеннаго на манеръ пчелинаго общества, гдѣ женщины,

какъ извѣстно, все, а мужчины (трутни), совершивъ свою дѣтородную обязанность, избиваются.

Много было произнесено подобныхъ суровыхъ приговоровъ и много было развернуто подобныхъ смѣлыхъ перспективъ. Но всѣхъ превзошелъ, кажется, Ренанъ. Характеристика этого человѣка, сдѣланная Брандесомъ, съ которою читатель «Отечественныхъ Записокъ» имѣлъ случай недавно познакомиться, очень вѣрна, но грѣшитъ излишнею мягкостью и тонкостью. То презрѣніе Ренана къ людямъ, о которомъ говоритъ Брандесъ, имѣетъ въ немъ совершенно спеціальное направленіе и въ этомъ направленіи достигаетъ, можно сказать, колоссальныхъ размѣровъ, поражая своею грубостью и откровенностью. Онъ уже говорилъ (и приводилъ этимъ въ восторгъ одного изъ нашихъ «самобытниковъ», г. Страхова), что «грубость многихъ есть условіе одного, что потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь» и т. п. Наконецъ, въ «Dialogues et fragments philosophiques» онъ предположилъ въ будущемъ образованіе, путемъ подбора, особенной, высшей породы людей, которые собственно даже не люди будутъ, а въ родѣ какъ боги. Эти боги, обладая высшими тайнами науки и огромными, чисто органическими, физіологическими преимуществами, будутъ держать «грубую» и «потную» толпу въ черномъ тѣлѣ, постоянномъ страхѣ и повиновеніи...

Что же въ это время дѣлалъ учитель? Учитель... мямлилъ. Онъ говорилъ, напримѣръ: «Нельзя не пожалѣть, хотя, быть можетъ, это не совсѣмъ разумно, о быстротѣ, съ какою размножается человѣчество», Или, «Мы должны безропотно примириться съ несомнѣнно пагубными послѣдствіями сохраненія жизни и размноженія слабыхъ людей». Или еще: «Преступниковъ казнятъ или подвергаютъ долгосрочному тюремному заключенію, такъ что они не могутъ свободно передавать потомству свои дурныя качества. Меланхоликовъ и сумасшедшихъ запираютъ, или они кончаютъ самоубійствомъ. Люди задорные и запальчивые часто погибаютъ насильственною смертью». Такимъ образомъ, значитъ, и въ обществѣ происходитъ процессъ естественнаго подбора лучшихъ и погибели худшихъ. Но кто же эти лучшіе и эти худшіе? Обратите вниманіе на колеблющійся, нерѣшительный тонъ Дарвина, какъ только рѣчь заходитъ о человѣческихъ житейскихъ дѣлахъ, а также опять-таки на спеціальный недостатокъ его, вообще столь богатаго воображенія. Онъ не можетъ себѣ представить общества, въ которомъ преступниками считались бы и, слѣдовательно, подвергались бы казни и долгосрочному тюремному заключенію не худшіе, а, напротивъ, лучшіе. А, кажется, такое общество представить себѣ не трудно. Взять хоть бы, напримѣръ, римское общество, казнившее христіанъ цѣлыми массами. Вѣдь не худшіе же это были? Я ужъ не говорю о томъ, что и самый обыкновенный преступникъ можетъ обладать всякаго рода достоинствами и быть подвинутымъ на преступленіе неблагопріятными условіями той общественной формы, которой Дарвинъ предоставляетъ рѣшающій голосъ: если она, эта форма рѣшила, что такой-то есть преступникъ, такъ и кончено— онъ худшій, онъ долженъ погибнуть. Ясно, что для сортировки лучшихъ и худшихъ, сильныхъ и слабыхъ критерій успѣха недостаточенъ, и что ходъ вещей на землѣ далеко не столь безостановочно радостенъ, какъ его рисуютъ дарвинисты.

Это не замедлило обнаружиться и въ области природы, внѣ человѣка лежащей. Самъ Дарвинъ обратилъ вниманіе, что бываютъ несомнѣнные изъяны въ организаціи, которые, однако, при извѣстныхъ условіяхъ полезны. Такъ, напримѣръ, пещернымъ животнымъ глаза не нужны и только даромъ поглощаютъ извѣстную часть пластическаго матеріала и жизненной силы. Поэтому побѣда останется здѣсь за слѣпыми. Нѣкоторыя, спеціальныя изслѣдованія, особенно о жизни и строеніи паразитовъ, показали, что происходящее при подобныхъ условіяхъ пониженіе организаціи, регрессъ достигаетъ иногда чудовищныхъ размѣровъ. А разъ въ розовую, оптимистическую картину безостановочно прогрессирующей, путемъ борьбы и подбора, жизни вошла возможность регресса и побѣды худшихъ, поколебались и самые принципы борьбы и подбора, какъ творческія начала. Одинъ безымянный нѣмецъ (Ungenannter) издалъ остроумную пародію на теорію Дарвина, въ которой аргументами, подчасъ весьма благовидными, доказывалъ, что жизнь, вообще, регрессируетъ и что въ частности обезьяна произошла отъ человѣка, и именно путемъ борьбы и подбора. Это была, конечно, шутка, но остроумная, умѣстная и, если можно такъ выразиться, отрезвляющаго характера. Затѣмъ одинъ нѣмецкій ученый (Дорнъ) издалъ уже серьезное сочиненіе, въ которомъ развивалъ мысль, что асциди, признаваемыя нѣкоторыми дарвинистами за родоначальниковъ человѣка, сами произошли отъ позвоночныхъ путемъ постепеннаго и продолжительнаго регрессированія. Сколько мнѣ извѣстно, если не вся работа Дорна, то нѣкоторыя ея частности были встрѣчены спеціалистами благопріятно.

Надо замѣтить, что самые непреклонные изъ дарвинистовъ, встрѣчаясь съ нѣкото-

рыми фактами несомнѣннаго, ничѣмъ не замаскированнаго регресса организаціи и торжества худшихъ, такъ и должны были отзываться, что вотъ это, дескать, регрессъ и торжество худшихъ. Это само собой наводило на мысль, что должно же существовать какое-нибудь мѣрило для худшихъ и лучшихъ, независимое отъ успѣха или неуспѣха, торжества или гибели. Дарвинисты и искали этого мѣрила въ такъ называемомъ законѣ Бэра, который никогда не былъ ими проводимъ вполнѣ послѣдовательно.

Обсужденіе этого пункта завело бы, однако, насъ слишкомъ далеко, да и уже много разъ мы объ этомъ толковали. Мы хотѣли только помянуть «великаго буржуа-натуралиста», такъ сильно занимавшаго современниковъ и нынѣ мирно покоющагося въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Впрочемъ, собственно въ нашей жизни Дарвинъ и его ученіе не играли большой роли. Если не считать ничтожной горсти спеціалистовъ, на работахъ которыхъ дарвинизмъ, такъ или иначе, отозвался, то окажется лишь масса людей, праздно болтающихъ и мало понимающихъ, что доказывается, напримѣръ, газетными сближеніями дарвинизма съ «динамитомъ». На дѣлѣ между этими вещами нѣтъ ровно никакой связи, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ есть даже связь противоположности. Но у насъ, какъ и вездѣ, есть поприще для практическаго приложенія и теоретической провѣрки теоріи Дарвина. Законы измѣнчивости, наслѣдственности, приспособленія, борьбы за существованіе, подбора писаны и для насъ. А потому, оглядываясь на свое тысячелѣтнее прошлое, мы можемъ задаться не безынтереснымъ вопросомъ: всегда-ли у насъ торжествовали лучшіе и погибали худшіе? Всякій, я думаю, согласится, что отнюдь не всегда, хотя въ разборкѣ лучшихъ и худшихъ произойдутъ, разумѣется, разногласія. Не будемъ входить въ эти подробности и разнообразіе точекъ зрѣнія на достоинство и низость, добро и зло, истинную силу и истинное ничтожество. Скажемъ вообще: пусть покроются позоромъ тѣ страницы русской исторіи, на которыхъ записано торжество мерзости и гибель достоинства! пусть въ будущемъ празднуетъ побѣду лишь то, что сильно внутренней, собственной силой, а не заемной, не той, которая почерпается въ уродливыхъ обстоятельствахъ времени и мѣста, какъ почерпаютъ свою силу слѣпыя животныя въ условіяхъ пещерной жизни.

А въ заключеніе, позвольте повторить вопросъ, которымъ я закончилъ прошлую бесѣду: пить или не пить? вотъ въ чемъ вопросъ: что благороднѣе? Въ Кадниковѣ говорятъ, что благороднѣе не пить. Въ Петроковѣ говорятъ, что благороднѣе пить, потому что этимъ способомъ успѣшно пополняются государственные доходы. Пародируя и даже не пародируя, а просто перелагая вышеприведенныя слова Дарвина о злобѣ пчелы-матки, можно рѣшить вопросъ такъ: «Хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикимъ пьянствомъ русскаго мужика, ибо это несомнѣнно полезно обществу». Но возможно, конечно, и совершенно противоположное рѣшеніе. Но для этого другого рѣшенія, и особенно для его осуществленія, надо помнить, что не только свѣту, что въ окошкѣ, и что общественныя формы проходящи.

XV.

О доносахъ, съ присовокупленіемъ собственнаго опыта доноса *).

Да не удивится читатель, что «Отечественныя Записки» въ одномъ и томъ же номерѣ дважды обращаются къ литературному явленію, на первый взглядъ весьма мало цѣнному. Это явленіе — статья г. Щебальскаго «Наши беллетристы-народники» («Русскій Вѣстникъ», апрѣль). Объ ней идетъ рѣчь въ статьѣ «Подозрительный бель-этажъ», печатаемый въ этой же книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»; объ ней же и я собираюсь повести рѣчь. Находя, что мы дѣлаемъ много чести г. Щебальскому и его произведенію, читатель въ извѣстномъ смыслѣ совершенно правъ. Но вѣдь что же дѣлать? Независимо отъ своей внутренней цѣнности, литературныя явленія имѣютъ еще цѣнность рыночную, опредѣляемую состояніемъ базара житейской суеты. И съ этой точки зрѣнія могутъ иногда оказаться очень стоющими вниманія вещи, которымъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ и по самому существу цѣна—грошъ. Таковъ именно, говоря высокимъ слогомъ, «трудъ» г. Щебальскаго. Это пустѣйшая изъ пустяковинъ, приправленная чрезвычайно комическимъ бахвальствомъ.

Г. Щебальскій начинаетъ свою статью такъ: «Сильно ошибся бы тотъ читатель «Русскаго Вѣстника», который сталъ бы заключать по беллетристикѣ этого журнала о нашей современной беллетристикѣ вообще. Повѣсти и романы «Русскаго Вѣстника», это—бель-этажъ, «чистыя комнаты» нашего литературнаго зданія. Но въ этомъ зданіи есть чердаки и подвалы, есть грязные чуланы и никогда не вентилируемыя, никогда не подметаемыя спальни, есть задніе дворы съ кучами мусора». Очень величаво! И было

*) 1882 г., іюнь.

бы, конечно, еще болѣе величаво, еслибы не было съ одной стороны такъ бахвальски-грубо, а съ другой—такъ шутовски-смѣшно. Намъ съ читателемъ еще недавно случилось какъ-то заглянуть въ беллетристику всего одного номера «Русскаго Вѣстника», но и то мы натолкнулись тамъ на цѣлую кучу въ высокой степени дрянныхъ вещей, которая, впрочемъ, воздвигнута была, дѣйствительно, въ «чистой комнатѣ»: ковры, зеркала, по стѣнамъ портреты предковъ, любующихся на мерзости потомковъ... Съ Божіей помощью мы и еще какъ-нибудь совершимъ такую экскурсію, а теперь оставимъ эту матерію. Посмотримъ на тотъ элементъ статьи г. Щебальскаго, который оставленъ совсѣмъ въ сторонѣ авторомъ «Весьма подозрительнаго бель-этажа».

Думали-ли вы, читатель, когда-нибудь объ томъ, отчего доносъ и доносчикъ пользуются такимъ всеобщимъ презрѣніемъ? Отчего ихъ глубоко презираютъ даже тѣ, кто ими пользуется? Прежде всего надо замѣтить, что доносчикъ не одинъ купается въ такомъ безбрежномъ морѣ презрѣнія. Ростовщика, палача, сводню тоже обыкновенно считаютъ чѣмъ-то непотребнымъ даже тѣ, кому они потребны. Дѣло въ томъ, что исполненіе этихъ профессій, въ каждомъ данномъ случаѣ нужное для того или другого потребителя и, слѣдовательно, съ его точки зрѣнія оправдываемое, требуетъ совершенно особенныхъ и, конечно, непривлекательныхъ нравственныхъ качествъ. Что бы тамъ ни говорилъ, напримѣръ, блаженной памяти Де-Местръ объ абстрактномъ значеніи палача, какъ объ олицетвореніи правосудія, но лично палачу онъ никогда руки бы не протянулъ. Съ точки зрѣнія Де-Местра, палачъ дѣлаетъ полезное, необходимое, великое, святое дѣло, но для исполненія этого дѣла нужно быть звѣремъ. И какъ же не брезгать прикосновенія къ этому звѣрю, какъ не вымыть руки, если они какъ-нибудь случайно до него дотронулись? Точно также стоитъ дѣло съ доносчикомъ и даже въ «Русскомъ Энциклопедическомъ Словарѣ» г. Березина подъ словомъ «доносъ» читаемъ: «Законъ ставитъ доносъ обязательнымъ въ важныхъ преступленіяхъ и даже нарушеніяхъ, за что и полагаетъ награды, равно какъ и наказанія за лживые доносы: но общественное мнѣніе относится къ доносчикамъ весьма неблагосклонно, за немногими исключеніями». Не знаю, какія исключенія разумѣетъ «Русскій Энциклопедическій Словарь», но совершенно понимаю кажущееся противорѣчіе между извѣстнымъ покровительствомъ доносу и его презрѣнностью. Кому доносъ нуженъ, тотъ за него платитъ; это просто какъ дважды два—четыре. Но и платящій не можетъ не знать, что фактъ доноса, какъ и все на свѣтѣ впрочемъ, зародился и расцвѣлъ не въ безвоздушномъ пространствѣ. Положимъ, что фактъ этотъ, самъ по себѣ, принесъ извѣстную пользу платящему, раскрывъ, напримѣръ, предстоящую опасность. Но совершенно независимо отъ этой пользы, почва, на которой выросъ доносъ, насквозь пропитана мерзостными элементами предательства, измѣны, обмана, корысти, вилянья лисьяго хвоста и смраднаго дыханія волчьяго рта. И, конечно, не для однихъ христіанъ имя Іуды стало синонимомъ подлости и предательства. Искаріота презирали и тѣ, кто вручилъ ему тридцать сребряниковъ за доносъ. «Подавись ты», думали они, вручая ему мзду предательства. И онъ подавился. Это значитъ только, что есть мерзостныя дѣла и профессіи, которыя при извѣстномъ общественномъ строѣ нужны.

Однако, этимъ отнюдь еще не разрѣшается вопросъ объ *обязательности* доноса. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаютъ юристы. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ профессоръ Таганцевъ въ своемъ «Курсѣ русскаго уголовнаго права»: «Съ одной стороны, при современныхъ государственныхъ условіяхъ исчезла необходимость въ привлеченіи всѣхъ гражданъ къ участію въ преслѣдованіи преступниковъ. Матеріальныя и иныя тягости, которыя каждый гражданинъ несетъ на содержаніе полицейскихъ органовъ разнаго рода, служатъ достаточнымъ основаніемъ для сложенія съ общества натуральной повинности доноса, тѣмъ болѣе, что спеціальные органы могутъ вести дѣло преслѣдованія преступниковъ и съ несравненно большимъ успѣхомъ и съ меньшею затратою силъ. Съ другой—существующее во всякомъ не отжившемъ еще нравственно обществѣ презрѣніе къ доносу не составляетъ предразсудка, съ которымъ нужно бороться государству. Не надо забывать, что здѣсь дѣло идетъ не о гласномъ обвиненіи преступника, при которомъ обвинитель несетъ и всю тягость послѣдствій легкомысленнаго или недобросовѣстнаго привлеченія кого-либо къ отвѣтственности, и даже не о добровольномъ заявленіи органамъ суда о преступленіи, котораго заявитель былъ очевидцемъ, или о которомъ онъ имѣетъ несомнѣнныя свѣдѣнія, а о тайномъ доносѣ, вынуждаемомъ угрозою наказанія. Обязанность доноса имѣетъ необходимымъ и естественнымъ дополненіемъ награду за доносъ, всевозможныя поощренія доносчиковъ *). Конечно, несомнѣнно,

*) На это указывалъ еще и Генке, Handbuch, стр. 282, справедливо прибавляя, что желаніе получить эти «деньги крови», Blutgeld, или, какъ

что такая система можетъ иногда содѣйствовать раскрытію преступленій, борьба съ которыми оказалась не подъ силу спеціальнымъ органамъ, но горе той странѣ, которая ради этого обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни, выдвинетъ шпіоновъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ. Ради временныхъ выгодъ правительство посѣетъ въ обществѣ сѣмена страшной нравственной заразы, которая грозитъ или вымираніемъ государственнаго организма, или потребуетъ громадныхъ и долгихъ жертвъ на его исцѣленіе» («Курсъ», вып. III, 170).

Къ этому надо прибавить еще слѣдующее. Общественное презрѣніе къ доносу отнюдь не безусловно. Оно имѣетъ, напротивъ, очень опредѣленныя, хотя и трудно формулируемыя границы. Ни одинъ порядочный человѣкъ не откажетъ вамъ въ своемъ уваженіи, если вы донесете, напримѣръ, на человѣка, который истязуетъ ребенка, хотя бы вы сдѣлали это, по какимъ нибудь вашимъ личнымъ обстоятельствамъ и соображеніямъ, анонимно, тайкомъ. Тѣмъ паче не грозитъ вамъ презрѣніе, если вы сдѣлаете это открыто, во всеуслышаніе, принимая на себя всѣ послѣдствія такого поведенія, то-есть обязанность доказать и поддерживать свой доносъ, стоя лицомъ къ лицу съ обвиняемымъ вами человѣкомъ. Въ этомъ случаѣ вы можете оказаться даже не только не доносчикомъ въ томъ технически позорномъ смыслѣ слова, въ которомъ оно обыкновенно употребляется, а рыцаремъ добра и правды. Понятно, что къ такого рода доносамъ никакъ не относятся слова г. Таганцева: «горе той странѣ, которая обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни, выдвинетъ шпіоновъ и доносчиковъ на видное мѣсто въ государствѣ». Напротивъ, счастіе, великое счастіе той странѣ, въ которой *такіе* доносы практикуются и *могутъ* практиковаться. Подчеркиваю слово «могутъ», потому что поле благороднаго доноса далеко не всегда открыто для всѣхъ, желающихъ на него выступить. Бываютъ разныя къ тому препятствія. У насъ, напримѣръ, литература могла бы представить широкое поприще для благороднаго доноса, предоставляя всѣмъ и каждому возможно открыто и подъ полною своею личною отвѣтственностью доносить на людей, неправду творящихъ, неправдой живущихъ. Но эта-то возможность и отнята у нашей злосчастной литературы. Объ литературѣ, впрочемъ, потомъ. А теперь отмѣтимъ то любопытное обстоятельство, что пятствіемъ для практики благороднаго доноса является сплошь и рядомъ практика доноса презрѣннаго. Весьма натурально, что эти два вида доноса не могутъ уживаться рядомъ, ибо ночь потому и черна, что солнца нѣтъ на небѣ. Но любопытно наблюдать ту почти математическую пропорціональность, съ которою убыль благороднаго доноса влечетъ за собой прибыль презрѣннаго доноса и обратно. Мы имѣемъ возможность дѣлать эти наблюденія, потому что недалеко уже отъ насъ то горе, о которомъ говоритъ профессоръ Таганцевъ.

Позвольте заимствовать изъ «Голоса» (№ 144) слѣдующую коллекцію, собранную въ фельетонѣ «Изъ мѣстной печати» за самое короткое время, да и для этого короткаго времени едва-ли полную.

Въ Винницахъ, городскому головѣ Щавинскому не по душѣ пришлось, что гласный Л—ій, по желанію группы лицъ, недовольныхъ думскими порядками, составилъ проектъ правилъ о веденіи дѣлъ въ думѣ. Когда проектъ былъ доложенъ, голова заявилъ, что уже извѣстное «*противоправительственное* направленіе» г. Л—го отразилось и въ его «правилахъ». Заявленіе это произвело эффектъ чрезвычайный: всѣ гласные закричали о необходимости отложить разсмотрѣніе проекта, потребовали копій съ него, чтобы вникнуть въ него повнимательнѣе—страшно стало. Къ счастію, исправникъ разрѣшилъ напечатать «противоправительственный» проектъ для разсылки гласнымъ, и его санкція успокоила умы.

Только голова не успокоился. Черезъ нѣсколько времени, по какому-то случаю, былъ обѣдъ въ мѣстномъ клубѣ; за обѣдомъ Щавинскій произнесъ рѣчь, въ которой публично заявилъ, что Л—ій потрясаетъ основы, возбуждаетъ недовольство противъ городского управленія—короче, что онъ «соціалистъ»! Дѣло дошло до мирового.

Въ Казани побили какого-то Фельдмана. Онъ немедленно привлекъ къ суду трехъ студентовъ по обвиненію въ «соціализмѣ», увѣрялъ даже, что въ него «стрѣляли динамитомъ»!

Въ той же Казани прославился управляющій мѣстною конножелѣзною дорогой г. Талькевистъ. Онъ безобразно безчинствуетъ подъ предлогомъ, что исполняетъ долгъ патріота, ссылаясь на то, что «само правительство приглашало общество содѣйствовать искорененію крамолы». То онъ схватываетъ ни въ чемъ неповиннаго портного и объявляетъ его «соціалистомъ»; то вторгается въ ресторанъ съ толпой кондукторовъ, которыхъ, въ видѣ часовыхъ, разставляетъ къ отдѣльнымъ кабинетамъ, чтобы накрыть совѣщаніе соціалистовъ; то съ во-

называетъ ихъ Бернеръ, Indiagelд, порождаетъ профессію лицъ, возбуждающихъ къ преступленію, ради будущихъ выгодъ.

оруженною толпою кучеровъ ходитъ по улицамъ, изловляя все тѣхъ же «соціалистовъ»: то набрасывается на самую полицію за слишкомъ довѣрчивое отношеніе къ предъявляемымъ паспортамъ.

Болѣзнь доноса заразила и образованныхъ людей. Полевой хирургъ Д—й, служащій младшимъ врачомъ полка, получилъ невеселое порученіе—убѣдиться, можетъ-ли провинившійся солдатъ (изъ штрафованныхъ) выдержать наказаніе въ 200 розогъ?—«Не можетъ», отвѣчалъ Д—й. Но старшій врачъ полка М., возмущенный «потворствомъ», назначилъ коммиссію изъ себя и двухъ другихъ врачей, и коммиссія нашла, что солдатъ экзекуцію выдержать можетъ. Вскорѣ вѣрность «діагноза» ученой коммиссіи подтвердилась и самымъ фактомъ сѣченія. Тогда старшій врачъ донесъ, кому слѣдуетъ, что докторъ Д—й произвелъ изслѣдованіе небрежно и требовалъ для него кары.

Наконецъ, появился доносъ и въ деревнѣ. Какой-то волостной судья, крестьянинъ Мѣщаниновъ, Царицынской волости, Московскаго уѣзда, выпивая, буйствуетъ безъ мѣры. Надняхъ онъ ворвался въ одинъ изъ мѣстныхъ трактировъ, приставъ къ одному изъ посѣтителей со всевозможною бранью и, наконецъ, объявилъ: «ты соціалистъ; донесу— и тебя отсюда въ темной каретѣ увезутъ!» Просвѣщеніе очевидное. Прежде такихъ словъ въ деревнѣ не знали.

Отъ словъ недалеко и до дѣла. Въ Черниговской губерніи, близъ Глухова, въ селѣ Степановкѣ, давно ведется упорная борьба землевладѣльца К. съ крестьянами. Не смотря на всѣ притѣсненія К. по сдачѣ земли по выгонамъ, потравамъ и проч. или, вѣроятнѣе, благодаря, именно этимъ притѣсненіямъ стали его, въ свою очередь, «доѣзжать» и крестьяне. Долго-ли, коротко ли шла борьба помощью пріемовъ, давно выработанныхъ въ идиллической тиши русскихъ деревень— неизвѣстно, но кто-то, наконецъ, шепнулъ крестьянамъ, что есть новыя средства борьбы, довольно общеупотребительныя въ послѣднее время въ культурныхъ и некультурныхъ и слояхъ благоденствующей Россіи: крестьяне подали кому слѣдуетъ заявленіе о сомнительной благонадежности К. Являются къ К. «соотвѣтствующія случаю» власти и обязываютъ К. подпиской о не выѣздѣ изъ Глухова. Око-заоко: вскорѣ и К. извѣщаетъ черниговскаго губернатора, что крестьянами села Степановки получена подозрительная бумага. Соотвѣтствующая власть летитъ къ крестьянамъ: оказывается, что мѣра, принятая противъ К., не удовлетворила «меньшей братіи». Крестьяне собрали 100 рублей и послали въ Петербургъ ходатая съ жалобой на К., въ которой поддерживаютъ прежнее обвиненіе и просятъ новаго слѣдствія. Привезенная ходатаемъ росписка въ томъ, что жалоба принята, и есть та злополучная бумага, о которой донесъ К.

Крестьяне одного села Ставропольской губерніи, желая избавиться отъ своего священника, донесли, что у него во время панихиды по покойномъ государѣ на лицѣ была «улыбка довольнаго человѣка»!

Прямымъ спутникомъ доносовъ является, очевидно, и политическій шантажъ: «дайте столько-то или донесу».

Вотъ вы и разсудите. Разныя печальныя обстоятельства предоставили въ распоряженіе каждаго охочаго человѣка грязное оружіе презрѣннаго доноса. «Воинъ, купецъ и пастухъ» могутъ, когда имъ вздумается, взять это оружіе въ свои руки и махать имъ направо и налѣво, въ справедливомъ или несправедливомъ разсчетѣ, что это размахиваніе приведетъ къ нужнымъ результатамъ, то-есть нанесетъ, кому слѣдуетъ, смерть и увѣчье. Понятное дѣло, что добропорядочный воинъ, добропорядочный купецъ и добропорядочный пастухъ не станутъ марать рукъ объ эту грязь. За нее ухватятся уже готовыя, и безъ того замаранныя руки: воинъ, храбро удирающій отъ непріятеля и воюющій съ мирными гражданами родной страны; купецъ, обвѣшивающій и обмѣривающій покупателя; пастухъ, небрегущій вѣвѣреннымъ имъ стадомъ и дерущій двѣ шкуры съ одного вола. Ну, и потрудитесь выйти противъ этихъ людей съ открытымъ, то-есть съ благороднымъ доносомъ. Не говоря уже объ томъ, что у нихъ есть или могутъ быть бабушки, которыя отлично умѣютъ ворожить и не дадутъ вы обиду излюбленныхъ внучковъ, у нихъ у самихъ есть въ рукахъ страшное оружіе доноса, при помощи котораго они моментально могутъ превратить васъ во врага отечества. Конечно, не всегда подобныя махинаціи удаются (да и еще бы онѣ всегда удавались!), но онѣ удаются всетаки слишкомъ часто для человѣческаго достоинства и достоинства родины. И уже одна страничка изъ нашей текущей исторіи, въ родѣ вышеприведенной коллекціи фельетониста «Голоса», заставляетъ невольно повторить слова профессора Таганцева: горе странѣ, которая обратитъ доносъ въ необходимый элементъ общественной жизни! Двойное или, точнѣе, двустороннее горе: съ одной стороны ростетъ, проникая, какъ мы видѣли, и въ глубь, и въ верхніе слои населенія, развратъ доноса со всѣми его спутниками— предательствомъ, ложью, наглымъ хвастовствомъ; съ другой стороны съуживается полеоткрытаго доноса на неправду творящихъ...

Однако, перебиваетъ меня, наконецъ, читатель:—какое же все это имѣетъ отношеніе къ г. Щебальскому и его статьѣ о беллетристахъ-народникахъ?

О, мы вовсе не такъ далеко отошли отъ г. Щебальскаго, какъ вамъ кажется! Мы все время возлѣ него были и теперь, чтобы посмотрѣть ему уже прямо въ лицо, намъ остается сдѣлать всего одинъ шагъ—сказать пару словъ о литературномъ доносѣ.

За исключеніемъ тѣхъ, кто воздѣлываетъ чистую науку, и тѣхъ, кто поетъ столь же чистую отъ житейскихъ тревогъ пѣснь торжествующей любви; за этими двумя исключеніями, всѣ мы, пищущая братія, по самому существу нашей профессіи—доносчики и должны быть таковыми. Всѣ, отъ случайнаго газетнаго корреспондента, сообщающаго какой-нибудь мелкій фактъ, до тѣхъ, кто, обобщая подобныя мелочи, отливаетъ свои обобщенія въ художественные образы или теоретическія формулы. Кому мы доносимъ?—Всѣмъ имѣющимъ уши слышати. На кого, на что доносимъ?—На всякое зло и на всякую неправду, какъ мы ихъ понимаемъ. Ясно, что, по существу дѣла, литературные доносы должны принадлежать къ категоріи доноса благороднаго. Если я заявляю, что «много Понтійскихъ Пилатовъ и много лукавыхъ Іудъ Христа своего распинаютъ, отчизну свою продаютъ»; если я затѣмъ открыто, во всеуслышаніе, съ готовностью принять на себя всѣ обязанности, вытекающія изъ моего доноса, говорю: вотъ кто умылъ руки въ дѣлѣ вопіющей неправды, вотъ кто продалъ своего Христа, вотъ язвы гвоздиныя—то кто же посмѣетъ взглянуть на меня съ тѣмъ презрѣніемъ, съ которымъ смотрятъ на низкаго доносчика? Казалось бы, по самымъ кореннымъ условіямъ литературной профессіи, здѣсь не можетъ быть мѣста низкимъ формамъ доноса. Положимъ, мы съ г. Щебальскимъ (къ примѣру говорю) разно понимаемъ добро и зло. Онъ ищетъ добра въ парадныхъ комнатахъ, а я на чердакахъ и въ подвалахъ. Положимъ, далѣе, что мое пониманіе добра и зла съ точки зрѣнія г. Щебальскаго чрезвычайно вредно, а я, наоборотъ, считаю крайне вреднымъ и ошибочнымъ его пониманіе. Мы прямо, открыто доносимъ другъ на друга, защищаемся, обвиняемъ, а имѣющіе уши слышать берутъ себѣ каждый, что приходится по его разумѣнію. Что можетъ быть проще, лучше, благороднѣе, хотя бы мы и позволили себѣ въ пылу раздраженной полемики какое-нибудь жестокое или грубое слово? Какъ можно сюда втиснуть низкія формы доноса, когда исторія разыгрывается на виду у всѣхъ, путемъ литературы, гдѣ противники сражаются одинаковымъ оружіемъ и гдѣ всякій посторонній человѣкъ можетъ провѣрить каждое слово и взвѣсить каждый аргументъ?

Да, въ принципѣ, по кореннымъ условіямъ литературной профессіи, все это такъ и есть. Оттого-то литературная дѣятельность и окружена такимъ заманчивымъ ореоломъ, оттого-то такъ и рвется къ ней чуть не каждый юноша, не побывавшій еще въ битвѣ жизни и не видавшій своихъ идеаловъ оскорбленными, своихъ надеждъ похороненными. Помилуйте,—«глаголомъ жги сердца людей»—и дѣло въ шляпѣ! Но нѣтъ розы безъ шиповъ и часто, слишкомъ часто розѣ приходится «не расцвѣсть и отцвѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней», а шипы остаются и колютъ, и жгутъ. Думаю, что человѣчество когда-нибудь, и даже въ непродолжительномъ времени, выдумаетъ розу безъ шиповъ и введетъ ее во всеобщее употребленіе, потому что, собственно говоря, вовсе это ужъ не такая хитрая штука. Но пока солнце взойдетъ, роса очи выѣстъ, и намъ грѣшнымъ, живущимъ сію минуту и поневолѣ требующимъ отъ этой минуты хоть какого-нибудь удовлетворенія, достаются сплошь и рядомъ одни шипы. И чертовски больно колютъ иногда эти шипы, особенно, когда сильно хочется найти розу... Это, впрочемъ, вообще. Въ частности же, по нынѣшнему времени шипы-доносы грозятъ совсѣмъ заглушить розу-литературу. Невозможное по кореннымъ условіямъ литературной профессіи и по логикѣ вещей оказывается возможнымъ по состоянію базара житейской суеты. Это каждый, впрочемъ, знаетъ и любопытно только приглядѣться къ тѣмъ путямъ, которыми низменный доносъ, нѣчто тайное, скрываемое и прикрываемое, вторгается въ литературу, гдѣ, повидимому, все такъ явно и открыто, гдѣ обязателенъ доносъ въ благороднѣйшей его формѣ.

Недавно «Московскія Вѣдомости» начали одну изъ своихъ передовыхъ статей, направленную противъ газеты «Русь», такимъ образомъ: «По печати сдѣлано распоряженіе не говорить ничего ни въ пользу, ни противъ извѣстнаго предмета. Нельзя не признать этого распоряженія весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ; но нельзя также не признать, что въ нашей печати то и дѣло, и притомъ самымъ настойчивымъ образомъ, высказывается необходимость измѣненія нашего государственнаго строя». А вслѣдъ за тѣмъ идутъ весьма пространныя разсужденія, направленныя противъ извѣстнаго предмета, а слѣдовательно и противъ того самаго распоряженія, которое московская газета находитъ «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ». Обратите вни-

маніе сначала на слѣдующую черту. Правительство, по своимъ соображеніямъ, объ основательности которыхъ мы судить не можемъ, изъемлетъ тотъ или другой предметъ, назовемъ его x, изъ круга обсужденія литературы. Литература обязана подчиниться этому распоряженію, но какъ она можетъ ему радоваться, когда вся миссія ея состоитъ въ гласномъ и всестороннемъ обсужденіи всѣхъ предметовъ міра видимаго и невидимаго, а въ томъ числѣ и этого запретнаго x? Хозяйка рѣшаетъ подрѣзать гусямъ крылья—это ея дѣло, но неужто сами-то гуси могутъ находить это рѣшеніе «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ»? Удивительное дѣло! Казалось бы, представитель печати, имѣя свое собственное мнѣніе объ x, долженъ непремѣнно желать доставить ему побѣду, то-есть свести его на очную ставку со всѣми другими, враждебными мнѣніями, разгромить эти враждебныя мнѣнія и на ихъ развалинахъ водрузить знамя истины и справедливости, какъ онъ ихъ понимаетъ. Но «Московскія Вѣдомости» довольствуются малымъ: *словесной* побѣдой среди всеобщаго *молчанія*! Какъ, подумаешь, лестно и какъ благородно! «Страна» по этому поводу замѣчаетъ: «Странно, что газета, признавая запрещеніе цѣлесообразнымъ, тутъ же сама его нарушаетъ. Или «Русь» и «Московскія Вѣдомости» имѣютъ особыя указанія?» «Новое время» въ свою очередь находитъ со стороны «Московскихъ Вѣдомостей» «безтактнымъ» «говорить о предметѣ, о которомъ нѣтъ возможности всѣмъ сторонамъ объясниться на чистоту».

Замѣчанія «Страны» и «Новаго Времени» очень справедливы. Мнѣ кажется только немножко страннымъ, что объ газеты такъ усиленно пріурочиваютъ свои соображенія къ данному случаю. Это вѣдь только эпизодъ, правда, очень пикантный. Совершенно независимо отъ него, есть множество предметовъ, объ которыхъ тоже «нѣтъ возможности всѣмъ высказаться на чистоту», что не мѣшаетъ, однако, нѣкоторымъ витязямъ литературы (они называютъ другихъ «мошенниками пера и разбойниками печати») толковать объ нихъ съ чрезвычайною развязностью. И хотя никто не можетъ отнять у нихъ этого права, но надо же все-таки признать, что тутъ-то и находятся ворота, черезъ которыя вторгается въ область литературы низменный доносъ. Вамъ говорятъ, напримѣръ: ты облюбовалъ x, ты, слѣдовательно, врагъ отечества, измѣнникъ, достойный и не столь, и столь отдаленныхъ мѣстъ и проч. Вы возражаете: позвольте, однако, я можетъ быть вовсе не облюбовалъ x, а если и облюбовалъ, то изъ моего разумѣнія этого x вытекаютъ совсѣмъ не тѣ отношенія къ отечеству, о которыхъ вы говорите; напротивъ...—Знаемъ мы васъ! все польская интрига, а потомъ еврейскіе безпорядки! гвоздитъ свое витязь литературы.—Вы молчите.—А! небось молчишь? а почему же ты молчишь и не присоединяешь своего голоса къ хору витязей?!

Согласитесь, что это доносъ уже въ самой низменной формѣ, потому что въ этомъ примѣрномъ разговорѣ нарушены всѣ тѣ коренныя условія печати, которыя въ принципѣ обязываютъ ее только къ благородному доносу. Правда, доносъ дѣлается во всеуслышаніе, открыто, но вѣдь обвиняемый оправдываться не можетъ, обвинитель же никакихъ дѣйствительныхъ доказательствъ не представляетъ, а ограничивается болѣе междометіями и бранными словами. Такъ что самая открытость доноса свидѣтельствуетъ о еще большемъ, можетъ быть, нравственномъ паденіи, чѣмъ какое обнаруживается тайнымъ доносомъ. Тайный доносчикъ, можетъ быть, всетаки стыдится своего грязнаго дѣла, а эти витязи безъ стыда и цензуры, эти благородные враги «мошенниковъ пера и разбойниковъ печати» съ полнымъ самодовольствомъ бьютъ людей, у которыхъ связаны руки, и надругаются надъ людьми, у которыхъ зажатъ ротъ. И какъ же опять не припомнишь горе страны...

Есть и еще пріемъ низменнаго литературнаго доноса. Его практикуетъ г. Щебальскій.

Трактуя о беллетристахъ-народникахъ, г. Щебальскій мимоходомъ сдѣлалъ честь уязвленія и мнѣ, къ народной беллетристикѣ ни мало не причастному. Онъ говоритъ между прочимъ, совершенно между прочимъ и даже ни къ селу, ни къ городу: «Политическія преступленія и вызывающая ихъ манія производить пертурбаціи въ теченіи политической и соціальной жизни человѣчества, суть, можетъ быть, такая же психическая болѣзнь, такое же временное нервное разстройство, какъ усматриваемыя Н. Михайловскимъ въ средніе вѣка «эпидеміи самобичеванія, неистовой пляски, демономаніи, демонолатріи, истребленія евреевъ, освобожденія гроба Господня и проч.» («Отечественныя записки», 1882, № 2). Можетъ быть читателямъ противнаго намъ лагеря не понравится сопоставленіе «неистовой пляски» съ революціонною эпидеміей; но намъ съ еще большимъ основаніемъ непріятно подведеніе подъ кличку нравственныхъ болѣзней того религіознаго чувства, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣрившихъ во Христа».

Видите, какъ тонко. Г. Щебальскій ни

въ чемъ прямо меня не обвиняетъ,—ни въ сочувствіи къ революціи, ни въ неуваженіи къ религіи. Онъ только подмигиваетъ. Разъ подмигнулъ, два подмигнулъ, анъ, смотришь, гдѣ слѣдуетъ и составилось не то что убѣжденіе, а такъ, туманный обликъ убѣжденія, что вотъ, молъ, гдѣ крокодилъ на днѣ лежитъ. Г. Щебальскій это очень хорошо понимаетъ и неустанно подмигиваетъ на протяженіи всей своей статьи. Я сейчасъ разсмотрю нѣсколько подробнѣе подмигиваніе въ мою сторону и, къ счастію, могу это сдѣлать съ полнѣйшею откровенностью, ибо рѣчь идетъ о чисто научномъ вопросѣ. Но вотъ и еще нѣсколько образчиковъ подмигиванія г. Щебальскаго.

Говоря о «Власти земли» г. Успенскаго, московскій критикъ заявляетъ между прочимъ (у него все между прочимъ!): «И что же! въ концѣ концовъ выходитъ что Иванъ правъ; что, по крайней мѣрѣ, онъ не виноватъ, а виновенъ кто-то другой или что-то другое. «Среда заѣла»,—сказали бы лѣтъ двадцать тому назадъ! Но среда-ли, другое-ли что,—дѣло въ томъ, что Иванъ въ глазахъ читателя обѣляется, а обсужденію предается кто-то другой: *точь въ точь тотъ же пріемъ, какъ въ дѣлѣ Вѣры Засуличъ*». Положимъ, что Вѣра Засуличъ и ея дѣло тутъ совершенно не причемъ: ни это дѣло нисколько не объясняетъ исторіи Ивана Босыхъ, ни исторія Ивана Босыхъ не объясняетъ дѣла Засуличъ. Но какая до всего этого надобность г. Щебальскому; онъ подмигнулъ и — конецъ! Подмигнулъ безсмысленно «весьма, какъ говорится, нецѣлесообразно», но вѣдь отъ подмигиванія и не требуется логическаго разсужденія или прямого доказательства. Цѣль достигнута: извѣстное имя пристегнуто къ тому, что намъ не нравится и съ чѣмъ открыто бороться у насъ не хватаетъ силенки, а тамъ разбирай, поди! Или, напримѣръ, говоря объ одномъ разсказѣ г. Златовратскаго, г. Щебальскій замѣчаетъ: «Не знаю, имѣлъ-ли въ виду г. Златовратскій выставить «бунтарей» благодѣтелями русскаго народа, единственными людьми, пекущимися о немъ, но если онъ этого не имѣлъ и не имѣетъ въ виду, то желательно, чтобъ онъ и не подавалъ повода заподозривать себя въ такихъ слишкомъ уже нелитературныхъ тенденціяхъ». Какъ видите, опять никакого прямого обвиненія, ничего такого, что можно бы было назвать благороднымъ доносомъ. Нѣтъ, г. Щебальскій просто собственной персоной повторяетъ то, что разсказываетъ о себѣ кто-то у Гоголя: «я и мигаю Ивану Петровичу (а можетъ быть Петру Ивановичу), чтобы онъ козырялъ!» Ну, Иванъ Петровичъ посмотритъ, посмотритъ, да и козырнетъ.

Я думаю, что пріемы г. Щебальскаго только то и имѣютъ въ себѣ литературнаго, что практикуются перомъ на бумагѣ, потомъ написанное сдается въ типографію, набирается, корректируется, верстается и т. д. Въ сущности же они представляютъ яркій образчикъ того низменнаго доноса, который противорѣчитъ самымъ коренным условіямъ литературной работы. Здѣсь нѣтъ ни открытаго обвиненія, ни равенства оружія, ни готовности принять на себя послѣдствія легкомысленнаго или недобросовѣстнаго обвиненія, то-есть, готовности отвѣчать за каждое слово. А отвѣчать есть за что,

Позвольте нѣсколько словъ pro domo sua.

Г. Щебальскій полагаетъ сказать нѣчто чрезвычайно язвительное и ядоносное намекомъ на «революціонную эпидемію», которую я, будто бы, не соглашусь сопоставить съ другими нравственными эпидеміями. Нѣтъ, г. Щебальскій, подмигиваніе тутъ есть, хотя и не особенно искусное, ну, а яду совсѣмъ мало. Старый ужъ вы, должно быть, человѣкъ, а этого не понимаете. Въ статьѣ «Герои и толпа» прямо говорится: «Мы видимъ только, что существуетъ какая-то особая сила, толкающая людей къ подражанію; сила очень на первый взглядъ капризная, ибо охваченный ею человѣкъ подражаетъ иногда палачу, то-есть совершаетъ убійство, а иногда казненному преступнику; послѣднее, кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ, *особенно часто случается съ политическими преступниками*». Въ продолженіи статьи я надѣюсь обставить эту частность фактически и доказать, что во всякомъ революціонномъ движеніи, независимо отъ его политическихъ, экономическихъ и другихъ причинъ, играетъ роль сила подраженія; что это подражаніе вызывается, между прочимъ, примѣрами страданій, которыя создаетъ репрессія. Запомните это, г. Щебальскій, и перестаньте такъ хитро подмигивать: не въ то мѣсто попали...

Что касается другой ядовитости г. Щебальскаго, то она особенно любопытна въ устахъ историка (г. Щебальскій—историкъ или когда-то былъ имъ). Было-бы, разумѣется, очень для меня лестно, еслибы я первый сопоставилъ крестовые походы съ неистовой пляской и другими средневѣковыми нравственными эпидеміями. Но увы! это сдѣлано уже очень давно и очень многими. До такой степени давно и многими, что стала общимъ мѣстомъ и мнѣ пришлось (по поводу мнѣній Илама) даже доказывать, что такія массовыя движенія, какъ крестовые походы, имѣли своимъ источникомъ не одно голое подражаніе, а еще цѣлую сложную сѣть умственныхъ, экономическихъ, политическихъ условій средневѣковой жизни. И опять, зна-

читъ, г. Щебальскій не въ то мѣсто попалъ. А вѣдь какую хитрѣйшую физіономію устроилъ, когда подмигивалъ! Впрочемъ, подмигивалъ онъ больше насчетъ «подведенія подъ кличку нравственныхъ болѣзней того религіознаго чувства, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣровавшихъ во Христа». Г. Щебальскій очень, видите-ли, обиженъ за дешевую оцѣнку религіознаго чувства крестоносцовъ. Очень бы многое могъ я сказать по этому поводу историку (!) Щебальскому, но скажу малое. Да и то не самъ скажу, а попрошу говорить за себя архимандрита Арсенія, въ сторону котораго г. Щебальскій можетъ быть и не рѣшится подмигивать. Въ «Лѣтописи церковныхъ событій» архимандрита Арсенія, о первомъ крестовомъ походѣ говорится такъ: «Простой народъ, безчеловѣчно тѣснимый своими владѣльцами, радъ былъ и безъ того избавиться отъ своихъ владыкъ, а владѣльцы увлекались предстоящею славою подвиговъ, почестей и богатствъ; религіозное одушевленіе довершило остальное... Такимъ людямъ давалось, именемъ папы, полное отпущеніе грѣховъ (индульгенція) и разрѣшеніе отъ постовъ на время войны, а также отъ слѣдующихъ имъ гражданскихъ за преступленія наказаній; оттого преступники охотно шли въ полки крестоносцевъ. Папа первый получилъ пользу отъ крестоносцевъ... Первыя толпы крестоносцевъ... вели себя такъ необузданно, что жители всюду поступали съ ними, какъ съ врагами, въ Костантинополь не пустили, а императоръ поспѣшилъ переправить ихъ въ Азію, гдѣ они также опустошали все на пути». Что же касается четвертаго крестоваго похода, то одинъ изъ его эпизодовъ такъ же «Лѣтопись церковныхъ событій» изображаетъ слѣдующими чертами: «Крестоносцы вторглись въ Константинополь. Они сначала сами не довѣряли своему успѣху, не думая, чтобы городъ, съ предмѣстьями имѣвшій до двухъ милліоновъ жителей, не оказалъ отчаяннаго сопротивленія. Зажегши еще разъ городъ, они въ безпорядкѣ бросились грабить церкви и дворы. Попирая иконы, мощи, тѣло и кровь Христову, какъ антихристовы предшественники, по выраженію очевидца Никиты Хоніата, и потомки распинателей Христовыхъ, латиняне всюду искали только золота и драгоцѣнностей. Насилія и убійства, пьянство и развратъ сопровождали ихъ».

Все это, вполнѣ доступное любому гимназисту, было однако доселѣ неизвѣстно историку Щебальскому, и вотъ почему онъ столь горячо принимаетъ къ сердцу религіозное чувство крестоносцевъ. Въ извиненіе г. Щебальскаго надо однако прибавить, что въ краткихъ учебникахъ дѣло, дѣйствительно, излагается такъ, или почти такъ, какъ оно представляется историку и критику «Русскаго Вѣстника». Однако теперь, когда, благодаря мнѣ, горизонтъ московскаго историка расширился даже до «Лѣтописи церковныхъ событій» архимандрита Арсенія... Теперь—коня! коня! г. Щебальскому. И такъ какъ онъ будетъ взбираться на коня, должно быть, довольно долго, то послѣдняго могутъ подержать подъ уздцы, напримѣръ, гг. Маркевичъ съ Авсѣенкомъ, пожалуй въ костюмахъ крестоносцевъ, а г. Катковъ пусть изъ окна или съ балкона благословляетъ знаменитаго витязя на новый бой. На этотъ разъ бой долженъ произойти съ архимандритомъ Арсеніемъ, несравненно болѣе, чѣмъ я, унизившимъ «то религіозное чувство, которое нѣкогда побуждало людей жертвовать всѣмъ, не исключая и жизни, для освобожденія гроба Господня изъ подъ власти не вѣровавшихъ во Христа»...

Простите, читатель, но надо же было хоть на одномъ примѣрѣ показать, какъ все это просто, какъ ничего, кромѣ вздора, лжи, невѣжества, нѣтъ за всѣми этими ультраблагонамѣренными подмигиваніями и доносами. Но представьте себѣ, что крестовые походы, по какимъ-нибудь соображеніямъ изъяты изъ области литературнаго обсужденія. Г. Щебальскій нашелъ бы, вѣроятно, такое распоряженіе «весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ» и торжествовалъ бы словесную побѣду среди всеобщаго молчанія, имѣя притомъ видъ Геркулеса, покончившаго съ многоглавою гидрой. Но представьте себѣ съ другой стороны, что ничто не изъято изъ области литературнаго обсужденія. Вы понимаете, какъ быстро развалились бы въ такомъ случаѣ всѣ эти, построенныя на песцѣ, вавилонскія башни подмигиваній и доносовъ. О, тогда всѣмъ сразу открылось бы, гдѣ обитаютъ подлинные мошенники пера и разбойники печати, гдѣ находятся настоящіе Понтійскіе Пилаты и лукавые Іуды, которые «Христа своего распинаютъ, отчизну свою продаютъ». Поживемъ, увидимъ...

А подмигивать чрезвычайно легко. Хотите, мы сейчасъ устроимъ контръ-доносъ на г. Щебальскаго, блистательный, если не по формѣ (это дѣло навыка, а я его не имѣю), то по замыслу? Минутное дѣло. Примѣрно вотъ такъ.

Беря въ руки «Лѣтопись церковныхъ событій архимандрита Арсенія и сравнивая оцѣнку крестовыхъ походовъ, сдѣланную этимъ истинно православнымъ духовнымъ лицомъ съ тою, которою даетъ имъ московскій ученый историкъ, мы невольно предаемся грустнымъ размышленіямъ. Не можемъ допустить, чтобы

ученый историкъ не зналъ тѣхъ фактовъ, какіе сообщаются «Лѣтописью». Не можетъ онъ также не знать, что православная Русь никогда не принимала участія въ крестовыхъ походахъ, имѣя на то, конечно, основательныя причины, и что, напротивъ, были въ исторіи случаи, когда папы римскіе проповѣдывали крестовый походъ противъ Руси, ставя ее такимъ образомъ на одну доску съ невѣрными. Безспорно, крестовые походы представляютъ одинъ изъ моментовъ вящшаго торжества католической идеи, но русскому историку не мѣшаетъ, можетъ быть, помнить, что эта идея была всегда враждебна греко-восточному православію, каковая вражда запечатлѣна въ исторіи крестовыхъ походовъ даже кровію. Что же касается фамиліи г. Щебальскаго, то ея окончаніе *— скій* — страннымъ образомъ совпадаетъ съ окончаніемъ, весьма обычнымъ у католиковъ-поляковъ... Можетъ быть г. Щебальскому надлежало бы быть осторожнѣе, въ особенности теперь, когда мы получаемъ тревожныя извѣстія изъ Вильны, а либерализмъ нѣкоторыхъ государственныхъ людей допустилъ польскій театръ и польскую газету въ Петербургѣ...

Это—подмигиваніе, ну, а прямой доносъ устроить, конечно, еще легче, потому что тутъ уже рѣшительно нечего стѣсняться; тутъ тѣхъ же щей, только погуще влей, съ пряной приправой междометій и бранныхъ словъ.

Если читатель скажетъ, что я преувеличиваю, что мой контръ-доносъ есть карикатура, то я отвѣчу: нѣтъ, не преувеличеніе это и не карикатура, а, напротивъ, только очень слабое лишь подражаніе дѣйствительности. Дѣйствительность давно уже превзошла всякую, самую пылкую фантазію и примѣрами необузданнаго доноса наша бѣдная литература кишмя кишитъ.

Есть такой казанскій человѣкъ, Александръ Ѳедоровичъ Гусевъ. Кто онъ такой я не знаю, а что его зовутъ Александръ Ѳедоровичъ и что онъ казанскій человѣкъ, это я узналъ изъ обложки одной изъ его книгъ: такъ пропечатано. Этотъ самый г. Гусевъ находился въ чрезвычайной ажитаціи въ то достопамятное время, когда г. Цитовичъ приставалъ къ «Берегу» и утвердился на ономъ. Г. Гусевъ суетился, какъ бѣсъ передъ заутреней (да простится мнѣ это выраженіе), курилъ ѳиміамъ г. Цитовичу, полемизировалъ съ его противниками, вздыхалъ о паденіи «основъ»; словомъ, всѣмъ своимъ существомъ говорилъ: доложите всѣмъ тамъ министрамъ и генераламъ, что живетъ въ Казани Александръ Ѳедоровичъ Гусевъ, человѣкъ благонамѣренности непоколебимой и готовности беззавѣтной. И никто на него, бѣдняжку, тогда вниманія не обратилъ! Грѣшенъ и я передъ Александромъ Ѳедоровичемъ. Онъ мнѣ прислалъ свою книжку («Натуралистъ Уоллэсъ, его русскіе переводчики и критики»), въ которой, между прочимъ, онъ третируетъ меня съ величайшимъ презрѣніемъ и негодованіемъ. Ясно, что при этомъ послѣднемъ условіи, фактъ присылки книги могъ означать только одно: доложите министрамъ и генераламъ, выругайте, но доложите. Однако, я не доложилъ, думаю себѣ: не надо! и такъ хорошъ Александръ Ѳедоровичъ. Такъ вотъ на первой же страницѣ упомянутой книжки напечатано: «Современное невѣріе начинаетъ прибѣгать къ самымъ безчестнымъ средствамъ для противодѣйствія христіанскому міровоззрѣнію... Въ 1877 году Е. Н. Воронецъ въ «Православномъ Обозрѣніи» указывалъ научную недобросовѣстность журнала «Знаніе», редакція котораго, при изданіи на русскомъ языкѣ знаменитаго сочиненія Пальгрева объ Аравіи, ея жителяхъ и магометанствѣ, не стѣснилась, *съ цѣлью возвеличенія мусульманской религіи*, выкинуть изъ произведенія Пальгрева тѣ мѣста, въ которыхъ высказывается надлежащій судъ надъ магометанствомъ».

Вотъ! Не подумайте пожалуйста, что редакторами-издателями «Знанія» были Султанъ-Калбалай-ханъ-Коропчевскій и Хаджи-Абрекъ-Гольдсмитъ. Совсѣмъ нѣтъ: просто г. Коропчевскій и просто г. Гольдсмитъ. Я могу допустить, что они издали дурной и даже, дѣйствительно, изуродованный переводъ сочиненія Пальгрева, это у насъ нерѣдко случается. Но чтобы они были переодѣтые мусульманскіе эмиссары, чтобы они испортили переводъ «съ цѣлью возвеличенія мусульманской религіи», это, воля ваша, уже черезъ край, по ту сторону Геркулесовыхъ столбовъ. Это гораздо сильнѣе, чѣмъ мое предположеніе, что г. Щебальскій защищаетъ религіозное чувство крестоносцевъ съ цѣлью возвеличенія католической идеи. Тутъ хоть какой-нибудь смыслъ есть, а тамъ уже ровно никакого.

Все это было бы, конечно, очень смѣшно, еслибы не было такъ отвратительно. Не все съ нахмуренными бровями ходить. Отчего иногда и не посмѣяться, хотя бы, напримѣръ, надъ высоко комическимъ доносомъ г. Гусева (или г. Воронца?), потому что самъ по себѣ онъ, въ самомъ дѣлѣ, высоко комиченъ. Но вѣдь онъ не одиноко стоитъ. Мы къ нему подошли такимъ долгимъ и постепеннымъ путемъ подмигиваній и доносовъ на всякаго рода сепаратизмы и другіе «измы», что даже не особенно удивились, когда въ одинъ прекрасный день Александръ Ѳедоровичъ разъяснилъ, что издатели «Знанія» суть тайные, но ревностные магоме-

тане. Привыкли. Должно быть, ваше тоже казанское начальство привыкло, иначе г. Тальквистъ не могъ бы совершать à la longue свои подвиги по части уловленія соціалистовъ. Въ этой то привычкѣ и заключается ужасъ нашего положенія. Горе странѣ, въ которой доносчики и шпіоны выступаютъ на видное мѣсто, но еще горшее горе странѣ, въ которой притупляется общественное презрѣніе къ доносу, то-есть одно изъ наиболѣе общихъ и элементарныхъ нравственныхъ побужденій, и въ которой поэтому доносчикъ уже не считаетъ нужнымъ прятаться, скрываться. Нѣтъ, нелѣпѣйшее, безсмысленнѣйшее обвиненіе онъ съ совершенно яснымъ лбомъ предъявляетъ въ литературѣ (г. Гусевъ, напримѣръ) или на улицѣ (г. Тальквистъ, напримѣръ) и еще требуетъ себѣ за это титула спасителя отечества и уличаетъ другихъ въ «безчестныхъ» пріемахъ. Это онъ-то! Но разъ онъ вышелъ съ этою глупостью и дрянностью въ литературу или на улицу, значитъ онъ разсчитываетъ на одобреніе болѣе или менѣе значительнаго круга людей. Разсчитываетъ и иногда, по крайней мѣрѣ, получаетъ...

Воображаю, каково жить въ Казани, гдѣ есть такое блистательное созвѣздіе, какъ г. Гусевъ, г. Тальквистъ, да на придачу еще г. Фельдманъ, въ котораго «стрѣляли динамитомъ»!

Недурно въ Харьковѣ, гдѣ «чердачные Бруты и Кассіи» потерпѣли недавно такое крупное пораженіе отъ руки истинныхъ сыновъ отечества.

Недурно въ Одессѣ, куда ждутъ, говорятъ, опять г. Цитовича, «который будто бы возвратилъ уже казнѣ восемнадцать тысячъ франковъ въ счетъ *долга* и такимъ образомъ очистился въ глазахъ общества и профессоровъ» («Заря», № 110). Вернется-ли г. Цитовичъ и какимъ онъ вернется, это дѣло темное, а вѣрно то, что изъ новороссійскаго университета почему-то бѣгутъ лучшіе профессора: Мечниковъ, Посниковъ, Преображенскій...

Такъ идутъ дѣла въ университетскихъ городахъ, въ центрахъ, значитъ. Изъ центровъ идутъ во всѣ стороны радіусы, концы которыхъ образуютъ кругъ. Ну и вертись въ этомъ кругѣ, современникъ...

А между тѣмъ, какъ въ сущности просто устранить всѣ эти безобразія. Надо только немножко свѣта. Тогда доносъ перестанетъ быть монополіей людей нравственно низменныхъ, и чистыя руки сдѣлаютъ грязное дѣло доноса чистымъ дѣломъ: найдутъ и открыто укажутъ настоящихъ враговъ родины, ея губителей, прячущихся нынѣ за «весьма, такъ говорится, цѣлесообразными» мѣропріятіями...

XVI.

Забытая азбука *).

I.

Съ нынѣшняго года въ Москвѣ издается новый журналъ «Другъ женщинъ», подъ редакціей г-жи Богуславской. Какъ видно изъ объявленія о подпискѣ, журналъ выходитъ по два раза въ мѣсяцъ. Сколько номеровъ до сихъ поръ вышло, я не знаю, но на послѣднемъ изъ видѣнныхъ мною, седьмомъ, значится цензурная помѣтка отъ 20-го сентября. Слѣдовательно, я, во всякомъ случаѣ, видѣлъ почти все, сдѣланное редакціей «Друга женщинъ». Случилось такъ, что я прочиталъ всѣ эти семь маленькихъ книжекъ сразу, а до тѣхъ поръ даже не зналъ о существованіи новаго журнала. И я очень радъ, что такъ случилось. Еслибы я своевременно прочиталъ первую книжку «Друга женщинъ», то подумалъ бы: вотъ тоненькій блинъ, начиненный плохой прозой совершенно незначительнаго содержанія—и, конечно, тотчасъ забылъ бы о «Другѣ женщинъ». Гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, помнить всякую отдѣльную пустяковину безъ цвѣта, безъ вкуса и безъ запаха, съ которой приходится сталкиваться въ океанѣ печатной бумаги. Прочитавъ вторую книжку, я опять-таки подумалъ-бы о блинѣ, начиненномъ на этотъ разъ не только плохой прозой, но и еще болѣе плохими стихами. Это послѣднее обстоятельство, то-есть прибавка плохихъ стиховъ къ плохой прозѣ, не помѣшало бы, однако, тотчасъ же забыть второй номеръ, не вспомнивъ о первомъ. Такъ было бы и съ третьимъ, и съ четвертымъ номеромъ и т. д. Теперь не то. Теперь вотъ всѣ эти семь блиновъ или, деликатно выражаясь блинчиковъ, сразу лежатъ передо мной въ своихъ разноцвѣтныхъ оберточкахъ, свѣтло- и темно-розовыхъ, свѣтло- и темно-синихъ, зеленыхъ. И ознакомившись съ ними разомъ, такъ сказать, залпомъ, я вижу, что «Другъ женщинъ» есть не случайный какой-нибудь пустякъ, а явленіе въ своемъ родѣ чрезвычайно любопытное и всякаго вниманія достойное. Признаюсь, я даже не ожидалъ, что могу до такой степени заинтересоваться изданіемъ, носящимъ имя «Друга женщинъ». Не потому, конечно, чтобы я безучастно относился къ положенію женщинъ. Нѣтъ, я имъ желаю всего лучшаго, какъ желаю, впрочемъ, и мужчинамъ. Но мнѣ казалось, что спеціальный «другъ женщинъ», положимъ, даже очень интересный для «отжившихъ и нежившихъ», никакимъ образомъ не можетъ задѣть за живое насъ, не утра-

*) 1882 г., ноябрь.

тившихъ чутья и жажды жизни, но видавшихъ виды. Ахъ, сколько мы, въ самомъ дѣлѣ, видовъ видали въ той области отношеній и вопросовъ, гдѣ можно быть другомъ или недругомъ женщинъ! И какихъ только видовъ мы не видали: были веселые, были и грустные, были трогательные, были и гнусные, была теорія, была и практика. Всякое было, и, спрашивается, чѣмъ насъ тутъ удивить можно? Для насъ, вѣдь, все тутъ азбука и нѣтъ въ этой области такого пріема мысли, такой точки зрѣнія, которая не была бы нами давно и со всѣхъ сторонъ изучена...

Такъ думалъ я въ своей гордости человѣка, видавшаго виды. По совѣсти говоря, впрочемъ, такая гордость не представляетъ ничего незаконнаго или самохвальнаго. Слишкомъ четверть вѣка, такъ называемый, женскій вопросъ жуется у насъ на разные лады и по разнымъ поводамъ. Не грѣхъ, кажется, думать, что въ такой долгій срокъ мы, наконецъ, изучили азбуку и даже ничего любопытнаго въ ней не находимъ. Какъ бы то ни было, а я посрамленъ журналомъ г-жи Богуславской: онъ оказался крайне любопытнымъ.

Сначала поговоримъ, впрочемъ, объ томъ, что̀ нисколько не любопытно и вниманія недостойно, собственно затѣмъ, чтобы показать, что такого добра въ «Другѣ женщинъ» не мало.

Вотъ, напримѣръ, повѣсть г-жи Чемодановой «Цвѣтокъ безъ свѣта». Повѣсть изъ самаго что ни на есть аристократическаго быта. Въ ней, собственно говоря, всего три дѣйствующихъ лица, но за то всѣ три титулованныя: кроткая, смиренномудрая княжна Волжинская и страстная, коварная княжна Ганская борятся изъ-за сердца легкомысленкаго князя Бѣлопольскаго. Борьба разрѣшается въ пользу коварства и страсти и, слѣдовательно—увы!—въ ущербъ кротости и смиренномудрію: кроткая княжна поступаетъ въ монастырь. Коварная же княжна такъ бесѣдуетъ по этому поводу съ легкомысленнымъ княземъ: —«Гдѣ же тутъ жизнь и любовь!? Холодомъ вѣетъ отъ такихъ монастырскихъ натуръ — нѣтъ, нельзя за ними жизнь признать! а жизнь такъ цвѣтетъ и свѣжестью пышетъ, такъ и манитъ въ свои объятья... Князь, неужели же мы для того живемъ, чтобы мертвымъ сномъ спать, закрывать насильно глаза отъ яркихъ красокъ жизни?! О нѣтъ! я чутко слышу зовъ природы на веселое пиршество жизни!—Она замолкла и тихо наклонилась надъ роскошнымъ букетомъ свѣжихъ цвѣтовъ изящной блѣдно-голубой вазы; срывая лепестки, она безсознательно ихъ жевала. Атмосфера кабинета была пропитана одуряющимъ запахомъ розъ. Уже темнѣло. Тѣни покачиваемыхъ вѣтромъ садовыхъ деревьевъ ложились полосами на полъ кабинета. Время было послѣобѣденное—княжна спросила шоколаду».

Согласитесь, что повѣсть, составленная изъ такихъ перловъ, ничего достопримѣчательнаго не представляетъ. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, подобныя экскурсіи въ великосвѣтскія сферы могли интересовать читателя, вмѣстѣ съ тѣмъ упражняя самого писателя въ россійскомъ слогѣ. Нынѣ же даже гг. Маркевичъ и Авсѣенко, доведшіе этотъ родъ литературы до высшей степени совершенства, должны заманивать читателя вставками нигилистовъ и другихъ совершенно невеликосвѣтскихъ фигуръ. Куда же ужъ тутъ г-жѣ Чемодановой съ ея шоколадомъ, въ видахъ оригинальности употребляемомъ въ большомъ свѣтѣ по случаю «послѣобѣденнаго времени»!

Столь же мало достойнымъ вниманія надо признать весь стихотворный отдѣлъ «Друга женщинъ». Вотъ, напримѣръ, начало обращенія г. Москвина «Къ русской женщинѣ-матери»:

Велико и свято твое назначеніе
Женщина, матерь въ семьѣ;
Подъ видомъ и образомъ дивнаго генія
Ты свѣточемъ свѣтишь во тьмѣ.
Какъ съ неба лазурнаго солнца живительный
Въ землю бросается лучъ,
Такъ путь твой семейный, разумный, спасительный
Будетъ пусть ясенъ, могучъ.

И т. д. Въ свою очередь, г. Монастырскій сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующій эпизодъ изъ исторіи «Разбитой жизни».

Прошли года. Тебѣ на долю
Замужство выпало. Наглецъ,
Твою закабалилъ онъ волю
И доканалъ тебя въ конецъ.

Если это стихи, то я не знаю, почему «Другъ женщинъ» до сихъ поръ не перепечаталъ извѣстнаго, прекраснаго стихотворенія, имѣющаго притомъ достоинство краткости!

Екатерина Великая, о!
Поѣхала въ Царское село.

Едва-ли также можно считать въ какомъ-нибудь отношеніи достопримѣчательными вещи, въ родѣ статьи «Любовь по порядку» (переводъ съ нѣмецкаго), напечатанной въ № 6. Въ этой статейкѣ, размѣромъ въ ⅛ печатнаго листа, сообщается: «Съѣстные припасы (въ особенности пряности) никогда не должны находиться рядомъ съ освѣтительными и горючими веществами; столовая посуда—съ туалетными принадлежностями; книги и тетради—съ бѣльемъ; сапоги и башмаки—съ платьемъ». Совѣты, что и говорить, прекрасные. Но я не знаю, почему ихъ такъ мало, почему они занимаютъ въ «Другѣ женщинъ» всего двѣ страницы. Почему бы,

напримѣръ, не прибавить еще слѣдующихъ: яица въ смятку слѣдуетъ варить не въ сапогахъ, а въ кострюлѣ, и т. п.

Будетъ, однако. Хорошенькаго понемножку. Читатель скажетъ, пожалуй, что глумиться надъ бѣдностью, столь очевидною, неблагородно, тѣмъ болѣе, что бѣдность эта, вѣроятно, сама сознаетъ себя таковою и потому, какъ поетъ одна дѣвица у Островскаго, «тиха, скромна, уединенна и сидитъ обыкновенно у косящата окна». На первый взглядъ, «Другъ женщинъ», дѣйствительно, воплощенная скромность, мирно сидящая у косящата окна и никакихъ гордо мечтательныхъ поползновеній не имѣющая. Ужъ одно то взять, что «Другъ женщинъ» появляется тихо, смирно, не только безъ какихъ-нибудь рекламъ, а даже почти безъ простыхъ объявленій, такъ что многія женщины, вѣроятно, и не подозрѣваютъ, что у нихъ есть въ Москвѣ другъ. Затѣмъ, въ первомъ же номерѣ редакція съ совершенно исключительною скромностью заявляетъ, что она «съ большимъ знаніемъ жизни, нежели науки, приступаетъ къ изданію журнала». Редакцію ободряютъ только «слова Смайльса, что нерѣдко недостатокъ научныхъ познаній восполняется опытностью житейскою». Во второмъ номерѣ редакція «предлагаетъ свои страницы тѣмъ (женщинамъ), у которыхъ нѣтъ особеннаго дара писать и смѣлости предлагать свои рукописи для напечатанія, но которыя, тѣмъ не менѣе, внимательно всматриваются въ жизнь и заботятся о воспитаніи дѣтей». И такъ, редакція, слабая по части научныхъ познаній, и сторонніе сотрудницы, не имѣющія «дара писать»—вотъ персоналъ «Друга женщинъ». Большей скромности, повидимому, и требовать нельзя, и ссылка на житейскую опытность и на заботы о воспитаніи дѣтей весьма мало эту скромность золотитъ. Если, однако, посмотрѣть на дѣло съ другого конца, то не величайшая-ли нескромность выступать въ такомъ скудномъ видѣ съ журналомъ? Журналъ, вѣдь это каѳедра, съ высоты которой должно раздаваться слово поученія для обширнѣйшей аудиторіи. Положимъ, что русская литература знаетъ въ своемъ составѣ не мало редакторовъ, вполнѣ свободныхъ отъ какихъ бы то ни было научныхъ познаній и сотрудниковъ, столь же свободныхъ отъ «дара писать». Но прежде всего они сами себя такими не полагаютъ. Затѣмъ, во главѣ журнала можетъ, конечно, стоять человѣкъ, сильный лишь житейскою опытностью, но, именно, вслѣдствіе этой опытности онъ постарается пріобрѣсти отнюдь не такихъ сотрудниковъ, которые заботятся о воспитаніи дѣтей, а дара писать не имѣютъ. Надо, впрочемъ, сказать, что въ третьемъ номерѣ «Друга женщинъ» встрѣчаемъ уже заявленіе, что «всѣ члены редакціи получили высшее образованіе». Вмѣстѣ съ тѣмъ редакція стоитъ на томъ, что она хочетъ предоставить «высказаться» русскимъ женщинамъ, не умѣющимъ писать, причемъ высшая образованность членовъ редакціи восполнитъ этотъ недостатокъ. Хорошо, пусть такъ. Посмотримъ же, какъ и кому изъ русскихъ женщинъ высше образованная редакція предоставляетъ высказаться.

Вотъ гг. Москвинъ и Монастырскій высказываются въ томъ смыслѣ, что «Екатерина Великая, о! уѣхала въ Царское Село». Мысль очень цѣнная, можетъ быть, но вѣдь гг. Монастырскій и Москвинъ, во всякомъ случаѣ, не русскія женщины.

Вотъ нѣмецъ или нѣмка, которой редакція предоставляетъ высказаться насчетъ неправильности поведенія хозяекъ, наливающихъ керосинъ не въ лампы, а въ корзины съ бѣльемъ. Поведеніе, дѣйствительно, неодобрительное, и авторъ совершенно правъ. Но этотъ авторъ опять-таки не русская женщина.

Вотъ переводныя же статьи Поля Суріо («О разумномъ воспитаніи»), Эрнеста Легуве («О женщинахъ») и другія. Это тоже не русскія женщины высказываются, а къ статьѣ Легуве редакція сочла нужнымъ сдѣлать даже такое примѣчаніе: «Все, что въ этой статьѣ говорится о стѣснительномъ для женщинъ законодательствѣ, не можетъ относиться къ русскимъ женщинамъ, такъ (какъ) наши законы относительно женщинъ не такіе стѣснительные».

Вотъ «жизнь св. Анастасіи», «жизнь св. Аполлинаріи», «житье преподобной Маріи Египетской», «жизнь св. Мавры»—это простыя заимствованія изъ Четьи-Минеи, и русскія женщины тутъ рѣшительно не при чемъ.

Вотъ цѣлый рядъ фактическихъ сообщеній, заимствованный изъ другихъ періодическихъ изданій...

Но неужели же, однако, редакція «Друга женщинъ» такъ-таки рѣшительно не даетъ высказываться русскимъ женщинамъ? О, нѣтъ, даетъ, но до такой степени пропускаетъ сквозь свое собственное, редакціонное рѣшето всѣ подобныя «высказыванія», что отъ нихъ остается лишь нѣчто весьма странное. Такъ, въ № 4 читаемъ: «Изъ самыхъ дальнихъ окраинъ женщины шлютъ письма въ этотъ журналъ, привѣтствуя его появленіе, и высказывая свои мысли о тяжелой женской долѣ. «Отчего это такъ несправедливо устроено, пишетъ намъ одна наша соотечественница изъ Алжира:—что женщина, оставленная мужемъ, должна обращаться къ нему съ просьбой о выдачѣ ей паспорта? Отчего общество клевещетъ на женщину

одинокую, если она не старая? Отчего не приходитъ никому въ голову устроить убѣжища для одинокихъ женщинъ, которыя не чувствуютъ призванія къ монастырской жизни?» Въ объясненіе своего проживанія въ Африкѣ, наша удалившаяся соотечественница говоритъ: ici du moins on peut souffrir à l'aise. Она поискала по свѣту и нашла, что въ Африкѣ «для оскорбленнаго есть чувства уголокъ» («Другъ женщинъ», № 4). И болѣе мы ничего объ нашей африканской соотечественницѣ не узнаемъ. Одно изъ двухъ, кажется: если въ ея письмѣ не было ничего, кромѣ этого французскаго вздоха въ Алжирѣ о скорби русской женщины, то объ немъ слѣдовало бы совсѣмъ умолчать— мало-ли какіе вздохи получаются въ редакціяхъ журналовъ: если же такъ наивно и спротливо торчащіе теперь вопросы алжирской соотечественницы были въ ея письмѣ мотивированы и вообще обставлены, то отчего же редакція не дала ей «высказаться»?

Въ № 1 читаемъ подъ заглавіемъ «Педагогическія замѣтки»: «Педагогическій отдѣлъ, по предположенію «Друга женщинъ», долженъ быть однимъ изъ главныхъ отдѣловъ этого журнала и предоставляется посторонним редакціи лицамъ. Въ редакцію доставлена пространная статья о воспитаніи дѣтей, но, къ сожалѣнію, она опоздала для перваго номера, поэтому будетъ помѣщена во второмъ номерѣ нашего журнала. (Мимоходомъ сказать, никакой такой статьи во второмъ номерѣ нѣтъ). Мелкихъ же замѣтокъ доставлено не мало, но въ нихъ только высказывается взглядъ на методу Фребеля. Какъ видно, эта метода сильно распространилась по Россіи. Въ одной замѣткѣ, между прочимъ, сказано... (слѣдуетъ полстраницы «высказыванія»)... Въ другой замѣткѣ одна русская дама говоритъ, что она воспитывалась въ Швейцаріи и получила званіе Kindergärtnerinn; что учителемъ у нихъ былъ непосредственный ученикъ Фребеля, но, тѣмъ не менѣе, она противъ методы, послѣдняго, и теперь своихъ дѣтей воспитываетъ, какъ она выражается, безъ методы, предоставляя имъ полную свободу въ выборѣ игръ».

Предоставивъ, такимъ образомъ, «высказаться нѣкоторымъ русскимъ женщинамъ и вполнѣ собою на этомъ пунктѣ довольная, редакція заканчиваетъ такъ: «Желательно, чтобы теперь высказались приверженцы авторитета въ педагогикѣ»... И чудесно...

Несравненно болѣе посчастливилось г-жѣ Бабкиной. Ей редакція, дѣйствительно, предоставила высказаться, напечатавъ цѣликомъ ея письмо въ первомъ же номерѣ и не только снабдивъ его сочувственнымъ примѣчаніемъ, но, повидимому, принявъ его даже въ руководство. Что же касается самой г-жи Елизаветы Бабкиной, то она живетъ въ «сельцѣ Лавровѣ» и болѣе объ ней ничего неизвѣстно. Г-жа Елизавета Бабкина пишетъ въ редакцію: «Съ удовольствіемъ я прочла извѣщеніе, что будетъ издаваться журналъ женщиною для женщинъ. Вся ваша программа мнѣ нравится; особенно то, что у васъ хватаетъ духу помѣщать жизнь святыхъ женщинъ. Теперь время давать чтеніе изъ жизни духовной. Хотя я живу въ глуши, но прошлую зиму провела въ столицѣ и замѣтила, что у многихъ начинаетъ являться потребность въ духовномъ чтеніи. Совершенно вѣрно сказалъ, забыла, какой-то нѣмецъ про настоящее время, что люди опьянѣли отъ реализма». И т. д. Редакція, съ своей стороны, отвѣчаетъ: «На ваше письмо можемъ только отвѣтить, что, именно, подмѣченный нами поворотъ къ потребности въ духовномъ чтеніи внушилъ намъ мысль помѣщать на страницахъ «Друга женщинъ» описанія жизни женщинъ, имѣвшихъ высшіе нравственные идеалы, а не меркантильныя, только матеріальныя стремленія».

Обратите вниманіе на маленькое лукавство, къ которому прибѣгаетъ высше образованная редакція, приступившая, впрочемъ, къ изданію журнала съ большимъ знаніемъ жизни, чѣмъ науки. Г-жа Елизавета Бабкина говоритъ о «духовномъ» чтеніи въ совершенно спеціальномъ смыслѣ, ей, именно, житія причисленныхъ къ лику святыхъ нужны. Редакція же расширяетъ этотъ спеціальный смыслъ до противоположенія духовнаго матеріальному и даже «меркантильному». Это, вѣдь, двѣ совершенно разныя вещи. Наглядно разница между ними можетъ быть представлена слѣдующимъ простымъ сопоставленіемъ. Г-жа Елизавета Бабкина, напримѣръ, имѣетъ въ своемъ распоряженіи высшіе нравственные идеалы и чуждается «матеріальныхъ стремленій». Однако, къ лику святыхъ она не причислена и не будетъ причислена. Равнымъ образомъ и редакція «Друга женщинъ», въ полномъ составѣ своихъ высше образованныхъ членовъ, въ святцахъ не значится, не взирая на свои идеальныя стремленія. А такъ какъ не только свѣту, что въ окошкѣ, то и вообще въ природѣ, а не только въ сельцѣ Лавровѣ и въ помѣщеніи редакціи «Друга женщинъ», найдется, вѣроятно, не мало стремленій, отнюдь не матеріальныхъ или «меркантильныхъ», которыя, однако, не укладываются въ рамки «духовнаго чтенія», какъ его разумѣетъ г-жа Бабкина. Редакція «Друга женщинъ» это конечно, очень хорошо понимаетъ, какъ можно думать на основаніи ея высшей образованности и какъ видно изъ самой программы журнала. Въ этой про-

граммѣ есть рубрика: «Описаніе жизни писательницъ, женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи и причисленныхъ къ лику святыхъ». Сообразно этому, въ первомъ номерѣ помѣщены рядомъ «Послѣднія минуты жизни Жоржъ-Зандъ» и «Жизнь св. Анастасіи». Первую изъ этихъ статей г-жа Бабкина, съ своей точки зрѣнія, очень послѣдовательно, матеріаломъ для духовнаго чтенія не признаетъ и, можетъ быть, даже увидитъ въ ней одинъ изъ симптомовъ «опьяненія реализмомъ». Съ точки же зрѣнія редакціи, это матеріалъ вполнѣ умѣстный, потому что хотя Жоржъ-Зандъ и грѣшный была человѣкъ, подобно огромному большинству человѣковъ и человѣчицъ, но извѣстныя идеальныя стремленія, безъ сомнѣнія, имѣла, быть можетъ, даже болѣе идеальныя, чѣмъ стремленія г-жи Елизаветы Бабкиной. Несмотря, однако, на это, послѣ письма г-жи Бабкиной, редакція «Друга женщинъ» не даетъ уже *ни одного* «описанія жизни писательницъ и женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи» и пополняетъ соотвѣтственную рубрику исключительно житіями причисленныхъ къ лику святыхъ. И совершенно, разумѣется, напрасно. Высокіе подвиги самоотверженія, несокрушимая преданность своимъ убѣжденіямъ христіанскихъ мученицъ св. Анастасіи или св. Мавры никоимъ образомъ не могутъ служить прямыми, непосредственными примѣрами и поученіями для русскихъ женщинъ. Теперь, вѣдь, никому не возбраняется называться христіаниномъ, и собственно, за исповѣданіе христіанской вѣры никто мукъ и преслѣдованій не терпитъ. Слѣдовательно, практическое поученіе, даваемое житіями св. Анастасіи и св. Мавры, заключается не въ томъ, что онѣ были христіанки, а въ томъ, что познавъ истину, онѣ неуклонно шли ея путемъ, не взирая ни на какія препятствія и преслѣдованія. Думаю поэтому, что, въ удовлетвореніи запроса въ «духовномъ чтеніи», предъявленнаго г-жею Бабкиной, «Другъ женщинъ» могъ не ограничиваться житіями святыхъ. Онъ могъ бы, независимо отъ нихъ, печатать статьи религіознаго содержанія или, за неимѣніемъ собственныхъ богословскихъ силъ, перепечатывать творенія отцовъ церви, слова и поученія церковныхъ ораторовъ и т. п. Въ интересахъ же собственнаго разумѣнія «духовнаго чтенія», редакція опять-таки никоимъ образомъ не можетъ ограничиться жизнеописаніями женщинъ, причисленныхъ къ лику святыхъ. Пусть идутъ въ ходъ эти высокіе примѣры добродѣтели и твердости, но, по крайней мѣрѣ, рядомъ съ ними должны стоять біографіи женщинъ, твовавшихъ въ условіяхъ, болѣе намъ близкихъ, являя примѣры, въ этомъ смыслѣ болѣе поучительные, хотя бы и не столь высокіе. Окружающія насъ условія безъ сравненія сложнѣе, чѣмъ тѣ, которыми обставляютъ жизнь святыхъ мнея четья и наши собственныя религіозныя убѣжденія. Взять хоть бы, напримѣръ, жизнь св. Мавры. Она была брошена, между прочимъ, въ котелъ съ кипяткомъ и не потерпѣла отъ того ни боли, ни поврежденія. Обыкновенная нынѣшняя русская женщина, конечно, на такую помощь Божію разсчитывать не можетъ. Далѣе, та же св. Мавра первоначально не хотѣла отрываться отъ семейной жизни для мученическаго подвига, но, будучи увлечена на него своимъ мужемъ, св. Тимоѳеемъ, въ свою очередь, оттолкнула мать свою, пытавшуюся удержать ее въ лонѣ семейства. Такимъ образомъ, мы видимъ здѣсь разрушеніе семьи во имя высшаго нравственнаго идеала. Спустя много сотенъ лѣтъ и будучи христіанами, мы ни малѣйше не сомнѣваемся въ правильности образа дѣйствій св. Мавры. Но въ какой мѣрѣ приложимъ этотъ образъ дѣйствій въ наше время, когда, съ одной стороны, за исповѣданіе Христа никто не мучитъ, а съ другой — г. Москвинъ обращается къ русской «женщинѣ-матери» со словами: «Путь твой семейный, разумный, спасительный» и т. д.? Въ какомъ отношеніи находится семейное начало къ разнообразнымъ личнымъ и общественнымъ идеаламъ, выставленнымъ къ нашему времени исторіей? Какъ разрѣшаются возможныя коллизіи между семейнымъ долгомъ и, напримѣръ, обязанностью передъ отечествомъ? между семейнымъ началомъ и началомъ личнаго достоинства? И т. д. Вотъ вопросы, съ которыми, естественно, могутъ обратиться женщины къ своему «Другу». Другъ, надо думать, имѣетъ отвѣты, но если онъ хочетъ иллюстрировать тотъ или другой свой отвѣтъ историческими образами, то святыя христіанскія мученицы ему весьма мало въ этомъ помогутъ.

II.

Не велика бы еще бѣда, что со времени письма г-жи Бабкиной, въ «Другѣ женщинъ» пустуетъ заявленный въ программѣ отдѣлъ «описанія жизни писательницъ и женщинъ замѣчательныхъ въ исторіи». Пустуетъ, такъ пустуетъ. Это, вѣдь, во всякомъ случаѣ, только часть цѣлаго, только одинъ изъ обѣщанныхъ отдѣловъ, неполнота или односторонность котораго можетъ, если она представляетъ простую случайность, съ избыткомъ вознаграждаться въ другихъ отдѣлахъ. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ. Маленькое лукавство (а можетъ быть и недомысліе), проникающее отвѣтъ редакціи на письмо г-жи Баб-

киной, сквозитъ во всемъ, что только есть въ «Другѣ женщинъ» яркаго, опредѣленнаго, своего.

«Другъ женщинъ» не понятъ. Онъ жалуется, что двѣ газеты, «Голосъ» и «Новое Время», «взглянули на изданіе женскаго журнала съ разныхъ точекъ зрѣнія и обѣ не вполнѣ вѣрно поняли главную задачу, которую себѣ поставилъ «Другъ женщинъ». Ужъ и то довольно характерно для безхарактерности журнала, что двѣ газеты не поняли его задачи. Но новое объясненіе, которое даетъ по этому случаю «Другъ женщинъ», не только ничего не объясняетъ, а еще болѣе затемняетъ дѣло. Редакція говоритъ, что женскій *вопросъ* стоитъ для нея на второмъ планѣ. «Другъ женщинъ» горячо сочувствуетъ «дѣятельности на разныхъ поприщахъ и высшему образованію женщинъ»; онъ «будетъ заносить на свои страницы все, что касается дѣятельности и высшаго образованія женщинъ, но главное его сочувствіе не вопросъ, а доля женская». Спрашивается, что это значитъ? что это за доля женская, противополагаемая женскому вопросу? «Другъ женщинъ» не отвѣчаетъ на эти вопросы и даже, какъ будто, не подозрѣваетъ ихъ возможности, а читатели, разумѣется, остаются въ полномъ недоумѣніи насчетъ задачи новаго журнала. Что же касается дѣятельности женщинъ на разныхъ поприщахъ и женскаго образованія, то «Другъ женщинъ» или расплывается на эту тему въ общихъ фразахъ, успокаивая при томъ, что все обстоитъ благополучно, а въ ближайшемъ будущемъ будетъ еще благополучнѣе; или же, дѣйствительно, «заноситъ на свои страницы». Но что и какъ онъ заноситъ? Вотъ, напримѣръ, отдѣлъ «Разныхъ извѣстій» въ № 2. Тутъ, между прочимъ, сообщаются извѣстія объ осьмилѣтней музыкантшѣ, игравшей на вечерѣ у принцессы Матильды въ Парижѣ, и о постановленіи самарской думы, по которому рѣшено съ будущаго учебнаго года не допускать лицъ женскаго пола къ исполненію обязанностей учительницъ въ мужскихъ городскихъ школахъ. Оба извѣстія «Другъ женщинъ» просто перепечатываетъ изъ «Figaro» и «Русскаго Курьера», съ одинаковою аккуратностью и безстрастіемъ. Между тѣмъ, настоящему другу женщинъ нѣтъ въ сущности ровно никакого дѣла до осьмилѣтней музыкантшы, а постановленія самарской думы онъ, конечно, не долженъ былъ бы оставлять безъ своихъ комментаріевъ.

Если читатель прибавитъ сюда перлы и адаманты, собранные изъ «Друга женщинъ» въ началѣ предлагаемой замѣтки; если онъ припомнитъ поэтическія упражненія гг. Монастырскаго и Москвина, французскій вздохъ африканской соотечественницы, нѣмецкіе совѣты насчетъ храненія бѣлья въ керосинѣ и проч., и проч., то подумаетъ, вѣроятно, что «Другъ женщинъ» есть просто ежемѣсячная путаница, въ которой и редакція разобраться не можетъ. Придя къ такому заключенію, читатель будетъ довольно близокъ къ истинѣ. Однако, не вполнѣ. Есть въ московскомъ женскомъ журналѣ одна сторона, въ которой онъ является очень опредѣленнымъ, яркимъ, твердымъ. Эта сторона—борьба съ «опьяненіемъ реализмомъ». Excusez du peu! «Другъ женщинъ» на мелочи не тратится и во всеоружіи своей житейской опытности и своего высшаго образованія устремляется на борьбу съ кореннымъ зломъ нашаго времени...

Лукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ
И, клубясь, издохъ Пиѳонъ,
И твой ликъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ...

Впрочемъ, если чей-нибудь ликъ и блещетъ побѣдой, то Пиѳонъ всетаки не издохъ. Да и не могъ издохнуть, прежде всего потому, что неизвѣстно, что такое Пиѳонъ и гдѣ онъ находится. «Другъ женщинъ» просто валитъ въ одну кучу все, что ему не нравится, и называетъ ту кучу «реализмомъ» или «матеріализмомъ». Напримѣръ, червонные валеты для всякаго обыкновеннаго смертнаго просто мошенники, какіе всегда были и еще, вѣроятно, долго будутъ, а для «Друга женщинъ» это представители крайняго матеріализма». Тутъ «Другъ женщинъ» придирается къ тому обстоятельству, что червоннымъ валетамъ «хотѣлось *матеріально* наслаждаться жизнью во что-бы то ни стало». Должно быть хотѣлось, это «Другъ женщинъ» правду говоритъ, но, тѣмъ не менѣе, назвать мошенниковъ матеріалистами значитъ просто путать понятія, довольно ясно и прочно стоящія, какъ въ общемъ сознаніи публики, такъ и въ любой философской системѣ. Бываетъ, однако, такъ, что «Другу женщинъ» совсѣмъ уже неудобно втиснуть словечко «матеріально» и при помощи его сначала сотворить Пиѳона, а потомъ сразить его изъ своего звенящаго лука. Тогда «Другъ женщинъ» поступаетъ еще проще: онъ обходитъ такіе пункты молчаніемъ, какъ будто ихъ никогда и не бывало. Изволите-ли, напримѣръ, видѣть: «Наука и трудъ имѣли на женщинъ отрезвляющее вліяніе; имъ захотѣлось стряхнуть съ себя тѣ предразсудки и суевѣрія, въ которыхъ ихъ воспитывали, и онѣ принялись усердно освобождаться отъ этихъ путъ». Надо думать, что то же самое случилось и съ мужчинами, потому что затѣмъ читаемъ: «Отрезвленіе привело къ реализму, реализмъ къ матеріализму, матеріализмъ къ

расхищеніямъ, растратамъ, банкротствамъ, мошенничествамъ. А литература даетъ: «Въ погоню за наживой», «Охотники до легкой наживы» и т. д., и т. д. Опьянѣли отъ реализма, пишетъ г жа Бабкина».

Очень простая генеалогія, конечно; простая и удобная; но неужто же, милостивыя государыни, литература такъ-таки ровно ничего, кромѣ «Погони за наживой», не даетъ?! Сколько мнѣ извѣстно, подъ заглавіемъ этого рода было издано нѣсколько произведеній, въ которыхъ авторы насильно старались посрамить духъ наживы, а потому едва-ли справедливо дѣлать изъ существованія этихъ, конечно, не великихъ произведеній упрекъ литературѣ. Они, эти произведенія, совершенно законны съ воинствующей точки зрѣнія самого «Друга женщинъ». Но еслибы они сами по себѣ и заслуживали всевозможныхъ упрековъ, то я смѣю всетаки увѣрить почтенную редакцію «Друга женщинъ», что литература не сплошь изъ червонныхъ валетовъ, матеріалистовъ тожъ, состоитъ. Я навѣрно знаю, что въ литературѣ предъявляются довольно разнообразные идеалы, изъ которыхъ одни могутъ нравиться «Другу женщинъ», болѣе или менѣе приближаться къ его собственнымъ идеаламъ, другіе—рѣшительно не нравиться, но съ которыми московскому женскому журналу надлежитъ такъ или иначе посчитаться. «Другъ женщинъ» предпочитаетъ иную политику. Все съ тѣмъ же маленькимъ лукавствомъ (или недомысліемъ), которое обнаружилось въ редакціонномъ отвѣтѣ г-жѣ Бабкиной, «Другъ женщинъ» противопоставляетъ свои идеалы червоннымъ валетамъ, а объ остальномъ умалчиваетъ; какъ-будто только и есть на свѣтѣ, что идеалы московскаго женскаго журнала, да червонные валеты, которые, будучи, вѣроятно, совершенно неожиданно для себя, произведены въ чинъ матеріалистовъ, тѣмъ самымъ превращаются въ Пиѳона. Бываетъ, конечно, и такая политика, но не ей сразить Пиѳона...

Главное орудіе, которымъ «Другъ женщинъ» сражается съ Пиѳономъ, есть беллетристика. Можетъ быть, впрочемъ, это зависитъ отъ чистой случайности, именно, отъ того, что въ «Другѣ женщинъ» наиболѣе плодовитою, наиболѣе яркою и, наконецъ, наиболѣе талантливою сотрудницею является беллетристка—г-жа Сковронская. Ея произведенія имѣются въ каждомъ номерѣ и каждое изъ нихъ проникнуто совершенно опредѣленною тенденціею.

Начнемъ съ самаго замысловатаго по формѣ и самаго выразительнаго по содержанію разсказа г-жи Сковронской, носящаго вычурное заглавіе $^{666}/_{3}$ (Fantaisie caprícieuse).

Дѣло вотъ какъ было. Въ нынѣшнемъ 1882 году, во время московской выставки, нѣкоторые знакомые г-жи Сковронской хвастались своимъ изобрѣтеніемъ. Они выдумали такое вещество, которое усыпляетъ человѣка и сохраняетъ его живымъ на произвольное число лѣтъ: каждая капля усыпляетъ на одинъ годъ. Г-жѣ Сковронской очень плохо жилось на свѣтѣ, въ изобрѣтеніе она не вѣрила, а полагала, что умретъ отъ новоизобрѣтенной жидкости, вслѣдствіе чего и хватила цѣлую стклянку. Въ стклянкѣ оказалось 1784 капли, и г-жа Сковронская пробудилась по этому въ 3666 году и увидѣла на грѣшной землѣ совсѣмъ новые порядки. Вы видите, что нашъ авторъ прибѣгаетъ къ беллетристическому пріему, довольно-таки избитому, потому что много уже разъ разные писатели, шутки ради или съ сатирическими цѣлями, рисовали подобныя картины отдаленнаго будущаго. Пріемъ, во многихъ отношеніяхъ, очень удобный, потому что содержаніе въ эти фантастическія картины можетъ быть вложено любое, а съ формальной стороны требуется только болѣе или менѣе пылкая фантазія, которая позволяла бы удаляться отъ формъ нынѣшней жизни, сообразно тѣмъ или другимъ цѣлямъ автора. Фантазія г-жи Сковронской оказывается не изъ самопылкихъ. Для примѣра приведемъ меню обѣда въ 3666 году. «Первое блюдо состояло изъ бульона, къ которому поданы были капельные хлѣбцы; бульонъ былъ очень крѣпкій и въ немъ чувствовался запахъ кореньевъ». Потомъ подали рыбу; «но съѣвши куска два, я поняла, что кушанью этому только придана форма и видъ небольшой рыбы въ родѣ леща, но вкусъ его походилъ на кнель изъ раковаго супа». Дальше намъ, пожалуй, незачѣмъ слѣдовать за полетомъ фантазіи г-жи Сковронской, ибо дѣло ясное: наша кнель изъ раковаго супа будетъ, спустя 1784 года, подаваться въ формѣ леща, что, кажется, и нынѣ законами кулинарнаго искусства не возбраняется. Поэтому мы можемъ, кажется, безъ страха и сомнѣній, предоставить эту великую реформу отдаленному будущему и обратиться къ самому жгучему пункту всей fantaisie caprícieuse. Но, предварительно, надо сдѣлать два замѣчанія. Во первыхъ, въ ту далекую пору, куда насъ переноситъ г-жа Сковронская, языкъ будетъ «чрезвычайно сжатъ и изъ него исключены всѣ лишнія слова, вставки, приставки и окончанія», онъ будетъ «составленъ изъ корней разныхъ языковъ». Образчикъ этого благозвучнаго языка мы сейчасъ увидимъ. Во-вторыхъ, воскресшая г-жа Сковронская попадаетъ подъ опеку ученаго, спеціально занимающагося нашимъ XIX вѣкомъ. Бесѣ-

дуя съ воскресшею свидѣтельницею изучаемой имъ эпохи, онъ пополняетъ свои свѣдѣнія и, въ свою очередь, служитъ ей чичероне. Онъ ее, между прочимъ, и кнелью въ видѣ леща кормитъ, и, наконецъ, ведетъ въ концертъ.

Мой кавалеръ просилъ меня обратить мое вниманіе на знаменитый музыкальный инструментъ. Прошу и я читательницъ обратить ихъ вниманіе на описаніе этой машины. Четыре узкихъ трубы пропущены были въ полъ; на этихъ трубахъ лежалъ валъ; съ одной стороны валъ кончался узенькой трубочкой, съ другой онъ съужался и оканчивался неровнымъ шаромъ, изъ котораго вверхъ торчали семь очень узенькихъ трубочекъ, завитыхъ на верху въ форму коронъ. На этомъ шарѣ яркимъ магномъ свѣтилась цифра года изобрѣтенія, въ видѣ неправильной дроби $^{666}/_{3}$; впрочемъ, числитель блестѣлъ крупно и ярко, а знаменатель—мелко и едва замѣтно. Эта цифра означала 3666 годъ.

Разсмотрѣвши пристально машину, я смекнула ея смыслъ и вздрогнула; мой ужасъ увеличился, когда на всѣхъ сидѣвшихъ я замѣтила цифру года въ видѣ блестящихъ украшеній. Г. Ванъ, устремивъ глаза на машину, что-то соображалъ.

— Г. Ванъ, занимаясь изученіемъ XIX вѣка, читали-ли вы апокалипсисъ? спросила я.

— Три раза перечитывалъ и ничего не понялъ, отвѣтилъ онъ.

— Помните вы тамъ описаніе иконы звѣриной.

— Помню.

— Вглядитесь въ это послѣднее слово механики и въ публику.

— Дѣйствительно, странное совпаденіе, сказалъ онъ тихо и задумчиво.

Въ это время подъ поломъ завели механизмъ и инструментъ заигралъ. Замѣчательно вѣрно передавалъ онъ шумъ морскихъ волнъ, ударяющихся объ скалы; затѣмъ послышалось завываніе вѣтра, раскаты грома и трескъ ломающихся кораблей; среди этого бурнаго хаоса раздался повелительный человѣческій голосъ и мгновенно буря стихла. Послѣ этой паузы послышалось шипѣніе змѣи; она внятно прошипѣла: «глоріа гомини! тріумфъ махинэ! конкетта!!!» Послѣднее слово гадъ прошипѣлъ съ особеннымъ эффектомъ. Вслѣдъ за этимъ раздались, впрочемъ, въ удивительной гармоніи, всевозможные голоса звѣрей, произносившіе эти хвалебные слова человѣку и машинамъ. Замѣчательные рулады ржали лошади; за ними слѣдовало мычаніе коровъ, блеянье овецъ; звуки то усиливались, то стихали; затѣмъ возвышалось соло одного животнаго; потомъ подхватывалъ цѣлый хоръ; словомъ, игрались варіаціи на тему данную змѣей. Наконецъ, форто перешло въ фортиссимо и со страшнымъ соп fuoco зарыкалъ левъ: «глоріа гомини! тріумфъ махинэ! конкетта!!!»

На средину вышелъ агентъ, доставившій машину изъ Вѣны и объявилъ, что инструментъ этотъ по имени изобрѣтателя называется «Васхитъ».

— А это какъ вамъ покажется? спросила я г. Вана:—вѣдь васхитъ это — перековерканное евреями нѣмецкое слово Weisheit, то есть, мудрость, а вы помните, что, описавъ икону звѣриную, святой теологъ говоритъ: «и сіе есть мудрость».

Послѣ концерта публика перешла въ другой залъ, и г-жа Сковронская была приглашена выразить свои впечатлѣнія. Она исполнила это въ длинной рѣчи. Сначала она говорила объ изумленіи, въ которое ее повергаютъ успѣхи человѣчества, объ аэростатахъ, превосходныхъ мостовыхъ, несгораемыхъ домахъ, наконецъ, о всеобщемъ благосостояніи и отсутствіи нищеты. Слушатели были довольны... Но г-жа Сковронская приготовила имъ подъ конецъ не совсѣмъ пріятный сюрпризъ; пусть однако разсказываетъ авторъ:

«Да, продолжала я, болѣзни, пожары, нищета и многое другое, о чомъ вы не имѣете понятія, терзали монхъ современниковъ, и нѣкоторые изъ нихъ поддавались искушенію: пользовались нуждою другихъ и расхищали чужое имущество; но въ мое время были еще люди, имѣвшіе нравственные идеалы (этихъ послѣднихъ двухъ словъ слушатели не поняли и попросили мозистовъ (ученыхъ) объяснить. Г. Ванъ развернулъ свитокъ; въ концѣ XIX вѣка онъ нашелъ объясненіе слова идеалъ и сказалъ, конечно, на своемъ нарѣчіи: «идея, воплощенная въ образѣ, называется идеаломъ». А вѣнскій мозистъ въ рубрикѣ XX вѣка отыскалъ: нравственный — значитъ моральный. Очередь улыбнуться была за мною).

«Укрѣпивши чуть до неприступности свою плоть, вы сдавили, стѣснили въ ней духъ. Въ мое же время слабые плотью и чистые сердцемъ, хотя бы и бѣднѣйшіе люди, своими духовными очами удостоивались видѣть Ликъ, Котораго красота доброты неизреченные. А это лицезрѣніе доставляетъ такую блаженную радость, о которой вы, при всемъ вашемъ благосостояніи и благополучіи, и понятія не имѣете. Въ вашемъ концертъзалѣ машина удивительно вѣрно подражала голосамъ животныхъ, которыя восхваляли васъ и ваши машины; это звукоподражаніе можетъ вызывать удивленіе, но не можетъ возбудить прекрасныхъ чувствъ благоговѣнія и умиленія, которыя испытывали мы, когда наши храмы наполнялись дивными звуками человѣческихъ голосовъ, восхвалявшихъ Духа Зиждителя: «Тебе, Предвѣчнаго Отца вся земля величаетъ». Поклоняясь матеріи и возвеличивая человѣка, вы человѣческое число 666 ставите выше числа Святой Троицы. Вы думаете, что въ своей мудрости вы знаете все, а премудрый теологъ еще за тридцать семь вѣковъ зналъ, что будетъ съ вами. Да, вы открыли послѣднюю страницу книги тайнъ природы, но вамъ ее уже не читать. Ибо Всемогущій Духъ, Котораго вы не хотѣли знать, однимъ Своимъ дуновеніемъ истребитъ васъ, и я, ничтожная передъ вами, возвѣщаю вамъ, когда вы со всею вашею мудростью пропадете въ преисподней».

Въ это время внизу послышались какъ бы отдаленные раскаты грома, которые все приближались и приближались. Начинался какой-то адскій шумъ и трескъ. На лицахъ моихъ слушателей выразилась звѣрская злоба; я увидала, что они собираются на меня броситься, и рванулась къ окну. Повѣялъ свѣжій воздухъ. Я очнулась. Внизу подъ окномъ дѣйствительно раздавался громкій и непріятный звукъ отъ мчавшихся пожарныхъ командъ на первобытныхъ телѣгахъ, гремѣвшихъ по нашей булыжной мостовой. Вѣжавшій народъ кричалъ, что горитъ на Прѣснѣ. Стѣнной календарь, съ котораго я аккуратно срываю листочки, показывалъ 1-е сентября 1882 года. На ночномъ столикѣ лежалъ раскрытый Апокалипсисъ, который я читала наканунѣ вечеромъ.

Мы имѣемъ дѣло съ фантазіей, но и въ фантазіи сказывается человѣкъ съ разными особенностями своей нравственной физіономіи и умственныхъ привычекъ. Тѣмъ болѣе въ фантазіи тенденціозной, какова fantaisie sarcicieuse г-жи Сковронской. И я думаю, читатели раздѣляютъ со мной изумленіе передъ легкомысліемъ или несообразительностью нашего автора. Въ самомъ дѣлѣ, люди будущаго, такъ жестоко отдѣланные нашею соотечественницею-современницею, очень на нее разсердились; она полагаетъ, за высказанную ею рѣзкую правду, а можетъ быть совсѣмъ не за это; можетъ быть, именно за легкомысліе или недобросовѣстность суда надъ тѣмъ, что выстрадано многими и многими поколѣніями людей. Конечно, съ нашей теперешней точки зрѣнія, такъ сильно сердиться за подобныя вещи не стоитъ. Но вѣдь, кто знаетъ!—можетъ быть къ 3666 году легкомысленно недобросовѣстная порода совсѣмъ переведется, такъ что объ ней и памяти не будетъ. Немудрено, если при такихъ условіяхъ «консервъ-индивидъ 1882 года» (терминологія будущаго), явившись во всеоружіи нашихъ теперешнихъ дрянныхъ грѣховъ, будетъ встрѣченъ, какъ дикій звѣрь какой... Во всякомъ случаѣ, съ нашей теперешней точки зрѣнія, люди будущаго, повторяю, поступили съ г-жей Сковронской слишкомъ строго. По нашему, она заслуживаетъ совсѣмъ не «звѣрской злобы», а, просто, маленькой и вполнѣ вѣжливой нотаціи примѣрно въ такомъ родѣ.

Милостивая государыня! вы кушали нашу кнель въ видѣ леща и отмѣтили ее въ своей памяти; вы обратили ваше просвѣщенное вниманіе на наши сѣрые вязаные штаны и таковые же «кираски» и разспрашивали о свойствахъ матеріи, изъ которой мы шьемъ свои одежды; вы интересовались нашими путями сообщенія и освѣтительными матеріалами; но *ни разу, ни одного разу* во весь тотъ день, который вы съ нами пробыли, вы не спросили о нашихъ «нравственныхъ идеалахъ», а теперь насъ же ими корите! Ясно, что для васъ сѣрые вязаные штаны и кнель въ видѣ леща несравненно интереснѣе, чѣмъ нравственные идеалы. Мы понимаемъ ваше умоположеніе, мы знаемъ, что въ ваше печальное время большинство, такъ называемыхъ, образованныхъ женщинъ было болѣе штанами и кнелью проникнуто, чѣмъ нравственными идеалами. Но вы *насъ* корите въ отсутствіи идеаловъ— это уже рѣшительно нехорошо, сударыня, это легкомысленно и недобросовѣстно; это, по меньшей мѣрѣ, свидѣтельствуетъ, что вы сунулись въ воду, не спросясь броду, отправились въ походъ, не сообразивъ ни цѣли своего предпріятія, ни скромности своихъ силъ. Конечно, еслибы вы насъ спросили объ нашихъ нравственныхъ идеалахъ, мы, можетъ быть и должны были бы заглянуть въ лексиконъ, какъ вы объ этомъ по другому поводу съ ядовитостью разсказываете. Но ядовитость эта опять же о вящшемъ вашемъ легкомысліи говоритъ. Вѣдь и въ ваше время турокъ, услышавъ отъ васъ слово «нравственный» или даже «моральный», заглядывалъ въ лексиконъ, изъ чего, однако, вовсе не слѣдовало, что ему чужды соотвѣтственныя этимъ словамъ вещи. А вы, именно, такъ смотрите, что если у вашего собесѣдника идеалы отличные отъ вашихъ или даже только иначе называются, такъ ихъ у него уже вовсе нѣтъ. Въ ваше время фанатическіе мусульмане говорили: нѣтъ Бога, кромѣ Бога, и Магометъ пророкъ его. И вы поступаете подобно этимъ своимъ мрачнымъ современникамъ. Мы же предпочитаемъ столь заинтересовавшіе васъ узкіе штаны наши столь узкимъ взглядамъ. А замѣтьте, что, даже не разспрашивая насъ объ нашихъ идеалахъ, вы, при нѣсколько меньшемъ легкомысліи, могли бы непосредственнымъ наблюденіемъ убѣдиться въ ихъ существованіи. Вы разсказываете, напримѣръ, о нашихъ «мозистахъ», то-есть ученыхъ. А какъ вы думаете, что гонитъ ихъ «изслѣдовать всѣхъ временъ дѣйства и причины?» Въ ваше печальное время ученые добивались чиновъ, окладовъ — у насъ ничего, вѣдь, этого нѣтъ, у насъ, какъ вы сами видѣли, всѣ сыты и никто не нуждается. Что же, какъ не нравственный идеалъ, движетъ нашихъ мозистовъ? Идеалъ, чрезвычайно высокій, сударыня, столь высокій, что не смотря на всѣ ваши пышныя слова, ваши идеалы въ сравненіи съ нимъ жалкіе карлики и калѣки. Угодно пробу? Вамъ очень понравилась наша «освѣжительная эссенція», трехъ капель которой достаточно, чтобы человѣкъ отрезвѣлъ. Вы вспомнили при этомъ «слезы, горе, отчаяніе», причиняемыя у васъ виномъ или, если позволите точно выразиться, болѣе водкой. Вы позавидовали намъ и выдали въ своей рѣчи похвальный аттестатъ за это изобрѣтеніе, которое, по вашимъ словамъ, было бы истиннымъ благодѣяніемъ въ ваше время. Замѣтьте, что вы не отсутствію пьянства у насъ позавидовали, а именно легкости отрезвленія. Легкомысленная вы женщина! Наши мозисты и наши художники изучали ваше время и ваше отечество, и нарисовали намъ поразительныя картины пьянства. Мы знаемъ, что пьянство порождало у васъ горе, но знаемъ также, что и горе порождало пьянство. Конечно, наша освѣжительная эссенція моментально отрезвила бы и этого вашего мужика, который напился, чтобы за-

быть о проданной за недоимку послѣдней коровенкѣ и о плачущихъ отъ голоду ребятишкахъ; и этого задавленнаго судьбой чиновника; и этого великосвѣтскаго шалопая, весело поужинавшаго съ кокоткой; и этого честнаго человѣка, оскорбленнаго въ лучшихъ своихъ надеждахъ и вѣрованіяхъ вашими общественными и семейными безобразіями. Они бы отрезвѣли и вы были бы довольны—пьяныхъ нѣтъ. Но вѣдь они завтра же опять напьются, потому что наша чудодѣйственная эссенція безсильна устранить тѣ горести и гнусности, которыя лежатъ въ основѣ вашего пьянства. Э-эхъ, барыня!.. А еще объ идеалахъ толкуете...

Вотъ что, и еще многое, многое другое могли бы возразить г-жѣ Сковронской люди будущаго, оставаясь въ предѣлахъ вѣжливости. И мнѣ кажется, что нѣчто подобное можетъ быть предъявлено всему «Другу женщинъ». Если я такъ долго остановился на «фантазіи» г-жи Сковронской, такъ именно потому, что въ ней, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», отражается вся физіономія «Друга женщинъ». Это самая выразительная изъ статей, напечатанныхъ въ московскомъ женскомъ журналѣ. Прежде всего любопытно и характерно то, что женщины тутъ рѣшительно не причемъ. Въ фантазіи фигурируютъ исключительно мужчины, если не считать самого «консервъ-индивида 1882 г.»; такъ-что, при всемъ желаніи стать на точку зрѣнія друга женщинъ, мы рѣшительно не можемъ сказать, какъ будетъ вести и чувствовать себя прекрасный полъ въ тѣ страшныя времена, когда кнель будетъ подаваться въ видѣ леща. Мы не знаемъ даже, будутъ-ли тогда женщины носить, подобно мужчинамъ, сѣрые вязаные панталоны, или же, напротивъ того, сохранятъ теперешніе свои костюмы, или изобрѣтутъ что-нибудь новое, но женственное. Самыя поученія, которыя могутъ быть извлечены изъ fantaisie caprisieuse, не заключаютъ въ себѣ ничего спеціально-дружественнаго по отношенію къ женщинамъ. Они обращены ко всему человѣческому роду, стремящемуся въ пропасть, и, главнымъ образомъ, всетаки, къ мужчинамъ. потому что вѣдь и въ 3666 году строить машины, воздѣлывать науку и проч. будутъ, какъ видно, всетаки, мужчины. Собственно для женщинъ вся эта фантастическая исторія можетъ служить развѣ предостереженіемъ: дескать, не становитесь на тотъ пагубный путь, по которому давно уже идутъ «опьяненные реализмомъ» мужчины.

А между тѣмъ, женщинамъ предстоятъ на этомъ пути, кажется, еще особенныя опасности. не предусмотрѣнныя въ «капризной фантазіи», но за то яркими чертами изображенныя въ другомъ разсказѣ той же г-жи Сковронской—«Записки корректорши». Тамъ разсказывается поучительная исторія одной женщины, увлеченной мыслями о «широкомъ поприщѣ для дѣятельности», объ «отрасляхъ для женскаго труда», о «самообразованіи и самодѣятельности». Надо, впрочемъ, сказать, что женщина эта, еще будучи шестнадцати лѣтъ, пришла ни съ того, ни съ сего къ актеру и отдалась ему. А какъ только увлеклась «широкимъ поприщемъ для дѣятельности» и прочими хорошими словами, такъ пошла писать: познакомилась со студентами и ближе, чѣмъ слѣдовало, сошлась съ однимъ изъ нихъ; поступила въ наборщицы и увлеклась красивымъ метранпажемъ; поступила въ корректорши и не устояла передъ соблазномъ совратить съ пути истины одного скромнаго литератора, за которымъ слѣдовали: секретарь редакціи, адвокатъ, прокуроръ и еще какіе-то, уже не перечисляемые. Впослѣдствіи она раскаялась и умерла отъ разрыва сердца. Все это, конечно, спеціальные результаты таинственнаго опьяненія реализмомъ, въ придачу къ тѣмъ общимъ, которые представлены въ капризной фантазіи. Вопросъ только въ томъ, какъ всѣ эти предостереженія и опасенія вяжутся съ выраженнымъ редакціей «Друга женщинъ» сочувствіемъ къ образованію женщинъ и расширенію сферы ихъ дѣятельности.

III.

Дѣло объясняется очень просто, если припомнить увѣренность «Друга женщинъ», что по части женскаго труда и образованія все обстоитъ благополучно, а въ ближайшемъ будущемъ пойдетъ еще благополучнѣе. Если, такимъ образомъ, женщинѣ обезпечена возможность пріобрѣтать знанія и прилагать ихъ къ жизни, то для друга женщинъ весьма естественно перенести центръ тяжести своихъ заботъ на *формы* труда и *характеръ* знаній. Дѣло, такъ сказать, оконченное въ низшей инстанціи, переносится въ высшую, вмѣстѣ съ чѣмъ спеціальный женскій вопросъ упраздняется. Что женщина не только можетъ, а и должна учиться и работать, что ей, слѣдовательно, не только могутъ, а и должны быть предоставлены необходимыя для этого средства и свобода — это вѣдь азбука. Мы ее много лѣтъ твердимъ, и весьма натурально думать, что какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ, а тѣмъ паче прямое отрицаніе азбуки гнѣздится лишь гдѣ-нибудь въ темныхъ закоулкахъ жизни. Ну, да, вѣдь, въ эти закоулки солнце всегда поздно заглядываетъ, тамъ всегда отстаютъ и невозможно ждать ихъ окончательнаго просвѣщенія, чтобы сдѣлать

второй шагъ послѣ перваго. Конечно, и теперь есть сферы, гдѣ думаютъ, напримѣръ, что женщина есть цвѣтокъ, обязанный по закону природы въ извѣстное время наряжаться въ яркій нарядъ и прыскаться духами, потомъ отцвѣтать, давать плодъ и умирать. Людей, доселѣ стоящихъ на этой точкѣ, можно, разумѣется, полегоньку подучивать азбукѣ, но нельзя же изъ-за нихъ стоять на мѣстѣ. Жизнь не ждетъ и, покончивши съ азбукой, повелительно призываетъ на слѣдующія ступени лѣстницы граматы. Разъ выучена азбука, разъ признана истина, что женщина должна учиться и работать, возникаютъ вопросы: чему учиться? надъ чѣмъ работать? А это уже вовсе не спеціально женскіе, а общечеловѣческіе вопросы. Надо замѣтить, что и вообще многое, обыкновенно вдвигаемое въ рамки женскаго вопроса, далеко въ нихъ не укладывается. Вотъ, напримѣръ, въ № 6 «Друга женщинъ», въ числѣ «разныхъ извѣстій», имѣется перепечатка изъ «Донской Пчелы» о положеніи швей. Положеніе, дѣйствительно, ужасное, но оно есть совсѣмъ не особенное какое-нибудь положеніе женщинъ и положеніе рабочихъ вообще. И недаромъ «Донская Пчела» оканчиваетъ свою замѣтку такъ: «это кабала въ пользу карамановъ разныхъ мадамъ Мари и мамзель Софи, нанимающихъ роскошныя тысячныя квартиры въ лучшихъ частяхъ города». Мадамъ Мари и мамзель Софи женщины, ихъ ученицы и мастерицы тоже женщины. Тяжба между ними неразрѣшима съ спеціальной точки зрѣнія женскаго вопроса, но оканчивается сама собой, попутно, при разрѣшеніи общаго вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ труда и капитала. Такъ и во многомъ другомъ. Азбука гласитъ только, что женщина должна учиться и работать. По отношенію къ мужчинамъ мы давно уже съ этой азбукой покончили. Никто не сомнѣвается и не споритъ объ томъ, что учиться и работать надо, но много спорятъ о содержаніи знаній и направленіи труда. Одни утверждаютъ, что учиться надо классическимъ языкамъ, другіе налегаютъ на естествознаніе; одни считаютъ то или другое направленіе труда полезнымъ, важнымъ, великимъ, другіе находятъ его вреднымъ, достойнымъ всякаго порицанія. Давно бы ужъ, кажется, пора приложить принципъ такой классификаціи и къ женскому труду и образованію. Возьмемъ наглядный примѣръ. Мы вѣдь не умиляемся по поводу того, что гг. Аксаковъ, Катковъ, Щедринъ, Толстой работаютъ; не говоримъ: ахъ, какъ хорошо, что эти господа не предаются праздности, а вносятъ свои лепты въ сокровищницу русской литературы! Напротивъ, мы ихъ классифицируемъ, сортируемъ, и не только по степени ихъ таланта или трудолюбія, а также по степени приносимаго ими вреда или пользы. При этомъ съ вашей или съ моей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія Петра или Ивана, тотъ или другой изъ этихъ писателей можетъ оказаться крайне вреднымъ, такъ что даже горевать приходится, что онъ обогащаетъ русскую литературу своими лептами. Разсуждая столь элементарнымъ образомъ, мы вѣдь не забываемъ положенія еще болѣе элементарнаго, вполнѣ уже азбучнаго, насчетъ предосудительности празднаго времяпровожденія. Мы твердо помнимъ, что праздность есть порокъ или даже мать всѣхъ пороковъ, но затѣмъ цѣнимъ людей не праздныхъ, а дѣятельныхъ съ точки зрѣнія нѣкотораго своего идеала. Такъ поступаетъ, повидимому, и «Другъ женщинъ». Признавъ азбукою то положеніе, что женщина не цвѣтокъ, духами опрысканный, а человѣкъ, имѣющій не только право, но и обязанность учиться и трудиться, московскій журналъ переноситъ дѣло въ высшую инстанцію, судитъ учащихся и трудящихся съ точки зрѣнія нѣкотораго общечеловѣческаго идеала. Какъ онъ эту задачу исполняетъ (и даже вполнѣ ли ее сознаетъ), это дѣло особое, объ которомъ у насъ уже была рѣчь и сейчасъ опять будетъ. Но въ принципѣ «Другъ женщинъ» поступаетъ правильно. Такъ и мы должны относительно его самаго поступать. Умиляться и радоваться появленію журнала, редактируемаго женщинами и предоставляющаго женщинамъ и «высказываться» на своихъ страницахъ, нѣтъ никакого повода. Можетъ быть, журналъ такое начнетъ высказывать, что лучше бы ему вовсе и не родиться. Надо посмотрѣть. Вотъ и посмотримъ.

Журналъ ведется дурно, безпорядочно, смутно, это мы уже видѣли. Но, наконецъ, мы нашли, кажется, сердце журнала, центральный пунктъ, изъ котораго редакція, по крайней мѣрѣ, желала бы вести радіусы къ разнымъ явленіямъ жизни. Это и есть именно тотъ нравственный идеалъ, общечеловѣческій, равно обязательный для мужчинъ и для женщинъ, съ точки зрѣнія котораго оцѣниваются судьбы женщинъ, ихъ работа, ихъ образованіе. Съ отрицательной стороны культъ этого идеала выражается борьбой съ Пноономъ «реализма», причемъ подъ реализмомъ разумѣются и реализмъ философскій или научный, и воровство-кража, воровство-мошенничество и т. п. Такая путаница очень мало подвигаетъ насъ впередъ, а потому надо обратиться къ положительной сторонѣ нравственнаго идеала «Друга женщинъ». Откровенно говоря, мы и здѣсь встрѣтимъ путаницу, но надо

же, всетаки, ее уловить и какъ-нибудь формулировать. «Другъ женщинъ» желаетъ противопоставить торжествующему Пиѳону нѣчто «духовное» и очень въ этомъ направленіи старается, какъ вы можете судить уже по письму г-жи Бабкиной и отвѣту редакціи, по житіямъ святыхъ, по апокалипсической фантазіи г-жи Сковронской. Однако, это «духовное» никоимъ образомъ не можетъ быть названо христіанскимъ идеаломъ. Это какая-то мистическая отсебятина, если позволено будетъ употребить это стершееся и не совсѣмъ благозвучное выраженіе.

Въ разсказѣ г-жи Сковронской «Разсудокъ и разумъ» (№ 6) нѣкая г-жа Березина, рисуемая авторомъ въ качествѣ положительнаго типа, устроила у себя въ комнатѣ жертвенникъ, на которомъ стоитъ изображеніе крылатой женщины, сидящей на тронѣ. На этотъ жертвенникъ Березина ставитъ букетъ цвѣтовъ и кладетъ «передъ букетомъ земной поклонъ». Какъ извѣстно, христіанскій идеалъ ничего подобнаго не предписываетъ, не требуетъ и не совѣтуетъ. Та же Березина вѣритъ въ разныя примѣты, вѣщіе сны и проч. и хотя толкуетъ при этомъ о какихъ-то своихъ непосредственныхъ сношеніяхъ съ Богомъ, но примѣты у нея самыя вульгарныя: видѣть во снѣ собаку значитъ на яву друга увидѣть. Та же Березина вѣруетъ и исповѣдуетъ, что никакое преступленіе, хотя бы чрезвычайно искусно скрытое, не остается безъ божественнаго возмездія уже въ теперешней, земной жизни. Березина можетъ разсказать соотвѣтственные анекдоты. Мы ихъ, впрочемъ, приводить не будемъ, потому анекдоты бываютъ всякіе. Что же касается до самой мысли, то въ этомъ отношеніи, редакція «Друга женщинъ» совершенно солидарна съ Березиной. Въ редакціонной замѣткѣ № 2 читаемъ: «Не безъ образованія человѣкъ звѣрь, а безъ вѣры. Избранные Христомъ рыбаки были люди необразованные, а проповѣдывали религію любви и милосердія. Напротивъ того, вѣроятно, не безъ образованія были тѣ люди, которые вотъ уже нѣсколько лѣтъ кряду ознаменовали расхищеніями, растратами и банкротствами, вслѣдствіе которыхъ приходится страдать другимъ; но у нихъ не было вѣры въ бытіе Высшаго Духа, въ существованіе закона божественнаго разума, въ силу котораго за всякое преступленіе послѣдуетъ наказаніе рано или поздно, хотя бы судьи земные и вынесли оправдательный приговоръ. Къ дурнымъ поступкамъ привелъ ихъ крайній матеріализмъ».

Обратите вниманіе на эти слова. Они того заслуживаютъ во многихъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, все та же мистическая отсебятина. Христіанская религія ничего не говоритъ о возмездіи въ земной жизни. Такая мысль даже противорѣчитъ чистому христіанскому идеалу, пугая наказаніями и заманивая наградами. Противорѣчитъ и строгости ученія о загробной жизни. А между тѣмъ, эту свою отсебятину «Другъ женщинъ» съ чрезвычайною смѣлостью выдаетъ за едино спасающую вѣру. Коли вы этой вѣры не имѣете, такъ у васъ рѣшительно никакихъ идеаловъ нѣтъ, вы—«крайній матеріалистъ», вы способны на расхищенія, растраты и мошенничества. Таковы черты нравственнаго идеала, съ высоты котораго «Другъ женщинъ» думаетъ и Пиѳона сразить, и обсуждать судьбы, трудъ и образованіе женщинъ. Теперь вы понимаете, почему погибла корректорша, записки которой сочинила г-жа Сковронская—она не вѣрила въ земное возмездіе; почему та же г-жа Сковронская, даже не разспрашивая людей будущаго объ ихъ идеалахъ, жестоко распекла ихъ—они не поклоняются букету цвѣтовъ и не вѣрятъ, что собаку во снѣ увидѣть значитъ на яву друга увидѣть; почему редакція «Друга женщинъ» не видитъ въ литературѣ рѣшительно ничего, кромѣ «погони за наживой», а въ жизни ничего, кромѣ «опьянѣнія реализмомъ», вы можете воспѣвать добродѣтель и громить порокъ, можете совершать какіе угодно подвиги самоотверженія, но если вы не суевѣръ и не изувѣръ, вы погибшій человѣкъ. Вы видите, стало быть, что въ томъ идеалѣ, которому «Другъ женщинъ» хочетъ подчинить все и вся, азбука забыта...

По поводу этой забытой азбуки, я хотѣлъ сказать многое. Но прелиминаріи, сортировка разнообразной путаницы и вздора, совмѣщеннаго въ семи тоненькихъ блинчикахъ «Друга женщинъ», заняли столько мѣста, что я отложу предположенное до другого раза и—до другого повода: ихъ въ наше время представляется не мало. Теперь же прибавлю одно замѣчаніе.

Не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Не такъ ужъ мраченъ тотъ якобы духовный міръ, въ который приглашаетъ женщинъ ихъ новоявленный московскій другъ. Не все тамъ крылатыя женщины на тронѣ, да страшныя видѣнія. О, далеко нѣтъ. На что, кажется, мрачна капризная фантазія г-жи Сковронской, а между тѣмъ, въ самомъ ея названіи — fantaisie caprieieuse— звучитъ что-то легковѣсно-примиряющее. Какъ будто даже танцовальнымъ вечеромъ отъ этого названія отдаетъ. Танцовальный вечеръ и апокалипсисъ — какая невозможность, какая клевета! скажетъ, пожалуй, читатель. Нѣтъ, это бываетъ. Вотъ, напри-

мѣръ, сцена изъ повѣсти «За каменными стѣнами» (№ 2). Институтки идутъ причащаться. Въ числѣ ихъ перлъ всего института, Лиза Семенова, коей добродѣтель, натурально, уже въ земной жизни вознаграждается.

Длинная вереница старшихъ воспитанницъ стройно подходитъ для принятія св. Тайнъ. Священный страхъ и благоговѣніе выражаются на ихъ лицахъ. Руки крестомъ сложены на груди. Каждая изъ нихъ, по институтскому преданію, твердитъ про себя *свое* желаніе.

— Да причастница жизни вѣчныя буду, набожно шепчетъ одна.

— Господи! Прости мнѣ прегрѣшенія моя, вольная и невольная, твердитъ другая.

— Да простится! да простится мнѣ грѣхъ мой! искренно, страстно и благоговѣйно повторяетъ Лиза; но, подходя къ самой чашѣ, думаетъ: «чтобы любилъ меня!»

«Чтобы любилъ меня» одинъ плѣнительный брюнетъ... Ну, это, конечно, ребячество, въ которомъ есть, пожалуй, даже нѣчто трогательное. Но вотъ прекрасная и добродѣтельная вдовушка, Березина, та самая, которая букету цвѣтовъ покланяется и непосредственностью своихъ отношеній къ Богу сны истолковываетъ; эта самая вдовушка назначаетъ незнакомому мужчинѣ амурное свиданіе въ маскарадѣ... Это, впрочемъ, только въ первый разъ и притомъ по совѣту легкомысленной подруги, а во второй разъ и по выбору собственнаго возвышеннаго сердца вдовушка назначаетъ свиданіе уже въ церкви и, именно, за всенощной на Савинскомъ подворьѣ... Видите, какая богомольная! Однако, эта прелестная вдовушка не только крылатыми женщинами на тронѣ, земными возмездіями, снотолкованіями и прочею «духовною» отсебятиной занимается. Вотъ сценка между Натальей Александровной (вдовушка) и ея легкомысленной подругой въ присутствіи мужчины, плѣнившаго сердце вдовушки:

— Кузина не всегда разсуждаетъ о божественномъ, иногда она лучше всякой Альфонсины проноетъ Reine du bal. Ну, Натали, не заставляй очень просить.

— Не въ такомъ настроеніи, Катя, а то бы не заставила себя просить.

— А ты начни и придешь въ настроеніе.

— Говоря это, Запольская открыла рояль и заиграла на тему *Стрѣлокъ*.

Наталья Александровна неохотно подошла, грустно улыбаясь; вслушалась въ акомпанименть и запѣла II: faut que je vaus dise, comment du bal je fus éprise.

Гортанный выговоръ и весь пошибъ пѣнія каскадныхъ пѣвицъ трудно было передать лучше, но только выраженіе лица пѣвшей отнюдь не соотвѣтствовало словамъ пѣсни. Явно видно было, что Наталья Александровна дѣлала надъ собой большое усиліе. Это похоже было на то, какъ къ трупу приставятъ гальваническую машину и заставятъ мускулы его двигаться въ родѣ смѣха или плача. До пѣвши до куплета Maintenant je vais danser, Березина оборвала пѣніе и сказала:

— Нѣтъ, рѣшительно не могу.

На этотъ разъ госпожа Березина рѣшительно не можетъ, но когда-нибудь въ другой разъ, вдоволь наклонявшись передъ крылатой женщиной на тронѣ, вдовушка несомнѣнно заткнетъ за поясъ всякую Альфонсину...

Басню эту можно бы и болѣе пояснить, но вы видите, во всякомъ случаѣ, что въ духовныхъ сферахъ «Друга женщинъ» можно проводить время довольно весело, если только остерегаться опьяненія реализмомъ...

XVII.

Гамлетизированные поросята *).

Fatum. Расказъ *Г. Юрко* («Полярная Звѣзда» 1881, № 6).—*Развязка.* Разсказъ *Г. О.* («Вѣстникъ Европы» 1882, № 10).

I.

Говоря о многочисленности и разнообразіи толкованій характера Гамлета, Маудсли замѣчаетъ: «При откровенномъ признаніи со стороны сочувствующаго читателя, оказалось бы, по всей вѣроятности, что онъ считаетъ самого себя настоящимъ Гамлетомъ; неудивительно, что, по его мнѣнію, онъ всего болѣе и способенъ понять этотъ характеръ». Въ этомъ замѣчаніи много правды, и самая интересная правда состоитъ въ томъ, что дѣйствительно многимъ, слишкомъ многимъ людямъ кажется, что они удивительно похожи на знаменитаго датскаго принца; едва-ли даже найдется болѣе счастливый въ этомъ отношеніи литературный типъ. Отчасти это объясняется, конечно, художественнымъ геніемъ Шекспира, который воплотилъ въ Гамлетѣ широко распространенныя черты человѣческаго духа. Но съ этимъ объясненіемъ едва-ли согласятся всѣ дѣйствительные Гамлеты и воображающіе себя таковыми. Напротивъ, они склонны выдѣлять себя изъ большинства людей, считать себя чѣмъ-то особеннымъ, совмѣщающимъ именно рѣдкостныя, наименѣе распространенныя черты человѣческаго духа. Значитъ, Гамлетъ обаятеленъ для нихъ совсѣмъ не тѣми своими сторонами, которыя попадаются на каждомъ шагу, чуть не въ каждомъ человѣкѣ, только въ различныхъ пропорціяхъ. Да наконецъ, объясненіе и само по себѣ не полно. Въ Фальстафѣ, вѣдь, тоже воплощены широко распространенные черты, однако, что-то

*) 1882 г., декабрь.

мало охотниковъ быть или казаться Фальстафомъ. Который если и буквальное повтореніе Фальстафа собою представляетъ, такъ и то не признаетъ своего съ нимъ сходства, и, можетъ быть, именно Гамлетомъ рисуется въ собственныхъ мечтаніяхъ, или передъ другими желалъ бы рисоваться. Дѣло понятное. Одна изъ самыхъ распространенныхъ слабостей человѣческой натуры состоитъ въ болѣе или менѣе высокомъ о себѣ мнѣніи, и такъ какъ Фальстафъ есть старая, переполненная всякимъ свинствомъ бочка, то ни у кого нѣтъ охоты узнать себя въ такомъ зеркалѣ. Гамлетъ совсѣмъ другое дѣло. Надо только узнать, какія именно черты его характера дѣлаютъ его героемъ, предметомъ удивленія, поклоенія, подражанія для множества людей, иногда мелкихъ, какъ мелкая тарелка, а иногда, по крайней мѣрѣ, очень неглупыхъ.

Когда человѣка пріятно щекочетъ сознаніе сходства или только праздная мечта о сходствѣ съ какимъ-нибудь баловнемъ счастья, вся жизнь котораго есть рядъ успѣховъ, то тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Всякому счастья хочется, а успѣхи и побѣды, цвѣточныя гирлянды и лавровыя вѣнки, все, вѣдь, это внѣшнія выраженія, атрибуты счастія, за которыми истиннаго счастія нѣтъ, можетъ быть, ни капли, но которые по наглядности своей издревле составляютъ предметъ мечтаній огромнаго большинства людей. Гамлетъ не можетъ служить объектомъ такихъ элементарныхъ и грубыхъ мечтаній. Онъ не Иванъ-Царевичъ, которому достались и жаръ-птица и царь-дѣвица; не Аника Воинъ, что на бѣломъ конѣ скакалъ, враговъ устрашалъ; не Чурило Пленковичъ, на котораго красныя дѣвушки и старыя старушки глядѣли-нагляднѣться не могли. И во всѣхъ другихъ смыслахъ онъ, отнюдь, не баловень счастья. Правда, онъ принцъ и наслѣдникъ датскаго престола (устраненный, впрочемъ, отъ трона преступленіемъ дяди); но не розы и лавры, а терніи, острые, колючіе, душу раздирающіе терніи вѣнчаютъ его на жизненномъ пути. Измѣна, предательство, холопство, лицемѣріе, низость, пошлость, подлость— вотъ что онъ видитъ кругомъ себя. И видитъ не въ качествѣ посторонняго зрителя, прямо не задѣваемаго развивающеюся въ его присутствіи игрою всяческихъ гнусностей. Нѣтъ, онъ стоитъ въ самомъ центрѣ этой игры и на себѣ выноситъ всѣ ея случайности и намѣренности: дышетъ нравственно отравленнымъ воздухомъ и умираетъ отъ удара отравленной рапирой. Чему же тутъ завидовать? объ чемъ мечтать?

Но пусть судьба или, такъ называемые, ближніе безжалостно пытаютъ Гамлета. Быть можетъ, остріе вонзающихся въ него терній тупится объ сознаніе исполненнаго долга, и это сознаніе не только облегчаетъ его участь, а придаетъ, кромѣ того, такое величіе его фигурѣ, что здѣсь-то и надо искать причины указаннаго Маудсли явленія. Нѣтъ, этого не можетъ быть. Именно отсутствіе сознанія исполненнаго долга и характерно для Гамлета. Онъ въ теченіе пяти актовъ все собирается исполнить то, что считаетъ своимъ долгомъ, дѣломъ чести и совѣсти, и только за нѣсколько секундъ до своей смерти исполняетъ его наконецъ, но и то случайно и двусмысленно: собственно говоря, уже не за отца своего онъ мститъ, а за самаго себя, измѣнническими убитаго. Весь внутренній интересъ драмы въ томъ именно и состоитъ, что человѣкъ, имѣющій полную возможность сто разъ исполнить свой долгъ (или то, что онъ считаетъ долгомъ), постоянно колеблется, отступаетъ, сочиняетъ ухищренные и ненужные способы провѣрки своихъ подозрѣній, придумываетъ предлоги для отсрочки, и притомъ такіе предлоги, которымъ самъ не вѣритъ. Словомъ, что касается исполненія долга, Гамлетъ просто тряпка и самъ это очень хорошо понимаетъ. А это, конечно, не такое качество, которое было бы способно возбудить уваженіе или мечтанія о сходствѣ.

Гамлетъ, кромѣ того, уменъ, даже очень уменъ. Но эта черта черезъ-чуръ общая. Если умныхъ людей слишкомъ мало сравнительно съ потребностью въ нихъ и съ количествомъ людей глупыхъ, то ихъ слишкомъ много для того, чтобы какая-нибудь группа людей возмечтала о своемъ сходствѣ съ тѣмъ или другимъ умнымъ человѣкомъ, собственно по причинѣ его большого ума. Гамлетъ уменъ, но и Яго уменъ, и вообще самъ Шекспиръ такъ уменъ, что въ его портретной галлереѣ имѣется цѣлая коллекція умныхъ людей, которымъ, однако, не посчастливилось въ занимающемъ насъ смыслѣ такъ, какъ посчастливилось Гамлету. Въ этомъ смыслѣ, впрочемъ, умъ самъ по себѣ никогда не бываетъ счастливъ. Если многіе люди мечтаютъ о томъ, чтобы равняться умомъ съ Кантомъ, Наполеономъ, Байрономъ, и т. п., то дѣло тутъ не въ умѣ собственно, а въ дѣятельности, въ дѣйствіи, въ созданіи «Критики чистаго разума», или въ могучемъ давленіи на политическую жизнь Европы, или въ протестаціи противъ извѣстнаго порядка вещей и т. п. Гамлетъ, будучи очень умнымъ человѣкомъ, все время, собственно говоря, бездѣйствуетъ, вслѣдствіе чего самый умъ его показывается намъ со стороны вовсе непривлекательной.

Чистый теоретикъ по складу ума, онъ поставленъ лицомъ къ лицу съ практической задачей. При такихъ условіяхъ, даже гораздо болѣе сильный умъ не могъ бы обнаружиться наиболѣе блестящими своими чертами. А умъ Гамлета, кромѣ того, еще носитъ на себѣ несчастную печать той же безхарактерности, которою отмѣчена вся жизнь Гамлета. Это умъ, колеблющійся даже въ сферѣ чисто теоретическихъ вопросовъ. Словомъ, Гамлетъ не глубиною или обширностью своего ума плодитъ гамлетиковъ и—простите, что забѣгаю впередъ—гамлетизированныхъ поросятъ.

Есть въ Гамлетѣ еще одна выдающаяся черта. Онъ, что называется, актерская натура. Онъ не только искусно притворяется сумасшедшимъ, но и безнужно притворяется; притворство это, вовсе не оправдываемое практическими соображеніями, вытекаетъ непосредственно изъ его душевной потребности. Недаромъ онъ такъ любитъ театръ, недаромъ (какъ давно замѣчено критикой) онъ, послѣ удачнаго эффекта представленія странствующихъ актеровъ, радуется не тому, что убѣдился въ истинѣ, а тому, что какъ онъ всю эту механику искусно подвелъ! Механика по замыслу ребяческая, въ практическомъ отношеніи ненужная, но технически, дѣйствительно, искусно веденная. Мы, впрочемъ, не будемъ стоять за то, что Гамлетъ притворщикъ по природѣ. Маудсли утверждаетъ, что это прямо наслѣдственная черта, безсознательно уловленная геніемъ Шекспира. Но можетъ быть дѣло надо понимать совсѣмъ не такъ. Можетъ быть, склонность Гамлета къ притворству и его искусство въ этой сферѣ надо объяснять не непосредственными требованіями натуры, а тѣмъ, что человѣку, стоящему много выше окружающаго общества, доставляетъ удовольствіе играть умомъ въ этомъ направленіи: водить за носъ людей, кичащихся своею практическою мудростью. Такъ или иначе, но можетъ-ли такая игра ума стать предметомъ тайныхъ или явныхъ помысловъ о сходствѣ или подражаніи? На первый взглядъ, конечно, не можетъ, потому что, что же привлекательнаго въ притворствѣ, то-есть враньѣ? Притворщикъ чуть не ругательное слово.

Не совсѣмъ, однако, это такъ просто. Совершенно независимо отъ оффиціальнаго кодекса морали, во всякомъ обществѣ и даже во всякомъ отдѣльномъ слоѣ общества, существуютъ нѣкоторыя особыя понятія о чести и достоинствѣ. Иногда они рѣзко противорѣчатъ оффиціальному кодексу и находятся поэтому въ странномъ, двусмысленномъ положеніи. Поступки, совершаемые на основаніи этихъ особыхъ понятій, отчасти скрываются, отчасти же ими, напротивъ, при случаѣ, даже хвастаются. На примѣрахъ дѣло будетъ яснѣе видно. Взять, напримѣръ, взяточничество. Оффиціальная мораль преслѣдуетъ его самымъ рѣшительнымъ образомъ, и никто не посмѣетъ выдти на площадь и съ гордостью, во всеуслышеніе объявить себя взяточникомъ. Но, вѣдь, не все же на площадяхъ люди живутъ. Кромѣ площадей есть на свѣтѣ улицы, переулки и закоулки. Есть сферы общества, гдѣ удачною взяткой хвастаются, гдѣ взяточника зовутъ молодцомъ, а прозѣвавшаго подходящій случай—дуракомъ. И такъ смотрятъ на дѣло не только тѣ, кто сами взятки берутъ. Нѣтъ, къ этому, оффиціально столь презрѣнному, поступку болѣе или менѣе снисходительно относится чуть не большинство. Или, напримѣръ, прелюбодѣяніе. Кто же не знаетъ, что прелюбодѣй, въ сущности, «молодецъ», не дающій маху, хотя въ тоже время существуетъ, кажется, даже оффиціальный позорящій терминъ: «явный прелюбодѣй». И нельзя сказать что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ неоффиціальный, а тѣмъ болѣе дѣйствительный кодексъ морали не имѣлъ въ виду настоящихъ, несомнѣнныхъ достоинствъ. Напротивъ. Только достоинства эти отнюдь не моральнаго характера. Взяточникъ обнаружилъ умъ, ловкость, знаніе, а это все достоинства. Прелюбодѣй обладаетъ опять-таки ловкостью, красотой, и т. п.—тоже достоинствами. Даже самые грубо низменные въ нравственномъ смыслѣ поступки или привычки могутъ стать предметомъ гордости и хвастовства для однихъ, снисходительнаго полуодобренія для другихъ, если они связаны съ какимъ-нибудь физическимъ преимуществомъ. (О преимуществахъ умственныхъ въ такихъ случаяхъ не можетъ быть и рѣчи). Напримѣръ, обжорство отвратительно и стоитъ даже ниже черты нравственнаго суда, но оно требуетъ извѣстныхъ физическихъ достоинствъ—силы, здоровья—и потому вы можете встрѣтить людей, хвастающихся обжорствомъ и удивляющихся ему, быть можетъ, въ тайнѣ мечтающихъ, какъ бы это уподобиться NN, который съѣлъ цѣлаго барана. Любопытно, что неоффиціальный кодексъ, вообще одобряя взяточника или прелюбодѣя, не проститъ имъ успѣха, достигнутаго безъ помощи какихъ-нибудь умственныхъ или физическихъ достоинствъ. Извѣстно, что взятка, полученная «даромъ», безъ знанія дѣла и безъ нѣкотораго умственнаго напряженія, никогда даже истыми взяточниками не одобряется. Прелюбодѣй старикъ, то-есть лишенный преимуществъ силы и красоты, составляетъ для всѣхъ предметъ презрѣнія и насмѣшекъ. Все это

Да, у гамлетика уже мелькаетъ мысль объ общей красивости пель-меля изъ меланхоліи и пера на шляпѣ и о пріятности примѣрять этотъ пель-мель на себя. И это, конечно, не гамлетовская черта, потому что Гамлетъ прежде всего оригиналенъ и не мечтаетъ объ чужой одеждѣ. Но въ гамлетикѣ, всетаки, сохраняются двѣ несомнѣнныя, подлинныя гамлетовскія черты, конечно, въ сокращенномъ размѣрѣ. Во-первыхъ, гамлетикъ всетаки, дѣйствительно, страдаетъ отъ сознанія своей бездѣльности; во-вторыхъ, въ связи съ этимъ, онъ не сверху внизъ смотритъ на практическую дѣятельность вообще, и на лежащую передъ нимъ задачу въ частности, а на оборотъ, снизу вверхъ: не дѣло ничтожно, а онъ, гамлетикъ, ничтоженъ.

Въ гамлетизированномъ поросенкѣ эти черты совершенно уже отсутствуютъ...

Однако, что же это за гамлетизированный поросенокъ? спроситъ читатель. Какъ бываетъ никкелированная или посеребренная мѣдь, напримѣръ: такъ бываетъ и гамлетизированный поросенокъ. Выраженіе это я употребилъ какъ-то нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ фельетонахъ «Въ перемежку» и теперь оно мнѣ вспомнилось при чтеніи разсказовъ, заглавія которыхъ выписаны подъ заголовкомъ предлагаемой статьи.

Представьте себѣ поросенка въ полной парадной поросячьей формѣ: рыльце пятакомъ, хвостикъ винтомъ, глазки «свиные», щетинка въ грязи. Представьте себѣ далѣе, что этому поросенку приходитъ въ голову странная, на первый взглядъ, мысль спрятать свою грязную щетину и свой хвостикъ винтомъ подъ черную бархатную одежду, надѣть шляпу съ перомъ, принять меланхолическій видъ и, выйдя на площадь, объяснить мимоходящей публикѣ: «я—датскій принцъ Гамлетъ; быть или не быть? вотъ въ чемъ вопросъ». Гамлетомъ онъ отъ этого, конечно, не станетъ, а будетъ гамлетизированнымъ поросенкомъ.

Но не такъ уже странно желаніе гамлетизироваться, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Поросенку, понятное дѣло, хочется быть или хоть казаться красивѣе, чѣмъ онъ есть. Гамлетъ красивъ, а кромѣ того прикинуться Гамлетомъ легче, чѣмъ кѣмъ-нибудь...

Гамлетъ — бездѣльникъ и тряпка, и съ этихъ сторонъ въ немъ *могутъ* себя узнавать всѣ бездѣльники и тряпки. Гамлетъ, кромѣ того, облеченъ своимъ творцомъ въ красивый пель-мель и снабженъ изъ ряду вонъ выходящими дарованіями, и потому многіе бездѣльники и тряпки *хотятъ* себя въ немъ узнавать, то-есть копируютъ его, стремятся подъ его тѣнь. Можетъ показаться, что такое копированіе представляетъ чрезвычайныя трудности. Въ самомъ дѣлѣ, откуда же первому встрѣчному бездѣльнику и тряпкѣ взять несомнѣнныя достоинства Гамлета—его умъ, его благородство, такъ возвышающіе его надъ средой? Это такъ взять не откуда, изъ земли не выроешь. Однако, съ этимъ затрудненіемъ справиться въ сущности очень легко, потому что, по свойственной человѣку слабости, даже очень глупые люди почитаютъ себя иногда очень умными и очень низкіе—очень благородными. Это одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ обмановъ духовнаго зрѣнія, направленнаго внутрь себя. Поросенокъ есть поросенокъ, но онъ можетъ воображать себя умнымъ, благороднымъ человѣкомъ и такимъ рекомендоваться публикѣ. Повѣритъ или не повѣрить публика—это дѣло другое. Затѣмъ, очень большимъ препятствіемъ представляется подлинность страданій Гамлета и страстная искренность его самобичеванія. Когда мы въ началѣ статьи пытались, перебирая отдѣльныя черты фигуры Гамлета, открыть секретъ многочисленности копій, мы говорили и о страданіяхъ датскаго принца, но ни въ нихъ, ни въ другихъ отдѣльныхъ чертахъ этого секрета не нашли. Насъ выручили соображенія объ общей красивости пельменя и о механикѣ отношеній оффиціальной и неоффиціальной морали. Они и теперь должны насъ выручить.

Какъ бы ни было сильно воображеніе поросенка, его часто должны одолѣвать разныя сомнѣнія насчетъ дѣйствительнаго обладанія достоинствами Гамлета. Онъ, естественно, получаетъ нерѣдко житейскіе толчки отрезвляющаго свойства, и потому въ душѣ его происходитъ довольно-таки сложная работа, подчасъ очень мучительная. Онъ, напримѣръ, только-что наладитъ себя, а можетъ быть и изъ публики кого-нибудь, въ томъ смыслѣ, что онъ, подобно Гамлету, двумя головами выше всѣхъ окружающихъ, а грубая жизнь возьметъ да и стащитъ его съ этого монумента, воздвигнутаго самому себѣ. Обидно, а при большомъ самолюбіи даже мучительно обидно. И вотъ страдалецъ готовъ. Остается только гамлетизировать это страданіе, то есть пріурочить его не къ дѣйствительному его источнику, а къ той душевной раздвоенности, которою страдаетъ Гамлетъ. Бѣда, однако, въ томъ, что Гамлетъ страдаетъ отъ искренняго презрѣнія къ самому себѣ, причемъ о своихъ достоинствахъ онъ вовсе даже не думаетъ. Гамлетизированному поросенку надо, напротивъ, убѣдить себя и другихъ въ наличности огромныхъ достоинствъ, которыя даютъ ему право на шляпу съ перомъ и на черную бархатную одежду. Поэтому

онъ, ради сходства съ Гамлетомъ, готовъ себя казнить наединѣ съ самимъ собой и публично, но чтобы эта казнь не совсѣмъ взаправду была, не выражала бы настоящаго презрѣнія. Гамлетъ казнилъ себя за бездѣльность и тряпичность, которыя всегда и вездѣ уваженіемъ не пользуются. Поросенокъ за это казнить себя не станетъ. Онъ, напротивъ, убѣжденъ и другихъ желалъ бы убѣдить, что предлежащее ему дѣло ниже его, что и, вообще, нѣтъ на землѣ практической дѣятельности, достойной его поросячьяго великолѣпія. Не его надо, дескать, презирать за бездѣльность, а то дѣло, за которое онъ взялся, не вѣруя въ него и не любя. Но поросенокъ будетъ очень охотно казнить себя за такіе мысли, чувства, поползновенія, поступки, которые не одобряются оффиціальною моралью, но состоятъ подъ покровительствомъ морали неоффиціальной. Совершитъ онъ, положимъ, прелюбодѣяніе; совершитъ, какъ и подобаетъ поросенку, грязно, грубо, совсѣмъ словомъ, не такъ, какъ совершилъ бы его при случаѣ Гамлетъ. Онъ и самъ чувствуетъ, что на Гамлета что-то не похоже и потому ощущаетъ нѣкоторое недовольство, но немедленно же гамлетизируетъ это недовольство, утѣшая себя самобичеваніемъ, которое тѣмъ удобнѣе, что вѣдь съ точки зрѣнія неоффиціальной морали онъ—молодецъ, не давшій маху. Выходитъ чрезвычайно удобное положеніе. Съ одной стороны, получается нѣкоторая гамлетизація: скорбный видъ, недовольство собой, самобичеваніе; съ другой стороны, однако, самобичеваніе это производится по такому интересному поводу, который въ глазахъ многихъ и многихъ даже очень возвышаетъ поросенка. Зрителю, нравственно чуткому и требовательному, поросенокъ представляется съ такой стороны, что, дескать, конечно, мое поведеніе грязно и грубо, но за то посмотрите, какъ я самъ себя за это казню. Зритель, проникнутый оффиціальною моралью, видитъ ту же самую глубину покаянія. Представители же морали неоффиціальной, которые попроще, такъ просто и говорятъ: молодца! чисто поручикъ Кувшинниковъ! Болѣе же утонченныя говорятъ: ахъ, какой интересный страдалецъ, и какъ къ нему идетъ эта шляпа съ перомъ!

Конечно, не всегда говорятъ именно эти рѣчи и вообще, не всегда такъ, ко всеобщему удовольствію, выходитъ. Но обстоятельства могутъ такъ складываться, и поросенокъ это очень хорошо знаетъ...

II.

Стоитъ-ли заниматься гамлетизированными поросятами? Очень стоитъ. Въ наше время на бѣломъ свѣтѣ такъ много подлиннаго и напускного, почтеннаго и презрѣннаго страданія, что «смѣшались ташки и полѣзли изъ щелей мошки, да букашки». Если бы вся эта страшная масса страданія проистекала изъ одного и того же источника, разыгрывалась бы на одинъ и тотъ же мотивъ, то страданіе было бы дѣйствительнымъ объединяющимъ признакомъ людей нашего времени и не зачѣмъ было бы сторониться сосѣдства мошекъ и букашекъ. Пусть мошка обижена природой, пусть она бездарна и слабокрыла, но если горе ея истинно и зависитъ отъ тѣхъ же причинъ, въ которыхъ корениться страданіе существъ, одаренныхъ сильными крыльями, то почему же имъ не стоять рядомъ? Но если мошка страдаетъ отъ злобы и зависти, или если она только прикидывается страдалицей, только кокетничаетъ и рисуется, то надо же указать людямъ ея настоящее мѣсто. Это тѣмъ полезнѣе теперь, когда къ услугамъ гамлетизированныхъ поросятъ являются модныя пессимистическія теоріи, съ высоты которыхъ они могутъ съ особеннымъ удобствомъ кокетничать и ломаться. Это для нихъ новый рессурсъ. Будучи просто бездѣльниками и тряпками, они могутъ картинно «складывать на пустой груди ненужныя руки», ибо вѣдь всякому дѣлу и бездѣлью, равно какъ и всякому добру и злу, одинъ конецъ—нирвана...

Во всякомъ случаѣ, беллетристика начала заниматься гамлетизированными поросятами, и критика должна сказать свое слово объ этихъ попыткахъ. Къ числу ихъ принадлежатъ разсказы гг. Юрко и Г. О.

Намъ надо, однако, сначала сказать нѣсколько словъ о такихъ сторонахъ этихъ разсказовъ, которыя не имѣютъ никакого отношенія къ гамлетизированнымъ поросятамъ и введены авторами исключительно въ видахъ внѣшняго эффекта. Герой Fatum'а подвергается смертной казни черезъ повѣшеніе за участіе въ политическомъ преступленіи. Герой «Развязки» есть человѣкъ, «когда то, гдѣ-то и въ чемъ-то замѣшанный и потерпѣвшій таки довольно много». Но ни Сергѣй Михайловичъ (Fatum), ни Максимъ Николаевичъ Порошинъ (Развязка), по крайней мѣрѣ, въ тотъ моментъ, когда они являются передъ читателями, никакими внутренними узами не связаны съ нашими политическими преступленіями. Сергѣй Михайловичъ попадаетъ на висѣлицу совершенно случайно, не въ силу какихъ-нибудь своихъ преступныхъ политическихъ убѣжденій, а напротивъ, пожалуй, въ силу отсутствія таковыхъ. Это дѣло слѣпого fatum'а, случайнаго стеченія обстоятельствъ, а не воли Сергѣя Михайловича. Вотъ какъ съ нимъ это случилось. Жили были прекрасная

дѣвица Нина Аркадьевна и прекрасный молодой человѣкъ Сергѣй Михайловичъ. Прекрасный молодой человѣкъ объяснился однажды прекрасной дѣвицѣ въ любви, но та рипостировала, что не любитъ его. Молодой человѣкъ «стушевался», на цѣлыхъ пять лѣтъ стушевался. «Шлялся онъ всѣ эти годы такъ, зря... Съ всякимъ народомъ связывался: и съ «земцами», и съ «нѣмцами», и съ «легальными», и съ «нелегальными»... *всѣ были равны, всѣ были смѣшны*... Помнитъ онъ, дней пять назадъ, остановился онъ у знакомыхъ, на день-на два... Предупреждали даже, что мало-ли, что можетъ случиться. Но *ему было все равно, даже забавно... Такъ и не ушелъ, чисто изъ лѣни*». А между тѣмъ, въ пріютившую его квартиру явилась полиція, раздались выстрѣлы. «*Кто-то сунулъ ему револьверъ*». Онъ выстрѣлилъ, ранилъ человѣка, потомъ убѣжалъ, спустившись по водосточной трубѣ. На волѣ ему, однако, было опять-таки «все равно». «Онъ даже, въ сущности, и не скрывался, а такъ, шлялся, не предпринимая ничего, отдаваясь случаю». Но, наконецъ, онъ рѣшилъ «взглянуть на *нее*», то-есть на прекрасную Нину Аркадьевну и «потомъ умереть». Нина Аркадьевна сказала ему на этотъ разъ, что она его любитъ, но онъ отвѣтилъ, что теперь уже поздно и что онъ ея не любитъ. Впрочемъ, ему хотѣлось сказать, что онъ ее любитъ. Потомъ онъ донесъ самъ на себя, и читатели присутствуютъ при его повѣшеніи. Присутствуетъ и Нина Аркадьевна. «Вотъ онъ ищетъ взглядомъ въ толпѣ... Вѣдь онъ ее ищетъ! Хотѣлось крикнуть, пошевелиться: ни голоса, ни движенья не было... Вотъ рѣзкая дробь барабана... Она дрогнула всѣмъ тѣломъ, лицо исказилось, челюсть упала... Вотъ онъ повернулъ голову... Господи!!. Нѣтъ, увидалъ, узналъ... Ихъ глаза встрѣтились... И вдругъ это мертвенное лицо тронулось улыбкой, такой же доброй и печальной, какъ тогда—давно! Давно, безконечно давно. Въ той маленькой комнаткѣ, когда, бывало, онъ подыметъ голову отъ книги и встрѣтитъ глазами ея лицо...» Послѣ казни Сергѣя Михайловича, Нина Аркадьевна заболѣла отъ горя и умерла.

Во всемъ этомъ много неяснаго и недоговореннаго, но одно вполнѣ ясно и договорено: участіе Сергѣя Михайловича въ преступленіи есть дѣло чистой случайности, и «легальные» и «нелегальные» для него одинаково смѣшны. Что же касается героя «Развязки», то, изъ первыхъ же строкъ повѣсти, мы узнаемъ, что онъ «совершенно безучастно, развѣ лишь съ усталой ироніей относится ко всѣмъ «ликованіямъ» и «ожиданіямъ», ко всѣмъ «отрицаніямъ» и «возмущеніямъ». Авторъ почему-то утверждаетъ, что на языкѣ «салона», въ которомъ появляется въ началѣ повѣсти герой, всѣхъ плѣняя своею интересною наружностью, его слѣдовало бы назвать «ретроградомъ». Мы не знаемъ, какой это салонъ, а потому и спорить не можемъ. Но, вообще, такихъ людей никто ретроградами не зоветъ, а зовутъ то индиферентистами, то людьми, стоящими внѣ партій, то людьми, не имѣющими опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій. Какъ бы то ни было, но прошлое героя «Развязки», его участіе въ какомъ-то политическомъ дѣлѣ, рѣшительно ничѣмъ не отражается въ теченіи повѣсти. Спрашивается, была-ли какая-нибудь надобность привлекать Сергѣя Михайловича и Максима Николаевича къ участію въ политическихъ преступленіяхъ?

Когда появился романъ г. Тургенева «Новь», я выразилъ удивленіе, что романистъ, столь опытный, поставилъ въ центрѣ своего повѣствованія фигуру Нежданова. Романъ написанъ на тему современнаго движенія въ Россіи, а между тѣмъ, вниманіе читателя сосредоточивается главнымъ образомъ на человѣкѣ, невѣрующемъ въ то дѣло, которымъ онъ занимается, не имѣющемъ ни политическаго темперамента, ни фанатической преданности своимъ убѣжденіямъ, ни холодной увѣренности въ торжествѣ своихъ идей. Спору нѣтъ, Нежановы возможны вездѣ, а слѣдовательно, и въ средѣ русскихъ революціонеровъ, но, конечно, не они для этой среды характерны. Вслѣдъ за г. Тургеневымъ вотъ и гг. Юрко и Г. О. пристегиваютъ къ революціи людей, по малой мѣрѣ, столь же ей чужихъ. Они, правда, могутъ возразить, что вовсе не задаются, подобно г. Тургеневу, цѣлью нарисовать болѣе или менѣе полную, широкую картину русскаго революціоннаго броженія: они просто берутъ одинъ—Сергѣя Михайловича, другой—Максима Николаевича, случайно прикосновенныхъ къ преступной политической дѣятельности, и, полагая этихъ людей интересными, изображаютъ ихъ судьбы. Это такъ. Но, очевидно, всетаки, что наши авторы, и особенно г. Юрко, дѣлаютъ большой эстетическій промахъ. Сергѣй Михайловичъ, какъ типъ, могъ бы вполнѣ обрисоваться въ положеніи, напримѣръ, профессора, невѣрующаго въ науку, военнаго человѣка, невѣрующаго въ законность войны и т. п.; можетъ онъ, конечно, оставаться и тѣмъ, что онъ есть теперь. Но, выбирая изъ всѣхъ подходящихъ комбинацій именно эту, доводя своего героя до такого страшнаго конца, какъ смертная казнь, авторъ его этимъ самымъ концомъ совсѣмъ придавливаетъ. Сергѣй Михайловичъ, какъ типъ, или даже

просто какъ одиночный живой образъ, совсѣмъ пропадаетъ, «стушевывается» въ картинѣ смертной казни, не смотря даже на то, что она вышла у г. Юрко блѣдною, шаблонною и неправдоподобною *). Слишкомъ ужъ это большой и яркій фонъ для портрета такого маленькаго и блѣднаго человѣка, какъ Сергѣй Михайловичъ. Выходитъ какое-то эстетическое недоразумѣніе, которое, однако, отражается и за предѣлами чисто художественныхъ интересовъ. Передъ вами, собственно говоря, нѣтъ Сергѣя Михайловича. Не его фигура оставила въ васъ впечатлѣніе, а фигура человѣка, казненнаго за политическое преступленіе. Чтобы ненавидѣть или любить, презирать или уважать Сергѣя Михайловича сообразно его дѣйствительной нравственной цѣнности, надо совсѣмъ забыть о его трагическомъ концѣ и вообще обо всемъ томъ дѣлѣ, въ которомъ онъ душою вовсе не участвуетъ. И какое такое это дѣло, которое онъ дѣлаетъ безъ вѣры, безъ страсти, для насъ совершенно безразлично. Надо только помнить, что какое-то такое, все равно какое, дѣло есть.

Очевидно, мы имѣемъ передъ собой одну изъ копій Гамлета. Но какая это копія, гамлетикъ или гамлетизированный поросенокъ, къ сожалѣнію, благодаря блѣдности рисунка г. Юрко, сказать трудно. Мы знаемъ изъ внутренней жизни Сергѣя Михайловича съ полною опредѣленностью только двѣ вещи: онъ одинаково презираетъ «легальныхъ» и «нелегальныхъ» и чисто по рыцарски любитъ Нину Аркадьевну. Можно догадываться, что онъ вынесъ много разочарованій и горя, но что и какъ—неизвѣстно. Въ этомъ смыслѣ имѣется въ разсказѣ всего одно указаніе, но до такой степени блѣдное и туманное, что изъ него ровно ничего вывести нельзя. А именно, когда Сергѣй Михайловичъ, уже совершивъ свое нечаянное преступленіе, узнаетъ, что прекрасная Нина его любитъ, онъ размышляетъ такъ: «Вотъ она кровавая иронія жизни... Вотъ она — казнь!.. *Выше всего поставилъ я свое личное страданіе.* И вотъ казнь...» Далѣе опять: «Да правда... *Есть въ жизни что-то выше личнаго страданія...* Зачѣмъ же только это пришло такъ поздно?.. И что же теперь?.. Опять «все равно», *хоть бы покончить съ личнымъ страданіемъ...*» И затѣмъ въ разсказѣ нѣтъ ни одной черты, ни одного слова, которое разъясняло бы эти туманныя фразы. Къ этой блѣдности рисунка надо еще прибавить то обстоятельство, что авторъ, видимо, покровительствуетъ своему герою. Вспомните опять Нежданова въ «Нови». Не смотря на явныя симпатіи г. Тургенева къ этому человѣку, онъ воздержался, всетаки, отъ излишняго ему покровительства. Онъ, во-первыхъ, заставилъ его признать, что *онъ*, Неждановъ, плохъ, а не то, чтобы всякая дѣятельность была презрѣнна. Затѣмъ, между людьми, окружающими Нежданова, есть персонажи небольшого ума, но, во всякомъ случаѣ, презрѣнія не заслуживающіе и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ стоящіе гораздо выше Нежданова. Наконецъ, Соломинъ и Маріанна, какъ по замыслу автора, такъ и по сознанію самого Нежданова, уже безусловно выше его. Г. Юрко поступилъ иначе. У него передъ Сергѣемъ Михайловичемъ «всѣ равны», «всѣ смѣшны»: нѣмцы и земцы, легальные и нелегальные... Ничѣмъ, однако, фактическимъ такая возвышенность Сергѣя Михайловича не подтверждается. А потому и остается неизвѣстнымъ: гамлетикъ-ли онъ или же гамлетизированный поросенокъ.

Герой «Развязки», Максимъ Николаевичъ Порошинъ, гораздо опредѣленнѣе. Это уже несомнѣнный гамлетизированный поросенокъ. Объ этомъ, впрочемъ, придется, пожалуй, довольно пространный разговоръ вести, потому что авторъ старается обставить своего героя наивыгоднѣйшимъ для него образомъ, и маловнимательный читатель, пожалуй и не замѣтитъ винтообразнаго хвостика и грязной щетинки, довольно-таки явственно выглядывающихъ изъ-подъ черной бархатной одежды. Я мало знаю беллетристическихъ произведеній, авторы которыхъ были бы такъ страстно влюблены въ своихъ героевъ, и герои которыхъ такъ мало заслуживали бы подобнаго увлеченія.

Начать съ того, что г. Г. О. сообщаетъ такія подробности изъ жизни Порошина, которыя, будучи совершенно незначительными вообще, не имѣютъ ровно никакого значенія и въ повѣсти. Напримѣръ, Порошинъ ѣдетъ куда-то изъ Петербурга. Въ вокзалѣ онъ встрѣчается съ нѣкоторой Зоей, которую любитъ, которая, кажется, и его любитъ, но, кажется, и не любитъ, а можетъ быть и онъ ея не любитъ. Все это, положимъ, къ дѣлу идетъ. Но когда Порошинъ, будучи постоянно въ своемъ меланхолическомъ видѣ, не слышитъ звонка, вслѣдствіе чего долженъ провести лишнюю ночь въ Петербургѣ, въ гостинницѣ, гдѣ съ нимъ ничего, впрочемъ, любопытнаго не происходитъ, то описаніе этого эпизода можно, кажется, считать совершенно излишнимъ. Ни фабула разсказа, ни характеристика Поро-

*) Можетъ быть, для Сергѣя Михайловича и характерна та черта, что онъ и подъ висѣлицей ни о чемъ, кромѣ Нины Аркадьевны, не думаетъ, но, чтобы онъ розыскалъ ее глазами въ толпѣ, да еще улыбнулся ей тою самою улыбкой «доброй и печальной», которою онъ ей улыбался, когда они за книжкой сидѣли — это ужъ групповая фальшь.

шина ни мало отъ этого впередъ не подвигаются. Въ дорогѣ опять подобный же никчемный эпизодъ. Въ одномъ вагонѣ съ Порошинымъ ѣдетъ молодая дѣвушка съ отцомъ. Порошинъ, при мрачности своей, смущаетъ ее «длиннымъ пристальнымъ» взглядомъ «холодныхъ, мертвыхъ глазъ». Ничего опять-таки изъ этого не проистекаетъ (дѣвушка съ отцомъ выходятъ на одной изъ промежуточныхъ станцій, Порошинъ ѣдетъ дальше), но если Порошинъ опоздалъ на поѣздъ, если онъ посмотрѣлъ, чихнулъ, высморкался, то влюбленный авторъ не упускаетъ случая удѣлить этимъ событіямъ одну-другую страницу. Страницы эти всѣ сплошь проникнуты меланхоліей и мракомъ, потому что Порошинъ пьетъ, ѣстъ, чихаетъ, спитъ, говоритъ, думаетъ постоянно въ шляпѣ съ перомъ и въ черной бархатной одеждѣ, что, какъ извѣстно, очень красиво. До такой степени красиво, что разсказъ начинается такъ: въ одномъ петербургскомъ салонѣ, въ числѣ прочихъ гостей находился Максимъ Николаевичъ Порошинъ; «дамы почти всѣ находили его «эффектнымъ»; пожалуй, дамы были и правы». А оканчивается повѣсть такъ. Порошинъ застрѣливается, и священникъ, выслушавъ его предсмертную исповѣдь, удостовѣряетъ его мать: «въ раю будетъ». Если авторъ не присовокупляетъ при этомъ отъ себя: «пожалуй, священникъ былъ и правъ», то, вѣроятно, потому только, что считаетъ авторитетъ священника достаточно вѣскимъ. Такимъ образомъ, Порошинъ угодилъ и дамамъ, и Богу. Случай довольно рѣдкій, объяснимый, конечно, только рѣдкими достоинствами Порошина, каковыя и позволяютъ ему съ презрѣніемъ смотрѣть на всѣ «ликованія», «отрицанія», «ожиданія», «возмущенія» и прочую низменную житейскую дребедень. Не сразу, впрочемъ, сталъ Порошинъ на эту точку. Когда-то, «переживши періодъ юношескихъ ил люзій, онъ выработалъ себѣ извѣстный кругъ очень твердыхъ и опредѣленныхъ общественныхъ и нравственныхъ убѣжденій—въ общемъ это были убѣжденія и взгляды лучшихъ представителей русской образованности—но все это было не то. Все это было чисто разсудочное, холодное, мертвое, не то, чѣмъ можно бы было жить, дышать!»

Не знаю какъ вы, читатель, а я всегда очень скептически отношусь къ достоинствамъ людей, такъ ужъ полно презирающихъ всю эту низменную дребедень. Все мнѣ кажется, что не они выше этой жизни, которую они презираютъ, а напротивъ, эта жизнь выше ихъ. О, я очень хорошо знаю, что жизнь бываетъ иногда переполнена пошлостью и низостью, какъ тотъ стаканъ вина, объ которомъ говорится, что онъ означаетъ «полнымъ домомъ жить». Знаю также, что есть люди, имѣющіе право смотрѣть на эту жизнь сверху внизъ. Но они имѣютъ это право не иначе, какъ во имя какихъ-нибудь ликованій, отрицаній, ожиданій, возмущеній, тѣмъ или другимъ изъ этихъ путей вступая въ дѣятельныя отношенія къ жизни. Знаю, наконецъ, что былъ на свѣтѣ датскій принцъ Гамлетъ, очень крупный человѣкъ, смотрѣвшій на жизнь сверху внизъ и не вступавшій, однако, въ какія бы то ни было дѣятельныя отношенія къ ней. Но онъ несъ за это жесточайшее изъ наказаній, какія только могутъ выпасть на долю крупнаго человѣка—презрѣніе къ самому себѣ. И когда этотъ изъянъ въ нравственной физіономіи Гамлета, имъ самимъ такъ ясно сознаваемый и такъ больно ощущаемый поднимается на какой-то пьедесталъ, я отношусь къ пьедесталу съ большими сомнѣніями. Никакія завѣренія влюбленнаго человѣка, никакія ссылки его на свидѣтельства дамъ и священниковъ не могутъ сбить меня съ этой скептической позиціи. Я вѣрю, напримѣръ, автору «Развязки», что дамы находили Максима Николаевича «эффектнымъ», вѣрю, что священникъ гарантировалъ ему рай. Но дамы дамами, а если этотъ самый Максимъ Николаевичъ относится «развѣ только съ усталой ироніей» ко всѣмъ «ликованіямъ» и «возмущеніямъ», не чувствуя при этомъ презрѣнія къ себѣ, то я не вѣрю его возвышенности: какъ бы ни была пошла и низменна окружающая его жизнь, а онъ ниже ея. Конечно, въ текущій моментъ нашей бесѣды съ читателемъ такой тезисъ можетъ показаться продуктомъ вѣры и апріорныхъ соображеній. Но мы на этомъ моментѣ не собираемся останавливаться. Мы пойдемъ дальше и постараемся посмотрѣть на достоинства Максима Николаевича поближе. Къ счастію, авторъ, подобно многимъ влюбленнымъ людямъ, такъ увѣренъ въ своемъ героѣ, что проговаривается кое-чѣмъ, для насъ любопытнымъ.

Если столичныя дамы находили Порошина эффектнымъ и если, по свидѣтельству автора, «пожалуй, дамы были и правы», то дамамъ провинціальнымъ пришлось, конечно, съ его пріѣздомъ совсѣмъ плохо. Между прочимъ, онъ, совершенно противъ своего желанія, пронзилъ стрѣлою амура одну дѣвицу, которая и затащила его къ себѣ на вечеръ. Для автора получается при этомъ благодарная тема контраста, между меланхолическою возвышенностью героя и пошлостью пошлѣйшаго изъ провинціальныхъ вечеровъ: сплетни, грязь, грубость, пошлость. Герой, понятное дѣло, скучаетъ и, ходя изъ комнаты въ комнату, презрительно прислушивается и присматривается. Между про-

чимъ, онъ слышитъ такой разговоръ. Нѣкто разсказываетъ, какъ какой-то Иларіонъ Степановичъ, что называется, отбрилъ свою дочь, которая просила, чтобы онъ ее отпустилъ учиться на медицинскіе курсы. «Иларіонъ Степановичъ посмотрѣлъ этакъ на нее, да и отрѣзалъ:—ну, говоритъ, коли тебѣ, моя милая, голыхъ мужчинъ такъ посмотрѣть захотѣлось, такъ ты лучше замужъ выходи, тамъ все увидишь». Всѣ въ восторгѣ отъ этой пошлости, всѣ, кромѣ, разумѣется, Порошина, для котораго «всѣ эти разговоры, все это закорузлое хамство, все это было такое давнишнее, знакомое, обычное; все это когда-то такъ волновало, такъ раздражало, такъ мучило и мутило». Когда-то Порошинъ заглазно, по сочувствію, возмутился бы за эту дѣвушку, безвинно получившую отъ отца такое грубое оскорбленіе; вознегодовалъ бы на старика или, можетъ быть, пожалѣлъ бы его сѣдины, имъ самимъ позоримыя. Теперь не то. Теперь Порошинъ такъ высоко паритъ надъ всѣмъ этимъ, что въ облакахъ еле виднѣется его шляпа съ перомъ и черная бархатная одежда...

Мѣщанинъ Арбузовъ ведетъ Порошина на дровяной дворъ и тамъ, между прочимъ, затѣваетъ съ нимъ и съ рабочимъ Павлюкомъ полушуточный, полусерьезный разговоръ.

«— Бабъ дерутъ... И комедія, скажу вамъ... Проштрафится это баба чѣмъ-нибудь, сейчасъ на сходъ. Старики ихніе тутъ стоятъ, напримѣръ, судьи... Ну, разсудятъ—драть...

«— А она не дури, вдругъ буркнулъ Павлюкъ.

«— Не дури! строго заговорилъ Арбузовъ.—Нешто такъ можно? Примѣрно въ женскомъ полѣ и вдругъ—хвостъ на голову... Дуракъ, дубина! Стыдъ-то въ васъ есть?...

«— Мнѣ что! бормоталъ сконфуженный Павлюкъ.—Я не дралъ!

«— Я не дралъ! передразнилъ Арбузовъ. —А кто же дралъ? Изволите видѣть, обратился онъ къ Порошину:—онъ свою супругу, скажемъ, такъ—даму. И вдругъ при полномъ стеченіи народа... Тьфу...»

Дѣйствительно тьфу! Грубость и безобразіе. Любопытно бы однако было знать, какъ самъ Порошинъ относится къ тому пикантному сюжету, который затрагивается рѣчами Иларіона Степановича и Арбузова. Нѣкоторыя указанія на этотъ счетъ въ разсказѣ есть. А именно самъ Порошинъ говоритъ, что у него «въ душѣ Сикстинская мадонна и обнаженная бабенка съ аппетитными формами уживаться могутъ.. *Небо и грязь, бездну надъ собой и бездну подъ собой*». Подчеркнутыя слова имѣютъ, конечно, цѣлью поэтизировать и гамлетизировать признаніе Порошина; эти неопредѣленныя слова, намекающія на что-то большое, выдающееся, должны играть роль черной бархатной одежды. Но развѣ вы не видите, что изъ подъ нея уже выглядываетъ кончикъ винтообразнаго хвостика? Въ слѣдующихъ мечтаніяхъ Порошина хвостикъ обнаруживается уже въ полномъ размѣрѣ.

«Потомъ онъ забылся, какъ въ кошмарѣ, какіе-то образы выползаютъ, плывутъ и тотчасъ, недоконченные исчезаютъ. И все около того же. Зоя и ея мужъ... И образы циничные, грязные, и опять-таки все недоконченное и тѣмъ болѣе циничное, что недоконченное... *какая-нибудь подробность съ странной комбинаціей тѣла* (?) ярко станетъ и не уходитъ... Уйдетъ и тотчасъ же опять всплываетъ...»

Я поставилъ вопросительный знакъ послѣ «странной комбинаціей тѣла», потому что выраженіе это, въ самомъ дѣлѣ, не отличается не удобопонятностью, ни даже грамотностью. Но, въ общемъ, все-таки ясно, какая грязь и мерзость носились передъ умственнымъ окомъ Максима Николаевича, не смотря на черное бархатное облаченіе. Не и это еще только цвѣтки, а не ягодки. Максимъ Николаевичъ вспоминаетъ: «*еще во времена надеждъ и иллюзій, когда отъ живой жены, да еще на деньги этой самой жены жениться хотѣлъ*, вотъ тогда-то... еще въ саду было, яблони цвѣли... вдругъ захотѣлось тамошняго, давнишняго... флеръ-д'оранжъ, фата, цвѣты, пѣвчіе, все блеститъ, сіяетъ, а потомъ въ каретѣ домой»...

Вотъ, значитъ, каковъ былъ Максимъ Николаевичъ «еще во времена надеждъ и иллюзій». А теперь, въ моментъ разсказа, когда съ надеждами и иллюзіями покончено, онъ имѣетъ въ мысляхъ «обнаженную бабенку съ аппетитными формами» и «странныя комбинаціи тѣла». Спрашивается, выше онъ или ниже той дѣйствительно пошлой и грубой среды, въ которой вращается? Я думаю, отвѣтъ ясенъ самъ собой. Въ пошлой выходкѣ Иларіона Степановича насчетъ голыхъ мужчинъ, въ грубости мужиковъ, всенародно обнажающихъ своихъ «супругъ» для порки, нѣтъ и тѣни той гнилостно-грязной, прямо сказать, поросячьей фантазіи, которую самъ Порошинъ и авторъ тщетно стараются запахнуть полами черной бархатной одежды. «Сикстинская мадонна», «бездна подъ собой, бездна надъ собой», «флеръ-д'оранжъ, цвѣты, фата», все, вѣдь, это только обстановка, гарниръ, ни мало не измѣняющій обложенной гарниромъ сущности.

Была-ли въ этомъ гарнирѣ какая-нибудь надобность? Иначе говоря, правильно-ли г. Г. О. отнесся къ изображаемому имъ типу?

Но доскажемъ сначала содержаніе разсказа. Пріѣхавъ въ провинцію, гдѣ у него есть мать и сестра, Порошинъ все терзается. Терзается отчасти мыслями о прекрасной Зоѣ, которой онъ хотѣлъ бы положить голову на колѣна и плакать; отчасти же неизвѣстно чѣмъ. Натерзавшись, онъ вспоминаетъ, что у него есть жена, съ которой онъ не живетъ. Онъ вызываетъ къ себѣ жену, кладетъ ей голову на колѣна и плачетъ. Это, однако, оказывается недостаточнымъ для утоленія печалей Порошина, и онъ застрѣливается. Передъ смертью онъ объявляетъ женѣ, что любитъ-то всетаки Зою, а священникъ, какъ уже сказано, съ своей стороны, объясняетъ, что Максимъ Николаевичъ въ раю будетъ.

Надо замѣтить, что Порошинъ однажды собирался уже стрѣляться, но не застрѣлился. Читатель этого эпизода передъ глазами не имѣетъ. Порошинъ объ немъ только вспоминаетъ и, вспоминая, казнится: «И не застрѣлишься никогда, врешь... такіе не стрѣляются, что въ душѣ и Сикстинская мадонна и обнаженная бабенка съ аппетитными формами уживаться могутъ». Кто-нибудь, значитъ, да ошибся: либо самъ Порошинъ, который полагалъ, что «такіе не стрѣляются», либо авторъ, который заставилъ его застрѣлиться. Я думаю, что правъ Порошинъ, но всяко бываетъ, а потому мы объ этомъ разсуждать не будемъ. Во всякомъ случаѣ, «интересность» и «эффектность» самоубійства вполнѣ соотвѣтствуетъ многоразличнымъ интересностямъ и эффектностямъ, которыми авторъ обставляетъ героя, и которыя, однако, не имѣютъ никакихъ практическихъ оправданій. Такъ, въ самомъ началѣ повѣсти, объяснивъ, что дамы находили Порошина эффектнымъ и что онѣ были правы, авторъ задается вопросами: «Что наложило печать на это лицо? Безсонныя-ли ночи, проведенныя за книгами, или безсонныя оргіи съ «дамочками» неудовлетворенныхъ стремленій (?), муки-ли скорбной мысли или муки затаенной обиды и злобы, а, можетъ быть, и все это вмѣстѣ, неразрывно и органически сплетенное—кто знаетъ?»—Какъ, кто знаетъ? Авторъ знаетъ или долженъ знать. Вѣдь онъ не съ случайнаго прохожаго фотографію снималъ, а выносилъ въ душѣ образъ героя во время творческаго процесса. А мы-то, читатели, конечно, не знаемъ и даже недоумѣваемъ: причемъ тутъ безсонныя ночи, проведенныя за книгами, и скорбная мысль? Поневолѣ приходитъ въ голову, что намекъ на эти вещи пущенъ только въ видахъ интересности и эффектности, потому что въ самомъ разсказѣ нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ ни скорбной мысли, ни ночей, проведенныхъ за книгами. Оргіи съ какими-то дамочками неудовлетворенныхъ стремленій—другое дѣло. Предположенія автора на этотъ счетъ вполнѣ оправданы вышеприведенными мыслями, чувствами и поступками Порошина. Надо, однако, признаться, что г. Г. О. и этимъ фактическимъ матеріаломъ воспользовался чрезвычайно плохо. Вмѣсто того, чтобы эту дѣйствительно выдающуюся черту своего героя выдвинуть и въ разсказѣ на первый планъ, онъ отодвигаетъ ее, напротивъ, на такое разстояніе, на которомъ близорукая неоффиціальная мораль принимаетъ грязь за интересность, мерзость за эффектность. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите хоть тотъ эпизодъ, о которомъ вспоминаетъ Порошинъ: *во времена надеждъ и иллюзій*, отъ живой жены, *на ея же деньги* жениться хотѣлъ; захотѣлось подъ вѣнцомъ постоять: флеръ д'оранжъ, цвѣты, фата, пѣвчіе, карета—вотъ ради чего задумана или совершена (съ точностью сказать нельзя) вся эта многосторонняя мерзость. Это такая крупная, яркая черта, что не можетъ не быть характерною. А между тѣмъ авторъ удѣляетъ эпизоду съ женитьбой всего нѣсколько строкъ, посвящая цѣлыя страницы на описанія того, какъ герой опоздалъ на поѣздъ и какъ онъ смутилъ взглядомъ свою случайную и кратковременную спутницу въ вагонѣ. Во имя художественныхъ требованій, во имя здраваго смысла, во имя нравственной перспективы, слѣдовало бы поступить какъ разъ наоборотъ. Всякій можетъ, задумавшись, не слыхать звонка и прозѣвать поѣздъ, но отнюдь не всякій можетъ жениться отъ живой жены, на ея же деньги и проч. Остановивъ вниманіе читателя на этомъ эпизодѣ подольше, авторъ дѣйствительно освѣтилъ бы физіономію героя, отъ которой, понятное дѣло, всякій отшатнулся бы съ отвращеніемъ, ибо здѣсь есть такія черты, которыя не беретъ подъ свое покровительство никакая, самая близорукая неоффиціальная мораль. Тоже самое и въ старчески извращенныхъ мечтахъ Порошина на тему «странныхъ комбинацій тѣла». Поставьте только эти вещи яснѣе, ближе къ читателю, и никто не ошибется насчетъ ихъ истиннаго нравственнаго значенія: онѣ слишкомъ хорошо говорятъ сами за себя. Но отдалите ихъ настолько, чтобы вмѣсто яркихъ, рѣзкихъ очертаній, получилась неопредѣленная туманность, прибавьте побольше Сикстинской мадонны, бездны подъ собой и бездны надъ собой, красивыхъ или якобы красивыхъ позъ, пляпу съ перомъ, скорбную мысль и проч., и многіе непроницательные люди не замѣтятъ грязной щетины и винтообразнаго хвоста.

Читатель замѣтитъ, можетъ быть, что Максимъ Николаевичъ, во всякомъ случаѣ, тер-

зается, казнится, бичуетъ себя. Еще бы! Гамлетизированный поросенокъ не можетъ обойтисъ безъ этой спеціальной стороны подражанія Гамлету. Но я уже обращалъ ваше вниманіе на разницу между пріемами искренняго, страстнаго самобичеванія Гамлета и тѣми поддѣльными бичами, которыми нѣжно покалачиваютъ себя гамлетизированные поросята. Порошинъ болтаетъ, правда, что-то объ томъ, что у него «душа истлѣла», сгнила, однако, при сопутствующихъ эффектностяхъ—это выходитъ очень кокетливо. А тотъ пунктъ, который такъ мучилъ Гамлета—бездѣльничество, неспособность страстно относиться къ дѣлу—составляетъ для поросенка, напротивъ, предметъ гордости: онъ бездѣльникъ отнюдь не потому, что онъ тряпка, нѣтъ, онъ просто выше всѣхъ «ликованій», «возмущеній», «отрицаній»; для него, какъ и для героя Fatum'a, «нѣмцы и земцы, легальные и нелегальные, всѣ равны, всѣ смѣшны». За то онъ очень непрочь покаяться въ такихъ вещахъ, которыя хотя и предосудительны съ точки зрѣнія официальной морали, но моралью неоффиціальною одобряются. Вотъ предсмертная исповѣдь Порошина: «Противъ всѣхъ заповѣдей грѣшенъ, говорилъ онъ съ горькою улыбкой:—и боговъ у меня много было, и кумировъ себѣ создавалъ, и жену ближняго желалъ...» И только. Вы видите, что этотъ человѣкъ на порогѣ смерти, съ раной въ груди, все еще наровитъ изъ себя конфетку сдѣлать, а не то, чтобы отхлестать себя истинно, по гамлетовски. Хлестать, кажется, есть за что, но умирающій поросенокъ предпочитаетъ краткую и, такъ сказать, аллегорическую исповѣдь, съ ясностью напирая только на одинъ пунктъ: жену ближняго желалъ. Понятное дѣло, что тѣ дамы, которыя и при жизни находили его эффектнымъ, должны теперь проливать ручьи слезъ и говорить: ахъ, какой интересный страдалецъ умеръ! Соотвѣтственные же мужчины скажутъ: дуракъ, что застрѣлился, а все-таки молодчина былъ покойникъ, маху не давалъ и игривыя мысли имѣлъ!

Очевидно, совсѣмъ не такъ долженъ быть сервированъ гамлетизированный поросенокъ. Передъ г. Г. О. мелькала правильная постановка избранной имъ темы, но онъ испортилъ все дѣло пристрастіемъ къ герою; пристрастіемъ, которое побудило его расположить и освѣтить свой матеріалъ несоотвѣтственно художественной и жизненной правдѣ. Пусть поросенокъ стремится подъ тѣнь Гамлета, пусть онъ въ мечтахъ своихъ даже перепрыгиваетъ Гамлета, объясняя свое бездѣльничество и тряпичность своею возвышенностью; пусть, наконецъ, кое-кто изъ зрителей вѣритъ, что передъ нимъ точное подобіе интереснаго датскаго принца. Но художникъ-то ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть въ числѣ этихъ близорукихъ зрителей. Онъ долженъ видѣть, что передъ нимъ поросенокъ, напялившій на себя шляпу съ перомъ и черную бархатную одежду, изъ подъ которой, однако, выглядываетъ вздрагивающій винтообразный хвостикъ и слышится хрюканье, тщетно старающееся воспроизвести слова: я датскій принцъ Гамлетъ! Быть или не быть, вотъ въ чемъ вопросъ! Для Гамлета это былъ вопросъ. Для поросенка же вопросъ совсѣмъ не въ этомъ, а въ гамлетизаціи, въ кокетничаньи. И какъ заправская кокетка прилаживается ко всѣмъ изгибамъ вкусовъ и требованій тѣхъ, передъ кѣмъ она кокетничаетъ, такъ прилаживается и гамлетизированный поросенокъ. Эту сторону художникъ непремѣнно долженъ показать. Гамлетизированный поросенокъ можетъ быть въ томъ или другомъ смыслѣ «эффектнымъ» или не эффектнымъ, но главное-то дѣло въ томъ, что онъ хочетъ, старается быть эффектнымъ. И художникъ никоимъ образомъ не долженъ покровительствовать этимъ его стараніямъ. Весьма мало вѣроятно, чтобы старанія поросенка всегда увѣнчивались успѣхомъ. Сегодня, здѣсь ему удалось и никто его грязной щетинки и копытцевъ не замѣтилъ; завтра, въ другомъ мѣстѣ не удалось. Въ послѣднемъ случаѣ, въ поросенкѣ должны заговорить чувства злобы и обиды, на которыя есть только слабый и двусмысленный намекъ въ разсказѣ г. Г. О. А именно, задавъ себѣ торжественный вопросъ: «что положило печать на лицо» поросенка? авторъ предполагаетъ, что тутъ участвовали «скорбная мысль и безсонныя ночи за книгами», оргіи съ «дамочками» и, можетъ быть, «муки затаенной обиды и злобы». Между тѣмъ, въ самомъ разсказѣ нѣтъ никакихъ слѣдовъ этихъ естественныхъ въ положеніи поросенка чувствъ, почему священникъ и отправляетъ его прямо въ рай. Насчетъ загробной жизни намъ ничего неизвѣстно, и, конечно, дай Богъ всѣмъ въ раю быть. Но въ нашей земной юдоли поросенокъ вовсе не заслуживаетъ тѣхъ благожелательныхъ и почти благоговѣйныхъ чувствъ, какія питаетъ къ нему авторъ. Если наша беллетристика не остановится на попыткахъ гг. Юрко и Г. О., то ей предстоитъ сдѣлать изъ гамлетизированнаго поросенка фигуру, отчасти комическую, отчасти грязную. Во всякомъ случаѣ, такія эффектныя заключенія, какъ самоубійство и особенно смертная казнь, надо предоставить другимъ персонажамъ. Фактически, конечно, для Сергѣя Михайловича и Максима Николаевича возможны тѣ именно концы, къ которымъ привели

ихъ авторы. Но это дѣло сцѣпленія случайныхъ обстоятельствъ и вовсе не вытекаетъ изъ типичныхъ чертъ героевъ. Единственная трагическая черта, которою можно, не измѣняя художественной правдѣ, осложнить ихъ смерть, это дегамлетизація, сознаніе въ торжественную минуту смерти, что Гамлетъ самъ по себѣ, а поросенокъ тоже самъ по себѣ.

Письма посторонняго въ редакцію Отечественныхъ Записокъ.

I *).

Милостивые государи!

Будучи человѣкомъ постороннимъ, я, однако, очень люблю литературу. Нѣтъ—«люблю» не совсѣмъ подходящее слово, по крайней мѣрѣ, недостаточно опредѣлительное. Я люблю литературу, какъ единственный органъ выраженія русской мысли, достаточно громкій, чтобы его слышно было на сѣверѣ и югѣ, на востокѣ и западѣ; памятуя, какой свѣтъ литература вносила и вноситъ въ нашу бѣдную, сѣрую, ниже травы ползущую, тише воды текущую жизнь; болѣю сердцемъ, когда этотъ единственный органъ русской мысли звучитъ хрипло и сдавленно, ненавижу ту струю въ литературѣ, которая, по глупой слѣпотѣ или по слѣпой злобѣ, самоубійственно замахивается на свободу печатнаго слова и кричитъ: «держи! лови! гони! бей!»; ненавижу и ту, другую струю, которая несетъ незнамо что, незнамо зачѣмъ, сегодня одно, завтра другое, и своимъ преступнымъ легкомыслiемъ или легкомысленною преступностью позоритъ священное знамя литературы; благоговѣю передъ памятью тѣхъ, кто несъ это знамя до конца; могу понимать всѣ оттѣнки печали и злобы, надеждъ и разочарованій, торжества и отчаянія, какія встрѣчаютъ люди, идущіе по этому великому, по тернистому пути... Вотъ изъ чего слагается моя «любовь» къ литературѣ. Конечно, это слишкомъ мало для права надоѣдать вамъ своими письмами. Конечно, и того мало, что вашъ журналъ представляется мнѣ, изъ наличныхъ органовъ печати, наиболѣе удовлетворяющимъ требованіямъ, которыя, по моему, могутъ быть поставлены литературѣ. Говоря это, я вовсе не льщу вамъ и не собираюсь льстить. Вы убѣдитесь въ томъ, если не въ этотъ разъ, то въ одинъ изъ слѣдующихъ. Во всякомъ случаѣ, ваше дѣло предавать мои письма тисненію или, напротивъ того, сожженію. Мнѣ будетъ, разумѣется, огорчительно, если вы ихъ жечь станете. Да, вѣдь, мало-ли что иногда и самому сжигать приходится... Притомъ же, я человѣкъ посторонній, времени у меня вдоволь—все равно, куда же мнѣ его дѣвать? Ходи себѣ изъ угла въ уголъ или думай, думай, думай всю безсонную ночь напролетъ. Не подумайте, однако, что это очень веселое занятіе. А впрочемъ, дѣло не въ томъ. Довольно предисловій и рекомендацій. Приступимъ къ предмету настоящаго письма.

Въ библіографическомъ отдѣлѣ одного изъ послѣднихъ номеровъ вашего журнала за прошлый годъ, была выражена (по поводу произведеній г. Окрейца и кн. Мещерскаго) мимоходомъ мысль, заслуживающая, мнѣ кажется, болѣе подробнаго развитія. Авторъ библіографической замѣтки говоритъ о томъ любопытномъ явленіи, что враги и обличители, такъ называемаго, отрицательнаго направленія въ литературѣ, сами этимъ отрицательнымъ направленіемъ заражены до мозга костей; бичуя своихъ противниковъ за якобы излишнюю мрачность ихъ образовъ и картинъ текущей русской дѣйствительности, сами рисуютъ эту дѣйствительность красками мрачнѣйшими. Вотъ на это-то тему и позвольте мнѣ для перваго раза побесѣдовать.

Сначала соберемъ документы.

Въ № 6 «Русскаго Вѣстника» (1882 г.) въ статейкѣ о книгѣ г. Бѣляева «Воспоминанія декабриста», между прочимъ, напечатано:

«Въ *Воспоминаніяхъ декабриста* проходитъ передъ читателемъ длинная галлерея живыхъ лицъ, съ которыми авторъ на пространствѣ почти полувѣка встрѣчался и состоялъ въ прямыхъ и близкихъ отношеніяхъ, начиная съ высшихъ сановниковъ государства и кончая рабочими изъ «поселенцевъ» въ какомъ-нибудь городѣ Мину-

*) 1883, январь.

синскѣ—и все это *хорошіе* люди въ полномъ значеніи этого слова... Какъ далеко это отъ тѣхъ «облитыхъ горечью и злостью» изображеній русскаго человѣка на всѣхъ ступеняхъ нашей общественной іерархіи, которыми, словно кичась ими и любуясь на нихъ мерзость и карикатурность, такъ изобилуетъ современная наша печать! Невольно въ умѣ возникаетъ вопросъ: неужели такимъ кореннымъ образомъ могло въ какія-нибудь тридцать лѣтъ измѣниться все лицо земли нашей, что и слѣда не осталось въ ея обитателяхъ тѣхъ качествъ «идеальной симпатичности и чудной доброты», о которыхъ съ такимъ восторженнымъ умиленіемъ душевнымъ свидѣтельствуетъ человѣкъ, имѣвшій, какъ выражается онъ, «счастіе не разъ и не два» въ теченіи своей тюремной и изгнаннической жизни убѣдиться на дѣлѣ, какъ вообще присущи эти нравственныя качества нравственной природѣ русскаго человѣка? Но мы внали бы въ большое заблужденіе, еслибы приняли такое предположеніе за дѣйствительность. «Хорошіе люди, слава Богу, не перевелись на Руси и нынѣ. Но свѣтлыя стороны души раскрываются лишь передъ тѣмъ, кто самъ вѣрою въ *человѣка* вызываетъ сочувственный откликъ въ каждомъ, не утерявшемъ образъ Божій человѣческомъ существѣ. А, конечно, не этотъ божественный образъ отыскиваютъ въ наши дни въ душѣ своихъ соотечественниковъ—да и едва ли признаютъ самую необходимость такового—извѣстные «этнографы» и «народники» *Вѣстника Европы* и *Отечественныхъ Записокъ*, съ авторомъ *Писемъ къ тетенькѣ* во главѣ своей».

И далѣе:

«Повсюду въ этихъ дальнихъ углахъ Сибири, какъ было уже упомянуто нами, изгнанникъ «имѣлъ счастіе» встрѣчать прекрасныхъ, честныхъ, деликатныхъ людей, изъ которыхъ нѣкоторые отличались дѣйствительно «идеальными добродѣтелями». Пусть прочтетъ читатель объ отцѣ Петрѣ, напримѣръ, священникѣ одной церкви, къ которой приписанъ былъ Илгинскій заводъ, о старикѣ поселенцѣ со старушкой женой... о сосланной въ работы на тотъ же заводъ полковницѣ Полянской... Какъ мало походятъ рисуемые авторомъ живые портреты минусинскихъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, которыхъ считаетъ онъ долгомъ помянуть добрымъ словомъ за то участіе и ту пріязнь, какую всѣ они оказывали ему и брату во все время ихъ пребыванія тамъ—на грубо-карикатурныхъ «помпадуровъ» и чиновныхъ циниковъ господина Щедрина! Какъ далеки фотографическіе снимки, снятые нашимъ декабристомъ съ лицъ простого званія, съ которыми приходилось ему по разнымъ занятіямъ его въ Сибири находиться въ ближайшихъ сношеніяхъ, отъ тѣхъ полускотовъ и идіотовъ, какими малюютъ намъ русскаго рабочаго, русскаго пахаря Рѣшетниковы, Успенскіе e tutti quanti... Какъ въ Вандиковыхъ портретахъ вы чувствуете въ каждой фигурѣ доброе отношеніе къ ней самого художника, такъ и здѣсь сказывается прежде всего то глубокое христіанское доброе расположеніе, съ которымъ повѣствователь относится къ каждому, вступающему съ нимъ въ сношеніе человѣческому существу, и неотразимое, какъ бы чисто инстинктивно вырывающееся у него изъ души, стремленіе отыскать въ этомъ существѣ его свѣтлую духовную сторону... Еслибы кому-либо понадобилось *примиреніе* съ Россіей, съ нашимъ столь оклеветаннымъ, оплеваннымъ за послѣдніе годы *человѣчествомъ*, мы бы посовѣтовали ему познакомиться съ этими воспоминаніями человѣка, не подкупленнаго, конечно, жизненною долею смотрѣть на близко видѣнную имъ родную дѣйствительность въ розовыя очки»...

Милостивые государи! вамъ хорошо знакомы эти трогательныя рѣчи, вы ихъ много разъ слыхали; и вы, и ваши отцы и, можетъ быть, даже дѣды. Во всякомъ случаѣ, со времени Гоголя эти упреки не измѣнились ни на волосъ, ни по сущности своей, ни даже по формѣ. Господамъ критикамъ «Русскаго Вѣстника», «Московскихъ Вѣдомостей» и прочихъ пристанищъ благородства и любви къ отечеству нѣтъ никакой надобности ломать себѣ головы надъ изобрѣтеніемъ новыхъ аргументовъ. Имъ стоитъ только, въ случаѣ надобности, заглянуть въ тѣ изъ старыхъ журналовъ, которые въ свое время тоже были Ноевыми ковчегами, гдѣ отъ всеобщаго потопа спасались чистыя (а впрочемъ, и нечистыя) животныя; заглянуть и выписать оттуда то, что писалось о «Мертвыхъ душахъ» или «Ревизорѣ». Столь прочны традиціи идей истиннаго благородства! Кругомъ бушуетъ разсвирѣпѣвшій океанъ, хлещутъ волны, исчезаютъ берега, а Ноевъ ковчегъ все носится по волнамъ и все тѣ же звуки издаютъ населяющія его отборныя животныя; и прежде каркали, ревѣли, пищали, лаяли, и теперь каркаютъ, ревутъ, пищатъ, лаютъ...

Воздавъ должную дань удивленія этой непоколебимости обитателей Ноева ковчега, позвольте обратить ваше вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Критикъ «Русскаго Вѣстника» отсылаетъ тѣхъ, кому нужно «примиреніе съ Россіей», «съ оплеваннымъ за послѣдніе годы русскимъ человѣчествомъ», къ запискамъ г. Бѣляева. Но, вѣдь, записки г. Бѣляева представляютъ явленіе совершенно случайное. Г. Бѣляевъ, доживъ до весьма преклоннаго возраста, вздумалъ написать свои мемуары. Никто не могъ этого ни ожидать, ни тѣмъ паче требовать. Еслибы г. Бѣляевъ просто на печи лежалъ или грѣлся подъ лѣтнимъ солнышкомъ, гдѣ-нибудь на заваленкѣ, вмѣсто того, чтобы писать книжки, такъ это было бы вполнѣ естественно. Неужели же эта случайность представляетъ такой исключительный оазисъ въ пустынѣ русской литературы, что только тамъ и можно найти примиреніе съ оклеветаннымъ русскимъ человѣчествомъ? Полагаете-ли вы, милостивые государи, что участь русскаго человѣчества была бы дѣйствительно столь безпомощно ужасна, еслибы г. Бѣляетъ лежалъ на печкѣ? Я не полагаю, ибо на то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ; на то и Ноевъ ковчегъ въ русской литературѣ, чтобы хранить преданія благородства и рисовать умилительные образы и картины текущей русской дѣй-

ствительности. Критикъ «Русскаго Вѣстника» долженъ былъ, конечно, отмѣтить въ книгѣ г. Бѣляева то, что онъ считаетъ ея достоинствами, но за примиреніемъ съ оклеветаннымъ русскимъ человѣчествомъ ему надлежало отсылать читателей не къ такому случайному литературному явленію, а къ какой-нибудь постоянной, организованной проповѣди добра и правды, и прежде всего, конечно, къ «Русскому Вѣстнику» и «Московскимъ Вѣдомостямъ». Тамъ навѣрное собраны массы перловъ и адамантовъ русской добродѣтели, ибо, вѣдь, тамъ нѣтъ такихъ «клеветниковъ Россіи», какъ гг. Щедринъ, Успенскій, Рѣшетниковъ. Тамъ «отыскиваютъ божественный образъ въ душѣ своихъ соотечественниковъ», тамъ «съ христіанскимъ добрымъ расположеніемъ относятся къ каждому человѣческому существу». О, тамъ должно быть очень хорошо...

Однако, критикъ «Русскаго Вѣстника» не посылаетъ туда читателей за примиреніемъ съ оклеветаннымъ русскимъ человѣчествомъ: идите, говоритъ, вотъ къ этому почтенному старичку, который могъ бы безпрепятственно на солнышкѣ грѣться, вмѣсто того, чтобы писать книжки. И критикъ «Русскаго Вѣстника» зналъ, что онъ дѣлалъ, по крайней мѣрѣ, на столько же, насколько кошка знаетъ, чье она мясо съѣла.

Въ доброе старое время обитатели Ноева ковчега не ограничивались простымъ каркань емъ, ревомъ, пискомъ и лаемъ объ исчезновеніи всего добраго въ волнахъ всемірнаго потопа. По мѣрѣ своихъ скромныхъ силъ (силы ихъ были всегда скромны), они противопоставляли мрачностямъ потопа идиліи и пасторали, героическіе и свѣтлые портреты и картины изъ русской дѣйствительности. Все это было очень аляповато фальшиво, деревянно и болѣе на кукольную комедію походило, чѣмъ на настоящую литературу.

Но творцы, участники, попустители и пристанодержатели этой кукольной литературы не имѣли, по крайней мѣрѣ, надобности отсылать своихъ читателей къ случайнымъ явленіямъ въ родѣ мемуаровъ почтеннаго старичка. Они сами старались «отыскивать божественный образъ въ душѣ соотечественниковъ»; сами рисовали тѣ Вандиковы портреты, въ которыхъ «чуствуется доброе отношеніе художника».

Вы понимаете, что не въ серьезъ, а лишь изъ подражанія критику «Русскаго Вѣстника» сравниваю я тѣхъ жалкихъ и всѣми заслуженно забытыхъ писакъ съ Вандикомъ. Они были бездарны, во-первыхъ, они лгали, во-вторыхъ, они были «сочинители въ смѣшномъ смыслѣ этого слова, они сочиняли княгиню Свѣтозарову, которой, будто бы, эта пышная кличка приходится какъ разъ по шерсти и которая не только не бьетъ своихъ дѣвокъ по щекамъ, приготовляясь къ балу, но, напротивъ того, сіяетъ алмазною кротостью и жемчужною добродѣтелью. Они сочиняли градоправителя Честнова, невинность котораго не вмѣщаетъ даже понятія о взяткахъ или насиліи. Мало ли что они еще сочиняли. Но когда они каркали, напримѣръ, про Сквозника - Дмухановскаго, они могли, по крайней мѣрѣ, съ чистою совѣстью, выдвинуть впередъ своего Честнова: дескать, вы, такіе сякіе, измѣнили отечеству, не умѣете отыскивать божественный образъ соотечественниковъ, а мы умѣемъ...

По нынѣшнему времени, эта операція вытанцовываться не можетъ, и вотъ почему «Русскій Вѣстникъ» не изъ собственныхъ нѣдръ Вандиковы портреты почерпаетъ, а отсылаетъ за ними къ прохожему старцу.

Въ каждой книжкѣ «Русскаго Вѣстника» (издревле ужь такъ заведено) помѣщается по кусочку двухъ невообразимо длинныхъ романовъ, живописующихъ злобу дня. Обыкновенно это бываютъ романы гг. Маркевича и Авсѣенко. Въ истекшемъ году г. Маркевича замѣнилъ, безъ ущерба, но и безъ выгоды для журнала, г. Орловскій съ романомъ «Внѣ колеи». Г.-же Авсѣенко держится изреченія: j'y suis et j'y reste, вслѣдствіе чего его «Злой духъ» непоколебимо тянулся весь годъ и все таки не кончался. Давно уже было замѣчено критикой, что романы этой школы стремятся копировать «Войну и миръ» и особенно «Анну Каренину» Льва Толстого. Замѣчаніе вѣрное, но эта чисто внѣшняя черта беллетристики, украшающей страницы московскаго журнала, не заслуживаетъ большого вниманія.

Во всякомъ случаѣ, романы «Русскаго Вѣстника» для насъ гораздо интереснѣе съ точки зрѣнія галлереи Вандиковыхъ портретовъ. Вотъ, напримѣръ, романъ г. Орловскаго. Это исторія злоключеній Димитрія Алексѣевича Корецкаго, блещущаго всѣми достоинствами, какія только можно найти въ словаряхъ. Онъ и уменъ, и благороденъ, и смѣлъ, и силенъ, и находчивъ, все, что хотите. Это, однако, не дѣлаетъ г. Орловскаго Вандикомъ, потому что гора достинствъ совершенно закрываетъ Корецкаго отъ глазъ читателей. Но, всетаки, г. Орловскій могъ бы, по крайней мѣрѣ, попользованіе имѣть съ позволенія сказать, утереть этимъ блистательнымъ помѣщикомъ носъ тѣмъ клеветникамъ Россіи, которые рисуютъ Ноздревыхъ, Сабакевичей, Маниловыхъ, Коробочекъ. Но одна ласточка весны не дѣлаетъ и одинъ въ полѣ не воинъ; а злоключенія блистательнаго Корецкаго въ томъ именно и состоятъ или, по крайней мѣрѣ, отъ того зависятъ, что онъ одинъ, едва-

ственный, какъ глазъ циклопа, какъ дѣйствующее лицо монгола. Этотъ человѣкъ сталкивается съ русскими людьми самыхъ разнообразныхъ званій и положеній, но онъ далеко не такъ счастливъ (или г. Орловскій не такъ похожъ на Вандика), какъ г. Бѣляевъ. Напримѣръ, бывшему декабристу встрѣчались все прекрасные экземпляры «русскаго рабочаго, русскаго пахаря». Корецкій же, при всемъ своемъ благородствѣ, находится въ постоянныхъ неладахъ съ крестьянами, и эти его отношенія разыгрываются, въ концѣ концовъ, такъ, что крестьяне поджигаютъ господскій хлѣбъ и усадьбу. По этому поводу онъ размышляетъ такъ: «Да, не легко будетъ матери перенести это, и, конечно, не ради однихъ только матеріальныхъ убытковъ. Всего хуже для нея то, что подожгли Бѣлостолбовскіе мужики, тѣ самые, съ которыми она столько лѣтъ мирно жила, сохраняя надъ ними, какъ ей казалось, какую-то патріархальную власть даже и при новыхъ порядкахъ. И теперь съ этою давнишнею мечтой дружбы и лада приходилось разстаться». Вотъ вамъ для перваго раза не «божественный образъ въ душѣ соотечественниковъ», а напротивъ того, черная неблагородность и злоба. И въ такомъ же родѣ на всѣхъ ступеняхъ, во всѣхъ видахъ «нашего столь оклеветаннаго, оплеваннаго за послѣдніе годы человѣчества». О «нигилистахъ» и говорить нечего: кромѣ обычныхъ своихъ преступленій, они погубили невѣсту Корецкаго. Но вотъ, напримѣръ, чиновники. Г. Бѣляеву «минусинскіе чиновники разныхъ вѣдомствъ» оказывали участіе и пріязнь, за что онъ ихъ и поминаетъ добрымъ словомъ. Корецкій же иначе, какъ лихомъ, ихъ поминать не можетъ. Порокуроръ оказывается совершенныхъ негодяемъ, жестоко мстящимъ Корецкому и его невѣстѣ изъ-за оскорбленаго самолюбія и отвергнутой любви; жандармскій штабъ-офицеръ держитъ сторону зла; губернаторъ—тряпка, «главный начальникъ края» недостаточно внимателенъ и не понимаетъ дѣла; представители вышей петербурской администраціи интригуютъ, либеральничаютъ, преслѣдуютъ Корецкаго, даже ссылаютъ или высылаютъ его, хранителя здравыхъ консервативныхъ началъ и истинной любви къ отечеству! Земскіе люди опять же интригуютъ, безпокоятся только о жалованьи да объ обдѣлываніи своихъ карманныхъ дѣлишекъ вообще, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, до такой степени либерально глупы, что сочиняютъ на земскомъ собраніи сочувственный адресъ «великому гражданину великой націи», Леону Гамбеттѣ! И вотъ жизненный итогъ, который Корецкій предъявляетъ любимой женщинѣ: «я, кажется, ни отъ какой работы не сторонился, и на службѣ, у себя дома, и по земству, и что же изъ этого вышло? Въ министерствѣ воду толкли, а когда я изъ него вышелъ, чтобъ не толочь воды, меня же родной дядюшка неблагонамѣреннымъ отмѣтилъ, мужики усадьбу подожгли и мать довели до гроба, а въ земствѣ... да просто вспоминать тошно! И въ концѣ концовъ, за то, что я какого-то мошенника уличилъ, обыскъ у меня сдѣлали, и тебя, мою невѣсту, изъ-за гадкихъ, низкихъ страстишекъ полтора года безъ вины въ тюрьмѣ продержали!.. Нѣтъ! я свою дань разомъ заплатилъ, съ меня будетъ». А такъ какъ вскорѣ послѣ этого признанія жена Корецкого умела, то романъ оканчивается отъѣздомъ героя въ Италію. Ахъ! Зачѣмъ онъ не познакомился съ мемуарами г. Бѣляева?! Тамъ онъ нашелъ бы «примиреніе съ Россіей, съ нашимъ столь оклеветаннымъ, оплеваннымъ за послѣдніе годы человѣчествомъ». Онъ узналъ бы, что минусинскіе чиновники разныхъ вѣдомствъ и многіе, многіе другіе соотечественники носятъ въ душѣ своей божественный образъ. И не уѣхалъ бы блистательный Корецкій изъ Россіи...

Однако, что съ возу упало, то пропало: нѣтъ среди насъ Корецкаго, и не читалъ онъ мемуаровъ г. Бѣляева. Ну, и Богъ съ нимъ, нехай ему въ Италіи легко живется. Но вы понимаете теперь, почему критикъ «Русскаго Вѣстника» рекомендуетъ искать примиренія у лежащаго старичка, а не въ нѣдрахъ своего журнала: въ этихъ нѣдрахъ нѣтъ Вандиковыхъ портретовъ; нѣтъ «того глубокаго христіанскаго добраго расположенія, съ которымъ повѣствователь (старичокъ-то) относится къ каждому, вступающему съ нимъ въ сношеніе человѣческому существу», нѣтъ «стремленія отыскать въ этомъ существѣ его свѣтлую духовную сторону». Я взялъ романъ г. Орловскаго, но такіе же результаты получились бы, еслибы мы вздумали искать Вандиковыхъ портретовъ въ «Зломъ духѣ» г. Авсѣенки. Только это такъ длинно и скучно, что я увольняю себя отъ этой работы. Посмотрите сами, если хотите, и увидите коллекцію глупцовъ и негодяевъ безо всякаго божественнаго образа, а Вандиковыхъ портретовъ не найдете. Отчего же ихъ нѣтъ? Критикъ «Русскаго Вѣстника» удостовѣряетъ, что соотвѣтственные оригиналы существуютъ, что не оскудѣла русская земля минусинскими чиновниками разныхъ вѣдомствъ, русскими пахарями и другими, носящими въ душѣ своей божественный образъ. Значитъ, «Русскій Вѣстникъ» не хочетъ или не можетъ давать примиреніе съ Россіей, не хочетъ или не можетъ не клеветать и не плевать на русское человѣчество... Да, не хочетъ и не можетъ. Но ключа къ этой загадкѣ надо искать не въ призведеніяхъ гг. Орловскаго, Авсѣенки и имъ подобныхъ.

Ключа надо искать въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Впрочемъ, теперь уже нѣтъ надобности рыться въ листахъ почтенной газеты, благодаря одному техническому нововведенію г. Каткова: съ іюня мѣсяца онъ перепечатываетъ передовыя статьи «Московскихъ Вѣдомостей» въ приложеніи къ «Русскому Вѣстнику» подъ общимъ заглавіемъ «Современная лѣтопись». Мы имѣемъ, такимъ образомъ, ключъ рядомъ съ замкомъ. Съ вашего позволенія, я прямо укажу на ключъ. Дѣло въ томъ, что г. Катковъ желаетъ быть, подобно Корецкому, однимъ, единственнымъ, какъ глазъ циклопа, какъ дѣйствующее лицо монолога. Но, понятно, что онъ пріятомъ вовсе не хочетъ подвергаться поджогамъ, обыскамъ, высылкамъ и другимъ непріятностямъ, какія выпали на долю блистательнаго героя романа г. Орловскаго. Напротивъ того, онъ предпочитаетъ самъ быть дѣйствующимъ лицомъ. Ясно, что для этого надо, съ одной стороны, превозвысить себя, а съ другой, оклеветать и оплевать всю Россію; оплевать не то или другое преходящее явленіе, самая преходящесть котораго оставляла бы хотя въ далекой дали лучъ надежды, свѣтъ утренней зари; нѣтъ, надо оплевать не феноменъ, какъ говорятъ философы, а муменъ, самую душу вещей или, что тоже, изъять изъ обращенія тотъ «божественный образъ», котораго, конечно, и русскій человѣкъ не лишенъ: и его, вѣдь, мать родила...

Чтобы покончить съ беллетристикой и литературной критикой «Русскаго Вѣстника» и болѣе уже къ нимъ не возвращаться, допустите на минуту, условно,что мое предположеніе насчетъ интимной духовной потребности московскаго глаза циклопа справедливо, доказано, и вамъ уяснится многое. При этомъ условіи съ другихъ, конечно, можно требовать Вандиковыхъ портретовъ и умилительныхъ картинъ изъ текущей русской дѣйствительности, можно восхищаться мемуарами г. Бѣляева, дабы бить ими измѣнниковъ и клевтниковъ... Но самому вовсе не обязательно рисовать розовыя картинки. Напротивъ, чѣмъ хуже,тѣмъ лучше, чѣмъ оплеваннѣе предстанетъ русское человѣчество въ романахъ «Русскаго Вѣстника», тѣмъ драгоцѣннѣе глазъ циклопа, единственный, за всѣмъ блюдущій, тѣмъ яснѣе его права на монологъ. Простые смертные должны, конечно, сводить концы съ концами, избѣгать противорѣчій, давать хоть сколько-нибудь такого, чего они сами отъ другихъ требуютъ. Но для «единственнаго» это совсѣмъ не нужно. Онъ внѣ времени и пространства, внѣ условій логики, здраваго смысла, приличія, нравственныхъ требованій, политическаго такта. Его формула вселенной есть основная формула нѣмецкой философіи: я и не-я. И «я» плюетъ на «не-я»... Одну часть этой патріотической операціи исполняютъ уполномоченные беллетристическіе dii minores, Орловскіе, Авсѣенки, Маркевичи, усердно оплевывая минусинскихъ и другихъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, русскихъ пахарей, представителей администраціи, суда, печати и проч. Другую часть операціи исполняетъ критика, предавая анаѳемѣ всѣхъ, сомнѣвающихся въ достоинствахъ минусинскихъ чиновниковъ и проч. Наконецъ, центральный пунктъ всего предпріятія находится въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»...

Г. Катковъ высоко держитъ знамя русской литературы. Своеобразно, но высоко. Онъ утверждаетъ, напримѣръ, что намъ не нужно политическихъ правъ, потому что «у насъ есть политическія обязанности, а это больше. Въ обязанностяхъ уже заключаются права, обязанности неотлучно сопровождаются правами. Что намъ въ обязанность поставлено, на то намъ, конечно, и право дано» («Московскія Вѣдомости» отъ 11-го мая, «Русскій Вѣстникъ» № 6). Это общее правило относится и къ литературѣ. «Но служить въ печати государству—дѣло не легкое. Какъ разъ столкнешься съ интересами, которые пользуются привилегіями власти, но не всегда правдиво и честно къ ней относятся, не всегда служатъ ей должнымъ образомъ, не всегда бываютъ способны понимать и исполнять ея требованія, и нерѣдко вредятъ ея дѣлу, вмѣсто того, чтобы служить ему. Если общественное слово видитъ это, то оно обязано сказать; оно измѣнитъ своему долгу, оно поступитъ нечестно, оно поступитъ подло, если не скажетъ».

Итакъ, впередъ, господа литераторы! Помните, что вы обязаны и имѣете право говорить правду по силѣ своего разумѣнія и не взирая на лица, помните, что вы поступите *подло*, если промолчите при видѣ какихъ-либо злоупотребленій или непорядковъ. Литература, mein Liebchen, was willst du noch mehr?! Здѣсь всѣ Diamanten und Perlen, здѣсь alles was Menschen begehren, здѣсь—законъ и пророки свободнаго слова... Но увы! не сбѣгаютъ отъ этихъ вѣсскихъ словъ слезы съ очей моей Liebchen, не выпрямляется гордо ея станъ, не раздвигаются ея хмурыя брови. Она знаетъ, что право, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, есть совсѣмъ особенное право, не предусмотрѣнное никакимъ кодексомъ и никакою юридическою системою, что это—право монолога г. Каткова.

Вѣсскія слова о подлости молчанія были написаны 11-го мая. Черезъ полторы недѣли, 22-го мая, «Московскія Вѣдомости», быть можетъ, тѣмъ же самымъ, неуспѣвшимъ еще

притупиться перомъ, писали: «По печати сдѣлано распоряженіе не говорить ничего ни въ пользу, ни противъ... (вы не имѣете права монолога, а потому, дабы не накликать вамъ какихъ-нибудь непріятностей, я не назову изъятаго изъ печатнаго обращенія предмета). Нельзя не признать этого распоряженія весьма, какъ говорится, цѣлесообразнымъ». И затѣмъ слѣдуетъ обширный монологъ на запретную тему. 20-го мая «Московскія Вѣдомости» радуются: «Сдѣлано распоряженіе по печати о прекращеніи анти-еврейской агитаціи—давно бы пора!» (Вы тоже, вѣроятно, радуетесь прекращенію анти-еврейской агитаціи, но, полагаю, не можете радоваться распоряженію по печати). 17-го августа «Московскія Вѣдомости» скорбятъ: «Удивительно-ли, что польская интрига довольна своимъ московскимъ органомъ (подразумѣвается «Русскій Курьеръ»)? Удивляться надо лишь тому, что у насъ среди бѣла дня такъ открыто можетъ проповѣдоваться государственная измѣна». 27-го мая «Московскія Вѣдомости» опять призываютъ возмездіе: «Мы идемъ быстро путемъ прогресса. Теперь и въ церковное управленіе вторгается интрига посредствомъ печати. Это таже характеристическая черта нынѣшняго дня... Каково состояніе того общества, гдѣ могутъ безпрепятственно и безнаказанно совершаться подобныя безчинства?.. Признаемся, мы также мало довѣряемъ нашимъ такъ называемымъ консервативнымъ, какъ и либеральнымъ органамъ». И т. п. Видите, какъ просто устраивается дѣло. Вы, господа литераторы, будете поступать «подло», если не выскажетесь о какихъ-нибудь порядкахъ или непорядкахъ по силѣ своего разумѣнія и не взирая на лица. Но, если высказанная вами мысль не совпадетъ съ монологомъ г. Каткова, онъ назоветъ ее государственной измѣной, безчинствомъ, вообще, какъ ему вздумается, и будетъ вопіять о необходимости кары...

Но оставимъ эту матерію, то-есть литературу. Положимъ, что г. Катковъ наклеветалъ и наплевалъ на эту часть русскаго человѣчества, сколько его душѣ хотѣлось, и, какъ насосавшаяся піявка, отвалился. Положимъ даже, что литература «окончила жизнь свою смертію», унесла съ собой въ могилу всѣ свои права и обязанности и нѣтъ на святой Руси никакихъ печатныхъ словъ, кромѣ монологовъ г. Каткова (каюсь, милостивые государи, что въ глубинѣ души я бы отчасти даже желалъ этого: такъ, изъ любознательности, посмотрѣть). Но и это радостное погребеніе никоимъ образомъ удовлетворить г. Каткова не можетъ, ибо и за всѣмъ тѣмъ остается еще колоссально большое «не-я» въ разныхъ видахъ. О «русскихъ пахаряхъ» нечего и говорить. Весьма сомнительно, чтобы они носили въ душѣ своей божественный образъ, потому что ихъ понятія рѣшительно не совпадаютъ съ монологомъ г. Каткова насчетъ великаго значенія интенсивнаго хозяйства. Въ эту собственно минуту г. Катковъ не имѣетъ прямыхъ поводовъ къ оклеветанію и оплеванію пахаря, но еще недавно онъ въ этомъ направленіи весьма старался, противопоставляя невѣжественной, грубой, стихійной массѣ пахарей—«культурнаго человѣка». Изъ этого, однако, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы культурный человѣкъ, въ свою очередь, не былъ достоинъ оклеветанія и оплеванія. Напримѣръ: «у насъ есть судебное сословіе, которое ни отъ кого не зависитъ, у насъ есть институтъ присяжныхъ. Самодержавный судъ и люди, взятые изъ общества, судятъ на всей своей волѣ, безповоротно и безконтрольно, всякія дѣла и дѣла о хищеніяхъ. И что же? Никогда хищенія такъ не процвѣтали, какъ въ наши дни; люди общества не только выгораживаютъ преступниковъ по этой части, но и самое преступленіе въ принципѣ обѣляютъ и оправдываютъ» («Московск. Вѣд.» 4-го сентября). Я беру первое, случайно попавшееся подъ руку замѣчаніе, но вы сами знаете, что еслибы кто вздумалъ собрать все, наклеветанное и наплеванное г. Катковымъ на русское человѣчество по поводу суда присяжныхъ, то «яма надобна большая»; яма не яма, а этакая хорошая лохань, въ родѣ тѣхъ, куда помои сливаютъ. Администрація, вся правительственная машина есть опять-таки «не-я». «Именно то, чего намъ недостаетъ, и есть правительство. Мы страдаемъ не полнокровіемъ правительственнымъ, а развѣ анеміей и оттого нервностью. Правда, у насъ есть многочисленныя правительственныя мѣста и лица; но выражаютъ-ли они собою правительство, то-есть исполняютъ-ли они обязанности правительства, дѣйствуютъ-ли въ томъ духѣ и въ тѣхъ интересахъ, которые правительство призвано блюсти и развивать, служатъ-ли цѣлямъ правительства—это другой вопросъ... Они слишкомъ эманципировались отъ правительственнаго долга» («М. В.» 4-го сентября). Иначе говоря, правительство все еще недостаточно расчищаетъ почву для монологовъ г. Каткова! Наконецъ, общество есть «сборище людей деморализованныхъ и смущенныхъ», «сбродъ людей» («М. В.» 11-го мая). «Наше общество во всѣхъ слояхъ своихъ, и въ высшихъ болѣе, чѣмъ въ низшихъ, легко обработывается политическою интригою... При такомъ состояніи общества даже здравосмыслящіе порознь люди даютъ негодный духъ. Когда люди не чувствуютъ твердой почвы подъ ногами,

когда умы въ разбродѣ и сами не знаютъ чего хотятъ и чего ищутъ, тогда, по малой мѣрѣ, безсмысленно искать опоры въ обществѣ» («Моск. Вѣд.» 18-го мая).

Будетъ, я думаю. Нельзя счесть лучи планетъ, пески морей. Нельзя переписать ту массу клеветъ и оплеваній, которою г. Катковъ обливаетъ изо-дня въ день все русское человѣчество. И спрашиваю я васъ, милостивые государи, гдѣ же «божественный образъ» въ этой безконечной вереницѣ глупцовъ, интригановъ, негодяевъ, дрянныхъ, пустыхъ, преступныхъ людей? И еще спрашиваю: почему же вы, воздерживаясь отъ пасторальной живописи, оказываетесь клеветниками и измѣнниками, а г. Катковъ, въ корнѣ подрѣзывающій всякую вѣру въ русское человѣчество и всякую надежду на него, не клеветникъ и не измѣнникъ? Тщетно было бы искать отвѣта на эти вопросы, ибо право монолога не есть отвѣтъ. Но оно не есть и право. Никогда человѣчество (въ томъ числѣ и русское) не признаетъ монополіи мысли и слова, и никогда такая монополія не основывается на дѣйствительной силѣ. Истинная сила можетъ выразиться монологомъ, но она никогда не прибѣгаетъ для этого къ искусственнымъ мѣрамъ, никогда не будетъ вопіять: зажмите ротъ Петру, заставьте замолчать Ивана, прикажите Сидору держать языкъ за зубами. Истинная сила не боится ратоборства съ Иваномъ, Петромъ и Сидоромъ, она надѣется на себя. Между тѣмъ, весь политическій словарь г. Каткова состоитъ изъ подобныхъ повелительныхъ наклоненій отрицательнаго характера и ругательныхъ словъ. Маленькій глазъ циклопа сдѣлалъ большую личную ошибку, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оказалъ большую услугу обществу своимъ нововведеніемъ, перепечаткою передовыхъ статей «Московскихъ Вѣдомостей» на страницахъ «Русскаго Вѣстника». Газетный листъ быстро стирается изъ памяти, оставляя послѣ себя большею частью очень смутное впечатлѣніе. Собранныя воедино, передовыя статьи «Московскихъ Вѣдомостей» могутъ быть одна другою провѣрены и истолкованы. Попробуйте же вынуть изъ нихъ перецъ повелительныхъ наклоненій и ругательныхъ словъ: вы увидите необыкновенную скудость мысли, плоскость и размазистость аргументаціи и необыкновенное обиліе противорѣчій.

Если искать въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» краткой и ясной формулы всего политическаго багажа ихъ руководителя, то таковою надо будетъ признать, я думаю, слѣдующую фразу: «Всѣ преисполнены гражданской скорби; у всякаго, вмѣсто вида, свой идеалъ въ карманѣ» («Московскія Вѣдомости», 18-го мая). По обыкновенію, мысль выражена въ отрицательной формѣ, но вы понимаете въ чемъ дѣло: надо, чтобы у всякаго былъ, вмѣсто идеала, паспортъ. И кто прислушивался къ монологамъ г. Каткова, тотъ не усомнится конечно, что таковъ именно его идеалъ. Ибо, увы! это тоже не паспортъ, а идеалъ; притомъ недостижимѣйшій изъ идеаловъ, потому что дѣйствительно есть какой-то «божественный образъ», вложенный природою даже въ самыя скудныя души. Недостижимѣйшій и оскорбительнѣйшій. Самая мечта о возможности его водворенія въ русское человѣчество есть высшая клевета и оскорбленіе, какія только могутъ быть на это человѣчество введены... Долой политику и нравственность, это не болѣе какъ побочныя отрасли паспортной системы! Долой все, что, выстрадано русскимъ человѣчествомъ въ войнѣ и мирѣ, въ потѣ лица, въ слезахъ скорби и умиленія, все долой и да здравствуетъ паспортъ. Паспортъ и монологъ г. Каткова...

Я думаю, однако, что этого не будетъ, хотя вѣроятно еще не завтра прекратятся издѣвательства «Московскихъ Вѣдомостей» не только надъ «божественнымъ образомъ въ душѣ соотечественниковъ», но и надъ простымъ здравымъ смысломъ. Въ нынѣшнемъ 1883 году, г. Катковъ тянетъ все ту же пѣсню, которая, наконецъ, расшевелила даже «Новое Время», доселѣ весьма склонное потворствовать монологамъ «Московскихъ Вѣдомостей». Вотъ что мы читаемъ здѣсь:

«Нигилизмъ, говорятъ «Московскія Вѣдомости», само по себѣ явленіе ничтожное; злою силою сдѣлало его государство, государство не въ смыслѣ географическаго термина, а въ смыслѣ политической системы. Государство, разъясняютъ дальше «Моск. Вѣд.», направляетъ и воспитываетъ общество, народъ; оно дѣлаетъ населеніе такимъ, какимъ это населеніе мы застаемъ въ каждую данную историческую минуту. На долю самого народа (въ широкомъ смыслѣ слова); его природныхъ талантовъ и способностей, его долгимъ историческимъ искусомъ сложившихся стремленій, вѣрованій, его политическихъ и нравственныхъ идеаловъ, его этнографическаго, наконецъ, характера—не остается ровно ничего. Самъ по себѣ русскій народъ, невзирая на его тысячелѣтнюю исторію, на его трудный подвигъ созиданія и обороны государства—есть нуль, къ которому можно приставлять какія угодно единицы и который съ одинаковымъ удобствомъ можетъ перескакивать отъ величайшаго могущества къ величайшему ничтожеству. Вотъ, по истинѣ, безнадежная теорія». (Новое Время, 8 января).

Да, безнадежная и клеветническая, и состоитъ она, какъ видите, именно въ томъ, что у русскаго человѣчества нѣтъ или не должно быть идеала, «божественнаго образа», а есть или долженъ быть паспортъ. Такою постановкою переживаемаго нами нынѣ вопроса минуты «Московскія Вѣдомости»

если хотите, очень уясняютъ его. Клевета, будто въ душѣ русскаго человѣчества нѣтъ бежественнаго образа; клевета, будто оно можетъ и должно замѣстить въ себѣ идеалъ паспортомъ. Но злоба дня до извѣстной степени дѣйствительно состоитъ въ тяжбѣ идеала съ паспортомъ. Кто устоитъ въ неравномъ спорѣ, предвидѣть не трудно. Верховный судъ исторіи, конечно, рѣшитъ тяжбу въ пользу идеала. Паспортъ выдается на срокъ и даже безсрочный паспортъ все-таки смертенъ, а идеалъ безсмертенъ. Этою своею жизненностью онъ и подкупитъ судъ исторіи. Но когда наступитъ этотъ конецъ? Боюсь, что дерзкое противопоставленіе смертнаго безсмертному протянется если не абсолютно долго, то слишкомъ долго въ ущербъ человѣческому достоинству. Но уже и теперь мы съ совершенною ясностью знаемъ, гдѣ гнѣздятся истинные клеветники Россіи.

Г. Катковъ заявилъ какъ-то, что онъ никогда не получалъ казенныхъ субсидій, да не нуждался въ нихъ, но еслибы нуждался и получалъ, то считалъ бы это за честь. Съ свойственною ему скромностью, онъ сослался приэтомъ на примѣръ Сократа, который заявилъ судившимъ его аѳинянамъ, что онъ заслуживалъ бы содержанія на счетъ государства... Многое бы можно было сказать на эту пикантную тему, но я скажу не многое. Пусть г. Катковъ есть русскій Сократъ—по Сенькѣ шапка и сброду людей, можетъ быть, приличествуетъ такой Сократъ, но тотъ, настоящій Сократъ не былъ и не могъ быть аѳинскимъ Катковымъ. Онъ не разжигалъ паспортныхъ страстей, не организовалъ возстанія паспорта противъ идеала, не объявлялъ политики и нравственности побочными отрослями паспортной системы...

II *).

Вы знаете, что нѣкогда Мальбругъ въ походъ поѣхалъ и что подъ нимъ былъ конь игренъ... Мнѣ очень жаль, что слово «игренъ» просто обозначаетъ лошадиную масть и не имѣетъ никакого отношенія къ игривости, игрѣ и игрушкамъ. Во-первыхъ, по нынѣшнему времени игривость, игра и игрушки самое подходящее дѣло, какъ думаютъ многіе, а во-вторыхъ, когда П. Д. Боборыкинъ въ походъ поѣхалъ, то подъ нимъ былъ конь, котораго я непремѣнно назвалъ бы игренимъ, еслибы это слово имѣло связь съ упомянутыми веселыми вещами.

Не то, чтобы г. Боборыкинъ, «сидя въ чистомъ полѣ, лапти плелъ, свисталъ и пѣлъ и, своей доволенъ долей, никого знать ни хотѣлъ»... А впрочемъ, онъ, пожалуй, и въ чистомъ полѣ сидитъ (по крайней мѣрѣ, ему такъ кажется, что онъ въ чистомъ полѣ сидитъ), и лапти плететъ, и свиститъ, и поетъ, и своей долей доволенъ, и никого и ничего знать не хочетъ. Но все-таки онъ огорченъ, возмущенъ, оскорбленъ. И тѣмъ не менѣе, отправлясь въ походъ, онъ выбралъ коня, при видѣ котораго невольно вспоминаются игривость, игра и игрушки. Какъ ухитрился почтенный романистъ сочетать все это въ нѣчто «цѣлокупное», тайна сія велика есть. И, можетъ быть, это даже не г. Боборыкина тайна, а матери-природы, которая положила его въ колыбельку совершено такимъ же, какимъ опуститъ въ могилку—да будетъ этотъ конецъ на многіе, многіе годы далекъ...

Походъ свой г. Боборыкинъ предпринялъ въ № 1 журнала «Наблюдатель» подъ заглавіемъ «Наша литературная критика». Это дѣйствительно походъ, и походъ тѣмъ болѣе интересный, что онъ предпринятъ беллетристомъ, то-есть человѣкомъ, кровно заинтересованнымъ въ достоинствахъ или недостаткахъ литературной критики. Нельзя же не обратить вниманія на такое явленіе. Но нельзя также не сказать, что это не статья и не «этюдъ», какъ любитъ называть свои произведенія г. Боборыкинъ, а именно походъ, нѣкоторое военное дѣйствіе.

Начать съ того, что почтенный романистъ никому не даетъ пощады и не знаетъ даже ни одного такого праведника, ради котораго древле Богъ пощадилъ цѣлый преступный городъ. Критика журнальная и газетная, критики «консерваторы», «либералы», «радикалы», всѣ одинаково невѣжественны и недобросовѣстны. И не со вчерашняго дня началось это оскудѣніе, и не одну собственно литературную критику оно постигло. Нѣтъ, «вотъ уже по крайней мѣрѣ двадцать лѣтъ, какъ не замѣчается такихъ пріемовъ критики—будетъ - ли она философская, публицистическая или художественная — съ помощью которыхъ произведенія, люди, идеи, интересы выяснились бы въ настоящемъ свѣтѣ». И далѣе: «Просмотрите вы списокъ переводныхъ сочиненій за послѣднія двадцать лѣтъ, по исторіи философіи, по разнымъ частямъ научно-философскаго мышленія, по психологіи, соціологіи, по литературной критикѣ, и параллельно составьте списокъ статей критическаго содержанія въ журналахъ и газетахъ, разберитесь въ массѣ ихъ и посмотрите, сколько окажется такихъ очерковъ или большихъ разборовъ, въ которыхъ значились бы пріобрѣтенія, сдѣланныя русскими рецензентами изъ этой серь-

*) 1883, мартъ.

езной переводной литературы. Навѣрное можемъ сказать, что вліяніе окажется самымъ малымъ, точно будто Милли, Спенсеры, Бэны, Дарвины, Льюисы, Тэны читались только для того, чтобы имѣть о нихъ понятіе и поставить на полку библіотеки».

Ай, какъ стыдно, господа! Вы прочтете, да и поставите книжку на полку, а одинъ г. Боборыкинъ долженъ за всѣхъ васъ отдуваться и, прочитавъ, переварить, усвоить, пустить въ оборотъ, какъ въ области своего художественнаго творчества, такъ и въ своихъ «этюдахъ»! А онъ еще не всю научно-философскую переводную литературу перечислилъ. Прибавьте Марксовъ, Лассалей, Ланге, Шопенгауеровъ, Гартмановъ, Рикардо, Ротбертусовъ, Лэббоковъ, Тейлоровъ, Боклей и проч. и оцѣните положеніе г. Боборыкина. Немудрено, что, вооружившись всѣмъ этимъ арсеналомъ, онъ, наконецъ, не выдержалъ и отправился въ походъ.

Но зачѣмъ непремѣнно походъ, а не просто «этюдъ»? А если ужъ походъ, такъ зачѣмъ непремѣнно на игренемъ конѣ?

Главный обвинительный пунктъ, предъявленный г. Боборыкинымъ, состоитъ въ томъ, что «*моралъ*—вотъ пагуба теперешней критики»; «преобладающая нота, какъ въ либеральныхъ, такъ и въ консервативныхъ органахъ, есть нота *публицистическая*, и разборы произведеній сводятся къ одобренію или неодобренію не художественнаго, а общественно-нравственнаго оттѣнка». Обвиненіе, какъ видите, не новое, для котораго, пожалуй, что и не стоило тревожить Миллей и Дарвиновъ, Бэновъ и Тэновъ. По крайней мѣрѣ, оно не разъ и прежде предъявлялось и нерѣдко съ гораздо большею силою и ясностью, чѣмъ это теперь дѣлается нашимъ Мальбругомъ. Какъ и слѣдуетъ походному, то-есть военному человѣку, г. Боборыкинъ не заботится о доказательности, а болѣе палитъ аѳоризмами. Да и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же ужъ на походѣ аргументировать! Тутъ надо рубить, брать въ плѣнъ, въ трубы трубить, оружіемъ бряцать, конскими копытами пыль поднимать и людямъ ее въ глаза пускать. Единственное подобіе аргумента, и притомъ даже какъ бы новаго, представляетъ слѣдующая диссертація: англійскими психологами, видите-ли, «доказано было, что въ предметахъ, стоящихъ внѣ насъ, нѣтъ ничего такого, что было бы сущностью красоты, какъ увѣряли нѣмецкіе метафизики, а потомъ и русскіе критики. Было незыблемо установлено, что все сводится къ тому, что въ насъ есть чувство прекраснаго, которое немыслимо безъ извѣстнаго рода волненія, эмоціи, и эта эмоція существенно отличается отъ разныхъ другихъ, отъ волненій нравственнаго или эгоистическаго характера. Только серьезный психологическій анализъ утвердилъ то положеніе, что волненія эстетическаго свойства совершено самостоятельны, хотя и могутъ быть осложняемы, дѣлаться ярче или слабѣе, вслѣдствіе ассоціаціи идеи, примѣси другихъ чувствъ и настроеній... Если въ природѣ нѣтъ ничего такого, что представляло бы собою *абсолютную* красоту, что имѣло бы въ себѣ специфическое свойство помимо нашихъ ощущеній и волненій, то, стало быть, область воображенія дѣлается безпредѣльной, и предметы, сами по себѣ обыденные, иногда даже пошлые и грязные, въ силу художественнаго творчества, того, что мы называемъ талантомъ, умѣньемъ, мастерствомъ, получаютъ для нашей души особую прелесть».

Вотъ Pudelskern. Вотъ существеннѣйшая часть вооруженія г. Боборыкина, гордо и бодро галопирующаго на игренемъ конѣ. Подивитесь этой гордости, милостивые государи, потому что вооруженіе, какъ видите, чрезвычайно скромное, представляющее въ боевомъ смыслѣ minimum опасности для непріятеля и угрожающее скорѣе самому Мальбругу. Прежде всего, нѣтъ особеннаго резона такъ брыкаться въ сторону «нѣмецкихъ метафизиковъ», потому что кое у кого изъ нихъ г. Боборыкинъ могъ бы съ пользою для себя, для современниковъ и для потомства поучиться многому, въ томъ числѣ и по части низверженія «сущности красоты», независимой отъ нашихъ ощущеній. Я этимъ отнюдь не хочу сказать, что г. Боборыкину не зачѣмъ и нечѣму учиться у англійскихъ психологовъ. Совершенно напротивъ, пусть поучится, это ему будетъ на пользу. Поучившись, а впрочемъ, и просто давъ себѣ трудъ и время подумать, онъ не повторитъ, конечно, что если въ природѣ нѣтъ абсолютной красоты, такъ «стало быть область воображенія дѣлается безпредѣльной». Совсѣмъ не «стало быть». Такъ точно, какъ если въ углу стоитъ палка, то изъ этого вовсе «не стало быть», что дядя г. Боборыкина живетъ въ Кіевѣ; напротивъ, мѣстопребываніе и даже самое существованіе дяди остаются вполнѣ неизвѣстны. Предѣлы воображенію полагаются разными вещами, въ числѣ которыхъ довольно трудно вдвинуть бытіе или небытіе абсолютной красоты. Безпредѣльность, какъ результатъ отсутствія безусловности! Занятная штука... Ну, это, положимъ, можетъ быть просто lapsus. А вотъ, что «предметы пошлые и грязные, въ силу художественнаго творчества, получаютъ для нашей души особую прелесть», это, извините меня, совсѣмъ вздоръ. Не обмолвка, замѣтьте пожалуйста, а настоящій вздоръ по существу

и со всѣми соприкасающимися выводами и положеніями. Конечно, то, что считается сегодня пошлостью и грязью, можетъ, по прошествіи извѣстнаго времени, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, получить иную нравственную оцѣнку, быть можетъ, менѣе строгую, быть можетъ, болѣе строгую. Но въ каждую данную минуту мерзавецъ есть мерзавецъ, пошлякъ есть пошлякъ, грязная сцена есть грязная сцена. Всякій согласится, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что бываютъ такіе вполнѣ ужъ несомнѣнные мерзавцы, пошляки и грязныя сцены. *Изображеніе* этихъ предметовъ можетъ, благодаря художественному творчеству, въ него вложенному, получить для зрителя или читателя «особую прелесть». Но изображаемый *предметъ* не долженъ получать никакой прелести, а долженъ оставаться гнусностью и грязью. Здѣсьто г. Боборыкину и помогли бы англійскіе психологи, еслибы онъ въ самомъ дѣлѣ у нихъ хорошенько поучился или же бы просто далъ себѣ трудъ и время подумать, а не то, что сколько посидѣлъ, столько и написалъ. Дѣйствительно, если «эстетическая эмоція существенно отличается отъ разныхъ другихъ, отъ волненій нравственнаго или эгоистическаго характера»; если «волненія эстетическаго свойства совершенно самостоятельны», такъ и давайте намъ, господа беллетристы, г. Боборыкинъ у сотрѓіs, давайте, между прочимъ, прекрасныя изображенія и пошлыхъ, и грязныхъ предметовъ. Но помните, что самые-то предметы должны приэтомъ оставаться грязными и пошлыми, и никакой «особой прелести» не получать, именно вслѣдствіе самостоятельности эстетической эмоціи.

Отсюда проистекаетъ, впрочемъ, цѣлый рядъ выводовъ, рѣшительно непредвидѣнныхъ Мальбругомъ, бодро галопирующимъ на игренемъ конѣ, и вовсе не соотвѣтствующихъ цѣли его похода.

Эстетическое волненіе самостоятельно и существенно отличается отъ волненій нравственнаго характера. Поэтому вполнѣ возможны, законны и необходимы съ точки зрѣнія эстетики такія художественныя произведенія, которыя, будучи прекрасными, въ тоже время возбуждаютъ презрѣніе или уваженіе, любовь или отвращеніе къ изображаемому предмету. Слѣдовательно, самостоятельность эстетическаго наслажденія нисколько не эманцепируетъ художника и критика отъ обязанности служить не одной красотѣ, а творить и судить, соображаясь со всѣми другими условіями творчества и дѣйствительности, условіями, отнюдь не эстетическаго характера. Эти-то условія въ совокупности своей и кладутъ предѣлы воображенію, область котораго «стало быть» вовсе не дѣлается безпредѣльною отъ того, что существуютъ на свѣтѣ англійскіе психологи. Представьте себѣ изумленіе этихъ почтенныхъ, приличныхъ людей, если они узнаютъ, что въ городѣ Санктпетербургѣ, столицѣ обширной имперіи, быстро двигающейся по пути прогресса, есть г. Боборыкинъ, который изъ ихъ добросовѣстныхъ трудовъ дѣлаетъ такой выводъ: область воображенія безпредѣльна, не ограничена элементами приличія или нравственности, и роль искусства состоитъ, между прочимъ, въ приготовленіи изъ дряни конфетокъ путемъ усвоенія этой завѣдомой дряни «особой прелести». Нѣтъ, сказали бы англійскіе психологи, нѣсколько оправившись отъ изумленія: нѣтъ, это не совсѣмъ такъ; и даже, кажется, совсѣмъ не такъ. Конфетки приготовляются изъ такихъ-то и такихъ-то матеріаловъ, а, конечно, можно, пожалуй, и дрянь въ сахарѣ сварить, только это будетъ очень скверная конфетка...

Я съ своей стороны вполнѣ присоединяю свой скромный голосъ посторонняго человѣка къ голосамъ англійскихъ психологовъ. Мало того, я рѣшаюсь поднять старый, осмѣянный тезисъ, что въ области искусства (въ романѣ въ особенности, потому что кому много дано, съ того больше и спросится) добродѣтель должна торжествовать, а порокъ долженъ быть наказанъ. Да, милостивые государи, я рѣшаюсь выставить и защищать этотъ старый тезисъ, только нѣсколько обработавъ его на новый ладъ, и слѣдовательно, готовъ принять всѣ удары гарцующаго на игренемъ конѣ Мальбруга, который съ такимъ побѣдоноснымъ видомъ заявляетъ: «*мораль* — вотъ пагуба теперешней критики»...

Конечно, тамъ, гдѣ по самому существу дѣла нѣтъ мѣста нравственному суду, тамъ неприложимъ и нашъ тезисъ. Въ области пейзажа, напримѣръ, не можетъ быть и разговора о торжествѣ или наказаніи добродѣтели или порока. Но разъ только эти понятія имѣютъ, если позволительно такъ выразиться, физическую возможность возникнуть, потребность нравственной оцѣнки должна быть удовлетворена въ полную мѣру этой возможности. Не объ томъ, разумѣется, рѣчь, чтобы фигурирующій, напримѣръ, въ романѣ злодѣй имѣлъ и внѣшній обликъ злодѣя и носилъ фамилію Лиходѣева, и въ концѣ романа получалъ возмезміздіе, положенное сотвѣтствующими статьями уложенія о наказаніяхъ. Бываютъ и такіе случаи, но рѣдко, такъ рѣдко, что возводить ихъ «въ перлъ созданія» значитъ лгать. (Мимоходомъ сказать, г. Боборыкинъ ужасно сердитъ на этотъ невинный «перлъ созданія»: не научный, видители-ли, терминъ,

обломокъ отсталыхъ понятій, разрушенныхъ англійскими психологами. Конечно, это прекрасный поводъ пустить людямъ въ глаза пыль, поднимаемую копытами игреняго коня; съ другой стороны однако, никто тутъ научнаго термина и не усматриваетъ, никто an serieux «перлъ созданія» не принимаетъ, а если выраженіе привычно и понятно, такъ отчего же бы его и не употреблять?). Итакъ, возводить въ перлъ созданія рѣдкіе случаи полнаго жизненнаго торжества добродѣтели и наказанія порока, значитъ лгать. А если ложь унижаетъ и человѣка, свидѣтельствуя о прошлыхъ, настоящихъ или будущихъ изъянахъ въ его силѣ, то тѣмъ паче унижаетъ она сферу искусства. Не такъ идутъ дѣла на грѣшной землѣ, и торжествующая свинья на ней также нерѣдка, какъ скованный Прометей. Искусство (не одно оно, конечно) можетъ и должно, изображая эту скорбную правду, какъ она есть, вносить въ нее вмѣстѣ съ тѣмъ поправку идеальнаго свойства, отнюдь не противорѣчащую спеціально эстетическимъ цѣлямъ, а, напротивъ, тѣсно съ ними связанную. Торжествующая свинья есть типическое житейское явленіе. Пусть же она торжествуетъ и въ романѣ, напримѣръ; но она свинья—пусть такою въ художественномъ изображеніи остается. Торжествуя въ жизни, она приметъ казнь въ умахъ и сердцахъ читателей, казнь заслуженную и удовлетворяющею неотложной потребности нравственнаго суда. И когда искусству предлагаютъ такую возвышенную, святую роль духовнаго возмездія за помраченное солнце и за торжество свиньи, г. Боборыкинъ смѣетъ говорить объ «униженіи» его! Онъ и теперь, конечно, скажетъ, что не въ этомъ задача художественнаго творчества, что для предоставленія торжества добродѣтели и кары пороку, существуютъ другія вѣдомства. Я вовсе не отрицаю существованія другихъ вѣдомствъ суда и расправы, орудующихъ своими спеціальными средствами. Но я утверждаю, что въ пользу привлеченія богатѣйшихъ средствъ искусства къ той же благородной цѣли было высказано въ нашей литературѣ много доводовъ, изъ которыхъ г. Боборыкинъ не потрудился опровергнуть ни одного. Ибо ссылка на самостоятельность эстестической эмоціи, если что-нибудь и опровергаетъ, то только самого г. Боборыкина. Нельзя, конечно, разумѣть эту самостоятельность въ томъ смыслѣ, что жизнь сама по себѣ, а художникъ, какъ нѣкоторый «чиновникъ совершенно посторонняго вѣдомства», тоже самъ по себѣ; что онъ служитъ по вольному найму въ особомъ департаментѣ красоты, рядомъ съ которымъ существуютъ или должны существовать особые же департаменты чести, приличія, правды, справедливости. Уразумѣвъ дѣло такимъ образомъ, г. Боборыкинъ хочетъ сдѣлать изъ искусства нѣчто въ родѣ того змѣя, пусканіемъ котораго занимаются лѣтомъ ребятишки: змѣй, на тоненькой бичевкѣ, залетаетъ Богъ знаетъ куда и носится тамъ единственно по волѣ вѣтровъ. Область, говорятъ, воображенія безпредѣльна, и я могу нарисовать, напримѣръ, неприличную картинку такъ, что у читателя, особливо до такихъ картинокъ охочаго, слюнки потекутъ; могу, потому что никто меня за это осудить не смѣетъ, потому что эстетическая эмоція самостоятельна, а «мораль—пагуба». Между тѣмъ, изъ этой самостоятельности вытекаетъ нѣчто совершенно противоположное. Вытекаетъ именно возможность и законность такихъ художественныхъ произведеній, которыя, оставаясь вѣрны правдѣ жизни и законамъ прекраснаго, рисуютъ свинью свиньей, мерзость мерзостью, то-есть возбуждаютъ въ читателѣ отвращеніе къ свиньѣ и мерзости. А это и есть возможность и законность торжества добродѣтели и казни порока въ искусствѣ. Въ искусствѣ, а стало быть и въ литературной критикѣ.

Сейчасъ я вернусь къ продолженію этой темы, а теперь, съ вашего позволенія, скажу нѣсколько словъ о другихъ эпизодахъ похода Боборыкина. Всего нѣсколько словъ.

Представьте себѣ прокурора, что-ли, который построилъ бы свою обвинительную рѣчь такъ: вотъ преступникъ, онъ совершилъ то-то, и то-то, положимъ, учинилъ кражу со взломомъ или грабежъ; но онъ утверждаетъ, что содѣянное имъ совсѣмъ не есть преступленіе, что грабежъ въ его положеніи былъ единственнымъ исходомъ, что грабежъ, наконецъ, есть благородное, открыто достигаемое возстановленіе такого-то попраннаго его права; хорошо, станемъ же на точку зрѣнія преступника и посмотримъ удовлетворительно-ли онъ грабилъ; нѣтъ, грабить надо совсѣмъ не такъ, а вотъ какъ: выждать на большой дорогѣ, залечь въ оврагѣ и т. д. Это была бы, конечно, очень странная обвинительная рѣчь и доказывала бы только, что прокурору не такъ, чтобы очень дорогъ защищаемый имъ принципъ собственности, а просто, ему пришла почему-то дикая мысль доѣхать преступника мытьемъ и катаньемъ: дескать, и грабитель онъ, да и грабитъ-то неправильно! нешто на такую сумму можно бы проѣзжающаго-то ограбить! Въ такомъ родѣ поступаетъ и г. Боборыкинъ. Не довольствуясь пораженіемъ «пагубной морали» при помощи англійскихъ психологовъ и нѣкоторой отсебятины, онъ перелетаетъ на своемъ игренемъ конѣ въ лагерь противниковъ и начинаетъ ихъ учить:

развѣ такъ грабятъ?! надо вотъ какъ! Объ этой части разсужденій г. Боборыкина я говорить не буду, потому что вовсе не собираюсь защищать нашу литературную критику, хотя и приведу ниже нѣкоторыя, смягчающія ея вины обстоятельства. Теперь я хочу только отмѣтить походный характеръ предпріятія г. Боборыкина. Ему, собственно, не отстаиваемая имъ идея дорога—еслибы такъ было, у него вышелъ бы «этюдъ»; ему нужно и мытьемъ и катаньемъ доѣхать нашихъ литературныхъ критиковъ — и вотъ почему Мальбругъ въ походъ поѣхалъ, подъ нимъ былъ конь игренъ...

Повторяю, милостивые государи, что я не собираюсь защищать нашу литературную критику, но нельзя же, а если ужъ она такая убогая, то тѣмъ паче нельзя взводить на нее напраслину. А г. Боборыкинъ и этимъ не брезгаетъ. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: «Критики этихъ («охранительныхъ») направленій, въ послѣднія пятьшесть лѣтъ, взъѣлись на французскій реалистическій романъ нисколько не менѣе, чѣмъ рецензенты совершенно противнаго лагеря, по ту сторону *благой средины умѣреннаго либерализма*. Гасильники сходятся съ радикалами и съ людьми самыхъ пламенныхъ соціальныхъ упованій въ своемъ брезгливомъ и часто враждебномъ чувствѣ къ реалистическому роману и къ самому сильному таланту этой школы. Вы наталкиваетесь, какъ тутъ, такъ и тамъ, на тѣ же почти возгласы сентиментальной чопорности и педантскаго ригоризма». Мимоходомъ сказать, подчеркнутыя мною выше слова у г. Боборыкина не подчеркнуты, а подчеркнуть ихъ слѣдовало, потому что, написавъ ихъ, г. Боборыкинъ всетаки высказалъ нѣкоторую похвальную осторожность. Достоинъ въ самомъ дѣлѣ вниманія тотъ фактъ, что Зола, объ которомъ идетъ рѣчь, именно у насъ получилъ громкую извѣстность прежде даже, чѣмъ у себя на родинѣ, благодаря гостепріимству «Вѣстника Европы». Почтенный журналъ любезно предоставилъ свои страницы критическимъ упражненіямъ Зола, въ которыхъ было кое-что хорошее и кое-что новое, но все хорошее было для насъ, русскихъ, не ново, а все новое не хорошо. Такъ что одно время Зола фигурировалъ въ числѣ русскихъ литературныхъ критиковъ, внося, конечно, въ эту зараженную пагубною моралью среду только принципы и пріемы, а не приложеніе ихъ къ произведеніямъ русскихъ беллетристовъ. Что же касается «брезгливаго» отношенія къ порнографической сторонѣ «золаизма», то прежде всего не одна русская критика виновна въ «сентиментальной чопорности и педантскомъ ригоризмѣ». Въ самой Франціи Зола не разъ приходилось и теперь приходится выслушивать по этой части много гораздо болѣе яростныхъ упрековъ, а въ Германіи переводъ, если не ошибаюсь, Pot-Bouille былъ судимъ, осужденъ и запрещенъ за оскорбленіе общественной нравственности. Я вовсе не думаю прятаться или кого-нибудь прятать за эти факты, но они, во всякомъ случаѣ, показываютъ, что не такая же ужъ исключительно тупоголовая порода эти бѣдные русскіе критики и что справедливый или несправедливый гнѣвъ г. Боборыкина долженъ распространяться далеко за предѣлы обширной страны, въ которой звучитъ русская рѣчь. Главное дѣло, однако, не въ этомъ, а въ фальши общаго тона упрековъ собственно по поводу Зола. Я что-то не помню очень ужь пристальныхъ и огульныхъ нападокъ на даровитаго французскаго романиста со стороны русской критики. Помню одну брошюру московскаго происхожденія («Золаизмъ» она называлась, имени автора не помню), въ которой, дѣйствительно, Зола былъ изрубленъ въ куски, куски сожжены и пепелъ развѣянъ въ пространствѣ. И любопытно, что авторъ брошюры столь же сердился на русскую критику за возвеличеніе Зола, какъ г. Боборыкинъ сердится за его приниженіе. Вотъ тутъ и угоди! Но затѣмъ большой дѣйствительно талантъ Зола едва-ли кѣмъ-нибудь отрицался; въ то же время нѣкоторые, признававшіе и признающіе этотъ большой талантъ, не совсѣмъ же ужъ такъ голословно утверждаютъ, что онъ слишкомъ склоненъ къ порнографіи и что его критическія упражненія, въ которыхъ онъ серьёзно сравнивалъ себя съ Клодомъ Бернаромъ и несъ разную другую претенціозную чепуху, свидѣтельствуютъ лишь о его малой образованности и большомъ самомнѣніи.

Еслибы г. Боборыкинъ потрудился хоть мимоходомъ отмѣтить то обстоятельство, что русская критика оцѣнила талантъ Зола, онъ поступилъ бы, во-первыхъ, добросовѣстно, а во-вторыхъ, усмотрѣлъ бы самъ и людямъ показалъ, что и русская критика бываетъ иногда всетаки добросовѣстна. Не правда ли? О, милостивые государи, я очень хорошо знаю всѣ многоразличные изъяны и слабости русской критики, знаю ихъ, смѣю сказать, гораздо лучше г. Боборыкина, ибо больше, чѣмъ онъ, люблю русскую литературу и пристальнѣе его къ ней всегда приглядывался. Г. Боборыкинъ сегодня здѣсь, завтра тамъ, или вѣрнѣе, какъ Фигаро, и здѣсь и тамъ, и кто его знаетъ—что онъ собственно любитъ, кромѣ самого себя и своего игренаго коня... Дѣло въ томъ, что, зная изъяны русской критики, я знаю вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя совершенно посто-

роннія причины этихъ изъяновъ, тяготѣющія, впрочемъ, не надъ одной критикой, а и надъ беллетристикой и надъ всей бѣдной сѣрой русской жизнью. Не всѣ, разумѣется, изъяны этими посторонними причинами объясняются, но надо же помнить, милостивые государи, что la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a.

Въ силу излюбленной г. Боборыкинымъ самостоятельности эстетической эмоціи, критикъ долженъ имѣть въ виду и художественную, и нравственно-политическую стороны разбираемаго произведенія. Онъ долженъ опредѣлить ихъ комбинацію, показать что вотъ, дескать, напримѣръ, прекрасное изображеніе гнуснаго предмета или, наоборотъ, плохое изображеніе предмета высокаго и т. п.; долженъ усмотрѣть и пояснить, между прочимъ, дѣйствительно-ли добродѣтель торжествуетъ въ данномъ произведеніи или же художникъ сознательно либо безсознательно предоставилъ торжество пороку. Извините, что я этой древней формулой пользуюсь. Г. Боборыкинъ, пролагающій якобы новые и якобы научные пути критикѣ, а въ сущности перемеливающій старую, никуда негодную дребедень, конечно, придетъ въ ужасъ отъ моей отсталости. Но вы-то понимаете, что я не сантиментальной лжи требую и говорю о торжествѣ добродѣтели и казни порока лишь въ сердцахъ и умахъ читателей. Это воздаяніе коемуждо по дѣломъ его художникъ совершаетъ при помощи эстетической эмоціи. Обѣ стороны дѣла такъ тѣсно связаны между собой и такъ важны именно въ своей связи, въ своей совокупности, что о какой-нибудь конкурренціи между ними не можетъ быть и рѣчи. Но бываютъ сложныя и многоразличныя обстоятельства, при которыхъ та или другая сторона сама собой выдвигается на первый планъ. Прежде всего эти обстоятельства могутъ заключаться въ личности критика. Представьте себѣ, что, будучи далеко не первостепеннымъ знатокомъ и любителемъ по части эстетической эмоціи, но всетаки кое-что понимая, онъ въ тоже время очень чутокъ къ торжеству добродѣтели и казни порока. Пусть же онъ даетъ что можетъ и не будемъ требовать съ него того, чего онъ дать не можетъ. Вотъ если онъ, взявшись за разработку преимущественно нравственно-политической стороны, оказывается по этой именно части плохъ, невѣжественъ, недобросовѣстенъ, тогда другое дѣло. Если же онъ при этомъ, сознавая свою слабость, даже совсѣмъ не суется собственно въ художественную критику, къ которой онъ не подготовленъ, такъ это дѣлаетъ ему только честь. Соваться въ чужое, мало знакомое дѣло совсѣмъ не похвально, лучшимъ примѣромъ чего можетъ служить г. Боборыкинъ многими сторонами своей дѣятельности...

Но возможны случаи, что и высоко развитый въ эстетическомъ смыслѣ критикъ обратитъ мало вниманія на художественную сторону произведенія и будетъ совершенно правъ. Это можетъ зависѣть отъ самой беллетристики, потому что опять-таки la plus jolie fille ne peut donner que ce que'elle a. Возьмите, напримѣръ, того же г. Боборыкина, но на этотъ разъ, какъ беллетриста. Онъ талантливый человѣкъ, конечно, но въ художественномъ отношеніи работаетъ всегда, какъ ремесленникъ фотографъ: возьметъ подлинное живое лицо или подлинное событіе и, даже не возводя его въ перлъ созданія, цѣликомъ пропечатаетъ, придавъ лицу или событію отъ себя какія-нибудь гнусныя или, напротивъ, возвышенныя черты. Для критики подобныхъ произведеній, смѣю увѣрить г. Боборыкина, не требуется тревожить Миллей, Дарвиновъ, Спенсеровъ и Бэновъ. Достаточно простого здраваго смысла, чтобы оцѣнить эти пріемы «творчества», элементарно слабые въ художественномъ отношеніи и часто нечистоплотные въ нравственномъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Боборыкинъ очень часто влагаетъ въ свою работу какую-нибудь «тенденціею», какой-нибудь поводъ именно для публицистической критики, объ которой говоритъ нынѣ съ такимъ негодованіемъ. Припомните любой разсказъ, повѣсть, романъ г. Боборыкина, ну, хоть обширный романъ «Дѣльцы», печатавшійся на страницахъ вашего уважаемаго журнала. Я увѣренъ, вы сами признаете, что романъ этотъ въ художественномъ смыслѣ ровно ничего не стоитъ и что печатали вы его не ради его эстетическихъ достоинствъ, а просто какъ бойкіе, легко читающіеся, хотя и поверхностные очерки мало знакомаго быта нашихъ «дѣльцовъ». По отношенію къ такого рода произведеніямъ нѣтъ мѣста не только художественной критикѣ—объ этомъ и говорить смѣшно—а и критикѣ литературно-публицистической, потому что они, собственно говоря, сами представляютъ публицистику въ лицахъ.

Возьмемъ другое произведеніе г. Боборыкина, новѣйшее, напечатанное какъ разъ единовременно съ его походомъ на литературную критику. Называется оно «Крашеная вода» и напечатано въ двухъ первыхъ номерахъ ежемѣсячнаго приложенія къ «Живописному Обозрѣнію». Это пересказъ дѣйствительнаго происшествія, всѣмъ извѣстнаго по газетамъ, а именно дѣла фабрики Морозова, заражавшей рѣку спускомъ красящихъ веществъ, «крашеной водой». Г. Боборыкинъ ввелъ множество блѣдныхъ и по

ходу разсказа ненужныхъ лицъ и придалъ героинѣ, владѣлицѣ фабрики, молодой вдовѣ, отъ себя выдуманный или съ натуры списанный неопредѣленный, но симпатичный характеръ. Позвольте мнѣ не разсказывать содержанія повѣсти, но за то позвольте привести заключительную страницу, прекрасно опредѣляющую комбинацію художественной и нравственно-политической сторонъ въ «Крашеной водѣ».

Она вдругъ подумала о своемъ старшемъ сынѣ Митѣ. Онъ и теперь уже, по одинадцатому году, весь переполненъ трепетной потребностью правды, и теперь уже голова его работаетъ надъ тѣмъ: такъ-ли всѣ живутъ, какъ велитъ совѣсть, зачѣмъ есть господа и слуги, хозяева и батраки, богачи и голыши? Онъ не разъ ставилъ ее въ тупикъ. Будь онъ по старше, онъ сказалъ бы ей сегодня: мама, зачѣмъ ты безпокоишься объ томъ, что профессоръ изъ Петербурга найдетъ въ сточной водѣ? Разумѣется, вода грязная, нездоровая, пить ее нельзя, надо остановить набивку ситцевъ, да и вся-то мануфактура выколачиваніе милліоновъ изъ рабочаго люда.

Стала ей противна красивая обстановка ея добрыхъ дѣлъ на фонѣ хозяйскихъ барышей. Она уже не можетъ и не хочетъ теперь, стоя на террасѣ, выгораживать себя такъ, какъ дѣлала это еще вчера, когда ей не спалось на фабрикѣ, въ компанейскомъ домѣ.

И одиночество женщины, скрытая жажда любви и взаимности разбудили въ ней какой-то образъ... смутный... но живой.

«Когда ты полюбишь, какъ ты еще не любила, говоритъ она за себя и чувствуетъ внутри нѣмой звукъ своихъ словъ, этотъ человѣкъ не увлечется тѣмъ, что ты теперь. Онъ потребуетъ большаго. Слишкомъ легко бросать крохи отъ милліонной трапезы. Такихъ благотворительницъ довольно и между ханжами-барынями. Отъ бездѣлья и тщеславія»!

Щеки Натальи Гордѣевны побѣлѣли. Точно ей полили эфиромъ на грудь, такимъ холодомъ вдругъ обдало ее изнутри. Она оперлась плечомъ о столбъ террассы и глядѣла на зыбь рѣки съ чуть видными струйками луннаго отблеска.

Не отдѣлаться ей отъ такихъ думъ. Не уйти никуда. Видно, нельзя нынче ни быть богатой, ни дѣлать добро, ни опекать, ни руководить, ни любить страстно мужчину, ни любить материнской любовью—безъ ночныхъ бесѣдъ съ совѣстью.

На рѣкѣ плеснулась полусонная рыба. Чайка опять крикнула.

Хозяйкѣ богатой владѣльческой усадьбы становилось очень тяжко...

Не ясно-ли, что затронутый въ повѣсти вопросъ нравственно политическаго характера безконечно ярче и важнѣе той ремесленно-художественной формы, въ которую его облекъ г. Боборыкинъ? Не ясно-ли, что критикъ, который въ примѣненіи къ данному случаю послушается совѣтовъ нашего Мальбруга, выкинетъ «пагубную мораль» изъ своей оцѣнки и сосредоточится на эстетическихъ красотахъ произведенія г. Боборыкина—сыграетъ роль глупую и смѣшную? Повторяю, я лучше г. Боборыкина знаю слабости русской критики. Но не слабость, а истинное пониманіе вещей скажется въ ней, если она извлечетъ изъ «Крашеной воды» «пагубную мораль» и пропуститъ мимо ушей эстетическую эмоцію, вызываемою «плескомъ полусонной рыбы и крикомъ чайки». Еслибы эта сторона была дѣйствительно достойна художественной критики, такъ можно бы было, пожалуй, ея требовать... Я склоненъ, впрочемъ, думать, что русская критика совсѣмъ оставитъ въ тунѣ «Крашеную воду»; отчасти по цензурной щекотливости темы, а отчасти потому, что слишкомъ ужь игренъ конь г. Боборыкина. Печатать *подобныя* произведенія г. Боборыкина (у него есть и совсѣмъ не подобныя) можно, но распространяться объ нихъ въ критическомъ отдѣлѣ, да еще поминать при этомъ всуе Дарвиновъ и Миллей, Бэновъ и Спенсеровъ, нѣтъ рѣшительно никакого резона.

Г. Боборыкинъ совершенно напрасно тревожитъ тѣнь еще одного великаго человѣка—Лессинга: дескать, вотъ писалъ же человѣкъ художественныя критики часто по поводу совершенно ничтожныхъ произведеній. По этому случаю можно бы было, однако, замѣтить, что вѣдь нѣтъ же теперь Лессинга ни въ одной европейской литературѣ, а не только въ русской. Должно быть есть для этого какія-нибудь общія условія. Это разъ. А, во-вторыхъ, неужели г. Боборыкинъ серьезно думаетъ, что Лессингъ, еслибы онъ принялся за ту же «Крашеную воду», не коснулся бы пагубной морали, а все бы только объ эстетической эмоціи разсуждалъ? Лессингъ былъ умный человѣкъ... Онъ не сказалъ бы: «нельзя нынче ни быть богатой, ни дѣлать добро, ни опекать, ни руководить, ни любить страстно мужчину, ни любить материнскою любовью безъ ночныхъ бесѣдъ съ совѣстью», а вотъ литературой такъ можно безъ зазрѣнія совѣсти заниматься, потому тутъ, и только тутъ, «мораль—пагуба». Думаю, что Лессингъ не сказалъ бы этого уже по одному тому, что вѣдь въ самомъ дѣлѣ уменъ былъ покойникъ. А впрочемъ, тутъ не то что Лессингъ, а даже сама Наталья Гордѣевна могла бы поучить г. Боборыкина...

Но оставимъ самого г. Боборыкина, какъ беллетриста, и возьмемъ что-нибудь другое изъ современной изящной словесности. Возьмемъ беллетристику того самого «Наблюдателя», который любезно предоставилъ свои страницы походнымъ упражненіямъ г. Боборыкина. Мы найдемъ тамъ два большихъ романа: «Въ наше смутное время» г. Лѣтнева и «Кошмаръ» г. Зависѣцкаго. Въ нравственно-политическомъ отношеніи, эти романы принадлежатъ къ тому типу, который постоянно украшаетъ собою страницы «Рус-

скаго Вѣстника». Въ смыслѣ художественномъ, однако, они много ниже своихъ московскихъ конкуррентовъ. Г. Лѣтневъ давно уже извѣстенъ, какъ внѣшнею занимательностію фабулы его романовъ, такъ и полнымъ отсутствіемъ художественнаго дарованія. Г. Зависѣцкій, кажется, еще новичекъ и будетъ должно быть вершка на полтора выше г. Лѣтнева. Но полтора вершка, это, знаете, еще не много... Ну, и спрашиваю я васъ: обнаружитъ-ли человѣкъ хоть каплю истиннаго критическаго дарованія и пониманія, если займется изслѣдованіемъ «эстетической эмоціи» (экія словечки-то по такому поводу!), производимой красотами романовъ гг. Лѣтнева и Зависѣцкаго, и упуститъ изъ виду вопросы «пагубной морали»? Нѣтъ, не обнаружитъ. А можетъ-ли критика, по поводу означенныхъ романовъ, свободно излагать свои нравственно-политическія соображенія? Кое-кто изъ критиковъ, конечно, можетъ; тѣ именно, кто смотритъ на вещи одинаковыми глазами съ гг. Лѣтневыми и Зависѣцкими...

Да будетъ же стыдно тѣмъ Мальбругамъ, которые, ради удовольствія оскорбленнаго самолюбія или изъ любви къ гарцованію на на игренемъ конѣ, предпринимаютъ несвоевременные походы. Да будетъ стыдно г. Боборыкину...

А впрочемъ...

Пора кончить, милостивые государи, и позвольте кончить однимъ итальянскимъ изреченіемъ. Почему итальянскимъ? Сейчасъ увидите.

Malgrado tutti i suoi difetti ed esagerazioni, il criticismo contemporaneo russo sta piuttosto in una buona che cattiva via. Это значитъ, милостивые государи, что, не смотря на свои недостатки, современная русская критика стоитъ на вѣрной дорогѣ. Мнѣ тѣмъ пріятнѣе съ этимъ согласиться, что слова эти принадлежатъ г. Боборыкину и заимствованы мною изъ итальянской статьи его «Del criticismo russo», оттискъ который я нѣсколько лѣтъ тому назадъ имѣлъ честь лично отъ автора получить съ лестною для меня (тогда я былъ не постороннимъ) собственноручною надписью. Въ статьѣ этой излагались совсѣмъ не тѣ воззрѣнія, какія излагаются г. Боборыкинымъ нынѣ въ статьѣ «Наблюдателя», и русская критика одобрялась именно за то, за что нынѣ топчется копытами игреняго коня...

Вы понимаете, какъ это радостно. Если г. Боборыкинъ такъ быстро преложилъ милость на гнѣвъ, такъ вѣдь онъ можетъ въ скорости совершить и обратную операцію, то-есть преложить гнѣвъ на милость. У него это все вдругъ... А въ ожиданіи столь благотворнаго поворота мыслей г. Боборыкина, живите. Живите и кляните не пагубную мораль, а тѣ печальныя обстоятельства, которыя мѣшаютъ вамъ ею заниматься такъ, какъ это требуется законами искусства и долгомъ гражданина...

III *).

Позвольте предложить вамъ нѣсколько мыслей объ томъ, чего въ нашей литературѣ нѣтъ и быть не можетъ и что, однако, могло и должно бы было быть...

Мнѣ говорятъ: зачѣмъ вы возитесь съ пустяками, въ родѣ похода г. Боборыкина? неужто ничего болѣе занимательнаго и достойнаго разговора не нашлось? Вѣдь, за всѣми вздорами не угоняться, да и не стоятъ они того...

Справедливо, хотя и не вполнѣ...

Вздоръ, даже самый полный, самый чистый, самый безусловный вздоръ есть все-таки нѣчто относительное въ томъ смыслѣ, что можетъ при извѣстныхъ условіяхъ оказаться оскорбительнымъ, возмутительнымъ, если не вреднымъ. Представьте себѣ человѣка, громко, съ апломбомъ провозглашающаго, что дважды два—стеариновая свѣчка. Вздоръ это въ полномъ размѣрѣ, но если обстоятельства времени и мѣста представляютъ нѣкоторые шансы успѣха этой дикой пропагандѣ... Да даже если никакихъ шансовъ она не имѣетъ, такъ ужь одно ея появленіе, сопровождаемое помпой и апломбомъ, способно возмутить людей, знающихъ, какъ дорого стоили человѣчеству начатки просвѣщенія. Г. Боборыкинъ посягнулъ, конечно, не въ буквальномъ смыслѣ на таблицу умноженія, но около того всетаки. Припомните, сколько битвъ произошло на поляхъ россійской литературы изъ-за того самаго вопроса, который съ легкостью почти военнаго человѣка оттрепалъ г. Боборыкинъ въ своемъ «этюдѣ». И не чернилопролитныя только были эти битвы. Нѣтъ, въ нихъ живая душа вкладывалась, въ нихъ слышался откликъ запросовъ настоящей, живой жизни. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ о задачахъ искусства вообще и беллетристики въ особенности съ наибольшею горячностью дебатировался въ нашей литературѣ въ то достопамятное время, когда порывалась и, наконецъ, порвалась «цѣпь великая» крѣпостнаго права. Обсуждался онъ не одинако, а въ непосредственной, внутренней связи со множествомъ другихъ вопросовъ, теоретическихъ и практическихъ, возникавшихъ и разрѣшавшихся на общей почвѣ. Этою общею почвою были новыя, рѣзко измѣнившіяся условія жизни, въ примѣне-

*) 1883, апрѣль.

ніи къ которымъ надлежало пересмотрѣть всѣ параграфы старой правды или якобы правды, покоившейся на барствѣ и рабствѣ. Были, конечно, ошибки и увлеченія въ этой работѣ почти внезапно разбуженныхъ чести и совѣсти. Но важно то, что это была цѣльная работа, что она не ограничивалась анализомъ, а имѣла и синтетическій характеръ. Всѣ части новаго міросозерцанія были другъ съ другомъ согласованы или, по крайней мѣрѣ, стремились къ согласованію. Вотъ почему и вопросъ о задачахъ искусства, казалось бы, совсѣмъ спеціальный и не имѣющій самъ по себѣ непосредственныхъ отношеній къ разнымъ злобамъ дня, сталъ у насъ однимъ изъ яблоковъ житейскаго, почти политическаго раздора. Съ одной стороны, искусству становилось въ обязанность служеніе чистой красотѣ, а, слѣдовательно, подъ видомъ самодовлѣющаго эстетическаго наслажденія, интересамъ тѣхъ общественныхъ слоевъ, которые эту чистую красоту могутъ оплачивать, не получая вмѣстѣ съ красотой никакихъ нравственныхъ уроковъ, а тѣмъ паче упрековъ. Съ другой стороны, отъ искусства, во имя общихъ началъ новой правды, требовалось служеніе жизни во всемъ ея объемѣ; отвлеченная категорія красоты признавалась чѣмъ-то барскимъ, а служеніе ей—рабскимъ. Кромѣ этихъ прямо практическихъ корней раздора, но не независимо отъ нихъ, онъ питался и столкновеніями въ чисто теоретическихъ сферахъ, въ области метафизики или борьбы съ нею.

Много ума, чувства, энергіи было потрачено на эти битвы по вопросу о задачахъ искусства, и, каковъ бы ни былъ результатъ, къ которому вы на этотъ счетъ пришли, васъ должна возмутить легкость почти военнаго человѣка, треплющаго то, на что потрачено столько усилій. Думаю, что на такое трепаніе должны недружелюбно смотрѣть не только противники, а и защитники такъ называемаго чистаго искусства. Потому что какая же это защита? Это такъ что-то въ родѣ ничего, и даже весьма компрометтирующаго ничего.

Я согласенъ, однако, что при иныхъ, болѣе благопріятныхъ для литературы условіяхъ, можно было бы довольно спокойно пройти мимо «этюда» г. Боборыкина или, что тоже, его пропустить мимо ушей. Это, впрочемъ, вѣроятно и случалось съ этюдами г. Боборыкина на ту же тему, потому что онъ упоминаетъ, что, дескать, тогда-то и тогда-то я уже излагалъ эти самыя мысли, но меня «замолчали». Онъ думаетъ, что это отъ чрезвычайной побѣдности его аргументаціи... Ну, и чудесно...

Такъ вотъ, говорю, еслибы литература стояла въ менѣе печальныхъ условіяхъ, еслибы въ ней было все, что можетъ и должно въ ней быть, то якобы научнымъ размышленіямъ г. Боборыкина можно бы было предоставить безданно и безпошлинно гулять по бѣлому свѣту и заняться чѣмъ-нибудь болѣе любопытнымъ. Но въ томъ-то и бѣда, что въ литературѣ нѣтъ и не можетъ быть многаго, что могло бы и должно бы было быть. Ужасно, истинно ужасно многаго...

Г. Боборыкинъ находитъ, что недостаетъ чисто художественной критики. Да, ея нѣтъ и—«не жди, не будетъ». Нѣтъ, потому что нѣтъ чисто художественной беллетристики. Повторяю, художественная оцѣнка произведеній хоть бы г. Боборыкина была бы просто смѣшна и свидѣтельствовала бы только, что критикъ не умѣетъ различать въ разбираемомъ произведеніи важное и неважное, существенное и побочное. И г. Боборыкинъ вовсе не одинъ находится въ такомъ положеніи. Я упоминалъ въ прошлый разъ о романахъ гг. Лѣтнева и Зависѣцкаго; возьмите романы гг. Авсѣнко, Маркевича, Орловскаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ», возьмите, наконецъ, разсказъ г. Григоровича «Гуттаперчевый мальчикъ», который недавно одинъ критикъ пытался превратить въ чисто художественное произведеніе и дать ему соотвѣтственную оцѣнку. Я не отрицаю художественныхъ красотъ «Гуттаперчеваго мальчика», хотя надо признаться, что эти красоты не ахти какихъ размѣровъ; но дѣло въ томъ, что это всетаки разсказъ тенденціозный, проникнутый «пагубною моралью». Можно говорить, что тенденція его хороша въ нравственномъ смыслѣ, хотя и грубовато подчеркнута и азбучна по своему содержанію, но отрицать ее и видѣть въ «Гуттаперчевомъ мальчикѣ» нѣкоторый перлъ чистаго искусства смѣшно или недобросовѣстно. Что бы ни говорилъ г. Боборыкинъ и прочіе, но «тенденція», «пагубная мораль» навсегда завоевали себѣ мѣсто въ беллетристикѣ, и трезвые люди должны не объ томъ думать, чтобы изгнать ихъ оттуда—это донкихотовское предпріятіе—а объ томъ, чтобы регулировать ихъ вліяніе, опредѣлить ихъ мѣсто рядомъ съ художественнымъ элементомъ. Практически, тенденціи и пагубной морали грозятъ не набѣги гг. Боборыкиныхъ, а совсѣмъ другія обстоятельства.

Есть у насъ писатель Н. С. Лѣсковъ. Когда-то, подъ псевдонимомъ Стебницкаго, онъ занимался беллетристическимъ изобличеніемъ разныхъ «измовъ», но потомъ оставилъ эту тему и перешелъ къ изображенію, иногда очень талантливому, быта нашего духовенства. За самое послѣднее время г. Лѣсковъ заставилъ о себѣ говорить двумя письмами въ редакціи газеты «Новости» и

«Газеты Гатцука». Въ первомъ письмѣ онъ излагалъ, почему онъ уволенъ безъ прошенія, по знаменитому третьему пункту, отъ службы въ ученомъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія: начальство нашло его литературныя занятія несовмѣстными съ государственною службою и предложило или подать въ отставку, или бросить литературу; г. Лѣсковъ не согласился ни на то, ни на другое и потому былъ уволенъ безъ прошенія. Второе письмо—въ редакцію «Газеты Гатцука»—интереснѣе. Потому интереснѣе, что поводомъ къ нему послужилъ не случайный какой-нибудь острый эпизодъ изъ жизни русскаго писателя, а общая и хроническая болѣзнь всей русской литературы. Вотъ это письмо цѣликомъ.

«Къ прискорбію для себя и къ очевидной досадѣ редакціи, а, можетъ быть, и для нѣкоторыхъ читателей, я долженъ отказаться продолжать печатаніе начатаго у васъ романа «Соколій Перелетъ». Я сознаю всю неловкость этого отказа, но не могу поступить иначе. Романъ этотъ начатъ писаніемъ давно, болѣе двухъ лѣтъ назадъ, при обстоятельствахъ, которыя для печати весьма разнятся отъ нынѣшнихъ. Въ романѣ я хотѣлъ изобразить «перелетъ» отъ идей, отмѣченныхъ мною двадцать лѣтъ назадъ въ романѣ «Некуда», къ идеямъ новѣйшаго времени. Въ романѣ «Соколій Перелетъ» также должны были выступить на свѣтъ и многія изъ лицъ, извѣстныхъ публикѣ по роману «Некуда», который въ одной изъ критическихъ замѣтокъ г-на П. Щ. былъ названъ «пророческимъ». Во многомъ, дѣйствительно, намѣченное въ томъ романѣ совершилось, какъ по писанному. Каковъ бы показался въ этомъ общественномъ значеніи романъ «Соколій Перелетъ», я не знаю, но хорошо знаю, что онъ не пошелъ бы въ тонъ нынѣшнему взгляду на литературу, и во что бы то ни стало я останавливаюсь. Останавливаюсь просто потому, что, вѣрно или невѣрно, я нахожу эту пору совершенно неудобною для общественнаго романа, написаннаго правдиво, какъ я стараюсь, по крайней мѣрѣ, писать, не подчиняясь ни партійнымъ, никакимъ другимъдавленіямъ.

«Приношу этимъ письмомъ мою повинную редакціи и всѣмъ подписчикамъ газеты.

«Взамѣнъ этого романа, я напишу вамъ и сообщу въ нынѣшнемъ же году для напечатанія романъ чисто бытоваго характера, на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній: «влюбился и женился», или «влюбился и застрѣлился».

«Конечно, я употреблю все отъ меня зависящее, чтобы обмѣнъ этотъ не былъ для вашихъ подписчиковъ невыгоденъ, и постараюсь дать интересное чтеніе».

Я не знаю «Сокольяго Перелета», но знаю «Нѣкуда». Этотъ романъ представляетъ отчасти фотографію, отчасти пасквиль и насквозь проникнутъ тою обличительною тенденціею, которою нынѣ блещутъ романы «Русскаго Вѣстника» и которая въ ту пору была еще новинкой. Г. Лѣсковъ и нынѣ, двадцать лѣтъ спустя, не только не отказывается отъ своего романа, но гордится имъ и былъ намѣренъ обогатить сокровищницу печатнаго русскаго слова его продолженіемъ. Тѣмъ поучительнѣе теперешній отказъ его отъ этого намѣренія, отказъ публичный, торжественный. Авторъ «Некуда» находитъ, что, при нынѣшнемъ положеніи русской печати, правдивый общественный романъ невозможенъ... Вотъ фактъ. Намъ съ вами все равно, какъ и почему пришелъ г. Лѣсковъ къ своему заключенію и соотвѣтственному рѣшенію: потому-ли, что на своемъ личномъ опытѣ извѣдалъ нѣкоторые терніи жизни вообще и писательской дѣятельности въ частности; потому-ли, что, уволившись отъ службы въ ученомъ комитетѣ министерства народнаго просвѣщенія, получилъ больше досуга для наблюденій и размышленій—все равно. Важно то, что онъ, именно онъ, отказывается дописывать продолженіе «Некуда», и отказывается потому, что нынѣшняя пора «совершенно неудобна для общественнаго романа, написаннаго правдиво...»

Не думаю, милостивые государи, чтобы для оцѣнки извѣстнаго положенія, мы должны были ждать, пока возопіютъ камни. Полагаю, что и г. Лѣскова достаточно. Тѣмъ болѣе, что, кромѣ собственнаго его рѣшенія не дописывать «Сокольяго Перелета», г. Лѣсковъ не сообщилъ ничего новаго или неожиданнаго. Правдиваго общественнаго романа у насъ, дѣйствительно, нѣтъ и быть не можетъ, хотя, съ другой стороны, онъ несомнѣнно могъ бы и долженъ бы былъ быть. У насъ печатается много романовъ, даже слишкомъ много, и есть между ними романы «общественные», но, полагаю, никто не назоветъ произведеній гг. Маркевича или Лѣтнева романами правдивыми. Сошлюсь на г. Лѣскова. Будучи несравненно талантливѣе г. Маркевича, а тѣмъ паче г. Лѣтнева, онъ могъ бы плодить подобные романы десятками. Но онъ не хочетъ, онъ не можетъ, ибо понимаетъ, сколь неправдивы и односторонни всѣ эти образы и картины, а разъ человѣкъ, по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ, это понялъ и прочувствовалъ, перо само собой вывалится изъ его рукъ...

Почему же, однако, оно должно непремѣнно вывалиться? Казалось бы, тутъ-то и должна наступить пора расцвѣта чисто художественной литературы, пора «вдохновенья, звуковъ сладкихъ и молитвъ», потому что

вѣдь, это чуть не единственное дѣло, предоставляемое условіями времени беллетристу. Казалось бы такъ, а вотъ подите же! Нѣтъ «звуковъ сладкихъ».. Обратите, пожалуйста, вниманіе на нескрываемое презрѣніе, съ которымъ г. Лѣсковъ говоритъ о «романѣ чисто бытового характера на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній; влюбился и женился, или: влюбился и застрѣлился». Дѣлать ужъ, молъ, нечего, назвался груздемъ, полѣзу въ кузовъ, обѣщалъ, такъ дамъ хоть пустяковину, только постараюсь, чтобы она представила «интересное чтеніе». Ну, а извѣстно, что это такое значитъ «интересное чтеніе»: уголовщина и порнографія. Между тѣмъ, сами по себѣ, темы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился» вовсе презрѣнія не заслуживаютъ. Люди любили, женились, стрѣлялись, любятъ, женятся, стрѣляются и, какъ ни древни эти акты жизни, но всегда въ нихъ есть нѣчто новое и часто не для дѣйствующихъ только лицъ, а и для присутствующихъ въ качествѣ зрителей. Игра страстей идетъ своимъ чередомъ, среди разнообразныхъ общественныхъ условій, хотя — прошу замѣтить въ интересахъ нижеслѣдующаго—весьма часто въ прямой отъ нихъ зависимости. Во всякомъ случаѣ, счастливая и несчастная любовь и весь сюда относящійся переплетъ страсти, волненій, скорби, радости ничего презрѣннаго, въ смыслѣ беллетристической темы, не представляютъ. Она, эта старая и всетаки новая тема, войдетъ, безъ сомнѣнія, какъ частность, и въ тѣ правдивые общественные романы, которыхъ теперь нѣтъ и быть не можетъ, но которые когда-нибудь да будутъ же. Наконецъ, надо замѣтить, что схемы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился» еще отнюдь не составляютъ области чистаго искусства и «звуковъ сладкихъ». Напротивъ, онѣ допускаютъ и стрѣлы сатиры, и проповѣдь моралиста, и реформаторскую тенденцію, и, вообще, всякія формы «пагубной морали». И всетаки за романъ «на мотивъ всегда удобныхъ для разработки положеній» г. Лѣсковъ принимается только потому, что назвался груздемъ и, дѣлать нечего, надо лѣзть въ кузовъ...

Милостивые государи, уже въ первомъ письмѣ моемъ изъяснялся я въ любви къ русской литературѣ. Однако, любовь, эта не дѣлаетъ меня слѣпымъ. Въ литературѣ есть вещи и люди грязнѣе грязнаго и ниже низкаго. Можетъ быть, конечно, поневолѣ относишься нѣсколько строго къ служителямъ слова, постоянно соприкасающимся съ областью идеала, а можетъ быть и дѣйствительно самое это поприще таково, что допускаетъ особенно рѣзкое обнаруженіе и, такъ сказать, выпячиваніе грязи и низости, но добра этого въ литературѣ, во всякомъ случаѣ, очень много. Есть за то въ ней и много высокаго, даже трогательнаго и умилительнаго. Иначе, какъ этими словами, не умѣю я назвать, напримѣръ, ту чуткость и ту бережность, съ которыми лучшая часть нашей беллетристики обходитъ невозможный по нынѣшнему времени общественный романъ, не впадая вмѣстѣ съ тѣмъ въ производство «интереснаго чтенія», то-есть уголовщины и порнографіи. По случаю нынѣшняго литературнаго положенія, много и часто говорятъ объ оскудѣніи русской земли талантами, однимъ изъ признаковъ котораго является, будто бы, обиліе «очерковъ», «отрывковъ», «замѣтокъ» при отсутствіи цѣльныхъ, законченныхъ произведеній. Не думаю, однако, чтобы это, во всякомъ случаѣ интересное и характерное, явленіе въ самомъ дѣлѣ свидѣтельствовало о творческомъ слабосиліи. Прежде всего, въ указанномъ мнѣніи, если-бы оно было справедливо, надо бы сдѣлать очень важную поправку. Всѣ-ли наши литературныя теченія даютъ только очерки и отрывки и не даютъ законченныхъ произведеній? Нѣтъ, не всѣ. «Русскій Вѣстникъ», напримѣръ, не спускаетъ съ своихъ страницъ двухъ большихъ романовъ, вполнѣ благоустроенныхъ, съ завязками, интригами, развязками, съ обиліемъ дѣйствующихъ лицъ, взятыхъ изъ разныхъ слоевъ общества, съ сложными коллизіями страстей и интересовъ. А въ вашемъ журналѣ, наоборотъ, особенно замѣтно преобладаніе очерковъ и отрывковъ. Слѣдовательно, надлежало бы говорить не объ оскудѣніи талантовъ вообще, а только объ ихъ оскудѣніи въ извѣстныхъ литературныхъ группахъ. «Русскій Вѣстникъ», несомнѣнно, блещетъ творческою силою. Блещетъ творческая сила и еще кое-гдѣ, если разумѣть подъ ней способность создавать законченныя вещи. Вотъ, напримѣръ, г. Лѣтневъ, давно уже подвизающійся на литературномъ поприщѣ, точно блины печетъ, творитъ романы въ соотвѣтственной полной парадной формѣ, то-есть комбинируя извѣстнымъ образомъ характеры и положенія и доводя эти комбинаціи до точки или восклицательнаго или вопросительнаго знака. Опять же г. Боборыкинъ... Да мало-ли! А г. Лѣсковъ прямо говоритъ: напишу, говоритъ, бытовой романъ и будетъ интересно; только, говоритъ, писать мнѣ немножко противно...

Мы опять вернулись къ поучительной торжественности отказа г. Лѣскова отъ дописыванія «Сокольяго Перелета», и онъ долженъ намъ что-нибудь объяснить. Почему авторъ «Некуда», оставаясь самимъ собой, нисколько не измѣняя своему пониманію вещей, отлитому въ формѣ романа двадцать лѣтъ тому назадъ, отказывается нынѣ дописывать

«общественный романъ?» Потому, что правдивый общественный романъ не допускается условіями, въ которыхъ стоитъ русская печать. Почему ему немножко противно эксплуатировать вѣковѣчныя темы «влюбился и женился» или «влюбился и застрѣлился?» Отнюдь не потому, что эти темы какъ-нибудь сами по себѣ презрѣнны, а только потому, что не ими полна его творческая фантазія, что къ нимъ онъ притягивается не силою внутренняго влеченія, а совокупностью внѣшнихъ обстоятельствъ. Но въ извѣстномъ смыслѣ г. Лѣсковъ еще счастливо выходитъ изъ своего труднаго положенія: назвавшись груздемъ, онъ лѣзетъ въ кузовъ; какъ ни какъ, а сдѣлаетъ то дѣло, приступить къ которому ему немножко противно. Но представьте себѣ человѣка, которому оно до такой степени противно, что даже невозможно...

Представить себѣ такого человѣка вовсе не трудно, и я думаю, что здѣсь-то и надо искать корня современнаго якобы оскудѣнія талантовъ, насколько оно выражается обрывочностью и эскизностью, грозящими заполонить русскую белетристику. Не оскудѣніемъ, я думаю, они (въ общемъ, разумѣется, а не во всѣхъ подробностяхъ) объясняются, а своего рода аскетизмомъ, воздержаніемъ. Помилуйте, да неужто въ самомъ дѣлѣ трудно написать романъ или повѣсть съ головой и хвостомъ, съ завязкой, интригой и развязкой?! Для беллетриста, что называется, владѣющаго перомъ, это пустяковое дѣло, если только онъ отнесется къ нему, какъ къ пустяковому дѣлу, то-есть, возьметъ первую попавшуюся тему и будетъ ее тянуть по линіи наименьшаго сопротивленія внѣшнихъ условій. Люди такъ давно любятъ, женятся и стрѣляются и такъ давно отливаютъ все это въ художественные образы и картины, что даже вполнѣ малодаровитый беллетристъ имѣетъ передъ собой сотни готовыхъ шаблоновъ и трафаретовъ. Просто садись и пиши! Нѣкоторые садятся и пишутъ, и именно сколько посидятъ, столько и напишутъ. Ну, а другіе не хотятъ. Они, эти другіе, опять-таки не имѣютъ резоновъ презирать стародавнія и не старѣющія темы «влюбился и женился» и «влюбился и застрѣлился». Но не тѣмъ полна ихъ душа, не тотъ родъ образовъ и картинъ толпится въ ихъ творческой фантазіи и просится наружу. При этихъ-то условіяхъ и возникаетъ преобладаніе очерковъ, отрывковъ, замѣтокъ, свидѣтельствующее не объ оскуденіи талантовъ, а о наличности живого, нравственнаго чувства. Поэтому-то воздержаніе отъ романа, безотносительно говоря, очень для литературы печальное, представляется мнѣ необыкновенно трогательною чертою современной беллетристики. Намъ съ вами, впрочемъ, а можетъ быть не только намъ съ вами, нечего долго раздумывать для оцѣнки положенія дѣла: достаточно оглянуться, посмотрѣть, кто воздерживается отъ романа и кто не воздерживается...

Но, милостивые государи, беллетристы это, вѣдь, не особенная какая-нибудь порода людей. Nous sommes hommes comme eux, какъ распѣвали въ старину французскіе крестьяне, сравнивая себя съ феодалами. Отъ прочихъ людей беллетристы отличаются только способностью говорить образами и картинами. Завидная способность, конечно, но она не вліяетъ на мысли и чувства, дѣятельность которыхъ вызываетъ художественное творчество, цементируетъ его продукты и опредѣляетъ ихъ движенія. Эти мысли и чувства носятся по всему лицу русской земли. И если г. Лѣсковъ торжественно заявляетъ о своемъ воздержаніи отъ общественнаго романа, если нѣкоторые другіе беллетристы давно уже практикуютъ этотъ въ извѣстномъ смыслѣ невольный аскетизмъ, то...

Извините, я себя перебью совершенно фантастическимъ предположеніемъ. Представьте себѣ, что способность говорить образами и картинами дарована волею капризной судьбы всѣмъ русскимъ людямъ, что наше обширное отечество сплошь населено беллетристами. Невозможное, конечно, дѣло, но такъ, къ примѣру. Что стала бы дѣлать вся эта громада беллетристовъ? или по крайней мѣрѣ, куда, въ какую область творчества направились бы самыя страстныя ея желанія и самыя энергическія усилія? О, мы получили бы тогда чрезвычайно много поганыхъ произведеній того сорта, который вызываетъ слюнотеченіе у разслабленныхъ старичковъ, много экземпляровъ помѣси фотографіи съ пасквилемъ и разнаго другого, якобы художественнаго, добра. Но я думаю, что подавляющее большинство художественныхъ произведеній этого фантастическаго государства составили бы всетаки общественные романы. Понятное дѣло, что если всѣ прочія условія русской жизни останутся неприкосновенными въ теперешнемъ своемъ видѣ, то сравнительно лишь очень не многіе общественные романы увидятъ божій свѣтъ. Будутъ десятки и сотни тысячъ романовъ à la Авсѣенко, Маркевичъ и Орловскій, но романовъ въ томъ родѣ, каковъ недописанный романъ г. Лѣскова (чтобы говорить только объ немъ), не будетъ вовсе. Вынужденный аскетизмъ авторовъ этихъ произведеній, отцвѣтшихъ, не успѣвши расцвѣсть, заставитъ ихъ искать удовлетворенія творческой потребности въ акридахъ и дикомъ медѣ «очерковъ», «от-

рывковъ» или же тѣхъ вѣковѣчныхъ положеній, къ которымъ съ такимъ пренебреженіемъ относится г. Лѣсковъ. Но вся ихъ Sehnsucht, какъ сказалъ бы нѣмецъ, весь порывъ ихъ мысли и вся страстность ихъ желанія влекли бы ихъ туда, въ сторону общественнаго романа...

Такъ, я думаю, было бы, потому что вѣдь и теперь такъ есть. Такъ идутъ дѣла средп горсточки беллетристовъ, соотвѣтственно идутъ они и въ средѣ прочихъ русскихъ людей. Ихъ, этихъ прочихъ, не тянетъ писать общественный романъ, потому что имъ не хватаетъ способности говорить образами и картинами, но ихъ Sehnsucht направлена къ дѣятельному участію въ общественномъ романѣ, сочиняемомъ самою жизнью, исторіей; въ общественномъ романѣ, замѣтьте, то-есть въ цѣльной и широкой картинѣ русской жизни, а не въ отрывкѣ или очеркѣ и не въ амурно-уголовныхъ эпизодахъ.

Какъ и въ давнюю, и въ недавнюю старину, своимъ чередомъ люди любятъ, женятся, стрѣляются, но не здѣсь лежитъ центральное чувствилище русской жизни, не здѣсь бьется ея пульсъ, не здѣсь и долженъ биться, потому что если г. Лѣсковъ съ пренебреженіемъ относится къ навязаннымъ ему внѣшними условіями темамъ, то кольми паче должно ихъ отвести на задній планъ обширное отечество г. Лѣскова...

Не всѣ, однако, такъ думаютъ. «Новое Время», которое «всегда что-нибудь этакое скажетъ», недавно предоставило свои страницы цѣлому дождю писемъ «обманутыхъ мужей», «обманываемыхъ женъ» и еще какихъ-то людей, за что-то, а можетъ быть ни за что ни про что, наказанныхъ непорядками семейной жизни. Въ тѣхъ письмахъ, натурально, призывались кары небесныя и земныя на нарушителей супружеской вѣрности, а «Новое Время» съ своей стороны прибавляло: вотъ настоящіе, жгучіе вопросы дня, а совсѣмъ не «политика», по которой вздыхаютъ «лже-либералы!» Въ цѣломудріи своемъ редакція «Новаго Времени» не остановилась на комментаріяхъ къ письмамъ неудачно устроившихся людей. Двое изъ ея видныхъ представителей, гг. Суворинъ и Буренинъ сочинили на ту же тему драму «Медея», ловко поставили ее на сцену, ловко муссировали, заставили въ продолженіи сравнительно долгаго времени говорить объ ней всю ежедневную печать. Теперь, впрочемъ, она, кажется, такъ же быстро канула на дно мелководнаго петербургскаго житейскаго моря, какъ быстро всплыла на его поверхность. Я не берусь судить о достоинствахъ этой «Медеи», потому что только по газетнымъ отзывамъ ее и знаю. Да, признаться сказать, мнѣ до ея достоинствъ или недостатковъ и дѣла-то столько же, сколько до тараканова, которые одолѣваютъ квартиру редакціи «Новаго Времени», объ чемъ она, редакція, недавно тоже пространно и горячо доводила до свѣдѣнія публики. «Медея» меня занимаетъ только вотъ съ какой стороны. Два писателя, барахтающіеся въ самомъ водоворотѣ текущей жизни, со всѣми ея многочисленными шипами и немногочисленными розами, удаляются въ глубь античнаго міра, куда ихъ, повидимому, ничто не приглашаетъ; удаляются затѣмъ, чтобы добыть тамъ фабулу драмы. Фабула же дорога имъ въ видахъ интересовъ семейной нравственности и игры личныхъ страстей, каковые интересы, по другому поводу, противопоставляются интересамъ «политики», или, если вы позволите мнѣ продолжать мою метафору, интересамъ общественнаго романа...

Коллизія страстей, изображенная въ «Медеѣ», довольно обыкновенна; месть жены и матери за попранныя права семейнаго начала. Случай, если не столь же обыкновенный, какъ «влюбился и женился», то ужъ навѣрное не болѣе рѣдкій, чѣмъ «влюбился и застрѣлился». Можно съ увѣренностью сказать, что въ разныхъ углахъ нашего отечества, каждый день десятки мужей и женъ попадаютъ въ подобное положеніе и подобнымъ же образомъ, хотя и не въ столь грандіозныхъ размѣрахъ, изъ него выходятъ, если только это выходъ. Спрашивается, почему же авторы «Медеи», люди въ полномъ смыслѣ текущей минуты, обратились къ античному міру, куда ихъ, повторяю, ничто не приглашало: ни глубокое знаніе этого міра, ни личные вкусы, насколько они обнаружились ихъ многолѣтнею литературною дѣятельностью? Легко можетъ быть, что это вышло совершенно случайно, какъ разсказываетъ г. Суворинъ: уѣхалъ онъ на лѣто изъ Петербурга отдохнуть, а чтобы отдохнуть совсѣмъ настояще, захватилъ съ собой книгъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ такъ называемымъ злобамъ дня; читая эти книжки, увлекся красотою античной драмы и т. д. Съ точки зрѣнія отстаиванія интересовъ законнаго брака и протеста противъ «теоріи свободной любви», замыселъ вышелъ, во всякомъ случаѣ, очень удачнымъ. Во-первыхъ, строгимъ тономъ классической драмы устранена опасность скабрезныхъ сценъ, которыхъ гг. Суворинъ и Буренинъ едва-ли избѣжали бы въ изображеніи нынѣшней реальной жизни (зри разныя повѣсти г. Буренина) и которыя были бы вполнѣ неумѣстны въ драмѣ, «согласной съ строгою моралью». Во-вторыхъ, какъ справедливо говорится въ одной статьѣ «Новаго Времени», «иные вопросы легче рѣзко и

прямо ставить, когда цивилизація была не такъ сложна, но человѣкъ жилъ страдалъ и чувствовалъ». Дѣйствительно, вся «политика» драмы для насъ какъ бы не существуетъ, совсѣмъ она намъ чужая. Не только, впрочемъ, потому, что она гораздо менѣе сложна, чѣмъ та, по которой вздыхаютъ «либералы», а потому еще, что очень она отъ насъ удалена во времени. Какое намъ дѣло до похода аргонавтовъ, до Язона, какъ общественнаго дѣятеля, до участи царя Пеліаса и проч.? Все это само собой отпадаетъ прочь и вниманіе сосредоточивается на трагическомъ образѣ женщины, любящей, отвергнутой, страдающей и мыслящей. Получается какъ бы схематическое, отвлеченное, оголенное, если можно такъ выразиться, изображеніе различныхъ перипетій несчастной страсти. Съ другой стороны, однако, эта схематичность не мѣшаетъ выпуклости и яркости изображенія. А такъ какъ Медея натура сильная, то ея несчастія и страданія приковываютъ къ себѣ не только вниманіе, а и участіе, симпатію зрителей, вслѣдствіе чего должна торжествовать идея брака въ противоположность «теоріи свободной любви». Не знаю, какъ все это у гг. Суворина и Буренина исполнено, но задумано очень хорошо въ практическомъ отношеніи, то-есть очень цѣлесообразно: въ одно и тоже время публика оттягивается отъ политики къ вопросамъ личной нравственности, а въ этихъ послѣднихъ предоставляется торжество «строгой морали».

Но, милостивые государи, если все такъ хорошо устроилось въ смыслѣ цѣлесообразности, то я не думаю, чтобы оно такъ же хорошо устроилось въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ. Прежде всего, я не думаю, чтобы Медея заслуживала очень большой симпатіи. Разумѣется, ее жаль по человѣчеству, но можно и другихъ дѣйствующихъ лицъ драмы пожалѣть, можно найти въ драмѣ и кое-какіе моменты, ослабляющіе жалость къ Медеѣ. Мимоходомъ сказать, нынче въ большой модѣ ссылаться на мнѣнія народа, на его идеалы и гуманное пониманіе личныхъ и общественныхъ отношеній. Редакція «Новаго Времени» очень любитъ играть на этомъ инструментѣ, отъ безцеремоннаго употребленія довольно-таки разстроенномъ. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, что и въ предисловіи къ «Медеѣ» находимъ слѣдующія строки, объ которыхъ можно-бы было, впрочемъ, сказать, что онѣ ни къ селу, ни къ городу: «Намъ кажется, въ легендѣ о Медеѣ сказался народный разумъ, выразились желанія рѣзко поставить вопросъ о дѣтяхъ и о положеніи женщины». Народный разумъ!.. Какой такой народный разумъ? Какого народа? Во всякомъ случаѣ, если вы сведете на представленіе «Медеи» русскаго мужика, то бьюсь объ закладъ на что хотите, онъ назоветъ героиню вѣдьмой, именно этимъ самымъ словомъ. Не только потому, что Медея занимается волшебствомъ и приготовленіемъ ядовъ, а и вслѣдствіе необыкновенной ея жестокости и всегдашней готовности совершить любое преступленіе, нанести своему ближнему какой угодно вредъ ради своей личной страсти. Цивилизованные и притомъ высоко нравственные люди, каковы гг. Суворинъ и Буренинъ, не могутъ, конечно, смотрѣть на вещи съ точки зрѣнія такого «народнаго разума». Они прислушиваются къ хорошимъ словамъ Медеи о «правахъ женщинъ», любуются ея страстною любовью къ Язону и негодуютъ на Язона за то, что онъ разлюбилъ Медею...

Язонъ разлюбилъ Медею и полюбилъ Креузу. За что разлюбилъ, за что полюбилъ—неизвѣстно. Относительно Медеи «народный разумъ» выразился бы очень просто и жестко: какъ ее любить-то, этакую вѣдьму?! Но тотъ же народный разумъ сочинилъ пословицу: полюбится сатана пуще ясна сокола. Дѣло темное, любятъ не за что-нибудь, а почему-нибудь, и именно потому, что любится. Однако, посторонній наблюдатель очень часто можетъ различить въ супружескихъ отношеніяхъ такіе моменты, которые настраиваютъ людей на любовный ладъ, и такіе, которые подниливаютъ любовь. Авторъ «Медеи» видитъ, что ихъ героиня вся соткана изъ страстной любви и преданности Язону, оказываетъ ему чрезвычайно важныя услуги, служитъ ему надежнѣйшей опорой въ жизни, и затѣмъ восклицаетъ: какая черная неблагодарность со стороны Язона! столь черная, что страшная месть Медеи вполнѣ оправдана, а разныя «теоріи» совершенно посрамлены. Но не кажется-ли вамъ, милостивые государи, что для совершеннаго посрамленія теорій гг. Суворинъ и Буренинъ сдѣлали хотя и много, но всетаки не вполнѣ достаточно. Конечно, если Язонъ просто изъ каприза и отъ легкомыслія своего, не борясь съ новымъ чувствомъ и не думая о чужой бѣдѣ, бросилъ Медею, ухватился за Креузу, потомъ ее броситъ и т. д., такъ это очень нехорошо. А если Медея дѣйствительно служила опорой Язону, была ему помощницей и преданнымъ другомъ, такъ это, напротивъ того, превосходно. Предъявивши только эти два положенія, можно, разумѣется, ни малѣйше не сомнѣваться въ томъ, на чьей сторонѣ окажутся симпатіи присутствующихъ при драмѣ. Но за то столкновеніе этихъ двухъ положеній нисколько не способствуетъ разрѣшенію вопроса, который имѣется въ виду «Медеей». Ну, а еслибы Медея, даже, положимъ, любя Язона,

никогда ему помощницей не была, никакихъ услугъ не оказывала и, напротивъ, всякія пакости ему дѣлала (бываетъ вѣдь это)? Еслибы, съ другой стороны, Язонъ всячески старался раздуть чуть тлѣющій огонекъ любви къ своей неудачно выбранной подругѣ, еслибы онъ, бережно относясь къ чужой бѣдѣ, боролся съ новымъ чувствомъ и только въ борьбѣ этой, наконецъ, изнемогъ бы передъ любовью къ Креузѣ и презрѣніемъ, отвращеніемъ, вообще какимъ-нибудь отрицательнымъ чувствомъ къ Медеѣ? Тогда какъ? Разрѣшили-ли бы высоконравственные авторы Язону попытку новаго счастія и отстаивали-ли бы они «права» Медеи? Я не знаю. Будемъ ждать новаго quasi-античнаго произведенія, въ которомъ вопросъ поставится въ этой болѣе любопытной, потому что менѣе элементарной, комбинаціи. Теперь же «Медея» даетъ поддержку только нерасторжимости при извѣстныхъ, совсѣмъ не часто встрѣчающихся условіяхъ.

Какъ ни элементарны, однако, положенія, избранныя авторами «Медеи» для эксплуатаціи, они, всетаки, не до такой степени просты, какъ было бы въ интересахъ идей гг. Суворина и Буренина. Еслибы Медея не отличалась беззавѣтною преданностью и непоколебимою вѣрностью Язону, еслибы она, напримѣръ, что называется, пошаливала на сторонѣ тайкомъ отъ мужа, то авторы, вѣроятно, разрѣшили бы Язону уйти съ миромъ къ Креузѣ или даже отомстить болѣе или менѣе жестоко. Но, и кромѣ подобныхъ «шалостей», бываютъ обстоятельства, непреодолимо отвращающія Язоновъ отъ Медей. Такова, напримѣръ, одна изъ услугъ, оказанныхъ Медеей Язону. Вотъ что, между прочимъ, говорится въ предисловіи къ «Медеѣ».

«Первую драму о Медеѣ написалъ Эврипидъ, но эта драма не дошла до насъ. Извѣстно только ея содержаніе. Аргонавты пристаютъ къ Іолкосу, гдѣ царствовалъ Пеліасъ, дядя Язона, благодаря которому Язонъ и пустился въ опасное путешествіе. Медея обратилась, при помощи чаръ, въ старика и явилась въ городъ, гдѣ выдавала себя за чародѣя изъ странъ гиперборейскихъ. Между прочимъ, она увѣрила царя и его дочерей въ томъ, что она имѣетъ способность обращать стариковъ въ юношей и и въ доказательство этого сама обратилась въ прекрасную женщину. Пеліасу, разумѣется, захотѣлось получить юность; Медея убѣдила дочерей его, что стоитъ только изрубить въ куски Пеліаса, сварить его и затѣмъ, при помощи ея чаръ, онъ возстанетъ снова въ цвѣтущей юности. Въ то время, когда дочери продѣлывали этотъ опытъ, Медея, якобы для заговоровъ, взошла на крышу дворца и подала знакъ аргонавтамъ, чтобъ они высаживались на берегъ. Мефистофельская затѣя, говорящая объ умѣ Медеи»,..

Мефистофельская затѣя, свидѣтельствующая объ умѣ... Можетъ быть! Но, кромѣ ума, тутъ, кажется, не мало хитрости, подлости и жестокости. И вы, конечно, легко можете себѣ представить превосходную драму, построенную на такомъ мотивѣ: Язонъ, воспользовавшись подъ вліяніемъ Медеи ея кровавой услугой, получаетъ потомъ къ ней отвращеніе именно за эту услугу; его совѣсть постоянно мучится тѣнью изрубленнаго въ куски Пеліаса. Во всякомъ случаѣ, очень, вѣдь, часто бываетъ, что подстрекатели, пособники и исполнители преступленія становятся съ теченіемъ времени неодолимо противны тѣмъ, чье честолюбіе или корыстолюбіе воспользовалось плодами преступленія...

Изъ всего этого видно, что не такъ ужъ рѣшительны, всеобщи и безапелляціонны выводы, какіе сдѣланы изъ «Медеи» ея творцами, и что вопросъ, поставленный въ этой драмѣ, остается вполнѣ въ своемъ прежнемъ до-медейскомъ видѣ. И не только этотъ вопросъ, не только избіеніе «теорій» не удались авторомъ «Медеи», а и отклоненіе публики отъ «политики» къ вопросамъ личной и семейной нравственности, ибо эти вопросы находятся въ большой зависимости отъ политики.

Какъ извѣстно и вамъ, милостивые государи, и просвѣщенной редакціи «Новаго Времени», и всякому, читавшему что-нибудь изъ чрезвычайно обширной литературы по бытовой исторіи и этнографіи, супружескія отношенія въ разныя времена и у разныхъ народовъ складываются очень различно. Какъ случайность, характеръ Медеи можетъ, разумѣется, прокинуться всегда и вездѣ, но далеко не такъ всеобще ея значеніе, какъ типа. Такъ, напримѣръ, въ странахъ, исповѣдующихъ магометанскую религію, Медея возможна только въ видѣ совершеннаго исключенія; въ огромномъ же, подавляющемъ большинствѣ случаевъ, ревнивое охраненіе Медеями своихъ правъ не пойдетъ дальше требованія или даже только желанія помѣщаться въ одномъ гаремѣ съ Креузами. Наоборотъ, есть страны, въ которыхъ господствуетъ поліандрія, и гдѣ честь Медей требуетъ, чтобы у нихъ было много Язоновъ, а совсѣмъ не того, чтобы Язонъ былъ неотлучно на всю жизнь при Медеѣ. И т. п. Много есть такихъ безобразныхъ установленій. Наконецъ, въ любой европейской странѣ, въ томъ числѣ и Россіи, есть такіе слои общества, гдѣ Медеи просто немыслимы: либо потому, что женщина слишкомъ при-

нижена и не смѣетъ даже заикнуться о какихъ бы то ни было своихъ «правахъ»; либо потому, что она слишкомъ распущена и пускаетъ своего Язона къ любой Креузѣ, лишь бы онъ ей самой не мѣшалъ удовлетворяться какими-нибудь Альфонсами; либо наконецъ потому, что ея понятія о стыдѣ и чести, ея нравственная брезгливость направлена въ ту сторону, чтобы никому, ни даже самому Язону не показать своей боли. Откуда бы ни проистекали всѣ эти разнообразныя рѣшенія семейнаго вопроса, но всѣ они поддерживаются силою общественнаго мнѣнія. Семейныя драмы вовсе не на одной любви вертятся. Огромную роль играютъ тутъ условія экономическія и понятія о достоинствѣ и позорѣ, а эти послѣднія почти цѣликомъ устанавливаются общественнымъ мнѣніемъ. Вотъ, напримѣръ, тирада Медеи, заимствуемая мною изъ «Новаго Времени»:

Права
У мужа такъ велики, что немного
И женщинѣ оставить надо. Мужа
Жена приданымъ покупать должна
И какъ рабыня быть ему послушна,
Изъ худшаго что можетъ хуже быть
Такого послушанья, если мужъ
Дурной достанется? Предвидѣть все
Возможно-ли неопытной дѣвицѣ?
Разводъ?Но онъ на насъ клеймомъ ложится.
И остается намъ такая жизнь:
И жить нельзя и не приходитъ смерть!

Вы видите, что любовь тутъ рѣшительно не причемъ. Все дѣло въ юридически нормированныхъ экономическихъ условіяхъ и во вліяніи общественнаго мнѣнія, которое «клеймитъ позоромъ» разводъ. Пусть завтра измѣнятся эти условія и бо́льшая половина несчастія Медеи исчезнетъ, трагическій моментъ сведется къ сравнительно ничтожному minimum'у. А теперь что же дѣлать несчастной женщинѣ, которой достался «дурной мужъ»? Месть, самоубійство, обманъ, вотъ обыкновенно практикуемые въ такихъ случаяхъ и независимые отъ «теорій» выходы. Но развѣ это выходы? Это только размноженіе бѣды и горя! Положимъ, что самоубійство есть выходъ, но это выходъ изъ жизни, а не изъ затрудненія, притомъ выходъ, въ общемъ смыслѣ ничего не достигающій: родной сынъ самоубійцы можетъ наткнуться на «дурную жену», родная дочь повторитъ ошибку «неопытной дѣвицы», и передъ ними будутъ все тѣ же три дороги: месть, обманъ, самоубійство. И такъ далѣе, безъ конца. Гг. Суворинъ и Буренинъ придумали, впрочемъ, еще четвертую дорогу, правда, давно уже придуманную... Они ее рекомендуютъ Язону: пусть онъ растопчетъ свою любовь въ Креузѣ, пусть преодолѣетъ отрицательное чувство къ Медеѣ. Но, вѣдь, это только вивисекція, ибо Язонъ все равно не дастъ счастія Медеѣ.

Что касается собственно элемента любви въ семейныхъ драмахъ, то тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Слишкомъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, Язонъ, въ драмѣ Эврипида, любилъ Креузу, Медея любила Язона. Двѣ тысячи лѣтъ спустя, въ драмѣ гг. Суворина и Буренина, Язонъ, опять-таки любитъ Креузу, а Медея любитъ Язона. Можно хлопотать объ томъ, чтобы могучее чувство любви постепенно утрачивало свой острый характеръ, доставляющій людямъ много счастья, но много и горя; можно требовать, чтобы оно не переходило въ простую распущенность. Но и только. Другое дѣло остальные элементы семейныхъ драмъ: юридическія и экономическія условія, давленіе общественнаго мнѣнія. На этой почвѣ многое можетъ быть сдѣлано для устраненія ненужныхъ страданій. Но за то, милостивые государи, мы здѣсь вступаемъ на почву «политики»...

Прислушайтесь опять къ жалобамъ Медеи. Женщина должна покупать приданымъ мужа. Это неудобно, унизительно и во всѣхъ смыслахъ нехорошо, какъ для покупательницы, такъ и для покупаемаго. А такъ какъ непреодолимыми законами природы такой порядокъ вещей вовсе не предписанъ, то можно и должно хлопотать объ его отмѣнѣ. Ну, вотъ, напримѣръ, вы останавливаете у насъ сію минуту свое вниманіе на высшемъ женскомъ образованіи, какъ на одной изъ мѣръ, устраняющихъ для будущаго поколѣнія женъ часть жалобъ Медеи. Но вы очень хорошо знаете, что у насъ существуютъ и защитники и противники женскаго образованія, что у тѣхъ и другихъ этотъ пунктъ не особнякомъ стоитъ, а въ связи съ цѣлою системою общественныхъ отношеній, слѣдовательно, вы уже не съ печалями Медеи имѣете дѣло, а съ политическими системами. Это, впрочемъ, такъ элементарно, что и говорить не остается. Гораздо любопытнѣе въ настоящемъ случаѣ давленіе общественнаго мнѣнія. Къ нему вѣдь, собственно говоря, и гг. Суворинъ и Буренинъ апеллируютъ. Но вы понимаете, конечно, что общественное мнѣніе не создается ad hoc, вдругъ, для данной минуты и для даннаго вопроса. Оно воспитывается практикой и непремѣнно широкой, всесторонней практикой. Если оно вынуждено въ теченіе долгаго времени молчать по вопросамъ a, b, c, d и т. д., то непремѣнно окажется вялымъ, распущеннымъ, недѣятельнымъ и по вопросамъ y или z, которые вы вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вырвете изъ азбуки и предложите ва его судъ. Чортъ съ ними совсѣмъ, съ Язонами и Медеями! пусть вѣдаются, какъ знаютъ! Такъ, примѣрно, выразится атрофированное общественное мнѣніе, выразится не словами, такъ дѣйствіемъ, или, вѣрнѣе, без-

дѣйствіемъ. И—возвращаюсь къ réfrain сегодняшняго моего письма—повторится презрѣніе Лѣскова къ темамъ «влюбился и женился» и «влюбился застрѣлился»...

Милостивые государи, письмо мое приблизилось уже къ концу, а вопросъ о значеніи общественнаго мнѣнія подлежитъ обширному разговору. Но вы понимаете, всетаки, что я хочу сказать, и потому ограничусь въ поясненіе только еще нѣсколькими словами.

У насъ нѣтъ и не можетъ быть общественнаго романа, написаннаго правдиво, хотя онъ могъ бы и долженъ бы былъ быть. Есть романы школы «Русскаго Вѣстника», которые неправдивы. Есть, пожалуй, въ извѣстномъ смыслѣ правдивые романы, но, посудите сами, какой невысокой пробы эта правда. Вотъ одно газетное объявленіе:

Поступилъ въ продажу новый романъ Петра Боборыкина: Китай-городъ. 2 т., въ б. 8 д. л. Цѣна 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 50 к. Романъ этотъ посвященъ изображенію жизни московскаго купечества и читается съ большимъ интересомъ, благодаря яркости и обрисовкѣ типовъ и занимательному, живому разсказу. Большая часть героевъ «Китай-города» списана авторомъ прямо съ живыхъ лицъ изъ московскаго купечества и многіе изъ нихъ узнаютъ себя въ персонажахъ романа.

Неприличная реклама эта говоритъ и еще кое объ чемъ, а именно: о вялости и недѣятельности общественнаго мнѣнія, ибо только при такой вялости возможно подобное объявленіе объ романѣ не рыночнаго какого-нибудь писателя, а г. Боборыкина, требующаго художественной критики и трактующаго о самостоятельной эстетической эмоціи..

Если у насъ нѣтъ и не можетъ быть общественнаго романа въ литературѣ, то жизнь, исторія своимъ чередомъ сочиняютъ, всетаки, русскій общественный романъ. Но русскіе люди не принимаютъ дѣятельнаго участія въ этомъ романѣ. Не принимаетъ и не можетъ принимать его и литература. Отсюда ея вялость, обрывочность и другія отрицательныя качества. Она не выражаетъ и не можетъ выражать собою общественное мнѣніе, не можетъ и вліять, въ свою очередь, на его формированіе. Есть, правда, органы, свободно излагающіе свои мысли о предметахъ міра видимаго и невидимаго, но это какъ разъ тѣ, которые учатъ презрѣнію къ общественному мнѣнію, давятъ его, а слѣдовательно, не могутъ быть его выраженіемъ. И, Боже мой! что дѣлается въ этихъ свободныхъ органахъ печати! свободныхъ, къ сожалѣнію, и отъ суда общественнаго мнѣнія... Приведу одинъ только примѣръ.

Въ № 78 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» напечатано: «Послѣдній № «Руси»... для г. Аксакова создаетъ положительную эпоху; издатель «Руси» представляется теперь въ совершенно иномъ, чѣмъ до сихъ поръ, свѣтѣ. Въ передовой статьѣ г. Аксаковъ, по поводу взрыва вестминстерскаго дворца, ведетъ довольно длинную рѣчь о революціонерахъ. Издатель «Руси» несомнѣнно становится на ихъ сторону». Пикантное указаніе это «С.-Петербургскія Вѣдомости» развиваютъ далѣе весьма подробно, съ кляузничествомъ приказнаго. «Новое Время» назвало эту статью «образчикомъ идіотизма», а «Русь» (№ 7) прибавляетъ отъ себя: «Мы отъ всего сердца присоединяемся къ этому отзыву и надѣемся, что г. Комаровъ (редакторъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей») съ благодарностью оцѣнитъ умѣренность и безпристрастность нашего сужденія». Еще бы не умѣренность! Это не просто идіотизмъ, а развѣ нравственный идіотизмъ, самое наглое бравированіе предписаніями чести и совѣсти. Но подождите, господа!

Басню эту можно было бы и болѣе пояснить, да чтобъ гусей не раздразнить... Одного гуся, впрочемъ, позвольте тронуть.

Одинъ изъ столповъ «Новаго Времени» и заступниковъ Медеи, г. Буренинъ, по поводу предыдущаго моего письма «по нѣкоторымъ аллюрамъ узналъ» во мнѣ г. Михайловскаго и, озаглавивши своей фельетонъ «Гг. Боборыкинъ и Михайловскій», такъ, ничто же сумняся, и валяетъ. Псевдонимъ, чей бы онъ ни былъ, хотя бы такого малаго и посторонняго человѣка, какъ я, издревле считается во всѣхъ литературахъ неприкосновеннымъ. И н безосновательно считается, потому что у писателя могутъ быть свои резоны писать подъ псевдонимомъ. Не говоря уже объ томъ, что въ настоящемъ случаѣ не было никакой надобности допскиваться, кто писалъ письмо въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ». Тамъ было говорено, напримѣръ, о значеніи самостоятельности эстетической эмоціи, объ чемъ слѣдовало говорить и г. Буренину, а какое кому дѣло, кто именно писалъ письмо? Но г. Буренинъ пожелалъ доискаться и тѣмъ совершилъ неприличіе самаго низменнаго сорта. Низменность эта еще сильнѣе отгѣняется участіемъ «Новаго Времени» вообще и г. Буренина въ особенности въ недавнемъ процессѣ о псевдонимѣ «графъ Жасминовъ», который такъ вѣдь и остался нераскрытымъ.

Во всякомъ случаѣ, пусть г. Буренинъ продолжаетъ свои розыски, а мнѣ позвольте, засвидѣтельствовавши фактъ литературнаго одичанія, всетаки значиться тѣмъ, что я дѣйствительно есмь, а я—*Посторонній*.

IV *).

Въ прошломъ письмѣ я обратилъ ваше вниманіе на полемическій пріемъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», который «Новое Время» и «Русь» единогласно называютъ «образчикомъ идіотизма», къ каковому опредѣленію я, съ своей стороны, считалъ бы нужнымъ прибавить только одно слово: образчикъ нравственнаго идіотизма. Вы помните въ чемъ дѣло. «С.-Петербургскія Вѣдомости» пожелали документально уличить г. Аксакова въ солидарности съ виновниками англійскихъ взрывовъ и съ революціонерами того же типа всѣхъ странъ. Но такъ какъ соотвѣтственныхъ документовъ нѣтъ, то «С.-Петербургскія Вѣдомости» ихъ поддѣлали: взяли статью «Руси», направленную противъ революціонеровъ и, при помощи пропусковъ и подчистокъ, превратили ее въ статью, сочувственную революціонерамъ. Эти поддѣлки, подчистки, пропуски показываютъ, что «С.-Петербургскія Вѣдомости» сдѣлали дѣло вполнѣ сознательно, а не по невинности или непониманію. Вотъ почему, я думаю, поступокъ ихъ и заслуживаетъ титула образчика нравственнаго идіотизма.

Но, милостивые государи, надо признаться, что въ нашей несчастной литературѣ этотъ сортъ идіотизма (какъ, впрочемъ, и другіе его сорта) вовсе не составляетъ рѣдкости. Если на этотъ разъ въ оцѣнкѣ полемическаго пріема «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» сошлись такіе разнородные элементы печати, какъ «Новое Время», «Русь» и «Отечественныя Записки», такъ только потому, что слишкомъ ужъ грубъ подлогъ академической газеты и слишкомъ фантастиченъ ея доносъ. Вы, конечно, всегда готовы отмѣтить и назвать настоящимъ именемъ всякую такую мерзость, хотя бы форма ея была не столь ужъ несообразно груба, а содержаніе не столь ужъ несообразно фантастично. Но «Новое Время» и «Русь» склонны помалчивать въ другихъ подобныхъ случаяхъ, имъ же имя легіонъ въ нашей одичалой литературѣ. Сколько этого добра поставляютъ одни «Московскія Вѣдомости» съ «Гражданиномъ» на пристяжкѣ (не напоминаетъ-ли онъ вамъ, въ самомъ дѣлѣ, пристяжную? везти настоящее не везетъ, а кольцомъ вьется и вообще старается). Если же взять предметъ шире, то подлогъ, осложненный или неосложненный политическимъ доносомъ, какъ полемическій пріемъ, окажется у насъ совсѣмъ обыкновеннымъ дѣломъ. Къ этому неблаговидному пріему весьма прикосновенны и «Новое Время» и «Русь», такъ справедливо возмущающіяся «идіотизмомъ» «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Объ «Новомъ Времени» нечего и говорить: оно всегда готово, не моргнувъ глазомъ, оболгать кого угодно. Но при случаѣ отъ такихъ подвиговъ не отказывается и «Русь», хотя ее почему-то принято причислять къ тѣмъ музыкантамъ, которые «хоть немножко и дерутъ, но въ ротъ хмѣльного не берутъ». Я съ своей стороны полагаю, что славянофильскій органъ дѣйствительно «деретъ», но это само собой, а кромѣ того онъ и отъ хмѣльного не прочь.

Приведу образчикъ.

Въ № 6 «Руси» напечатана статья о недавно вышедшей книгѣ г. Веселовскаго «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ». Г. Веселовскій весьма откровенный «западникъ», столь откровенный, что по нынѣшнему времени въ литературѣ такихъ мало. Естественно, что «Русь» его книгой недовольна. Между прочимъ, она говоритъ: «Авторъ въ своихъ объясненіяхъ ничѣмъ не стѣсняется. Грибоѣдовъ, напримѣръ, пишетъ «Горе отъ ума» и возсылаетъ вслухъ желанія:

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ
Пустого, рабскаго, слѣпого подражанья.

Оказывается, Грибоѣдовъ (какъ увѣряетъ г. Веселовскій) намекаетъ на другое: «мы смѣшны, подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *неловко и не вполнѣ*». Затѣмъ «Русь» указываетъ и страницу, гдѣ эти слова напечатаны. Страница эта 178-я и, разыскавъ ее въ книгѣ г. Веселовскаго, вы дѣйствительно тѣ слова на ней прочтете, но вотъ при какой обстановкѣ. Г. Веселовскій говоритъ о литературѣ тридцатыхъ годовъ и, между прочимъ, о журналѣ Кирѣевскаго «Европеецъ». Вѣгло разсказавъ содержаніе двухъ вышедшихъ его номеровъ, онъ замѣчаетъ: «Прямо редакціонныя заявленія ставятъ категорически вопросъ о пользѣ или вредѣ заимствованій и, опираясь на только-что появившееся тогда на сценѣ «Горе отъ ума», рѣшаютъ этотъ вопросъ въ трезвомъ грибоѣдовскомъ духѣ: «мы смѣшны (говорится тутъ), подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *неловко* и *не вполнѣ*» и т. д. Такимъ образомъ, инкриминированныя слова принадлежатъ вовсе не г. Веселовскому, а редакціи «Европейца», Ивану Кирѣевскому, ставшему потомъ однимъ изъ столповъ славянофильства. Къ нему же стало быть, а не къ г. Веселовскому долженъ быть обращенъ упрекъ «Руси»: «авторъ въ своихъ объясненіяхъ ничѣмъ не стѣсняется», ибо именно ему, Кирѣевскому, принадлежитъ столь возмутившее «Русь» объясненіе

*) 1883 г., май.

грибоѣдовскаго стиха. Очевидно, кажется, что и сама «Русь» тоже ничѣмъ не стѣсняется. У г. Веселовскаго очень явственно поставлено въ скобкахъ: «говорится тутъ», то-есть въ редакціонныхъ заявленіяхъ «Европейца», а «Русь», какъ ни въ чемъ не бывало, ставитъ свои собственныя скобки: «какъ увѣряетъ г. Веселовскій». Я не знаю, какъ слѣдуетъ называть этотъ полемическій пріемъ «образчикомъ идіотизма» или иначе какъ-нибудь, но что это подлогъ, такъ это вѣрно...

Милостивые государи, вы знаете, что такіе подлоги, будучи обыкновеннымъ дѣломъ въ нашей литературѣ вообще, не представляютъ рѣдкости и въ томъ долгомъ, если не великомъ спорѣ о пользѣ или вредѣ «заимствованій», который составляетъ отчасти предметъ книги г. Веселовскаго. Говорю «отчасти», потому что книга эта оставляетъ читателя въ нѣкоторомъ недоумѣніи насчетъ своей цѣли.

Въ настоящее время, когда... когда говорится ужасно много глупостей, на якобы патріотическія темы; когда изъ нѣдръ отечества, подгоняемые, впрочемъ, московскимъ купечествомъ, вышли добровольные стражи нашей самобытности и размѣстились въ водевильно трагическихъ позахъ «отъ финскихъ хладныхъ скалъ (дабы спасать Россію отъ финляндскаго привоза) до пламенной Колхиды» (дабы ее же спасать отъ кавказскаго транзита); когда тѣмъ бдительнѣе охраняется отъ идей гнилого запада свѣтъ, имѣющій вотъ-вотъ, сію минуту возсіять съ востока; когда въ ожиданіи этого свѣта рекомендуется посидѣть въ темнотѣ: въ такое время весьма невредно напомнить завравшимся соотечественникамъ о «Западномъ вліяніи въ новой русской литературѣ», да и не только въ новой, и не только въ литературѣ. Слѣдуетъ поэтому радоваться появленію книги г. Веселовскаго, хотя бы она, по извѣстному выраженію, найдя лукъ слишкомъ согнутымъ въ одну сторону, стремилась столь же не въ мѣру перегнуть его въ другую сторону. Но можно бы было ждать и желать, чтобы авторъ съ точностью опредѣлилъ читателямъ предметъ и объемъ своей задачи. Къ сожалѣнію, такой точности въ книгѣ г. Веселовскаго нѣтъ. А именно остается невыясненнымъ основной тезисъ книги. Желаетъ-ли авторъ доказать, что западное вліяніе всегда было въ русской литературѣ ощутительно, или же онъ имѣетъ въ виду преимущественно благодѣтельное вліяніе запада?

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ книги имѣются указанія на полженіе чрезвычайно общее, а именно, что литературы всѣхъ странъ состоятъ между собою въ обмѣнѣ идей и формъ. Затѣмъ понятно, что русская литература въ этомъ международномъ обмѣнѣ очень много получала и до сихъ поръ получаетъ и очень мало даетъ или даже ровно ничего не даетъ. Но, собственно, относительно факта обильныхъ «заимствованій» у насъ нѣтъ разногласій. Его признаютъ и здравомыслящіе люди, и разнаго покроя «самобытники», которые, вѣдь, пока еще ничего самобытнаго не сказали, а довольствуются отрицательною проповѣдью и обличеніями своей родины въ подражательности. Поэтому удержаться на этой общей обѣимъ сторонамъ, внѣ всякаго спора лежащей почвѣ почти нѣтъ возможности. Даже при полномъ желаніи автора воздержаться отъ сужденій о «пользѣ или вредѣ» заимствованій, онъ непремѣнно вступитъ на эту почву качественной оцѣнки западныхъ вліяній. Но такого желанія въ настоящемъ случаѣ, конечно, и не было: г. Веселовскій отнюдь не скрываетъ своихъ западническихъ симпатій и только оговаривается, что его очерки «чужды цѣлямъ стараго, слишкомъ исключительнаго западничества». Но, въ такомъ случаѣ, для отдѣленія плевелъ отъ пшеницы, для различенія «полезныхъ» и «вредныхъ» заимствованій надлежало выставить какой-нибудь критерій, взявъ его изъ области общечеловѣческаго пониманія добра и зла и изъ особенностей русской и европейской исторіи.

Заимствованія могутъ быть нехороши прежде всего по легкомыслію, съ какимъ они дѣлаются. Г. Веселовскій отмѣчаетъ эти факты. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ о перепискѣ Екатерины «съ умнѣйшими людьми Европы»: «У Екатерины есть между ними свои кумиры въ родѣ Вольтера, она спрашиваетъ ихъ совѣта въ разныхъ сложныхъ русскихъ дѣлахъ, забывая, до какой степени они имъ незнакомы, и какъ она сама часто излагаетъ свои вопросы, придавая имъ произвольную окраску. Но отъ этой блестящей корреспонденціи до осуществленія затрогиваемыхъ ею вопросовъ весьма далеко. Екатерина писала ободрительныя письма и къ вождю корсиканскаго возстанія, Паоли, зная, что онъ модный герой, что имъ интересуются всѣ порядочные люди въ Европѣ. Паоли былъ, конечно, изъ числа Пугачевыхъ, хотя и болѣе благопристойныхъ, за то онъ былъ далеко, и платонизмъ былъ безопасенъ». Это преклоненіе передъ верхами Европы было до такой степени внѣшнее, показное и легкомысленное, что впослѣдствіи, по приказу Екатерины, въ Тамбовѣ было конфисковано собраніе сочиненій Вольтера, «какъ вредныхъ и напсленныхъ развращеніемъ». Если на подобное легкомысліе была способна Екатерина, женщина умная, то

нѣтъ ничего удивительнаго, что «ходячій запасъ либерально-звучащихъ формъ и безсознательное томленіе по французской цивилизаціи затверживалось наизустъ людьми, совершенно неспособными понять настоящій смыслъ современнаго движенія». О подобныхъ заимствованіяхъ между серьезными людьми никакого и разговора быть не можетъ. Конечно, они не хороши: иногда пошлы и несносны, иногда дрянны, а иногда прямо вредны. Тутъ дѣло даже собственно не въ заимствованіяхъ съ запада, а въ нашей собственной пустотѣ и неустойчивости. Г. Веселовскій совершенно справедливо замѣчаетъ, что за подобныя подражанія оригиналъ ни мало не отвѣтственъ, потому что это карикатурное искаженіе, а исказить можно все. Но вотъ другой, болѣе сложный случай: «Съ довѣрчивостью плохо образованныхъ людей, которая повергала въ настоящее изумленіе такихъ умныхъ наблюдателей, какъ г жа Сталь, русское общество въ началѣ столѣтія гостепріимно принимало къ себѣ съ запада все и всѣхъ, плохо разбирая оттѣнки и направленія. Пришли къ нему и роялисты-эмигранты, обучавшіе нашихъ дворянъ тонкостямъ усовершенствованнаго легитимизма, и іезуиты, съ своими воспитательными учрежденіями, и всякаго рода мистики новѣйшей формаціи, и графъ Жозефъ Де-Местръ, поучавшій о вредѣ наукъ для Россіи, какъ страны *послушной* и смирной; а наряду съ этимъ въ рукахъ молодежи очутились книжки стихотвореній Байрона, романтическія элегіи, проникнутыя міровою скорбью, рѣчи различныхъ Рене и Адольфовъ, она съ увлеченіемъ приглядывалась къ политическому броженію на западѣ и скоро научилась сочувствовать всякому народному освободительному движенію, гдѣ бы оно ни проявилось». Характеризуя затѣмъ самого императора Александра, г. Веселовскій пишетъ: «Съ молоду сборы къ гуманному правленію во вкусѣ просвѣтителей-филантроповъ, потомъ планы конституціонныхъ реформъ въ англійскомъ духѣ, французскія основы задуманныхъ, но не выполненныхъ преобразованій Сперанскаго, нѣмецкій глубокій патріотизмъ, усвоенный у Штейна, а потомъ консерватизмъ Меттерниха, мистицизмъ г-жи Крюднеръ, квакерство и т. д., какая пестрая смѣна западныхъ увлеченій всѣхъ родовъ наполняетъ эту треволненную жизнь!»

Вотъ одно изъ тѣхъ отдѣльныхъ мѣстъ книги г. Веселовскаго (не говоря объ общемъ ея тонѣ), которыя способны поставить читателя въ недоумѣніе относительно ея цѣли. Приведенные факты, безъ сомнѣнія, свидѣтельствуютъ о громадномъ вліяніи запада на наши литературныя и не литературныя сферы. Но они отнюдь не говорятъ о благотворности этого вліянія, хотя уже потому, что къ намъ направлялись такія разнообразныя и разноцѣнныя теченія съ запада, что прежде всего надо въ нихъ самихъ разобраться. Тутъ уже нельзя ограничиваться указаніями на неповинность оригинала въ искаженіяхъ, обусловленныхъ собственными недостатками нашихъ копіистовъ. Играли, конечно, свою роль и эти недостатки, но въ массѣ взаимно противорѣчащихъ европейскихъ вліяній должны же были быть какія-нибудь и сами по себѣ зловредныя. Г. Веселовскій не предъявилъ на этотъ счетъ никакого мѣрила, никакихъ ясныхъ и точныхъ опредѣленій. Едва-ли я, однако, ошибусь, если выведу изъ книги заключеніе, что для автора благо всякое западное вліяніе, направленное къ свободѣ и просвѣщенію, и, слѣдовательно, зло всякое противоположное теченіе, хотя бы оно было архи-западное. Въ виду этого, съ извѣстной точки зрѣнія, можетъ быть, слѣдуетъ оправдать отсутствіе, такъ сказать, выставки основнаго тезиса книги. Есть вещи, которыя трудно доказывать или даже предъявлять, и таковы именно требованія свободы и просвѣщенія. Не въ цензурномъ смыслѣ трудно. Слава Богу, хвалы свободѣ и просвѣщенію, въ ихъ абстрактномъ видѣ, въ общихъ чертахъ и, разумѣется, въ умѣренныхъ выраженіяхъ, не возбраняются. Трудно потому, что стыдно. Можетъ быть, конечно, мы и до того дойдемъ, что будемъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ отзываться, напримѣръ, о человѣкѣ, который каждый день умывается; можетъ быть, даже, человѣкъ этотъ будетъ вполнѣ заслуживать тѣхъ отборно лестныхъ выраженій; мало того, онъ окажется, можетъ быть, въ положеніи сектанта и только въ кругу единомышленниковъ будетъ исповѣдывать принципъ ежедневнаго омовенія. Но согласитесь съ тѣмъ, милостивые государи, что даже при такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ, торжественно отстаивать пользу, удобство и благопристойность ежедневнаго омовенія будетъ немножко зазорно. Не менѣе, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе, стыдно и горько заявлять себя сторонникомъ свободы и просвѣщенія. Ежедневное омовеніе досталось человѣчеству сравнительно даромъ. Малыя дѣти, по неразумію своему, часто сопротивляются этой операціи, но придя въ возрастъ, безмолвно вступаютъ въ кругъ дѣйствія принципа ежедневнаго омовенія, и въ исторіи человѣчества онъ не записанъ кровью или слезами. Другое дѣло принципы свободы и просвѣщенія. Они завоеваны, за нихъ дорого заплачено; такъ дорого, что, казалось бы, всѣ долги человѣчества по этой части погашены

и не подлежитъ оно никакимъ дальнѣйшимъ взысканіямъ.

Однако, взысканія продолжаются, и нельзя же совсѣмъ оставить безъ вниманія, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ нихъ. А чтобы нагляднѣе представить вамъ мысли мои объ этихъ нѣкоторыхъ, позвольте прибѣгнуть къ сравненію, довольно низменному...

Видали-ли вы, какъ на улицахъ дерутся собаки? Конечно, видали, но, можетъ быть, не обращали вниманія на одну любопытную психологическую подробность. Когда какая-нибудь собака начинаетъ одолѣвать другую, то около нихъ собирается иногда цѣлая стая, среди которой рѣзко выдѣляются два типа. Однѣ, великодушныя и смѣлыя, устремляются на защиту слабаго; другія, напротивъ, получаютъ странный аппетитъ доканать слабаго, принять посильное участіе въ его побіеніи. Источникъ этой собачьей трагедіи ихъ вовсе не касается: слабый, побиваемый песъ ни кости у нихъ не отнялъ, ни другой какой пакости не сдѣлалъ, такъ что они накидываются на него даже совершенно безкорыстно, побуждаемыя какимъ-то особымъ инстинктомъ, единственно потому, что его бьютъ, единственно изъ подражанія бьющему. Такъ и у людей бываетъ, милостивые государи, только, конечно, не въ такихъ грубо явственныхъ очертаніяхъ. Люди раздѣляются на тѣ же два психологическіе типа. При видѣ драки одни стремятся защитить слабаго, изнемогающаго, а если что-нибудь сами противъ него имѣютъ, то, по крайней мѣрѣ, собственныхъ рукъ къ его побіенію не прикладываютъ; другіе, напротивъ, какъ бы разсуждаютъ: этого человѣка бьютъ, дай же и я его тресну! Но, конечно, они не разсуждаютъ, а просто повинуются нѣкоторому таинственному, неизслѣдованному еще, но, во всякомъ случаѣ, дрянному инстинкту; дрянному, хотя часто совершенно безкорыстному: эти добровольные пособники бьющаго часто не имѣютъ никакого дѣйствительнаго интереса поступать столь неблаговидно.

Эти самые добровольные пособники и предъявляютъ человѣчеству тѣ взысканія по, будто бы, еще не погашенному долгу за свободу и просвѣщеніе, которыя нельзя оставить безъ вниманія и въ виду которыхъ и г. Веселовскому слѣдовало обосновать свой тезисъ, а не держать его въ скрытомъ, невыраженномъ состояніи. Боюсь, однако, утверждать, чтобы г. Веселовскій могъ это сдѣлать, еслибы и захотѣлъ. Но сначала покончимъ съ добровольными пособниками. Вы ихъ видите кругомъ себя въ полномъ блескѣ. Это тѣ интеллигентные люди, газетчики, главнымъ образомъ, которые на разные лады и тоны поютъ, вопіютъ, взываютъ и глаголютъ о зловредности интеллигенціи. Кое-кто изъ нихъ почерпаетъ, правда, нѣкоторыя частныя, косвенныя выгоды изъ временнаго приниженія интеллигенціи (конечно, временнаго, ибо живъ Богъ, жива душа моя, можетъ сказать объ себѣ человѣчество), но въ общемъ это направленіе, очевидно, въ родѣ какъ самоубійственное. Замѣтьте, что дѣло идетъ объ искорененіи или, по крайней мѣрѣ, вящшемъ приниженіи именно интеллигенціи. Если вы попробуете подставить вмѣсто этой несчастной, подъ удары добровольныхъ пособниковъ, бюрократію или буржуазію, то одни вамъ скажутъ: это такъ, но общую формулу зловредности составляетъ всетаки интеллигенція! другіе же прямо закричатъ: не его, но Варавву! Въ чемъ же дѣло и откуда такое странное массовое озлобленіе противъ интеллигенціи со стороны интеллигенціи же? Вы напрасно будете искать сколько-нибудь разумнаго основанія этому удивительному факту. Объясненіе лежитъ только въ области того—извините меня—собачьяго инстинкта, который побуждаетъ цѣлую стаю бросаться на своего-ни въ чемъ неповиннаго собрата, подвергающагося трепкѣ. Чтобы оцѣнить нравственную дрянность этого похода, потрудитесь припомнить протестъ Руссо, пожалуй, тоже противъ интеллигенціи. Я не приглашаю васъ сравнивать то и другое по отношенію къ ширинѣ и смѣлости мысли или страстной искренности протеста—это было бы смѣшно. Обратите только вниманіе на обстановку обоихъ предпріятій. Такъ, вы видите нѣчто, почти героическое: среди роскошнаго пира интеллигенціи, когда могущественные государи ищутъ, какъ величайшей чести, дружбы писателей, философовъ, ученыхъ; когда, кажется, навсегда упрочено «царство мысли»,—вдругъ раздается протестующій и укоризненный голосъ одинокаго безсильнаго человѣка. А тутъ что?! Въ странѣ, болѣющей тысячью недуговъ, нашли, наконецъ, корень зла. Это не бѣдность, не невѣжество, не безправіе; нѣтъ, это—интеллигенція! Необходимо сократить число учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, необходимо ограничить права и притязанія интеллигенціи... Права и притязанія русской интеллигенціи!

Милостивые государи, остановите только одну минуту ваше вниманіе на сопоставленіи протеста Руссо и нашихъ добровольныхъ пособниковъ, и вы не посѣтуете на меня за грубое слово о собачьемъ инстинктѣ... Люди не могутъ, однако, просто лаять, рычать, грызть. Природа дала имъ способность издавать членораздѣльные звуки; которые они и должны волей-неволей группировать въ слова, предложенія, аргументы, наконецъ,

въ попытки оправданія даже самыхъ безстыдныхъ и безсмысленныхъ своихъ дѣяній. Добровольные пособники и дѣлаютъ это. Они оправдываютъ свое добровольное пособничество тѣмъ, что интеллигенція оторвалась западнымъ вѣтромъ отъ народа, отъ его интересовъ, дѣйствуетъ во вредъ ему, и, такимъ образомъ, отъ имени народа стремятся они къ принижению принциповъ свободы и просвѣщенія, и безъ того еле мерцающихъ на знамени интеллигенціи. Эту сторону дѣла, я полагаю, г. Веселовскій не долженъ былъ оставлять безъ вниманія.

Г. Веселовскій, конечно, понималъ цѣнность этого пункта. Съ особеннымъ сочувствіемъ останавливаясь на благородномъ образѣ Радищева, онъ говоритъ, что завѣтныя мысли этой жертвы нашихъ потемокъ «пережили и его пору, многія уже осуществились, вошли въ жизнь, другія стали неотъемлемой принадлежностью всякой прогрессивной программы... Въ политическую программу его входило освобожденіе крестьянъ, свобода совѣсти, свобода печати, судъ присяжныхъ, отмѣна подушной подати, равенство передъ закономъ и т. д.». Съ понятнымъ въ западникѣ и совершенно законнымъ чувствомъ удовлетворенія, г. Веселовскій пишетъ далѣе: «Радищевъ и въ Сибири сохраняетъ тѣ же интересы и стремленія. Сидя въ своемъ Илимскѣ, онъ продолжаетъ добразовываться, слѣдить (благодаря Воронцову) за новой западной литературой, и возвращается въ Россію съ такой же преобразовательною жаждой, какъ и прежде! Первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ въ калужскую деревню было бы освободить крестьянъ, но указъ, возвратившій ему только половинныя права, не допускаетъ его до такой мѣры—и въ его «Описаніи моего имѣнія» живо сказывается то состояніе нравственной пытки, которое онъ испытывалъ, бродя по полямъ своего Немцова во время работъ и со стыдомъ размышляя, какъ всѣ эти изнуренные жаромъ жницы и косцы всѣ силы свои полагаютъ на поддержаніе зажиточной жизни его одного. Когда же снова повѣяло свѣжимъ воздухомъ при Александрѣ, мы его опять видимъ за дѣломъ въ Петербургѣ, среди молодежи, рвущейся къ реформамъ; у него есть свой проектъ судебнаго переустройства, основаннаго на введеніи суда присяжныхъ, и смерть застигаетъ его среди приготовленій къ поѣздкѣ въ Англію для изученія на мѣстѣ этого института. Такъ вся жизнь этого единственнаго, быть можетъ, въ прошломъ вѣкѣ открытаго *западника* (курсивъ г. Веселовскаго) съ первыхъ же шаговъ на русской землѣ и до старости ушла на служеніе самымъ насущнымъ нуждамъ народа, и его неразрывная связь съ европейской умственной работой не отдалила его отъ Россіи, а приблизила къ ней и указала цѣли и способы ихъ достиженія».

Въ такомъ же родѣ говоритъ г. Веселовскій объ Николаѣ Тургеневѣ, указывая на его «задапничество» и вмѣстѣ горячую преданность интересамъ русскаго народа...

Разумѣется, многое, что составляетъ умственный багажъ русскаго мужика, не можетъ выдержать столкновенія съ западной наукой, которая не дастъ своего согласія, напримѣръ, на стояніе земли на трехъ китахъ. Но вѣдь это столкновеніе вовсе не запада съ востокомъ, а просто знанія съ невѣжествомъ, для которыхъ нѣсть эллинъ ни іудей, и никакое укрѣпленіе и вооруженіе «самобытности» не спасетъ трехъ китовъ. Это столь общеопнятно, что даже тѣ изъ самобытниковъ, которые въ тайнѣ вздыхаютъ по тремъ китамъ, выступаютъ на ихъ защиту лишь въ болѣе или менѣе замаскированномъ видѣ. Что же касается собственно интересовъ мужика, то, конечно, судьба людей въ родѣ Радищева (а ихъ вѣдь не мало) способна бросить лучъ свѣта, какъ на безсмыслицу легенды о непомѣрныхъ правахъ и претензіяхъ русской интеллигенціи, такъ и на тотъ фактъ, что «западничество» само по себѣ вовсе не внушаетъ отрицательнаго или даже только холоднаго отношенія къ интересамъ русскаго народа. Оно вполнѣ можетъ ужиться и съ знаніемъ этихъ интересовъ и съ горячею имъ преданностью. Однако, г. Веселовскому не слѣдовало бы, я думаю, ограничиваться отрывочными біографическими иллюстраціями къ этой темѣ, а надо бы нѣсколько заняться ею самою, вплотную. Но тутъ-то и сказывается двусмысленность, неопредѣленность задачи г. Веселовскаго, его основного тезиса. Въ самомъ дѣлѣ, онъ говоритъ, напримѣръ, о екатерининскомъ наказѣ: «онъ представлялъ искусное сочетаніе гуманныхъ принциповъ, высказанныхъ великими учителями всего тогдашняго поколѣнія... идя по слѣдамъ Вольтера, она борется съ клерикализмомъ; слѣдуя Мармонтелю, готова широко понять свободу совѣсти; созданіе *третьяго сословія* (курсивъ г. Веселовскаго) на Руси озабочиваетъ ее на ряду съ французскими политиками, съ горячностью заявляетъ она свое уваженіе къ человѣческимъ правамъ своихъ подданныхъ и обѣщаніе служить имъ». Если это перечисленіе нѣкоторыхъ характеристическихъ чертъ «Наказа» имѣетъ цѣлью доказать вліяніе запада на Екатерину, то оно, разумѣется, достигаетъ своей цѣли. Но если имѣется въ виду благотворность западныхъ вліяній, то дѣло представляется въ гораздо болѣе сложномъ и спорномъ видѣ. Противъ широкаго пониманія свободы совѣсти, которое г. Ве-

селовскій усваиваетъ почему-то именно Мармонтелю, могутъ имѣть зубъ развѣ какіе-нибудь изувѣры, но далеко не столь безспорна благотворность заботъ о насажденіи у насъ третьяго сословія. Положимъ, что Екатерина, подобно самымъ даже верхнимъ верхамъ тогдашней европейской интеллигенціи, не могла предвидѣть той роли, которую буржуазія заняла впослѣдствіи на исторической сценѣ; но у насъ-то третье сословіе никакимъ родомъ не могло играть *тогдашней* роли европейской буржуазіи, то-есть не могло быть носителемъ дорогихъ г. Веселовскому принциповъ свободы и просвѣщенія. Требованія депутатовъ третьяго сословія въ екатерининской коммиссіи сводятся къ тремъ пунктамъ. Они домогались, во-первыхъ, запрещенія крестьянамъ торговать даже продуктами ихъ собственнаго труда; во-вторыхъ, запрещенія дворянамъ заниматься торговлей и имѣть заводы; въ-третьихъ, права купцовъ и фабрикантовъ покупать населенныя имѣнія и людей безъ земли. Эта программа, вполнѣ опредѣленная, была вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно цѣлесообразна, ибо именно этимъ путемъ могло бы у насъ въ ту пору сложиться крѣпкое, сильное третье сословіе. Съ теченіемъ времени, окрѣпнувъ въ этой колыбели монополіи и крѣпостного права, третье сословіе, можетъ быть, и развернуло бы знамя свободы и просвѣщенія, но ясно, что въ ту-то пору заботы «на ряду съ французскими политиками» о насажденіи у насъ третьяго сословія ничего благотворнаго въ нашу жизнь не вносили и вносить не могли. А если прибавить, что и свободная и просвѣщенная буржуазія нынѣ утратила нравственно-политическій кредитъ въ самой Европѣ, то представится, по крайней мѣрѣ, очень и очень сомнительнымъ благотворность западныхъ вліяній на этомъ пунктѣ.

Сомнительность эта обнаруживается, можетъ быть, еще выразительнѣе по слѣдующему поводу.

На страницахъ 137 и 138 книги г. Веселовскаго читаемъ: «Особый интересъ къ политическимъ наукамъ и народному хозяйству, отличавшій тогдашніе (Александровскаго времени) образованные кружки, былъ прямо вызванъ распространеніемъ идей Адама Смита и его школы, хотя нельзя не замѣтить, что изученіе теорій автора «The wealth of nations» опоздало у насъ на сорокъ лѣтъ. Николай Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ, старается въ своемъ «Опытѣ теоріи налоговъ» возможно чаще говорить объ Англіи, ея наукѣ и учрежденіяхъ. Большинство проектовъ адмирала Мордвинова, проникнутыхъ искреннимъ сочувствіемъ къ русскому народу и сдѣлавшихъ имя автора дорогимъ для тогдашняго молодого поколѣнія, основаны на частыхъ ссылкахъ на примѣръ Англіи». Эти слова г. Веселовскаго заслуживаютъ особеннаго вниманія, во-первыхъ, потому, что это единственное мѣсто во всей книгѣ, гдѣ упоминается Мордвиновъ, а слѣдовательно, авторъ не находитъ нужнымъ чѣмъ-нибудь оговорить или дополнить приведенную характеристику знаменитаго государственнаго человѣка. А во-вторыхъ, любопытно сопоставленіе Мордвинова и Николая Тургенева, очевидно, помѣщающее ихъ за одну скобку. Опять-таки, имѣя въ виду только, такъ сказать, количественную сторону западныхъ вліяній, такое сопоставленіе очень правильно, ибо Тургеневъ и Мордвиновъ были оба «западники», если можно говорить объ нихъ терминологіей позднѣйшаго времени. Въ качественномъ-же отношеніи они по важнѣйшимъ вопросамъ русской жизни заслуживаютъ не сопоставленія, а противопоставленія. Мордвиновъ былъ либераломъ на тотъ самый манеръ, на какой былъ либераломъ г. Катковъ, когда онъ еще былъ имъ. Разница только въ томъ, что Мордвиновъ былъ ярче и послѣдовательнѣе, что, впрочемъ, въ значительной степени объясняется обстоятельствами, обстановкой. Мордвиновъ желалъ не простой пересадки къ намъ англійскихъ порядковъ, а именно англійской конституціи съ палатой лордовъ, и не контингента безземельныхъ батраковъ для обработыванія помѣщичьихъ полей, а прямо и просто продолженія крѣпостного права. Наоборотъ, Тургеневъ требовалъ прежде всего освобожденія крестьянъ, хотя бы самыми круто деспотическими, самыми неконституціонными средствами. Столь рѣзкое различіе между двумя яркими западниками обязываетъ изслѣдователя «Западнаго вліянія въ новой русской литературѣ» не просто заносить ихъ въ списки западниковъ, а выразить свое мнѣніе о двухъ разнородныхъ струяхъ западныхъ вліяній. Г. Веселовскій, повторяю, ничего такого не сдѣлалъ; не только по отношенію къ тому или другому частному факту, въ родѣ дѣятельности Мордвинова или Тургенева, но и по отношенію ко всему «западному вліянію». Это очень печально прежде всего потому, что книга получаетъ характеръ какой-то внутренней недодѣланности. Недодѣланность эта, производящая непріятное впечатлѣніе уже сама по себѣ, въ архитектурномъ, такъ сказать, смыслѣ, тѣмъ прискорбнѣе, что по задачѣ своей, книга могла бы дать отпоръ вышерѣченнымъ добровольнымъ пособникамъ. Теперь же она не только такого отпора не даетъ, но даже даетъ пособникамъ пищу.

Г. Веселовскій говоритъ:—«Масса читающей публики привыкла считать рожденіе славянофильства явленіемъ чисто русскимъ, самобытнымъ; для сторонниковъ этого ученія утѣшительно думать, что въ немъ сказались здоровые народные соки, не задавленные въ концѣ европеизмомъ и обѣщающіе пышно развиться въ небывалой самостоятельности... Культурная исторія Европы за послѣднія два столѣтія показываетъ намъ, что *почти ни одна страна* не обошлась въ свое время безъ движенія, вполнѣ схожаго съ нашимъ славянофильствомъ. Сентиментальное поклоненіе старинѣ, исканіе въ ней одной величайшихъ доблестей, мистическій оттѣнокъ національной гордости, и рядомъ съ этимъ пробужденіе интереса къ народной жизни, поэзіи, повѣрьямъ и т. д., такова программа всѣхъ этихъ разнообразныхъ сектъ». Затѣмъ г. Веселовскій дѣлаетъ бѣглый обзоръ параллельныхъ, по его мнѣнію, славянофильству движеній въ Чехіи, въ Польшѣ, въ Германіи, въ Скандинавіи. Въ движеніяхъ этихъ г. Веселовскій различаетъ добро и зло, главнымъ образомъ, какъ здравомыслящій и преданный своей наукѣ филологъ и только отчасти, какъ политикъ. Онъ справедливо цѣнитъ въ нихъ возбужденіе научнаго интереса къ остаткамъ старины, открывшимъ богатѣйшіе источники для языкознанія и сравнительной исторіи культуры, и столь же справедливо порицаетъ ту сторону этихъ движеній, которая выразилась національнымъ самообольщеніемъ, нетерпимостью и китайщиной. Но онъ упустилъ изъ виду еще одну сторону дѣла, въ высшей степени важную, а именно, что въ подобныхъ движеніяхъ національные интересы слишкомъ часто смѣшиваются съ интересами народа, съ которыми они, въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ ничего общаго и даже прямо имъ противоположны. Надо замѣтить, что въ числѣ европейскихъ движеній мысли есть такія, которыя, обращая взоръ назадъ, ищa, по выраженію нашего автора, въ ней одной величайшихъ доблестей, ни мало не осложняются національнымъ элементомъ. Укажу для примѣра на два такихъ явленія. Страстный протестъ Руссо и его многочисленныхъ преемниковъ противъ цивилизаціи, ихъ обращеніе назадъ, къ тому времени, когда неизвѣстны были ни «твое» и «мое», ни нѣкоторые другіе институты, этотъ протестъ и это обращеніе не имѣли въ себѣ рѣшительно ничего національнаго. Это были чисто демократическія или, выражаясь нашимъ нынѣшнимъ, страшно опошленнымъ словомъ, «народническія» ученія. Другимъ образчикомъ можетъ служить недавнее, можно сказать, вчерашнее и еще сегодня не завершенное, чисто научное явленіе. Такъ, изслѣдованіе индійскихъ и древнихъ ирландскихъ земельныхъ и другихъ порядковъ, выполненное Мэномъ, побудило даже такого авторитетнаго человѣка, какъ Милль, признать, что «старина» содержитъ въ себѣ нѣчто въ высшей степени цѣнное, болѣе цѣнное, чѣмъ самые коренные принципы новѣйшей цивилизаціи. Такъ Лавеле въ своей извѣстной книгѣ о первобытной общинѣ взываетъ къ «гражданамъ Америки и Австраліи» съ увѣщаніемъ: «возвратитесь къ первобытному преданію вашихъ предковъ». Подобныхъ частностей можно бы было найти довольно много въ европейской наукѣ и жизни, не наталкиваясь при этомъ ни на единую черту узкаго національнаго. И г. Веселовскій сдѣлалъ большую ошибку, оставивъ эти явленія даже безъ упоминанія. Обративъ на нихъ достодолжное вниманіе, онъ лучше оттѣнилъ бы всѣ эти германофильства, славянофильства, польскіе мессіанизмы и тому подобныя, на одну треть мистическія, на другую шутовскія, на третью лицемѣрныя теченія, въ которыхъ смѣшивается народное и національное, отнюдь смѣшенію не подлежащія. Я, разумѣется, не думаю, чтобы не было въ европейской исторіи другихъ поучительныхъ въ этомъ отношеніи явленій, но на сравненіи съ этими именно обращеніями къ старинѣ, съ этими отрицаніями либерализма и цивилизаціи особенно удобно было бы оцѣнить, какъ наше славянофильство, такъ и тѣ виды «народничества», которые играютъ словами «нація» и «народъ». Еслибы г. Веселовскій имѣлъ этотъ пунктъ въ виду, да воспользовался бы для разъясненія его случаями, въ родѣ единовременной наличности въ русской жизни Мордвинова и Тургенева, то въ концѣ изслѣдованія онъ имѣлъ бы право обратиться къ добровольнымъ пособникамъ съ такою, примѣрно, рѣчью:

Господа, вы видите, что сказать «западное вліяніе» значитъ только употребить географическій терминъ, а мы вѣдь не географіей занимаемся. Много и сильно вліялъ на насъ Западъ, но оттуда къ намъ шло разное и разно оно въ нашей жизни преломлялось и отражалось. Такъ было вообще, такъ было и есть въ частности по отношенію къ интересамъ народа. Были и есть западныя вліянія, тяжело отражавшіяся и отражающіяся на этихъ интересахъ, но были и есть такія, которыя научили нашу интеллигенцію цѣнить и изучать ихъ. Поэтому, если вы хотите оказывать пособіе въ дѣлѣ пониженія и угнетенія, даже искорененія интеллигенціи, такъ дѣлайте это проще и откровеннѣе; но прячьтесь за народъ.

А любопытные есть эпизоды въ этой,

смѣло говорю, позорной травлѣ интеллигенціи, якобы за вредъ, причиняемый ею, ея европейничаньемъ, народу. Возьмите, напримѣръ, самыхъ нашихъ опредѣленныхъ «самобытниковъ», какіе теперь только есть на лицо, возьмите газету «Русь», не стѣсняющуюся даже называть себя славанофильскою, чего другіе самобытники нѣсколько конфузятся. Зайдетъ ежели рѣчь о великопостныхъ театральныхъ представленіяхъ, газета набрасывается на европейничающую интеллигенцію, оторвавшуюся отъ народа настолько, что не уважаетъ его образа мыслей. Хорошо. Но какъ только кто-либо изъ интеллигенціи заговоритъ о крестьянскомъ малоземельи, совершенно совпадая на этомъ пунктѣ съ образомъ мыслей самаго народа, такъ немедленно г. Аксаковъ, ассистируемый гг. Дмитріемъ Самаринымъ и Сергѣемъ Шараповымъ, апеллируютъ къ европейской наукѣ и къ виллевскимъ тукамъ, которые, дескать, и аршинный клочокъ земли сдѣлаютъ достаточно плодоноснымъ. Образъ же мыслей народа на этотъ случай прячется въ карманъ, дабы опять быть оттуда вынутымъ, когда понадобится ущипнуть европейничающую интеллигенцію... Или, напримѣръ, другой сортъ самобытниковъ кричитъ о необходимости прекратить русскую интеллигенцію (причемъ самихъ самобытниковъ, разумѣется предполагается оставить на племя), она видителя, довольно попраздновала, теперь очередь народа, а она не народъ, она ничтожная горсточка и ея свобода, ея достоинство не народное дѣло. Хорошо. Но тутъ же поднимается на степень общенароднаго вопроса дѣло кавказскаго транзита и финляндскаго привоза. Изволите-ли видѣть, заинтересованная въ этомъ дѣлѣ горсть фабрикантовъ и купцовъ совсѣмъ не горсть, ея дѣло есть настоящее народное дѣло, и никогда русскіе фабриканты и купцы не видѣли на своей улицѣ праздника. Это не то, что интеллигенція!.. Долой интеллигенцію и давайте дорогу господамъ купцамъ и фабрикантамъ!.. О, милостивые государи, еслибы въ самомъ дѣлѣ интеллигенція была уничтожена и только самобытники были оставлены на племя, но еслибы они привѣтомъ по кореннымъ вопросамъ жизни русскаго народа обнаружили столько же пламеннаго усердія, столько же кропотливаго старанія въ подборѣ цифръ, столько же краснорѣчія... Ну, а теперь выходитъ вовсе нехорошо; выходитъ просто добровольное пособничество въ дѣлѣ вытравленія интеллигенціи и—извините меня—шишъ тому народу, во имя и ради котораго будто бы эта операція производится...

Я не думаю, чтобы всѣ участники и пособники вытравленія европейничающей интеллигенціи дѣйствовали вполнѣ сознательно и изъ корыстныхъ видовъ. Напротивъ, я уже говорилъ, значительная ихъ часть фигурируетъ въ этомъ скандалѣ вполнѣ безкорыстно, даже въ ущербъ себѣ, ибо и они интеллигенція и еще вилами на водѣ писано, останутся-ли они на племя. Они повинуются тому инстинкту, о которомъ я говорилъ выше и который подсказываетъ: этого человѣка бьютъ, дай-ка и я тресну! При такихъ не разумныхъ, а чисто инстинктивныхъ влеченіяхъ, нѣтъ ничего мудренаго, что они нерѣдко съ головой погружаются въ сумбуръ и не умѣютъ свести концы съ концами.

Позвольте для примѣра остановиться на одну минуту на только-что прочитанныхъ мною самобытныхъ... сапогахъ въ смятку. Иначе я не могу назвать статью «Современный застой съ народной точки зрѣнія», напечатанную въ № 13 «Недѣли». Вотъ собственная авторская оцѣнка «современнаго застоя»: «Высокая заработная плата и дешевизна предметовъ потребленія составляетъ идеалъ экономическаго благосостоянія, и потому поднятіе цѣны умственнаго и физическаго труда и удешевленіе предметовъ, нужныхъ для жизни, является главнѣйшею задачею цивилизованныхъ государствъ. *Въ послѣднее время мы поставлены относительно этой задачи въ довольно удобное положеніе.* У насъ дешевъ хлѣбъ и другіе предметы первыхъ потребностей, что для потребителей весьма выгодно». Далѣе слѣдуетъ бесѣда автора съ двумя мужичками, которую я сейчасъ приведу и изъ которой видно, что оба мужика отлично себя чувствуютъ при «современномъ застоѣ». Прекрасно, хлѣбъ дешевъ и можно быть заработанная плата высока, хотя о послѣднемъ авторъ («одинъ изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ», какъ рекомендуетъ его редакція «Недѣли») не распространяется. Но далѣе авторъ переходитъ къ положенію земледѣльцевъ и на той же страницѣ, на которой излагаетъ о дешевизнѣ хлѣба и умалчиваетъ о высотѣ заработной платы, пишетъ: «Съ одной стороны, заработная плата за послѣдніе три-четыре года ни мало не возвысилась, а съ другой—хлѣбныя цѣны (если взять для сравненія довольно большой періодъ времени) нисколько не упали». Оговорка, заключенная въ скобки, ровно ничего не стоитъ, потому что дальше оказывается, что «съ 1840 года вплоть до второй половины 1879 года рожь никогда не продавалась дороже 5 руб.» (въ черноземныхъ губерніяхъ), а нынѣ она продается до 7 рублей и «слѣдовательно, настоящая цѣна не ниже, а выше обыкновенной». Итогъ: мы «въ послѣднее время» приближаемся къ

экономическому идеалу, состоящему въ дешевомъ хлѣбѣ и высокой заработной платѣ; а именно, въ это «послѣднее время» заработная плата ни мало не повысилась и хлѣбъ ни мало не подешевѣлъ...

Такова фактическая часть оцѣнки «современнаго застоя» самимъ авторомъ. Но онъ желаетъ еще предъявить, какъ необходимо по нынѣшнему времени нужно, «народную точку зрѣнія» на тотъ же предметъ. Вотъ она:

«Въ прошломъ декабрѣ, возвратившись изъ большого города въ деревенскую глушь, встрѣчаю я крестьянина И. Е. Онъ очень веселъ, на сапогахъ свѣжія заплаты, полушубокъ крѣпкій.—Здравствуй, И. Е., какъ поживаешь? говорю я.—Слава Богу, живемъ, ничего», отвѣчаетъ лукаво улыбаясь, И. Е.—Какъ ничего, когда всѣ мы кричимъ голосомъ? — «Да ты самъ подумай: въ третьемъ годѣ мнѣ давали за 1 руб. 70 коп. одинъ пудъ муки, а нынѣ даютъ три; хлѣба же я и борозды не сѣю, а ѣдоковъ у меня одиннадцать».—И припомнилась мнѣ изнуренная фигура И. Е. въ восьмидесятомъ году. Чего только не перенесъ онъ за это тяжелое время! И лихорадища его трясла, и нутреная сибирка по животу разгуливала, и омракъ его ошибалъ; сколько разъ уже подъ образа клали. Нынѣшній урожай гораздо хуже восьмидесятаго года, а между тѣмъ И. Е. молодецъ-молодцомъ. Но такъ какъ И. Е. самъ не занимается посѣвомъ хлѣба, то и не можетъ разрѣшить нашего недоумѣнія. Встрѣчаю другого крестьянина — мужика зажиточнаго, хлѣбнаго—и обращаюсь къ нему съ тѣмъ же вопросомъ, какъ поживаетъ. И здѣсь тотъ же отвѣтъ: «Слава Богу. Хлѣбца нынѣ уродилось маловато, купцы чаяли продавать муку рубля по два за пудъ, анъ она, Господь далъ, всего шесть гривенъ, да баютъ и еще упадетъ внизъ».—А развѣ для тебя лучше, что дешевѣетъ хлѣбъ? спрашиваю я.—Вѣдь тебѣ не покупать, а продавать его.—«Для насъ все равно, отвѣчаетъ:—коли дешевъ хлѣбъ, скотиной можно промышлять. Я нынѣ кормилъ двѣнадцать свиненковъ, и кормилъ, признаться, плохо; до дѣла не довелъ, а всетаки нажилъ пятьдесятъ цѣлковыхъ». Вотъ какъ смотритъ мужикъ на дешевизну хлѣба».

Видите, какъ просто. Встрѣтилъ двухъ мужичковъ, поговорилъ и получилъ народную точку зрѣнія на современный застой. Правда, одинъ изъ этихъ мужичковъ въ счетъ не идетъ, потому онъ хлѣба не сѣетъ; правда, и другой мужичокъ не совсѣмъ годится въ представители народной точки зрѣнія, потому что онъ находится, благодаря своимъ «свиненкамъ», въ совершенно исключительномъ положеніи; правда, автору не встрѣтился на бѣду еще третій мужичокъ, у котораго нѣтъ двѣнадцати свиненковъ и которому нужно продавать хлѣбъ и продавать его именно столько, чтобы покрыть расходы, текущія подати и прошлогднія недоимки. Но это пустяки. Дѣло не въ этихъ мелочахъ, а въ эффектѣ «современнаго застоя съ народной точки зрѣнія». И мнѣ кажется, что эффектъ этотъ даже далеко превосходитъ норму, требуемую собственно вопросомъ о дешевизнѣ хлѣба. Помилуйте, интеллигенція трубитъ о застоѣ и кризисѣ въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ, а вовсе не объ томъ, что хлѣбъ дешевъ; всюду уныніе, опасенія, даже отчаяніе. И вдругъ на этомъ мрачномъ фонѣ вырѣзывается «народъ»: два мужика, «очень веселые», здоровые, довольные, лукаво улыбаются и объясняютъ, что «для насъ все равно». Чисто веселые пошехонцы! Идутъ и поютъ хвалу. Автору такъ дорога эта хвала, что, не соразмѣривъ художественнаго эффекта грамматическимъ, онъ ставитъ слова «слава Богу» даже не посредственно передъ роковыми словами: «хлѣбца нынѣ уродилось маловато».

Ну, конечно, интеллигенція клевещетъ на современное положеніе вещей, и вы догадываетесь, что тутъ не безъ Европы, что гдѣ-нибудь тутъ должно имѣть мѣсто противопоставленіе самобытности и подражательности. Вы угадали. Но сначала позвольте васъ спросить, отчего, какъ вы думаете, «русское культурное общество» неустойчиво въ своихъ мнѣніяхъ? «Вотъ причина быстрыхъ переходовъ отъ однихъ желаній къ другимъ, совершенно противоположнымъ: она обусловливается частымъ перескакиваніемъ съ подражательнаго пути на самобытный и обратно». Каковъ перлъ логики и доказательности: причина переходовъ обусловливается частымъ перескакиваніемъ...

Итакъ, мы опять около западныхъ вліяній, около сакраментальной подражательности и самобытности. Западное вліяніе, видите-ли, выразилось въ томъ, что мы «устроили желѣзныя дороги, банки и фабрики въ такихъ формахъ и размѣрахъ, которые не вызывались народными потребностями». Въ очень бѣгломъ и короткомъ развитіи этой благодарной темы, авторъ, конечно, говоритъ многое вполнѣ резонное, но ничего, однако, такого, что было бы, во-первыхъ, ново, а во-вторыхъ, что не было бы возможно развивать и доказывать безъ философическихъ размышленій о самобытности и подражательности. Въ вашемъ журналѣ такъ часто говорилось на эту тему, что мнѣ нѣтъ надобности объ ней здѣсь распространяться. Я сдѣлаю только два замѣчанія. Во-первыхъ, если справед-

ливо, что нѣкоторые правительственные дѣятели и публицисты увлекались и увлекаются грандіозною картиною европейскаго богатства, то непосредственные насадители желѣзныхъ дорогъ, банковъ и фабрикъ руководятся мотивомъ, одинаково сильнымъ на западѣ и востокѣ — наживой. Во-вторыхъ, если «Недѣля» противопоставляетъ самобытность подражательности и отсюда приходитъ къ заключенію о ненужности и даже вредности покровительственныхъ тарифовъ, заботъ о расширеніи рынковъ для русскихъ произведеній и т. п., то другіе самобытники разыгрываютъ на этой самой самобытности совершенно противоположныя аріи. Они, во имя самобытности, требуютъ какъ разъ этихъ отвергаемыхъ «Недѣлею» мѣръ, дабы англійскіе ситцы были посрамлены и изгнаны съ азіатскихъ рынковъ самобытными русскими, дабы процвѣло наше самобытное машиностроеніе, дабы финляндская проволока и писчая бумага не мѣшали развитію самобытной проволоки и бумаги и т. д., и т. д. Спрашивается, зачѣмъ же такъ усиленно совать всюду эту самобытность, которая допускаетъ такія недоразумѣнія и совсѣмъ противоположныя толкованія? Не проще-ли было бы сказать, что наша торгово-промышленная политика послѣдняго времени направляла кредитъ, формы производства и пути сообщенія въ интересахъ капитала, а не труда, какъ слѣдовало бы по мнѣнію «одного изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ?» Конечно, гораздо проще. Но, видите-ли, нельзя, во-первыхъ, поручиться, что таково дѣйствительно мнѣніе образованнаго сельскаго хозяина. А во-вторыхъ, если всѣ вопросы ставить такъ просто и ясно, такъ придется, пожалуй, совсѣмъ отказаться отъ разныхъ занимательныхъ игръ на словахъ «самобытность», «западничество», «подражательность» и проч. Эти же игры представляютъ три драгоцѣнныя возможности на выборъ (или, если угодно, всѣ три заразъ): или ловить рыбу въ мутной водѣ, или удовлетворять своей склонности къ изготовленію сапогъ въ смятку, или, наконецъ, удовлетворять инстинкту, побуждающему бить избиваемаго. Посмотрите, пожалуйста, что выходитъ. «Новое Время» сочувственно цитировало статью «одного изъ образованныхъ сельскихъ хозяевъ», между тѣмъ, какъ оно съ чрезвычайною горячностью требуетъ именно охранительныхъ пошлинъ и расширенія рынковъ. Что же его въ статьѣ «Недѣли» прельстило? Прежде всего флагъ самобытности. Это разъ. А затѣмъ то обстоятельство, что «современный застой» есть, вопреки разглагольствіямъ интеллигенціи, прекрасная вещь «съ народной точки зрѣнія», а слѣдовательно интеллигенція подлежитъ сугубому порицанію за свои клеветы или эгоистическое отщепленіе отъ народной точки зрѣнія... Статья «Недѣли» начинается такъ: «Извѣстія періодическихъ изданій за прошлый годъ единогласно утверждаютъ, что наше экономическое положеніе изъ рукъ вонъ плохо и что отъ него страдаютъ всѣ классы безъ исключенія». Это говорятъ періодическія изданія и облыжно говорятъ, потому что «тамъ, во глубинѣ Россіи...» тамъ два веселые пошехонца поютъ хвалу...

Милостивые государи, я совершенно понимаю, что многимъ пріятнѣе повѣрить двумъ веселымъ пошехонцамъ, чѣмъ единогласному утвержденію періодическихъ изданій. Понимаю также, что совершенно въ интересахъ этихъ многихъ переименовать хвалу веселыхъ пошехонцевъ въ «народную точку зрѣнія», а единогласное утвержденіе періодическихъ изданій въ дрянной эгоизмъ оторвавшейся отъ народа интеллигенціи. Но вотъ чего я рѣшительно не понимаю: «Недѣля», вѣдь, тоже періодическое изданіе, зачѣмъ же она самоубійствомъ занимается?..

Эта наклонность къ самоубійству составляетъ одну изъ выдающихся чертъ современной литературы. Она проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, и вы позволите мнѣ въ заключеніе этого письма остановиться на одномъ изъ такихъ проявленій, причемъ я буду имѣть случай покончить съ однимъ полемическимъ эпизодомъ.

Въ прошломъ письмѣ я сдѣлалъ г. Буренину краткое увѣщаніе насчетъ неприличія раскрыванія чужихъ псевдонимовъ. Увѣщаніе, вы помните, было очень краткое, всего нѣсколько строкъ. Г. Буренину слѣдовало либо повиниться, либо, по крайней мѣрѣ, промолчать. Но изо всего увѣщанія онъ внялъ только одному: разрѣшенію продолжать розыскъ. Въ пространномъ отвѣтѣ онъ съ рѣдкою развязностью роется въ душѣ г. Михайловскаго, излагаетъ мотивы, по которымъ въ послѣднихъ номерахъ «Отечественныхъ Записокъ» не появляется статей за его подписью, намекаетъ на «интересное положеніе» г. Михайловскаго и т. д. Вѣроятно, онъ хочетъ этимъ подтвердить свой нынѣшній любимый тезисъ: мы не либералы (говорю *нынѣшній*, потому что когда-то любимый тезисъ г. Буренина былъ діаметрально противоположенъ: мы либералы). Это, конечно, не либерально, и не консервативно, и не ретроградно, и не радикально, даже не «откровенно», потому что откровенность предполагаетъ собственную разверстую душу, а не копаніе въ чужой. Это просто дрянно. Сколько мнѣ извѣстно, положеніе г. Михайловскаго ни мало не интересно, а только очень тоскливо, неудобно и ни въ какомъ

случаѣ издѣвательства не заслуживаетъ. А впрочемъ, г. Буренину лучше знать, ему и книги въ руки, онъ именно изъ тѣхъ, которые могутъ сказать о себѣ: «чужихъ имѣній мнѣ не знать!» Дѣло, однако, не въ г. Михайловскомъ, а въ Постороннемъ. Я не имѣю особенно принудительныхъ причинъ скрываться, но когда меня хватаютъ за горло, роются въ моей совѣсти и кричатъ: ты вотъ кто! ты вотъ что на душѣ имѣешь! то я отвѣчаю: — не ваше дѣло! молчите, неприличные вы люди! На то есть полиція, чтобы выдавать свидѣтельства о самоличности и провѣрять паспорта, а вы—литераторы. Кто можетъ уважать литературу, которая на себя позорно, самоубійственно замахивается, въ средѣ которой нельзя даже псевдонима себѣ выбрать?..

Милостивые государи, я тороплюсь сойти съ вопроса о моемъ личномъ положеніи, дабы вы и публика яснѣе увидѣли, что я имѣю въ виду общее положеніе вещей.

Въ № 111 «Русскихъ Вѣдомостей» г. Арс. Введенскій объясняетъ, что подписи «Сибирякъ» и «М—инъ», встрѣчающіяся въ послѣднее время довольно часто подъ разсказами изъ горнозаводскаго быта, принадлежатъ одному и тому же лицу. Г. Введенскій прибавляетъ: «я не думаю, чтобы принадлежность этихъ двухъ подписей одному автору могла быть подвержена сомнѣнію или бы составляла тайну, неподлежащую разоблаченію въ печати». Затѣмъ, основываясь на этой тождественности, г. Введенскій читаетъ пространныя наставленія г. Сибиряку и редакціи «Дѣла». Имѣлъ-ли г. Введенскій право поступать съ чужими подписями столь безцеремонно? Я ничего не знаю о г. Сибирякѣ, интересно его положеніе или нѣтъ, вѣрно предположеніе г. Введенскаго или не вѣрно, но я рѣшительно отвѣчаю на свой вопросъ отрицательно. Допустимъ, что свѣдѣнія г. Введенскаго вѣрны, что мотивы, заставляющіе человѣка подписываться сегодня «Сибирякъ», а завтра «М—инъ», г. Введенскимъ угаданы, что наставленія, которыя онъ читаетъ писателю и редакціи, чрезвычайно драгоцѣнны. Но и за всѣмъ тѣмъ, правъ полиціи и судебнаго слѣдователя я за г. Введенскимъ признать не могу. Ибо, если во вниманіе къ достоинствамъ г. Введенскаго мы ему это право предоставимъ, то кто же себѣ этого права не потребуетъ? Потребуетъ и какой-нибудь Х, который можетъ оказаться лишеннымъ всякихъ достоинствъ, а не можемъ же мы ему сказать: нѣтъ-съ, это только г. Введенскому предоставлено, тотъ не налжетъ, не ошибется, оцѣнитъ степень интересности положенія и т. д.; напримѣръ, псевдонимъ «графа Алексиса Жасминова» онъ не разоблачитъ, а «Обманутаго мужа изъ Калуги» разоблачитъ, или наоборотъ, какъ ужь тамъ самъ разсудитъ... И потомъ, что такое «тайна» (псевдонима), подлежащая разоблаченію въ печати? Представьте себѣ, что я подписываюсь «Постороннимъ», потому что отъ долговъ бѣгаю, укрываю отъ кредиторовъ свой гонораръ. Бѣгать отъ долговъ очень не хорошо, но кредиторамъ тутъ должна помогать не литература, а спеціальное учрежденіе — полиція. Я думаю, милостивые государи, что въ средѣ литературы не составляетъ утопіи мечта о такомъ, по крайней мѣрѣ, уваженіи къ личности собрата по перу (хотя бы и врага по убѣжденіямъ), чтобы предоставить ему право называться какъ *онъ* хочетъ и по мотивамъ, которые *онъ* считаетъ удовлетворительными. Право, вѣдь, это вовсе не много... Тѣмъ болѣе, что такое соблюденіе самыхъ элементарныхъ приличій не мѣшаетъ не только изложенію драгоцѣнныхъ наставленій, но даже и простой грызнѣ. Вотъ хоть бы г. Буренинъ могъ бы въ настоящемъ случаѣ прибѣгнуть къ пріему, который онъ много разъ съ успѣхомъ употреблялъ и прежде относительно того же г. Михайловскаго. Говоритъ, говоритъ объ чемъ-нибудь очень важномъ и интересномъ, да вдругъ и прибавитъ: а кромѣ того, есть еще на свѣтѣ такой-сякой, нисколько не важный и не интересный Михайловскій. И чудесно. Поступивъ также въ эпизодѣ со мной, г. Буренинъ насытилъ бы волковъ и сохранилъ бы овецъ, злобу свою утолилъ бы и приличіе соблюлъ бы. Теперь же я могу сказать только одно: г. Буренинъ перенесъ полемику на такую почву, на которой я заранѣе побѣжденъ и складываю оружіе. И знаете что: торжествующій г. Буренинъ... это такъ естественно, это только маленькая, но очень характерная частность большой картины.

V *).

Позвольте мнѣ коснуться одного щекотливаго (въ редакціонномъ собственно отношеніи) пункта...

Объ вашемъ журналѣ существуетъ лестное для васъ мнѣніе—и вы, конечно, сами его слыхали—что онъ болѣе или менѣе неуклонно держится разъ выбраннаго направленія, имѣетъ болѣе или менѣе опредѣленную физіономію, которая можетъ нравиться однимъ и не нравиться другимъ, но къ которой читающая публика, во всякомъ случаѣ, привыкла, какъ къ хорошо знакомому лицу. Не думаю, однако, чтобы, приводя здѣсь это распространенное мнѣніе, я подлежалъ об-

*) 1883, іюль.

виненію въ лести. Спора нѣтъ, съ лицами знакомыми всякому пріятнѣе имѣть дѣло, нежели съ такими, относительно которыхъ нельзя предсказать, когда и при какихъ обстоятельствахъ они освѣтятся улыбкой, когда омрачатся нахмуренными бровями и когда совсѣмъ отвернутся отъ собесѣдника. А въ лицахъ коллективныхъ, такъ сказать, юридическихъ и притомъ берущихъ на себя высокую обязанность судить и рядить обо всемъ, что дѣлается и чего не дѣлается на бѣломъ свѣтѣ—каковъ журналъ или газета — подобная измѣнчивость физіономіи совсѣмъ уже никуда не годится. Но именно поэтому разговоръ объ опредѣленности физіономіи журнала не можетъ быть заподозрѣнъ въ льстивости. Если это похвала, то слишкомъ ужъ элементарная, пожалуй, въ родѣ даже того, что, дескать, такой-то платковъ изъ кармановъ не воруетъ. Пенелопа имѣла свои резоны раздѣлывать по ночамъ работу, сдѣланную днемъ. Но журналъ никакихъ такихъ резоновъ не имѣетъ. Понятно, что, разъ сознавъ ошибочность своего міровоззрѣнія или своей программы, журналъ не можетъ уже его держаться изъ упрямой или лицемѣрной прямолинейности. Но въ такомъ случаѣ онъ долженъ выразить это безъ виляній и уклоненій, съ тѣмъ большею опредѣленностью, чѣмъ важнѣе пунктъ сознаннаго заблужденія. Дѣло совсѣмъ не въ формалистикѣ, не въ неподвижности, а тѣмъ болѣе не въ неподвижности quand même. Дѣло просто въ опредѣленности, иначе говоря, именно въ томъ, чтобы люди имѣли передъ собой такое лицо, относительно котораго извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ оно краснѣетъ и блѣднѣетъ, улыбается и хмурится.

Но, милостивые государи, если, по наиболѣе распространенному въ читающей публикѣ мнѣнію, журналъ вашъ представляетъ такое знакомое лицо, то не всѣ всетаки это мнѣніе раздѣляютъ. Мнѣ попался недавно одинъ изъ нумеровъ «Недѣли» конца прошлаго года, въ которомъ была приведена выдержка изъ статьи нѣкотораго публициста, напечатанной въ одномъ мелкомъ изданіи. (Самого этого изданія я никогда не вижу, да и вы, вѣроятно, тоже). Означенный публицистъ отнюдь не держится распространеннаго объ вашемъ журналѣ мнѣнія. Онъ утверждаетъ именно, что еще недавно «Отечественныя Записки» «цѣловали мужицкій сапогъ» (или лапоть, не помню), а теперь цѣлуютъ «папскую туфлю съ Литейной», чѣмъ и доказывается шаткость вашихъ убѣжденій. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что приведенное мнѣніе лишено всякаго смысла. Когда и зачѣмъ цѣловали вы такую нечистоплотную и совершенно недостойную поцѣлуя вещь, какъ мужицкій лапоть или сапогъ? Папская туфля—другое дѣло: католики ее цѣлуютъ. Но, не будучи католиками, зачѣмъ совершаете вы эту, по существу унизительную, церемонію? Какая такая папская туфля «съ Литейной»? та-ли самая, которая въ Римѣ находится, или другая какая? И не дѣлаютъ-ли эту папскую туфлю съ Литейной тамъ же, гдѣ, по изслѣдованію титулярнаго совѣтника Поприщина, дѣлаютъ луну («и прескверно дѣлаютъ»), то-есть въ Гамбургѣ? Можно исписать цѣлую страницу такими вопросами и всетаки не добраться до смысла въ обвиненіи почтеннаго публициста. Но все для васъ уяснится, если вы примете во вниманіе, что мужицкій сапогъ и папская туфля съ Литейной—это только метафора, остроумная, тонкая, ядовитая, глубокомысленная метафора. А именно подъ мужицкимъ сапогомъ надо разумѣть «народъ», а подъ папской туфлей съ Литейной—«интеллигенцію»...

Боже мой, какъ это надоѣло! Ниже я, впрочемъ, съ вашего позволенія, можетъ быть, коснусь (а можетъ быть, и не коснусь) этого обвиненія. Теперь же я привелъ сужденіе почтеннаго публициста съ двоякою цѣлью. Во-первыхъ, мнѣ хотѣлось привести вѣсское доказательство, что луну дѣйствительно дѣлаютъ въ Гамбургѣ и дѣйствительно прескверно. Во-вторыхъ, предметъ моего сегодняшняго письма таковъ, что неизлишне, можетъ быть, будетъ нѣкоторое предварительное объясненіе насчетъ того, какъ слѣдуетъ понимать опредѣленность физіономіи журнала и отсутствіе въ немъ внутреннихъ противорѣчій.

Представьте себѣ журналъ, посвященный развитію и распространенію идеи трансформизма, то-есть измѣнчивости органическихъ видовъ. Идея эта пользуется нынѣ, какъ извѣстно, такимъ значеніемъ и вліяніе ея чувствуется въ такихъ разнообразныхъ и, повидимому, удаленныхъ другъ отъ друга областяхъ знанія, что нашъ гипотетическій журналъ можетъ помѣщать у себя статьи и по біологіи, и по соціологіи, и по теоріи нравственности, и по теоріи познаванія, и по исторіи культуры, и по психологіи. Онъ можетъ, пожалуй, ввести на свои страницы беллетристику, поэзію, художественную критику, оставаясь вполнѣ вѣрнымъ своей основной идеѣ. Спрашивается, останется-ли онъ ей также вѣренъ, если помѣститъ рядомъ статьи въ какой бы то ни было формѣ за и противъ дарвинизма? Можетъ быть, да, а можетъ быть, нѣтъ. Можно быть убѣжденнѣйшимъ адептомъ теоріи трансформизма и въ тоже время рѣшительно отрицать многіе изъ важнѣйшихъ принциповъ теоріи Дарвина; а слѣдовательно, въ журналѣ на-

шемъ могутъ находить себѣ мѣсто самые яростные противники дарвинизма на ряду съ его защитниками, если только тѣ и другіе сходятся на общей почвѣ трансформизма. Только тогда журналъ можетъ быть справедливо уличаемъ въ шаткости убѣжденія и неопредѣленности физіономіи, если вдругъ струситъ какихъ-нибудь логическихъ выводовъ изъ своей основной мысли, или почему-нибудь откажется приложить ихъ къ тому или къ другому факту, къ той или другой отрасли знанія, къ коимъ они вполнѣ приложимы.

Возьмемъ другой примѣръ. Въ Англіи происходитъ теперь довольно сильное движеніе въ пользу такъ называемой націонализаціи земли. Журналъ, имѣющій задачею пропаганду этой идеи, можетъ, ни мало не противорѣча себѣ, печатать статьи за и противъ тѣхъ или другихъ юридическихъ, экономическихъ, политическихъ мотивовъ предлагаемой реформы, за и противъ тѣхъ или другихъ практическихъ способовъ ея осуществленія. Самая даже горячая полемика по этимъ второстепеннымъ вопросамъ, печатаясь въ одномъ и томъ же журналѣ, не запятнаетъ его страницъ противорѣчіемъ, пока полемизирующіе спорятъ не о самомъ принципѣ націонализаціи, а лишь предъявляютъ различныя соображенія объ его справедливости или выгодности, или о практическихъ путяхъ къ его водворенію. Одна статья можетъ, напримѣръ, ссылаться на историческое право, а другая — относиться къ нему съ полнымъ пренебреженіемъ и въ теоріи экономической справедливости искать основанія для принципа націонализаціи; одна предлагать извѣстную систему налоговъ, другая — прямой выкупъ земли государствомъ и т. д. Понятное дѣло, что съ теченіемъ времени вопросъ можетъ перейти въ другую стадію, а именно, достаточно назрѣвъ для практическаго осуществленія, можетъ потребовать, чтобы журналъ держался уже одного какого-нибудь способа проведенія его въ жизнь, если, конечно, другіе пути ему противорѣчатъ.

Все это я къ тому, милостивые государи, что мнѣ хотѣлось бы поговорить о нѣкоторыхъ вашихъ сотрудникахъ. Я знаю, что это не принято и можетъ подать поводъ къ заготовленію луны по гамбурски. Хотя съ другой стороны, въ нашей журналистикѣ нерѣдко случалось, что какъ только какой-нибудь сотрудникъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, оставитъ журналъ или газету, въ которой работалъ даже много лѣтъ, такъ волѣдъ ему пускается иногда прямо обильная брань, или же самъ онъ начинаетъ предаваться жестокому «критиканству» по адресу своихъ вчерашнихъ сотрудниковъ. Я думаю, что est modus in rebus. Я думаю, что журналъ можетъ говорить о своихъ сотрудникахъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ, не рискуя прослыть льстивымъ панегиристомъ, но и не впадая въ противоположную крайность, съ сохраненіемъ полной свободы и безпристрастія и вмѣстѣ того уваженія къ этимъ сотрудникамъ, котораго они естественно заслуживаютъ съ точки зрѣнія журнала. Быть можетъ, я, въ качествѣ человѣка посторонняго, нахожусь въ этомъ отношеніи въ особенно удобномъ положеніи и нижеслѣдующимъ не только не внесу на страницы «Отечественныхъ Записокъ» никакого внутренняго противорѣчія, а даже поспособствую уясненію точки зрѣнія редакціи.

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ печатаются въ «Отечественныхъ Запискахъ» интересныя и наводящія на размышленіе статьи г. В. В. Во всякой другой литературѣ, болѣе живой, менѣе придавленной, лицемѣрной и мелочной, статьи эти, конечно, обращали бы на себя гораздо больше вниманія, чѣмъ какое выпало у насъ на долю г. В. В. Печатались онѣ и во времена фантома «народной политики», когда, казалось бы, самыя эти слова обязывали попристальнѣе всмотрѣться въ попытку серьезнаго и оригинальнаго освѣщенія экономической стороны народной политики. Печатались и потомъ, когда еще усерднѣе закаламбурили все на ту же тему народной политики, съ особеннымъ подчеркиваніемъ національной стороны вопроса, и когда, слѣдовательно, еще любопытнѣе было бы остановиться на развертываемой г-мъ В. В. перспективѣ оригинальнаго, пожалуй, самобытнаго пути развитія русской жизни. Но нѣсколько бѣглыхъ рецензій и двѣ-три критическія статьи посерьезнѣе, вотъ и все, чего дождался г. В. В. и то уже тогда, когда статьи его были собраны воедино и изданы отдѣльной книгой («Судьбы капитализма въ Россіи». Спб. 1882).

Пожайлуста, не подумайте, что я намѣреваюсь, какъ говорится, пополнить этотъ пробѣлъ критики. Пробѣловъ этихъ, по разнымъ обстоятельствамъ, а главнымъ образомъ, конечно, по искусственной, насильственной разобщенности литературы и жизни, накопилось столько, что пора бы и бросить эту формулу «пополненія пробѣловъ»: по нынѣшнимъ временамъ всѣ дыры зашить было бы безумною мечтой и далъ бы только Богъ хоть въ какомъ ни на есть видѣ сохранить остатки прикрытія наготы человѣческой. Я не располагаю фактическимъ матеріаломъ, нужнымъ для провѣрки и сличенія цифровыхъ данныхъ г. В. В., да еслибы таковой матеріалъ у меня и былъ подъ руками, я, всетаки, признаться ска-

зать, предоставилъ бы его кому-нибудь другому. Мнѣ хочется только сказать нѣсколько словъ объ нѣкоторыхъ общихъ положеніяхъ г. В. В. и думаю, что это можно сдѣлать совершенно свободно на страницахъ «Отечественныхъ Записокъ». Журналъ вашъ нѣсколько уже лѣтъ печатаетъ статьи г. В. В. и затѣмъ, конечно, справедливо поступаетъ, предоставляя ему мѣсто для полемической защиты его долгой работы. Но редакція никогда не брала на себя отвѣтственности за всѣ мысли г. В. В. въ ихъ полномъ объемѣ, тѣмъ болѣе, что мысли эти излагались не въ однѣхъ «Отечественныхъ Запискахъ», а и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ и, наконецъ, въ небольшомъ, но характерномъ предисловіи къ книгѣ «Судьбы капитализма въ Россіи».

Оригинальность позиціи, занятой г. В. В. въ вопросѣ первѣйшей важности, много разъ подвергавшемся обсужденію съ разныхъ сторонъ, состоитъ въ слѣдующемъ.

Существуетъ мнѣніе, что для Россіи неизбѣженъ и желателенъ тотъ путь экономическаго развитія, которымъ шла западная Европа. Путь же этотъ состоитъ въ разложеніи средневѣковыхъ формъ организаціи труда, въ отлученіи непосредственныхъ производителей отъ орудій производства и въ сосредоточеніи ихъ, въ видѣ голой рабочей силы, въ большихъ промышленныхъ учрежденіяхъ подъ руководствомъ капитала. Мнѣніе это опирается на историческій примѣръ Европы, на доктрины расшатанной, но всетаки ходячей, такъ-называемой, либеральной политической экономіи и, что всего важнѣе, на многіе политически-сильные интересы, то-есть на такіе, которые прямо или косвенно играютъ важную роль въ ходѣ нашихъ дѣлъ.

Существуетъ другое мнѣніе, по которому Европа намъ во всѣхъ смыслахъ не указъ, ибо въ нѣкоторыхъ, изстари сохранившихся у насъ учрежденіяхъ (община, артель), равно какъ и въ глубинѣ самобытнаго русскаго духа, имѣются прочныя гарантіи отъ язвъ европейскихъ экономическихъ порядковъ. Мнѣніе это, въ своемъ чистомъ видѣ, не имѣетъ ровно никакого практическаго значенія. Пережевываніемъ его занимаются славянофильскіе и славянофильствующіе люди, оставаясь въ туманѣ ни къ чему не обязывающихъ общихъ мѣстъ, да чувствительныхъ словъ, то грозныхъ, то умилительныхъ, то хвастливыхъ. Но когда такимъ способомъ парообразныя частицы улетучиваются въ безконечное пространство, то остается осадокъ, весьма пригодный для украшенія предыдущаго мнѣнія. Такъ какъ покровительству подлежитъ все отечественное, самобытное (конечно, не предусмотрѣнное уложеніемъ о наказаніяхъ), то подлежатъ ему и отечественные капиталисты. И съ этого момента начинается самоѣденіе самобытности. Не трудно, въ самомъ дѣлѣ, видѣть, что, расчищая дорогу отечественному самобытному капиталу, мы, путемъ казенныхъ субсидій, искусственнаго спроса, охранительныхъ пошлинъ, расчищенія рынковъ, водворяемъ у себя какъ разъ тотъ самый европейскій экономическій порядокъ, отъ котораго будто бы гарантированы самобытными чертами русскаго духа.

Существуетъ третье мнѣніе, по которому Европа намъ непремѣнно указъ, въ смыслѣ историческаго примѣра, положительнаго или отрицательнаго. По этому мнѣнію, мы можемъ и должны черпать изъ богатой сокровищницы европейской цивилизаціи все пригодное и вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгать ошибокъ, сдѣланныхъ старой Европой въ своемъ блестящемъ историческомъ шествіи. Между прочимъ, мы можемъ и должны стараться избѣжать того отлученія производителей отъ силъ природы и орудій производства, которое совершилось въ Европѣ, что называется, зря, безъ участія направляющаго разума, а единственно роковою силою сцѣпленія событій. Для этого мы должны встать на почву народной политики не въ каламбурномъ, а въ дѣйствительномъ смыслѣ слова, то-есть пробнымъ камнемъ мѣропріятій, плановъ, словомъ, всей внутренней и внѣшней политики, сдѣлать интересы непосредственныхъ производителей, представителей труда. Разныя заслоняющія этотъ предметъ вещи, какъ то: народная гордость, національныя богатства, русское добро, самобытный духъ и пр. должны быть убраны на задній планъ. Иначе Россія, подъ тѣмъ или другимъ соусомъ, либеральнымъ или самобытнымъ, продѣлаетъ на себѣ экономическую исторію Европы, причемъ другія, дѣйствительно, благодѣтельныя стороны европейской цивилизаціи останутся, можетъ быть, подъ спудомъ, благодаря нѣкоторымъ особенностямъ нашего общественнаго строя.

Это послѣднее мнѣніе, раздѣляемое, сколько я понимаю, «Отечественными Записками», тоже не имѣетъ практическаго, дѣлового значенія и осуждено пока играть роль гласа, вопіющаго въ пустынѣ. Политически сильные элементы его не раздѣляютъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ оно слишкомъ опредѣленно и не гибко, чтобы заняться недостойною игрою въ каламбуры самобытнаго духа и народной гордости.

Изъ всѣхъ этихъ трехъ направленій г. В. В. натурально стоитъ ближе всего къ послѣднему. Онъ даже совсѣмъ въ него входитъ, съ тѣмъ единственнымъ, но, повидимому, чрезвычайно важнымъ отличіемъ, которое опредѣляется его убѣжденіемъ въ *невозмож-*

ности для Россіи капиталистическаго строя на европейскій манеръ. По мнѣнію г. В. В., всѣ надежды и опасенія на этотъ счетъ одинаково тщетны. Ни бояться намъ капитализма не приходится, ни надѣяться на его торжество, ибо самая возможность его господства на Руси есть химера. Напрасно мы, въ близорукомъ увлеченіи, примѣромъ Запада, со страшными пожертвованіями, пытаемся водворить у себя крупную промышленность, организованную на европейскій ладъ: ничего изъ этого не выходитъ и выйти не можетъ. Но столь же напрасны и опасенія того факта, что капитализмъ заполонитъ нашу родину: капитализмъ нашъ фатально вялъ, неповоротливъ, не имѣетъ корней и напоминаетъ своими проявленіями анекдотъ о томъ мужикѣ, который, получивъ власть, разсчитывалъ украсть сто цѣлковыхъ и убѣжать. Это убѣжденіе свое г. В. В. черпаетъ отнюдь не въ какомъ-нибудь самобытномъ духѣ или русскомъ добрѣ—и вотъ почему славянофильскіе и славянофильствующіе люди не обмолвились, кажется, ни единымъ словомъ ни о статьяхъ, ни о книгѣ г. В. В., хотя его-то, конечно, нельзя уличать въ прикосновенности къ подражанію Западу. Такъ, не въ самобытностяхъ или гордостяхъ и тому подобныхъ глупостяхъ почерпаетъ г. В. В. увѣренность въ невозможности у насъ капиталистическаго строя, а въ анализѣ условій нашей экономической жизни.

Посмотримъ, однако, нѣсколько ближе, что, собственно, по мнѣнію г. В. В., невозможно и въ какой мѣрѣ невозможно.

Если имѣть въ виду не колоссальное развитіе европейской промышленности, не грандіозную картину богатствъ Запада, а остроту рабочаго вопроса, массы пролетаріевъ, эмиграцію, періодическія бури, крахи, то взглядъ г. В. В. можетъ показаться съ перваго раза чрезвычайно оптимистическимъ. Отрицая возможность капиталистическаго строя на Руси, онъ тѣмъ самымъ какъ бы удаляетъ изъ нашего будущаго и всѣ тѣневыя стороны процесса. На самомъ дѣлѣ, это, однако, вовсе не такъ, и даже очень поверхностный читатель не можетъ обличать нашего автора въ излишнемъ оптимизмѣ, хотя бы въ виду одной слѣдующей его фразы (изъ предисловія къ «Судьбамъ капитализма въ Россіи»): «Отрицая возможность господства въ Россіи капитализма, *какъ формы производства*, я ничего не предрѣшаю относительно его будущаго, *какъ формы и степени эксплуатаціи народныхъ силъ*». Болѣе внимательный читатель знаетъ, что во всей работѣ г. В. В. эта оговорка постоянно имѣется въ виду и, понятное дѣло, процессъ обезземеленія подчеркивается при этомъ съ особенною выразительностью. Другими словами, капитализмъ, по мнѣнію г. В. В., не можетъ у насъ достигнуть тѣхъ законченныхъ формъ и той напряженности производства, которыхъ онъ достигъ въ Европѣ, но процедуру отлученія производителей отъ силъ природы и орудій производства онъ совершать можетъ и теперь уже съ успѣхомъ совершаетъ. Мало того, даже при искреннемъ и продуманномъ желаніи остановить этотъ процессъ, уже теперь нужны для этого большія усилія и весьма рѣшительныя мѣры. Слѣдовательно, въ ближайшемъ, да и не въ особенно близкомъ будущемъ, г. В. В. не предвидитъ никакой Аркадіи отъ того, что капитализмъ не разростется на европейскій манеръ. Очень характерны въ этомъ отношеніи слѣдующія слова г. В. В. по поводу разныхъ соображеній о развитіи у насъ механическаго производства, машиностроенія. Онъ предвидитъ переходъ этой отрасли производства въ руки артельной организаціи. Но «*раньше*», чѣмъ артельная организація охватитъ механическую отрасль промышленности, послѣдняя, вѣроятно, перейдетъ въ казенное завѣдываніе». Но *еще раньше* «правительство побьется еще нѣкоторое время, пробуя различныя мѣропріятія въ пользу капитализма, и затратитъ немалое количество рублей ради упроченія этой формы промышленной организаціи». Что же касается казеннаго завѣдыванія, то самъ г. В. В. предается по этому случаю такимъ размышленіямъ:

«Но не утопія-ли все это? скажетъ читатель. Исправится-ли дѣло съ переходомъ въ руки казны; сдѣлаются-ли его руководителями люди талантливые, способные организовать производство по всѣмъ правиламъ техники; будетъ-ли администрація заводовъ заботиться о благосостояніи рабочаго и не станетъ-ли она, напротивъ того, урѣзывать всякій его кусокъ, съ цѣлью наполненія собственнаго кармана? такимъ образомъ, процессъ накопленія капитала не перемѣнитъ-ли только внѣшнюю оболочку, и капиталистъ казнокрадъ не займетъ-ли мѣсто современнаго дѣльца? Да, читатель! Если бы завтра исполнилось то, что мы проектируемъ, то именно по твоему бы и вышло. Хищные инстинкты такъ сильны въ современномъ обществѣ, что въ той или иной формѣ, а ближайшее будущее принадлежитъ имъ. Но это-то хищническое направленіе общества и послужитъ препятствіемъ скорому выполненію нашего проекта; ибо указанная переорганизація промышленности поведетъ къ уничтоженію обычныхъ пріемовъ, которыми до сихъ поръ хищничество питалось, а тамъ еще жди, когда и какъ выработаются новыя орудія хищенія и попадутъ-ли они въ твои руки! Современные

руководители хищниковъ, повторяемъ, воспрепятствуютъ перемѣнѣ, ближайшимъ результатомъ которой было бы измѣненіе формы хищенія». (Судьбы капитализма, стр. 67 и слѣд.).

Какъ видите, розоваго взгляда на ближайшее будуще тутъ нѣтъ, и не Аркадія намъ предстоитъ завтра, и послѣ завтра, и послѣ послѣ завтра: невозможность капиталистическаго строя Аркадіи еще не гарантируетъ даже въ спеціальной области чисто-экономическихъ отношеній.

Пойдемъ дальше.

Г. В. В. привелъ много свидѣтельствъ вялости нашего капитализма и его фатальной склонности жить не за свой счетъ, а при помощи казенныхъ субсидій, гарантій, охранительныхъ пошлинъ, искусственныхъ заказовъ, напоминающихъ знаменитыя національныя мастерскія 1848 года, только въ пользу капиталистовъ, и т. п. Но доказалъ-ли онъ, что капиталистическое производство у насъ рѣшительно невозможно? Нѣтъ, не доказалъ, да и не хотѣлъ доказывать и нельзя этого доказать. Съ особенною выразительностью говоритъ объ этомъ г. В. В. въ своей послѣдней, полемической статьѣ («Излишекъ снабженія рынка товарами», «Отечественныя Записки», май). Парируя доводы гг. Е. П. и Исаева, г. В. В. пишетъ, между прочимъ: «Капиталистическое производство очень быстро (по-русски, разумѣется) развивается въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производства». И далѣе: «Весьма вѣроятно, что Россія, какъ и другія страны, имѣетъ нѣкоторыя естественныя преимущества, благодаря которымъ она можетъ явиться поставщикомъ на внѣшніе рынки извѣстнаго рода товаровъ; очень можетъ быть, что этимъ воспользуется капиталъ и захватитъ въ свои руки соотвѣтствующія отрасли производства, т. е. національное раздѣленіе труда, дѣйствительно, поможетъ нашему капитализму укрѣпиться въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производства; но, вѣдь, у насъ идетъ рѣчь не объ этомъ; мы говоримъ не о случайномъ участіи капитала въ промышленной организаціи страны, а о вѣроятности построенія всего производства Россіи на капиталистическомъ принципѣ».

Вотъ, значитъ, въ чемъ дѣло, У насъ, значитъ, возможно въ обширныхъ размѣрахъ и уже практикуется: во-первыхъ, отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства, каковое отлученіе есть неизбѣжный спутникъ и даже фундаментъ капиталистическаго строя; возможно то, что сейчасъ казалось невозможнымъ — законченныя формы капитализма; только онѣ безсильны охватить все производство страны. Этого онѣ не могутъ.

Ну, а въ Европѣ могутъ? До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, тоже не могли. По свидѣтельству самого г. В. В. въ упомянутой полемической статьѣ, «типическая капиталистическая организація охватила лишь незначительную часть всего международнаго производства». А въ книгѣ «Судьбы капитализма» читаемъ: «Если хотите, только одна Англія можетъ быть названа страной чистаго капитализма; въ Америкѣ въ рукахъ крупнаго капитала находится фабричная промышленность, земля же въ большинствѣ случаевъ обработывается самими ея владѣльцами. Во Франціи мелкое земледѣліе не только преблагополучно существуетъ (наемные сельскіе рабочіе составляютъ здѣсь всего 14% земледѣльческаго класса), но и стѣсняетъ крупныя хозяйства, фермеры жалуются на недостатокъ рабочихъ, не смотря на періодическій наплывъ ихъ изъ Бельгіи, Испаніи, Пьемонта и на увеличившееся употребленіе машинъ... напомнимъ, какъ удивились нѣмецкіе ученые, когда статистическими изслѣдованіями было обнаружено, что крупная промышленность въ Пруссіи вовсе не такъ развита, а мелкая не въ такомъ упадкѣ, какъ это привыкли обыкновенно считать, основываясь на положеніяхъ буржуазной политической экономіи» (стр. 185—187).

Итакъ, подобно всему тому направленію, къ которому примыкаетъ г. В. В., онъ считаетъ ложною экономическую политику, направленную къ усиленію у насъ капитализма, и полагаетъ необходимымъ построить благосостояніе страны на прямыхъ заботахъ о непосредственныхъ производителяхъ. Въ пользу этихъ положеній или выводовъ г. В. В. привелъ не мало фактовъ и аргументовъ. Но для истиннаго пониманія его оригинальнаго тезиса о невозможности у насъ капиталистическаго строя, въ противоположность Европѣ, гдѣ онъ имѣетъ свои raisons d'être; для правильнаго пониманія этого тезиса надо имѣть въ виду, что капиталистическій строй въ Европѣ не такъ ужъ господствуетъ, какъ обыкновенно думаютъ, а у насъ не такъ ужъ отсутствуетъ, чтобы даже для отдаленнаго будущаго можно было противополагать наши экономическіе порядки европейскимъ. Безъ сомнѣнія, нашъ капитализмъ находится еще въ зачаточномъ состояніи и въ данный историческій моментъ мы можемъ съ сравнительно большимъ удобствомъ выбирать характеръ своей экономической политики. Но положеніе о невозможности, химеричности нашего капитализма надо понимать съ тѣми ограниченіями, которыя я сейчасъ заимствовалъ у самого г. В. В.: эта невозможность далеко не абсолютная, и, можетъ быть, даже не совсѣмъ правильно называть ее невозможностью.

Но здѣсь мы подходимъ къ чрезвычайно любопытному пункту работы г. В. В.

Въ предисловіи къ «Судьбамъ капитализма» г. В. В. говоритъ, между прочимъ, о томъ направленіи, «къ которому принадлежатъ какъ публицисты буржуазіи на западно-европейскій манеръ, такъ и соціалисты школы Маркса». Это направленіе считаетъ капиталистическій строй для Россіи неизбѣжнымъ. «Предполагается, что самостоятельные производители—ремесленники не въ состояніи произвольно организовать свое производство въ мануфактуру и фабрику, примѣняя для этого, насколько возможно, всѣ техническія усовершенствованія; что выполненіе задачи этой организаціи беретъ на себя капиталъ, и подъ его желѣзнымъ управленіемъ рабочіе теряютъ чрезмѣрный индивидуализмъ, дисциплинируются, пріобрѣтаютъ свойства, дѣлающія возможной общественную форму труда со всѣми ея послѣдствіями (фраза эта съ буквальною точностью повторяется и въ текстѣ книги, стр. 30: «предполагается» и т. д.). Причемъ первые (то-есть буржуазные экономисты) утверждаютъ, что на этой ступени развитія промышленный строй останется вѣчно: вторые же (то-есть марксисты) вѣрятъ, что когда капиталъ организуетъ всѣхъ или главную массу рабочихъ, миссія его окончится: воспитанные подъ его вліяніемъ для крупнаго производства, рабочіе поведутъ послѣднее безъ его посредства. Но это уже дѣло отдаленнаго будущаго, предметъ заботъ нашихъ внуковъ и правнуковъ; намъ остается примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма и постараться только смягчить черезъ-чуръ рѣзкія его проявленія».

Позволю себѣ усомниться, чтобы марксисты такъ рѣшительно предлагали «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма». Мнѣ случилось разъ слышать мнѣніе одного изъ самыхъ замѣчательныхъ и послѣдовательныхъ русскихъ сторонниковъ Маркса, что «пока мужикъ не выварится въ фабричномъ котлѣ, изъ него никакого проку не будетъ». Но я думаю все-таки, что это—отдѣльное мнѣніе, хотя бы и еще кѣмъ-нибудь раздѣляемо, и притомъ наталкивающееся на многія логическія неудобства. Марксисты, какъ и прочіе, знаютъ, что вываривание въ фабричномъ котлѣ ведетъ за собой не только гипотетически благодѣтельное «обобществленіе» труда, а и многія другія, завѣдомо неблагодѣтельныя послѣдствія; тѣмъ болѣе неблагодѣтельныя, что вліяніе ихъ отражается на цѣлыхъ поколѣніяхъ. Таковы болѣзни, развратъ, вырожденіе. Правда, что и нашъ невываренный въ фабричномъ котлѣ мужикъ, на другой манеръ, конечно, но все-таки тоже болѣетъ, развращается, вырождается; но изъ этого еще не слѣдуетъ, что только и свѣту, что въ окошкѣ. Правда, неблагопріятныя послѣдствія фабричнаго котла до извѣстной степени парализуются фабричнымъ законодательствомъ, но въ самой Англіи, гдѣ законодательство это наиболѣе развито, котелъ все-таки остается котломъ. Правда, наконецъ, что марксисты должны себя чувствовать въ практическомъ отношеніи удобнѣе въ Европѣ, гдѣ капитализмъ есть готовый уже крупный общественный фактъ, чѣмъ въ Россіи, но изъ этого не слѣдуетъ, что въ послѣдней они должны «примириться» съ возникающимъ экономическимъ порядкомъ. Наглядымъ свидѣтельствомъ ошибочности этого утвержденія г. В. В. можетъ служить слѣдующее обстоятельство. Въ 1880 г., въ журналѣ «Слово», было напечатано замѣчательное изслѣдованіе г. Николая—она (я не помню заглавія, а г. В. В. его не приводитъ). Посвящая ему послѣднюю главу своей книги, г. В. В. замѣчаетъ, что авторъ «приступилъ къ вопросу, очевидно, съ предвзятой идеей, вѣруя въ непогрѣшимость общепринятой (?) теоріи: и самъ Марксъ, заинтересуйся онъ судьбами русскаго капитализма, не могъ бы избрать лучшаго метода изслѣдованія и врядъ-ли провелъ бы его болѣе послѣдовательно, чѣмъ это сдѣлалъ авторъ». Прекрасно, какъ же относится г. —онъ къ нашему вопросу? предлагаетъ-ли онъ «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма»? Отнюдь нѣтъ. Вотъ, напримѣръ, какую выдержку изъ статьи г. —она приводитъ самъ г. В. В.:

«Капитализмъ, который породилъ такое трудное положеніе дѣлъ, который разрушилъ всѣ вѣковые народные устои, хозяйственные, правовые, нравственные, не смотря на все это, пользуется репутаціей зиждителя основъ, тогда какъ направленіе, стремящееся къ тому, чтобы не допустить до погибели, а дать возможность развиться основной мысли манифеста 19 февраля, направленіе это, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ, относилось къ числу разрушительныхъ. Можно надѣяться, что настоящій кризисъ откроетъ глаза обществу и покажетъ тѣхъ и другихъ въ настоящемъ свѣтѣ... Такъ какъ накопленію избытковъ продуктовъ труда въ рукахъ производителей и обращенію ихъ на развитіе средствъ производства препятствовала общественно-хозяйственная дѣятельность послѣднихъ 15 — 20 лѣтъ, дѣятельность, приведшая къ наступающему кризису, то, во избѣжаніе повторенія его, а главнымъ образомъ для способствованія общественно-хозяйственному развитію производителей, слѣдовательно, и всей страны, необходимо *сойти съ того пути, который стремится*

къ развитію обмѣна и направить всѣ силы на развитіе успѣшности труда производителей *при свободномъ владѣніи ими орудіями труда*, въ чемъ Положеніе совершенно справедливо видитъ залогъ домашняго благополучія и блага общественнаго».

Надѣюсь, милостивые государи, что тираду эту нельзя назвать приглашеніемъ «примириться съ наступающимъ господствомъ капитализма». А между тѣмъ, по словамъ г. В. В., какъ вы сейчасъ видѣли, «самъ Марксъ, заинтересуйся онъ судьбами русскаго капитализма, не могъ бы избрать лучшаго метода изслѣдованія и врядъ-ли провелъ бы его болѣе послѣдовательно, чѣмъ это сдѣлалъ г. —онъ».

Если, однако, г. В. В. относится, такимъ образомъ, не совсѣмъ правильно къ практическому положенію школы Маркса, то существуетъ одинъ философско - историческій пунктъ, на которомъ онъ является крайнимъ марксистомъ.

Я уже приводилъ дважды буквально повторяемую фразу г. В. В. о «капиталѣ, подъ желѣзнымъ управленіемъ котораго рабочіе теряютъ чрезмѣрный индивидуализмъ, дисциплинируются, пріобрѣтаютъ свойства, дѣлающія возможной общественную форму труда со всѣми благими ея послѣдствіями». Такое воззрѣніе на капиталъ г. В. В. усвоиваетъ и школѣ Маркса, и буржуазнымъ экономистамъ, предполагая лишь ту разницу, что первая видитъ въ этомъ обобществленіи труда при помощи капитала только переходный историческій моментъ, а буржуазные экономисты усматриваютъ здѣсь конечную форму экономическихъ отношеній, предѣлъ, его же не прейдеши. На самомъ дѣлѣ, однако, буржуазная или, такъ называемая, либеральная политическая экономія рѣшительно не причемъ въ формулѣ обобществленія труда. Никогда не желала она «утраты чрезмѣрнаго индивидуализма», а, напротивъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ народилась, и до нашихъ дней пропагандировала именно необходимость и благодѣтельность индивидуализма. Она могла бы сослаться, а при случаѣ и ссылается на то, что ростъ капитализма разложилъ стѣснявшіе индивидуальный полетъ—цехъ, общину, средневѣковое государство. Что касается школы Маркса, то воззрѣніе, по которому историческое значеніе капитала состоитъ въ воспитаніи рабочихъ для общественной формы труда, воззрѣніе, гегеліанское происхожденіе котораго отражается и на сильныхъ, и на слабыхъ его сторонахъ, я обсуждать не буду. Я попрошу васъ только посмотрѣть, вмѣстѣ со мной, какъ относится къ нему г. В. В.

Съ полною опредѣленностью отношеніе это высказывается въ упомянутой полемической статьѣ. Г. В. В. говоритъ здѣсь, что въ своей книгѣ, т. е. во всей, значитъ, своей работѣ, онъ разсматриваетъ капитализмъ, «какъ дѣятеля, историческая роль котораго заключается въ превращеніи единоличнаго труда въ общественной». Въ другомъ мѣстѣ говорится, что «прямая задача» капитализма состоитъ въ «воспитаніи населенія для общественной формы труда». На этомъ основаніи, признавъ, что капиталистическое производство «очень быстро развивается въ нѣкоторыхъ отрасляхъ», г. В. В. прибавляетъ: «но это развитіе всего меньше касается организаціи труда; оно построено не столько на привлеченіи къ производству новыхъ рабочихъ, на распространеніи воспитательнаго вліянія крупной организаціи производства (*главнѣйшая общественно-историческая задача капитализма*) на новыя группы рабочихъ, а главнымъ образомъ, на развитіи техники, на возвышеніи производительности рабочихъ, уже занятыхъ капиталомъ».

Выходитъ, что еслибы русскій капитализмъ исполнялъ свою «историческую роль», свою «прямую задачу», иначе говоря, еслибы онъ вваливалъ въ фабричный котелъ все больше и больше народу, то г. В. В., пожалуй, и ничего бы противъ него не имѣлъ. Но нашъ капитализмъ не «распространяетъ воспитательнаго вліянія крупной организаціи производства», изъ чего и явствуетъ его ненужность и слабость. Откуда, однако, эта увѣренность, что фабричный котелъ имѣетъ дѣйствительно благодѣтельное воспитательное вліяніе? Г. В. В. обладаетъ этою увѣренностью, обладаетъ до такой степени, что не считаетъ даже нужнымъ какъ-нибудь мотивировать ее, обосновать на глазахъ читателей. Между тѣмъ, дѣло тутъ вовсе не столь ясно и несомнѣнно, какъ таблица умноженія или какая-нибудь геометрическая аксіома. Въ сущности, «общественная форма труда», при господствѣ капитализма, сводится къ тому, что вѣсколько сотъ или тысячъ рабочихъ точатъ, вертятъ, накладываютъ, подкладываютъ, тянутъ, бьютъ и совершаютъ еще множество другихъ операцій въ одномъ помѣщеніи. Общій же характеръ этого режима прекрасно выражается поговоркой: «каждый за себя, а ужъ Богъ за всѣхъ». При чемъ тутъ «общественная форма труда»? Правда, мы видимъ иногда на Западѣ такую солидарность между рабочими, какую мудренно встрѣтить у насъ, но это объясняется отнюдь не непосредственно условіями труда въ фабричномъ котлѣ, а развитіемъ просвѣщенія и политической жизни. Не распространяясь на эту тему, я сошлюсь

на самаго г. В. В. Приведя на стр. 117—124 своей книги нѣсколько чертъ развитія въ Европѣ мелкой промышленности, рядомъ съ крупной, а иногда даже въ ущербъ и подрывъ послѣдней, г. В. В. пишетъ: «Организуя трудъ, капиталъ стремится къ одной цѣли: достигнуть наибольшаго производства съ наименьшими издержками. При организаціи же общественной формы труда въ интересахъ народа, рядомъ съ принципами хозяйственной экономіи, будутъ поставлены и другіе, какъ-то: доставленіе наибольшаго досуга работающему, предупрежденіе отупляющаго дѣйствія однообразныхъ манипуляцій, вреднаго вліянія на организмъ скученности людей и производства, устраненія отъ послѣдняго дѣтей, можетъ быть, и женщинъ, и проч. Весьма вѣроятно, что удовлетвореніе всѣмъ этимъ требованіямъ поведетъ къ необходимости создать новую, отличную отъ капиталистической, промышленную единицу и ихъ систему, сходную, напримѣръ, съ той, какая практикуется въ швейцарскомъ часовомъ производствѣ. А въ такомъ случаѣ и рабочій вопросъ на Западѣ усложняется еще больше: становится недостаточно одного лишь замѣщенія капиталиста группою рабочихъ въ организаціи, совершенно уже для нихъ подготовленной капиталомъ. Капиталъ, правда, организовалъ трудъ, но въ форму, неприглядную для рабочаго, и послѣднему придется ее перестраивать».

Спрашивается, какъ связать этотъ скептицизмъ съ тою увѣренностью въ «исторической задачѣ» капитала, съ точки зрѣнія которой г. В. В., по его собственнымъ словамъ, смотритъ на капиталъ во всей своей работѣ, и которая столь сильна въ немъ, что онъ не считаетъ даже нужнымъ предъявлять на этотъ счетъ какіе-либо мотивы и доказательства? Я не знаю, какъ связать, но думаю, что эпизодически прорывающійся скептицизмъ г. В. В. совершенно законенъ и что если капитализмъ и имѣетъ какую-нибудь общественно-историческую задачу или миссію, такъ развѣ только отрицательную. Допуская же, вмѣстѣ съ г. В. В., что миссія эта состоитъ именно въ воспитаніи рабочихъ для общественнаго труда, надо будетъ, кажется, признать, что капитализмъ въ Европѣ не исполняетъ своей «прямой», своей «главнѣйшей общественно-исторической задачи». А если онъ не исполняетъ ее тамъ, то что же удивительнаго, особенно утѣшительнаго или особенно огорчительнаго, наконецъ, просто оригинальнаго въ томъ, что онъ не исполняетъ ея и у насъ?

Если вы потрудитесь суммировать всѣ эти бѣглыя замѣчанія, основанныя преимущественно на собственныхъ показаніяхъ г. В. В., то согласитесь, я думаю, что устанавливаемая г. В. В. качественная разница между русскимъ и европейскимъ экономическимъ строемъ не такъ велика, какъ можетъ показаться. Во-первыхъ, и у насъ, какъ въ Европѣ, происходитъ отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства. Во-вторыхъ, и у насъ, какъ въ Европѣ, возможны, въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, отрасляхъ производства, законченныя формы капитализма. Въ-третьихъ, и въ Европѣ, какъ у насъ, не все производство построено на капиталистическомъ принципѣ. Въ четвертыхъ, и въ Европѣ, какъ у насъ, на капиталистическое воспитаніе рабочихъ для общественной формы труда является по малой мѣрѣ проблематичнымъ. При этомъ не слѣдуетъ, разумѣется, чтобы мы должны были желать водворенія у насъ европейскихъ экономическихъ порядковъ, то-есть расцвѣта того, что у насъ находится пока въ зачаткѣ. Отнюдь нѣтъ. Уже потому этого не слѣдуетъ, что сама Европа давнымъ-давно подумываетъ о неладности своихъ экономическихъ отношеній. Такъ давно, что мы, по случаю своей самобытности, успѣли даже забыть, что истинныя основанія критики этихъ отношеній совсѣмъ не мы выдумали, а заимствовали у самихъ европейцевъ же. Нынѣ тамъ эта критика такъ усилилась, что заявляется, хотя бы и въ микроскопическихъ размѣрахъ и съ задними цѣлями борьбы политическихъ партій, въ такихъ сферахъ, каковы министерство Бисмарка въ Германіи и Ферри во Франціи. Изъ *не* невозможности у насъ европейскихъ порядковъ слѣдуетъ, напротивъ, что съ водвореніемъ ихъ надо бороться.

Это собственно и дѣлаетъ, по мѣрѣ силъ и возможности, г. В. В., печатая свои статьи и издавая свои книжки. Онъ хорошее дѣло дѣлаетъ, разумѣется, вовсе не стираемое тѣми недоразумѣніями, которыя отмѣчены выше, а равно и тѣмъ недоразумѣніемъ, которое я отмѣчу сейчасъ.

Къ кому, полагаете вы, обращается г. В. В. съ своими совѣтами, ободреніями, указаніями? къ правительству, къ людямъ, косвенно власть имѣющимъ, къ какой-нибудь опредѣленной общественной группѣ? Люди, власть имѣющіе, не обязаны у насъ предъявлять обществу свою программу, и г. В. В., какъ можно думать на основаніи 5 и 6 страницъ предисловія къ «Судьбамъ капитализма», находитъ это отрицательное обстоятельство удобнымъ и соотвѣтствующимъ нашему положенію. Но если намъ и неизвѣстны программы людей, власть имущихъ, въ подробностяхъ, то настолько-то мы всетаки ихъ знаемъ, чтобы съ увѣренностью сказать, что «обобществленіе» труда

при помощи капитала отнюдь въ нихъ не входитъ. Нѣкоторыя положенія и аргументы г. В. В. всѣмъ понятны, доступны, всѣмъ, такъ сказать, на потребу. Когда онъ говоритъ, напримѣръ, и доказываетъ фактами и теоретическими соображеніями, что казенныя субсидіи и гарантіи крупнымъ промышленнымъ предпріятіямъ, лишь временно и искусственно поддерживая предпріятіе, въ то же время, въ числѣ другихъ причинъ, вырываютъ почву у промышленности, способствуя опустошенію народнаго кармана, когда онъ говоритъ это, то всякій, имѣющій власть или не имѣющій ея, можетъ съ нимъ соглашаться или не соглашаться, но, во всякомъ случаѣ, тутъ возможенъ разговоръ, умственное общеніе. Но когда онъ выдвигаетъ свою «главнѣйшую, общественно-историческую задачу» капитализма, то въ огромномъ большинствѣ случаевъ не произойдетъ никакого разговора, если только не считать разговоромъ такія объясненія:

Одинъ собесѣдникъ скажетъ: съ чего вы взяли, что я желаю какого-то воспитанія рабочихъ въ общественномъ смыслѣ? Мнѣ нѣтъ никакого дѣла до вашего обобществленія труда, я объ немъ просто не думаю, и если русскій капитализмъ окажется не въ силахъ уничтожить «чрезмѣрный индивидуализмъ», такъ тѣмъ лучше, я нахожу, что у насъ, въ Россіи, индивидуализмъ слишкомъ мало развитъ, благодаря тѣмъ отсталымъ общинамъ и артелямъ, которыя вы такъ превозносите, а равно и нѣкоторымъ другимъ учрежденіямъ, о которыхъ вы умалчиваете. Мнѣ нужно производство, эксплуатація силъ природы; средство для этого есть капиталъ, и я ему помогаю.

Такъ скажетъ сторонникъ буржуазной или либеральной политической экономіи. А другой собесѣдникъ скажетъ: обобществленіе труда есть великое и необходимое дѣло, но я не вижу, чтобы оно достигалось путемъ капиталистическаго производства и, по моему, вы совершенно напрасно смотрите въ своей книгѣ на капитализмъ съ этой точки зрѣнія. Затѣмъ останется, можетъ быть, горсть людей, которые заинтересуются соображеніями г. В. В. насчетъ возможности для капитализма исполнять въ Россіи свою «прямую», свою «главнѣйшую, общественно-историческую задачу»...

На этомъ я долженъ кончить свои замѣчанія о книгѣ г. В. В.

VI *).

Странная погода стоитъ на дворѣ, милостивые государи, и странное время мы переживаемъ. Странное и сумбурное. Все, что совершается въ это странное время, имѣетъ свойство, при малѣйшемъ прикосновеніи, свертываться, подобно ежу, въ клубокъ, выпускать изъ себя торчащія во всѣ стороны иглы и располагать ихъ, повидимому, безо всякаго порядка и системы; а въ сущности, система тутъ есть и состоитъ она въ томъ, что къ ежу ни съ которой стороны подступиться нельзя: зеркало своей ежовой души или, вульгарно выражаясь, морду уткнулъ въ животъ, лапы поджалъ, да еще пофыркиваетъ: на-ка, молъ, сунься! Такой именно обликъ принимаютъ всѣ вопросы, возникающіе въ наше время (на нашей землѣ, конечно). Что дѣло тутъ именно во времени, то-есть въ общемъ характерѣ переживаемаго нами момента, а не въ самыхъ вопросахъ, это несомнѣнно, ибо между послѣдними есть такіе, которымъ, говоря круглымъ счетомъ, сто лѣтъ. Объ нихъ сейчасъ, а теперь о вопросахъ новыхъ, которые ростутъ нынѣ, можно сказать, какъ грибы, возникая даже совсѣмъ неожиданно и съ совершенно исключительною виртуозностью.

Позвольте предложить вамъ краткій очеркъ исторіи развитія одного изъ такихъ новыхъ вопросовъ; очеркъ отчасти фактическій, какъ сейчасъ увидите, а отчасти дополненный моей фантазіей, не удаляющейся, однако, отъ фактовъ на слишкомъ большое разстояніе.

Прѣхалъ къ намъ въ Петербургъ англичанинъ Кингъ, скороходъ, и даетъ представленія своего таланта и искусства въ Крестовскомъ саду. Въ газетахъ, въ которыхъ отдѣлъ «Театръ и зрѣлища» занимаетъ нынѣ, по случаю всеобщаго веселья, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, появляются, разумѣется, отчеты о представленіяхъ мистера Кинга: «большой успѣхъ»... «публики собралось до трехъ тысячъ»... «бѣжитъ 15 верстъ въ 51 минуту» и т. д. Хорошо. Но вотъ 9-го іюля является въ «Новомъ Времени» статья: «Доморощенный скороходъ». Дѣло въ томъ, что наканунѣ, 8-го іюля, въ Крестовскомъ саду «крестьянинъ С. А. Русинъ привелъ публику въ изумленіе». Онъ вздумалъ состязаться съ заморскимъ скороходомъ и оказалось, что въ 49 минутъ англичанинъ пробѣжалъ около 15 верстъ, а рускій (и фамилія-то у г. Русина какъ бы преобразовательная въ патріотическомъ смыслѣ)—11½ верстъ. «Такое пораженіе весьма почетно», справедливо замѣчаетъ газета, тѣмъ болѣе, что рускій бѣжалъ въ чемъ пришлось, а англичанинъ въ особомъ приспособленномъ къ бѣгу костюмѣ. Ну, разумѣется, въ публикѣ волненіе, изумленіе, восторгъ. Какъ? кто?

*) 1883, августъ.

почему? Оказывается, что «новая звѣзда скороходства, Сергѣй Аввакумовичъ Русинъ, крестьянинъ Могилевской губерніи, Сѣнницкаго уѣзда, Черногостевской волости, села Соржицы, воспитывался въ трехклассномъ городскомъ училищѣ» и т. д., и т. д., и теперь нуждается въ средствахъ. «Публика и артисты Крестовскаго сада, узнавъ о такомъ печальномъ положеніи импровизированнаго скорохода, въ короткое время собрали по подпискѣ нѣсколько десятковъ рублей въ пользу г. Русина. Одинъ изъ публики, Ѳ. А. Гармсенъ, предложилъ ему на время столъ и квартиру». Затѣмъ пошли новыя состязанія гг. Кинга и Русина, въ которыхъ, однако, повидимому, одолѣваетъ англичанинъ. Въ Крестовскомъ саду объявился новый скороходъ, г. Юліусъ Кони, который, какъ гласитъ заманчивое объявленіе, «исполнитъ быстрый состязательный бѣгъ съ лошадью (рысью)». Тѣмъ временемъ г. А. Агѣевскій издаетъ брошюру: «Скороходство, какъ отрасль гимнастики». Привѣтствуя ее, «Новое Время» пишетъ 15-го іюля: «Скороходство въ настоящее время возбуждаетъ интересъ, а потому брошюра г. Агѣевскаго является какъ нельзя болѣе кстати». Дѣйствительно, какъ нельзя болѣе кстати, и вы видите, какъ быстро, изъ самой жизни выростаютъ матеріалы для совершенно новаго и неожиданнаго вопроса о самобытномъ русскомъ скороходствѣ. Уже имѣется литература вопроса, уже ярко горятъ «новыя звѣзды скороходства»... А то вотъ есть еще «судаковый вопросъ», какъ выражается одинъ корреспондентъ съ низовьевъ Волги. Вопросъ о самобытномъ русскомъ скороходствѣ и судаковый вопросъ—здѣсь все ново, свѣжо, жизненно, ясно, свѣтло. Судакъ полезенъ и нуженъ, скороходъ, вѣроятно, тоже полезенъ и нуженъ. Судака будутъ солить, вялить, варить, жарить; скороходъ будетъ... я не знаю, что именно будетъ дѣлать скороходъ, но, конечно, это вполнѣ разъяснится при дальнѣйшей, болѣе глубокой разработкѣ вопроса о самобытномъ русскомъ схороходствѣ. Весьма возможно, что скороходъ будетъ ѣсть судака.

Таковы факты, милостивые государи, подлинные факты изъ области современныхъ нашихъ умственныхъ интересовъ и современной русской жизни вообще. Теперь немножко фантазіи.

«Недѣля» напишетъ обширную статью подъ заглавіемъ «Новый фазисъ въ вопросѣ о самобытности». Начинаться статья будетъ такъ: «Подражательный элементъ» и т. д. А оканчиваться такъ: «Новая звѣзда скороходства, Сергѣй Аввакумовичъ Русинъ, вышелъ изъ народа, и мы не знаемъ, нужны-ли еще какія-нибудь доказательства той тождественности національнаго и народнаго вопроса въ Россіи, которая, въ противоположность западной Европѣ, составляетъ такую выдающуюся черту нашего соціальнаго строя и которую съ такимъ слѣпымъ упорствомъ отрицаютъ наши западники всѣхъ оттѣнковъ. Что касается судаковаго вопроса, то онъ долженъ быть разрѣшенъ въ томъ же самобытномъ направленіи, что мы много разъ доказывали и еще много разъ доказывать будемъ. Нашъ царевококшайскій корреспондентъ справедливо говоритъ, что мы неуклонно несемъ знамя самобытной народности, а недавно было получено въ редакціи письмо изъ Пирятина, въ которомъ столь же справедливо намъ пишутъ, что мы одни и никого, кромѣ насъ, нѣтъ».— И дѣйствительно, въ непродолжительномъ времени въ «Недѣлѣ» появится еще болѣе обширная статья подъ заглавіемъ: «Самобытный судакъ. Основы соціологіи». И благородные читатели скажутъ: да «Недѣля» одна и никого, кромѣ нея, нѣтъ.

«Новости» напечатаютъ передовую статью о великомъ значеніи состязанія или конкуренціи вообще, причемъ будетъ объяснено самымъ вразумительнымъ образомъ, что если Кингъ пробѣжалъ 15 верстъ, а Русинъ $11^1/_2$, то это значитъ, что Кингъ бѣгаетъ скорѣе. Кромѣ того, въ газетѣ будутъ напечатаны статьи гг. Л. Полонскаго, Боборыкина и Чуйко, въ которыхъ тотъ же предметъ будетъ разработанъ г. Полонскимъ въ примѣненіи къ финансовой геніальности Е. И. Ламанскаго, г. Боборыкинымъ въ примѣненіи къ цвѣту панталонъ Эмиля Зола, какъ лѣтнихъ, такъ равно и зимнихъ, а г. Чуйко въ примѣненіи къ ерундѣ вообще.

Тогда въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» появится краткая (на первый разъ) замѣтка: «По случаю состязанія мистера Кинга и г. Русина въ Крестовскомъ саду, а также брошюры г. Агѣевскаго, въ нѣкоторыхъ петербургскихъ газетахъ печатаются статьи, едва ли согласимыя съ учрежденіями, составляющими самую основу русскаго государственнаго строя. Мы не отрицаемъ утилитарной и эстетической стороны скороходства, не отрицаемъ и значенія судаковаго вопроса, правильное разрѣшеніе котораго возможно, однако, отнюдь не при торжествѣ европейничающихъ либеральныхъ финансистовъ, болтающихъ о паденіи нашего кредитнаго рубля. Мы только утверждаемъ, что при безсословномъ характерѣ русскаго государственнаго строя, крестьянское происхожденіе «новой звѣзды скороходства» есть простая случайность. Подчеркивать ее съ такимъ нескрываемымъ и наглымъ торжествомъ, значитъ сѣять смуту и вооружать одну часть

населенія противъ другой. Быть можетъ, это входитъ въ планы господъ петербургскихъ либераловъ? Быть можетъ, когда они затрогивали вопросъ о русскомъ скороходствѣ, передъ ихъ умственными очами носился государственный строй республиканской Франціи? Въ случаѣ чего, мы-де прикроемся панталонами Эмиля Золя, «какъ лѣтними, такъ равно и зимними».. Если такъ, то мы желали бы знать, какъ смотритъ на это дѣло администрація».

Краткая замѣтка эта сыграетъ роль меча Бренна, и вопросы, какъ о самобытномъ русскомъ скороходствѣ, такъ и судаковый, окажутся исчерпанными. Только «Новое Время» пуститъ имъ въ догонку разухабистую и вполнѣ откровенную статью въ томъ смыслѣ, что ему совершенно наплевать и на скорохода, и на судака...

А публика стоитъ въ недоумѣніи. Какъ? кто? что? почему? Какимъ образомъ? Главное, какимъ образомъ, quo modo, а еще главнѣе quibus auxiliis?—съ чьей помощью? Вотъ, милостивые государи, вопросы, несравненно болѣе важные, нежели судаковый, на которые, однако, современный русскій человѣкъ едва-ли каждую минуту готовъ дать отвѣты. Осмѣливаюсь утверждать, что большинство не имѣетъ даже ни одной подобной счастливой минуты и рѣшительно не знаетъ, кто ему помощникъ и кому оно само можетъ или должно помогать или уже помогаетъ; кто ему врагъ и кто другъ, кто родной братъ и кто—нашему слесарю двоюродный кузнецъ. Не думайте, пожалуйста, что въ этой сиротливой безпомощности виноваты блескъ и новизна вопросовъ судаковаго и о самобытномъ русскомъ скороходствѣ; блескъ и новизна, до такой степени всѣхъ ослѣпившіе, что всѣ начинаютъ не слушая другъ друга, безтолково махать руками и болтать всякій вздоръ, какой только на умъ взбредетъ. Нѣтъ, совсѣмъ не въ этомъ дѣло. Оставимъ судака и скорохода въ покоѣ и возьмемъ что-нибудь другое.

Возьмемъ, напримѣръ, дебаты гг. Л. Полонскаго и А. Головачова въ «Новостяхъ» о либерализмѣ и государственномъ соціализмѣ. Ни одинъ изъ дебатирующихъ ничего новаго не сказалъ, да едва-ли и могъ сказать, потому что самый вопросъ такъ старъ, что даже какъ бы облысѣлъ и посѣдѣлъ. Если хотите, уже передъ древнимъ мудрецомъ Платономъ стоялъ вопросъ о предѣлахъ государственнаго вмѣшательства въ экономическія и иныя отношенія страны. Положимъ, что древній мудрецъ, во-первыхъ, рѣшалъ вопросъ ужъ слишкомъ круто, а во-вторыхъ, не могъ предвидѣть тѣхъ осложненій, которыя внесутъ въ дѣло вѣка исторіи. Ну, и Богъ съ нимъ, съ древнимъ мудрецомъ. За новѣйшее уже время вопросъ, занимающій гг. Л. Полонскаго и А. Головачова, интересовалъ столь многихъ мудрыхъ и совсѣмъ не мудрыхъ людей, теоретиковъ и практиковъ всѣхъ сортовъ и оттѣнковъ, что не только въ европейской, а и въ русской литературѣ имѣется уже цѣлый огромный арсеналъ аргументовъ по этому вопросу, pro и contra. Значитъ, тутъ легко обойтись безъ всякой новизны и оригинальности: чернай изъ готоваго источника, только варіируя почерпнутое и приспособляя его къ условіямъ злобы дня. Но тутъ-то вопросъ и свертывается на манеръ ежа въ клубокъ и поднимаетъ во всѣ стороны иглы и фыркаетъ: на-ка, сунься!

Въ самомъ дѣлѣ, въ абстрактѣ дѣло рѣшается весьма просто. Существуетъ могущественная сила, называемая государствомъ; характеръ и результаты дѣятельности этой силы, какъ и всякой другой, могутъ быть хороши и дурны; желательно, чтобы они были хороши. До сихъ поръ спорить не о чемъ, но отсюда начинаются разногласія. Есть мнѣніе, что характеръ и результаты дѣятельности государства хороши только тогда, когда, въ виду отсутствія равновѣсія силъ въ обществѣ, въ виду существованія въ немъ силъ большихъ и малыхъ, вооруженныхъ особенно выгодными условіями и невооруженныхъ, государство, въ качествѣ высшей силы, регулируетъ эти отношенія, идетъ на помощь къ силамъ малымъ. Есть другое мнѣніе, утверждающее, что государство должно только охранять результаты свободной игры силъ въ странѣ, не давая никакого предпочтенія той или другой изъ нихъ и оставаясь простымъ зрителемъ ихъ соревнованія. Вотъ и всѣ основанія споровъ о государственномъ вмѣшательствѣ или невмѣшательствѣ. И если споры всетаки продолжаются по сей день, такъ отнюдь не потому, чтобы вопросъ представлялъ какія-нибудь непреоборимыя теоретическія трудности, а потому, что въ дѣло естественно замѣшиваются практика жизни и своекорыстные мотивы. Въ до-революціонное время европейскій буржуа требовалъ себѣ покровительства и защиты отъ грабителя барона и отъ своего брата конкуррента; требовалъ заставъ, таможенъ, привилегій, регламентаціи производства и обмѣна. А укрѣпившись всѣмъ этимъ въ достаточной степени, произвелъ революцію, уничтожилъ заставы, таможни, привилегіи и объявилъ себя либераломъ; однако, на другой же день запретилъ рабочіе союзы и ассоціаціи, то-есть пустилъ въ ходъ государственное вмѣшательство, противникомъ котораго себя объявилъ. До извѣстнаго момента развитія своего промышленнаго и

торговаго могущества, англійскій буржуа былъ защитникомъ покровительственной торговой политики и, слѣдовательно, сторонникомъ государственнаго вмѣшательства, а потомъ объявился отчаяннымъ фритредеромъ. Это не мѣшаетъ, однако, ни ему, ни англійскому лендъ-лорду, въ случаѣ чего, требовать закона противъ рабочихъ стачекъ (предоставляя себѣ право стачки въ полномъ размѣрѣ) и государственнаго вмѣшательства для пріостановки эмиграціи, если она грозитъ оставить ихъ безъ достаточнаго числа рабочихъ и фермеровъ. На практикѣ дѣло не въ доктринахъ, а въ тенденціяхъ. Поэтому, если ученый можетъ въ своей кабинетной работѣ всегда одинаково и, такъ сказать, монотонно относиться къ обѣимъ спорнымъ доктринамъ, то публицистъ, имѣющій дѣло съ самою жизнью во всей сложной запутанности ея силъ и интересовъ, находится въ нѣсколько иномъ положеніи. Г. Полонскій совершенно по достоинству цѣнитъ бисмарковскій «государственный соціализмъ», которымъ у насъ восторгаются одни потому, что уткнувшись носомъ въ самобытнаго судака, ничего не понимаютъ, а другіе потому, что слишкомъ хорошо понимаютъ. Государственный соціализмъ Бисмарка есть не болѣе, какъ ловкій ходъ смѣлаго игрока, ловкій и смѣлый «выпадъ» набившаго руку фехтовальщика. Что же касается г. Полонскаго, то совершенно, кажется, ясно, что центръ тяжести его волненій лежитъ отнюдь не въ какой-нибудь теоретической доктринѣ, а въ «капиталистическомъ производствѣ», о которомъ онъ говоритъ даже съ нѣкоторой меланхоліей во взорѣ. И еслибы рѣчь шла не о Бисмаркѣ, а прямо-таки объ этомъ самомъ капиталистическомъ производствѣ въ Россіи, то, конечно, г. Полонскій не сталъ бы столь энергично отталкивать государственное вмѣшательство въ видѣ субсидій, гарантій, ссудъ, вообще всякаго рода вспомоществованій, а, можетъ быть, и покровительственнаго тарифа. А вотъ «Новое Время», часто очень сочувственно толкующее о государственномъ соціализмѣ, пишетъ, напримѣръ, 13-го іюля: «Надобно надѣяться, что правительство, всегда заботящееся о развитіи горнаго дѣла въ Россіи, поддержитъ предпріятіе г. Пастухова мѣрами, какія оно употребляло вообще для возникавшихъ вновь горныхъ заводовъ, предоставляя имъ разные заказы для желѣзныхъ дорогъ, военныхъ надобностей, и тому подобныя льготы». А 23-го іюля «Новое Время» радуется «поддержкѣ механическихъ и литейныхъ заводовъ», по случаю слуховъ объ особомъ агентствѣ, которое будетъ вѣдать полученіе и распредѣленіе между заводами крупныхъ заказовъ; при этомъ предполагаются, разумѣется, и правительственныя ссуды заводчикамъ. А еще котораго-то числа «Новое Время» привѣтствуетъ ссуды землевладѣльцамъ изъ отдѣленій государственнаго банка подъ соловекселя и находитъ только, что сроки ссудамъ слишкомъ кратки. Все это—а я беру чисто наудачу, что придетъ на память—все это не имѣетъ, разумѣется, ничего общаго ни съ государственнымъ, ни съ какимъ инымъ соціализмомъ. Но и съ чистой доктриной либеральной экономіи это, вѣдь, тоже вовсе не мирится, ибо все это опека, государственное вмѣшательство. Сторонники этихъ мѣръ могутъ, если и не съ совершенно чистою совѣстью, то всетаки съ сохраненіемъ нѣкоторой благопристойности вида, громить либерально экономическія доктрины и доказывать, что такіе-то заводчики и землевладѣльцы, въ качествѣ слабыхъ общественныхъ силъ, нуждаются въ государственномъ вмѣшательствѣ въ ихъ пользу. И, знаете, когда видишь кругомъ себя столько и такъ всесторонне направленнаго вмѣшательства, становится какъ-то неловко воевать въ области доктринъ и кричать: необходимо вмѣшательство! долой старыя формулы: «laissez faire, laissez passer»! Какъ-то поневолѣ закрадывается въ душу щемящее сомнѣніе: хорошо, я вѣренъ доктринѣ, я это заявляю по всякому подходящему и неподходящему поводу, но кому, собственно, я этимъ помогаю при данныхъ условіяхъ времени и мѣста?

Я лично, милостивые государи, вполнѣ раздѣляю много разъ выраженныя на страницахъ вашего журнала мнѣнія о ветхости и негодности доктринъ либеральной экономіи. Я понимаю, что не мало такихъ случаевъ, когда и теперь приходится подчеркивать эту обветшалость и негодность. Вотъ, напримѣръ, когда г. Полонскій съ величественнымъ апломбомъ утверждаетъ, что наука тутъ-то и сидитъ, то ему можно и даже должно сказать: вы (вы, да вотъ еще г. Чичеринъ), должно быть, проспали нѣсколько лѣтъ научнаго движенія, а проснувшись, не успѣли еще осмотрѣться, замѣтить, что многое изъ того, что было, поросло быльемъ. Пожалуйте, вотъ могильный памятникъ Жана-Батиста Сэ; значительный былъ человѣкъ покойникъ, но онъ уже покойникъ, и вы заблуждаетесь, если думаете, что можете съ нимъ сегодня позавтракать. Вотъ другой памятникъ Фредерика Бастіа, и чуть-ли на немъ не вырѣзаны тѣ самыя гордыя слова, которыя покойникъ выбралъ эпиграфомъ къ своимъ Harmonies Economiques: hic est digitus Dei—здѣсь перстъ Божій. Вообще вы, вмѣстѣ съ г. Чичеринымъ, по кладбищу фланируете, почтительно раскла-

нваетесь передъ несуществующими людьми и пожимаете несуществующія руки, а того, что дѣйствительно живетъ, что во время вашего сна народилось, выросло, окрѣпло, того вы не замѣчаете. Фантастическая прогулка по царству тѣней—вотъ что такое ваше, якобы, научное умоположеніе.

Примѣрно въ такомъ родѣ, болѣе или мѣнѣе пространно, болѣе или менѣе доказательно, съ веселымъ смѣхомъ или съ грустью, это ужъ какъ кому Богъ на душу положитъ, можно и должно напоминать при случаѣ о смерти и похоронахъ либеральной экономіи. Такъ приходится, потому что какъ же, въ самомъ дѣлѣ, просвѣщенные люди по кладбищу гуляютъ, съ тѣнями бесѣдуютъ и, не будучи Донъ-Жуанами, серьезно приглашаютъ статую командора на ужинъ. Ни съ чѣмъ несообразно! И въ чисто теоритической области, понятно, всякій по мѣрѣ силъ долженъ вразумить фантастическаго фланера. Это какъ бы даже просто упражненіе въ благотворительности. Но совсѣмъ не такъ просто въ дѣлѣ, такъ называемой, злобы дня. Тутъ съ назойливою прямолинейностью доктринера очень легко занять позицію той сороки Якова, которая затвердила одно про всякаго, а это была вовсе не умная, а главное, очень ужь ненаходчивая сорока. Тутъ, повторяю, дѣло не столько въ доктринахъ, сколько въ тенденціяхъ. И когда жизнь идетъ полнымъ ходомъ, въ открытую, когда вы не ощупью живете, а знаете планы и намѣренія вашихъ сосѣдей, знаете, чему или кому вы послужете тѣмъ или другимъ вашимъ дѣломъ, словомъ, помышленіемъ, тогда, конечно, нѣтъ опасности попасть въ сороки. И не Богъ знаетъ какую Аркадію для этого-то, собственно, нужно. Возьмите, напримѣръ, современную Германію. Кажется ужъ не Аркадія, благодаря желѣзной рукѣ желѣзнаго канцлера, а и то: Бисмаркъ выставилъ, въ видахъ парламентскаго фортеля, идею государственнаго соціализма; либералы нѣмецкіе знаютъ, что дѣло затѣяно затѣмъ, чтобы ихъ прижать; рабочіе, которые подальновиднѣе, и ихъ вожаки тоже это прекрасно знаютъ и ни мало не обольщаются; рабочіе, менѣе требовательные, опять-таки знаютъ, что изъ продолженія расри они могутъ нѣкоторый грошъ вынудить, а и грошъ деньги. Конечно, и здѣсь есть темные люди и темныя положенія, но всетаки, по крайней мѣрѣ, тѣ, кто беретъ на себя публичное обсужденіе текущихъ дѣлъ, знаютъ, чему они служатъ, призывая вмѣшательство или отклоняя его. Но, вѣдь, положеніе вещей бываетъ далеко не всегда такое ясное, и твердить постоянно о вмѣшательствѣ только потому, что такова моя теоретическая доктрина, публицисту, мнѣ кажется, не полагается. Бываетъ день, бываетъ ночь, бываетъ солнце свѣтитъ, а бываетъ и такъ, что изъ-за тумана за два шага ни зги не видно. Вообще, разныя бываютъ обстоятельства, И что касается меня, по крайней мѣрѣ, то вопросъ о вмѣшательствѣ и не вмѣшательствѣ, теоретически простой и ясный, какъ таблица умноженія, на практикѣ представляется мнѣ въ настящее время именно въ видѣ фыркающаго ежа съ выставленными во всѣ стороны иглами: я боюсь объ него уколоться. Позвольте предложить вамъ такой экспериментъ. Ну, вотъ вы такіе же рѣшительные противники либеральной буржуазной экономіи, какъ и я. Сакраментальныя формулы этой пстлѣвшей доктрины извѣстны: laissez faire, laissez passer. Попробуйте перевести ихъ на русскій языкъ и тѣмъ самымъ совлечь съ нихъ условный, техническій, символичекій характеръ. Выйдетъ: разрѣшите ходить, пустите дѣлать. И мы съ вами, конечно, въ одинъ голосъ скажемъ: да, да! разрѣшите ходить, пустите дѣлать! А изъ исторіи, кромѣ того, вы знаете, что тамъ, гдѣ не разрѣшали ходить и не пускали дѣлать, иногда съ небыкновеннымъ удобствомъ зарождалась та самая буржуазія, которая потомъ говорила: laissez faire, laissez passer.

Такъ вотъ я и боюсь...

Да, что ужъ говорить объ такихъ крупныхъ вещахъ. Возьмите мелочь, въ родѣ, напримѣръ, исторіи съ шапкой г. Чичерина. Вы не знаете этой исторіи? Прелюбопытная. По словамъ «Современныхъ Извѣстій», дѣло пропсходило такъ. У московскаго головы, г. Чичерина, зимой въ помѣщеніи думы пропала старая бобровая шапка. По этому поводу голова уволилъ отъ должности экзекутора управы, маіора Прохорова. Тогда г. Прохоровъ обратился въ думу съ просьбой о единовременномъ пособіи, и дума, относясь одобрительно къ г. Прохорову, постановила выдать ему по случаю увольненія 600 рублей. «Современныя Извѣстія» справедливо заключаютъ: «Выходитъ, что за утрату головою шапки г. Прохоровъ потерялъ мѣсто, а городъ заплатилъ 600 руб. Не будь исторіи о шапкѣ, экзекуторъ осталея бы при мѣстѣ, а городъ при 600 рубляхъ». Неизвѣстно, значитъ, что заплатилъ за свою шапку г. Чичеринъ, но первопрестольная столица наша заплатила за нее 600 р. О, дорога ты, шапка городского головы! Вы люди опытные и помнимаете, сколько интереснаго и поучительнаго можно было бы изложить по этому поводу, какъ въ серьезномъ, такъ и въ юмористическомъ тонѣ. Можно бы поговорить о самодурствѣ нашихъ «излюбленныхъ» людей, занимающихъ общественныя должности по выборамъ. Можно бы припомнить исторію выборовъ г. Чичерина

въ московскіе городскіе головы, какъ ее и припоминаютъ теперь (но не по поводу шапки) «Московскія Вѣдомости». Онѣ припоминаютъ, именно, что избраніе было «дѣломъ нѣсколькихъ друзей» г. Чичерина. «Всѣ отношенія г. Чичерина къ Москвѣ ограничивались тѣмъ, что онъ когда-то учился въ московскомъ университетѣ и потомъ, впродолженіи пяти или шести лѣтъ, былъ въ немъ преподавателемъ (а не профессоромъ?). Имя его было извѣстно только въ университетахъ и литературныхъ кружкахъ. Массѣ московскихъ избирателей онъ былъ извѣстенъ не болѣе, чѣмъ всякій кандидатъ на подобную должность въ Парижѣ или въ Берлинѣ. Оставивъ профессуру (а не преподаваніе?), г. Чичеринъ и Москву оставилъ и не только никогда не участвовалъ въ ея городскихъ дѣлахъ, но впродолженіи двѣнадцати или пятнадцати лѣтъ почти не жилъ въ ней и не имѣлъ въ ней никакой собственности. Чтобы явиться кандидатомъ на городскія выборы, ему приходилось купить ad hoc домъ въ Москвѣ». И вотъ, такимъ-то оригинальнымъ способомъ выбранный городской голова цѣнитъ свою старую бобровую шапку въ 600 р., каковые и уплачиваются тѣми самыми московскими избирателями и неизбирателями, которые, при выборахъ, объ немъ слыхомъ не слыхали! Согласитесь, что это пикантно и заслуживаетъ быть воспѣтымъ, если не въ героической поэмѣ, то въ баснѣ, характерная черта которой, по опредѣленію старыхъ учебниковъ словесности, состоитъ въ неожиданности вывода. Но, милостивые государи, вы знаете, что есть басни, которыя можно бы «и болѣ пояснить», а есть и такія, которыя болѣ пояснить нельзя; что, по случаю того щекотливаго положенія, въ которомъ находится нынѣ г. Чичеринъ, его завѣдомо бобровая шапка тоже едва-ли не изъ ежоваго мѣха сдѣлана и уже топорщитъ иглы и фыркаетъ: на-ка, сунься. Можетъ быть, вы находите даже, что, заговоривъ въ настоящее время о шапкѣ г. Чичерина, я уже укололся объ эти иглы, коснулся предмета, котораго изъ деликатности касаться не слѣдовало бы? Нѣтъ, милостивые государи, не укололся! Однако единственно потому, что самъ г. Чичеринъ много разъ хватался голыми руками за ежей, не только не чувствуя притомъ боли или стыда, но еще гордясь своею отвагой. Не говоря о прошломъ, въ новѣйшихъ своихъ якобы научныхъ трудахъ (статьи въ «Сборникѣ государственныхъ знаній» и книги «Собственность и государство») г. Чичеринъ съ почти невѣроятнымъ, но характернымъ для незнанія и непониманія, легкомыслiемъ третируетъ великія идеи и великихъ людей. «Для него Наполеонъ въ родѣ бородавки». Какой-нибудь Родбертусъ, напримѣръ, котораго не особенно щедрый на лестные эпитеты Лассаль называлъ «великимъ», блескъ и глубина мысли и знанія котораго становятся нынѣ, къ счастію, уже популярными (въ наукѣ они давно оцѣнены), является въ обработкѣ г. Чичерина мальчишкой, достойнымъ хорошей трёпки за вихры. Да одинъ-ли Родбертусъ! Цѣлыя жизненныя и научныя теченія, міровыя явленія, со скрежетомъ выношенныя исторіей и со стономъ ею рожденныя, все, что есть въ наукѣ живого, свѣжаго и честнаго, все это г. Чичеринъ обдаетъ потокомъ грубой брани, которая, однако, отнюдь не свидѣтельствуетъ, что онъ знаетъ и понимаетъ бранимое. Говорю все, что есть въ наукѣ живого, свѣжаго и честнаго, пбо въ ней есть и много мертваго, гнилого и безчестнаго, что и собирается г. Чеченинымъ, какъ какіе-нибудь перлы и адаманты. Но въ наивности своей онъ серьезно думаетъ, что это подлинные перлы и адаманты, что онъ разрушилъ цѣлый невѣдомый ему міръ; и слышатся ему жалобные голоса: o weh, weh! du hast ihn zerstöhrt! и сидитъ онъ, какъ Марій на развалинахъ Карфагена, съ спѣсивымъ видомъ человѣка, бывшаго пять или шесть лѣтъ преподавателемъ московскаго университета, избраннаго въ городскіе головы стараніями нѣсколькихъ друзей и имѣющаго шапку въ 600 рублей... Я не воспою г. Чичерина ни въ героической поэмѣ, ни въ баснѣ даже, пбо стихомъ не владѣю, но напомню прелестное стихотвореніе графа А. Толстого:

Ходитъ спѣсь, надуваючись,
Съ боку на бокъ переваливаясь,
Ростомъ-то Спѣсь аршинъ съ четвертью,
Шапка-то на немъ на цѣлу сажень...

Еслибы не это обстоятельство, еслибы не ходила Спѣсь надуваючись и не имѣла саженной шапки при аршинномъ ростѣ, то, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, я счелъ бы правильнымъ совсѣмъ не упоминать о шапкѣ г. Чичерина...

А всетаки на душѣ какъ-то неспокойно... Нѣтъ, Богъ съ ними, съ этими злобами дня и явленіями минуты! Совсѣмъ объ нихъ исколешься, истерзаешься. Вамъ нельзя, конечно, отъ нихъ совсѣмъ отойти, вы взялись за гужъ, вы въ родѣ какъ часовые, которые должны стоять на своемъ посту, пока не придетъ смѣна, или не будетъ упраздненъ самый постъ. А я человѣкъ вольный, посторонній, могу говорить объ чемъ хочу. Все время прилаживался бесѣдовать о злобахъ дня и текущихъ практическихъ дѣлахъ и теперь ясно вижу, что не могу: все, знаете-ли, въ пальцахъ такое ощущеніе, будто за ежа хватался—и больно, и обидно. Нѣтъ, «я въ пустыню удаляюсь отъ пре-

красныхъ здѣшнихъ мѣстъ»... Не совсѣмъ, впрочемъ, такъ, потому что не вижу и не знаю въ окрестности прекрасныхъ мѣстъ, а въ пустынѣ уже и безъ того нахожусь. Однако, и вы не подалеку отъ нея проживаете. Людей около васъ много, а общества нѣтъ, ибо вы понимаете, что скопище людей и общество, это двѣ большія разницы, какъ говорилъ одинъ нѣмецъ. Общество значитъ общеніе, взаимность, взаимная помощь, а я уже говорилъ, что современники-соотечественники наши въ огромномъ большинствѣ случаевъ не знаютъ какъ помогать, кому помогать, кто имъ самимъ и въ чемъ помогаетъ. И если вамъ нужны наглядныя доказательства этого моего горькаго тезиса, такъ вотъ смотрите. Въ Крестовскомъ тысячная толпа собралась глазѣть на скорохода и полюбуйтесь, какъ быстро и дружно развивается въ этой толпѣ интересъ къ «новой звѣздѣ скороходства» и организуется посильная помощь, какъ только обнаруживается затруднительное положеніе звѣзды: узнаютъ кто? какъ? почему? артисты и публика устраиваютъ складчину, являются даровыя квартиры и столъ. Чего бы еще кажется? Какая отзывчивость! Какая теплота чувствъ и какая легкость распространенія этой мягкой, ласкающей температуры! О, да, конечно, это очень трогательно, но было бы еще трогательнѣе, еслибы какъ разъ около этого времени не случилась въ томъ же городѣ С.-Петербургѣ исторія того мальчика, кажется, Сергѣева по фамиліи, котораго арестовали за нищенство или воровство; мировой судья оправдалъ его безусловно и даже подчеркнулъ свое оправданіе, но такъ какъ всетаки ему нечего было ѣсть, то его въ скорости опять арестовали, отправили на родину въ Шлиссельбургъ; а такъ какъ и тамъ ѣсть все же было нечего, то онъ вновь явился въ Петербургъ, его опять арестовали и сказка про бѣлаго бычка возымѣла надлежащее теченіе. Что это такое? Существуютъ разныя благотворительныя общества; существуютъ спеціальныя для помощи преступнымъ и непреступнымъ малолѣтнимъ; существуютъ, наконецъ, просто добрые люди, которые могутъ же тронуться, напримѣръ, затруднительнымъ положеніемъ скорохода. Я, разумѣется, ничего не имѣю противъ помощи, оказанной Сергѣю Аввакумовичу Русину, но если уже выбирать, такъ, конечно, Сергѣевъ нуждался въ ней гораздо настоятельнѣе. Одинъ пришелъ въ Крестовскій садъ погулять, въ качествѣ зрителя, у другого нѣтъ куска хлѣба; одинъ уже самымъ своимъ скороходствомъ свидѣтельствуетъ объ исключительной крѣпости своего организма, другой — какой-то жалкій недоростокъ. А между тѣмъ, тамъ проявляется всяческое сочувствіе, а здѣсь только послѣ долгихъ мытарствъ, сидѣній въ кутузкѣ, путешествій изъ Петербурга въ Шлиссельбургъ и обратно, находится, наконецъ, добрая душа, которая какъ-то устраиваетъ мальчика. Неужели же все дѣло въ томъ, что одинъ скоро ходитъ, а другой не скорѣе прочихъ обыкновенныхъ смертныхъ? Конечно, нѣтъ. Дѣло въ безпорядочности общественнаго вниманія, въ случайности проявленія элементарнѣйшихъ изъ чувствъ, которыми живетъ и движется общество; дѣло, прямо сказать, въ отсутствіи общества. Когда массѣ людей, для проявленія добрыхъ чувствъ, нужно непремѣнно какое-нибудь непосредственное впечатлѣніе, да еще увеличительнаго свойства, въ родѣ «быстраго состязательнаго бѣга съ лошадью (рысью)»; когда притомъ впечатлѣніе это еще должно усиливаться тѣмъ процессомъ подражанія или увлеченія, который имѣетъ мѣсто въ толпѣ очевидцевъ, такъ это именно только толпа, а не общество. Такая толпа можетъ при случаѣ съ одинаковою стремительностью двигаться и на доброе и на злое дѣло, волноваться нестоющими пустяками и оставлять безъ всякаго вниманія дѣйствительныя, глубокія страданія. И я думаю, что въ единовременности исторіи преступнаго мальчика и новой звѣзды скороходства, «какъ солнце въ малой каплѣ водъ», отразилось общее положеніе вещей и отношеній въ нашемъ отечествѣ въ настоящую минуту. Куда бы вы ни посмотрѣли, на какой бы слой общества, на какую бы общественную функцію вы ни обратили вниманіе, вездѣ вы увидите одно и то же: люди не знаютъ ни того, кому и чему они могутъ или должны помогать или уже помогаютъ, какъ своими дѣйствіями, такъ и своимъ бездѣйствіемъ, ни того, кто имъ самимъ помогаетъ или можетъ быть помощникомъ. Отраженіе этой безпомощности и неумѣнія оказать помощь и незнанія, куда она должна быть направлена, вы найдете и въ литературѣ, и въ сферѣ административной дѣятельности, и въ частной жизни всѣхъ слоевъ общества отъ верхняго края до нижняго. Подумайте немножко, и вы согласитесь, можетъ быть, что сюда подходитъ и тотъ собачій инстинктъ, о которомъ я имѣлъ случай писать вамъ недавно: дикое, безстыдное стремленіе бить лежачихъ. Сюда же подойдутъ и разныя требованія оказать помощь несчастнымъ господамъ фабрикантамъ; и другія разныя льготы и кредиты въ этомъ родѣ. Сюда же относится и умилительное зрѣлище, представляемое обществомъ, которое—извините за выраженіе, но оно гоголевское—ковыряя въ носу, смотритъ на происходящія передъ этимъ самымъ носомъ бѣды и страданія.

Понятное дѣло, что при такомъ положеніи вещей необходимо должны всплывать наверхъ противообщественныя чувства, противообщественныя идеи, противообщественные типы, которыми я и займусь, съ вашего позволенія, въ одномъ изъ слѣдующихъ писемъ. Потому что, вы понимаете, мое удаленіе въ пустыню надо разумѣть фигурально. Я только удалюсь отъ тѣхъ острыхъ, колючихъ злобъ дня, практическихъ вопросовъ и конкретныхъ явленій минуты, съ которыми не умѣю справиться: рукамъ больно...

Какъ послѣднюю дань довольно, впрочемъ, натуральному стремленію говорить о практическихъ вопросахъ въ ихъ эфемерной одеждѣ сегодняшняго дня, я позволю себѣ нѣсколько словъ о «дворянской эрѣ»... Не безпокойтесь, я не трону этой матеріи во всей ея обширности. Да и какъ ее тронешь, когда она уже при самомъ зарожденіи своемъ свернулась въ ежевый клубокъ. Въ обращеніи вдругъ оказываются такія, повидимому, опредѣленныя и многозначительныя формулы, какъ «дворянская эра», «дворянскій принципъ», а между тѣмъ, вполнѣ неизвѣстно, что собственно онѣ выражаютъ и даже откуда взялись. «Русь» высказываетъ предположеніе, что явленіе это «навѣяно на наши такъ называемыя высшія общественныя въ Петербургѣ сферы никѣмъ другимъ, какъ польскими графами и остзейскими баронами, съѣхавшимися на зиму въ нашу «сѣверную Пальмиру»: это ихъ интриги и козни». Петербургскія газеты полагаютъ, напротивъ того, что «дворянская эра» зародилась въ умахъ «Московскихъ Вѣдомостей». Но «Московскія Вѣдомости» энергически протестуютъ противъ этой инсинуаціи и называютъ ее «неслыханнымъ безстыдствомъ». «Русь» полагаетъ, что все это «вѣяніе», будучи чуждаго русскому духу происхожденія, не имѣетъ никакихъ шансовъ на успѣхъ. Газета не отрицаетъ присутствія «вожделѣній» въ нѣкоторой части русскаго дворянства, но, говоритъ она: «эти вожделѣнія у насъ не грозны; повожделѣютъ-повожделѣютъ наши крупные собственники, да и начнутъ продавать свои родовыя имущества евреямъ-подрядчикамъ, или же своею дворянскою гордостью поступаться чиновничьей карьерѣ». Лучшая же часть дворянства останется вѣрна своему историческому призванію, которое, по словамъ «Руси», состоитъ въ «свободномъ благотворномъ воздѣйствіи на внутренній земскій строй, въ союзѣ со всѣми лучшими земскими людьми». Что же касается «Московскихъ Вѣдомостей», то онѣ даже и не предвидятъ или не видятъ никакихъ «вожделѣній», по крайней мѣрѣ, не говорятъ о нихъ. Онѣ говорятъ только объ историческихъ заслугахъ дворянства и объ его исторической миссіи, какъ сословія служилаго, незамкнутаго и не нуждающагося нынѣ, съ паденіемъ крѣпостного права, въ привилегіяхъ. Остальныя газеты писали по этому поводу то и другое, но меня удивляетъ, что ни одна изъ газетъ, размышляя о проблематической дворянской эрѣ, о заслугахъ, миссіи, привилегіяхъ дворянства, не помянула одного интереснаго пункта, на которомъ дворянство по истинѣ нуждается не въ привилегіяхъ, а въ простомъ уравненіи правъ съ прочими сословіями. Я разумѣю право узаконенія или усыновленія незаконныхъ дѣтей. Актъ этотъ обставленъ для дворянъ чрезвычайными затрудненіями. Существуетъ даже законъ, рѣшительно воспрещающій всякія ходатайства дворянъ въ этомъ направленіи. Конечно, люди сильные находятъ возможность обходить законъ и вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворять естественной потребности отцовскаао чувства. Но для огромнаго большинства дворянъ такое удовлетвореніе совершенно недоступно, между тѣмъ, какъ прочія сословія получаютъ его сравнительно очень легко. Такое ограниченіе правъ дворянства имѣло нѣкогда условный смыслъ, въ виду разнообразныхъ преимуществъ дворянскаго сословія, которыя, выдѣляя его въ особую корпорацію, должны были передаваться лишь законнымъ его представителямъ. Нынѣ, благодаря Бога, дворянинъ не имѣетъ, наравнѣ со всѣми другими сословіями, права владѣть себѣ подобными; термины «податныя» и «неподатныя» сословія должны въ самомъ близкомъ будущемъ исчезнуть изъ нашего юридическаго лексикона; дворянинъ отбываетъ воинскую повинность такъ же, какъ и всякій другой сынъ отечества; доступъ къ образованію открытъ другимъ сословіямъ въ такой же мѣрѣ, какъ и дворянину; въ новыхъ общественныхъ функціяхъ, вызванныхъ къ жизни реформами прошлаго царствованія, въ гласномъ судѣ, въ земскомъ и городскомъ самоуправленіи, дворянинъ не имѣетъ никакихъ преимуществъ передъ купцомъ, мѣщаниномъ, крестьяниномъ; если и сохранилась отъ стараго порядка аномалія въ видѣ обязательства для земскихъ собраній имѣть своимъ предсѣдателемъ непремѣнно предводителя дворянства, такъ это, во-первыхъ, аномалія, которая долго прожить не можетъ, а во-вторыхъ, касается она лишь дворянъ-земледѣльцевъ и остальнымъ дворянамъ отъ этой прерогативы ни тепло, ни холодно. И, однако, рядомъ съ этимъ растворенiемъ дворянства въ массѣ русскихъ людей, съ этимъ законнымъ и необходимымъ, но всетаки умаленіемъ правъ и преимуществъ дворянства, держится почему-то жестокая фикція, не

позволяющая отцу - дворянину сдѣлать по отношенію къ своимъ незаконнымъ дѣтямъ то, что можетъ сдѣлать отецъ-купецъ, отецъ-мѣщанинъ, отецъ-крестьянинъ. Фикція эта, имѣвшая нѣкогда цѣлью возвышеніе значенія дворянства, какъ сословія, содержаніе его на нѣкоторой высотѣ надъ прочими сословіями, нынѣ потеряла всякую почву. Она только лишаетъ дворянъ возможности называть своихъ дѣтей своими, не предоставляя взамѣнъ этого ущерба никакихъ особенныхъ правъ и преимуществъ. И, можетъ быть, господа дворяне поступили бы благоразумнѣе и человѣчнѣе, еслибы, оставивъ всякія безсмысленныя «вожделѣнія», обратили вниманіе на тотъ пунктъ, въ которомъ они нуждаются въ простомъ уравненіи въ правахъ съ прочими сословіями.

VII *).

Литературной критики нѣтъ!.. Нѣтъ литературной критики!.. Со временъ Бѣлинскаго русская беллетристика осталась безъ критическаго руководительства... Критика умерла съ Добролюбовымъ... Послѣдній выдающійся русскій критикъ былъ Писаревъ...

Вотъ сѣтованія, постоянно встрѣчающіяся въ разныхъ «литературныхъ обозрѣніяхъ» и «критическихъ очеркахъ». Обратите, пожалуйста, вниманіе на то, что именно авторы критическихъ обозрѣній, люди, такъ сказать, спеціально приставленные къ этому самому дѣлу, жалуются на отсутствіе критики, относя моментъ ея исчезновенія болѣе или менѣе далеко, смотря по образу мыслей обозрѣвателя: одинъ не хочетъ знать Добролюбова и останавливается на Бѣлинскомъ, другой стоитъ за Добролюбова, третій вспоминаетъ о Писаревѣ; попадаются и такіе чудаки, которые считаютъ послѣднимъ критикомъ Аполлона Григорьева. Во всякомъ случаѣ, сами себя эти разные обозрѣватели и авторы критическихъ очерковъ въ счетъ не ставятъ. И, разумѣется, очень умно и добросовѣстно поступаютъ, потому что какіе же они, въ самомъ дѣлѣ, критики? Еслибы они ими, дѣйствительно, были, такъ незачѣмъ бы имъ было жаловаться на тѣ или другіе недостатки современной критики, а тѣмъ паче на отсутствіе ея, а просто взять да и явить міру образцы истинной критики. Бѣлинскій—беру имя, не подлежащее нынѣ никакимъ сомнѣніямъ—былъ, вѣдь, въ свое время одинъ и не тратилъ, однако, много времени на печали объ томъ, что онъ одинъ, а прямо и просто дѣлалъ свое дѣло. Ну, и нынѣ былъ бы одинъ, напримѣръ, г. Чуйко—беру перваго попавшагося изъ толпы обозрѣвателей, потому что, вѣдь, всѣ они приблизительно одинаковаго роста.

Если, однако, даже сами критики говорятъ, что критики нѣтъ, такъ значитъ ея дѣйствительно нѣтъ. Почему нѣтъ? Этого я не знаю. Можетъ быть, просто потому, что такая ужъ неурожайная полоса настала, неурожай на людей, способныхъ всесторонне оцѣнить и выяснить беллетристическое произведеніе. Мудренаго ничего нѣтъ. Неурожаи всякіе бываютъ. Возьмите хоть того же Бѣлинскаго и сообразите, что онъ у насъ былъ одинъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ. А можетъ быть критическіе таланты и родятся въ изобиліи, да теченіе судьбы отвлекаетъ ихъ къ другимъ дѣламъ. Можетъ быть, наконецъ, критики нѣтъ потому, что нѣтъ на нее спроса со стороны самой беллетристики. Передъ Бѣлинскимъ были—легко сказать!—Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ; передъ Добролюбовымъ — Тургеневъ, Островскій, Достоевскій. А надъ чѣмъ развернуть свои, можетъ быть, необычайно мощныя крылья г. Чуйкѣ или кому другому изъ обозрѣвателей и авторовъ критическихъ очерковъ? Согласитесь, что гг. Авсѣенки, да Маркевичи, Боборыкины, да Лѣтневы едва-ли способны дать критической мысли достаточное возбужденіе. Говорить объ нихъ, конечно, можно, пожалуй, даже должно. Но ножу критическаго анализа тутъ не надъ чѣмъ отточиться, и очень простительно, если лѣнивый зѣвокъ перебиваетъ работу несчастнаго обозрѣвателя и рука его еле водитъ перомъ по бумагѣ, или если онъ отвлекается отъ прямого своего дѣла въ разныя стороны. Жестокіе люди эти господа обозрѣватели, но надо тоже и ихъ судить по человѣчеству...

Это я, впрочемъ, можетъ быть, изъ эгоизма, милостивые государи, прошу васъ судить обозрѣвателей по человѣчеству. Дѣло въ томъ, что я самъ хочу записаться въ этотъ цехъ и, прося у васъ гостепріимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не помышлялъ о роли критика, и если случалось иногда писать о томъ или другомъ явленіи въ области беллетристики, такъ только мимоходомъ и въ виду разныхъ стороннихъ соображеній. Теперь я желалъ бы заняться этимъ дѣломъ нѣсколько пристальнѣе, не выходя, однако, изъ скромной роли обозрѣвателя. Я не буду вамъ надоѣдать жалобами на отсутствіе литературной критики или на тѣ или другія ея оплошности и недостатки, но не обѣщаю и критики въ широкомъ значеніи этого слова. Я буду просто обращать ваше вниманіе на любопытныя явленія въ области литературнаго творчества и, по мѣрѣ силъ и способностей, комментировать ихъ. Вотъ и все.

*) 1883 г., сентябрь.

Къ сожалѣнію, мнѣ приходится начинать свою лѣтопись отмѣткой скорбнаго факта: Тургеневъ умеръ...

Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться въ газетахъ извѣстія о тяжкихъ страданіяхъ маститаго художника. Но, никого не поразивъ, вѣсть о смерти Тургенева всѣхъ огорчила, и едва-ли найдется хоть одинъ образованный, «интеллигентный» русскій человѣкъ, который, при полученіи скорбной вѣсти, не помянулъ бы покойника добромъ за полученныя отъ него художественныя наслажденія и толчки работѣ мысли. Тургеневъ умеръ не внезапно—извѣстія о его смерти ждали чуть не со дня на день. Онъ умеръ въ такомъ возрастѣ, въ которомъ европейскіе писатели и вообще дѣятели еще ухитряются быть молодыми духомъ и тѣломъ, но до котораго рѣдко доживаютъ крупные русскіе люди, почему-то гораздо скорѣе изнашивающіеся. Тургеневъ далъ русской литературѣ все, что могъ дать, и какова бы ни была художественная красота его послѣднихъ произведеній, но никто уже не ждалъ отъ него чего-нибудь приблизительно равнаго по значенію его старымъ вещамъ. Такимъ образомъ, все, кажется, сложилось такъ, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей сглаженные, не рѣжущіе и не колющіе контуры. И всетаки больно... Слишкомъ многимъ обязано русское общество этому человѣку, чтобы съ простою объективностью отнестись къ его смерти, какія бы смягчающія обстоятельства ни предъявляли въ свое оправданіе судьба и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только въ прошломъ. Онъ былъ нуженъ и въ настоящемъ, въ нашемъ скудномъ настоящемъ.

Тяжело и мрачно было на русской землѣ въ ту пору, когда Тургеневъ начиналъ свою литературную дѣятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только по преданію знающіе это время, имѣемъ, однако, печальную возможность судить о немъ съ полною, такъ сказать, наглядностью. Какъ иногда вся жизнь умирающаго сосредоточивается въ его глазахъ, такъ все, что только заслуживаетъ названія человѣческой жизни, сосредоточивалось тогда въ количественно-ничтожной горсти людей мысли. И въ числѣ ихъ былъ Тургеневъ. Въ разныя стороны разбрелась потомъ эта горсточка и нѣкоторые изъ ея представителей, доживъ до того времени, когда опять стало тяжело на русской землѣ, играли и играютъ далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточкѣ. Кто усталъ, кто озлобился и даже разсвирѣпѣлъ, кто ударился въ мистицизмъ и юродство, кто просто не понялъ истиннаго смысла событій чрезвычайной исторической важности, совершавшихся на Руси съ сороковыхъ годовъ. И Тургеневу случалось впадать въ ошибки, порождать недоразумѣнія и самому дѣлаться ихъ жертвою, какъ онъ самъ съ горечью печатно разсказывалъ, вспоминая литературно-политическій эпизодъ съ «Отцами и дѣтьми». Но это были именно недоразумѣнія, и Тургеневъ самъ говоритъ о томъ удивленіи и отвращеніи, съ которымъ онъ, по пріѣздѣ, послѣ «Отцовъ и дѣтей», изъ-за границы, встрѣчалъ любезности разныхъ мракобѣсовъ. Недоразумѣнія порождались личными слабостями покойника, которыя могутъ быть тому или другому болѣе или менѣе досадны и непріятны, но не должны и просто даже не могутъ заслонить собою его громадныя заслуги. Тургеневъ никогда не былъ Савломъ. Его никогда не было въ рядахъ разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей свѣта, этой когорты палачей, поигрывающихъ плетью, шутовъ, позванивающихъ бубенчиками дурацкаго колпака, и юродивыхъ, самодовольно, на показъ бренчащихъ веригами. Онъ всегда оставался вѣренъ нѣсколько неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ идеаламъ свободы и просвѣщенія, съ которыми выступ[illegible]урное поприще. Мимоходомъ сказать, этой неопредѣленности и вмѣстѣ свѣтозарности идеаловъ Тургенева вполнѣ соотвѣтствовали нѣкоторыя особенности его несравненнаго таланта. Это былъ талантъ (независимо, конечно, отъ другихъ его свойствъ), такъ сказать, музыкальный, а музыка, какъ извѣстно, вызываетъ неопредѣленныя, но хорошія, пріятныя, свѣтлыя волненія. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться въ мелкихъ вещахъ, гдѣ она не заслонялась для читателя возбужденіями умственнаго и нравственнаго характера. Любопытно, что въ передачѣ музыкальныхъ ощущеній Тургеневъ рѣшительно не имѣетъ соперниковъ: состязаніе «пѣвцовъ» въ «Запискахъ охотника», игра Лемма въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», игра волшебной скрипки въ «Пѣсни торжествующей любви»—въ своемъ родѣ шедевры. Дѣло тутъ не въ слогѣ, не въ «стилѣ», по крайней мѣрѣ, не въ немъ одномъ, а въ спеціальной чертѣ самого характера творчества, а эта спеціальная черта находилась, въ свою очередь, въ тѣсной связи со всѣмъ душевнымъ обликомъ художника, неопредѣленнымъ, но свѣтлымъ.

Не принимая активнаго участія въ борьбѣ со свинцовымъ мракомъ, стремящимся облечь нашу родину, не занимая даже никакого опредѣленнаго мѣста въ литературѣ въ этомъ отношеніи, Тургеневъ служилъ идеаламъ свободы и просвѣщенія самымъ, такъ сказать, фактомъ своего существованія, на-

личностью своего первостепеннаго таланта и своей не русской только, а европейской славы. Ни для кого не было тайной, куда направлены симпатіи этой красы и гордости русской литературы, и изъ змѣиныхъ и жабьихъ норъ не разъ раздавались за это зловѣщія шипѣнія по его адресу. Ни для кого также не было тайной, что покойникъ былъ «западникъ» (онъ самъ себя такъ называлъ), но это не мѣшало ему быть гордостью русской литературы. И вотъ почему Тургеневъ былъ дорогъ, хотя бы даже ничего болѣе не писалъ. Вотъ почему нужно было желать ему еще долго, долго жить. А вмѣсто того онъ, по странному русскому выраженію, самъ приказалъ намъ долго жить...

Будемъ жить...

Вы не ждете отъ меня, конечно, какой-нибудь оцѣнки или переоцѣнки Тургенева, или даже просто какого - нибудь итога въ этомъ смыслѣ. Но вы позволите мнѣ нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній.

Въ числѣ проектовъ памятника Пушкину былъ одинъ, если не ошибаюсь, Антокольскаго, такого рода: Пушкинъ сидитъ въ задумчивой позѣ на скалѣ, а къ нему снизу вереницей поднимаются созданные имъ образы: Онѣгинъ, Татьяна, Мазепа и т. д. Мысль нѣсколько вычурная и для скульптуры не совсѣмъ подходящая. Но когда не статую лѣпишь, а просто думаешь объ умершемъ писателѣ, въ родѣ Тургенева, жизнь котораго такъ бѣдна внѣшними событіями и вся наполнена созданіемъ художественныхъ образовъ, то поневолѣ рисуется именно такая картина: почившій художникъ и его созданія, больше ничего кругомъ нѣтъ; художникъ дѣлаетъ смотръ своимъ твореніямъ. Можетъ быть, нѣчто подобное этому смотру происходило и въ дѣйствительности, когда умирающій, зная, что смерть ужъ тутъ возлѣ кровати, въ минуты отдыха отъ болей, исповѣдывался самъ себѣ, самъ себѣ давалъ отчетъ въ своей дѣятельности. Во всякомъ случаѣ, передъ нами-то, при воспоминаніи о Тургеневѣ, естественно поднимается вереница всѣхъ этихъ Хорей и Калинычей, Чертопхановыхъ, Недопюскиныхъ, «бурмистровъ», «пѣвцовъ», Лаврецкихъ, Рудиныхъ, Инсаровыхъ, Базаровыхъ и т. д. И мы столь же естественно ищемъ въ нихъ отраженія духа, ихъ создавшаго.

Оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ «Записки охотника», эти маленькія, тонко выписанныя акварельныя картинки, имѣющія свое спеціальное значеніе. Надо, однако, замѣтить, что это спеціальное значеніе протеста противъ крѣпостного права было впослѣдствіи преувеличено. Многія изъ этихъ акварельныхъ картинокъ (и отнюдь не слабѣйшія: «Пѣвцы», «Чертопхановъ и Недопюскинъ», «Лебедянь», «Свиданіе» и проч.) вовсе не имѣютъ такого спеціальнаго характера. Какъ бы то ни было, но отъ «Записокъ охотника» въ общемъ (а ихъ и надо цѣнить въ общемъ, какъ цѣльную картинную галлерею) дѣйствительно вѣетъ протестомъ не то, чтобы именно противъ крѣпостного права, а противъ всей болотности тогдашняго склада помѣщичьей жизни; протестомъ, смягченнымъ кровными связями автора съ этимъ бытомъ и акварельною манерою писанія. (Въ этомъ послѣднемъ отношеніи любопытно сравнить «Записки охотника» съ грубыми красками и топорной работой, но за то и большею выпуклостью «Антона-горемыки» г. Григоровича). Обратите, пожалуйста, вниманіе на пріемы, которыми выразилась эта отзывчивость Тургенева къ болямъ тогдашняго времени: въ «Запискахъ охотника» нѣтъ ни одного «новаго человѣка»—ни бурно, хотя и безпредметно протестующаго Рудина, ни засосаннаго болотомъ, но надрывающагося отъ внутренней боли «Лишняго человѣка», ни одного, словомъ, изъ представителей новаго, по тогдашнему, наслоенія чувствъ и мыслей. Я потому обращаю на это ваше вниманіе, что впослѣдствіи за Тургеневымъ утвердилась репутація какого-то спеціалиста по части «уловленія момента», и именно не просто чуткаго художника, а изобразителя «новыхъ людей».

Едва-ли существуетъ ходячее мнѣніе о томъ или другомъ крупномъ писателѣ, которое было бы такъ распространено и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ невѣрно. Тургеневъ былъ и больше этого, и меньше, какъ посмотрѣть на дѣло. Онъ былъ не только русскій, а и европейскій, всемірный писатель, какимъ никогда не будетъ, напримѣръ, Гоголь. Со всѣмъ своимъ громаднымъ талантомъ Гоголь никогда не будетъ такъ близокъ и родствененъ, такъ понятенъ Европѣ, потому что его типы чисто русскіе, тогда какъ тургеневскіе типы—общечеловѣческіе, пожалуй, абстрактно психологическіе. Конечно, люди вездѣ люди, однѣ и тѣ же страсти ихъ волнуютъ, одни и тѣже радости и горя ихъ посѣщаютъ. Но когда Гоголь рисовалъ свои образы, онъ ихъ, такъ сказать, вырывалъ съ корнемъ изъ русской жизни и такъ ихъ и предъявлялъ читателю. Тургеневъ давалъ своимъ образамъ только обстановку русскую и потому для француза, нѣмца, англичанина представлялъ двойной интересъ: тонко разработанный, знакомый, общечеловѣческій типъ на фонѣ чужой, своеобразной обстановки. Обстановку эту Тургеневъ постоянно обновлялъ, дѣйствительно, часто заимствуя ее изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента» новыхъ наслоеній. Отсюда, конечно, и идетъ стран-

ная репутація «ловца момента» и соотвѣтственныя ожиданія и требованія, которыя никому, кромѣ Тургенева, не предъявлялись; ни даже, напримѣръ, Достоевскому въ ту послѣднюю пору, когда нѣкоторые en toutes lettres называли его «пророкомъ божіимъ» и провозвѣстникомъ «новаго слова». Весьма естественно, если русское общество, волнуемое разными, трудно утишимыми тревогами, ждетъ, чтобы умный и талантливый человѣкъ и притомъ старинный любимецъ какъ-нибудь откликнулся на эти тревоги, подалъ свой авторитетный голосъ. Поклонники Достоевскаго и находили такое удовлетвореніе хоть бы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», въ которыхъ, однако, «новыхъ людей» нѣтъ, а именно они-то и требовались всегда отъ Тургенева. Не знаю, что именно нашли поклонники Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамзовыхъ», но знаю, что художникъ можетъ откликнуться на тревоги минуты (которая, увы! можетъ иногда растянуться въ цѣлые годы), пальцемъ не касаясь «новыхъ людей». Порукой въ томъ самъ Тургеневъ въ «Записках охотника», не говоря о множествѣ другихъ примѣровъ. Одно дѣло скорбѣть скорбями родины, тревожиться ея тревогами, пронизывать, пропитывать этими общими скорбями и тревогами свое творчество; и совсѣмъ другое дѣло изображать «новыхъ людей», то-есть типичныхъ представителей новыхъ наслоеній. Первое достижимо безъ второго, второе возможно безъ перваго. Конечно, возможно и сочетаніе этихъ двухъ оттѣнковъ творчества, но создавать изъ «новыхъ людей» спеціальность для художника и притомъ требовать, чтобы онъ въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ изображалъ все «новыхъ» и опять «новыхъ»—это, деликатно выражаясь, не умно. И, повторяю, Тургеневъ, вопреки распространенному мнѣнію, никогда не удовлетворялъ этому требованію, хоть, можетъ быть, въ глубинѣ души и хотѣлъ бы ему удовлетворить.

Чтобы наглядно убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить, напримѣръ, «Лишняго человѣка» и героя «Нови»—Нежданова. Если вы не будете смѣшивать рамку съ самою картиною, костюмъ съ характеромъ лица, въ него одѣтаго, обстановку, въ которой дѣйствуетъ извѣстный типъ, съ самымъ этимъ типомъ (а такое смѣшеніе—послѣднее дѣло), то безъ труда увидите, что «Лишній человѣкъ» и Неждановъ одно и то же лицо, одинъ и тотъ же и притомъ общечеловѣческій, абстрактнс психологическій типъ. Самое свое задушевное они выражаютъ даже почти одними и тѣми же словами. А между тѣмъ, появленіе «Лишняго человѣка» отдѣляется отъ появленія Нежданова тремя десятками лѣтъ и являются они въ совершенно различныхъ обстановкахъ. Эта разница въ обстановкѣ и даетъ поводъ думать или, по крайней мѣрѣ, говорить, что какъ «Лишній человѣкъ» былъ новымъ человѣкомъ для своего времени, такъ и Неждановъ новый человѣкъ для своего. Между тѣмъ, это одинъ и тотъ же типъ слабаго, раздвоеннаго «гамлетика, самоѣда», какъ его назвалъ самъ Тургеневъ; типъ общечеловѣческій, блестяще развитой въ европейской литературѣ. Вставьте «Лишняго человѣка» въ обстановку русской революціи, и получится Неждановъ; придайте ему глубины и высоты и вдвиньте въ обстановку средневѣковаго искренняго ученаго—получится Фаустъ; сохраняя ту глубину и высоту, поставьте передъ нимъ практическую задачу кровной мести—выйдетъ Гамлетъ. Вы не припишите мнѣ, конечно, нелѣпой мысли, что всѣ эти «вставьте», «поставьте» очень легко выполнить. Напротивъ, очень трудно. Надо быть чрезвычайно большимъ художникомъ, чтобы съ такимъ блескомъ, какъ это сдѣлалъ Тургеневъ, написать нѣсколько новыхъ варьяцій на тему, эксплуатированную гигантами творчества.

Тургеневъ былъ совершенно изъ ряду вонъ выходящій мастеръ въ дѣлѣ индивидуализаціи образовъ. Мало того, что его фигуры стоятъ передъ нами, какъ живыя, со всѣми мельчайшими особенностями своихъ личныхъ физіономій. Это мы получаемъ отъ каждаго крупнаго художника. Но Тургеневъ устраивалъ иногда настоящія состязанія между своими дѣйствующими лицами, ставя ихъ въ одно и то же положеніе по отношенію къ какому-нибудь частному предмету, какъ бы загоняя ихъ въ одно и то же положеніе и всетаки сохраняя ихъ индивидуальность до мельчайшей черты. Такъ поступилъ онъ, напримѣръ, въ «Первой любви», точно очертивъ около княжны кругъ изъ пяти или шести мужчинъ, изъ которыхъ каждый любитъ по своему и къ каждому изъ которыхъ и княжна имѣетъ особенный оттѣнокъ отношеній. Такой же tour de force устроилъ онъ въ «Наканунѣ», размѣстивъ вокругъ Елены Берсенева, Шубина, Инсарова и Курнатовскаго. Художникъ меньшаго дарованія и даже, пожалуй, не меньшаго, а не тургеневскаго, съ его тонкостью и кружевной отдѣлкой письма, едва-ли вышелъ бы побѣдителемъ изъ этой трудности, да, можетъ быть, и не рѣшился бы на нее покуситься. Если поэтъ, гусаръ, докторъ и польскій графъ изъ окружающихъ княжну въ «Первой любви» нѣсколько отзываются ходячими шаблонами поэта, гусара и т. д., то Берсеневъ, Шубинъ, Инсаровъ, Курна-

товскій уже несомнѣнно портреты рѣдкаго мастерства: портреты, то-есть нѣчто вполнѣ индивидуализированное.

Тѣмъ не менѣе, если оставить въ сторонѣ многочисленныя второстепенныя дѣйствующія лица разсказовъ, повѣстей и романовъ Тургенева и сосредоточиться на ихъ «герояхъ», центральныхъ фигурахъ, то увидите, что собственно только два типа особенно занимали Тургенева и постоянно имъ разработывались. Въ его отношеніяхъ къ этимъ типамъ, въ разницѣ этихъ отношеній сказываются всѣ особенности художественной натуры Тургенева и весь его душевный обликъ.

Въ извѣстной статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ» Тургеневъ, очевидно, гораздо болѣе симпатизируетъ пламенному, хотя и смѣшному ламанчскому герою, чѣмъ сумрачному датскому принцу. Однако, обобщать эту симпатію и антипатію можно только съ большою осторожностью. Было бы, напримѣръ, большою ошибкою сказать, что вообще дѣятельный, рѣшительный, смѣло берущій на себя отвѣтственность типъ (каковъ Донъ-Кихотъ) дороже и ближе Тургеневу, чѣмъ типъ колеблющійся, рефлектирующій, несмѣющій сдѣлать то, что, по совѣсти, обязанъ сдѣлать (каковъ Гамлетъ). Совсѣмъ не эти стороны того и другого были важны для Тургенева, не ихъ онъ имѣлъ въ виду, когда проводилъ свою параллель между Гамлетомъ и Донъ-Кихотомъ. Страданія Гамлета и его хромоногая рефлексія были, напротивъ, очень близки и дороги Тургеневу, но мрачность скептицизма и холодъ эгоизма убійцы Офеліи, Полонія и Лаэрта отталкивали добродушнаго поэта, вскормленнаго неопредѣленными, но свѣтлыми идеалами. Въ Донъ-Кихотѣ же его прельщала отнюдь не цѣльная твердость характера и готовность дѣйствовать на свой страхъ, а поэтическій порывъ, стремленіе куда-то къ свѣту и беззавѣтная любовь къ людямъ. Если же (что было бы, конечно, крайне односторонне) разумѣть подъ Донъ-Кихотомъ дѣятельную, рѣшительную натуру, а подъ Гамлетомъ созерцательную, колеблющуюся, то отношенія Тургенева къ обоимъ этимъ типамъ будетъ какъ разъ обратное тому, которое мы видимъ въ его параллели.

Тургеневъ былъ меньше всего родственъ рѣшительнымъ, берущимъ на себя отвѣтственность натурамъ, но онѣ занимали его, онъ рисовалъ ихъ, поневолѣ отражая въ рисункѣ свою имъ чуждость. Конечно, онъ былъ слишкомъ уменъ и чуткъ къ художественной правдѣ, чтобы дѣлать изъ этихъ антипатичныхъ ему фигуръ сплошныхъ злодѣевъ, изверговъ рода человѣческаго или дураковъ, точно такъ-же, какъ и любимцевъ своихъ онъ не обращалъ въ рыцарей безъ пятна и порока. Напротивъ, онъ ставилъ иногда ихъ въ унизительнѣйшія положенія, а чужимъ, непріятнымъ людямъ предоставлялъ даже истинный героизмъ. Но интимныя отношенія автора къ своимъ созданіямъ всетаки чувствуются, и не просто чувствуются, а могутъ быть указаны и анализированы.

Когда капризно-поэтическій, ребячески милый Шубинъ дѣлаетъ статуэтку стоящаго на заднихъ ногахъ и готоваго бодаться барана, удивительно вмѣстѣ съ тѣмъ похожаго на Инсарова, то въ этомъ выразилось, конечно, въ преувеличенномъ, каррикатурномъ видѣ, собственное отношеніе Тургенева къ герою «Наканунѣ». Несмотря на свою силу, даваемую опредѣленностью жизненной задачи и вѣрою въ нее, Инсаровъ узокъ, сухъ, жестокъ, даже тупъ, и сама Елена находитъ въ немъ много общаго съ чиновникомъ Курнатовскимъ. Замѣтьте, что въ качествѣ дѣятельнаго участника освобожденія болгаръ, Инсаровъ вовсе не необходимо долженъ быть такимъ, какимъ онъ вышелъ изъ-подъ пера Тургенева. Онъ могъ бы быть и пламеннымъ, экспансивнымъ энтузіастомъ, съ глубокимъ поэтическимъ чутьемъ, съ широкими политическими планами, краснорѣчивымъ ораторомъ, какъ колоколъ будящимъ своихъ порабощенныхъ единоплеменниковъ и т. п. Но Тургеневъ пожелалъ лишить болгарскаго агитатора всѣхъ яркихъ красокъ, не далъ ему ни одного цвѣтка жизни изъ своего богатаго поэтическаго букета. Нельзя, разумѣется, приставать къ художнику съ запросами, почему онъ сдѣлалъ своего героя такимъ, а не этакимъ. Но если мы видимъ, что у нашего художника рѣшительные люди, смѣющіе брать на себя отвѣтственность, *всегда* таковы, то это указываетъ на извѣстную складку въ самомъ художникѣ. А среди духовныхъ дѣтищъ Тургенева Инсаровъ далеко не одинокъ въ своей прозаической сухости непреклоннаго, не гнущагося человѣка. Таковъ и Базаровъ. Антипатія Тургенева къ этому своему созданію слишкомъ очевидна, чтобы стоило ее доказывать теперь, когда острый полемическій моментъ оцѣнки «Отцовъ и дѣтей» прошелъ. Но оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ всякія догадки о личныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ покойнаго. Посмотримъ на Базарова просто, какъ онъ есть самъ. Это во-первыхъ, человѣкъ, идущій на проломъ, безъ малѣйшихъ сомнѣній и колебаній, смѣло, даже дерзко берущій на себя отвѣтственность за презрѣніе ко многому, по мнѣнію окружающихъ, святому и неприкосновенному, и за все свое «отри-

цаніе»; онъ не боится ни смерти, ни жизни, ни дуэли, которая теоретически въ его глазахъ смѣшна, ни приступа къ неприступной Одинцовой. Это одна сторона фигуры Базарова. Другая состоитъ въ томъ, что онъ опять-таки жестокъ, сухъ, черствъ, узокъ, хотя и уменъ. Узокъ онъ до того, что, напримѣръ, для него не существуетъ *наука*, а есть только *науки*, то-есть спеціальности; сухъ до того, что лишенъ самомалѣйшей искры поэтическаго чувства. Словомъ, опять ни одной яркой краски, ни одного жизненнаго цвѣтка въ этой сильной, но скудной, пустынной натурѣ. Не про него эти жизненные цвѣтки. Онъ не только не тяготится ихъ отсутствіемъ, а, можетъ быть, даже когда-нибудь въ прошедшемъ насильственно вырывалъ ихъ изъ своей души, чтобы не развлекаться по сторонамъ, чтобы свободно и рѣшительно идти своей дорогой. А ужъ тѣмъ паче презираетъ онъ тѣ цвѣтки, которые ему случайно, по дорогѣ, въ другихъ попадаются: онъ ихъ топчетъ съ презрѣніемъ и насмѣшкой. Базаровъ въ этомъ отношеніи вольный или невольный аскетъ. Вольный, если онъ намѣренно, систематически стеръ съ себя всякія яркія краски, невольный — если уже онъ такой уродился...

Милостивые государи, вы позволите мнѣ не распространяться о томъ, что именно на этомъ пунктѣ выросли тѣ недоразумѣнія по поводу «Отцовъ и дѣтей», о которыхъ потомъ съ такою горечью вспоминалъ Тургеневъ и которыхъ онъ своими разъясненіями ни мало не разъяснилъ. Онъ говорилъ, напримѣръ, что онъ почти раздѣляетъ убѣжденія Базарова, за исключеніемъ его взглядовъ на исскуство. Но, чтобы не далеко ходить, ссылаюсь для образчика на вышеупомянутое мнѣніе Базарова, что *наука* это вздоръ, а есть только *науки*. Ужъ, конечно, широкому, синтетическому уму Тургенева этотъ взглядъ не могъ быть симпатиченъ. Но, повторяю, я не хочу объ этомъ распространяться. Я предлагаю вамъ стать на совсѣмъ другую точку зрѣнія. Дѣло въ томъ, что совершенно независимо отъ обстановки, заимствованной изъ момента борьбы поколѣній, Базаровъ есть психологическій типъ, родственный и Инсарову, и нѣкоторымъ другимъ персонажамъ Тургенева въ томъ смыслѣ, что все это люди не колеблющіеся, идущіе на проломъ, берущіе на себя отвѣтственность. Рисуя этотъ сортъ людей, Тургеневъ направлялъ ихъ дѣятельность къ очень разнообразнымъ цѣлямъ: то заставлялъ освобождать угнетенныхъ соплеменниковъ отъ иноземнаго ига, какъ Инсарова въ «Наканунѣ», то предоставлялъ имъ сферу теоретическаго отрицанія, какъ Базарову въ «Отцахъ и дѣтяхъ», то пускалъ въ волны русской революціи, какъ Маркелова, Остродумова и прочую «безъимянную Русь» въ «Нови», то замыкалъ въ сферу любовной фабулы, какъ Лучинова въ «Трехъ портретахъ», и Лучкова въ «Бреттерѣ», то надѣвалъ на нихъ мундиръ чиновника, какъ на Курнатовскаго въ «Наканунѣ» и еще кое на какихъ, менѣе достопримѣчательныхъ. Какъ общественному дѣятелю или просто какъ человѣку извѣстнаго образа мыслей, эти различныя жизненныя цѣли, эти разнообразныя направленія дѣятельности рѣшительныхъ героевъ могли быть симпачны или антипатичны Тургеневу. Но ему чуждъ и не любъ былъ самый типъ, сама душевная механика этихъ людей, какія бы цѣли они не преслѣдовали. Замѣчательный въ самомъ дѣлѣ фактъ. Казалось бы, для художника, какъ художника, должно быть очень соблазнительно расцвѣтить возможно ярко человѣка, не колеблющагося, твердаго умомъ, чувствомъ и волей. Хотя бы уже потому соблазнительно, что этотъ пріемъ предоставляетъ писателю рядъ совершенно особыхъ художественныхъ эффектовъ. Кто говоритъ! на этомъ пути легко уклониться отъ реальной правды жизни и впасть въ фальшивую идеализацію, что обыкновенно и случается съ мелкими художниками, но Тургеневъ былъ художественная звѣзда первой величины; а между тѣмъ во всей богатой коллекціи его образовъ вы не найдете ни одного, который, при стойкости и рѣшительности, обладалъ бы извѣстною долей другихъ, цвѣтныхъ достоинствъ. Все это сѣро, сухо, не колоритно, какъ Инсаровъ и Базаровъ; подчасъ просто даже глупо, какъ «безымянная Русь», подчасъ грубо и злобно, какъ Лучковъ, или самое большое, красиво злобно, какъ Лучиновъ.

Вы, можетъ быть, удивитесь, что грубаго бреттера Лучкова и безсердечнаго наглеца Лучинова я ставлю рядомъ съ Инсаровымъ Базаровымъ, Остродумовымъ, Маркеловымъ, Курнатовскимъ. Но, минута размышленія— и вы согласитесь, что это одинъ и тотъ же абстрактно-психологическій типъ, вдвинутый въ различныя обстановки. Лучковъ убиваетъ неповиннаго пріятеля, а Лучиновъ еще болѣе невиннаго и притомъ совершенно жалкаго человѣка, не моргнувши глазомъ. Цѣли, для которыхъ приносятся эти кровавыя жертвы, будучи чисто личнаго характера, и принципы, во имя которыхъ происходятъ жертвоприношенія, мелки, дрянны, низменны. Затѣмъ, между Лучковымъ и Лучиновымъ нѣтъ, повидимому, ничего общаго, хоть они оба дуэлисты: одинъ тупъ и грубъ, какъ бревно, другой—блестящій «кавалеръ». Но характерная черта психологическаго

типа состоитъ не въ этихъ случайныхъ подробностяхъ, опредѣляемыхъ условіями рожденія, воспитанія, вліяній среды, и не въ цѣляхъ дѣятельности, столь же измѣнчивыхъ, а въ готовности перешагнуть черезъ какое бы то ни было препятствіе; въ такой вѣрѣ въ свою правоту, которая не допускаетъ даже и тѣни сомнѣній и колебаній. Замѣните теперь эти дрянныя цѣли чистыми и низменные принципы возвышенными, и вы можете получить нѣчто въ родѣ Инсарова. Что человѣкъ при этомъ остается тотъ же въ своей душевной механикѣ, хотя измѣняется въ направленіи своей дѣятельности, это видно, напримѣръ, изъ извѣстной сцены ратоборства Инсарова съ пьянымъ нѣмцемъ. Этотъ пьяный нѣмецъ вѣдь не турокъ, котораго надо выгнать изъ Болгаріи, и цѣли, и принципы дѣятельности Инсарова тутъ не причемъ. Однако, искаженное лицо Инсарова и холодная рѣшительность, съ которою онъ ввергаетъ нѣмца въ воду, свидѣтельствуютъ, что онъ смѣло взялъ бы на себя отвѣтственность за увѣчье и даже смерть этого пьянаго нѣмца. По мнѣнію столь компетентнаго цѣнителя, какъ героиня «Наканунѣ», Елена, въ Курнатовскомъ и Инсаровѣ есть нѣчто общее. А вы помните, какъ взволновала Елену холодная рѣшительность, съ которою Курнатовскій настаивалъ на необходимости «раздавить» какую-то группу людей, со включеніемъ и невинныхъ ея членовъ (если не ошибаюсь, разговоръ шелъ о взяточникахъ; вообще, извините—я пишу на память, не имѣя подъ рукой сочиненій Тургенева). Базаровъ, обреченный на проживаніе въ теоретическихъ сферахъ, производитъ тамъ операцію, совершенно параллельную: онъ всегда готовъ, безъ колебаній и сомнѣній, «раздавить» установившуюся идею, предразсудокъ, поэтическій порывъ, не щадя при этомъ людей. О «безымянной Руси» и говорить нечего.

Тургеневу случалось вводить въ портреты этого сорта людей очень некрасивыя черты, но, повторяю, онъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ большой художникъ, чтобы дѣлать изъ нихъ всегда и непремѣнно сплошныхъ глупцовъ или негодяевъ, какъ это дѣлаютъ мелкотравчатые живописатели съ своими духовными пасынками. Но это были всетаки пасынки Тургенева и онъ каралъ ихъ, какъ только можетъ карать умный и талантливый художникъ: въ большей или меньшей степени надѣлялъ сухостью, черствостью ума или чувства, лишалъ поэтическаго ореола. Васъ отнюдь не должна смущать въ этомъ отношеніи якобы поэтическая фигура Инсарова: на него лишь падаетъ отблескъ грандіозной задачи освобожденія Болгаріи; самъ же по себѣ онъ такъ же тусклъ, какъ тѣ свинцовыя пули, которыми онъ хотѣлъ бы осыпать турокъ.

Вообще, скудость, сухость, обдѣленность дарами природы точно представлялись Тургеневу необходимыми спутниками или даже условіями непреклонной личной силы. И это станетъ еще явственнѣе, если мы обратимъ вниманіе на его разработку противоположнаго типа—мягкаго, колеблющагося, сомнѣвающагося, несмѣющаго, не управляющаго событіями, а управляемаго ими. Тургеневъ очень много занимался этимъ типомъ и создалъ цѣлую коллекцію его варьянтовъ. Въ первую пору своей литературной дѣятельности, онъ изображалъ этихъ слабыхъ, раздвоенныхъ людей внѣ всякой дѣятельности, только мучительно копающимися въ своей душѣ (Гамлетъ Щигировскаго уѣзда, Лишній человѣкъ). Въ первый разъ показалъ онъ ихъ въ дѣйствіи въ «Рудинѣ», едва-ли не лучшемъ своемъ и, во всякомъ случаѣ, необыкновенно прекрасномъ произведеніи. Въ Рудинѣ есть много непривлекательныхъ мелкихъ чертъ (охотно живетъ на чужой счетъ, беретъ деньги взаймы безъ отдачи), но всѣ онѣ тонутъ въ общей слабости—безхарактерности, которая ставитъ Рудина въ цѣлый рядъ неловкихъ и даже позорныхъ положеній. Слово и дѣло для него совсѣмъ разныя вещи, онъ неспособенъ на какой бы то ни было твердый, рѣшительный, опредѣленный шагъ и совершенно посрамляется не только Натальей, а и людьми гораздо меньшаго калибра. И несмотря на все это, Рудинъ истинно блестящій образъ. Одно время, съ легкой руки нѣкоторыхъ критиковъ, у насъ принято было презрительно относиться къ «болтовнѣ» Рудина: дескать, дѣла не дѣлаетъ, а только болтаетъ. Разсуждающіе такимъ образомъ упускаютъ изъ виду, что въ тѣ печальныя времена, когда жилъ Рудинъ, не было особеннаго богатства въ выборѣ «дѣла» для человѣка его образа мыслей. Забываютъ они также, что слово само по себѣ можетъ быть дѣломъ, и какъ ни велико разстояніе между словомъ и дѣломъ для самого Рудина, но по отношенію къ другимъ его мощное слово могло быть и дѣйствительно было дѣломъ. Недаромъ, наслушавшись его краснорѣчія, Наталья ощутила въ себѣ силы, оказавшіяся не по плечу самому Рудину; недаромъ, передъ юнымъ Басистовымъ разверзались отъ этого краснорѣчія какіе-то неопредѣленные, но свѣтлые и широкіе горизонты. Конечно, еслибы этотъ роскошный даръ природы въ другія руки, напримѣръ, Инсарову или Базарову, такъ они не такія дѣла обдѣлали бы. Но нашъ художникъ позаботился, какъ гласитъ нѣмецкое изрѣченіе, чтобы деревья не

доросли до неба. Сильнымъ людямъ онъ не далъ талантовъ и вообще блеску, а слабому далъ и таланты, и поэтическій ореолъ. Смерть Рудина, усугубляя эффектность его фигуры, искупаетъ и разныя его слабости. И не только смерть, а уже скорбный разсказъ старому пріятелю объ томъ, по какимъ онъ дорогамъ мыкался, и какія бываютъ дороги грязныя. Много мягкости душевной и теплоты внесъ сюда нашъ знаменитый романистъ, и именно по такимъ страницамъ надо цѣнить глубокую гуманность его натуры.

Замѣчательно, однако, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полнотѣ только при обрисовкѣ слабыхъ характеровъ, не влекущихъ, а влекомыхъ, не управляющихъ, а управляемыхъ. Такихъ Тургеневъ умѣлъ обливать мягкимъ, ласкающимъ свѣтомъ, даже не прибѣгая къ роскоши даровъ природы. Вотъ, напримѣръ, герой «Вешнихъ водъ», Санинъ. Это самый обыкновенный молодой человѣкъ, только молодостью и блистающій. На немъ нѣтъ, правда, ни мрачныхъ тѣней, ни свинцовой тусклости, но не числятся за нимъ и какія-нибудь положительныя личныя достоинства; ни глубокихъ думъ, ни особенныхъ дарованій. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ просто тряпка по характеру. Слабые люди никогда не кончаютъ, все ждутъ, чтобы кончилось, замѣчаетъ Тургеневъ, разсказывая романическую исторію Санина.—Но Санинъ ничего и не начинаетъ, и не продолжаетъ, у него все какъ-то помимо него начинается и продолжается. Тряпичность его переходитъ даже въ гнусность, въ которой, какъ ему самому кажется, его уличаетъ даже собака Тарталья, и онъ съ тоской вспоминаетъ о той позорной роли, которую, оставивъ Джемму, игралъ при госпожѣ Полозовой. Но и событія въ концѣ концовъ такъ располагаются, и такимъ рыцаремъ ведетъ себя по временамъ Санинъ, и такъ много свѣту и тепла пустилъ во всю эту обыкновенную исторію мастеръ художникъ, что Санинъ отнюдь не противенъ, а просто вамъ его жалко...

Я слишкомъ долго не кончилъ бы, если-бы захотѣлъ перебрать всѣ созданные Тургеневымъ образы слабыхъ людей, и потому вы позволите мнѣ остановиться только на одномъ еще, на Нежановѣ. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда назвалъ бы этого юношу своимъ младшимъ братомъ, примѣряющимъ костюмъ революціонера, Шубинъ назвалъ бы его «грызуномъ, гамлетикомъ, самоѣдомъ», Паклинъ называетъ его «россійскимъ гамлетомъ». Гамлетикъ-Нежановъ нетолько раздвоенъ, а разтроенъ между любовью къ Маріаннѣ, стремленіемъ въ художественныя сферы и избранною имъ революціонною дѣятельностью. Совокупить какъ-нибудь все это въ одно цѣлое онъ не можетъ и все это у него не настоящее, потому что ничему не умѣетъ онъ отдаться вполнѣ, безъ мучительно скептическаго копанія въ своей душѣ. Ему естественно кончить самоубійствомъ, потому что порядочному человѣку надо или сбросить это бремя или перестать жить. Только совершенная дрянь можетъ безъ конца носиться съ этой душевной суматицей и, пожалуй, даже кокетничать ею, что обыкновенно и дѣлаютъ «гамлетизированные поросята», изъ которыхъ, по законамъ естества, съ теченіемъ времени выростаютъ свиньи. Но Гамлетикъ-Нежановъ больше, чѣмъ порядочный человѣкъ. Онъ чистъ въ порывахъ своей натуры, и искрененъ въ своемъ скептицизмѣ. Притомъ же, за исключеніемъ Маріанны, объ которой сейчасъ, Нежановъ выше всѣхъ видимыхъ окружающихъ. Говорю «видимыхъ», потому что есть и невидимые, и въ этомъ состоитъ особенный интересъ всей концепціи «Нови». Тургеневу, по какимъ-то особымъ внутреннимъ требованіямъ его творчества, *нужно* было поставить въ центрѣ романа именно Нежданова съ его надломленностью и расположить всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ въ тѣни, такъ, чтобы на него падало какъ можно больше свѣта. Достигается это двумя способами. Около Нежданова группируется кучка людей, сильныхъ волею и цѣльныхъ вѣрою, но зато необыкновенно скудныхъ въ умственномъ отношеніи, узкихъ, тусклыхъ, просто даже глупыхъ. На этомъ сѣромъ фонѣ Нежановъ выдѣляется яркимъ, красивымъ пятномъ. Затѣмъ вдали помѣщается Соломинъ, рекомендуемый чѣмъ-то покрупнѣе всѣхъ этихъ Маркеловыхъ, Остродумовыхъ, Машуриныхъ, но на столько вдали, что онъ оказывается какъ бы въ туманѣ и никоимъ образомъ не можетъ заслонить собою Нежданова. Еще дальше, уже внѣ рамокъ картины, помѣщается какой-то Василій Николаевичъ, вожакъ, направляющій всей «безымянной Русью». Онъ даже не показывается въ романѣ, объ немъ только говорятъ. Можетъ быть, онъ и очень большая величина, можетъ быть, даже соединяетъ личную непреклонность и небоязнь отвѣтственности съ выдающимися дарованіями и поэтическимъ блескомъ, но, ревнивый къ своему любимому Нежданову, художникъ не допускаетъ ихъ до состязанія въ симпатіяхъ и заинтересованности читателя. Онъ не хочетъ рисковать поэтическимъ ореоломъ Нежданова. На немъ, на этой колеблящейся, не смѣющей, не умѣющей опредѣлиться фигурѣ хочетъ онъ сосредоточить участіе и интересъ читателя.

Есть, однако, одно лицо, передъ кото-

рымъ Тургеневъ охотно пригибаетъ Нежданова. Это—Маріанна. Мужчина, пасующій передъ женщиной, оказывающійся ниже ея, одинъ изъ любимѣйшихъ мотивовъ Тургенева. Онъ его эксплуатировалъ въ «Асѣ», въ «Рудинѣ», въ «Дымѣ», въ «Вешнихъ водахъ», въ «Затишьѣ», въ «Концѣ Чертопханова». И если, напримѣръ, въ упомянутомъ художественномъ tour de force, въ «Первой любви», буйная княжна Зинаида совершенно преклоняется передъ однимъ изъ пяти или шести мужчинъ, претендующихъ на ея благосклонность (передъ отцомъ лица, отъ имени котораго ведется разсказъ), переклоняется до униженія, до поцѣлуя рубца отъ удара его хлыста, то остальная-то коллекція вся у ея ногъ. Да и этотъ одинъ, стоящій выше ея, почти не показывается читателю. Остается совершенно неизвѣстнымъ, какими чарами околдовалъ онъ буйную княжну. Художникъ какъ бы признаетъ свое безсиліе изобразить такое рѣдкостное явленіе. Въ «Новп» Соломинъ, выражая одну изъ самыхъ задушевныхъ мыслей автора, говоритъ, что «*всѣ* русскія женщины дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ». *Всѣ* это, конечно, ужъ черезъ край, сильно сказано, но почти справедливо относительно женскихъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ. Онъ ихъ рисовалъ съ необыкновенною любовью и, такъ сказать, рыцарскою деликатностью. Даже такая грубо чувственная и хищная натура, какъ m-me Полозова въ «Вешнихъ водахъ», оказывается во-первыхъ, сильною, а во-вторыхъ, во многихъ отношеніяхъ симпатичною. Даже такая послѣдняя дрянь, какъ m-me Лаврецкая въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» сдобривается красотой, умомъ, талантами и не получаетъ отъ автора ни одного грубаго, хотя и вполнѣ заслуженнаго ею пинка. Объ остальныхъ или, по крайней мѣрѣ, о большинствѣ остальныхъ и говорить нечего, это чистѣйшія, идеальныя созданія. Пропустите только у себя въ памяти героиню «Фауста», Асю, Машу въ «Затишьѣ», Лизу въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», Наталью въ «Рудинѣ», Елену въ «Наканунѣ», Джемму въ «Вешнихъ водахъ», Таню въ «Дымѣ», Одинцову и Катю въ «Отцахъ и дѣтяхъ», Маріанну въ «Нови»...

Если, однако, репутація Тургенева, какъ ловца моментовъ русскаго общественнаго развитія, несправедлива вообще, то еще менѣе справедлива она относительно русскихъ женщинъ. Я уже не говорю объ томъ, что итальянка Джемма могла бы быть замѣнена русскою или собой замѣнить русскую безъ малѣйшей перемѣны во внутренней, душевной жизни. Но относительно женщинъ, Тургеневъ не прибѣгалъ даже къ заимствованіямъ «новыхъ» обстановокъ изъ текущей русской дѣйствительности (исключеніе составляютъ Кукшина въ «Отцахъ и дѣтяхъ», Маріанна и Машурина въ «Нови»). Припомните, сколько различныхъ «моментовъ» пережила русская женщина съ тѣхъ поръ, какъ звѣзда тургенева сразу ярко загорѣлась на горизонтѣ русской литературы. Въ сороковыхъ годахъ, подъ вліяніемъ Жоржъ Зандъ, у насъ были такъ называемыя «эмансипированныя» женщины. Явленіе это было, правда, не особенно распространенное и въ общемъ довольно безобразное, какъ оно и естественно при милліонахъ не эмансипированныхъ крестьянъ. Но въ отдѣльныхъ случаяхъ оно могло быть чистымъ, искреннимъ и вполнѣ заслуживающимъ поэтическаго воспроизведенія. И если мужчины могли задумываться о гнусности крѣпостнаго права и горѣть отъ стыда за него, то почему не могли того же дѣлать женщины, особливо если всѣ русскія женщины выше и дѣльнѣе насъ, мужчинъ? Но объ этомъ мы ровно ничего не узнаемъ отъ Тургенева. Можетъ быть, однако, это вовсе не «моментъ», то-есть недостаточно широкое общественное явленіе, чтобы стоило крупному художнику его отмѣчать? Очень можетъ быть. Но вотъ въ шестидесятыхъ годахъ въ средѣ русскихъ женщинъ происходитъ довольно, кажется, широкое и довольно опредѣленное движеніе, беллетристически изображенное много разъ, но все болѣе или менѣе слабыми, неумѣлыми руками или даже прямо грязными. Казалось бы, Тургеневу, съ его широкими симпатіями, съ его чуткостью ко всему, что шевелится въ женскомъ сердцѣ, представлялась тутъ богатѣйшая жатва. А между тѣмъ на все это женское движеніе онъ откликнулся однимъ образомъ, да и этотъ образъ — Евдокія Кукшина. Не будемъ говорить хороша или дурна Кукшина, можетъ-ли она быть признана олицетвореніемъ общаго явленія или это частное уродство, но, во всякомъ случаѣ, одна ласточка весны не дѣлаетъ. Единственность этой ласточки свидѣтельствуетъ, что Тургенева занимало тогда совсѣмъ не спеціальное движеніе русскихъ женщинъ, не «женскій трудъ», или «женскій вопросъ», или высшее образованіе женщинъ. Онъ понималъ, конечно, все это и, такъ или иначе, принималъ близко къ сердцу, но именно *близко* къ сердцу, а не настолько, чтобы, переваривъ въ своемъ сердцѣ и умѣ, переработать творческимъ процессомъ и предъявить въ видѣ поэтическихъ образовъ. Его другое занимало—мотивъ психологическій и общечеловѣческій, если хотите, общеженскій. Его занималъ тогда, какъ и прежде, и потомъ, моментъ возникновенія сердечнаго романа дѣвушки; моментъ, имъ до высшей степени

облагороженный совершенно особеннымъ, чисто тургеневскимъ способомъ.

Тургенева часто называютъ «истиннымъ реалистомъ», основателемъ или главою реальной школы въ беллетристикѣ и т. п. Всѣ эти реализмы, идеализмы и прочіе измы ужасно захватаны и сплошь и рядомъ люди, о нихъ препирающіеся, разумѣютъ подъ ними совсѣмъ разныя вещи. Я не думаю, чтобы поэзія Тургенева исчерпывалась словомъ реализмъ. Если разумѣть подъ реализмомъ стремленіе изображать правду жизни, какъ она есть, такъ, конечно, Тургеневъ былъ реалистъ. Но дѣло въ томъ, что жизнь пестра, низкое въ ней чередуется съ возвышеннымъ, грязное съ чистымъ. Художникъ можетъ, оставаясь вполнѣ вѣренъ правдѣ жизни, выбирать для художественной эксплуатаціи однѣ низкія и грязныя ея полосы, но точно также и однѣ возвышенныя и чистыя. Въ послѣднемъ случаѣ его назовутъ, пожалуй, идеалистомъ и, пожалуй, будутъ правы. Что касается женщинъ, Тургеневъ былъ именно такимъ идеалистомъ: онъ выбиралъ свои темы изъ идеальныхъ полосъ реальной жизни. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что есть женщины, способныя своею пустотою, мелочностью, злобностью создать настоящій адъ для своихъ близкихъ, что есть женщины и въ разныхъ другихъ смыслахъ вполнѣ дрянныя, но ихъ нѣтъ въ галлереѣ женскихъ типовъ Тургенева. Онъ этихъ сторонъ реальной правды жизни не трогалъ или почти не трогалъ. Дѣвушка полюбила — вотъ любимѣйшая и постоянная тема Тургенева. Споконъ вѣка эксплуатируется эта тема безчисленнымъ множествомъ поэтовъ, романистовъ, драматурговъ. Но Тургеневъ съ своей разработкой ея стоитъ совершенно особо. Любовь не только не кладетъ на его героиню какой-нибудь узкой, эгоистической печати, какъ это часто случается въ романахъ и въ жизни, но какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей новыя, далекія и свѣтлыя перспективы. Любимый человѣкъ для нея не просто будущій мужъ или любовникъ, съ которымъ ее ждетъ упоеніе личнаго счастія; нѣтъ, за нимъ стоитъ что-то большое и свѣтлое (она хорошенько не знаетъ что), призывающее къ дѣятельности, къ жертвѣ; ей такъ сладко мечтать объ этой жертвѣ, хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью, такъ хотѣлось бы на весь міръ прозвенѣть какими-то новыми, до сихъ поръ не тронутыми еще, но невыразимо звучными струнами души; прозвенѣть, а тамъ, пожалуй, пусть струны и оборвутся отъ полноты напряженія. И оттого-то такъ безвыходно-горько разочарованіе, напримѣръ, Маши въ «Затишьѣ» или Натальи въ «Рудинѣ». Въ разработку этихъ переливовъ приподнятаго строя женской души, расширенной и очеловѣченной любовью, Тургеневъ клалъ все свое рѣдкое мастерство. Онъ самъ былъ, можно сказать, влюбленъ въ эти свои чудныя созданія.

Замѣчательно, однако, что необходимымъ условіемъ этой влюбленности была именно неопредѣленная свѣтозарность или свѣтозарная неопредѣленность идеаловъ женщины. Женщина особенно близка и дорога Тургеневу, когда, преображенная чудомъ любви, она находится въ состояніи страстнаго тяготѣнія къ чему-то великому и свѣтлому, но неопредѣленному, далекому, туманному. Какъ только этотъ туманъ разсѣевается, какъ только женщина выбираетъ опредѣленный путь, такъ она или перестаетъ совсѣмъ интересовать нашего художника, или даже становится для него непріятною. Вотъ почему онъ «уловилъ моментъ» движенія среди русскихъ женщинъ только однимъ образомъ Евдокіи Кукшиной. Можетъ быть, рисуя эту безобразницу, онъ и не погрѣшилъ противъ правды жизни, можетъ быть, такія безобразницы и бывали, но, во всякомъ случаѣ, здѣсь Тургеневъ, даже просто какъ художникъ, далеко не тотъ, что въ изображеніи женщинъ, не тронутыхъ опредѣленнымъ общественнымъ движеніемъ. Тамъ онъ выбиралъ исключительно свѣтлыя и возвышенныя полосы реальной правды жизни, здѣсь, напротивъ, исключительно темныя и низменныя. Тоже самое видите вы и въ «Нови» (мимоходомъ сказать, одномъ изъ самыхъ слабыхъ произведеній Тургенева), гдѣ онъ, послѣ долгаго перерыва, опять далъ героямъ обстановку «новую», заимствованную изъ текущей русской дѣйствительности, изъ «момента», въ которомъ, какъ извѣстно, женщины играли очень видную роль. На этотъ разъ Тургеневъ далъ два женскихъ типа, Маріанну и Машурину. Но Маріанна, это — блистающій яркими краскими благоуханный цвѣтокъ, раскрывшійся подъ вліяніемъ весенняго тепла и свѣта. Это та же, по-тургеневски полюбившая дѣвушка, со всѣми обычными, смутно-возвышенными, неопредѣленно-свѣтлыми атрибутами. Правда, она пытается сдѣлать совершенно опредѣленный шагъ по опредѣленному пути «опрощенія», но, благодушно комически освѣтивъ этотъ шагъ, Тургеневъ бережно сводитъ Маріанну съ опредѣленнаго пути и удаляетъ ее куда-то въ туманъ вмѣстѣ съ блѣднымъ Соломинымъ. Совсѣмъ иное дѣло Машурина. Эта ужъ закоснѣла въ своей опредѣленности, ее не волнуютъ никакія сомнѣнія и колебанія, ничто не можетъ своротить съ намѣченнаго пути; она готова принять на себя отвѣтственность за самыя рѣшительныя дѣйствія. Но за то же она и

лишена всякаго поэтическаго ореола. Несмотря на всѣ свои добродѣтели, которыя авторъ подчеркиваетъ даже съ излишнею торопливостью, Машурина тускла, даже просто глупа и вдобавокъ безобразна...

Думали-ли вы когда-нибудь объ томъ, что во всей портретной галлереѣ рыцарски деликатнаго относительно женщинъ Тургенева только и есть двѣ безобразныя женщины: Кукшина да Машурина? Мелочь это, конечно, но очень характерная...

Вы скажете, пожалуй, что я трогаю больныя мѣста, которыхъ по отношенію къ такому покойнику, какъ Тургеневъ, не слѣдуетъ трогать; тѣ больныя мѣста, которыя при его жизни возбуждали болѣе или менѣе острую полемику и вызывали упреки художнику въ дурныхъ намѣреніяхъ. Нѣтъ, милостивые государи, я могъ бы говорить объ ошибкахъ и слабостяхъ Тургенева, но прежде всего не допускаю мысли объ его злонамѣренности. Я, напротивъ, предлагаю вамъ стать на такую точку зрѣнія, которая объясняетъ всю литературную дѣятельность покойнаго самымъ характеромъ его творчества и всѣмъ его душевнымъ складомъ. Этому складу была *художественно* враждебна и чужда всякая рѣзкая опредѣленность въ образѣ мыслей, всякая безповоротная рѣшительность въ образѣ дѣйствія. Я подчеркиваю: *художественно* враждебна. Это не значитъ, что тотъ образъ мыслей или дѣйствій были ему враждебны, какъ мыслителю или дѣятелю; это могло быть, могло и не быть. Но въ оригинальномъ процессѣ его творчества, тайны котораго не разгаданы пока ни психологіей, ни физіологіей, рѣзкая опредѣленность и неуклонная личная сила ассоціировались всегда и непремѣнно съ безцвѣтностью, съ большею или меньшею скудостью природы. Онъ *не могъ* творить иначе, и его такъ же мало можно судить за это, какъ больного дальтонизмомъ за то, что онъ не умѣетъ различать красный и зеленый цвѣта. Отъ него можно было только требовать, чтобы, сознавъ особенный характеръ своего творчества, онъ не брался за задачи, при выполненіи которыхъ упомянутая ассоціація можетъ привести къ тяжелымъ и непріятнымъ общественнымъ послѣдствіямъ. Все равно, какъ отъ больного дальтонизмомъ можно требовать, чтобы онъ не служилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ смѣшеніе зеленаго и краснаго сигналовъ ведетъ къ погибели многихъ жизней...

Столь же фатально слабость, мягкость, расплывчатость, колебательность, неопредѣленность были художественно симпатичны Тургеневу. Здѣсь, впрочемъ, игралъ важную роль и другой житейскій мотивъ. Всѣ, лично знавшіе Тургенева, хоронятъ теперь не только одно изъ лучшихъ украшеній русской литературы, а и чрезвычайно добраго человѣка. Это личное качество отражалось и въ его литературной дѣятельности. Онъ не мучилъ своихъ мучениковъ-гамлетиковъ и другихъ слабыхъ, надломленныхъ людей сверхъ той мѣры, которая опредѣлялась требованіями правды изображенія и желаніемъ привлечь къ нимъ участіе читателя. Надо также замѣтить, что хотя онъ и поэтизировалъ слабость и неопредѣленность, но никогда не воздвигалъ на пьедесталъ, не заставлялъ читателя предъ ними преклоняться. Напротивъ, устами Шубина онъ сказалъ, что «чуткой душѣ», Еленѣ, естественно было уйти на чужую сторону съ тусклымъ и не поэтическимъ болгариномъ, потому что, дескать, что же она могла найти въ нашихъ «гамлетикахъ, самоѣдахъ, грызунахъ!» И если онъ заставляетъ насъ восхищаться неопредѣленностью, то только тогда, когда она, какъ въ его полюбившихъ дѣвушкахъ, выражается въ страстномъ порывѣ къ дѣятельности. Внѣ этого онъ только художественно-властно требуетъ у читателя снисхожденія и жалости къ своимъ дѣтищамъ—слабымъ, колеблющимся людямъ. Но и то при условіи ихъ чистоты. Его любимцы, тѣ, къ поэтизированію которыхъ его неудержимо влекъ оригинальный характеръ творчества, борятся сами съ собой, мучатся, изнемогаютъ, падаютъ въ этой борьбѣ, сомнѣваются, колеблются, но никогда не борятся съ тѣми свѣтлыми идеалами, которые самъ Тургеневъ пронесъ неприкосновенными отъ юности до могилы. Напротивъ, они, даже истерзавшись сомнѣніями, иногда и умираютъ за эти идеалы или изъ за нихъ, какъ умеръ Рудинъ, какъ умеръ, пожалуй, и Неждановъ...

Милостивые государи, позвольте мнѣ кончить слѣдующимъ замѣчаніемъ. Все это довольно длинное посланіе я написалъ, ни разу не заглянувъ въ сочиненія Тургенева, которыхъ, какъ я уже упоминалъ, у меня нѣтъ подъ руками. Я могъ бесѣдовать съ вами о многочисленныхъ герояхъ и героиняхъ Тургенева, какъ объ хорошихъ общихъ знакомыхъ, очень близкихъ людяхъ, которыхъ мы видѣли на прошлой недѣлѣ или вчера и опять увидимъ завтра или на будущей недѣлѣ. И еслибы нужно было свидѣтельство изобразительной силы Тургенева, такъ оно состоитъ просто въ томъ, что каждый образованный русскій человѣкъ, на минуту сосредоточившись, можетъ вызвать всю вереницу его героевъ и героинь, и они пройдутъ, какъ живые, какъ въ томъ проектѣ памятника Пушкину...

Въ эту минуту, впрочемъ, мнѣ нѣсколько иначе, не такъ, какъ въ началѣ письма, представляется этотъ фантастическій смотръ,

дѣлаемый поэтомъ своимъ созданіямъ. Не онъ имъ дѣлаетъ смотръ, а они пришли поклониться его праху. Вотъ группа полюбившихъ дѣвушекъ съ рыданіями цѣлуетъ мертвыя руки, изобразившія ихъ такими возвышенными чертами. Къ нимъ пристроилась и Машурина. Она не цѣлуетъ рукъ, но она пришла сюда: покойникъ призналъ за ней и честность, и готовность жертвовать собой, а что до поэтическаго ореола, а тѣмъ болѣе красоты, такъ, вѣдь, она меньше всего объ этомъ думаетъ. Гамлетикъ Неждановъ, безвольный Санинъ и другіе съ стыдливой грустью смотрятъ на трупъ того, кто призвалъ на ихъ несчастныя головы столько участія и жалости. Шубинъ, косясь на суроваго и тусклаго Инсарова, съ нервно подергивающимися отъ приступа слезъ губами, дрожащими руками готовитъ матеріалъ для маски, которую онъ сейчасъ будетъ снимать съ покойника. Въ сторонѣ стоитъ Базаровъ, съ презрительно-жесткой миной поглядывающій на всѣхъ. Для него безразлично, какого объ немъ мнѣнія былъ покойникъ, любилъ онъ его или нѣтъ; онъ сдѣлалъ свое дѣло, стараясь до послѣдней возможности поддержать жизнь въ этомъ тѣлѣ. И сановные люди «Дыма» и «Нови» пришли: имъ пояснили, что нельзя не придти, что того требуетъ приличіе, что хоронятъ общепризнанную русскую и даже европейскую славу. Ихъ шокируетъ, что тутъ же вертится какой-то Паклинъ, что какой-то Остродумовъ наслѣдилъ на полу тяжелыми, грязными сапогами, что какой-то Веретьевъ съ очевидными признаками перепоя протискался къ самому гробу, но нельзя... И Рудинъ говоритъ немножко туманную, но пламенную рѣчь, отъ музыки которой въ юныхъ сердцахъ Натальи и Басистова загорается огонь любви къ правдѣ и свѣту...

VIII *).

Какой-то маленькій французскій «натуралистъ» и «экспериментаторъ» школы Эмиля Зола посвятилъ—разсказываютъ въ газетахъ—томъ своихъ твореній Тургеневу съ восклицаніемъ: salve, frater! Спрашивается, какой онъ Тургеневу братъ? Не въ томъ дѣло, что натуралистикъ маленькій, а Тургеневъ большой. Бываютъ старшіе братья и младшіе, высокорослые и малорослые, и если это бываетъ въ кровномъ братствѣ, то тѣмъ паче въ братствѣ духовномъ. Не всѣмъ, служащимъ одной и той же идеѣ или исповѣдующимъ одну и ту же вѣру, быть непремѣнно крупными талантами. Каждый дѣлаетъ, что можетъ, для дѣла, которое считаетъ своимъ. Значитъ, вопросъ только въ томъ, какое это такое общее дѣло у большого Тургенева и маленькаго «экспериментатора», имени котораго я не помню, объ чемъ, впрочемъ, не скорблю, да и вы, вѣроятно, не скорбите. Дѣло это есть, говорятъ, правдивое изображеніе жизни, какъ она есть, безъ фальшивыхъ, искусственныхъ освѣщеній и подкрашиваній.

О французскихъ экспериментаторахъ и натуралистахъ въ вашемъ журналѣ неоднократно заходилъ разговоръ. Поэтому я не думаю бесѣдовать о нихъ вплотную, тѣмъ болѣе, что и г. Боборыкина опасаюсь: онъ такъ грозно обрушился на всю русскую литературу за недостаточное уваженіе къ Эмилю Зола... Надо, однако, замѣтить, что этотъ прискорбный недостатокъ уваженія свойственъ не только русской литературѣ. Въ самой Франціи неуваженіе къ «золаистамъ» становится настолько сильно, что облекается даже въ художественныя, беллетристическія формы. На нихъ-то и позвольте обратить ваше вниманіе.

Въ «Русской Мысли» (№№ V—VIII) напечатанъ переводъ очень милой и остроумной повѣсти или «экспериментальнаго романа», какъ называетъ ее самъ авторъ, Маркъ Монье. Повѣсть озаглавлена «Сбитый съ толку».

Нѣкто донъ Руфъ Скапонъ, неаполитанецъ по происхожденію, человѣкъ уже не молодой, женатый, пріѣзжая отъ нечего дѣлать въ Парижъ, встрѣтилъ въ вагонѣ нѣсколько молодыхъ людей. «Это были все литераторы: одни изъ нихъ никогда и ничему не учились, другіе провалились на экзаменахъ и не. доучились; въ Парижъ они ѣхали міръ переучить по новому, заработать горы денегъ и сдѣлаться знаменитыми. Они болтали между собою разные смѣхотворные пустяки, перемѣшивая ихъ соображеніями насчетъ атавизма». Донъ Руфъ присталъ къ этой веселой компаніи и, по пріѣздѣ въ Парижъ, сталъ вмѣстѣ съ ними искать «человѣка», сначала въ Монпарнасѣ, а потомъ въ Батиньолѣ (въ этихъ мѣстахъ жилъ Эмиль Зола). Ихъ не приняли, сказавши, что «*онъ* работаетъ». Наконецъ, по третьему разу, они были приняты. «Съ перваго пожатія руки донъ Руфъ почувствовалъ, что все кончено, что захвачена вся его жизнь».

Собственно говоря, ничего неизмѣнилось въ образѣ жизни и даже въ образѣ мыслей дона Руфа. Правда, онъ затѣялъ писать романъ въ натуралистическомъ вкусѣ, но остался при одномъ намѣреніи, и все его внутреннее преображеніе послѣ батиньольскаго знакомства состояло въ томъ, что онъ сталъ, какъ саврасъ безъ узды, носиться по безконечному полю якобы научныхъ фразъ въ

*) 1883, октябрь.

такомъ родѣ: «Нѣтъ ни добродѣтели, ни порока, а одна наслѣдственность темпераментовъ»; «сущность дѣла состоитъ въ томъ, что нѣтъ ни добра, ни зла, ни хорошаго, ни дурного, существуетъ только правда, что правдиво, то и законно, то и должно совершиться»; «экспериментаторъ—слѣдственный судья; мы отыскиваемъ законы причинной связи соціальныхъ явленій, мы трудимся надъ рѣшеніемъ великой задачи, имѣющей цѣлью побѣду надъ природой, созданіе могущества удесятереннаго человѣка! почти Клода Бернара»; «республика будетъ натуралистическою или ея совсѣмъ не будетъ!» И т. д., и т. д. Неустанно выбалтывая эти фразы, донъ Руфъ попрежнему шатается по кофейнямъ и вообще попрежнему бездѣльничаетъ. Только теперь онъ называетъ это занятіе «собираніемъ человѣческихъ документовъ» и производствомъ «экспериментовъ».

Первымъ дѣломъ дона Руфа по возвращеніи изъ Парижа было приняться за перевоспитаніе жены. Онъ замѣтилъ въ ней, простой неаполитанкѣ, дочери прачки, какіе-то странные признаки, которые взволновали его и внушили ему опасенія. Онъ обратился за указаніями въ Батиньоль и получилъ оттуда слѣдующее письмо:

«Берегитесь, лжи чтобы не было. Покажите ей жизнь, какова она въ дѣйствительности. Прочь идеалы, прочь разнѣживающее чтеніе. («Хорошо, что она не умѣетъ читать», подумалъ донъ Руфъ). Все это развиваетъ... іезуетскія увертки, компромиссы и порывы сердца. Вальтеръ Скоттъ былъ виновникомъ паденія большаго числа дѣвушекъ и замужнихъ женщинъ, чѣмъ Бальзакъ. Женщина, отдавшаяся любовнику, несомнѣнно начиталась идеальныхъ романовъ. Такое чтеніе сбиваетъ съ толку умственно и развращаетъ нравственно. Наоборотъ, возьмите натуралистическій романъ, и вы непремѣнно извлечете изъ него дѣйствительную, реальную пользу. Опасная мечтательность непозволительна въ настоящее время. Порокъ и зло должны быть показаны во всей наготѣ, во всемъ ихъ ужасѣ, со всею мучительностью и грязью ихъ послѣдствій. Необходимо показать, что такое любовь и какъ логически добродѣтель и счастіе, въ смыслѣ голой истины, въ правдивомъ равновѣсіи человѣка съ окружающею его природой, сводятся неизмѣнно къ тому, что...» Далѣе слѣдовали такія фразы, которыя донъ Руфъ могъ прочесть вслухъ только въ кофейной».

Донъ Руфъ не замедлилъ послѣдовать батиньольскому совѣту. Такъ какъ жена его Маріанина, была безграмотна, то онъ сталъ ей читать французскіе натуралистическіе романы, переведя ихъ á livre ouvert на неаполитанское простонародное нарѣчіе. Сначала Маріанинѣ это показалось скучнымъ, она даже заснула во время чтенія. Тогда донъ-Руфъ просто сталъ разсказывать содержаніе одного романа, именно повѣствовавшаго о томъ, какъ одна тридцатилѣтняя женщина влюбилась въ сына своего мужа (очевидно La curée Эмиля Золя). Маріанина возмутилась какъ основною фабулою романа, такъ и тѣмъ, что въ романѣ дѣйствуютъ исключительно «мошенники и мерзавцы» мужескаго пола и «мерзкія твари» женскаго. Она спросила: «да что же это за страна такая, гдѣ живутъ однѣ свиньи»? Донъ-Руфъ пояснилъ, что это страна, какъ и прочія, что романъ хорошъ, и хорошъ именно тѣмъ, что рисуетъ жизнь, какъ она есть рѣшительно во всѣхъ странахъ. Но какъ гласитъ французская поговорка á force de forger on devient forgeron, Маріанина постепенно вошла во вкусъ натуралистическихъ романовъ, ее стали занимать эти раздражающіе образы грязи и разврата, рекомендуемые какъ несомнѣнные «документы» и истинная суть жизни. Стало ей приходить на умъ, что вотъ она красивая двадцати-четырехлѣтняя женщина, имѣя сорокалѣтняго и довольнотаки скучнаго мужа, къ этимъ «документамъ» до сихъ поръ не причастна... А тутъ подвернулось такое обстоятельство. Мимо ихъ дома часто проѣзжали разные люди на ослахъ, въ сопровожденіи погонщиковъ. Между погонщиками былъ одинъ красавецъ-мальчикъ, на котораго Маріанинѣ пріятно было смотрѣть. На ослѣ этого погонщика ѣздилъ обыкновенно франтоватый молодой человѣкъ, принявшій ея взгляды на свой счетъ и потому отпускавшій ей любезные поклоны, поцѣлуи ручкой и т. п. Однажды донъ-Руфъ случайно увидалъ эти знаки любви или любезности и, такъ какъ онъ вовсе не хотѣлъ, чтобы «эксперименты» продѣлывались на его счетъ, то онъ избилъ франтоватаго молодого человѣка палкой, а жену жестоко разругалъ. Маріанина отвѣтила: «Вы съума сошли!.. Да еслибъ и было что, такъ я всетаки лучше другихъ. Этотъ donciello (франтъ) вамъ не сынъ». Обладая множествомъ «человѣческихъ документовъ», донъ-Руфъ не сообразилъ, однако, что не франтоватый молодой человѣкъ былъ опасенъ для его семейнаго счастія, а красавецъ-погонщикъ. Мало того, онъ сталъ брать этого красавца Франчискьеля для своихъ собственныхъ поѣздокъ. И того мало, онъ своими разсказами о Франчискьелѣ возбудилъ въ Маріанинѣ еще большій интересъ къ нему. Дѣлъ въ томъ, что отецъ Франчискьеля былъ шпіономъ при Бурбонахъ, а дядя служилъ въ піемонтской полиціи, и мальчикъ рѣшился не брать въ ротъ ни одного куска хлѣба,

оплаченнаго измѣной и шпіонствомъ. («Посуди сама, не противоестественно-ли это»?—поучаетъ донъ-Руфъ Маріанину). Живя впроголодь, Франчискьель находилъ иногда въ землѣ древнія вещи и продавалъ ихъ антикваріямъ. Разъ онъ нашелъ такимъ образомъ античную греческую вазу, за которую нѣкій банкиръ предложилъ ему тысячу франковъ. «Это слишкомъ много», отвѣтилъ Франчискьель. «Это—честная душа»!—перебила на этомъ отвѣтѣ Маріаннна разсказъ дона-Руфа. «Дурацкая башка! возразилъ донъ-Руфъ.— Неужели ты не понимаешь, что такія чувства противны природѣ и логикѣ? Что бы стало съ натурализмомъ, еслибы онъ вздумалъ питаться такими нездоровыми явленіями? И замѣть, что банкиръ—понимаешь, банкиръ!—такой же безумецъ, какъ ты, нашелъ этотъ отвѣтъ восхитительнымъ. Онъ велѣлъ мальчику сѣсть на козлы, привезъ въ свой домъ и приказалъ озадаченному кассиру выдать двѣ тысячи франковъ золотомъ. Добродѣтель награждена, за то дѣйствительность попрана, реализмъ исчезъ, торжествуетъ мораль дѣтскихъ книжонокъ. Такія явленія неправдивы, слѣдовательно, они не должны происходить».

Философствуя такимъ образомъ, донъ-Руфъ не подозрѣвалъ, что въ скучающій и имъ же самимъ раздраженный умъ Маріанины онъ вводитъ совсѣмъ не подходящій къ его планамъ элементъ особеннаго интереса къ Франчискьелю. Маріанина, пользуясь каждымъ отсутствіемъ мужа (а онъ уходилъ въ свою кофейную каждый день), стала выбѣгать въ городъ и заигрывать съ Франчискьелемъ. Тотъ разсказалъ дону-Руфу, что вотъ, молъ, пристаетъ какая-то бабенка. Донъ-Руфъ не преминулъ нагородить съ три короба всякихъ «правдивыхъ равновѣсій». «Клодъ Бернаровъ», «экспериментовъ» и «документовъ», суть которыхъ исчерпывалась въ данномъ случаѣ такъ называемою одинадцатою заповѣдью: не зѣвай! Къ счастью, Маріанина просто не нравилась Франчискьелю. Неизвѣсто, впрочемъ, къ счастію-ли это было, потому что Маріанина кончила, во всякомъ случаѣ, скверно: раздраженная, въ добавокъ ко всему предыдущему, уклончивостью Франчискьеля, она, съ окончательно растроенными нервами, пустилась во вся тяжкая, заболѣла и умерла. Во время ея скандальныхъ похожденій, между домомъ-Руфомъ и докторомъ Шарфомъ, добродушно суровымъ скептикомъ, происходилъ такой діалогъ:

— Милѣйшій мой, сказалъ докторъ донъ-Руфу:—ваша жена больна, и больна она по вашей винѣ; ей бы слѣдовало стирать бѣлье и ѣсть бобы, а она питается однимъ сахаромъ и ничего не дѣлаетъ. Отъ этого происходитъ нервность, которую я не разъ лѣчилъ, потомъ ушибъ и приливы крови къ мозгу. Съ такими прецедентами и при нѣкоторомъ легкомысліи, женщина сама не сознаетъ вполнѣ ясно, что дѣлаетъ. Читаетъ она романы?

— Она не умѣетъ читать.

— А это что за дрянь валяется у васъ въ комнатѣ?

— Это геніальныя произведенія.

— Не изъ такихъ-ли, о, которыхъ такъ много говорили въ прошломъ году? Я не былъ въ состояніи осилить болѣе пяти страницъ. Ужъ вы не читаете-ли ей вслухъ?

— Но вѣдь это... геніальное...

— Читаете, несчастный! Теперь все объясняется. Она больна, очень больна, и это только раздражаетъ и усиливаетъ болѣзнь. Лжетъ она?

— На каждомъ словѣ.

— Притворяется?

— Какъ ханжа.

— И воруетъ... Я уже замѣчалъ, какъ она то краснѣетъ, то блѣднѣетъ, ей схватываетъ горло, она задыхается, у нея измѣнилась походка.. О, эти книги! Начиная съ романа Лансело, погубившаго Женевьеву, и кончая этимъ, сгубившимъ вашу жену... Это ужасно.!

Докторъ Шарфъ схватилъ книгу и швырнулъ ее въ окно. Это было не благоразумно: ее поднялъ нищій и продалъ нѣмцу; нѣмецъ перевелъ ее на свой языкъ, чтобы показать соотечественникамъ, каково французское общество; переводъ былъ пріобрѣтенъ умнымъ человѣкомъ, жившимъ тогда въ Варшинѣ и желавшимъ опозорить Францію, отпечатанъ въ тридцати тысячахъ экземпляровъ и распространенъ по Германіи.

Я не стану разсказывать дальнѣйшія похожденія дона-Руфа. Замѣчу только, что, за исключеніемъ трагическаго момента болѣзни и смерти Маріанины, въ романѣ все обстоитъ благополучно; хотя донъ Руфъ еще не разъ попадаетъ въ жестокіе просаки съ своими экспериментами и документами, но все это разрѣшается рядомъ комическихъ эпизодовъ.

Романъ написанъ безъ взякихъ художественныхъ претензій и есть только памфлетъ въ беллетрастической формѣ, памфлетъ и остроумный, и просто умный. Какъ всякій подобный памфлетъ, онъ ничего не доказываетъ, но дѣлаетъ, пожалуй, больше, чѣмъ могутъ иногда сдѣлать самыя убѣдительныя доказательства. Онъ иллюстрируетъ извѣстное положеніе, наглядно уясняетъ его живою образностью. Не трудно, конечно, доказать, что экспериментъ золаистовъ суть чистый вздоръ. Но логическая аргументація представляетъ по отношенію къ очень и очень многимъ умамъ машину слишкомъ сложную и тяжеловѣсную. Огромному большинству читающей публики удачно поставленные и расположенные образы говорятъ гораздо выразительнѣе. И приведя эту иллюстрацію, я возвращаюсь къ своему вопросу: что общаго между Тургеневымъ и тѣмъ маленькимъ натуралистомъ, который съ нѣсколько наглою любезностью сказалъ ему во все услышаніе: salve frater! Остановимся на женщинахъ. Я обращалъ въ прошломъ письмѣ ваше вниманіе на ту настойчивость, съ которою Тургеневъ рисовалъ женщину въ хорошіе, чи-

стые моменты ея жизни, доводя эту чистоту до особенной возвышенности и благородства. Припомните же теперь *Нану*, героиню «La curée» (не помню, какъ ее зовутъ), героинь «Pot-bouille». Я беру не маленькаго какого-нибудь натуралиста, а самаго Зола, человѣка съ большимъ талантомъ и притомъ дающаго тонъ маленькимъ. И вы видите, что человѣкъ этотъ, опять-таки съ чрезвычайною настойчивостью, выбираетъ для своихъ женщинъ моменты жизни, какъ разъ противоположные тургеневскимъ — моменты самаго грязнаго паденія, чисто животной низости, по возможности не простого, а какъ бы возведеннаго въ квадратъ, извращеннаго разврата. Нана и Елена!.. грязное и глупое двуногое животное и дѣвушка, переполненная чистѣйшими человѣчнѣйшими стремленіями... Это однокіе образы, а если угодно сравнить картины, то припомните, напримѣръ, знаменитое «такъ возьми же меня!» Елены и потомъ аналогичную сцену въ Pot-bouille, гдѣ глупая бабенка безсмысленно и поскотски отдается неотразимому Октаву на столѣ, между тарелкой редиски и книгой...

Но у натуралистовъ есть на этотъ счетъ возраженіе или оправданіе, не совсѣмъ лишеннсе значенія. Пусть Нана грязное и глупое двуногое животное, пусть упомянутая сцена разыгрывается поскотски, но вѣдь и такія Наны, и такія сцены бываютъ въ жизни. А если бываютъ въ жизни, то должны имѣть мѣсто и въ ея правдивомъ отраженіи, въ искусствѣ. Дѣйствительно, если, какъ мы признали въ прошлый разъ, Тургеневъ (относительно женщинъ) выбиралъ для художественной эксплуатаціи преимущественно идеальныя, чистыя и возвышенныя полосы реальной жизни, то полосы грязныя и низменныя въ такой же мѣрѣ заслуживаютъ вниманія искусства. Ограничиваясь чистымъ и высокимъ, искусство, даже при полной правдивости изображенія, было бы не отраженіемъ жизни, а какимъ-то фантастическимъ кондитерскимъ магазиномъ, гдѣ хранится много сладкихъ вещей, но нѣтъ очень многаго, необходимаго для жизни. Мало того. Бываютъ историческія минуты, до такой степени насыщенныя мракомъ и злобой, грязью и глупостью, свирѣпою алчностью и ненасытною свирѣпостью, что искусство, просто во имя правды жизни (я уже не говорю о нравственномъ долгѣ), обязано эксплуатировать этотъ мракъ и эту грязь. Еще Гоголь объяснялъ, почему онъ поставилъ и долженъ былъ поставить въ центрѣ своей «поэмы» не «добродѣтельнаго человѣка», а Павла Ивановича Чичикова. Спора нѣтъ, въ самыя страшныя, въ самыя позорныя историческія минуты высокія умственныя и нравственныя качества не совсѣмъ уходятъ по ту сторону дѣйствительности, въ безпредѣльную область мечты и идеала. Они есть всегда и, какъ свѣтъ во тьмѣ, свѣтятся, разгоняя ее, смотря по обстоятельствамъ, то слабымъ, едва замѣтнымъ трепетнымъ мерцаніемъ, то цѣлымъ заревомъ. Но если они не въ центрѣ дѣйствительности находятся, то правдиваго повѣствователя нельзя обязать дѣлать центральной фигурой повѣствованія настоящаго героя, съ великими мыслями въ головѣ, съ глубокими чувствами въ сердцѣ, съ пламеннымъ стремленіемъ къ добру и правдѣ, и съ соотвѣтственными поступками. О, да! въ противность здравому смыслу, свѣтильники слишкомъ часто стоятъ не на столѣ, а подъ столомъ, а на столѣ самодовольно расправляетъ ноги свинья, которую безсмысленная или неосторожная исторія посадила за столъ. Не надо было сажать свинью за столъ—это такъ; надо стараться отогнать ее отъ стола —это опять вѣрно. Но если ужъ она положила ноги на столъ, то искусству не только нельзя запретить, а, напротивъ, можно требовать, чтобы оно уловило этотъ моментъ во всей его постыдности. Такъ не на этой-ли общей почвѣ правды можетъ быть утверждено и провозглашено братство Тургенева и всякаго, большого и малаго, «натуралиста»? Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что у насъ былъ въ ходу одно время (давно ужъ) очень близкій терминъ—«натуральная школа», къ которой и Тургеневъ причислялся. И въ самомъ дѣлѣ, одинъ рисуетъ Елену, чистую дѣвушку, возвышенную по натурѣ, да еще духовно приподнятую сложнымъ процессомъ любви; другой рисуетъ Нану, существо, животностью своею притянутое къ низу, въ омутъ грязи. И оба правы, потому что и Елена художественно обобщенный фактъ, и Нана художественно обобщенный фактъ.

Нѣтъ, правъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ. Въ своихъ главныхъ и общихъ чертахъ процессъ творчества у всѣхъ художниковъ, конечно, одинъ и тотъ же, и въ этомъ смыслѣ они, пожалуй, всѣ братья; но это въ такой же мѣрѣ важно и интересно, какъ то, что всѣ люди родственники по Адаму. Степень родственности, объ которой стоитъ въ настоящемъ случаѣ говорить, опредѣляется тѣмъ личнымъ, что вносятъ художники въ свою работу, сходствомъ или разницею ихъ личныхъ отношеній къ изображаемому предмету. Съ этой точки зрѣнія Тургеневъ и Зола, разумѣется, не братья. Тургеневъ любитъ Елену, любуется ею и насъ заставляетъ любоваться. Если бы Зола былъ братъ Тургеневу, то, рисуя совершенную противоположность Елены—Нану, онъ ее презиралъ бы, чувствовалъ бы къ ней отвращеніе, вообще, питалъ бы какое-нибудь отрицательное чувство, ну, хоть жалость къ человѣкообразному,

всетаки, существу, обезчеловѣченному какими-то темными общественными или природными силами. Ничего подобнаго, однако, нѣтъ, и не случайно нѣтъ, потому что Золя не только практикуетъ безучастное, не любящее и не ненавидящее творчество, а и теоритизируетъ его. Онъ говоритъ: мы—анатомы, мы—химики, и твердитъ фразы дона-Руфа: нѣтъ ни хорошаго, ни дурного, а есть только правда, читай Клода Бернара! Замѣчательно, однако, что въ то время, какъ господа Руфы Скапоны и Эмили Золя такъ страстно взываютъ къ наукѣ, и именно къ естествознанію, истинные ученые, и притомъ именно естествоиспытатели, говорятъ объ искусствѣ совсѣмъ другое. Вотъ, напримѣръ, что вычиталъ докторъ Шарфъ у того самаго Клода Бернара, которому Руфы и Золя не даютъ покою и въ могилѣ. «Романъ есть художественное произведеніе, а въ художественномъ произведеніи надъ всѣмъ преобладаетъ индивидуальность автора...» Это говоритъ Клодъ Бернаръ. Художникъ осуществляетъ въ своемъ произведеніи идею или чувство, лично ему принадлежащія». Донъ-Руфъ изумленъ. «Это сказалъ Клодъ Бернаръ?» спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.— «Слово въ слово, отвѣчаетъ докторъ:—тутъ все дѣло въ самобытномъ творчествѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ констатированіемъ естественныхъ явленій, въ которыхъ нашъ умъ не долженъ ничего создавать».

Осуждая нравственный элементъ на ссылку въ мѣста, весьма отдаленныя отъ сферы искусства, «натуралисты» находятся во власти очень простого недоразумѣнія. Нравственный элементъ присущъ всякому творческому процессу, но у нихъ онъ находится, если можно такъ выразиться, на точкѣ замерзанія, на нулѣ. Не потому безучастно творчество Зола, что онъ какой-то странный «анатомъ» или владѣетъ какими-то «документами», а просто потому, что онъ индифферентистъ. Какъ только добро и зло почему-нибудь затрогиваютъ «натуралиста», задѣваютъ его лично, такъ онъ забываетъ всѣ свои «документы» и перестаетъ писать «протоколы». Отсюда и происходятъ комическіе эпизоды въ жизни дона-Руфа и самаго Зола...

Но прежде, чѣмъ говорить объ этомъ комическомъ, позвольте нѣсколько словъ о трагическомъ. Мнѣ вспоминается страшный историческій образъ — Ивана Грознаго, и именно въ той блестящей и глубоко вѣрной характеристикѣ, которую сдѣлалъ когда-то Константинъ Аксаковъ. Грозный, по этой характеристикѣ, былъ художественная натура, лишенная нравственнаго чувства. Онъ любилъ красоту, картинность во всемъ—въ добрѣ и злѣ, не различая добра и зла. Передъ нимъ постоянно носились разнообразныя картины: то царь среди сонма избранныхъ представителей народа, то онъ же среди духовенства, то группа облеченныхъ въ черныя одежды, посту и молитвѣ преданныхъ монаховъ, то страшныя казни, картинныя именно своимъ ужасомъ. Будь Грозный простымъ смертнымъ и обладай онъ, кромѣ художественной натуры, талантомъ, онъ заносилъ бы всѣ эти картины перомъ на бумагу или красками на холстъ. Но Грозный былъ всесиленъ и потому могъ производить—и дѣйствительно производилъ—настоящіе «эксперименты», а не тѣ якобы эксперименты, о которыхъ, исключительно по недомыслію, толкуютъ натуралисты. Не на бумагѣ, а въ дѣйствительной жизни ставилъ онъ людей въ тѣ положенія, которыя требовались разгуломъ его художественной фантазіи, то юмористически сажая на тронъ вся Руси татарина Симеона Бекбулатовича, то созывая земскій соборъ, то выжигая и вырѣзая Новгородъ и окрашивая Волховъ двойнымъ эффектомъ зарева и крови, то облачаясь самъ и облачая своихъ опричниковъ въ монашескія одежды, то картинно опираясь на костыль, проткнувшій ногу Васьки Шибанова. Изъ замѣчаній Константина Аксакова я помню одно, поразительное по своей простотѣ и истинности. Онъ говоритъ, что художественная натура, лишенная нравственнаго основанія, мѣшаетъ человѣку отнестись къ какому бы то ни было своему чувству правдиво: онъ любуется красотою того или другого дѣла, а не самымъ дѣломъ. Дѣйствительно, подобные люди непремѣнно должны быть двойственны, искусственны и совершенно неспособны къ искренности. Совершая величайшія гадости и отвлеченно понимая, что это гадости, они могутъ увлекаться и любоваться ихъ картинностью, если только есть возможность имъ придать таковую. Не совсѣмъ, однако, правильно говорить, что такіе люди совершеннс лишены нравственнаго чувства. Оно въ нихъ есть, но именно находится на точкѣ замерзанія. Они даже очень способны волноваться различіемъ между добромъ и зломъ, когда это различіе затрогиваетъ ихъ личные интересы. Тотъ же Грозный умѣлъ, при случаѣ, прочувствованно, дѣльно и развѣ ужъ только очень пространно и многословно говорить о добродѣтели и порокѣ.

Въ жизни Иваны Грозные, разумѣемые въ этомъ смыслѣ, то-есть нравственно скудныя художественныя натуры, попадаются довольно часто. Если онѣ не бросаются въ глаза, такъ только потому, что, будучи лишены всемогущества своего грознаго прототипа, онѣ очень ограниченны въ сферѣ «экспериментовъ». Эти люди бываютъ иногда

очень слезливы, но слезамъ ихъ вѣрить не слѣдуетъ, потому что плачутъ они не потому, чтобы ихъ разстрогало нѣчто, достойное слезъ, а потому, что въ данномъ случаѣ, по какимъ-нибудь причинамъ, проливающій слезы человѣкъ представляется имъ красивымъ; и они не задумаются совершить любую гнусность, если это нужно для того, чтобы потомъ картинно заплакать. Въ самой гнусности усмотрѣвъ картинность, они, совершивъ ее, могутъ вообще предаться даже самымъ крайнимъ формамъ самоуниженія, но подъ условіемъ, чтобы и это выходило красиво; понятно, что въ дѣйствительности не всегда выходитъ красиво, а напротивъ, часто просто пошло и безобразно, но это уже дѣло эстетическаго такта или эстетической безтактности. Могутъ эти люди, наоборотъ, драпироваться въ холодную величавость, равно препирающую добро и зло, смѣхъ и слезы. Но и этому вѣрить не слѣдуетъ, потому что и это драпированіе тоже только для картинности продѣлывается. Правда, они очень плохо чувствуютъ различіе между добромъ и зломъ, потому что оно скрадывается для нихъ въ нравственно безразличной картинности. Но, собственно, этотъ индифферентизмъ обязывалъ бы ихъ только стоять среди презираемой ими житейской сутолоки въ видѣ нѣкоторыхъ монументовъ «невѣдомому Богу», какъ мраморъ холодныхъ, какъ статуя неподвижныхъ. Если же они рисуются своимъ безучастіемъ, пропагандируютъ его, подыскиваютъ ему разныя пышныя названія или возвышенные пьедесталы, то все это исключительно ради картинности.

Затѣмъ эти нравственно скудныя художественныя натуры могутъ быть даровиты или бездарны, смѣшны или ужасны, мерзки или добродушны, но отличительная ихъ черта есть наивность. Наивность сказывается и во многихъ поступкахъ и словахъ Ивана Грознаго (напримѣръ, въ его увѣщеваніяхъ Курбскому), но тамъ она маскируется совокупностью всего, что закрѣпило за нимъ прозвище Грознаго. Въ экземплярахъ маленькихъ, у которыхъ руки коротки производить въ дѣйствительной жизни столько и такихъ «экспериментовъ», сколько и какихъ требуетъ ихъ художественная фантазія, эта наивность, разумѣется, выдается ярче. Они, напримѣръ, съ величайшею трудностью усматриваютъ свои ошибки, какъ бы наглядны онѣ ни были, и совершивъ какую-нибудь глупость или гнусность, самымъ наивнымъ образомъ ждутъ себѣ, если не награды, то, по крайней мѣрѣ, особаго, исключительнаго снисхожденія. Это понятно: совершая глупость или гнусность, они были красивы или, по крайней мѣрѣ, казались самимъ себѣ таковыми, а красивость, картинность есть для нихъ высшая судебная инстанція. Если, однако, жизнь ихъ самихъ какъ-нибудь больно уколетъ, то они съ такою же наивностью хватаются не только за различіе добра и зла, а даже за самыя узкія, обыденныя формулы добродѣтели и порока. Они доходятъ при этомъ почти буквально до пониманія вещей того бушмэна, который, на вопросъ путешественника о добрѣ и злѣ, съ полною увѣренностью отвѣтилъ: «добро—украсть чужую жену, зло—это когда у меня мою жену украдутъ». Точно также они, напримѣръ, бываютъ часто очень мстительны, доходя въ этомъ неправленіи до послѣднихъ степеней жестокости или глупости, но совершенно не понимаютъ близнеца мести—благодарности. Все это именно отъ того происходитъ, что при расположеніи мыслить не мыслями, а образами, и постоянно создавать картины, въ центрѣ которыхъ помѣщается ихъ «я», ихъ нравственное чувство находится на точкѣ замерзанія: оно возмущается только тогда, когда ихъ самихъ что-нибудь толкнетъ въ бокъ.

Таковъ и комически добродушный донъ-Руфъ. Ему показываютъ въ больницѣ трупъ только что умершей молодой дѣвушки. «Донъ-Руфъ вскрикнулъ отъ восторга.—Поразительно! Stupendo! Слитыя язвы, безформенная масса, ворохъ гноя и крови, куча разлагающагося тѣла, брошенная на тополевую доску, выкрашенную черной краской. Одинъ глазъ лопнулъ и вытекъ отъ внутренняго жара. А какой запахъ! Каково освѣщеніе! Франчискьель, смотри и нюхай»! Спрашивается, чему тутъ радоваться? на что любоваться? Но дѣло въ томъ, что донъ-Руфъ совсѣмъ лишенъ чувства дѣйствительности. Передъ нимъ встаетъ *картина*, не дѣйствительный, а *нарисованный* трупъ, ну, а картина, художественное произведеніе, изображающее трупъ, конечно, можетъ быть прекрасно. Такъ вотъ на эту-то картину и любуется донъ-Руфъ; на нее, да еще на себя, стоящаго у картины съ задачами «анатома» и «протоколиста», съ познаніями обладателя «документовъ». Онъ рисуется передъ присутствующими своей готовностью нюхать трупный запахъ съ «научными» цѣлями. Затѣмъ онъ начинаетъ бойко и увѣренно излагать, кто была покойница. Передъ нами жертва алкоголизма. Эта женщина, еще молодая женщина, родилась отъ мерзкихъ родителей, роковымъ образомъ склонныхъ къ delirium tremens. Она выросла въ грязи и порокѣ, почти ребенкомъ отдалась первому встрѣчному». И т. д., и т. д. Присутствующіе едва успѣваютъ вставить въ этотъ потокъ словъ свои замѣчанія. Докторъ сообщаетъ, что дѣвушка умерла просто отъ оспы, а

священникъ прибавляетъ, что, умирая, она вспоминала отца, котораго едва знала, потому что жила у монахинь, куда отецъ рѣдко заглядывалъ. При этихъ словахъ донъ-Руфъ мгновенно преобразуется: у него есть дочь, какъ разъ въ такомъ положеніи—у монахинь, куда онъ рѣдко заглядываетъ. Его поражаетъ мысль, что покойница, лица которой разсмотрѣть нельзя, есть можетъ быть его небрежно любимая, но всетаки любимая Ромена. Не дописавши протокола и не дочитавши лекціи о документахъ, онъ опрометью бросается изъ больницы къ монахинямъ. Тутъ ужъ ему не до экспериментовъ, потому что больно задѣта его дѣйствительная жизнь.

То же самое и въ вышеприведенной исторіи съ Маріанниной. Когда Франчискьель сообщаетъ ему, что вотъ, дескать, пристаетъ какая-то бабенка, донъ-Руфъ, не подозрѣвая, что эта бабенка есть его жена, толкаетъ молодого человѣка на веселый грѣхъ и съ подробностью рисуетъ ему и себѣ, какъ у нихъ съ бабенкой все это произойдетъ. Тутъ онъ экспериментаторъ, анатомъ, протоколистъ. Тутъ онъ не знаетъ различія между хорошимъ и дурнымъ, потому что имѣетъ дѣло не съ дѣйствительною жизнью, а съ ея живописнымъ или, вообще, художественнымъ отраженіемъ. Дѣйствительная жизнь начинается для него только тогда, когда «экспериментъ» приходится продѣлывать на своей собственной шкурѣ. И какъ только онъ заподозрѣваетъ свою жену, такъ бросаетъ анатомію и хватается за палку, не безстрастные протоколы пишетъ, а ругается. Все это выходитъ необыкновенно наивно, потому что донъ-Руфъ не замѣчаетъ своихъ противорѣчій и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ городить вздоръ о документахъ.

Понятно, что въ томъ романѣ, который донъ-Руфъ собирается написать, будетъ, вѣроятно, много картинности, но вовсе ужъ не такъ много правды...

Можетъ показаться, что донъ-Руфъ съ своей наивностью, съ своими промахами, своими напыщенно комическими монологами есть каррикатура. Можетъ быть и каррикатура, но совершенно законная. Это, собственно, простое сгущеніе красокъ, вполнѣ оправдываемое цѣлями и формами памфлета. Что касается монологовъ дона-Руфа, то все это подлинныя слова Эмиля Зола и, значитъ, съ этой стороны монологи не представляютъ клеветы на «натуралистовъ». А забавная наивность противорѣчій дона-Руфа вполнѣ свойственна и Зола. Приведу одинъ только примѣръ. Во всѣхъ своихъ романахъ Зола изображаетъ разложеніе брачныхъ узъ въ современной Франціи. Дѣлаетъ онъ это съ полнымъ спокойствіемъ «анатома» или «экспериментатора», для котораго нѣтъ на свѣтѣ ничего хорошаго или дурного, а есть только одна правда, ни добра, ни зла, а только наслѣдственность темперамента. Это холодное спокойствіе не покидаетъ его и въ томъ изъ «парижскихъ писемъ», которое спеціально посвящено браку въ современной Франціи. Но вотъ возникаетъ вопросъ о брачныхъ узахъ въ средѣ литераторовъ. Такъ какъ онъ самъ литераторъ и, значитъ, брачный вопросъ переходитъ для него въ этомъ случаѣ изъ области картиннаго отраженія дѣйствительности въ дѣйствительность настоящую, то онъ, совершенно уподобляясь дону-Руфу, тотчасъ забрасываетъ свою безстрастную анатомію и хватается за мораль. По поводу одной повѣсти Гонкуровъ (не помню какой), по поводу прелестныхъ очерковъ Додэ «Жены артистовъ», въ біографическомъ очеркѣ Додэ и въ разныхъ другихъ мѣстахъ онъ не безъ горячности утверждаетъ, что литераторы *должны* жениться, и что въ ихъ семейной жизни все обстоитъ благополучно. Вездѣ, видите-ли, во всѣхъ слояхъ современнаго французскаго общества, отъ верхняго края до нижняго, происходитъ разложеніе брака, и «натуралистъ» при этомъ ни разу не прибѣгаетъ къ словамъ «должно», «надо» и т. п. Просто такъ оно есть, и натуралистъ только пишетъ протоколы. Но относительно литераторовъ дѣло стоитъ совсѣмъ не такъ: и фактъ, неизвѣстно почему, не таковъ, и отношеніе къ нему иное. Чисто донъ-Руфъ!

Пора, однако, кончить о «натуралистахъ», на которыхъ я и безъ того задержался гораздо дольше, чѣмъ предполагалъ. Ясно, кажется, что Тургеневъ имъ не братъ, не говоря о прочемъ, и на той почвѣ правды, которою натуралисты такъ хвалятся и которая есть для нихъ не полный жизни идеалъ, а мертвый идолъ, картинно поставленный и обвѣшанный рызными побрякушками. Въ сущности бѣдная Маріанина совершенно права, задавая свой вопросъ: «что же это за страна, гдѣ живутъ однѣ свиньи»? Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что страна, изображаемая натуралистами, есть страна до такой степени свинская, что тамъ даже разучились называть свинство свинствомъ, а называютъ его «правдой». Притомъ же свинство это необыкновенно односторонне: въ той фантастической странѣ люди занимаются исключительно любострастіемъ, тщательно изыскивая и практикуя особенно грязныя, извращенныя его формы.

Читая Тургенева, вы ни въ какомъ случаѣ къ такимъ неосновательнымъ обобщеніямъ не придете. Вы, напротивъ, съ полною ясностью и даже съ нѣкоторою болью сердечною увидите, что, напримѣръ, та же Елена есть своего рода рѣдкость, хотя типъ

этотъ Тургеневъ и не разъ эксплуатировалъ. Великая тайна крупныхъ художниковъ въ томъ именно и состоитъ, что они умѣютъ придавать своимъ образамъ ту степень общности, которая соотвѣтствуетъ правдѣ жизни. И самому Тургеневу это далеко невсегда удавалось. Въ этомъ отношеніи Кукшина, напримѣръ, трактована совсѣмъ неправильно. Любопытно затѣмъ, что дальнѣйшая судьба тѣхъ хорошихъ полюбившихъ дѣвушекъ, которыхъ Тургеневъ рисовалъ съ такою любовью, скрывается обыкновенно въ туманѣ: или смерть, какъ-то очень быстро, подоспѣетъ, или обстоятельства загонятъ женщину въ Америку (Джемма), на Уралъ (Маріанна), и мы остаемся въ большей или меньшей неизвѣстности относительно ихъ житья замужемъ: каково имъ живется, и каковы онѣ сами въ замужнемъ видѣ. Вообще, собственно семейной жизни Тургеневъ почти не касался. То-ли онъ ею не интересовался, то-ли боялся, что въ этой сферѣ ореолъ Еленъ, Маріаннъ, Джеммъ, Машъ долженъ поблекнуть, и ему жаль было развѣнчивать тѣхъ, кого онъ такъ любовно вѣнчалъ.

Но надо выразиться еще болѣе «вообще»: всѣ наши крупные художники какъ бы избѣгаютъ касаться семейной жизни въ ея обыденной формѣ. Исключеніе составляетъ одинъ графъ Л. Толстой, давшій въ концѣ «Войны и мира», характерную картину семейной жизни Безуховыхъ и *сгумѣвшій* написать такую повѣсть, какъ «Семейное счастіе». Подчеркиваю слово *сгумѣвшій*, потому что нужно много мастерства, чтобы написать такую прекрасную и притомъ, сравнительно, большую вещь на такую блѣдную тему, какъ, никакими почти событіями не отмѣченное, житье—бытье двухъ самыхъ обыкновенныхъ супруговъ. За этими исключеніями наши художники не пренебрегаютъ, разумѣется, стародавними эффектами вторженія въ семейную жизнь любви со стороны или любви на сторону, и дѣлаютъ это и съ большимъ мастерствомъ, и съ большею чистоплотностью, чѣмъ набившіе себѣ на «адюльтеръ» руку французскіе натуралисты. Но, помимо этихъ спеціально романическихъ эффектовъ, семейная жизнь точно не существуетъ. Такое пренебреженіе достойно всякаго сожалѣнія. Мы очень хорошо знаемъ, что въ семейной жизни происходитъ много любопытнаго и что любопытное это, располагаясь на пространствѣ отъ высоко комическаго до глубоко трагическаго, отнюдь не исчерпывается эффектами супружеской невѣрности. Иной разъ и изъ художественнаго произведенія слышится скорбный вздохъ какого-нибудь Платона Михайловича: «Теперь ужъ я не тотъ». Иной разъ проскользнетъ и женскій вздохъ въ томъ же родѣ. Съ другой стороны, намъ говорятъ, что семья есть тихое жизненное пристанище вообще, а для женщины даже исключительное. Понятно, какъ много свѣту могли бы внести сюда наши крупные художники, еслибы они не обходили въ своихъ произведеніяхъ семейную жизнь съ такимъ страннымъ, систематическимъ упорствомъ.

Но иногда устами младенцевъ говоритъ сама истина и малымъ удается сдѣлать то, чего не хотятъ или не могутъ дѣлать большіе. Приведу фактъ, наглядно объ этомъ свидѣтельствующій.

Въ приложеніи къ «Русскому Вѣстнику» давно уже печатаются «письма на родину» г-жи Радда-бай подъ заглавіемъ «Изъ пещеръ и дебрей Индостана». Г-жа Радда-бай русская, неоднократно побывавшая въ Индіи, и разсказы ея чрезвычайно интересны. Къ сожалѣнію, они нѣсколько напоминаютъ похожденія барона Мюнхгаузена; не хвастовствомъ мюнхгаузенскимъ, а своею чудесностью: тамъ есть индусъ, убивающій тигра взглядомъ, неизвѣстно откуда проносятся въ воздухѣ таинственныя слова, человѣкъ хочетъ нарисовать, напримѣръ, такую-то картину и вполнѣ увѣренъ, что нарисовалъ именно ее, но оказывается, что магическимъ образомъ онъ нарисовалъ совсѣмъ не то. Словомъ, тамъ чудеса, тамъ лѣшій бродитъ. Есть, однако, и хвастовства малость. Такъ, г-жа Радда-бай совершенно посрамляетъ европейскую науку, и отъ Тиндаля, напримѣръ, не говоря уже о Максѣ Мюллерѣ, послѣ ея головомоекъ только мокренько остается. Такъ вотъ въ посрамленіе именно Максу Мюллеру г-жа Радда-бай говоритъ, между прочимъ: «Думается мнѣ, что несравненно выше всѣхъ ученыхъ языковѣдовъ міра сего, съ точки зрѣнія простого здраваго смысла, одна русская родственница моя, дама умная, образованная и весьма наблюдательная, хотя по санскритски и неученая, которая прислала недавно мнѣ слѣдующее замѣчаніе въ письмѣ: «Ты, мать моя, пишетъ она:—заступайся за браманское *Тримурти* и фантазируй надъ сокровеннымъ смысломъ и началомъ онаго, сколько тебѣ угодно; а что твое *Тримурти* въ русскомъ переводѣ выходитъ просто *три морды*, такъ это уже несомнѣнно». И она совершенно права, такъ какъ слово «мурти» по-санскритски значитъ *лицо* и *идолъ*; а Тримурти въ буквальномъ переводѣ *три лика*, тройной образъ Брамы, Вишну и Шивы» («Русскій Вѣстникъ», іюль).

Вотъ. Я не знаю чѣмъ именно тутъ посрамленъ Максъ Мюллеръ, при помощи

«русской родственницы», и дѣйствительно-ли посрамленъ (боюсь, что нѣтъ), но дѣло не въ этомъ. Ученые люди, а отъ нихъ и неученые давно знали, что Тримурти значитъ три лица, троица, и никто на этотъ счетъ ни малѣйшихъ сомнѣній не имѣлъ, но такъ вульгаризировать эту истину съ помощью трехъ мордъ, сдѣлать ее такою наглядною никто до сихъ поръ не рѣшался. А «русская родственница» рѣшилась. И благо ей.

Благо также г-жѣ Алексѣевой, автору повѣсти «Дошутилась» («Русская Мысль», іюль и августъ). Я не хочу, однако, внушить вамъ мысль о какомъ-нибудь сходствѣ между г-жей Радда-бай и г-жей Алексѣевой. Г-жа Радда-бай просто балтаетъ пустяки по поводу вещей высокой важности. Г-жа Алексѣева, напротивъ, собрала массу житейскихъ пустяковъ и сложила изъ нихъ высокой важности картину, ту именно картину семейной жизни, которую такъ тщательно обходятъ большіе художники. Если нѣтъ большаго, возьмемъ малое.

Г-жа Алексѣева писательница молодая или, по крайней мѣрѣ, начинающая (мнѣ до сихъ поръ ни разу не встрѣчалась ея фамилія), а повѣсть «Дошутилась» построена и написана такъ, что не даетъ возможности съ опредѣленностью судить о дарованіи автора. Беру повѣсть просто, какъ матеріалъ, добытый изъ житейскаго моря и извѣстнымъ образомъ сгруппированный. Что матеріалъ почерпнутъ дѣйствительно изъ житейскаго моря, а не изъ области чистой фантазіи, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Жили были супруги Казачкины, Василій Николаевичъ и Марья Алексѣевна. Люди такъ называемаго средняго круга, того самаго, который обыкновенно фигурируетъ въ нашихъ романахъ, если не считать московскихъ попытокъ проникнуть въ аристократическіе салоны, съ одной стороны, и народныхъ разсказовъ, съ другой. Онъ—городской голова, она—жена городского головы. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Онъ—человѣкъ серьезный, она—женщина легкомысленная. «Онъ и романовъ никогда не читаетъ, и не любитъ, когда она что-нибудь чувствительное играетъ, въ родѣ «La prière d'une vierge». Ему все Бетховена подавай, да серьезныя статьи, въ родѣ «Наука и женщина». Онъ и ее хотѣлъ пріучить читать серьезныя вещи—Дрепэра, Дарвина, Бокля, Милля; но она отдалялась. Очень ей нужно знать, какъ тамъ другіе смотрятъ на все! У нея свой взглядъ. Авторъ книги «Наука и женщина»—женщина и городитъ такую чушь, что кухня, мытье, машины (швейная, надо думать) скоро затрутся скелетами, черепами, трупами, научными изслѣдованіями, разными должностями... Вздоръ! Это значитъ и любить надо перестать, потому что любовь присуща, главнымъ образомъ, женщинѣ, неразрывна съ нею. Это ея жизнь, душа, все... Пусть кто хочетъ наряжается въ панталоны и идетъ рѣзать людей, копаться въ ихъ кишкахъ (ее повело), а она всегда останется вѣрна себѣ. Вася это называетъ отсталостью... Пусть. Еще успѣетъ и начитаться, и впередъ уйти, а пока для нея одно нужно: любовь и ласка».

Изъ этого молчаливаго монолога Марьи Алексѣевны вы можете уже видѣть, что на розѣ супружества господъ Казачкиныхъ сидятъ нѣкоторые маленькіе шипы. Но такъ какъ супруги Казачкины любятъ другъ друга искренно и страстно, то все идетъ хорошо въ концѣ-концовъ. По крайней мѣрѣ, такъ кажется Марьѣ Алексѣевнѣ, когда она, нѣжась утромъ на кровати, оглядываетъ свою уютную комнату. Тутъ ей все мило, дорого, близко, и чуть-ли не потому именно дорого, что все напоминаетъ о разныхъ вспышкахъ у домашняго очага. «На кушеткѣ, напримѣръ, онъ просилъ у нея на колѣняхъ прощенія, когда ссорою довелъ ее до «первой» истерики; у письменнаго стола, заваленнаго бездѣлушками, произошла ссора, а потомъ примиренье, по поводу того, что онъ лишній часъ заигрался въ стуколку въ клубѣ, заставивъ ее прождать до дѣнадцати, когда она привыкла ровно въ одиннадцать сама отворять ему дверь. У пялецъ она хныкала, нервничала, просясь въ Москву купить новую шляпу и посмотрѣть новую драму своего знакомаго. Да мало-ли?» Дѣйствительно, всего этого не мало было, есть и будетъ въ жизни Марьи Алексѣевны до самаго конца дней ея. Она прекрасная хозяйка, все у нея въ порядкѣ, она смотритъ не только за кухней, но и за конюшней, но у нея всетаки остается ужасно много свободнаго времени и, главное, ужасно много непзрасходованнаго чувства. Дѣтей у нея нѣтъ, а Вася рѣшительно не способенъ вмѣстить всю огромность ея чувства, всю силу ея любви. Онъ холоденъ, занятъ какими-то дѣлами, какою-то прозою жизни, и хоть Марья Алексѣевна не сомнѣвается, что онъ ее глубоко любитъ, но формы-то этой любви такія холодныя, подчасъ даже суровыя. Она не того хочетъ. Прочитавъ однажды «Аббата Мурэ» Эмиля Зола, она задумалась: «Аббатъ Мурэ... Альбина—какъ они наслаждались!.. И она бы согласилась... Мигъ—и умереть... среди цвѣтовъ. Вотъ она—поэтическая смерть... Ахъ, какъ скучно имѣть такого мужа!.. Что если-бы у нея былъ мужъ чеченецъ? Поцѣловалъ бы и потомъ въ грудь... кинжаломъ!»

Ну, а куда же какому-то городскому головѣ до чеченца! Вотъ, напримѣръ, лунная ночь лѣтомъ. Бабенка (позвольте ужъ такъ, краткости ради, называть Марью Алексѣевну Казачкину) гуляетъ въ саду и поджидаетъ мужа. Онъ является. «Она вихремъ понеслась къ нему, деспотично обвила его рукой свою шею, сама обняла за талію и прижалась головой къ его плечу, поглядывая на свои ножки въ лиловыхъ башмачкахъ съ бѣленькими пуговками. Она хотѣла, чтобы онъ ихъ замѣтилъ. Но мужъ не замѣтилъ и говорилъ объ огородѣ, коровѣ, сѣнѣ, дровахъ. Она не слушала и улыбалась чему-то въ себѣ.

— Пойдемъ—шепнула она, увлекая его.

— Куда?

— Туда.

Она указала на темную бесѣдку.

— Да нѣтъ же. Опять глупости?..—сгримасничалъ онъ.

— Опять кривляться?—крикнула она.

— Да, вѣдь, прискучитъ одно и тоже. Все одна пѣсня.

— Какая еще пѣсня?

— Какая? «А изъ рощи, рощи...»

— «Пѣснь любви несется... пѣсня нѣги, пѣсня страсти»,—затянула она, откинувъ голову, и ущипнула его.

— Ахъ, да будетъ же! Я уйду! Ну попробовали бы тебя пичкать однимъ сладкимъ, такъ навѣрное бы горькаго захотѣла. Какъ ты этого не возьмешь въ толкъ»?

За подобныя провинности бабенка съ своей точки зрѣнія весьма справедливо называла мужа «колодой непонятливой», «чурбаномъ, а не человѣкомъ» и т. д. Не всегда, впрочемъ, мужъ былъ такъ глупъ, недогадливъ и безчувственъ, и тогда бабенка награждала его единственною, имѣвшеюся въ ея распоряженіи наградою—страстною лаской, и сдвигала въ спальнѣ кровати, а въ противномъ случаѣ раздвигала. Естественно, что бабенка ревновала своего Васю и искала поводовъ для ревности, потому что самый процессъ возникновенія и угасанія этого чувства давалъ пищу ея жаждѣ сильныхъ ощущеній. Относительно женщинъ городской голова былъ безупреченъ, и бабенкѣ лишь очень рѣдко удавалось хвататься за подозрѣнія въ этомъ направленіи. Но онъ занимался своими дѣлами, ходилъ въ думу, ходилъ по вечерамъ въ клубъ, игралъ въ карты, любилъ собаку, любилъ цвѣты. Все это отвлекало его вниманіе отъ ея лиловыхъ башмачковъ и отъ всей ея хорошенькой особы, и потому все это давало ей поводъ изо дня въ день пилить и пилить и опять пилить. Но и этого было мало. Надо было чѣмъ-нибудь попугать мужа. Прежде всего она попыталась возбудить въ немъ ревность: кокетничала на балахъ и въ театрахъ, заигрывала на глазахъ мужа съ мужчинами. Все это она продѣлывала не взаправду, а «шутя», чтобы подразнить и взбѣсить мужа. Это ей, наконецъ, и удалось. Она довела своего спокойнаго Васю до мысли и почти до попытки самоубійства, до бѣшенства и почти до драки, наконецъ, до горячки. Она очень себя за это проклинала, но когда Вася выздоровѣлъ, началась прежняя исторія. Пугнула она разъ Васю тѣмъ, что притворилась самоубійцей, будто она отравилась. Хотѣла такъ же и во второй разъ, но на этомъ и покончила свою безпутную жизнь: схватила револьверъ, не ожидая, что онъ заряженъ и застрѣлилась ужъ дѣйствительно. Городской голова сошелъ съ ума. Авторъ съ своей стороны кладетъ такое резюме: «Нервная страстная, впечатлительная фантазерка, жаждущая жизни, стала невольною самоубійцей. Не помышляя о смерти, она думала лишь возобновить интересную, разжигающую сцену прошлаго. Но, конечно, не думала объ томъ, что револьверъ, разряженный наканунѣ, можетъ быть опять заряженъ, что этою новою шуткой она разобьетъ жизнь мужа, какъ разбила свою хорошенькую, безпокойную голову, свое мягкое, воспріимчивое, любящее, но больное, изуродованное ложнымъ направленіемъ, сердце».

Надо замѣтить, что конецъ повѣсти не только мелодраматиченъ, а еще и сдѣланъ, кромѣ того, очень плохо, чему способствуетъ и наивность приведенныхъ словъ автора. Но это не мѣшаетъ повѣсти г-жи Алексѣевой быть въ подробностяхъ очень правдивой и наводить на нѣкоторыя не безъинтересныя житейскія размышленія.

Достойно, прежде всего, вниманія, что Марья Алексѣевна съ одной стороны питаетъ полное презрѣніе къ Миллю, Дарвину, Боклю, «Наукѣ и женщинѣ» и т. п., а съ другой стороны ее вовсе не тянетъ къ адюльтеру. Эта постановка дѣлаетъ большую честь такту автора. О вредоносномъ, разлагающемъ вліяніи научныхъ занятій на женщинъ, о тѣхъ соблазнительныхъ, но пагубныхъ перспективахъ, которыя имъ этими занятіями открываются, мы много слыхали. Адюльтеръ, какъ обыкновеннѣйшій романическій эффектъ, намъ тоже довольно хорошо знакомъ. И вотъ передъ нами женщина, рѣшительно ничѣмъ не отгоняемая отъ семейнаго очага. Правда, она любитъ танцовать, веселиться, даже кокетничать, но у нея это просто невинныя развлеченія, отъ которыхъ она готова отказаться ради мужа и которымъ иногда даже ради него предается. Она заботливая хозяйка. Она, съ ея собственной точки зрѣнія, обставлена такъ, что дру-

гія ей только завидовать могутъ; мужъ у нея умный, добрый, всѣми уважаемый, даже красивый, и, наконецъ, денегъ у него столько, что онъ можетъ въ совершенно удовлетворительной степени украшать и ея особу и ея обиталище. Почему же это такъ вышло, что она «дошутилась»? Это, впрочемъ, мало интересно, потому что убила ее глупая случайность. Но уже вовсе не случайно устраивала она настоящій адъ изъ жизни своего страстно любимаго мужа. Устраивается этотъ адъ нашимъ авторомъ опять-таки очень своеобразно и правдиво. Мы не видимъ какого-нибудь внезапнаго нравственнаго катаклизма, рѣзкаго и крупнаго переворота, въ родѣ измѣны, эффектнаго преступленія и т. п. Нѣтъ, какъ ничтожный земляной червь, своею неустанностью и многочисленностью, производитъ важныя измѣненія на земной поверхности, какъ микроскопическая филоксера, именно, благодаря своей микроскопичности, опустошаетъ огромную площадь французскихъ виноградниковъ и въ концѣ концовъ даетъ себя знать даже въ оборотахъ всемірной торговли, такъ и Марья Алексѣевна Казачкина убиваетъ человѣка неустанностью своихъ маленькихъ вздоровъ. Конечно, многое тутъ подлежитъ, можетъ быть, спеціальному вѣдѣнію медицины, но и для не медицинскихъ соображеній остается всетаки довольно широкое поле.

Марья Алексѣевна живетъ исключительно спиннымъ мозгомъ, а головной мозгъ у нея чуть-что не атрофированъ. Вся ея жизнь состоитъ изъ безконечнаго ряда рефлексовъ. Сообразивши на досугѣ свою вздорность, она идетъ, напримѣръ, къ мужу съ твердымъ намѣреніемъ сказать: я глупа, я виновата. Но какъ только она сдѣлала тѣ нѣсколько шаговъ, которые ее отдѣляютъ отъ мужа, такъ выскакиваетъ изъ ея спиннаго мозга управляющій ею безсознательный бѣсъ, и она кричитъ: *ты* глупъ, *ты* виноватъ! Эта побѣдоносная борьба безсознательнаго бѣса съ слабыми остатками здраваго смысла изображена г-жей Алексѣевой съ большою тщательностью: на каждомъ шагу ея героиня хочетъ поступить по разуму, а поступаетъ наоборотъ. Документы, значитъ, на лицо. Остается только дознаться, что это за безсознательный бѣсъ, и почему его внушенія направлены всегда въ одну и ту же сторону — доставить страстно любимому мужу непріятность, помучить его, напугать и т. п.

Но прежде надо отмѣтить еще одно обстоятельство. Марья Алексѣевна воспитывалась въ институтѣ, гдѣ обучаютъ, между прочимъ, и хорошимъ манерамъ; можетъ быть, даже «прочему» то не обучаютъ, но уже хорошимъ манерамъ навѣрное. Вращается она въ томъ кругу общества, который, можетъ быть, не безупреченъ относительно внутренней порядочности, но внѣшнюю благопристойность соблюдаетъ всетаки. А между тѣмъ, она въ разговорѣ съ мужемъ прибѣгаетъ къ такимъ грубымъ выраженіямъ, какъ «проклятый», «уйду къ любовнику» и т. п. Эта черта составляетъ тоже особенность повѣсти г-жи Алексѣевой, потому что обыкновенно романисты не разрѣшаютъ своимъ благовоспитаннымъ героинямъ такъ по кухарски выражаться и тѣмъ лишаютъ критику случая задуматься надъ вопросомъ: отчего же это, однако, въ самомъ дѣлѣ, такъ выходитъ, что вполнѣ, что называется, приличная дама не стѣсняется при мужѣ ни въ мысляхъ своихъ, ни въ выборѣ ихъ выраженія? именно при мужѣ, потому что въ обществѣ эта дама не посмѣетъ такъ распустить свои мысли и свой языкъ? Потому, конечно, что мужа она не стыдится. А не стыдится по той же причинѣ, по которой благорожденная и благовоспитанная римлянка не стыдилась раздѣваться при рабѣ, сохраняя чувство женскаго стыда относительно всѣхъ другихъ мужчинъ: рабъ не человѣкъ, а вещь, передъ которою, конечно, стыдиться нельзя. Такъ и наша бабенка съ мужемъ. Это ея рабъ, ея собственность, и она можетъ разгуливать передъ нимъ нравственно оголенная, не опасаясь ни того, что онъ, соблазняемый ея примѣромъ, тоже раздѣнется, ни того, что онъ плюнетъ и уйдетъ. Рабъ Вася не посмѣетъ сдѣлать ни того, ни другого, онъ связанъ нетолько юридическими узами брачнаго союза, но и своею глубокою, безпредѣльною любовью.

Однако, это рабъ какой-то особенный, какъ будто и на господина похожій. Бабенка понимаетъ, или чуетъ (потому что, собственно говоря, она ничего не понимаетъ), что онъ во всѣхъ отношеніяхъ выше ея, что даже по части чувствъ она больше къ темнымъ бесѣдкамъ склонна, тогда какъ въ немъ живетъ дѣйствительно глубокое и серьезное чувство. Чуетъ она также, что у него есть какой-то особенный міръ идей и работы, совершенно ей чужой и въ который она вовсе не желаетъ вступать, но который даетъ ему какое-то преимущество передъ ней и его жизни какую-то полноту, ей недоступную. Еслибы она жила не однимъ спиннымъ мозгомъ, она поняла бы въ чемъ дѣло и либо примирилась бы съ своимъ положеніемъ, либо постаралась бы изъ него выйти. Но она ничего не понимаетъ. Ея мысль пуста, какъ вылитая бутылка, ея чувство плоско, какъ подносъ, на которомъ бутылка. Она знаетъ только, что любитъ своего Васю и не сознаетъ, что подъ этою любовью или рядомъ съ нею настоящимъ

хозяиномъ ея души живетъ бѣсъ вражды и злобы. Она ощущаетъ присутствіе бѣса, и изумляется ему и его силѣ. «Что я говорю?» «зачѣмъ я это дѣлаю?» — эти вопросы бабенка задаетъ себѣ въ минуты нелѣпыхъ вспышекъ и пиленій, и всетаки говоритъ, дѣлаетъ, пилитъ. Она, поистинѣ, бѣсноватая, то-есть дѣйствительно одержима несознаннымъ чувствомъ вражды, злобы, зависти къ мужу, именно за то, что онъ обладаетъ недоступнымъ ей сокровищемъ: у него есть дѣятельность, требующая присутствія мысли и дающая исходъ чувству, а у нея нѣтъ. Странная физическая любовь нисколько не мѣшаетъ этому безсознательному бѣсу, а, напротивъ, разжигаетъ его рвеніе, усложняя его работу...

Безсознательный бѣсъ мститъ мужчинѣ за женщину, за ея противорѣчивое и двусмысленное положеніе существа, окруженнаго какимъ-то почетомъ, даже настоящаго рабовладѣльца, но въ то же время систематически, въ цѣломъ ряду поколѣній, осужденнаго жить исключительно спиннымъ мозгомъ. Мститъ, какъ только можетъ мстить бѣсъ, рожденный въ пустой головѣ и плоскодонномъ сердцѣ, безконечнымъ рядомъ мелкихъ, безсмысленныхъ уколовъ и терзаній, въ концѣ концовъ, однако, отравляющихъ жизнь съ такою же неуклонностью, съ какою филоксера отравляетъ французскіе виноградники. Такимъ образомъ, въ небольшой повѣсти небольшой г-жи Алексѣевой отразилась большая, сложная, вѣковая исторія, до извѣстной степени объясняющая и, пожалуй, даже оправдывающая бѣса. Но бѣда не только въ томъ, что бѣсъ народился и живетъ, и губитъ людей. Бѣда въ томъ еще, что бѣсъ неисправимо глупъ и низокъ и направляетъ свою месть совсѣмъ не на виновныхъ: собственно, Васенька ничѣмъ не виноватъ передъ Маничкой. Онъ получилъ ее готовою, и каковы бы ни были роли и отвѣтственности мужчинъ и женщинъ въ длинномъ историческомъ процессѣ, но въ частномъ эпизодѣ Васеньки и Манички истиннымъ страдальцемъ является онъ, а не она; страдальцемъ и рабомъ. Еслибы у него была дочь, онъ, конечно, постарался бы, чтобы къ ней не перешелъ по наслѣдству бѣсъ спиннаго мозга ея матери. Въ качествѣ общественнаго дѣятеля, онъ также можетъ вліять на искорененіе бѣса въ будущемъ. Но всѣмъ этимъ не разрѣшается его личная задача, личное затруднительное и унизительное положеніе. И кто бы рѣшился бросить въ него камнемъ, еслибы онъ, полузарѣзанный тупымъ ножомъ бѣса, въ одинъ прекрасный день сбросилъ съ себя ярмо рабства? А для этого у него есть только два способа: или, въ отвѣтъ на нравственную оголенность бабенки, раздѣться самому, или плюнуть и уйти...

Извините, на этомъ я кончу. Чувствую, что и по поводу донъ-Руфа, и по поводу бабенки я затронулъ матеріи слишкомъ обширныя; затронулъ и не исчерпалъ. Но вы видите, что я вхожу въ роль «обозрѣвателя»—я «обозрѣлъ» беллетристику «Русской Мысли» за нѣсколько мѣсяцевъ, остановивъ ваше вниманіе на томъ, что нашелъ достойнымъ такового. Продолжая «обозрѣвать», я надѣюсь натолкнуться если не непремѣнно опять на бабенку, то на женщину, потому что, вы понимаете, бабенка есть женщина, но женщина вовсе не непремѣнно есть бабенка. И не будетъ, я полагаю, съ моей стороны утопіей утверждать, что въ недалекомъ будущемъ разновидность бабенки вымретъ совершенно.

IX *).

Наша république des lettres устроена странно вообще, а съ точки зрѣнія движенія народонаселенія въ особенности: намъ такъ часто приходится хоронить и такъ рѣдко крестить. Старые таланты кончаютъ свое земное странствованіе, новые являются на бѣлый свѣтъ туго, спотыкаются, не доразвиваются, и право, иной разъ думается, что даже матери рожаютъ нынѣ талантливыхъ людей съ болѣе сильными болями, чѣмъ то требуется законами природы. Все на свѣтѣ имѣетъ свои причины. Есть онѣ и у этого печальнаго положенія русской беллетристики, но я ихъ искать теперь не буду. Я только отмѣчаю фактъ, давно уже отмѣченный, всѣмъ видимый, и затѣмъ дѣлаю изъ него практическій выводъ. Мнѣ кажется именно, что наша беллетристическая скудость обязываетъ критику относиться даже къ скромнымъ дарованіямъ гораздо бережнѣе, чѣмъ она это дѣлала до сихъ поръ. Я не то хочу сказать, чтобы критика должна была нѣжничать съ этими второстепенными и третьестепенными талантами, и, тѣмъ паче, льстить имъ, на томъ основаніи, что на безрыбьи и ракъ рыба. Нѣтъ, такое отношеніе было бы гораздо хуже простого умолчанія, и не этимъ путемъ устраняется безрыбье. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы надо было небрежно относиться, напримѣръ, къ г. Эртелю—я объ немъ собираюсь говорить—только потому, что онъ не Тургеневъ и Достоевскій. Тургеневъ и Достоевскій сами по себѣ, а г. Эртель самъ по себѣ. Всѣмъ найдется мѣсто, лишь бы только и читатели, и сами писатели знали, кто какое мѣсто занимаетъ, и кому какое мѣсто

*) 1883, Ноябрь.

привлечествуетъ. «Таланты отъ Бога», какъ извѣстно, но въ ихъ судьбѣ есть нѣчто и «отъ рукъ человѣческихъ». Упорный трудъ надъ собой вовсе не такъ чуждъ таланту, какъ обыкновенно думаютъ, а одинъ изъ колоссовъ таланта сказалъ даже, что геній есть терпѣніе. Если въ этомъ мнѣніи есть преувеличеніе, если неизбѣжны вѣчные труженики, которые, однако, никогда мастерами не будутъ, если существуютъ, наоборотъ, счастливые лѣнтяи, которымъ многое дается совсѣмъ даромъ, то всетаки несомнѣнно то общее правило, что талантъ требуетъ ухода и контроля. Безъ нихъ онъ легко можетъ или удариться въ сторону, ему совершенно не свойственную, или не доразвиться, не дать того, что онъ можетъ дать, или, напротивъ того, изнемочь въ потугахъ обнять необъятное, рѣшать задачи, для него непосильныя. Но понятно, что контролировать себя безъ всякой посторонней помощи можетъ только талантъ, такъ или иначе уже окрѣпшій, опредѣлившій для себя размѣръ своихъ силъ и характеръ имѣющихся у него въ распоряженіи красокъ. А между тѣмъ тутъ-то и только тутъ критика обыкновенно и начинаетъ заниматься имъ самымъ усреднымъ образомъ, комментируя каждое его произведеніе, ломая копья за и противъ каждаго созданнаго имъ образа. Это, конечно, очень натурально, потому что произведенія такого писателя, достигшаго предѣла доступнаго ему самосознанія, получаютъ особенный интересъ и особенную цѣну, какъ художественныя отраженія извѣстныхъ теченій жизни, и даже просто какъ хрестоматическіе факты, если можно такъ выразиться. Какъ бы, однако, ни было полезно, а для самой критики, кромѣ этого, и пріятно заниматься анализомъ продуктовъ сформировавшагося и первостепеннаго таланта, это не снимаетъ съ нея обязанностей по отношенію къ второстепеннымъ и третьестепеннымъ явленіямъ въ области беллетристики. Во-первыхъ, ихъ относительная слабость не мѣшаетъ имъ захватывать темы, представляющія глубокій жизненный интересъ. Во-вторыхъ, авторы этихъ произведеній, натурально, нуждаются въ голосѣ критики, который долженъ помочь имъ взвѣсить свои силы, чтобы они не сбивались съ пути, не останавливались съ излишнею робостью передъ задачами посильными и не брались за задачи непосильныя. И это будетъ вовсе не личною услугою тому или другому беллетристу, потому что писатель, сознавшій свои сильныя и слабыя стороны, представляетъ всегда чистый выигрышъ для литературы и общества. Дѣло, разумѣется, не въ поученіяхъ какихъ-нибудь, а въ томъ, просто, чтобы писатель слышалъ свободныя и участливыя—жесткія или мягкія по формѣ, это все равно—сужденія о своихъ работахъ. Безъ всякаго сомнѣнія, есть не мало писателей, надъ которыми смѣло можно поставить крестъ и которые не имѣютъ ни малѣйшаго права претендовать на участливое вниманіе къ себѣ. Г. Эртель, конечно, не изъ ихъ числа...

Г. Эртель очень плодовитъ. Передо мной лежатъ два тома его «Записокъ степняка», въ которые вошли цѣлыхъ двадцать разсказовъ или очерковъ, написанныхъ въ сравнительно короткое время, а единовременно съ ихъ отдѣльнымъ изданіемъ появилась въ «Вѣстникѣ Европы» его большая повѣсть «Волхонская барышня» (№№ 6—8). Г. Эртель человѣкъ несомнѣнно талантливый. Г. Эртель интересуется въ своихъ произведеніяхъ такими вещами, которыя дѣйствительно заслуживаютъ интереса, его занимаютъ по истинѣ «больныя мѣста» и по истинѣ «проклятые вопросы». Наконецъ, въ его очеркахъ и въ его повѣсти разбросаны даже съ нѣкоторымъ излишествомъ слѣды разообразной начитанности. Словомъ, г. Эртель, повидимому, работаетъ въ полномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. А между тѣмъ какая странность: «Записки степняка» печатались отдѣльными очерками въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Дѣлѣ», если не ошибаюсь, въ «Русской Мысли»—въ журналахъ распространенныхъ, но я не помню, чтобы критика ими тогда занималась. Теперь же, единовременное появленіе «Волхонской барышни» и «Записокъ степняка» въ отдѣльномъ изданіи вызвало цѣлый рядъ рецензій, весьма неблагопріятныхъ для нашего молодого автора. Г. Эртель, кажется, рѣшительно никому не угодилъ. Да утѣшится онъ мыслью Дидро, что книга, которая никому не понравилась можетъ быть гораздо лучше той, которая понравилась всѣмъ. Не угодилъ г. Эртель и вашему журналу, какъ видно изъ коротенькой рецензіи, напечатанной въ сентябрьской книжкѣ, и какъ будетъ видно изъ нижеслѣдующаго. Но мнѣ кажется, что въ отзывахъ о г. Эртелѣ, которые мнѣ удалось видѣть въ журналахъ и газетахъ, нѣтъ того, чего онъ вправѣ ожидать въ виду своего несомнѣннаго, хотя и не крупнаго таланта, и своей старательности, а именно—участливаго вниманія. Поступить съ Эртелемъ круто очень не трудно, но я не вижу въ этомъ ни надобности, ни справедливости. Затѣмъ вы, надѣюсь, не взыщете, если въ настоящемъ письмѣ встрѣтите что-нибудь такое, что было уже высказано въ другихъ журналахъ или газетахъ. Всѣхъ отзывовъ о «Запискахъ степняка» и «Волхонской барышнѣ» я не читалъ, но знаю, что нѣкоторыя черты творчества г.

Эртеля такъ очевидны, что относительно ихъ не можетъ быть разногласія.

Начнемъ съ «Записокъ степняка».

Есть двѣ формы разсказа: описательная и повѣствовательная. Образчикомъ первой формы можетъ служить, напримѣръ, «Рудинъ» или «Отцы и дѣти» (благо теперь Тургеневъ у всѣхъ на языкѣ); образчикомъ второй—«Записки охотника» или «Первая любовь». Разница тутъ такая же, какъ между исторіей и мемуарами. Въ описательной формѣ авторское *я* не выступаетъ наружу, разсказъ развертывается самъ собой, и читатель приглашается слѣдить единовременно за всѣми дѣйствующими лицами, во всѣхъ подробностяхъ ихъ чувствъ, мыслей и дѣйствій. Въ повѣствовательной формѣ разсказъ ведется отъ имени автора или другого опредѣленнаго лица, очевидца разсказываемыхъ событій: и понятно, что, вообще говоря, эта форма гораздо легче для художника, именно потому, что онъ тутъ играетъ роль очевидца и, слѣдовательно, не обязывается передавать читателю то, чего человѣкъ очами видѣть не можетъ; онъ только предъявляетъ свои личныя наблюденія, впечатлѣнія и ощущенія. Однако, эта повѣствовательная форма можетъ стать и неизмѣримо труднѣе, если лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, само по себѣ, представляетъ какой-нибудь интересъ съ точки зрѣнія художника. Въ «Запискахъ охотника», напримѣръ, *я* разсказчика само по себѣ ни мало не интересно, а интересны Хорь, Калинычъ, Чертопхановъ, Недопюскинъ, и т. д. Въ «Первой любви» художественная задача уже гораздо сложнѣе: читатель заинтересованъ нетолько образами и судьбой княжны Зинаиды и ея поклонниковъ, но и особенными ощущеніями самого разсказчика. Здѣсь очевидецъ, мальчикъ, испытывающій «первую любовь» и сталкивающійся на этой дорогѣ съ своимъ отцомъ, самъ по себѣ составляетъ художественную задачу. Въ лермонтовскомъ «Героѣ нашего времени», въ высоко-талантливой повѣсти Крестовскаго-псевдонима «Первая борьба», въ «Благополучномъ россіянинѣ» покойнаго Кущевскаго, эта двойственность художественной задачи становится еще очевиднѣе и самая задача еще труднѣе: на созданіе разсказчика Печорина потрачено больше художественной силы, чѣмъ на созданіе княжны Мери или Грушницкаго, и для читателя, и для критики Печоринъ гораздо интереснѣе послѣднихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ усложняется и задача критики.

Для сужденія о княжнѣ Зинаидѣ и ея поклонникахъ въ «Первой любви», о княжнѣ Мери и Грушницкомъ, драгунскомъ капитанѣ, Вѣрѣ, докторѣ Вернерѣ въ «Героѣ нашего времени» мы имѣемъ матеріалъ завѣдомо односторонній. Эти образы стоятъ передъ нами, освѣщенные подъ угломъ зрѣнія влюбленнаго мальчика и такой особенной натуры, какъ Печоринъ. Поэтому надо прежде всего выяснить это особенное, необычное *я* разсказчика и сдѣлать въ остальномъ соотвѣтственныя поправки.

«Записки степняка» написаны въ повѣствовательной формѣ. Спрашивается, что же это за степнякъ такой? Представляетъ-ли его *я* какую-нибудь художественную претензію, независимую отъ самыхъ разсказовъ, или же «записки» представляютъ въ настоящемъ случаѣ пустую форму, безхитростный пріемъ, въ родѣ «Записокъ охотника» Тургенева?

Судя по предисловію, озаглавленному «Мое знакомство съ Батуринымъ», нѣкоторая художественная претензія въ «степняка» дѣйствительно вложена. Позвольте мнѣ привести изъ этого предисловія довольно большую выдержку.

«Батуринъ былъ близкій мнѣ человѣкъ... Передъ смертью онъ писалъ мнѣ и просилъ меня издать его записки. И странное дѣло, человѣкъ въ высшей степени скромный, онъ просилъ при отдѣльномъ изданіи помѣстить его біографію. Вотъ ужъ задача-то неблагодарная... «Я, говоритъ, хочу, чтобы видѣли, почему отъ добрыхъ восклицаній во вкусѣ Левитова я перешелъ къ пессимизму «Идиллій» и «Аддіо» и почему, вообще, я разметалъ свои силы и дошелъ до Ментоны. Все это вы помните». Странная и, повторяю, неблагодарная задача. Внѣшніе факты изъ жизни Батурина таковы: происходилъ изъ дворянъ; ценза не имѣлъ; хозяйничалъ плохо (мужики его ужасно надували); курса въ университетѣ не кончилъ; женатъ не былъ... любилъ деревню и до конца дней своихъ бредилъ степью... Вообще, нужно сказать, человѣкъ онъ былъ глубоко почвенный и къ землѣ своей пришитъ былъ крѣпко. Это съ одной стороны. Но съ другой, эта земля мучила и терзала его неусыпно. Онъ всегда съ завистью говорилъ о 40-хъ и 60-хъ годахъ. — «Счастливые люди жили въ тѣ годы!»—часто восклицалъ онъ, обыкновенно вздыхая при этомъ.—Чѣмъ же они счастливы-то, Николай Васильевичъ?—спрошу, бывало, *я*. — «А тѣмъ счастливы, скажетъ, вѣра въ нихъ была, цѣльность была, врага они ясно видѣли, идеалы свои ощупывали руками... А теперь что! мы теперь точно мужикъ: стащили съ него барина, онъ и не знаетъ, кто его за горло душитъ. Ясность отношеній исчезла, суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра...» И напрасно я поясняль ему идеалы, ясные, какъ кристалъ: онъ съ тихою печалью улыбался.—«Да, они ясны, говорилъ онъ.—Но это ясность теоріи,

ясность вычисленій ариѳметическихъ. Они ясны до той поры, пока жизнь не затуманитъ и не загрязнитъ ихъ. Встъ погодите, насмотритесь, можетъ быть. Все захватитъ своими нечистыми руками эта проклятая, эта изолгавшаяся жизнь, и, въ концѣ концовъ, получатся пятна, не болѣе»... И онъ въ унынін поникалъ головой. Иногда же злился, обзывалъ меня Манниловымъ и уподоблялъ идеалы тульскимъ самоварамъ, что до тѣхъ поръ и блестятъ, пока новы, а чуть попадутъ въ руки кухарки, и конецъ ихъ блистанію. Вообще, онъ легко поддавался жолчи. Но временами на него находила бодрость, и тогда страстное нетерпѣніе загоралось въ немъ. Онъ ѣздилъ по сосѣдямъ, знакомился съ новыми людьми, говорилъ, проповѣдовалъ, строилъ проекты различныхъ мѣропріятій... А спустя немного, снова сидѣлъ кислый и больной. И такъ во всю жизнь. Мнѣ кажется, особенно угнетала его пустота, какъ бы искусственно воздвигнутая вокругъ него: куда бы онъ ни сунулся, вездѣ встрѣчались запоры и преграды. Я говорю о цензѣ. Но, конечно, и не одно это угнетало; необходимо еще упомянуть о нервахъ, не дававшихъ ему покоя».

Затѣмъ половину всей «біографіи» степняка Батурина занимаетъ любовный эпизодъ, разсказанный его собственными словами. Дѣло было и очень просто, и очень странно. Первое (и послѣднее) свиданіе степняка съ избранницей его сердца происходило въ іюльскую лунную ночь. Свиданіе шло сначала какъ и всѣ прочія свиданія, но вдругъ за кустомъ раздался шорохъ и потомъ разговоръ. «Мы замерли. Но я не выпускалъ изъ объятій милую дѣвушку и по возможности старался казаться твердымъ». За кустомъ, оказалось, присѣли отдохнуть и покалякать два конокрада, возвращавшіеся съ промысла. Калякали они несообразно долго для людей, только что укравшихъ лошадь и потому долженствующихъ помышлять о скорѣйшемъ бѣгствѣ. А влюбленные все это время стояли обнявшись. Но вотъ конокрады ушли. Дѣвушка заговорила въ томъ смыслѣ, что она очень боялась, а на вопросъ степняка, чего же она боялась, отвѣтила такъ: «Услышатъ... папа узнаетъ... Скандалъ... Мало-ли чего!» «Ну вотъ-то и конецъ моему роману, саркастически усмѣхаясь, добавлялъ Батуринъ.—Руки мои внезапно, какъ плети, скользнули по ея гибкому стану и въ безсиліи опустились. Во рту появилась какая-то сухая и непріязненная горечь. А тутъ, какъ на грѣхъ, мѣсячный лучъ коварно легъ на ея губы и выраженіе страсти немилосердно растянуло ихъ. И что же мнѣ показалось—бываетъ же глупъ человѣкъ—мнѣ показалось: какая-то огромная птица бьется на моей груди... И, страшно сказать, все существо мое переполнилось непобѣдимымъ отвращеніемъ».

Наконецъ, еще одна черта: умирая, степнякъ «обвелъ окружающихъ тоскливымъ взглядомъ и спросилъ упорно: «Да когда же мы переведемся на Руси?» Что онъ этимъ хотѣлъ сказать, не знаю, прибавляетъ г. Эртель.

Соображая всѣ эти біографическія черты, надо будетъ, кажется, сказать, что г. Эртель довольно плохо исполнилъ завѣщаніе своего пріятеля. Изъ составленной имъ біографіи рѣшительно не видать того, что хотѣлъ уяснить современникамъ степнякъ, не видать именно, «почему отъ добрыхъ восклицаній онъ перешелъ къ пессимизму». Видно, что человѣку не везло въ жизни, но въ неудачахъ его нѣтъ ничего такого, что выдѣляло бы его изъ сотенъ и тысячъ другихъ неудачниковъ и хоть сколько-нибудь опредѣляло его индивидуальность. Предсмертнымъ вопросомъ степняка, долженствующимъ выражать нѣчто характерное и глубокое, вы даже просто поражены, какъ совершенною неожиданностью. Рѣчь шла о «суматохѣ, путаницѣ, абракадабрѣ», господствующихъ въ нашемъ отечествѣ, о «проклятой, изолгавшейся жизни», и естественно было бы ожидать, что степнякъ, болѣвшій, по словамъ г. Эртеля, этими болями, скажетъ передъ смертью: «да когда же переведется эта путаница на Руси?» А онъ вдругъ: когда же *мы* переведемся! Это нѣсколько напоминаетъ анекдотъ о томъ смѣшномъ человѣкѣ, который, разсказывая про свое восхожденіе на Казбекъ говорилъ: такъ Казбекъ (онъ показывалъ на аршинъ отъ полу), а такъ я (онъ поднималъ руку сколько могъ выше головы). Какіе это такіе мы? Очевидно, мы имѣемъ дѣло, по замыслу автора, съ какимъ-то достопримѣчательнымъ типомъ, но не менѣе очевидно, что всякій читатель вправѣ подумать: «что онъ (г. Эртель) хотѣлъ этимъ сказать, не знаю»... Давайте, впрочемъ, пересмотримъ показанія г. Эртеля и самого степняка.

Степнякъ имѣлъ чрезвычайно неровный характеръ и безпричинно, по крайней мѣрѣ, безъ такой причины, которую можно было бы уловить и указать, переходилъ отъ унылаго настроенія къ возбужденному и обратно; но въ общемъ состояніе его духа измѣнялось всетаки въ одномъ опредѣленномъ направленіи, отъ добрыхъ восклицаній къ пессимизму. Г. Эртель объясняетъ это тѣмъ, что у него не было ценза, а были разстроенные нервы (собственно только эти два пункта и ясны). Степнякъ, съ своей стороны, прибавляетъ свое любовное разочарованіе. Надо, однако, признаться, что от-

сутствіе ценза и присутствіе разстроенныхъ нервовъ еще не ахти какая достопримѣчательность, такъ что довольно даже мудрено построить на такихъ двухъ устояхъ типъ пессимиста. Очевидно, значеніе этихъ двухъ источниковъ огорченій степняка преувеличено г. Эртелемъ. Но и самъ степнякъ склоненъ преувеличивать свои бѣды. Въ самомъ дѣлѣ, онъ вспоминаетъ о своемъ любовномъ эпизодѣ съ такимъ «сарказмомъ», съ такою мрачностью, которые приличествуютъ развѣ какому-нибудь баловню судьбы, никогда настоящаго горя не видавшему и потому принимающему за горе сущіе пустяки. Дѣвица испугалась «папа» и «скандала»... Помилуйте, да объ чемъ же тутъ разговаривать? а тѣмъ паче объ чемъ «саркастически» вспоминать? Такая дѣвица не только не та rara avis, не та фантастическая «огромная птица», какою она представлялась степняку, а явленіе, столь же обыкновенное, какъ и человѣкъ, не имѣющій ценза. Понятно, что въ ту минуту степняку могло быть больно, но совершенно ни съ чѣмъ нессообразно такъ пространно и саркастически размазывать этотъ пустяковый эпизодъ по прошествіи многихъ лѣтъ. Степняку, напротивъ, слѣдовало бы радоваться, что дѣло разъяснилось на первомъ же свиданіи, что онъ не успѣлъ потратить на дѣвицу много силъ и не повелъ ее къ алтарю, въ чемъ, очевидно, имѣлъ бы потомъ всѣ резоны жестоко каяться.

Если мы выйдемъ изъ предѣловъ біографіи степняка, составленной г. Эртелемъ, и перейдемъ къ самымъ «запискамъ», то увидимъ прежде всего, что никакого перехода «отъ добрыхъ восклицаній къ пессимизму» тутъ нѣтъ. Въ первомъ же очеркѣ («Подъ шумъ вьюги») и на первыхъ же его строкахъ мы встрѣчаемся съ необыкновенно мрачнымъ настроеніемъ: «Тоска одолѣвала меня... Пошли бродить думы, воспоминанія... все горькія, невеселыя, подстать къ погодѣ... Напрасно я разыскивалъ въ этихъ думахъ, въ этихъ воспоминаніяхъ яркаго, свѣтлаго луча, напрасно напрягалъ память, вызывая его, этотъ лучъ, эту ободряющую полосу свѣта... Все была сплошная, одуряющая тьма... Рядъ фактовъ, одинъ другого безотраднѣе» и т. д. Наоборотъ, въ послѣднемъ очеркѣ «Адіо!», рекомендуемомъ самимъ степнякомъ, какъ нѣчто особливо пессимистическое, мѣстами вкраплены такія «добрыя восклицанія» и въ такомъ количествѣ, что даже удивительно. Затѣмъ, во всѣхъ «запискахъ» фигура степняка оказывается выдержанною и съ біографіей согласною въ томъ отношеніи, что онъ, во-первыхъ, постоянно, безъ всякаго видимаго резона, переходитъ отъ унынія къ возбужденію и, во-вторыхъ, нестерпимо назойливо носится съ своими личными ощущеніями, предъявляя ихъ и тогда, когда они нисколько не любопытны, и тамъ, гдѣ они совсѣмъ къ дѣлу не идутъ. Въ этомъ отношеніи особенно характеренъ очеркъ «Адіо», гдѣ авторъ, по крайней мѣрѣ, разъ пятнадцать мѣняетъ свое настроеніе (а въ очеркѣ и двухъ печатныхъ листовъ нѣтъ) рѣшительно ни съ того, ни съ сего, но всякій разъ назойливо предлагая читателю проникаться этими калейдоскопическими измѣненіями. Вотъ, напримѣръ, на страницѣ 272 читаемъ: «И неодолимая печаль охватила меня. Я чувствовалъ, какъ сердце мое расширялось въ какой-то тяжелой и мучительной истомѣ, и тоскливая фальшь закрадывалась въ душу». Это на 272 страницѣ, а на 273-й: «И когда я сошелъ съ кургана, печаль покинула меня. Я забылъ боли и скорби, которыми жилъ доселѣ». А на 274-й опять: «И солнечный лучъ, игравшій на бѣлой стѣнѣ, снова показался мнѣ лучемъ умирающимъ, и неодолимая печаль обняла мою душу». Но это только до слѣдующей, 275-й страницы, потому что тутъ «дыханіе мое радостно стѣснилось; мнѣ показалось даже, что небо внезапно просвѣтлѣло и посвѣтлѣли комнаты, переполненныя сумракомъ»... Фу ты, Господи, какой неосновательный человѣкъ! или не столько неосновательный, сколько неустанно прислушивающійся къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Всякому случается болѣе или менѣе мѣнять настроеніе духа—то будто взгруснется а то повеселѣе станетъ. Но никому, кромѣ надоѣдливаго степняка, не придетъ въ голову подмѣчать эти едва уловимые оттѣнки, раздувать ихъ въ нѣчто достопримѣчательное и доводить объ каждомъ изъ нихъ до свѣдѣнія публики. Только такой, по истинѣ, несносный человѣкъ можетъ такъ приставать къ читателю: солнце сіяло уже, когда я всталъ; всталъ я съ лѣвой ноги, но потомъ переступилъ на правую, а солнце все лило свои живительные, ласкающіе лучи; потомъ я постоялъ немножко на обѣихъ ногахъ сразу... Помилосердуйте, господинъ степнякъ! вѣдь до всего этого рѣшительно никому нѣтъ дѣла... Но очеркъ «Адіо», по крайней мѣрѣ, такъ ужъ и отведенъ, прямо, откровенно, подъ личныя ощущенія автора. А вотъ не угодно-ли прослушать, напримѣръ, разсказъ про «Офицершу». Офицерша эта—сельская учительница. Нѣкоторые намеки на нее читатель получаетъ уже въ первомъ томѣ «Записокъ степняка», именно въ разсказѣ «Отъ одного парня», и намеки эти такого рода, что читатель непремѣнно долженъ заинтересоваться личностью офицерши. И вотъ, наконецъ, во второмъ томѣ

интересъ этотъ получаетъ удовлетвореніе. Пріѣзжаетъ къ автору мужикъ изъ того самаго села, гдѣ учительствуетъ офицерша, и проситъ пріѣхать къ нимъ, потому что съ офицершей что-то неладное сдѣлалось: не то больна, не то «замудрила». Авторъ обѣщалъ пріѣхать. «Но, говоритъ онъ, прежде, чѣмъ разсказать о поѣздкѣ моей въ Березовку, нужно, я думаю, сообщить вамъ о томъ, какъ состоялось мое знакомство съ офицершей. *Слушайте же.* Былъ мартъ. Солнце стояло высоко и сильно пригрѣвало. На поляхъ показались проталины» и т. д. Вы пропускаете нѣсколько строкъ и ищите, гдѣ же про офицершу-то? Авторъ начинаетъ новый абзацъ: «Странное это время, читатель! все обновляется, все готовится къ жизни, а между тѣмъ, какая-то тихая печаль непрестанно и томительно преслѣдуетъ васъ» и т. д. Вы опять пропускаете полстраницы, потому что заинтересованы офицершей, а о «печали» господина степняка и безъ того много наслышаны. Авторъ начинаетъ и еще абзацъ: «Такъ вотъ, когда солнце свѣтило ужъ особенно ярко и тепло, и особенно грустно мнѣ было на моемъ хуторѣ, вокругъ котораго звенѣли многочисленные ручейки, и гибкія ракиты колебались тихо и размѣренно, я проѣхалъ въ березовскую школу». Слава Богу! наконецъ - то. Разсказавъ про свой первый визитъ къ офицершѣ, авторъ переходитъ ко второй своей поѣздкѣ въ Березовку, по приглашенію мужика, привезшаго извѣстіе, что съ офицершей неладно. Начинаетъ онъ такъ: «День былъ тихій и ясный. Золотистое солнце переполняло сверканіемъ прозрачный воздухъ» и т. д. А продолжаетъ такъ: «Славное время этотъ погожій сентябрь! Дышется такъ вольно и такъ умиротворяются нервы глубокой тишиной безжизненнаго поля». Но пока господинъ степнякъ умиротворялъ свои нервы и размышлялъ о печаляхъ марта и прелестяхъ сентября, офицерша-то отравилась... Это не мѣшаетъ, впрочемъ, господину степняку, сидя въ концѣ разсказа на могилѣ офицерши, отмѣчать впечатлѣнія, полученныя имъ отъ окружающаго пейзажа. «День былъ сырой и пасмурный. Безконечныя вереницы свинцовыхъ тучъ низко ползли надъ пустынными полями» и т. д.

Мнѣ кажется, что со степнякомъ можно покончить. Мнѣ кажется ясно, что художественная претензія, вложенная г. Эртелемъ въ эту фигуру, такъ претензіей и осталась. Такому несносному человѣку, постоянно занятому предъявленіемъ своихъ личныхъ ощущеній, хотя кругомъ совершаются дѣла чрезвычайной важности, можно было бы посвятить одинъ очеркъ, и притомъ юмористическій, но отнюдь не слѣдовало держать его маленькое, хотя и поднимающееся на носки *я* постоянно на глазахъ читателя, да еще покушаться при этомъ на читательское сочувствіе. Еслибы въ «Запискахъ степняка» ничего, кромѣ степняка, не было, такъ я, разумѣется, не сталъ бы утруждать ими ваше вниманіе. Но около степняка, дѣйствительно, совершаются дѣла чрезвычайной важности, и онъ сообщаетъ объ этихъ дѣлахъ кое-что очень любопытное. Въ виду этого, въ виду дѣйствительно серьезныхъ задачъ г. Эртеля, я и думаю, что критика должна отнестись къ его таланту съ гораздо болѣе участливымъ вниманіемъ, чѣмъ она это дѣлала до сихъ поръ. Повторяю, участливое вниманіе вовсе не требуетъ комплиментовъ или лести.

Вотъ уже много лѣтъ идутъ у насъ въ журналистикѣ усиленные толки о народѣ. Казалось бы, разговоры столь обильные должны оправдать пословицу: du choc des opinions jaillit la vérité—заблужденія должны бы отпасть, а истина восторжествовать. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ. Что бы вы ни считали истиной съ одной стороны и заблужденіемъ съ другой, но наличность пререканій и противорѣчій свидѣтельствуетъ, что до истины, можетъ быть, никто не добрался, а заблужденія то навѣрно есть. Я думаю, что для этой безплодности столь многословныхъ и продолжительныхъ разговоровъ есть очень простое объясненіе въ ихъ многословности и продолжительности. Слова, слова и слова, обреченныя оставаться словами, безъ прямого отраженія жизни, не только не уясняютъ какихъ-нибудь недоразумѣній, а, напротивъ, накапливаясь въ чрезмѣрномъ количествѣ, порождаютъ безпорядочную толкотню понятій и вящщую путаницу; путаница эта усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что такія обреченныя слова обыкновенно не настоящія слова, а полуслова и намеки. Какъ бы то ни было, но многолѣтнія разсужденія нашей журналистики о народѣ привели только къ тому, что нѣкоторые изъ ея представителей несутъ совершенный вздоръ съ невѣроятнымъ апломбомъ. Прекраснымъ образчикомъ такого вздора съ апломбомъ могла бы служить вышедшая въ прошломъ году книжка г. Юзова «Основы народничества». Но трактовать объ ней было бы скучно и долго, а меня ждетъ г. Эртель. У меня есть подъ руками болѣе удобный (по краткости) образчикъ вздора съ апломбомъ. Вотъ что писала недавно газета «Недѣля» о вашемъ журналѣ:

«Въ воззрѣніяхъ журнала есть одинъ коренной недостатокъ, который особенно претитъ въ органѣ, прозванномъ довольно мѣтко «мужиковствующимъ». Этотъ недостатокъ—игнорированіе народной мысли и народныхъ

желаній. Дѣйствительно, «Отечественныя Записки» только «муживковствуютъ», т. е. очень старательно изучаютъ мужика; но онѣ пытаются ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ «научныхъ» взглядовъ на нужды мужика. При этомъ онѣ совершенно забываютъ, что у мужика есть свой умъ и свое сердце и что ему, быть можетъ, захочется жить не такъ, какъ велитъ наука «Отечественныхъ Записокъ». Не то, чтобы онѣ оспаривали право мужика жить по своей волѣ и по своему разуму; нѣтъ, онѣ просто игнорируютъ существованіе мужицкой мысли и воли, какъ бы ясно онѣ не высказывались. Такъ же поступаютъ онѣ и въ еврейскомъ вопросѣ».

«Новое время», изъ котораго я заимствую эту выписку (самой статьи «Недѣли» я не читалъ), рекомендуетъ ее съ своей стороны такъ: «Недѣля» отмѣчаетъ фальшивое отношеніе «Отечественныхъ Записокъ» къ народу». Между тѣмъ, всматриваясь въ приведенныя строки съ полнымъ спокойствіемъ и безпристрастіемъ, вы должны придти къ тому заключенію, что «Недѣля» до того заболталась, что не умѣетъ отличить бѣлое отъ чернаго. Возможны разныя точки зрѣнія на текущіе общественные вопросы. Ихъ можно обсуждать съ точки зрѣнія государственнаго могущества, порядка и благочинія, національнаго богатства, національной славы и т. д., и, между прочимъ, и съ точки зрѣнія интересовъ народа. Для человѣка, стоящаго на этой послѣдней точкѣ зрѣнія, инкриминація «Недѣли» есть наилучшая похвала. Если вы «очень старательно изучаете мужика» и затѣмъ «пытаетесь ставить всѣ общественные вопросы съ точки зрѣнія собственныхъ «научныхъ» (эти сатирическія лапки, обнимающія «науку», прелестны!) взглядовъ на нужды мужика», то вы дѣлаете самое настоящее дѣло. Мало того, иначе и нельзя относиться хоть бы къ тому же еврейскому вопросу; иначе и «Недѣля» не можетъ ставить и рѣшать его. Я не читалъ статей «Недѣли» по еврейскому вопросу, но совершенно увѣренъ, что почтенная газета не рекомендуетъ бить жидовъ, а между тѣмъ, «умъ и сердце» мужика побуждаютъ его при извѣстныхъ условіяхъ жида бить. Также и въ прочихъ разныхъ вопросахъ. «Умъ мужика» твердо стоитъ на томъ, что земля на трехъ китахъ держится, но если-бы «Недѣля» требовала введенія этого принципа въ систему народнаго просвѣщенія, презирая «научные» на этотъ счетъ взгляды, то, оставаясь въ согласіи съ умомъ мужика, она дѣйствовала бы отнюдь не въ его интересахъ. Само собою разумѣется, что взгляды на интересы и нужды народа могутъ быть очень разнообразны, а, слѣдовательно, между ними есть вѣрные и невѣрные. Таковыми они могутъ быть теоретически и практически, то-есть сами по себѣ или въ примѣненіи къ данной комбинаціи обстоятельствъ, въ которой тяготѣніе самаго народа, конечно, играетъ очень важную роль. Но, въ концѣ концовъ, формула правильнаго отношенія къ текущимъ общественнымъ вопросамъ есть именно та самая, которая «Недѣлѣ» «претитъ».

Простите за эту краткую экскурсію въ область полемики, по нынѣшнему времени чрезвычайно неблагодарную и скучную. Я привелъ диссертацію «Недѣли» только какъ образчикъ тѣхъ пустяковыхъ словоизверженій, которыхъ не предотвратили всѣ наши многолѣтнія разсужденія о народѣ. Практически эти словоизверженія не имѣютъ ровно никакого значенія, потому что, когда дѣло дойдетъ до практики, «Недѣля», подобно всѣмъ прочимъ смертнымъ, выставитъ, какъ и теперь, вѣроятно, выставляетъ при случаѣ, свой собственный взглядъ; будетъ-ли онъ «научный» или ненаучный, вѣрный или невѣрный—это другой вопросъ.

Можно и должно измѣнить свой взглядъ, если будетъ доказана его неправильность, но постыдно отрекаться отъ него потому, что другіе—кто бы они ни были—думаютъ иначе. Если, однако, эти другіе близко заинтересованы въ дѣлѣ, о которомъ вы составили свое мнѣніе, если ихъ судьба лежитъ въ самомъ фундаментѣ вашего строя мысли, то понятно, что ихъ «умъ и сердце» должны быть «старательно изучены». Это и дѣлается въ извѣстной части литературы. Въ одномъ изъ разсказовъ г. Эртеля одна бабенка негодуетъ, что мужикъ заполонилъ литературу. Это отчасти справедливо и имѣетъ, конечно, свои причины. Одна изъ нихъ чисто отрицательная, а именно: есть въ русской жизни другія явленія высокой важности, которыми, однако, литература заниматься не можетъ, въ силу внѣшнихъ условій. Затѣмъ, значеніе мужика въ нашемъ отечествѣ такъ велико, что, «заполоняя» имъ себя, литература до извѣстной степени только отражаетъ отношеніе и пропорціи самой жизни. Наконецъ, мужикъ со всѣмъ, что около него совершается, представляетъ нынѣ и просто въ высшей степени любопытный предметъ наблюденія и изслѣдованія. Съ реформой 1861 г. «порвалась цѣпь великая, порвалась—раскачалася, однимъ концомъ по барину, другимъ — по мужику»; начался новый историческій періодъ. Въ такіе моменты жизнь никогда не развивается сразу гладко и ровно. Всегда она болѣе или менѣе долго какъ будто потопчется на мѣстѣ, дѣлая шагъ впередъ, два назадъ, опять впередъ, въ одну, въ

другую сторону, одолѣвается сомнѣніями, колебаніями, тревогами, иногда слишкомъ острыми, надеждами, иногда слишкомъ розовыми; и уже потомъ, долго спустя, беретъ верхъ то или другое опредѣленное направленіе, по которому жизнь и течетъ по инерціи, неуклонно, пока опять не наступитъ моментъ перелома. Понятно, что моменты перелома, при всей своей неопредѣленности и тревожности, при всей той боли, которую они иногда доставляютъ участнику жизни, представляютъ особенный, исключительно высокій интересъ для художниковъ. (Не для однихъ художниковъ, разумѣется, но я теперь только ихъ имѣю въ виду). Жизнь еще не успокоилась въ одномъ, опредѣленномъ руслѣ; одинъ какой-нибудь токъ еще не поглотилъ остальныхъ; слѣды старины, то совсѣмъ расколотые новымъ клиномъ исторіи, то сохранившіеся полностью, удачныя и неудачныя пробы новизны, цѣлая коллекція типовъ, вызванныхъ борьбою издыхающаго стараго съ нарождающимся новымъ, самыя тревоги, сомнѣнія, надежды современниковъ—все это въ цѣломъ представляетъ настоящій кладъ для художника. Если же онъ настоящій художникъ, а не простой фотографическій аппаратъ, не свидѣтель, а участникъ жизни, то онъ и самъ захватывается этими тревогами и надеждами, которыя заставляютъ его съ особенною чуткостью всматриваться въ явленія жизни и дорожить каждой черточкой ихъ. Такимъ образомъ, та небольшая группа нашихъ беллетристовъ, которая наполняетъ журналистику «мужикомъ», помимо всего прочаго, оправдывается и чисто художественными соображеніями: ее тянетъ къ мужику вѣрный художественный инстинктъ. Къ этой группѣ принадлежитъ и г. Эртель.

Задача, какъ и манера г. Эртеля, довольно полно выражается въ очеркѣ «Отъ одного корня», на которомъ мы и остановимся немного. Въ очеркѣ нѣтъ никакихъ событій. Это просто портреты двухъ мужиковъ. Василій Мироныч, мужикъ богатый, степенный, умный, обстоятельный, даже «справедливый», но, вмѣстѣ съ тѣмъ, плутоватый и твердо помнящій, что своя рубашка всего ближе къ тѣлу. Отъ крестьянства онъ не отбивается только потому, что «конечно, уже мое дѣло не молодое, сохи не бросишь, съизмалѣтства съ ей... а что самое подходящее дѣло по нонѣшнимъ временамъ—торговое дѣло». О граматности онъ разсуждаетъ такъ: «Граматы я не обученъ... я памятливъ, Бога гнѣвить нечего, только всетаки сподручнѣй бы... Особливо съ маслобойкой, дѣло мелкое: кому фунтъ, кому полтора... Какъ тутъ запомнить! А въ эфтой мелочи, въ фунтахъ-то, самый барышъ и есть... Аль опять разсчетъ... Возьмемъ хоть свинью, безъ разсчета съ ней никакъ невозможно... За много-ли куплена, сколько проѣла, почемъ пудъ легла, какъ тутъ безъ граматы-то сведешь?.. Вотъ теперь сынишку въ выучку отдалъ»...

Мужикъ Трофимъ, односелецъ Василія Мироныча, разсуждаетъ иначе: «Возьмемъ теперь хоть грамату... Коли ежели съ совѣстью, ну, такъ! окромя спасенья ничего... Ну, а съ другой стороны—самое распропащее дѣло... Ты такъ разсуди—писарь! Что онъ можетъ? Онъ те и въ острогѣ сгонитъ и въ Сибирь сгонитъ... По нынѣшнимъ временамъ мужику безъ граматы никакъ невозможно... Ну, только и душу загубить ужъ такъ-то легко, такъ-то легко, а-ахъ!.. Вотъ, не въ осужденіе сказать, Василій Миронычъ своно сынишку обучаетъ... Куда онъ его прочитъ? Прямо, значитъ, міръ распорушивать, кулачить... ишь, граматному-то оно способнѣе на міръ-то плевать!» Трофимъ вообще мужикъ особенный. Онъ хранитель «дѣдовскихъ» преданій. «Въ давнія времена березовцы, благодаря особымъ, исключительнымъ экономическимъ условіямъ, выработали въ себѣ, пожалуй, что изъ ряду вонъ выходящіе общинные инстинкты, «дружность», стойкость, сочувствіе къ своему брату—мірскому человѣку. Лѣтъ за десять передъ освобожденіемъ отъ крѣпостной зависимости, условія, благопріятствующія развитію этихъ общинныхъ, мірскихъ инстинктовъ, круто измѣнились. Міръ пошелъ въ разбродъ, началъ разлагаться. Березовцевъ сосѣди ужъ перестали звать «дружными» «мірскими» людьми». Нѣкоторыя событія, совершавшіяся во время самаго освобожденія, вызвали-было эту «дружность» опять на свѣтъ Божій, но не на долго». Такъ вотъ Трофимъ-то и есть почитатель и хранитель преданій былой «дружности». Въ качествѣ таковаго, онъ занималъ нѣсколько двойственное положеніе. Съ одной стороны, его дѣйствительно уважали, какъ уважали и носимыя имъ преданія, но преданія эти вмѣстѣ съ тѣмъ представлялись чѣмъ-то «по нынѣшнимъ временамъ» невозможнымъ, а потому практически Трофимъ значеніемъ не пользовался, а Василій Миронычъ даже называлъ его «блажнымъ». Въ заключеніе, г. Эртель размышляетъ: «Вѣдь вотъ отъ одного корня, изъ одной стороны, изъ одной среды, изъ одной деревни даже, при одинаковыхъ условіяхъ росли, одинаковыя напасти испытывали... И вышло какое-то недоразумѣніе. Съ одной стороны: «главное дѣло—свинья», съ другой — «міръ»... За кѣмъ побѣда, за кого будущее?»

Этимъ послѣднимъ вопросомъ исчерпывается вся задача «Записокъ степняка».

Деревенская жизнь представляется г. Эртелю ареною борьбы стараго съ новымъ, причемъ старое пользуется очевидными его симпатіями. Тамъ ему рисуется «въ человѣцѣхъ благоволеніе», миръ и «міръ», а новая струя шумно несетъ сюда разлагающія, себялюбивыя начала: развратъ, трактирную цивилизацію, нищету, всяческія бѣды, всяческое обираніе мужика въ экономическомъ и нравственномъ смыслѣ. Именно въ этомъ, въ самыхъ «Запискахъ степняка», а не въ его біографіи, какъ думаетъ г. Эртель, заключается объясненіе его пессимизма, разрѣшающагося въ очеркѣ «Аддіо» такой тирадой:

«О, безпощадный духъ времени, духъ—Сфинксъ, пожирающій мудрецовъ! Зачѣмъ же ты съ такою непрестанною жестокостью куешь новыхъ враговъ всякимъ основамъ и устоямъ, и, безжалостно устраняя наивные идеалы старины, необозримую пустоту воздвигаешь имъ на смѣну? Теперь съ мучительною ясностью вижу я, какъ подъ бременемъ непрерывныхъ испытаній, ниспосланныхъ тобою, изнемогла моя бѣдная родина и въ истомѣ безсилія омертвѣла. Безнаказанно терзаетъ ее грозная семья болѣзней, предводительствуемыхъ голодомъ, и могущественный кабакъ изъ конца въ конецъ раскинулъ свои сѣти. Сама природа какъ бы превратилась и посылаетъ бѣды. Красный пѣтухъ распространяетъ крылья свои и отъ Бѣлаго моря до Нѣмана озаряетъ небо зловѣщимъ заревомъ... И ко всему этому безъ конца свирѣпствуетъ подлость! О, какая безшабашная, какая безпримѣрная подлость!.. Стыдъ устраненъ. Понятія о чести сотворены (?) излишними. Культъ брюха провозглашенъ господствующимъ и ему въявь совершаются отвратительныя жертвы. Повальный грабежъ и холопство, возведенное въ доблесть, рука объ руку съ печатью, изборожденною прелестями гражданственныхъ сообщеній, развиваются на свободѣ, подобно ядовитымъ гадамъ, и, подъ сѣнью всеобщей неурядицы, наглѣютъ до размѣровъ грандіозныхъ... Я вижу, какъ на тучной почвѣ всякихъ недоразумѣній смутно и съ поспѣшностью слагаются типы съ клювомъ хищной птицы, съ прожорливымъ желудкомъ удава, съ цѣпкими, жадно распростертыми руками. Иные изъ нихъ дики и первобытны, и по своей исконности соотвѣтствуютъ идеаламъ «Домостроя»; иные же нацѣпили европейскія одежды и во всеоружіи познаній европейскихъ вышли и стали на большую дорогу, по которой, кряхтя и изнемогая, хмѣльной и младенствующій плетется народъ русскій».

Многое въ этой страстной лирикѣ, къ сожалѣнію, оправдывается дѣйствительностью и подтверждается, какъ другими наблюдателями народной жизни, такъ и голыми фактами газетныхъ сообщеній. Только тупые доктринеры отрицаютъ все это, съ яснымъ лбомъ утверждая, что «самобытный судакъ» свободно плаваетъ въ россійскихъ водахъ и находится въ полномъ здоровьи. Что же касается г. Эртеля, то онъ хорошо понимаетъ нѣкоторыя стороны плаванія самобытнаго судака и, конечно, иначе, какъ съ благодарностью, нельзя относиться къ нему за то, что онъ останавливаетъ вниманіе своихъ читателей на дѣйствительно важныхъ вопросахъ народной жизни. Но, во-первыхъ, онъ хорошо понимаетъ *нѣкоторыя* стороны, а, во-вторыхъ... Во-вторыхъ, я сказалъ бы, что онъ слишкомъ хорошо ихъ понимаетъ, еслибы не боялся ввести вашихъ читателей въ соблазнъ этимъ парадоксальнымъ выраженіемъ. Дѣло въ томъ, что картины жизни проходили передъ г. Эртелемъ «подъ густою сѣткой принциповъ», какъ выражается самъ онъ, характеризуя героя повѣсти «Волхонская барышня», Илью Петровича Тутолмина. Принципы сами по себѣ, конечно, не только не вредятъ художественному творчеству, а, напротивъ, оказываютъ существенную помощь. Но принципы, съ другой стороны, не должны также представлять изъ себя токарный станокъ, на которымъ художникъ механически вытачиваетъ свои образы и картины. А г. Эртель именно къ такому токарному творчеству склоненъ. Иллюстрируя вышеприведенную свою лирику, онъ даетъ цѣлую коллекцію фигуръ, долженствующихъ быть типами, и которыя, однако, геометрически правильны, слишкомъ инструментованы, если можно такъ выразиться, чтобы быть чѣмъ-нибудь, кромѣ тщательно выточенныхъ деревянныхъ фигуръ. Напримѣръ, г. Эртелю нужно нарисовать хищника, «нацѣпившаго европейскія одежды и, во всеоружіи познаній европейскихъ, вышедшаго» на грабежъ. Задача чрезвычайно благодарная. И вотъ г. Эртель вытачиваетъ на своемъ станкѣ «иностранца Липатку». Липатка этотъ, или иначе Липатъ Праскелычъ Чумаковъ, сынъ купца-землевладѣльца, совершенно необразованнаго и вообще настоящаго мужика по всему своему обиходу. Братъ Липатки, совсѣмъ еще молодой парень, что называется русская широкая натура, гоняется за дѣвками, ѣздитъ на бѣшеной тройкѣ и проч. Но самъ Липатка не таковъ. Онъ съѣздилъ за границу и вернулся оттуда «иностранцемъ». Суть-то вся въ томъ, что онъ вывезъ оттуда теорію, за которою, впрочемъ, въ Европѣ ѣздить не стоило, потому что ее и дома можно найти. Культура необходима для

Россіи... водворена эта культура можетъ быть лишь тогда, когда современный крестьянскій строй упразднится... нужно въ эту массу всяческаго невѣжества и стародавнѣйшей рутины вбить желѣзный клинъ, который массу эту могъ бы расколоть сверху до низу... этотъ клинъ—фабричное производство». Таковы главнѣйшіе пункты Липаткиной теоріи. Теорія эта происхожденія дѣйствительно иностраннаго (какъ и всѣ прежнія наши теоріи, не исключая и славянофильской), но г. Эртелю захотѣлось подчеркнуть это «иностранство» всѣми средствами своего токарнаго станка. Вслѣдствіе этого Липатка и одѣвается, какъ иностранецъ, и ѣстъ, и пьетъ, и говоритъ, какъ иностранецъ. Одѣвается онъ, напримѣръ, не просто въ европейскій, общепринятый костюмъ, какой носятъ всѣ такъ называемые культурные русскіе люди. Нѣтъ, это было бы недостаточно иностранно. Правда, дома Липатка ходитъ именно такъ, только развѣ уже черезчуръ щеголевато для практическаго человѣка: батистовая рубашка, лаковые полусапожки, «англійскіе» духи. Но, отправляясь взглянуть, какъ работаетъ молотилка, онъ надѣваетъ уже спеціальный, утрированно иностранный костюмъ «нѣмецкаго машиниста». Угощаетъ Липатка гостей завтракомъ, такъ и тутъ «стеклянные колпаки надъ блюдами, пикантныя приправы, острые маринады и затѣйливые консервы съ англійскими ярлыками придавали столу иностранное обличье». Доброе лицо Липатки «носило заграничный отпечатокъ» и притомъ опять-таки не просто заграничный, а какъ бы эссенцію всего заграничнаго, потому что въ лицѣ этомъ соединялись англійское высокомѣріе, французская бородка и нѣмецкій стеклянный взглядъ». Благодаря такой необыкновенно старательной работѣ автора и выходитъ, въ концѣ концевъ, аккуратно выточенная дереревянная фигурка съ ярлыкомъ, на которомъ четко написано: «иностранецъ Липатка». А потому и всѣ добрыя намѣренія автора представить намъ Липатку какою-то грозною силою разлетаются прахомъ. Эта неудача особенно ярко выступаетъ въ заключительномъ эпизодѣ очерка «Иностранецъ Липатка и помѣщикъ Гудѣлкинъ».

Помѣщикъ Гудѣлкинъ, человѣкъ придурковатый (тоже аккуратно выточный), въ восторгѣ отъ Липатки, и именно отъ этого «иностранства», долженствующаго внести въ наше отечество спокойствіе, довольство, порядокъ, красоту. Онъ хочетъ строить въ товариществѣ Липатки фабрику. Вмѣстѣ съ авторомъ Гудѣлкинъ проводитъ у Липатки день, восхищаясь его заграничными рѣчами, и наконецъ, отправляются они спать. Но ночью подслушиваютъ длинную бесѣду Липатки съ пьянымъ отцомъ, длинную и оскорбительную, потому что отецъ и сынъ Чумаковы разсуждаютъ, между прочимъ, объ томъ, какъ хорошенько объѣгорить дурака «Гудѣлку». Ну, и спрашивается, что же это за грозная сила этотъ иностранецъ Липатка, если даже, дѣйствительно, дурака Гудѣлкина не съумѣлъ объегорить и не могъ найти для такой интимной бесѣды комнаты подальше? Впрочемъ, тутъ, конечно, не точеный Липатка виноватъ, а самъ токарь. Надо замѣтить, что у г. Эртеля подслушиваніе играетъ болѣе или менѣе важную роль въ очень многихъ очеркахъ. Уже въ біографіи степняка этотъ послѣдній, вмѣстѣ съ избранницей своего сердца, подслушиваютъ бесѣду двухъ конокрадовъ. Въ «Липягахъ» авторъ подслушиваетъ интимный разговоръ Любы съ Карамышевымъ, а потомъ ея же бесѣду съ Лебедкинымъ. Въ «Визгуновской экономіи» онъ подслушиваетъ тоже очень интимный разговоръ Пармена съ Ульяной. И т. д., и т. д. Вотъ и съ кознями Липатки онъ рѣшилъ покончить тѣмъ же простымъ способомъ. Оно, конечно, бываетъ, что людямъ удается иногда подслушивать чрезвычайно любопытныя для нихъ вещи, но съ г. Эртелемъ это ужъ что-то слишкомъ часто случается, и учащенность эта не мало способствуетъ непріятной искусственности его образовъ и картинъ.

Любопытно, что фигуры и сцены, брошенныя вскользь, выходятъ у нашего автора гораздо жизненнѣе и правдивѣе тѣхъ, надъ которыми онъ старательно работаетъ. Напримѣръ, въ очеркѣ «Аддіо» онъ совершенно поглощенъ личными ощущеніями степняка и потому остальнымъ ему некогда пристально заниматься. И тутъ найдутся прекрасныя картинки изъ дѣтскихъ воспоминаній степняка и очень удачный образъ отставного солдатика жандарма, который, распространяя въ пьяномъ видѣ слухи о передѣлѣ, въ то же время грозно спрашиваетъ: «А съ какой съ такой стати вы, господинъ, съ нами, мужиками, водку пьете?.. Потому мы примѣчаемъ, ежели бунтъ... Мы имѣемъ предписаніе». Или: «Теперича какимъ же такимъ манеромъ вы, господинъ, оспариваете насупротивъ газетъ и насупротивъ указа, напримѣръ», а указъ-то этотъ насчетъ «прирѣзки»...

Еслибы поэтому г. Эртель поменьше обтачивалъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, поменьше подслушивалъ, да поменьше терзалъ читателя описаніями природы и пейзажами, столь сильно вліяющими на настроеніе духа степняка, словомъ, еслибы онъ не былъ такъ искусственъ, то можно думать, что его очерки были бы даже очень и очень недурны.

Но спрашивается, какъ же г. Эртель смотритъ на возможность выхода изъ такого сумбура, который производитъ въ деревнѣ неулегшаяся борьба стараго съ новымъ? Самолично онъ никакого выхода не знаетъ, потому что отъѣздъ степняка въ Европу («Аддіо») есть именно только отъѣздъ, а не выходъ. Что же касается самой деревни или, пожалуй, всего нашего отечества, то тутъ г. Эртель останавливается въ вопросительномъ положеніи, какъ мы уже видѣли. Съ одной стороны: «главное дѣло—свинья», съ другой—«міръ». За кѣмъ побѣда, за кого будущее? Г. Эртель видитъ торжество свиньи, боится, что она и еще пуще будетъ торжествовать, но всетаки остается при своемъ вопросительномъ знакѣ. Мнѣ кажется, что дѣло и проще, и вмѣстѣ сложнѣе, чѣмъ оно представляется автору...

Позвольте вернуться къ Василію Мироныч, который настаиваетъ на «свиньѣ», и къ Трофиму, который возлюбилъ «міръ». Хотя авторъ обнаружилъ на этотъ разъ достаточно такта, чтобы не сдѣлать изъ Василія Мироныча злодѣя, но всѣ симпатіи его на сторонѣ Трофима, этого хранителя «дѣдовскихъ» преданій. Авторъ, очевидно, желалъ бы, чтобы восторжествовалъ онъ, а не Василій Миронычъ. Между тѣмъ, въ числѣ излюбленныхъ мыслей Трофима находится, напримѣръ, такая: крестьяне, это «хрестьяне», христіане, и получили они это свое названіе отъ имени Христа, и какъ Христосъ претерпѣлъ, такъ и «хрестьяне» должны терпѣть, чего вовсе не полагается купцамъ, помѣщикамъ, чиновникамъ, ибо они не христіане. Есть трогательность въ этомъ наивномъ опредѣленіи и пониманіи, но наивность эта такъ очевидна, что, конечно, ей нельзя предсказать въ будущемъ торжества; нельзя, да и нежелательно вовсе, съ чѣмъ, я думаю, и г. Эртель согласится. Слѣдовательно, въ той «сторонѣ», которую свято охраняетъ Трофимъ, даже тамъ, гдѣ она трогательна и самоотверженна, отнюдь не все заслуживаетъ сочувствія или содѣйствія. Дѣло, значитъ, сложнѣе, чѣмъ дилемма—«свинья» или «міръ». Но вмѣстѣ съ тѣмъ суммировать всю изображенную г. Эртелемъ неурядицу и найти если не практическій путь исхода изъ нея, то, по крайней мѣрѣ, теоретическую формулу ея причинъ совсѣмъ уже не такъ трудно. Ее нашла несчастная, недалекая офицерша, окончившая, какъ выше упомянуто, дни свои самоубійствомъ. Въ своей предсмертной исповѣди она пишетъ: «Стало мнѣ замѣтно по деревнямъ, что большое есть желаніе у мужичковъ ребятъ учить. И такое даже желаніе, что готовы на всякія жертвы. И я это замѣчала и была очень рада. Я такъ думала: прискучила имъ темнота. И думала, что хорошо это. И какъ стала учить сама, сдѣлалась совсѣмъ довольная. Но только вмѣсто того я несчастная. И на несчастье-то мое натолкнуло меня вотъ что. Приноситъ мнѣ Василь-Миронычевъ сынишка листокъ и говоритъ:—Ну-ка прочти!—и улыбается. А онъ уже твердо пишетъ.—Что это?—«Батѣ росписку написалъ; Егоровъ Ѳома ржи взаймы взялъ, такъ насчетъ ржи». Прочла я... И что же вы думаете? И нестойка тамъ, и штрафъ, и проценты... Ужасъ что такое!» Оказывается, что у сынишки Василья Мироныча есть еще книга, въ которой онъ аккуратно и съ знаніемъ дѣла ведетъ счетъ приходамъ и расходамъ насчетъ свиней, муки и прочаго. Офицерша пришла въ раздумье. «И стало мнѣ замѣтно, продолжаетъ она:—что ежели граматный, онъ не иначе, какъ промышляетъ или находитъ должность. И вотъ еще что: кто понятливѣе, тотъ самый и есть опасный человѣкъ. А почему это такъ выходитъ, я не замѣчала. Только я вотъ что думала: «ну, если я обучу и вмѣсто того разведу кулаковъ. И если кулаки будутъ знать ариѳметику и всякіе разсчеты, то неужели это будетъ лучше?» Эта печальная мысль до того заѣла офицершу, что она, несчастная и въ личной жизни, наконецъ, не выдержала и отравилась.

Ядовитый вопросъ, подкосившій бѣдную офицершу, не новъ и не спеціально только къ мужицкой сферѣ приложимъ. Давно извѣстно, что знаніе, какъ и всякое оружіе, можетъ служить добру и злу, смотря по тому, въ чьихъ оно рукахъ находится и какое употребленіе изъ него дѣлается. Офицерша для себя лично могла бы найти утѣшеніе въ томъ, что ей приходится учить и такихъ ребятъ, отцы которыхъ не занимаются операціями Василія Мироныча и которые, слѣдовательно, могутъ воспользоваться «ариѳметикой и всякими разсчетами» только съ оборонительными цѣлями противъ того же, можетъ быть, Василія Мироныча. Притомъ же она могла бы вѣдь не только «ариѳметикѣ и всякимъ разсчетамъ» учить, а также и нравственное вліяніе имѣть. Такъ что въ концѣ концовъ отравиться она, пожалуй, слишкомъ поторопилась, но въ ея скорбномъ выводѣ есть во всякомъ случаѣ доля правды, и ея еще больше въ слѣдующихъ словахъ офицерши: «И какъ же мнѣ не учить, когда вмѣсто того такіе у нихъ помыслы, и ежели *граматному человѣку одинъ выходитъ просторъ—грабить*».

Дорогого стоитъ это слово немудрой офицерши, и еслибы г. Эртель вслушался въ него съ такимъ же предупредительнымъ вниманіемъ, съ какимъ онъ ловитъ каждое душевное движеніе своего степняка, то онъ,

можетъ быть, не отправилъ бы его въ Ментону, истерзавъ предварительно безысходными сомнѣніями и припадками отчаянія. О, разумѣется, мало утѣшительнаго въ томъ, что грабежу и только ему предоставленъ просторъ. Но бываютъ такія удачныя слова, которыя, вкратцѣ выражая длинный рядъ скорбныхъ и возмутительныхъ фактовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ ихъ общую ближайшую причину и тѣмъ самымъ способны зажечь огонекъ утѣшенія въ мрачно настроенномъ сердцѣ. Таково именно офицершино слово. Вслушавшись въ ея формулу бѣды, степнякъ могъ бы размыслить такъ: если *въ этомъ* дѣло, такъ бѣда-то вѣдь можетъ быть только наносная, можетъ быть живъ Богъ, жива душа народа моего, и нѣтъ такого историческаго закона, который фатально обрекалъ бы насъ быть съѣденными всеядною свиньей. Не то чтобы, значитъ, въ корень изолгалась наша жизнь и до дна, насквозь испоганились души человѣческія; не одни плевелы ростутъ на нивѣ, и бѣда только въ томъ, что условія минуты предоставляютъ просторъ грабежу и не даютъ простора добру и свѣту. Семъка я въ Ментону-то не поѣду, а попробую, по мѣрѣ моихъ силъ, поспособствовать измѣненію условій минуты. Дѣло трудное, конечно, а я человѣкъ слабый, и можетъ быть, мнѣ очень тяжело придется, да вѣдь есть изъ-за чего и биться, а я до сихъ поръ только и дѣлалъ, что вздыхахъ, брюзжалъ, да развѣ еще наблюдалъ; да и наблюдалъ-то не очень внимательно, потому что больше къ шуму въ собственныхъ ушахъ прислушивался...

Я бы охотно и съ признательностью кончилъ офицершиными словами, но мнѣ предстоитъ еще бесѣдовать о «Волхонской барышнѣ». Я буду, впрочемъ, кратокъ. Во-первыхъ, потому, что иначе письмо мое непомѣрно разрослось бы, а во-вторыхъ, потому, что «Волхонская барышня» длиннаго разговора и не стоитъ.

Герой, Илья Петровичъ Тутолминъ, по профессіи писатель, по образу мыслей демократъ, очень напоминаетъ степняка: та же нерезонная измѣнчивость настроенія духа, то же пониманіе жизни въ видѣ дилеммы «свинья или міръ», причемъ всѣ симпатіи Тутолмина лежатъ позади, въ старинѣ. Пріѣзжая въ деревню, въ гости къ управляющему имѣніемъ богатаго помѣщика Волхонскаго, Тутолминъ яростно протестуетъ противъ всякихъ новшествъ. Онъ, радикалъ по убѣжденіямъ, оказывается крайнимъ консерваторомъ по обстоятельствамъ времени и мѣста. Почитатель народнаго творчества, онъ возмущенъ тѣми новыми и совершенно безсмысленными пѣснями, которыя распространила въ народѣ трактирная цивилизація. Всего ожидающій отъ экономической самостоятельности мужика, онъ злится на своего пріятеля управляющаго, который заводитъ паровые плуги и молотилки, и радуется, когда мужики осмѣиваютъ эти могучіе рычаги «капиталистическаго производства». Положеніе, разумѣется, въ высшей степени любопытное, и большой художникъ, взявшись за эту тему, могъ бы совершенно овладѣть интересомъ читателя. Но у г. Эртеля ничего не вышло, хотя онъ постарался придать своей повѣсти внѣшнюю занимательность и любовной интригой, и множествомъ и разнообразіемъ дѣйствующихъ лицъ: тутъ и мужики есть, и утонченнѣйшіе, изнеможеннѣйшіе аристократы, и сановники, чего хочешь, того просишь. О какихъ-нибудь живыхъ типахъ тутъ не можетъ быть и разговора; отдѣльныя искорки жизни совершенно тонутъ въ той непомѣрной искусственности, съ которою г. Эртель обработываетъ свою тему въ общемъ и въ подробностяхъ. Благодаря этому, даже самые трагическіе моменты «Волхонской барышни» способны вызвать смѣхъ, а юморъ автора наводитъ на грустныя мысли, по крайней мѣрѣ, объ немъ, авторѣ. Я приведу только два-три образчика.

Своими рѣчами Тутолминъ зажигаетъ въ «Волхонской барышнѣ», Варѣ, нѣкоторый огонь. Сперва Варя думаетъ, что это любовный жаръ, но потомъ убѣждается, что она вовсе не любитъ Тутолмина и объявляетъ ему это. Тутолминъ глубоко огорченъ. Варя утѣшаетъ его. Она говоритъ, что не любитъ его, не можетъ быть его женой, но не знаетъ человѣка лучше его и была бы счастлива, если бы онъ ей указалъ дѣло, «за которое она могла бы умереть». Тутолминъ мрачно возражаетъ:

«— Мое дѣло жизни требуетъ, а не смерти. Самой что ни на есть прозаической жизни... Безъ барабановъ... Глупо дѣлали и прежде, что барабанили. Христосъ безъ барабановъ побѣдилъ міръ...

«— Но онъ умеръ на крестѣ, живо произнесла Варя.

«— Не слѣдовало».

Признаюсь, я не могъ удержаться отъ хохота, дойдя до этой краткой и рѣшительной критики, хотя Варя, не замѣчая всего комизма этого «не слѣдовало», продолжаетъ разговоръ въ возвышенномъ тонѣ...

Къ вящшей бѣдѣ повѣсти, г. Эртель вздумалъ ввести въ нее аристократическихъ дѣйствующихъ лицъ, а объ аристократахъ онъ, повидимому, такого мнѣнія, что если ихъ нарядить въ бархатныя жакетки, заставить не совсѣмъ у мѣста говорить французскія слова, въ родѣ «mon ami», «après nous le déluge» и «façon de parler», да еще вложить въ ихъ уста разговоры объ искус-

ствѣ (непремѣнно объ искусствѣ), такъ это и будутъ настоящіе аристократы. Я не хочу смѣяться надъ г. Эртелемъ и не стану приводить смѣшныхъ вещей, проистекающихъ изъ такого представленія объ аристократахъ. Но, чтобы оттѣнить искусственность писательской манеры г. Эртеля, позволю себѣ познакомить васъ съ музыкальнымъ произведеніемъ родственника Волхонскихъ, графа Облѣпищева.

Этотъ графъ Облѣпищевъ, человѣкъ еще молодой, аристократъ несомнѣнный. Бархатныя жакетки онъ носитъ даже «невиданнаго покроя», аристократическія слова, въ родѣ ton ami, употребляетъ весьма часто, говоритъ объ искусствѣ постоянно и въ добавокъ такъ изнѣженъ, такъ изнѣженъ, что даже ни на что не похоже. Любилъ онъ когда-то нѣкую Женни и потому создалъ музыкальную пьесу, подъ названіемъ «Жизнь Женни». Онъ ее самъ играетъ своей кузинѣ Варѣ. Начало пьесы должно изображать слѣдующее: «Ни одной тревожной думы на душѣ. Небо сине. Въ сердцѣ горитъ любовь. Соловьиная пѣсня навѣваетъ радужныя грёзы». Потомъ «соловей замолкъ». Музыка переноситъ насъ на Волгу. «День жаркій и душный. Раскаленный воздухъ неподвиженъ» и т. д. Слышатся звуки «Дубинушки», потомъ «разбойничьей пѣсни». Затѣмъ марсельеза. Послѣ марсельезы «надрывающій напѣвъ русской свадебной пѣсни» и «тріо изъ «Жизни за царя». Потомъ «торопливый темпъ опереточнаго вальсика нахально закрутился въ воздухѣ. Иногда грозный гулъ, подобный отдаленному волненію безчисленной толпы, пытался бороться съ этимъ темпомъ, пытался потопить пошленькіе его звуки въ своемъ внушительномъ рокотѣ... Но вальсикъ вырывался, какъ изступленный, дерзко и нагло заглушалъ этотъ рокотъ своею подленькой игривостью, и мало-по-малу рокотъ утихалъ, дробился, поспѣшалъ съ неуклюжею готовностью за расторопными звуками вальсика»...

Можетъ быть все это выходило и очень хорошо, и трогательно въ исполненіи графа Облѣпищева, но, знакомясь съ содержаніемъ «Жизни Женни», вы невольно вспоминаете, что нѣчто въ этомъ родѣ вы уже гдѣ-то читали. Именно что-то о музыкальной пьесѣ, въ которой величавые и грозные звуки марсельезы безуспѣшно борятся съ какими-то подленькими, но нахальными звуками... Ба! да это у Достоевскаго въ «Бѣсахъ», талантливый мерзавецъ Лямшинъ играетъ въ салонѣ Лембкѣ пьесу собственнаго сочиненія, подъ названіемъ «Франко-прусская война». Такъ, тамъ. Пьеса начинается грозными, вызывающими звуками марсельезы, къ которымъ присоединяются потомъ подленькіе (и слова-то именно эти у Достоевскаго) звуки вальса «Mein lieber Augustchen», постепенно заглушая и конфузя марсельезу... Но обратите вниманіе, какая разница. Достоевскому, настоящему мастеру, хотя и склонному къ вычурности, для изображенія цѣлой франко-прусской войны оказалось достаточнымъ двухъ мотивовъ—марсельезы и Augustchen, и если вы перечтете «Бѣсовъ», то увидите, какое впечатлѣніе производила эта эпизодическая вещица. Г.-же Эртель, для изображенія «Жизни Женни», потрясаетъ небо и землю, зоветъ соловьевъ, ѣдетъ на Волгу, ухватываетъ нѣчто изъ «Жизни за Царя»—и всетаки изъ этого ничего не выходитъ.

Я искренно желаю г. Эртелю быть проще, гораздо проще...

X *).

На поминкахъ Достоевскаго въ Славянскомъ Благотворительномъ Обществѣ А. Н. Майковъ говорилъ между прочимъ: «Очень часто случается, что, желая говорить о знаменитомъ покойникѣ, говорящіе болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его... Мы, бывшіе близкіе (къ Достоевскому) люди, получили особенное значеніе, мы вдругъ очутились въ совсѣмъ особенномъ положеніи. Къ намъ предъявляются уже совсѣмъ новые для насъ вопросы. Отъ насъ хотятъ услышать интимныя подробности о покойномъ. Отъ насъ ждутъ множества отвѣтовъ на множество вопросовъ, которые даже едвали кто формулировать можетъ... Близкіе люди, что они скажутъ, застигнутые врасплохъ? Спросите Анну Григорьевну о Ѳедорѣ Михайловичѣ—она скажетъ: «Ахъ, какой это былъ мужъ! Какъ онъ меня любилъ, какъ я его любила!» Друзья что скажутъ? Ихъ отвѣты будутъ детальные, отрывочные, анекдотическіе, пожалуй, а никакъ ужъ не отвѣчающіе на предъявленные вопросы. Словомъ, отвѣты не интересные... О великихъ людяхъ, о великихъ писателяхъ мнѣ не особенно интересно знать, въ какомъ домѣ они жили, какое платье носили... Для меня всегда важнѣе внутренній міръ писателя и особенно русскаго писателя, его идеалы нравственные, философскіе, политическіе, его пониманіе Россіи, ея значенія въ мірѣ, ея исторіи; мнѣ интереснѣе этотъ, такъ сказать, идеальный очеркъ писателя, его душевный и умственный портретъ. Но дадутъ ли вамъ его близкіе люди? И къ нимъ-ли надобно обратиться, чтобы его составить и нарисовать? Нѣтъ, всякій лучше можетъ это сдѣлать самъ и обратиться не къ пріятелямъ,

*) 1884, январь.

а къ самому лицу, о которомъ хочешь узнать. А это лицо не умерло. Писатель, мыслитель, художникъ живетъ въ своихъ произведеніяхъ. Читайте ихъ, вдумывайтесь въ нихъ, разгадывайте смыслъ выведенныхъ ими образовъ, прочтите въ нихъ недосказанное, и вы войдете въ самые тайники души писателя, узнаете его, можетъ быть, лучше, чѣмъ его близкіе, узнаете изъ нихъ болѣе, чѣмъ изъ всей его обстановки, трудолюбиво составленной біографіи, болѣе даже, чѣмъ изъ посмертной переписки, ибо въ письмахъ человѣкъ пишетъ иногда подъ вліяніемъ минуты, иногда шутки, и шутка принимается за серьезное».

Эти скептическія слова нашего маститаго поэта я не самъ слышалъ. Я вычиталъ ихъ въ недавно вышедшемъ первомъ томѣ сочиненій Достоевскаго, состоящемъ, главнымъ образомъ, изъ біографіи покойнаго, составленной «бывшими близкими людьми», О. Ѳ. Миллеромъ и Н. Н. Страховымъ, и переписки, то-есть именно изъ того, что А. Н. Майковъ считаетъ ненужнымъ, безполезнымъ, неудовлетворительнымъ. Но правъ-ли г. Майковъ въ своемъ скептицизмѣ? Дѣйствительно-ли воспоминанія близкихъ людей такъ никуда не годятся? Я думаю, что это скептицизмъ неосновательный.

Біографы, составители воспоминаній, издатели писемъ и проч. дѣйствительно люди крайне опасные, потому что могутъ, по неразумѣнію или преднамѣренно, пересаливать въ одномъ отношеніи, недосаливать въ другомъ, ярко освѣщать черты неважныя или второстепенныя и затушевывать черты характерныя. Справедливо и то замѣчаніе г. Майкова, что біографы часто «болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его». Есть особая порода людей, страдающихъ, если можно такъ выразиться, хроническимъ біографическимъ зудомъ. Это своего рода вороны, высматривающіе трупъ какой-нибудь знаменитости, дабы на немъ предаться нѣкоторой біографической оргіи и исклевать его до такой степени, что потомъ его и узнать нельзя. Читающая публика наслушалась недавно этихъ господъ вдоволь, по случаю смерти Тургенева. Для подобныхъ людей на первомъ планѣ стоятъ они сами, а вовсе не знаменитый покойникъ, къ которому имъ желательно пристегнуться въ качествѣ «близкихъ», пользовавшихся его расположеніемъ, лично слыхавшихъ отъ него ту или другую біографическую подробность и проч. Понятно, что эти господа, одолѣваемые біографическимъ зудомъ, легко упускаютъ изъ виду не только предѣлы важнаго и не важнаго, но даже границы простого приличія, простого здраваго смысла. Одинъ изъ нихъ разсказалъ о Тургеневѣ, напримѣръ, такой анекдотъ: Ѣхалъ Иванъ Сергѣевичъ въ лодкѣ съ дѣвицей, которая была къ нему очень расположена, и къ которой самъ онъ былъ очень расположенъ; чуть-ли она не невѣстой его была; но на бѣду съ нимъ случилось въ лодкѣ одно маленькое, но конфузное «несчастіе» во вкусѣ Ольде-Кока; въ результатѣ женихъ и невѣста, выйдя на берегъ, съ молчаливымъ конфузомъ разошлись въ разныя стороны и больше не видались. Анекдотъ этотъ не только былъ разсказанъ единожды, но перешелъ на страницы другихъ изданій и комментировался въ томъ смыслѣ, что, не случись «несчастія» въ лодкѣ, судьба Тургенева, а, можетъ быть и характеръ его творчества приняли бы совсѣмъ другое направленіе. Понятно, сколь правъ г. Майковъ по отношенію къ подобнымъ «близкимъ». Вы спрашиваете у нихъ интимныхъ подробностей духа, картинъ его печалей и радостей, а вамъ отвѣчаютъ: видите-ли, ѣхалъ онъ разъ въ лодкѣ и вдругъ, можете себѣ представить, «несчастіе»...

И всетаки я не раздѣляю нетерпимости г. Майкова по отношенію къ близкимъ людямъ, пишущимъ біографіи и воспоминанія о знаменитыхъ покойникахъ. Я не рѣшусь даже сказать, чтобы біографы, лишенные разума, были совсѣмъ ненужны. Они могутъ, среди кучи разнаго никому ненужнаго хлама, случайно и безхитростно сообщить и что-нибудь въ самомъ дѣлѣ важное, хотя должно всетаки сказать, что количество такихъ біографовъ далеко превышаетъ потребность въ нихъ. А затѣмъ не такъ же ужъ непремѣнно плохо устраиваются знаменитые люди, что между близкими къ нимъ нѣтъ ни одного путнаго человѣка. Близкій человѣкъ можетъ, какъ и всякій другой, серьезно вдумываться въ духовный портретъ покойника, углубляться въ его творенія и находить тамъ отвѣты на важнѣйшіе изъ вопросовъ, какіе только могутъ быть предъявлены относительно общественнаго дѣятеля. А въ близости своей къ нему, въ своемъ знакомствѣ съ интимными сторонами его жизни онъ можетъ при этомъ почерпнуть сильное орудіе изслѣдованія, недоступное для другихъ. Я думаю, что это до такой степени элементарно, что не подлежитъ подробному доказательству.

Съ другой стороны, однако, воспоминанія близкихъ людей представляютъ часто опасности, г. Майковымъ совсѣмъ не предвидѣнныя. Когда субъектъ, страдающій біографическимъ зудомъ, торопится сообщить, что онъ лично отъ Тургенева слышалъ о «несчастіи» въ лодкѣ или даже самъ тутъ присутствовалъ, такъ что клятвенно можетъ завѣрить, что несчастіе дѣйствительно было, такъ это еще не большая бѣда. Субъектъ

заблуждается, полагая, что онъ сообщилъ значительную біографическую черту, но совершенная ея пустяшность слишкомъ очевидна, чтобы ввести стоющихъ вниманія людей въ обманъ. Субъектъ довелъ до свѣдѣнія читающей публики, что онъ былъ настолько близокъ къ покойному, что тотъ удостоивалъ его своими разсказами о конфузныхъ «несчастіяхъ»; субъектъ удовлетворенъ—и Господь съ нимъ! Онъ «высказалъ болѣе себя, чѣмъ изобразилъ его», но отъ этого никому ни тепло, ни холодно. Но представьте себѣ теперь, что этотъ самый субъектъ желаетъ «высказать себя» нетолько какъ собесѣдника о несчастіяхъ въ Поль-де-Коковскомъ жанрѣ, а какъ дѣятель. Тутъ уже опасности значительно усложняются, потому что репутація покойника и, нѣкоторымъ образомъ, вся судьба его становится въ зависимость не только отъ степени ума и такта біографа, но, кромѣ того, и отъ достоинства того дѣла, которому біографъ служитъ. Если дѣло это чисто и возвышенно, а біографъ обладаетъ достаточнымъ тактомъ, то личность знаменитаго покойника предстанетъ передъ нами въ новомъ, свѣтлѣйшемъ ореолѣ. Если же, напротивъ, дѣло это маленькое, невидное, смутное или просто нехорошее, а біографъ вдобавокъ принадлежитъ къ тѣмъ изъ «близкихъ», отъ которыхъ г. Майковъ справедливо не ждетъ ничего путнаго, то, натурально, онъ только стащитъ покойника съ пьедестала. Можетъ быть, конечно, такъ и должно быть; можетъ быть, знаменитый покойникъ былъ помѣщенъ на пьедесталъ неправильно и, сообщая свои воспоминанія, публикуя переписку и проч., біографъ, самъ того не сознавая, даетъ матеріалы для поправки слишкомъ лестнаго суда людей, не знавшихъ дѣла. Конечно, все это можетъ быть. Но бѣда въ томъ, что при предположенныхъ нами условіяхъ, работа біографа будетъ неизбѣжно отличаться смутностью и всякаго рода пробѣлами и недомолвками. Въ качествѣ человѣка безтактнаго, онъ сообщитъ много лишняго, мелкаго, пустяковаго и просмотритъ много важнаго, а въ качествѣ служителя маленькаго, сумбурнаго или нехорошаго дѣла, признаваемаго имъ, однако, за большое, ясное и хорошее, броситъ на всю дѣятельность покойнаго неправильное освѣщеніе.

Возможны, разумѣется, и разные другіе типы біографій и воспоминаній; но этихъ нехитрыхъ предварительныхъ соображеній съ насъ будетъ достаточно, я думаю, чтобы обратиться къ біографіи Достоевскаго.

Позвольте сначала передать вамъ общее впечатлѣніе, которое оставила эта обширная книга лично во мнѣ, хотя, какъ я имѣю основаніе думать, и какъ вы сами, вѣроятно, согласитесь, отнюдь не во мнѣ одномъ. Біографія открывается слѣдующими громкими словами г. Миллера: «Публика съ нетерпѣніемъ ждетъ жизнеописанія такъ недавно еще схороненнаго «властителя нашихъ думъ» (употребляя выраженіе излюбленнаго Достоевскимъ поэта)». Я, разумѣется, не обратилъ никакого вниманія на эти превыспреннія слова, которыя такъ часто говорились о Достоевскомъ. Но когда я внимательно и съ величайшимъ интересомъ прочелъ всю книгу до послѣдней страницы (на которой, мимоходомъ сказать, совершенно неизвѣстно для чего, напечатано стихотвореніе Дурова «Изъ апостола Іоанна») и потомъ опять вернулся къ началу, то выспреннія слова меня поразили,—поразили, какъ рѣзкій контрастъ со всѣмъ содержаніемъ книги. «Властитель нашихъ думъ», — это вѣдь непремѣнно что-то мощное, и кто признавалъ власть Достоевскаго, тотъ, конечно, ждалъ, что біографія раскроетъ ему великую тайну этой власти или, по крайней мѣрѣ, дастъ полную картину властительнаго духа, покажетъ его во весь могучій ростъ. На самомъ же дѣлѣ, Достоевскій, какъ онъ выступаетъ изъ рамокъ біографіи, составленной гг. Миллеромъ и Страховымъ, можетъ возбуждать только чувство жалости. Дѣло не въ несчастіяхъ его дѣйствительно несчастно сложившейся жизни; не въ томъ, что онъ испыталъ и ужасы каторги, и униженіе творчества изъ-за куска хлѣба. Мы знаемъ примѣры мучениковъ, которыхъ мы не смѣемъ даже жалѣть: столь они возвышенны въ своемъ мученичествѣ. Достоевскій же, и помимо своей внѣшней исторіи, возбуждаетъ жалость, какъ характеръ, какъ умъ, какъ личность. Я совершенно увѣренъ, что къ такому результату придетъ всякій, даже самый горячій поклонникъ Достоевскаго, если онъ внимательно прочтетъ біографію и если, разумѣется, онъ настолько искренній человѣкъ, чтобы не лгать передъ самимъ собой ради какихъ-нибудь побочныхъ, политиканскихъ цѣлей.

Составители біографіи имѣли, повидимому, намѣреніе безхитростно собрать и опубликовать рѣшительно все, относящееся къ Достоевскому. Г. Миллеръ даже очень ворчитъ на тѣхъ, «кто считаетъ письма Достоевскаго или же свои воспоминанія о немъ своею частною собственностью». La propriété c'est le vol! напоминаетъ почтенный біографъ. Надо, однако, признаться, что и въ томъ, что составителямъ удалось добыть отъ собственниковъ, и въ томъ, что они великодушно пожертвовали изъ своей личной собственности на пользу общую, не мало лишняго. Я уже не говорю о томъ, что они,

въ противность увѣщаніямъ г. Майкова, сообщаютъ адресы всѣхъ квартиръ, на которыхъ когда-либо жилъ покойникъ. Не говорю и о той торопливости, съ которою г. Миллеръ ежеминутно выставляетъ самого себя для пополненія чужихъ, не важныхъ сообщеній своими собственными, не важными въ превосходной степени. Вотъ, напримѣръ, братъ Достоевскаго сообщаетъ, что была у нихъ кормилица и разсказывала сказки и «нѣкоторыя сказки казались для насъ очень страшными». Г. Миллеръ къ этому извѣстію прибавляетъ отъ себя въ примѣчаніи: «Такъ какъ онѣ разсказывались въ темнотѣ, то этимъ, можетъ быть, и объясняется то, что Ѳ. М. въ дѣтствѣ боялся темноты (какъ самъ разсказывалъ)». Такихъ наивныхъ пустяковъ разсыпано въ книгѣ многое множество. Но вотъ цѣлый отдѣлъ біографическихъ матеріаловъ, который смѣло можно считать совершенно ненужнымъ. Была у Достоевскаго записная книжка, куда онъ заносилъ отрывочныя замѣчанія, отдѣльныя мысли, даже слова, вообще отмѣтки того, что во время изданія «Дневника писателя» приходило ему мелькомъ на умъ и подлежало развитію въ «Дневникѣ». Эту записную книжку господа составители напечатили. Получается, напримѣръ, слѣдующее: «Я вѣдь толкую о томъ, что, если возможно, бросить совсѣмъ текущее, а невозможно—сократить его до самаго крайняго минимума, до послѣдней нищеты, *прибѣдниться, сѣсть у Европы на дорожкѣ, прося почти милостыньку, а межъ тѣмъ работать у себя на задахъ*, поливать корни, ходить за ними, нѣжить, холить, все для корней, и помнить: Россія, положимъ, въ Европѣ, а главное въ Азіи. Въ Азію! въ Азію!» Подчеркнутыя мною слова содержатъ въ себѣ какую-то мысль, очевидно очень занимавшую Достоевскаго, потому что черезъ нѣсколько строкъ читаемъ: «Мужикъ, пьянство, безсудность: пропадай все, буду и я кулакомъ. Правды нѣтъ. Востокъ, Азія, желѣзныя дороги, живемъ для Европы. Экономія. 4 вмѣсто 40, *прибѣдниться, сѣсть на дорожкѣ*. Петръ Великій сдѣлалъ бы». А на слѣдующей страницѣ опять: «Намъ нужно *прибѣдниться, сѣсть на дорожкѣ!* а межъ тѣмъ про себя внутри созидаться». Можетъ быть въ этихъ таинственныхъ словахъ заключается какая-нибудь очень цѣнная мысль, но въ такомъ видѣ, какъ она есть, она имѣетъ рѣшительно такое же значеніе, какъ «проба пера, проба пера, проба пера изъ гусинаго крыла». Потому что, вѣдь, и въ самомъ дѣлѣ это не больше, какъ проба пера и печатать ее, очевидно, не представлялось никакой надобности.

Нельзя, однако, сказать, чтобы записная книжка Достоевскаго, ничего не уясняла. Но то, что она уясняетъ, способно возбудить, именно, только жалость къ высоко-талантливому покойникъ. Она уясняетъ поразительную неподготовленность Достоевскаго къ той роли учителя и «властителя думъ», которая ему такъ усердно доселѣ навязывается, и которую онъ, къ несчастію, и самъ очень хотѣлъ играть. На поляхъ записной книжки значатся разныя рубрики: «финансы», «конституція», «землевладѣніе», опять «финансы», «экономическія реформы» и проч. Подъ рубрикой «землевладѣніе» читаемъ слѣдующую удивительную мысль: «главная причина, почему помѣщики не могутъ сойтись съ народомъ и достать рабочихъ—это потому, что они не русскіе, а оторванные отъ почвы европейцы». Встрѣчаются въ записной книжкѣ и вѣрныя и ясныя мысли, но поразительно тотъ наивно дѣловой видъ, съ которымъ «властитель думъ» записываетъ подъ рубрикой «вѣчныя экономическія реформы» такое, напримѣръ, открытіе: «Облегчить народъ, напримѣръ, уничтоженіемъ налога на соль. Гдѣ взять денегъ? Для этого непремѣнно и неотложно обложить налогомъ высшіе богатые классы и тѣмъ снять тягости съ бѣднаго класса». Записывая эту мысль (а то вѣдь забудешь, пожалуй), Достоевскій, можетъ быть, былъ серьезно увѣренъ, что онъ выдумалъ такую новую штуку, до которой ни одинъ европеецъ не додумался. Или вотъ, подъ совсѣмъ неподходящей рубрикой «о финансахъ»: «Говорятъ, наше общество не консервативно. Правда, самый историческій ходъ вещей (съ Петра) сдѣлалъ его не консервативнымъ. А главное: оно не видитъ, что сохранять... Все у него отнято, до самой законной инициативы. Всѣ права русскаго человѣка — отрицательныя. Дайте ему кое что положительное, и вы увидите, что онъ будетъ тоже консервативенъ. Вѣдь было бы что охранять. *Не консервативенъ онъ потому, что нечего охранять* (курсивъ Достоевскаго). Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, это вѣдь не одна только фраза у насъ, а, къ несчастію, самое дѣло». Въ словахъ этихъ очень ясно и наглядно выражена очень вѣрная мысль, но каково же было шатаніе властителя думъ, если, имѣя эту мысль и въ головѣ, и въ записной книжкѣ, онъ неустанно твердилъ, что надо «искать себя въ себѣ», а всякія тамъ реформы и «права»—чисто внѣшній вздоръ! Скажутъ, можетъ быть, что нечего иронизировать насчетъ «властителя думъ», всякій, дескать, знаетъ, что не познаніями своими «властвовалъ» Достоевскій, а чѣмъ-то другимъ. Я-то очень хорошо это знаю, но незачѣмъ тогда и навязывать Достоевскому роль представителя политической про-

граммы, незачѣмъ ему и самому было безпокоить себя такими вещами, какъ «финансы», «экономическія реформы», «конституція», «политика» и проч. Достовѣрно, во всякомъ случаѣ, что записная книжка Достоевскаго, наполовину ничего не говоритъ уму и сердцу читателя, кромѣ, развѣ, «пробы пера», а наполовину рисуетъ покойника совсѣмъ не со стороны его «властительности». Человѣкъ, на склонѣ дней своихъ не выработавшій себѣ сколько-нибудь твердыхъ и серьезныхъ политическихъ убѣжденій и, однако, разсуждающій на политическія темы — вотъ кто авторъ этой записной книжки. Можетъ быть, это и хорошо съ какой-нибудь неизвѣстной мнѣ точки зрѣнія, но мощнаго духа въ записной книжкѣ все-таки нѣтъ. Пойдемъ искать его въ другихъ отдѣлахъ біографіи.

Въ жизни писателя наиболѣе можетъ быть любопытенъ тотъ моментъ, когда въ немъ впервые проявляется жажда литературной дѣятельности и формируются его литературные вкусы. Въ Достоевскомъ они проснулись рано. Его первый романъ «Бѣдные люди», повидимому, задуманъ и начатъ еще въ инженерномъ училищѣ. Мы имѣемъ цѣлый рядъ относящихся къ этому времени писемъ его къ брату Михаилу, съ которымъ онъ всегда былъ съ самыхъ дружныхъ отношеніяхъ. Семнадцатилѣтній юноша, между прочимъ, пишетъ: «Не знаю, стихнутъ-ли когда мои грустныя идеи? Одно только состояніе и дано въ удѣлъ человѣку: атмосфера души его состоитъ изъ слізнія неба съ землей; какое же противозаконное дитя человѣкъ; законъ духовной природы нарушенъ. Мнѣ кажется, что міръ нашъ — чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслью. Мнѣ кажется, міръ принялъ значеніе отрицательное и изъ высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись въ эту картину лицо, не раздѣляющее ни эффекта, ни мысли съ цѣлымъ, словомъ, совсѣмъ постороннее лицо, что же выйдетъ? Картина испорчена и существовать не можетъ!» И дальше, въ томъ же письмѣ: «У меня есть прожектъ сдѣлаться съумасшедшимъ. Пусть люди бѣсятся, пусть лѣчатъ, пусть дѣлаютъ умнымъ. Ежели ты читалъ всего Гофмана, то, навѣрно, помнишь характеръ Альбани. Какъ онъ тебѣ нравится? Ужасно видѣть человѣка, у котораго во власти непостижимое, человѣка, который не знаетъ, что дѣлать ему, играетъ игрушкой, которая, есть Богъ! Часто-ли ты пишешь къ Куманинымъ?» и т. д. Эта придуманная, а не продуманная и не прочувственная, фальшивая, сумасбродная тирада не одиноко стоитъ въ письмахъ Достоевскаго къ брату. А вотъ образчикъ его литературно-критическихъ сужденій изъ другого, уже позднѣйшаго письма: «Гомеръ (баснословный человѣкъ, можетъ быть, какъ Христосъ, воплощенный Богомъ и къ намъ посланный) можетъ быть параллельно только Христу, а не Гете. Вникни въ него, братъ, пойми Иліаду, прочти ее хорошенько (ты вѣдь не читалъ ея, признайся). Вѣдь въ Иліадѣ Гомеръ далъ всему древнему міру организацію и духовной, и земной жизни, совершенно въ такой же силѣ, какъ Христосъ новому. Теперь поймешь-ли меня? Victor Hugo какъ лирикъ, чисто съ ангельскимъ характеромъ, съ христіанскимъ, младенческимъ направленіемъ поэзіи, и никто не сравнится съ нимъ въ этомъ, ни Шиллеръ (сколько ни христіанскій поэтъ Шиллеръ), ни лирикъ Шекспиръ, ни Байронъ, ни Пушкинъ. Я читалъ его сонеты на французскомъ. Только Гомеръ съ такою же непоколебимою увѣренностью въ признаніи, съ младенческимъ вѣрованіемъ въ Бога поэзіи, которому служитъ онъ, похожъ въ направленіи источника поэзіи на Victor'а Hugo, но только въ направленіи, а не въ мысли, которая дана ему природою, и которую онъ выражалъ, я и не говорю про это. Державинъ, кажется, можетъ стоять выше ихъ обоихъ въ лирикѣ».

Я отнюдь не забываю, что весь этотъ наборъ громкихъ словъ пишетъ юноша 17—18-ти лѣтъ, въ каковомъ возрастѣ въ доброе старое время было почти обязательно разглагольствовать на разныя романическія темы, прикидываться разочароваммымъ жизнью и проникающимъ въ самую глубокую глубь вещей. Теперь эта мода уже устарѣла, но тогда Достоевскій былъ подобенъ множеству другихъ юношей, тоже безъ всякаго резона и пониманія толковавшихъ о какомъ-то «стенаньи оцѣпенѣлаго міра», о томъ, что «ни грустный романъ, ни укоръ не сжимаютъ моей груди» и прочее, тому подобное. Любопытно, однако, что біографы, придаютъ какое-то значеніе всему этому напускному сумбуру. Вышеприведенныя размышленія о «чистилищѣ духовъ небесныхъ» и о томъ, что Державинъ, «кажется, выше Гомера и Victor'а Hugo», читатель получаетъ въ двухъ экземплярахъ: сначала ихъ приводитъ г. Миллеръ, а потомъ напечатаны и самыя письма цѣликомъ.

Но вотъ лѣтъ съ 22-хъ (съ 1843 года) въ письмахъ къ брату начинаетъ звучать совершенно опредѣленная нота, не имѣющая ничего общаго со «стенаніями оцѣпенѣлаго міра». Достоевскій предлагаетъ брату вмѣстѣ съ нимъ и съ нѣкимъ Поттономъ перевести и издать романъ Евгенія Сю «Матильда». Надо замѣтить, что «Матильда» эта имѣла предварительную исторію. Часть ея уже была переведена и издана какимъ-

то Серчевскимъ. Потомъ «нѣкто Черноглазовъ купилъ за 700 руб. асс. у Серчевскаго право продолжать переводъ «Матильды» и уже переведенную первую часть». Но, удостовѣряетъ Достоевскій, «Черноглазовъ—un homme qui ne pense à rien, не имѣетъ ни денегъ, ни смысла. Переводъ же у него есть. Мы объявимъ о переводѣ, когда половина будетъ напечатана, и Черноглазовъ погибъ». При этомъ Достоевскій дѣлаетъ подробный разсчетъ барышей. Сообщаетъ онъ также, что сидитъ за переводомъ романа Бальзака: «самое крайнее мнѣ дадутъ за него 350 р. асс.» Дѣло «Матильды» почему-то лопнуло, но Достоевскій вслѣдъ затѣмъ предлагаетъ брату перевести и издать «Донъ-Карлоса» Шиллера, опять очень тщательно соображая барыши изданія. Потомъ онъ подбиваетъ издать нѣсколько пьесъ Шиллера, прибавляя: «малѣйшій успѣхъ и барышъ удивительный». Въ томъ же письмѣ находимъ первыя свѣдѣнія о «Бѣдныхъ людяхъ». Свѣдѣнія, впрочемъ, довольно скудныя: «Я кончаю романъ въ объемѣ Eugénie Grandet. Романъ довольно оригинальный... Я чрезвычайно доволенъ романомъ моимъ. Не нарадуюсь. Съ него-то я деньги навѣрное получу». Ни о какихъ «стенаніяхъ» и тому подобныхъ ужасахъ нѣтъ уже и помину. Нѣтъ даже сообщеній о духовной сторонѣ дѣла, о томъ, какъ писались «Бѣдныя люди», «Голядкинъ» и другія произведенія этого времени, и что хотѣлъ ими сказать авторъ. Молодому, начинающему писателю, казалось бы, естественно было носиться съ тѣми идеями и чувствами, которыя онъ хочетъ воплотить въ образахъ. Въ письмахъ къ другу-брату можно бы было даже ожидать нѣкотораго пересола, нѣкоторой надоѣдливости въ этомъ отношеніи. Но ничего подобнаго нѣтъ. Мы слышимъ только одно: «Мнѣ въ «Отечеств. Записки» всегда доступъ; я всегда съ деньгами; а вдобавокъ пусть выйдетъ мой романъ, положимъ, въ августовскомъ номерѣ или въ сентябрѣ, и въ октябрѣ перепечатываю его на свой счетъ, уже въ твердой увѣренности, что романъ раскупятъ тѣ, которые покупаютъ романы. Къ тому же объявленія мнѣ не будутъ стоить ни гроша».—«Мой Голядкинъ пойдетъ въ 1,500 р. асс.» —«Самый малый доходъ можетъ дать на одну мою часть 100—150 руб. въ мѣсяцъ». Это назойливо-непріятная нота осложняется только однимъ еще элементомъ—восторгами передъ самимъ собой и передъ своими успѣхами.

«Ну, братъ, никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такой апогеи, какъ теперь. Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездной народа самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить своимъ посѣщеніемъ, а графъ С. рветъ на себѣ волосы. Панаевъ объявилъ ему, что есть такой талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ... Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоев. то-то сказалъ, Достоев. то-то хочетъ дѣлать...»

«Некрасовъ затѣялъ «Зубоскала»—прелестный юмористическій альманахъ, къ которому объявленіе написалъ я. Объявленіе надѣлало шуму, ибо это первое явленіе такой легкости и такого юмору въ подобнаго рода вещахъ... За него взялъ я 20 рублей серебромъ. На дняхъ, не имѣя денегъ, зашелъ я къ Некрасову. Сидя у него, у меня пришла идея романа въ 9-ти письмахъ. Пріѣдя домой, я написалъ этотъ романъ въ одну ночь; величина его ½ печатнаго листа. Утромъ отнесъ къ Некрасову и получилъ за него 125 р. асс., то-есть мой листъ въ «Зубоскалѣ» цѣнится въ 250 р. асс.»

«У меня бездна идей; и нельзя мнѣ разсказать что-нибудь изъ нихъ хоть Тургеневу, напримѣръ, чтобы назавтра почти во всѣхъ углахъ Петербурга не знали, что Достоевскій пишетъ вотъ то-то и то-то. Ну, братъ, еслибы я сталъ исчислять тебѣ всѣ успѣхи мои, то бумаги не нашлось бы столько. Я думаю, что у меня будутъ деньги».

«Явилась цѣлая тьма новыхъ писателей. Иные мнѣ соперники. Изъ нихъ особенно замѣчательны Герценъ и Гончаровъ. 1-й печатался, второй начинающій и не печатавшійся нигдѣ. Ихъ ужасно хвалятъ. Первенство остается за мной покамѣсть и надѣюсь, что навсегда».

«Буду пользоваться обстоятельствами и пущу повѣсть на драку, кто больше? Стащу-то я денегъ ужъ навѣрное порядочно».

«Года черезъ два приступлю къ полному изданію и тѣмъ чрезвычайно выиграю, ибо возьму деньги два раза и сдѣлаю себѣ извѣстность».

Довольно, я думаю. Скучно и тяжело выписывать эти наивногрубые восторги и разсчеты, конечно, очень мало способствующіе удержанію Достоевскаго на пьедесталѣ «властителя нашихъ думъ». Не забудьте, что это пишетъ еще совсѣмъ молодой человѣкъ, которому надлежитъ, казалось бы, кипѣть идеальными порывами; тѣмъ болѣе, что этотъ *еще* молодой человѣкъ есть *уже* авторъ «Бѣдныхъ людей». Поневолѣ приходитъ въ голову вопросъ, съ которымъ восторженный Бѣлинскій обратился къ Достоевскому по поводу «Бѣдныхъ людей»: «Да вы понимаете-ли сами, что вы это такое написали?» Но господа біографы даже не догадываются, что тащутъ «властителя» съ пьедестала и спокойно печатаютъ по два раза (сначала въ статьѣ г. Миллера, а потомъ въ самыхъ

письмахъ) почти всѣ вышеприведенныя выходки и еще много другихъ, не пытаясь ихъ объяснить. Они признаютъ, впрочемъ, фактъ огромнаго самомнѣнія Достоевскаго, но находятъ, что оно имѣетъ свое оправданіе въ его огромныхъ силахъ. Кто говоритъ! Художественныя силы Достоевскаго были, конечно, очень большія, далеко выходящія изъ ряда, но есть разные способы проявленія и выраженія самомнѣнія, есть и разные способы утилизаціи большихъ силъ. И, повторяю, все вышеприведенное отнюдь не рисуетъ Достоевскаго съ возвышенной стороны, потому что жажда карьеры, повидимому, была въ немъ самодовлѣющею; литературная карьера не представлялась ему ступенью къ болѣе широкой дѣятельности. Ничего подобнаго нѣтъ, по крайней мѣрѣ, въ письмахъ къ брату (а другихъ писемъ за это время въ біографическомъ сборникѣ не имѣется). Можно, пожалуй, сказать, что успѣхъ просто вскружилъ голову молодому человѣку. Отчасти это вѣрно, но дѣло въ томъ, что Бѣлинскій (а за нимъ и другіе), восторгнувшись сверхъ всякой мѣры «Бѣдными людьми», называлъ послѣдующія произведенія Достоевскаго «нервической чепухой» и говорилъ, что «каждое его новое произведеніе—новое паденіе». Достоевскій и самъ, какъ видно изъ писемъ, понималъ, что послѣ внезапнаго подъема съ «Бѣдными людьми», репутація его пошла на убыль. Но это не мѣшало ему оставаться при непомѣрно высокомъ мнѣніи о себѣ и высчитывать рубли серебряные и рубли ассигнаціями. Что касается до этого непріятно коробящаго, постояннаго перевода своихъ произведеній на рубли, то ему есть, повидимому, объясненіе въ давно всѣмъ извѣстной бѣдности Достоевскаго, когда онъ бѣдствовалъ до послѣдней крайности. Но тотъ періодъ, о которомъ у насъ до сихъ поръ шла рѣчь, былъ въ матеріальномъ отношеніи вовсе недуренъ. Будучи одинокимъ человѣковъ, онъ получалъ 4,000 въ годъ отъ опекуна, да, сверхъ того, жалованье, а по выходѣ въ отставку—не малый по тогдашнему времени литературный гонораръ. Правда, онъ велъ очень безпорядочную жизнь, но всетаки, значитъ, не бѣдностью были выработаны эти грубые разсчеты, наивно чередующіеся съ восторгами передъ самимъ собой.

Таковъ былъ Достоевскій въ молодые годы, въ пору торжества и радужныхъ надеждъ. Какъ же отразились или осложнились эти его качества въ болѣе зрѣломъ возрастѣ и въ годину печали? Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ ни одного его письма съ каторги, и, вообще, весь этотъ періодъ освѣщенъ только отраженнымъ свѣтомъ тѣхъ Wahrheit und Dichtung, которыя даются «Записками изъ мертваго дома», да позднѣйшими воспоминаніями Достоевскаго, не всегда, какъ увидимъ, заслуживающими довѣрія. Но съ возвращенія изъ каторги, съ 1854 года, имѣется уже цѣлый рядъ писемъ къ братьямъ, къ барону Врангелю, къ А. Н. Майкову. Въ одномъ изъ писемъ къ барону Врангелю (изъ Семипалатинска), между прочимъ, читаемъ: «Надѣюсь написать романъ получше «Бѣдныхъ людей». Вѣдь если позволятъ печатать (а я не вѣрю, слышите: не вѣрю, чтобы этого нельзя было выхлопотать), вѣдь это гулъ пойдетъ, книга раскупится, доставитъ мнѣ деньги, значеніе, обратитъ на меня вниманіе правительства, да и возвращеніе придетъ скорѣй». Тутъ же Достоевскій проситъ барона Врангеля передать его письмо генералу Тотлебену (нынѣ графу), съ которымъ онъ былъ когда-то знакомъ: «Отправьтесь къ нему лично и отдайте ему письмо мое наединѣ. Вы по лицу его тотчасъ увидите, какъ онъ его принимаетъ. Если дурно, то и дѣлать нечего... Если же вы по лицу его увидите, что онъ займется мною и выкажетъ много участія и доброты,—тогда будьте съ нимъ совершенно откровенны; прямо, отъ сердца войдите въ дѣло; разскажите ему обо мнѣ и скажите ему, что его *слово* теперь много значитъ, что онъ могъ бы попросить за меня у Монарха, поручиться (какъ знающій меня) за то, что я буду впередъ хорошимъ гражданиномъ, и вѣрно ему не откажутъ... Нельзя-ли будетъ пустить въ ходъ стихотвореніе? Я читалъ въ газетахъ, что на обѣдѣ Майковъ говорилъ ему стихи... Ангелъ мой! не оставляйте меня, не доводите меня до отчаянія!... Ради Христа, поговорите съ братомъ о денежныхъ дѣлахъ моихъ. Уговорите его помочь мнѣ въ послѣдній разъ. Поймите, въ какомъ я положеніи. Не оставляйте меня. Вѣдь такія обстоятельства, какъ мои, только разъ въ жизни и бываютъ. Когда же и выручать друзей, какъ не въ такое время».

Обстоятельства Достоевскаго были въ это время, дѣйствительно очень критическія: онъ хлопоталъ о дальнѣйшемъ облегченіи своей участи и собирался жениться. *Такая* комбинація, дѣйствительно, «только разъ въ жизни» съ нимъ и была. Но, увы! не разъ и не десять разъ приходилось ему еще просить того или другого «ангела» или «единственнаго» выручить его «въ послѣдній разъ». Я не буду дѣлать выписокъ. Письма Достоевскаго переполнены подобными просьбами, выраженными часто въ такихъ формахъ, что вчужѣ обидно становится за писателя, составляющаго одну изъ гордостей русской литературы. Это обидное чувство, впрочемъ, очень сложно. Иногда Достоевскій попадалъ въ тяжелыя условія по причинамъ, которыя

дѣлаютъ ему только честь. Такъ, взявъ на себя послѣ смерти брата Михаила, его долги, онъ долженъ былъ буквально бѣгать отъ кредиторовъ, испытывая при этомъ не мало всякаго рода униженій. Но иногда ему приходилось туго отъ собственнаго его легкомыслія и слабости. Такъ ему случалось заграницей играть въ рулетку, причемъ онъ то выигрывалъ до 10,000 франковъ, то спускалъ все, такъ что приходилось нести женино платье въ закладъ. Но независимо отъ разнообразія мотивовъ его постоянныхъ просьбъ о помощи «въ послѣдній разъ», крайне тяжелое впечатлѣніе производитъ тонъ этихъ просьбъ и сопроваждающіе ихъ разсчеты: сколько Тургеневу платятъ въ журналахъ за листъ и сколько ему, Достоевскому, сколько стоитъ листъ «Русскаго Вѣстника» и сколько—листъ «Зари» или «Свѣточа» и проч. Непріятнѣе всего, можетъ быть, то, что изъ этого же сомнительнаго источника Достоевскій черпаетъ и мѣрило для нравственной оцѣнки людей. Такъ однажды онъ пишетъ: «Катковъ такой человѣкъ, что я очень боюсь теперь, чтобы онъ, припомнивъ прошлое, не отказался высокомѣрно теперь отъ предлагаемой мною повѣсти и не оставилъ меня съ носомъ» *). А черезъ нѣсколько времени, когда г. Катковъ прислалъ денегъ, Достоевскій восклицаетъ: «Что за превосходный человѣкъ! Это съ сердцемъ человѣкъ!»

Вы видѣли, что наклонность переводить плоды своего вдохновенія и свои отношенія къ людямъ на рубли была въ Достоевскомъ и въ то время, когда острые когти нужды еще его не укротили. Но принимая даже всѣ поправки и смягченія, какія только могутъ быть сдѣланы въ виду послѣдующихъ тяжелыхъ условій жизни Достоевскаго, вы всетаки напрасно будете искать тутъ чего-нибудь «властительнаго», возвышеннаго, сильнаго. Несчастный человѣкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ слабый человѣкъ, человѣкъ, котораго жалко—вотъ самое благопріятное для Достоевскаго сужденіе, какое можетъ быть составлено на основаніи его писемъ; самое благопріятное, потому что болѣе строгій судья, и особенно изъ тѣхъ, которые говорятъ: «ищи себя въ себѣ», можетъ найти обильные матеріалы для гораздо болѣе жестокаго приговора...

*) Передъ этой фразой стоитъ длинное многоточіе, по всѣмъ видимостямъ замѣщающее какіе-то нелестные отзывы о г. Катковѣ. Такихъ многоточій въ письмахъ довольно много. Съ какой же стати господа біографы ворчатъ на людей, удерживающихъ при себѣ автографы Достоевскаго или воспоминанія о немъ, когда сами распоряжаются съ его письмами такъ безцеремонно? Почему, напримѣръ, они оставили при себѣ полный отзывъ Достоевскаго о г. Катковѣ?

Но мимо все это. Достоевскій вѣдь былъ человѣкъ идеи. Пусть бы онъ былъ еще болѣе слабъ и даже прямо жалокъ въ своихъ личныхъ житейскихъ отношеніяхъ; есть область, гдѣ онъ безупречно чистъ и силенъ—область мысли и общественной дѣятельности. Тутъ-то онъ и былъ «властителемъ нашихъ думъ». Желательно, конечно, чтобы люди не раздвоялись, чтобы вожди духовной сферы и въ своихъ житейскихъ дѣлахъ являли образцы высокаго и мощнаго. Но что же дѣлать: Достоевскій не первый и не послѣдній изъ тѣхъ, въ чьей груди живутъ «zwei Seelen». Онъ, во всякомъ случаѣ, побывалъ на каторгѣ и уже тѣмъ самымъ засвидѣтельствовалъ, что было въ немъ нѣчто и кромѣ разсчета рублей и самомнѣнія. Независимо отъ каторги, онъ былъ писатель, и притомъ не довольствовался въ своей литературной дѣятельности удовлетвореніемъ только своей личной потребности творчества, нѣтъ, онъ былъ проводникомъ идей, какъ въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ, такъ и въ невидной, черной журнальной работѣ. Четыре раза («Время», «Эпоха», «Гражданинъ», «Дневникъ писателя») выступалъ онъ на журнальное поприще, и здѣсь-то и надо искать матеріаловъ для пьедестала «властителя нашихъ думъ»...

Такъ скажете вы, можетъ быть; но вы не потребуете отъ меня анализа идей и характера творчества Достоевскаго. Это не входитъ въ мою теперешнюю задачу, да и было уже сдѣлано въ вашемъ журналѣ, въ статьѣ «Жестокій талантъ». Я долженъ довольствоваться исключительно матеріалами біографіи. И, къ сожалѣнію, что касается идейной стороны, господа біографы сдѣлали все возможное, чтобы ничего въ этомъ отношеніи не разъяснить и все спутать. Единственный уловимый результатъ всей ихъ работы опять-таки чисто отрицательный: титулъ «властителя» не идетъ къ Достоевскому. По крайней мѣрѣ, біографы такъ расположили и освѣтили свой матеріалъ, что и въ этомъ отношеніи знаменитый покойникъ можетъ возбуждать только жалость.

Біографовъ два. Г. Миллеръ разсказываетъ исторію Достоевскаго до 1861 г., когда Достоевскій основалъ, вмѣстѣ съ братомъ, журналъ «Время»—разсказываетъ по матеріаламъ, въ значительной части тутъ же, въ этой же біографіи, напечатаннымъ полностью. Г. Страховъ сообщаетъ дальнѣйшую исторію, главнымъ образомъ, по своимъ личнымъ воспоминаніямъ. Сообразно этому различествуютъ и пріемы біографовъ съ внѣшней стороны. Г. Миллеръ, собственно говоря, не пишетъ, а жуетъ, заставляя васъ по два раза читать письма

Достоевскаго и излагая свой предметъ какъ бы съ нѣкоторымъ косноязычіемъ. Разсказъ г. Страхова, напротивъ, отличается литературными достоинствами. Но по внутреннему содержанію обѣ эти половины біографіи имѣютъ въ себѣ много общаго. И г. Миллеръ, и г. Страховъ въ точности исполняютъ пророчество г. Майкова—«болѣе высказывая себя, нежели изображая его». Оба хлопочутъ pro domo sua. Г. Миллеръ все не можетъ забыть, какъ неласково отнесся къ его первому литературному произведенію Добролюбовъ и, разсказавъ эту исторію (безъ именъ, впрочемъ), прибавляетъ: каково же было жить въ такое время Достоевскому! Г. Страховъ тоже не можетъ забыть, что по случаю одной его статьи во «Времени» была заподозрѣна его благонамѣренность; поэтому онъ обязательно сообщаетъ, что былъ воспитанъ въ патріотическихъ чувствахъ и всегда писалъ очень хорошія статьи противъ нигилистовъ, что статьи эти хвалили и Аполлонъ Григорьевъ, и Достоевскій и проч., и проч. Все это довольно смѣшно и надоѣдливо, но большой бѣды еще не составляетъ. Бѣда и не въ томъ, что оба біографа желаютъ воспользоваться случаемъ для возвеличенія своего направленія. Это дѣло, пожалуй, законное, но надо умѣть его дѣлать, а этого-то умѣнья у біографовъ и не хватаетъ. Прежде всего, самое это ихъ направленіе, несмотря на разныя многословныя разъясненія, остается двухсмысленнымъ и неопредѣленнымъ, потому что нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, видѣть что-нибудь опредѣленное въ такой, напримѣръ, вѣроятно, очень глубокомысленной фразѣ г. Страхова: «Что либералъ по сущности дѣла долженъ быть въ большинствѣ случаевъ консерваторомъ, а не прогрессистомъ и ни въ какомъ случаѣ не революціонеромъ—это едва-ли многіе знаютъ и ясно понимаютъ. Такой настоящій либерализмъ Ѳедоръ Михайловичъ сохранялъ до конца своей жизни, какъ долженъ его сохранять всякій просвѣщенный и не ослѣпленный человѣкъ». Что касается пониманія біографами чужихъ направленій и умоположеній, то образчикомъ можетъ служить слѣдующее разсужденіе г. Миллера. Нужно ему доказать неустойчивость мнѣній Бѣлинскаго. Пожалуй, тутъ и доказывать нечего, потому что кто же не знаетъ, что «у Бѣлинскаго одновременно сказывались различныя теченія мысли». Но г. Миллеръ вспоминаетъ по этому случаю разсказъ Достоевскаго о томъ, какъ Бѣлинскій любилъ смотрѣть на строившуюся тогда николаевскую желѣзную дорогу и этимъ «отводить себѣ душу»; а затѣмъ прибавляетъ уже отъ себя: «Подобныя восторженныя отношенія къ капиталистическому предпріятію, конечно, мудрено бы было найти у истаго соціалиста». Выходитъ звучно, рѣшительно и неумно. Не говоря о томъ, въ какой мѣрѣ именно Николаевской дорогѣ приличествуетъ наименованіе «капиталистическаго предпріятія», г. Миллеръ немножко забываетъ, что всякая желѣзная дорога есть улучшенный путь сообщенія, независимо отъ того, капиталистическое она предпріятіе или иное. Весьма поэтому простительно было даже «истому соціалисту» радоваться въ бездорожные сороковые годы тому, что онъ можетъ быстро получать письма, книги, газеты, да и самъ съѣздить изъ Петербурга въ Москву или обратно. Столь простое объясненіе противно глубокому уму г. Миллера; веревка, говоритъ онъ, пустяки, «веревка—вервіе простое». А, впрочемъ, онъ и относительно «вервія» не очень силенъ. Не мѣшало бы ему знать, что нынѣшній соціализмъ и соціализмъ временъ Бѣлинскаго разнствуютъ; пусть онъ, напримѣръ, припомнитъ отношеніе одного изъ тогдашнихъ учителей соціализма, Сенъ-Симона, къ улучшеннымъ путямъ сообщенія вообще и роль сенъ-симонистовъ Перейръ въ постройкѣ французскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Столь глубокомысленно понимая свое собственное и чужія направленія, біографы, естественно, путаются въ своемъ глубокомысліи и тискаютъ, и комкаютъ бѣднаго Достоевскаго безъ всякой церемоніи. Въ этомъ, впрочемъ, имъ значительно помогаетъ самъ Достоевскій, какъ прямо смутностью многихъ своихъ взглядовъ, такъ и косвенно тѣмъ, что пристрастился къ воспоминаніямъ тогда, когда въ немъ значительно ослабѣла самая способность воспоминанія. Больной, раздраженный, страдавшій эпилепсіей, самъ часто жаловавшійся на слабость памяти, онъ въ послѣднее время своей жизни охотно обращался къ прошлому и часто не только не вѣрно освѣщалъ свои и чужіе поступки, слова и мысли, но просто говорилъ то, чего не было, и быть не могло. Всѣ эти воспоминанія, сохранившіяся въ «Дневникѣ писателя» въ позднѣйшихъ письмахъ и въ неизвѣстной мнѣ, часто цитируемой г. Миллеромъ автобіографіи, продиктованной Достоевскимъ для заграничнаго изданія, біографы собираютъ тщательно, но безъ всякой критики.

Надо замѣтить, что біографы отлично знаютъ и не могутъ, конечно, не знать объ этой слабости памяти Достоевскаго. Такъ въ «Дневникѣ писателя» за 1877 годъ Достоевскій разсказываетъ, какъ онъ писалъ «Бѣдныхъ людей»; г. Миллеръ дѣлаетъ при этомъ одну поправку совершенно ничтожнаго свойства (относительно того, сколько

времени прошло съ выхода Достоевскаго въ отставку), замѣчая: «память нѣсколько измѣнила Ѳедору Михайловичу». Но затѣмъ Достоевскій пишетъ: «Въ началѣ зимы я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не писавши». Это уже крупная неправда. Имѣются достовѣрныя свидѣтельства, основанныя, отчасти, на словахъ самаго же Достоевскаго, что «Бѣдныхъ людей» онъ писалъ не «вдругъ», а очень долго, нѣсколько разъ передѣлывалъ ихъ и началъ еще въ инженерномъ училищѣ. Г. Миллеръ спрашиваетъ: «Неужели память могла въ такой степени измѣнить Ѳ. М.? Или можетъ быть онъ уничтожилъ то, что было написано въ училищѣ и принялся съизнова писать «Бѣдныхъ людей», уже по выходѣ въ отставку?» Но и это соображеніе къ дѣлу не идетъ, потому что въ «Дневникѣ писателя» Достоевскій утверждаетъ, будто онъ вдругъ началъ «Бѣдныхъ людей», *до тѣхъ поръ ничего не писавши*. А писалъ онъ въ училищѣ, кромѣ романа, еще драмы, о чемъ самъ тогда же сообщалъ письменно брату. Ясно, что онъ многое просто перезабылъ. Но у людей, съ богатымъ воображеніемъ, автора «Преступленія и наказанія», слабость памяти едва-ли можетъ выразиться только отрицательнымъ результатомъ, забвеніемъ; воображеніе, естественно, должно было пополнять пробѣлы памяти. И, дѣйствительно, Достоевскій часто не только забываетъ то, что было, но и утверждаетъ то, чего не было. Такъ онъ продиктовалъ, между прочимъ, для своей заграничной автобіографіи, что, смягчая присужденное ему по дѣлу Петрашевскаго наказаніе, императоръ Николай «пожалѣлъ въ Достоевскомъ (автобіографія написана въ третьемъ лицѣ) его молодость и *талантъ*». Не говоря о томъ, что Дурову, присужденному къ одинаковому съ Достоевскимъ наказанію, было сдѣлано совершенно такое же смягченіе, объ участіи императора Николая къ таланту Достоевскаго не имѣется рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Весьма возможно, что императоръ пожалѣлъ молодость Достоевскаго, какъ и многихъ другихъ участниковъ въ дѣлѣ Петрашевскаго (между ними онъ былъ, впрочемъ, далеко не младшій, ему было 27 лѣтъ), но чтобы ему былъ даже просто извѣстенъ талантъ Достоевскаго, объ этомъ не знаетъ никто, кромѣ самого Достоевскаго. Ясно, что это незаконный плодъ слабой памяти и сильнаго воображенія. Или, напримѣръ, такой эпизодъ, свидѣтельствующій кстати о довѣрчивости біографовъ. Однажды, полемизируя съ Достоевскимъ, г. Градовскій упомянулъ къ чему-то, что Россія служила политикѣ Меттерниха и что это не хорошо. Достоевскій съ чрезвычайною горячностью возразилъ въ «Дневникѣ», что его учить нечего, что онъ въ свое время сильнѣе и лучше г. Градовскаго осуждалъ меттерниховщину, за что дорого поплатился. Сорвались-ли эти слова у него въ жару полемики въ какомъ-нибудь общемъ смыслѣ или ему тутъ же и вообразилось, что онъ въ самомъ дѣлѣ поплатился за Меттерниха, но только съ тѣхъ поръ онъ на этомъ и утвердился. А съ его словъ уже и г. Миллеръ утверждаетъ, что однимъ изъ обвинительныхъ пунктовъ противъ Достоевскаго по дѣлу Петрашевскаго были разсужденія о томъ, что Россія служитъ политикѣ Меттерниха. Г. Миллеръ не только утверждаетъ это, но и дѣлаетъ выводъ, что разсужденія эти «находились въ несомнѣнной связи съ славянофильскими задатками Достоевскаго». Почему это *несомнѣнно*, то-есть почему только славянофилъ можетъ не одобрить служеніе политикѣ Меттерниха, этого г. Миллеръ, конечно, не знаетъ. Любопытно, однако, что г. Миллеръ пользуется этимъ случаемъ, чтобы подтрунить надъ г. Градовскимъ. Еще любопытнѣе то, что г. Миллеръ самъ говоритъ, что слѣдственное дѣло ничего не говоритъ объ этомъ воображаемомъ преступленіи Достоевскаго. Но этого мало. Ни въ приговорѣ, очень подробно исчисляющемъ вины Достоевскаго, ни въ чьихъ бы то ни было воспоминаніяхъ ни однимъ словомъ не поминаются сужденія о политикѣ Меттерниха, да и самъ Достоевскій до вышесказаннаго полемическаго эпизода никогда объ этомъ не говорилъ. А г. Миллеръ принимаетъ эти слова въ серьезъ...

Обратимся къ отношенію Достоевскаго къ Бѣлинскому и къ его участію въ дѣлѣ Петрашевскаго, къ моментамъ его духовной жизни, безспорно высокой важности, и посмотримъ, что даетъ намъ въ этомъ отношеніи біографія.

Въ одномъ изъ писемъ къ г. Страхову изъ за границы (1871 года) Достоевскій пишетъ: «Бѣлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цѣните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и проклялъ Россію и принесъ ей сознательно столько вреда». Въ слѣдующемъ письмѣ, отвѣчая на возраженіе г. Страхова, Достоевскій выражается еще круче. «Если бы Бѣлинскій, Грановскій и вся эта . . . . . (сволочь, должно быть! la progriété c'est le vol, говоритъ г. Миллеръ, и я не хочу, чтобы эта «сволочь» Достоевскаго была украдена у русскаго читателя) поглядѣли теперь, то сказали бы: «Нѣтъ, мы не о томъ мечтали, нѣтъ, это уклоненіе, подождемъ еще, явится свѣтъ, и воцарится прогрессъ, и человѣче-

ство перестроится на здравыхъ началахъ и будетъ счастливо»! Они никогда бы не согласились, что разъ ступивъ на эту дорогу, никуда больше не придешь, какъ къ коммунѣ и къ Феликсу Піа. Они до того были тупы, что и *теперь* бы, уже послѣ событія, не согласились бы и продолжали мечтать. Я обругалъ Бѣлинскаго болѣе, какъ явленіе русской жизни, нежели какъ лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе — въ неизбѣжности этого явленія. И, увѣряю васъ, что Бѣлинскій помирился бы теперь на такой мысли: «А вѣдь это оттого не удалось коммунѣ, что она всетаки, прежде всего, была французская, т. е. сохраняла въ себѣ заразу національности. А потому надо пріискать такой народъ, въ которомъ нѣтъ ни капли національности, и который способенъ бить, какъ я, по щекамъ свою мать (Россію)». И съ пѣной у рта бросился бы вновь писать поганыя статьи свои, позоря Россію, отрицая великія явленія ея (Пушкина) — чтобъ окончательно сдѣлать Россію *вакантною* націею, способною стать во главѣ общечеловѣческаго дѣла. Іезуитизмъ и ложь нашихъ передовыхъ двигателей онъ принялъ бы со счастьемъ. Вы никогда его не знали, а я зналъ и видѣлъ, и теперь осмыслилъ вполнѣ. Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ христіанство, и, между тѣмъ, никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей всего міра сопоставить со Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздражительности, подлости, а главное, самолюбія. Онъ не сказалъ себѣ никогда: что же мы поставимъ вмѣсто него? Неужели себя, тогда какъ мы такъ гадки? Нѣтъ, онъ никогда не задумался надъ тѣмъ, что онъ самъ гадокъ; онъ былъ доволенъ собой въ высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость.—Вы говорите, онъ былъ талантливъ? Совсѣмъ нѣтъ».

Какая бы доля правды или лжи ни заключалась въ показаніяхъ Достоевскаго, но вы видите, что самъ онъ относился къ Бѣлинскому съ такою злобною ненавистью, съ такою наглядною пѣною у рта, какую даже рѣдко встрѣтить можно. Такъ было въ 1871 году. Но подвигаясь по матеріаламъ біографіи отъ этого года назадъ, въ глубь временъ, мы встрѣтимъ все болѣе и болѣе лестные отзывы о Бѣлинскомъ. Въ 1862 году, въ объявленіи о подпискѣ на «Время», Достоевскій писалъ между прочимъ: «Еслибъ Бѣлинскій прожилъ еще годъ, онъ бы сдѣлался славянофиломъ, т. е. попалъ бы изъ огня да въ полымя; ему ничего не оставалось болѣе; да сверхъ того онъ не боялся, въ развитіи своей мысли, никакого полымя. Слишкомъ ужъ много любилъ человѣкъ! Многіе изъ теперешнихъ стоятъ на той же точкѣ, на которой остановился Бѣлинскій, хотя и увѣряютъ себя, что ушли дальше».

Ну, а раньше мы уже не встрѣчаемъ иныхъ отзывовъ о Бѣлинскомъ, какъ «благородный человѣкъ» и т. п. Несомнѣнно одно изъ двухъ: или Бѣлинскій совсѣмъ не имѣлъ съ Достоевскимъ тѣхъ разговоровъ, какіе послѣдній ставилъ ему потомъ въ счетъ, или Достоевскій принималъ эти разговоры совсѣмъ не такъ, какъ представлялись они ему въ 1871 году и позже, въ «Дневникѣ писателя». Но мы имѣемъ самыя опредѣленныя указанія, собственныя удостовѣренія Достоевскаго, что когда-то, какіе-то рѣзкіе перевороты въ его взглядахъ на различныя вещи были. Такъ, по свѣдѣтельству г. Страхова, лѣтомъ 1862 г. онъ «поѣхалъ въ Парижъ, а потомъ въ Лондонъ, гдѣ видѣлся съ Герценомъ, какъ самъ о томъ упоминаетъ въ «Дневникѣ» «Гражданина». Къ Герцену онъ тогда относился очень мягко, и его «Зимнія замѣтки» отзываются нѣсколько вліяніемъ этого писателя». Между тѣмъ, въ 1868 г., будучи въ Швейцаріи и узнавъ, что за нимъ почему-то слѣдятъ и въ чемъ-то подозрѣваютъ, онъ пишетъ г. Страхову: «каково же вынесть человѣку чистому, патріоту, предавшемуся *до измѣны своимъ прежнимъ убѣжденіямъ*, обожающему Государя,—каково вынести подозрѣніе въ какихъ-нибудь сношеніяхъ съ какими-нибудь полячишками или съ «Колоколомъ»... Руки отваливаются невольно служить имъ. Кого они не просмотрѣли у насъ изъ виновныхъ, а Достоевскаго подозрѣваютъ!» Мысль эта до того тревожила Достоевскаго, что, поговоривъ о разныхъ разностяхъ, онъ вновь возвращается къ ней въ постскриптумѣ: «Не обратиться-ли мнѣ къ какому-нибудь *лицу*, не попросить-ли о томъ, чтобъ меня не подозрѣвали въ измѣнѣ отечеству и въ сношеніяхъ съ полячишками и не перехватывали моихъ писемъ? Это отвратительно! Но вѣдь они должны же знать, что нигилисты, либералы- современники еще съ третьяго года въ меня грязью кидаютъ за то, что я разорвалъ съ ними, ненавижу полячишекъ и люблю отечество...»

Дѣло ясное, кажется, что Достоевскій пережилъ не одинъ переломъ въ своей жизни. Дѣло настолько ясно, что біографы сами его поневолѣ отмѣчаютъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, имъ хочется доказать, что Достоевскій чуть не въ утробѣ матери былъ не то чтобы славянофиломъ, не то чтобы западникомъ, а тою серединою на половинѣ, которую, кажется, самъ онъ назвалъ «почвенникомъ», и которая нынѣ представляется въ литера-

турѣ гг. Миллеромъ и Страховымъ. Вслѣдствіе этого, процессъ духовнаго развитія Достоевскаго остается рѣшительно безъ всякаго объясненія. Вмѣсто того, чтобы признать очевидные факты во всей ихъ полнотѣ и рѣзкости (ну, хоть выразительный фактъ участія въ дѣлѣ Петрашевскаго) и добросовѣстно изслѣдовать ихъ со всѣхъ сторонъ, они тянутъ свою собственную канитель «почвенности», не замѣчая, что тутъ уже они до забвенія всякихъ границъ «болѣе высказываютъ себя, чѣмъ изображаютъ его». Г. Миллеръ очень толчется надъ ролью Достоевскаго въ кружкѣ Бѣлинскаго и потомъ въ дѣлѣ Петрашевскаго, но именно только толчется и, вопреки правилу «толцытеся и отверзется», ничего не отверзается ни ему самому, ни читателямъ. Оно и понятно. Вы видѣли, что даже въ сужденіяхъ о Меттернихѣ онъ видитъ «славянофильскіе задатки» и очень ему хочется доказать, что задатки эти Достоевскій внесъ въ кружокъ петрашевцевъ, какъ свое, оригинальное, прирожденное, изъ материнской утробы вынесенное. Но тутъ же ему приходится сознаться, что среди петрашевцевъ не было ни славянофиловъ, ни западниковъ, не было даже зачатковъ такого раздѣленія. Затѣмъ, еще до дѣла Петрашевскаго, г. Миллеру встрѣчаются очень веселыя, разбитныя насмѣшки Достоевскаго надъ славянофилами. Г. Миллеръ ни мало этимъ не смущенъ: это, говоритъ, ничего, это такъ, мимоходомъ, мимолетное вліяніе Бѣлинскаго; но, говоритъ, и Достоевскій въ свою очередь вліялъ на Бѣлинскаго. Послѣднее, конечно, очень сомнительно, ибо Бѣлинскій былъ уже зрѣлымъ человѣкомъ, когда Достоевскій мальчишески радовался, что его приглашаетъ въ гости князь Одоевскій и желаетъ съ нимъ познакомиться графъ С. (Соллогубъ, очевидно). Да и въ обстоятельной біографіи Бѣлинскаго, составленной г. Пыпинымъ, никакихъ слѣдовъ вліянія Достоевскаго не имѣется. Но, допуская даже извѣстное вліяніе романиста на критика, надо же это дѣло разобрать, а не такъ, какъ у г. Миллера: быкъ реветъ, медвѣдь реветъ, а кто кого деретъ, самъ чортъ не разберетъ...

Можно съ утвердительностью сказать, что интереснѣйшіе и важнѣйшіе моменты жизни Достоевскаго, попавшіе, къ сожалѣнію, на обработку г. Миллеру, совершенно пропали. По всѣмъ видимостямъ, ни въ кружкѣ Бѣлинскаго, ни въ дѣлѣ Петрашевскаго Достоевскій не игралъ опредѣленной, выдающейся роли, но его собственная душевная жизнь за это важное время остается вполнѣ неизвѣстною.

Г. Страховъ ведетъ свое дѣло благообразнѣе, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи, что мы отъ него нѣчто узнаемъ по части исторіи духовнаго развитія Достоевскаго. Узнаемъ мы прежде всего, что выступая въ 1861 году на журнальное поприще въ качествѣ негласнаго редактора «Времени» (оффиціальнымъ редакторомъ былъ его братъ), Достоевскій не имѣлъ еще вполнѣ опредѣленныхъ политическихъ и философскихъ убѣжденій. Приведя написанное Достоевскимъ объявленіе о журналѣ «Время», г. Страховъ, какъ одну изъ отличительныхъ его чертъ, отмѣчаетъ «неопредѣленность тѣхъ началъ, принциповъ, на которые онъ ссылается». Это очень справедливо, но едвали справедливо мнѣніе г. Страхова, что «такъ и слѣдовало этому быть при исходной точкѣ и умственномъ настроеніи Достоевскаго». Конечно, разъ умственное настроеніе человѣка страдаетъ неопредѣленностью, такъ неопредѣленность эта должна обнаружиться; но позволительно думать, что писатель, выступающій на журнальное поприще съ громко провозглашаемымъ новымъ направленіемъ, долженъ имѣть объ немъ полное и ясное понятіе. Г. Страховъ имѣетъ, впрочемъ, на этотъ счетъ оригинальный взглядъ. Такъ ему очень нравятся излюбленныя выраженія Достоевскаго: «оторвались отъ своей почвы», «искать своей почвы». И нравятся вотъ почему: «Выраженіе это, очень образное и живое, имѣло ту выгоду, что было въ тоже время очень обще, не указывало прямо опредѣленнаго принципа». Что хорошаго въ неясности или неопредѣленности мысли человѣка, выступающаго поучать другихъ — это дѣло темное которое, впрочемъ, намъ можетъ быть еще раскроется. Г. Страховъ разсказываетъ, что въ редакціи «Времени» «происходили безконечные споры и дѣлались попытки ежедневно перестроивать или исправлять свое міросозерцаніе чуть не съ самыхъ основъ». Самъ Достоевскій, кромѣ неясности мысли, страдалъ еще слабостью знаній. Такъ ему случалось иногда открывать давно открытую Америку, и когда ему это указывали, онъ, по словамъ г. Страхова, «откровенно признавался: «я этого не зналъ». Біографъ сообщаетъ еще слѣдующую любопытную черту: «Оедоръ Михайловичъ любилъ эти (отвлеченные) вопросы: о сущности вещей и о предѣлахъ знанія, и помню, какъ его забавляло, когда я подводилъ его разсужденія подъ различные взгляды философовъ, извѣстные намъ изъ исторіи философіи. Оказывалось, что новое придумать трудно, и онъ шутя утѣшался тѣмъ, что совпадаетъ въ своихъ мысляхъ съ тѣмъ или другимъ великимъ мыслителемъ». Гораздо позже, уже въ то время, когда Достоевскій былъ

сопедакторомъ кн. Мещерскаго по «Гражданину», онъ требовалъ, чтобы г. Страховъ больше писалъ, и когда тотъ возразилъ ему, что «у него мало мыслей для того, чтобы такъ много писать», Достоевскій отвѣтилъ: «какъ мало мыслей? да половина моихъ взглядовъ—ваши взгляды»!

Все это, разумѣется, пересыпано похвалами высокимъ качествамъ ума и сердца Достоевскаго, но не кажется-ли вамъ все-таки, что г. Страховъ самымъ рѣшительнымъ образомъ тащитъ «властителя нашихъ думъ» съ пьедестала? Вѣроятно, многимъ фигура Достоевскаго представлялась грандіознѣе, значительнѣе, чѣмъ этотъ воспоминаемый г. Страховымъ человѣкъ, выступающій проповѣдникомъ неясной мысли, открывающій давно открытыя Америки и на половину заимствующій свои взгляды у г. Страхова. Неясно понималъ, мало зналъ, но подъ конецъ кое-чему у г. Страхова научился—вотъ результатъ. И замѣтьте, что это единственный осязательный выводъ, какой вы можете сдѣлать изъ біографіи. (Я не говорю, разумѣется, о высокомъ талантѣ Достоевскаго, о которомъ всѣ мы и безъ біографіи знаемъ). Вы получаете, такимъ образомъ, довольно точное понятіе о Достоевскомъ, какимъ онъ былъ «при исходной точкѣ», хотя ему уже шелъ тогда пятый десятокъ лѣтъ. Но что же дальше? Въ тѣ времена къ Достоевскому относились, какъ къ писателю съ крупнымъ, хотя и не ровнымъ художественнымъ дарованіемъ, что вполнѣ совмѣстимо съ указанными г. Страховымъ пробѣлами по части мыслей. Но вѣдь потомъ изъ Достоевскаго, говорятъ, выработался «духовный вождь русскаго народа». Не будемъ спорить, былъ онъ такимъ вождемъ или нѣтъ (оно даже какъ-то и смѣшно объ этомъ спорить); пусть такъ, но покажите же намъ, какъ это вышло, какъ вождь выработался. На этотъ счетъ біографія намъ не даетъ ничего, но за то путаетъ много. Вотъ образчикъ.

Въ 1867 году Достоевскій уѣхалъ за границу, гдѣ пробылъ четыре слишкомъ года. За это время онъ испыталъ много горькаго и тяжелаго; нужду самую крайнюю, болѣзни, работу на почтовыхъ, смерть перваго ребенка. Но, по свидѣтельству г. Страхова—да оно и изъ писемъ видно—новая семейная жизнь (онъ женился вторично передъ самымъ отъѣздомъ) дала ему много счастья. «Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ г. Страховъ, что именно за границей, при этой обстановкѣ и этихъ долгихъ и спокойныхъ размышленіяхъ, въ немъ совершилось особенное раскрытіе того христіанскаго духа, который всегда жилъ въ немъ. Въ его письмахъ подъ конецъ вдругъ раздались звуки этой струны; она стала звучать въ немъ такъ сильно, что онъ не могъ оставлять эти звуки для себя одного, какъ это дѣлалъ прежде. Объ этой существенной перемѣнѣ, однако же, письма не даютъ полнаго понятія. Но она очень ясно обнаружилась для всѣхъ знакомыхъ, когда Ѳедоръ Михайловичъ вернулся изъ за-границы. Онъ сталъ безпрестанно сводить разговоръ на религіозныя темы. Мало того—онъ перемѣнился въ обращеніи, получившемъ большую мягкость и впадавшемъ иногда въ полную кротость. Даже черты лица его носили слѣдъ этого настроенія, и на губахъ появлялась нѣжная улыбка. Помню маленькую сцену въ славянскомъ комитетѣ. Мы входили вмѣстѣ и съ нами поздоровался И. И. Петровъ. «Кто это?» спросилъ меня Ѳедоръ Михайловичъ, или незнавшій его, или забывшій, какъ онъ безпрестанно забывалъ людей, съ которыми даже часто встрѣчался. Я сказалъ ему и прибавилъ: «какой чудесный, чудеснѣйшій человѣкъ!» Глаза Ѳедора Михайловича ласково заблѣстѣли, онъ съ большою любовью поглядѣлъ на другихъ присутствовавшихъ и потихоньку сказалъ мнѣ: «да всѣ люди—существа прекрасныя!» Искренность и теплота такъ и свѣтились въ немъ при этихъ словахъ. Лучшія христіанскія чувства, очевидно, жили въ немъ, тѣ чувства, которыя все чаще и яснѣе выражались и въ его сочиненіяхъ. Такимъ онъ вернулся изъ заграницы».

Я не буду говорить о томъ, насколько «лучшія христіанскія чувства» выражались въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Достоевскаго, напримѣръ, въ «Бѣсахъ», ну, хоть, по отношенію къ Тургеневу, котораго онъ съ такою злобою изображалъ въ лицѣ «знаменитаго литератора Кармазинова». Я, вообще, не хочу касаться сочиненій Достоевскаго и довольствуюсь біографическимъ матеріаломъ. Обращаясь къ нему, къ самымъ письмамъ изъ за границы, я нахожу тамъ, между прочимъ, вышеприведенную злобную ругань по адресу Бѣлинскаго, Грановскаго и прочей «сволочи». Письмо это относится къ самому послѣднему времени заграничнаго житья, когда, по словамъ г. Страхова, письма стали особенно проникаться «христіанскимъ духомъ». Но какой же это такой христіанскій духъ, разрѣшающій ругаться «погаными», «сволочью» и проч. и трепетать отъ злобы на людей, мирно покоющихся на кладбищѣ? И какъ связать эти энергическія выраженія съ трогательнымъ изрѣченіемъ: «да всѣ люди—существа прекрасныя»? Я думаю, связать можно только такъ: всѣ люди прекрасны... кромѣ сволочи. Это, конечно, очень назидательно, но, во всякомъ случаѣ, тутъ христіанскій духъ чѣмъ-то осложненъ. Чѣмъ—

г. Страховъ не говоритъ, а даже замалчиваетъ это осложненіе. Далѣе біографъ отмѣчаетъ только одну перемѣну, да и то, собственно говоря, не перемѣну, а «особенное раскрытіе того христіанскаго духа, который *всегда жилъ въ немъ*». Между тѣмъ въ письмахъ, какъ вы видѣли, Достоевскій прямо говоритъ объ «измѣнѣ своимъ убѣжденіямъ». Очевидно, дѣло идетъ не о христіанскихъ убѣжденіяхъ, при которыхъ, говоритъ г. Страховъ, Достоевскій всегда былъ и остался, а о какихъ-то другихъ. О какихъ—біографъ опять молчитъ.

Зачѣмъ эта недостойная игра съ покойникомъ? Зачѣмъ эти умолчанія и увертки въ родѣ того, что если подъ либерализмомъ разумѣть консерватизмъ, такъ Достоевскій былъ либералъ, и т. п.? Дѣло очень просто: біографъ занятъ «болѣе высказываніемъ себя, чѣмъ изображеніемъ его».

При основаніи «Времени» Достоевскимъ руководила очень вѣрная мысль, доселѣ, однако, многими не понимаемая (въ томъ числѣ и г. Страховымъ), а именно, что славянофилы и западники, какъ партіи, изжили свой вѣкъ, что наши умственныя силы должны группироваться не по этимъ устарѣлымъ рубрикамъ, выставить иныя знамена. Но такъ какъ мысль Достоевскаго была не ясна, то никакого опредѣленнаго, положительнаго знамени онъ не могъ выставить. Онъ выставилъ только «почву». Какъ тогда относился г. Страховъ къ этой мысли—неизвѣстно, но теперь онъ находитъ неопредѣленность этой «почвы» «выгодною», потому что «подъ нее подходитъ и славянофильство». Вотъ онъ и тянетъ въ эту сторону покойника. Сказать прямо, что Достоевскій былъ славянофиломъ въ моментъ изданія «Времени» — нѣтъ никакой возможности. «Время» слишкомъ торжественно отрицало славянофильство и, вообще, такъ много въ этомъ отношеніи грѣшило, что вызвало слѣдующую грозную отповѣдь г. Аксакова въ видѣ письма къ г. Страхову:

«... Вы напрасно ссылаетесь на *направленіе* „Времени“. Хотя оно постоянно кричало о томъ, что у него есть направленіе, но никто на это направленіе не обращалъ вниманія. Оно имѣло значеніе какъ хорошій беллетристическій журналъ, болѣе чистый и честный, чѣмъ другіе, но претензіи его были всѣмъ смѣшны. Тамъ могли быть помѣщаемы и помѣщались и хорошія статьи... но все это не давало „Времени“ никакого цвѣта, никакой силы. Ему не доставало высшихъ нравственныхъ основъ, честности высшаго порядка. Оно имѣло безтыдство напечатать въ программѣ, что первое въ русской литературѣ провозгласило и открыло существованіе русской народности! Нѣтъ такого врага славянофиловъ, который бы не возмутился этимъ. Потомъ—это наивное объявленіе, что славянофильство—моментъ отжившій, а пути къ жизни, новое слово теперь у „Времени“! Славянофилы могутъ всѣ умереть до одного, но направленіе, данное ими, не умретъ, и я разумѣю направленіе во всей его строгости и неуступчивости, не прилаженное ко вкусу петербургской канканирующей публики. Вотъ это волокитство за публикой, это желаніе служить и нашимъ и вашимъ, это трактованіе славянофиловъ *свысока* во „Времени“ и съ презрѣніемъ въ первой программѣ „Времени“, это уронило журналъ въ общемъ мнѣніи публики, а славянофилы, какъ вы знаете, *нидѣ*, ни единымъ словомъ даже не задѣли „Времени“, потому что убѣжденія ихъ не вопросъ личнаго самолюбія. Напр., „Время“ о повѣстяхъ Кохановской объявляетъ, какъ о явленіяхъ, пропущенныхъ нашей критикой, забывая, что „Русская Бесѣда“ въ статьяхъ моего брата и Гилярова первая опредѣлила ея значеніе въ литературѣ!!? Въ Петербургѣ не можетъ издаваться журналъ съ народнымъ направленіемъ, ибо первое условіе для освобожденія въ себѣ плѣненнаго чувства народности—возненавидѣть Петербургъ всѣмъ сердцемъ своимъ и всѣми помыслами своими. Да и, вообще, нельзя креститься въ христіанскую вѣру (а славянофильство есть ничто иное, какъ высшая христіанская проповѣдь), не отдувшись, не отплевавшись, не отрекшись отъ сатаны».

Но кромѣ этихъ, такъ сказать, личныхъ грѣховъ противъ славянофильства, «Время» и либеральничало, и Некрасова, и Щедрина у себя печатало, и уваженіе къ европейской наукѣ и цивилизаціи высказывало. Все это г. Страховъ, нынѣ умудренный опытомъ, охотно бы вычеркнулъ. Но, такъ какъ вычеркнуть нельзя, и что написано перомъ, того не вырубить топоромъ, то онъ прибѣгаетъ къ разнымъ окольнымъ путямъ: кое-что замолчитъ, кое-что перетолкуетъ по удобной формулѣ «если подъ бѣлымъ разумѣть зеленое», кое-что свалитъ на «безсознательность». Бѣда еще въ томъ, что г. Страховъ и до сихъ поръ самъ-то не чистый славянофилъ, а все тотъ же «почвенникъ», то-есть носитель принципа, выгоднаго своею неопредѣленностью. Попробуйте сказать подъ рядъ: Кирѣевскіе, Аксаковы, Юрій Самаринъ, Страховъ... На имени г. Страхова непремѣнно запнетесь. И это вполнѣ естественно, потому что г. Страхову, и въ самомъ дѣлѣ, не мѣсто въ этомъ ряду, какъ бы кто къ славянофиламъ ни относился. Разныя есть тому причины, но такъ какъ я не спеціально г. Страховымъ интересуюсь, то приведу только одну. Почтенный біографъ не упускаетъ случая сказать какую-нибудь любезность, какъ лично г. Каткову, такъ и направленію «Московскихъ Вѣдомостей». Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, напримѣръ, что «Московскія Вѣдомости», со времени польскаго возстанія, «заявили то патріотическое и руководительное направленіе, которое такъ блистательно развиваютъ до сихъ поръ». Я понимаю, что отношеніе «Московскихъ Вѣдомостей» къ польскому возстанію могло быть раздѣляемо славянофилами, но чтобы они вообще могли радоваться руководитель-

ному направленію г. Каткова—въ этомъ я очень сомнѣваюсь. Высказывая это сомнѣніе, я обнаруживаю, думается мнѣ, гораздо большее знакомство съ духомъ славянофильской доктрины и гораздо большее къ ней уваженіе, чѣмъ г. Страховъ, разсыпающійся передъ славянофилами въ льстивыхъ выраженіяхъ. Ну, а «почва» до такой степени въ самомъ дѣлѣ «выгодна», что подъ нее, пожалуй, и теоріи «Московскихъ Вѣдомостей» подойдутъ...

Результатъ біографіи: не смотря на всѣ выспреннія похвалы, многія слабости и непріятныя стороны Достоевскаго обнаружены, но въ общемъ получается только соотвѣтственное впечатлѣніе, а не настоящее знакомство съ личностью знаменитаго покойника, потому что біографы слишкомъ многое замолчали, смазали, утопили въ выгодной для нихъ, но отнюдь не для читателя неопредѣленности.

XI *).

Г. Стасовъ есть издревле крестный отецъ разныхъ художественныхъ новинокъ. Онъ же и имена имъ даетъ, и обыкновеннѣйшія изъ этихъ именъ суть: «чудный», «небывалый», поразительный» и проч. Нельзя, однако, сказать, чтобы всѣ эти даваемыя г. Стасовымъ клички приходились по шерсти. Оно и естественно, потому что иначе русское искусство обладало бы такимъ количествомъ небывалыхъ и поразительныхъ чудесъ, что мы совсѣмъ разучились бы поражаться и самыя понятія о чудѣ и небываломъ пришлось бы вычеркнуть изъ нашего обихода.

Поразительнымъ, небывалымъ, чудеснымъ находитъ г. Стасовъ и изданный недавно фотографомъ Шапиро альбомъ «Иллюстраціи къ Запискамъ сумасшедшаго» Гоголя. (Статья г. Стасова приложена къ альбому). Альбомъ этотъ состоитъ изъ тридцати карточекъ, изъ которыхъ одна представляетъ портретъ г. Андреева-Бурлака, а остальныя — разныя позы гоголевскаго «Сумашедшаго», какъ его этотъ актеръ изображаетъ на сценѣ.

Въ альбомѣ надо очень строго различать двѣ части, а именно долю г. Шапиро и долю г. Андреева-Бурлака. Общая мысль издателя очень удачна, хотя, надо сказать, мотивирована она въ его предисловіи нѣсколько странно. «Мнѣ казалось, говоритъ г. Шапиро:—что еслибы фотографически передать геніальнаго актера въ наиболѣе характерные моменты роли, положимъ, хоть «Гамлета», то получились бы приближающіяся къ совершенству иллюстраціи великаго созданія Шекспира». Это правда, хоть и не полная. Актеръ такого громаднаго дарованія, какъ Сальвини, въ роли Макбета и особенно Отелло, могъ бы, дѣйствительно, превосходно иллюстрировать Шекспира, но тотъ же Сальвини въ роли Гамлета совсѣмъ для этого не годился бы, не смотря на все свое мастерство, просто потому, что онъ слишкомъ старъ для Гамлета. Въ Отелло и Макбетѣ недостатокъ этотъ совершенно исчезаетъ въ гримировкѣ, которая по самому свойству облика Гамлета очень мало въ этомъ послѣднемъ случаѣ помогаетъ. Въ театрѣ, благодаря всей обстановкѣ, сценическая иллюзія до извѣстной степени заставляетъ забывать этотъ недостатокъ, но въ фотографіи, безцвѣтной, безмолвной, неподвижной и въ тоже время передающей каждый изъянъ, налагаемый возрастомъ, Сальвини не могъ бы служить моделью для иллюстраціи Гамлета. Это частность, конечно, и г. Шапиро, вообще говоря, всетаки правъ относительно *геніальнаго* актера. Но геніальные актеры не особенно часто попадаются, что, повидимому, г. Шапиро совсѣмъ упустилъ изъ виду. Онъ говоритъ: «Иллюстраціи великихъ произведеній дѣло не легкое: для надлежащаго воссозданія образовъ, созданныхъ писателемъ, отъ художника требуется, кромѣ высокаго дарованія, еще глубочайшее проникновеніе въ духъ писателя. Въ художникахъ не часто встрѣчается совпаденіе этихъ двухъ качествъ—таланта и основательнаго изученія произведеній писателя. Вотъ отчего, быть можетъ, многіе изъ извѣстныхъ иллюстраторовъ поражаютъ въ своихъ рисункахъ болѣе произволомъ собственной фантазіи, чѣмъ истиннымъ пониманіемъ иллюстрированныхъ ими писателей». Это такъ, положимъ, но все это еще въ гораздо большей степени относится къ актерамъ. Г. Шапиро, я полагаю, не замедлитъ въ этомъ убѣдиться, когда приступитъ къ изданію «Горя отъ ума» и «Ревизора» (онъ обѣщаетъ это) по тому же способу, по какому издалъ «Записки сумасшедшаго». При всемъ моемъ уваженіи къ русской драматической труппѣ, я не думаю, чтобы среди нея были актеры, способные иллюстрировать «Горе отъ ума» и «Ревизора» лучше, менѣе «произвольно» и съ большимъ «проникновеніемъ», чѣмъ это могутъ сдѣлать наши художники. Затѣмъ остается еще прибавить, что фотографіи г. Шапиро превосходны, и на этомъ можно покончить съ издательской стороной дѣла.

Обратимся къ г. Андрееву-Бурлаку. Г. Стасовъ, по обыкновенію, «пораженный талантливостью и правдивостью г. Андреева-Бурлака» и «великими совершенствами» его въ роли Поприщина (простое совер-

*) 1884, февраль.

шенство для г. Стасова слишкомъ скромно), отмѣчаетъ одно очень любопытное обстоятельство. Самъ Гоголь никогда не думалъ о постановкѣ «Записокъ сумашедшаго» на сцену, хотя, какъ извѣстно изъ исторіи «Ревизора», очень интересовался сценой и понималъ дѣло. Затѣмъ, сколько у насъ было до сихъ поръ драматическихъ художниковъ, обладавшихъ великими талантами, глубоко любившими и передававшими Гоголя, и все-таки они никогда не думали взять на сцену тоже и Поприщина. Щепкинъ, Садовскій, Мартыновъ, Васильевъ—какой они дали изумительный рядъ гоголевскихъ личностей». Въ особенности занимаетъ г. Стасова Мартыновъ, которому, при всемъ его проникновеніи духомъ Гоголя «не пришло въ голову взять и эти поразительныя сцены, которымъ навѣрное нѣтъ нигдѣ равныхъ во всемъ европейскомъ театрѣ». Въ самомъ дѣлѣ, это любопытно. Ни самому Гоголю, ни его другу Щепкину, ни Мартынову, ни, наконецъ, даже г. Стасову, нынѣ такъ смѣло утверждающему, что во всемъ европейскомъ театрѣ нѣтъ ничего равнаго «Запискамъ сумашедшаго» г. Андреева-Бурлака, никому не приходило въ голову поставить «Записки» на сцену, а г. Андреевъ-Бурлакъ догадался. Г. Стасовъ во всемъ этомъ только и видитъ догадливость г. Бурлака и недогадливость Гоголя, Щепкина, Садовскаго, Мартынова, Васильева, а я думаю, что вопросъ выходитъ нѣсколько сложнѣе. Не спорю насчетъ догадливости г. Андреева-Бурлака. Это значило бы судить Манлія въ виду Капитолія: г. Бурлакъ имѣетъ успѣхъ, значитъ, догадался. Но меня смущаетъ и скептически настроиваетъ недогадливость цѣлаго ряда другихъ, несомнѣнно компетентнѣйшихъ лицъ. Не оттого-ли компетентные люди не ставили «Записокъ» на сцену, что ихъ нельзя или, по крайней мѣрѣ, не слѣдуетъ ставить? Можетъ быть, г. Андреевъ-Бурлакъ только догадливъ, а Гоголь, Щепкинъ, Садовскій, Мартыновъ обладали эстетическимъ чутьемъ? Мнѣ кажется вполнѣ законнымъ поставить этотъ вопросъ, даже не мелькнувшій передъ умственнымъ взоромъ г. Стасова.

Г. Стасовъ называетъ «Записки сумашедшаго» геніальнымъ произведеніемъ. На это можно возразить гоголевскимъ же изрѣченіемъ. Александръ Македонскій былъ, конечно, великій герой, но зачѣмъ же стулья ломать? Гоголь былъ великій писатель, но зачѣмъ же безъ смысла расточать выспренніе эпитеты?

Титулярный совѣтникъ Поприщинъ страдаетъ маніей величія. Кто читалъ хотя бы самыя общія и элементарныя сочиненія по психіатріи, тотъ знаетъ, что перипетіи этой болѣзни изображены въ «Запискахъ сумашедшаго» совершенно произвольно и отнюдь не соотвѣтственно дѣйствительному ея ходу. Гоголь не имѣлъ ни тѣхъ внѣшнихъ знаній, которыя нужны для точнаго воспроизведенія душевнаго разстройства, ни того внутренняго опыта, который позволялъ, напримѣръ, разстроенному духу Достоевскаго рисовать разстроенный духъ иногда съ изумительнымъ мастерствомъ. Да и едва-ли Гоголь имѣлъ въ виду что-нибудь подобное. Во всякомъ случаѣ, въ памяти потомства и въ исторіи литературы «Записки сумасшедшаго» остаются отнюдь не въ качествѣ психіатрическаго этюда. Блестки несравненнаго юмора, разсыпанныя вдоль и поперекъ «Записокъ», увѣковѣчили Поприщина въ качествѣ типа маленькаго человѣка, возмнившаго о себѣ послѣ цѣлаго ряда годовъ сѣренькой, жалкой канцелярской жизни и завравшагося до мартабря. Самый этотъ мартабрь знаменитый никѣмъ не принимается au serieux, какъ подлинная черта разстроеннаго духа. Всякій понимаетъ, что это только остроуміе и литературный пріемъ, и слѣдуетъ, можетъ быть, даже пожалѣть, что Гоголь избралъ для исторіи Поприщина именно эту рискованную форму. Заставить человѣка говорить или писать вздоръ, еще не значитъ нарисовать сумасшедшаго, но остроумное слово и въ этихъ произвольныхъ рамкахъ остается остроумнымъ, а изъ подъ произвольно нагроможденныхъ подробностей якобы сумасшествія, все-таки выглядываетъ извѣстный житейскій типъ.

Теперь посмотрите, что изъ этого выходитъ у г. Андреева-Бурлака. Я не видалъ его на сценѣ. Видѣлъ разъ въ далекомъ захолустьѣ проѣзжую труппу бездарныхъ актеровъ, изъ которыхъ одинъ, въ подражаніе московской знаменитости, тоже читалъ «Записки сумасшедшаго» «въ костюмѣ». Это было отвратительно, конечно, благодаря бездарности актера. Г. Бурлакъ, говорятъ, человѣкъ талантливый, но судить объ его исполненіи я могу только по изящному альбому г. Шапиро.

Раскрывая альбомъ на любой страницѣ, вы видите человѣка въ бѣльѣ и больничномъ халатѣ и колпакѣ; онъ стоитъ и сидитъ въ разныхъ позахъ, но все или на больничной кровати или возлѣ нея, а надъ кроватью высится дощечка съ надписью: «Андреевъ-Бурлакъ. Mania grandiosa». Что это значитъ? Почему Андреевъ-Бурлакъ, объ которомъ Гоголь никогда не помышлялъ, а не Поприщинъ, Гоголемъ созданный? Мнѣ кажется, одной этой надписи на дощечкѣ больничной кровати достаточно, чтобы видѣть, какъ произвольно обращается г. Бурлакъ съ Гоголемъ и какъ онъ не только не «проникся духомъ», но вовсе и не намѣренъ

проникаться: пусть тамъ у Гоголя Поприщинъ, а г. Бурлакъ самъ по себѣ! И дѣйствительно, эта надпись есть только девизъ, только символъ всего лицедѣйства г. Бурлака. У Гоголя «Записки сумасшедшаго» представляютъ дневникъ, въ которомъ извѣстный житейскій типъ неправильно утопленъ въ произвольно нагроможденныхъ подробностяхъ сумасшествія. Въ исполненіи г. Бурлака неправильность эта еще усугубляется, а типъ совершенно исчезаетъ, отчего несообразности «Записокъ», выступая еще рѣзче, лишаются уже всякаго оправданія. У Гоголя Поприщинъ дѣйствительно идетъ въ департаментъ и тамъ подписываетъ на бумагѣ: «Фердинандъ VIII». А по г. Бурлаку, приковавшему Поприщина къ больничной кровати на все время дѣйствія, ничего этого въ дѣйствительности не было, потому что нельзя же идти въ департаментъ изъ больницы и въ халатѣ и въ колпакѣ добраться до своего обычнаго мѣста, получить бумагу для подписи и проч. Свалить весь этотъ эпизодъ на галлюцинацію нельзя, ибо это значило бы росписаться въ совершенномъ непониманіи существа и хода болѣзни. Иллюстраторъ художникъ поступилъ бы, конечно, не такъ. Онъ нарисовалъ бы подлинную сцену въ департаментѣ, и несчастный Поприщинъ въ вицъ-мундирѣ и со всѣми типическими, годами наложенными на него чертами мелкаго чиновника, но уже больной маніей величія, представалъ бы настоящею гоголевскою фигурою среди толпы изумленныхъ, испуганныхъ, насмѣхающихся товврищей. Мы увидѣли бы тогда типъ человѣка подневольнаго, ничтожнаго, погрязшаго, вытерпѣвшаго много униженій и ими, можетъ быть, именно, ввергнутаго въ это сумасбродство величія. А г. Бурлакъ даетъ намъ просто «сумасшедшаго» въ томъ совершенно неопредѣленномъ смыслѣ, какой связываетъ съ этимъ словомъ большинство публики, и притомъ даже, такъ сказать, въ мундирѣ сумасшествія, въ больничномъ халатѣ и колпакѣ. Такимъ образомъ, все жизненное, серьезное, правдивое, что есть у Гоголя, г. Бурлакъ смазываетъ, а все произвольное и фальшивое подчеркиваетъ и усугубляетъ.

Г. Бурлакъ изображаетъ «Записки сумасшедшаго», безъ сомнѣнія, съ значительными купюрами, потому что все подъ рядъ рѣшительно не поддается сценическому изображенію, а мнѣ было бы очень любопытно знать, что именно онъ выпускаетъ. Насколько можно судить по альбому, пропуски эти опять же очень мало говорятъ въ пользу «проникновенія» г. Бурлака. Помните-ли вы тотъ моментъ, когда Поприщинъ прямо изъ департамента приходитъ въ директорскую квартиру, пробирается въ уборную и видитъ тамъ *«ее»* передъ зеркаломъ? Для иллюстратора-художника это моментъ въ высшей степени благодарный. Замухрышка Поприщинъ, котораго «она» никогда не замѣчала, и который могъ только съ своей жесткой подушкой дѣлиться безумными мечтами объ «ней», сохраняя опять-таки весь выработанный долгимъ сидѣніемъ въ канцеляріи обликъ, входитъ въ уборную съ тайною въ душѣ. Онъ входитъ, можетъ быть, гордый и величественный, можетъ быть, по старой памяти и привычкѣ, приниженный, но едва сдерживающій хитрую улыбку, можетъ быть, страшно взволнованный и готовый получить награду за все свое ничтожное, жалкое, унизительное прошлое; можетъ быть, наконецъ, всѣ эти душевныя движенія быстро смѣняютъ другъ друга на его морщинистомъ, гемороидальнаго цвѣта лицѣ. Намъ говорятъ, что въ томъ-то и состоитъ преимущество актерско-фотографической иллюстраціи, что она можетъ дать цѣлый рядъ позъ и выраженій, принимаемыхъ дѣйствующимъ лицомъ драмы въ характерный для него моментъ. Что же мы получаемъ отъ г. Андреева-Бурлака, «великое совершенство» котораго рѣшено и подписано г. Стасовымъ? Человѣкъ въ халатѣ и колпакѣ стоитъ возлѣ больничной кровати съ разставленными руками и безсмысленной улыбкой на лицѣ. Почему это Поприщинъ, а не Ивановъ, Сидоровъ, Петровъ? Да это и не Поприщинъ вовсе, а г. Андреевъ-Бурлакъ, какъ значится на дощечкѣ, г. Андреевъ-Бурлакъ, нарядившійся «сумасшедшимъ». И замѣтьте, что этою единственною позою исчерпывается весь эпизодъ въ уборной. Затѣмъ слѣдуетъ *семь* карточекъ, изображающихъ Поприщина во время его вздорныхъ разсужденій объ томъ, что женщина влюблена въ чорта, что честолюбіе есть маленькій пузырекъ подъ языкомъ и т. д. Весь этотъ вздоръ навѣянъ свиданіемъ въ будуарѣ, но это, во всякомъ случаѣ, просто вздоръ, нисколько не характерный ни для Поприщина, ни для его болѣзни. Однако, для этой ненужной чепухи г. Бурлакъ позируетъ семь разъ, а для момента свиданія—одинъ. Опять, значитъ, фальшивую психіатрію Гоголя г. Андреевъ-Бурлакъ подчеркиваетъ и усугубляетъ, а истинное, цѣнное зерно «Записокъ» смазываетъ.

Какъ же все это такъ странно, такъ, можно сказать, совсѣмъ навыротъ вышло? Я думаю вотъ какъ. Началось, вѣроятно, съ публичнаго чтенія. Г. Андреевъ-Бурлакъ, надо думать, хорошій, то-есть выразительный чтецъ и вмѣстѣ, съ тѣмъ, плохо понимаетъ Гоголя. Ему случилось, вѣроятно, производить впечатлѣніе публичнымъ чтеніемъ «Записокъ сумасшедшаго», вызывать громкій

смѣхъ подчеркиваніемъ юмористическихъ блестокъ, и слезы, или, по крайней мѣрѣ, соотвѣтственное настроеніе такимъ же подчеркиваніемъ лирическихъ и трагическихъ мѣстъ. Замѣтивъ, что ему удается играть на нервахъ зрителей или слушателей, г. Анреевъ-Бурлакъ соблазнился мыслью усилить эту игру Это совершенно натурально. Образа несчастнаго Поприщина, цѣною разсудка купившаго себѣ фантастическое счастіе, этого гоголевскаго образа г. Андреевъ-Бурлакъ не воссоздалъ передъ слушателями, потому что и самъ не понималъ и не чувствовалъ его. Но безподобный гоголевскій юморъ и раздирательные вопли сумасшедшаго, которому льютъ на голову холодную воду, были въ распоряженіи чтеца. Онъ и пускалъ ихъ въ ходъ, теребя нервы слушателей, но не доводя этого нервнаго тока до «порога сознанія». Подобная трепка нервовъ натурально должна идти все crescendo, потому что въ противномъ случаѣ нервы, какъ говорится, притупятся. Но какъ же усиливать игру? Всего громче кричать: «Матушка, спаси своего бѣднаго сына!» и всего смѣшливѣе и смѣшнѣе: «а знаете-ли, что у алжирскаго дея подъ самымъ носомъ шишка?» А потомъ? дальше? Очевидно—«нарядиться» сумашедшимъ. Этотъ «костюмъ» подсказывается прямо заглавіемъ «Записокъ сумасшедшаго» и косвенно—непониманіемъ ихъ содержанія. Но этого мало. Я обращался къ спеціалистамъ по психіатріи, видѣвшимъ альбомъ г. Шапиро и исполненіе г. Андреева-Бурлака на сценѣ, съ просьбою сообщить мнѣ свое мнѣніе. Оказывается, что съ психіатрической точки зрѣнія исполненіе ниже всякой критики. «Г. Бурлакъ, пишетъ мнѣ въ заключеніе мой корреспондентъ:—актеръ, не имѣющій никакого понятія о томъ, какъ выражаются различныя ощущенія душевно-больными». Можетъ быть, и даже вѣроятно, это должно быть до извѣстной степени отнесено насчетъ фальшивой и произвольной психіатріи самого Гоголя, но, къ сожалѣнію, я уже не имѣю времени наводить дальнѣйшія справки. Мимоходомъ сказать, было бы очень любопытно и поучительно выслушать мнѣнія психіатровъ о тѣхъ явленіяхъ русской литературы, которыя подлежатъ вѣдѣнію ихъ спеціальности.

Итого: живой типъ Поприщина уже у самого Гоголя обремененъ ненужной и произвольной психіатріей; иллюстраторъ, г. Андреевъ-Бурлакъ, не только не исправилъ этого недостатка, но еще усилилъ его, ибо въ его исполненіи происходитъ тоже самое, что во снѣ Фараона: тощія коровы поѣдаютъ тучныхъ; таковъ, повидимому, неизбѣжный результатъ сценическаго изображенія «Записокъ сумасшедшаго», почему ни самъ Гоголь, ни, дѣйствительно, изъ ряда вонъ выходящіе актеры никогда объ этомъ и не помышляли. Приковавъ Поприщина къ кровати душевно-больного на все время дѣйствія, г. Андреевъ-Бурлакъ не показалъ типа Поприщина, но и сумасшедшаго изобразилъ отнюдь не правдиво. А между тѣмъ, г. Бурлакъ, какъ говорятъ и пишутъ въ газетахъ, имѣлъ огромный успѣхъ, вызывалъ настоящія слезы, потрясалъ...

Представьте себѣ, что почтенный профессоръ г. Орестъ Миллеръ, давно уже посягающій на лавры публичнаго чтеца по профессіи, оставаясь при теперешней своей плохой, хотя и подчеркивающей манерѣ чтенія стиховъ, явится въ одинъ прекресный день на эстраду, загримированный, скажемъ, Пушкинымъ: надѣнетъ курчавый парикъ, наклеитъ извѣстныя характерныя бакенбарды и проч. Это будетъ художественное новшество, вполнѣ безсмысленное и для эстетическаго чувства оскорбительное, но я не поручусь, что г. Стасовъ не найдетъ въ немъ «великаго совершенства», и что публика не растрогается, если только г. Миллеръ сумѣетъ быть не окончательно комичнымъ въ пушкинскомъ парикѣ, что, конечно, мудрено. Растрогается публика не оттого, разумѣется, что ей съ ясностью предстанетъ образъ поэта (ибо передъ ней будетъ все-таки только ряженый г. Миллеръ), напротивъ, произойдетъ такое щекотаніе нервовъ, которое окажется самодовлѣющимъ, ни во что высшее не разрѣшающимся.

Представьте себѣ еще акробата, совершающаго лишенныя всякаго смысла, но головоломныя упражненія. Онъ летаетъ вверхъ, летаетъ внизъ, виситъ на зубахъ, падаетъ съ пятисаженной высоты на сѣтку и проч. Все это совершенно безсмысленно, но нервы зрителей тѣмъ не менѣе находятся въ величайшемъ напряженіи; публика съ замираніемъ сердца слѣдитъ за штуками акробата, и акробатъ имѣетъ успѣхъ.

Въ такомъ же родѣ, я думаю, и успѣхъ г. Андреева-Бурлака. Онъ пилитъ нервы зрителей и слушателей дикими воплями, раздираніемъ на себѣ рубашки, всѣмъ своимъ видомъ сумасшедшаго въ балахонѣ; пилитъ настолько удачно, что «самъ плачетъ и мы всѣ рыдаемъ», но все это возбужденіе нервами и ограничивается, не слагаясь въ мозгу въ типическій образъ Поприщина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не давая и правдиваго понятія о душевной болѣзни. Зрители уходятъ изъ театральнаго зала съ безпредметно и безцѣльно потрясенными нервами, и если вынесли что-нибудь иное, такъ два фальшивыя представленія: о Поприщинѣ и о душевно-больномъ человѣкѣ. Передъ ними жестикулировалъ, кричалъ, плакалъ, смѣялся

не гоголевскій типъ и не психіатрическій субъектъ, а просто ряженый г. Андреевъ-Бурлакъ, какъ справедливо значится на дощечкѣ больничной кровати. Меня очень мало интересуетъ самъ по себѣ г. Андреевъ-Бурлакъ (только за Гоголя немножко обидно), но представленія его показались мнѣ поучительными, какъ наглядный образчикъ той произвольной и ненужной психіатріи, которая и въ литературѣ часто затопляетъ собою болѣе или менѣе цѣнный подлинный житейскій матеріалъ.

Мнѣ хочется поговорить о двухъ молодыхъ талантливыхъ беллетристахъ, недавно выпустившихъ сборники своихъ произведеній—«М. Альбовъ. Повѣсти», «К. Баранцевичъ. Подъ гнетомъ. Повѣсти и разсказы». Во избѣжаніе недоразумѣній, скажу прежде всего, что вышеприведенныя разсужденія объ успѣхѣ г. Андреева-Бурлака уже потому не могутъ имѣть отношенія къ гг. Альбову и Баранцевичу, что оба они отнюдь не пользуются тѣмъ успѣхомъ, какой приличествуетъ ихъ талантливости и нравственному содержанію ихъ писаній, и какой, я надѣюсь, ждетъ ихъ въ будущемъ. Но оба они заражены тою психіатрической фальшью, которую г. Бурлакъ, благодаря своему актерству, довелъ то той степени грубой наглядности, для какой спартанцы употребляли илотовъ. Заражены далеко не въ одинаковой степени, но поэтому-то ихъ особенно интересно поставить рядомъ.

Гг. Альбовъ и Баранцевичъ не весело смотрятъ на окружающую ихъ жизнь. Оно и натурально: хорошаго мало, съ какой точки зрѣнія ни взглянуть на все, что кругомъ дѣлается. Но именно потому, что точки зрѣнія эти многочисленны и разнообразны, для уясненія писательскихъ физіономій гг. Альбова и Баранцевича было бы очень важно опредѣлить, какія стороны жизни ихъ мрачно настраиваютъ, «гнетутъ» ихъ. Не ихъ лично, разумѣется, потому что, поскольку ихъ мрачный взглядъ проистекаетъ изъ какихъ-нибудь личныхъ причинъ, это дѣло біографа, а не критика. Надо замѣтить, что оба названные писателя, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ своихъ произведеніяхъ, которыя вошли въ сборники (а другихъ я не знаю или не помню), являются отнюдь не представителями какого-нибудь опредѣленнаго общественнаго теченія; они заняты исключительно изображеніемъ личной жизни, личныхъ помысловъ и чувствъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Можетъ, поэтому, показаться, что нечего ихъ и разспрашивать, нечего доискиваться, почему *общій* колоритъ окружающей жизни представляется имъ такимъ мрачнымъ и тяжелымъ. Но это не такъ. Художникъ, влекомый своимъ талантомъ къ изображенію чисто личныхъ страданій и горестей, можетъ не сходить съ этой почвы, но критикъ или, вообще, посторонній наблюдатель можетъ подвести его изображеніямъ итогъ и найти въ нихъ то общее и общественное, что безсознательно живетъ въ душѣ самого художника. По одной какой-нибудь повѣсти, изображающей невзгоды, скажемъ, Сидора Сидорыча, не всегда, конечно, можно судить объ томъ, какой типъ людей или людскихъ отношеній занимаетъ художника, а, слѣдовательно, и объ томъ, какія стороны жизни «гнетутъ» его, но гг. Альбовъ и Баранцевичъ издали по цѣлому сборнику своихъ произведеній. Въ цѣломъ эти сборники непремѣнно должны заключать въ себѣ отвѣтъ на вопросъ, почему авторы такъ мрачно смотрятъ на жизнь. Потому что, вы понимаете, если Сидоръ Сидорычъ испытываетъ даже страшнѣйшія мученія, то можно скорбѣть лично за него, искать для него способовъ избавленія, плакать, сочувствовать, все, что хотите, но нѣтъ резона смотрѣть омраченнымъ взглядомъ на окружающую жизнь въ цѣломъ. Этотъ взглядъ требуетъ особаго оправданія и непремѣнно имѣетъ его. Можетъ быть, оправданіе это, на судъ посторонняго человѣка, окажется неудовлетворительнымъ, но оно должно существовать, какъ фактъ, сознательно или безсознательно руководящій художникомъ.

Г. Альбовъ ссылается гдѣ-то на Достоевскаго въ томъ смыслѣ, что находилъ же, дескать, Достоевскій своеобразное наслажденіе въ мученіяхъ зубной боли. Но и безъ этой прямой ссылки всякій признаетъ въ г. Альбовѣ ученика Достоевскаго по манерѣ и пріемамъ, а отчасти и по сюжетамъ его писаній. Изъ его «Дня итога» такъ и сквозятъ по очереди: то «Двойникъ», то «Записки изъ подполья», то «Преступленіе и наказаніе». Фигура героя, его отношенія къ людямъ, наконецъ, цѣлыя сцены навѣяны Достоевскимъ, а во многихъ мѣстахъ чуть не прямо заимствованы.

Содержаніе этого «психіатрическаго этюда», какъ называетъ свой разсказъ самъ авторъ, состоитъ въ томъ, что нѣкоторый человѣкъ, Петръ Петровичъ Глазковъ, утопился. Это и есть его «день итога». Ночью, скажемъ, съ понедѣльника на вторникъ, разсказъ открывается, а во вторникъ ночью Петръ Петровичъ бросается въ Неву. И, однако, этотъ «день» растянулся у нашего автора ровно на семь печатныхъ листовъ. Достигается это тѣмъ, во-первыхъ, что немногочисленныя событія собственно «дня итога» переплетены съ воспоминаніями и разсказами заднимъ числомъ, отчего происходитъ такая путаница, что временами вы должны перевернуть нѣсколько страницъ

назадъ, дабы справится: это когда же происходитъ? въ день итога или за годъ до него? Путаница усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что Петъ Петровичъ Глазковъ постоянно галлюцинируетъ или, по крайней мѣрѣ, бредитъ, и нужно иногда значительное напряженіе, чтобы помнить, что такая-то, напримѣръ, встрѣча происходитъ въ дѣйствительности и не есть галлюцинація, а такая-то есть лишь созданіе больныхъ чувствъ. Все это, въ преувеличенномъ видѣ, недостатки Достоевскаго, который тоже (и тою же цѣною) любилъ растягивать нѣсколько дней въ цѣлые романы. Затѣмъ огромное мѣсто въ «Днѣ итога» занимаетъ подробнѣйшее описаніе душевной жизни героя—и здѣсь вліяніе Достоевскаго становится до такой степени сильно, что какъ-то даже неловко за автора.

«Психіатрическій этюдъ» начинается такимъ обращеніемъ: «Ну, такъ какъ же, господинъ Глазковъ? Вы все таки никакъ не согласны? Да лжете же вы, противъ самаго себя лжете! Вы, вотъ, все хотите чѣмъ ни на есть мнѣ глаза отвести... Полноте, что вы-съ! Вѣдь вы же, все равно, согласитесь, тѣмъ кончится, *должно* тѣмъ кончиться—не знаю я, что-ли, васъ? Ну, вотъ, вздохнули теперь... Полно ломаться-то, братъ, мы съ тобою вѣдь старые пріятели! Ужъ ссорится-то намъ не приходится. Ну, согласенъ, что-ли? Я жду». Изъ дальнѣйшаго оказывается, что это разговариваетъ не какое-нибудь реальное лицо, а объективированный внутренній голосъ самаго Глазкова; нѣчто въ родѣ знаменитаго «демона» Сократа. Съ тою, однако, важною разницей, что демонъ греческаго мудреца былъ божественнаго происхожденія и всегда желалъ добра Сократу, тогда какъ демонъ Глазкова золъ, насмѣшливъ, постоянно пугаетъ и терзаетъ героя и толкаетъ его на самоубійство. Это состояніе раздвоеннаго *я* Достоевскій, по необузданной жестокости своего таланта, довелъ въ «Двойникѣ» до полной реальности демона, до воплощенія его въ настоящаго, второго господина Голядкина. Г. Альбовъ, по счастію, такъ далеко не пошелъ, но вліяніе «Двойника» всетаки несомнѣнно.

Между прочимъ, демонъ Глазкова шепчетъ ему: «Собственно, ты аномалія, несоединимое сочетаніе стремленій орла съ суммою силъ божьей коровки; такъ это есть и перемѣнить ты не можешь». Правъ-ли демонъ въ этой своей характеристикѣ, или онъ, толкая Глазкова въ Неву, говоритъ это для пущей язвительной доказательности, объ этомъ читатель судить не можетъ, потому что въ самомъ разсказѣ рѣшительно не видитъ орлиныхъ стремленій. Видно только, что Глазковъ человѣкъ, во-первыхъ, больной, а во-вторыхъ, злой до совершенно безцѣльной жестокости. За годъ до «дня итога», съ Глазковымъ случилось несчастіе, довольно, впрочемъ, обыкновенное: дѣвушка, которую онъ любилъ, и которая, какъ ему, совершенно, впрочемъ, неосновательно, казалось, тоже его любила, вышла замужъ какъ разъ въ то время, когда онъ собирался предложить ей руку и сердце. Это глубоко ранило нашего героя. «До *того* у него еще были разныя цѣли, стремленія, минутами вѣра въ себя; послѣ *того* онъ махнулъ рукой на все. Катастрофа показала ему, что онъ раньше все время карабкался на стѣну, и вотъ онъ опустилъ руки, присѣлъ... Точно извнутри его вынули какой-то жизненный нервъ... Онъ тогда сладостно-злобно началъ порывать всѣ старыя связи, при встрѣчахъ съ знакомыми пересталъ даже кланяться. То было какое-то смутное метаніе въ пустынѣ». Но пришла весна, а рядомъ съ Глазковымъ занимала комнату швея, Катя Ершова. Разъ вечеромъ сидѣли они вмѣстѣ и вдругъ, какъ-то совсѣмъ нечаянно, случилась такое, что Глазковъ на другой день вопіялъ: «Что я надѣлалъ! Боже, Боже, что я надѣлалъ?!» Нечаянно возникшія отношенія тянулись недолго. Разъ Глазковъ явился въ комнату къ Катѣ. «Завтра я переѣзжаю!» мрачно и какъ-то злобно отрѣзалъ онъ ей, что называется, съ бацу. И переѣхалъ, а переѣхавши, разсуждалъ такъ:

„Истерзалъ и надулъ, удравъ воровскимъ, подлымъ образомъ! И отлично! чѣмъ подлѣй, тѣмъ лучше! Она теперь, можетъ, мучится... Превосходно! Пусть это покажетъ ей, съ кѣмъ она дѣло имѣла... Это будетъ лѣкарствомъ. Вы вотъ пламенѣли, обожали, въ идеалъ производили, пожалуй, всякія тамъ безкорыстныя чувства на алтарь любви приносили, а вотъ теперь понюхайте, чѣмъ кумиръ-то вашъ пахнетъ... Хорошъ? Такъ-то, Катенька! Можетъ, сами потомъ еще мнѣ спасибо скажете, когда поймете, что все въ Вавилонѣ нашемъ превратно. А то интрижка съ студентомъ — экая дичь! Можетъ, вѣдь, счастіе вамъ предстоитъ!.. Вдругъ этакъ оболтусъ какой-нибудь наклюнется съ деньгами. Прелестное дѣло! Скажете, небось, не возьмете? Не безпокойтесь, возьмете! Лучше, чѣмъ за работой-то такъ убиваться... Возьмете! На то Вавилонъ!»

Катя приходитъ навѣстить Глазкова на новой квартирѣ. Онъ обходится съ ней крайне грубо, объясняя свое поведеніе такъ: «Жестокость нужна! Развѣ хирургъ обращаетъ вниманіе на боль, когда рѣжетъ? Компромиссы, уступки—все это слабость». Однако, встрѣтивъ потомъ Катю на улицѣ, Глазковъ размякаетъ, но вслѣдъ затѣмъ опять обозляется и разражается громовою рѣчью:

«Онъ вскочилъ съ подоконника и сталъ посреди комнаты, трясясь все больше и больше,

подмываемый какимъ-то упоеніемъ злобы. Катя, присѣвшая было на диванъ, тоже стояла теперь противъ него, вся помертвѣвъ, безъ кровинки на лицѣ.

«—Да, и я скажу, я скажу, наконецъ! Благо вы опять прилетѣли, нѣжная голубица, къ своему голубку. Квартира поближе! Ха! Удобнѣй цѣловаться и миловаться. Еще бы! О, чортъ! Что до того, что я отъ васъ тогда съ квартиры сбѣжалъ? Пустое! А когда, не смотря на то, вы всетаки ко мнѣ придрали, оттуда, съ Песковъ, и я васъ прогналъ отъ себя... Это тоже вѣдь вздоръ! Экая важность! Бѣснуется чудной человѣкъ, самъ не зная съ чего. А права-то, права всетаки надо мной вы имѣете! Вѣрно, вѣдь, Катенька? Такъ вѣдь я и самъ это знаю! Вѣдь самъ же я своими руками надѣлъ петлю на себя въ ту несчастную ночь... будь она проклята! И, что всего хуже въ этой подлой игрѣ, я вѣдь и дѣйствительно по рукамъ и ногамъ въ вашей власти. Хоть бы поводъ-то какой вы мнѣ дали васъ оскорбить... еслибъ я хоть единое рѣзкое слово отъ васъ услышалъ... а то и этого нѣтъ, вѣдь даже и этого нѣтъ! Отъ васъ только покорность и преданность рабская, и любовь безкорыстная, и всякая штука... вѣдь вотъ въ чемъ вся подлость, въ чемъ ваша-то сила!.. Она-то и рѣжетъ хуже ножа, жилы вытягиваетъ. Пойми же, пойми же ты, наконецъ, что мнѣ не въ терпежъ!.. Я скоро съ ума сойду! Нѣтъ мучительнѣй этакой пытки. Сносить твои нѣжности и не имѣть даже духу сказать тебѣ прямо въ глаза, что я тебя ненавижу! ненавижу! ненавижу!!»

Это было наканунѣ «дня итога», а въ самый этотъ роковой день Глазковъ просилъ у Кати прощеніе. Онъ говорилъ: «Оскорбить, оплевать тебя какъ можно больнѣе, жесточе—вотъ что у меня было въ виду, и къ этому я даже готовился, цѣлыхъ два дня готовился и думалъ объ этомъ, наслаждался впередъ». Объясненіе же такому дикому поведенію Глазковъ даетъ слѣдующее: «Я знаю, ты душу готова положить за меня, ненужно этого, совсѣмъ ненужно! Не могу я принять ни чьей жертвы; она мнѣ насмѣшкой, оскорбленіемъ кажется, потому что я самъ себя ненавижу! Пойми же ты мое положеніе: сознавать себя за ничтожество, презирать на каждомъ шагу—и принимать поклоненія... О, Господи! Это сверхъ силъ! У меня вѣдь всетаки честность-то, по крайней мѣрѣ, осталась, совѣсти-то хоть капелька есть!»

Итакъ, вотъ мотивы злобной жестокости Глазкова: во-первыхъ, мотивъ, такъ сказать, хирургическій — кончить сразу отношенія, которыя иначе все равно кончились бы, но послѣ лишнихъ мученій; во-вторыхъ, мотивъ чисто личнаго свойства — Глазковъ такъ глубоко сознаетъ свое ничтожество, что его до озлобленія оскорбляетъ поклоненіе, преданность, вѣра въ него. Но съ Глазковымъ былъ вотъ еще какой случай въ тотъ же роковой день итога. Встрѣтилъ онъ въ Румянцевскомъ скверѣ, повидимому, мѣщаночку, оскорбленную любовникомъ и потому съ горя выпившую. Разговоръ начался съ того, что женщина попросила у нашего героя защиты отъ приставаній какого-то уличнаго донъ-Жуана, а потомъ, будучи навсеселѣ, стала въ запутанныхъ словахъ излагать свое горе, упомянувъ мимоходомъ, что такъ полна имъ, этимъ горемъ, что вотъ сегодня «даже ничего и не ѣла». Глазковъ, съ своей стороны, судилъ такъ, что передъ нимъ «беззащитное, въ полномъ, трагическомъ смыслѣ, беззащитное существо, одно среди холоднаго беззащитнаго города». И вдругъ—

«внутри Глазкова шевельнулось желаніе сдѣлать что-то такое, совсѣмъ неожиданное; желаніе пока еще смутное, но настойчивое дикое, сумасшедшее желаніе, которое охватило его предвкушеніемъ особеннаго, жгучаго наслажденія. Онъ даже началъ дрожать...

— Господи, какъ это хорошо, что я встрѣтила васъ! Вѣдь это, должно быть, судьба... Какъ это странно: совсѣмъ васъ не знаю, а между тѣмъ, точно сижу я съ самымъ лучшимъ знакомымъ... Вы, кажется, такой отличный и добрый... ей-Богу! Кто бы другой съ такимъ участіемъ...

Глазковъ вдругъ захохоталъ.

— Ну, еще бы! Знаете что? Вы вотъ, говорите, не ѣли... въ кармашкѣ, значитъ, тово... Что если я вамъ предложу... (Онъ пріостановился и пристально, жадно слѣдилъ за выраженіемъ ея лица). Пойдемте въ номеръ со мной! У меня въ карманѣ, кажется, пятишница есть... А? для перваго дебюта отлично! Надо же когда-нибудь вамъ начинать...

Онъ смотрѣлъ и ждалъ что будетъ. Сперва она широко открыла глаза, вѣроятно, не сразу понявъ, потомъ вдругъ отшатнулась... И, странное дѣло, въ эту минуту, этимъ оцѣпенѣвшимъ взглядомъ и всѣмъ выраженіемъ лица она ему ужасно напомнила Катю Ершову въ тотъ памятный вечеръ, когда онъ сразилъ ее неожиданной выходкой».

Въ этомъ эпизодѣ хирургическій мотивъ не могъ имѣть мѣста, потому что не было никакой надобности въ операціи: произошла только случайная уличная встрѣча. Что касается мотива личнаго, то еслибы онъ даже подлежалъ оправданію по существу, то вѣдь незнакомка никакого поклоненія и преданности г. Глазкову не обнаружила. Правда, она назвала его «отличнымъ и добрымъ», но уже раньше этихъ будто бы ужасно оскорбительныхъ словъ Глазковъ почувствовалъ «дикое, сумасшедшее желаніе, которое охватило его предвкушеніемъ особеннаго, жгучаго наслажденія». Вотъ въ этомъ то жестокомъ наслажденіи мучительства, самодовлѣющемъ и въ себѣ самомъ единственный мотивъ заключающемъ, все дѣло. Глазковъ есть точная копія съ героя «Записокъ изъ подполья» Достоевскаго, который (Достоевскій) такъ твердо зналъ, что «человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ». Вы помните, что герой «Записокъ изъ подполья» точно также безъ всякаго посторонняго резона, а единственно для «жгучаго наслажденія» оскорбляетъ женщину предложеніемъ денегъ! Подражаніе идетъ и дальше, въ са-

мой фабулѣ. Такъ, Глазковъ попадаетъ, подобно герою «Записокъ изъ подполья», на прощальную пирушку къ отъѣзжающему бывшему товарищу, съ которымъ, равно какъ и со всѣмъ его кругомъ, давно не имѣетъ ничего общаго. Глазковъ говоритъ тамъ рѣчь на замысловатую тему о «блаженствѣ поклониться себѣ», опять-таки совершенно во вкусѣ Достоевскаго. А резоны, которыми демонъ Глазкова убѣждаетъ его въ необходимости для него самоубійства, если и не буквально повторяютъ собою теорію самоубійства Кирилова въ «Бѣсахъ», то очень напоминаютъ ее своею вычурностью.

Въ подтвержденіе всего этого, я уже не стану больше дѣлать выписки изъ «Дня итога». Посмотримъ лучше, въ чемъ состоитъ разница между учителемъ и ученикомъ. Разница прежде всего, конечно, та, которая всегда заставляетъ предпочитать «оригиналы спискамъ». Объ этомъ не стоило бы даже, можетъ быть, упоминать, еслибы не одно маленькое осложненіе. Дѣло въ томъ, что, не смотря на преимущества, даваемыя оригиналу его талантомъ, сравнительная блѣдность списка имѣетъ ту выгоду, что не съ такою уже чрезмѣрностью терзаетъ нервы читателей и не такой ужъ рогъ изобилія униженій выливаетъ на героевъ. А затѣмъ любопытно слѣдующее обстоятельство:

Въ записной книжкѣ Достоевскаго, напечатанной въ недавно вышедшемъ томѣ его сочиненій, между прочимъ, читаемъ: «Меня зовутъ психологомъ; не правда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, то-есть изображаю всѣ глубины души человѣческой». Здѣсь, очевидно, описка или опечатка, вмѣсто «меня зовутъ *психологомъ*» надо, конечно, читать: «меня зовутъ *психіатромъ*», во-первыхъ, потому что Достоевскаго «зовутъ» именно такъ, а во-вторыхъ, и по общему смыслу этого самооправданія. Ту же мысль выражаетъ Достоевскій въ одномъ изъ писемъ къ г. Страхову по поводу романа «Идіотъ»: «У меня свой особенный взглядъ на дѣятельность въ искусствѣ; и то, что большинство называетъ почти фантастическимъ и исключительнымъ, то для меня иногда составляетъ самую сущность дѣйствительнаго. Обыденность явленій и казенный взглядъ на нихъ, по моему, не есть еще реализмъ, а даже напротивъ. Въ каждомъ номерѣ газетъ вы встрѣчаете отчетъ о самыхъ дѣйствительныхъ фактахъ и о самыхъ мудреныхъ. Для писателей нашихъ они фантастичны, да они и не занимаются ими; а между тѣмъ, они дѣйствительность, потому что они *факты*. Кто же будетъ ихъ замѣчать, ихъ разъяснять и описывать? они поминутны и ежедневны, а не *исключительны*». Многое можно бы было сказать объ этихъ разсужденіяхъ Достоевскаго, но я не хочу уклоняться въ сторону и только подчеркиваю то обстоятельство, что разсужденія эти излагаются по поводу «Идіота», центральную фигуру котораго составляетъ эпилептикъ. Такимъ образомъ, рисуя эпилептиковъ, маніаковъ, юродивыхъ, галлюцинантовъ, субъектовъ съ раздвоеннымъ сознаніемъ и проч., Достоевскій былъ твердо увѣренъ, что это совсѣмъ не психіатрическій матеріалъ и не что-нибудь исключительное, а просто «глубина души человѣческой» въ самой обыденной дѣйствительности. Господинъ же Альбовъ рѣшительно надписываетъ на своемъ разсказѣ: «Психіатрическій этюдъ». Это показываетъ, что г. Альбовъ, усвоивъ себѣ пріемы, манеры, даже типы Достоевскаго, не заразился имъ, однако, до самаго корня. Это, къ счастію, только подражаніе, нѣчто наносное, отчего г. Альбовъ можетъ отдѣлаться. И чѣмъ скорѣе онъ отдѣлается, тѣмъ, разумѣется, лучше.

Жанръ Достоевскаго совсѣмъ особенный, исключительный, лично ему принадлежащій. Что бы онъ ни толковалъ о «глубинахъ души человѣческой», но эпилептикъ есть субъектъ патологическій, и, къ счастію, пока исключительный. Будучи самъ эпилептикомъ, Достоевскій могъ, конечно, какъ никто, изобразить чувства эпилептическаго князя— «Идіотъ» — но именно поэтому г. Альбовъ, лишенный такого печальнаго преимущества, можетъ быть въ этомъ отношеніи только слабой, неточной копіей съ яркаго и правдиваго оригинала. Понятное дѣло, что тщательное изученіе той или другой болѣзни можетъ замѣнить соотвѣтственный тяжелый внутренній опытъ. Но, по всѣмъ видимостямъ, г. Альбовъ такимъ тщательнымъ изученіемъ не занимался, а довольствовался случайными наблюденіями и руководствовался тою общею, но совершенно неправильною мыслью, что разстроенному духу приличествуетъ разнообразная чепуха и фантастичность.

Г. Альбову, равно какъ и нѣкоторымъ другимъ нашимъ молодымъ беллетристамъ, слѣдуетъ помнить слова Гризингера: «Поэтическія и моралистическія представленія не только безполезны и теоретически ошибочны, но положительно вредны въ практическомъ отношеніи. Они дали людямъ, не знающимъ дѣла, такія представленія о душевныхъ болѣзняхъ, которыя не имѣютъ даже и отдаленнаго сходства съ дѣйствительностью, и когда представленія эти не соотвѣтствуютъ ей, у такого человѣка является сомнѣніе, дѣйствительно-ли это душевная болѣзнь. Какъ наивно удивляются многіе посѣтители дома умалишенныхъ, представлявшіе себѣ его жителей совсѣмъ иначе!» Слѣдуетъ также помнить, что если Достоевскій мастерски передалъ, напримѣръ, эпи-

лептическіе припадки «идіота», то это еще не значитъ, чтобы онъ «изображалъ всѣ глубины души человѣческой». Напротивъ, въ его психологіи, роющейся въ разныхъ злобныхъ наслажденіяхъ и другихъ подобныхъ вычурностяхъ, пропасть произвольнаго и фальшиваго. Прямо доказать этого нельзя, потому что, какъ въ самомъ дѣлѣ докажешь, что такой - то фактъ не могъ вызвать такого - то душевнаго движенія и т. п.? Но Достоевскій былъ не только беллетристъ, а и публицистъ, онъ не только изображалъ, а и предъявлялъ нравственно - политическія сужденія, въ которыхъ, пожалуй, и можно найти доказательства фальшивости и произвольности его психологіи. Дѣйствительно, мы имѣемъ такое драгоцѣнное по своей поучительности для молодыхъ писателей доказательство. Извѣстно, что съ самаго начала своего «Дневника писателя» (тогда еще печатавшагося въ «Гражданинѣ»), Достоевскій очень негодовалъ на слабость нашихъ присяжныхъ къ оправдательнымъ вердиктамъ. «Прямо скажу, писалъ онъ:—строгимъ наказаніемъ, строгомъ и *которгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ* (преступниковъ). Облегчили бы ихъ, а не отяготили. *Самоочищеніе страданіемъ легче*, говорю вамъ, легче, чѣмъ та участь, которую вы дѣлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданіемъ ихъ на судѣ. *Вы только вселяете въ его душу цинизмъ*, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны. Вы вливаете въ его душу безвѣріе въ правду народную, въ правду Божію». Достоевскій—одинъ изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ сердцевѣдовъ, а потому ему кто-нибудь, пожалуй, и повѣрилъ; съ горечью, съ болью, но повѣрилъ. Но если этотъ повѣрившій дожилъ до 1876 года, такъ онъ имѣлъ удовольствіе прочитать въ «Дневникѣ» же слѣдующія, блистающія мягкостью строки: «*Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится-ли душа, не развратится-ли, не озлобится-ли на вьки? Кого когда поправила каторга?* И, главное—все это при совершенно неразъясненномъ и не опровергнутомъ сомнѣніи о болѣзненномъ аффектѣ тогдашняго беременнаго ея состоянія. Опять повторяю, какъ два мѣсяца назадъ: лучше ужъ ошибаться въ милосердіи, чѣмъ въ казни. *Оправдайте несчастную, и авось не погибнетъ юная душа*, у которой, можетъ быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ же, *навѣрное*, все погибнетъ, ибо развратится душа».

Итакъ, съ одной стороны, каторга *никого никогда* не поправила, и душа въ ней *навѣрное* погибнетъ, а съ другой стороны, каторга *спасителна*. Достоевскій могъ бы написать на эти двѣ противоположныя темы два прекрасныхъ романа, въ которыхъ послѣдующее съ вѣроподобіемъ вытекало бы изъ предыдущаго, что и зачлось бы ему за глубокій психологическій анализъ, тѣмъ болѣе, что онъ приэтомъ, конечно, мучительски игралъ бы на нервахъ читателя. Но изъ этого нервнаго раздраженія не проистекло бы, однако, правдиваго представленія о вліяніи каторги...

Г. Альбовъ тоже играетъ на нервахъ читателей; слабѣе, разумѣется, чѣмъ Достоевскій, но съ такою же тщательностью и съ такою же ненужностью, ибо изъ его «Дня итога», растянувшагося на семь печатныхъ листовъ, всетаки не вышло настоящаго психіатрическаго этюда, да и фигура Глазкова, просто какъ житейскаго типа, остается вполнѣ невыясненною. Не можемъ мы, значитъ, отвѣтить и на поставленный намъ себѣ вопросъ, какія стороны жизни наводятъ мрачный колоритъ на писанія г. Альбова?

Послѣ утомительнаго «Дня итога» читатель поистинѣ отдыхаетъ на «Воспитаніи Лельки». Это первая часть повѣсти, носящей вычурное и ничѣмъ не оправданное общее заглавіе «О людяхъ, взыскующихъ града». «Воспитаніе Лёльки» представляетъ рядъ жанровыхъ картинокъ, свободныхъ отъ всякой психіатріи и свидѣтельствующихъ о большой наблюдательности и талантливости автора. За то вторая часть «Взыскующихъ града», озаглавленная «Сутки на лонѣ природы», хотя и не содержитъ въ себѣ прямо психіатріи, но переполнена такъ называемымъ психическимъ анализомъ; есть тутъ, кромѣ того и бредъ, и галлюцинаціи, и длиннѣйшія, мучительныя воспоминанія героини, вслѣдствіе чего эти *сутки* и доводятся благополучно до размѣра *восьми смишкомъ* печатныхъ листовъ. Наконецъ, третья и послѣдняя повѣсть въ сборникѣ называется «Конецъ Невѣдомой улицы». Это опять живыя, талантливо написанныя жанровыя картинки, подъ конецъ испорченныя, однако, непомѣрной психологіей, бредомъ и галлюцинаціями, впрочемъ, не больныхъ, а только пьяныхъ людей.

Симпатичную струйку въ повѣстяхъ г. Альбова, составляетъ интересъ къ дѣтской жизни (все «Воспитаніе Лельки», начало «Конца Невѣдомой улицы»), такъ мало, вообще говоря, занимающей нашихъ беллетристовъ. Но гораздо сильнѣе пробивается эта симпатичная струйка у г. Баранцевича. Два его разсказа (и притомъ едва-ли не лучшіе) — «На волю Божью» и «Одни» такъ и называются «Изъ жизни заброшен-

ныхъ дѣтей», но кромѣ того дѣти являются дѣйствующими лицами и въ другихъ разсказахъ. Г. Баранцевичу удалось даже создать очень трогательную фигурку ребенка-няньки, въ разныхъ варіаціяхъ повторяющуюся въ разсказахъ: «Кляча», «Одни», отчасти «На волю Божью». Это я, впрочемъ, только мимоходомъ. Меня занимаетъ другая сторона повѣстей и разсказовъ г. Баранцевича.

Г. Баранцевичъ гораздо умѣреннѣе г. Альбова насчетъ психологіи, а психіатріи у него, пожалуй, и совсѣмъ нѣтъ; хотя и онъ любитъ рисовать бредъ и галлюцинаціи, но бредятъ и галлюцинируютъ у него не душевно больные, а просто голодные, холодные, умирающіе, лихорадочные. Оттого его легче понять, то-есть легче понять, что именно застилаетъ для него жизнь какимъ-то мрачнымъ и тяжелымъ туманомъ.

Выше было сказано, что какъ г. Альбовъ, такъ и г. Баранцевичъ вращаются въ сферѣ личной жизни и не предъявляютъ какой-нибудь общественной тенденціи. Можетъ показаться, однако, что какъ разъ первая повѣсть г. Баранцевича, самая большая (и самая неудачная), отзывается, напротивъ, интересомъ къ вопросу чисто-общественнаго характера. Повѣсть называется «Чужакъ». Молодой «баринъ» Радунцевъ женился на крестьянкѣ. Это было дѣломъ настоящей, искренней любви, зародившейся еще въ дѣтствѣ—Радунцевъ и Таня росли вмѣстѣ. Если не самъ Радунцевъ, однако, то его пылкіе молодые товарищи склонны были видѣть въ его бракѣ не простое соединеніе любящихъ сердецъ. На свадебной пирушкѣ раздавались пламенныя рѣчи о «практическомъ сліяніи съ народомъ», объ «эрѣ обновленія ветхаго интеллигентнаго человѣка» и т. п. Но тутъ же высовываются и острыя терніи будущаго. Родители невѣсты не пришли на свадьбу, «не хотѣли помѣшать барину», а сама невѣста обидѣлась одною изъ непонятныхъ для нея пламенныхъ рѣчей и назвала оратора «насмѣшникомъ». Дѣло было въ Петербургѣ. Для новобрачныхъ пошли тяжелые дни взаимныхъ недоразумѣній и непониманій. Наконецъ, Таня убѣжала къ себѣ въ деревню погостить. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ поѣхалъ туда и Радунцевъ и тотчасъ же узналъ, что Таня слюбилась съ молодцоватымъ парнемъ. Терзанія ревности и проч. Отецъ Тани, другіе деревенскіе люди, даже сама Таня предлагаютъ ему «поучить» ее, то-есть побить, да тѣмъ и покончить, но Радунцевъ не можетъ бить, не можетъ и простить, вслѣдствіе чего и уѣзжаетъ. Въ этой-то послѣдней чертѣ, въ томъ, что онъ не такъ грубъ, чтобы бить, но и не такъ мягокъ, чтобы простить и забыть, въ этой чертѣ заключается, повидимому, убѣдительнѣйшее доказательство, что онъ «чужакъ» и не имѣетъ ничего общаго съ деревенскимъ міромъ.

Можетъ показаться, что этою повѣстью г. Баранцевичъ пожелалъ сказать свое слово въ разговорѣ о «сліяніи съ народомъ», не такъ давно у насъ многихъ очень занимавшемъ. На самомъ дѣлѣ, однако, это совсѣмъ не такъ. Рядомъ съ романомъ Радунцева и Тани идутъ и другіе. Радунцевъ былъ когда-то учителемъ нѣкоей Вѣрочки Рамазаевой, которая его любитъ, что, впрочемъ, Радунцевъ узналъ ужъ очень поздно. Одинъ изъ пламенныхъ ораторовъ свадебной пирушки, Рѣзцовъ, снимаетъ у матери этой Вѣрочки мельницу; ему, какъ онъ самъ говоритъ, «ветхаго человѣка сбросить удалось», онъ совсѣмъ освоился въ мужицкой жизни. Но на бѣду онъ полюбилъ Вѣрочку Рамазаеву, изъ каковой бѣды выпутался, впрочемъ, благополучно: «прозрѣлъ во-время, а прозрѣвши, увидѣлъ, что барышня есть, дѣйствительно, *барышня*, и всѣ ея порыванія были просто «силъ избытокъ!» Эта, такъ сказать, любовная кадриль намекаетъ, что еслибы пары расположились иначе, такъ не было бы, можетъ быть, и драмы, ибо Рѣзцовъ не «чужакъ» въ деревнѣ, а слѣдовательно, и вся исторія «сліянія» получила бы совсѣмъ иное освѣщеніе. Очевидно, центръ тяжести повѣсти лежитъ не въ «сліяніи», а въ томъ сиротствѣ и одиночествѣ, на которыя обречены люди, нелѣпо сталкиваемые и расталкиваемые злой судьбой. Это и есть преобладающій мотивъ повѣстей и разсказовъ г. Баранцевича, такъ что даже неопредѣленное заглавіе всего сборника «Подъ гнетомъ» можно бы дополнить: «Подъ гнетомъ одиночества».

Непосредственно за «Чужакомъ» слѣдуетъ очеркъ «Власьевна». Умеръ талантливый композиторъ, и его старая кормилица Власьевна разсказываетъ:

«Вѣкъ свой одинъ-одинешенекъ такъ и прожилъ, хотя и много было народу около. Барыня-то, Богъ прости, не любила, знать, сердечнаго. Все только гости да гулянья, да балы, да обѣды. Разныя новыя новости, да выдумки, да наряды, и все-то изъ его кармана. Измучили его, въ концецъ измучили, а онъ, голубчикъ, такой слабенькій былъ, худенькій... Въ послѣднее-то время болѣнъ сталъ, скучный такой сдѣлался, кажись, свѣтъ ему не милъ... Нравъ-то у нихъ разный былъ. Онъ-то, желанный, все больше къ дому склонность имѣлъ, а она фить-фить, по гостямъ и поѣхала... А тутъ еще разные слухи нехорошіе пошли, заскучалъ

мой родненькій пуще того»... И т. д. Спрашивается, развѣ этотъ несчастный композиторъ не такой же «чужакъ», какъ и Радунцевъ? Около него много людей, и люди эти апплодируютъ ему, поздравляютъ его, превозносятъ, но во всей этой толпѣ ему не къ кому прислониться въ тяжелыя минуты. Самъ одинъ несетъ онъ бремя жизни и можетъ быть когда-то несъ его съ силою и даже съ презрительною гордостью замыкался въ свое одиночество. Но, наконецъ, изнемогъ. Бѣда не только въ томъ, что онъ одинокъ душой, а и въ томъ еще, что при всемъ его одиночествѣ, его связываютъ съ людьми какія-то крѣпкія, цѣпкія, но пустопорожнія узы, самою пустопорожностью своею плодящія скорбныя недоразумѣнія. Узы эти настолько сильны, чтобы причинять страданіе за страданіемъ, и совершенно безсильны относительно той поддержки, въ которой заключается весь смыслъ какого бы то ни было союза, и ради которой еще Аристотель назвалъ человѣка «общественнымъ животнымъ». Положимъ, что если «нравъ-то у нихъ разный былъ», какъ разсказываетъ Власьевна, то несчастный композиторъ могъ искать опоры въ своей артистической дѣятельности. Оно, конечно, такъ и было до извѣстной степени, но, какъ человѣкъ чуткій, онъ долженъ былъ понимать, что это собственно только удаленіе изъ жизни въ міръ музыкальныхъ гимновъ къ божеству красоты; что всѣ эти апплодирующіе, «ликующіе, праздно болтающіе» совсѣмъ ему чужды, и будутъ вести на его похоронахъ именно тѣ пошлые и холодные разговоры, которые они и дѣйствительно вели...

Въ очеркѣ «Шестнадцатый номеръ» умираетъ раненый солдатикъ-новобранецъ. Весь очеркъ состоитъ изъ воспоминаній и бреда умирающаго. Кончается бредъ такъ: «Крестъ безпремѣнно сынишкѣ... чтобы носилъ да помнилъ отца... Убили, ахъ, убили меня... За что убили? За что Онашку убили?.. У *нихъ* своя земля, у насъ *своя* земля... Зачѣмъ рожь шумитъ? Рожь-то зачѣмъ шумитъ? Кто собирать станетъ?.. Отецъ старъ, одному не управиться... не управиться». И т. д. Вы опять видите одинокаго умирающаго, отъ чего-то оторваннаго и включеннаго въ союзъ, который, не принеся ничего, кромѣ страданій, въ моментъ смерти представляется ему какимъ-то колоссальнымъ недоразумѣніемъ: «За что убили? у нихъ своя земля, у насъ своя земля. И кто будетъ рожь убирать?»

Я не буду, разумѣется, слѣдить за содержаніемъ всѣхъ очерковъ и разсказовъ г. Баранцевича. Вы сами найдете положительно въ каждомъ изъ нихъ все ту же тоску сиротливаго одиночества и коллекцію недоразумѣній, возникающихъ изъ тѣхъ узъ, которыя горя и страданій отпускаютъ сколько угодно, а опоры не даютъ. Г. Баранцевичъ иногда пересаливаетъ (напримѣръ, «Мятель»), иногда плохо справляется съ своимъ матеріаломъ (напримѣръ, «Чужакъ»), слишкомъ злоупотребляетъ бредомъ и галлюцинаціями, но иногда въ своемъ жизнеописаніи одинокихъ людей поднимается до, дѣйствительно, художественныхъ картинъ и образовъ (напримѣръ, «На волю Божью»). Во всякомъ случаѣ всегда и вездѣ онъ занятъ однимъ и тѣмъ же.

Мнѣ кажется, что если читатель, познакомившись съ г. Баранцевичемъ, обратится къ столь родственному ему по духу г. Альбову, то и у него найдетъ подъ грудой психіатрическаго балласта ту же живую струю; такъ, что, напримѣръ, даже озлобленность героя «Дня итога» получитъ очень простое, житейское объясненіе, не нуждающееся ни въ раздвоенномъ сознаніи, ни въ галлюцинаціяхъ, ни въ прочихъ психіатрическихъ украшеніяхъ. Для обоихъ писателей, очевидно, одна и та же сторона жизни мрачною тѣнью ложится на все, къ чему они прикасаются перомъ: одиночество, при наличности какихъ-то тяжелыхъ, ненужныхъ узъ. Благодарная тема, и не я буду предлагать молодымъ беллетристамъ сойти съ избраннаго ими пути. Это, дѣйствительно, одно изъ самыхъ больныхъ мѣстъ нашей современной жизни. Не добро быти человѣку едину, это давно сказано, но еще хуже быть человѣку едину, когда онъ въ то же время связанъ. Это впрочемъ, матерія сложная и длинная, а мѣста у меня остается мало, да и не знаю, впрочемъ, скоро-ли мнѣ придется къ ней возвратиться. Замѣчу лишь слѣдующее. Г. Баранцевичъ разсказалъ цѣлую серію эпизодовъ изъ жизни одинокихъ людей и все это выходитъ какъ будто случайно, а у г. Альбова даже до душевной болѣзни исключительно. Но когда случайностей такъ много, то онѣ, должно быть, не случайности; должно быть, во всемъ строѣ нынѣшней жизни есть что-то такое, какое-то общее теченіе, опредѣляющее всѣ эти случайности. А если такъ, то тѣмъ паче слѣдуетъ бросить возню съ психіатріей, которая вѣдь все равно не настоящая.

XII *).

Въ недавно вышедшемъ сочиненіи профессора Карѣева «Основные вопросы философіи исторіи» выражается, между прочимъ, почтительное удивленіе передъ извѣстной тріадой Гегеля, которая, по замѣчанію

*) 1884, мартъ.

автора, оправдывается рѣшительно во всѣхъ областяхъ мысли и жизни. Всякая, дескать, исторія состоитъ въ послѣдовательной смѣнѣ тезиса, антитезиса и синтезиса: положенія, отрицанія и наконецъ, примиренія того противорѣчія, которое заключается въ двухъ первыхъ членахъ тріады: примиреніе это достигается отрицаніемъ отрицанія и, слѣдовательно, возвращеніемъ къ исходному пункту, дополненному пріобрѣтеніями, сдѣланными на второй, средней ступени развитія. Г. Карѣевъ не первый дѣлаетъ замѣчаніе насчетъ всеобъемлемости гегелевской формулы. Не говоря о самихъ гегельянцахъ, люди, не имѣющіе ничего общаго съ ученіемъ знаменитаго прусскаго философа, не рѣдко съ удивленіемъ останавливаются передъ формулою, выработанною въ сферахъ чистаго духа, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но нѣтъ и радостей, и, однако, страннымъ образомъ охватывающею исторію всѣхъ болѣзней, печалей и воздыханій, равно какъ и всѣхъ радостей.

Я думаю, какъ и вы, конечно, что и въ сферахъ чистаго духа, какъ въ прочихъ житейскихъ дѣлахъ, имѣла мѣсто извѣстная комбинація опытовъ и наблюденій, легшая въ основаніе обобщенія, давшая возможность угадать всеобъемлющій законъ; если онъ въ самомъ дѣлѣ существуетъ, или породившая ошибку, если законъ, не оправдывается дѣйствительностью. Я отнюдь не помышляю заниматься раскрытіемъ и разъясненіемъ секрета формулы трехчленнаго діалектическаго развитія. Мнѣ хочется только обратить ваше вниманіе на тѣ ни мало не таинственныя, чисто житейскія обстоятельства, въ силу которыхъ умъ человѣческій склоненъ располагать нѣкоторые свои опыты и наблюденія именно въ порядкѣ тройственной смѣны положенія, отрицанія и примиренія. И вы не взыщете, если не ради самой гегелевской тріады поведу я этотъ разговоръ, а тоже въ виду кое-какихъ житейскихъ дѣлъ и дѣлишекъ.

Что касается исторіи въ тѣсномъ смыслѣ слова, то-есть исторіи человѣческихъ отношеній, то любопытно, что въ этой области, по трехчленному дѣленію, проходили люди, даже совсѣмъ незнакомые съ философіей Гегеля. Таковы, напримѣръ, Огюстъ Контъ, сгруппировавшій исторію человѣчества въ три періода: теологическій, метафизическій и позитивный. Таковъ Луи Бланъ, для котораго исторія представляетъ послѣдовательную смѣну трехъ принциповъ: авторитета, индивидуализма и братства. Интересно далѣе, что какъ для Конта, такъ и для Луи Блана послѣдняя ступень развитія есть, дѣйствительно, какъ бы возвращеніе въ извѣстномъ смыслѣ къ первой ступени. Это ясно изъ прямого сопоставленія принциповъ теологическаго и авторитета съ одной стороны и позитивнаго и братства—съ другой, а еще болѣе изъ личнаго отношенія обоихъ мыслителей къ этимъ принципамъ: Конту теологическій фазисъ несравненно симпатичнѣе, чѣмъ метафизическій, а Луи Бланъ съ гораздо большею ненавистью относится къ періоду индивидуализма, чѣмъ къ ступени авторитета.

Оно и понятно. Въ то время, когда писалъ и дѣйствовалъ Луи-Бланъ, то, что онъ называлъ принципомъ авторитета, было совершенно расшатано, или, по крайней мѣрѣ, казалось расшатаннымъ. Это было нѣчто исторически законченное, сданное въ архивъ и, слѣдовательно, безопасное. Индивидуализмъ, напротивъ, гордо несъ свою вѣнчанную лаврами недавнихъ побѣдъ голову. Это была настоящая сила настоящей минуты, и натурально, что, даже при одинаковой степени враждебности къ принципамъ авторитета и индивидуализма, практика жизни должна была подсказывать представителю принципа братства несравненно большую напряженность отрицанія по адресу индивидуализма. Но и независимо отъ дѣйствительной или только кажущейся слабости остатковъ прошедшаго, зачатки будущаго естественно склонны вступать въ практическій союзъ съ ними въ виду общаго врага—настоящаго. Это, можетъ быть, наиболѣе яркое и наичаще повторяющееся оправданіе поговорки: «крайности сходятся». Крайности дѣйствительно сходятся, чтобы тяготѣть на одинаково имъ мѣшающую середину. Прошедшее, настоящее и будущее, отживающее, существующее въ болѣе или менѣе полномъ видѣ и зарождающееся — эта троица лежитъ въ основаніи всякой системы партій, политическихъ, литературныхъ, экономическихъ, философскихъ. Партіи могутъ дробиться на оттѣнки, сообразно осложненіямъ текущей минуты; оттѣнки эти могутъ вступать между собою въ разнообразныя комбинаціи, заключать законные и незаконные союзы, дѣлать другъ другу теоретическія и практическія уступки; но въ основаніи всей этой иногда очень запутанной системы всетаки лежатъ три момента: прошедшее, настоящее и будущее. И въ этомъ столь же мало таинственнаго, какъ и въ томъ, напримѣръ, что французскій глаголъ, имѣющій и l'imparfait, и le plusqueparfait, и le passé défini, и le passè indéfini, и le futur absolu, и le futur antérieur, въ сущности, однако, знаетъ только три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Въ виду этого историкъ, если онъ жертвуетъ второстепенными мелкими явленіями для установленія схемы историческаго прогресса въ общихъ, крупныхъ чертахъ, склоненъ

непремѣнно къ троичной формулѣ, причемъ онъ замѣтитъ и взаимное тяготѣніе прошедшаго и будущаго. А если онъ и самъ практическій дѣятель въ какой бы то ни было отрасли, то и на немъ, по всей вѣроятности, такъ или иначе отразится это тяготѣніе.

Но этого мало. Дѣло не только въ механикѣ борьбы партій, при которой наличный, торжествующій въ данный моментъ порядокъ вещей подвергается ударамъ справа и слѣва, что уже само по себѣ до извѣстной степени сближаетъ правыхъ и лѣвыхъ. Если искать въ исторіи мысли человѣка, наиболѣе страстно и убѣжденно звавшаго людей, во имя будущаго, назадъ, къ исходному пункту исторіи, къ «тезису», то, конечно, это будетъ Руссо. Весь сонмъ яростнѣйшихъ ретроградовъ всѣхъ временъ и народовъ не сказалъ больше его противъ цивилизаціи, которая является въ данномъ случаѣ «антитезисомъ». И, однако, Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовался воображенію Руссо золотой вѣкъ человѣчества, современный его колыбели; фантастичность гораздо, впрочемъ, меньшую, чѣмъ обыкновенно думаютъ, такъ что правильнѣе было бы даже говорить не о фантастичности, а объ односторонности. Конечно, не все было добро зѣло, когда человѣкъ невѣжественный, нищій и грубый, боролся съ дикими звѣрями за существованіе въ лѣсахъ и пещерахъ. Но не въ этомъ и дѣло. Злое слово Вольтера: «Читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четвереньках»— это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь страстную живопись отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, и именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ не *степень* развитія цивилизаціи, а лишь ея *типъ*; и наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ только ея типъ, ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета, грубость, какъ спутники низкой ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ, слѣдовательно, по Руссо, отнюдь не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь часть ихъ бѣгала на четвереньках, а въ сочетаніи первобытнаго типа съ высокою степенью развитія. Это и будетъ искомый «синтезисъ».

Не то-ли же самое думаетъ сухой, строго логическій гегельянецъ Марксъ, когда говоритъ: «Капиталистическій способъ производства и присвоенія, а, слѣдовательно, и капиталистическая частная собственность есть отрицаніе индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственномъ трудѣ. Отрицаніе капиталистическаго производства производится имъ же самимъ и неизбѣжностью собственнаго процесса. Это—отрицаніе отрицанія. Оно снова возстановляетъ индивидуальную собственность, но на основаніи пріобрѣтеній капиталистической эры, то-есть на основаніи кооперація свободныхъ работниковъ и ихъ общиннаго владѣнія землею и средствами производства, произведенными самими работниками».

Приглядываясь, однако, ближе къ дѣлу, не трудно усмотрѣть, что всѣ подобныя схемы, повидимому, такъ блистательно поддерживающія законъ трехчленнаго діалектическаго развитія, страдаютъ произвольностью. Говоря гегелевской терминологіей, для Руссо «тезисомъ» была жизнь дикаря, и «антитезисъ» начался съ того момента, когда, по его живописному выраженію, человѣкъ обгородилъ клочекъ земли и сказалъ: «это мое». Для Луи Блана или Маркса «тезисъ» стоитъ гораздо позже—въ среднихъ вѣкахъ, съ разваломъ которыхъ начинается періодъ отрицанія. Но и въ средніе вѣка Марксова «индивидуальная частная собственность, основывающаяся на собственномъ трудѣ», отнюдь не была преобладающимъ факторомъ, а Луи Блану приходится открывать проявленіе принципа «братства» въ самомъ разгарѣ полновластія принципа «авторитета». Очевидно, всѣ эти схемы представляютъ не картину дѣйствительности или даже только ея пропорцій, а только удовлетворяютъ склонности человѣческаго ума мыслить всякій предметъ въ состояніяхъ прошедшаго, настоящаго и будущаго; причемъ умъ этотъ естественно стремится сочетать для будущаго все, что есть хорошаго въ прошедшемъ и настоящемъ.

Теперь позвольте мнѣ сдѣлать выписку изъ одной лондонской корреспонденціи «Новаго Времени»; собственно не изъ самой корреспонденціи, а изъ цитируемой въ ней статьи газеты «Standard». Статья написана богатымъ фабрикантомъ. Онъ жалуется, что, не смотря на то, что его «совѣсть мучится сознаніемъ несправедливости и глупости настоящаго состоянія общества», онъ, подобно многимъ другимъ, не въ состояніи выйти изъ своего фальшиваго положенія и осужденъ только на палліативныя мѣры для борьбы со зломъ, вызываемымъ несправедливою системою, которую онъ принужденъ поддерживать. «Мы, говоритъ онъ,—

только крошечныя звенья въ огромной цѣпи ужасной организаціи—соперничающей торговли—и только полное расклепаніе этой цѣпи можетъ дѣйствительно освободить насъ. Именно это-то сознаніе безпомощности нашихъ индивидуальныхъ усилій и вооружаетъ насъ противъ собственнаго нашего класса и заставляетъ насъ принимать дѣятельное участіе въ агитаціи, которая, если будетъ успѣшна, лишитъ насъ нашего положенія капиталистовъ. Пожертвовать этимъ положеніемъ, я думаю, не покажется намъ тяжелымъ, потому что, если мы вѣрно оцѣниваемъ то благо, которое состояніе общественнаго порядка должно принести свѣту, мы получимъ взамѣнъ дары, которыхъ нельзя достать за деньги. Видѣть конецъ нищеты и роскоши, найти досугъ, удовольствіе и утонченность общими среди тѣхъ, которые выполняютъ грубую работу міра; видѣть чистое, здоровое искусство, развивающееся невольно изъ этого счастія; видѣть наши милые острова освобожденными отъ скареднаго обезображенія слѣдовъ унижающей борьбы за существованіе и за богатство—стоитъ-ли что-нибудь, что можно пріобрѣсти за деньги, удовольствія участвовать въ подобной жизни и чувствовать, что каждый изъ насъ участвуетъ въ поддержаніи этого порядка? Мнѣ кажется, что въ настоящее время богатые люди пытаются купить жизнь въ родѣ этой, стремясь окружить себя, при помощи огромныхъ расходовъ, признакомъ порядка и довольства, и въ результатѣ получаютъ за всѣ эти деньги только одинъ миражъ». Авторъ увѣренъ, что «перемѣна произойдетъ и что наилучшая гарантія противъ насильственнаго переворота заключается въ пробужденіи совѣсти богатыхъ и состоятельныхъ и въ ихъ готовности отречься отъ своихъ классовыхъ притязаній въ пользу того соціальнаго порядка, который несомнѣнно нарождается».

Это одинъ изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ голосовъ, выработанныхъ отчасти непосредственно самымъ теченіемъ европейской жизни, а отчасти ея отраженіемъ—тою школою писателей, которая развилась изъ критики Руссо. Было время, когда личность европейскаго человѣка, выпущенная изъ оковъ «авторитета», какъ сказалъ бы Луи Бланъ, или «теологическаго фазиса», какъ предпочелъ бы выразиться Огюстъ Контъ, ринулась на свой собственный страхъ въ метафизику въ области мысли, въ голый либерализмъ въ области политики, въ свободную конкурренцію въ области экономіи. Прошедшее казалось развѣ только недобитымъ, будущее едва выглядывало въ парадоксальныхъ протестахъ Руссо, да въ кое-какихъ судорожныхъ движеніяхъ, истинный смыслъ которыхъ не съ разу обнаружился. Но прошли года, и ликующее настоящее стало омрачаться. Снизу все сильнѣе и сильнѣе начали раздаваться требованія тѣхъ, кого это настоящее обдѣлило благами цивилизаціи, добытыми вѣковыми усиліями всего человѣчества. Но и на верху, тѣ, кто, повидимому, пользуется всѣми цвѣтами и плодами цивилизаціи, не нашли успокоенія въ предоставленной имъ вольной волѣ. Дѣло въ томъ, что эта вольная воля оказалась довольно двусмысленною, ибо, какъ видите, даже богатый англійскій фабрикантъ признаетъ себя въ концѣ концовъ крошечнымъ звеномъ «огромной цѣпи ужасной организаціи», изъ которой онъ рѣшительно не можетъ выбиться. Вообще результаты якобы вольной воли оказались печальны. Яснѣе и проще всего сказались они въ области мысли. Мысль, сбросившая съ себя всякіе авторитеты, величественно поднялась въ надзвѣздныя сферы чистаго духа и тамъ изъ самой себя и только изъ себя начала строить зданіе метафизики. Одна метафизическая система создавалась за другою, одна за другою валилась, пока, наконецъ, процессъ не завершился нирваной, философіей отчаянія, самоубійства и міроубійства. Къ счастію, рядомъ съ этимъ процессомъ шло и идетъ развитіе науки, то-есть работа мысли, признающей, что она не можетъ положиться лишь на себя, что свобода отъ опыта и наблюденія есть отнюдь не дѣйствительная свобода, а простая невозможность. Разочарованіе проникло и въ другія стороны системы, замѣнившей собою старый порядокъ. Экономическіе кризисы, политическія революціи, личная неудовлетворительность, чувство страха, «больная совѣсть»—все это подтачивало и доселѣ подтачиваетъ систему. А тѣмъ временемъ старое успѣло оправиться, прошедшее, казавшееся развѣ только недобитымъ, воскресло во всеоружіи. Но такъ какъ система всетаки крѣпка и ловко вплетается даже въ поры возрожденнаго стараго порядка, то послѣдній прибѣгаетъ къ лицемѣрному заигрыванію съ будущимъ. Такъ, Наполеонъ III-й кокетничалъ съ рабочимъ вопросомъ, такъ кокетничаетъ и ученикъ его, превзошедшій своего учителя, для чего уже и слово изобрѣтено: «государственный соціализмъ».

Кстати. Проектамъ Бисмарка очень посчастливилось въ нашей газетной печати именно подъ титуломъ государственнаго соціализма, тогда какъ имъ гораздо болѣе приличествуетъ наименованіе военно-бюрократическаго заигрыванія съ соціализмомъ. Газеты то и дѣло сочувственно помаваютъ главами въ сторону этихъ мѣропріятій, въ то же время весьма холодно, а подчасъ и

презрительно трактуя англійскія дѣла, гдѣ нѣчто, болѣе достойное названіе государственнаго соціализма, не только проповѣдуется частными людьми, но до извѣстной степени вводится и въ жизнь министерствомъ Гладстона. Достовѣрно во всякомъ случаѣ, что поведеніе Гладстона въ аграрныхъ ирландскихъ дѣлахъ, очень скромное съ отвлеченной точки зрѣнія и съ точки зрѣнія самихъ ирландцевъ, уже потому несравненно достопримѣчательнѣе мѣропріятій Бисмарка, что именно въ Англіи совершается эта брешь въ системѣ свободной частной земельной собственности. И Гладстонъ стоитъ въ этомъ отношеніи совсѣмъ не одиноко, онъ даже прямо вынужденъ къ такому образу дѣйствія повелительными требованіями самой жизни и общественнаго мнѣнія. Любопытно, что газета «Недѣля», тоже помавающая главою по адресу Бисмарка, недавно оттрепала за вихры, какъ «мальчишку и щенка», американскаго экономиста Генри Джорджа, читающаго въ Англіи лекціи на тему государственнаго соціализма. Возвращаясь въ № 6 къ этого рода явленіямъ англійской жизни, газета, между прочимъ, пишетъ: «Англія, повидимому, намѣрена отказаться отъ роли пассивной зрительницы рабочаго движенія и принять самостоятельное участіе въ организаціи труда на новыхъ началахъ. Основалось «демократическое общество», во главѣ котораго стали выдающійся политико-экономъ Гайндманъ и поэтъ Уильямъ Моррисъ; теперь они уже издаютъ ежемѣсячный журналъ «To-Day» («Сегодня») и еженедѣльную газету «Justice», въ которыхъ энергично проводятъ свои теоріи общественнаго переустройства — теоріи довольно фантастическія. Идеалъ человѣчества они видятъ въ полномъ уничтоженіи всякихъ національныхъ и религіозныхъ различій, въ замѣнѣ частной собственности — государственною, въ работѣ каждаго отдѣльнаго члена великой всемірной семьи на пользу всего человѣчества».

Спрашивается, почему этотъ «идеалъ»— идеалъ, замѣтьте, ибо Гайндманъ и Моррисъ не думаютъ, чтобы завтра же такъ все и вышло по щучьему велѣнію—почему онъ «фантастиченъ»? Всякій изъ насъ знаетъ, что, по христіанскому ученію, нѣсть эллинъ ни іудей; всякій христіанинъ, равно какъ и всякій другой вѣрующій, надѣется на религіозное объединеніе человѣчества. Слѣдовательно, эта часть программы общества не должна бы, кажется, представляться намъ такъ ужъ очень фантастическою. А что «каждый членъ великой всемірной семьи» долженъ работать «на пользу всего человѣчества», объ этомъ едва-ли не въ прописяхъ даже излагается, въ старыхъ, забытыхъ нынѣ прописяхъ, но всетаки прописяхъ. Откуда же эта утрированная трезвенность «Недѣли»? Почему въ старой, чопорной, сухой, прославленной своимъ чернымъ эгоизмомъ Англіи даже «выдающемуся политико-эконому» не кажется фантастическимъ то, что бракуется у насъ въ этомъ смыслѣ даже г. Гайдебуровымъ? Мы, вѣдь, молоды, а кромѣ того, говорятъ, еще и «всечеловѣки»—отчего же это такъ выходитъ? Тутъ не въ г. Гайдебуровѣ дѣло и, вообще, не въ «Недѣлѣ», объ которой столько же давно, сколько и справедливо сказано: «мели, Емеля, твоя недѣля». Эту утрированную трезвенность, при распинаніи за свое «всечеловѣчество», вы можете нынѣ на каждомъ шагу встрѣтить, она въ воздухѣ носится, заражая его ядомъ плоскости, тупости и лицемѣрія. Что же мы дѣлали за все то время, когда Европа совершала свой отчасти радостный и блистающій, отчасти мученическій историческій путь, который выше очерченъ въ слишкомъ бѣглыхъ и немногихъ словахъ?

А! Это любопытная исторія. И у насъ былъ свой старый порядокъ, и свой періодъ возвращенія, когда съ паденіемъ крѣпостного права русскіе люди не то, чтобы совсѣмъ на вольной волѣ очутились, но всетаки стали дышать рѣзко измѣнившимся воздухомъ. Это былъ тоже «антитезисъ». Но тутъ произошло нѣчто удивительное и, можетъ быть, безпримѣрное въ исторіи. Мы настоящимъ образомъ не жили этимъ антитезисомъ. Новый воздухъ, казалось бы, столь живительный для сдавленныхъ легкихъ, былъ отравленъ скептицизмомъ. Мы были богаты чужимъ, европейскимъ опытомъ, мы знали, что та система, которая смѣнила въ Европѣ старый порядокъ, уже подточена поступательнымъ ходомъ исторіи и работою европейской мысли, доставлявшей намъ свои послѣдніе продукты. Спору нѣтъ, ликованія были, да и какъ же не ликовать, когда дышать легче стало, но ликованіе было непродолжительное, потому что изъ-за настоящаго выглядывало будущее, тотъ «синтезисъ», къ которому Европа пришла собственнымъ опытомъ, а не чужимъ, какъ мы. Вообще, прошедшее, настоящее и будущее сплелось въ такой запутанный и сложный клубокъ, который рѣшительно не могъ быть предусмотрѣнъ никакой формулой трехчленнаго діалектическаго развитія.

Богатство чужого опыта, имѣя свои выгодныя и невыгодныя стороны, привело къ послѣдствіямъ, въ высшей степени любопытнымъ. Во-первыхъ, люди неискренніе или преслѣдовавшіе кастовые интересы имѣли

передъ собой цѣлый арсеналъ аргументовъ и положеній, выработанныхъ Европою въ *разные* періоды своей исторіи. Тамъ эти аргументы и положенія приросли каждый къ своему опредѣленному мѣсту. Намъ же, не участвовавшимъ въ ихъ выработкѣ, ничего не стоило отодрать ихъ съ корня и перенести въ совсѣмъ не подходящее помѣщеніе. Поэтому-то у насъ и могло быть такое любопытное явленіе, что *крѣпостники* требовали для мужика «свободы отъ земли» во имя *либеральной* политической экономіи. Позже, во времена «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» редакціи Корша, *либералы* ратовали противъ *свободной торговли*. Всѣ эти противорѣчія объясняются очень просто, если имѣть въ виду, что мы только что начинали жить за свой собственный счетъ и никакого личнаго общества не имѣли, но за то въ нашемъ распоряженіи былъ весь европейскій опытъ. Землевладѣлецъ, урѣзанный реформой, былъ въ родѣ новорожденнаго младенца по неумѣлости, неготовости, безпомощности. Но онъ зналъ, что въ Европѣ землевладѣльцы устраиваются иногда недурно и безъ крѣпостного труда, если на лицо есть достаточное количество безземельныхъ земледѣльцевъ, способныхъ обратиться въ фермеровъ и батраковъ. Зналъ онъ также, что Европа выработала цѣлую научную или якобы научную доктрину, доказывающую, между прочимъ, отсталость общиннаго землевладѣнія и необходимость свободнаго обращенія земли и труда, какъ и всякаго другого товара на рынкѣ. А какая это доктрина, либеральная или не либеральная, совпадающая съ другими его вожделѣніями или не совпадающая, не все ли это равно ему, новорожденному младенцу? Съ другой стороны, средняго, просвѣщеннаго торгово-промышленнаго класса, настоящаго и законнаго носителя либерализма въ Европѣ, у насъ не было, а идеи либеральныя были доставлены къ намъ оттуда полностію. Предстояло создать просвѣщенный торгово-промышленный классъ, а изъ европейскаго опять-таки опыта либералы наши знали, что это довольно удобно достигается «покровительствомъ отечественной промышленности»; отсюда борьба либераловъ съ свободной торговлей, борьба, тѣмъ болѣе для нихъ легкая, что вѣдь они не сами выработали свои либеральныя идеи....

Гораздо, однако, любопытнѣе явленія, происходившія въ сферахъ, удаленныхъ отъ какихъ бы то ни было классовыхъ интересовъ, въ казовомъ концѣ нашей интеллигенціи, въ сферахъ идеала и безкорыстной мысли. Если сознательные или безсознательные представители и заступники различныхъ обособленныхъ интересовъ съ легкимъ сердцемъ брали изъ либеральнаго ученія то, что имъ было нужно, отвергали все ненужное, хотя и логически связанное съ нужнымъ, то въ сферахъ идеала либерализмъ не то что потерпѣлъ полное фіаско, а прямо такъ и явился въ нашу жизнь съ печатью фіаско, понесеннаго имъ въ Европѣ. Разумѣется, когда позволено было курить на улицахъ, такъ никто не отказывалъ себѣ въ этомъ невинномъ удовольствіи, символически выражавшемъ наступленіе періода возрожденія; когда мысль и слово получили нѣкоторую относительную свободу, всякій желалъ этою свободою воспользоваться. Но мы встрѣтили свою маленькую свободу отнюдь не съ такою чистою и цѣльною радостію, съ какою когда-то Европа встрѣтила свою большую свободу. И не только потому, что свобода наша была маленькая. Нѣтъ, тутъ замѣшалось все то же фатальное вліяніе чужого опыта. Европеецъ сбрасывалъ съ себя ветхаго человѣка смѣло, бодро, даже дерзко, «не предвидя отъ сего никакихъ послѣдствій», то-есть никакихъ дурныхъ послѣдствій. А когда намъ пришлось сбрасывать съ себя ветхаго человѣка, эти послѣдствія обнаружились уже въ полномъ размѣрѣ и мы знали это; а потому налагали на себя въ атмосферѣ своей маленькой свободы тяжелыя эпитеміи.

Возьмемъ примѣръ, удобный по своей безобидности. Когда европейская мысль сбросила съ себя оковы «авторитета», она не знала никакого удержу и не хотѣла знать ничего, кромѣ личнаго самоудовлетворенія; все понять, все узнать, все сущее и долженствующее существовать изъ себя и для себя построить; всякія ограниченія мысль отвергала. Но мы знали, чѣмъ кончился этотъ дерзкій полетъ мысли и потому—явленіе въ высшей степени замѣчательное—при старомъ порядкѣ у насъ были гегельянцы, шеллингіянцы и проч., но всѣ они исчезли въ періодъ возрожденія; если мы и увлеклись въ это время «метафизикой», то только въ формѣ матеріализма, который, по самой сущности своей, сдерживаетъ пареніе свободнаго духа ограниченіями «физики». Но этого мало. Самовольное и самодовлѣющее пареніе свободнаго духа представилось намъ не только со стороны своей ненаучности, а и со стороны почти преступности. Никогда въ Европѣ не было такихъ пламенныхъ и въ то же время систематическихъ протестовъ противъ «мысли для мысли», «науки для науки», «искусства для искусства», какъ у насъ. Нашей маленькой свободой мы не хотѣли и не могли воспользоваться для себя, для самоуслажденія: мы сдѣлали изъ своей науки, изъ своей философіи и искусства обязанность. Да такія-ли мы еще на себя эпи-

темін налагали. Вспомните, мы своихъ героевъ прямо на гвозди, въ буквальномъ смыслѣ, клали! Та «больная совѣсть», которая мучитъ вышецитированнаго англійскаго фабриканта, знакома намъ уже слишкомъ двадцать лѣтъ. Но познакомились мы съ ней не совсѣмъ такъ и даже совсѣмъ не такъ, какъ этотъ англичанинъ.

Такой крупный и рѣзкій фактъ, какъ паденіе крѣпостного права, составлявшаго основу всей нашей жизни, уже самъ по себѣ долженъ былъ, такъ сказать, взболтать общественную совѣсть и породить, если не прочное, то во всякомъ случаѣ страстное желаніе передѣлать всю жизнь заново, пересмотрѣть весь ходячій нравственный кодексъ. Стыдъ за свое прошлое, самоуниженіе и самооплеваніе за него—были при этихъ условіяхъ очень естественны. Выработать что-нибудь новое изъ себя было бы и вообще трудно въ виду многовѣковой исторіи Европы, которая уже всякіе виды видала, а тѣмъ болѣе это было трудно въ такую спѣшную, тревожную минуту. По ходу дѣла надо бы намъ было взять изъ Европы либерализмъ—у насъ вѣдь происходила «эмансипація»: освобожденіе крестьянъ, освобожденіе мысли и слова и проч. Но, къ счастію или къ несчастію, мы знали, что для Европы этотъ «антитезисъ» есть уже пройденная ступень, по крайней мѣрѣ, теоретически, и что это засвидѣтельствовано тяжелымъ мученическимъ опытомъ. Понятно, что, вкусивъ плода познанія добра и зла, хотя бы только мыслію и съ чужого дерева, мы не могли дышать воздухомъ этого «антитезиса» съ цѣльнымъ увлеченіемъ, «безъ размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой». Понятно далѣе, что роковая дума должна была состоять, главнымъ образомъ, въ томъ, чтобы обойти пройденную Европой ступень, такъ какъ она оказалась неокончательной и неудовлетворительной. Отсюда нашъ идеализмъ и жадное заглядываніе въ будущее, наше стремленіе найти въ самомъ фундаментѣ русской жизни, въ народѣ, точки опоры для сокращенія скорбнаго историческаго пути. Но отсюда же—увы!—и непрочность нашего идеализма, всегдашняя его готовность размѣняться на утрированную трезвенность или погрязнуть въ путаницѣ двусмысленностей и схоластическихъ тупостей. Вышеупомянутый англійскій фабрикантъ, можно сказать, упился свободой и другими дарами цивилизаціи, онъ знаетъ цѣну ихъ и, можетъ быть, уже отецъ и дѣдъ, и прадѣдъ его купались въ этомъ морѣ. Поэтому, ему трудно отрѣшиться отъ всего этого и увидѣть оборотную сторону медали. Но разъ онъ ее увидалъ, разъ потянуло его къ иной, лучшей жизни, онъ, можетъ быть, и не найдетъ для себя лично практическаго исхода, но ужъ не собьется съ теоретическаго пути и не утратитъ вѣры. Намъ, напротивъ, очень легко отрицать дары цивилизаціи, потому что мы вѣдь ее только понюхали, а тѣмъ паче нѣтъ у васъ на этотъ счетъ никакихъ традицій. Но за то мы не выстрадали и скорбной стороны европейской цивилизаціи, мы эту сторону изъ чужого, а не изъ своего опыта знаемъ. Это—даровое наслѣдство, не нами нажитое. А извѣстно, что глупому сыну не въ помощь наслѣдство. Къ счастію, не всѣ сыновья глупы...

Оглавленіе пятаго тома.

Стр.

Жестокій талантъ (1882 г.) 1

Г. И. Успенскій (1888 г.) 77

Щедринъ (1889—1890 г.).

I. Отношеніе къ литературѣ 137

II. Вѣра въ будущее 152

III. Отношеніе къ народу 166

IV. Честь и совѣсть 179

V. Благонамѣренныя рѣчи 193

VI. Еще о благонамѣренныхъ рѣчахъ 206

VII. Умѣренность и аккуратность 220

VIII. Союзы 234

IX. Женскій вопросъ 249

X. Художникъ 264

XI. Памяти Щедрина 278

XII. Матеріалы для литературнаго портрета 287

Герой безвременья 303

Н. В. Шелгуновъ 349

Записки современника (1881—1882 г.).

I. Независящія обстоятельства 391

II. О Писемскомъ и Достоевскомъ 410

III. Нѣчто о лицемѣрахъ 436

IV. О парнографіи 445

V. Мѣдные лбы и вареныя души 460

VI. Послушаемъ умныхъ людей 478

VII. Продолженіе 493

VIII. Три мизантропа 513

IX. Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей . 529

X. Журнальное обозрѣніе 550

XI. Торжество г. Ціона, чреда образованности и проч. . 566

XII. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ . 584

XIII. Все французъ гадитъ 604

XIV. Смерть Дарвина 623

XV. О доносахъ, съ присовокупленіемъ собственнаго опыта доноса 636

XVI. Забытая азбука 654

XVII. Гамлетизированные поросята 678

Письма посторонняго въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ» (1883—1884 г.) 703